This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

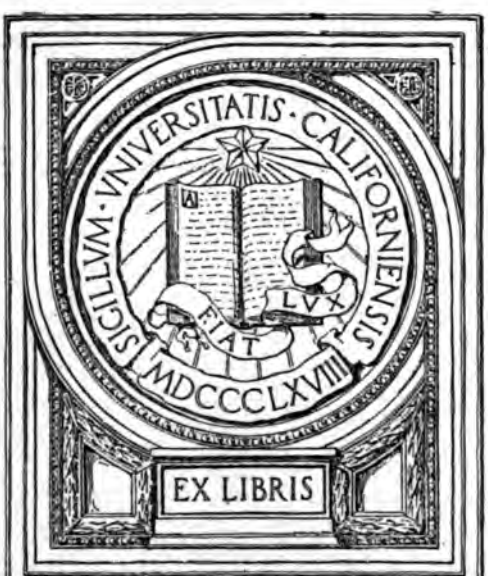
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



MAIN LIBRARY Slavic Dept

836 u
1898
v.7-8

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" за 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

836u
1898
v. 7-8

MAIN LIBRARY

Типографія А. Ф. Маркса, Ст. Подьяч., № 1.

PG3420
A1
1858
v.7-8
MAIN

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Посвящено П. В. Анненкову.

Гости давно разъѣхались. Часы пробили половину перваго. Въ комнатѣ остались только хозяинъ, да Сергѣй Николаевичъ, да Владиміръ Петровичъ.

Хозяинъ позвонилъ и велѣлъ принять остатки ужина.

— Итакъ, это дѣло рѣшенное,—промолвилъ онъ, глубже усаживаясь въ кресло и закуривъ сигару: — каждый изъ насъ обязанъ разсказать исторію своей первой любви. За вами очередь, Сергѣй Николаевичъ.

Сергѣй Николаевичъ, кругленькій человѣкъ съ пухленькимъ бѣлокурымъ лицомъ, посмотрѣлъ сперва на хозяина, потомъ поднялъ глаза къ потолку.— У меня не было первой любви,—сказалъ онъ наконецъ:—я прямо началъ со второй.

— Это какимъ образомъ?

— Очень просто. Мнѣ было восемнадцать лѣтъ, когда я въ первый разъ приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживалъ за ней такъ, какъ-будто дѣло это *было мнѣ по вкусу*, точно такъ, какъ я ухажи-

валъ потомъ за другими. Собственно говоря, въ первый и послѣдній разъ я влюбился, лѣтъ шести, въ свою няню,— но этому очень давно. Подробности нашихъ отношеній изгладились изъ моей памяти, да если бъ я ихъ и помнилъ, кого это можетъ интересовать?

— Такъ какъ же быть? — началъ хозяинъ. — Въ моей первой любви тоже не много занимательнаго: я ни въ кого не влюблялся до знакомства съ Анной Ивановной, моей теперешней женой—и все у насъ шло какъ по маслу: отцы насъ сосватали, мы очень скоро полюбились другъ другу и вступили въ бракъ, не мѣшкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопросъ о первой любви—надѣялся на васъ, не скажу старыхъ, но и не молодыхъ холостяковъ. Развѣ вы насъ чѣмъ-нибудь потѣшите, Владиміръ Петровичъ?

— Моя первая любовь принадлежитъ, дѣйствительно, къ числу не совсѣмъ обыкновенныхъ,—отвѣтилъ, съ небольшой запинкой, Владиміръ Петровичъ, человѣкъ лѣтъ сорока, черноволосый, съ просѣдью.

— А!—промолвили хозяинъ и Сергѣй Николаевичъ въ одинъ голосъ.—Тѣмъ лучше...—Разсказывайте.

— Извольте... или нѣтъ: разсказывать я не стану; я не мастеръ разсказывать: выходитъ сухо и коротко, или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу все, что вспомню, въ тетрадку—и прочту вамъ.

Пріятели сперва не согласились, но Владиміръ Петровичъ настоялъ на своемъ. Черезъ двѣ недѣли они опять сошлись, и Владиміръ Петровичъ сдержалъ свое обѣщаніе.

Вотъ что стояло въ его тетрадкѣ:

I.

Мнѣ было тогда шестнадцать лѣтъ. Дѣло происходило лѣтомъ 1833 года.

Я жилъ въ Москвѣ, у моихъ родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, противъ Нескучнаго. — Я готовился въ университетъ, но работалъ очень мало и не торопился.

Никто не стѣснялъ моей свободы. Я дѣлалъ, что хотѣлъ,

особенно съ тѣхъ поръ, какъ я разстался съ послѣднимъ моимъ гувернеромъ-французомъ, который никакъ не могъ привыкнуть къ мысли, что онъ упалъ, „какъ бомба“ (comme une bombe), въ Россію, и съ ожесточеннымъ выраженіемъ на лицѣ, по цѣлымъ днямъ валялся на постели. Отецъ обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня вниманія, хотя у ней, кромѣ меня, не было дѣтей: другія заботы ее поглощали. Мой отецъ, человѣкъ еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: безпрестанно волновалась, ревновала, сердилась — но не въ присутствіи отца, она очень его боялась, а онъ держался строго, холодно; отдаленно... Я не видалъ человѣка болѣе изысканно спокойнаго, самоувѣреннаго и самовластнаго.

Я никогда не забуду первыхъ недѣль, проведенныхъ мною на дачѣ. Погода стояла чудесная; мы переѣхали изъ города 9 мая, въ самый Николинъ день. Я гулялъ — то въ саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; бралъ съ собою какую-нибудь книгу — курсъ Кайданова, напримѣръ,—но рѣдко ее развертывалъ, а больше вслухъ читалъ стихи, которыхъ зналъ очень много на память; кровь бродила во мнѣ и сердце ныло — такъ сладко и смѣшно: я все ждалъ, робѣлъ чего-то, и всему дивился, и весь былъ наготовѣ; фантазія играла и носилась быстро вокругъ однихъ и тѣхъ же представленій, какъ на зарѣ стрижи вокругъ колокольни; я задумывался, грустилъ и даже плакалъ; но и сквозь слезы, и сквозь грусть, навѣянную то пѣвучимъ стихомъ, то красотою вечера, проступало, какъ весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я самъ ее сѣдлалъ и уѣзжалъ одинъ куда-нибудь подальше, пускался вскачь и воображалъ себя рыцаремъ на турнирѣ—какъ весело дулъ мнѣ въ уши вѣтеръ!—или, обративъ лицо къ небу, принималъ его сіяющій свѣтъ и лазурь въ разверстую душу.

Помнится, въ то время, образъ женщины, призракъ женской *любви, почти* никогда не возникалъ опредѣлен-

ными очертаніями въ умѣ; но во всемъ, что я думалъ, во всемъ, что я ощущалъ, таилось полусознанное, стыдливое предчувствіе чего-то новаго, несказанно-сладкаго, женскаго...

Это предчувствіе, это ожиданіе проникло весь мой составъ: я дышалъ имъ, оно катилось по моимъ жиламъ въ каждой каплѣ крови... ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла изъ деревяннаго барскаго дома съ колоннами и двухъ низенькихъ флигельковъ; во флигелѣ налѣво помѣщалась крохотная фабрика дешевыхъ обоевъ... Я не разъ хаживалъ туда смотрѣть, какъ десятокъ худыхъ и взъерошенныхъ мальчишекъ въ засаленныхъ халатахъ и съ испитыми лицами то и дѣло вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшіе четырехугольные обрубки пресса, и такимъ образомъ, тяжестью своихъ тщедушныхъ тѣлъ, вытискивали пестрые узоры обоевъ. Флигелекъ направо стоялъ пустой и отдавался внаймы. Въ одинъ день — недѣли три спустя послѣ 9 мая—ставни въ окнахъ этого флигелька открылись, показались въ нихъ женскія лица— какое-то семейство въ немъ поселилось. Помнится, въ тотъ же день, за обѣдомъ, матушка освѣдомилась у дворецкаго о томъ, кто были наши новые сосѣди и, услыхавъ фамилію княгини Засѣкиной, сперва промолвила не безъ нѣкотораго уваженія: —А! княгиня... а потомъ прибавила:—Должно-быть, бѣдная какая-нибудь.

— На трехъ извозчикахъ пріѣхали-съ,—замѣтилъ, почтительно подавая блюдо, дворецкій:—своего экипажа не имѣютъ-съ, и мебель самая пустая.

— Да,—возразила матушка:—а все-таки лучше.

Отецъ холодно взглянулъ на нее: она умолкла.

Дѣйствительно, княгиня Засѣкина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелекъ былъ такъ ветхъ и малъ, и низокъ, что люди, хотя нѣсколько зажиточные, не согласились бы поселиться въ немъ. — Впрочемъ, я тогда пропустилъ это все мимо ушей. Княжескій титулъ на меня мало дѣйствовалъ: я недавно прочелъ „Разбойниковъ“ Шиллера.

II.

У меня была привычка бродить каждый вечеръ съ ружьемъ по нашему саду и караулить воронъ.—Къ этимъ осторожнымъ, хищнымъ и лукавымъ птицамъ я издавна чувствовалъ ненависть. Въ день, о которомъ зашла рѣчь, я также отправился въ садъ — и, напрасно исходивъ всѣ аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился къ низкому забору, отдѣлявшему собственно *наши* владѣнія отъ узенькой полосы сада, простиравшейся за флигелькомъ направо и принадлежавшей къ нему. Я шелъ, потупя голову. Вдругъ мнѣ послышались голоса; я взглянулъ черезъ заборъ—и окаменѣлъ... Мнѣ представилось странное зрѣлище.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня—на полянѣ, между кустами зеленой малины, стояла высокая, стройная дѣвушка въ полосатомъ, розовомъ платьѣ и съ бѣлымъ платочкомъ на головѣ; вокругъ нея тѣснились четыре молодые человѣка, и она поочередно хлопала ихъ по лбу тѣми небольшими сѣрыми цвѣтками, которыхъ имени я не знаю, но которые хорошо знакомы дѣтямъ: эти цвѣтки образуютъ небольшіе мѣшечки и разрываются съ трескомъ, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди такъ охотно подставляли свои лбы, а въ движеніяхъ дѣвушки (я ее видѣлъ сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмѣшливое и милое, что я чуть не вскрикнулъ отъ удивленія и удовольствія и, кажется, тутъ же бы отдалъ все на свѣтѣ, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забылъ, я пожиралъ взоромъ этотъ стройный станъ, и шейку, и красивыя руки, и слегка растрепанные бѣлокурые волосы подъ бѣлымъ платочкомъ, и этотъ полузакрытый, умный глазъ, и эти рѣсницы, и нѣжную щеку подъ ними...

— Молодой человѣкъ, а молодой человѣкъ, — проговорилъ вдругъ подлѣ меня чей-то голосъ:—развѣ позволительно глядѣть такъ на чужихъ барышень?

Я вздрогнулъ весь, я обомлѣлъ... Возлѣ меня, за забо-

ромъ, стоялъ какой-то человѣкъ съ коротко остриженными черными волосами и иронически посматривалъ на меня. Въ это самое мгновеніе и дѣвушка обернулась ко мнѣ... Я увидалъ огромные сѣрые глаза на подвижномъ, оживленномъ лицѣ — и все это лицо вдругъ задрожало, засмѣялось, бѣлые зубы сверкнули на немъ, брови какъ-то забавно поднялись... Я вспыхнулъ, схватилъ съ земли ружье и, преслѣдуемый звонкимъ, но не злымъ хохотаньемъ, убѣжалъ къ себѣ въ комнату, бросился на постель и закрылъ лицо руками. Сердце во мнѣ такъ и прыгало; мнѣ было очень стыдно и весело: я чувствовалъ небывалое волненіе.

Отдохнувъ, я причесался, почистился и сошелъ внизъ къ чаю. Образъ молодой дѣвушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но какъ-то пріятно сжималось.

— Что съ тобой? — внезапно спросилъ меня отецъ: — убилъ ворону?

Я хотѣлъ-было все разсказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, самъ не знаю зачѣмъ, раза три повернулся на одной ногѣ, напомадился, легъ и всю ночь спалъ какъ убитый. Передъ утромъ я проснулся на мгновенье, приподнялъ голову, посмотрѣлъ вокругъ себя съ восторгомъ—и опять заснулъ.

III.

„Какъ бы съ ними познакомиться?“ было первою моею мыслью, какъ только я проснулся поутру. Я передъ чаемъ отправился въ садъ, но не подходилъ слишкомъ близко къ забору и никого не видѣлъ. Послѣ чаю я прошелся нѣсколько разъ по улицѣ передъ дачей—и издали заглядывалъ въ окна... Мнѣ почудилось за занавѣской *ея* лицо, и я съ испугомъ поскорѣе удалился. „Однако, надо же познакомиться“,—думалъ я, безпорядочно расхаживая по песчаной равнинѣ, разстилавшейся передъ Нескучнымъ.— „Но какъ? вотъ въ чемъ вопросъ“. Я припоминалъ малѣйшія подробности вчерашней встрѣчи: мнѣ почему-то особенно ясно представлялось, какъ это она посмѣялась

надо мною... Но, пока я волновался и строилъ различные планы, судьба уже порадѣла обо мнѣ.

Въ мое отсутствіе матушка получила отъ новой своей сосѣдки письмо на сѣрой бумагѣ, запечатанной бурымъ сургучомъ, какой употребляется только на почтовыхъ повѣсткахъ, да на пробкахъ дешеваго вина. Въ этомъ письмѣ, написанномъ безграмотнымъ языкомъ и неопрятнымъ почеркомъ, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словамъ княгини, была хорошо знакома съ значительными людьми, отъ которыхъ зависѣла ея участь и участь ея дѣтей, такъ какъ у ней были очень важные процессы: „Я квамъ обращаюсь, — писала она, — какъ благородная дама хблагородной даме, и притомъ мне преятно воспользоватца симъ случаемъ". Кончая, она просила у матушки позволенія явиться къ ней. Я засталъ матушку въ непріятномъ расположеніи духа: отца не было дома, и ей не съ кѣмъ было посовѣтываться. Не отвѣчать „благородной дамѣ", да еще княгинѣ, было невозможно, а какъ отвѣчать — матушка недоумѣвала. Написать записку по-французски казалось ей неумѣстнымъ, а въ русской орѳографіи сама матушка не была сильна—и знала это — и не хотѣла компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу, и тотчасъ приказала мнѣ сходить къ княгинѣ и на словахъ объяснить ей, что матушка, молъ, моя всегда готова оказать ея сіятельству, по мѣрѣ силъ, услугу, и проситъ ее пожаловать къ ней часу въ первомъ. Неожиданно-быстрое исполненіе моихъ тайныхъ желаній меня и обрадовало, и испугало; однако, я не выказалъ овладѣвшаго мною смущенія—и предварительно отправился къ себѣ въ комнату, чтобы надѣть новенькій галстукъ и сюртучокъ: дома я еще ходилъ въ курткѣ и въ отложныхъ воротничкахъ, хотя очень ими тяготился.

IV.

Въ тѣсной и неопрятной передней флигелька, куда я вступилъ съ невольной дрожью во всемъ тѣлѣ, встрѣтилъ меня старый и *сѣдой слуга* съ темнымъ, мѣднаго цвѣта,

лицомъ, свиными, угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на вискахъ, какихъ я въ жизни не видывалъ. Онъ несъ на тарелкѣ обглоданный хребетъ селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую въ другую комнату, отрывисто проговорилъ:—Чего вамъ?

— Княгиня Засѣкина дома?—спросилъ я.

— Вонифатій! — закричалъ изъ-за двери дребезжащій женскій голосъ.

Слуга молча повернулся ко мнѣ спиною, при чемъ обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, съ одинокой, порыжѣлой гербовой пуговицей, и ушелъ, поставивъ тарелку на полъ.

— Въ кварталъ ходилъ?—повторилъ тотъ же женскій голосъ. Слуга пробормоталъ что-то. — А?.. Пришелъ кто-то? — послышалось опять. — Барчукъ сосѣдній? — Ну, проси.

— Пожалуйте-съ въ гостиную,—проговорилъ слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку съ полу. Я отправился и вошелъ въ „гостиную“.

Я очутился въ небольшой и не совсѣмъ опрятной комнатѣ съ бѣдной, словно на-скоро разставленной, мебелью. У окна, на креслѣ съ отломанной ручкой, сидѣла женщина лѣтъ пятидесяти, простоволосая и некрасивая, въ зеленомъ старомъ платьѣ и съ пестрой, гарусной косынкой вокругъ шеи. Ея небольшіе черные глазки такъ и впились въ меня.

Я подошелъ къ ней и раскланялся.

— Я имѣю честь говорить съ княгиней Засѣкиной?

— Я княгиня Засѣкина; а вы сынъ г-на В.?

— Точно такъ-съ. Я пришелъ къ вамъ съ порученіемъ отъ матушки.

— Садитесь, пожалуйста. Вонифатій! гдѣ мои ключи, не видалъ?

Я сообщилъ г-жѣ Засѣкиной отвѣтъ моей матушки на ея записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконницѣ, а когда я кончилъ, еще разъ уставилась на меня.

— *Очень* хорошо; непремѣнно буду, — промолвила она

наконецъ.—А какъ вы еще молоды! Сколько вамъ лѣтъ, позвольте спросить?

— Шестнадцать лѣтъ, — отвѣчалъ я съ невольной запинкой.

Княгиня достала изъ кармана какія-то исписанныя, засаленныя бумаги, поднесла ихъ къ самому носу и принялась перебирать ихъ.

— Годы хорошіе,—произнесла она внезапно, поворачиваясь и ёрзая на стулѣ.—А вы, пожалуйста, будьте безъ церемоніи. У меня просто.

„Слишкомъ просто", подумалъ я, съ невольной гадливостью окидывая взоромъ всю ея неблагообразную фигуру.

Въ это мгновенье другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на порогѣ появилась дѣвушка, которую я видѣлъ наканунѣ въ саду. Она подняла руку, и на лицѣ ея мелькнула усмѣшка.

— А вотъ и дочь моя,—промолвила княгиня, указавъ на нее локтемъ.—Зиночка, сынъ нашего сосѣда, г-на В. Какъ васъ зовутъ, позвольте узнать?

— Владиміромъ,—отвѣчалъ я, вставая и пришепётывая отъ волненія.

— А по батюшкѣ?

— Петровичемъ.

— Да! У меня былъ полицеймейстеръ знакомый, тоже Владиміромъ Петровичемъ звали. Вонифатій! не ищи ключей; ключи у меня въ карманѣ.

Молодая дѣвушка продолжала глядѣть на меня съ прежней усмѣшкой, слегка щурясь и склонивъ головку немного на бокъ.

— Я уже видѣла мсьё Вольдемара, — начала она. (Серебристый звукъ ея голоса пробѣжалъ по мнѣ какимъ-то сладкимъ холодкомъ.)—Вы мнѣ позволите такъ называть васъ?

— Помилуйте-съ,—пролепеталъ я.

— Гдѣ это?—спросила княгиня.

Княжна не отвѣчала своей матери.

— Вы теперь заняты? — промолвила она, не спуская съ меня *глазъ.*

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Хотите вы мнѣ помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мнѣ.

Она кивнула мнѣ головой и пошла вонъ изъ гостиной. Я отправился вслѣдъ за ней.

Въ комнатѣ, куда мы вошли, мебель была немного получше и разставлена съ бо̀льшимъ вкусомъ. Впрочемъ, въ это мгновенье я почти ничего замѣтить не могъ: я двигался какъ во снѣ и ощущалъ во всемъ составѣ своемъ какое-то до глупости напряженное благополучіе.

Княжна сѣла, достала связку красной шерсти, и, указавъ мнѣ на стулъ противъ нея, старательно развязала связку и положила мнѣ ее на руки. Все это она дѣлала молча, съ какой-то забавной медлительностью и съ той же свѣтлой и лукавой усмѣшкой на чуть-чуть раскрытыхъ губахъ. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдругъ озарила меня такимъ яснымъ и быстрымъ взглядомъ, что я невольно потупился. Когда ея глаза, бо̀льшею частію полуприщуренные, открывались во всю величину свою — ея лицо измѣнялось совершенно: точно свѣтъ проливался по немъ.

— Что̀ вы подумали обо мнѣ вчера, мсьё Вольдемаръ?— спросила она, погодя немного.—Вы, навѣрно, осудили меня?

— Я... княжна... я ничего не думалъ... какъ я могу...— отвѣчалъ я съ смущеніемъ.

— Послушайте, — возразила она. — Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтобъ мнѣ всегда правду говорили. Вамъ, я слышала, шестнадцать лѣтъ, а мнѣ двадцать одинъ: вы видите, я гораздо старше васъ, и потому вы всегда должны мнѣ говорить правду... и слушаться меня,—прибавила она.—Глядите на меня: отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще болѣе; однако, поднялъ на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой одобрительной улыбкой. — Глядите на меня, — промолвила она, ласково понижая голосъ: — мнѣ это не непріятно... Мнѣ ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будемъ *друзьями*. А я вамъ нравлюсь?—прибавила она лукаво.

—..няжна...—началъ-было я...

Co[illegible] Во-первыхъ, называйте меня Зинаидой Александров-, а во-вторыхъ — что это за привычка у дѣтей—(она правилась:)—у молодыхъ людей—не говорить прямо то, то они чувствуютъ? Это хорошо для взрослыхъ. Вѣдь я вамъ нравлюсь?

Хотя мнѣ очень было пріятно, что она такъ откровенно со мной говорила, однако, я немного обидѣлся. Я хотѣлъ показать ей, что она имѣетъ дѣло не съ мальчикомъ и, принявъ по возможности развязный и серьезный видъ, промолвилъ: — Конечно, вы очень мнѣ нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать.

Она съ разстановкой покачала головой. — У васъ есть гувернеръ?—спросила она вдругъ.

— Нѣтъ, у меня уже давно нѣтъ гувернера.

Я лгалъ: еще мѣсяца не прошло съ тѣхъ поръ, какъ я разстался съ моимъ французомъ.

— О! да я вижу—вы совсѣмъ большой.

Она легонько ударила меня по пальцамъ. — Держите прямо руки! — И она прилежно занялась наматываніемъ клубка.

Я воспользовался тѣмъ, что она не поднимала глазъ и принялся ее разсматривать, сперва украдкой, потомъ все смѣлѣе и смѣлѣе. Лицо ея показалось мнѣ еще прелестнѣе, чѣмъ наканунѣ: такъ все въ немъ было тонко, умно и мило. Она сидѣла спиной къ окну, завѣшенному бѣлой сторой; солнечный лучъ, пробиваясь сквозь эту стору, обливалъ мягкимъ свѣтомъ ея пушистые, золотистые волосы, ея невинную шею, покатыя плечи и нѣжную, спокойную грудь.—Я глядѣлъ на нее—и какъ дорога́ и близка становилась она мнѣ! Мнѣ сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не зналъ и не жилъ до нея... На ней было темненькое, уже поношенное платье съ передникомъ; я, кажется, охотно поласкалъ бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ея ботинокъ выглядывали изъ-подъ ея платья: я бы съ обожаніемъ преклонился къ этимъ ботинкамъ... И вотъ, я сижу передъ ней,— подумалъ я: — я съ *ней познакомился*... какое счастье,

Боже мой! Я чуть не соскочилъ со стула отъ восто
только ногами немного поболталъ, какъ ребенокъ,
рый лакомится.

Мнѣ было хорошо, какъ рыбѣ въ водѣ, и я бы вѣкъ
ушелъ изъ этой комнаты, не покинулъ бы этого мѣста.

Ея вѣки тихо поднялись, и опять ласково засіяли передо мною ея свѣтлые глаза, и опять она усмѣхнулась.

— Какъ вы на меня смотрите,—медленно проговорила она и погрозила мнѣ пальцемъ.

Я покраснѣлъ... „Она все понимаетъ, она все видитъ", мелькнуло у меня въ головѣ. „И какъ ей всего не понимать и не видѣть!"

Вдругъ что-то застучало въ сосѣдней комнатѣ — зазвенѣла сабля.

— Зина!—закричала въ гостиной княгиня: — Бѣловзоровъ принесъ тебѣ котенка.

— Котенка! — воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубокъ мнѣ на колѣни и выбѣжала вонъ.

Я тоже всталъ и, положивъ связку шерсти и клубокъ на оконницу, вышелъ въ гостиную и остановился въ недоумѣніи. Посрединѣ комнаты лежалъ, растопыря лапки, полосатый котенокъ; Зинаида стояла передъ нимъ на колѣняхъ и осторожно поднимала ему мордочку. Возлѣ княгини, заслонивъ почти весь простѣнокъ между окнами, виднѣлся бѣлокурый и курчавый молодецъ, гусаръ, съ румянымъ лицомъ и глазами навыкатѣ.

— Какой смѣшной!—твердила Зинаида:—и глаза у него не сѣрые, а зеленые, и уши какія большія! Спасибо вамъ, Викторъ Егорычъ! Вы очень милы!

Гусаръ, въ которомъ я узналъ одного изъ видѣнныхъ мною наканунѣ молодыхъ людей, улыбнулся и поклонился, при чемъ щелкнулъ шпорами и брякнулъ колечками сабли.

— Вамъ угодно было вчера сказать, что вы желаете имѣть полосатаго котенка съ большими ушами... вотъ, я досталъ-съ. Слово—законъ.—И онъ опять поклонился.

Котенокъ слабо пискнулъ и началъ нюхать полъ.

— Онъ голоденъ!—воскликнула Зинаида.—Вонифатій, Соня! принесите молока.

Горничная въ старомъ желтомъ платьѣ и съ полинялымъ платочкомъ на шеѣ, вошла съ блюдечкомъ молока въ рукѣ и поставила его передъ котенкомъ. Котенокъ дрогнулъ, зажмурился и принялся лакать.

— Какой у него розовый язычокъ,—замѣтила Зинаида, пригнувъ голову почти къ полу и заглядывая ему сбоку подъ самый носъ.

Котенокъ насытился и замурлыкалъ, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись къ горничной, равнодушно промолвила:—унеси его.

— За котенка—ручку,—проговорилъ гусаръ, осклабясь и передернувъ всѣмъ своимъ могучимъ тѣломъ, туго затянутымъ въ новый мундиръ.

— Обѣ, — возразила Зинаида, и протянула къ нему руки. Пока онъ цѣловалъ ихъ, она смотрѣла на меня черезъ плечо.

Я стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ и не зналъ—засмѣяться ли мнѣ, сказать ли что-нибудь или такъ промолчать. Вдругъ, сквозь раскрытую дверь передней, мнѣ бросилась въ глаза фигура нашего лакея Ѳедора. Онъ дѣлалъ мнѣ знаки. Я машинально вышелъ къ нему.

— Что ты?—спросилъ я.

— Маменька прислали за вами,—проговорилъ онъ шопотомъ. — Онѣ гнѣваются, что вы съ отвѣтомъ не ворочаетесь.

— Да развѣ я давно здѣсь?

— Часъ слишкомъ.

— Часъ слишкомъ!—повторилъ я невольно и, вернувшись въ гостиную, началъ раскланиваться и шаркать ногами.

— Куда вы?—спросила меня княжна, взглянувъ изъ-за гусара.

— Мнѣ нужно домой-съ. Такъ я скажу,—прибавилъ я, обращаясь къ старухѣ: — что вы пожалуете къ намъ во второмъ часу.

— Такъ *и скажите, батюшка.*

Княгиня торопливо достала табакерку и такъ шумно понюхала, что я даже вздрогнулъ. — Такъ и скажите,— повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

Я еще разъ поклонился, повернулся и вышелъ изъ комнаты съ тѣмъ чувствомъ неловкости въ спинѣ, которое ощущаетъ очень молодой человѣкъ, когда онъ знаетъ, что ему глядятъ вслѣдъ.

— Смотрите же, мсьё Вольдемаръ, заходите къ намъ,— крикнула Зинаида и опять разсмѣялась.

Что̀ это она все смѣется? думалъ я, возвращаясь домой въ сопровожденіи Ѳедора, который ничего мнѣ не говорилъ, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что̀ я могъ такъ долго дѣлать у этой княгини? Я ничего не отвѣчалъ ей и отправился къ себѣ въ комнату. Мнѣ вдругъ стало очень грустно... Я силился не плакать... Я ревновалъ къ гусару.

V.

Княгиня, по обѣщанію, навѣстила матушку, и не понравилась ей. Я не присутствовалъ при ихъ свиданіи, но за столомъ матушка разсказывала отцу, что эта княгиня Засѣкина ей кажется femme très vulgaire, что она очень надоѣла ей со своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергія, что у ней все какія-то тяжбы и дѣла—de vilaines affaires d'argent—и что она должна быть великая кляузница. Матушка однакоже прибавила, что она позвала ее съ дочерью на завтрашній день обѣдать (услыхавъ слово: „съ дочерью", я уткнулъ носъ въ тарелку),— потому что она, все-таки, сосѣдка, и съ именемъ. На это отецъ объявилъ матушкѣ, что онъ теперь припоминаетъ, какая это госпожа; что онъ въ молодости зналъ покойнаго князя Засѣкина, отлично воспитаннаго, но пустого и вздорнаго человѣка; что его въ обществѣ звали „le Parisien", по причинѣ его долгаго житья въ Парижѣ; что онъ былъ очень богатъ, но проигралъ все свое состояніе— и неизвѣстно почему, чуть ли не изъ-за денегъ, — впрочемъ, онъ бы могъ лучше выбрать, — прибавилъ отецъ и холодно улыбнулся, — женился на дочери какого-то при-

казнаго, а женившись, пустился въ спекуляціи и разорился окончательно.

— Какъ бы она денегъ взаймы не попросила, — замѣтила матушка.

— Это весьма возможно,—спокойно промолвилъ отецъ.— Говоритъ она по-французски?

— Очень плохо.

— Гмъ. Впрочемъ, это все равно. Ты мнѣ, кажется, сказала, что ты и дочь ея позвала; меня кто-то увѣрялъ, что она очень милая и образованная дѣвушка.

— А! Стало-быть, она не въ мать.

— И не въ отца,—возразилъ отецъ.—Тотъ былъ тоже образованъ, да глупъ.

Матушка вздохнула и задумалась. Отецъ умолкъ. Мнѣ было очень неловко въ теченіе этого разговора.

Послѣ обѣда я отправился въ садъ, но безъ ружья. Я далъ-было себѣ слово не подходить къ „Засѣкинскому саду", но неотразимая сила влекла меня туда—и не даромъ. Не успѣлъ я приблизиться къ забору, какъ увидѣлъ Зинаиду. На этотъ разъ она была одна. Она держала въ рукахъ книжку и медленно шла по дорожкѣ. Она меня не замѣчала.

Я чуть-чуть не пропустилъ ее; но вдругъ спохватился и кашлянулъ.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую, голубую ленту своей круглой, соломенной шляпы, посмотрѣла на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза въ книжку.

Я снялъ фуражку и, помявшись немного на мѣстѣ, пошелъ прочь съ тяжелымъ сердцемъ. — „Que suis-je pour elle?" подумалъ я (Богъ знаетъ почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся — ко мнѣ, своей быстрой и легкой походкой, шелъ отецъ.

— Это княжна?—спросилъ онъ меня.

— Княжна.

— Развѣ ты ее знаешь?

— Я ее видѣлъ сегодня утромъ у княгини.

Отецъ остановился и, круто повернувшись на каблу-

кахъ, пошелъ назадъ. Поровнявшись съ Зинаидой, онъ вѣжливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не безъ нѣкотораго изумленія на лицѣ, и опустила книгу. Я видѣлъ, какъ она провожала его глазами. Мой отецъ всегда одѣвался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мнѣ болѣе стройной, никогда его сѣрая шляпа не сидѣла красивѣе на его, едва порѣдѣвшихъ, кудряхъ.

Я направился-было къ Зинаидѣ, но она даже не взглянула на меня, снова приподняла книгу и удалилась.

VI.

Цѣлый вечеръ и слѣдующее утро я провелъ въ какомъ-то уныломъ онѣмѣніи. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова — но напрасно мелькали передо мною разгонистыя строчки и страницы знаменитаго учебника. Десять разъ сряду прочелъ я слова: „Юлій Цезарь отличался воинской отвагой“ — не понялъ ничего и бросилъ книгу. Передъ обѣдомъ я опять напомадился и опять надѣлъ сюртучокъ и галстукъ.

— Это зачѣмъ? — спросила матушка.—Ты еще не студентъ, и Богъ знаетъ, выдержишь ли ты экзаменъ. Да и давно ли тебѣ сшили куртку? Не бросать же ее!

— Гости будутъ,—прошепталъ я почти съ отчаяніемъ.

— Вотъ вздоръ! какіе это гости!

Надо было покориться. Я замѣнилъ сюртучокъ курткой, но галстука не снялъ. Княгиня съ дочерью явилась за полчаса до обѣда; старуха, сверхъ зеленаго, уже знакомаго мнѣ платья, накинула желтую шаль и надѣла старомодный чепецъ съ лентами огненнаго цвѣта. Она тотчасъ заговорила о своихъ векселяхъ, вздыхала, жаловалась на свою бѣдность, „канючила“, но нисколько не чинилась: такъ же шумно нюхала табакъ, такъ же свободно поворачивалась и ёрзала на стулѣ. Ей какъ будто и въ голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лицѣ ея появилась холодная неподвижность и важность—и я не узнавалъ ея, не узнавалъ ея взгля-

довъ, ея улыбки, хотя и въ этомъ новомъ видѣ она мнѣ казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье съ блѣдно-синими разводами; волосы ея падали длинными локонами вдоль щекъ, на англійскій манеръ; эта прическа шла къ холодному выраженію ея лица.—Отецъ мой сидѣлъ возлѣ нея во время обѣда и со свойственной ему изящной и спокойной вѣжливостью занималъ свою сосѣдку. Онъ изрѣдка взглядывалъ на нее—и она изрѣдка на него взглядывала, да такъ странно, почти враждебно. Разговоръ у нихъ шелъ по-французски;—меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношенія. Княгиня, во время стола, попрежнему, ничѣмъ не стѣснялась, много ѣла и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвѣчала ей съ какимъ-то грустнымъ пренебреженіемъ; отецъ изрѣдка чуть-чуть морщилъ брови. Зинаида также не понравилась матушкѣ. — Это какая-то гордячка, — говорила она на слѣдующій день. — И подумаешь — чего гордиться—avec sa mine de grisette!

— Ты, видно, не видала гризетокъ,—замѣтилъ ей отецъ.

— И слава Богу!

— Разумѣется, слава Богу... только какъ же ты можешь судить о нихъ?

На меня Зинаида не обращала рѣшительно никакого вниманія. Скоро послѣ обѣда княгиня стала прощаться.

— Буду надѣяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петръ Васильичъ,—сказала она нараспѣвъ матушкѣ и отцу.—Что дѣлать! Были времена, да прошли. Вотъ и я — сіятельная — прибавила она съ непріятнымъ смѣхомъ: — да что за честь, коли нечего ѣсть! — Отецъ почтительно ей поклонился и проводилъ ее до двери передней. Я стоялъ тутъ же въ своей куцой курткѣ, и глядѣлъ на полъ, словно къ смерти приговоренный. Обращеніе Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивленіе, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и съ прежнимъ ласковымъ выраженіемъ въ глазахъ, шепнула мнѣ: —приходите къ намъ въ восемь часовъ, *слышите, непремѣнно*...—Я только раз-

велъ руками—но она уже удалилась, накинувъ на голову бѣлый шарфъ.

VII.

Ровно въ восемь часовъ, я, въ сюртукѣ и съ приподнятымъ на головѣ кокомъ, входилъ въ переднюю флигелька, гдѣ жила княгиня. Старикъ-слуга угрюмо посмотрѣлъ на меня и неохотно поднялся съ лавки. Въ гостиной раздавались веселые голоса. Я отворилъ дверь и отступилъ въ изумленіи. Посреди комнаты, на стулѣ, стояла княжна и держала передъ собой мужскую шляпу; вокругъ стула толпилось пятеро мужчинъ. Они старались запустить руки въ шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидѣвши меня, она вскрикнула:—постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билетъ—и, легко соскочивъ со стула, взяла меня за обшлагъ сюртука. — Пойдемте же, — сказала она: — что вы стоите? Messieurs, позвольте васъ познакомить: это мсьё Вольдемаръ, сынъ нашего сосѣда. А это—прибавила она, обращаясь ко мнѣ и указывая поочередно на гостей:—графъ Малевскій, докторъ Лушинъ, поэтъ Майдановъ, отставной капитанъ Нирмацкій и Бѣловзоровъ, гусаръ, котораго вы уже видѣли. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; въ докторѣ Лушинѣ я узналъ того самаго черномазаго господина, который такъ безжалостно меня пристыдилъ въ саду; остальные были мнѣ незнакомы.

— Графъ!—продолжала Зинаида:—напишите мсьё Вольдемару билетъ.

— Это несправедливо, — возразилъ съ легкимъ польскимъ акцентомъ графъ, очень красивый и щегольски одѣтый брюнетъ, съ выразительными карими глазами, узкимъ бѣлымъ носикомъ и тонкими усиками надъ крошечнымъ ртомъ.—Они не играли съ нами въ фанты.

— Несправедливо, — повторили Бѣловзоровъ и господинъ, названный отставнымъ капитаномъ, человѣкъ лѣтъ сорока, рябой до безобразія, курчавый какъ арабъ, суту-

ловатый, кривоногій и одѣтый въ военный сюртукъ безъ эполетъ, на распашку.

— Пишите билетъ, говорятъ вамъ, — повторила княжна. — Это что за бунтъ? Мсьё Вольдемаръ съ нами въ первый разъ, и сегодня для него законъ не писанъ. Нечего ворчать, пишите, я такъ хочу.

Графъ пожалъ плечами, но, наклонивъ покорно голову, взялъ перо въ бѣлую, перстнями украшенную руку, оторвалъ клочокъ бумаги и сталъ писать на немъ.

— По крайней мѣрѣ, позвольте объяснить г-ну Вольдемару, въ чемъ дѣло, — началъ насмѣшливымъ голосомъ Лушинъ: — а то онъ совсѣмъ растерялся. Видите ли, молодой человѣкъ: мы играемъ въ фанты; княжна подверглась штрафу, и тотъ, кому выпется счастливый билетъ, будетъ имѣть право поцѣловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вамъ сказалъ?

Я только взглянулъ на него и продолжалъ стоять какъ отуманенный, а княжна снова вскочила на стулъ и снова принялась встряхивать шляпой. Всѣ къ ней потянулись— и я за другими.

— Майдановъ, — сказала княжна высокому молодому человѣку съ худощавымъ лицомъ, маленькими слѣпыми глазками и чрезвычайно длинными, черными волосами:— вы, какъ поэтъ, должны быть великодушны и уступить вашъ билетъ мсьё Вольдемару, такъ, чтобы у него было два шанса, вмѣсто одного.

Но Майдановъ отрицательно покачалъ головой и взмахнулъ волосами. Я послѣ всѣхъ опустилъ руку въ шляпу, взялъ и развернулъ билетъ... Господи! что сталось со мною, когда я увидалъ на немъ слово: поцѣлуй!

— Поцѣлуй!—вскрикнулъ я невольно.

— Браво! онъ выигралъ,—подхватила княжна. — Какъ я рада! — Она сошла со стула и такъ ясно и сладко заглянула мнѣ въ глаза, что у меня сердце покатилось. — А вы рады?—спросила она меня.

— Я?.:—пролепеталъ я.

— Продайте мнѣ свой билетъ,—брякнулъ вдругъ надъ самымъ *моимъ ухомъ Бѣловзоровъ.*—Я вамъ сто рублей дамъ.

Я отвѣчалъ гусару такимъ негодующимъ взоромъ, что Зинаида захлопала въ ладоши, а Лушинъ воскликнулъ: молодецъ!

— Но,—продолжалъ онъ:—я, какъ церемоніймейстеръ, обязанъ наблюдать за исполненіемъ всѣхъ правилъ. Мсьё Вольдемаръ, опуститесь на одно колѣно. Такъ у насъ заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немногу голову на бокъ, какъ бы для того, чтобы лучше разсмотрѣть меня, и съ важностью протянула мнѣ руку. У меня помутилось въ глазахъ; я хотѣлъ-было опуститься на одно колѣно, упалъ на оба, и такъ неловко прикоснулся губами къ пальцамъ Зинаиды, что слегка оцарапалъ себѣ конецъ носа ея ногтемъ.

— Добре!—закричалъ Лушинъ и помогъ мнѣ встать.

Игра въ фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возлѣ себя. Какихъ ни придумывала она штрафовъ! Ей пришлось, между прочимъ, представлять „статую"—и она въ пьедесталъ себѣ выбрала безобразнаго Нирмацкаго, велѣла ему лечь ничкомъ, да еще уткнуть лицо въ грудь. Хохотъ не умолкалъ ни на мгновеніе. Мнѣ, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему въ барскомъ, степенномъ домѣ, весь этотъ шумъ и гамъ, эта безцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалыя сношенія съ незнакомыми людьми такъ и бросились въ голову. Я просто опьянѣлъ, какъ отъ вина. Я сталъ хохотать и болтать громче другихъ, такъ что даже старая княгиня, сидѣвшая въ сосѣдней комнатѣ съ какимъ-то приказнымъ отъ Иверскихъ воротъ, позваннымъ для совѣщанія, вышла посмотрѣть на меня. Но я чувствовалъ себя до такой степени счастливымъ, что, какъ говорится, въ усъ не дулъ и въ грошъ не ставилъ ничьихъ насмѣшекъ и ничьихъ косыхъ взглядовъ. Зинаида продолжала оказывать мнѣ предпочтеніе и не отпускала меня отъ себя. Въ одномъ штрафѣ мнѣ довелось сидѣть съ ней рядомъ, накрывшись однимъ и тѣмъ же шелковымъ платкомъ: я долженъ былъ сказать ей *свой секретъ*. Помню я, какъ наши обѣ головы *вдругъ очутились* въ душной, полупрозрачной, пахучей

мглѣ, какъ въ этой мглѣ близко и мягко свѣтились ея глаза и горячо дышали раскрытыя губы, и зубы виднѣлись, и концы ея волосъ меня щекотали и жгли. Я молчалъ. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконецъ шепнула мнѣ: ну, что же? а я только краснѣлъ и смѣялся, и отворачивался, и едва переводилъ духъ. Фанты наскучили намъ, — мы стали играть въ веревочку. Боже мой! какой я почувствовалъ восторгъ, когда, зазѣвавшись, получилъ отъ ней сильный и рѣзкій ударъ по пальцамъ, и какъ потомъ я нарочно старался показывать видъ, что зазѣвываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемыхъ рукъ!

Да то ли мы еще продѣлывали въ теченіе этого вечера! Мы и на фортепіано играли, и пѣли, и танцовали, и представляли цыганскій таборъ. Нирмацкаго одѣли медвѣдемъ и напоили водою съ солью. Графъ Малевскій показывалъ намъ разные карточные фокусы и кончилъ тѣмъ, что, перетасовавши карты, сдалъ себѣ въ вистъ всѣ козыри, съ чѣмъ Лушинъ „имѣлъ честь его поздравить". Майдановъ декламировалъ намъ отрывки изъ поэмы своей „Убійца". (дѣло происходило въ самомъ разгарѣ романтизма), которую онъ намѣревался издать въ черной оберткѣ, съ заглавными буквами кроваваго цвѣта; у приказнаго отъ Иверскихъ воротъ украли съ колѣнъ шапку и заставили его, въ видѣ выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатія нарядили въ чепецъ,—а княжна надѣла мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Одинъ Бѣловзоровъ все больше держался въ углу, нахмуренный и сердитый... Иногда глаза его наливались кровью, онъ весь краснѣлъ и, казалось, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ ринется на всѣхъ насъ и расшвыряетъ насъ, какъ щепки, во всѣ стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцемъ, и онъ снова забивался въ свой уголъ.

Мы, наконецъ, выбились изъ силъ. Княгиня ужъ на что была, какъ сама выражалась, ходка — никакіе крики ее не смущали—однако, и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Въ двѣнадцатомъ часу ночи подали ужинъ, состоявшій *изъ куска* стараго, сухого сыру и

какихъ-то холодныхъ пирожковъ съ рубленой ветчиной, которые мнѣ показались вкуснѣе всякихъ паштетовъ; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, съ раздутымъ горлышкомъ, и вино въ ней отдавало розовой краской: впрочемъ, его никто не пилъ. Усталый и счастливый до изнеможенія, я вышелъ изъ флигеля: на прощанье Зинаида мнѣ крѣпко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.

Ночь тяжело и сыро пахнула мнѣ въ разгоряченное лицо; казалось готовилась гроза; черныя тучи росли и ползли по небу, видимо мѣняя свои дымныя очертанія. Вѣтерокъ безпокойно содрогался въ темныхъ деревьяхъ, и гдѣ-то, далеко за небосклономъ, словно про себя, ворчалъ громъ сердито и глухо.

Черезъ заднее крыльцо пробрался я въ свою комнату. Дядька мой спалъ на полу и мнѣ пришлось перешагнуть черезъ него; онъ проснулся, увидалъ меня и доложилъ, что матушка опять на меня разсердилась и опять хотѣла послать за мною, но что отецъ ее удержалъ. (Я никогда не ложился спать, не простившись съ матушкой и не испросивши ея благословенія.) Нечего было дѣлать!

Я сказалъ дядькѣ, что раздѣнусь и лягу самъ — и погасилъ свѣчку. Но я не раздѣлся и не легъ.

Я присѣлъ на стулъ и долго сидѣлъ, какъ очарованный. То, что я ощущалъ, было такъ ново и такъ сладко... Я сидѣлъ, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышалъ и только по временамъ то молча смѣялся, вспоминая, то внутренно холодѣлъ при мысли, что я влюбленъ, что вотъ она, вотъ эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мракѣ—плыло и не проплывало; губы ея все такъ же загадочно улыбались, глаза глядѣли на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нѣжно... какъ въ то мгновеніе, когда я разстался съ ней. Наконецъ, я всталъ, на цыпочкахъ подошелъ къ своей постели и осторожно, не раздѣваясь, положилъ голову на подушку, какъ бы страшась рѣзкимъ движеніемъ потревожить то, чѣмъ я былъ переполненъ...

Я легъ, но даже глазъ не закрылъ. Скоро я замѣтилъ,

что ко мнѣ въ комнату безпрестанно западали какіе-то слабые отсвѣты... Я приподнялся и глянулъ въ окно. Переплетъ его четко отдѣлялся отъ таинственно и смутно бѣлѣвшихъ стеколъ. Гроза,—подумалъ я;—и точно была гроза, но она проходила очень далеко, такъ что и грома не было слышно; только на небѣ непрерывно вспыхивали неяркія, длинныя, словно развѣтвленныя, молніи: онѣ не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, какъ крыло умирающей птицы. Я всталъ, подошелъ къ окну и простоялъ тамъ до утра... Молніи не прекращались ни на мгновеніе; была, что называется въ народѣ, *воробьиная* ночь. Я глядѣлъ на нѣмое песчаное поле, на темную массу Нескучнаго сада, на желтоватые фасады далекихъ зданій, тоже какъ будто вздрагивавшихъ при каждой слабой вспышкѣ... Я глядѣлъ — и не могъ оторваться: эти нѣмыя молніи, эти сдержанныя блистанія, казалось, отвѣчали тѣмъ нѣмымъ и тайнымъ порывамъ, которые вспыхивали также во мнѣ. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. Съ приближеніемъ солнца все блѣднѣли и сокращались молніи: онѣ вздрагивали все рѣже и рѣже, и исчезли, наконецъ, затопленныя отрезвляющимъ и несомнительнымъ свѣтомъ возникавшаго дня...

И во мнѣ исчезли мои молніи. Я почувствовалъ большую усталость и тишину... но образъ Зинаиды продолжалъ носиться, торжествуя, надъ моей душой. Только онъ самъ, этотъ образъ, казался успокоеннымъ: какъ полетѣвшій лебедь — отъ болотныхъ травъ, отдѣлился онъ отъ окружавшихъ его другихъ неблаговидныхъ фигуръ, и я, засыпая, въ послѣдній разъ припалъ къ нему съ прощальнымъ и довѣрчивымъ обожаніемъ...

О, кроткія чувства, мягкіе звуки, доброта и утиханіе тронутой души, тающая радость первыхъ умиленій любви,— гдѣ вы, гдѣ вы?

VIII

На слѣдующее утро, когда я сошелъ къ чаю, матушка побранила *меня — меньше, однако,* чѣмъ я ожидалъ, — и

заставила меня разсказать, какъ я провелъ наканунѣ вечеръ. Я отвѣчалъ ей въ немногихъ словахъ, выпуская многія подробности и стараясь придать всему видъ самый невинный.

— Все-таки, они люди не comme il faut, — замѣтила матушка: — и тебѣ нечего къ нимъ таскаться, вмѣсто того, чтобъ готовиться къ экзамену, да заниматься.

Такъ какъ я зналъ, что заботы матушки о моихъ занятіяхъ ограничатся этими немногими словами, то я и не почелъ нужнымъ возражать ей; но послѣ чаю отецъ меня взялъ подъ руку и, отправившись вмѣстѣ со мною въ садъ, заставилъ меня разсказать все, что̀ я видѣлъ у Засѣкиныхъ.

Странное вліяніе имѣлъ на меня отецъ — и странныя были наши отношенія. Онъ почти не занимался моимъ воспитаніемъ, но никогда не оскорблялъ меня; онъ уважалъ мою свободу — онъ даже былъ, если можно такъ выразиться, вѣжливъ со мною... только онъ не допускалъ меня до себя. Я любилъ его, я любовался имъ, онъ казался мнѣ образцомъ мужчины—и, Боже мой, какъ бы я страстно къ нему привязался, если бъ я постоянно не чувствовалъ его отклоняющей руки! Зато, когда онъ хотѣлъ, онъ умѣлъ почти мгновенно, однимъ словомъ, однимъ движеніемъ возбудить во мнѣ неограниченное довѣріе къ себѣ. Душа моя раскрывалась — я болталъ съ нимъ, какъ съ разумнымъ другомъ, какъ съ снисходительнымъ наставникомъ... потомъ онъ такъ же внезапно покидалъ меня — и рука его опять отклоняла меня — ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда онъ готовъ былъ рѣзвиться и шалить со мной, какъ мальчикъ (онъ любилъ всякое сильное тѣлесное движеніе); разъ — всего только разъ!—онъ приласкалъ меня съ такою нѣжностью, что я чуть не заплакалъ... Но и веселость его, и нѣжность исчезали безъ слѣда—и то, что происходило между нами, не давало мнѣ никакихъ надеждъ на будущее—точно я все это во снѣ видѣлъ. Бывало, стану я разсматривать его умное, красивое, свѣтлое лицо... сердце мое

задрожитъ, и все существо мое устремится къ нему... онъ словно почувствуетъ, что̀ во мнѣ происходитъ, мимоходомъ потреплетъ меня по щекѣ — и либо уйдетъ, либо займется чѣмъ-нибудь, либо вдругъ весь застынетъ, какъ онъ одинъ умѣлъ застывать, и я тотчасъ же сожмусь и тоже похолодѣю. Рѣдкіе припадки его расположенія ко мнѣ никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впослѣдствіи о характерѣ моего отца, я пришелъ къ тому заключенію, что ему было не до меня и не до семейной жизни; онъ любилъ другое и насладился этимъ другимъ вполнѣ. „Самъ бери, что̀ можешь, а въ руки не давайся; самому себѣ принадлежать — въ этомъ вся штука жизни“,—сказалъ онъ мнѣ однажды. Въ другой разъ, я, въ качествѣ молодого демократа, пустился въ его присутствіи разсуждать о свободѣ (онъ въ тотъ день былъ, какъ я это называлъ, „добрый“; тогда съ нимъ можно было говорить о чемъ угодно). — Свобода,— повторилъ онъ: — а знаешь ли ты, что̀ можетъ человѣку дать свободу?

— Что?

— Воля, собственная воля, и власть она дастъ, которая лучше свободы. Умѣй хотѣть—и будешь свободнымъ, и командовать будешь.

Отецъ мой прежде всего и больше всего хотѣлъ жить— и жилъ... Быть-можетъ, онъ предчувствовалъ, что ему не придется долго пользоваться „штукой“ жизни: онъ умеръ сорока двухъ лѣтъ.

Я подробно разсказалъ отцу мое посѣщеніе у Засѣкиныхъ. Онъ полувнимательно, полуразсѣянно слушалъ меня, сидя на скамьѣ и рисуя концомъ хлыстика на пескѣ. Онъ изрѣдка посмѣивался, какъ-то свѣтло и забавно поглядывалъ на меня и подзадоривалъ меня короткими вопросами и возраженіями. Я сперва не рѣшался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и началъ превозносить ее. Отецъ все продолжалъ посмѣиваться. Потомъ онъ задумался, потянулся и всталъ.

Я вспомнилъ, что, выходя изъ дома, онъ велѣлъ осѣд-

лать себѣ лошадь. Онъ былъ отличный ѣздокъ — и умѣлъ, гораздо раньше г. Рери, укрощать самыхъ дикихъ лошадей.

— Я съ тобой поѣду, папаша?—спросилъ я его.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ, и лицо его приняло обычное, равнодушно-ласковое выраженіе. — Ступай одинъ, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поѣду.

Онъ повернулся ко мнѣ спиной и быстро удалился. Я слѣдилъ за нимъ глазами — онъ скрылся за воротами. Я видѣлъ, какъ его шляпа двигалась вдоль забора: онъ вошелъ къ Засѣкинымъ.

Онъ остался у нихъ не болѣе часа, но тотчасъ же отправился въ городъ и вернулся домой только къ вечеру.

Послѣ обѣда я самъ пошелъ къ Засѣкинымъ. Въ гостиной я засталъ одну старуху-княгиню. Увидѣвъ меня, она почесала себѣ въ головѣ подъ чепцомъ концомъ спицы и вдругъ спросила меня: могу ли я переписать ей одну просьбу.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ я, и присѣлъ на кончикъ стула.

— Только смотрите, покрупнѣе буквы ставьте, — промолвила княгиня, подавая мнѣ измаранный листъ: — да нельзя ли сегодня, батюшка?

— Сегодня же перепишу-съ.

Дверь изъ сосѣдней комнаты чуть-чуть отворилась — и въ отверстіи показалось лицо Зинаиды — блѣдное, задумчивое, съ небрежно откинутыми назадъ волосами: она посмотрѣла на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

— Зина,—а Зина!—проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унесъ просьбу старухи и цѣлый вечеръ просидѣлъ надъ ней.

IX.

Моя „страсть“ началась съ того дня. Я помнится, почувствовалъ тогда нѣчто подобное тому, что долженъ почувствовать человѣкъ, поступившій на службу: я уже *пересталъ быть* просто молодымъ мальчикомъ; я былъ

влюбленный. Я сказалъ, что съ того дня началась моя страсть; я бы могъ прибавить, что и страданія мои начались съ того же самаго дня. Я изнывалъ въ отсутствіи Зинаиды: ничего мнѣ на умъ не шло, все изъ рукъ валилось, я по цѣлымъ днямъ напряженно думалъ о ней... Я изнывалъ... но въ ея присутствіи мнѣ становилось не легче. Я ревновалъ, я сознавалъ свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболѣпствовалъ—и, все-таки, непреодолимая сила влекла меня къ ней—и я всякій разъ съ невольной дрожью счастья переступалъ порогъ ея комнаты. Зинаида тотчасъ же догадалась, что я въ нее влюбился, да я и не думалъ скрываться; она потѣшалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственнымъ источникомъ, самовластной и безотвѣтной причиной величайшихъ радостей и глубочайшаго горя для другого—а я въ рукахъ Зинаиды былъ какъ мягкій воскъ. Впрочемъ, не я одинъ влюбился въ нее; всѣ мужчины, посѣщавшіе ея домъ, были отъ нея безъ ума—и она ихъ всѣхъ держала на привязи—у своихъ ногъ. Ее забавляло возбуждать въ нихъ то надежды, то опасенія, вертѣть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей другъ о друга)—а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всемъ ея существѣ, живучемъ и красивомъ, была какая-то особенно обаятельная смѣсь хитрости и безпечности, искусственности и простоты, тишины и рѣзвости; надъ всѣмъ, что она дѣлала, говорила, надъ каждымъ ея движеніемъ носилась тонкая, легкая прелесть, во всемъ сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ея безпрестанно мѣнялось, играло тоже: оно выражало, почти въ одно и то же время,—насмѣшливость, задумчивость и страстность. Разнообразнѣйшія чувства, легкія, быстрыя, какъ тѣни облаковъ въ солнечный вѣтреный день, перебѣгали то-и-дѣло по ея глазамъ и губамъ.

Каждый изъ ея поклонниковъ былъ ей нуженъ. Бѣловзоровъ, котораго она иногда называла „мой звѣрь“, а иногда просто „мой“ — охотно кинулся бы за нее въ огонь; не надѣясь *на свои умственныя* способности и

прочія достоинства, онъ все предлагалъ ей жениться на ней, намекая на то, что другіе только болтаютъ. Майдановъ отвѣчалъ поэтическимъ струнамъ ея души: человѣкъ довольно холодный, какъ почти всѣ сочинители, онъ напряженно увѣрялъ ее, а можетъ-быть и себя, что онъ ее обожаетъ, воспѣвалъ ее въ нескончаемыхъ стихахъ и читалъ ихъ ей съ какимъ-то и неестественнымъ, и искреннимъ восторгомъ. Она и сочувствовала ему, и чуть-чуть трунила надъ нимъ; она плохо ему вѣрила и, наслушавшись его изліяній, заставляла его читать Пушкина, чтобы, какъ она говорила, очистить воздухъ. Лушинъ, насмѣшливый, циническій на словахъ докторъ, зналъ ее лучше всѣхъ—и любилъ ее больше всѣхъ, хотя бранилъ ее за глаза и въ глаза. Она его уважала, но не спускала ему — и подчасъ, съ особеннымъ, злораднымъ удовольствіемъ давала ему чувствовать, что и онъ у ней въ рукахъ. „Я кокетка, я безъ сердца, я актерская натура,— сказала она ему однажды въ моемъ присутствіи: — а, хорошо! такъ подайте-жъ вашу руку, я воткну въ нее булавку, вамъ будетъ стыдно этого молодого человѣка, вамъ будетъ больно, а все-таки вы, г-нъ правдивый человѣкъ, извольте смѣяться". Лушинъ покраснѣлъ, отворотился, закусилъ губы, но кончилъ тѣмъ, что подставилъ руку. Она его уколола, и онъ точно началъ смѣяться... и она смѣялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему въ глаза, которыми онъ напрасно бѣгалъ по сторонамъ...

Хуже всего я понималъ отношенія, существовавшія между Зинаидой и графомъ Малевскимъ. Онъ былъ хорошъ собою, ловокъ и уменъ, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось въ немъ даже мнѣ, шестнадцатилѣтнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замѣчаетъ. А можетъ-быть, она и замѣчала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитаніе, странныя знакомства и привычки, постоянное присутствіе матери, бѣдность и безпорядокъ въ домѣ, все, начиная съ самой свободы, которою пользовалась молодая дѣвушка, съ сознанія ея превосходства надъ окружавшими ее людьми, раз-

вило въ ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится—придетъ ли Вонифатій доложить что сахару нѣтъ, выйдетъ ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости—она только кудрями встряхнетъ, скажетъ: пустяки! — и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевскій подойдетъ къ ней, хитро покачиваясь, какъ лиса, изящно обопрется на спинку ея стула и начнетъ шептать ей на ухо съ самодовольной и заискивающей улыбочкой,— а она скреститъ руки на груди, внимательно глядитъ на него, и сама улыбается, и качаетъ головой.

— Что вамъ за охота принимать г. Малевскаго?—спросилъ я ее однажды.

— А у него такіе прекрасные усики,—отвѣчала она.— Да это не по вашей части.

— Вы не думаете ли, что я его люблю,—сказала она мнѣ въ другой разъ.—Нѣтъ; я такихъ любить не могу, на которыхъ мнѣ приходится глядѣть сверху внизъ. Мнѣ надобно такого, который самѣ бы меня сломилъ... Да я на такого не наткнусь, Богъ милостивъ! Не попадусь никому въ лапы, ни-ни!

— Стало-быть, вы никогда не полюбите?

— А васъ-то? Развѣ я васъ не люблю?—сказала она, и ударила меня по носу концомъ перчатки.

Да, Зинаида очень потѣшалась надо мною. Въ теченіе трехъ недѣль я ее видѣлъ каждый день — и чего, чего она со мной не выдѣлывала! Къ намъ она ходила рѣдко, и я объ этомъ не сожалѣлъ: въ нашемъ домѣ она превращалась въ барышню, въ княжну,—и я ея дичился. Я боялся выдать себя передъ матушкой; она очень не благоволила къ Зинаидѣ, и непріязненно наблюдала за нами. Отца я не такъ боялся: онъ словно не замѣчалъ меня, а съ ней говорилъ мало, но какъ-то особенно умно и значительно. Я пересталъ работать, читать — я даже пересталъ гулять по окрестностямъ, ѣздить верхомъ. Какъ привязанный за ножку жукъ, я кружился постоянно вокругъ любимаго *флигелька:* казалось, остался бы тамъ

навсегда... но это было невозможно, матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя въ комнатѣ или уходилъ на самый конецъ сада, взбирался на уцѣлѣвшую развалину высокой каменной оранжереи и, свѣсивъ ноги со стѣны, выходившей на дорогу, сидѣлъ по часамъ и глядѣлъ, глядѣлъ, ничего не видя. Возлѣ меня, по запыленной крапивѣ, лѣниво перепархивали бѣлыя бабочки; бойкій воробей садился недалеко на полусломанномъ, красномъ кирпичѣ и раздражительно чирикалъ, безпрестанно поворачиваясь всѣмъ тѣломъ и распустивъ хвостикъ; все еще недовѣрчивыя вороны изрѣдка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушкѣ березы; солнце и вѣтеръ тихо играли въ ея жидкихъ вѣткахъ; звонъ колоколовъ Донского монастыря прилеталъ по временамъ спокойный и унылый,— а я сидѣлъ, глядѣлъ, слушалъ—и наполнялся весь какимъ-то безыменнымъ ощущеніемъ, въ которомъ было все: и грусть, и радость, и предчувствіе будущаго, и желаніе, и страхъ жизни. Но я тогда ничего этого не понималъ и ничего бы не сумѣлъ назвать изъ всего того, что̀ во мнѣ бродило,—или бы назвалъ это все однимъ именемъ—именемъ Зинаиды.

А Зинаида все играла со мной, какъ кошка съ мышью. Она то кокетничала со мной—и я волновался и таялъ— то она вдругъ меня отталкивала—и я не смѣлъ приблизиться къ ней, не смѣлъ взглянуть на нее.

Помнится, она нѣсколько дней сряду была очень холодна со мною, я совсѣмъ заробѣлъ и, трусливо забѣгая къ нимъ во флигель, старался держаться около старухи княгини, несмотря на то, что она очень бранилась и кричала именно въ это время: ея вексельныя дѣла шли плохо, и она уже имѣла два объясненія съ квартальнымъ.

Однажды я проходилъ въ саду мимо извѣстнаго забора—и увидѣлъ Зинаиду: подпершись обѣими руками, она сидѣла на травѣ и не шевелилась. Я хотѣлъ-было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сдѣлала мнѣ повелительный знакъ. Я замеръ на мѣстѣ: я не

понялъ ея съ перваго раза. Она повторила свой знакъ. Я немедленно перескочилъ черезъ заборъ и радостно подбѣжалъ къ ней; но она остановила меня взглядомъ и указала мнѣ на дорожку въ двухъ шагахъ отъ нея. Въ смущеніи, не зная, что дѣлать, я сталъ на колѣни на краю дорожки. Она до того была блѣдна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась въ каждой ея чертѣ, что сердце у меня сжалось и я невольно пробормоталъ: что съ вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подальше.

— Вы меня очень любите? — спросила она наконецъ.—Да?

Я ничего не отвѣчалъ, — да и зачѣмъ мнѣ было отвѣчать?

— Да,—повторила она, попрежнему глядя на меня.— Это такъ. Такіе же глаза,—прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками.—Все мнѣ опротивѣло,—прошептала она:—ушла бы я на край свѣта, не могу я это вынести, не могу сладить... И что ждетъ меня впереди!.. Ахъ, мнѣ тяжело... Боже мой, какъ тяжело!

— Отчего?—спросилъ я робко.

Зинаида мнѣ не отвѣчала и только пожала плечами. Я продолжалъ стоять на колѣняхъ и съ глубокимъ уныніемъ глядѣлъ на нее. Каждое ея слово такъ и врѣзалось мнѣ въ сердце. Въ это мгновенье я, кажется, охотно бы отдалъ жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядѣлъ на нее— и, все-таки, не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображалъ себѣ, какъ она вдругъ, въ припадкѣ неудержимой печали, ушла въ садъ—и упала на землю, какъ подкошенная.—Кругомъ было и свѣтло, и зелено; вѣтеръ шелестилъ въ листьяхъ деревьевъ, изрѣдка качая длинную вѣтку малины надъ головой Зинаиды. Гдѣ-то ворковали голуби—и пчелы жужжали, низко перелетывая по рѣдкой травѣ. Сверху ласково синѣло небо—а мнѣ было такъ грустно...

— Прочтите мнѣ какіе-нибудь стихи, — промолвила вполголоса *Зинаида и опершись* на локоть. — Я люблю,

когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мнѣ: „На холмахъ Грузіи“. — Только сядьте сперва.

Я сѣлъ и прочелъ: „На холмахъ Грузіи“.

— „Что не любить оно не можетъ“, — повторила Зинаида. — Вотъ, чѣмъ поэзія хороша: она говоритъ намъ то, чего нѣтъ, и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду... Что не любить оно не можетъ — и хотѣло бы, да не можетъ! — Она опять умолкла и вдругъ встрепенулась и встала. — Пойдемте. У мамаши сидитъ Майдановъ; онъ мнѣ принесъ свою поэму, а я его оставила. Онъ также огорченъ теперь... что дѣлать! вы когда-нибудь узнаете... только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мнѣ руку, и побѣжала впередъ. Мы вернулись во флигель. Майдановъ принялся читать намъ своего только-что отпечатаннаго „Убійцу“, но я не слушалъ его. Онъ выкрикивалъ нараспѣвъ свои четырехъ-стопные ямбы, риѳмы чередовались и звенѣли какъ бубенчики, пусто и громко, а я все глядѣлъ на Зинаиду и все старался понять значеніе ея послѣднихъ словъ.

„Иль, можетъ-быть, соперникъ тайный
Тебя нежданно покорилъ?“

воскликнулъ вдругъ въ носъ Майдановъ—и мои глаза и глаза Зинаиды встрѣтились. Она опустила ихъ и слегка покраснѣла. Я увидалъ, что она покраснѣла, и похолодѣлъ отъ испуга. Я уже прежде ревновалъ къ ней, но только въ это мгновеніе мысль о томъ, что она полюбила, сверкнула у меня въ головѣ. „Боже мой! она полюбила!“

X.

Настоящія мои терзанія начались съ того мгновенія. Я ломалъ себѣ голову, раздумывалъ, передумывалъ,—и неотступно, хотя по мѣрѣ возможности скрытно, наблюдалъ за Зинаидой. Въ ней произошла перемѣна—это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда *она гостямъ* не показывалась; по цѣлымъ часамъ сидѣла

у себя въ комнатѣ. Прежде этого за ней не водилось. Я вдругъ сдѣлался,—или мнѣ показалось, что я сдѣлался—чрезвычайно проницателенъ. „Не онъ ли? или ужъ не онъ ли?“ спрашивалъ я самого себя, тревожно перебѣгая мыслью отъ одного ея поклонника къ другому. Графъ Малевскій (хоть я и стыдился за Зинаиду въ этомъ сознаться) втайнѣ казался мнѣ опаснѣе другихъ.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вѣроятно, никого не обманула; по крайней мѣрѣ, докторъ Лушинъ скоро меня раскусилъ. Впрочемъ, и онъ измѣнился въ послѣднее время: онъ похудѣлъ, смѣялся такъ же часто, но какъ-то глуше, злѣе и короче—невольная, нервическая раздражительность смѣнила въ немъ прежнюю легкую иронію и напущенный цинизмъ.

— Что вы это безпрестанно таскаетесь сюда, молодой человѣкъ,—сказалъ онъ мнѣ однажды, оставшись со мною въ гостиной Засѣкиныхъ. (Княжна еще не возвращалась съ прогулки, а крикливый голосъ княгини раздавался въ мезонинѣ: она бранилась съ своей горничной.)—Вамъ бы надобно учиться, работать — пока вы молоды—а вы что̀ дѣлаете?

— Вы не можете знать, работаю ли я дома, — возразилъ я ему не безъ надменности, но и не безъ замѣшательства.

— Какая ужъ тутъ работа! у васъ не то на умѣ. Ну, я не спорю... въ ваши годы это въ порядкѣ вещей. Да выборъ-то вашъ больно не удаченъ. Развѣ вы не видите, что это за домъ?

— Я васъ не понимаю,—замѣтилъ я.

— Не понимаете? тѣмъ хуже для васъ. Я считаю долгомъ предостеречь васъ. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что̀ намъ дѣлается? мы народъ прокаленный, насъ ничѣмъ не проберешь, а у васъ кожица еще нѣжная; здѣсь для васъ воздухъ вредный — повѣрьте мнѣ, заразиться можете.

— Какъ такъ?

— Да такъ *же. Развѣ вы здоровы* теперь? Развѣ вы

въ нормальномъ положеніи? Развѣ то, что̀ вы чувствуете— полезно вамъ, хорошо?

— Да что̀ же я чувствую?—сказалъ я, а самъ въ душѣ сознавалъ, что докторъ правъ.

— Эхъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ, — продолжалъ докторъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто въ этихъ двухъ словахъ заключалось что-то для меня весьма обидное: — гдѣ вамъ хитрить, вѣдь у васъ еще, слава Богу, что̀ на душѣ, то и на лицѣ. А впрочемъ, что толковать? Я бы и самъ сюда не ходилъ, если бъ... (докторъ стиснулъ зубы)... если бъ я не былъ такой же чудакъ. Только вотъ чему я удивляюсь: какъ вы, съ вашимъ умомъ, не видите, что̀ дѣлается вокругъ васъ?

— А что̀ же такое дѣлается? — подхватилъ я, и весь насторожился.

Докторъ посмотрѣлъ на меня съ какимъ-то насмѣшливымъ сожалѣніемъ.

— Хорошъ же и я, — промолвилъ онъ, словно про себя:—очень нужно это ему говорить. Однимъ словомъ, — прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ:—повторяю вамъ: здѣшняя атмосфера вамъ не годится. Вамъ здѣсь пріятно, да мало чего нѣтъ! и въ оранжереѣ тоже пріятно пахнетъ— да жить въ ней нельзя. Эй! послушайтесь, возьмитесь опять за Кайданова.

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потомъ явилась Зинаида.

— Вотъ,—прибавила княгиня: — г. докторъ, побраните-ка ее. Цѣлый день пьетъ воду со льдомъ; развѣ ей это здорово, при ея слабой груди?

— Зачѣмъ вы это дѣлаете?—спросилъ Лушинъ.

— А что изъ этого можетъ выйти?

— Что? вы можете простудиться и умереть.

— Въ самомъ дѣлѣ? Неужели? Ну, что̀ жъ — туда и дорога!

— Вотъ какъ!—проворчалъ докторъ. Княгиня ушла.

— Вотъ какъ,—повторила Зинаида.—Развѣ жить такъ весело? оглянитесь-ка кругомъ... Что̀ — хорошо? Или вы *думаете, что я этого* не понимаю, не чувствую? Мнѣ до-

ставляетъ удовольствіе—пить воду со льдомъ, и вы серьезно можете увѣрять меня, что такая жизнь стоитъ того, чтобъ не рискнуть ею за мигъ удовольствія — я уже о счастіи не говорю.

— Ну, да,—замѣтилъ Лушинъ: — капризъ и независимость... Эти два слова васъ исчерпываютъ: вся ваша натура въ этихъ двухъ словахъ.

Зинаида нервически засмѣялась.

— Опоздали почтой, любезный докторъ. Наблюдаете плохо; отстаете.—Надѣньте очки.—Не до капризовъ мнѣ теперь; васъ дурачить, себя дурачить... куда какъ весело!—а что до независимости... Мсьё Вольдемаръ,—прибавила вдругъ Зинаида и топнула ножкой:—не дѣлайте меланхолической физіономіи. Я терпѣть не могу, когда обо мнѣ сожалѣютъ.—Она быстро удалилась.

— Вредна, вредна вамъ здѣшняя атмосфера, молодой человѣкъ,—еще разъ сказалъ мнѣ Лушинъ.

XI.

Вечеромъ того же дня собрались у Засѣкиныхъ обычные гости; я былъ въ ихъ числѣ.

Разговоръ зашелъ о поэмѣ Майданова; Зинаида чистосердечно ее хвалила. — Но знаете ли что? — сказала она ему:—если бъ я была поэтомъ—я бы другіе брала сюжеты. Можетъ-быть, все это вздоръ, — но мнѣ иногда приходятъ въ голову странныя мысли, особенно когда я не сплю, передъ утромъ, когда небо начинаетъ становиться и розовымъ, и сѣрымъ. — Я бы, напримѣръ... Вы не будете надо мной смѣяться?

— Нѣтъ! нѣтъ!—воскликнули мы всѣ въ одинъ голосъ.

— Я бы представила,—продолжала она, скрестивъ руки на груди и устремивъ глаза въ сторону: — цѣлое общество молодыхъ дѣвушекъ, ночью, въ большой лодкѣ—на тихой рѣкѣ. Луна свѣтитъ, а онѣ всѣ въ бѣломъ и въ вѣнкахъ изъ бѣлыхъ цвѣтовъ, и поютъ, знаете, что-нибудь въ родѣ гимна.

— Понимаю, понимаю, продолжайте, — значительно и мечтательно *промолвилъ Майдановъ*.

— Вдругъ—шумъ, хохотъ, факелы, бубны на берегу... Это толпа вакханокъ бѣжитъ, съ пѣснями, съ крикомъ. Ужъ тутъ ваше дѣло нарисовать картину, господинъ поэтъ... только я бы хотѣла, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобъ глаза у вакханокъ блестѣли подъ вѣнками, а вѣнки должны быть темные. Не забудьте также тигровыхъ кожъ и чашъ—и золота, много золота.

— Гдѣ же должно быть золото?—спросилъ Майдановъ, откидывая назадъ свои плоскіе волосы и расширяя ноздри.

— Гдѣ? на плечахъ, на рукахъ, на ногахъ, вездѣ. Говорятъ, въ древности женщины золотыя кольца носили на щиколоткахъ. Вакханки зовутъ къ себѣ дѣвушекъ въ лодкѣ. Дѣвушки перестали пѣть свой гимнъ—онѣ не могутъ его продолжать—но онѣ не шевелятся: рѣка подноситъ ихъ къ берегу. И вотъ, вдругъ одна изъ нихъ тихо поднимается... Это надо хорошо описать: какъ она тихо встаетъ при лунномъ свѣтѣ, и какъ ея подруги пугаются... Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали въ ночь, въ темноту... Представьте тутъ дымъ клубами, и все смѣшалось. Только слышится ихъ визгъ, да вѣнокъ ея остался на берегу.

Зинаида умолкла. (О! она полюбила!—подумалъ я опять.)

— И только?—спросилъ Майдановъ.

— Только,—отвѣчала она.

— Это не можетъ быть сюжетомъ для цѣлой поэмы,—важно замѣтилъ онъ:—но для лирическаго стихотворенія я вашей мыслію воспользуюсь.

— Въ романтическомъ родѣ?—спросилъ Малевскій.

— Конечно, въ романтическомъ родѣ, Байроновскомъ.

— А по-моему, Гюго лучше Байрона,—небрежно промолвилъ молодой графъ:—интереснѣе.

— Гюго писатель первоклассный, — возразилъ Майдановъ:—и мой пріятель Тонкошеевъ, въ своемъ испанскомъ романѣ Эль-Тровадоръ...

— Ахъ, это та книга съ опрокинутыми вопросительными знаками?—перебила Зинаида.

— Да. Это такъ принято у испанцевъ. Я хотѣлъ сказать, что Тонкошеевъ...

— Ну! вы опять заспорите о классицизмѣ и романтизмѣ,—вторично перебила его Зинаида.—Давайте лучше играть...

— Въ фанты?—подхватилъ Лушинъ.

— Нѣтъ, въ фанты скучно; а въ сравненья. (Эту игру придумала сама Зинаида: назывался какой-нибудь предметъ, всякій старался сравнить его съ чѣмъ-нибудь, и тотъ, кто подбиралъ лучшее сравненіе, получалъ призъ.) Она подошла къ окну. Солнце только-что сѣло; на небѣ высоко стояли длинныя, красныя облака.

— На что похожи эти облака? — спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего отвѣта, сказала: — я нахожу, что они похожи на тѣ пурпуровые паруса, которые были на золотомъ кораблѣ у Клеопатры, когда она ѣхала навстрѣчу Антонію. Помните, Майдановъ, вы недавно мнѣ объ этомъ разсказывали?

Всѣ мы, какъ Полоній въ „Гамлетѣ", рѣшили, что облака напоминали именно эти паруса, и что лучшаго сравненія никто изъ насъ не пріищетъ.

— А сколько лѣтъ было тогда Антонію? — спросила Зинаида.

— Ужъ навѣрное былъ молодой человѣкъ,— замѣтилъ Малевскій.

— Да, молодой, — увѣрительно подтвердилъ Майдановъ.

— Извините,—воскликнулъ Лушинъ:—ему было за сорокъ лѣтъ.

— За сорокъ лѣтъ,—повторила Зинаида, взглянувъ на него быстрымъ взглядомъ.

Я скоро ушелъ домой. — „Она полюбила", невольно шептали мои губы... „Но кого?"

XII.

Дни проходили. Зинаида становилась все страннѣй, все непонятнѣй. Однажды я вошелъ къ ней и увидѣлъ ее сидящей на соломенномъ стулѣ, съ головой, прижатой къ острому краю стола. Она выпрямилась... все лицо ея было облито *слезами.*

— А! вы! — сказала она съ жестокой усмѣшкой. — Подите-ка сюда.

Я подошелъ къ ней: она положила мнѣ руку на голову и, внезапно ухвативъ меня за волосы, начала крутить ихъ.

— Больно...—проговорилъ я наконецъ.

— А! больно! а мнѣ не больно? не больно? — повторила она.

— Ай!—вскрикнула она вдругъ, увидавъ, что выдернула у меня маленькую прядь волосъ. — Что это я сдѣлала? Бѣдный мсьё Вольдемаръ!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала ихъ вокругъ пальца и свернула ихъ въ колечко.

— Я ваши волосы къ себѣ въ медальонъ положу и носить ихъ буду,—сказала она, а у самой на глазахъ все блестѣли слезы. — Это васъ, быть-можетъ, утѣшитъ немного... а теперь прощайте.

Я вернулся домой и засталъ тамъ непріятность. У матушки происходило объясненіе съ отцомъ: она въ чемъ-то упрекала его, а онъ, по своему обыкновенію, холодно и вѣжливо отмалчивался—и скоро уѣхалъ. Я не могъ слышать, о чемъ говорила матушка, да и мнѣ было не до того; помню только, что, по окончаніи объясненія, она велѣла позвать меня къ себѣ въ кабинетъ и съ большимъ неудовольствіемъ отозвалась о моихъ частыхъ посѣщеніяхъ у княгини, которая, по ея словамъ, была une femme capable de tout. Я подошелъ къ ней къ ручкѣ (это я дѣлалъ всегда, когда хотѣлъ прекратить разговоръ) и ушелъ къ себѣ. Слезы Зинаиды меня совершенно сбили съ толку: я рѣшительно не зналъ, на какой мысли остановиться, и самъ готовъ былъ плакать: я все-таки былъ ребенкомъ, несмотря на мои шестнадцать лѣтъ. Уже я не думалъ болѣе о Малевскомъ, хотя Бѣловзоровъ съ каждымъ днемъ становился все грознѣе и грознѣе и глядѣлъ на увертливаго графа, какъ волкъ на барана; да я ни о чемъ и ни о комъ не думалъ. Я терялся въ соображеніяхъ и все искалъ уединенныхъ мѣстъ. Особенно полюбилъ я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на

высокую стѣну, сяду, и сижу тамъ такимъ несчастнымъ, одинокимъ и грустнымъ юношей, что мнѣ самому становится себя жалко—и такъ мнѣ были отрадны эти горестныя ощущенія, такъ упивался я ими!..

Вотъ, однажды, сижу я на стѣнѣ, гляжу вдаль и слушаю колокольный звонъ... вдругъ что-то пробѣжало по мнѣ—вѣтерокъ не вѣтерокъ и не дрожь, а словно дуновеніе, словно ощущеніе чьей-то близости... Я опустилъ глаза. Внизу, по дорогѣ, въ легкомъ сѣренькомъ платьѣ, съ розовымъ зонтикомъ на плечѣ, поспѣшно шла Зинаида. Она увидѣла меня, остановилась и, откинувъ край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

— Что это вы дѣлаете тамъ, на такой вышинѣ?—спросила она меня съ какой-то странной улыбкой. — Вотъ, — продолжала она:—вы все увѣряете, что вы меня любите—спрыгните ко мнѣ на дорогу, если вы дѣйствительно любите меня.

Не успѣла Зинаида произнести эти слова, какъ я уже летѣлъ внизъ, точно кто подтолкнулъ меня сзади. Въ стѣнѣ было около двухъ саженъ вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчокъ былъ такъ силенъ, что я не могъ удержаться: я упалъ и на мгновенье лишился сознанья. Когда я пришелъ въ себя, я, не раскрывая глазъ, почувствовалъ возлѣ себя Зинаиду. — „Милый мой мальчикъ,—говорила она, наклонясь надо мною—и въ голосѣ ея звучала встревоженная нѣжность: — какъ могъ ты это сдѣлать, какъ могъ ты послушаться... вѣдь я люблю тебя... встань".

Ея грудь дышала возлѣ моей, ея руки касались моей головы, и вдругъ — что̀ сталось со мной тогда! — ея мягкія, свѣжія губы начали покрывать все мое лицо поцѣлуями... онѣ коснулись моихъ губъ... Но тутъ Зинаида, вѣроятно, догадалась, по выраженію моего лица, что я уже пришелъ въ себя, хотя я все глазъ не раскрывалъ, и, быстро приподнявшись, промолвила: — „Ну, вставайте, шалунъ, безумный; что это вы лежите въ пыли?" — Я поднялся.—Подайте мнѣ мой зонтикъ,—сказала Зинаида:— вишь, я его *куда бросила; да не смотрите* на меня такъ...

что за глупости? вы не ушиблись? чай, обожглись въ крапивѣ? Говорятъ вамъ, не смотрите на меня... Да онъ ничего не понимаетъ, не отвѣчаетъ,—прибавила она, словно про себя.—Ступайте домой, мсьё Вольдемаръ, почиститесь, да не смѣйте идти за мной, а то я разсержусь, и уже больше никогда...

Она не договорила своей рѣчи и проворно удалилась, а я присѣлъ на дорогу... ноги меня не держали. Крапива обожгла мнѣ руки, спина ныла и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испыталъ тогда, уже не повторилось въ моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всѣхъ моихъ членахъ и разрѣшилось, наконецъ, восторженными прыжками и восклицаніями. Точно: я былъ еще ребенокъ.

XIII.

Я такъ былъ веселъ и гордъ весь этотъ день, я такъ живо сохранялъ на моемъ лицѣ ощущеніе Зинаидиныхъ поцѣлуевъ, я съ такимъ содроганіемъ восторга вспоминалъ каждое ея слово, я такъ лелѣялъ свое неожиданное счастіе, что мнѣ становилось даже страшно, не хотѣлось даже увидѣть ее, виновницу этихъ новыхъ ощущеній. Мнѣ казалось, что уже больше ничего нельзя требовать отъ судьбы, что теперь бы слѣдовало „взять, вздохнуть хорошенько въ послѣдній разъ, да и умереть". Зато, на слѣдующій день, отправляясь во флигель, я чувствовалъ большое смущеніе, которое напрасно старался скрыть подъ личиною скромной развязности, приличной человѣку, желающему дать знать, что онъ умѣетъ сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, безъ всякаго волненія, только погрозила мнѣ пальцемъ и спросила: нѣтъ ли у меня синихъ пятенъ? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вмѣстѣ съ ними и смущеніе мое. Конечно, я ничего не ожидалъ особеннаго, но спокойствіе Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понялъ, что я дитя въ ея глазахъ—и мнѣ стало очень тяжело! Зинаида ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, всякій разъ быстро улыбалась, какъ только взгля-

дывала на меня; но мысли ея были далеко, я это ясно видѣлъ... „Заговорить самому о вчерашнемъ дѣлѣ, — подумалъ я: — спросить ее, куда она такъ спѣшила, чтобы узнать окончательно...“ но я только махнулъ рукой и присѣлъ въ уголокъ.

Бѣловзоровъ вошелъ; я ему обрадовался.

— Не нашелъ я вамъ верховой лошади, смирной,—заговорилъ онъ суровымъ голосомъ:—Фрейтагъ мнѣ ручается за одну, да я не увѣренъ. Боюсь.

— Чего же вы боитесь,—спросила Зинаида:—позвольте спросить?

— Чего? Вѣдь вы не умѣете ѣздить. Сохрани Богъ, что случится! И что за фантазія пришла вамъ вдругъ въ голову?

— Ну, это мое дѣло, мсьё мой звѣрь. Въ такомъ случаѣ, я попрошу Петра Васильевича... (Моего отца звали Петромъ Васильевичемъ. Я удивился тому, что она такъ легко и свободно упомянула его имя, точно она была увѣрена въ его готовности услужить ей.)

— Вотъ какъ, — возразилъ Бѣловзоровъ. — Вы это съ нимъ хотите ѣздить?

— Съ нимъ или съ другимъ—это для васъ все равно. Только не съ вами.

— Не со мной,—повторилъ Бѣловзоровъ.—Какъ хотите. Что жъ? Я вамъ лошадь доставлю.

— Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я васъ предувѣдомляю, что я хочу скакать.

— Скачите, пожалуй... Съ кѣмъ же это, съ Малевскимъ, что ли, вы поѣдете?

— А почему бы и не съ нимъ, воинъ? Ну, успокойтесь,—прибавила она:—и не сверкайте глазами. Я и васъ возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевскій—фи!— Она тряхнула головой.

— Вы это говорите, чтобы меня утѣшить,—проворчалъ Бѣловзоровъ.

Зинаида прищурилась.—Это васъ утѣшаетъ? О... о... о... воинъ!—сказала она наконецъ, какъ бы не найдя другого слова.—А вы, *мсьё Вольдемаръ*, поѣхали ли бы вы съ нами?

— Я не люблю... въ большомъ обществѣ...—пробормоталъ я, не поднимая глазъ.

— Вы предпочитаете tête-à-tête?.. Ну, вольному воля, спасенному... рай,—промолвила она вздохнувши.—Ступайте же, Бѣловзоровъ, хлопочите. Мнѣ лошадь нужна къ завтрашнему дню.

— Да; а деньги откуда взять?—вмѣшалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

— Я у васъ ихъ не прошу; Бѣловзоровъ мнѣ повѣритъ.

— Повѣритъ, повѣритъ...—проворчала княгиня, и вдругъ во все горло закричала:—Дуняшка!

— Maman, я вамъ подарила колокольчикъ,—замѣтила княжна.

— Дуняшка!—повторила старуха.

Бѣловзоровъ откланялся; я ушелъ вмѣстѣ съ нимъ. Зинаида меня не удерживала.

XIV.

На слѣдующее утро я всталъ рано, вырѣзалъ себѣ палку и отправился за заставу. Пойду, молъ, размыкаю свое горе. День былъ прекрасный, свѣтлый и не слишкомъ жаркій; веселый, свѣжій вѣтеръ гулялъ надъ землею и въ мѣру шумѣлъ и игралъ, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродилъ по горамъ, по лѣсамъ; я не чувствовалъ себя счастливымъ, я вышелъ изъ дому съ намѣреніемъ предаться унынію, — но молодость, прекрасная погода, свѣжій воздухъ, потѣха быстрой ходьбы, нѣга уединеннаго лежанія на густой травѣ—взяли свое: воспоминаніе о тѣхъ незабвенныхъ словахъ, о тѣхъ поцѣлуяхъ, опять втѣснилось мнѣ въ душу. Мнѣ пріятно было думать, что Зинаида не можетъ, однако, не отдать справедливости моей рѣшимости, моему героизму... „Другіе для нея лучше меня,—думалъ я, —пускай! Зато, другіе только скажутъ, что сдѣлаютъ, а я сдѣлалъ! И то ли я въ состояніи еще сдѣлать для нея?“—Воображеніе мое заиграло. Я началъ представлять себѣ, какъ я буду спасать ее изъ рукъ непріятелей, какъ я, весь облитый кровью, исторгну ее изъ *темницы, какъ умру* у ея ногъ. Я вспомнилъ картину,

висѣвшую у насъ въ гостиной: Малекъ-Аделя, уносящаго Матильду — и тутъ же занялся появленіемъ большого пестраго дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и съ безпокойствомъ выглядывалъ изъ-за нея, то направо, то налѣво, точно музыкантъ изъ-за шейки контрабаса.

Потомъ я запѣлъ: „Не бѣлы снѣги", и свелъ на извѣстный въ то время романсъ: „Я жду тебя, когда зефиръ игривый"; потомъ я началъ громко читать обращеніе Ермака къ звѣздамъ изъ трагедіи Хомякова; попытался-было сочинить что-нибудь въ чувствительномъ родѣ, придумалъ даже строчку, которой должно было заканчиваться все стихотвореніе: „о, Зинаида! Зинаида!" но ничего не вышло. Между тѣмъ, наступало время обѣда. Я спустился въ долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела въ городъ. Я пошелъ по этой дорожкѣ... Глухой стукъ лошадиныхъ копытъ раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снялъ фуражку: я увидѣлъ моего отца и Зинаиду. Они ѣхали рядомъ. Отецъ говорилъ ей что-то, перегнувшись къ ней всѣмъ станомъ и опершись рукою на шею лошади; онъ улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустивъ глаза и сжавши губы. Я сперва увидалъ ихъ однихъ; только черезъ нѣсколько мгновеній, изъ-за поворота долины, показался Бѣловзоровъ, въ гусарскомъ мундирѣ съ ментикомъ, на опѣненномъ вороном конѣ. Добрый конь моталъ головою, фыркалъ и плясалъ: всадникъ и сдерживалъ его, и шпорилъ. Я посторонился. Отецъ подобралъ поводья, отклонился отъ Зинаиды, она медленно подняла на него глаза — и оба поскакали... Бѣловзоровъ промчался вслѣдъ за ними, гремя саблей. „Онъ красенъ, какъ ракъ, — подумалъ я, — а она... Отчего она такая блѣдная? ѣздила верхомъ цѣлое утро — и блѣдная?"

Я удвоилъ шаги и поспѣлъ домой передъ самымъ обѣдомъ. Отецъ уже сидѣлъ, переодѣтый, вымытый и свѣжій, возлѣ матушкинаго кресла и читалъ ей своимъ ровнымъ и звучнымъ голосомъ фельетонъ „Journal des Débats"; *но матушка слушала* его безъ вниманія и, уви-

давши меня, спросила, гдѣ я пропадалъ цѣлый день, и прибавила, что не любитъ, когда таскаются Богъ знаетъ гдѣ и Богъ знаетъ съ кѣмъ. Да я гулялъ одинъ, хотѣлъ-было я отвѣтить, но посмотрѣлъ на отца и почему-то промолчалъ.

XV.

Въ теченіе слѣдующихъ пяти, шести дней я почти не видѣлъ Зинаиды: она сказывалась больною, что̀ не мѣшало, однако, обычнымъ посѣтителямъ флигеля являться—какъ они выражались—на свое дежурство—всѣмъ, кромѣ Майданова, который тотчасъ падалъ духомъ и скучалъ, какъ только не имѣлъ случая восторгаться. Бѣловзоровъ сидѣлъ угрюмо въ углу, весь застегнутый и красный; на тонкомъ лицѣ графа Малевскаго постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; онъ, дѣйствительно, впалъ въ немилость у Зинаиды и съ особеннымъ стараньемъ подслуживался старой княгинѣ, ѣздилъ съ ней въ ямской каретѣ къ генералъ-губернатору. Впрочемъ, эта поѣздка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже непріятность: ему напомнили какую-то исторію съ какими-то путейскими офицерами—и онъ долженъ былъ, въ объясненіяхъ своихъ, сказать, что былъ тогда неопытенъ. Лушинъ пріѣзжалъ раза по два въ день, но оставался недолго; я немножко боялся его послѣ нашего послѣдняго объясненія и, въ то же время, чувствовалъ къ нему искреннее влеченіе. Онъ однажды пошелъ гулять со мною по Нескучному саду, былъ очень добродушенъ и любезенъ, сообщалъ мнѣ названія и свойства разныхъ травъ и цвѣтовъ, и вдругъ, какъ говорится — ни къ селу, ни къ городу—воскликнулъ, ударивъ себя по лбу: „а я, дуракъ, думалъ, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко—для иныхъ“.

— Что вы хотите этимъ сказать?—спросилъ я.

— Вамъ я ничего не хочу сказать,—отрывисто возразилъ Лушинъ.

Меня Зинаида избѣгала: мое появленіе — я не могъ *этого не замѣтить* — производило на нее впечатлѣніе не-

пріятное. Она невольно отворачивалась отъ меня... невольно; вотъ что̀ было горько, вотъ что̀ меня сокрушало! Но дѣлать было нечего—и я старался не попадаться ей на глаза, и лишь издали ее подкарауливалъ, что̀ не всегда мнѣ удавалось. Съ ней, попрежнему, происходило что-то непонятное; ея лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая въ ней перемѣна—въ одинъ теплый, тихій вечеръ. Я сидѣлъ на низенькой скамеечкѣ, подъ широкимъ кустомъ бузины; я любилъ это мѣстечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидѣлъ; надъ моей головой, въ потемнѣвшей листвѣ, хлопотливо ворошилась маленькая птичка; сѣрая кошка, вытянувъ спину, осторожно кралась въ садъ, и первые жуки тяжело гудѣли въ воздухѣ, еще прозрачномъ, хотя уже не свѣтломъ. Я сидѣлъ, и смотрѣлъ на окно, и ждалъ, не отворится ли оно: точно—оно отворилось, и въ немъ появилась Зинаида. На ней было бѣлое платье—и сама она, ея лицо, плечи, руки — были блѣдны до бѣлизны. Она долго оставалась неподвижной и долго глядѣла неподвижно и прямо изъ-подъ сдвинутыхъ бровей. Я и не зналъ за ней такого взгляда. Потомъ она стиснула руки, крѣпко-крѣпко, поднесла ихъ къ губамъ, ко лбу—и вдругъ, раздернувъ пальцы, откинула волосы отъ ушей, встряхнула ими и, съ какой-то рѣшительностью кивнувъ сверху внизъ головою, захлопнула окно.

Дня три спустя, она встрѣтила меня въ саду. Я хотѣлъ уклониться въ сторону, но она сама меня остановила.

— Дайте мнѣ руку, — сказала она мнѣ съ прежней лаской:—мы давно съ вами не болтали.

Я взглянулъ на нее: глаза ея тихо свѣтились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

— Вы все еще нездоровы?—спросилъ я ее.

— Нѣтъ, теперь все прошло,—отвѣчала она и сорвала небольшую красную розу.—Я немножко устала, но и это пройдетъ.

— И вы опять будете такая же, какъ прежде?—спросилъ я.

Зинаида поднесла розу къ лицу — и мнѣ показалось, какъ будто отблескъ яркихъ лепестковъ упалъ ей на щеки. — Развѣ я измѣнилась? — спросила она меня.

— Да, измѣнились, — отвѣтилъ я вполголоса.

— Я съ вами была холодна — я знаю, — начала Зинаида: — но вы не должны были обращать на это вниманія... Я не могла иначе... Ну, да что́ объ этомъ говорить!

— Вы не хотите, чтобъ я любилъ васъ — вотъ что! — воскликнулъ я мрачно, съ невольнымъ порывомъ.

— Нѣтъ, любите меня, но не такъ, какъ прежде.

— Какъ же?

— Будемте друзьями — вотъ какъ! — Зинаида дала мнѣ понюхать розу. — Послушайте, вѣдь я гораздо старше васъ — я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы...

— Я для васъ ребенокъ, — перебилъ я ее.

— Ну, да, ребенокъ, но милый, хорошій, умный, котораго я очень люблю. Знаете ли, что? Я васъ съ нынѣшняго же дня жалую къ себѣ въ пажи; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться отъ своихъ госпожъ. Вотъ вамъ знакъ вашего новаго достоинства, — прибавила она, вдѣвая розу въ петлю моей курточки: — знакъ нашей къ вамъ милости.

— Я отъ васъ прежде получалъ другія милости, — пробормоталъ я.

— А! — промолвила Зинаида и сбоку посмотрѣла на меня. — Какая у него память! Что жъ? я и теперь готова...

И, склонившись ко мнѣ, она напечатлѣла мнѣ на лобъ чистый, спокойный поцѣлуй.

Я только посмотрѣлъ на нее, а она отвернулась и, сказавши: — „ступайте за мной, мой пажъ“, — пошла къ флигелю. Я отправился вслѣдъ за нею — и все недоумѣвалъ. „Неужели, — думалъ я, — эта кроткая, разсудительная дѣвушка — та самая Зинаида, которую я зналъ?“ И походка ея мнѣ казалась тише — вся ея фигура величественнѣе и *стройнѣй...*

И, Боже мой! съ какой новой силой разгоралась во мнѣ любовь!

XVI.

Послѣ обѣда опять собрались во флигелѣ гости — и княжна вышла къ нимъ. Все общество было налицо, въ полномъ составѣ, какъ въ тотъ первый, незабвенный для меня вечеръ: даже Нирмацкій притащился; Майдановъ пришелъ въ этотъ разъ раньше всѣхъ—онъ принесъ новые стихи. Начались опять игры въ фанты, но уже безъ прежнихъ странныхъ выходокъ, безъ дурачествъ и шума—цыганскій элементъ исчезъ. Зинаида дала новое настроеніе нашей сходкѣ. Я сидѣлъ подлѣ нея, по праву пажа. Между прочимъ, она предложила, чтобы тотъ, чей фантъ вынется, разсказывалъ свой сонъ, но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Бѣловзоровъ видѣлъ во снѣ, что накормилъ свою лошадь карасями, и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майдановъ угостилъ насъ цѣлою повѣстью: тутъ были и могильные склепы, и ангелы съ лирами, и говорящіе цвѣты, и несущіеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить. „Коли ужъ дѣло пошло на сочиненія,—сказала она:—такъ пускай каждый разскажетъ что-нибудь, непремѣнно выдуманное“. — Первому досталось говорить тому же Бѣловзорову.

Молодой гусаръ смутился. — Я ничего выдумать не могу! — воскликнулъ онъ.

— Какіе пустяки!—подхватила Зинаида.—Ну, вообразите себѣ, напримѣръ, что вы женаты, и разскажите намъ, какъ бы вы проводили время съ вашей женой. Вы бы ее заперли?

— Я бы ее заперъ.

— И сами бы сидѣли съ ней?

— И самъ непремѣнно сидѣлъ бы съ ней.

— Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоѣло, и она бы измѣнила вамъ?

— Я бы ее убилъ.

— А если *бъ она убѣжала?*

— Я бы догналъ ее, и все-таки бы убилъ.

— Такъ. Ну, а положимъ, я была бы вашей женой, что̀ бы вы тогда сдѣлали?

Бѣловзоровъ помолчалъ.—Я бы себя убилъ...

Зинаида засмѣялась.—Я вижу, у васъ недолга пѣсня.

Второй фантъ вышелъ Зинаидинъ. Она подняла глаза къ потолку и задумалась. — Вотъ, послушайте, — начала она наконецъ:—что̀ я выдумала... Представьте себѣ великолѣпный чертогъ, лѣтнюю ночь и удивительный балъ. Балъ этотъ даетъ молодая королева. Вездѣ золото, мраморъ, хрусталь, шелкъ, огни, алмазы, цвѣты, куренья, всѣ прихоти роскоши.

— Вы любите роскошь?—перебилъ ее Лушинъ.

— Роскошь красива, — возразила она: — я люблю все красивое.

— Больше прекраснаго?—спросилъ онъ.

— Это что-то хитро, не понимаю. Не мѣшайте мнѣ. Итакъ, балъ великолѣпный. Гостей множество, всѣ они молоды, прекрасны, храбры, всѣ безъ памяти влюблены въ королеву.

— Женщинъ нѣтъ въ числѣ гостей?—спросилъ Малевскій.

— Нѣтъ—или погодите—есть.

— Все некрасивыя?

— Прелестныя. Но мужчины всѣ влюблены въ королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золо̀тая діадема на черныхъ волосахъ.

Я посмотрѣлъ на Зинаиду — и въ это мгновенье она мнѣ показалась настолько выше всѣхъ насъ, отъ ея бѣлаго лба, отъ ея недвижныхъ бровей вѣяло такимъ свѣтлымъ умомъ и такою властію, что я подумалъ: „ты сама эта королева!“

— Всѣ толпятся вокругъ нея,—продолжала Зинаида:— всѣ расточаютъ передъ ней самыя льстивыя рѣчи.

— А она любитъ лесть?—спросилъ Лушинъ.

— Какой несносный! все перебиваетъ... Кто жъ не любитъ лести?

— Еще одинъ, послѣдній вопросъ, — замѣтилъ Малевскій:—у королевы есть мужъ?

— Я объ этомъ и не подумала. Нѣтъ, зачѣмъ мужъ?

— Конечно,—подхватилъ Малевскій:—зачѣмъ мужъ?

— Silence!—воскликнулъ Майдановъ, который по-французски говорилъ плохо.

— Merci, — сказала ему Зинаида. — Итакъ, королева слушаетъ эти рѣчи, слушаетъ музыку, но не глядитъ ни на кого изъ гостей. Шесть оконъ раскрыты сверху до низу, отъ потолка до полу, а за ними темное небо съ большими звѣздами, да темный садъ съ большими деревьями. Королева глядитъ въ садъ. Тамъ, около деревьевъ, фонтанъ: онъ бѣлѣетъ во мракѣ — длинный, длинный, какъ привидѣніе. Королева слышитъ, сквозь говоръ и музыку, тихій плескъ воды. Она смотритъ и думаетъ: вы всѣ, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждымъ моимъ словомъ, вы всѣ готовы умереть у моихъ ногъ, я владѣю вами... а тамъ, возлѣ фонтана, возлѣ этой плещущей воды, стоитъ и ждетъ меня тотъ, кого я люблю, кто мною владѣетъ. На немъ нѣтъ ни богатаго платья, ни драгоцѣнныхъ камней, никто его не знаетъ, но онъ ждетъ меня и увѣренъ, что я приду—и я приду, и нѣтъ такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти къ нему, и остаться съ нимъ, и потеряться съ нимъ тамъ, въ темнотѣ сада, подъ шорохъ деревьевъ, подъ плескъ фонтана...

Зинаида умолкла.

— Это выдумка?—хитро спросилъ Малевскій.

Зинаида даже не посмотрѣла на него.

— А что̀ бы мы сдѣлали, господа,—вдругъ заговорилъ Лушинъ: — если бы мы были въ числѣ гостей и знали про этого счастливца у фонтана?

— Постойте, постойте, — перебила Зинаида: — я сама скажу вамъ, что̀ бы каждый изъ васъ сдѣлалъ. Вы, Бѣловзоровъ, вызвали бы его на дуэль; вы, Майдановъ, написали бы на него эпиграмму... Впрочемъ, нѣтъ — вы не умѣете писать эпиграммъ: вы сочинили бы на него длинный ямбъ, въ родѣ Барбье, и помѣстили бы ваше произведеніе въ „Телеграфѣ". Вы, Нирмацкій, заняли бы у него... *нѣтъ, вы бы дали ему взаймы* денегъ за проценты;

вы, докторъ...—Она остановилась...—Вотъ, я про васъ не знаю, что бы вы сдѣлали.

— По званію лейбъ-медика,—отвѣчалъ Лушинъ:—я бы присовѣтовалъ королевѣ не давать баловъ, когда ей не до гостей...

— Можетъ-быть, вы были бы правы. А вы, графъ?..

— А я? — повторилъ со своей недоброй улыбкой Малевскій...

— А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевскаго слегка перекосилось и приняло на мигъ жидовское выраженіе, но онъ тотчасъ же захохоталъ.

— Что же касается до васъ, Вольдемаръ... — продолжала Зинаида: — впрочемъ, довольно; давайте играть въ другую игру.

— Мсьё Вольдемаръ, въ качествѣ пажа королевы, держалъ бы ей шлейфъ, когда бы она побѣжала въ садъ,— ядовито замѣтилъ Малевскій.

Я вспыхнулъ, но Зинаида проворно положила мнѣ на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащимъ голосомъ:—Я никогда не давала вашему сіятельству права быть дерзкимъ, и потому прошу васъ удалиться.— Она указала ему на дверь.

— Помилуйте, княжна, — пробормоталъ Малевскій и весь поблѣднѣлъ.

— Княжна права, — воскликнулъ Бѣловзоровъ и тоже поднялся.

— Я, ей-Богу, никакъ не ожидалъ, — продолжалъ Малевскій: — въ моихъ словахъ, кажется, ничего не было такого... у меня и въ мысляхъ не было оскорбить васъ... Простите меня.

Зинаида окинула его холоднымъ взглядомъ и холодно усмѣхнулась. — Пожалуй, останьтесь,—промолвила она съ небрежнымъ движеніемъ руки.—Мы съ мсьё Вольдемаромъ напрасно разсердились. Вамъ весело жалиться... на здоровье.

— Простите меня, — еще разъ повторилъ Малевскій; а я, вспоминая движеніе Зинаиды, подумалъ опять, что настоящая королева не могла бы съ большимъ достоинствомъ указать дерзновенному на дверь.

Игра въ фанты продолжалась недолго послѣ этой небольшой сцены; всѣмъ немного стало неловко, не столько отъ самой этой сцены, сколько отъ другого, не совсѣмъ опредѣленнаго, но тяжелаго чувства. Никто о немъ не говорилъ, но всякій сознавалъ его и въ себѣ, и въ своемъ сосѣдѣ. Майдановъ прочелъ намъ свои стихи—и Малевскій съ преувеличеннымъ жаромъ расхвалилъ ихъ.—Какъ ему теперь хочется показаться добрымъ, — шепнулъ мнѣ Лушинъ. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье; княгиня выслала сказать, что у ней голова болитъ; Нирмацкій сталъ жаловаться на свои ревматизмы...

Я долго не могъ заснуть, меня поразилъ разсказъ Зинаиды.—Неужели въ немъ заключался намекъ?—спрашивалъ я самого себя:—и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть... какъ же рѣшиться? Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть, — шепталъ я, переворачиваясь съ одной горячей щеки на другую... Но я вспоминалъ выраженіе лица Зинаиды во время ея разсказа... я вспоминалъ восклицаніе, вырвавшееся у Лушина въ Нескучномъ, внезапныя перемѣны въ ея обращеніи со мною — и терялся въ догадкахъ. „Кто онъ?“ Эти два слова точно стояли передъ моими глазами, начертанныя во мракѣ; — точно низкое, зловѣщее облако повисло надо мною—и я чувствовалъ его давленіе—и ждалъ, что вотъ-вотъ оно разразится. Ко многому я привыкъ въ послѣднее время, на многое насмотрѣлся у Засѣкиныхъ; ихъ безпорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатій, обтёрханныя горничныя, маеры самой княгини — вся эта странная жизнь уже не поражала меня болѣе... Но къ тому, что̀ мнѣ смутно чудилось теперь въ Зинаидѣ, — я привыкнуть не могъ... Авантюрьерка, — сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка — она, мой идолъ, мое божество! Это названіе жгло меня, я старался уйти отъ него въ подушку, я негодовалъ — и въ то же время, на что̀ бы я не согласился, чего бы я не далъ, чтобы только быть тѣмъ счастливцемъ у *фонтана!..*

Кровь во мнѣ загорѣлась и расходилась. „Садъ... фонтанъ...“ — подумалъ я... — „Пойду-ка я въ садъ“. Я проворно одѣлся и выскользнулъ изъ дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; съ неба падалъ тихій холодокъ, отъ огорода тянуло запахомъ укропа. Я обошелъ всѣ аллеи; легкій звукъ моихъ шаговъ меня и смущалъ, и бодрилъ; я останавливался, ждалъ и слушалъ, какъ стукало мое сердце — крупно и скоро. Наконецъ, я приблизился къ забору и оперся на тонкую жердь. Вдругъ—или это мнѣ почудилось?—въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня промелькнула женская фигура... Я усиленно устремилъ взоръ въ темноту—я притаилъ дыханіе. Что это? Шаги ли мнѣ слышатся—или это опять стучитъ мое сердце?—Кто здѣсь? — пролепеталъ я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смѣхъ?.. или шорохъ въ листьяхъ... или вздохъ надъ самымъ ухомъ? Мнѣ стало страшно... — Кто здѣсь?—повторилъ я еще тише.

Воздухъ заструился на мгновеніе; по небу сверкнула огненная полоска: звѣзда покатилась.—Зинаида?—хотѣлъ спросить я, но звукъ замеръ у меня на губахъ. И вдругъ все стало глубоко безмолвно кругомъ, какъ это часто бываетъ въ срединѣ ночи... Даже кузнечики перестали трещать въ деревьяхъ — только окошко гдѣ-то звякнуло. Я постоялъ, постоялъ и вернулся въ свою комнату, къ своей простывшей постели. Я чувствовалъ странное волненіе: точно я ходилъ на свиданіе — и остался одинокимъ и прошелъ мимо чужого счастія.

XVII.

На слѣдующій день я видѣлъ Зинаиду только мелькомъ: она ѣздила куда-то съ княгинею на извозчикѣ. Зато я видѣлъ Лушина, который, впрочемъ, едва удостоилъ меня привѣта, и Малевскаго. Молодой графъ осклабился и дружелюбно заговорилъ со мною. Изъ всѣхъ посѣтителей флигелька онъ одинъ умѣлъ втереться къ намъ въ домъ и полюбился матушкѣ. Отецъ его не жаловалъ и обращался съ нимъ до оскорбительности вѣжливо.

– Ah, monsieur le page, — началъ Малевскій: — очень

радъ васъ встрѣтить. Что̀ дѣлаетъ ваша прекрасная королева?

Его свѣжее, красивое лицо такъ мнѣ было противно въ эту минуту — и онъ глядѣлъ на меня такъ презрительно-игриво, что я не отвѣчалъ ему вовсе.

— Вы все сердитесь? — продолжалъ онъ. — Напрасно. Вѣдь не я васъ назвалъ пажемъ, а пажи бываютъ преимущественно у королевъ. Но позвольте вамъ замѣтить, что вы худо исполняете свою обязанность.

— Какъ такъ?

— Пажи должны быть неотлучны при своихъ владычицахъ; пажи должны все знать, что̀ онѣ дѣлаютъ, они должны даже наблюдать за ними,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:—днемъ и ночью.

— Что вы хотите сказать?

— Что̀ я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днемъ—и ночью. Днемъ еще такъ и сякъ; днемъ свѣтло и людно; но ночью—тутъ какъ разъ жди бѣды. Совѣтую вамъ не спать по ночамъ и наблюдать, наблюдать изъ всѣхъ силъ. Помните—въ саду, ночью, у фонтана—вотъ гдѣ надо караулить. Вы мнѣ спасибо скажете.

Малевскій засмѣялся и повернулся ко мнѣ спиной. Онъ, вѣроятно, не придавалъ особеннаго значенья тому, что̀ сказалъ мнѣ; онъ имѣлъ репутацію отличнаго мистификатора и славился своимъ умѣніемъ дурачить людей на маскарадахъ, чему весьма способствовала та, почти безсознательная лживость, которою было проникнуто все его существо... Онъ хотѣлъ только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядомъ по всѣмъ моимъ жиламъ. Кровь бросилась мнѣ въ голову. „А! вотъ что!—сказалъ я самому себѣ:—добро! Стало-быть, меня не даромъ тянуло въ садъ! Такъ не бывать же этому!“—воскликнулъ я громко и ударилъ кулакомъ себя въ грудь, хотя я собственно и не зналъ—чему не бывать. — „Самъ ли Малевскій пожалуетъ въ садъ, — думалъ я (онъ, можетъ-быть, проболтался: на эти дерзости у него станетъ)—другой ли кто—(ограда нашего сада была очень низка и никакого труда не стоило *перелѣзть черезъ нее*)—но только не сдобро-

вать тому, кто мнѣ попадется! Никому не совѣтую встрѣчаться со мною! Я докажу всему свѣту и ей, измѣнницѣ, (я такъ-таки и назвалъ ее измѣнницей) — что я умѣю мстить!"

Я вернулся къ себѣ въ комнату, досталъ изъ письменнаго стола недавно купленный англійскій ножикъ, пощупалъ остріе лезвія и, нахмуривъ брови, съ холодной и сосредоточенной рѣшительностью сунулъ его себѣ въ карманъ, точно мнѣ такія дѣла дѣлать было не въ диво и не впервòй. Сердце во мнѣ злобно приподнялось и окаменѣло; я до самой ночи не раздвинулъ бровей и не разжалъ губъ, и то и дѣло похаживалъ взадъ и впередъ, стискивая рукою въ карманѣ разогрѣвшійся ножъ и заранѣе приготовляясь къ чему-то страшному. Эти новыя, небывалыя ощущенія до того занимали и даже веселили меня, что собственно о Зинаидѣ я мало думалъ. Мнѣ все мерещились: — Алеко, молодой цыганъ—„куда, красавецъ молодой?—Лежи...", а потомъ: „ты весь обрызганъ кровью!.. О, чтò ты сдѣлалъ?.. Ничего!" Съ какой жестокой улыбкой я повторилъ это: ничего! Отца не было дома; но матушка, которая съ нѣкотораго времени находилась въ состояніи почти постояннаго глухого раздраженія, обратила вниманіе на мой фатальный видъ и сказала мнѣ за ужиномъ: — чего ты дуешься, какъ мышь на крупу?— Я только снисходительно усмѣхнулся ей въ отвѣтъ и подумалъ: „если бъ они знали!" Пробило 11 часовъ; я ушелъ къ себѣ, но не раздѣвался; я выжидалъ полночи; наконецъ, пробила и она. „Пора!" шепнулъ я сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучивъ даже рукава, отправился въ садъ.

Я уже заранѣе выбралъ себѣ мѣсто, гдѣ караулить. На концѣ сада, тамъ, гдѣ заборъ, раздѣлявшій наши и Засѣкинскія владѣнія, упирался въ общую стѣну, росла одинокая ель. Стоя подъ ея низкими, густыми вѣтвями, я могъ хорошо видѣть, насколько позволяла ночная темнота, чтò происходило вокругъ; тутъ же вилась дорожка, которая мнѣ всегда казалась таинственной: она змѣей проползала *подъ заборомъ*, носившимъ въ этомъ мѣстѣ слѣды

перелѣзавшихъ ногъ, и вела къ круглой бесѣдкѣ изъ сплошныхъ акацій. Я добрался до ели, прислонился къ ея стволу и началъ караулить.

Ночь стояла такая же тихая, какъ и наканунѣ; но на небѣ было меньше тучъ—и очертанья кустовъ, даже высокихъ цвѣтовъ, яснѣе виднѣлись. Первыя мгновенья ожиданія были томительны, почти страшны. Я на все рѣшился, я только соображалъ: какъ мнѣ поступить? Загремѣть ли: „Куда идешь? Стой! сознайся—или смерть!"—или просто поразить... Каждый звукъ, каждый шорохъ и шелестъ казался мнѣ значительнымъ, необычайнымъ... Я готовился... Я наклонился впередъ... Но прошло полчаса, прошелъ часъ: кровь моя утихала, холодѣла; сознаніе, что я напрасно все это дѣлаю, что я даже нѣсколько смѣшонъ, что Малевскій подшутилъ надо мною—начало прокрадываться мнѣ въ душу. Я покинулъ мою засаду и обошелъ весь садъ. Какъ нарочно, нигдѣ не было слышно малѣйшаго шума; все покоилось; даже собака паша спала, свернувшись въ клубочекъ у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидѣлъ предъ собою далекое поле, вспомнилъ встрѣчу съ Зинаидой и задумался...

Я вздрогнулъ... Мнѣ почудился скрипъ отворявшейся двери, потомъ легкій трескъ переломаннаго сучка. Я въ два прыжка спустился съ развалины—и замеръ на мѣстѣ. Быстрые, легкіе, но осторожные шаги явственно раздавались въ саду. Они приближались ко мнѣ. „Вотъ онъ... Вотъ онъ, наконецъ!" промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернулъ ножъ изъ кармана, судорожно раскрылъ его—какія-то красныя искры закрутились у меня въ глазахъ, отъ страха и злости на головѣ зашевелились волосы... Шаги направлялись прямо на меня—я сгибался, я тянулся имъ навстрѣчу... Показался человѣкъ... Боже мой! это былъ мой отецъ!

Я тотчасъ узналъ его, хотя онъ весь закутался въ темный плащъ, и шляпу надвинулъ на лицо. На цыпочкахъ прошелъ онъ мимо. Онъ не замѣтилъ меня, хотя меня ничто не *скрывало, но я такъ скорчился* и съежился, что,

кажется, сравнялся съ самою землею. Ревнивый, готовый на убійство Отелло внезапно превратился въ школьника... Я до того испугался неожиданнаго появленія отца, что даже, на первыхъ порахъ, не замѣтилъ, откуда онъ шелъ и куда исчезъ. Я только тогда выпрямился и подумалъ: „зачѣмъ это отецъ ходитъ ночью по саду",—когда опять все утихло вокругъ. Со страху, я уронилъ ножъ въ траву, но даже искать его не сталъ: мнѣ было очень стыдно. Я разомъ отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошелъ къ моей скамеечкѣ подъ кустомъ бузины и взглянулъ на окошко Зинаидиной спальни. Небольшія, немного выгнутыя стекла окошка тускло синѣли при слабомъ свѣтѣ, падавшемъ съ ночного неба. Вдругъ—цвѣтъ ихъ сталъ измѣняться... За ними — я это видѣлъ, видѣлъ явственно—осторожно и тихо спускалась бѣловатая штора, спустилась до оконницы—и такъ и осталась неподвижной.

— Что-жъ это такое? — проговорилъ я вслухъ, почти невольно, когда снова очутился въ своей комнатѣ.—Сонъ, случайность, или... Предположенія, которыя внезапно вошли мнѣ въ голову, такъ были новы и странны, что я не смѣлъ даже предаться имъ.

XVIII.

Я всталъ поутру съ головною болью. Вчерашнее волненіе исчезло. Оно замѣнилось тяжелымъ недоумѣніемъ и какою-то, еще небывалою, грустью—точно во мнѣ что-то умирало.

— Что это вы смотрите кроликомъ, у котораго вынули половину мозга? — сказалъ мнѣ, встрѣтившись со мною, Лушинъ. За завтракомъ я украдкой взглядывалъ то на отца, то на мать: онъ былъ спокоенъ, по обыкновенію; она, по обыкновенію, тайно раздражалась. Я ждалъ, не заговоритъ ли отецъ со мною дружелюбно, какъ это иногда съ нимъ случалось... Но онъ даже не поласкалъ меня своею вседневною, холодною лаской. „Разсказать все Зинаидѣ?" подумалъ я... „Вѣдь ужъ все равно—все кончено между нами". Я отправился къ ней, но не только

ничего не разсказалъ ей—даже побесѣдовать съ ней мнѣ не удалось, какъ бы хотѣлось. Къ княгинѣ на вакацію пріѣхалъ изъ Петербурга родной ея сынъ, кадетъ, лѣтъ двѣнадцати; Зинаида тотчасъ поручила мнѣ своего брата.— Вотъ вамъ, — сказала она: — мой милый Володя (она въ первый разъ такъ меня называла), товарищъ. Его тоже зовутъ Володей. Пожалуйста, полюбите его; онъ еще дичокъ, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте съ нимъ, возьмите его подъ свое покровительство. Не правда ли, вы это сдѣлаете? вы тоже такой добрый!— Она ласково положила мнѣ обѣ руки на плечи—а я совсѣмъ потерялся. Прибытіе этого мальчика превращало меня самого въ мальчика. Я глядѣлъ молча на кадета, который такъ же безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула насъ другъ на друга.—Да обнимитесь же, дѣти!—Мы обнялись.—Хотите, я васъ поведу въ садъ?—спросилъ я кадета.

— Извольте-съ,—отвѣчалъ онъ сиплымъ, прямо кадетскимъ голосомъ. Зинаида опять разсмѣялась... Я успѣлъ замѣтить, что никогда еще не было у ней на лицѣ такихъ прелестныхъ красокъ. Мы съ кадетомъ отправились. У насъ въ саду стояли старенькія качели. Я его посадилъ на тоненькую дощечку и началъ его качать. Онъ сидѣлъ неподвижно, въ новомъ своемъ мундирчикѣ изъ толстаго сукна, съ широкими золотыми позументами, и крѣпко держался за веревки. — Да вы разстегните свой воротникъ, — сказалъ я ему. — Ничего-съ, мы привыкли-съ, — проговорилъ онъ и откашлялся. Онъ походилъ на свою сестру: особенно глаза ее напоминали. Мнѣ было и пріятно ему услуживать, и въ то же время та же ноющая грусть тихо грызла мнѣ сердце. „Теперь ужъ я точно ребенокъ", думалъ я: „а вчера..." Я вспомнилъ, гдѣ я накапунѣ уронилъ ножикъ, и отыскалъ его. Кадетъ выпросилъ его у меня, сорвалъ толстый стебель зори, вырѣзалъ изъ него дудку и принялся свистать. Отелло посвисталъ тоже.

Но зато вечеромъ, какъ онъ плакалъ, этотъ самый Отелло, на рукахъ *Зинаиды, когда*, отыскавъ его въ угол-

ку сада, она спросила его, отчего онъ такъ печаленъ? Слезы мои хлынули съ такой силой, что она испугалась.— Что съ вами? что съ вами, Володя? — твердила она, и, видя, что я не отвѣчаю ей и не перестаю плакать, вздумала-было поцѣловать мою мокрую щеку. Но я отвернулся отъ нея и прошепталъ сквозь рыданія: — я все знаю: зачѣмъ же вы играли мною?.. На что вамъ нужна была моя любовь?

— Я виновата передъ вами, Володя... — промолвила Зинаида. — Ахъ, я очень виновата... — промолвила она и стиснула руки.—Сколько во мнѣ дурного, темнаго, грѣшнаго... Но я теперь не играю вами, я васъ люблю—вы и не подозрѣваете, почему и какъ... Однако, что̀ же вы знаете?

Что могъ я сказать ей? Она стояла передо мною и глядѣла на меня, а я принадлежалъ ей весь, съ головы до ногъ, какъ-только она на меня глядѣла... Четверть часа спустя, я уже бѣгалъ съ кадетомъ и съ Зинаидой взапуски: я не плакалъ, я смѣялся, хотя напухшія вѣки отъ смѣха роняли слезы; у меня на шеѣ, вмѣсто галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричалъ отъ радости, когда мнѣ удалось поймать ее за талію. Она дѣлала со мной все, что̀ хотѣла.

XIX.

Я пришелъ бы въ большое затрудненіе, если бы меня заставили разсказать подробно, что̀ происходило со мною въ теченіе недѣли, послѣ моей неудачной ночной экспедиціи. Это было странное, лихорадочное время, хаосъ какой-то, въ которомъ самыя противоположныя чувства, мысли, подозрѣнья, надежды, радости и страданья кружились вихремъ; я страшился заглянуть въ себя, если только шестнадцатилѣтній мальчикъ можетъ въ себя заглянуть, страшился отдать себѣ отчетъ въ чемъ бы то ни было; я, просто, спѣшилъ прожить день до вечера; зато ночью я спалъ... дѣтское легкомысліе мнѣ помогало. Я не хотѣлъ знать, любятъ ли меня, и не хотѣлъ сознаться самому себѣ, что меня не любятъ; отца я избѣгалъ—но Зинаиды

избѣгать я не могъ... Меня жгло какъ огнемъ въ ея присутствіи... но къ чему мнѣ было знать, что̀ это былъ за огонь, на которомъ я горѣлъ и таялъ—благо, мнѣ было сладко таять и горѣть. Я отдавался всѣмъ своимъ впечатлѣніямъ, и самъ съ собой лукавилъ, отворачивался отъ воспоминаній, и закрывалъ глаза передъ тѣмъ, что̀ предчувствовалъ впереди... Это томленіе, вѣроятно, долго бы не продолжилось... громовой ударъ разомъ все прекратилъ и перебросилъ меня въ новую колею.

Вернувшись однажды къ обѣду съ довольно продолжительной прогулки, я съ удивленьемъ узналъ, что буду обѣдать одинъ, что отецъ уѣхалъ, а матушка нездорова, не желаетъ кушать и заперлась у себя въ спальнѣ. По лицамъ лакеевъ я догадывался, что произошло нѣчто необыкновенное... Разспрашивать ихъ я не смѣлъ, но у меня былъ пріятель, молодой буфетчикъ, Филиппъ, страстный охотникъ до стиховъ и артистъ на гитарѣ — я къ нему обратился. Отъ него я узналъ, что между отцомъ и матушкой произошла страшная сцена (а въ дѣвичьей все было слышно до единаго слова; многое было сказано по-французски—да горничная Маша пять лѣтъ жила у швеи изъ Парижа и все понимала); что матушка моя упрекала отца въ невѣрности, въ знакомствѣ съ сосѣдней барышней, что отецъ сперва оправдывался, потомъ вспыхнулъ и въ свою очередь сказалъ какое-то жестокое слово, „яко бы объ ихнихъ лѣтахъ", отъ чего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселѣ, будто бы данномъ старой княгинѣ, и очень о ней дурно отзывалась, и о барышнѣ также, и что тутъ отецъ ей пригрозилъ.—А произошла вся бѣда,—продолжалъ Филиппъ: — отъ безымяннаго письма; а кто его написалъ—неизвѣстно; а то бы, какъ этимъ дѣламъ наружу выйти, причины никакой нѣтъ.

— Да развѣ что-нибудь было,—съ трудомъ проговорилъ я, между тѣмъ какъ руки и ноги у меня холодѣли, и что-то задрожало въ самой глубинѣ груди.

Филиппъ знаменательно мигнулъ.—Было. Этихъ дѣловъ не скроешь; *ужъ на что батюшка* вашъ въ этомъ разѣ

остороженъ—да вѣдь надобно жъ, примѣрно, карету нанять или тамъ что... безъ людей не обойдешься, тоже.

Я услалъ Филиппа—и повалился на постель. Я не зарыдалъ, не предался отчаянію; я не спрашивалъ себя, когда и какъ все это случилось; не удивлялся, какъ я прежде, какъ я давно не догадался—я даже не роптал на отца... То, что я узналъ, было мнѣ не подъ силу: это внезапное откровеніе раздавило меня... Все было кончено. Всѣ цвѣты мои были вырваны разомъ и лежали вокругъ меня, разбросанные и истоптанные.

XX.

Матушка на слѣдующій день объявила, что переѣзжаетъ въ городъ. Утромъ отецъ вошелъ къ ней въ спальню и долго сидѣлъ съ нею наединѣ. Никто не слышалъ, что онъ сказалъ ей, но матушка уже не плакала больше; она успокоилась, и кушать потребовала — однако, не показалась и рѣшенія своего не перемѣнила. Помнится, я пробродилъ цѣлый день, но въ садъ не заходилъ, и ни разу не взглянулъ на флигель—а вечеромъ я былъ свидѣтелемъ удивительнаго происшествія: отецъ мой вывелъ графа Малевскаго подъ руку черезъ залу въ переднюю и, въ присутствіи лакея, холодно сказалъ ему: „Нѣсколько дней тому назадъ вашему сіятельству въ одномъ домѣ указали на дверь; а теперь я не буду входить съ вами въ объясненія, но имѣю честь вамъ доложить, что если вы еще разъ пожалуете ко мнѣ, то я васъ выброшу въ окошко. Мнѣ вашъ почеркъ не нравится". Графъ наклонился, стиснулъ зубы, съежился и исчезъ.

Начались сборы къ переселенію въ городъ, на Арбатъ, гдѣ у насъ былъ домъ. Отцу, вѣроятно, самому уже не хотѣлось болѣе оставаться на дачѣ; но, видно, онъ успѣлъ упросить матушку не затѣвать исторіи. Все дѣлалось тихо, не спѣша, матушка велѣла даже поклониться княгинѣ и изъявить ей сожалѣніе, что, по нездоровью, не увидится съ ней до отъѣзда. Я бродилъ, какъ шальной—и одного только желалъ, какъ бы поскорѣе все это кончилось. *Одна мысль не выходила* у меня изъ головы: какъ могла

она, молодая дѣвушка—ну, и все-таки княжна, рѣшиться на такой поступокъ, зная, что мой отецъ человѣкъ несвободный и имѣя возможность выйти замужъ, хоть, напримѣръ, за Бѣловзорова? На что же она надѣялась? Какъ не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думалъ я, вотъ это—любовь, это—страсть, это — преданность... и вспоминались мнѣ слова Лушина: жертвовать собою сладко для иныхъ. Какъ-то пришлось мнѣ увидѣть въ одномъ изъ оконъ флигеля блѣдное пятно... „неужели это лицо Зинаиды?“ подумалъ я... точно, это было ея лицо. Я не вытерпѣлъ. Я не могъ разстаться съ нею, не сказавъ ей послѣдняго прости. Я улучилъ удобное мгновеніе и отправился во флигель.

Въ гостиной княгиня встрѣтила меня своимъ обычнымъ, неопрятно-небрежнымъ привѣтомъ.

— Что это, батюшка, ваши такъ рано всполошились?— промолвила она, забивая табакъ въ обѣ ноздри. Я посмотрѣлъ на нее, и у меня отлегло отъ сердца. Слово: вексель, сказанное Филиппомъ, мучило меня. Она ничего не подозрѣвала... по крайней мѣрѣ, мнѣ тогда такъ показалось. Зинаида появилась изъ сосѣдней комнаты, въ черномъ платьѣ, блѣдная, съ развитыми волосами: она молча взяла меня за руку и увела съ собой.

— Я услышала вашъ голосъ,—начала она:—и тотчасъ вышла. И вамъ такъ легко было насъ покинуть, злой мальчикъ?

— Я пришелъ съ вами проститься, княжна,—отвѣчалъ я:—вѣроятно, навсегда. Вы, можетъ-быть, слышали—мы уѣзжаемъ.

Зинаида пристально посмотрѣла на меня.

— Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу васъ. Не поминайте меня лихомъ. Я иногда мучила васъ; но все-таки, я не такая, какою вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась къ окну.

— Право, я не такая. Я знаю, вы обо мнѣ дурного мнѣнія.

— Я?

— Да, вы... вы.

— Я?—повторилъ я горестно, и сердце у меня задрожало попрежнему, подъ вліяніемъ неотразимаго, невыразимаго обаянія. — Я? Повѣрьте, Зинаида Александровна, что̀ бы вы ни сдѣлали, какъ бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать васъ до конца дней моихъ.

Она быстро обернулась ко мнѣ и, раскрывъ широко руки, обняла мою голову, и крѣпко и горячо поцѣловала меня. Богъ знаетъ, кого искалъ этотъ долгій, прощальный поцѣлуй, но я жадно вкусилъ его сладость. Я зналъ, что онъ уже никогда не повторится. Прощайте, прощайте, твердилъ я...

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не въ состояніи передать чувство, съ которымъ я удалился. Я бы не желалъ, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я почелъ бы себя несчастливымъ, если бъ я никогда его не испыталъ.

Мы переѣхали въ городъ. Не скоро я отдѣлался отъ прошедшаго, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно противъ отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротивъ: онъ, какъ будто, еще выросъ въ моихъ глазахъ... пускай психологи объяснятъ это противорѣчіе, какъ знаютъ. Однажды я шелъ по бульвару и, къ неописанной моей радости, столкнулся съ Лушинымъ. Я его любилъ за его прямой и нелицемѣрный нравъ, да притомъ, онъ былъ мнѣ дорогъ по воспоминаніямъ, которыя онъ во мнѣ возбуждалъ. Я бросился къ нему.

— Ага! — промолвилъ онъ и нахмурилъ брови. — Это вы, молодой человѣкъ! Покажите-ка себя. Вы все еще желты, а все-таки, въ глазахъ нѣтъ прежней дряни. Человѣкомъ смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнулъ. Лгать мнѣ не хотѣлось, а правду сказать я стыдился.

— Ну, ничего, — продолжалъ Лушинъ: — не робѣйте. Главное дѣло: жить нормально и не поддаваться увлеченіямъ. А то, что̀ пользы? Куда бы волна ни понесла —

все худо; человѣкъ хоть на камнѣ стой, да на своихъ ногахъ. Я, вотъ, кашляю... а Бѣловзоровъ—слыхали вы?

— Что такое? нѣтъ.

— Безъ вѣсти пропалъ; говорятъ, на Кавказъ уѣхалъ. Урокъ вамъ, молодой человѣкъ. А вся штука оттого, что не умѣютъ во-время разстаться, разорвать сѣти. Вотъ, вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

„Не попадусь", думалъ я... „не увижу ея больше"; но мнѣ было суждено еще разъ увидѣть Зинаиду.

XXI.

Отецъ мой каждый день выѣзжалъ верхомъ; у него была славная рыже-чалая англійская лошадь, съ длинной, тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрикъ. Кромѣ отца на ней никто ѣздить не могъ. Однажды онъ пришелъ ко мнѣ въ добромъ расположеніи духа, чего съ нимъ давно не бывало: онъ собирался выѣхать и уже надѣлъ шпоры. Я сталъ просить его взять меня съ собою.

— Давай лучше играть въ чехарду, — отвѣчалъ мнѣ отецъ: —а то ты на своемъ клеперѣ за мной не поспѣешь.

— Поспѣю; я тоже шпоры надѣну.

— Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня былъ воронепькій, косматый конекъ, крѣпкій на ноги и довольно рѣзвый; правда, ему приходилось скакать во всѣ лопатки, когда Электрикъ шелъ полной рысью, но я, все-таки, не отставалъ. Я не видывалъ всадника, подобнаго отцу; онъ сидѣлъ такъ красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь подъ нимъ это чувствовала и щеголяла имъ. Мы проѣхали по всѣмъ бульварамъ, побывали на Дѣвичьемъ-полѣ, перепрыгнули черезъ нѣсколько заборовъ (сперва я боялся прыгать, но отецъ презиралъ робкихъ людей,—и я пересталъ бояться), переѣхали дважды чрезъ Москву-рѣку— и я уже думалъ, что мы возвращаемся домой, тѣмъ болѣе, что самъ отецъ замѣтилъ, что лошадь моя устала, какъ вдругъ *онъ повернулъ* отъ меня въ сторону отъ

Крымскаго броду и поскакалъ вдоль берега.—Я пустился вслѣдъ за нимъ. Поровнявшись съ высокой грудой сложенныхъ старыхъ бревенъ, онъ проворно соскочилъ съ Электрика, велѣлъ мнѣ слѣзть и, отдавъ мнѣ поводья своего коня, сказалъ, чтобы я подождалъ его тутъ же, у бревенъ, а самъ повернулъ въ небольшой переулокъ и исчезъ. Я принялся расхаживать взадъ и впередъ вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь съ Электрикомъ, который на ходу то и дѣло дергалъ головой, встряхивался, фыркалъ, ржалъ; а когда я останавливался, попеременно рылъ копытомъ землю, съ визгомъ кусалъ моего клепера въ шею, словомъ, велъ себя какъ избалованный pur sang. Отецъ не возвращался. Отъ рѣки несло непріятной сыростью; мелкій дождикъ тихонько набѣжалъ и испестрилъ крошечными темными пятнами сильно надоѣвшія мнѣ глупыя, сѣрыя бревна, около которыхъ я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочникъ изъ чухонцевъ, тоже весь сѣрый, съ огромнымъ старымъ киверомъ, въ видѣ горшка, на головѣ и съ алебардой (зачѣмъ, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-рѣки!) приблизился ко мнѣ и, обративъ ко мнѣ свое старушечье, сморщенное лицо, промолвилъ:

— Что вы здѣсь дѣлаете съ лошадьми, барчукъ? Дайте-ка, я подержу.

Я не отвѣчалъ ему; онъ попросилъ у меня табаку. Чтобы отвязаться отъ него (къ тому же, нетерпѣніе меня мучило), я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ тому направленію, куда удалился отецъ; потомъ прошелъ переулочекъ до конца, повернулъ за уголъ и остановился. На улицѣ, въ сорока шагахъ отъ меня, предъ раскрытымъ окномъ деревяннаго домика, спиной ко мнѣ, стоялъ мой отецъ; онъ опирался грудью на оконницу, а въ домикѣ, до половины скрытая занавѣской, сидѣла женщина въ темномъ платьѣ и разговаривала съ отцомъ; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенѣлъ. Этого я, признаюсь, никакъ не ожидалъ. Первымъ движеніемъ моимъ было убѣжать. „Отецъ *оглянется*“, подумалъ я, „и я пропалъ“... но странное

чувство, чувство сильнѣе любопытства, сильнѣе даже ревности, сильнѣе страха — остановило меня. Я сталъ глядѣть, я силился прислушаться. Казалось, отецъ настаивалъ на чемъ-то. Зинаида не соглашалась. Я какъ теперь вижу ея лицо — печальное, серьезное, красивое и съ непередаваемымъ отпечаткомъ преданности, грусти, любви и какого-то отчаянія—я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложныя слова, не поднимала глазъ и только улыбалась — покорно и упрямо. По одной этой улыбкѣ я узналъ мою прежнюю Зинаиду. Отецъ повелъ плечами и поправилъ шляпу на головѣ—что у него всегда служило признакомъ нетерпѣнія... Потомъ послышались слова: Vous devez vous séparer de cette... Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдругъ въ глазахъ моихъ совершилось невѣроятное дѣло: отецъ внезапно поднялъ хлыстъ, которымъ сбивалъ пыль съ полы своего сюртука— и послышался рѣзкій ударъ по этой обнаженной до локтя рукѣ. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрѣла на моего отца и, медленно поднеся свою руку къ губамъ, поцѣловала заалѣвшійся на ней рубецъ. Отецъ швырнулъ въ сторону хлыстъ и, торопливо взбѣжавъ на ступеньки крылечка, ворвался въ домъ... Зинаида обернулась—и, протянувъ руки, закинувъ голову, тоже отошла отъ окна.

Съ замираніемъ испуга, съ какимъ-то ужасомъ недоумѣнія на сердцѣ, бросился я назадъ и, пробѣжавъ переулокъ, чуть не упустивъ Электрика, вернулся на берегъ рѣки. Я не могъ ничего сообразить. Я зналъ, что на моего холоднаго и сдержаннаго отца находили иногда порывы бѣшенства — и, все-таки, я никакъ не могъ понять, что̀ я такое видѣлъ... Но я тутъ же почувствовалъ, что сколько бы я ни жилъ, забыть это движеніе, взглядъ, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образъ ея, этотъ новый, внезапно представшій передо мною образъ, навсегда запечатлѣлся въ моей памяти. Я глядѣлъ безсмысленно на рѣку и не замѣчалъ, что у меня слезы лились. Ее бьютъ, думалъ я... бьютъ... бьютъ...

Крымскаго броду и поскакалъ вдоль берега.—Я пустился вслѣдъ за нимъ. Поровнявшись съ высокой грудой сложенныхъ старыхъ бревенъ, онъ проворно соскочилъ съ Электрика, велѣлъ мнѣ слѣзть и, отдавъ мнѣ поводья своего коня, сказалъ, чтобы я подождалъ его тутъ же, у бревенъ, а самъ повернулъ въ небольшой переулокъ и исчезъ. Я принялся расхаживать взадъ и впередъ вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь съ Электрикомъ, который на ходу то и дѣло дергалъ головой, встряхивался, фыркалъ, ржалъ; а когда я останавливался, попеременно рылъ копытомъ землю, съ визгомъ кусалъ моего клепера въ шею, словомъ, велъ себя какъ избалованный pur sang. Отецъ не возвращался. Отъ рѣки несло непріятной сыростью; мелкій дождикъ тихонько набѣжалъ и испестрилъ крошечными темными пятнами сильно надоѣвшія мнѣ глупыя, сѣрыя бревна, около которыхъ я скитался. Тоска меня брала, а отца все не было. Какой-то будочникъ изъ чухонцевъ, тоже весь сѣрый, съ огромнымъ старымъ киверомъ, въ видѣ горшка, на головѣ и съ алебардой (зачѣмъ, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-рѣки!) приблизился ко мнѣ и, обративъ ко мнѣ свое старушечье, сморщенное лицо, промолвилъ:

— Что вы здѣсь дѣлаете съ лошадьми, барчукъ? Дайте-ка, я подержу.

Я не отвѣчалъ ему; онъ попросилъ у меня табаку. Чтобы отвязаться отъ него (къ тому же, нетерпѣніе меня мучило), я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ тому направленію, куда удалился отецъ; потомъ прошелъ переулочекъ до конца, повернулъ за уголъ и остановился. На улицѣ, въ сорока шагахъ отъ меня, предъ раскрытымъ окномъ деревяннаго домика, спиной ко мнѣ, стоялъ мой отецъ; онъ опирался грудью на оконницу, а въ домикѣ, до половины скрытая занавѣской, сидѣла женщина въ темномъ платьѣ и разговаривала съ отцомъ; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенѣлъ. Этого я, признаюсь, никакъ не ожидалъ. Первымъ движеніемъ моимъ было убѣжать. „Отецъ *оглянется*“, подумалъ я, „и я пропалъ“... но странное

чувство, чувство сильнѣе любопытства, сильнѣе даже ревности, сильнѣе страха — остановило меня. Я сталъ глядѣть, я силился прислушаться. Казалось, отецъ настаивалъ на чемъ-то. Зинаида не соглашалась. Я какъ теперь вижу ея лицо — печальное, серьезное, красивое и съ непередаваемымъ отпечаткомъ преданности, грусти, любви и какого-то отчаянія—я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложныя слова, не поднимала глазъ и только улыбалась — покорно и упрямо. По одной этой улыбкѣ я узналъ мою прежнюю Зинаиду. Отецъ повелъ плечами и поправилъ шляпу на головѣ—что у него всегда служило признакомъ нетерпѣнія... Потомъ послышались слова: Vous devez vous séparer de cette... Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдругъ въ глазахъ моихъ совершилось невѣроятное дѣло: отецъ внезапно поднялъ хлыстъ, которымъ сбивалъ пыль съ полы своего сюртука— и послышался рѣзкій ударъ по этой обнаженной до локтя рукѣ. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрѣла на моего отца и, медленно поднеся свою руку къ губамъ, поцѣловала заалѣвшійся на ней рубецъ. Отецъ швырнулъ въ сторону хлыстъ и, торопливо взбѣжавъ на ступеньки крылечка, ворвался въ домъ... Зинаида обернулась—и, протянувъ руки, закинувъ голову, тоже отошла отъ окна.

Съ замираніемъ испуга, съ какимъ-то ужасомъ недоумѣнія на сердцѣ, бросился я назадъ и, пробѣжавъ переулокъ, чуть не упустивъ Электрика, вернулся на берегъ рѣки. Я не могъ ничего сообразить. Я зналъ, что на моего холоднаго и сдержаннаго отца находили иногда порывы бѣшенства — и, все-таки, я никакъ не могъ понять, что̀ я такое видѣлъ... Но я тутъ же почувствовалъ, что сколько бы я ни жилъ, забыть это движеніе, взглядъ, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образъ ея, этотъ новый, внезапно представшій передо мною образъ, навсегда запечатлѣлся въ моей памяти. Я глядѣлъ безсмысленно на рѣку и не замѣчалъ, что у меня слезы лились. Ее бьютъ, думалъ я... бьютъ... бьютъ...

— Ну, что же ты — давай мнѣ лошадь! — раздался за мной голосъ отца.

Я машинально подалъ ему поводья. Онъ вскочилъ на Электрика... прозябшій конь взвился на дыбы и прыгнулъ впередъ на полторы сажени... но скоро отецъ укротилъ его; онъ вонзилъ ему шпоры въ бока и ударилъ его кулакомъ по шеѣ... Эхъ, хлыста нѣту, пробормоталъ онъ.

Я вспомнилъ недавній свистъ и ударъ этого самаго хлыста, и содрогнулся.

— Куда жъ ты дѣлъ его? — спросилъ я отца, погодя немного.

Отецъ не отвѣчалъ мнѣ и поскакалъ впередъ. Я нагналъ его. Мнѣ непремѣнно хотѣлось видѣть его лицо.

— Ты соскучился безъ меня?—проговорилъ онъ сквозь зубы.

— Немножко. Гдѣ же ты уронилъ свой хлыстъ?—спросилъ я его опять.

Отецъ быстро глянулъ на меня.—Я его не уронилъ,— промолвилъ онъ:—я его бросилъ.—Онъ задумался и опустилъ голову... и тутъ-то я въ первый и едва ли не въ послѣдній разъ увидѣлъ, сколько нѣжности и сожалѣнія могли выразить его строгія черты.

Онъ опять поскакалъ, и ужъ я не могъ его догнать; я пріѣхалъ домой четверть часа послѣ него.

„Вотъ это любовь", говорилъ я себѣ снова сидя ночью передъ своимъ письменнымъ столомъ, на которомъ уже начали появляться тетради и книги:—„это страсть!.. Какъ, кажется, не возмутиться, какъ снести ударъ отъ какой бы то ни было... отъ самой милой руки! А видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображалъ"...

Послѣдній мѣсяцъ меня очень состарилъ—и моя любовь, со всѣми своими волненіями и страданіями, показалась мнѣ самому чѣмъ-то такимъ маленькимъ, и дѣтскимъ, и мизернымъ передъ тѣмъ другимъ, неизвѣстнымъ чѣмъ-то, о которомъ я едва могъ догадываться и которое меня пугало, какъ незнакомое, красивое, но грозное лицо, которое напрасно силишься разглядѣть въ полумракѣ...

Странный и страшный сонъ мнѣ приснился въ эту са-

мую ночь. Мнѣ чудилось, что я вхожу въ низкую, темную комнату... Отецъ стоитъ съ хлыстомъ въ рукѣ и топаетъ ногами; въ углу прижалась Зинаида и не на рукѣ, а на лбу у ней красная черта... а сзади ихъ обоихъ поднимается весь окровавленный Бѣловзоровъ, раскрываетъ блѣдныя губы и гнѣвно грозитъ отцу.

Два мѣсяца спустя, я поступилъ въ университетъ, а черезъ полгода отецъ мой скончался (отъ удара) въ Петербургѣ, куда только-что переселился съ моей матерью и со мною. За нѣсколько дней до своей смерти онъ получилъ письмо изъ Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Онъ ходилъ просить о чемъ-то матушку и, говорятъ, даже заплакалъ, онъ, мой отецъ! Въ самое утро того дня, когда съ нимъ сдѣлался ударъ, онъ началъ было письмо ко мнѣ на французскомъ языкѣ: „Сынъ мой, — писалъ онъ мнѣ, — бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы“... Матушка, послѣ его кончины, послала довольно значительную сумму денегъ въ Москву.

XXII.

Прошло года четыре. Я только-что вышелъ изъ университета и не зналъ еще хорошенько, что̀ мнѣ начать съ собою, въ какую дверь стучаться; шлялся пока, безъ дѣла. Въ одинъ прекрасный вечеръ я въ театрѣ встрѣтилъ Майданова. Онъ успѣлъ жениться и поступить на службу; но я не нашелъ въ немъ перемѣны. Онъ такъ же ненужно восторгался и такъ же внезапно падалъ духомъ.

— Вы знаете, — сказалъ онъ мнѣ, между прочимъ: — госпожа Дольская здѣсь.

— Какая госпожа Дольская?

— Вы развѣ забыли? бывшая княжна Засѣкина, въ которую мы всѣ были влюблены, да и вы тоже. Помните, на дачѣ, возлѣ Нескучнаго?

— Она замужемъ за Дольскимъ?

— Да.

— И она *здѣсь, въ театрѣ?*

— Нѣтъ, въ Петербургѣ, она на-дняхъ сюда пріѣхала; собирается за границу.

— Что за человѣкъ ея мужъ?—спросилъ я.

— Прекрасный малый, съ состояніемъ. Сослуживецъ мой, московскій. Вы понимаете—послѣ той исторіи... вамъ это все должно быть хорошо извѣстно... (Майдановъ значительно улыбнулся) ей не легко было составить себѣ партію; были послѣдствія... но съ ея умомъ все возможно. Ступайте къ ней: она вамъ будетъ очень рада. Она еще похорошѣла.

Майдановъ далъ мнѣ адресъ Зинаиды. Она остановилась въ гостиницѣ Демутъ. Старыя воспоминанія во мнѣ расшевелились... я далъ себѣ слово на другой же день посѣтить бывшую мою „пассію". Но встрѣтились какія-то дѣла: прошла недѣля, другая, и когда я, наконецъ, отправился въ гостиницу Демутъ и спросилъ госпожу Дольскую—я узналъ, что она четыре дня тому назадъ умерла, почти внезапно, отъ родовъ.

Меня какъ будто что-то въ сердце толкнуло. Мысль, что я могъ ее увидѣть, и не увидѣлъ, и не увижу ея никогда—эта горькая мысль впилась въ меня со всею силою неотразимаго упрека. Умерла! — повторилъ я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошелъ, не зная самъ, куда. Все прошедшее разомъ всплыло и встало передо мною. И вотъ, чѣмъ разрѣшилась, вотъ къ чему, спѣша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь? Я это думалъ, я воображалъ себѣ эти дорогія черты, эти глаза, эти кудри — въ тѣсномъ ящикѣ, въ сырой подземной тьмѣ — тутъ же, недалеко отъ меня, пока еще живого, и, можетъ-быть, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моего отца... Я все это думалъ, я напрягалъ свое воображеніе, а между тѣмъ:

„Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть
„И равнодушно ей внималъ я"—

звучало у меня въ душѣ. О, молодость! молодость! тебѣ нѣтъ ни до чего дѣла, ты какъ будто бы обладаешь всѣми *сокровищами вселенной*, даже грусть тебя тѣшитъ, даже

печаль тебѣ къ лицу, ты самоувѣренна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотрите! а у самой дни бѣгутъ и исчезаютъ безъ слѣда и безъ счета, и все въ тебѣ исчезаетъ, какъ воскъ на солнцѣ, какъ снѣгъ... И, можетъ-быть, вся тайна твоей прелести состоитъ не въ возможности все сдѣлать—а въ возможности думать, что ты все сдѣлаешь—состоитъ именно въ томъ, что ты пускаешь по вѣтру силы, которыя ни на что другое употребить бы не умѣла,—въ томъ, что каждый изъ насъ не шутя считаетъ себя расточителемъ, не шутя полагаетъ, что онъ въ правѣ сказать: О, что бы я сдѣлалъ, если бъ я не потерялъ времени даромъ!

Вотъ, и я... на что я надѣялся, чего я ожидалъ, какую богатую будущность предвидѣлъ, когда едва проводилъ однимъ вздохомъ, однимъ унылымъ ощущеніемъ на мигъ возникшій призракъ моей первой любви?

А что сбылось изъ всего того, на что я надѣялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинаютъ набѣгать вечернія тѣни, что у меня осталось болѣе свѣжаго, болѣе дорогого, чѣмъ воспоминанія о той быстро пролетѣвшей, утренней, весенней грозѣ?

Но я напрасно клевещу на себя. И тогда, въ то легкомысленное, молодое время, я не остался глухъ на печальный голосъ, воззвавшій ко мнѣ, на торжественный звукъ, долетѣвшій до меня изъ-за могилы. Помнится, нѣсколько дней спустя послѣ того дня, когда я узналъ о смерти Зинаиды, я самъ, по собственному неотразимому влеченію, присутствовалъ при смерти одной бѣдной старушки, жившей въ одномъ съ нами домѣ. Покрытая лохмотьями, на жесткихъ доскахъ, съ мѣшкомъ подъ головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ея прошла въ горькой борьбѣ съ ежедневной нуждою; не видѣла она радости, не вкушала отъ меду счастія—казалось, какъ бы ей не обрадоваться смерти, ея свободѣ, ея покою? А между тѣмъ, пока ея ветхое тѣло еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась подъ налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули послѣднія силы, — старушка все крестилась и все шептала:—Господи, отпу-

сти мнѣ грѣхи мои, — и только съ послѣдней искрой сознанія исчезло въ ея глазахъ выраженіе страха и ужаса кончины. И помню я, что тутъ, у одра этой бѣдной старушки, мнѣ стало страшно за Зинаиду, и захотѣлось мнѣ помолиться за нее, за отца—и за себя.

1860 г.

ПРИЗРАКИ.

(ФАНТАЗІЯ.)

Мигъ одинъ... и нѣтъ волшебной сказки—
И душа опять полна возможнымъ...
А. Фетъ.

I.

Я долго не могъ заснуть и безпрестанно переворачивался съ-боку-на-бокъ. „Чортъ бы побралъ эти глупости съ вертящимися столами!—подумалъ я:—только нервы разстраивать“... Дремота начала, наконецъ, одолѣвать меня...

Вдругъ мнѣ почудилось, какъ-будто въ комнатѣ слабо и жалобно прозвенѣла струна.

Я приподнялъ голову. Луна стояла низко на небѣ и прямо глянула мнѣ въ глаза. Бѣлый, какъ мѣлъ, лежалъ ея свѣтъ на полу... Явственно повторился странный звукъ...

Я оперся на локоть. Легкій страхъ щипнулъ меня за сердце.—Прошла минута, другая... Гдѣ-то далеко прокричалъ пѣтухъ; еще дальше отозвался другой.

Я опустилъ голову на подушку. „Вотъ, до чего можно довести себя, — подумалъ я опять: — въ ушахъ звенѣть станетъ“

Спустя немного, я заснулъ — или мнѣ казалось, что я заснулъ. Мнѣ привидѣлся необыкновенный сонъ. Мнѣ чудилось, что я лежу въ моей спальнѣ, на моей постели— и не сплю, и даже глазъ не могу закрыть. Вотъ, опять раздается звукъ... Я оборачиваюсь... Слѣдъ луны на полу начинаетъ тихонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху... Передо мной, сквозя, какъ туманъ, неподвижно стоитъ бѣлая женщина.

— Кто ты?—спрашиваю я съ усиліемъ.

Голосъ отвѣчаетъ, подобный шелесту листьевъ. — Это я... я... я... Я пришла за тобой.

— За мной? Да кто ты?

— Приходи ночью на уголъ лѣса, гдѣ старый дубъ. Я тамъ буду.

Я хочу вглядѣться въ черты таинственной женщины— и вдругъ невольно вздрагиваю: на меня пахнуло холодомъ. И вотъ, я уже не лежу, а сижу въ своей постели— и тамъ, гдѣ, казалось, стоялъ призракъ, свѣтъ луны бѣлѣется длинной чертою по полу.

II.

День прошелъ кое-какъ. Я, помнится, принимался читать, работать... ничего не клеилось. Настала ночь. Сердце билось во мнѣ, какъ-будто ждало чего-то. Я легъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.

— Отчего же ты не пришелъ? — раздался въ комнатѣ явственный шопотъ.

Я быстро оглянулся.

Опять она... опять таинственный призракъ. Неподвижны глаза на неподвижномъ лицѣ—и взоръ исполненъ печали.

— Приходи!—слышится снова шопотъ.

— Приду, — отвѣчаю я съ невольнымъ ужасомъ. Призракъ тихо качнулся впередъ, смѣшался весь, легко волнуясь, какъ дымъ,—и луна опять мирно забѣлѣла на гладкомъ полу.

III.

Я провелъ день въ волненіи. За ужиномъ я выпилъ

почти цѣлую бутылку вина, вышелъ-было на крыльцо, но вернулся и бросился въ постель. Кровь тяжело колыхалась во мнѣ.

Опять послышался звукъ... Я вздрогнулъ, но не оглянулся. Вдругъ я почувствовалъ, что кто-то тѣсно обнялъ меня сзади и въ самое ухо мнѣ лепечетъ: „Приди, приди, приди...“ Затрепетавъ отъ испуга, я простоналъ:

— Приду!—и выпрямился.

Женщина стояла, наклонясь, возлѣ самаго моего изголовья. Она слабо улыбнулась и исчезла. Я, однако, успѣлъ разглядѣть ея лицо. Мнѣ показалось, что я видѣлъ ее прежде;—но гдѣ, когда? Я всталъ поздно и цѣлый день бродилъ по полямъ, подходилъ къ старому дубу на окраинѣ лѣса и внимательно осматривался кругомъ.

Передъ вечеромъ я сѣлъ у раскрытаго окна въ своемъ кабинетѣ. Старуха-ключница поставила передо мною чашку чаю — но я не прикасался къ ней... Я все недоумѣвалъ и спрашивалъ себя: „не съ ума ли я схожу?“ Солнце только-что закатилось — и не одно небо зардѣлось—весь воздухъ внезапно наполнился какимъ-то почти неестественнымъ багрянцемъ: листья и травы, словно покрытые свѣжимъ лакомъ, не шевелились; въ ихъ окаменѣлой неподвижности, въ рѣзкой яркости ихъ очертаній, въ этомъ сочетаніи сильнаго блеска и мертвой тишины было что-то странное, загадочное. Довольно большая сѣрая птица вдругъ, безо всякаго шума, прилетѣла и сѣла на самый край окна... Я посмотрѣлъ на нее — и она посмотрѣла на меня сбоку своимъ круглымъ, темнымъ глазомъ.—„Ужъ не прислали ли тебя, чтобы напомнить?“— подумалъ я.

Птица тотчасъ взмахнула своими мягкими крыльями и улетѣла попрежнему безъ шума. Я долго еще сидѣлъ у окна—но я уже не предавался недоумѣнью: я какъ-будто попалъ въ заколдованный кругъ—и неодолимая, хотя тихая сила увлекала меня, подобно тому, какъ еще задолго до водопада, стремленіе потока увлекаетъ лодку. Я встрепенулся наконецъ. Багрянецъ воздуха давно исчезъ, краски *потемнѣли и прекратилась* заколдованная тишина.

Вѣтерокъ запорхалъ, луна все ярче выступала на посинѣвшемъ небѣ,—и скоро листья деревьевъ заиграли серебромъ и чернью въ ея холодныхъ лучахъ. Моя старуха вошла въ кабинетъ съ зажженной свѣчкой, но изъ окна дохнуло на нее и пламя погасло. Я не могъ выдержать болѣе, вскочилъ, нахлобучилъ шапку и отправился на уголъ лѣса, къ старому дубу.

IV.

Въ этотъ дубъ, много лѣтъ тому назадъ, ударила молнія; верхушка переломилась и засохла, но жизня еще сохранилось въ немъ на нѣсколько столѣтій. Когда я сталъ подходить къ нему, на луну набѣжала тучка: было очень темно подъ его широкими вѣтвями. Сперва я не замѣтилъ ничего особеннаго; но взглянулъ въ сторону—и сердце во мнѣ такъ и упало: бѣлая фигура стояла неподвижно возлѣ высокаго куста, между дубомъ и лѣсомъ. Волосы слегка зашевелились у меня на головѣ; но я собрался съ духомъ—и пошелъ къ лѣсу.

Да, это была она, моя ночная гостья. Когда я приблизился къ ней, мѣсяцъ засіялъ снова. Она казалась вся какъ бы соткана изъ полупрозрачнаго, молочнаго тумана—сквозь ея лицо мнѣ виднѣлась вѣтка, тихо колеблемая вѣтромъ—только волосы да глаза чуть-чуть чернѣли, да на одномъ изъ пальцевъ сложенныхъ рукъ блистало блѣднымъ золотомъ узкое кольцо. Я остановился передъ нею и хотѣлъ заговорить; но голосъ замеръ у меня въ груди, хотя собственно страха я уже не ощущалъ. Ея глаза обратились на меня: взглядъ ихъ выражалъ не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное вниманіе. Я ждалъ, не произнесетъ ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной, и все глядѣла на меня своимъ мертвенно-пристальнымъ взглядомъ. Мнѣ опять стало жутко.

— Я пришелъ!—воскликнулъ я, наконецъ, съ усиліемъ.

Глухо и чудно раздался мой голосъ.

— Я тебя люблю,—послышался шопотъ.

— Ты меня любишь!—повторилъ я съ изумленіемъ.

— *Отдайся мнѣ*,—снова прошелестило мнѣ въ отвѣтъ.

— Отдаться тебѣ! Но ты призракъ — у тебя и тѣла нѣтъ. — Странное одушевленіе овладѣло мною. — Что ты такое, дымъ, воздухъ, паръ? Отдаться тебѣ! Отвѣчай мнѣ сперва, кто ты? Жила ли ты на землѣ? Откуда ты явилась?

— Отдайся мнѣ. Я тебѣ зла не сдѣлаю. Скажи только два слова: возьми меня.

Я посмотрѣлъ на нее.—„Что это она говоритъ?“ подумалъ я. — „Что это все значитъ? И какъ же она возьметъ меня? Или попытаться?“

— Ну, хорошо, — произнесъ я вслухъ и неожиданно громко, словно кто сзади меня подтолкнулъ.—Возьми меня!

Не успѣлъ я произнести эти слова, какъ таинственная фигура съ какимъ-то внутреннимъ смѣхомъ, отъ котораго на мигъ задрожало ея лицо, покачнулась впередъ, руки ея отдѣлились и протянулись... Я хотѣлъ-было отскочить; но я уже былъ въ ея власти. Она обхватила меня, тѣло мое поднялось на полъ-аршина отъ земли—и мы оба понеслись, плавно и не слишкомъ быстро, надъ неподвижной, покрой травой.

V.

Сперва у меня голова закружилась — и я невольно закрылъ глаза... Минуту спустя, я открылъ ихъ снова. Мы неслись попрежнему. Но уже лѣса не было видно: подъ нами разстилалась равнина, усѣянная темными пятнами. Я съ ужасомъ убѣдился, что мы поднялись на страшную высоту.

„Я пропалъ, я во власти сатаны“, сверкнуло во мнѣ, какъ молнія. До того мгновенья мысль о наважденьѣ нечистой силы, о возможности погибели, мнѣ въ голову не приходила. Мы все мчались и, казалось, забирали все выше и выше.

— Куда ты несешь меня?—простоналъ я наконецъ.

— Куда хочешь, — отвѣчала моя спутница. Она вся прильнула ко мнѣ; лицо ея почти прислонилось къ моему лицу. Впрочемъ, я едва ощущалъ ея прикосновеніе.

— Отпусти меня на землю; мнѣ дурно на этой высотѣ.

— Хорошо; только закрой глаза и не дыши.

Я послушался—и тотчасъ же почувствовалъ, что падаю, какъ брошенный камень... воздухъ засвисталъ въ моихъ волосахъ. Когда я опомнился, мы опять плавно неслись надъ самой землей, такъ что цѣплялись за верхушки высокихъ травъ.

— Поставь меня на ноги,—началъ я.—Что за удовольствіе летать! Я не птица.

— Я думала, что тебѣ пріятно будетъ. У насъ другого занятія нѣтъ.

— У васъ? Да кто вы такія?

Отвѣта не было.

— Ты не смѣешь мнѣ это сказать?

Жалобный звукъ, подобный тому, который разбудилъ меня въ первую ночь, задрожалъ въ моихъ ушахъ. Между тѣмъ, мы продолжали чуть замѣтно двигаться по влажному ночному воздуху.

— Пусти же меня!—промолвилъ я. Спутница моя тихо отклонилась—и я очутился на ногахъ. Она остановилась передо мной и снова сложила руки. Я успокоился и посмотрѣлъ ей въ лицо: попрежнему, оно выражало покорную грусть.

— Гдѣ мы?—спросилъ я. Я не узнавалъ окрестныхъ мѣстъ.

— Далеко отъ твоего дома, но ты можешь быть тамъ въ одно мгновенье.

— Какимъ это образомъ? опять довѣриться тебѣ?

— Я не сдѣлала тебѣ зла и не сдѣлаю. Полетаемъ съ тобой до зари, вотъ и все. Я могу тебя отнести, куда только ты вздумаешь—во всѣ края земли. Отдайся мнѣ! Скажи опять: возьми меня!

— Ну... возьми меня!

Она опять припала ко мнѣ, ноги мои опять отдѣлились отъ земли—и мы полетѣли.

VI.

— Куда?—спросила она меня.

— Прямо, все прямо.

— Но тутъ лѣсъ.

— Поднимись надъ лѣсомъ—только тише.

Мы взмыли кверху, какъ вальдшнепъ, налетѣвшій на березу,—и опять понеслись въ прямомъ направленіи. Вмѣсто травы, вершины деревьевъ мелькали у насъ подъ ногами. Чудно было видѣть лѣсъ сверху, его щетинистую спину, освѣщенную луной. Онъ казался какимъ-то огромнымъ, заснувшимъ звѣремъ и сопровождалъ насъ широкимъ, непрестаннымъ шорохомъ, похожимъ на невнятное ворчанье. Кое-гдѣ попадалась небольшая поляна; красиво чернѣла съ одной ея стороны зубчатая полоса тѣни... Заяцъ изрѣдка жалобно кричалъ внизу; вверху сова свистала, тоже жалобно; въ воздухѣ пахло грибами, почками, зорей-травою; лунный свѣтъ такъ и разливался во всѣ стороны — холодно и строго; „стожары“ блистали надъ самой головой. Вотъ, и лѣсъ остался назади; въ полѣ протянулась полоса тумана: это рѣка текла. Мы понеслись вдоль одного изъ ея береговъ, надъ кустами, отяжелѣвшими и неподвижными отъ сырости. Волны на рѣкѣ то лоснились синимъ лоскомъ, то катились темныя и словно злыя. Мѣстами странно двигался надъ ними тонкій паръ— и чашки водяныхъ лилій дѣвственно и пышно бѣлѣли всѣми своими распустившимися лепестками, точно знали, что до нихъ добраться невозможно. Мнѣ вздумалось сорвать одну изъ нихъ — и вотъ, я уже очутился надъ самой гладью рѣки... Сырость непріязненнс ударила мнѣ въ лицо, какъ только я перервалъ тугой стебель крупнаго цвѣтка. Мы начали перелетывать съ берега на берегъ, какъ кулички-песочники, которыхъ мы то и дѣло будили и за которыми гнались. Намъ не разъ случалось налетать на семейку дикихъ утокъ, расположенныхъ кружкомъ на чистомъ мѣстечкѣ между тростниками—но онѣ не шевелились: развѣ одна изъ нихъ торопливо вынетъ шею изъ-подъ крыла, посмотритъ, и хлопотливо засунетъ опять носъ въ пушистыя перья, а другая слабо крякнетъ, причемъ все ея тѣло немножко дрогнетъ. Мы вспугнули одну цаплю: она поднялась изъ ракитоваго куста, болтая ногами и съ неуклюжимъ усиліемъ махая крыльями: тутъ она мнѣ показалась *дѣйствительно* похожей на нѣмца.

Рыба нигдѣ не плескалась—спала тоже. Я начиналъ привыкать къ ощущенію полета, и даже находилъ въ немъ пріятность: меня пойметъ всякій, кому случалось летать во снѣ. Я принялся съ бо̀льшимъ вниманіемъ разсматривать странное существо, по милости котораго со мной совершались такія неправдоподобныя событія.

VII.

Это была женщина съ маленькимъ, нерусскимъ лицомъ. Изсѣра-бѣловатое, полупрозрачное, съ едва означенными тѣнями, оно напоминало фигуры на алебастровой, изнутри освѣщенной вазѣ—и опять показалось мнѣ знакомымъ.

— Можно съ тобой говорить?—спросилъ я.

— Говори.

— Я вижу у тебя кольцо на пальцѣ; ты, стало-быть, жила на землѣ—ты была замужемъ?

Я остановился... Отвѣта не было.

— Какъ тебя зовутъ—или звали, по крайней мѣрѣ?

— Зови меня Эллисъ.

— Эллисъ! Это англійское имя! Ты англичанка? Ты знала меня прежде?

— Нѣтъ.

— Отчего же ты именно ко мнѣ явилась?

— Я тебя люблю.

— И ты довольна?

— Да; мы носимся, мы кружимся съ тобою по чистому воздуху.

— Эллисъ!—сказалъ я вдругъ:—ты, можетъ-быть, преступная, осужденная душа?

Голова моей спутницы наклонилась.—Я тебя не понимаю,—шепнула она.

— Заклинаю тебя именемъ Бога...—началъ-было я.

— Что ты говоришь?—промолвила она съ недоумѣніемъ.—Я не понимаю.—Мнѣ показалось, что рука, лежавшая холодноватымъ поясомъ вокругъ моего стана, тихо шевельнулась...

— Не бойся,—промолвила Эллисъ:—не бойся, мой *милый!*—Ея лицо обернулось и придвинулось къ моему

лицу... Я почувствовалъ на губахъ моихъ какое-то странное ощущеніе, какъ бы прикосновеніе тонкаго и мягкаго жала... Незлыя піявки такъ берутся.

VIII.

Я взглянулъ внизъ. Мы уже опять успѣли подняться на довольно значительную вышину. Мы пролетали надъ неизвѣстнымъ мнѣ уѣзднымъ городомъ, расположеннымъ на скатѣ широкаго холма. Церкви высились среди темной массы деревянныхъ крышъ, фруктовыхъ садовъ; длинный мостъ чернѣлъ на изгибѣ рѣки; все молчало, отягченное сномъ. Самые куполы и кресты, казалось, блестѣли безмолвнымъ блескомъ; безмолвно торчали высокіе шесты колодцевъ возлѣ круглыхъ шапокъ ракитъ; бѣлесоватое шоссе узкой стрѣлой безмолвно впивалось въ одинъ конецъ города—и безмолвно выбѣгало изъ противоположнаго конца на сумрачный просторъ однообразныхъ полей.

— Что это за городъ?—спросилъ я.

— ....совъ.

— ....совъ въ ....ой губерніи?

— Да.

— Далеко же я отъ дому!

— Для насъ отдаленности нѣтъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? — Внезапная удаль вспыхнула во мнѣ.—Такъ неси же меня въ Южную Америку!

— Въ Америку не могу. Тамъ теперь день.

— А мы съ тобой ночныя птицы. Ну, куда-нибудь, куда можно, только подальше.

— Закрой глаза и не дыши,—отвѣчала Эллисъ, и мы помчались съ быстротою вихря. Съ потрясающимъ шумомъ врывался воздухъ въ мои уши.

Мы остановились, но шумъ не прекращался. Напротивъ: онъ превратился въ какой-то грозный ревъ, въ громовой гулъ...

— Теперь можешь открыть глаза,—сказала Эллисъ.

IX.

Я повиновался... Боже мой, гдѣ я?

Надъ головой *тяжелыя, дымныя* тучи; онѣ тѣснятся,

онѣ бѣгутъ, какъ стадо злобныхъ чудовищъ... а тамъ, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море... Бѣлая пѣна судорожно сверкаетъ и кипитъ въ немъ буграми — и, вздымая косматыя волны, съ грубымъ грохотомъ бьетъ оно въ громадный, какъ смоль черный; утесъ. Завываніе бури, леденящее дыханіе расколыхавшейся бездны, тяжкій плескъ прибоя, въ которомъ по временамъ чудится что-то похожее на вопли, на далекіе пушечные выстрѣлы, на колокольный звонъ—раздирающій визгъ и скрежетъ прибрежныхъ голышей, внезапный крикъ невидимой чайки, па мутномъ небосклонѣ шаткій остовъ корабля—всюду смерть, смерть и ужасъ... Голова у меня закружилась — и я снова съ замираніемъ закрылъ глаза...

— Что это? гдѣ мы?

— На южномъ берегу острова Уайтъ, передъ утесомъ Блакгантъ, гдѣ такъ часто разбиваются корабли, — промолвила Эллисъ, на этотъ разъ особенно отчетливо и, какъ мнѣ показалось, не безъ злорадства...

— Неси меня прочь, прочь отсюда... домой! домой!

Я сжался весь, стиснулъ лицо руками... Я чувствовалъ, что мы понеслись еще быстрѣе прежняго; вѣтеръ уже не вылъ и не свисталъ — онъ визжалъ въ моихъ волосахъ, въ моемъ платьѣ... духъ захватывало...

— Стань же на ноги,—раздался голосъ Эллисъ.

Я силился овладѣть собою, своимъ сознаніемъ... Я ощущалъ подъ подошвами землю и не слышалъ ничего, точно все замерло кругомъ... только въ виски неровно стучала кровь и съ слабымъ внутреннимъ звономъ все еще кружилась голова. Я выпрямился и открылъ глаза.

X.

Мы находились на плотинѣ моего пруда. Прямо передо мною, сквозь острые листья ракитъ, виднѣлась его широкая гладь съ кое-гдѣ приставшими волокнами пушистаго тумана. Направо тускло лоснилось ржаное поле; налѣво вздымались деревья сада, длинныя, неподвижныя и какъ-будто сырыя... Утро уже дохнуло на нихъ. По чистому

сѣрому небу тянулись, словно полосы дыма, двѣ-три косыя тучки; онѣ казались желтоватыми — первый слабый отблескъ зари падалъ на нихъ, Богъ вѣсть откуда: глазъ еще не могъ различить на побѣлѣвшемъ небосклонѣ то мѣсто, гдѣ она должна была заняться. Звѣзды исчезали; ничего еще не шевелилось, хотя все уже просыпалось въ очарованной тишинѣ ранняго полусвѣта.

— Утро! вотъ утро!—воскликнула надъ самымъ моимъ ухомъ Эллисъ.—Прощай! До завтра!

Я обернулся... Легко отдѣляясь отъ земли, она плыла мимо — и вдругъ подняла обѣ руки надъ головою. Эта голова, и руки, и плечи мгновенно вспыхнули тѣлеснымъ, теплымъ цвѣтомъ; въ темныхъ глазахъ дрогнули живыя искры; усмѣшка тайной нѣги шевельнула покраснѣвшія губы... Прелестная женщина внезапно возникла передо мною... Но, какъ бы падая въ обморокъ, она тотчасъ опрокинулась назадъ и растаяла, какъ паръ.

Я остался недвижимъ.

Когда я опомнился и оглянулся, мнѣ показалось, что тѣлесная, блѣдно-розовая краска, пробѣжавшая по фигурѣ моего призрака, все еще не исчезла и, разлитая въ воздухѣ, обдавала меня кругомъ... Это заря загоралась. Я вдругъ почувствовалъ крайнюю усталость и отправился домой. Проходя мимо птичьяго двора, я услыхалъ первое утреннее лепетанье гусенятъ (раньше ихъ ни одна птица не просыпается); вдоль крыши, на концѣ каждой притужины сидѣло по галкѣ — и всѣ онѣ хлопотливо и молча очищались, четко рисуясь на молочномъ небѣ. Изрѣдка онѣ разомъ всѣ поднимались—и, полетавъ немного, садились опять рядкомъ, безъ крика... Изъ недальняго лѣса два раза принеслось сипло-свѣжее чуфыканье черныша-тетерева, только-что слетѣвшаго въ росистую, ягодами заросшую траву... Съ легкой дрожью въ тѣлѣ я добрался до постели и скоро заснулъ крѣпкимъ сномъ.

XI.

На слѣдующую ночь, когда я сталъ подходить къ старому дубу, *Эллисъ понеслась* мнѣ навстрѣчу, какъ къ

знакомому. Я не боялся ея по-вчерашнему, я почти обрадовался ей; я даже не старался понять, что̀ со мной происходило: мнѣ только хотѣлось полетать подальше, по любопытнымъ мѣстамъ.

Рука Эллисъ опять обвилась вокругъ меня—и мы опять помчались.

— Отправимся въ Италію,—шепнулъ я ей на ухо.

— Куда хочешь, мой милый,—отвѣчала она торжественно и тихо — и тихо и торжественно повернула ко мнѣ свое лицо. Оно показалось мнѣ не столь прозрачнымъ, какъ наканунѣ; болѣе женственное и болѣе важное, оно напомнило мнѣ то прекрасное созданіе, которое мелькнуло передо мной на утренней зарѣ передъ разлукой.

— Нынѣшняя ночь — великая ночь, — продолжала Эллисъ.—Она наступаетъ рѣдко—когда семь разъ тринадцать...

Тутъ я не дослушалъ нѣсколько словъ.

— Теперь можно видѣть, что̀ бываетъ закрыто въ другое время.

— Эллисъ!—взмолился я:—да кто же ты? скажи мнѣ наконецъ!

Она молча подняла свою длинную бѣлую руку.

На темномъ небѣ, тамъ, куда указалъ ея палецъ, среди мелкихъ звѣздъ, красноватой чертой сіяла комета.

— Какъ мнѣ понять тебя?—началъ я.—Или ты, какъ эта комета носится между планетами и солнцемъ, носишься между людьми... и чѣмъ?

Но рука Эллисъ внезапно надвинулась на мои глаза... Словно бѣлый туманъ изъ сырой долины обдалъ меня...

— Въ Италію! въ Италію!—послышался ея шопотъ.—Эта ночь—великая ночь!

XII.

Туманъ передъ моими глазами разсѣялся, и я увидалъ подъ собою безконечную равнину. Но уже по одному прикосновенію теплаго и мягкаго воздуха къ моимъ щекамъ, я могъ понять, что я не въ Россіи; да и равнина та не *походила на* наши русскія равнины. Это было огромное,

тусклое пространство, повидимому, не поросшее травой и пустое; тамъ и сямъ, по всему его протяженію, подобно небольшимъ обломкамъ зеркала, блистали стоячія воды; вдали смутно виднѣлось неслышное, недвижное море. Крупныя звѣзды сіяли въ промежуткахъ большихъ, красивыхъ облаковъ; тысячеголосная, немолчная и все-таки негромкая трель поднималась отовсюду — и чуденъ былъ этотъ пронзительный и дремотный гулъ, этотъ ночной голосъ пустыни...

— Понтійскія болота,—промолвила Эллисъ.—Слышишь лягушекъ? чувствуешь запахъ сѣры?

— Понтійскія болота... — повторилъ я, и ощущеніе величавой унылости охватило меня. — Но зачѣмъ принесла ты меня сюда, въ этотъ печальный, заброшенный край? Полетимъ лучше къ Риму.

— Римъ близокъ,—отвѣчала Эллисъ.—Приготовься!

Мы спустились и помчались вдоль старинной латинской дороги. Буйволъ медленно поднялъ изъ вязкой тины свою косматую, чудовищную голову съ короткими вихрами щетины между криво назадъ загнутыми рогами. Онъ косо повелъ бѣлками безсмысленно-злобныхъ глазъ и тяжело фыркнулъ мокрыми ноздрями, словно почуялъ насъ.

— Римъ, Римъ близокъ... — шептала Эллисъ. — Гляди, гляди впередъ...

Я поднялъ глаза.

Что это чернѣетъ на окраинѣ ночного неба? Высокія ли арки громаднаго моста? Надъ какой рѣкой онъ перекинутъ? Зачѣмъ онъ порванъ мѣстами? Нѣтъ, это не мостъ, это древній водопроводъ. Кругомъ священная земля Кампаніи, а тамъ, вдали, Албанскія горы—и вершины ихъ, и сѣдая спина стараго водопровода слабо блестятъ въ лучахъ только-что взошедшей луны...

Мы внезапно взвились и повисли на воздухѣ передъ уединенной развалиной. Никто бы не могъ сказать, чѣмъ она была прежде: гробницей, чертогомъ, башней... Черный плющъ обвивалъ ее всю своей мертвенной силой, а внизу раскрывался, какъ зѣвъ, полуобрушенный сводъ. Тяжелымъ запахомъ *погреба дѣяло мнѣ въ* лицо отъ этой груды

мелкихъ, тѣсно сплоченныхъ камней, съ которыхъ давно свалилась гранитная оболочка стѣны.

— Здѣсь, — произнесла Эллисъ и подняла руку: — Здѣсь! Проговори громко, три раза сряду, имя великаго римлянина.

— Что же будетъ?

— Ты увидишь.

Я задумался.—Divus Cajus Julius Cæsar!—воскликнулъ я вдругъ;—divus Cajus Julius Cæsar!—повторилъ я протяжно;—Cæsar!

XIII.

Послѣднія отзвучія моего голоса не успѣли еще замереть, какъ мнѣ послышалось...

Мнѣ трудно сказать, что̀ именно. Сперва мнѣ послышался смутный, ухомъ едва уловимый, но безконечно повторявшійся взрывъ трубныхъ звуковъ и рукоплесканій. Казалось, гдѣ-то, страшно далеко, въ какой-то бездонной глубинѣ, внезапно зашевелилась несмѣтная толпа—и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, какъ бы сквозь сонъ, сквозь подавляющій, многовѣковый сонъ. Потомъ воздухъ заструился и потемнѣлъ надъ развалиной... Мнѣ начали мерещиться тѣни, миріады тѣней, милліоны очертаній, то округленныхъ, какъ шлемы, то протянутыхъ, какъ копья; лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этихъ копьяхъ и шлемахъ—и вся эта армія, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно... Несказанное напряженіе, напряженіе, достаточное для того, чтобы приподнять цѣлый міръ, чувствовалось въ ней; но ни одинъ образъ не выдавался ясно... И вдругъ мнѣ почудилось, какъ будто трепетъ пробѣжалъ кругомъ, какъ будто отхлынули и разступились какія-то громадныя волны... „Cæsar, Cæsar venit!“ зашумѣли голоса, подобно листьямъ лѣса, на который внезапно налетѣла буря... прокатился глухой ударъ—и голова блѣдная, строгая, въ лавровомъ вѣнкѣ, съ опущенными вѣками, голова императора стала *медленно выдвигаться* изъ-за развалины...

На языкѣ человѣческомъ нѣтъ словъ для выраженія ужаса, который сжалъ мое сердце. Мнѣ казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы — и я тотчасъ же умру.—Эллисъ!—простоналъ я:—я не хочу, я не могу, не надо мнѣ Рима, грубаго, грознаго Рима... Прочь, прочь отсюда!

— Малодушный! — шепнула она — и мы умчались. Я успѣлъ еще услыхать за собою желѣзный, громовый на этотъ разъ, крикъ легіоновъ... потомъ все потемнѣло.

XIV.

— Оглянись,—сказала мнѣ Эллисъ:—и успокойся.

Я послушался—и, помню, первое мое впечатлѣніе было до того сладостно, что я могъ только вздохнуть. Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкій — не то свѣтъ, не то туманъ — обливалъ меня со всѣхъ сторонъ. Сперва я не различалъ ничего: меня слѣпилъ этотъ лазоревый блескъ— но вотъ, понемногу начали выступать очертанія прекрасныхъ горъ, лѣсовъ; озеро раскинулось подо мною, съ дрожавшими въ глубинѣ звѣздами, съ ласковымъ ропотомъ прибоя. Запахъ померанцевъ обдалъ меня волной—и вмѣстѣ съ нимъ, и тоже какъ будто волною, принеслись сильные, чистые звуки молодого женскаго голоса. Этотъ запахъ, эти звуки такъ и потянули меня внизъ — и я началъ спускаться... спускаться къ роскошному мраморному дворцу, привѣтно бѣлѣвшему среди кипарисной рощи. Звуки лились изъ его настежь раскрытыхъ оконъ; волны озера, усѣяннаго пылью цвѣтовъ, плескались въ его стѣны—и прямо напротивъ, весь одѣтый темной зеленью померанцевъ и лавровъ, весь облитый лучезарнымъ паромъ, весь усѣянный статуями, стройными колоннами, портиками храмовъ, поднимался изъ лона водъ высокій, круглый островъ...

— Isola Bella! — проговорила Эллисъ. — Lago Maggiore...

Я промолвилъ только: а! и продолжалъ спускаться. Женскій голосъ все громче, все ярче раздавался во дворцѣ; меня *влекло къ нему неотразимо*... я хотѣлъ взглянуть

въ лицо пѣвицѣ, оглашавшей такими звуками такую ночь. Мы остановились передъ окномъ.

Посреди комнаты, убранной въ помпейяновскомъ вкусѣ и болѣе похожей на древнюю храмину, чѣмъ на новѣйшую залу, окруженная греческими изваяніями, этрусскими вазами, рѣдкими растеніями, дорогими тканями, освѣщенная сверху мягкими лучами двухъ лампъ, заключенныхъ въ хрустальные шары, сидѣла за фортепіанами молодая женщина. Слегка закинувъ голову и до половины закрывъ глаза, она пѣла итальянскую арію; она пѣла и улыбалась и въ то же время черты ея выражали важность, даже строгость... признакъ полнаго наслажденія! Она улыбалась... и Праксителевъ Фавнъ, лѣнивый, молодой какъ она, изнѣженный, сладострастный, тоже, казалось, улыбался ей изъ-за угла, изъ-за вѣтвей олеандра, сквозь тонкій дымъ, поднимавшійся съ бронзовой курильницы на древнемъ треножникѣ. Красавица была одна. Очарованный звуками, красотою, блескомъ и благовоніемъ ночи, потрясенный до глубины сердца зрѣлищемъ этого молодого спокойнаго, свѣтлаго счастія, я позабылъ совершенно о моей спутницѣ, забылъ о томъ, какимъ страннымъ образомъ я сталъ свидѣтелемъ этой столь отдаленной, столь чуждой мнѣ жизни — и я хотѣлъ уже ступить на окно, хотѣлъ заговорить...

Все мое тѣло вздрогнуло отъ сильнаго толчка — точно я коснулся лейденской банки. Я оглянулся... Лицо Эллисъ было — при всей своей прозрачности — мрачно и грозно; въ ея внезапно раскрывшихся глазахъ тускло горѣла злоба...

— Прочь! — бѣшено шепнула она, и снова вихрь и мракъ, и головокруженіе... Только на этотъ разъ не крикъ легіоновъ, а голосъ пѣвицы, оборванный на высокой нотѣ, остался у меня въ ушахъ...

Мы остановились. Высокая нота, та же нота, все звенѣла и не переставала звенѣть, хотя я чувствовалъ совсѣмъ другой воздухъ, другой запахъ... Не меня вѣяло крѣпительной свѣжестью, какъ отъ большой рѣки, и пахло *сѣномъ, дымомъ,* коноплей. За долго-протянутой нотой

послѣдовала другая, потомъ третья, но съ такимъ несомнѣннымъ оттѣнкомъ, съ такимъ знакомымъ, роднымъ переливомъ, что я тотчасъ же сказалъ себѣ: „это русскій человѣкъ поетъ русскую пѣсню“—и въ то же мгновенье мнѣ все кругомъ стало ясно.

XV.

Мы находились надъ плоскимъ берегомъ. Налѣво тянулись, терялись въ безконечность скошенные луга, уставленные громадными скирдами; направо, въ такую же безконечность уходила ровная гладь великой, многоводной рѣки. Недалеко отъ берега большія, темныя барки тихонько переваливались на якоряхъ, слегка двигая остріями своихъ мачтъ, какъ указательными перстами. Съ одной изъ этихъ барокъ долетали до меня звуки разливистаго голоса, и на ней же горѣлъ огонекъ, дрожа и покачиваясь въ водѣ своимъ длиннымъ, краснымъ отраженьемъ. Кое-гдѣ, и на рѣкѣ, и въ поляхъ, непонятно для глаза: близко ли, далеко ли — мигали другіе огоньки; они то жмурились, то вдругъ выдвигались лучистыми, крупными точками; безчисленные кузнечики немолчно стрекотали, не хуже лягушекъ понтійскихъ болотъ—и подъ безоблачнымъ, но низко нависшимъ, темнымъ небомъ изрѣдка кричали невѣдомыя птицы.

— Мы въ Россіи?—спросилъ я Эллисъ.

— Это Волга,—отвѣтила она.

Мы понеслись вдоль берега.—Отчего ты меня вырвала оттуда, изъ того прекраснаго края?—началъ я.—Завидно тебѣ стало, что ли? Ужъ не ревность ли въ тебѣ пробудилась?

Губы Эллисъ чуть-чуть дрогнули, и въ глазахъ опять мелькнула угроза... Но все лицо тотчасъ же вновь оцѣпенѣло.

— Я хочу домой,—проговорилъ я.

— Погоди, погоди, — отвѣчала Эллисъ. — Теперешняя ночь—великая ночь. Она не скоро вернется. Ты можешь быть свидѣтелемъ... Погоди.

И мы вдругъ полетѣли черезъ Волгу, въ косвенномъ направленіи, надъ самой водой, низко и порывисто, какъ

ласточки передъ бурей. Широкіи волны тяжко журчали подъ нами, рѣзкій рѣчной вѣтеръ билъ насъ своимъ холоднымъ, сильнымъ крыломъ... высокій правый берегъ скоро началъ воздыматься передъ нами въ полумракѣ. Показались крутыя горы съ большими разсѣлинами. Мы приблизились къ нимъ.

— Крикни: Сарынь на кичку!—шепнула мнѣ Эллисъ.

Я вспомнилъ ужасъ, испытанный мною при появленіи римскихъ призраковъ, я чувствовалъ усталость и какую-то странную тоску, словно сердце во мнѣ таяло — я не хотѣлъ произнести роковыя слова, я зналъ заранѣе, что въ отвѣтъ на нихъ появится, какъ въ Волчьей-Долинѣ Фрейшюца, что-то чудовищное,—но губы мои раскрылись противъ воли, и я закричалъ, тоже противъ воли, слабымъ, напряженнымъ голосомъ: „Сарынь на кичку!“

XVI.

Сперва все осталось безмолвнымъ, какъ и передъ римской развалиной,—но вдругъ возлѣ самаго моего уха раздался грубый бурлацкій смѣхъ—и что-то со стономъ упало въ воду и стало захлебываться... Я оглянулся: никого нигдѣ не было видно, — но съ берега отпрянуло эхо — и разомъ и отовсюду поднялся оглушительный гамъ. Чего только не было въ этомъ хаосѣ звуковъ: крики и визги, яростная ругань и хохотъ, хохотъ пуще всего, удары веселъ и топоровъ, трескъ какъ отъ взлома дверей и сундуковъ, скрипъ снастей и колесъ, и лошадиное скаканье, звонъ набата и лязгъ цѣпей, гулъ и ревъ пожара, пьяныя пѣсни и скрежещущая скороговорка, неутѣшный плачъ, моленіе жалобное, отчаянное, — и повелительныя восклицанья, предсмертное хрипѣнье и удалой посвистъ, гарканье и топотъ пляски... „Бей! вѣшай! топи! рѣжь! любо! любо! такъ! не жалѣй!“ — слышалось явственно,— слышалось даже прерывистое дыханіе запыхавшихся людей,—а между тѣмъ кругомъ, насколько глазъ доставалъ, ничего не показывалось, ничего не измѣнялось: рѣка катилась мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берегъ *казался пустыннѣй* и одичалѣй—и только.

Я обратился къ Эллисъ, но она положила палецъ на губы...

— Степанъ Тимоѳеичъ! Степанъ Тимоѳеичъ идетъ!— зашумѣло вокругъ:—идетъ нашъ батюшка, атаманъ нашъ, нашъ кормилецъ! — Я попрежнему ничего не видѣлъ, но мнѣ внезапно почудилось, какъ-будто громадное тѣло надвигается прямо на меня...—Фролка! гдѣ ты, песъ? — загремѣлъ страшный голосъ.—Зажигай со всѣхъ концовъ— да въ топоры ихъ, бѣлоручекъ!

На меня пахнуло жаромъ близкаго пламени, горькой гарью дыма—и въ то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брызнуло мнѣ въ лицо и на руки... Дикій хохотъ грянулъ кругомъ.

Я лишился чувствъ—и когда опомнился, мы съ Эллисъ тихо скользили вдоль знакомой опушки моего лѣса, прямо къ старому дубу...

— Видишь ту дорожку?—сказала мнѣ Эллисъ: — тамъ, гдѣ мѣсяцъ тускло свѣтитъ и свѣсились двѣ березки?... Хочешь туда?

Но я чувствовалъ себя до того разбитымъ и истощеннымъ, что я могъ только проговорить въ отвѣтъ: — домой... домой...

— Ты дома,—отвѣчала Эллисъ.

Я дѣйствительно стоялъ передъ самой дверью моего дома—одинъ. Эллисъ исчезла. Дворовая собака подошла-было, подозрительно оглянула меня — и съ воемъ бросилась прочь.

Я съ трудомъ дотащился до постели и заснулъ, не раздѣваясь.

XVII.

Все слѣдующее утро у меня голова болѣла, и я едва передвигалъ ноги; но я не обращалъ вниманія на тѣлесное мое разстройство, раскаяніе меня грызло, досада душила.

Я былъ до крайности недоволенъ собою. — „Малодушный!—твердилъ я безпрестанно:—да—Эллисъ права. Чего я испугался? *какъ было не воспользоваться* случаемъ?..

Я могъ увидѣть самого Цезаря — и я замеръ отъ страха, я запищалъ, я отвернулся, какъ ребенокъ отъ розги. Ну, Разинъ—это дѣло другое. Въ качествѣ дворянина и землевладѣльца... Впрочемъ, и тутъ, чего же я собственно испугался? Малодушный, малодушный!"...

— Да ужъ не во снѣ ли я все это вижу?—спросилъ я себя наконецъ. Я позвалъ ключницу.

— Мареа, въ которомъ часу я легъ вчера въ постель— не помнишь?

— Да кто-жъ тебя знаетъ, кормилецъ... Чай, поздно. Въ сумеречки ты изъ дому вышелъ; а въ спальнѣ-то ты каблучищами-то за полночь стукалъ. Подъ самое подъ утро—да. Вотъ и третьяго дня то-жъ. Знать, забота у тебя завелась какая.

„Эге-ге!—подумалъ я.—Летанье-то, значитъ, не подлежитъ сомнѣнію". — Ну, а съ лица я сегодня каковъ? — прибавилъ я громко.

— Съ лица-то? Дай, погляжу. Осунулся маленько. Да и блѣденъ же ты, кормилецъ: вотъ, какъ есть, ни кровинки въ лицѣ.

Меня слегка покоробило... Я отпустилъ Мареу.

„Вѣдь этакъ умрешь, пожалуй, или сойдешь съ ума",— разсуждалъ я, сидя въ раздумьѣ подъ окномъ.—„Надо это все бросить. Это опасно. Вонъ, и сердце какъ странно бьется. А когда я летаю, мнѣ все кажется, что его кто-то сосетъ, или какъ-будто изъ него что-то сочится — вотъ, какъ весной сокъ изъ березы, если воткнуть въ нее топоръ. А все-таки жалко. Да и Эллисъ... Она играетъ со мной, какъ кошка съ мышью... а впрочемъ, едва ли она желаетъ мнѣ зла. Отдамся ей въ послѣдній разъ—нагляжусь—а тамъ... Но если она пьетъ мою кровь? Это ужасно. Притомъ, такое быстрое передвиженіе не можетъ не быть вреднымъ; говорятъ, и въ Англіи, на желѣзныхъ дорогахъ, запрещено ѣхать болѣе 120 верстъ въ часъ..."

Такъ я размышлялъ съ самимъ собою—но въ десятомъ часу вечера я уже стоялъ передъ старымъ дубомъ.

XVIII.

Ночь была холодная, тусклая, сѣрая; въ воздухѣ пахло дождемъ. Къ удивленію моему, я никого не нашелъ подъ дубомъ; я прошелся нѣсколько разъ вокругъ, доходилъ до опушки лѣса, возвращался, тщательно вглядывался въ темноту... Все было пусто. Я подождалъ немного, потомъ нѣсколько разъ сряду произнесъ имя Эллисъ, все громче и громче... но она не появлялась. Мнѣ стало грустно, почти больно; прежнія мои опасенія исчезли: я не могъ примириться съ мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мнѣ.

— Эллисъ! Эллисъ! приди же! Неужели ты не придешь? закричалъ я въ послѣдній разъ.

Воронъ, котораго мой голосъ разбудилъ, внезапно замелькался на вершинѣ сосѣдняго дерева и, путаясь въ вѣтвяхъ, захлопалъ крыльями... Но Эллисъ не появлялась.

Понуривъ голову, я отправился домой. Впереди уже чернѣли ракиты по плотинѣ пруда, и свѣтъ въ окнѣ моей комнаты мелькнулъ между яблонями сада, мелькнулъ и скрылся, словно глазъ человѣка, который бы меня караулилъ—какъ вдругъ сзади меня послышался тонкій свистъ быстро разсѣкаемаго воздуха, и что-то разомъ обняло и подхватило меня снизу вверхъ: кобчикъ такъ подхватываетъ когтемъ, „чокаетъ“ перепела... Это Эллисъ на меня налетѣла. Я почувствовалъ ея щеку на моей щекѣ, кольцо ея руки вокругъ моего тѣла—и какъ острый холодокъ вонзился мнѣ въ ухо ея шопотъ: „вотъ и я“. Я и испугался, и обрадовался въ одно и то же время... Мы неслись невысоко надъ землей.

— Ты не хотѣла придти сегодня?—промолвилъ я.

— А ты соскучился по мнѣ? Ты меня любишь? О, ты мой!...

Послѣднія слова Эллисъ меня смутили... Я не зналъ, что сказать.

— Меня задержали, — продолжала она: — меня караулили.

— Кто могъ *тебя задержать?*

— Куда ты хочешь? — спросила Эллисъ, по обыкновенію не отвѣчая на мой вопросъ.

— Понеси меня въ Италію, къ тому озеру—помнишь?

Эллисъ слегка отклонилась и отрицательно покачала головой. Тутъ я въ первый разъ замѣтилъ, что она перестала быть прозрачной. И лицо ея какъ-будто окрасилось; по туманной его бѣлизнѣ разливался алый оттѣнокъ. Я взглянулъ въ ея глаза... и мнѣ стало жутко: въ этихъ глазахъ что-то двигалось—медленнымъ, безостановочнымъ и зловѣщимъ движеніемъ свернувшейся и застывшей змѣи, которую начинаетъ отогрѣвать солнце.

— Эллисъ!—воскликнулъ я:—кто ты? Скажи же мнѣ, кто ты?

Эллисъ только плечомъ пожала.

Мнѣ стало досадно... мнѣ захотѣлось отомстить ей,— и вдругъ мнѣ пришло на умъ велѣть ей перенестись со мной въ Парижъ.—„Вотъ ужъ гдѣ придется тебѣ ревновать“, подумалъ я.—Эллисъ!—промолвилъ я вслухъ:—ты не боишься большихъ городовъ, Парижа, напримѣръ?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ? Даже тѣхъ мѣстъ, гдѣ такъ свѣтло, какъ на бульварахъ?

— Это не дневной свѣтъ.

— Прекрасно; такъ неси же меня сейчасъ на Итальянскій бульваръ.

Эллисъ накинула мнѣ на голову конецъ своего длиннаго висячаго рукава. Меня тотчасъ охватила какая-то бѣлая мгла, съ снотворнымъ запахомъ мака. Все исчезло разомъ: всякій свѣтъ, всякій звукъ — и самое почти сознаніе. Одно ощущеніе жизни осталось — и это не было непріятно.

Внезапно мгла исчезла; Эллисъ сняла рукавъ съ моей головы, и я увидѣлъ подъ собою громаду столпившихся зданій, полную блеска, движенія, грохота... Я увидѣлъ Парижъ...

XIX.

Я прежде бывалъ въ Парижѣ, и потому тотчасъ узналъ

мѣсто, къ которому направлялась Эллисъ. Это былъ Тюльерійскій садъ, съ его старыми каштановыми деревьями, желѣзными рѣшётками, крѣпостнымъ рвомъ и звѣроподобными зуавами на часахъ. Минуя дворецъ, минуя церковь св. Роха, на ступеняхъ которой первый Наполеонъ въ первый разъ пролилъ французскую кровь, мы остановились высоко надъ Итальянскимъ бульваромъ, гдѣ третій Наполеонъ сдѣлалъ то же самое, и съ тѣмъ же успѣхомъ. Толпы народа, молодые и старые щеголи, блузники, женщины въ пышныхъ платьяхъ, тѣснились по панелямъ: раззолоченные рестораны и кофейныя горѣли огнями; омнибусы, кареты всѣхъ родовъ и видовъ сновали вдоль бульвара; все такъ и кипѣло, такъ и сіяло, все, куда ни падалъ взоръ... Но, странное дѣло, мнѣ не захотѣлось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не захотѣлось приблизиться къ этому человѣческому муравейнику. Казалось, горячій, тяжелый, рдяный паръ поднимался оттуда, не то пахучій, не то смрадный: ужъ очень много жизней сбилось тамъ въ одну кучу. Я колебался... Но вотъ рѣзкій, какъ лязгъ желѣзныхъ полосъ, голосъ уличной лоретки внезапно долетѣлъ до меня; какъ наглый языкъ, высунулся онъ наружу, этотъ голосъ; онъ кольнулъ меня, какъ жало гадины. Я тотчасъ представилъ себѣ каменное, скулистое, жадное, плоское парижское лицо, ростовщичьи глаза, бѣлила, румяна, взбитые волосы и букетъ яркихъ поддѣльныхъ цвѣтовъ подъ остроконечной шляпой, выскребленные ногти въ родѣ когтей, безобразный кринолинъ... Я представилъ себѣ также и нашего брата степняка, бѣгущаго дрянной припрыжкой за продажной куклой... Я представилъ себѣ, какъ онъ, конфузясь до грубости и насильственно картавя, старается подражать въ манерахъ гарсонамъ Вефура, пищитъ, подслуживается, юлитъ—и чувство омерзѣнія охватило меня... „Нѣтъ“, подумалъ я, „здѣсь Эллисъ ревновать не придется“...

Между тѣмъ, я замѣтилъ, что мы понемногу начали понижаться... Парижъ вздымался къ намъ навстрѣчу со всѣмъ своимъ *гамомъ и чадомъ*...

— Остановись! — обратился я къ Эллисъ. — Неужели тебѣ не душно здѣсь, не тяжело?

— Ты самъ просилъ меня перенести тебя сюда.

— Я виноватъ, я беру назадъ свое слово. Неси меня прочь, Эллисъ, прошу тебя. Такъ и есть: вотъ и князь Кульмаметовъ ковыляетъ по бульвару; и другъ его, Сержъ Вараксинъ, машетъ ему ручкой и кричитъ: „Иванъ Степанычъ, аллонъ супэ, скорѣй, же ангаже самое Ригольбошъ!“ Неси меня прочь отъ этихъ мабилей и мезонъ-доре, отъ ганденовъ и бишей, отъ жокей-клуба и Фигаро, отъ выбритыхъ солдатскихъ лбовъ и вылощенныхъ казармъ, отъ сержандевилей съ эспаньолками и стакановъ мутнаго абсенту, отъ игроковъ въ домино по кофейнымъ и игроковъ на биржѣ, отъ красныхъ ленточекъ въ петлицѣ сюртука и въ петлицѣ пальто, отъ господина де-Фуа, изобрѣтателя „спеціальности браковъ“, и даровыхъ консультацій д-ра Шарля Альбера, отъ либеральныхъ лекцій и правительственныхъ брошюръ, отъ парижскихъ комедій и парижскихъ оперъ, отъ парижскихъ остротъ и парижскаго невѣжества... Прочь! прочь! прочь!

— Взгляни внизъ,—отвѣчала мнѣ Эллисъ:—ты уже не надъ Парижемъ.

Я опустилъ глаза... Точно. Темная равнина, кой-гдѣ пересѣченная бѣловатыми чертами дорогъ, быстро бѣжала подъ нами, и только назади, на небосклонѣ, какъ зарево огромнаго пожара, било кверху широкое отраженіе безчисленныхъ огней міровой столицы.

XX.

Опять упала пелена на глаза мои... Опять я забылся. Она разсѣялась, наконецъ.

Что это тамъ внизу? Какой это паркъ съ аллеями стриженыхъ липъ, съ отдѣльными елками въ видѣ зонтиковъ, съ портиками и храмами во вкусѣ помпадуръ, съ изваяніями сатировъ и нимфъ Бернинiевской школы, съ тритонами рококо на срединѣ изогнутыхъ прудовъ, окаймленныхъ низкими перилами изъ почернѣвшаго мрамора? Не *Версаль ли* это? Нѣтъ, это не Версаль. Небольшой дво-

рецъ, тоже рококо, выглядываетъ изъ-за купы кудрявыхъ дубовъ. Луна неясно свѣтитъ, окутанная паромъ, и по землѣ какъ будто разостлался тончайшій дымъ. Глазъ не можетъ разобрать, что это такое: лунный свѣтъ или туманъ? Вонъ, на одномъ изъ прудовъ спитъ лебедь: его длинная спина бѣлѣетъ, какъ снѣгъ степей, прохваченныхъ морозомъ, а вонъ свѣтляки горятъ алмазами въ голубоватой тѣни, у подножья статуй.

— Мы возлѣ Мангейма, — промолвила Эллисъ: — это Швецингенскій садъ.

— Такъ мы въ Германіи,—подумалъ я, и началъ прислушиваться. Все было безмолвно; только гдѣ-то уединенно и незримо плескалась и болтала струйка падавшей воды. Казалось, она твердила все одни и тѣ же слова: „Да, да, да, всегда, да". И вдругъ мнѣ почудилось, какъ будто по самой срединѣ одной изъ аллей, между стѣнами стриженой зелени, жеманно подавая руку дамѣ въ напудренной прическѣ и пестромъ робронѣ, выступалъ на красныхъ каблукахъ кавалеръ, въ золоченомъ кафтанѣ и кружевныхъ манжеткахъ, съ легкой стальной шпагой на бедрѣ... Странныя, блѣдныя лица... Я хочу вглядѣться въ нихъ... Но уже все исчезло, и только попрежнему болтаетъ вода...

— Это сны бродятъ,—шепнула Эллисъ:—вчера можно было увидѣть много... много. Сегодня и сны бѣгутъ человѣческаго глаза. Впередъ! Впередъ!

Мы поднялись кверху и полетѣли дальше. Такъ плавенъ и ровенъ былъ нашъ полетъ, что, казалось, не мы двигались, а все, напротивъ, къ намъ двигалось навстрѣчу. Появились горы, темныя, волнистыя, покрытыя лѣсомъ; онѣ выросли и поплыли на насъ... Вотъ, уже онѣ протекаютъ подъ нами, со всѣми своими извилинами, ложбинами, узкими лугами, съ огненными точками въ заснувшихъ деревушкахъ у быстрыхъ ручьевъ на днѣ долинъ; а впереди опять вырастаютъ и плывутъ другія горы... Мы въ нѣдрахъ Шварцвальда.

Горы, все горы... и лѣсъ, прекрасный, старый, могучій лѣсъ. Ночное *небо ясно: я могу* признать каждую породу

деревьевъ; особенно великолѣпны пихты съ ихъ бѣлыми, прямыми стволами. Кое-гдѣ, на опушкахъ, виднѣются дикія козы; стройно и чутко стоятъ онѣ на своихъ тонкихъ ножкахъ и прислушиваются, красиво повернувъ головы и насторожив большія, трубчатыя уши. Развалина башни печально и слѣпо выставляетъ съ вершины голаго утеса свои полуобрушенные зубцы; надъ старыми, забытыми камнями мирно теплится золотая звѣздочка. Изъ небольшого, почти чернаго озера поднимается, какъ таинственная жалоба, стенящее уканіе маленькихъ жабъ. Мнѣ чудятся другіе звуки, длинные, томные, подобные звукамъ эоловой арфы... Вотъ она, страна легендъ! Тотъ же самый тонкій лунный дымъ, который поразилъ меня въ Швецингенѣ, разлитъ здѣсь повсюду, и чѣмъ дальше расходятся горы, тѣмъ гуще этотъ дымъ. Я насчитываю пять, шесть, десять различныхъ тоновъ различныхъ пластовъ тѣни по уступамъ горъ, и надъ всѣмъ этимъ безмолвнымъ разнообразіемъ задумчиво царитъ луна. Воздухъ струится мягко и легко. Мнѣ самому легко и какъ-то возвышенно спокойно и грустно...

— Эллисъ, ты должна любить этотъ край!

— Я ничего не люблю.

— Какъ же это? А меня?

— Да... тебя!—отвѣчаетъ она равнодушно.

Мнѣ сдается, что ея рука тѣснѣе прежняго обвиваетъ мой станъ.

— Впередъ! Впередъ!—говоритъ Эллисъ съ какимъ-то холоднымъ увлеченьемъ.

— Впередъ!—повторяю я.

XXI.

Сильный, переливчатый, звонкій крикъ раздался внезапно надъ нами и тотчасъ же повторился уже немного впереди.

— Это запоздалые журавли летятъ къ вамъ, на сѣверъ,—сказала Эллисъ:—хочешь къ нимъ присоединиться?

— Да, да! подними меня къ нимъ.

Мы взвились и въ одинъ мигъ очутились рядомъ съ *пролетавшей станицей*.

Крупныя, красивыя птицы (ихъ всего было тринадцать) летѣли треугольникомъ, рѣзко и рѣдко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянувъ голову и ноги, круто выставивъ грудь, онѣ стремились неудержимо и до того быстро, что воздухъ свисталъ вокругъ. Чудно было видѣть на такой вышинѣ, въ такомъ удаленіи отъ всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая побѣдоносно разсѣкать пространство, журавли изрѣдка перекликались съ передовымъ товарищемъ, съ вожакомъ, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоувѣренное въ этихъ громкихъ возгласахъ, въ этомъ подоблачномъ разговорѣ. „Мы долетимъ, небось, хоть и трудно", казалось, говорили они, ободряя другъ друга. И тутъ мнѣ пришло въ голову, что такихъ людей, каковы были эти птицы—въ Россіи — гдѣ въ Россіи! въ цѣломъ свѣтѣ немного.

— Мы теперь летимъ въ Россію,—промолвила Эллисъ. Я уже не въ первый разъ могъ замѣтить, что она почти всегда знала, о чемъ я думаю.—Хочешь вернуться?

— Вернемся... или нѣтъ? Я былъ въ Парижѣ; неси меня въ Петербургъ.

— Теперь?

— Сейчасъ... Только закрой мнѣ голову твоей пеленой, а то мнѣ дурно дѣлается.

Эллисъ подняла руку... но прежде чѣмъ туманъ охватилъ меня, я успѣлъ почувствовать на губахъ моихъ прикосновеніе того мягкаго, тупого жала...

XXII.

„Слуша-а-а-ай!" раздался въ ушахъ моихъ протяжный крикъ. „Слуша-а-а-ай!" словно съ отчаяніемъ отозвалось въ отдаленіи. „Слуша-а-а-ай!" замерло гдѣ-то на концѣ свѣта. Я встрепенулся. Высокій золотой шпиль бросился мнѣ въ глаза: я узналъ Петропавловскую крѣпость.

Сѣверная, блѣдная ночь! Да и ночь ли это? Не блѣдный, не больной ли это день? Я никогда не любилъ петербургскихъ *ночей; но на этотъ* разъ мнѣ даже страшно

стало: обликъ Эллисъ исчезалъ совершенно, таялъ, какъ утренній туманъ на іюльскомъ солнцѣ, и я ясно видѣлъ все свое тѣло, какъ оно грузно и одиноко висѣло въ уровень Александровской колонны. Такъ вотъ Петербургъ! Да, это онъ, точно. Эти пустыя, широкія, сѣрыя улицы; эти сѣро-бѣловатые, желто-сѣрые, сѣро-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, съ ихъ впалыми окнами, яркими вывѣсками, желѣзными навѣсами надъ крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакія; ненужная, пестрая биржа; гранитныя стѣны крѣпости и взломанная деревянная мостовая; эти барки съ сѣномъ и дровами; этотъ запахъ пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменѣлые дворники въ тулупахъ у воротъ, эти скорченные мертвеннымъ сномъ извозчики на продавленныхъ дрожкахъ,—да, это она, наша Сѣверная Пальмира. Все видно кругомъ; все ясно, до жуткости четко и ясно, и все печально спитъ, странно громоздясь и рисуясь въ тусклопрозрачномъ воздухѣ. Румянецъ вечерней зари—чахоточный румянецъ—не сошелъ еще, и не сойдетъ до утра съ бѣлаго, беззвѣзднаго неба, онъ ложится по шелковистой глади Невы, а она чуть журчитъ и чуть колышется, торопя впередъ свои холодныя, синія воды...

— Улетимъ,—взмолилась Эллисъ.

И, не дожидаясь моего отвѣта, она понесла меня черезъ Неву, черезъ Дворцовую площадь, къ Литейной. Шаги и голоса послышались внизу: по улицѣ шла кучка молодыхъ людей съ испитыми лицами и толковала о танцклассахъ. „Подпоручикъ Столпаковъ седьмой!“ крикнулъ вдругъ спросонку солдатъ, стоявшій на часахъ у пирамидки ржавыхъ ядеръ, а нѣсколько подальше, у раскрытаго окна высокаго дома, я увидѣлъ дѣвицу въ измятомъ шелковомъ платьѣ, безъ рукавчиковъ, съ жемчужной сѣткой на волосахъ и съ папироской во рту. Она благоговѣйно читала книгу: это былъ томъ сочиненій одного изъ новѣйшихъ Ювеналовъ.

— Улетимъ!—сказалъ я Эллисъ.

Минута, и уже мелькали передъ нами гнилые еловые

лѣсишки и моховыя болота, окружающія Петербургъ. Мы направлялись прямо къ югу: небо и земля, все становилось понемногу темнѣй и темнѣй. Больная ночь, больной день, больной городъ — все осталось назади.

XXIII.

Мы летѣли тише обыкновеннаго, и я имѣлъ возможность услѣдить глазами, какъ постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Лѣса, кусты, поля, овраги, рѣки—изрѣдка деревни, церкви—и опять поля и лѣса, и кусты, и овраги... Грустно стало мнѣ, и какъ-то равнодушно скучно. И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подо мною; весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этотъ наростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому проступила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди-мухи, въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ; ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ,—какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло! Сердце во мнѣ медленно перевернулось, и не захотѣлось мнѣ болѣе глазѣть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку... Да, мнѣ стало скучно—хуже чѣмъ скучно. Даже жалости я не ощущалъ къ своимъ собратьямъ: всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я назвать едва дерзаю: въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе всего, и болѣе всего во мнѣ было отвращеніе — къ самому себѣ.

— Перестань,—шепнула Эллисъ:—перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжелъ становишься.

— Ступай домой,—отвѣчалъ я ей тѣмъ же голосомъ, какимъ я говаривалъ эти слова моему кучеру, выходя въ четвертомъ часу *ночи отъ московскихъ* пріятелей, съ ко-

торыми съ самаго обѣда толковалъ о будущности Россіи и значеніи общины.—Ступай домой,—повторилъ я и закрылъ глаза.

XXIV.

Но я скоро раскрылъ ихъ. Эллисъ какъ-то странно ко мнѣ прижималась; она почти толкала меня. Я посмотрѣлъ на нее и кровь во мнѣ застыла. Кому случалось увидать на лицѣ другого внезапное выраженіе глубокаго ужаса, причину котораго онъ не подозрѣваетъ,—тотъ меня пойметъ. Ужасъ, томительный ужасъ кривилъ, искажалъ блѣдныя, почти стертыя черты Эллисъ. Я не видалъ ничего подобнаго даже на живомъ человѣческомъ лицѣ. Безжизненный, туманный призракъ, тѣнь... и этотъ замирающій страхъ...

— Эллисъ, что съ тобой?—проговорилъ я наконецъ.

— Она... она...—отвѣчала она съ усиліемъ:—она!

— Она? кто она?

— Не называй ее, не называй,—торопливо пролепетала Эллисъ.—Надо спасаться, а то всему конецъ—и навсегда... Посмотри: вонъ тамъ!

Я обернулъ голову въ сторону, куда указывала мнѣ трепещущая рука, и увидалъ нѣчто... нѣчто дѣйствительно страшное.

Это нѣчто было тѣмъ страшнѣе, что не имѣло опредѣленнаго образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, какъ брюхо ящерицы—не туча и не дымъ, медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ землей. Мѣрное, широкое колебаніе сверху внизъ и снизу вверхъ, колебаніе, напоминающее зловѣщій размахъ крыльевъ хищной птицы, когда она ищетъ свою добычу; по временамъ неизъяснимо противное приниканіе къ землѣ,—паукъ такъ приникаетъ къ пойманной мухѣ... Кто ты, что ты, грозная масса? Подъ ея вліяніемъ—я это видѣлъ, я это чувствовалъ—все уничтожалось, все нѣмѣло... Гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ нея—отъ этого холодка тошнило на сердцѣ и въ глазахъ темнѣло, и волосы вставали дыбомъ. Это сила шла; та сила, которой

нѣтъ сопротивленія, которой все подвластно, которая безъ зрѣнія, безъ образа, безъ смысла—все видитъ, все знаетъ, и какъ хищная птица выбираетъ свои жертвы, какъ змѣя ихъ давитъ и лижетъ своимъ мерзлымъ жаломъ...

— Эллисъ! Эллисъ!—закричалъ я какъ изступленный.— Это смерть! сама смерть!

Жалобный звукъ, уже прежде слышанный мною, вырвался изъ устъ Эллисъ — на этотъ разъ онъ скорѣе походилъ на человѣческій, отчаянный вопль — и мы понеслись. Но нашъ полетъ былъ странно и страшно неровенъ; Эллисъ кувыркалась на воздухѣ, падала, бросалась изъ стороны въ сторону, какъ куропатка, смертельно раненая или желающая отвлечь собаку отъ своихъ дѣтей. А между тѣмъ, вслѣдъ за нами, отдѣлившись отъ неизъяснимо-ужасной массы, покатились какіе-то длинные, волнистые отпрыски, словно протянутыя руки, словно когти... Громадный образъ закутанной фигуры на блѣдномъ конѣ мгновенно всталъ и взвился подъ самое небо... Еще тревожнѣе, еще отчаяннѣе заметалась Эллисъ. „Она увидала! Все кончено! Я пропала!..“ слышался ея прерывистый шопотъ. „О, я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!“

Это было слишкомъ невыносимо... Я лишился чувствъ.

XXV.

Когда я опомнился—я лежалъ навзничь въ травѣ и чувствовалъ во всемъ тѣлѣ глухую боль, какъ отъ сильнаго ушиба. На небѣ брезжило утро: я могъ ясно различать предметы. Невдалекѣ, вдоль березовой рощицы, шла дорога, усаженная ракитами: мѣста мнѣ казались знакомыя. Я началъ припоминать, что́ произошло со мною, и содрогнулся весь, какъ только пришло мнѣ на умъ то послѣднее безобразное видѣніе...

„Но чего же испугалось Эллисъ?“ подумалъ я. „Ужели и она подлежитъ *ея* власти? Развѣ она не безсмертна? Развѣ и она обречена ничтожеству, разрушенію? какъ это возможно!“

Тихій стонъ раздался вблизи. Я повернулъ голову. Въ двухъ шагахъ отъ меня недвижно лежала распростертая молодая женщина въ бѣломъ платьѣ, съ разбросанными густыми волосами, съ обнаженнымъ плечомъ. Одна рука закинулась на голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутыхъ губахъ выступила легкая алая пѣна. Неужели это Эллисъ? Но Эллисъ — призракъ, а я видѣлъ передъ собою живую женщину. Я подползъ къ ней, наклонился...

— Эллисъ! ты ли это? — воскликнулъ я. Вдругъ, медленно затрепетавъ, приподнялись широкія вѣки; темные, пронзительные глаза впились въ меня—и въ то же мгновенье въ меня впились и губы, теплыя, влажныя, съ кровянымъ запахомъ... мягкія руки крѣпко обвились вокругъ моей шеи, горячая, полная грудь судорожно прижалась къ моей. — Прощай! прощай на вѣкъ! — явственно произнесъ замиравшій голосъ — и все исчезло.

Я приподнялся, шатаясь на ногахъ, словно пьяный, и, проведя нѣсколько разъ руками по лицу, оглядѣлся внимательно. Я находился возлѣ большой ....ой дороги, въ двухъ верстахъ отъ своей усадьбы. Солнце уже встало, когда я добрался домой.

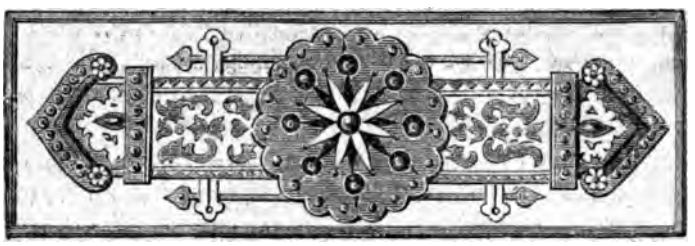
Всѣ слѣдующія ночи я ждалъ — и, признаюсь, не безъ страха — появленія моего призрака; но онъ не посѣщалъ меня болѣе. Я даже отправился однажды, въ сумерки, къ старому дубу, но и тамъ не произошло ничего необыкновеннаго. Впрочемъ, я не слишкомъ жалѣлъ о прекращеніи такого страннаго знакомства. Я много и долго размышлялъ объ этомъ непонятномъ, почти безтолковомъ казусѣ—и я убѣдился, что не только наука его не объясняетъ, но что даже въ сказкахъ, въ легендахъ не встрѣчается ничего подобнаго. Что такое Эллисъ, въ самомъ дѣлѣ? Привидѣніе, скитающаяся душа, злой духъ, сильфида, вампиръ, наконецъ? Иногда мнѣ опять казалось, что Эллисъ—женщина, которую я когда-то зналъ, и я дѣлалъ страшныя усилія, чтобы припомнить, гдѣ я ее видѣлъ... Вотъ, вотъ, казалось иногда—сейчасъ, сію минуту вспомню... Куда! все

опять расплывалось, какъ сонъ. Да, я думалъ много и, какъ водится, ни до чего не додумался. Спросить совѣта или мнѣнія другихъ людей я не рѣшался, боясь прослыть за сумасшедшаго. Я, наконецъ, бросилъ всѣ свои размышленія: правду сказать, мнѣ было не до того. Съ одной стороны, подвернулась эманципація съ разверстаніемъ угодій и пр., и пр.; а съ другой, собственное здоровье разстроилось: грудь заболѣла, безсонница, кашель. Все тѣло сохнетъ. Лицо желтое, какъ у мертвеца. Докторъ увѣряетъ, что у меня крови мало, называетъ мою болѣзнь греческимъ именемъ „анеміей“ и посылаетъ меня въ Гастейнъ. А посредникъ божится, что безъ меня съ крестьянами „не сообразишь...“

Вотъ тутъ и соображай!

Но что значатъ тѣ пронзительно-чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, какъ только заговорятъ при мнѣ о чьей-нибудь смерти? Они становятся все громче, все пронзительнѣй... И зачѣмъ я такъ мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожествѣ?

1863 г.



ДОВОЛЬНО.

(ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ УМЕРШАГО ХУДОЖНИКА.)

I.

. . . . . .

II.

. . . . . .

III.

Довольно,—говорилъ я самому себѣ, между тѣмъ какъ ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня внизъ, къ тихой рѣчкѣ; „довольно“, — повторялъ я, вдыхая смолистый запахъ сосновой рощи, которому свѣжесть наступавшаго вечера придавала особенную крѣпость и остроту; „довольно“, — сказалъ я еще разъ, усѣвшись на моховомъ бугрѣ надъ самой рѣчкой и глядя на ея темныя и небыстрыя волны, надъ которыми толстый тростникъ поднималъ свои блѣдно-зеленые стебли... „Довольно!“ — Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову въ обѣ руки и велѣть сердцу молчать. Полно нѣжиться сладкой нѣгой неопредѣленныхъ, но плѣнительныхъ ощущеній, полно бѣжать за каждымъ новымъ образомъ красоты, полно ловить каждое *трепетаніе ея тонкихъ* и сильныхъ крылъ. — Все извѣ-

дано—все перечувствовано много разъ... усталъ я.—Что мнѣ въ томъ, что въ это самое мгновенье заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобѣдною страстію? Что въ томъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, среди тишины и нѣги и блеска вечера, въ росистой глубинѣ неподвижнаго куста, соловей вдругъ сказался такими волшебными звуками, точно до него на свѣтѣ не водилось соловьевъ, и онъ первый запѣлъ первую пѣснь о первой любви? Все это было, было, повторялось, повторяется тысячу разъ — и какъ вспомнишь, что все это будетъ продолжаться такъ цѣлую вѣчность—словно по указу, по закону—даже досадно станетъ! Да... досадно!

IV.

Эхъ, состарѣлся я! Прежде—подобныя мысли и въ голову бы мнѣ не пришли—прежде, въ тѣ счастливые дни, когда я самъ разгорался, какъ заря, и пѣлъ, какъ соловей. — Надо признаться: все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла. Свѣтъ, который даетъ ея краскамъ и значеніе, и силу, — тотъ свѣтъ, который исходитъ изъ сердца человѣка, — погасъ во мнѣ... Нѣтъ, онъ еще не погасъ, но едва тлѣетъ, безъ лучей и безъ теплоты. Помнится, однажды, поздней ночью, въ Москвѣ, я подошелъ къ рѣшетчатому окну старенькой церкви и прислонился къ неровному стеклу. Было темно подъ низкими сводами—позабытая лампадка едва теплилась краснымъ огонькомъ передъ древнимъ образомъ — и смутно виднѣлись однѣ только губы святого лика — строгія, скорбныя; угрюмый мракъ надвигался кругомъ и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый лучъ ненужнаго свѣта... И въ сердцѣ моемъ — теперь такой же свѣтъ и такой же мракъ.

V.

И это я пишу тебѣ—тебѣ, мой единственный и незабвенный другъ, тебѣ, дорогая моя подруга, которую я покинулъ навсегда, но которую не перестану любить до конца моей *жизни... Увы! ты* знаешь, что насъ разлу-

чило. Но я не хочу теперь упоминать объ этомъ. Я тебя покинулъ... но и здѣсь, въ этой глуши, въ этой дали, въ этомъ изгнаніи—я весь проникнутъ тобою, я попрежнему въ твоей власти, попрежнему чувствую сладостное тяготѣніе твоей руки на моей склоненной головѣ! — Въ послѣдній разъ приподнимаясь изъ нѣмой могилы, въ которой я теперь лежу, я пробѣгаю кроткимъ и умиленнымъ взоромъ все мое прошедшее, все наше прошедшее... Надежды нѣтъ, и нѣтъ возврата—но и горечи нѣтъ во мнѣ, и нѣтъ сожалѣнья—и яснѣе небесной лазури, чище перваго снѣга на горныхъ высотахъ, возстаютъ, какъ образы умершихъ боговъ, прекрасныя воспоминанья... Они не тѣснятся толпами, они проходятъ тихой чередою, какъ тѣ закутанныя фигуры аѳинскихъ ѳеорій, которыми — помнишь?—мы такъ любовались на древнихъ барельефахъ Ватикана...

VI

Я сейчасъ упомянулъ о свѣтѣ, который исходитъ изъ сердца человѣческаго и озаряетъ все, что его окружаетъ... Мнѣ хочется поговорить съ тобою о томъ времени, когда и въ моемъ сердцѣ горѣлъ этотъ благодатный свѣтъ. — Слушай... а я воображу, что ты сидишь передо мною и глядишь на меня твоими ласковыми и въ то же время почти до строгости внимательными глазами. О, незабвенные глаза! На кого, куда устремлены вы теперь? Кто принимаетъ въ свою душу вашъ взглядъ—этотъ взглядъ, который какъ-будто вытекаетъ изъ невѣдомой глубины, подобно тѣмъ таинственнымъ ключамъ, какъ вы, и свѣтлымъ и темнымъ, которые бьютъ па самомъ днѣ тѣсныхъ долинъ, подъ навѣсами скалъ?.. Слушай.—

VII.

Это было въ концѣ марта, передъ Благовѣщеніемъ, вскорѣ послѣ того, какъ я въ первый разъ тебя увидѣлъ— и, еще не подозрѣвая, чѣмъ ты станешь для меня—уже носилъ тебя въ сердцѣ—безмолвно и тайно.—Мнѣ пришлось переѣзжать одну изъ главныхъ рѣкъ Россіи. Ледъ *еще не тронулся* на ней—но какъ-будто вспухъ и по-

темнѣлъ; четвертый день стояла оттепель. Снѣгъ таялъ кругомъ—дружно, но тихо; вездѣ сочилась вода; въ рыхломъ воздухѣ бродилъ беззвучный вѣтеръ. Одинъ и тотъ же, ровный, молочный цвѣтъ обливалъ землю и небо: тумана не было—но не было и свѣта; ни одинъ предметъ не выдѣлялся на общей бѣлизнѣ; все казалось и близкимъ, и неяснымъ. Оставивъ свою кибитку далеко назади, я быстро шелъ по льду рѣчному—и, кромѣ глухого стука собственныхъ шаговъ, не слышалъ ничего; я шелъ, со всѣхъ сторонъ охваченный первымъ млѣніемъ и вѣяніемъ ранней весны... и понемногу, прибавляясь съ каждымъ шагомъ, съ каждымъ движеніемъ впередъ, поднималась и росла во мнѣ какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня—и такъ сильны были ея порывы, что я остановился, наконецъ, въ изумленіи и вопросительно посмотрѣлъ вокругъ, какъ бы желая отъискать внѣшнюю причину моего восторженнаго состоянія... Все было тихо, бѣло, сонно; но я подпялъ глаза: высоко на небѣ неслись станицей прилетныя птицы... „Весна! здравствуй, весна!“ — закричалъ я громкимъ голосомъ:— „здравствуй, жизнь и любовь, и счастье!“ — и въ то же мгновенье, съ сладостно потрясающею силой, подобно цвѣту кактуса, внезапно вспыхнулъ во мнѣ твой образъ— вспыхнулъ и сталъ, очаровательно яркій и прекрасный— и я понялъ, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полонъ тобою...

VIII.

Я думаю о тебѣ... и много другихъ воспоминаній, другихъ картинъ встаетъ передо мною—и повсюду ты, на всѣхъ путяхъ моей жизни встрѣчаю я тебя.—То является мнѣ старый русскій садъ на скатѣ холма, освѣщенный послѣдними лучами лѣтняго солнца. Изъ-за серебристыхъ тополей выглядываетъ тесовая крыша господскаго дома съ тонкимъ завиткомъ алаго дыма надъ бѣлой трубой—а въ заборѣ калитка чуть раскрылась, словно кто потянулъ ее нерѣшительной рукою—и я стою, и жду, и гляжу на эту калитку *и на песокъ садовой дорожки*—я дивлюсь и уми-

ляюсь, все, что я вижу, мнѣ кажется необыкновеннымъ и новымъ, все обвѣяно какой-то свѣтлой, ласковой таинственностью—и уже чудится мнѣ быстрый шелестъ шаговъ—и стою я, весь напряженный и легкій, какъ птица, только-что сложившая крылья и готовая взвиться вновь—и сердце горитъ и трепещетъ веселымъ страхомъ передъ близкимъ, передъ налетающимъ счастьемъ...

IX.

То вижу я древній соборъ въ далекой, прекрасной странѣ. Рядами тѣснится колѣнопреклоненный народъ; молитвеннымъ холодомъ, чѣмъ-то важнымъ и унылымъ вѣетъ отъ высокаго, нагого свода, отъ громадныхъ, кверху развѣтвленныхъ столбовъ. — Ты стоишь возлѣ меня безгласно и безучастно, точно ты мнѣ чужая; каждая складка твоего темнаго плаща виситъ неподвижно, какъ изваянная; неподвижно лежатъ пестрыя отраженья цвѣтныхъ оконъ у ногъ твоихъ, на потертыхъ плитахъ.—И вотъ, сильно потрясая тусклый отъ ладана воздухъ, внутренно насъ потрясая, тяжелой волной прокатились звуки органа—и ты поблѣднѣла и выпрямилась—твой взоръ коснулся меня, скользнулъ выше и поднялся къ небу,—а мнѣ показалось, что только безсмертная душа можетъ такъ глядѣть и такими глазами...

X.

То является мнѣ другая картина.—Не старинный храмъ подавляетъ насъ своимъ суровымъ великолѣпіемъ; низкія стѣны небольшой уютной комнатки отдѣляютъ насъ отъ цѣлаго міра. — Что я говорю! мы одни, одни въ цѣломъ мірѣ; кромѣ насъ двоихъ нѣтъ ничего живого; за этими дружелюбными стѣнами мракъ и смерть, и пустота. То не вѣтеръ воетъ, то не дождикъ струится ручьями: то жалуется и стонетъ Хаосъ; то плачутъ его слѣпыя очи. А у насъ тихо и свѣтло, и тепло, и привѣтно; что-то забавное, что-то дѣтски-невинное, бабочкой—не правда ли?—порхаетъ вокругъ; мы пріютились другъ къ дружкѣ, мы прислонились другъ къ дружкѣ головами, и оба читаемъ *хорошую книгу; я* чувствую, какъ бьется тонкая жилка

въ твоемъ нѣжномъ вискѣ, я слышу, какъ ты живешь, ты слышишь, какъ я живу, твоя улыбка рождается у меня на лицѣ прежде, чѣмъ у тебя, ты отвѣчаешь безмолвно на мой безмолвный вопросъ, твои мысли, мои мысли—какъ оба крыла одной и той же въ лазури потонувшей птицы...—послѣднія преграды пали—и такъ успокоилась, такъ углубилась наша любовь, такъ безслѣдно исчезло всякое разъединеніе, что намъ даже не хочется мѣняться словомъ, взглядомъ... Только дышать, дышать вмѣстѣ хочется намъ, жить вмѣстѣ, быть вмѣстѣ... и даже не сознавать того, что мы вмѣстѣ...

XI.

Или, наконецъ, мнѣ представляется то ясное, сентябрьское утро, когда мы гуляли съ тобою по пустынному, еще не отцвѣтшему саду заброшеннаго дворца, на берегу великой не русской рѣчки, при кроткомъ сіяніи безоблачнаго неба. О, какъ передать тѣ ощущенія! — Эта безконечно текущая рѣка, эта безлюдность и спокойствіе, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колыханіе счастья, незнакомый, однообразный городъ, осенніе крики галокъ въ высокихъ, свѣтлыхъ деревьяхъ—и эти ласковыя рѣчи и улыбки, и взгляды, долгіе, мягкіе, до дна доходящіе, и красота, красота въ самихъ насъ, кругомъ, повсюду—это выше словъ. О, скамейка, на которой мы сидѣли молча, съ поникшими отъ избытка чувствъ головами—не забыть мнѣ тебя до смертнаго моего часа!—Что за прелесть были эти рѣдкіе прохожіе съ ихъ короткимъ привѣтомъ и добрыми лицами, и плывшія мимо, большія, тихія лодки—(на одной изъ нихъ—помнишь?—стояла лошадь и задумчиво глядѣла на скользившую у ней подъ носомъ воду) — ребяческій лепетъ мелкихъ прибрежныхъ волнъ и самый лай далекихъ собакъ надъ гладью рѣки, самое покрикиваніе дороднаго унтеръ-офицера на учившихся тутъ же въ сторонѣ краснощекихъ рекрутовъ съ ихъ оттопыренными локтями и выпесенными впередъ, на журавливый ладъ, ногами!.. Мы чувствовали оба, что лучше этихъ *мгновеній ничего въ мірѣ* не бывало и не будетъ

для насъ—что все остальное... Да и какія тутъ сравненія! Довольно... довольно... Увы! да: довольно.

XII.

Въ послѣдній разъ отдался я тѣмъ воспоминаніямъ и прощаюсь съ ними безвозвратно. — Такъ скупой, въ послѣдній разъ налюбовавшись своимъ кладомъ, своимъ золотомъ, своимъ свѣтлымъ сокровищемъ — засыпаетъ его сѣрой, сырой землею; такъ свѣтильня истощенной лампады, вспыхнувъ послѣднимъ, яркимъ пламенемъ, покрывается холоднымъ пепломъ. Взглянулъ звѣрекъ въ послѣдній разъ изъ своей норки на бархатную травку, на солнышко, на голубыя, ласковыя воды—да и забился въ самую глубь, свернулся калачикомъ—и заснулъ. Будутъ ли ему хотя во снѣ мерещиться и солнышко, и травка, и голубыя, ласковыя воды?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

XIII.

Строго и безучастно ведетъ каждаго изъ насъ судьба—и только на первыхъ порахъ, мы, занятые всякими случайностями, вздоромъ, самими собою—не чувствуемъ ея черствой руки.—Пока можно обманываться и не стыдно лгать—можно жить, и не стыдно надѣяться. Истина—не полная истина—о той и помину быть не можетъ,—но даже та малость, которая намъ доступна—замыкаетъ тотчасъ намъ уста, связываетъ намъ руки, сводитъ насъ „на нѣтъ“.—Тогда одно остается человѣку, чтобы устоять на ногахъ и не разрушиться въ прахъ, не погрязнуть въ тинѣ самозабвенія... самопрезрѣнія: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! — и, скрестивъ на пустой груди ненужныя руки, сохранить послѣднее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознанія собственнаго ничтожества; то достоинство, на которое намекаетъ Паскаль, когда онъ, называя человѣка мыслящимъ тростникомъ, говоритъ, что если бы цѣлая вселенная его раздавила — *онъ, этотъ* тростникъ, былъ бы все-таки выше

вселенной, потому что онъ бы зналъ, что она его давитъ,—а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное утѣшеніе! Какъ ты ни старайся проникнуться имъ, повѣрить ему—о, ты, кто бы ни былъ, мой бѣдный собратъ,—не отразить тебѣ тѣхъ грозныхъ словъ поэта „Наша жизнь—одна бродячая тѣнь; жалкій актеръ, который рисуется и кичится какой-нибудь часъ на сценѣ—а тамъ пропадаетъ безъ вѣсти; сказка, разсказанная безумцемъ, полная звуковъ и ярости—и не имѣющая никакого смысла" *). Я привелъ стихи изъ Макбета, и пришли мнѣ на память тѣ вѣдьмы, призраки, привидѣнія... Увы! не привидѣнія, не фантастическія, подземныя силы страшны; не страшна Гофманщина, подъ какимъ бы видомъ она ни являлась... Страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелка, неинтересна — и ницински плоска. Проникнувшись *этимъ* сознаньемъ, отвѣдавъ *этой* полыни, никакой ужъ медъ не покажется сладкимъ — и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полнаго сближенія, безвозвратной преданности — даже оно теряетъ все свое обаяніе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну, да: человѣкъ полюбилъ, загорѣлся, залепеталъ о вѣчномъ блаженствѣ, о безсмертныхъ наслажденіяхъ—смотришь: давнымъ-давно уже нѣтъ слѣда самаго того червя, который выѣлъ послѣдній остатокъ его изсохшаго языка. Такъ, поздней осенью, въ морозный день, когда все безжизненно и нѣмо въ посѣдѣлой травѣ, на окраинѣ обнаженнаго лѣса — стоитъ солнцу выйти на мигъ, изъ тумана, пристально взглянуть на застывшую землю—тотчасъ отовсюду поднимутся мошки: онѣ играютъ въ тепломъ его лучѣ, хлопочутъ, толкутся вверхъ, внизъ, вьются другъ около друга... Солнце скроется—мошки валятся слабымъ дождемъ—и конецъ ихъ мгновенной жизни.

XIV.

Но развѣ нѣтъ великихъ представленій, великихъ утѣшительныхъ словъ: „Народность, право, свобода, человѣ-

*) Макбетъ: актъ V-й, сцена 5-я.

чество, искусство?“ Да; эти слова существуютъ, и много людей живетъ ими и для нихъ. Но все-таки мнѣ сдается, что если бы вновь народился Шекспиръ, ему не изъ чего было бы отказаться отъ своего Гамлета, отъ своего Лира. Его проницательный взоръ не открылъ бы ничего новаго въ человѣческомъ быту: все та же пестрая и въ сущности несложная картина развернулась бы передъ нимъ въ своемъ тревожномъ однообразіи. То же легковѣріе и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, тѣ же пошлыя удовольствія, тѣ же безсмысленныя страданья во имя... ну, хоть во имя того же вздора, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ осмѣяннаго Аристофаномъ, тѣ же самыя грубыя приманки, на которыя такъ же легко попадается многоголовый звѣрь — людская толпа, тѣ же ухватки власти, тѣ же привычки рабства, та же естественность неправды — словомъ, то же хлопотливое прыганье бѣлки въ томъ же старомъ, даже не подновленномъ колесѣ... Шекспиръ опять заставилъ бы Лира повторить свое жестокое: „нѣтъ виноватыхъ“ — что другими словами значитъ: „нѣтъ и правыхъ“ — и тоже бы промолвилъ: довольно! и тоже бы отвернулся. — Одно развѣ только: быть-можетъ, въ противоположность мрачному, трагическому тирану — Ричарду — ироническій геній великаго поэта захотѣлъ бы нарисовать другой, болѣе современный типъ тирана, который почти готовъ повѣрить въ собственную добродѣтель и спокойно почиваетъ по ночамъ или жалуется на черезчуръ изысканный обѣдъ въ то самое время, когда его полураздавленныя жертвы стараются хоть тѣмъ себя утѣшить, что воображаютъ его, какъ Ричарда III-го, окруженнымъ призраками погубленныхъ имъ людей...

Но къ чему?

Къ чему доказывать — да еще подбирая и взвѣшивая слова, округляя и сглаживая рѣчь — къ чему доказывать мошкамъ, что онѣ точно мошки?

XV.

Но искусство?.. красота?.. Да, это сильныя слова; они,

пожалуй, сильнѣе другихъ, мною выше упомянутыхъ словъ. Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89-го года. Мнѣ могутъ возразить — и сколько разъ уже слышались эти возраженія! — что и сама красота дѣло условное, что китайцу она представляется совсѣмъ иначе, чѣмъ европейцу... Но не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, опять-таки его бренность, его тлѣнъ и прахъ—вотъ, что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство, въ данный мигъ, пожалуй, сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гёте — и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ, какъ о подражаніи природѣ; но, въ концѣ-концовъ, природа неотразима; ей спѣшить нечего, и рано или поздно она возьметъ свое. Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ — ея дитя; но человѣческое—искусственное—ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ. Человѣкъ — дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтеній: все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только насчетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому — она создаетъ, разрушая, и ей все равно: что она создаетъ, что она разрушаетъ— лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла правъ своихъ... А потому она такъ же спокойно покрываетъ плѣсенью божественный ликъ Фидіасовскаго Юпитера, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на съѣденіе презрѣнной моли драгоцѣннѣйшія строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогаютъ ей въ ея истребительной работѣ; но развѣ не та же стихійная сила, не сила природы сказалась въ палицѣ варвара, безмысленно дробившаго лучезарное чело Аполлона, въ звѣриныхъ вопляхъ, съ которыми онъ бросалъ въ огонь картину Апеллеса? Гдѣ *же намъ, бѣднымъ* людямъ, бѣднымъ ху-

дожникамъ, сладить съ этой глухонѣмой, слѣпорожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая? Какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ, безконечно и безустанно надвигающихся волнъ, какъ повѣрить, наконецъ, въ значеніе и достоинство тѣхъ бренныхъ образовъ, которые мы, въ темнотѣ, на краю бездны, лѣпимъ изъ праха и на мигъ?

XVI.

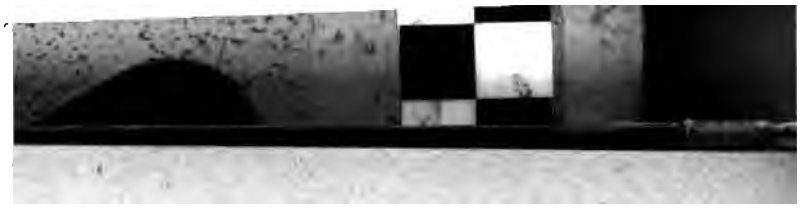
Все такъ... но одно преходящее прекрасно, сказалъ Шиллеръ; и сама природа, въ непрерывной игрѣ своихъ возникающихъ, исчезающихъ формъ, не чуждается красоты. Не она ли старательно убираетъ самыя мгновенныя изъ своихъ дѣтищъ — лепестки цвѣтовъ, крылья бабочекъ—такими прелестными красками, не она ли придаетъ имъ такія изящныя очертанья? Красотѣ не нужно безконечно жить, чтобы быть вѣчной — ей довольно одного мгновенья. Такъ; это, пожалуй, справедливо — но только тамъ, гдѣ нѣтъ личности, нѣтъ человѣка, нѣтъ свободы: поблекшее крыло бабочки возникаетъ вновь и черезъ тысячу лѣтъ тѣмъ же самымъ крыломъ той же самой бабочки; тутъ строго и правильно, и безлично совершаетъ свой кругъ необходимость... но человѣкъ не повторяется какъ бабочка, и дѣло его рукъ, его искусства, его свободное твореніе, однажды разрушенное,—погибаетъ навсегда... Ему одному дано „творить"... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на часъ, — какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. — Въ этомъ наше преимущество—и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ" самъ по себѣ, именно онъ, не кто другой, именно это *я*, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что они сродни чему-то высшему, вѣчному— и живетъ, долженъ жить въ мгновеньи для мгновенья*).

*) Какъ не вспомнить тутъ словъ Мефистофеля къ Фаусту:
„Er—(Gott) findet sich in einem ew'gen Glanze,
„Uns hat er in die Finsterniss gebracht—
„*Und euch tangt* einzig Tag und Nacht".

Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу! — Величайшіе изъ насъ — именно тѣ, которые глубже всѣхъ другихъ сознаютъ это коренное противорѣчіе; но, въ такомъ случаѣ — спрашивается, — умѣстны ли слова: величайшій, великій.

XVII.

Что же сказать о тѣхъ, къ которымъ, при всемъ желаніи, нельзя примѣнить эти имена, даже въ томъ значеніи, которое придаетъ имъ слабый человѣческій языкъ?— Что сказать объ обыкновенныхъ, дюжинныхъ, второстепенныхъ, третьестепенныхъ труженикахъ — кто бы они ни были — государственные люди, ученые, художники— особенно художники? Чѣмъ заставить ихъ стряхнуть свою нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, чѣмъ привлечь ихъ опять на поле битвы—если только мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась имъ въ голову? Какими вѣнками прельстятся они—они, для которыхъ и лавры, и тернья стали равно незначительны? Изъ чего они станутъ снова подвергаться смѣху „толпы холодной“ или „суду глупца“ — стараго глупца, который не можетъ простить имъ, что они отвернулись отъ прежнихъ кумировъ, — молодого глупца, который требуетъ, чтобы они тотчасъ вмѣстѣ съ нимъ стали на колѣни, легли плашмя передъ новыми, только-что открытыми идолами? Зачѣмъ пойдутъ они опять на этотъ толкучій рынокъ призраковъ, на это торжище, гдѣ и продавецъ, и покупатель равно обманываютъ другъ друга, гдѣ все такъ шумно, громко—и все такъ бѣдно и дрянно? Зачѣмъ, „съ изнеможеніемъ въ кости“, поплетутся они вновь въ этотъ міръ, гдѣ народы, какъ крестьянскіе мальчишки въ праздничный день, барахтаются въ грязи изъ-за горсти пустыхъ орѣховъ, или дивятся, разинувъ рты, на лубочныя картины, раскрашенныя сусальнымъ золотомъ,— въ этотъ міръ, гдѣ живуче только то, что не имѣетъ права на жизнь, — и, оглушая самого себя собственнымъ крикомъ, каждый *судорожно спѣшитъ* къ неизвѣстной и



непонятной ему цѣли? Нѣтъ... нѣтъ... Довольно... довольно... довольно!

XVIII.

. . . The rest is silence . . . . . .

. . . . . .

1864 г.

СОБАКА.

(РАЗСКАЗЪ.)

— Но если допустить возможность сверхъестественнаго, возможность его вмѣшательства въ дѣйствительную жизнь,—то позвольте спросить, какую роль, послѣ этого, долженъ играть здравый разсудокъ? — провозгласилъ Антонъ Степанычъ и скрестилъ руки на желудкѣ.

Антонъ Степанычъ состоялъ въ чинѣ статскаго совѣтника, служилъ въ какомъ-то мудреномъ департаментѣ и, говоря съ разстановкой, туго и басомъ, пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Ему, незадолго передъ тѣмъ, по выраженію его завистниковъ, „влѣпили станиславскую".

— Это совершенно справедливо,—замѣтилъ Скворевичъ.

— Объ этомъ и спорить никто не станетъ,—прибавилъ Бинаревичъ.

— И я согласенъ,—поддакнулъ фистулой изъ угла хозяинъ дома, г. Финоплентовъ.

— А я, признаюсь, согласиться не могу, потому что со мной самимъ произошло нѣчто сверхъестественное,—проговорилъ мужчина средняго роста и среднихъ лѣтъ, съ брюшкомъ и *лысиной, безмолвно* до тѣхъ поръ сидѣвшій

за печкой. Взоры всѣхъ находившихся въ комнатѣ съ любопытствомъ и недоумѣньемъ обратились на него—и воцарилось молчанье.

Этотъ мужчина былъ небогатый калужскій помѣщикъ, недавно пріѣхавшій въ Петербургъ. Онъ нѣкогда служилъ въ гусарахъ, проигрался, вышелъ въ отставку и поселился въ деревнѣ. Новѣйшія хозяйственныя перемѣны сократили его доходы, и онъ отправился въ столицу поискать удобнаго мѣстечка. Онъ не обладалъ никакими способностями и не имѣлъ никакихъ связей; но онъ крѣпко надѣялся на дружбу одного стариннаго сослуживца, который вдругъ, ни съ того, ни съ сего, выскочилъ въ люди, и которому онъ однажды помогъ приколотить шулера. Сверхъ того, онъ разсчитывалъ на свое счастье — и оно ему не измѣнило: нѣсколько дней спустя, онъ получилъ мѣсто надзирателя надъ казенными магазинами, мѣсто выгодное, даже почетное, и не требовавшее отмѣнныхъ талантовъ: самые магазины существовали только въ предположеніи, и даже не было съ точностью извѣстно, чѣмъ ихъ наполнять, — а придумали ихъ въ видахъ государственной экономіи.

Антонъ Степанычъ первый прервалъ общее оцѣпенѣніе.

— Какъ, милостивый государь мой? — началъ онъ: — вы не шутя утверждаете, что съ вами произошло нѣчто сверхъестественное — я хочу сказать: нѣчто несообразное съ законами натуры?

— Утверждаю,—возразилъ „Милостивый государь мой", настоящее имя котораго было Порфирій Капитонычъ.

— Несообразное съ законами натуры! — повторилъ съ ердцемъ Антонъ Степанычъ, которому видимо понравилась эта фраза.

— Именно... да; вотъ именно такое, какъ вы изволите говорить.

— Это удивительно! Какъ вы полагаете, господа?— Антонъ Степанычъ потщился придать чертамъ своимъ выраженіе ироническое, но ничего не вышло,—или, говоря правильнѣе, вышло только то, что вотъ-молъ, господинъ *статскій* совѣтникъ дурной запахъ почуялъ.—Не потруди-

тесь ли вы, милостивый государь,—продолжалъ онъ обращаясь къ калужскому помѣщику:—передать намъ подробности такого любопытнаго событія?

— Отчего же? Можно!—отвѣчалъ помѣщикъ, и развязно пододвинувшись къ серединѣ комнаты, заговорилъ такъ:

— У меня, господа, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно—а можетъ-быть и неизвѣстно—небольшое имѣнье въ Козельскомъ уѣздѣ. Прежде я извлекалъ изъ него нѣкоторую пользу,—но теперь, разумѣется, ничего, кромѣ непріятностей, предвидѣть нельзя. Однако, по-боку, политику! Ну-съ, въ этомъ самомъ имѣньи у меня усадьба „махенькая": огородъ, какъ водится, прудишко съ карасишками, строенія кой-какія,—ну, и флигелекъ для собственнаго грѣшнаго тѣла... Дѣло холостое. Вотъ-съ, однажды — годовъ этакъ шесть тому назадъ—вернулся я къ себѣ домой довольно поздно: у сосѣда въ картишки перекинулъ — но притомъ, прошу замѣтить, ни въ одномъ, какъ говорится, глазѣ; раздѣлся, легъ, задулъ свѣчку. И представьте вы себѣ, господа: только-что я задулъ свѣчку, завозилось у меня подъ кроватью! Думаю: крыса? Нѣтъ, не крыса: скребетъ, возится, чешется... Наконецъ, ушами захлопало!

Понятное дѣло: собака. Но откуда собакѣ взяться? Самъ я не держу; развѣ, думаю, забѣжала какая-нибудь *„заболтущая"?* Я кликнулъ своего слугу; Филькой онъ у меня прозывается. Вошелъ слуга со свѣчкой.—Что это,—я говорю,—братецъ Филька, какіе у тебя безпорядки! Ко мнѣ собака подъ кровать затесалась. — Какая, — говоритъ, — собака?—А я почемъ знаю?—говорю я;—это твое дѣло—барина до безпокойства не допущать. — Нагнулся мой Филька, сталъ свѣчкой подъ кроватью водить.—Да тутъ,—говоритъ,—никакой собаки нѣту. — Нагнулся и я: точно, нѣтъ собаки. — Что за притча!—Вскинулъ я глазами на Фильку: а онъ улыбается.—Дуракъ,—говорю я ему:—что ты зубы-то скалишь? Собака-то, вѣроятно, какъ ты сталъ отворять дверь, взяла да и шмыгнула въ переднюю. А ты, ротозѣй, ничего не замѣтилъ, потому что ты вѣчно спишь. Ужъ не *воображаешь ли ты,* что я пьянъ?—Онъ захотѣлъ

было возражать, но я его прогналъ, свернулся калачикомъ и въ ту ночь уже ничего не слыхалъ.

Но на слѣдующую ночь—вообразите!—то же самое повторилось. Какъ только я свѣчку задулъ, опять скребетъ, ушами хлопаетъ. Опять я позвалъ Фильку, опять онъ поглядѣлъ подъ кроватью—опять ничего! Услалъ я его, задулъ свѣчку—тьфу ты, чортъ! собака тутъ какъ тутъ. И какъ есть собака: такъ вотъ и слышно, какъ она дышитъ, какъ зубами по шерсти перебираетъ, блохъ ищетъ... Явственно таково!—Филька!—говорю я:—войди-ка сюда безъ свѣчки! Тотъ вошелъ.—Ну, что, говорю, слышишь?—Слышу,—говоритъ. Самого-то мнѣ его не видать, но чувствую я, что струхнулъ малый.—Какъ,—говорю,—ты это понимаешь?—А какъ мнѣ это понимать прикажете, Порфирій Капитонычъ? — Навожденіе! — Ты, я говорю, безпутый человѣкъ, молчи, съ навожденіемъ-то съ своимъ... А у обоихъ-то у насъ голоса словно птичьи, и дрожимъ-то мы какъ въ лихорадкѣ — въ темнотѣ-то. Зажегъ я свѣчку: ни собаки нѣтъ, ни шума никакого—а только мы оба съ Филькой—бѣлые, какъ глина. Такъ свѣчка у меня до утра и горѣла. И доложу я вамъ, господа—вѣрьте вы мнѣ или нѣтъ—а только съ самой той ночи, въ теченіе шести недѣль, та же исторія со мной повторялась. Подъ конецъ я даже привыкъ и свѣчку гасить сталъ, потому, мнѣ при свѣтѣ не спится. Пусть, молъ, возится! Вѣдь зла она мнѣ не дѣлаетъ.

— Однако—я вижу—вы не трусливаго десятка,—съ полупрезрительнымъ, полуснисходительнымъ смѣхомъ перебилъ Антонъ Степанычъ.—Сейчасъ видно гусара!

— Васъ-то я бы ни въ какомъ случаѣ не испугался,—промолвилъ Порфирій Капитонычъ, и на мгновенье дѣйствительно посмотрѣлъ гусаромъ. — Но слушайте далѣе. Пріѣзжаетъ ко мнѣ одинъ сосѣдъ, тотъ самый, съ которымъ я въ картишки перекидывалъ. Пообѣдалъ онъ у меня, чѣмъ Богъ послалъ, спустилъ мнѣ рубликовъ пятьдесятъ за визитъ; ночь на дворѣ—убираться пора. А у меня свои соображенія:—останься, говорю, ночевать у меня, *Василій Васильичъ*; завтра отыграешься, дастъ Богъ. По-

думалъ, подумалъ мой Василій Васильичъ, — остался. Я ему кровать у себя же въ спальнѣ поставить приказалъ... Ну-съ, легли мы, покурили, покалякали — все больше о женскомъ полѣ, какъ оно и приличествуетъ въ холостой компаніи, посмѣялись, разумѣется; смотрю: погасилъ Василій Васильичъ свою свѣчку и спиной ко мнѣ повернулся; значитъ: „шлафензиволь". Я подождалъ маленько и тоже погасилъ свѣчку. И представьте: не успѣлъ я подумать, что̀, молъ, теперь, какой карамболь произойдетъ? какъ уже завозилась моя голубушка. Да мало что завозилась: изъ-подъ кровати вылѣзла, черезъ комнату пошла, когтями по полу стучитъ, ушами мотаетъ, да вдругъ какъ толкнетъ самый стулъ, что возлѣ Василія-Васильевичевой кровати! — Порфирій Капитонычъ,—говоритъ тотъ, и такимъ, знаете, равнодушнымъ голосомъ:—а я и не зналъ, что ты собаку пріобрѣлъ. Какая она, легавая, что ли?— У меня, говорю, собаки никакой нѣтъ и не бывало никогда!—Какъ нѣтъ? а это что̀?—Что̀ *это?*—говорю я:—а вотъ, зажги свѣчку, такъ самъ узнаешь.—Это не собака?— Нѣтъ.—Повернулся Василій Васильичъ на постели.—Да ты шутишь, чортъ?—Нѣтъ, не шучу.—Слышу я: онъ чёркъ, чёркъ спичкой, а та-то, та-то все не унимается, бокъ себѣ чешетъ. Загорѣлся огонекъ... и баста! Слѣдъ простылъ! Глядитъ на меня Василій Васильичъ—и я на него гляжу.—Это,—говоритъ,—что за фокусъ?—А это,—говорю я:—такой фокусъ, что посади ты съ одной стороны самого Сократа, а съ другой Фридриха Великаго, такъ и тѣ ничего не разберутъ. — И тутъ же я ему все въ подробности разсказалъ. Какъ вскочитъ мой Василій Васильичъ! Словно обожженный! Въ сапоги-то никакъ не попадетъ.—Лошадей!—кричитъ—лошадей! Сталъ я его уговаривать, такъ куда! Такъ и взахался.—Не останусь, кричитъ, ни минуты! — Ты, значитъ, послѣ этого, оглашенный человѣкъ! — Лошадей!.. Однако, я его уломалъ. Только кровать его перетащили въ другую комнату — и ночники вездѣ запалили. Поутру, за чаемъ, онъ остепенился; сталъ совѣты мнѣ давать. — Ты бы,—говоритъ,— Порфирій Капитонычъ, попробовалъ на нѣсколько дней

не медля, все обстоятельно сообщилъ. Выслушалъ всѣ мои объясненія старина, и хоть бы словечко проронилъ: только, знай, головой потряхиваетъ. Присѣлъ онъ потомъ, этта, ко мнѣ на кроватку—и все молчитъ. Чешетъ себѣ грудь, затылокъ и прочее—и молчитъ.—Что жъ,—говорю я: — Ѳедулъ Иванычъ, какъ ты полагаешь: навожденіе это какое, что ли? — Старикъ посмотрѣлъ на меня.—Что̀ выдумалъ! навожденіе! Добро бы у тебя, табашника, — а то здѣсь! Ты только то сообрази: что̀ тутъ святости! Навожденія захотѣлъ! — А коли это не навожденіе — такъ что̀ же? — Старикъ опять помолчалъ, опять почесался, и говоритъ, наконецъ,—да глухо такъ, потому, усы въ ротъ лѣзутъ: — Ступай ты въ градъ Бѣлевъ. Окромя одного человѣка, тебѣ помочь некому. И живетъ сей человѣкъ въ Бѣлевѣ: изъ нашихъ. Захочетъ онъ тебѣ поспособствовать—твое счастье; не захочетъ—такъ тому и быть.— А какъ мнѣ его найти, человѣка сего?—говорю я. — Это мы тебя направить можемъ,—говоритъ;—а только, какое это навожденіе? Это есть явленіе, а либо знаменіе; да ты этого не постигнешь: не твоего полета. Ложись-ка теперь спать, съ батюшкой со Христомъ; я ладанкомъ покурю; а на *утріе* мы побесѣдуемъ. Утро, знаешь, вечера мудренѣе.

Ну-съ, и побесѣдовали мы на *утріе* — а только, отъ этого отъ самаго ладану я чуть не задохнулся. И далъ мнѣ старикъ наставленіе такого свойства: что, пріѣхавши въ Бѣлевъ, пойти мнѣ на площадь и во второй лавкѣ направо спросить нѣкоего Прохорыча; а отыскавши Прохорыча, вручить ему грамотку. И вся-то грамотка заключалась въ клочкѣ бумаги, на которой стояло слѣдующее: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сергію Прохоровичу Первушину. Сему вѣрь. Ѳеодулій Ивановичъ“. А внизу: „Капустки пришли, Бога для“.

Поблагодарилъ я старика—да безъ дальнѣйшихъ разсужденій велѣлъ заложить тарантасъ и отправился въ Бѣлевъ. Потому, я такъ соображалъ: хотя, положимъ, отъ моего ночного посѣтителя мнѣ большой печали нѣтъ, однако, все-таки, оно жутко, да и, наконецъ, не совсѣмъ *прилично дворянину* и офицеру—какъ вы полагаете?

— И неужели вы поѣхали въ Бѣлевъ? — прошепталъ г. Финоплентовъ.

— Прямо въ Бѣлевъ. Пошелъ я на площадь, спросилъ во второй лавкѣ направо Прохорыча. Есть-молъ, говорю, такой человѣкъ? — Есть, говорятъ. — А гдѣ живетъ? — На Окѣ, за огородами. — Въ чьемъ домѣ? — Въ своемъ. — Отправился я на Оку, отыскалъ его домъ, т. е. въ сущности не домъ, а простую лачугу. Вижу: человѣкъ въ синей свиткѣ съ заплатами и въ рваномъ картузѣ, такъ... мѣщанишко по наружности, стоитъ ко мнѣ спиной, копается въ капустникѣ. Я подошелъ къ нему. — Вы, молъ, такой-то? — Онъ обернулся — и доложу вамъ поистинѣ: этакихъ проницательныхъ глазъ я отроду не видывалъ. А впрочемъ, все лицо съ кулачокъ; бородка клиномъ, и губы ввалились: старый человѣкъ. — Я такой-то, — говоритъ: — что вамъ *надобно?* — А вотъ-молъ, что мнѣ *надобно*, — да и грамоту ему въ руку. Онъ посмотрѣлъ на меня пристально таково, да и говоритъ: — Пожалуйте въ комнату; я безъ очковъ читать не могу. Ну-съ, пошли мы съ нимъ въ его хибарку — и ужъ точно хибарка: бѣдно, голо, криво; какъ только держится. На стѣнѣ образъ стараго письма, какъ уголь черный: одни бѣлки на ликахъ такъ и горятъ. Досталъ онъ изъ столика желѣзные круглые очки, надѣлъ себѣ на носъ, прочелъ грамотку, да черезъ очки опять на меня посмотрѣлъ. — Вамъ до меня нужда имѣется? — Имѣется, — говорю, — точно. — Ну, говоритъ, коли имѣется, такъ докладывайте, а мы послушаемъ. — И представьте вы себѣ: самъ сѣлъ, и платокъ клѣтчатый изъ кармана досталъ, и у себя на колѣняхъ разложилъ — и платокъ-то дырявый — да такъ важно на меня взираетъ, хоть бы сенатору или министру какому, и не сажаетъ меня. И что еще удивительнѣе: чувствую я вдругъ, что робѣю, такъ робѣю... просто, душа въ пятки уходитъ. Нижетъ онъ меня глазами насквозь, да и полно! Однако, я поправился, да и разсказалъ ему всю мою исторію. Онъ помолчалъ, поежился, пожевалъ губами, да и ну спрашивать меня, опять-таки какъ сенаторъ, величественно такъ, *не торопясь*. Имя, молъ, ваше какъ?

Лѣта? Кто были родные? Въ холостомъ ли званіи, или женаты? — Потомъ онъ опять губами пожевалъ, нахмурился, палецъ уставилъ, да и говоритъ: — Иконѣ святой поклонитесь, честнымъ преподобнымъ соловецкимъ святителямъ Зосимѣ и Савватію. — Я поклонился въ землю, и такъ ужъ и не поднимаюсь; такой въ себѣ страхъ къ тому человѣку ощущаю и такую покорность, что, кажется, что бы онъ ни прикажи, исполню тотчасъ же!.. Вы вотъ, я вижу, господа, ухмыляетесь, а мнѣ не до смѣху было тогда, ей-ей. — Встаньте, господинъ, — проговорилъ онъ наконецъ.—Вамъ помочь можно. Это вамъ не въ наказаніе наслано, а въ предостереженіе; это, значитъ, попеченіе о васъ имѣется; добрѣ, знать, кто за васъ молится. Ступайте вы теперь на базаръ и купите вы себѣ собаку-щенка, котораго вы при себѣ держите неотлучно — день и ночь. Ваши видѣнья прекратятся, да и кромѣ того, будетъ вамъ та собака на потребу.

Меня вдругъ точно свѣтомъ озарило: ужъ какъ же мнѣ эти слова полюбились! Поклонился я Прохорычу и хотѣлъ-было уйти, да вспомнилъ, что нельзя же мнѣ его не поблагодарить: досталъ изъ кошелька трехрублевую бумажку. Только онъ мою руку отвелъ отъ себя прочь и говоритъ мнѣ: — отдайте, говоритъ, въ часовенку нашу, али бѣднымъ, а услуга та неоплатная. Я опять ему поклонился—чуть не въ поясъ—и тотчасъ маршъ на базаръ! И вообразите: только-что сталъ я подходить къ лавкамъ— глядь, ползетъ ко мнѣ навстрѣчу фризовая шинель и подъ мышкой несетъ легаваго щенка, двухмѣсячнаго, коричневой шерсти, бѣлогубаго, съ бѣлыми передними лапками. Стой!—говорю я шинели:—за сколько продаешь?—А за два цѣлковыхъ.—Возьми три!—Тотъ удивился, думаетъ, съ ума баринъ спятилъ — а я ему ассигнацію въ зубы, щенка въ охапку, да въ тарантасъ! Кучеръ живо запрягъ лошадей, и въ тотъ же вечеръ я былъ дома. Щенокъ всю дорогу у меня за пазухой сидѣлъ — и хоть бы пикнулъ: а я ему все: Трезорушко! Трезорушко! Тотчасъ его накормилъ, напоилъ, велѣлъ соломы принести, уложилъ *его, и самъ шмыгъ* въ постель! Дунулъ на свѣчку: сдѣ-

лась темнота. Ну, говорю, начинай! Молчитъ. Начинай же, говорю, такая-сякая! Ни гу-гу, хоть бы на смѣхъ. Я куражиться сталъ. Да начинай, ну же, растакая, сякая и этакая! Анъ не тутъ-то было—шабашъ! Только и слышно, какъ щенокъ пыхтитъ. — Филька! кричу, Филька! Поди сюда, глупый человѣкъ! — Тотъ вошелъ. — Слышишь ты собаку? — Нѣтъ, говоритъ, баринъ, ничего не слышу — а самъ смѣется.—И не услышишь, говорю, уже больше никогда! Полтинникъ тебѣ на водку! — Пожалуйте ручку, говоритъ дуракъ, и въ потьмахъ-то лѣзетъ на меня... Радость, доложу вамъ, была большая.

— И такъ все и кончилось?—спросилъ Антонъ Степанычъ, уже безъ ироніи.

— Видѣнія кончились, точно—и уже безпокойствъ никакихъ не было — но погодите, всей штукѣ еще не конецъ. Сталъ мой Трезорушко расти — вышелъ изъ него гусь лапчатый. Толстохвостый, тяжелый, вислоухій, брылястый — настоящій „пиль-аванцъ". И притомъ, ко мнѣ привязался чрезвычайно. Охота въ нашихъ краяхъ плохая — ну, а все-таки, какъ завелъ собаку — пришлось и ружьишкомъ запастись. Сталъ я со своимъ Трезоромъ таскаться по окрестностямъ: иногда зайца подшибешь (ужъ и гонялся же онъ за этими зайцами, Боже мой!), а иногда и перепелку или уточку. Но только главное: Трезоръ отъ меня ни на шагъ. Куда я—туда и онъ; даже и въ баню его съ собой водилъ—право! Одна наша барыня меня за самаго за этого Трезора изъ гостиной приказала было вывести, да я такую штурму поднялъ: что̀ однихъ стеколъ у ней перебилъ! Вотъ-съ, однажды, дѣло было лѣтомъ... И, скажу вамъ, засуха стояла тогда такая, что никто и не запомнитъ; въ воздухѣ не то дымъ, не то туманъ, пахнетъ гарью, мгла, солнце, какъ ядро раскаленное, а что пыли — не прочихнешь! Люди такъ разинувши рты и ходятъ, не хуже воронъ. Соскучилось мнѣ этакъ дома все сидѣть, въ полнѣйшемъ дезабилье, за закрытыми ставнями; кстати же жара начинала сваливать... И пошелъ *я, государи мои,* къ одной своей соседкѣ. *Жила же оная сосѣдка* отъ меня въ верстѣ — и

ужъ точно благодѣтельная была дама. Въ молодыхъ еще, цвѣтущихъ лѣтахъ, и наружности самой располагающей; только нравъ имѣла непостоянный. Да это въ женскомъ полѣ не бѣда; даже удовольствіе доставляетъ... Вотъ, добрался я до ея крылечка — и солоно же мнѣ показалось это путешествіе! Ну, думаю, ублаготворитъ меня теперь Нимфодора Семеновна брусничной водой, ну, и другими прохладами—и уже за ручку двери взялся, какъ вдругъ за угломъ дворовой избы поднялся топотъ, визгъ, крикъ мальчишекъ... Я оглядываюсь. Господи, Боже мой! прямо на меня несется огромный, рыжій звѣрь, котораго я съ перваго взгляда и за собаку-то не призналъ: раскрытая пасть, кровавые глаза, шерсть дыбомъ... Не успѣлъ я дыханіе перевести, какъ ужъ это чудовище вскочило на крыльцо, поднялось на заднія лапы и прямо ко мнѣ на грудь — каково положеніе? Я замеръ отъ ужаса, и руки не могу поднять, одурѣлъ вовсе... вижу только страшные бѣлые клыки передъ самымъ носомъ, красный языкъ, весь въ пѣнѣ. Но въ то же мгновенье другое, темное тѣло взвилось передо мною, какъ мячикъ — это мой голубчикъ Трезоръ заступился за меня; да какъ піявка, тому-то, звѣрю-то, въ горло! Тотъ захрипѣлъ, заскрежеталъ, отшатнулся... Я разомъ рванулъ дверь и очутился въ передней. Стою, самъ не свой, всѣмъ тѣломъ на замокъ налегъ, а на крыльцѣ, слышу, происходитъ баталья отчаянная. Я сталъ кричать, звать на помощь; всѣ въ домѣ всполошились. Нимфодора Семеновна прибѣжала съ распущенной косой; на дворѣ загомонили голоса — и вдругъ послышалось: „держи, держи, запри ворота!“ Я отворилъ дверь— такъ, чуточку,— гляжу: чудовища уже нѣтъ на крыльцѣ, люди въ безпорядкѣ мечутся по двору, махаютъ руками, поднимаютъ съ земли полѣнья—какъ есть очумѣли. „На деревню! на деревню убѣгла!“ визжитъ какая-то баба въ кичкѣ необыкновенныхъ размѣровъ, высунувшись въ слуховое окно. Я вышелъ изъ дома.—Гдѣ, молъ, Трезоръ?— и тутъ же увидалъ моего спасителя. Онъ шелъ отъ воротъ, хромой, весь искусанный, въ крови...— Да что такое, наконецъ?—*спрашиваю* у людей, а они кружатся по двору,

какъ угорѣлые. — Бѣшеная собака! — отвѣчаютъ мнѣ: — графская; со вчерашняго дня здѣсь мотается.

У насъ былъ сосѣдъ, графъ; тотъ заморскихъ собакъ навезъ, престрашенныхъ. Поджилки у меня затряслись; бросился къ зеркалу, посмотрѣть, не укушенъ ли я? Нѣтъ, слава Богу, ничего не видать; только рожа, натурально, вся зеленая; а Нимфодора Семеновна лежитъ на диванѣ и клохчетъ курицей. Да оно и понятно: во-первыхъ, нервы, во-вторыхъ, чувствительность. Ну, однако, пришла въ себя и спрашиваетъ меня, томно такъ: живъ ли я? Я говорю, живъ, и Трезоръ мой избавитель.—Ахъ, говоритъ, какое благородство! И, стало-быть, бѣшеная собака его задушила?—Нѣтъ,—говорю,—не задушила, а ранила сильно.—Ахъ,—говоритъ,—въ такомъ случаѣ его надо сію минуту пристрѣлить!— Ну, нѣтъ, — говорю, — я на это не согласенъ; я попробую его вылѣчить... Тѣмъ временемъ Трезоръ сталъ скрестись въ дверь: я-было пошелъ ему отворять.—Ахъ,—говоритъ,—что вы это? Да онъ насъ всѣхъ перекусаетъ!—Помилуйте! — говорю, — ядъ не такъ скоро дѣйствуетъ. — Ахъ, — говоритъ, — какъ это возможно! Да вы съ ума сошли! — Нимфочка, — говорю, — успокойся, прими резонъ... А она, какъ крикнетъ вдругъ: уйдите, уйдите сейчасъ съ вашей противной собакой!—И уйду,— говорю.—Сейчасъ,—говоритъ, — сію секунду! Удались,— говоритъ,—разбойникъ, и на глаза мнѣ не смѣй никогда показываться. Ты самъ можешь взбѣситься! — Очень хорошо-съ,—говорю я;—только дайте мнѣ экипажъ, потому что я теперь пѣшкомъ идти домой опасаюсь.—Она уставилась на меня.—Дать, дать ему коляску, карету, дрожки, что хочетъ, лишь бы провалился поскорѣе. Ахъ, какіе глаза! ахъ, какіе у него глаза! — Да съ этими словами изъ комнаты вонъ, да встрѣшную дѣвку по щекѣ— и, слышу, съ ней опять припадокъ. — И повѣрите ли вы мнѣ, господа, или нѣтъ, а только съ самаго того дня я съ Нимфодорой Семеновной всякое знакомство прекратилъ; а по зрѣломъ соображеніи всѣхъ вещей, не могу не прибавить, что и за это *обстоятельство* я обязанъ моему другу *Трезору благодарностью по самую* гробовую доску.

— Ну-съ, велѣлъ я заложить коляску, усадилъ въ нее Трезора и поѣхалъ къ себѣ домой. Дома я его осмотрѣлъ, обмылъ его раны—да и думаю: повезу я его завтра, чуть свѣтъ, къ бабкѣ, въ Ефремовскій уѣздъ. А бабка эта—старый мужикъ, удивительный: пошепчетъ на воду—а другіе толкуютъ, что онъ въ нее змѣиную слюну пущаетъ—дастъ выпить — какъ рукою сниметъ. Кстати, думаю, въ Ефремовѣ себѣ кровь брошу: оно противъ испуга хорошо бываетъ; только, разумѣется, не изъ руки, а изъ соколка.

— А гдѣ это мѣсто—соколокъ?—съ застѣнчивымъ любопытствомъ спросилъ г. Финоплентовъ.

— А вы не знаете? Самое вотъ это мѣсто, на кулакѣ, подлѣ большого пальца, куда изъ рожка табакъ насыпаютъ — вотъ тутъ! Для кровопусканія первый пунктъ; потому, сами посудите: изъ руки пойдетъ кровь жильная, а тутъ она — наигранная. Доктора этого не знаютъ, и не умѣютъ; гдѣ имъ, дармоѣдамъ, нѣмчурѣ! Больше кузнецы упражняются. И какіе есть ловкіе! Наставитъ долото, молоткомъ тюкнетъ—и готово!.. Ну-съ, пока я этакимъ образомъ размышлялъ, на дворѣ совсѣмъ стемнѣло, пора на боковую. Легъ я въ постель — и Трезоръ, разумѣется, тутъ же. Но отъ испуга ли, отъ духоты ли, отъ блохъ или отъ мыслей—только не могу заснуть, хоть ты что! Тоска такая напала, что и описать невозможно; и воду-то я пилъ, и окошко отворялъ, и на гитарѣ „камаринскаго“ съ итальянскими варіаціями разыгралъ... нѣтъ! Претъ меня вонъ изъ комнаты—да и полно! Я рѣшился наконецъ: взялъ подушку, одѣяло, простыню, да и отправился черезъ садъ въ сѣнной сарай; ну, и расположился тамъ. И такъ мнѣ стало, господа, пріятно: ночь тихая, претихая, только изрѣдка вѣтерокъ словно женской ручкой по щекѣ тебѣ проведетъ, свѣжо таково; сѣно пахнетъ, что твой чай, на яблоняхъ кузнечики потрюкиваютъ: тамъ вдругъ перепелъ грянетъ—и чувствуешь ты, что и ему, канашкѣ, хорошо, въ росѣ-то съ подружкой сидючи... А на небѣ такое благолѣпіе: звѣздочки теплются, а то тучка наплыветъ, бѣлая, какъ вата—да и та еле движется...

На этомъ мѣстѣ разсказа Скворевичъ чихнулъ, чихнулъ

и Кинареичъ, никогда и ни въ чемъ не отстававшій отъ своего товарища. Антонъ Степанычъ посмотрѣлъ одобрительно на обоихъ.

— Ну-съ, — продолжалъ Порфирій Капитонычъ: — вотъ такъ-то лежу я, и опять-таки заснуть не могу. Размышленіе нашло на меня; а размышлялъ я больше о премудрости: что вотъ, какъ молъ это Прохорычъ мнѣ справедливо объяснилъ насчетъ предостереженья — и почему это именно надо мной такія чудеса совершаются?.. Я удивляюсь — собственно потому, что ничего не понимаю — а Трезорушко повизгиваетъ, свернувшись въ сѣнѣ: больно ему отъ ранъ-то. И еще я вамъ скажу, что̀ мнѣ спать мѣшало—вы не повѣрите: мѣсяцъ! Стоитъ онъ прямо передо мной, этакой круглый, большой, желтый, плоскій, и сдается мнѣ, что уставился онъ на меня, ей-Богу; да такъ нагло, назойливо... Я ему даже языкъ наконецъ высунулъ, право. Ну, чего, думаю, любопытствуешь? Отвернусь я отъ него—а онъ мнѣ въ ухо лѣзетъ, затылокъ мнѣ озаряетъ, такъ вотъ и обдаетъ, словно дождемъ; открою глаза—что̀ же? Былинку каждую, каждый дрянной сучокъ въ сѣнѣ, паутинку самую ничтожную—такъ и чеканитъ, такъ и чеканитъ! На́, молъ, смотри! Нечего дѣлать: оперъ я голову на руку, сталъ смотрѣть. Да и нельзя: повѣрите ли, глаза у меня, какъ у зайца, такъ и пучатся, такъ и раскрываются—словно имъ и неизвѣстно, что̀ за сонъ бываетъ за такой. Такъ, кажется, и съѣлъ бы все этими самыми глазами. Ворота сарая открыты настежь; верстъ на пять въ полѣ видно: и явственно, и нѣтъ, какъ оно всегда бываетъ въ лунную ночь. Вотъ, гляжу я, гляжу—и не смигну даже... И вдругъ мнѣ показалось, какъ будто что-то мотанулось — далеко, далеко... такъ, словно что померещилось. Прошло нѣсколько времени: опять тѣнь проскочила — уже немножко ближе; потомъ опять, еще поближе. Что, думаю, это такое? заяцъ, что ли? Нѣтъ, думаю, это будетъ покрупнѣе зайца—да и побѣжка не та. Гляжу: опять тѣнь показалась, и движется она уже по выгону (а выгонъ-то отъ луны бѣлесоватый) этакимъ крупнымъ пятномъ; понятное дѣло: звѣрь, лисица или

волкъ. Сердце во мнѣ екнуло... а, чего, кажись, я испугался? Мало ли всякаго звѣрья ночью по полю бѣгаетъ? Но любопытство-то еще пуще страха; приподнялся я, глаза вытаращилъ, а самъ вдругъ похолодѣлъ весь, такъ-таки застылъ, точно меня въ ледъ по уши зарыли, а отчего? Господь вѣдаетъ! И вижу я: тѣнь все растетъ, растетъ, значитъ, прямо на сарай катитъ... И вотъ, ужъ мнѣ понятно становится, что это — точно звѣрь, большой, головастый... Мчится онъ вихремъ, пулей... Батюшки! что это? Онъ разомъ остановился, словно почуялъ что... Да это... это сегодняшняя бѣшеная собака! Она... она! Господи! А я-то пошевельнуться не могу, крикнуть не могу... Она подскочила къ воротамъ, сверкнула глазами, взвыла — и по сѣну прямо на меня!

А изъ сѣна-то, какъ левъ, мой Трезоръ — и вотъ онъ! Пасть съ пастью такъ и вцѣпились оба — да клубомъ о земь! Что̀ ужъ тутъ происходило — не помню; помню только, что я, какъ былъ, кубаремъ черезъ нихъ, да въ садъ, да домой, къ себѣ въ спальню!.. Чуть подъ кровать не забился—что грѣха таить. А какіе скачки, какіе ланцады по саду задавалъ! Кажется, самая первая танцорка, что у императора Наполеона въ день его ангела пляшетъ— и та за мной бы не угналась. Однако, опомнившись немного, я тотчасъ же весь домъ на ноги поднялъ; велѣлъ всѣмъ вооружиться, самъ взялъ саблю и револьверъ. (Я, признаться, этотъ револьверъ вскорѣ послѣ эманципаціи купилъ, знаете, на всякій случай—только такой попался бестія разносчикъ; изъ трехъ выстрѣловъ непремѣнно двѣ осѣчки.) Ну-съ, взялъ я все это, и такимъ манеромъ мы цѣлой оравой, съ дрекольями, съ фонарями и отправились въ сарай. Подходимъ, окликаемъ — не слыхать ничего; входимъ, наконецъ, въ сарай... И что же мы видимъ? Лежитъ мой бѣдный Трезорушко мертвый, съ перерваннымъ горломъ—а той-то, проклятой, и слѣдъ простылъ!

И тутъ я, господа, взвылъ какъ теленокъ и, не стыдясь, скажу: припалъ я къ моему двукратному, такъ сказать, избавителю, и долго лобзалъ его въ голову. И пробылъ я въ этомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока въ чувство

меня не привела моя старая ключница Прасковья (она тоже прибѣжала на гвалтъ).—Что это вы, Порфирій Капитонычъ,—промолвила она:—такъ обо псѣ убиваетесь? Да и простудитесь еще, Боже сохрани! (Очень ужъ я былъ налегкѣ.) А коли песъ этотъ, васъ спасаючи, жизни *решился*, такъ для него это за великую милость почесть можно!

Я хотя съ Прасковьей не согласился, однако, пошелъ домой. А бѣшеную собаку на слѣдующій день гарнизонный солдатъ изъ ружья застрѣлилъ. И, стало-быть, ужъ ей такой былъ предѣлъ положонъ: въ первой разъ отродись солдатъ-то изъ ружья выпалилъ, хоть и медаль имѣлъ за двѣнадцатый годъ. Такъ вотъ, какое со мной произошло сверхъестественное событіе.

Разсказчикъ умолкъ и сталъ набивать себѣ трубку. А мы все переглянулись въ недоумѣніи. — Да вы, можетъ-быть, очень праведной жизни,—началъ-было г. Финоплентовъ:—такъ въ возмездіе...—Но на этомъ словѣ онъ запнулся, ибо увидалъ, что у Порфирія Капитоныча щеки надулись и покраснѣли, и глаза съежились—вотъ, сейчасъ прыснетъ человѣкъ...

— Но если допустить возможность сверхъестественнаго, возможность его вмѣшательства въ ежедневную, такъ-сказать, жизнь, — началъ снова Антонъ Степанычъ: — то какую же роль, послѣ этого, долженъ играть здравый разсудокъ?

Никто изъ насъ ничего не нашелся отвѣтить — и мы, попрежнему, пребывали въ недоумѣніи.

1866 г.

ИСТОРІЯ
ЛЕЙТЕНАНТА ЕРГУНОВА.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

Въ тотъ вечеръ Кузьма Васильевичъ Ергуновъ разсказалъ намъ опять свою исторію. Онъ повторялъ ее аккуратно разъ въ мѣсяцъ, и мы слушали ее каждый разъ съ новымъ удовольствіемъ, хотя знали ее чуть не наизусть, со всѣми ея подробностями. Подробности эти обросли, если можно такъ выразиться, первоначальный стволъ самой исторіи, какъ опёнки обрастаютъ срубленный пень. Слишкомъ хорошо зная характеръ нашего собесѣдника, мы не затруднялись пополнять его недомолвки и пропуски. Но съ тѣхъ поръ Кузьма Васильевичъ умеръ, и уже разсказывать его исторію будетъ некому, а потому мы и рѣшаемся довести ее до общаго свѣдѣнія.

II.

Случилась она лѣтъ сорокъ тому назадъ, во время молодости Кузьмы Васильевича. Самъ онъ говорилъ про

себя, что былъ онъ тогда франтъ и красавецъ, кровь съ молокомъ, губы имѣлъ румяныя, волосы кудрявые и очи соколиныя. Мы вѣрили ему на слово, хотя ничего подобнаго въ немъ не находили: на наши глаза Кузьма Васильевичъ представлялся человѣкомъ наружности весьма обыкновенной, съ простымъ и какъ бы заспаннымъ лицомъ, грузнымъ и нескладнымъ тѣломъ. Но и то сказать: годы хоть какую красоту исказятъ! Слѣды франтовства болѣе ясно сохранились въ Кузьмѣ Васильевичѣ. Онъ до старости носилъ узкіе панталоны со штрипками, перетягивалъ свой дебелый станъ, на затылкѣ стригъ, на лбу завивалъ свои волосы, и усы красилъ персидскою фаброй, которая, впрочемъ, отливала больше багрянцемъ и даже зеленью, чѣмъ чернотой. Со всѣмъ тѣмъ Кузьма Васильевичъ былъ весьма достойный дворянинъ, хотя за преферансомъ любилъ „запускать *глазенапа*“ къ сосѣдямъ, то-есть заглядывать имъ въ карты; но это онъ дѣлалъ не столько изъ жадности, сколько изъ бережливости, ибо не любилъ попусту тратить деньги. Однако, въ сторону прибавки: приступимъ къ самому дѣлу.

III.

Дѣло это происходило весной, въ тогда еще новомъ городѣ Николаевѣ, куда Кузьма Васильевичъ былъ откомандированъ по казенному порученію. (Онъ служилъ лейтенантомъ во флотѣ.) Начальство ввѣрило ему, какъ надежному и благоразумному офицеру, надзоръ за какими-то морскими постройками, и отъ времени до времени выдавало въ его распоряженіе довольно значительныя суммы, которыя онъ, для большей безопасности, постоянно носилъ въ кожаномъ поясѣ на тѣлѣ. Кузьма Васильевичъ, дѣйствительно, отличался благоразуміемъ и, несмотря на свои молодые годы, велъ себя примѣрно; всякихъ неприличныхъ поступковъ избѣгалъ тщательно, не прикасался картъ, вина не пилъ и даже общества чуждался, такъ что товарищи его, смирные—прозывали его красною дѣвицей, а буйные—мямлей и рохлей. За Кузьмой Васильевичемъ водился одинъ только грѣшокъ: онъ питалъ сер-

дечную склонность къ прекрасному полу; однако и тутъ умѣлъ сдерживать свои порывы, и никакого „малодушества“ себѣ не позволялъ. Онъ вставалъ и ложился спать рано, добросовѣстно исполнялъ свою обязанность, и единственное его развлеченіе состояло въ вечернихъ, довольно продолжительныхъ прогулкахъ по загороднымъ улицамъ Николаева. Книгъ онъ не читалъ, ибо боялся приливовъ въ головѣ; каждую весну онъ пилъ особый декоктъ противъ полнокровія. Надѣвъ мундиръ и старательно обчистившись вѣничкомъ, Кузьма Васильевичъ отправлялся степеннымъ шагомъ вдоль заборовъ фруктовыхъ садовъ, часто останавливался, любовался красотами природы, срывалъ цвѣтокъ на память и чувствовалъ нѣкоторое удовольствіе; но особенное наслажденіе испытывалъ онъ только тогда, когда ему случалось встрѣтить „купидончика“, то-есть хорошенькую мѣщаночку, спѣшившую домой въ накинутой на плечи душегрѣйкѣ, съ узелкомъ въ голенькой ручкѣ и съ пестрымъ платочкомъ на головѣ. Будучи, какъ онъ самъ выражался, комплекціи чувствительной, но скромной, Кузьма Васильевичъ не заговаривалъ съ „купидончикомъ“, зато привѣтливо улыбался ему, долго и внимательно глядѣлъ ему вслѣдъ... Потомъ вздыхалъ глубоко, отправлялся тѣмъ же степеннымъ шагомъ домой, садился у окошка и мечталъ съ полчасика, бережно покуривая крѣпкій вагштафъ изъ большой пѣнковой трубки, подаренной ему крестнымъ отцомъ, квартальнымъ надзирателемъ изъ нѣмцевъ. Такъ проходили дни, ни весело, ни скучно.

IV.

Вотъ, однажды, возвращаясь передъ сумерками пустымъ переулкомъ къ себѣ на квартиру, Кузьма Васильевичъ услышалъ за собой торопливые шаги и прерывистыя слова, смѣшанныя съ рыданьями. Онъ оглянулся и увидѣлъ дѣвушку лѣтъ двадцати, съ чрезвычайно пріятнымъ, но совершенно разстроеннымъ и заплаканнымъ лицомъ. Казалось, ее постигло большое и неожиданное горе: она бѣжала и спотыкалась на бѣгу, говорила сама съ собой,

охала, махала руками; ея бѣлокурые волосы растрепались, а косынка (тогда еще не знали ни бурнусовъ, ни мантилій) соскользнула съ плечъ и держалась на одной булавкѣ. Одѣта была дѣвушка какъ барышня, не какъ мѣщанка.

Кузьма Васильевичъ посторонился; чувство состраданія побѣдило въ немъ опасеніе смалодушничать, и когда она съ нимъ поравнялась, онъ вѣжливо прикоснулся къ козырьку своего кивера и спросилъ ее о причинѣ ея слезъ.

— Потому,—прибавилъ онъ, и положилъ руку на кортикъ:—я, какъ военный человѣкъ, могу помочь.

Дѣвушка остановилась и, повидимому, въ первое мгновенье не совсѣмъ ясно поняла, чего онъ хотѣлъ отъ нея; но тотчасъ же, какъ бы обрадовавшись случаю высказаться, заговорила на несовсѣмъ чистомъ русскомъ языкѣ.

— Помилуйте, господинъ офицеръ, — начала она, и слезы посыпались дождемъ по ея миловиднымъ щекамъ:— что же это такое! Это ужасти, это Богъ знаетъ что! Насъ совсѣмъ ограбили, помилуйте! Кухарка все, все унесла, все, сервизъ, щикатулку и платье... да... и платье даже, и чулки, и бѣлье... да... и тётенькинъ ридикюль, тамъ еще была двадцати-пяти-рублевая бумажка въ такой маленькій футляръ, и двѣ ложки анплике... и еще салопъ, и все... И это я все говорю господину квартальному поручику, а господинъ квартальный поручикъ говоритъ: „Подите вонъ, не вѣрю, не вѣрю... Слышать, слышать не хочу, вы сами такія же!“ Я говорю: „Помилуйте, салопъ...“ а онъ: „Слышать, слышать не хочу!“ Такъ обидно, господинъ офицеръ! Подите, говоритъ, вонъ... вонъ!.. Да куда же я пойду?

Дѣвушка судорожно, почти съ воплемъ зарыдала и, совершенно растерявшись, приклонилась къ рукаву Кузьмы Васильевича... Онъ смутился въ свою очередь, и замеръ на мѣстѣ, только изрѣдка повторяя: „Полноте, полноте!“ а самъ все глядѣлъ на тонкій, безпрестанно вздрагивавшій затылокъ огорченной дѣвушки.

— Позвольте, я провожу васъ,—сказалъ онъ наконецъ, слегка касаясь указательнымъ пальцемъ ея плеча:—а то

тутъ, на улицѣ, вы понимаете, никакъ невозможно. Вы объясните мнѣ ваше неудовольствіе, и конечно, я приложу все стараніе... какъ офицеръ.

Дѣвушка приподняла голову и, казалось, въ первый разъ хорошенько разглядѣла молодого человѣка, который, можно сказать, держалъ ее въ своихъ объятіяхъ. Она застыдилась, отвернулась, и все еще всхлипывая, отошла немного въ сторону. Кузьма Васильевичъ возобновилъ свое предложеніе. Дѣвушка посмотрѣла на него искоса, сквозь мокрые отъ слезъ волосы, падавшіе ей на лицо (Кузьма Васильевичъ на этомъ мѣстѣ разсказа всякій разъ увѣрялъ насъ, что этотъ взгладъ пронзилъ его „словно шиломъ", а однажды даже попытался представить намъ этотъ удивительный взглядъ), и положивъ свою руку на подставленную калачикомъ руку услужливаго лейтенанта, отправилась вмѣстѣ съ нимъ на свою квартиру.

V.

Кузьма Васильевичъ въ жизни своей имѣлъ мало обращенія съ дамами, и потому затруднялся, съ чего бы начать бесѣду, но спутница его сама залепетала весьма рѣчисто, безпрестанно утирая безпрестанно накоплявшіяся слезы. Нѣсколько мгновеній спустя, Кузьма Васильевичъ уже зналъ, что ее звали Эмиліей Карловной, что она была родомъ изъ Риги, а въ Николаевъ пріѣхала погостить къ своей тетенькѣ, которая тоже была изъ Риги, что ея папенька также служилъ въ военной службѣ, но умеръ „отъ груди", что у тетеньки была кухарка изъ русскихъ, очень хорошая и дешевая, только безъ паспорта, и что самая та кухарка въ самый тотъ день ихъ обокрала и сбѣжала неизвѣстно куда. Надо было идти въ полицію — in die Polizei... Но тутъ воспоминанія о квартальномъ, о нанесенной обидѣ нахлынули снова... и снова разразились рыданья. Кузьма Васильевичъ опять затруднился, что бы сказать такое утѣшительное... Но дѣвушка, у которой, повидимому, всѣ впечатлѣнія и приходили и уходили очень скоро, внезапно остановилась и, протянувъ руку, спокойно промолвила:

— А вотъ наша квартира!

VI.

Квартира эта состояла изъ плохенькаго, словно въ землю вросшаго домика, съ четырьмя крошечными окошками на улицу. Темная зелень гераніума застилала ихъ изнутри, въ одномъ изъ нихъ теплилась свѣчка: ночь уже надвигалась. Отъ самаго домика и почти въ уровень съ нимъ тянулся бревенчатый заборъ съ едва замѣтною калиткой. Дѣвушка подошла къ ней и, найдя ее запертою, нетерпѣливо заколотила желѣзнымъ кольцомъ заржавѣлаго замка. Послышались за заборомъ тяжелые шаги, словно кто шелъ, небрежно шаркая, въ стоптанныхъ туфляхъ, и хриплый женскій голосъ спросилъ что-то по-нѣмецки, чего Кузьма Васильевичъ не понялъ: онъ, какъ истый морякъ, не зналъ ни одного языка, кромѣ русскаго. Дѣвушка отвѣчала тоже по-нѣмецки; калитка чуть-чуть отворилась и, впустивъ дѣвушку, тотчасъ захлопнулась передъ самымъ носомъ Кузьмы Васильевича, который, однако, успѣлъ разглядѣть, среди полумрака лѣтнихъ сумерекъ, обликъ толстой старухи въ красномъ платьѣ, съ тусклымъ фонаремъ въ рукѣ. Пораженный изумленьемъ, Кузьма Васильевичъ остался нѣкоторое время неподвиженъ на улицѣ; но при мысли, что съ нимъ, военнымъ офицеромъ, такъ невѣжливо поступаютъ (Кузьма Васильевичъ весьма дорожилъ своимъ званіемъ), онъ почувствовалъ приливъ негодованія, круто повернулъ налѣво кругомъ и направился домой. Онъ еще десяти шаговъ не отошелъ, какъ калитка опять отворилась, и дѣвушка, уже успѣвшая пошептаться со старухой, показалась на порогѣ и громко воскликнула:

— Куда же вы, господинъ офицеръ! Пожалуйте къ намъ!

Кузьма Васильевичъ поколебался немного, однако, вернулся.

VII.

Его новая *знакомая, которую* мы отнынѣ будемъ звать *Эмиліей, ввела его чрезъ* темный и сырой чуланчикъ въ

довольно большую, но низкую и неопрятную комнату, съ громаднымъ шкапомъ у задней стѣны, клеенчатымъ диваномъ, облупившимися портретами двухъ архіереевъ въ клобукахъ и одного турка въ чалмѣ надъ дверями и между оконъ, картонами и коробками по угламъ, разрозненными стульями и кривоногимъ ломбернымъ столомъ, на которомъ лежала мужская фуражка возлѣ недопитаго стакана съ квасомъ. Вслѣдъ за Кузьмой Васильевичемъ вошла въ комнату и замѣченная имъ у калитки старуха въ красномъ платьѣ, которая оказалась весьма неблагообразною жидовкой, съ угрюмыми свиными глазками и сѣдыми усами на одутловатой верхней губѣ. Эмилія указала на нее Кузьмѣ Васильевичу и промолвила:

— А вотъ моя тетенька, мадамъ Фритче.

Кузьма Васильевичъ нѣсколько удивился, однако, почелъ долгомъ отрекомендоваться. Мадамъ Фритче посмотрѣла на него исподлобья, ничего ему не отвѣтила и спросила свою племянницу по-русски: не хочетъ ли она чаю?

— Ахъ да, чаю!—подхватила Эмилія: — не правда ли, господинъ офицеръ, вы будете кушать чай? Да, тантушка, дайте чаю!.. Но что же вы стойте, господинъ офицеръ? Садитесь! Ахъ, какой вы церемонный! Позвольте, я сниму косынку.

Когда Эмилія говорила, она безпрестанно поворачивала голову изъ стороны въ сторону и подергивала плечиками; птицы такъ дѣлаютъ, когда сидятъ на высокой голой вѣткѣ и со всѣхъ сторонъ освѣщены солнцемъ.

Кузьма Васильевичъ опустился на стулъ и, придавъ осанкѣ своей надлежащую важность, а именно, подпершись кортикомъ и устремивъ глаза на полъ, навелъ рѣчь на покражу. Но Эмилія тотчасъ перебила его.

— Не безпокойтесь, это ничего; тетенька мнѣ сейчасъ сказала, что главныя вещи сысканы. (Мадамъ Фритче проворчала что-то себѣ подъ носъ и вышла вонъ.) И совсѣмъ не надо было ходить въ Polizei; но я никакъ не могу утерпѣть, потому я такая... Вы не понимаете по-нѣмецки?.. такая быстрая, immer so rasch! Но я уже не думаю объ этомъ... aber auch gar nicht!

Кузьма Васильевичъ посмотрѣлъ на Эмилію. Дѣйствительно, лицо ея приняло выраженіе самое беззаботное. Все въ немъ улыбалось, въ этомъ хорошенькомъ личикѣ: и опушенные почти бѣлыми рѣсницами глаза, и губы, и щеки, и подбородокъ, и ямочка на подбородкѣ, и самый даже кончикъ вздернутаго носа. Она подошла къ маленькому зеркальцу возлѣ шкапа и, попѣвая сквозь зубы и щурясь, стала поправлять волосы. Кузьма Васильевичъ пристально слѣдилъ за ея движеніями... Очень она ему нравилась.

VIII.

— Вы меня извините, — заговорила она снова, слегка повертываясь передъ зеркаломъ:—что я васъ такъ... привела къ себѣ. Можетъ-быть, вамъ непріятно?

— О, помилуйте!

— Я вамъ уже сказала: я такая быстрая. Сперва сдѣлаю, потомъ подумаю. А иногда даже и не подумаю... Какъ васъ зовутъ, господинъ офицеръ? Можно спросить?— прибавила она, подойдя къ нему и скрестивъ руки.

— Меня зовутъ Ергуновъ, Кузьма Васильевъ.

— Ергу... Ахъ, это имя не хорошо! То-есть, трудно для меня. Я буду васъ звать господинъ Флòрестанъ. У насъ въ Ригѣ былъ одинъ господинъ Флòрестанъ. Онъ продавалъ отличный гроденапль въ магазинѣ и былъ красавецъ. Не хуже васъ. Но какой вы широкоплечій! Настоящій русскій молодецъ. Я люблю русскихъ... я сама русская... мой папенька былъ офицеръ. А руки у меня бѣлѣе вашихъ!— Она подняла ихъ надъ головой, помахала ими нѣсколько разъ по воздуху, для того, чтобы кровь отъ нихъ оттекла, и тотчасъ ихъ опустила.— Видите? Я ихъ мою греческимъ мыломъ... съ духами... Понюхайте... Ахъ! да не цѣлуйте... Я не затѣмъ... Гдѣ вы служите?

— Я служу въ 19-мъ черноморскомъ экипажѣ, во флотѣ.

— А! Вы морякъ! А что же, у васъ большое жалованье?

— Нѣтъ... не очень-съ.

— Вы, должно-быть, *очень храбры*. Это сейчасъ видно по *вашимъ глазамъ. Какія* у васъ густыя брови! Гово-

рятъ, ихъ надо на ночь саломъ мазать, чтобы росли. Но отчего у васъ усовъ нѣтъ?

— По формѣ не полагается.

— Ахъ! это не хорошо! Что это у васъ, кинжалъ?

— Это кортикъ; кортикъ, такъ сказать, принадлежность моряковъ.

— А! кортикъ! Что, онъ острый! Можно посмотрѣть?— Она съ усиліемъ, закусивъ губы и щурясь, вытащила лезвіе изъ ноженъ и приложилась къ нему носомъ. — О, какой тупой! Этакъ я васъ сейчасъ убить могу.

Она замахнулась на Кузьму Васильевича. Онъ притворился, что испугался, и засмѣялся. И она засмѣялась.

— Ihr habt pardon, вы помилованы,—промолвила она, принявъ величественную позу. — На, возьмите ваше оружіе! А сколько вамъ лѣтъ?—спросила она вдругъ.

— Двадцать-пять.

— А мнѣ девятнадцать! Какъ это смѣшно! Ахъ!

И Эмилія залилась такимъ звонкимъ хохотомъ, что даже назадъ немного опрокинулась. Кузьма Васильевичъ не поднимался со стула и еще пристальнѣе прежняго глядѣлъ на ея розовое, трепетавшее отъ смѣха лицо, и нравилась она ему все больше и больше.

Эмилія вдругъ умолкла, и напѣвая сквозь зубы—такая у ней была привычка—снова подошла къ зеркалу.

— Вы умѣете пѣть, господинъ Флóрестанъ.

— Никакъ нѣтъ-съ. Не выученъ-съ.

— А играть на гитарѣ? Тоже нѣтъ? А я умѣю. У меня есть гитара съ перленмуттеръ, только струны порваны. Надо будетъ купить. Вы мнѣ дадите денегъ, господинъ офицеръ? Я вамъ спою прекрасный нѣмецкій романсъ. — Она вздохнула и закрыла глаза. — Ахъ, такой прекрасный! Но танцовать вы умѣете? И это нѣтъ? Unmöglich! Я васъ выучу. Лекосезъ и вальсъ-казакъ. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла... — Эмилія подпрыгнула раза два. — Посмотрите, какія у меня ботинки! „З'Варшавы". О! мы будемъ танцовать съ вами, господинъ Флóрестанъ! *Но какъ* вы называть меня будете?

Кузьма Васильевичъ осклабился и покраснѣлъ до ушей.

— Я буду васъ звать: прекраснѣйшая Эмилія!

— Нѣтъ! нѣтъ! Вы должны звать меня: Mein Schätzchen, mein Zuckerpüppchen! Повторяйте за мною.

— Съ величайшимъ моимъ удовольствіемъ, но я боюсь, для меня будетъ затруднительно...

— Все равно, все равно. Скажите: Mein...

— Мэ... инъ...

— Zucker...

— Цук... керъ...

— Püppchen! Püppchen! Püppchen!

— Пю... Пю... Этого я не могу-съ. Не хорошо что-то выходитъ.

— Нѣтъ! Вы должны... Вы должны! А вы знаете, что это значитъ? Это по-нѣмецки самое пріятное для барышень слово. Я вамъ это растолкую послѣ. А теперь вотъ тетенька намъ самоваръ несетъ. Браво! браво! Тетенька, я буду пить чай со сливками... Есть сливки?

— So schweige doch!—отвѣчала тетенька.

IX.

Кузьма Васильевичъ просидѣлъ у мадамъ Фритче до полуночи. Съ самаго своего пріѣзда въ Николаевъ онъ еще не проводилъ такого пріятнаго вечера. Правда, ему не разъ приходило въ голову, что офицеру или дворянину не слѣдовало бы знаться съ особами въ родѣ рижской уроженки и ея „тантушки", но Эмилія такая была хорошенькая, такъ забавно болтала, такъ ласково на него поглядывала, что онъ махнулъ рукой на свое происхожденіе, званіе, и рѣшился на этотъ разъ пожить въ „собственное удовольствіе". Одно только обстоятельство его смутило и оставило въ немъ впечатлѣніе не совсѣмъ пріятное. Въ самомъ разгарѣ разговора между имъ, Эмиліей и мадамъ Фритче, дверь изъ передней комнаты чуть-чуть растворилась, и мужская рука въ темномъ обшлагѣ съ тремя крошечными серебряными пуговками тихонько выпунулась и тихонько положила на стулъ возлѣ двери довольно большой узелъ. Обѣ дамы тотчасъ бросились къ стулу и начали разсматривать принесенное. „Да это не

тѣ ложки!“ воскликнула Эмилія, но тетка толкнула ее локтемъ и унесла узелъ, не завязавъ концовъ. Кузьмѣ Васильевичу показалось, какъ будто одинъ изъ нихъ былъ запачканъ чѣмъ-то краснымъ, словно кровью...

— Что́ это? — спросилъ онъ Эмилію. — Вамъ еще нѣсколько краденыхъ вещей возвратили.

— Да,—отвѣчала Эмилія, какъ бы нехотя:—еще.

— Это слуга вашъ ихъ отыскалъ?

Эмилія нахмурилась.

— Какой слуга? У насъ нѣтъ никакого слуги.

— Такъ другой какой мужчина?

— Къ намъ мужчины не ходятъ.

— Однако, позвольте, позвольте... Я видѣлъ обшлагъ мужского сюртука или венгерки. И, наконецъ, эта фуражка...

— Къ намъ никогда, никогда мужчины не ходятъ, — настойчиво повторила Эмилія.—Что̀ вы видѣли... Ничего вы не видѣли! А фуражка эта моя.

— Какъ такъ?

— Да такъ. Случится въ маскарадъ... Ну да, моя, und Punctum!

— А кто жъ вамъ узелъ-то принесъ!

Эмилія ничего не отвѣчала и, надувъ губы, вышла изъ комнаты вслѣдъ за мадамъ Фритче. Спустя минутъ десять, она вернулась одна, безъ тетки, и когда Кузьма Васильевичъ снова принялся ее разспрашивать, она посмотрѣла ему въ лобъ, сказала, что стыдно быть кавалеру любопытнымъ (при этихъ словахъ лицо ея немного измѣнилось, словно потемнѣло) и, доставъ изъ ломбернаго стола колоду старыхъ картъ, попросила его погадать на ея счастье и на червоннаго короля.

Кузьма Васильевичъ засмѣялся, взялъ карты, и всякія нехорошія мысли тотчасъ выскочили у него изъ головы.

Но онѣ еще разъ вернулись къ нему въ тотъ же день. А именно: онъ уже вышелъ изъ калитки на улицу, уже простился съ Эмиліей, въ послѣдній разъ крикнувъ ей: „Adieu Zuckerpüppchen!“ какъ вдругъ мимо его прошмыгнулъ человѣкъ невысокаго роста и, обернувшись на мигъ

въ его сторону (ночь давно наступила, но луна свѣтила довольно ярко), выставилъ цыганское худощавое лицо съ черными густыми бровями и усами, черными глазами и крючковатымъ носомъ. Человѣкъ этотъ тотчасъ бросился за уголъ, а Кузьмѣ Васильевичу показалось, что онъ узналъ не лицо его,—онъ никогда не видалъ его прежде,—а обшлагъ его рукава: три серебряныя пуговки явственно сверкнули на лунѣ. Тревожное недоумѣніе зашевелилось въ душѣ осторожнаго лейтенанта; вернувшись домой, онъ не закурилъ, по обыкновенію, своей пѣнковой трубки. Впрочемъ, неожиданное знакомство съ любезною Эмиліей и пріятные часы, проведенные въ ея обществѣ, способствовали взволнованному настроенію его чувствъ.

X.

Какія бы ни были опасенія Кузьмы Васильевича, они разсѣялись скоро и не оставили слѣда. Онъ сталъ частенько навѣдываться къ обѣимъ дамамъ изъ Риги. Влюбчивый лейтенантъ сблизился съ Эмиліей. Сперва онъ стыдился этой близости, скрывалъ свои посѣщенія, потомъ пересталъ стыдиться и скрываться; кончилось тѣмъ, что онъ охотнѣе сидѣлъ у своихъ новыхъ знакомыхъ, чѣмъ у кого бы то ни было, не говоря уже о собственныхъ, не слишкомъ веселыхъ четырехъ стѣнахъ. Сама мадамъ Фритче уже не возбуждала въ немъ непріятныхъ ощущеній, хотя обращалась съ нимъ непривѣтливо и угрюмо попрежнему. Особы мало зажиточныя, подобныя госпожѣ Фритче, въ гостяхъ своихъ преимущественно цѣнятъ щедрость; а Кузьма Васильевичъ былъ скупенекъ и дарилъ больше изюмомъ, грецкими орѣхами, пряниками... Только разъ онъ, по собственному выраженію, „разорился“, поднесъ Эмиліи легонькую розовую косынку настоящей французской матеріи; а она въ тотъ же день прожгла на свѣчкѣ его подарокъ. Онъ сталъ ей выговаривать: она нацѣпила косынку на хвостъ кошкѣ; онъ разсердился: она разсмѣялась ему въ носъ. Кузьма Васильевичъ долженъ былъ, наконецъ, самому себѣ сознаться, что онъ не только не пользовался *уваженіемъ* дамъ изъ Риги, но даже до-

вѣрія ихъ не заслужилъ: его никогда не впускали разомъ, безъ предварительнаго осмотра: иногда заставляли дожидаться, иногда отсылали прочь безъ всякой церемоніи и, желая что-нибудь скрыть отъ него, бесѣдовали при немъ по-нѣмецки. Эмилія не отдавала ему никакого отчета въ своихъ поступкахъ и на его вопросы отвѣчала какъ-то вскользь, словно не разслышавъ его словъ; а главное: нѣкоторыя комнаты въ домѣ мадамъ Фритче, который былъ довольно обширенъ, хотя съ улицы казался лачужкой, оставались для него постоянно закрытыми. За всѣмъ тѣмъ, Кузьма Васильевичъ не прекращалъ своихъ посѣщеній, а, напротивъ, учащалъ ихъ: онъ все-таки живыхъ людей видѣлъ. Самолюбіе его удовлетворялось также и тѣмъ, что Эмилія продолжала называть его Флòрестаномъ, находила его красавцемъ необыкновеннымъ и увѣряла, что у него глаза какъ у райской птицы, „wie die Augen eines Paradiesvogels!“

XI.

Однажды, въ самый развалъ лѣта, въ полдень, Кузьма Васильевичъ, провозившись цѣлое утро на солнцѣ съ подрядчиками и работниками, притащился измученный, разбитый, къ калиткѣ слишкомъ извѣстнаго ему домика. Онъ постучался; его впустили. Онъ ввалился въ такъ-называемую гостиную и тотчасъ же прикорнулъ на диванѣ. Эмилія подошла къ нему и отерла платкомъ его взмокшій лобъ.

— Какъ онъ усталъ, мой крошка! Какъ ему жарко!— проговорила она съ соболѣзнованіемъ.—Боже мой! хоть бы воротникъ разстегнулъ. Господи! Такъ душка и прыгаетъ.

— Умаялся я, дружокъ,—простоналъ Кузьма Васильевичъ.—Съ утра на ногахъ, да на самомъ все припекѣ. Бѣда! Домой хотѣлъ идти. Тамъ опять эти аспиды, подрядчики! А у васъ тутъ прохлада... кажется, соснулъ бы.

— Ну что̀ же? Почивай, мой цыпленочекъ; здѣсь никто не мѣшаетъ...

— Да совѣстно какъ будто...

— *В-вотъ! что за* совѣсть. Почивай. А я тебя буду...

какъ это по-вашему?.. байбайкать. „Schlaf, mein Kindchen, schlafe!“—запѣла она.

— Водицы бы сперва испить...

— Вотъ тебѣ стаканъ воды. Свѣжая! Какъ кристаллъ! Постой, я подушечку подъ голову положу... А вотъ это отъ мухъ.

Она закрыла ему лицо платкомъ.

— Спасибо, купидончикъ... Я только такъ... вздремну маленько...

Кузьма Васильевичъ закрылъ глаза и заснулъ немедленно.

— „Schlaf, mein Kindchen, schlafe!“—напѣвала Эмилія, покачиваясь изъ стороны въ сторону и сама тихонько подсмѣиваясь и пѣсенкѣ своей, и своимъ движеніямъ.

„Какое у меня большое дитя!“ думала она. „Мальчикъ!“

XII.

Часа черезъ полтора лейтенантъ проснулся. Ему чудилось сквозь сонъ, какъ будто кто-то его трогаетъ, наклоняется, дышитъ надъ нимъ. Онъ ощупался, сдернулъ платокъ. Эмилія стояла на колѣняхъ, близехонько возлѣ него; выраженіе ея лица показалось ему страннымъ. Она тотчасъ же вскочила, отошла къ окошку и спрятала что-то въ карманъ.

Кузьма Васильевичъ потянулся.

— Однакожъ я-таки всхрапнулъ лихо! — промолвилъ онъ, зѣвая.—Поди-ка сюда, мэйне зюссе фрейлейнъ!

Эмилія подошла къ нему. Онъ проворно приподнялся, сунулъ руку въ ея карманъ и досталъ небольшія ножницы.

— Ach, Herr Je!—невольно воскликнула Эмилія.

— Это... это ножницы? — пробормоталъ Кузьма Васильевичъ.

— Ну да, конечно. А ты что думалъ... пистолетъ? Ахъ, какое у тебя смѣшное лицо! Измято какъ подушка, и волосы на затылкѣ всѣ кверху... И не смѣется... Ахъ, ахъ! И глаза опухли... Ахъ!

Эмилія захохотала.

— Ну, будетъ, — *проворчалъ* Кузьма Васильевичъ и

всталъ съ дивана. — Будетъ зубы-то безъ толку скалить. Коли ничего умнѣе придумать не можешь, я вѣдь уйду... Я уйду,—повторилъ онъ, видя, что она не унимается.

Эмилія умолкла.

— Ну, полно, оставайся; я не стану... Только волосы поправить надо...

— Нѣтъ, что жъ... Оставь! Я лучше уйду, — сказалъ Кузьма Васильевичъ и взялся за фуражку.

Эмилія надулась.

— Фуй, какой злой! Настоящій русскій! Всѣ русскіе злые! Вотъ онъ уходитъ. Фуй! Вчера мнѣ пять рублей обѣщалъ, а сегодня ничего не даетъ и уходитъ.

— У меня съ собой денегъ нѣтъ, — буркнулъ Кузьма Васильевичъ уже въ дверяхъ.—Прощай!

Эмилія посмотрѣла ему вслѣдъ и погрозилась пальцемъ.

— Денегъ нѣтъ! Слышите, слышите, что̀ говоритъ! Охъ, какіе обманщики эти русскіе! Но погодите, мопсъ вы этакой... Тантушка, пожалуйте-ка сюда, я вамъ что̀ скажу.

Вечеромъ того же дня, Кузьма Васильевичъ, ложась спать и раздѣваясь, замѣтилъ, что въ верхнемъ краѣ его кожанаго пояса вершка на полтора распоролся шовъ. Какъ человѣкъ аккуратный, онъ тотчасъ досталъ иголку и нитку, навощилъ ее и самъ зашилъ прорѣху, а впрочемъ не обратилъ никакого вниманія на это, повидимому, ничтожное обстоятельство.

XIII.

Весь слѣдующій день Кузьма Васильевичъ посвятилъ служебнымъ обязанностямъ; онъ не выходилъ изъ дому даже послѣ обѣда — и вплоть до ночи, въ потѣ лица, строчилъ и переписывалъ на-бѣло рапортъ къ начальству, немилосердно путая буквы *ѣ* и *е*, всякій разъ ставя послѣ „но“ восклицательный знакъ, а послѣ „впрочемъ“— точку съ запятой. На другое утро босоногій жиденокъ, въ изорванномъ халатѣ, принесъ ему письмо отъ Эмиліи— первое письмо, полученное отъ нея Кузьмой Васильевичемъ: „Mein aller liebster Florestan,—писала она ему,—

неушта ты такъ разсердился на твою Zuckerpüppchen, што не пришелъ вчирась? Пожалуста, не сердись, если ты не хочешь, штопъ твоя веселая Эмилія очень много плакала, и приходи непременно сиводни въ 5 часовъ вечера". (Цифра 5 была окружена двумя вѣнками). „Я очень, очень буду рада. Твоя любезная Эмилія." Кузьма Васильевичъ внутренно подивился учености своей любезной, далъ жиденку грошъ и велѣлъ сказать, что хорошо, молъ, приду.

XIV

Кузьма Васильевичъ сдержалъ слово: пяти часовъ еще не пробило, какъ ужъ онъ стоялъ передъ калиткой госпожи Фритче. Но, къ удивленію своему, онъ не засталъ Эмиліи дома; его встрѣтила сама хозяйка и, сдѣлавъ предварительно — о, чудо! — книксенъ, сообщила ему, что по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ Эмилія принуждена была отлучиться, но что она скоро вернется и проситъ его подождать ее. На госпожѣ Фритче былъ опрятный бѣлый чепецъ; она улыбалась, говорила вкрадчивымъ голосомъ и, очевидно, старалась придать привѣтливое выраженіе своему угрюмому лицу, которое, впрочемъ, нисколько отъ этого не выигрывало, а, напротивъ, принимало какой-то зловѣщій оттѣнокъ.

— Вы, господинъ, присядьте, присядьте, — твердила она, подвигая кресло: — а мы васъ, если позволите, попотчуемъ!

Мадамъ Фритче еще разъ сдѣлала книксенъ, вышла изъ комнаты и скоро вернулась съ чашкой шоколада на маленькомъ желѣзномъ подносѣ. Шоколадъ оказался качества сомнительнаго, однако Кузьма Васильевичъ выпилъ всю чашку съ удовольствіемъ, хотя рѣшительно не могъ понять, откуда бралась такая прыть у мадамъ Фритче, и что все это значило? Со всѣмъ тѣмъ, Эмилія не приходила, и онъ начиналъ терять терпѣніе и скучать, какъ вдругъ ему послышались за стѣной звуки гитары. Сперва раздался одинъ аккордъ, потомъ другой, третій, четвертый,—все громче, громче и полнѣй. Кузьма Васильевичъ

изумился: у Эмиліи точно, была гитара, но съ тремя струнами: онъ все еще не собрался купить ей остальныя; притомъ же Эмиліи дома не было. Кто жъ это могъ быть? Опять раздался аккордъ, и такъ звонко, словно въ самой комнатѣ... Кузьма Васильевичъ обернулся и чуть не вскрикнулъ отъ испуга. Передъ нимъ, на порогѣ низенькой двери, которой онъ до тѣхъ поръ не замѣтилъ,— тяжелый шкапъ ее задвигалъ,—стояло неизвѣстное существо: дитя не дитя, и не взрослая дѣвушка. Одѣта она была въ бѣлое платьице съ пестрыми разводами и красные башмаки съ каблучками; прихваченные сверху золотымъ ободкомъ, густые черные волосы падали въ видѣ плаща съ небольшой головки на худенькое тѣло. Изъ-подъ мягкой ихъ громады блестѣли темнымъ блескомъ огромные глаза; голыя, смуглыя ручки, обремененныя запястьями и кольцами, неподвижно держали гитару. Лица почти не было видно: такъ оно казалось мало и темно, только губы алѣли, да обозначался узкій прямой носъ. Кузьма Васильевичъ долго стоялъ какъ вкопанный и пристально, не смигнувъ ни разу, глядѣлъ на это странное существо; и оно на него глядѣло, и тоже не мигало и не шевелилось. Наконецъ онъ очнулся и маленькими шажками подошелъ къ нему.

Темное личико начало понемногу улыбаться, бѣлые зубки сверкнули вдругъ, головка приподнялась и, чуть-чуть встряхнувъ кудрями, показалась во всей своей рѣзкой и тонкой красотѣ. „Это что за бѣсенокъ?“ подумалъ Кузьма Васильевичъ и, нагнувшись еще поближе, промолвилъ вполголоса:

— Фигурка! Эй, фигурка! Кто вы такая?

— Сюда, сюда, — промолвила немного сиплымъ голоскомъ, не русскимъ, медлительнымъ говоромъ и съ невѣрными удареніями „фигурка“ и подалась назадъ шага на два.

Кузьма Васильевичъ вслѣдъ за ней переступилъ порогъ и очутился въ крохотной комнаткѣ безъ оконъ, обитой по стѣнамъ и по полу толстыми коврами изъ верблюжьей шерсти. Сильный запахъ мускуса такъ и обдалъ его. Двѣ

желтыя восковыя свѣчи горѣли на кругломъ столикѣ передъ низкимъ турецкимъ диванчикомъ. Въ углу стояла кроватка подъ кисейнымъ пологомъ съ шелковыми полосками, и длинныя янтарныя четки, съ красною кистью на концѣ, висѣли близъ изголовья.

— Да позвольте, наконецъ, кто вы такая?—повторилъ Кузьма Васильевичъ.

— Сѐстра... сѐстра Эмиліи.

— Вы ея сестра? И здѣсь живете?

— Да... да...

Кузьма Васильевичъ захотѣлъ прикоснуться къ „фигуркѣ". Она отшатнулась.

— Какъ же это она никогда мнѣ о васъ не говорила?

— А нѐльзя... нѐльзя...

— Вы, стало-быть, скрываетесь... прячетесь?

— Да...

— Есть такая причина?

— Есте... есте.

— Гм!—Кузьма Васильевичъ опять захотѣлъ прикоснуться къ „фигуркѣ", она опять отшатнулась.—То-то я васъ никогда не замѣтилъ. Я, признаюсь, и существованія вашего не подозрѣвалъ. И мадамъ Фритче, старуха эта, вамъ тоже доводится теткой?

— Да... тóтка.

— Гм! Вы какъ-будто по-русски плохо понимаете. Какъ васъ зовутъ, позвольте узнать?

— Кòлибри.

— Какъ?

— Кòлибри.

— Кòлибри? Вотъ необыкновенное имя! Это, помнится, въ Африкѣ бываютъ такія насѣкомыя?

XV.

Колибри засмѣялась короткимъ, страннымъ смѣхомъ... точно у ней въ горлѣ стеклышки столкнулись. Она покачала головой, повела кругомъ глазами, положила гитару на столъ и, проворно подойдя къ двери, разомъ ее притворила. Она двигалась *живо и ловко* съ едва слышнымъ, бы-

стрымъ шумомъ, какъ ящерица; сзади ея волосы спускались ниже колѣнъ.

— А зачѣмъ вы дверь-то заперли? — спросилъ Кузьма Васильевичъ. Колибри приложила палецъ къ губамъ:

— Эмилія... Не надо... ея не надо.

Кузьма Васильевичъ ухмыльнулся.

— Ужъ не ревнуете ли вы?

Колибри приподняла брови.

— Цо?

— Ревнуете... сердитесь,—объяснилъ Кузьма Васильевичъ.

— О, да!

— Вотъ какъ! Много чести!.. Послушайте, сколько вамъ лѣтъ?

— Семинадцать.

— Семнадцать, вы хотите сказать?

— Да.

Кузьма Васильевичъ окинулъ внимательнымъ взоромъ свою фантастическую собесѣдницу.

— Какая же вы красоточка, — проговорилъ онъ внушительно. — Чудо! просто чудо! что за волосы! Глаза! А брови-то, брови!.. У!

Колибри опять засмѣялась и опять повела своими великолѣпными глазами.

— Да, я красавица! Садитесь, и я сяду... подлѣ.

— Извольте, извольте... Но, воля ваша, какая же вы сестра Эмиліи? Вы на нее нисколько не похожи.

— Нѣтъ... я сестра... куджина. Вотъ... возьмите... свѣтòкъ. Хорошій свѣтòкъ. Пахнетъ. — Она вынула изъ-за пояса вѣтку бѣлой сирени, понюхала, откусила лепестокъ и подала ему всю вѣтку.—Хотите варенья? Хорошее... изъ Константинополи... шербетъ.—Колибри достала изъ небольшого комода обернутую въ кусокъ алой шелковой матеріи, со стальными блестками, раззолоченную баночку, серебряную ложечку, хрустальный граненый графинчикъ съ водой и такой же стаканчикъ. — Кушайте шербетъ, господинъ, онъ очень прекрасный. Я вамъ буду пѣть... Хотите? — *Она* схватила гитару.

— А вы поете? — спросилъ Кузьма Васильевичъ, кладя себѣ въ ротъ ложку дѣйствительно превосходнаго шербету.

— О, да!—Она откинула назадъ свою косу, наклонила голову на-бокъ и взяла нѣсколько аккордовъ, старательно глядя на концы своихъ пальцевъ и на ручку гитары... потомъ вдругъ запѣла не по росту сильнымъ и пріятнымъ, но гортаннымъ и для уха Кузьмы Васильевича нѣсколько дикимъ голосомъ. „Ахъ ты, моя кошечка!“ подумалъ онъ. Пѣла она пѣсню заунывную, нисколько не русскую и на языкѣ совершенно Кузьмѣ Васильевичу незнакомомъ. По его увѣренію, звуки: „кха, гха“—то и дѣло слышались въ пѣніи, а подъ конецъ она протяжно повторила: „синтамаръ“ или „синцимаръ“, что-то въ этомъ вкусѣ, подперлась рукой, вздохнула и опустила гитару на колѣни.—Хорошо?—спросила она.—Еще хотите?

— Съ моимъ удовольствіемъ, — отвѣчалъ Кузьма Васильевичъ.—Только зачѣмъ это у васъ такое лицо, словно все печальное? Вы бы шербету откушали.

— Нѣтъ... вы сами. А я еще... Эта будетъ весѐлѣй.— Она спѣла другую пѣсенку, въ родѣ плясовой, на томъ же непонятномъ языкѣ. Опять послышались Кузьмѣ Васильевичу прежніе гортанные звуки. Ея смуглые пальчики такъ и бѣгали по струнамъ, „какъ паучки“. И кончила она этотъ разъ тѣмъ, что бойко крикнула: „Ганда!“ или „Гасса!“ и застучала кулачкомъ по столу, сверкая глазами...

XVI.

Кузьма Васильевичъ сидѣлъ какъ отуманенный. Голова у него кружилась. Такъ это все было неожиданно... Да и запахъ этотъ, пѣніе... свѣчи днемъ... шербетъ съ ванилью... А тутъ Колибри все ближе къ нему подвигается, волосы ея блестятъ и шуршатъ, и пышетъ отъ нея жаромъ, и это печальное лицо... „Русалка!“ подумалъ Кузьма Васильевичъ. Неловко ему что-то становилось.

— Душечка моя,—промолвилъ онъ:—признайтесь, что вамъ вздумалось меня *сегодня къ себѣ* позвать?

— Вы молодой, хорошенькій... Я такихъ люблю.

— А, вотъ что! Но что скажетъ Эмилія? Она мнѣ пис
написала: она должна сейчасъ придти.

— Вы не говорите ей... ничего! Бѣда! Убьетъ!

Кузьма Васильевичъ засмѣялся.

— Будто она такая злая?

Колибри нѣсколько разъ съ важностью качнула
ловой.

— И мадамъ Фритче тоже ничего. Ни! ни! ни! —
тихонько постучала себѣ по лбу.—Понимаешь, офиц

Кузьма Васильевичъ нахмурилъ брови.

— Тайна, значитъ?

— Да... да.

— Ну, пожалуй... словечка не пророню. Только за
ты поцѣловать меня должна.

— Нѣтъ, послѣ... когда уйдешь.

— Вотъ еще что выдумала!—Кузьма Васильевичъ
гнулся-было къ ней, но она медленно отклонилась и
прямилась, какъ ужъ, на котораго набрели въ лѣс
травѣ. Кузьма Васильевичъ уставился на нее.—Вишь ті
промолвилъ онъ наконецъ:—злюка какая! Ну, Господі
тобою!

Колибри задумалась и обернулась къ лейтенан
Вдругъ три мѣрныхъ, глухихъ удара раздались гдѣ-тс
домѣ. Колибри усмѣхнулась, почти фыркнула.

— Сегодня—нѣтъ, завтра—да. Завтра приходи.

— Въ которомъ часу?

— Въ семь... вечеромъ.

— А какъ быть съ Эмиліей?

— Эмилія... нѣтъ; не будетъ.

— Ты думаешь? Ну, хорошо. А только ты завтра
жешь мнѣ...

— Цо? (лицо Колибри, всякій разъ, когда она что сі
шивала, принимало дѣтское выраженіе).

— Зачѣмъ ты отъ меня такъ долго пряталась?

— Да... да; завтра все будетъ, конецъ будетъ.

— Смотри же, а я тебѣ подарочекъ принесу...

— Нѣтъ... не надо.

— Отчего же? Ты вотъ, я вижу, наряжаться любишь.

— Не надо. Это... это... это...—и она указала пальцемъ на свое платье, на свои кольца, запястья, на все, что ее окружало:—это все мое. Не подарокъ. Я не беру.

— Какъ знаешь! А теперь уйти надо?

— О, да!

Кузьма Васильевичъ приподнялся. Колибри тоже встала.

— Прощай, игрушечка! А когда жъ поцѣлуй-то?

Колибри вдругъ легко подпрыгнула и, проворно вскинувъ обѣ руки вокругъ шеи молодого лейтенанта, не поцѣловала, а словно клюнула его въ губы. Онъ хотѣлъ поцѣловать ее въ свою очередь, но она мгновенно отскочила прочь и стала за диванчикъ.

— Такъ завтра, въ семь часовъ?—промолвилъ онъ не безъ смущенія.

Она кивнула ему головой и, взявъ за конецъ двумя пальцами длинную прядь собственныхъ волосъ, прикусила ее своими острыми зубками.

Кузьма Васильевичъ сдѣлалъ ей ручкой, вышелъ и потянулъ за собою дверь. Онъ слышалъ, какъ Колибри тотчасъ къ ней подбѣжала... Ключъ звонко щелкнулъ въ замкѣ.

XVII.

Въ гостиной госпожи Фритче никого не было. Кузьма Васильевичъ немедленно отправился въ переднюю. Ему не хотѣлось столкнуться съ Эмиліей. Хозяйка встрѣтила его на крыльцѣ.

— А! Вы уходите, господинъ лейтенантъ,—промолвила она съ тою же притворною и зловѣщею ужимкой.—Эмиліи ждать не будете?

Кузьма Васильевичъ надѣлъ фуражку.

— Мнѣ, доложу вамъ, сударыня, некогда больше ждать. Я и завтра, можетъ-быть, не приду. Такъ вы ей и скажите.

— Хорошо, скажу. Но вѣдь вы не соскучились, господинъ лейтенантъ?

— *Нѣтъ-съ; я не соскучился.*

— То-то же. Прощенія просимъ-съ.

— Прощайте-съ.

Кузьма Васильевичъ пришелъ домой и, растянувшис на постели, погрузился въ размышленія. Онъ недоумѣвал несказанно. „Что̀ за притча во языцѣхъ!“ воскликнулъ он не однажды. И зачѣмъ Эмилія ему писала? Назначила сви даніе и не пришла?.. Онъ досталъ ея записку, повертѣл ее въ рукахъ, понюхалъ: пахло отъ нея табакомъ, и в одномъ мѣстѣ онъ замѣтилъ поправку; стояло: „плакала“ а сперва было написано: „плакалъ“. Но что же можн извлечь изъ этого? И возможно ли, чтобы хозяйка ничег не знала? И *она*... Кто она? Да, кто она? Очаровательна Колибри, эта „игрушечка“, эта „фигурка“ не выходил у него изъ головы, и онъ съ нетерпѣніемъ дожидалс завтрашняго вечера, хотя втайнѣ чуть не побаивался са мой этой „игрушечки“ и „фигурки“.

XVIII.

На слѣдующій день Кузьма Васильевичъ отправилс передъ обѣдомъ въ ряды и, настойчиво поторговавшис купилъ крошечный золотой крестикъ на бархатной лен точкѣ. „Хотя она и увѣряетъ“, такъ размышлялъ он „что ей никакого подарка не требуется, но намъ хорош извѣстно, что̀ подобныя слова обозначаютъ; а, наконец если точно нравъ у нея такой безкорыстный—Эмилія н побрезгаетъ“. Такъ размышлялъ николаевскій Донъ-Жуан вѣроятно, даже не подозрѣвавшій въ то время, чѣмъ был и чѣмъ остался въ памяти людской настоящій Донъ-Жуан Въ шестомъ часу вечера Кузьма Васильевичъ выбрилс тщательно и, пославъ за знакомымъ цырюльникомъ, велѣл хорошенько напомадить и завить себѣ хохолъ, что̀ тот и исполнилъ съ особеннымъ рвеніемъ, не жалѣя казенно бумаги на папильотки; потомъ Кузьма Васильевичъ надѣл новый, съ иголочки, мундиръ, взялъ въ правую рук пару новыхъ замшевыхъ перчатокъ и, побрызгавъ на себ лоделаваномъ, вышелъ изъ дому. Кузьма Васильевичъ в этотъ разъ гораздо больше хлопоталъ о своей наружности *чѣмъ когда шелъ* на свиданіе съ „Zuckerpüppchen“, в

потому, что Колибри ему больше нравилась, чѣмъ Эмилія, но въ „игрушечкѣ“ было нѣчто загадочное, нѣчто такое, что невольно возбуждало даже то лѣнивое воображеніе, какимъ обладалъ молодой лейтенантъ.

XIX.

Мадамъ Фритче встрѣтила его по-вчерашнему и, какъ бы стакнувшись съ нимъ въ условной лжи, снова объявила ему, что Эмилія отлучилась на короткое время и проситъ его подождать. Кузьма Васильевичъ наклонилъ голову въ знакъ согласія и присѣлъ на стулъ. Мадамъ Фритче опять улыбнулась, то-есть показала свои желтые клыки, и удалилась, не предложивъ ему шоколаду.

Кузьма Васильевичъ тотчасъ вперилъ взоры въ таинственную дверь. Она оставалась закрытою. Онъ громко кашлянулъ раза два, какъ бы давая знать о своемъ присутствіи... Дверь не шелохнулась. Онъ затаилъ дыханье, приникъ ухомъ... Хоть бы малѣйшій шумъ или шорохъ ему послышался; точно все вымерло кругомъ. Кузьма Васильевичъ всталъ, на цыпочкахъ приблизился къ двери— и, напрасно пошаривъ пальцами, нажалъ на нее колѣномъ... Не тутъ-то было. Тогда онъ нагнулся и раза два произнесъ усиленнымъ шопотомъ: „Колибри, Колибри... Игрушечка!“ Никто не отозвался. Кузьма Васильевичъ выпрямился, одернулъ мундиръ—и, постоявъ немного на мѣстѣ, уже болѣе твердыми шагами подошелъ къ окну и забарабанилъ по стекламъ. Онъ начиналъ чувствовать досаду, негодованіе; офицерскій гоноръ заговорилъ въ немъ: „Что за вздоръ! — подумалъ онъ наконецъ, — за кого меня принимаютъ? Коли такъ, вѣдь я кулаками застучу. Принуждена она будетъ откликнуться! Старуха услышитъ... Ну, что жъ? Не я виноватъ!“ Онъ быстро повернулся на каблукахъ... Дверь стояла раскрытою наполовину.

XX.

Кузьма Васильевичъ немедленно и снова на цыпочкахъ устремился въ потаенную комнатку. На диванѣ, въ бѣломъ платьѣ, съ *широкимъ краснымъ* поясомъ, лежала Колибри

и, закрывъ нижнюю часть лица платкомъ, смѣялась безъ шума, но отъ души. Волосы свои она убрала на этотъ разъ, заплела ихъ въ двѣ тугія длинныя косы и перевила красными лентами; вчерашніе башмачки красовались на ея крошечныхъ, крестъ-на-крестъ положенныхъ ножкахъ; но самыя эти ножки были голы: глядя на нихъ, можно было подумать, что она надѣла темные шелковые чулки. Диванъ стоялъ иначе, чѣмъ наканунѣ: ближе къ стѣнѣ; а на столѣ, на китайскомъ подносѣ, виднѣлся толстобрюхій пестрый кофейникъ, рядомъ съ граненою сахарницей и двумя голубенькими фарфоровыми чашечками. Тутъ же лежала гитара, и сизый дымокъ бѣжалъ тонкою струйкой съ верхушки крупной курительной свѣчки.

Кузьма Васильевичъ подошелъ къ дивану и наклонился къ Колибри, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ промолвить слово, она протянула руку и, не переставая смѣяться въ платокъ, запустила свои небольшіе жесткіе пальцы въ его волосы и мгновенно растрепала его благоустроенный кокъ.

— Это что еще? — воскликнулъ Кузьма Васильевичъ, не вполнѣ довольный подобною нецеремонностью въ обращеніи.—Ахъ, ты, шалунья!

Колибри приняла платокъ отъ лица.

— Не хорошо такъ; этакъ лучше. — Она отодвинулась къ одному концу дивана и подобрала ноги. — Садитесь... тамъ.

Кузьма Васильевичъ сѣлъ, куда она ему указывала.

— Зачѣмъ же ты удаляешься?—промолвилъ онъ послѣ небольшого молчанья.—Или ты меня боишься?

Колибри свернулась въ клубочекъ и посмотрѣла на него сбоку.

— Я не боюсь... Нѣтъ.

— Ты не должна меня дичиться, — продолжалъ наставительнымъ тономъ Кузьма Васильевичъ. — Ты вѣдь помнишь свое вчерашнее обѣщаніе поцѣловать меня?

Колибри обхватила свои колѣни обѣими руками, положила на нихъ голову и опять посмотрѣла на него.

— *Помню.*

— То-то же. И ты должна сдержать свое слово.

— Да... должна.

— Въ такомъ случаѣ... — началъ Кузьма Васильевичъ и пододвинулся-было къ ней.

Колибри высвободила свои косы, которыя она захватила вмѣстѣ съ колѣнями, и одною изъ нихъ ударила его по рукѣ.

— Потише, господинъ!

Кузьма Васильевичъ сконфузился.

— Какіе у нея глаза, у разбойницы, — пробормоталъ онъ какъ бы про себя. — Однако, — прибавилъ онъ, возвысивъ голосъ: — зачѣмъ же ты звала меня... въ такомъ случаѣ?

Колибри вытянула шею, какъ птица... Она прислушивалась. Кузьма Васильевичъ перетревожился.

— Эмилія?—произнесъ онъ вопросительно.

— Нѣтъ.

— Кто-нибудь другой?

Колибри пожала плечомъ.

— Да ты что-нибудь слышишь?

— Ничего.—Колибри отвела назадъ, и тоже птичьимъ движеніемъ, свою небольшую, яйцевидную головку, съ красивымъ проборомъ и короткими вихрами курчавыхъ завитушекъ на затылкѣ, тамъ, гдѣ начинались косы, и опять въ клубочекъ свернулась.—Ничего.

— Ничего! Такъ я теперь...—Кузьма Васильевичъ потянулся къ Колибри, но тотчасъ же отдернулъ руку. На пальцѣ у него показалась капля крови.—Что за глупости такія!—воскликнулъ онъ, встряхивая пальцемъ.—Вѣчныя эти ваши булавки! Да и какая это къ чорту булавка, — прибавилъ онъ, взглянувъ на длинную золотую шпильку, которую Колибри медленно втыкала себѣ въ поясъ.—Это цѣлый кинжалъ, это жало... Да, да, это твое жало, и ты оса, вотъ ты кто, оса, понимаешь?

Колибри, повидимому, очень понравилось сравненье Кузьмы Васильевича: она залилась тонкимъ хохотомъ и нѣсколько разъ сряду повторила:

— Да, *я ужалю... я ужалю.*

Кузьма Васильевичъ глядѣлъ на нее и думалъ: „Вѣдь вотъ, смѣется, а лицо все печальное“...

— Посмотри-ка, что я тебѣ покажу,—промолвилъ онъ громко.

— Цо?

— Зачѣмъ ты говоришь: цо? Развѣ ты полька?

— Ни.

— Теперь вотъ: „ни!“ Ну, да все равно!—Кузьма Васильевичъ досталъ свой подарочекъ и повертѣлъ имъ на воздухѣ.—Глянь-ка сюда... Хороша штучка?

Колибри равнодушно вскинула глазами.

— А! Крестъ! Мы не носимо.

— Какъ? Креста не носите? Да ты жидовка, что ли?

— Не носимо, — повторила Колибри и, вдругъ встрепенувшись, глянула назадъ черезъ плечо.—Хотите? я пѣть буду...—торопливо спросила она.

Кузьма Васильевичъ сунулъ крестикъ въ карманъ мундира и оглянулся тоже. Ему почудился легкій трескъ за стѣной...

— Что такое?—пробормоталъ онъ.

— Мышь... мышь,—поспѣшно проговорила Колибри, и вдругъ, совершенно неожиданно для Кузьмы Васильевича, обняла его голову своими гибкими, гладкими руками, и быстрый поцѣлуй обжёгъ его щеку... точно уголекъ къ ней приложился.

Онъ стиснулъ Колибри въ своихъ объятіяхъ, но она выскользнула какъ змѣя—ея станъ былъ немного толще змѣинаго туловища—и вскочила на ноги:

— Постой,—шепнула она:—прежде надо кофе пить...

— Полно! Что за кофе! Послѣ.

— Нѣтъ, теперь. Теперь горячій, послѣ холодный.—Она ухватила кофейникъ за ручку и, высоко приподнявъ его, стала лить въ обѣ чашки. Кофе падалъ тонкою, какъ бы перекрученною струей; Колибри положила голову на плечо и смотрѣла, какъ онъ лился.—Вотъ, клади сахару... ней... и я буду!

Кузьма Васильевичъ бросилъ въ чашку кусокъ сахару *и выпилъ ее разомъ*. Кофе ему показался очень крѣпкимъ

и горькимъ. Колибри глядѣла на него улыбаясь и чуть-чуть расширяя ноздри надъ краемъ своей чашки. Она тихонько опустила ее на столъ.

— Что же ты не пьешь?—спросилъ Кузьма Васильевичъ.

— Я... понемножку...—отвѣчала она.

Кузьма Васильевичъ пришелъ въ азартъ.

— Да сядь же, наконецъ, возлѣ меня!

— Сейчасъ. — Она нагнула голову и, все не спуская глазъ съ Кузьмы Васильевича, взялась за гитару.—Только прежде я пѣть буду.

— Да, да, только сядь.

— И танцовать буду. Хочешь?

— Ты танцуешь? Ну, это бы я посмотрѣлъ. Но нельзя ли послѣ?

— Нѣтъ, теперь... А я тебя очень люблю.

— Ты меня любишь! Смотри же... а впрочемъ, танцуй, чудачка ты этакая!

XXI.

Колибри стала по ту сторону стола и, пробѣжавъ нѣсколько разъ пальцами по струнамъ гитары, затянула, къ удивленію Кузьмы Васильевича, который ожидалъ веселаго, живого напѣва,—затянула какой-то медлительный, однообразный речитативъ, сопровождая каждый отдѣльный, какъ бы съ усиліемъ выталкиваемый звукъ, мѣрнымъ раскачиваніемъ всего тѣла направо и налѣво. Она не улыбалась, и даже брови свои сдвинула, свои высокія, круглыя, тонкія брови, между которыми рѣзко выступалъ синій знакъ, похожій на восточную букву, вѣроятно, вытравленный порохомъ. Глаза она почти закрыла, но зрачки ея тускло свѣтились изъ-подъ нависшихъ рѣсницъ, попрежнему упорно вперяясь въ Кузьму Васильевича. И онъ также не могъ отвести взора отъ этихъ чудныхъ, грозныхъ глазъ, отъ этого смуглаго постепенно разгоравшагося лица, отъ полураскрытыхъ и неподвижныхъ губъ, отъ двухъ черныхъ змѣй, мѣрно колебавшихся по обѣимъ сторонамъ стройной головы. Колибри продолжала раскачиваться, не сходя съ мѣста, *и только ноги* ея пришли въ движеніе.

она слегка ихъ передвигала, приподнимая то носокъ, т каблукъ. Разъ она вдругъ быстро перевернулась и пров зительно вскрикнула, высоко встряхнувъ на воздухѣ ги тарой... Потомъ опять началась прежняя однообразна пляска, сопровождаемая тѣмъ же однообразнымъ пѣніемъ Кузьма Васильевичъ сидѣлъ между тѣмъ преспокойно н диванѣ и продолжалъ глядѣть на Колибри. Онъ ощущал въ себѣ нѣчто странное, необычайное: ему было очен легко и свободно, даже слишкомъ легко; онъ какъ-будт тѣла своего не чувствовалъ, какъ-будто плавалъ, и въ т же время мурашки по немъ ползали, какое-то пріятно безсиліе распространялось по ногамъ, и дремота щекотал ему вѣки и губы. Онъ уже ничего не желалъ, не думал ни о чемъ, а только ему было очень хорошо, словно кт его баюкалъ, „байбайкалъ", какъ выразилась Эмилія, і шепталъ онъ про себя: „игрушечка!" По временамъ лиц „игрушечки" заволакивалось... „Отчего бы это?" спраши валъ себя Кузьма Васильевичъ. „Отъ курева", успокои валъ онъ себя... „Такой есть тутъ синій дымокъ". І опять его кто-то баюкалъ и даже разсказывалъ ему н ухо что-то такое хорошее... Только почему-то все не до говаривалъ. Но вотъ вдругъ на лицѣ „игрушечки" глаз открылись огромные, величины небывалой, настоящія мо стовыя арки... Гитара покатилась и, ударившись о полъ прозвенѣла гдѣ-то за тридевятью землями... Какой-т очень близкій и короткій пріятель Кузьмы Васильевич нѣжно и плотно обнялъ его сзади и галстукъ ему попра вилъ. Кузьма Васильевичъ увидалъ передъ самымъ лицом своимъ крючковатый носъ, густые усы и пронзительны глаза незнакомца съ обшлагомъ о трехъ пуговкахъ... і хотя глаза находились на мѣстѣ усовъ, и усы на мѣст глазъ, и самый носъ являлся опрокинутымъ, однак Кузьма Васильевичъ не удивился нисколько, а, напро тивъ, нашелъ, что такъ оно и слѣдовало; онъ собрался даже сказать этому носу: „здорово, братъ, Григорій", н отмѣнилъ свое намѣреніе и предпочелъ... предпочелъ не медленно отправиться съ Колибри въ Царьградъ дл *предстоящаго* бракосочетанія, такъ какъ она была тур

чанка, а государь его пожаловалъ въ дѣйствительные турки.

XXII.

Кстати жъ, передъ нимъ очутилась лодочка: онъ занесъ въ нее ногу, и хотя по неловкости споткнулся и ушибся довольно сильно, такъ что нѣкоторое время не зналъ, гдѣ что находится, однако справился и, сѣвъ на лавочку, поплылъ по той самой большой рѣкѣ, которая въ видѣ Рѣки Временъ протекаетъ на картѣ на стѣнѣ Николаевской гимназіи, въ Царьградъ. Съ великимъ удовольствіемъ плылъ онъ по той рѣкѣ и наблюдалъ за множествомъ красныхъ гагаръ, безпрестанно ему попадавшихся; онѣ, однако, не подпускали его и, нырня, превращались въ круглыя розовыя пятна. И Колибри съ нимъ ѣхала; но, желая предохранить себя отъ зноя, помѣстилась подъ лодкой и изрѣдка стучала въ дно... Вотъ, наконецъ, и Царьградъ. Дома, какъ слѣдуетъ быть домамъ, въ видѣ тирольскихъ шляпъ; и у турокъ все такія крупныя, степенныя лица; только не годится долго на нихъ глядѣть: они начинаютъ корчиться, рожи строить, а послѣ и совсѣмъ распадаются, какъ талый снѣгъ. Вотъ и дворецъ, въ которомъ онъ будетъ жить съ Колибри... И такъ все въ немъ отлично устроено! Стѣны съ генеральскимъ житьемъ, вездѣ эполеты, по угламъ люди трубятъ, и на лодкѣ можно въѣхать въ гостиную. Ну, разумѣется, портретъ Магомета... Только Колибри бѣжитъ все впередъ по комнатамъ, и косы ея волочатся за нею по полу, и никакъ она не хочетъ обернуться, и все меньше она становится, все меньше... Ужъ это не Колибри, а мальчикъ въ курточкѣ, и онъ его гувернеръ, и онъ долженъ влѣзать за этимъ мальчикомъ въ подзорную трубку, и труба та все ýже, ýже, вотъ ужъ и двинуться нельзя... ни впередъ, ни назадъ, и дышать невозможно, и что-то обрушилось на спину... и земля въ ротъ...

XXIII.

Кузьма Васильевичъ открылъ глаза. Свѣтло кругомъ, тихо... пахнетъ *уксусомъ, мятой*. Надъ нимъ и по бокамъ

что-то бѣлое; онъ вглядывается: пологъ постельный. Онъ хочетъ голову приподнять... нельзя; руку... нельзя тоже. Что такое значитъ? Онъ опускаетъ глаза... Какое-то длинное тѣло протянуто передъ нимъ, и на томъ тѣлѣ шерстяное одѣяло, желтое съ коричневою каймой. Тѣло оказывается его, Кузьмы Васильевича. Онъ пытается крикнуть... ничего не выходитъ. Онъ пытается опять, напрягаетъ всѣ свои силы... дряхлый стонъ раздается и дрожитъ подъ его носомъ. Слышатся тяжелые шаги, жилистая рука раздвигаетъ пологъ. Сѣдой инвалидъ въ военной заплатанной шинели стоитъ передъ нимъ и глядитъ на него... И онъ глядитъ на инвалида. Большая оловянная кружка придвигается къ губамъ Кузьмы Васильевича. Кузьма Васильевичъ жадно пьетъ холодную воду. Языкъ его развязывается.—Гдѣ я?—Инвалидъ еще разъ взглядываетъ на него, уходитъ и возвращается съ другимъ человѣкомъ, въ темномъ мундирѣ.—Гдѣ я?—повторяетъ Кузьма Васильевичъ.—Ну, теперь будетъ живъ,—говоритъ человѣкъ въ мундирѣ.—Вы въ госпиталѣ,—прибавляетъ онъ громко:—но извольте почивать. Вамъ вредно разговаривать.—Кузьма Васильевичъ готовъ удивиться, но снова впадаетъ въ забытье...

На другое утро явился докторъ. Кузьма Васильевичъ пришелъ въ себя. Докторъ поздравилъ его съ выздоровленіемъ и велѣлъ перевязать ему голову.

— Какъ? голову? Да развѣ у меня...

— Вы не должны говорить, не должны безпокоиться,— перебилъ его докторъ.—А теперь лежите смирно и благодарите Всевышняго Создателя. Гдѣ компрессы, Поплевкинъ?

— Да гдѣ же деньги... казенныя...

— Ну! опять сталъ бредить... Побольше льду, Поплевкинъ!

XXIV.

Прошла еще недѣля. Кузьма Васильевичъ настолько оправился, что доктора нашли возможнымъ сообщить ему *случившееся* съ нимъ происшествіе. Вотъ что онъ узналъ.

16-го іюня, въ семь часовъ вечера, посѣтилъ онъ въ послѣдній разъ домъ госпожи Фритче, а 17-го іюня, къ обѣду, т.-е. почти черезъ сутки, пастухъ нашелъ его въ оврагѣ возлѣ большой Херсонской дороги, въ двухъ верстахъ отъ Николаева, безчувственнаго, съ разрубленною головой, съ багровыми пятнами на шеѣ. Мундиръ и жилетка на немъ были разстегнуты, всѣ карманы выворочены, фуражки и кортика не оказалось, кожанаго пояса съ деньгами—тоже. По измятой травѣ, по широкому слѣду въ пескѣ и глинѣ можно было заключить, что несчастнаго лейтенанта волокомъ волокли на дно оврага и только тамъ нанесли ему ударъ въ голову, не топоромъ, а саблей,—вѣроятно, его же кортикомъ: вдоль всего слѣда, отъ самой дороги, не замѣчалось ни капли крови, а вокругъ головы стояла цѣлая лужа. Не оставалось сомнѣнія въ томъ, что убійцы его сперва опоили, потомъ пытались придушить и, отвезя ночью за городъ, стащили въ оврагъ и тамъ окончательно прихлопнули. Кузьма Васильевичъ не умеръ, благодаря лишь своему, поистинѣ желѣзному сложенію. Пришелъ онъ въ себя 22-го іюля, то-есть цѣлыхъ пять недѣль спустя.

XXV.

Кузьма Васильевичъ немедленно довелъ до свѣдѣнія начальства постигшее его несчастье, изложилъ всѣ обстоятельства дѣла изустно и на бумагѣ, сообщилъ адресъ мадамъ Фритче. Полиція бросилась въ указанный домъ, но никого въ немъ не нашла; птички уже вылетѣли изъ гнѣзда. Схватились за хозяина дома; но отъ этого хозяина, престарѣлаго и глухого мѣщанина, большого толку не добились. Самъ онъ проживалъ въ другомъ кварталѣ и зналъ одно: четыре мѣсяца тому назадъ, отдалъ онъ свой домъ внаймы одной еврейкѣ съ паспортомъ, по имени Шмуль или Шмульке, которую онъ тогда же и прописалъ въ части. — „Пріѣзжала къ ней другая жинка, — такъ показывалъ онъ:—тоже съ пачпортомъ,—но какимъ рукомесломъ онѣ обѣ занимались, и то ему неизвѣстно; и были ли у нихъ другіе *постояльцы*—тоже не слыхалъ

и не знаетъ; а какой паренекъ у него въ томъ дом
жилъ дворникомъ или караульщикомъ, и тотъ сошелъ и
то въ Одесть, не то въ Питеръ; а новый дворникъ пост
пилъ недавно, съ перваго числа іюля".—Навели справ
въ полиціи и по околотку: оказалось, что Шмульке, вм
стѣ съ товаркой, настоящее имя которой было Фридери
Бенгель, выѣхала изъ Николаева около 20-го іюня,
куда—неизвѣстно. Таинственнаго человѣка съ цыганским
лицомъ и тремя пуговками на обшлагѣ, а равно и че
номазой дѣвки-иностранки съ огромною косой никто и
видывалъ. Кузьма Васильевичъ, какъ только выписался и
госпиталя, самъ посѣтилъ роковой для него домъ. Въ м
ленькой комнаткѣ, гдѣ онъ бесѣдовалъ съ Колибри, и гд
все еще пахло мускусомъ, находилась другая, тоже скр
тая дверь; къ ней-то, во второе его посѣщеніе, былъ пр
двинутъ диванъ, и черезъ нее вошелъ, вѣроятно, убійца
обхватилъ его сзади. Кузьма Васильевичъ подалъ жало
по формѣ; началось дѣло. Нѣсколько занумерованных
отношеній и предписаній полетѣло въ разныя сторон
поступили въ свое время надлежащія отписки и справки.
но тѣмъ все и кончилось. Подозрительныя личности так
и канули въ воду,—а вмѣстѣ съ ними исчезли и похище
ныя казенныя деньги, тысяча девятьсотъ семнадцать рубле
съ копейками, ассигнаціями и золотомъ. Сумма немал
важная въ ту эпоху! Цѣлыхъ десять лѣтъ потомъ их
выплачивалъ Кузьма Васильевичъ, пока не попалъ под
всемилостивѣйшій манифестъ.

XXVI.

Самъ онъ на первыхъ порахъ былъ твердо убѣжден
въ томъ, что виной всей бѣды, начальницей заговор
была Эмилія, его коварная „Zuckerpüppchen". Онъ вспо
мнилъ, какъ въ самый день послѣдняго свиданія съ не
онъ неосторожно задремалъ на диванѣ, какъ, просну
шись, увидѣлъ ее возлѣ себя на колѣнкахъ, и какъ он
смѣшалась, и какъ, наконецъ, онъ въ тотъ же вечер
открылъ прорѣху въ своемъ поясѣ, прорѣху, очевидн
продѣланную ея ножницами. „Она увидѣла", думалъ Кузь

Васильевичъ: „она сказала старой чертовкѣ и тѣмъ двумъ діаволамъ, она залучила меня, написавъ ко мнѣ письмо... меня и обработали. Но кто бы могъ это отъ нея ожидать!“ Онъ представлялъ себѣ хорошенькое, добренькое лицо Эмиліи, ея свѣтлые глазки... „Женщины! женщины!“ твердилъ онъ, скрежеща зубами: „крокодилово исчадіе!“ Но переѣхавъ окончательно изъ госпиталя къ себѣ домой, онъ узналъ одно обстоятельство, которое привело его въ недоумѣніе, поставило его втупикъ. Въ самый тотъ день, когда его, полумертваго, привезли въ городъ, дѣвушка, по всѣмъ примѣтамъ какъ двѣ капли воды похожая на Эмилію, прибѣжала, вся въ слезахъ, съ растрепанными волосами, къ нему на квартиру и, освѣдомившись о немъ у денщика, бросилась, какъ сумасшедшая, въ госпиталь. Въ госпиталѣ ей сказали, что Кузьма Васильевичъ непремѣнно долженъ умереть, и она тотчасъ скрылась, ломая руки, съ выраженіемъ отчаянія на лицѣ. Явно было, что она не предвидѣла, не ожидала убійства. Или, можетъ-быть, ее самоё обманули—не выдали ей обѣщанной части? Раскаяніе ею вдругъ овладѣло? Но однакожъ она потомъ выѣхала изъ Николаева вмѣстѣ съ тою отвратительною старухой, которая навѣрное все знала... Кузьма Васильевичъ терялся въ догадкахъ и порядкомъ-таки наскучилъ своему денщику, безпрестанно заставляя его снизнова описывать наружность прибѣжавшей дѣвушки и повторять ея слова.

XXVII.

Цѣлые полтора года спустя, Кузьма Васильевичъ получилъ отъ Эмиліи — alias Фридерики Бенгель — письмо на нѣмецкомъ языкѣ, которое онъ немедленно велѣлъ себѣ перевести и впослѣдствіи неоднократно намъ показывалъ. Оно было испещрено орѳографическими ошибками и восклицательными знаками; на кувертѣ стоялъ штемпель: „Бреславль“. Вотъ по возможности вѣрный переводъ этого письма:

„Мой дорогой, незабвенный и несравненный Флорестанъ! Господинъ лейтенантъ *Ергенгофъ!*

„Сколько разъ я порывалась къ вамъ писать! И всегда, къ сожалѣнію, откладывала, хотя мысль, что вы меня можете считать участницей въ томъ ужасномъ злодѣяніи, была всегда для меня самая убійственная мысль! О, мой милый господинъ лейтенантъ! Повѣрьте мнѣ, день, когда я узнала, что вы остались живы и здоровы, былъ самый счастливый день въ моей жизни! Но я не намѣрена вполнѣ себя оправдывать! Я не буду лгать! Я, точно, первая открыла вашу привычку носить деньги на вашемъ желудкѣ! (впрочемъ, въ нашихъ краяхъ всѣ мясники и торговцы мясомъ такъ поступаютъ!) И имѣла неосторожность немножко сказать объ этомъ! Я даже въ шутку тогда сказала, что вотъ было бы хорошо взять у васъ немножко этихъ денегъ! Но старая злодѣйка (господинъ Флорестанъ! она *не была* моею теткой) вступила въ заговоръ съ этимъ безбожнымъ извергомъ Луиджи и его сообщницей! Клянусь вамъ гробомъ моей матери, я до сихъ поръ не знаю, кто были эти люди! Знаю только, что имя его было Луиджи, и что они оба пріѣхали изъ Бухарешта и были, навѣрное, большіе преступники, и прятались отъ полиціи, и имѣли деньги и драгоцѣнныя вещи! Луиджи былъ ужасный субъектъ (ein schröckliches Subject), убить себѣ подобнаго (einen Mitmenschen) для него ничего не значило! Онъ говорилъ на всѣхъ языкахъ—и это *она* тогда возвратилъ вещи отъ нашей кухарки! Не спрашивайте, какъ! Онъ все, все могъ сдѣлать, онъ былъ ужасный человѣкъ! Онъ увѣрялъ старуху, что только опоитъ васъ немного и потомъ вывезетъ и броситъ, и будетъ говорить, что ничего не знаетъ и что вы сами виноваты—гдѣ-нибудь много вкусили вина! Но злодѣй уже тогда имѣлъ въ умѣ, что лучше васъ совсѣмъ убить, дабы ни одинъ пѣтухъ о томъ не прокричалъ! Письмо отъ моего имени онъ къ вамъ написалъ, а меня старуха удалила лукавствомъ! Я ничего не подозрѣвала, и я ужасно боялась Луиджи! Онъ говорилъ мнѣ: „Я зарѣжу, зарѣжу тебя какъ цыпленка!“ И такъ при этомъ страшно шевелилъ усами! Притомъ меня увезли въ одну компанію... *Мнѣ очень* стыдно, господинъ лейтенантъ! И я даже

теперь плачу горькими слезами при этихъ мысляхъ!.. Мнѣ кажется... ахъ! я не была рождена для такихъ занятій... Но этому помочь нельзя; и вотъ какъ все случилось! Потомъ я ужасно испугалась, и поневолѣ уѣхала, потому что если бы полиція насъ открыла—что́ бы было со мной тогда? Проклятый Луиджи тотчасъ бѣжалъ, какъ только узналъ, что вы остались живы. Но я въ скорости съ ними со всѣми разсталась и хотя я теперь безъ куска хлѣба часто сижу, однако душа моя покойна! Вы меня, можетъ-быть, спросите, зачѣмъ я пріѣзжала въ Николаевъ? Но я не могу ничего отвѣчать! Я клялась! Кончаю просьбой очень, очень для меня важною: пожалуйста, когда вы будете вспоминать о вашей маленькой пріятельницѣ Эмиліи, не думайте о ней, какъ о черной преступницѣ! Вѣчный Богъ видитъ мое сердце. Я имѣю дурную нравственность (Ich habe eine schlechte Moralität) и я вѣтрена, но я не злодѣйка. И я всегда буду васъ любить и помнить, мой несравненный Флòрестанъ, и всегда буду вамъ желать всего хорошаго на земномъ шарѣ (auf diesem Erdenrund)! Не знаю, дойдетъ ли до васъ мое письмо, но если дойдетъ, то напишите мнѣ нѣсколько строкъ, чтобъ я видѣла, что вы получили мое письмо! Этимъ вы очень осчастливите вашу вамъ неизмѣнно преданную Эмилію.

„P. S. Пишите подъ буквами F. E. poste restante, въ Бреславль, въ Силезію.

„P. S. S. Я писала вамъ по-нѣмецки; я иначе не могла выразить свои чувства; но вы мнѣ пишите по-русски“.

XXVIII.

— Ну, и что же? Отвѣчали вы ей? — спрашивали мы Кузьму Васильевича.

— Собирался, много разъ собирался. Да какъ написать? По-нѣмецки я не умѣю, а по-русски... Кто бы перевелъ ей? Такъ и не написалъ.

И всякій разъ, окончивъ свой разсказъ, Кузьма Васильевичъ вздыхалъ, качалъ головою, говорилъ: „Вотъ что значитъ молодость!“ *И если въ числѣ* слушателей нахо-

дился новичокъ, въ первый разъ ознакомившійся съ менитою исторіей, онъ бралъ его руку, клалъ себѣ черепъ и заставлялъ щупать шрамъ отъ раны... Рана д ствительно была страшная, и шрамъ шелъ отъ одного другого уха.

1867 г.

БРИГАДИРЪ.

(повѣсть.)

I.

Читатель, знакомы ли тебѣ тѣ небольшія дворянскія усадьбы, которыми, двадцать-пять, тридцать лѣтъ тому назадъ, изобиловала наша великорусская Украйна? Теперь онѣ попадаются рѣдко, а лѣтъ черезъ десять и послѣднія изъ нихъ, пожалуй, исчезнутъ безслѣдно. Проточный прудъ, заросшій лозникомъ и камышами, приволье хлопотливыхъ утокъ, къ которымъ изрѣдка присосѣживается осторожный „чирокъ"; за прудомъ садъ съ аллеями липъ, этой красы и чести нашихъ черноземныхъ равнинъ, съ заглохшими грядами „шпанской" земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой, въ томный часъ неподвижнаго полуденнаго зноя, такъ непремѣнно мелькнетъ пестрый платочекъ дворовой дѣвушки и зазвенитъ ея пронзительный голосокъ; тутъ же амбарчикъ на курьихъ ножкахъ, оранжерейка, плохенькій огородъ, со стаей воробьевъ на тычинкахъ и прикорнувшей кошкой *близъ провалившагося колодца; дальше—кудрявыя яблони надъ высокой,* снизу зеленой, кверху

сѣдой травой, жидкія вишни, груши, на которыхъ никогда не бываетъ плода; потомъ клумбы съ цвѣтами.— макомъ, піонами, анютиными-глазками, крыжантами, „дѣвицей въ зелени“, кусты татарской жимолости, дикаго жасмину, сирени и акаціи, съ непрестаннымъ пчелинымъ, шмелинымъ жужжаніемъ въ густыхъ, пахучихъ, липкихъ вѣткахъ; наконецъ, господскій домъ, одноэтажный, на кирпичномъ фундаментѣ, съ зеленоватыми стеклами въ узкихъ рамахъ, съ покатой, нѣкогда крашеной крышей, съ балкончикомъ, изъ котораго повыпадали кувшино-образныя перила, съ кривымъ мезониномъ, съ безголосой старой собакой въ ямѣ подъ крыльцомъ; за домомъ широкій дворъ съ крапивой, полынью и лопухами по угламъ, службы съ захватанными дверями, съ голубями и галками на пробуравленныхъ соломенныхъ крышахъ, погребокъ съ заржавѣлымъ флюгеромъ, двѣ-три березы съ грачиными гнѣздами на голыхъ верхнихъ сучьяхъ—а тамъ уже дорога съ подушечками мягкой пыли по колеямъ — и поле, и длинные плетни коноплянниковъ, и сѣренькія избушки деревни, и крики гусей съ отдаленныхъ заливныхъ луговъ... Знакомо ли тебѣ все это, читатель? Въ самомъ домѣ все немножко на-бокъ, немножко расшаталось — а ничего! Стоитъ крѣпко и держитъ тепло: печи, что твои слоны, мебель сбродная, домодѣльщина; бѣловатыя протоптанныя дорожки бѣгутъ отъ дверей по крашенымъ поламъ; въ передней чижи и жаворонки въ крошечныхъ клѣткахъ; въ углу столовой громадные англійскіе часы въ видѣ башни, съ надписью: „Strike,—silent“; въ гостиной портреты хозяевъ, написанные масляными красками, съ выраженіемъ суроваго испуга на кирпичнаго цвѣта лицахъ, а иногда и старая покоробленная картина, представляющая либо цвѣты и фрукты, либо миѳологическій сюжетъ; вездѣ пахнетъ кваскомъ, яблокомъ, олифой, кожей; мухи гудятъ и звенятъ подъ потолкомъ и на окнахъ, бойкій прусакъ внезапно заиграетъ усиками изъ-за зеркальной рамы... Ничего! жить можно — и даже очень недурно можно жить.

II.

Вотъ такую-то усадьбу пришлось мнѣ посѣтить лѣтъ тридцать тому назадъ... дѣла давно-минувшихъ дней — какъ изволите видѣть. Небольшое имѣньице, въ которомъ находилась та усадьба, принадлежало одному моему университетскому товарищу: оно недавно къ нему поступило послѣ смерти троюроднаго дяди, холостяка, и самъ онъ въ немъ не жилъ... Но въ недальнемъ разстояніи оттуда зачинались пространныя степныя болота, въ которыхъ, во время лѣтняго прилета, водилось много дупелей; мой товарищъ и я—мы оба были страстные охотники, а потому и сговорились съѣхаться — онъ изъ Москвы, я изъ своей деревеньки—къ Петрову дню въ его домикъ. Пріятель мой замѣшкался въ Москвѣ и опоздалъ двумя днями; я безъ него не хотѣлъ начать охоты. — Меня принялъ старый слуга, по имени Наркизъ Семеновъ: его предувѣдомили о моемъ пріѣздѣ. Этотъ старый слуга нисколько не походилъ на „Савельича“ или на „Калеба“; мой товарищъ звалъ его въ шутку „Маркизомъ“. Въ немъ было что-то самоувѣренное, даже утонченное, не безъ достоинства онъ смотрѣлъ на насъ, молодыхъ людей, свысока, но и къ другимъ помѣщикамъ не питалъ особеннаго уваженія; о прежнемъ баринѣ отзывался небрежно, а свою братью просто презиралъ—за невѣжество. Самъ онъ умѣлъ читать и писать, выражался правильно и вразумительно— и водки не пилъ. Въ церковь ходилъ рѣдко—такъ что его раскольникомъ считали. Изъ себя онъ былъ худощавъ и высокъ, лицо имѣлъ длинное и благообразное, острый носъ и нависшія брови, которыя онъ безпрестанно то надвигалъ, то поднималъ; носилъ просторный, опрятный сюртукъ и сапоги до колѣнъ съ вырѣзанными въ видѣ сердца голенищами.

III.

Въ самый день моего прибытія, Наркизъ, подавъ мнѣ позавтракать и убравъ со стола, остановился въ дверяхъ, пристально посмотрѣлъ на меня и, поигравъ бровями, *промолвилъ:*

— Что же вы, сударь, теперь дѣлать будете?

— А я, право, не знаю. Если бы Николай Петровичъ слово свое сдержалъ, пріѣхалъ—мы бы на охоту вмѣстѣ отправились.

— А вы, стало, сударь, надѣялись, что они такъ въ самый разъ и пріѣдутъ, какъ обѣщались?

— Конечно, надѣялся.

— Гмъ.—Наркизъ опять посмотрѣлъ на меня, и какъ бы съ сожалѣньемъ покачалъ головою. — Коли чтеніемъ позабавиться желательно,—продолжалъ онъ:—отъ стараго барина остались книжки; я ихъ, буде угодно, принесу; только вы ихъ читать не станете, такъ полагать надо.

— Почему?

— Книжки-то пустыя; не для теперешнихъ господъ писаны.

— Ты ихъ читалъ?

— Не читалъ, не сталъ бы говорить. Сонникъ, напримѣръ... это что жъ за книга? Ну, есть другія... только вы ихъ тоже не станете читать.

— А что?

— Божественныя.

Я помолчалъ... Наркизъ помолчалъ тоже.

— Главное-то мнѣ досадно, — началъ я: — въ этакую погоду—дома сидѣть.

— Въ саду прогуляйтесь; а не то въ рощу сходите. Тутъ у насъ роща за гумномъ. Не охочи ли вы рыбу ловить?

— А у васъ есть рыба?

— Есть, въ прудѣ. Гольцы, пескари, окуни попадаются. Теперь, конечно, настоящая пора прошла: іюль на дворѣ. Ну... а все-таки попытаться можно... Прикажете удочку снарядить?

— Сдѣлай одолженіе.

— Я съ вами мальчика пошлю... червей насаживать. А то развѣ самому пойти?—Наркизъ очевидно сомнѣвался въ томъ, сумѣю ли я одинъ справиться.

— Пойдемъ, пожалуйста, пойдемъ.

Наркизъ улыбнулся молча, но во весь ротъ, потомъ *вдругъ надвинулъ брови*... и вышелъ изъ комнаты.

IV.

Полчаса спустя, мы отправились ловить рыбу. Наркизъ надѣлъ какой-то необыкновенный, ушастый картузъ, и сталъ еще величественнѣе. Онъ выступалъ впереди, степеннымъ, ровнымъ шагомъ; двѣ удочки мѣрно колыхались на его плечѣ; босоногій мальчишка несъ за нимъ лейку и горшокъ съ червями.

— Тутъ, возлѣ плотины, на плоту лавочка устроена для удобства,—началъ пояснять мнѣ Наркизъ, заглянулъ впередъ и вдругъ воскликнулъ:—Эге! да наши убогіе ужъ тутъ... Повадились!

Я вытянулъ изъ-за него голову и увидалъ на плоту, на той самой лавочкѣ, о которой онъ говорилъ, двухъ, сидѣвшихъ къ намъ спиною, людей: они преспокойно удили рыбу.

— Кто это?—спросилъ я.

— Сосѣди,—отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Наркизъ.— Дома-то ѣсть имъ нечего, такъ вотъ они къ намъ и жалуютъ.

— А имъ позволяется?

— Прежній баринъ позволялъ... развѣ вотъ Николай Петровичъ не разрѣшитъ... Длинный-то—дьячокъ изъ заштатныхъ: совсѣмъ пустой человѣкъ; ну а тотъ, что потолще—бригадиръ.

— Какъ, бригадиръ? — повторилъ я съ изумленіемъ. Одежда на этомъ „бригадирѣ“ была чуть ли не хуже дьячковской.

— Я же вамъ докладываю: бригадиръ. И состояніе у нихъ было хорошее. А теперь вотъ изъ милости уголъ отведенъ, и живутъ... такъ, чѣмъ Господь пошлетъ. Однако, между прочимъ, какъ же быть? Заняли они лучшее мѣсто... Надо будетъ дорогихъ гостей потревожить.

— Нѣтъ, Наркизъ, пожалуйста, не тревожь ихъ. Мы тутъ же присядемъ въ сторонѣ: они намъ не мѣшаютъ. Мнѣ съ бригадиромъ хочется познакомиться.

— Какъ угодно-съ. А только, что если насчетъ знакомства... много удовольствія вы, сударь, получить не на-

дѣйтесь; слабы они очень понятіемъ стали, и въ „разговоркѣ“ тупы... что малый ребенокъ. И то сказать: восьмой десятокъ доживаютъ.

— Какъ его зовутъ?

— Васильемъ Ѳомичемъ. По фамиліи—Гуськовъ.

— А дьячка какъ?

— Дьячка-то?... прозвище ему—Огурецъ. Его здѣсь всѣ такъ величаютъ, а какое его настоящее имя — Господь вѣдаетъ! Пустой человѣкъ! Какъ есть проходимецъ.

— Они живутъ вмѣстѣ?

— Нѣтъ, не вмѣстѣ; да чортъ ихъ... знаете... веревочкой связалъ.

V.

Мы подошли къ плоту. Бригадиръ вскинулъ на насъ глазами... и тотчасъ устремилъ ихъ на поплавокъ; Огурецъ вскочилъ, выдернулъ удочку, снялъ свою истасканную поповскую шляпу, провелъ трепетной рукой по жесткимъ, желтымъ волосамъ, поклонился на-отмашь и засмѣялся дряблымъ смѣхомъ. Его припухлое лицо изобличало горькаго пьяницу; съёженные глазки униженно моргали. Онъ толкнулъ своего сосѣда въ бокъ, какъ бы давая ему знать, что надо-молъ убираться... Бригадиръ зашевелился на лавочкѣ.

— Сидите, прошу васъ, не безпокойтесь, — поспѣшно заговорилъ я.—Вы намъ нисколько не мѣшаете. Мы тутъ помѣстимся; сидите.

Огурецъ запахнулъ свой дырявый балахонъ, передернулъ плечами, губами, бородкой... Наше присутствіе видимо его стѣсняло... и онъ бы охотно улизнулъ, но бригадиръ снова погрузился въ созерцаніе своего поплавка... „Проходимецъ“ кашлянулъ раза два, присѣлъ на самый край лавочки, положилъ шляпу на колѣни и, подобравъ подъ себя свои голыя ноги, скромно закинувъ удочку.

— Клюетъ?—съ важностью спросилъ Наркизъ, медлительно разматывая лесу.

— *Штучекъ пять* гольцовъ залучили, — отвѣчалъ Огу-

рецъ разбитымъ и сиплымъ голосомъ: — да вотъ они порядочнаго окунька поймали.

— Да, окунька,—писклнво повторилъ бригадиръ.

VI.

Я принялся пристально разсматривать—не его, а опрокинутое его отраженіе въ прудѣ. Оно мнѣ представлялось ясно, какъ въ зеркалѣ, немного темнѣй, немного серебристѣй. Широкій прудъ дышалъ на насъ прохладой; прохладой вѣяло и отъ сырого обрывистаго берега; и тѣмъ слаще была она, что тамъ, надъ головою, въ золотистой и темной лазури, надъ купами деревьевъ, ощутительнымъ бременемъ нависъ неподвижный зной. Вода не колыхалась около плота; въ тѣни, падавшей на нее съ раскидистыхъ прибрежныхъ кустовъ, блестѣли, какъ крохотныя свѣтлыя пуговки, водяные паучки, описывавшіе свои вѣчные круги; лишь изрѣдка чуть замѣтная рябь шла отъ поплавковъ, когда рыба „шалила“ съ червякомъ. Бралась она очень плохо: въ теченіе цѣлаго часа мы вытащили двухъ гольцовъ и пескаря. Я бы не сумѣлъ сказать, почему бригадиръ возбуждалъ мое любопытство: чинъ его не могъ на меня дѣйствовать: разоренные дворяне и въ то время не считались рѣдкостью — и самая его наружность не представляла ничего замѣчательнаго. Изъ-подъ теплаго картуза, закрывавшаго всю верхнюю часть головы его до бровей и до ушей, виднѣлось красное, гладкое, выбритое, круглое лицо, съ маленькимъ носомъ, маленькими губками и свѣтло-сѣрыми небольшими глазами. Простоту и слабость душевную и какую-то давнишнюю, безпомощную грусть выражало это смиренное, почти дѣтское лицо; въ пухлыхъ бѣлыхъ ручкахъ съ короткими пальцами было тоже что-то безпомощное, неумѣлое... Я никакъ не былъ въ состояніи себѣ представить, какимъ образомъ этотъ убогій старичокъ могъ когда-то быть военнымъ человѣкомъ, командовать, распоряжаться — да еще въ екатерининскія, суровыя времена! Я глядѣлъ на него: иногда онъ надувалъ щеки и слабо пыхтѣлъ, какъ ребенокъ, иногда онъ щурился болѣзненно, съ усиліемъ, какъ всѣ

дряхлые люди. Разъ онъ широко раскрылъ и поднялъ глаза... Они уставились на меня изъ водной глубины—и странно трогательнымъ и даже значительнымъ показался мнѣ ихъ унылый взоръ.

VII.

Я старался заговорить съ бригадиромъ... но Наркизъ не обманулъ меня: бѣдный старикъ дѣйствительно очень слабъ понятіемъ сталъ. Онъ освѣдомился о моей фамиліи, и переспросивъ меня раза два, подумалъ, подумалъ и промолвилъ наконецъ: „Да у насъ, кажись, былъ такой судья. Огурецъ, былъ у насъ такой судья—ась?"—„Былъ, былъ, батюшка, Василій Ѳомичъ, ваше благородіе",—отвѣчалъ ему Огурецъ, который вообще обходился съ нимъ, какъ съ ребенкомъ.—„Былъ, точно. А удочку вашу мнѣ пожалуйте: у васъ червячокъ, должно, съѣденъ... Съѣденъ и есть".

— Съ Ломовскимъ семействомъ изволили быть знакомы?—внезапно, напряженнымъ голосомъ спросилъ меня бригадиръ.

— Какое такое Ломовское семейство?

— Какое?—Ну, Ѳедоръ Иванычъ, Евстигнѣй Иванычъ, Алексѣй Иванычъ жидъ, ну, Ѳеодулія Ивановна грабительница... а тамъ еще...

Бригадиръ вдругъ умолкъ и потупился.

— Самые имъ близкіе были люди,—наклонясь ко мнѣ, шепнулъ Наркизъ:—чрезъ нихъ, чрезъ самого этого Алексѣя Иваныча, что жидомъ они обозвали, да еще черезъ одну Алексѣй-Иванычину сестрицу, Аграфену Ивановну—они, можно сказать, всего состоянія лишились.

— Что ты тамъ объ Аграфенѣ Ивановнѣ толкуешь?—воскликнулъ вдругъ бригадиръ, и голова его поднялась, бѣлыя брови нахмурились...—Ты смотри у меня! И какая она тебѣ Аграфена? Агриппина Ивановна — вотъ какъ надо... ее называть.

— Ну-ну-ну-ну, батюшка,—залепеталъ-было Огурецъ.

— Ты развѣ не знаешь, что про нее Милоновъ стихотворецъ сочинилъ?—продолжалъ старикъ, внезапно войдя

въ совершенно мною неожиданный азартъ.—„Не брачныя свѣщи возженны“—началъ онъ нараспѣвъ, произнося всѣ гласныя въ носъ, а слоги: „ан“ и „ен“ — какъ французскіе: *an*, *en*,—и странно было слышать изъ устъ его эту связную рѣчь:—„не факелы...“ Нѣтъ, это не то, а вотъ:

Не бреннымъ тлѣнія кумиромъ,
Не амаранфомъ, не порфиромъ,
Столь услаждаются они...
Одно лишь въ нихъ...

— Это про насъ.—Слышишь?

Одно лишь въ нихъ непреткновенно,
Пріятно, томно, вожделѣнно:
Взаимный жаръ питать въ крови!

А ты—Аграфена!

Наркизъ усмѣхнулся полу-презрительно, полу-равнодушно. — Эхъ-ма, каженникъ! *) — проговорилъ онъ про себя. Но бригадиръ уже опять потупился — удочка вывалилась изъ его руки и соскользнула въ воду.

VIII.

— А что, какъ я погляжу, дѣло-то наше — дрянь,— промолвилъ Огурецъ: — рыба — вишь — не клюетъ вовсе. Ужъ жарко больно стало, а нашего барина „мехлюдія“ **) постигла. Видно—домой пойти; лучше будетъ.—Онъ осторожно досталъ изъ кармана жестяную фляжку съ деревянной пробочкой, откупорилъ ее, насыпалъ себѣ на соколокъ табаку — да и дернулъ по обѣимъ ноздрямъ разомъ... — Эхъ, табачокъ! — простоналъ онъ, приходя въ чувство:—ажно тоска по зубамъ заиграла!—Ну, голубчикъ Василій Ѳомичъ, извольте подниматься—пора!

Бригадиръ всталъ съ лавочки.

— Далеко вы отсюда живете?—спросилъ я Огурца.

— Да они-то вотъ недалеко... и версты не будетъ.

— Позволите вы мнѣ проводить васъ! — обратился я къ бригадиру. Мнѣ не захотѣлось отстать отъ него.

Онъ посмотрѣлъ на меня и, улыбнувшись той особен-

*) Каженникъ—идіотъ, чудакъ.
**) *Мехлюдія—меланхолія.*

ной, важной, вѣжливой и нѣсколько жеманной улыбкой, которая, не знаю какъ другимъ, а мнѣ всякій разъ напоминаетъ пудру, французскіе кафтаны съ стразовыми пуговицами — вообще восемнадцатый вѣкъ — проговорилъ съ старомодной разстановкой, что „о-чен-но будетъ радъ"... и тотчасъ опять опустился. Екатерининскій кавалеръ мелькнулъ въ немъ на мгновеніе—и исчезъ.

Наркизъ удивился моему намѣренію; но я не обратилъ вниманія на неодобрительное покачиваніе его ушастаго картуза, и вышелъ изъ сада вмѣстѣ съ бригадиромъ, котораго поддерживалъ Огурецъ. — Старикъ двигался довольно быстро, какъ на деревяжкахъ.

IX.

Мы шли чуть-чуть проторенной тропинкой, по травянистой долинѣ, между двумя березовыми рощами. Солнце пекло; иволги перекликались въ зеленой чащѣ, коростели трещали возлѣ самой тропинки, голубенькія бабочки перелетывали стайками по бѣлымъ и краснымъ цвѣтамъ низкаго клевера; пчелы, словно сонныя, путались и вяло жужжали въ недвижной травѣ. Огурецъ встряхнулся, оживился; Наркиза онъ боялся — онъ жилъ у него подъ глазами; я былъ ему чужой, заѣзжій — со мною онъ скоро освоился.—„Вотъ,—зачастилъ онъ:—нашъ баринъ—постникъ, что толковать! а однимъ окунькомъ — какъ тутъ сыту быть? Развѣ вы, ваше благородіе, что пожертвуете? Тутъ сейчасъ за поверткомъ, въ кабачкѣ—отличные калачики-ситнички. А коли милость будетъ, такъ и азъ многогрѣшный при этомъ случаѣ за ваше здравіе — долголѣтіе-долгоденствіе, шкальчикъ выкушаю".— Я далъ ему двугривенный и едва успѣлъ отвернуть руку, которую онъ бросился лобызать. Онъ узналъ, что я охотникъ, и пустился толковать о томъ, что у него есть хорошій знакомый офицеръ, у котораго шведское мин-динденгер-ровское ружье съ мѣднымъ стволомъ — что̀ твоя пушка! выпалишь — такъ словно забытье найдетъ: послѣ французовъ осталось!.. и собака — просто игра природы! что онъ самъ всегда большую страсть къ охотѣ имѣлъ,

и попъ бы ничего — вмѣстѣ съ нимъ переповъ лавливалъ—да благочинный до безконечности его затиранилъ; а что до Наркиза Семеныча, — промолвилъ онъ на-распѣвъ: — такъ ежели я по ихнему понятію необстоятельный человѣкъ на семъ свѣтѣ есть — и я на то доложу: отрастили они себѣ брови не хуже тетерева, да и полагаютъ, что чрезъ то всѣ науки произошли. — Тѣмъ временемъ мы подошли къ кабачку — одинокой ветхой избушкѣ безъ задворка и клѣти; отощалая собака лежала свернувшись подъ окошкомъ; курица копалась въ пыли передъ самымъ ея носомъ. Огурецъ усадилъ бригадира на завалинкѣ и мгновенно шмыгнулъ въ избушку. Пока онъ покупалъ калачики, да подносилъ себѣ шкаликъ—я глазъ не сводилъ съ бригадира, который, Богъ вѣдаетъ почему, мнѣ представлялся загадкой. Въ жизни этого человѣка—думалось мнѣ—навѣрное произошло что-нибудь необыкновенное. А онъ, казалось, и не замѣчалъ меня вовсе; сидѣлъ, сгорбившись, на завалинкѣ и перебиралъ въ пальцахъ нѣсколько гвоздикъ, сорванныхъ имъ въ саду моего пріятеля. Огурецъ появился, наконецъ, со связкой калачиковъ въ рукѣ; появился весь красный и потный, съ выраженіемъ радостнаго удивленія на лицѣ, какъ будто онъ только-что увидалъ нѣчто чрезвычайно пріятное и для него неожиданное. Онъ тотчасъ предложилъ бригадиру откушать калачика — и тотъ откушалъ. Мы отправились далѣе.

X.

Въ силу выпитой водки, Огурца совершенно, какъ говорится, „разлимонило“. Онъ принялся утѣшать бригадира, который продолжалъ спѣшить впередъ, пошатываясь, какъ на деревяжкахъ.—Что вы, батюшка, баринъ, невеселы, носъ повѣсили? Позвольте, я вамъ пѣсенку спою. Сейчасъ всякое удовольствіе получите... Вы не извольте сумлѣваться, — обратился онъ ко мнѣ; — баринъ у насъ пресмѣшливый, и Боже ты мой! Вчерась я гляжу: баба на плоту портки моетъ—да толстая же и попалась баба— а *они сзаду стоятъ, да отъ смѣху* такъ и киснутъ, ей-

Богу!.. Вотъ, позвольте сейчасъ: про зайца пѣсню знаете? Вы не глядите на меня, что я невзраченъ есть; у насъ тутъ въ городѣ цыганка живетъ: рыло-рыломъ, а запоетъ: гробъ! ложись да помирай. — Онъ широко раскрылъ свои мокрыя, красныя губы и запѣлъ, загнувъ голову на-бокъ, закрывъ глаза и потряхивая бородкой:

Лежитъ заяцъ подъ кустомъ:
Ѣздятъ охотнички по пустомъ...
Лежитъ заяцъ, еле дышитъ —
Между тѣмъ онъ ухомъ слышитъ —
Смерти ждетъ!
Чѣмъ вамъ, охотнички, я досадилъ?
Иль какую бѣдушку учинилъ?
Я въ капустахъ хоть бываю,
По одномъ листу съѣдаю —
И то не у васъ!
Да-съ!

Огурецъ все болѣе задавалъ форсу:

Скакнулъ заяцъ въ темный лѣсъ —
И охотничкамъ фостъ поднесъ.
Вы, охотнички, простите,
На мой фостикъ поглядите —
Я не вашъ!

Огурецъ уже не пѣлъ... Онъ оралъ.

Ѣздили охотнички до су-такъ...
Разбирали заячій на-сту-пакъ...
Межъ собой все толковали
И другъ дружку обругали:
Заяцъ-то не нашъ!
Косой обманулъ!!

Первые два стиха каждаго куплета Огурецъ пѣлъ протяжнымъ голосомъ, остальные три, напротивъ, очень живо, при чемъ щеголевато подрыгивалъ и переступалъ ногами; по окончаніи же куплета откалывалъ „колѣно", т. е. ударялъ самого себя пятками. Воскликнувъ во все горло: „Косой обманулъ!" онъ перекувырнулся... Ожиданія его оправдались. Бригадиръ вдругъ залился тонкимъ слезливымъ хохотомъ, да такъ усердно, что дальше итти не могъ, и слегка присѣлъ, безсильно похлопывая руками по *колѣнкамъ. Я глядѣлъ* на его побагровѣвшее, судорожно-

искривленное лицо, и очень мнѣ жаль его стало—именно въ это мгновенье. Воодушевленный успѣхомъ, Огурецъ пустился въ присядку, безпрестанно приговаривая: „шилды-будылды да начики-чикалды!“... Онъ ткнулся, наконецъ, носомъ въ пыль... Бригадиръ внезапно пересталъ хохотать и заковылялъ дальше.

XI.

Мы прошли еще съ четверть версты. Показалась маленькая деревушка на краю неглубокаго оврага; въ сторонѣ виднѣлся „флигелекъ“ съ полуразметанной крышей и одинокой трубой; въ одной изъ двухъ комнатъ этого флигелька помѣщался бригадиръ. Владѣтельница деревушки, постоянная обитательница Петербурга, статская совѣтница Ломова, отвела—какъ я узналъ впослѣдствіи—этотъ уголокъ бригадиру. Она велѣла выдавать ему мѣсячину, а также приставить къ нему для услуженія проживавшую въ той же деревнѣ дурочку изъ дворовыхъ, которая хотя и плохо понимала человѣческую рѣчь, однако могла, по мнѣнію совѣтницы, и полъ подмести, и щи сварить. На порогѣ флигелька бригадиръ снова обратился ко мнѣ съ прежней екатерининской улыбкой: не угодно ли, молъ, мнѣ пожаловать въ его апартаментъ? Вошли мы въ этотъ „апартаментъ“. Все въ немъ было до крайности грязно и бѣдно, такъ грязно и такъ бѣдно, что бригадиръ, вѣроятно, замѣтивъ, по выраженію моего лица, какое впечатлѣніе произвело на меня его жилище, промолвилъ, пожавъ плечами и прищурившись: „се-не-па... ёль-де-пердри“... Что собственно хотѣлъ онъ этимъ сказать — осталось мнѣ не совсѣмъ яснымъ... Заговоривъ съ нимъ по-французски, я не получилъ отвѣта на этомъ языкѣ. Два предмета особенно поразили меня въ жилищѣ бригадира: во-первыхъ, большой офицерскій георгіевскій крестъ въ черной рамѣ, подъ стекломъ, съ надписью стариннымъ почеркомъ: „полученъ полковникомъ Черниговскаго Дерфельдена полка Василіемъ Гуськовымъ за штурмъ Праги въ 1794 году“; а во-вторыхъ — поясной *масляный портретъ красивой* черноглазой женщины съ

продолговатымъ и смуглымъ лицомъ, высоко взбитыми и напудренными волосами, съ мушками на вискахъ и подбородкѣ, въ пестромъ вырѣзномъ робъ-ронѣ, съ голубыми оборками, эпохи восьмидесятыхъ годовъ. Портретъ былъ плохо написанъ, но навѣрное очень схожъ: чѣмъ-то слишкомъ жизненнымъ и несомнѣннымъ вѣяло отъ этого лица. Оно не глядѣло на зрителя, какъ бы отворачивалось отъ него, и не улыбалось; въ горбинѣ узкаго носа, въ правильныхъ, но плоскихъ губахъ, въ почти прямой чертѣ густыхъ, сдвинутыхъ бровей, сказывался повелительный, надменный, вспыльчивый нравъ. Не нужно было особаго усилія, чтобы представить себѣ, какъ это лицо могло внезапно загораться страстію или гнѣвомъ. Подъ самымъ портретомъ, на небольшой тумбочкѣ, стоялъ полузавядшій букетъ простыхъ полевыхъ цвѣтовъ въ толстой стеклянной банкѣ. Бригадиръ приблизился къ тумбочкѣ, воткнулъ въ банку принесенныя имъ гвоздики и, обернувшись ко мнѣ и поднявъ руку въ направленіи портрета, промолвилъ: „Агриппина Ивановна Телѣгина, Ломова урожденная". Слова Наркиза пришли мнѣ на память: я съ удвоеннымъ вниманіемъ посмотрѣлъ на выразительное и недоброе лицо женщины, изъ-за которой бригадиръ всего состоянія лишился.

— Вы, я вижу, присутствовали при штурмѣ Праги, господинъ бригадиръ,—началъ я, указывая на георгіевскій крестъ,—и удостоились получить знакъ отличія, во всякое время рѣдкій, а тогда подавно; вы, стало-быть, помните Суворова?

— Александра Васильича-то? — отвѣчалъ бригадиръ, помолчавъ немного и какъ бы собираясь съ мыслями: — какъ же, помню, маленькій былъ, живой старичокъ. Ты стоишь, не чукнешь, а онъ туды-сюды (бригадиръ захохоталъ). Въ Варшаву-то на казачьей лошади въѣхалъ; самъ весь въ брильянтахъ, а полякамъ говоритъ: „нѣту у меня часовъ, въ Питерѣ забылъ, нѣту, нѣту!" а они-то: „виватъ! виватъ!" Чудаки! Эй! Огурецъ! малый!—прибавилъ онъ вдругъ, перемѣнивъ и возвысивъ голосъ (балагуръ-дьячокъ оставался за дверью):—гдѣ жъ калачики-то? *Да Грунькѣ скажи...* какъ бы кваску!

— Сейчасъ, батюшка баринъ, — послышался голосъ Огурца.

Онъ вручилъ бригадиру связку ситничковъ—и, выйдя изъ флигелька, подошелъ къ какому-то взъерошенному существу въ лохмотьяхъ—должно-быть, самой той дурочкѣ Грунькѣ—и, сколько я могъ разобрать сквозь запыленное окошко, началъ требовать отъ нея „кваску", ибо нѣсколько разъ сряду приставлялъ одну руку воронкой ко рту, а другою махалъ въ нашу сторону.

XII.

Я снова попытался вступить въ бесѣду съ бригадиромъ; но онъ видимо усталъ, опустился, кряхтя, на лежанку и, простонавъ: „ой, ой, косточки, косточки", развязалъ свои подвязки. Помнится, меня тогда удивило, какъ это у мужчины могли быть подвязки? Я не сообразилъ, что въ прежнее время всѣ ихъ носили. Бригадиръ принялся зѣвать продолжительно и откровенно, не спуская съ меня отупѣлыхъ глазъ, такъ зѣваютъ очень маленькія дѣти. Бѣдный старикъ, казалось, не совсѣмъ даже понималъ мои вопросы... И онъ бралъ Прагу! Онъ, со шпагой наголо̀, въ дыму, въ пыли, въ челѣ суворовскихъ солдатъ, простреленное знамя надъ головой, обезображенные трупы подъ ногами... Онъ... онъ?! Не удивительно ли? Но мнѣ все-таки сдавалось, что въ жизни бригадира происходили событія еще болѣе необыкновенныя. Огурецъ принесъ бѣлаго квасу въ желѣзномъ ковшикѣ; бригадиръ напился съ жадностью—руки его тряслись. Огурецъ поддерживалъ дно ковшика. Старикъ старательно отеръ свой беззубый ротъ обѣими ладонями и снова, уставившись на меня, зажевалъ и зачмокалъ губами. Я понялъ въ чемъ дѣло, раскланялся и вышелъ изъ комнаты.

— Теперь почивать будутъ, — замѣтилъ Огурецъ, выступая за мною. — Очень ужъ уморились сегодня — на могилку съ утра ходили.

— На чью могилку?

— А къ Аграфенѣ Ивановнѣ на поклоненіе... Онѣ тутъ *у насъ въ приходскомъ* кладбищѣ похоронены, верстъ

отсюда пять будетъ. Василій Ѳомичъ каждую недѣлю безпремѣнно къ нимъ ходятъ. Да онъ же ихъ и похоронилъ, и ограду поставилъ на свой коштъ.

— А давно она скончалась?

— Да лѣтъ, почитай, съ двадцать.

— Она ему пріятельницей была, что ли?

— Всю жисть, какъ есть, съ ними провели... помилуйте. Самъ я барыни той, признаться, не знавалъ, а, говорятъ, промежъ ихъ дѣла были... н-н-ну! — Господинъ,—поспѣшно прибавилъ дьячокъ, видя, что я отвернулся: — не соблаговолите ли, не пожалуете ли „ощѣ" на шкаликъ, а то мнѣ пора въ пуньку *), да подъ шептуху **).

Я не почелъ за нужное разспрашивать Огурца, далъ ему еще двугривенный и отправился домой.

XIII.

Дома я обратился за свѣдѣніями къ Наркизу. Онъ, какъ и слѣдовало ожидать, поломался немного, поважничалъ, выразилъ свое удивленіе, что меня такіе пустяки „антересовать" могутъ, и, наконецъ, разсказалъ, что̀ зналъ. Я услышалъ слѣдующее.

Василій Ѳомичъ Гуськовъ познакомился съ Аграфеной Ивановной Телѣгиной въ Москвѣ, вскорѣ послѣ польскаго погрома; мужъ ея служилъ при генералъ-губернаторѣ, а Василій Ѳомичъ находился въ отпуску. Онъ тогда же въ нее влюбился, но въ отставку не выходилъ: человѣкъ онъ былъ одинокій, лѣтъ сорока, съ состояніемъ. Мужъ ея вскорѣ умеръ. Она осталась послѣ него бездѣтной, въ бѣдности, въ долгахъ... Василій Ѳомичъ узналъ объ ея положеніи, бросилъ службу (ему дали при отставкѣ бригадирскій чинъ) и отыскалъ свою любезную вдовушку, которой всего двадцать-пятый годъ пошелъ, заплатилъ всѣ ея долги, выкупилъ имѣніе... Съ тѣхъ поръ онъ уже съ нею не разставался и кончилъ тѣмъ, что поселился у нея. Она тоже словно полюбила его, но выдти за него

*) Клѣть.

**) *Одѣяло изъ грубаго сукна.*

замужъ не хотѣла. — „Блажная была, покойница,—замѣтилъ при этомъ Наркизъ: — мнѣ, говоритъ, своя воля дороже всего“.—А пользоваться имъ—она пользовалась—„во всѣхъ частяхъ“ — и деньги, какія у него были, онъ всѣ къ ней тащилъ, какъ „муравей“. Но блажь Аграфены Ивановны принимала иногда размѣры необычайные: нраву она была неукротимаго и на руку дерзка... Однажды она съ лѣстницы своего казачка столкнула, а тотъ возьми да переломи себѣ два ребра да ногу... Аграфена Ивановна испугалась... тотчасъ велѣла запереть казачка въ чуланъ, и до тѣхъ поръ сама изъ дому не выходила и ключъ отъ чулана никому не отдала, пока не прекратились въ немъ стенанья... Казачка тайкомъ похоронили... — И будь это при императрицѣ Екатеринѣ,—прибавилъ шопотомъ, пригнувшись, Наркизъ: — можетъ, и такъ бы дѣло обошлось, много такихъ дѣловъ тогда осталось подъ спудомъ, а то... — тутъ Наркизъ выпрямился и возвысилъ голосъ:— воцарился тогда справедливый государь Александръ Благословенный... ну, и завязалось дѣло... Пріѣхалъ судъ, отрыли тѣло... оказались боевые знаки... пошелъ дымъ коромысломъ. И какъ же вы полагаете? Василій Ѳомичъ все на себя взялъ.—Я, молъ, причиной, я толкнулъ, да я же и заперъ. — Ну, разумѣется, сейчасъ всѣ судьи тамъ, приказные, полицейскіе... на него, да на него, и до тѣхъ поръ, доложу вамъ... его трепали, пока послѣдній грошъ изъ мошны не выскочилъ. Нѣтъ-нѣтъ... да опять за-воротъ. До самаго француза — вотъ какъ французъ къ намъ въ Расею приходилъ — все трепали; тогда только бросили. Ну, а Аграфену Ивановну онъ обезпечилъ—точно; онъ ее спасъ—такъ сказать надо. Ну и послѣ, до самой ея кончины онъ у ней жилъ, и, сказываютъ, помыкала же она имъ — бригадиромъ-то — зря; пѣшкомъ изъ Москвы въ деревню посылала, ей-Богу,— за оброкомъ, значитъ. Онъ изъ-за нея, изъ-за самоё тоё Аграфены Ивановны, съ англійскимъ милордомъ Гузѣ-Гузомъ на шпантонахъ дрался; и англійскій милордъ долженъ былъ произнести извинительный комплиментъ. *Такъ вотъ онъ, бригадиръ*-то съ тѣхъ мѣстъ и скопы-

тился... Ну, а теперь ужъ онъ, конечно, не въ числѣ человѣковъ.

— Кто же этотъ Алексѣй Иванычъ жидъ, — спросилъ я:—черезъ кого онъ разорился?

— А братецъ Аграфены Ивановны. Алчная была душа, ужъ точно жидовская. Сестрѣ въ ростъ деньги отдавалъ, а Василій Ѳомичъ поручителемъ. Поплатился тоже... лихо!

— А Ѳеодулія Ивановна грабительница? Это... кто была?

— Тоже сестрица... и ловкая тоже.—Копьё, что̀ называется... бѣдовая!

XIV.

„Вотъ гдѣ проявился Вертеръ!“ думалъ я на слѣдующій день, снова направляясь къ жилищу бригадира. Я былъ тогда очень молодъ — и, быть-можетъ, именно потому и считалъ своей обязанностью не вѣрить въ продолжительность любви. Все же я былъ пораженъ и нѣсколько озадаченъ слышаннымъ мною разсказомъ, и ужасно мнѣ захотѣлось расшевелить старика, заставить его разговориться. „Сперва упомяну опять о Суворовѣ“, такъ разсуждалъ я съ самимъ собою, „должна же въ немъ таиться хоть искра прежняго огня... а, потомъ, когда онъ разогрѣется, наведу рѣчь на эту... какъ бишь ее?.. Аграфену Ивановну. Странное имя для „Шарлотты“ — Аграфена!“

Я засталъ Вертера-Гуськова посреди крохотнаго огородца, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ флигелька, возлѣ стараго, крапивой поросшаго сруба никогда не выведенной избы. По заплѣснѣвшимъ верхнимъ бревнамъ этого сруба съ пискомъ пробирались, безпрестанно скользя и хлопая крыльями, тщедушные индюшата. На двухъ-трехъ грядахъ росла кое-какая убогая зелень. Бригадиръ только-что вытащилъ изъ земли молодую морковь и, продернувъ ее у себя подъ мышкою — „для очищенія“ — принялся жевать ея тонкій хвостикъ... Я поклонился ему и освѣдомился объ его здоровьѣ.

Онъ очевидно не узналъ меня, хотя и отдалъ мнѣ мой

поклонъ—то-есть, прикоснулся рукой къ картузу, не переставая однако жевать морковь.

— Сегодня вы не пришли ловить рыбу?—началъ я, въ надеждѣ напомнить ему мою фигуру этимъ вопросомъ.

— Сегодня?—повторилъ онъ и задумался... а морковь, воткнутая въ его ротъ, сокращалась да сокращалась.— Да вѣдь это Огурецъ ловитъ рыбу!.. А мнѣ тожѣ позволяютъ.

— Конечно, конечно, почтеннѣйшій Василій Ѳомичъ... Я не съ тѣмъ... Но вамъ не жарко... этакъ на солнцѣ?

На бригадирѣ былъ толстый ваточный халатъ.

— А? Жарко? — повторилъ онъ опять, какъ бы недоумѣвая и, окончательно проглотивъ морковь, разсѣянно посмотрѣлъ вверхъ.

— Не угодно ли пожаловать въ мой апартаментъ? — заговорилъ онъ внезапно. У бѣднаго старика, видно, одна только эта фраза и осталась въ распоряженіи.

Мы вышли изъ огорода... но тутъ я невольно остановился. Между нами и флигелемъ стоялъ огромный быкъ. Склонивъ голову до самой земли, злобно поводя глазами, онъ тяжко и сильно фыркалъ и, быстро сгибая одну переднюю ногу, высоко взбрасывалъ пыль своимъ широкимъ раздвоеннымъ копытомъ, билъ хвостомъ себѣ по бокамъ и вдругъ немного пятился, упорно трясъ мохнатой шеей и мычалъ — не громко, жалобно и грозно. Я, признаюсь, смутился; но Василій Ѳомичъ преспокойно выступилъ впередъ и, проговоривъ строгимъ голосомъ: „Ну ты, деревенщина“, махнулъ платкомъ. Быкъ еще попятился, склонилъ рога... и вдругъ бросился въ сторону и побѣжалъ, мотая головой направо и налѣво.

„А онъ, точно, бралъ Прагу“,—подумалъ я.

Мы вошли въ комнату. Бригадиръ стащилъ картузъ со вспотѣвшихъ волосъ, воскликнулъ: фа!.. прикорнулъ на край стула... и понурился...

— Я зашелъ къ вамъ, Василій Ѳомичъ, — началъ я свои дипломатическіе апроши: — собственно за тѣмъ, что такъ какъ вы *служили подъ* начальствомъ великаго Суворова — *вообще участвовали* въ такихъ важныхъ собы-

тіяхъ—то для меня было бы весьма интересно знать подробности.

Бригадиръ уставился на меня... Лицо его странно оживилось—я уже ожидалъ если не разсказа, то по крайней мѣрѣ одобрительнаго, сочувственнаго слова...

— А я, господинъ, должно, скоро умру,— проговорилъ онъ вполголоса.

Я пришелъ втупикъ.

— Какъ, Василій Ѳомичъ,—вымолвилъ я наконецъ:— почему же вы... это полагаете?

Бригадиръ внезапно задергалъ руками—вверхъ, внизъ— опять-таки по-ребячьи.

— А потому, господинъ... Я... вы, можетъ, знаете... Агриппину Ивановну покойницу—царство ей небесное!— часто во снѣ вижу—и никакъ я ее поймать не могу; все гоняюсь за нею — а не поймаю. А въ прошлую ночь — вижу я — стоитъ она этакъ будто передо мной въ полъ-оборота и смѣется... Я тотчасъ же къ ней побѣгъ — и поймалъ... И она будто обернулась вовсе и говоритъ мнѣ: ну, Васинька, теперь ты меня поймалъ.

— Что же вы изъ этого заключаете, Василій Ѳомичъ?

— А то, господинъ, заключаю: стало, вмѣстѣ намъ быть. Да и слава Богу, доложу вамъ; слава Господу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу — (бригадиръ запѣлъ): и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, аминь!

Бригадиръ началъ креститься. Больше я ничего отъ него добиться не могъ — такъ и ушелъ.

XV.

На слѣдующій день мой пріятель пріѣхалъ... Я упомянулъ о бригадирѣ, о моихъ посѣщеніяхъ... — Ахъ, да! какъ же! я его исторію знаю,—отвѣчалъ мой пріятель:— я и со статской совѣтницей Ломовой хорошо знакомъ, по милости которой онъ тутъ пріютился. Да постой: у меня, кажется, здѣсь должно письмо его храниться, къ той самой статской совѣтницѣ; она ему въ силу этого письма и уголокъ отвела.—Пріятель мой порылся въ своихъ бумагахъ и дѣйствительно нашелъ письмо бригадира. Вотъ

оно отъ слова до слова, за исключеніемъ орѳографическихъ ошибокъ. Бригадиръ, какъ всѣ люди тогдашней эпохи, путался въ буквахъ „е“ и „ѣ“,—писалъ: „хкому, итопъ, слюдми“ и т. д.—Сохранить эти ошибки не предстояло надобности: письмо его и безъ того носитъ отпечатокъ своего времени.

„Милостивая государыня!

„Раиса Павловна!

„По кончинѣ друга моего, а вашей тетушки, имѣлъ я счастіе писать къ вамъ два письма, первое іюня отъ перваго, второе же іюля отъ шестого числа 1815 года — а она скончалась шестого мая того жъ года; въ нихъ былъ я вамъ открытъ въ чувствахъ души и сердца моего, которыя стѣснены были убійственнымъ оскорбленіемъ и изображали въ полномъ видѣ ожесточенное мое и жалости достойное отчаяніе; оба письма посланы по коронной почтѣ страховыми, а посему и не можно усомниться, чтобъ они не были вами прочтены. Чрезъ откровенность мою въ нихъ я надѣялся получить ваше благодѣтельное ко мнѣ вниманіе; но сострадательныя ваши чувства отдалены были отъ меня горькаго! Оставшись же послѣ единственнаго друга, Агриппины Ивановны, въ самомъ разстроенномъ и бѣдственномъ состояніи, я только и полагалъ, по словамъ ея, всю мою надежду на ваше благоутробіе; она, чувствуя уже кончину жизни своей, сказала мнѣ именно сими, яко бы надгробными и мнѣ вѣчно памятными словами: „другъ мой, я твоя змѣя и виновница всего твоего несчастія, я чувствую, сколько много ты мнѣ жертвовалъ и за то оставляю тебя въ злополучномъ и во-истину обнаженномъ положеніи; по смерти моей прибѣгни ты къ Раисѣ Павловнѣ“ — то-есть къ вамъ — „и проси у ней помощи, взывай! Она имѣетъ душу чувствительную, и въ ней я увѣрена, что она тебя сироту не оставитъ“. — Милостивая государыня, примите во свидѣтельство всевышняго Создателя міра, что это ея слова, и я говорю ея языкомъ; а посему, утвердясь въ добродѣтели вашей, къ первой къ вамъ отнесся съ чистосердечными и откровенными моими письмами; но по долговременномъ ожиданіи не получа на нихъ отвѣта, иначе не

мыслилъ, что добродѣтельное ваше сердце оставило меня безъ вниманія! Таковое неблагорасположеніе ваше ко мнѣ въ вящшее меня ввергло отчаяніе—куды жъ и къ кому было мнѣ безталанному прибѣгнуть — я не зналъ; разсудокъ былъ потерянъ, духъ блуждалъ—наконецъ, къ совершенной моей погибели, Провидѣнію угодно было еще жесточайшимъ образомъ меня наказать и обратить мои мысли къ покойницѣ же, вашей же тетушкѣ, Ѳеодуліи Ивановнѣ, Агриппины Ивановны сестрѣ единоутробной, но не единосердечной! Представя самому себѣ въ воображеніи то, что уже двадцать лѣтъ былъ я преданъ всему родственному Ломовскому вашему дому — особливо же Ѳеодуліи Ивановнѣ, которая иначе не называла Агриппину Ивановну, какъ „сердечный мой дружочекъ", а меня, „препочтенный радѣтель нашего семейства", — представя все сіе въ обильной воздыханіями и слезами тишинѣ скорбныхъ почныхъ бдѣній, я подумалъ: „ну, бригадиръ! такъ, видно, тому и быть!"—и обратившись къ оной Ѳеодуліи Ивановнѣ съ моими письмами, получилъ точное удостовѣреніе, что послѣднюю кроху со мной раздѣлятъ! Бывъ симъ обѣщаньемъ обнадеженъ, собралъ убогіе свои остатки и поѣхалъ къ Ѳеодуліи Ивановнѣ! Привезенные мною гостинцы, болѣе какъ на пятьсотъ рублей, были приняты съ отмѣннымъ удовольствіемъ; а потомъ и деньги, которыя я привезъ для содержанія себя, Ѳеодуліи Ивановнѣ угодно было, подъ видомъ сохраненія, взять въ свое вѣдѣніе, чему, угождая ей, я не противился. Если же вы спросите меня: отколѣ и въ силу чего таковое довѣріе я возымѣлъ, — на сіе, сударыня, одинъ отвѣтъ: Агриппинѣ Ивановнѣ сестра и Ломовскаго семейства вѣтвь!! — Но увы и ахъ! денегъ сихъ я всѣхъ въ скорости лишился, и надежда моя, которую я полагалъ на Ѳеодулію Ивановну—что хотѣла послѣднюю кроху со мной раздѣлить, оказалась тщетной и суетной: напротивъ, оная Ѳеодулія Ивановна моимъ же добромъ себя угобзила. А именно, въ день ея ангела, пятаго февраля, я ей зеленой французской матеріи на пятьдесятъ рублей, по пяти рублей аршинъ, преподнесъ;

самъ же изъ обѣщаннаго получилъ: бѣлаго пикѐ на жилетъ на пять рублей, да кисейный на шею платокъ, которые подарки при мнѣ же были куплены и, какъ мнѣ извѣстно, изъ моихъ же денегъ—и вотъ все, чѣмъ я, по благодѣянію Ѳеодуліи Ивановны ко мнѣ, воспользовался! Вотъ оная послѣдняя кроха! И я бы могъ далѣе въ самой истинѣ обнаружить всѣ недоброжелательные Ѳеодуліи Ивановны со мной поступки—а также и мои, всяческую мѣру превосходящіе, депансы, какъ-то, между прочимъ, на конфекты и фрукты, которые Ѳеодулія Ивановна была великая охотница кушать; — но все сіе умалчиваю для того, дабы вы таковое объясненіе объ умершей не отнесли въ дурную сторону; и притомъ, такъ какъ Богъ призвалъ ее къ себѣ на судъ — и все, что̀ я отъ нея претерпѣлъ, изъ сердца моего истребилось,—то я ей, какъ христіанинъ, простилъ давно и умоляю Бога, чтобы Онъ ей простилъ!!

„Но, милостивая государыня Раиса Павловна! Неужели жъ вы обвиняете меня за то, что я былъ вѣрнымъ и неложнымъ другомъ вашего семейства, и за то, что такъ много и непреоборимо любилъ Агриппину Ивановну, жертвовалъ ей моей жизнью, моей честью и всѣмъ моимъ состояніемъ! былъ въ совершенной ея власти, и потому не могъ уже управлять ни самимъ собою, ни моей собственностью — а распоряжалась она по своей волѣ какъ мною, такъ и моимъ состояньемъ! Вамъ извѣстно и то, что по дѣлу ея съ людьми ея я терплю *невинно* убійственное оскорбленіе — дѣло сіе я перенесъ послѣ смерти ея въ сенатъ, въ шестый департаментъ — оно еще теперь не рѣшено — по которому сдѣлали меня соучастникомъ съ нею, отдали въ опеку и все еще судятъ уголовнымъ судомъ! Въ моемъ званіи, въ мои лѣта, таковое безчестіе несносно мнѣ; и остается мнѣ только симъ горестнымъ размышленіемъ ублажать свое сердце, что, слѣдовательно, и по смерти Агриппины Ивановны я страдаю за нее—и сіе означаетъ слѣды неизмѣнной любви и добродѣтельной благодарности моей къ ней!

„Въ упомянутыхъ моихъ къ вамъ письмахъ я доводилъ до свѣдѣнія вашего о похоронахъ Агриппины Ивановны со всею подробностью—и какое было по ней поминовеніе дружба и любовь моя къ ней по состоянію ничего не щадили! На все сіе—и съ сорокоустами, и за шесть недѣль за чтеніе по ней псалтыри — (сверхъ того, пятьдесятъ рублей ассигнаціями мои пропали, кои даны въ задатокъ за камень, о которомъ я васъ увѣдомилъ), — на все сіе издержано собственныхъ моихъ денегъ семьсотъ пятьдесятъ рублей ассигнаціями — въ числѣ которыхъ и взнесенныя замѣсто вкладу въ церковь полтораста рублей ассигнаціями-жъ!

„Благотворная душа твоя, внемли гласу отчаяннаго и вверженнаго въ пропасть жесточайшихъ мученіевъ! Одно состраданіе твое къ человѣколюбію можетъ возвратити жизнь погибшаго!! Я, хотя и живъ—но въ страданіи души и сердца моего мертвъ; мертвъ, когда вспомню, чѣмъ былъ, и что̀ есмь: былъ воиномъ, и отечеству всею правдою служилъ и прямилъ, какъ истому россіянину и вѣрному подданному несомнѣнно надлежитъ,—и отмѣнными знаками награждаемъ былъ,—и состояніе сообразное съ рожденіемъ и званіемъ имѣлъ; а нынѣ изъ-за насущнаго хлѣбо-питанія горбомъ хребетъ сгибаю; мертвъ же особенно я есмь, когда вспомню, какого друга лишился... и на что мнѣ жизнь послѣ сего? Но предѣла своего не ускоришь, и земля не разступится, а скорѣе того въ камень обратится! А потому взываю къ тебѣ, душа добродѣтельная, утиши молву народную, не дай себя въ общее осужденіе, что за таковую мою безграничную преданность я пристанища себѣ не имѣю, удиви милостію твоею ко мнѣ, обрати языкъ злобствующихъ и завидующихъ къ прославленію твоихъ достоинствъ—и осмѣлюсь со всяческимъ смиреніемъ присовокупить, утѣшь въ гробѣ дражайшую тетку твою, незабвенную Агриппину Ивановну, которая за твою благопоспѣшную помощь, моими грѣшными молитвами, простретъ надъ главою твоею свои благословящія длани, успокой на закатѣ дней одинокаго старца, *который не такую* могъ ожидать себѣ участь!.. А впро-

чемъ, съ глубочайшимъ почтеніемъ имѣю счастье назваться вашимъ, милостивая государыня—

преданнѣйшимъ слугою

Василій Гуськовъ,

бригадиръ и кавалеръ".

XVI.

Нѣсколько лѣтъ спустя, я снова посѣтилъ деревушку моего пріятеля... Василія Ѳомича уже давно въ живыхъ не было: онъ скончался вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ. Огурецъ все еще здравствовалъ. Онъ свелъ меня на могилку Аграфены Ивановны. — Желѣзная ограда окружала большую плиту съ подробной и пышной эпитафіей покойницы; а тутъ же, рядомъ, и какъ бы у ногъ ея, виднѣлся небольшой холмикъ съ покривившимся крестомъ: рабъ Божій, бригадиръ и кавалеръ Василій Гуськовъ покоится подъ этимъ холмикомъ... Прахъ его пріютился, наконецъ, возлѣ праха того существа, которое онъ любилъ такой безграничной, почти безсмертной любовью.

1867 г.

НЕСЧАСТНАЯ.

(РАЗСКАЗЪ.)

— Да, да, — началъ Петръ Гавриловичъ: — тяжелые то были дни... и не хотѣлось бы возобновлять ихъ въ памяти... Но я далъ вамъ обѣщаніе; придется все разсказать. Слушайте.

I.

Я жилъ тогда (зимою 1835 года) въ Москвѣ, у тетушки, родной сестры покойной матушки. Мнѣ было восемнадцать лѣтъ: я только-что перешелъ со второго на третій курсъ „словеснаго" факультета (въ то время онъ такъ назывался) въ Московскомъ университетѣ. Тетушка моя была женщина тихая и кроткая, вдова. Она занимала большой деревянный домъ на Остоженкѣ, теплый-претеплый, какихъ, я полагаю, кромѣ Москвы нигдѣ не найдешь, и почти ни съ кѣмъ не видалась, сидѣла съ утра до вечера въ гостиной съ двумя компаньонками, кушала цвѣточный чай, раскладывала пасьянсъ и то и дѣло приказывала покурить. Компаньонки бѣжали въ переднюю; нѣсколько минутъ спустя, старый слуга въ лив-

рейномъ фракѣ приносилъ мѣдный тазъ съ пучкомъ мяты на раскаленномъ кирпичѣ и, торопливо выступая по узкимъ половикамъ, поливалъ ее уксусомъ. Бѣлый паръ обдавалъ его сморщенное лицо, онъ хмурился и отворачивался, а канарейки въ столовой такъ и трещали, раздраженныя шипѣніемъ курева.

Тетушка очень любила и баловала меня, круглаго сироту. Она отдала весь антресоль въ полное мое распоряженіе. Меблированы были мои комнаты весьма изящно, ужъ вовсе не по-студенчески: въ спальнѣ красовались розовыя занавѣски, и кисейный пологъ съ голубыми помпончиками возвышался надъ кроватью. Эти помпончики меня, признаюсь, нѣсколько смущали: по моему понятію, подобныя „нѣжности" должны были уронить меня въ глазахъ моихъ товарищей. Они и безъ того прозвали меня институткой: я никакъ не могъ заставить себя курить табакъ. Занимался я, что грѣха таить, плохо, особенно въ началѣ курса: много выѣзжалъ. Тетушка подарила мнѣ широкія генеральскія сани съ медвѣжьею полостью и пару откормленныхъ вятокъ. „Благородные" дома я посѣщалъ рѣдко, но въ театрѣ былъ какъ свой— и пропасть поѣдалъ пирожковъ по кондитерскимъ. Со всѣмъ тѣмъ, я никакихъ безчинствъ себѣ не позволялъ и велъ себя скромно, „en jeune homme de bonne maison". Я бы ни за что не согласился огорчить мою добрую тетушку; къ тому же и кровь у меня довольно спокойно обращалась въ жилахъ.

II.

Я съ раннихъ лѣтъ пристрастился къ шахматамъ; о теоріи не имѣлъ понятія, а игралъ недурно. Однажды, въ кофейной, мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ продолжительной шахматной баталіи между двумя игроками, изъ которыхъ одинъ, бѣлокурый молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти, мнѣ показался сильнымъ. Партія кончилась въ его пользу; я предложилъ ему сразиться со мной. Онъ согласился... и въ *теченіе* часа разбилъ меня, шутя, три *раза сряду.*

— У васъ есть способность къ игрѣ,—промолвилъ онъ учтивымъ голосомъ, вѣроятно замѣтивъ страданіе моего самолюбія:—но вы дебютовъ не знаете. Вамъ надо книжку почитать, Аллгайера или Петрова.

— Вы думаете? Но гдѣ могу я такую книжку достать?

— Приходите ко мнѣ; я вамъ дамъ.

Онъ назвалъ себя и сказалъ, гдѣ квартируетъ. На другой день я отправился къ нему, а недѣлю спустя мы уже почти не разставались.

III.

Новаго знакомца моего звали Александромъ Давыдовичемъ Фустовымъ. Онъ жилъ у своей матери, довольно богатой женщины, статской совѣтницы, въ отдѣльномъ флигелькѣ, на полной свободѣ, такъ же, какъ я у тетушки. Онъ числился на службѣ по министерству Двора. Я привязался къ нему искренно. Въ жизни моей я еще не встрѣчалъ молодого человѣка болѣе „симпатичнаго". Все въ немъ было миловидно и привлекательно: его стройная фигура, его походка, голосъ, и въ особенности его небольшое, тонкое лицо съ золотисто-голубыми глазами, съ изящнымъ, какъ бы кокетливо вылѣпленнымъ носикомъ, съ неизмѣнно-ласковою улыбкой на алыхъ губахъ, съ легкими кудрями мягкихъ волосъ надъ немного суженнымъ, но бѣлоснѣжнымъ лбомъ. Нравъ Фустова отличался чрезвычайною ровностью и какою-то пріятною, сдержанною привѣтливостью; онъ никогда не задумывался, всегда былъ всѣмъ доволенъ; зато ни отъ чего не приходилъ въ восторгъ. Всякое излишество, даже въ хорошемъ чувствѣ, его оскорбляло: „это дико, дико", говаривалъ онъ въ такомъ случаѣ, чуть-чуть пожимаясь и прищуривая свои золотистые глаза. И удивительные же были глаза у Фустова! Они постоянно выражали участіе, благоволеніе и даже преданность. Я только впослѣдствіи времени замѣтилъ, что выраженіе его глазъ зависѣло единственно отъ особеннаго ихъ склада, что оно не мѣнялось и тогда, когда онъ кушалъ супъ или закуривалъ сигарку. Аккуратность его вошла между нами въ пословицу. Правда

бабка его была изъ нѣмокъ. Природа надѣлила его разнообразными способностями. Онъ отлично танцовалъ, щегольски ѣздилъ верхомъ и плавалъ превосходно, столярничалъ, точилъ, клеилъ, переплеталъ, вырѣзалъ силуэтки, рисовалъ акварелью букетъ цвѣтовъ или Наполеона въ профиль въ лазоревомъ мундирѣ, съ чувствомъ игралъ на цитрѣ, зналъ множество фокусовъ, карточныхъ и иныхъ, и свѣдѣнія имѣлъ порядочныя въ механикѣ, физикѣ и химіи, но все въ мѣру. Одни языки ему не дались: даже по-французски онъ изъяснялся довольно плохо. Онъ вообще говорилъ мало, и въ нашихъ студенческихъ бесѣдахъ участвовалъ больше оживленною мягкостью взгляда и улыбки. Женскому полу Фустовъ нравился безусловно, но объ этомъ, для молодыхъ людей весьма важномъ, вопросѣ не любилъ распространяться и вполнѣ заслуживалъ данное ему товарищами прозвище „скромнаго Донъ-Жуана". Я не удивлялся Фустову; удивляться въ немъ было нечему, но я дорожилъ его расположеніемъ, хотя въ сущности оно выражалось только тѣмъ, что онъ во всякое время допускалъ меня до своей особы. Въ моихъ глазахъ Фустовъ былъ самымъ счастливымъ человѣкомъ на свѣтѣ. Жизнь его текла именно по маслу. Мать, братья, сестры, тетки, дядья, всѣ его обожали, онъ жилъ съ ними со всѣми въ ладахъ необыкновенныхъ и пользовался репутаціей образцоваго родственника.

IV.

Однажды я забрался къ нему довольно рано и не засталъ его въ кабинетѣ. Онъ окликнулъ меня изъ сосѣдней комнаты: фыркапіе и плескотня доносились оттуда до моего слуха. Каждое утро Фустовъ обливался холодною водой и потомъ около четверти часа предавался гимнастическимъ упражненіямъ, въ которыхъ достигъ замѣчательнаго мастерства. Излишнихъ заботъ о здоровьѣ тѣла онъ не допускалъ, но не забывалъ необходимыхъ. („Не забывай себя, не волнуйся, умѣренно трудись!" было его девизомъ). Фустовъ еще *не появлялся*, какъ наружная дверь комнаты, *въ которой я находился*, растворилась настежь, и

вошелъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, въ мундирномъ фракѣ, коренастый, плотный, съ молочно-бѣлесоватыми глазами на избура-красномъ лицѣ и настоящею шапкой сѣдыхъ, курчавыхъ волосъ. Человѣкъ этотъ остановился, посмотрѣлъ на меня, широко разинулъ большой свой ротъ и, захохотавъ металлическимъ хохотомъ, хлестко ударилъ себя ладонью по ляжкѣ сзади, при чемъ высоко вынесъ ногу впередъ.

— Иванъ Демьянычъ? — спросилъ изъ-за двери мой пріятель.

— Онъ самый и есть, — отозвался вошедшій. — А вы что жъ это? туалетъ свой совершаете? Дѣло! Дѣло! (Голосъ человѣка, прозывавшагося Иваномъ Демьянычемъ, звучалъ, такъ же какъ и смѣхъ его, чѣмъ-то металлическимъ.) Я къ братишкѣ вашему приперъ-было урокъ давать; да онъ, знать, простудился, чихаетъ все. Дѣйствовать не можетъ. Вотъ я и завернулъ къ вамъ пока, отогрѣться.

Иванъ Демьянычъ опять засмѣялся тѣмъ же страннымъ смѣхомъ, опять звучно шлепнулъ себя по ляжкѣ и, доставъ клѣтчатый платокъ изъ кармана, высморкался громко, съ свирѣпымъ вращеньемъ глазъ и, плюя въ платокъ, воскликнулъ во все горло: тьфу-у-у!

Фустовъ вошелъ въ комнату и, подавъ намъ обоимъ руку, спросилъ насъ, знакомы ли мы другъ съ другомъ?

— Никакъ нѣтъ-съ,—тотчасъ загремѣлъ Иванъ Демьянычъ:—ветеранъ двѣнадцатаго года чести сей не имѣетъ!

Фустовъ назвалъ сперва меня, потомъ, указавъ на „ветерана двѣнадцатаго года“, промолвилъ: „Иванъ Демьянычъ Ратчъ, преподаватель... разныхъ предметовъ“.

— Именно, именно разныхъ предметовъ, — подхватилъ г-нъ Ратчъ.—Чему, подумаешь, я только не училъ, да и теперь не учу! И математикѣ, и географіи, и статистикѣ, и итальянской бухгалтеріи, ха-ха-ха-ха! и музыкѣ! Вы сомнѣваетесь, милостивый государь? — накинулся онъ вдругъ на меня. — Спросите Александра Давыдыча, каково я на фаготѣ отличаюсь? Какой же я былъ бы, въ противномъ случаѣ, богемецъ, чехъ, сирѣчь? Да, сударь,

я чехъ, и родина моя—древняя Прага! Кстати, Александръ Давыдычъ, что васъ давно не видать? Дуэтецъ бы разыграли... ха-ха! Право!

— Я у васъ третьяго дня былъ, Иванъ Демьянычъ,— отвѣчалъ Фустовъ.

— Да это я и называю давно, ха-ха!

Когда господинъ Ратчъ смѣялся, бѣлые глаза его какъ-то странно и безпокойно бѣгали изъ стороны въ сторону.

— Вы, я вижу, молодой человѣкъ, поведенцу моему удивляетесь,—обратился онъ опять ко мнѣ.—Но это происходитъ отъ того, что вы еще не знаете моей комплекціи. Вы освѣдомьтесь обо мнѣ у нашего добраго Александра Давыдыча. Что̀ онъ вамъ скажетъ? Онъ вамъ скажетъ, что старикъ Ратчъ простякъ, русакъ, хоть и не по происхожденію, а по духу, ха-ха! При крещеніи нареченъ Іоганнъ-Дитрихъ, а кличка моя—Иванъ Демьяновъ! Что̀ на умѣ, то и на языкѣ; сердце, какъ говорится, на ладошкѣ, церемоніевъ этихъ разныхъ не знаю и знать не хочу! Ну ихъ! Заходите когда-нибудь ко мнѣ вечеркомъ, сами увидите. Баба у меня — жена то-есть, — простая тоже; наваритъ намъ, напекетъ... бѣда! Александръ Давыдычъ, правду я говорю?

Фустовъ только улыбнулся, а я промолчалъ.

— Не брезгайте старичкомъ, заходите, — продолжалъ господинъ Ратчъ. — А теперь... (Онъ выхватилъ толстые серебряные часы изъ кармана и поднесъ ихъ къ выпученному правому глазу.) Мнѣ, я полагаю, лучше отправиться. Другой птенецъ меня ожидаетъ... Этого я, чортъ знаетъ, чему учу... миѳологіи, ей-Богу! И далеко же живетъ, ракалья! у Красныхъ воротъ! Все равно: пѣшкурой отмахаю, благо братецъ вашъ скиксовалъ, анъ пятиалтынный на извозчика цѣлъ, въ мошнѣ остался! Ха-ха! Прощенія просимъ, мосьпане, до зобаченія! А вы, молодой человѣкъ, заверните... Что жъ такое?.. Дуэтецъ безпремѣнно надо разыграть! — крикнулъ господинъ Ратчъ изъ передней, со стукомъ надѣвая калоши, и въ послѣдній разъ раздался его металлическій *смѣхъ*.

V.

— Что за странный человѣкъ?! — обратился я къ Фустову, который успѣлъ уже приняться за токарный станокъ.—Неужели онъ иностранецъ? Онъ такъ бойко говоритъ по-русски.

— Иностранецъ; только онъ ужъ лѣтъ тридцать какъ поселился въ Россіи. Его, чуть ли не въ тысяча восемьсотъ-второмъ году, какой-то князь изъ-за границы вывезъ... въ качествѣ секретаря... скорѣе, полагать надо, камердинера. А выражается онъ по-русски точно бойко.

— Такъ залихватски, съ такими вывертами и закрутасами,—вмѣшался я.

— Ну, да. Только очень ужъ ненатурально. Они всѣ такъ, эти обрусѣвшіе нѣмцы.

— Да вѣдь онъ чехъ.

— Не знаю; можетъ-быть. Съ женой онъ бесѣдуетъ по-нѣмецки.

— А почему онъ себя ветераномъ двѣнадцатаго года величаетъ? Служилъ онъ, что ли, въ ополченіи?

— Какое въ ополченіи! Во время пожара въ Москвѣ оставался и имущества всего лишился... Вотъ вся его служба.

— Да зачѣмъ же онъ оставался въ Москвѣ?

Фустовъ не переставалъ точить.

— Господь его знаетъ. Слышалъ я, будто онъ у насъ въ шпіонахъ состоялъ; да это, должно быть, пустое. А что за свои убытки онъ отъ казны вознагражденіе получилъ, это вѣрно.

— На немъ мундирный фракъ... Онъ, стало, служитъ?

— Служитъ. Въ кадетскомъ корпусѣ преподавателемъ. Онъ надворный совѣтникъ.

— Кто его жена?

— Здѣшняя нѣмка, дочь колбасника... мясника...

— И ты часто къ нему ходишь?

— Хожу.

— Что жъ, весело у нихъ?

— *Довольно весело.*

— У него есть дѣти?

— Есть. Отъ нѣмки трое и отъ первой жены сынъ и дочь.

— А сколько старшей дочери лѣтъ?

— Лѣтъ двадцать-пять.

Мнѣ показалось, что Фустовъ ниже пригнулся къ станку, и колесо шибче заходило и загудѣло подъ мѣрными толчками его ноги.

— Хороша она собой?

— Какъ на чей вкусъ. Лицо замѣчательное, да и вся она... замѣчательная особа.

„Ага!“ подумалъ я. Фустовъ продолжалъ свою работу съ особеннымъ рвеніемъ и на слѣдующій вопросъ мой отвѣчалъ однимъ мычаніемъ.

„Надо будетъ познакомиться!“ рѣшилъ я про себя.

VI.

Нѣсколько дней спустя, мы вмѣстѣ съ Фустовымъ отправились къ господину Ратчу на вечеръ. Жилъ онъ въ деревянномъ домѣ съ большимъ дворомъ и садомъ, въ Кривомъ переулкѣ, возлѣ Пречистенскаго бульвара. Онъ вышелъ къ намъ въ переднюю и, встрѣтивъ насъ свойственнымъ ему трескучимъ хохотомъ и гамомъ, тотчасъ повелъ въ гостиную, гдѣ представилъ меня дородной дамѣ въ камлотовомъ тѣсномъ платьѣ, Элеонорѣ Карповнѣ, своей супругѣ. Элеонора Карповна въ первой молодости отличалась, вѣроятно, тѣмъ, что французы, неизвѣстно почему, называютъ, „красотою діавола“, то-есть свѣжестью; но когда я съ ней познакомился, она невольно напоминала взору добрый кусокъ говядины, только-что выложенный мясникомъ на опрятный мраморный столъ. Не безъ намѣренія употребилъ я слово „опрятный“: не только сама хозяйка казалась образцомъ чистоты, но и все вокругъ нея, все въ домѣ такъ и лоснилось, такъ и блистало; все было выскребено, выглажено, вымыто мыломъ; самоваръ на кругломъ столѣ горѣлъ какъ жаръ; занавѣски передъ окнами, салфетки такъ и *коробились отъ крахмала*, такъ же какъ и платьица и

шемизетки тутъ же сидѣвшихъ четырехъ дѣтей господина Ратча, дюжихъ, откормленныхъ коротышекъ, чрезвычайно похожихъ на мать, съ топорными, крѣпкими лицами, вихрами на вискахъ и красными обрубками пальцевъ. У всѣхъ четырехъ были носы нѣсколько приплюснутые, большіе, словно припухшія губы и крошечные свѣтло-сѣрые глаза.

— Вотъ и моя гвардія!—воскликнулъ господинъ Ратчъ, кладя свою тяжелую руку поочередно на головы дѣтей.— Коля, Оля, Сашка да Машка! Этому восемь, этой семь, этому четыре, а этой цѣлыхъ два! Ха-ха-ха! Какъ изволите видѣть, мы съ женой не зѣваемъ. Еге? Элеонора Карповна?

— Ужъ вы всегда все такое скажете,—промолвила Элеонора Карповна и отвернулась.

— И писклятамъ своимъ все такія русскія имена понадавала!—продолжалъ господинъ Ратчъ.—Того и смотри, въ греческую вѣру ихъ окреститъ! Ей-Богу! Славянка она у меня, чортъ меня совсѣмъ возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?

Элеонора Карповна разсердилась.

— Я надворная совѣтница, вотъ кто я! И, стало-быть, я русская дама, и все, что вы теперь будете говорить...

— То-есть, какъ она Россію любитъ, просто бѣда! — перебилъ Иванъ Демьянычъ. — Въ родѣ землетрясенья, ха-ха!

— Ну, и что жъ такое? — продолжала Элеонора Карповна.—И, конечно, я Россію люблю, потому, гдѣ же бы я могла получить дворянскій титулъ? И мои дѣти тоже теперь вѣдь благородные? Kolia, sitze ruhig mit den Füssen!

Ратчъ махнулъ на нее рукой.

— Ну, ты, Сумбека царица, успокойся! А гдѣ „благородный“ Викторка? Чай, все шляется, куда попало! Ужъ наскочитъ онъ на инспектора! Задастъ онъ ему трепаніе! Das ist ein Bummler, der Fiktor!

— Dem Fiktor kann ich nicht kommandiren, Иванъ Демьяновычъ. Sie wissen wohl!—проворчала Элеонора Карповна.

Я посмотрѣлъ на Фустова, какъ бы желая окончательно добиться отъ него, что заставляло его посѣщать подобныхъ людей... но въ эту минуту вошла въ комнату дѣвушка высокаго роста въ черномъ платьѣ, та старшая дочь господина Ратча, о которой упоминалъ Фустовъ... Я понялъ причину частыхъ посѣщеній моего пріятеля.

VII.

Помнится, гдѣ-то у Шекспира говорится о „бѣломъ голубѣ въ стаѣ черныхъ вороновъ"; подобное впечатлѣніе произвела на меня вошедшая дѣвушка: между окружавшимъ ее міромъ и ею было слишкомъ мало общаго; казалось, она сама втайнѣ недоумѣвала и дивилась, какимъ образомъ она попала сюда. Всѣ члены семейства господина Ратча смотрѣли самодовольными и добродушными здоровяками; *ея* красивое, но уже отцвѣтающее лицо носило отпечатокъ унынія, гордости и болѣзненности. *Тѣ*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всемъ *ея* несомнѣнно аристократическомъ существѣ. Въ самой *ея* наружности не замѣчалось склада, свойственнаго германской породѣ: она скорѣе напоминала уроженцевъ юга. Чрезвычайно густые, черные волосы безъ всякаго блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкій выпуклый лобъ, орлиный носъ, зеленоватая блѣдность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонкихъ губъ и въ слегка углубленныхъ щекахъ, что-то рѣзкое и въ то же время безпомощное въ движеніяхъ, изящество безъ граціи... въ Италіи все это не показалось бы мнѣ необычайнымъ, но въ Москвѣ, у Пречистенскаго бульвара, просто изумило меня! Я всталъ со стула при входѣ *ея* въ комнату; она бросила на меня быстрый, неровный взглядъ и, опустивъ свои черныя рѣсницы, сѣла близъ окна, „какъ Татьяна" (Пушкинскій *Онѣгинъ* былъ тогда у каждаго изъ насъ въ свѣжей памяти). Я взглянулъ на Фустова, но мой пріятель стоялъ ко мнѣ спиной и принималъ чашку чаю изъ пухлыхъ рукъ Элеоноры Карповны. *Еще замѣтилъ я*, что вошедшая дѣвушка внесла

съ собою струю легкаго, физическаго холода... „Что̀ за статуя?“ подумалось мнѣ.

VIII.

— Петръ Гаврилычъ! — загремѣлъ господинъ Ратчъ, обращаясь ко мнѣ:—позвольте васъ познакомить съ моей... съ моимъ... съ моимъ нумеромъ первымъ, ха-ха-ха! съ Сусанной Ивановной!

Я молча поклонился и тотчасъ же подумалъ: „Вотъ, и имя ея тоже не подъ стать другимъ“, а Сусанна слегка приподнялась, не улыбаясь и не разжимая крѣпко стиснутыхъ рукъ.

— А что же дуэтецъ? — продолжалъ Иванъ Демьянычъ: — Александръ Давыдычъ? а? благодѣтель! Цитра ваша у насъ осталась, а фаготъ я уже изъ футляра вынулъ. Насладимъ ушеса честной компаніи! — (Г-нъ Ратчъ любилъ уснащать свою русскую рѣчь; у него то и дѣло вырывались выраженія, подобныя тѣмъ, которыми испещрены всѣ ультра-народныя стихотворенія князя Вяземскаго: „дока для всего“, вмѣсто „на все“, „здѣсь намъ не обиходъ“, „глядитъ въ угоду, не на показъ“, и т. п. Помнится, однажды Иванъ Демьянычъ, увлеченный своею любовью къ бойкимъ словамъ съ энергическимъ окончаніемъ, сталъ увѣрять меня, что у него въ саду вездѣ известнякъ, хворостнякъ и валежнякъ). — Такъ ка́къ! Идетъ? — воскликнулъ Иванъ Демьянычъ, видя, что Фустовъ не возражаетъ.—Колька, маршъ въ кабинетъ, тащи сюда пюпитры! Ольга, волоки цитру! Да свѣчекъ къ пюпитрамъ соблаговоли, благовѣрная! — (Г-нъ Ратчъ вертѣлся по комнатѣ какъ кубарь.)—Петръ Гаврилычъ, вы любите музыку, ась? А коли не любите, бесѣдой займитесь, только чуръ, подъ сурдинкой! Ха-ха-ха! И гдѣ этотъ шутъ Викторъ пропадаетъ? Послушалъ бы тоже! Вы его, Элеонора Карповна, совсѣмъ разбаловали!

Элеонора Карповна вся вспыхнула.

— Aber was kann ich denn, Иванъ Демьянычъ...

— Ну, хорошо, хорошо, не клянчи! Bleibe ruhig, hast *verstanden? Александръ* Давыдычъ! милости просимъ!

Дѣти немедленно исполнили приказаніе родителя, пюпитры воздвиглись, началась музыка. Я уже сказалъ, что Фустовъ отлично игралъ на цитрѣ, но на меня этотъ инструментъ постоянно производилъ впечатлѣніе самое тягостное. Мнѣ всегда чудилось и чудится доселѣ, что въ цитрѣ заключена душа дряхлаго жида-ростовщика, и что она гнусливо поетъ и плачется на безжалостнаго виртуоза, заставляющаго ее издавать звуки. Игра г. Ратча также не могла доставить мнѣ удовольствіе; къ тому жъ его внезапно побагровѣвшее лицо со злобно вращавшимися бѣлыми глазами приняло зловѣщее выраженіе: точно онъ собирался убить кого-то своимъ фаготомъ и заранѣе ругался и грозилъ, выпуская одну за другою удивленно-хриплыя, грубыя ноты. Я присосѣдился къ Сусаннѣ и, выждавъ первую минутную паузу, спросилъ ее, такъ же ли она любитъ музыку, какъ ея батюшка?

Она отклонилась, какъ будто я толкнулъ ее, и промолвила отрывисто:—Кто?

— Вашъ батюшка,—повторилъ я:—господинъ Ратчъ.

— Господинъ Ратчъ мнѣ не отецъ.

— Не отецъ! Извините меня... Я, должно-быть, не такъ понялъ... Но мнѣ помнится, Александръ Давыдычъ...

Сусанна посмотрѣла на меня пристально и пугливо.

— Вы не поняли господина Фустова. Господинъ Ратчъ мой вотчимъ.

Я помолчалъ.

— И вы музыки не любите?—началъ я снова.

Сусанна опять глянула на меня. Рѣшительно, въ ея глазахъ было что-то одичалое. Она, очевидно, не ожидала и не желала продолженія нашего разговора.

— Я вамъ этого не сказала,—медленно произнесла она.

— Тру-ту-ту-ту-ту-у-у... со внезапною яростью пробурчалъ фаготъ, выдѣлывая окончательную фіоритуру. Я обернулся, увидалъ раздутую, какъ у удава, подъ оттопыренными ушами, красную шею господина Ратча, и очень онъ мнѣ показался гадокъ.

— Но этого... инструмента вы навѣрно не любите,— *сказалъ я вполголоса.*

— Да... я не люблю, — отвѣчала она, какъ бы понявъ мой тайный намекъ.

„Вотъ какъ!“ подумалъ я, словно чему-то обрадовался.

— Сусанна Ивановна, — проговорила вдругъ Элеонора Карповна на своемъ нѣмецко-русскомъ языкѣ: — музыку очень любитъ, и очень сама прекрасно играетъ на фортепіано, только она не хочетъ играть на фортепіано, когда ее очень просятъ играть.

Сусанна ничего не отвѣтила Элеонорѣ Карповнѣ—она даже не поглядѣла на нее — и только слегка, подъ опущенными вѣками, повела глазами въ ея сторону. По одному этому движенію—по движенію ея зрачковъ—я могъ понять, какого рода чувства Сусанна питала ко второй супругѣ своего вотчима... И я опять чему-то порадовался.

Между тѣмъ дуэтъ кончился. Фустовъ всталъ и, нерѣшительными шагами приблизившись къ окну, возлѣ котораго мы сидѣли съ Сусанной, спросилъ ее, получила ли она отъ Ленгольда ноты, которыя тотъ обѣщался выписать изъ Петербурга.

— Попури изъ *Роберта-Дьявола*, — прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — изъ той новой оперы, о которой теперь всѣ такъ кричатъ.

— Нѣтъ, не получила, — отвѣчала Сусанна, и повернувшись лицомъ къ окну, поспѣшно прошептала:—Пожалуйста, Александръ Давыдычъ, прошу васъ, не заставляйте меня играть сегодня! я совсѣмъ не расположена.

— Что такое? *Робертъ-Дьяволъ* Мейербера! — возопилъ подошедшій къ намъ Иванъ Демьянычъ: — пари держу, что вещь отличная! Онъ жидъ, а всѣ жиды, такъ же какъ и чехи, урожденные музыканты! Особенно жиды. Неправда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!

Въ послѣднихъ словахъ г. Ратча, и на этотъ разъ въ самомъ его хохотѣ, слышалось нѣчто другое, чѣмъ обычное его глумленіе — слышалось желаніе оскорбить. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось, и такъ поняла его Сусанна. Она невольно дрогнула, покраснѣла, закусила *нижнюю губу*. Свѣтлая точка, подобная блеску слезы,

мелькнула у ней на рѣсницѣ, и, быстро поднявшись, она вышла вонъ изъ комнаты.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна? — закричалъ ей вслѣдъ господинъ Ратчъ.

— А вы оставьте ее, Иванъ Демьянычъ, — вмѣшалась Элеонора Карповна. — Wenn sie einmal so etwas im Kopfe hat...

— Натура нервозная, — промолвилъ Ратчъ, повернувшись на каблукахъ, и шлепнулъ себя по ляжкѣ: — plexus solaris страдаетъ. О! да вы не смотрите такъ на меня, Петръ Гаврилычъ? Я и анатоміей занимался, ха-ха! Я и лѣчить могу! Спросите вотъ Элеонору Карповну... Всѣ ея недуги я излѣчиваю! Такой у меня есть способъ.

— А вы все должны шутки шутить, Иванъ Демьянычъ,—отвѣчала та съ удовольствіемъ, между тѣмъ какъ Фустовъ, посмѣиваясь и пріятно покачиваясь, глядѣлъ на обоихъ супруговъ.

— И почему же не шутить, mein Mütterchen?—подхватилъ Иванъ Демьянычъ.—Жизнь намъ дана для пользы, а больше для красы, какъ сказалъ одинъ извѣстный стихотворецъ. Колька, утри свой носъ, дикобразъ!

IX.

— Я сегодня по твоей милости былъ въ весьма неловкомъ положеніи, — говорилъ я въ тотъ же вечеръ Фустову, возвращаясь съ нимъ домой.—Ты мнѣ сказалъ, что эта... какъ бишь ее? Сусанна—дочь господина Ратча, а она его падчерица.

— Въ самомъ дѣлѣ! Я тебѣ сказалъ, что она его дочь? Впрочемъ... не все ли равно?

— Этотъ Ратчъ, — продолжалъ я...—Ахъ, Александръ! какъ онъ мнѣ не нравится! Замѣтилъ ты, съ какой онъ особенной насмѣшкой отозвался сегодня при ней о жидахъ? Развѣ она... еврейка?

Фустовъ шелъ впереди, размахивая руками; было холодно, снѣгъ хрустѣлъ, какъ соль, подъ ногами.

— *Да, помнится, что-то* такое я слышалъ,—промолвилъ

онъ наконецъ... — Ея мать была, кажется, еврейскаго происхожденія.

— Стало-быть, господинъ Ратчъ женился въ первый разъ на вдовѣ?

— Вѣроятно.

— Гм!.. А этотъ Викторъ, что́ не пришелъ вчера, тоже его пасынокъ?

— Нѣтъ... это настоящій его сынъ. Впрочемъ я, ты знаешь, въ чужія дѣла не вмѣшиваюсь и не люблю разспрашивать. Я не любопытенъ.

Я прикусилъ языкъ. Фустовъ все спѣшилъ впередъ. Подходя къ дому, я нагналъ его и заглянулъ ему въ лицо.

— А что̀?—спросилъ я:—Сусанна, точно, хорошая музыкантша?

Фустовъ нахмурился.

— Она хорошо играетъ на фортепіано, — проговорилъ онъ сквозь зубы. — Только она очень дика, предваряю!— прибавилъ онъ съ легкою ужимкой. Онъ словно раскаивался въ томъ, что познакомилъ меня съ нею.

Я умолкъ, и мы разстались.

X.

На слѣдующее утро я опять отправился къ Фустову. Сидѣть у него по утрамъ стало для меня потребностью. Онъ принялъ меня ласково, по обыкновенію, но о вчерашнемъ посѣщеніи—ни слова! Какъ воды въ ротъ набралъ. Я принялся перелистывать послѣдній № *Телескопа*.

Новое лицо вошло въ комнату. Оно оказалось тѣмъ самымъ сыномъ г. Ратча, Викторомъ, на отсутствіе котораго наканунѣ пенялъ его отецъ.

Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ восемнадцати, уже испитой и нездоровый, съ сладковато-наглою усмѣшкой на нечистомъ лицѣ, съ выраженіемъ усталости въ воспаленныхъ глазахъ. Онъ походилъ на отца, только черты его были меньше и не лишены пріятности. Но въ самой этой пріятности было что-то нехорошее. Одѣтъ онъ былъ *очень неряшливо*, на мундирномъ сюртукѣ его недоста-

вало пуговицы, одинъ сапогъ лопнулъ, табакомъ такъ и разило отъ него.

— Здравствуйте, — проговорилъ онъ сиплымъ голосомъ и съ тѣми особенными подергиваньями плечъ и головы, которыя я всегда замѣчалъ у избаловавшихся и самоувѣренныхъ молодыхъ людей.—Думалъ въ университетъ, а попалъ къ вамъ. Грудь что-то заложило. Дайте-ка сигарку. — Онъ прошелъ черезъ всю комнату, вяло волоча ноги и не вынимая рукъ изъ кармановъ панталонъ, и грузно бросился на диванъ.

— Вы простудились? — спросилъ Фустовъ, и познакомилъ насъ другъ съ другомъ. Мы были оба студентами, но находились на разныхъ факультетахъ.

— Нѣтъ!.. Какое! Вчера, признаться сказать... (Тутъ господинъ Ратчъ junior улыбнулся во весь ротъ, опять-таки не безъ пріятности, но зубы у него оказались дурные) выпито было, сильно выпито. Да. — Онъ закурилъ сигарку и откашлянулся.—Обиходова провожали.

— А онъ куда ѣдетъ?

— На Кавказъ, и возлюбленную свою туда же тащитъ. Вы знаете, ту, черноглазую, съ веснушками. Дуракъ!

— Вашъ батюшка вчера о васъ спрашивалъ, — замѣтилъ Фустовъ.

Викторъ сплюнулъ въ сторону.

— Да я слышалъ. Вы вчера забрели въ нашъ таборъ. Ну, и что жъ? музицировали?

— По обыкновенію.

— А *она*... Небось, передъ новымъ-то гостемъ (тутъ онъ ткнулъ головой въ мою сторону) поломалась? Играть не стала?

— Вы это о комъ говорите?—спросилъ Фустовъ.

— Да, разумѣется, о почтеннѣйшей Сусаннѣ Ивановнѣ!

Викторъ развалился еще покойнѣе, округленно поднялъ руку надъ головой, посмотрѣлъ себѣ на ладонь и глухо фыркнулъ.

Я взглянулъ на Фустова. Онъ только плечомъ пожалъ, какъ бы желая дать мнѣ понять, что съ такого оболтуса *и спрашивать нечего.*

XI.

Викторъ принялся говорить, глядя въ потолокъ, не спѣша и въ носъ, о театрѣ, о двухъ ему знакомыхъ актерахъ, о какой-то Серафимѣ Серафимовнѣ, которая его „надула", о новомъ профессорѣ Р., котораго обозвалъ скотиной, — потому, представьте, что̀ уродъ выдумалъ? Каждую лекцію съ переклички начинаетъ, а еще либераломъ считается! Въ кутузку я бы всѣхъ вашихъ либераловъ запряталъ! — и, обратившись, наконецъ, всѣмъ лицомъ и тѣломъ къ Фустову, промолвилъ полужалобнымъ, полунасмѣшливымъ голосомъ:

— Что я васъ хотѣлъ попросить, Александръ Давыдычъ... Нельзя ли какъ-нибудь старца моего вразумить... Вы вотъ дуэты съ нимъ разыгрываете... Даетъ мнѣ пять синенькихъ въ мѣсяцъ... Это что же такое?! На табакъ не хватаетъ. Еще толкуетъ: не дѣлай долговъ! Я бы его на мое мѣсто посадилъ и посмотрѣлъ бы! Я вѣдь никакихъ пенсій не получаю; не то что *иные* (Викторъ произнесъ это послѣднее слово съ особеннымъ удареніемъ). А деньжищевъ у него много, я знаю. Со мной Лазаря пѣть нечего, меня не проведешь. Шалишь! Руки-то себѣ нагрѣлъ тоже... ловко!

Фустовъ искоса глянулъ на Виктора.

— Пожалуй,—началъ онъ:—я скажу вашему батюшкѣ. А то, если хотите, я могу... пока... небольшую сумму...

— Нѣтъ, что жъ? Ужъ лучше старика умаслить... Впрочемъ,—прибавилъ Викторъ, почесавъ себѣ носъ всею пятерней:—дайте, коли можете, рублей двадцать пять... Сколько, бишь, я вамъ долженъ?

— Вы у меня восемьдесять пять рублей заняли.

— Да... Ну это, стало, выйдетъ... всего сто десять рублей. Я вамъ отдамъ все разомъ.

Фустовъ вышелъ въ другую комнату, вынесъ двадцатипятирублевую бумажку и молча подалъ ее Виктору. Тотъ взялъ ее, зѣвнулъ во все горло, не закрывая рта, промычалъ: „спасибо!" и, поеживаясь и потягиваясь, приподнялся съ дивана.

— Фу! однако... что-то скучно, — пробормоталъ онъ:— пойти развѣ въ *Италію*.

Онъ направился къ двери.

Фустовъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ. Казалось, онъ боролся самъ съ собой.

— О какой вы это пенсіи сейчасъ упомянули, Викторъ Иванычъ?—спросилъ онъ наконецъ.

Викторъ остановился на порогѣ и надѣлъ фуражку.

— А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсія... Она ее получаетъ. Прелюбопытный, долюжу вамъ, анекдотъ! Я когда-нибудь вамъ разскажу. Дѣла, батюшка, дѣла! А вы старца-то, старца не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, нѣмецкая, да еще съ русской выдѣлкой, а все пронять можно. Только чтобъ Элеонорки, мачихи моей, при этомъ не было! Папашка ея боится, она все своимъ прочитъ. Ну, да вы сами дипломатъ! Прощайте!

— Экая, однако, дрянь этотъ мальчишка!—воскликнулъ Фустовъ, какъ только захлопнулась дверь.

Лицо у него горѣло какъ въ огнѣ, и онъ отъ меня отворачивался. Я не сталъ его разспрашивать и вскорѣ удалился.

XII.

Весь тотъ день я провелъ въ размышленіяхъ о Фустовѣ, о Сусаннѣ, объ ея родственникахъ; мнѣ смутно чудилось нѣчто похожее на семейную драму. Сколько я могъ судить, мой пріятель былъ неравнодушенъ къ Сусаннѣ. Но она? Любила ли она его? Отчего она казалась такою несчастною? И вообще, что она была за существо? Эти вопросы безпрестанно приходили мнѣ на умъ. Темное, но сильное чувство говорило мнѣ, что за разрѣшеніемъ ихъ не слѣдовало обращаться къ Фустову. Кончилось тѣмъ, что я на слѣдующій день отправился одинъ въ домъ къ г. Ратчу.

Мнѣ стало вдругъ очень совѣстно и неловко, какъ только я очутился въ маленькой, темной передней. „Она *и не покажется, пожалуй*“, мелькнуло у меня въ головѣ,

XI.

Викторъ принялся говорить, глядя въ потолокъ, не спѣша и въ носъ, о театрѣ, о двухъ ему знакомыхъ актерахъ, о какой-то Серафимѣ Серафимовнѣ, которая его „надула“, о новомъ профессорѣ Р., котораго обозвалъ скотиной, — потому, представьте, что уродъ выдумалъ? Каждую лекцію съ переклички начинаетъ, а еще либераломъ считается! Въ кутузку я бы всѣхъ вашихъ либераловъ запряталъ! — и, обратившись, наконецъ, всѣмъ лицомъ и тѣломъ къ Фустову, промолвилъ полужалобнымъ, полунасмѣшливымъ голосомъ:

— Что я васъ хотѣлъ попросить, Александръ Давыдычъ... Нельзя ли какъ-нибудь старца моего вразумить... Вы вотъ дуэты съ нимъ разыгрываете... Даетъ мнѣ пять синенькихъ въ мѣсяцъ... Это что же такое?! На табакъ не хватаетъ. Еще толкуетъ: не дѣлай долговъ! Я бы его на мое мѣсто посадилъ и посмотрѣлъ бы! Я вѣдь никакихъ пенсій не получаю; не то что *иные* (Викторъ произнесъ это послѣднее слово съ особеннымъ удареніемъ). А деньжищевъ у него много, я знаю. Со мной Лазаря пѣть нечего, меня не проведешь. Шалишь! Руки-то себѣ нагрѣлъ тоже... ловко!

Фустовъ искоса глянулъ на Виктора.

— Пожалуй,—началъ онъ:—я скажу вашему батюшкѣ. А то, если хотите, я могу... пока... небольшую сумму...

— Нѣтъ, что жъ? Ужъ лучше старика умаслить... Впрочемъ,—прибавилъ Викторъ, почесавъ себѣ носъ всею пятерней:—дайте, коли можете, рублей двадцать пять... Сколько, бишь, я вамъ долженъ?

— Вы у меня восемьдесять пять рублей заняли.

— Да... Ну это, стало, выйдетъ... всего сто десять рублей. Я вамъ отдамъ все разомъ.

Фустовъ вышелъ въ другую комнату, выпесъ двадцатипятирублевую бумажку и молча подалъ ее Виктору. Тотъ взялъ ее, зѣвнулъ во все горло, не закрывая рта, промычалъ: „спасибо!“ и, поеживаясь и потягиваясь, приподнялся съ дивана.

— Фу! однако... что-то скучно, — пробормоталъ онъ:— пойти развѣ въ *Италію*.

Онъ направился къ двери.

Фустовъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ. Казалось, онъ боролся самъ съ собой.

— О какой вы это пенсіи сейчасъ упомянули, Викторъ Иванычъ?—спросилъ онъ наконецъ.

Викторъ остановился на порогѣ и надѣлъ фуражку.

— А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсія... Она ее получаетъ. Прелюбопытный, доложу вамъ, анекдотъ! Я когда-нибудь вамъ разскажу. Дѣла, батюшка, дѣла! А вы старца-то, старца не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, нѣмецкая, да еще съ русской выдѣлкой, а все пронять можно. Только чтобъ Элеонорки, мачихи моей, при этомъ не было! Папашка ея боится, она все своимъ прочитъ. Ну, да вы сами дипломатъ! Прощайте!

— Экая, однако, дрянь этотъ мальчишка!—воскликнулъ Фустовъ, какъ только захлопнулась дверь.

Лицо у него горѣло какъ въ огнѣ, и онъ отъ меня отворачивался. Я не сталъ его разспрашивать и вскорѣ удалился.

XII.

Весь тотъ день я провелъ въ размышленіяхъ о Фустовѣ, о Сусаннѣ, объ ея родственникахъ; мнѣ смутно чудилось нѣчто похожее на семейную драму. Сколько я могъ судить, мой пріятель былъ неравнодушенъ къ Сусаннѣ. Но она? Любила ли она его? Отчего она казалась такою несчастною? И вообще, что она была за существо? Эти вопросы безпрестанно приходили мнѣ на умъ. Темное, но сильное чувство говорило мнѣ, что за разрѣшеніемъ ихъ не слѣдовало обращаться къ Фустову. Кончилось тѣмъ, что я на слѣдующій день отправился одинъ въ домъ къ г. Ратчу.

Мнѣ стало вдругъ очень совѣстно и неловко, какъ только я очутился въ маленькой, темной передней. „Она *и не покажется, пожалуй*“, мелькнуло у меня въ головѣ,

XI.

Викторъ принялся говорить, глядя въ потолокъ, і спѣша и въ носъ, о театрѣ, о двухъ ему знакомыхъ акт рахъ, о какой-то Серафимѣ Серафимовнѣ, которая е „надула“, о новомъ профессорѣ Р., котораго обозва: скотиной, — потому, представьте, что̀ уродъ выдумал Каждую лекцію съ переклички начинаетъ, а еще либ раломъ считается! Въ кутузку я бы всѣхъ вашихъ либ раловъ запряталъ! — и, обратившись, наконецъ, всѣ: лицомъ и тѣломъ къ Фустову, промолвилъ полужало нымъ, полунасмѣшливымъ голосомъ:

— Что я васъ хотѣлъ попросить, Александръ Дав дычъ... Нельзя ли какъ-нибудь старца моего вразумить Вы вотъ дуэты съ нимъ разыгрываете... Даетъ мнѣ пя синенькихъ въ мѣсяцъ... Это что же такое?! На табаі не хватаетъ. Еще толкуетъ: не дѣлай долговъ! Я бы е на мое мѣсто посадилъ и посмотрѣлъ бы! Я вѣдь ник кихъ пенсій не получаю; не то что *иные* (Викторъ прон несъ это послѣднее слово съ особеннымъ удареніемъ). деньжищевъ у него много, я знаю. Со мной Лазаря пѣ нечего, меня не проведешь. Шалишь! Руки-то себѣ н грѣлъ тоже... ловко!

Фустовъ искоса глянулъ на Виктора.

— Пожалуй,—началъ онъ:—я скажу вашему батюшк А то, если хотите, я могу... пока... небольшую сумму...

— Нѣтъ, что жъ? Ужъ лучше старика умаслить Впрочемъ,—прибавилъ Викторъ, почесавъ себѣ носъ все пятерней:—дайте, коли можете, рублей двадцать пять Сколько, бишь, я вамъ долженъ?

— Вы у меня восемьдесять пять рублей заняли.

— Да... Ну это, стало, выйдетъ... всего сто деся рублей. Я вамъ отдамъ все разомъ.

Фустовъ вышелъ въ другую комнату, вынесъ двадцат пятирублевую бумажку и молча подалъ ее Виктору. То взялъ ее, зѣвнулъ во все горло, не закрывая рта, пр мычалъ: „спасибо!“ и, поеживаясь и потягиваясь, пр *поднялся съ дивана.*

— Фу! однако... что-то скучно, — пробормоталъ онъ:— пойти развѣ въ *Италію*.

Онъ направился къ двери.

Фустовъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ. Казалось, онъ боролся самъ съ собой.

— О какой вы это пенсіи сейчасъ упомянули, Викторъ Иванычъ?—спросилъ онъ наконецъ.

Викторъ остановился на порогѣ и надѣлъ фуражку.

— А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсія... Она ее получаетъ. Прелюбопытный, доложу вамъ, анекдотъ! Я когда-нибудь вамъ разскажу. Дѣла, батюшка, дѣла! А вы старца-то, старца не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, нѣмецкая, да еще съ русской выдѣлкой, а все пронять можно. Только чтобъ Элеонорки, мачихи моей, при этомъ не было! Папашка ея боится, она все своимъ прочитъ. Ну, да вы сами дипломатъ! Прощайте!

— Экая, однако, дрянь этотъ мальчишка!—воскликнулъ Фустовъ, какъ только захлопнулась дверь.

Лицо у него горѣло какъ въ огнѣ, и онъ отъ меня отворачивался. Я не сталъ его разспрашивать и вскорѣ удалился.

XII.

Весь тотъ день я провелъ въ размышленіяхъ о Фустовѣ, о Сусаннѣ, объ ея родственникахъ; мнѣ смутно чудилось нѣчто похожее на семейную драму. Сколько я могъ судить, мой пріятель былъ неравнодушенъ къ Сусаннѣ. Но она? Любила ли она его? Отчего она казалась такою несчастною? И вообще, что она была за существо? Эти вопросы безпрестанно приходили мнѣ на умъ. Темное, но сильное чувство говорило мнѣ, что за разрѣшеніемъ ихъ не слѣдовало обращаться къ Фустову. Кончилось тѣмъ, что я на слѣдующій день отправился одинъ въ домъ къ г. Ратчу.

Мнѣ стало вдругъ очень совѣстно и неловко, какъ только я очутился въ маленькой, темной передней. „Она *и не покажется, пожалуй*“, мелькнуло у меня въ головѣ,

„придется сидѣть съ гнуснымъ ветераномъ и съ его кухаркой-женой... Да и наконецъ, если даже она появится, что же изъ этого? Она и разговаривать не станетъ... Ужъ больно не ласково обошлась она со мной намедни. Зачѣмъ же я пришелъ?“ Пока я все это соображалъ, казачокъ побѣжалъ доложить обо мнѣ, и въ сосѣдней комнатѣ, послѣ двухъ или трехъ недоумѣвающихъ: „Кто такое? Кто, ты говоришь?“—послышалось тяжелое шарканье туфель, дверь слегка растворилась и въ щели между обѣими половинками выставилось лицо Ивана Демьяныча, лицо взъерошенное и угрюмое. Оно уставилось на меня и не тотчасъ измѣнило свое выраженіе... Видно, г. Ратчъ не сразу узналъ меня; но вдругъ щеки его округлились, глаза сузились и изъ раскрывавшагося рта, вмѣстѣ съ хохотомъ, вырвалось восклицаніе:

— А, батюшка, почтеннѣйшій! Это вы? Милости просимъ!

Я послѣдовалъ за нимъ тѣмъ неохотнѣе, что, мнѣ казалось, этотъ привѣтливый, веселый г. Ратчъ внутренно посылаетъ меня къ чорту. Однако дѣлать было нечего. Онъ привелъ меня въ гостиную, и что̀ же? въ гостиной сидѣла Сусанна передъ столомъ, за приходо-расходной книгой. Она глянула на меня своими сумрачными глазами и чуть-чуть прикусила ногти пальцевъ на лѣвой рукѣ... такая у ней была привычка, я замѣтилъ, привычка свойственная нервическимъ людямъ. Кромѣ ея, въ комнатѣ никого не было.

— Вотъ, сударь,—началъ г. Ратчъ и ударилъ себя по ляжкѣ:—въ какихъ занятіяхъ вы насъ съ Сусанной Ивановной застали: счетами занимаемся. Супруга моя въ „арихметикѣ“ не сильна, а я, признаться, глаза свои берегу. Безъ очковъ не могу читать, что прикажете дѣлать? Пускай же молодежь потрудится, ха-ха! Порядокъ требуетъ. Впрочемъ, дѣло не къ спѣху... Спѣшить, смѣшить, блохъ ловить, ха-ха!

Сусанна закрыла книгу и хотѣла удалиться.

— Постой, однако, постой,—заговорилъ г. Ратчъ.—Что за бѣда, что не въ туалетѣ... (На Сусаннѣ было очень *старенькое почти* дѣтское платьице съ короткими рукав-

чиками.) Дорогой гость не взыщетъ, а мнѣ бы только позапрошлую недѣлю очистить... Вы позволите?—обратился онъ ко мнѣ.—Мы вѣдь съ вами не на церемоніалахъ!

— Сдѣлайте одолженіе, не стѣсняйтесь,—воскликнулъ я.

— То-то, мой батюшка почтеннѣйшій; вамъ самимъ извѣстно: покойный государь Алексѣй Михайловичъ Романовъ говаривалъ: „Дѣлу время, а потѣхѣ минуту!“ А мы самому дѣлу одну минуту посвятимъ... ха-ха! Какіе же это тринадцать рублей тридцать копеекъ?—прибавилъ онъ вполголоса, повернувшись ко мнѣ спиной.

— Викторъ взялъ у Элеоноры Карповны; онъ сказалъ, что вы ему разрѣшили, — отвѣчала также вполголоса Сусанна.

— Сказалъ... сказалъ... разрѣшилъ...—проворчалъ Иванъ Демьянычъ. — Кажется, я тутъ самъ налицо. Спросить бы могли. А тѣ семнадцать рублей кому пошли?

— Мебельщику.

— Да... мебельщику. Это за что же?

— По счету.

— По счету. Покажь-ка! — Онъ вырвалъ у Сусанны книгу и, насадивъ на носъ круглые очки въ серебряной оправѣ, сталъ водить пальцемъ по строкамъ. — Мебельщику... мебельщику... Вамъ бы лишь бы деньги изъ дому вонъ! Вы рады!.. Wie die Croaten! По счету! А впрочемъ, — прибавилъ онъ громко, и снова поворотился ко мнѣ лицомъ и очки съ носу сдернулъ:—что же это я въ самомъ дѣлѣ! Этими дрязгами можно и послѣ заняться. Сусанна Ивановна, извольте-ка оттащить на мѣсто эту бухгалтерію, да пожалуйте къ намъ обратно и восхитите слухъ сего любезнаго посѣтителя вашимъ мусикійскимъ орудіемъ, сирѣчь фортепіанною игрой... А?

Сусанна отвернула голову.

— Я бы очень былъ счастливъ, — поспѣшно промолвилъ я:—очень было бы мнѣ пріятно послушать игру Сусанны Ивановны. Но я ни за что въ свѣтѣ не желалъ бы безпокоить...

— Какое безпокойство, что вы! Ну-съ, Сусанна Ивановна, *eins, zwei, drei!*

Сусанна ничего не отвѣчала и вышла вонъ.

XIII.

Я не ожидалъ, что она вернется; но она скоро появилась снова: даже платья не перемѣнила и, присѣвъ въ уголъ, раза два внимательно посмотрѣла на меня. Почувствовала ли она въ моемъ обращеніи съ нею то невольное, мнѣ самому неизъяснимое уваженіе, которое, больше чѣмъ любопытство, больше даже чѣмъ участіе, она во мнѣ возбуждала, находилась ли она въ тотъ день въ смягченномъ расположеніи духа, только она вдругъ подошла къ фортепіано и, нерѣшительно положивъ руку на клавиши и склонивъ немного голову черезъ плечо назадъ ко мнѣ, спросила меня, что я хочу, чтобъ она сыграла? Я не успѣлъ еще отвѣтить, какъ она уже сѣла, достала ноты, торопливо ихъ развернула и начала играть. Я съ дѣтства любилъ музыку, но въ то время я еще плохо понималъ ее, мало былъ знакомъ съ произведеніями великихъ мастеровъ, и если бы г. Ратчъ не проворчалъ съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ: „Aha! wieder dieser Beethoven!“ я бы не догадался, что именно выбрала Сусанна. Это была, какъ я потомъ узналъ, знаменитая Ф-мольная соната, opus 57. Игра Сусанны меня поразила несказанно: я не ожидалъ такой силы, такого огня, такого смѣлаго размаха. Съ самыхъ первыхъ тактовъ стремительно-страстнаго allegro, начала сонаты, я почувствовалъ то оцѣпенѣніе, тотъ холодъ и сладкій ужасъ восторга, которые мгновенно охватываютъ душу, когда въ нее неожиданнымъ налетомъ вторгается красота. Я не пошевельнулся ни однимъ членомъ до самаго конца; я все хотѣлъ, и не смѣлъ, вздохнуть. Мнѣ пришлось сидѣть сзади Сусанны, ея лица я не могъ видѣть; я видѣлъ только, какъ ея темные, длинные волосы изрѣдка прыгали и бились по плечамъ, какъ порывисто покачивался ея станъ и какъ ея тонкія руки и обнаженные локти двигались быстро и нѣсколько угловато. Послѣднія отзвучія замерли. Я вздохнулъ наконецъ. Сусанна продолжала сидѣть передъ *фортепіано.*

— Ja, ja,—замѣтилъ г. Ратчъ, который, впрочемъ, тоже слушалъ внимательно:—romantische Musik! Это нынче въ модѣ. Только зачѣмъ нечисто играть! Э? Пальчикомъ по двумъ нотамъ разомъ — зачѣмъ? Э? То-то; намъ все поскорѣй хочется, поскорѣй. Этакъ горячѣй выходитъ. Э? Блины горячіе!—задребезжалъ онъ какъ разносчикъ.

Сусанна слегка обратилась къ г. Ратчу; я увидѣлъ лицо ея въ профиль. Тонкая бровь высоко поднялась надъ опущенной вѣкой, неровный румянецъ разлился по щекѣ, маленькое ухо рдѣло подъ закинутымъ локономъ.

— Я всѣхъ лучшихъ виртуозовъ самолично слышалъ,— продолжалъ г. Ратчъ, внезапно нахмурившись:—и всѣ они передъ покойнымъ Фильдомъ—тьфу! нулъ! зерò!! Das war ein Kerl! Und ein so reines Spiel! И композиціи его—самыя прекрасныя! А всѣ эти новые „тлу-ту-ту“ да „трата-та“, это, я полагаю, больше для школяровъ писано. Da braucht man keine Delicatesse! Хлопай по клавишамъ какъ попало... Не бѣда! Что-нибудь выйдетъ! Janitscharen-Musik! Пхе! (Иванъ Демьянычъ утеръ себѣ лобъ платкомъ.) Впрочемъ, я это говорю не на вашъ счетъ, Сусанна Ивановна; вы играли хорошо и моими замѣчаніями не должны обижаться.

— У всякаго свой вкусъ,—тихимъ голосомъ заговорила Сусанна, и губы ея задрожали: — а ваши замѣчанья, Иванъ Демьянычъ, вы знаете, меня обидѣть не могутъ.

— О, конечно! Только вы не полагайте, — обратился ко мнѣ Ратчъ: — не извольте полагать, милостивый государь, что сіе происходитъ отъ излишней нашей доброты и якобы кротости душевной; а просто мы съ Сусанной Ивановной воображаемъ себя столь высоко вознесенными, что у-у! Шапка назадъ валится, какъ говорится по-русски, и уже никакая критика до насъ досягать не можетъ. Самолюбіе, милостивый государь, самолюбіе! Оно насъ доѣхало, да, да!

Не безъ изумленія слушалъ я Ратча. Желчь, желчь ядовитая такъ и закипала въ каждомъ его словѣ... И давно же она накопилась! Она душила его. Онъ попытался закончить свою тираду обычнымъ смѣхомъ,—и су-

дорожно, хрипло закашлялъ. Сусанна словечка не проронила въ отвѣтъ ему, только головой встряхнула, и лицо приподняла, да, взявшись обѣими руками за локти, прямо уставилась на него. Въ глубинѣ ея неподвижныхъ, расширенныхъ глазъ, глухимъ, незагасимымъ огнемъ тлѣла стародавняя ненависть. Жутко мнѣ стало.

— Вы принадлежите къ двумъ различнымъ музыкальнымъ поколѣньямъ,—началъ я съ насильственною развязностью, самою этою развязностью желая дать понять, что я ничего не замѣчаю,—а потому не удивительно, что вы не сходитесь въ своихъ мнѣніяхъ... Но, Иванъ Демьянычъ, вы мнѣ позволите стать на сторону... болѣе молодого поколѣнія. Я профанъ, конечно; но признаюсь вамъ, ничего, въ музыкѣ, еще не произвело на меня такого впечатлѣнія, какъ та... какъ то, что̀ Сусанна Ивановна намъ сейчасъ сыграла.

Ратчъ вдругъ накинулся на меня.

— И почему вы полагаете,—закричалъ онъ, весь еще багровый отъ кашля:—что мы желаемъ завербовать васъ въ нашъ лагерь? (Онъ выговорилъ Lager по-нѣмецки.) Нисколько намъ это не нужно, барздо дзенкуемъ! Вольному воля, спасенному—спасеніе! А что касательно двухъ поколѣній, то это точно: намъ, старикамъ, съ вами, молодыми, жить трудно, очень трудно! Наши понятія ни въ чемъ не согласны: ни въ художествѣ, ни въ жизни, ни даже въ морали. Не правда ли, Сусанна Ивановна?

Сусанна усмѣхнулась презрительною усмѣшкой.

— Особенно насчетъ, какъ вы говорите, морали, наши понятія не сходятся и не могутъ сходиться, — отвѣтила она, и что-то грозное пробѣжало у ней надъ бровями, а губы попрежнему слабо трепетали.

— Конечно, конечно!—подхватилъ Ратчъ.—Я не филозо̀въ! Я не умѣю стать... этакъ, высоко! Я человѣкъ простой, рабъ предразсудковъ, да!

Сусанна опять усмѣхнулась.

— Мнѣ кажется, Иванъ Демьянычъ, и вы иногда умѣли ставить себя выше того, что̀ называютъ предразсудками.

— *Wie so?* То-есть, какъ же это? Я васъ не понимаю.

— Не понимаете? Вы такъ забывчивы!

Г-нъ Ратчъ словно потерялся.

— Я... я...—повторялъ онъ.—Я...

— Да, вы, господинъ Ратчъ.

Послѣдовало небольшое молчаніе.

— Однако, позвольте, позвольте, — началъ было г. Ратчъ:—какъ вы можете такъ дерзко...

Сусанна внезапно вытянулась во весь ростъ и, не выпуская изъ рукъ локтей своихъ, стискивая ихъ, перебирая по нимъ пальцами, остановилась передъ Ратчемъ. Казалось, она вызывала его на борьбу, она наступала на него. Лицо ея преобразилось: оно стало вдругъ, въ мгновеніе ока, и необычайно красиво, и страшно; какимъ-то веселымъ и холоднымъ блескомъ—блескомъ стали—заблестѣли ея тусклые глаза; недавно еще трепетавшія губы сжались въ одну прямую, неумолимо-строгую черту. Сусанна вызывала Ратча; но тотъ, какъ говорится, воззрился въ нее и вдругъ умолкъ и опустился какъ мѣшокъ, и голову втянулъ въ плечи, и даже ноги подобралъ. Ветеранъ двѣнадцатаго года струхнулъ; въ этомъ нельзя было сомнѣваться.

Сусанна медленно перевела глаза свои съ него на меня, какъ бы призывая меня въ свидѣтели своей побѣды и униженія врага и, въ послѣдній разъ усмѣхнувшись, вышла вонъ изъ комнаты.

Ветеранъ остался нѣсколько времени неподвиженъ на своемъ креслѣ; наконецъ, точно вспомнивъ забытую роль, онъ встрепенулся, всталъ и, ударивъ меня по плечу, захохоталъ своимъ зычнымъ хохотомъ:

— Вотъ, подите вы, ха-ха-ха! кажется, не первый десятокъ живемъ мы съ этой барышней, а никогда она не можетъ понять, когда я шутку шучу, и когда говорю въ суріозѣ! Да и вы, почтеннѣйшій, кажется, недоумѣваете... Ха-ха-ха! Значитъ, вы еще старика Ратча не знаете!

„Нѣтъ... Я теперь тебя знаю“, думалъ я не безъ нѣкотораго страха и омерзѣнія.

— *Не знаете старика,* не знаете!—твердилъ онъ, про-

вожая меня до передней и поглаживая себя по животу.— Я человѣкъ тяжелый, битый, ха-ха! Но я добрый, ей-Богу.

Я опрометью бросился съ крыльца на улицу. Мнѣ хотѣлось поскорѣе уйти отъ этого добраго человѣка.

XIV.

„Что они другъ друга ненавидятъ, это ясно, — думалъ я, возвращаясь къ себѣ домой;—несомнѣнно также и то, что онъ человѣкъ скверный, а она хорошая дѣвушка. Но что̀ такое произошло между ними? Какая причина этого постояннаго раздраженія? Какой смыслъ этихъ намековъ? И какъ это неожиданно вспыхнуло! Подъ какимъ пустымъ предлогомъ!"

На слѣдующій день мы съ Фустовымъ собрались идти въ театръ, смотрѣть Щепкина въ „*Горе отъ ума*". Комедію Грибоѣдова только-что разрѣшили тогда, предварительно обезобразивъ ее цензурными урѣзками. Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу. Не помню, какой актеръ исполнялъ роль Чацкаго, но очень хорошо помню, что онъ былъ невыразимо дуренъ; сперва появился въ венгеркѣ и въ сапогахъ съ кисточками, а потомъ во фракѣ моднаго въ то время цвѣта „flamme de punch", и фракъ этотъ на немъ сидѣлъ, какъ на нашемъ старомъ дворецкомъ. Помню также, что балъ въ третьемъ актѣ привелъ насъ въ восхищеніе. Хотя, вѣроятно, никто и никогда въ дѣйствительности не выдѣлывалъ такихъ па̀, но это уже было такъ принято — да, кажется, исполняется такимъ образомъ и до сихъ поръ. Одинъ изъ гостей чрезвычайно высоко прыгалъ, причемъ парикъ его развѣвался во всѣ стороны, и публика заливалась смѣхомъ. Выходя изъ театра, мы въ коридорѣ столкнулись съ Викторомъ.

— Вы были въ театрѣ! — воскликнулъ онъ, взмахнувъ руками.—Какъ же это я васъ не видалъ? Я очень радъ, что встрѣтилъ васъ. Вы непремѣнно должны со мной поужинать. Пойдемте; я угощаю!

Молодой Ратчъ казался въ состояніи взволнованномъ, почти восторженномъ. Глазенки его бѣгали, онъ ухмылялся, красныя пятна выступали на лицѣ.

— На какой это радости?—спросилъ Фустовъ.

— На какой? А вотъ, не угодно ли полюбопытствовать?

Викторъ отвелъ насъ немного въ сторону и, вытащивъ изъ кармана панталонъ цѣлую пачку тогдашнихъ красныхъ и синихъ ассигнацій, потрясъ ими въ воздухѣ.

Фустовъ удивился.

— Вашъ батюшка расщедрился?

Викторъ захохоталъ.

— Нашли щедраго! Какъ же, держи карманъ!.. Сегодня утромъ, понадѣявшись на ваше ходатайство, я попросилъ у него денегъ. Что же, вы думаете, мнѣ отвѣчалъ жидоморъ? Я, говоритъ, твои долги, изволь, заплачу. До двадцати-пяти рублей включительно! Слышите: включительно! Нѣтъ, милостивый государь, это на мое сиротство Богъ послалъ. Случай такой вышелъ.

— Ограбили кого-нибудь? — небрежно промолвилъ Фустовъ.

Викторъ нахмурился.

— Ухъ, такъ вотъ и ограбилъ! Выигралъ-съ, выигралъ у офицера, у гвардейца! Вчера только изъ Петербурга прикатилъ. И какое стеченіе обстоятельствъ! Стòитъ разсказать... да тутъ неловко. Пойдемте къ Яру: два шага всего. Сказано, я угощаю!

Намъ, быть-можетъ, слѣдовало отказаться; но мы пошли безъ возраженій.

XV.

У Яра насъ провели въ особую комнату, подали ужинъ, принесли шампанскаго. Викторъ разсказалъ намъ со всѣми подробностями, какъ онъ въ одномъ пріятномъ домѣ встрѣтилъ этого офицера-гвардейца, очень милаго малаго и хорошей фамиліи, только безъ царя въ головѣ; какъ они познакомились, какъ онъ, офицеръ то-есть, вздумалъ для шутки предложить ему, Виктору, играть въ дурачки старыми картами, почти-что на орѣхи и съ тѣмъ условіемъ, чтобъ офицеру играть на счастіе Вильгельмины, а Виктору на свое собственное счастіе; какъ потомъ пошло *дѣло на пари.*

— А у меня-то, у меня-то, — воскликнулъ Викторъ, и вскочилъ, и въ ладоши захлопалъ: — всего шесть рублей въ карманѣ. Представьте! И сначала я совсѣмъ профер шпилился... Каково положеніе?! Только тутъ, ужъ я не знаю чьими молитвами, фортуна улыбнулась. Тотъ горя читься сталъ, всѣ карты показываетъ... Глядь! семьсот пятьдесятъ рублей и пробухалъ! Сталъ еще просить по играть, ну, да я малый не промахъ, думаю: нѣтъ, этаков благодатью злоупотреблять не надо; шапку сгребъ и маршъ! Вотъ теперь и старику не зачѣмъ кланяться, и товарищей угостить можно... Эй! человѣкъ! Еще бутылку Господа, чокнемтесь!

Мы чокнулись съ Викторомъ и продолжали пить и смѣяться, хотя разсказъ его намъ вовсе не понравился, да и самое его общество намъ удовольствія доставляло мало Онъ принялся любезничать, балагурить, расходился однимъ словомъ, и сдѣлался еще противнѣе. Викторъ замѣтилъ наконецъ, какое онъ производилъ на насъ впечатлѣніе и насупился; рѣчи его стали отрывистѣй, взгляды мрачнѣе. Онъ началъ зѣвать, объявилъ, что спать хочетъ, и обругавъ со свойственною ему грубостью трактирнаго слугу за худо прочищенный чубукъ, внезапно, съ выраженьемъ вызова на искривленномъ лицѣ, обратился къ Фустову:

— Послушайте-ка, Александръ Давыдычъ, — промолвилъ онъ: — скажите, пожалуйста, за что̀ вы меня презираете?

— Какъ такъ?—не сразу нашелся отвѣтить мой пріятель

— Да такъ же... Я очень хорошо чувствую и знаю что вы меня презираете, и этотъ господинъ (онъ указалъ на меня пальцемъ) тоже, туда же! И хоть бы вы сами очень уже высокою нравственностью отличались, а то такой же грѣшникъ, какъ мы всѣ. Еще хуже. Въ тихомъ омутѣ... пословицу знаете?

Фустовъ покраснѣлъ.

— Что̀ вы хотите этимъ сказать?—спросилъ онъ.

— А то, что я еще не ослѣпъ и отлично вижу все, что *у меня передъ* носомъ дѣлается: шуры-то-муры ваши съ

сестрицей моей я вижу... И ничего я противъ этого не имѣю, потому: во-первыхъ, не въ моихъ правилахъ, а во-вторыхъ, моя сестрица, Сусанна Ивановна, сама черезъ всѣ тяжкія прошла... Только меня-то за что̀ же презирать?

— Вы сами не понимаете, что̀ вы такое лепечете! Вы пьяны,—проговорилъ Фустовъ, доставая пальто со стѣны.— Обыгралъ, навѣрное, какого-то дурака и вретъ теперь чортъ знаетъ что̀!

Викторъ продолжалъ лежать на диванѣ и только заболталъ ногами, перевѣшенными черезъ ручку.

— Обыгралъ! Зачѣмъ же вы вино пили? Оно вѣдь на выигрышныя деньги куплено. А врать мнѣ нечего. Не я виноватъ, что Сусанна Ивановна въ своей прошедшей жизни...

— Молчите! — закричалъ на него Фустовъ. — Молчите... или...

— Или что̀?

— Вы узнаете что̀. Петръ, пойдемъ.

— Ага!—продолжалъ Викторъ:—великодушный рыцарь нашъ въ бѣгство обращается. Видно, не хочется правду-то узнать! Видно, колется она, правда-то!

— Да пойдемъ же, Петръ,—повторилъ Фустовъ, окончательно потерявшій обычное свое хладнокровіе и самообладаніе.—Оставимъ этого дрянного мальчишку!

— Этотъ мальчишка не боится васъ, слышите,—закричалъ намъ вслѣдъ Викторъ:—презираетъ васъ этотъ мальчишка, пре-зи-раетъ! Слышите!

Фустовъ такъ проворно шелъ по улицѣ, что я съ трудомъ поспѣвалъ за нимъ. Вдругъ онъ остановился и круто повернулъ назадъ.

— Куда ты?—спросилъ я.

— Да надо узнать, что этотъ глупецъ... Онъ, пожалуй, спьяна, Богъ знаетъ что... Только ты не иди за мной... мы завтра увидимся. Прощай!

И торопливо пожавъ мою руку, Фустовъ направился къ гостинницѣ Яръ.

На другой день мнѣ не удалось увидѣть Фустова, а на

слѣдующій за тѣмъ день я, зайдя къ нему на квартиру, узналъ, что онъ выѣхалъ къ своему дядѣ въ подмосковную. Я полюбопытствовалъ, не оставилъ ли онъ записки на мое имя, но никакой записки не оказалось. Тогда я спросилъ лакея, не знаетъ ли онъ, сколько времени Александръ Давыдычъ останется въ деревнѣ.—Недѣли съ двѣ, а то побольше, такъ полагать надо,—отвѣчалъ лакей. Я на всякій случай взялъ точный адресъ Фустова и въ раздумьѣ побрелъ домой. Эта неожиданная отлучка изъ Москвы, зимой, окончательно повергла меня въ недоумѣніе. Моя добрая тетушка замѣтила мнѣ за обѣдомъ, что я все ожидаю чего-то и гляжу на пирогъ съ капустой, какъ будто въ первый разъ отроду его вижу. — Pierre, vous n'êtes pas amoureux? — воскликнула она, наконецъ, предварительно удаливъ своихъ компаньонокъ. Но я успокоилъ ее:—нѣтъ, я не былъ влюбленъ.

XVI.

Прошло три дня. Меня подмывало пойти къ Ратчамъ; мнѣ сдавалось, что въ ихъ домѣ я долженъ былъ найти разгадку всего, что̀ меня занимало, что̀ я понять не могъ... Но мнѣ пришлось бы опять встрѣтиться съ ветераномъ... Эта мысль меня удерживала. Вотъ, въ одинъ ненастный вечеръ—на дворѣ злилась и выла февральская вьюга, сухой снѣгъ по временамъ стучалъ въ окна, какъ брошенный сильною рукою крупный песокъ,—я сидѣлъ въ моей комнаткѣ и пытался читать книгу. Мой слуга вошелъ и не безъ нѣкоторой таинственности доложилъ, что какая-то дама желаетъ меня видѣть. Я удивился... дамы меня не посѣщали, особенно въ такую позднюю пору; однако, велѣлъ просить. Дверь отворилась, и быстрыми шагами вошла женщина, вся закутанная въ легкій лѣтній плащъ и желтую шаль. Порывистымъ движеніемъ сбросила она съ себя эту шаль и этотъ плащъ, занесенный снѣгомъ, и я увидѣлъ предъ собой Сусанну. Я до того изумился, что слова не промолвилъ, а она приблизилась къ окну и, прислонившись къ стѣнѣ плечомъ, осталась неподвижною; *только грудь* судорожно поднималась и глаза блуждали, и

съ легкимъ оханьемъ вырывалось дыханіе изъ помертвѣлыхъ губъ. Я понялъ, что не простая бѣда привела ее ко мнѣ; я понялъ, несмотря на свое легкомысліе и молодость, что въ этотъ мигъ предо мной завершалась судьба цѣлой жизни — горькая и тяжелая судьба.

— Сусанна Ивановна,—началъ я:—какимъ образомъ...

Она внезапно схватила мою руку своими застывшими пальцами, но голосъ измѣнилъ ей. Она вздохнула прерывисто и потупилась. Тяжелыя косы черныхъ волосъ упали ей на лицо... Снѣжная пыль еще не сошла съ нихъ.

— Пожалуйста, успокойтесь, сядьте, — заговорилъ я опять: — вотъ тутъ, на диванѣ. Что такое случилось? Сядьте, прошу васъ.

— Нѣтъ, — промолвила она чуть слышно и опустилась на подоконникъ.—Мнѣ здѣсь хорошо... Оставьте... Вы не могли ожидать... но если бъ вы знали... если бъ я могла... если бъ...

Она хотѣла переломить себя, но съ потрясающей силой хлынули изъ глазъ ея слезы — и рыданія, поспѣшныя, жадныя рыданія огласили комнату. Сердце во мнѣ перевернулось... Я потерялся. Я видѣлъ Сусанну всего два раза; я догадывался, что нелегко ей было жить на свѣтѣ, но я считалъ ее за дѣвушку гордую, съ твердымъ характеромъ, и вдругъ эти неудержимыя, отчаянныя слезы... Господи! Да такъ плачутъ только передъ смертью!

Я стоялъ самъ какъ къ смерти приговоренный.

— Извините меня, — промолвила она, наконецъ, нѣсколько разъ, почти со злобой, утирая одинъ глазъ за другимъ.—Это сейчасъ пройдетъ. Я къ вамъ пришла...—Она еще всхлипывала, но уже безъ слезъ. — Я пришла... Вы вѣдь знаете, Александръ Давыдычъ уѣхалъ?

Однимъ этимъ вопросомъ Сусанна во всемъ призналась, и при этомъ такъ на меня взглянула, точно желала сказать: „Вѣдь ты поймешь, ты пощадишь, не правда ли?“ Несчастная! Стало-быть, ей уже не оставалось другого исхода!

Я не зналъ, что ей отвѣтить...

— *Онъ уѣхалъ, онъ уѣхалъ*... онъ повѣрилъ!—говори-

ла между тѣмъ Сусанна.—Онъ не захотѣлъ даже спросить меня; онъ подумалъ, что я не скажу ему всей правды; онъ могъ это подумать обо мнѣ? Какъ будто я когда-нибудь его обманывала!

Она закусила нижнюю губу и, слегка нагнувшись, начала царапать ногтемъ ледяные узоры, наросшіе на стеклѣ. Я поспѣшно вышелъ въ другую комнату и, уславъ моего слугу, немедленно вернулся и зажегъ другую свѣчку. Я хорошенько не зналъ, зачѣмъ я все это дѣлалъ... очень ужъ я былъ смущенъ.

Сусанна попрежнему сидѣла на подоконникѣ, и я тутъ только замѣтилъ, какъ легко она была одѣта: сѣрое платьице съ бѣлыми пуговицами и широкій кожаный поясъ, вотъ и все. Я приблизился къ ней, но она не обратила на меня вниманія.

— Онъ повѣрилъ... онъ повѣрилъ, — шептала она, тихонько покачиваясь изъ стороны въ сторону. — Онъ не поколебался, онъ нанесъ этотъ послѣдній... послѣдній ударъ!—Она вдругъ повернулась ко мнѣ.—Вы знаете его адресъ?

— Да, Сусанна Ивановна... я узналъ отъ его людей... у него въ домѣ. Онъ мнѣ самъ ничего не сказалъ о своемъ намѣреніи, я его два дня не видалъ, пошелъ освѣдомиться, а онъ уже уѣхалъ изъ Москвы.

— Вы знаете его адресъ, — повторила она.— Ну, такъ напишите ему, что онъ убилъ меня. Вы хорошій человѣкъ, я знаю. Съ вами онъ не говорилъ обо мнѣ, навѣрное, а со мной онъ говорилъ о васъ. Напишите... ахъ, напишите ему, чтобъ онъ поскорѣе вернулся, если онъ хочетъ еще застать меня въ живыхъ!.. Да нѣтъ! Онъ меня уже не застанетъ!..

Голосъ Сусанны утихалъ съ каждымъ словомъ, и вся она утихала. Но мнѣ это спокойствіе казалось еще страшнѣе, чѣмъ тѣ недавнія рыданія.

— Онъ повѣрилъ ему...—сказала она еще разъ и оперлась подбородкомъ на сложенныя руки.

Внезапный порывъ вѣтра съ рѣзкимъ свистомъ и *стукомъ снѣга ударилъ* въ окно, холодная струя пробѣжала

по комнатѣ... Пламя свѣчей пошатнулось... Сусанна вздрогнула.

Я снова попросилъ ее сѣсть на диванъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, оставьте, — отвѣчала она: — мнѣ здѣсь хорошо. Пожалуйста. — Она прижалась къ промерзлому стеклу, точно она нашла себѣ гнѣздышко въ углубленіи окна.—Пожалуйста.

— Но вы дрожите, вы озябли, — воскликнулъ я. — Посмотрите, ваши ботинки промокли.

— Оставьте... пожалуйста...—прошептала она и закрыла глаза.

Страхъ нашелъ на меня.

— Сусанна Ивановна! — чуть не вскрикнулъ я: — придите въ себя, прошу васъ! Что съ вами? Къ чему такое отчаяніе! Вы увидите, все разъяснится, какое-нибудь недоразумѣніе... неожиданный случай... Вы увидите, онъ скоро возвратится. Я ему дамъ знать, я сегодня же ему напишу... Но я не повторю ему вашихъ словъ... Какъ можно!

— Онъ меня не застанетъ, — промолвила Сусанна все тѣмъ же тихимъ голосомъ.—Неужели бы я пришла сюда, къ вамъ, къ незнакомому человѣку, если бы не знала, что не останусь жива? Ахъ, все мое послѣднее унесено безвозвратно! Вотъ, мнѣ и не хотѣлось умереть такъ, въ одиночку, въ молчанку, не сказавъ никому: „Я все потеряла... и я умираю... Посмотрите!“

Она снова ушла въ свое холодное гнѣздышко... Не забуду я вовѣкъ этой головы, этихъ неподвижныхъ глазъ съ ихъ глубокимъ и погасшимъ взоромъ, этихъ темныхъ разсыпанныхъ волосъ на блѣдномъ стеклѣ окна, самаго этого сѣренькаго, тѣснаго платья, подъ каждой складкой котораго еще билась такая молодая, горячая жизнь!

Я невольно всплеснулъ руками.

— Вамъ... вамъ умереть, Сусанна Ивановна! Вамъ только жить... Вамъ жить должно!

Она посмотрѣла на меня... Мои слова ее какъ будто удивили.

— *Ахъ, вы не знаете*, — начала она и тихонько уро-

нила обѣ руки.—Мнѣ нельзя жить. Слишкомъ, слишкомъ много пришлось терпѣть, слишкомъ! Я переносила... я надѣялась... но теперь... когда и это рушилось... когда...

Она подняла глаза къ потолку и словно задумалась. Трагическая черта, которую я нѣкогда замѣтилъ у ней около губъ, теперь обозначалась еще яснѣе; она распространилась по всему лицу. Казалось, чей-то неумолимый перстъ провелъ ее безвозвратно, навсегда отмѣтилъ это погибшее существо.

Она все молчала.

— Сусанна Ивановна, — сказалъ я, чтобы чѣмъ-нибудь нарушить эту страшную тишину: — онъ вернется, увѣряю васъ.

Сусанна посмотрѣла на меня.

— Что вы говорите? — промолвила она съ видимымъ усиліемъ.

— Онъ вернется, Сусанна Ивановна, Александръ вернется!

— Онъ вернется?—повторила она. — Но если бы даже онъ вернулся, не могу я простить ему это униженіе, это недовѣріе...

Она схватила себя за голову.

— Боже мой! Боже мой! Что̀ я говорю! И зачѣмъ я здѣсь? Что это такое? О чемъ... о чемъ я пришла просить... и кого? Ахъ, я съ ума схожу!..

Глаза ея остановились.

— Вы хотѣли просить меня, чтобъ я написалъ Александру,—поспѣшилъ я подсказать ей.

Она встрепенулась.

— Да, напишите... напишите, что̀ хотите... А вотъ это...—Она торопливо пошарила у себя въ карманѣ и достала небольшую тетрадку. — Это я-было для него написала... передъ его бѣгствомъ... Но вѣдь онъ повѣрилъ... повѣрилъ тому!

Я понималъ, что рѣчь шла о Викторѣ; Сусанна не хотѣла назвать его, не хотѣла произнести его ненавистное имя.

— *Однако, позвольте*, Сусанна Ивановна,—началъ я:—

почему же вы полагаете, что Александръ Давыдычъ имѣлъ разговоръ... съ тѣмъ человѣкомъ?

— Почему? Почему? Но тотъ самъ пришелъ ко мнѣ и все разсказалъ, и хвастался... и такъ же смѣялся, какъ его отецъ! Вотъ, вотъ, возьмите,—продолжала она, всовывая мнѣ тетрадку въ руку: — прочтите, пошлите ему, сожгите, бросьте, дѣлайте, что́ хотите, какъ хотите... Но нельзя же умереть такъ, чтобы никто не зналъ... А теперь мнѣ пора... Мнѣ идти надо.

Она поднялась съ подоконника... Я остановилъ ее.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна, помилуйте! Послушайте, какая вьюга! Вы такъ легко одѣты.... И домъ вашъ отсюда не близко. Позвольте, я хоть за каретой пошлю, за извозчикомъ...

— Не надо, ничего не надо,—промолвила она, настойчиво отклоняя меня и взявшись за плащъ и за шаль.—Не удерживайте меня, ради Бога! а то... я ни за что не отвѣчаю! Я чувствую бездну, темную бездну подъ ногами... Не подходите! не трогайте меня!—Съ лихорадочной поспѣшностью надѣла она плащъ, накинула шаль.—Прощайте... Прощайте. О, бѣдное, бѣдное мое племя, племя вѣчныхъ странниковъ, проклятіе лежитъ на тебѣ! Но вѣдь меня никто не любилъ, съ какой же стати было ему... — Она вдругъ умолкла.—Нѣтъ, меня любилъ одинъ,—заговорила она опять, ломая руки: — но смерть всюду, всюду неизбѣжная смерть! Теперь моя очередь... Не идите за мной, — пронзительно вскрикнула она. — Не идите! Не идите!

Я остолбенѣлъ, а она бросилась вонъ и, мгновенье спустя, я слышалъ, какъ грохнула внизу тяжелая дверь на улицу, и оконныя рамы снова вздрогнули подъ напоромъ мятели.

Я не скоро опомнился. Я только-что начиналъ жить тогда: не испыталъ ни страсти, ни скорби, и рѣдко бывалъ свидѣтелемъ того, какъ выражаются въ другихъ тѣ сильныя чувства... Но искренность этой скорби, этой страсти меня поразила. Если бы не тетрадка въ рукахъ моихъ, я, право, могъ бы подумать, что я все это во снѣ

видѣлъ — до того это все было необычайно и пронеслось какъ мгновенный грозовой ливень. До полуночи читалъ я эту тетрадку. Она состояла изъ нѣсколькихъ листовъ почтовой бумаги, кругомъ исписанныхъ крупнымъ, но неправильнымъ почеркомъ, почти безъ помарокъ. Ни одна строка не шла прямо и, казалось, въ каждой чувствовался тревожный трепетъ руки, водившей перомъ. Вотъ что̀ стояло въ этой тетрадкѣ (я ее сберегъ до сихъ поръ):

XVII.

Моя исторія.

„Мнѣ въ нынѣшнемъ году минетъ двадцать восемь лѣтъ. Вотъ мои первыя воспоминанія: я живу въ Тамбовской губерніи, у одного богатаго помѣщика, Ивана Матвѣича Колтовского, въ его деревенскомъ домѣ, въ небольшой комнатѣ второго этажа. Со мной вмѣстѣ живетъ мать моя, еврейка, дочь умершаго живописца, вывезеннаго изъ-за границы, болѣзненная женщина съ необыкновенно-красивымъ, какъ воскъ блѣднымъ лицомъ и такими грустными глазами, что, бывало, какъ только она долго посмотритъ на меня, я, и не глядя на нее, непремѣнно почувствую этотъ печальный, печальный взоръ, и заплачу, и брошусь ее обнимать. Ко мнѣ ѣздятъ наставники, меня учатъ музыкѣ и зовутъ меня барышней. Я обѣдаю за господскимъ столомъ вмѣстѣ съ матушкой. Г-нъ Колтовской—высокій, видный старикъ съ величавою осанкой; отъ него всегда пахнетъ амброй. Я боюсь его до смерти, хоть онъ зоветъ меня Suzon и даетъ мнѣ цѣловать, сквозь кружевную манжетку, свою сухую, жилистую руку. Съ матушкой онъ изысканно-вѣжливъ, но бесѣдуетъ и съ нею мало: скажетъ ей два-три благосклонныя слова, на которыя она тотчасъ торопливо отвѣтитъ, — скажетъ и умолкнетъ, и сидитъ, съ важностью озираясь кругомъ и медленно перебирая щепотку испанскаго табаку въ золотой, круглой табакеркѣ, съ вензелемъ императрицы Екатерины.

„Девятый годъ моего возраста остался мнѣ навсегда

памятнымъ... Я узнала тогда, черезъ горничныхъ въ дѣвичьей, что Иванъ Матвѣичъ Колтовской мнѣ отецъ, и почти въ тотъ же день мать моя, по его приказанію, вышла замужъ за г. Ратча, который состоялъ у него тѣмъ-то въ родѣ управляющаго. Я никакъ не могла понять, какъ это возможно, я недоумѣвала, я чуть не заболѣла, моя голова изнемогала, умъ становился втупикъ. „Правда ли, правда ли, мама",—спросила я ее:—„этотъ *бука пахучій* (такъ я звала Ивана Матвѣича) мой папа?" Матушка испугалась чрезвычайно, зажала мнѣ ротъ... — „Никогда, никому не говори объ этомъ, слышишь, Сусанна, слышишь—ни слова!"...—твердила она трепетнымъ голосомъ, крѣпко прижимая мою голову къ своей груди... И я точно никому объ этомъ не говорила... Это приказаніе моей матери я поняла... Я поняла, что я должна была молчать, что моя мать у меня прощенія просила!

„Несчастье мое началось тогда же. Г-нъ Ратчъ не любилъ моей матери, и она его не любила. Онъ женился на ней изъ-за денегъ, а она должна была повиноваться. Г-нъ Колтовской, вѣроятно, нашелъ, что такимъ образомъ все устроилось къ лучшему — „la position était régularisée". Помню, наканунѣ свадьбы—мать моя и я—мы обѣ, обнявшись, проплакали почти цѣлое утро — горько-горько и молча. Не диво, что она молчала... Что̀ могла она сказать мнѣ? Но что я ее не разспрашивала — это доказываетъ только то, что несчастныя дѣти умнѣютъ скорѣе счастливыхъ... на свою бѣду.

„Г-нъ Колтовской продолжалъ заниматься моимъ воспитаніемъ и даже понемногу приблизилъ меня къ своей особѣ. Онъ со мной не разговаривалъ... но утромъ и вечеромъ, стряхнувъ двумя пальцами съ своего жабо̀ табачныя пылинки, онъ тѣми же двумя пальцами, холодными какъ ледъ, трепалъ меня по щекѣ и давалъ мнѣ какія-то темныя конфетки, тоже съ запахомъ амбры, которыхъ я никогда не ѣла. Двѣнадцати лѣтъ отъ роду я стала его лектрисой, „sa petite lectrice". Я читала ему французскія сочиненія прошлаго столѣтія, мемуары Сенъ-Симона, *Мабли, Рейналя, Гельвеція*, переписку Вольтера, энцикло-

педистовъ, ничего, конечно, не понимая, даже тогда, когда онъ, осклабясь и зажмурясь, приказывалъ мнѣ: „relire ce dernier paragraphe, qui est bien remarquable!“ Иванъ Матвѣичъ былъ совершенный французъ. Онъ жилъ въ Парижѣ, до революціи, помнилъ Марію-Антуанету, получилъ приглашеніе къ ней въ Тріанонъ; видѣлъ и Мирабо, который, по его словамъ, носилъ очень большія пуговицы—„exagéré en tout“—и былъ вообще человѣкъ дурного тона — „en dépit de sa naissance!“ Впрочемъ, Иванъ Матвѣичъ рѣдко разсказывалъ о томъ времени; но раза два или три въ годъ произносилъ, обращаясь къ кривому старичку-эмигранту, котораго держалъ на хлѣбахъ и называлъ, Богъ знаетъ почему, „M. le Commandeur“, произносилъ, своимъ неспѣшнымъ, носовымъ голосомъ экспромптъ, нѣкогда сказанный имъ на вечерѣ у герцогини Полиньякъ. Я помню только первые два стиха... (Дѣло шло о параллели между русскими и французами):

L'aigle se plait aux régions austères,
Où le ramier ne saurait habiter...

— Digne de M. de Saint Aulaire!—всякій разъ восклицалъ M. le Commandeur.

„Иванъ Матвѣичъ до самой смерти казался моложавымъ: щеки у него были розовыя, зубы бѣлые, брови густыя и неподвижныя, глаза пріятные и выразительные: свѣтлые черные глаза, настоящій агатъ; онъ вовсе не былъ капризенъ и обходился со всѣми, даже со слугами, очень учтиво... Но, Боже мой! какъ мнѣ было тяжело съ нимъ, съ какою радостью я всякій разъ отъ него уходила, какія нехорошія мысли возмущали меня въ его присутствіи! Ахъ, я не была въ нихъ виновата!.. Не виновата и въ томъ, что̀ изъ меня сдѣлали...

„Г-ну Ратчу, послѣ его свадьбы, былъ отведенъ флигель недалеко отъ господскаго дома. Я жила тамъ съ моею матерью. Невесело было мнѣ и тамъ. У нея скоро родился сынъ, тотъ самый Викторъ, котораго я въ правѣ считать и называть моимъ врагомъ. Съ самаго его рожденія, здоровье моей матушки, и прежде слабое, уже не

понравилось. Г-нъ Ратчъ въ то время не считалъ нужнымъ выказывать ту веселость, которой онъ теперь предается: онъ имѣлъ видъ постоянно суровый и старался прослыть за дѣльца. Со мной онъ былъ жестокъ и грубъ. Я чувствовала удовольствіе, когда уходила отъ Ивана Матвѣича; но и свой флигель я покидала охотно... Несчастная моя молодость! Вѣчно отъ одного берега къ другому, и ни къ которому не хочется пристать! Бывало, бѣжишь черезъ дворъ, зимой, по глубокому снѣгу, въ холодномъ платьицѣ, бѣжишь въ господскій домъ къ Ивану Матвѣичу на чтеніе и словно радуешься... А придешь, увидишь эти большія, унылыя комнаты, эти пестрыя штофныя мебели, этого привѣтливаго и бездушнаго старика въ шелковой „дульеткѣ" нараспашку, въ бѣломъ жабо и бѣломъ галстукѣ, съ маншетками на пальцахъ, съ „супсономъ" пудры (такъ выражался его камердинеръ) на зачесанныхъ назадъ волосахъ, захватитъ тебѣ дыханіе этотъ душный запахъ амбры, и сердце такъ и упадетъ. Иванъ Матвѣичъ сидѣлъ обыкновенно въ просторныхъ вольтеровскихъ креслахъ; на стѣнѣ, надъ его головой висѣла картина, изображавшая молодую женщину съ яснымъ и смѣлымъ выраженіемъ лица, одѣтую въ богатый еврейскій костюмъ и всю покрытую драгоцѣнными камнями, жемчугомъ... Я часто заглядывалась на эту картину, но только впослѣдствіи узнала, что это былъ портретъ моей матери, писанный ея отцомъ по заказу Ивана Матвѣича. Измѣнилась же она съ того времени! Умѣлъ онъ сломить и уничтожить ее! „И она его любила! Любила этого старика!" — думалось мнѣ. — „Какъ это возможно? Его любить!" А между тѣмъ, когда я вспоминала иные взгляды матушки, иныя недомолвки и невольныя движенія... „Да, да, она любила его!" — твердила я съ ужасомъ. Ахъ, не дай Богъ никому испытывать такія ощущенія!

„Каждый день я читала Ивану Матвѣичу, иногда три, четыре часа сряду... Мнѣ было вредно такъ много и такъ громко читать. Докторъ нашъ боялся за мою грудь и даже однажды доложилъ объ этомъ Ивану Матвѣичу. Но

тотъ только улыбнулся (то-есть, нѣтъ: онъ никогда не улыбался, а какъ-то завастривалъ и выдвигалъ впередъ губы) и сказалъ ему: „Vous ne savez pas ce qu'il y a de ressources dans cette jeunesse". — „Однако, въ прежніе годы, M. le Commandeur"... — осмѣлился-было замѣтить докторъ. Иванъ Матвѣичъ опять усмѣхнулся. „Vous rêvez, mon cher, — перебилъ онъ его: — le Commandeur n'a plus de dents et il crache à chaque mot. J'aime les voix jeunes".

„И я продолжала читать, хоть и много кашляла по утрамъ и по ночамъ...

„Иногда Иванъ Матвѣичъ заставлялъ меня играть на фортепіано. Но музыка дѣйствовала усыпительно на его нервы. Глаза его тотчасъ закрывались, голова мѣрно опускалась, и только изрѣдка слышалось: „C'est du Steibelt, n'est-ce-pas? Jouez moi du Steibelt!" Иванъ Матвѣичъ считалъ Штейбельта великимъ геніемъ, умѣвшимъ побѣдить въ себѣ „la grossière lourdeur des Allemands", и упрекалъ его въ одномъ: „trop de fougue! trop d'imagination!"... Когда же Иванъ Матвѣичъ замѣчалъ, что я уставала за фортепіано, онъ предлагалъ мнѣ „du cachou de Bologne". Такъ шли дни за днями...

„И вотъ, въ одну ночь—незабвенную нòчь!—страшное несчастіе меня поразило. Моя матушка скончалась почти внезапно. Мнѣ только-что минуло пятнадцать лѣтъ. О, какое это было горе, какимъ злымъ вихремъ оно налетѣло на меня! Какъ запугала меня эта первая встрѣча со смертію! Бѣдная моя матушка! Странныя были наши отношенія: мы обѣ страстно любили другъ друга... страстно и безнадежно; мы обѣ словно хранили и скрывали отъ самихъ себя общую намъ тайну, упорно молчали о ней, хотя знали, знали все, что̀ происходило въ глубинѣ сердецъ нашихъ! Даже о прошедшемъ, о раннемъ своемъ прошедшемъ, матушка со мной не говорила и никогда не жаловалась словами, хотя все существо ея было одна нѣмая жалоба! Мы избѣгали всякаго нѣсколько серьезнаго разговора. Ахъ! я все надѣялась, что придетъ часъ, и она *выскажется* наконецъ, и я выскажусь, и легче станетъ

нимъ... Но заботы ежедневныя, нерѣшительный и робкій нравъ, болѣзни, присутствіе г-на Ратча, а главное: этотъ вѣчный вопросъ „къ чему?“ и это неуловимое, безпрерывное утеканіе времени, жизни... Кончилось все громовымъ ударомъ, и не только тѣхъ словъ, которыя бы разрѣшили нашу тайну, даже обычныхъ предсмертныхъ прощаній мнѣ не пришлось услышать отъ моей матушки! Только и осталось у меня въ памяти, что восклицаніе г. Ратча: „Сусанна Ивановна, извольте итти, мать васъ благословить желаетъ!“ а потомъ блѣдная рука изъ-подъ тяжелаго одѣяла, дыханіе мучительное, закатившійся глазъ... О, довольно! довольно!

„Съ какимъ ужасомъ, съ какимъ негодованіемъ, съ какимъ тоскливымъ любопытствомъ я на слѣдующій день и въ день похоронъ смотрѣла на лицо моего отца... да, моего отца! Въ шкатулкѣ покойницы нашлись его письма. Мнѣ показалось, что онъ поблѣднѣлъ немного и осунулся... а впрочемъ, нѣтъ! Ничего не шевельнулось въ этой каменной душѣ. Точно такъ же, какъ и прежде, позвалъ онъ меня, спустя недѣлю, въ кабинетъ; точно тѣмъ же голосомъ попросилъ читать: „Si vous le voulez bien, les observations sur l'histoire de France de Mably, à la page 74... là, ou nous avons été interrompus“. И даже портрета матушки онъ не велѣлъ вынести! Правда, отпуская меня, онъ подозвалъ меня къ себѣ и, давъ вторично поцѣловать свою руку, промолвилъ: „Suzanne, la mort de votre mère vous a privée de votre appui naturel; mais vous pourrez toujours compter sur ma protection“, но тотчасъ же слегка пихнулъ меня въ плечо другою рукой и, съ обычнымъ своимъ завастриваніемъ губъ, прибавилъ: „Allez, mon enfant“. Я хотѣла-было закричать ему: „да вѣдь вы мой отецъ!“ но я ничего не сказала и пошла.

„На другое утро, рано, я пошла на кладбище. Май мѣсяцъ стоялъ тогда во всей красѣ цвѣтовъ и листьевъ, и долго я сидѣла на свѣжей могилѣ. Я не плакала, не грустила; у меня одно вертѣлось въ головѣ: „Слышишь, мама? Онъ хочетъ и мнѣ оказывать покровительство!“ *И мнѣ казалось, что мать моя* не должна была оскор-

биться тою усмѣшкой, которая невольно просилась мнѣ на губы.

„Иногда я спрашиваю себя: что̀ заставляло меня такъ настойчиво желать, добиваться — не признанья...“ куда! а хоть теплаго родственнаго слова отъ Ивана Матвѣича? Развѣ я не знала, что̀ онъ былъ за человѣкъ и какъ мало онъ походилъ на то, чѣмъ въ моихъ мечтаніяхъ представлялся мнѣ *отецъ?*.. Но я была такъ одинока, такъ одинока на землѣ! И потомъ, все та же неотступная мысль не давала мнѣ покоя: „Вѣдь она его любила? За что-нибудь она полюбила же его?“

„Прошло еще три года. Ничего не измѣнялось въ нашей однообразной, заранѣе размѣренной, разсчитанной жизни. Викторъ подрасталъ. Я была старше его восемью годами и охотно занялась бы имъ, но г. Ратчъ этому воспротивился. Онъ приставилъ къ нему няню, которая должна была строго наблюдать, чтобы ребенокъ не „баловался“, то-есть не допускать меня до него. Да и самъ Викторъ меня чуждался. Однажды г. Ратчъ пришелъ въ мою комнату разстроенный, взволнованный, злобный. Уже наканунѣ дошли до меня дурные слухи о моемъ вотчимѣ: люди толковали, будто онъ былъ уличенъ въ утайкѣ значительной суммы, во взяткѣ съ купца.

— Вы можете помочь мнѣ,—началъ онъ, нетерпѣливо постукивая пальцами по столу. — Подите, попросите за меня Ивана Матвѣича.

— Попросить? съ какой стати? о чемъ?

— Походатайствуйте за меня... вѣдь я вамъ все-таки не чужой. Меня обвиняютъ... Ну, словомъ, я могу безъ хлѣба остаться, да и вы тоже.

— Но какъ же я къ нему пойду? Какъ я стану его безпокоить?

— Вотъ еще! Вы имѣете *право* его безпокоить!

— Какое же право, Иванъ Демьянычъ?

— Ну, не притворяйтесь... *Вамъ* онъ не можетъ отказать по многимъ причинамъ. Неужели же вы меня не понимаете?

„*Онъ нагло* посмотрѣлъ мнѣ въ глаза, и я почувство-

вала, что щеки мои такъ и загорѣлись. Ненависть, презрѣніе поднялись во мнѣ разомъ, хлынули волной, затопили меня.

— Да, я понимаю васъ, Иванъ Демьянычъ,—отвѣтила я ему наконецъ. Мой голосъ мнѣ самой показался незнакомымъ.—И я не пойду къ Ивану Матвѣичу, и не стану его просить. Безъ хлѣба, такъ безъ хлѣба!

„Г-нъ Ратчъ дрогнулъ, стиснулъ зубы, сжалъ кулаки.

— Ну, погоди же, царевна Меликитриса!—хрипло прошепталъ онъ.—Я тебѣ этого не забуду!

„Въ тотъ же день Иванъ Матвѣичъ потребовалъ его къ себѣ и, говорятъ, грозилъ ему тростью, тою самою тростью, которою нѣкогда обмѣнялся съ дюкомъ де-Ларошфуко, кричалъ: „Вы суть подлецъ и мздолюбецъ! Я васъ поставлю наружу!“ (Иванъ Матвѣичъ почти совсѣмъ не умѣлъ говорить по-русски и презиралъ наше „грубое нарѣчіе“, ce jargon vulgaire et rude. Кто-то при немъ сказалъ однажды: „это само собою разумѣется“. Иванъ Матвѣичъ пришелъ въ негодованіе и часто потомъ приводилъ эту фразу какъ примѣръ безсмыслицы и нелѣпости русскаго языка. „Что такое есть: само собою разумѣется?“— спрашивалъ онъ *по-русски*, напирая на каждый слогъ.—„А почему же не съ простотою: разумѣется? и зачѣмъ: само собою?!“).

„Иванъ Матвѣичъ, однако, не прогналъ г. Ратча, даже не лишилъ его мѣста. Но мой вотчимъ сдержалъ слово: онъ мнѣ *этого* не забылъ.

„Я начинала замѣчать перемѣну въ Иванѣ Матвѣичѣ. Онъ сталъ грустить, скучалъ, здоровье его пошатнулось. Его розовое, свѣжее лицо пожелтѣло и сморщилось, одинъ зубъ спереди выпалъ. Онъ совсѣмъ пересталъ выѣзжать и прекратилъ введенные имъ пріемные дни съ угощеніемъ для крестьянъ, безъ участія духовенства—„sans le concours du clergé“. Въ такіе дни Иванъ Матвѣичъ, съ розаномъ въ петличкѣ, выходилъ къ крестьянамъ въ залу или на балконъ и, коснувшись губами серебрянаго стаканчика съ водкой, держалъ имъ рѣчь въ родѣ слѣдующей: „*Вы довольны моими* поступками, сколь и я дов

ленъ вашимъ усердствованіемъ; сему радуюсь истинно. Мы всѣ *братьі;* само рожденіе насъ производитъ равными: пью ваше здравіе!“ Онъ кланялся имъ, и крестьяне кланялись ему въ поясъ, а не въ землю, что̀ было строго запрещено. Угощенія продолжались попрежнему, но Иванъ Матвѣичъ уже не показывался своимъ подданнымъ. Иногда онъ прерывалъ мое чтеніе восклицаніями: „La machine se détraque! Cela se gâte!“ Самые глаза его, эти свѣтлые, каменные глаза, потускнѣли и словно уменьшились; онъ засыпалъ чаще прежняго и тяжело вздыхалъ во снѣ. Не измѣнилось лишь его обращеніе со мной; только прибавился оттѣнокъ рыцарской вѣжливости. Онъ, хоть и съ трудомъ, но всякій разъ вставалъ съ кресла, когда я входила, провожалъ меня до двери, поддерживая меня рукой подъ локоть, и вмѣсто Suzon сталъ звать меня то „ma chère demoiselle“, то „mon Antigone“. M. le Commandeur умеръ года два послѣ кончины матушки; повидимому, его смерть гораздо глубже поразила Ивана Матвѣича. Ровесникъ исчезъ: вотъ что̀ его смутило. И между тѣмъ, единственная заслуга г. Коммандора въ послѣднее время состояла только въ томъ, что онъ всякій разъ восклицалъ: „Bien joué mal réussi!“ когда Иванъ Матвѣичъ, играя съ г. Ратчемъ на бильярдѣ, давалъ промахъ или не попадалъ въ лузу; да еще, когда Иванъ Матвѣичъ обращался къ нему за столомъ съ вопросомъ въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго: „N'est-ce pas, M. le Commandeur, c'est Montesquieu qui a dit cela dans ses Lettres Persanes?“ Тотъ, иногда уронивъ ложку супу на свою манишку, глубокомысленно отвѣчалъ: „Ah, monsieur de Montesquieu? Un grand écrivain, monsieur, un grand écrivain!“ Только однажды, когда Иванъ Матвѣичъ сказалъ ему, что les théophilantropes ont eu pourtant du bon! — старикъ взволнованнымъ голосомъ воскликнулъ: „Monsieur de Kolontouskoi! (онъ въ двадцать-пять лѣтъ не выучился выговаривать правильно имя своего патрона) Monsieur de Kolontouskoi! Leur fondateur, l'instigateur de cette secte, ce La Reveillère Lepeaux, était un bonnet rouge!“ — „Non, non, — говорилъ Иванъ Матвѣичъ, ухмы-

лась и переминая щепотку табаку:—des fleurs, des jeunes vierges, le culte de la Nature... ils ont eu du bon, ils ont du bon!..“ Я всегда удивлялась, какъ много зналъ Иванъ Матвѣичъ и какъ безполезно было это знаніе для него самого.

„Иванъ Матвѣичъ видимо опускался, но все еще крѣпился. Однажды, недѣли за три до смерти, съ нимъ тотчасъ послѣ обѣда сдѣлался сильный припадокъ головокруженія. Онъ задумался, сказалъ: „c'est la fin“, и, придя въ себя и отдохнувъ, написалъ письмо въ Петербургъ къ своему единственному наслѣднику, брату, съ которымъ лѣтъ двадцать не имѣлъ сношеній. Прослышавъ о нездоровьѣ Ивана Матвѣича, его посѣтилъ одинъ сосѣдъ, нѣмецъ, католикъ, нѣкогда знаменитый врачъ, жившій на покоѣ въ своей деревенькѣ. Онъ весьма рѣдко бывалъ у Ивана Матвѣича, но тотъ всегда принималъ его съ особеннымъ вниманіемъ и вообще очень уважалъ его. Чуть ли не его одного во всемъ свѣтѣ и уважалъ онъ. Старикъ посовѣтовалъ Ивану Матвѣичу послать за священникомъ, но Иванъ Матвѣичъ отвѣчалъ, что „ces messieurs et moi, nous n'avons rien à nous dire“, и просилъ перемѣнить разговоръ; а по отъѣздѣ сосѣда отдалъ приказъ камердинеру впредь уже никого не принимать. Потомъ онъ велѣлъ позвать меня. Я испугалась, когда увидала его: синія пятна выступили у него подъ глазами, лицо вытянулось и одеревянѣло, челюсть повисла.—„Vous voilà grande, Suzon“,—заговорилъ онъ, съ трудомъ выговаривая согласныя буквы, но все еще стараясь улыбнуться (мнѣ тогда уже пошелъ девятнадцатый годъ), — „vous allez peut-être bientôt rester seule. Soyez toujours sage et vertueuse. C'est la dernière recommandation d'un...—онъ кашлянулъ: — d'un vieillard qui vous veut du bien. Je vous ai recommandé à mon frère et je ne doute pas qu'il ne respecte mes volontés“... — Онъ опять кашлянулъ и заботливо пощупалъ себѣ грудь. — „Du reste, j'espère encore pouvoir faire quelque chose pour vous... dans mon testament“. — Эта послѣдняя фраза меня какъ ножомъ *рѣзанула по сердцу. Ахъ*, это уже было слишкомъ...

слишкомъ презрительно и обидно! Иванъ Матвѣичъ, вѣроятно, приписалъ другому чувству — чувству горести или благодарности — то̀, что̀ выразилось у меня на лицѣ, и какъ бы желая меня утѣшить, потрепалъ меня по плечу, въ то же время, по обыкновенію, ласково меня отодвигая, и промолвилъ: — „Voyons, mon enfant, du courage! Nous sommes tous mortels. Et puis, il n'y a pas encore de danger. Ce n'est qu'une précaution que j'ai cru devoir prendre... Allez!“ — Какъ въ тотъ разъ, когда онъ позвалъ меня къ себѣ послѣ кончины матушки, я опять хотѣла закричать ему: „Да вѣдь я ваша дочь! я дочь ваша!“ Но, подумала я, вѣдь онъ, пожалуй, въ этихъ словахъ, въ этомъ сердечномъ воплѣ услышитъ одно желаніе заявить мои права, права на его наслѣдство, на его деньги... О, ни за что! Не скажу я ничего этому человѣку, который ни разу не упомянулъ при мнѣ имени моей матери, въ глазахъ котораго я такъ мало значу, что онъ даже не далъ себѣ труда узнать, извѣстно ли мнѣ мое происхожденіе! А можетъ-быть, онъ это и подозрѣвалъ, и зналъ, да не хотѣлъ „поднимать струшню“ (его любимая поговорка, единственная русская фраза, которую онъ употреблялъ), не хотѣлъ лишить себя хорошей лектрисы съ молодымъ голосомъ! Нѣтъ! нѣтъ! Пускай же онъ останется столь же виноватымъ предъ своею дочерью, какъ былъ онъ виноватъ предъ ея матерью! Пускай унесетъ въ могилу обѣ эти вины! Клянусь, клянусь: не услышитъ онъ изъ устъ моихъ этого слова, которое должно же звучать чѣмъ-то священнымъ и сладостнымъ во всякихъ ушахъ! Не скажу я ему: отецъ! не прощу ему за мать и за себя! Онъ не нуждается въ этомъ прощеніи, ни въ томъ названіи... Не можетъ быть, не можетъ быть, чтобъ онъ не нуждался въ немъ! Но не будетъ ему прощенія, не будетъ, не будетъ!

„Богъ знаетъ, сдержала ли бы я свою клятву и не смягчилось ли бы мое сердце, не превозмогла ли бы я своей робости, своего стыда, своей гордости... но съ Иваномъ Матвѣичемъ случилось то же самое, что съ моей *матушкой*. Смерть такъ же внезапно унесла его и такъ-

же ночью. Тотъ же г. Ратчъ разбудилъ меня и вмѣстѣ со мной побѣжалъ въ господскій домъ, въ спальню Ивана Матвѣича... Но я не застала даже тѣхъ послѣднихъ предсмертныхъ движеній, которыя такими неизгладимыми чертами залегли мнѣ въ память у постели моей матушки. На обшитыхъ кружевомъ подушкахъ лежала какая-то сухая, темнаго цвѣта кукла съ острымъ носомъ и взъерошенными сѣдыми бровями... Я закричала отъ ужаса, отъ отвращенья, бросилась вонъ, наткнулась въ дверяхъ на бородатыхъ людей въ армякахъ съ праздничными красными кушаками, и уже не помню какъ очутилась на свѣжемъ воздухѣ...

„Разсказывали потомъ, что когда камердинеръ вбѣжалъ въ спальню на сильный звонъ колокольчика, онъ нашелъ Ивана Матвѣича не на кровати, а въ двухъ шагахъ отъ нея. И будто онъ сидѣлъ на полу, скрючившись, и два раза сряду повторилъ: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ И будто это были его послѣднія слова. Но я не могу этому вѣрить. Съ какой стати онъ заговорилъ бы по-русски, въ такую минуту и въ такихъ выраженіяхъ!

„Цѣлыя двѣ недѣли ждали мы потомъ пріѣзда новаго барина, Семена Матвѣича Колтовского. Онъ прислалъ приказаніе ничего не трогать, никого не смѣнять до личнаго своего осмотра. Всѣ двери, всѣ мебели, ящики, столы—все заперли, запечатали. Всѣ люди пріуныли и насторожились. Я стала вдругъ однимъ изъ главныхъ лицъ въ домѣ, чуть не самымъ главнымъ лицомъ. Меня и прежде звали барышней; но теперь это слово приняло какой-то новый смыслъ, произносилось съ особеннымъ удареніемъ. Поднялось шушуканіе. „Старый, молъ, баринъ скончался внезапно, и священника позвать къ нему не успѣли, онъ же у исповѣди давнымъ-давно не бывалъ; да вѣдь завѣщаніе написать недолго“. Г-нъ Ратчъ также почелъ за нужное измѣнить свой образъ дѣйствія. Онъ не прикинулся добродушнымъ и ласковымъ: онъ зналъ, что не обманетъ меня, но на лицѣ его изобразилось угрюмое смиреніе „*Видишь, дескать, я* покоряюсь“. Всѣ искали во

мнѣ, старались мнѣ угождать... а я не знала, что дѣлать и какъ быть, и только дивилась, какъ это люди не понимаютъ, что оскорбляютъ меня. Наконецъ, пріѣхалъ Семенъ Матвѣичъ.

„Семенъ Матвѣичъ былъ годами десятью моложе Ивана Матвѣича и весь свой вѣкъ шелъ по совершенно другой дорогѣ. Онъ состоялъ на службѣ въ Петербургѣ, занималъ важное мѣсто... Онъ былъ женатъ, рано овдовѣлъ; одинъ сынъ былъ у него. Съ лица Семенъ Матвѣичъ походилъ на своего старшаго брата, только ростомъ онъ былъ ниже и толще, голову имѣлъ круглую, лысую, такіе же свѣтлые черные глаза, какъ у Ивана Матвѣича, только съ поволокой, и большія красныя губы. Въ противность брату, котораго онъ даже послѣ его смерти величалъ французскимъ философомъ, а иногда просто чудакомъ, Семенъ Матвѣичъ почти постоянно говорилъ по-русски, громко, рѣчисто и то и дѣло хохоталъ, причемъ совершенно закрывалъ глаза и непріятно трясся всѣмъ тѣломъ, точно злость его колотила. Онъ принялся за дѣла очень круто, во все входилъ самъ, отъ всѣхъ требовалъ отчета подробнѣйшаго. Въ первый же день своего пріѣзда онъ пригласилъ священника со всѣмъ причтомъ, велѣлъ отслужить молебенъ съ водосвятіемъ и всюду окропилъ водою, всѣ комнаты въ домѣ, даже чердаки, даже подвалы, для того, чтобы, какъ онъ выразился, „радикально выгнать вольтеріянскій и якобинскій духъ“. Въ первую же недѣлю нѣкоторые любимцы Ивана Матвѣича слетѣли съ мѣстъ, одинъ даже попалъ на поселеніе, другіе подверглись тѣлеснымъ наказаніямъ; самый даже старый камердинеръ, — онъ былъ родомъ турокъ, зналъ французскій языкъ, его подарилъ Ивану Матвѣичу покойный фельдмаршалъ Каменскій,—самый этотъ камердинеръ получилъ, правда, вольную, но вмѣстѣ съ нею и приказаніе выѣхать въ двадцать четыре часа, „чтобы другимъ соблазна не было“. Семенъ Матвѣичъ оказался бариномъ строгимъ; вѣроятно, многіе пожалѣли о покойникѣ. „Съ батюшкой, съ Иваномъ Матвѣичемъ“, сокрушался при мнѣ одинъ *уже совсѣмъ дряхлый* дворецкій: „только и было намъ

заботы, чтобы бѣлье подавалось чистое, да въ комнатахъ чтобы хорошо пахло, да чтобъ людского голоса въ передней не было слышно—это уже сохрани Богъ! А тамъ хоть трава не расти! Мухи въ жизнь свою покойничекъ не обидѣлъ! Ну, теперь бѣда! Помирать надо!" Такъ же скоро измѣнилось и мое положеніе, то-есть то положеніе, въ которое я попала на нѣсколько дней и противъ воли... Въ бумагахъ Ивана Матвѣича не нашлось никакого завѣщанія, ни одной строки, написанной въ мою пользу. Всѣ вдругъ отхлынули отъ меня... О г. Ратчѣ я уже не говорю, но и другіе всѣ досадовали на меня и старались мнѣ выказать свою досаду: точно я ихъ обманула. Въ одно воскресенье, послѣ обѣдни, которую онъ постоянно прослушивалъ въ алтарѣ, Семенъ Матвѣичъ потребовалъ меня къ себѣ. Я его до того дня видѣла мелькомъ, и онъ, казалось, меня не замѣчалъ. Онъ принялъ меня въ своемъ кабинетѣ, стоя у окна. На немъ былъ вицъ-мундирный фракъ съ двумя звѣздами. Я остановилась возлѣ двери; сердце сильно стучало во мнѣ отъ страха и отъ другого чувства, еще неопредѣленнаго, но уже тяжелаго.—Я желалъ васъ видѣть, молодая дѣвица,—заговорилъ Семенъ Матвѣичъ, взглянувъ мнѣ сперва на ноги, а потомъ вдругъ въ лицо,—этотъ взглядъ точно толкнулъ меня:—я желалъ васъ видѣть для того, чтобъ объявить вамъ мое рѣшеніе и увѣрить васъ въ моемъ несомнительномъ расположеніи быть вамъ полезнымъ. — Онъ возвысилъ голосъ. — Правъ вы никакихъ, конечно, не имѣете, но какъ... лектриса моего брата, вы всегда можете разсчитывать на мое... на мое вниманіе. Я... конечно, увѣренъ въ вашемъ благоразуміи и въ вашихъ правилахъ. Г-нъ Ратчъ, вашъ вотчимъ, уже получилъ отъ меня нужныя инструкціи. Къ тому же, я долженъ сказать, что ваша счастливая наружность служитъ мнѣ залогомъ вашихъ благородныхъ чувствъ. — Семенъ Матвѣичъ вдругъ залился тонкимъ хохотомъ, а я... не обидѣлась я... но жалко мнѣ стало самой себя... и тутъ-то я вполнѣ почувствовала себя круглою сиротой. Семенъ Матвѣичъ подошелъ короткими, твердыми шагами къ столу, досталъ

изъ ящика пачку ассигнацій и, всунувъ мнѣ ее въ руку, прибавилъ:—Здѣсь небольшая сумма отъ меня вамъ на иголки. Я и впредь васъ не забуду, моя миленькая, а теперь прощайте и будьте умницей.—Я взяла эту пачку машинально, я взяла бы все, что̀ бы онъ мнѣ ни далъ и, вернувшись къ себѣ въ комнату, долго проплакала, сидя на своей постели. Я и не замѣтила, какъ я пачку уронила на полъ. Г-нъ Ратчъ нашелъ ее и поднялъ и, спросивъ меня, что̀ я съ нею намѣрена сдѣлать, оставилъ ее у себя.

„Въ судьбѣ его произошла тогда значительная перемѣна. Послѣ нѣкоторыхъ разговоровъ съ Семеномъ Матвѣичемъ, онъ попалъ къ нему въ большую милость и скоро получилъ мѣсто главнаго управляющаго. Съ того времени проявилась въ немъ веселость, проявилось это вѣчное хохотаніе: онъ сперва хотѣлъ поддѣлаться къ своему патрону... впослѣдствіи все это вошло въ привычку. Съ того же времени онъ сталъ русскимъ патріотомъ. Семенъ Матвѣичъ придерживался всего національнаго, самъ называлъ себя русакомъ, смѣялся надъ нѣмецкой одеждой, которую, однако, носилъ; сослалъ въ дальнюю деревню повара, за воспитаніе котораго Иванъ Матвѣичъ заплатилъ большія деньги,—сослалъ его за то, что тотъ не сумѣлъ приготовить разсольникъ съ гусиными шейками. Изъ алтаря Семенъ Матвѣичъ подтягивалъ дьячкамъ, а когда дѣвушекъ сгоняли хороводъ водить и пѣсни играть, онъ и имъ подтягивалъ и подтопывалъ, и щеки имъ щипалъ... Впрочемъ, онъ скоро уѣхалъ въ Петербургъ и оставилъ моего вотчима чуть не полнымъ властелиномъ всего имѣнія.

„Горькіе дни начались для меня... Единственнымъ моимъ утѣшеніемъ была музыка, и я предалась ей всею душой. Къ счастію, г-нъ Ратчъ былъ очень занятъ, но при всякомъ удобномъ случаѣ онъ давалъ мнѣ чувствовать свою вражду; по обѣщанію, „не забывалъ“ мнѣ моего отказа. Онъ помыкалъ мною, заставлялъ меня переписывать свои длинныя и лживыя донесенія Семену Матвѣичу, *поправлять въ нихъ* орѳографическія ошибки; а причу-

ждена была безпрекословно ему повиноваться, и я повиновалась. Онъ объявилъ, что смиритъ меня, сдѣлаетъ меня шелковою. „Что это у васъ за бунтовщицкіе глаза?“ кричалъ онъ иногда за обѣдомъ, напившись пива и стуча по столу ладонью: „Вы, можетъ-быть, думаете: я, дескать, молчалива какъ овечка, стало-быть я права... Нѣтъ! Вы извольте глядѣть на меня тоже какъ овечка!“ Положеніе мое становилось возмутительно, невыносимо... сердце мое ожесточалось. Что-то опасное стало все чаще и чаще подниматься въ немъ; ночи я проводила безъ сна и безъ огня, все думала, думала, и въ наружномъ мракѣ, въ темнотѣ внутренней созрѣвало страшное рѣшеніе. Пріѣздъ Семена Матвѣича далъ другое направленіе моимъ мыслямъ.

„Его никто не ожидалъ: осень давно наступила. Оказалось, что онъ вышелъ въ отставку по непріятности: онъ надѣялся получить Александровскую ленту — а ему дали табакерку. Недовольный правительствомъ, которое не оцѣнило его талантовъ, петербургскимъ обществомъ, которое выказало ему мало сочувствія и не раздѣляло его негодованія, онъ рѣшился поселиться въ деревнѣ, посвятить себя хозяйству. Онъ пріѣхалъ одинъ. Сынъ его, Михаилъ Семенычъ, пріѣхалъ позже, на праздники, къ Новому году. Мой вотчимъ почти не выходилъ изъ кабинета Семена Матвѣича: фаворъ его еще усилился. Меня онъ оставилъ въ покоѣ; не до меня ему было тогда... Семену Матвѣичу вздумалось затѣять бумажную фабрику. Въ мануфактурномъ дѣлѣ г. Ратчъ не смыслилъ ничего, и Семенъ Матвѣичъ зналъ, что ничего не смыслитъ; но за то мой вотчимъ былъ „исполнитель“ (любимое тогдашнее слово), „Аракчеевъ!“ Семенъ Матвѣичъ именно такъ и называлъ его „мой Аракчеевъ!“ „Сего мнѣ достаточно“, увѣрялъ Семенъ Матвѣичъ; „при усердіи, направленіе я самъ дамъ“. Среди многочисленныхъ хлопотъ по фабрикѣ, по имѣнію, по заведенію канцеляріи, канцелярскихъ порядковъ, новыхъ званій и должностей, Семенъ Матвѣичъ успѣлъ однако обратить и на меня вниманіе. Меня позвали однажды *вечеромъ въ гостиную и заставили* играть на фортепіано.

Семенъ Матвѣичъ музыку любилъ еще меньше, чѣмъ покойникъ, однако одобрилъ и поблагодарилъ меня, а на другой день я была приглашена къ обѣденному столу. Послѣ обѣда Семенъ Матвѣичъ довольно долго со мной разговаривалъ, разспрашивалъ меня, смѣялся инымъ моимъ отвѣтамъ, хотя, помнится, ничего въ нихъ не было забавнаго, и такъ странно на меня посматривалъ... Мнѣ неловко становилось. Не любила я его глазъ; не любила ихъ откровеннаго выраженья, ихъ свѣтлаго взора... Мнѣ всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала что-то такое нехорошее, что подъ этимъ свѣтлымъ блескомъ темно тамъ у него на душѣ. „Вы у меня лектрисой не будете", объявилъ мнѣ, наконецъ, Семенъ Матвѣичъ, какъ-то гадливо охорашиваясь и одергиваясь: „я, слава Богу, еще не ослѣпъ и читать могу самъ; но кофей мнѣ изъ вашихъ ручекъ покажется вкуснѣе и вашу игру на фортепіано я буду слушать съ удовольствіемъ". Послѣ этого дня я уже постоянно ходила обѣдать въ господскій домъ и оставалась въ гостиной иногда до вечера. Попала и я, такъ же, какъ мой вотчимъ, въ милость; не на радость была мнѣ она. Семенъ Матвѣичъ, я должна въ этомъ признаться, оказывалъ мнѣ нѣкоторое уваженіе; но въ этомъ человѣкѣ, я это чувствовала, было что-то такое, что̀ отталкивало, что̀ пугало меня, И это „что-то" высказывалось не словами, а въ глазахъ его, въ этихъ нехорошихъ глазахъ, да еще въ его хохотѣ. Онъ никогда не говорилъ со мною о моемъ отцѣ, о своемъ братѣ, и мнѣ казалось, что онъ избѣгалъ этотъ разговоръ не потому, что не желалъ возбуждать во мнѣ честолюбивыхъ мыслей или притязаній, а по другой причинѣ, въ которую я тогда не умѣла вдуматься, но которая заставляла меня недоумѣвать и краснѣть... Къ святкамъ пріѣхалъ его сынъ Михаилъ Семенычъ.

„Ахъ, я чувствую, я не могу продолжать такъ же, какъ начала; слишкомъ горестны эти воспоминанія. Особенно теперь мнѣ невозможно спокойно разсказывать... И къ чему скрываться? Я полюбила Мишеля, и онъ меня полюбилъ.

„Какъ это случилось, я тоже разсказывать не стану. Знаю, что съ самаго того вечера, когда онъ вошелъ въ гостиную (я сидѣла за фортепіано и играла сонату Вебера), когда онъ вошелъ, красивый и стройный, въ бархатномъ тулупчикѣ и валенкахъ, какъ былъ, прямо съ мороза и, встряхнувъ заиндивѣвшею собольею шапкой, прежде чѣмъ поздоровался съ отцомъ, быстро глянулъ на меня и удивился,—знаю я, что съ того вечера я уже не могла забыть его, не могла забыть это молодое, доброе лицо. Онъ заговорилъ... и голосъ его такъ и прильнулъ къ моему сердцу... Мужественный и тихій голосъ, и въ каждомъ звукѣ такая честная, честная душа! Семенъ Матвѣичъ обрадовался пріѣзду сына, обнялъ его, но тотчасъ же спросилъ: — На двѣ недѣли? а? Въ отпускъ? а? — и услалъ меня. Я долго сидѣла у себя подъ окномъ и глядѣла на огни, забѣгавшіе въ комнатахъ господскаго дома. Я слѣдила за ними, я прислушивалась къ новымъ, незнакомымъ голосамъ, меня занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, свѣтлое тоже перебѣгало по моей душѣ...

„На другой же день, предъ обѣдомъ, я имѣла первый разговоръ съ нимъ. Онъ зашелъ къ моему вотчиму по порученію Семена Матвѣича и засталъ меня въ нашей маленькой гостиной. Я хотѣла-было уйти, онъ удержалъ меня. Онъ былъ очень живъ и развязенъ во всѣхъ движеніяхъ и рѣчахъ; но высокомѣрія или дерзости, столичнаго презрительнаго тона въ немъ и слѣда не было, и ничего военнаго, гвардейскаго... Напротивъ, въ самой непринужденности его обращенія было что-то ласковое, почти стыдливое, точно онъ васъ просилъ извинить его. У иныхъ людей глаза никогда не смѣются, даже въ минуту смѣха; у *него* губы почти никогда не измѣняли своего красиваго склада, а глаза улыбались почти постоянно. Такъ мы пробесѣдовали съ часъ... о чемъ — не помню; помню только, что и я все время глядѣла ему въ глаза, и такъ мнѣ было съ нимъ легко! Вечеромъ я играла на фортепіано. Онъ очень *любилъ* музыку, сѣлъ на кресло, *и положивъ курчавую голову* на руку, внимательно слу-

шалъ. Онъ ни разу не похвалилъ меня, но я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла съ увлеченіемъ. Семенъ Матвѣичъ, который сидѣлъ возлѣ сына и разсматривалъ планы, вдругъ нахмурился. — „Ну, сударыня“,— сказалъ онъ, по обыкновенію охорашиваясь и застегиваясь: — „довольно; что это растрещались, словно канарейка? Этакъ голова заболѣть можетъ. Для нашего брата, старика, небось, такъ стараться не станете...“ — прибавилъ онъ вполголоса и опять услалъ меня. Мишель проводилъ меня до двери глазами и всталъ съ креселъ. — „Куда? Куда?“ — закричалъ Семенъ Матвѣичъ, и вдругъ засмѣялся, и потомъ сказалъ еще что-то... Я не могла разслышать его словъ; но г. Ратчъ, который тутъ же присутствовалъ въ углу гостиной (онъ всегда „присутствовалъ“, а на этотъ разъ онъ принесъ планы), захохоталъ подобострастно, и его хохотъ достигъ до моихъ ушей... То же, или почти то же, повторилось и въ слѣдующій вечеръ... Семенъ Матвѣичъ внезапно охладѣлъ ко мнѣ, наложилъ на меня опалу.

„Дня четыре спустя, я встрѣтила Мишеля въ коридорѣ, раздѣлявшемъ надвое господскій домъ. Онъ взялъ меня за руку и ввелъ въ комнату, которая находилась возлѣ столовой и называлась портретной. Я послѣдовала за нимъ не безъ волненія, но съ полнымъ довѣріемъ. Я уже тогда, кажется, ушла бы съ нимъ на край свѣта, хотя и не подозрѣвала еще, чѣмъ онъ сталъ для меня. Ахъ, я привязалась къ нему со всею страстію, со всѣмъ отчаяніемъ молодого существа, которому не только некого любить, но которое чувствуетъ себя непрошеннымъ и ненужнымъ гостемъ среди чуждыхъ ему, среди враждебныхъ людей!..

„Мишель сказалъ мнѣ... И странное дѣло! Я смѣло, прямо глядѣла на него, — а онъ не глядѣлъ на меня и слегка покраснѣлъ,—онъ сказалъ мнѣ, что онъ понимаетъ мое положеніе и сочувствуетъ ему, и проситъ извинить отца... — „Что же касается до меня“,—прибавилъ онъ:— „то прошу васъ быть всегда во мнѣ увѣренною, и знайте, что для меня вы сестра, да, сестра“.—Тутъ онъ крѣпко *пожалъ мнѣ руку*. Я смутилась и потупилась въ свою

очередь; я словно ожидала чего-то другого, другого слова. Однако я начала благодарить его.—„Нѣтъ, пожалуйста",— перебилъ онъ меня: — „не говорите такъ... Но помните: обязанность братьевъ заступаться за своихъ сестеръ, — и если вамъ нужна будетъ защита, противъ кого бы то ни было, — положитесь на меня. Я недавно здѣсь, но я уже понялъ многое... и, между прочимъ, я понялъ вашего вотчима". Онъ опять стиснулъ мою руку и удалился.

„Я узнала впослѣдствіи, что Мишель съ самой первой встрѣчи почувствовалъ отвращеніе къ г-ну Ратчу. Г-нъ Ратчъ попытался поддѣлаться и къ нему; но, убѣдившись въ безполезности своихъ усилій, тотчасъ самъ сталъ къ нему въ отношенія враждебныя, и не только не скрылъ ихъ отъ Семена Матвѣича, но, напротивъ, старался ихъ выказать, причемъ выражалъ сожалѣніе о томъ, что ему не посчастливилось съ молодымъ наслѣдникомъ. Г-нъ Ратчъ хорошо изучилъ характеръ Семена Матвѣича: расчетъ его удался. „Преданность этого человѣка ко мнѣ уже потому не подлежитъ сомнѣнію, что послѣ меня онъ погибъ; мой наслѣдникъ его терпѣть не можетъ"... эта мысль утвердилась въ головѣ старика. Говорятъ, всѣ люди со властью, когда старѣютъ, охотно идутъ на эту удочку, на удочку исключительной, личной преданности...

„Не даромъ же Семенъ Матвѣичъ называлъ г. Ратча своимъ Аракчеевымъ... Онъ могъ бы дать ему другое имя. „*Ты* у меня безотвѣтный", говаривалъ онъ ему. Онъ съ самаго пріѣзда началъ его „тыкать", и вотчимъ мой умильно глядѣлъ Семену Матвѣичу въ губы, сиротливо склонялъ голову на бокъ и добродушно смѣялся, какъ бы желая сказать: „весь тутъ, весь вашъ"... Ахъ, я чувствую, рука моя дрожитъ и сердце такъ и толкается въ край стола, на которомъ я пишу въ эту минуту... Страшно мнѣ вспоминать тѣ дни, и кровь моя загорается... Но я скажу все до конца... до конца.

„Обращеніе г. Ратча со мною приняло новый оттѣнокъ во время моего кратковременнаго фавора. Онъ началъ ко мнѣ прислуживаться, почтительно фамиліарничать со *мною, точно я и поумнѣла-то*, и ближе къ нему стала.—

„Бросили ломаться",—сказалъ онъ мнѣ однажды, возвращаясь изъ главнаго дома во флигель. —„Хвалю! Всѣ эти добродѣтели тамъ, чувствительности—хрестоматія, однимъ словомъ—не наше дѣло, барышня, не дѣло голышей!"— Когда же мой фаворъ прекратился, и Мишель не счелъ нужнымъ болѣе таить ни презрѣнія къ нему, ни участія ко мнѣ, г. Ратчъ внезапно усугубилъ свою суровость; онъ постоянно слѣдилъ за мною, точно я была способна на всѣ преступленія и меня слѣдовало держать въ ежовыхъ рукавицахъ.—„Вы смотрите у меня",—кричалъ онъ, вваливаясь безъ спросу, въ грязныхъ сапогахъ и съ картузомъ на головѣ, въ мою комнату.—„Я вѣдь ничего такого не потерплю! Носу у меня не вздергивать! Меня вамъ не провести, а спесь я вашу сшибу!" — И тутъ же, въ одно утро, объявилъ мнѣ, что вышелъ отъ Семена Матвѣича приказъ, чтобы мнѣ впередъ безъ приглашенія къ обѣденному столу не являться... Не знаю, какой бы оборотъ все это приняло, если бы не случилось происшествіе, которое окончательно рѣшило мою судьбу...

„Мишель былъ большой охотникъ до лошадей. Онъ вздумалъ самъ объѣзжать молодого рысака. Тотъ понесъ, началъ бить и выбросилъ его изъ саней... Его принесли домой безъ чувствъ, съ вывихнутою рукой и разбитою грудью. Старикъ перепугался, выписалъ лучшихъ докторовъ изъ города. Они помогли Мишелю; но ему пришлось пролежать съ мѣсяцъ. Въ карты онъ не игралъ, говорить ему доктора запрещали, читать, держа книгу все одною рукой, было неловко. Кончилось тѣмъ, что самъ Семенъ Матвѣичъ послалъ меня къ сыну, по старой памяти, въ качествѣ лектрисы. Тутъ настали незабвенные часы! Я входила къ Мишелю тотчасъ послѣ обѣда и садилась за круглымъ столикомъ, у полузавѣшеннаго окна. Онъ лежалъ въ небольшой комнатѣ, возлѣ гостиной, у задней стѣны, на широкомъ кожаномъ диванѣ во вкусѣ „имперіи", съ золотымъ барельефомъ на высокой, прямой спинкѣ; барельефъ этотъ представлялъ свадебную процессію у древнихъ. Блѣдная, слегка завалившаяся голова Мишеля тотчасъ поворачивалась на подушкѣ и обращалась ко мнѣ

лицомъ; онъ улыбался, свѣтлѣлъ всѣмъ лицомъ, откидывалъ назадъ свои мягкіе, влажные волосы и говорилъ мнѣ тихимъ голосомъ: „Здравствуйте, моя добрая, моя милая". Я принималась за книгу — романы Вальтеръ-Скотта были тогда въ славѣ—особенно мнѣ осталось памятнымъ чтеніе *Айвенго*... Какъ голосъ мой невольно звенѣлъ и трепеталъ, когда я передавала рѣчи Ревекки! Вѣдь и во мнѣ текла еврейская кровь, и не походила ли моя судьба на ея судьбу, не ухаживала ли я, какъ она, за больнымъ милымъ человѣкомъ? Всякій разъ, когда я отрывала глаза отъ страницъ книги и поднимала ихъ на него, я встрѣчала его глаза съ тою же тихой и свѣтлой улыбкой всего лица. Говорили мы очень мало, дверь въ гостиную была постоянно отворена и кто-нибудь всегда сидѣлъ тамъ; по когда тамъ затихало, я, сама не знаю почему, переставала читать и опускала книгу на колѣни, и неподвижно глядѣла на Мишеля, и онъ глядѣлъ на меня, и хорошо намъ было обоимъ, и какъ-то радостно, и стыдно, и все, все высказывали мы другъ другу тогда, безъ движеній и безъ словъ. Ахъ! наши сердца сходились, шли навстрѣчу другъ другу, какъ сливаются подземные ключи, невидимо, неслышно... и неотразимо.

— Вы умѣете играть въ шахматы или въ шашки?— спросилъ меня онъ однажды.

— Въ шахматы немного умѣю,—отвѣчала я.

— Ну, и прекрасно. Велите принести доску и придвиньте столикъ.

„Я усѣлась возлѣ дивана, а сердце мое такъ и замирало, и не смѣла я взглянуть на Мишеля... А отъ окна, черезъ всю комнату, какъ свободно я глядѣла на него!

„Я стала разставлять шашки... Пальцы мои дрожали.

— Я это... не для того, чтобъ играть съ вами...—проговорилъ вполголоса Мишель, тоже разставляя шашки:— а чтобы вы были ближе ко мнѣ.

„Я ничего не отвѣтила и, не спрося кому начать, ступила пѣшкой... Мишель не отвѣчалъ на мой ходъ... Я посмотрѣла на него. Слегка вытянувъ голову, весь блѣдный, *онъ умоляющимъ взоромъ* указывалъ мнѣ на мою руку...

„Поняла ли я его — не помню, но что-то мгновенно, вихремъ закружилось у меня въ головѣ... Въ замѣшательствѣ, едва дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то черезъ всю шашечницу. Мишель быстро наклонился и, поймавъ губами и прижавъ мои пальцы къ доскѣ, началъ цѣловать ихъ безмолвно и жадно... Я не могла, я не хотѣла принять ихъ, я другою рукою закрыла лицо, и слезы, какъ теперь помню, холодныя, но блаженныя... о, какія блаженныя слезы!.. закапали на столикъ одна за одною. Ахъ, я знала, я всѣмъ сердцемъ почувствовала тогда, въ чьей власти была моя рука! Я знала, что ее держалъ не мальчикъ, увлеченный мгновеннымъ порывомъ, не Донъ-Жуанъ, не военный Ловеласъ, а благороднѣйшій, лучшій изъ людей... и онъ любилъ меня!

— О, моя Сусанна! — послышался мнѣ шопотъ Мишеля:—я никогда не заставлю тебя плакать другими слезами...

„Онъ ошибся... Онъ заставилъ.

„Но къ чему останавливаться на такихъ воспоминаніяхъ... особенно, особенно теперь!

„Мы съ Мишелемъ поклялись принадлежать другъ другу. Онъ зналъ, что Семенъ Матвѣичъ никогда не позволитъ ему жениться на мнѣ, и не скрылъ этого отъ меня. Я сама въ этомъ не сомнѣвалась, и я радовалась не тому, что Мишель не лукавилъ: онъ *не могъ* лукавить,—а тому, что онъ не старался себя обманывать. Сама я ничего не требовала и пошла бы за нимъ, какъ и куда бы онъ захотѣлъ. — „Ты будешь моей женой", — повторялъ онъ мнѣ: — „я не Айвенго; я знаю, что не съ леди Ровеной счастье".—Мишель скоро выздоровѣлъ. Я не могла больше ходить къ нему; но все уже было рѣшено между нами. Я уже вся отдалась будущему; я ничего не видѣла вокругъ, точно я плыла по прекрасной, ровной, но стремительной рѣкѣ, окруженная туманомъ. А за нами наблюдали, насъ сторожили. Изрѣдка я замѣчала злые глаза моего вотчима, слышала его гадкій смѣхъ... Но смѣхъ этотъ и глаза тоже какъ будто выступали изъ тумана, на одинъ мигъ... Я содрогалась, но тотчасъ забывала, и опять отдавалась той прекрасной, быстрой рѣкѣ...

„Наканунѣ условленнаго между нами отъѣзда Мишеля (онъ долженъ былъ тайно вернуться съ дороги и увезти меня), я получила отъ него, чрезъ его довѣреннаго камердинера, записку, въ которой онъ назначилъ мнѣ свиданіе въ половинѣ десятаго часа ночи, въ лѣтней бильярдной, большой, низкой комнатѣ, пристроенной къ главному дому со стороны сада. Онъ писалъ мнѣ, что желаетъ окончательно переговорить и условиться со мной. Я уже два раза видѣлась съ Мишелемъ въ бильярдной... у меня былъ ключъ отъ наружной двери. Какъ только пробило половина десятаго, я накинула душегрѣйку на плечи, тихонько вышла изъ флигеля и по скрыпучему снѣгу благополучно добралась до бильярдной. Луна, задернутая паромъ, стояла тусклымъ пятномъ надъ самымъ гребнемъ крыши и вѣтеръ свисталъ пискливымъ свистомъ изъ-за угла стѣны. Дрожь пробѣжала по мнѣ, однако я вложила ключъ въ замокъ. Я вошла въ комнату, притворила за собой дверь, обернулась... Темная фигура отдѣлилась отъ одного изъ простѣнковъ, ступила раза два, остановилась...

— Мишель,—прошептала я.

— Мишель по моему приказанію запертъ подъ замокъ, а это я! — отвѣчалъ мнѣ голосъ, отъ котораго сердце у меня такъ и оборвалось...

„Предо мной стоялъ Семенъ Матвѣичъ!

„Я бросилась-было бѣжать, но онъ схватилъ меня за руку.

— Куда? дрянная дѣвчонка! — прошипѣлъ онъ.— Умѣешь къ молодымъ дуракамъ на свиданье ходить, такъ умѣй и отвѣтъ держать!

„Я помертвѣла отъ ужаса, но все порывалась къ двери... Напрасно! Какъ желѣзные крючья впились въ меня пальцы Семена Матвѣича.

— Пустите, пустите меня!—взмолилась я наконецъ.

— Говорятъ вамъ, ни съ мѣста!

„Семенъ Матвѣичъ заставилъ меня сѣсть. Въ полутьмѣ я не могла разглядѣть его лица, я же отворачивалась отъ него, но я слышала, что онъ тяжело дышалъ и скрипѣлъ зубами. Не страхъ чувствовала я и не отчаяніе,

а какое-то безсмысленное удивленіе... Пойманная птица, должно-быть, такъ замираетъ въ когтяхъ коршуна... да и рука Семена Матвѣича, который все такъ же крѣпко держалъ меня, стискивала меня, какъ лапа...

— Ага! — повторилъ онъ: — ага! Вотъ какъ... вотъ до чего... Ну, постойте же!

„Я попыталась подняться, но онъ съ такою силой встряхнулъ меня, что я чуть не вскрикнула отъ боли, и бранныя слова, оскорбленія, угрозы полились потокомъ...

— Мишель, Мишель. гдѣ ты, спаси меня, — простонала я.

„Семенъ Матвѣичъ еще разъ встряхнулъ меня... Этотъ разъ я не выдержала... я вскрикнула.

„Это, повидимому, подѣйствовало на него. Онъ утихъ немного, выпустилъ мою руку, но остался гдѣ былъ, въ двухъ шагахъ отъ меня, между мною и дверью.

„Прошло нѣсколько минутъ... Я не шевелилась; онъ тяжело дышалъ попрежнему.

— Сидите смирно, — началъ онъ наконецъ: — и отвѣчайте мнѣ. Докажите мнѣ, что ваша нравственность еще не совсѣмъ испорчена, и что вы въ состояніи внять голосу разсудка. Увлеченіе я еще извинить могу; но упорство закоренѣлое—никогда! Мой сынъ...—Тутъ онъ перевелъ дыханіе. — Михайло Семенычъ обѣщалъ вамъ жениться на васъ? Не правда ли? Отвѣчайте же! Обѣщалъ? а?

„Я, разумѣется, ничего не отвѣчала.

„Семенъ Матвѣичъ чуть-было не вспылилъ опять.

— Я принимаю ваше молчаніе за знакъ согласія,— продолжалъ онъ, погодя немного. — Итакъ, вы задумали быть моею невѣсткой? Прекрасно! Но, не говоря уже о томъ, что вы не четырнадцатилѣтній ребенокъ и должны же знать, что всѣ молодые балбесы не скупятся на самыя нелѣпыя обѣщанья, лишь бы добиться своихъ цѣлей, не говоря объ этомъ... но неужели же вы могли надѣяться, что я, я, столбовой дворянинъ, Семенъ Матвѣичъ Колтовской, когда-нибудь дамъ мое согласіе на подобный бракъ? Или вы хотѣли обойтись безъ родительскаго благословенія?.. Хотѣли бѣжать, обвѣнчаться тайно, а по-

томъ вернуться, комедію разыграть, броситься въ ноги, въ надеждѣ, что старикъ, молъ, расчувствуется... Да отвѣчайте же, чортъ возьми!

„Я только голову наклонила. Убить меня онъ могъ, но заставить говорить... это было не въ его силахъ.

„Онъ немного прошелся взадъ и впередъ.

— Ну, послушайте, — началъ онъ болѣе спокойнымъ голосомъ. — Вы не думайте... не воображайте... я вижу, съ вами надо толковать иначе. Послушайте: я понимаю ваше положеніе. Вы запуганы, растеряны... Придите въ себя. Въ эту минуту я долженъ вамъ казаться извергомъ... тираномъ. Но войдите также и въ мое положеніе: какъ тутъ было мнѣ не вознегодовать, не сказать лишняго? И со всѣмъ тѣмъ я вамъ уже доказалъ, что я не извергъ, что и у меня есть сердце. Вспомните, какъ я обошелся съ вами послѣ пріѣзда въ деревню и потомъ, до... до послѣдняго времени... до болѣзни Михаила Семеныча. Я не хочу хвастаться своими благодѣяніями, но мнѣ кажется, одна благодарность должна была удержать васъ отъ того скользкаго пути, на который вы рѣшились ступить!..

„Семенъ Матвѣичъ опять прошелся взадъ и впередъ и, остановившись, потрепалъ меня слегка по рукѣ, по той самой рукѣ, которая еще ныла отъ его насилія и на которой я долго потомъ носила синіе знаки...

— То-то и есть... — заговорилъ онъ снова: — голова... голова у насъ горячая! Не хотимъ мы дать себѣ трудъ подумать, отчета себѣ дать не хотимъ, въ чемъ состоитъ наша польза, и гдѣ мы ее искать должны. Вы спросите у меня: гдѣ эта польза? Далеко вамъ ходить нечего... Она, быть-можетъ, у васъ подъ руками... Да вотъ, хоть бы я. Какъ родитель, какъ глава, я, конечно, долженъ былъ взыскать... Это моя обязанность. Но я человѣкъ въ то же время, и вы это знаете. Безспорно: я человѣкъ практическій и, конечно, никакой чепухи допустить не могу, ни съ чѣмъ несообразныя надежды надо, конечно, *изъ головы* выкинуть, потому, какой въ нихъ *толкъ? Я ужъ не говорю* о безнравственности са-

мого поступка... Вы это все должны понять сами, когда опомнитесь. А я, не хвастаясь, скажу: я бы не ограничился тѣмъ, что̀ уже сдѣлалъ для васъ; я всегда готовъ былъ — и готовъ еще теперь — устроить, упрочить ваше благосостояніе, обезпечить васъ вполнѣ, потому что я знаю вамъ цѣну, отдаю справедливость вашимъ талантамъ, вашему уму, да и наконецъ... (Тутъ Семенъ Матвѣичъ слегка пригнулся ко мнѣ)... У васъ такіе глазки, что, признаться... я вотъ старикъ, а совершенно равнодушно видѣть ихъ... я понимаю... это трудно, это дѣйствительно трудно.

„Холодомъ обдало меня отъ этихъ словъ. Я ушамъ своимъ едва повѣрила. Въ первую минуту мнѣ показалось, что Семенъ Матвѣичъ хотѣлъ купить мое отреченіе отъ Мишеля, дать мнѣ „отступного"... Но эти слова! Мои глаза начали привыкать къ темнотѣ, и я могла различить лицо Семена Матвѣича. Оно улыбалось, это старое лицо, а самъ онъ все расхаживалъ маленькими шагами, сѣменилъ предо мною...

— Ну, такъ какъ же?—спросилъ онъ наконецъ:—нравится вамъ мое предложеніе?

— Предложеніе?.. — повторила я невольно... я рѣшительно ничего не понимала.

„Семенъ Матвѣичъ засмѣялся... дѣйствительно засмѣялся своимъ противнымъ, тонкимъ смѣхомъ.

— Конечно! — воскликнулъ онъ: — вы всѣ, молодыя дѣвки... — онъ поправился: — дѣвицы... дѣвицы... вы всѣ объ одномъ только мечтаете: вамъ все молодыхъ подавай! Безъ любви вы жить не можете! Конечно. Что̀ говорить! Молодость — дѣло хорошее! Но развѣ одни молодые любить умѣютъ?.. У иного старика сердце еще горячѣе, и ужъ коли старикъ кого полюбитъ, такъ ужъ это — каменная скала! Это навѣкъ! Не то, что эти безбородые лоботрясы, у которыхъ только вѣтеръ въ головахъ ходитъ! Да, да; старичками брезгать не слѣдуетъ! Они могутъ сдѣлать многое! Только взяться за нихъ надо умѣючи! Да... да! И ласкать старички умѣютъ тоже, хи-хи-хи... — Семенъ Матвѣичъ опять засмѣялся. — Да вотъ,

позвольте... Вашу ручку... для пробы... только такъ... для пробы...

„Я вскочила со стула и изо всей силы толкнула его въ грудь. Онъ отшатнулся, онъ издалъ какой-то дряхлый, испуганный звукъ, онъ чуть не упалъ. На человѣческомъ языкѣ нѣтъ словъ, чтобы выразить, до какой степени онъ мнѣ показался гнусенъ и ничтожно низокъ. Всякое подобіе страха исчезло во мнѣ.

— Подите прочь, презрѣнный старикъ, — вырвалось у меня изъ груди:—подите прочь, г. Колтовской, столбовой дворянинъ! И во мнѣ течетъ ваша кровь, кровь Колтовскихъ, и я проклинаю тотъ день и часъ, когда она потекла по моимъ жиламъ!

— Что?.. Что ты говоришь?.. Что?—лепеталъ задыхаясь Семенъ Матвѣичъ.—Ты смѣешь... въ ту минуту, когда я тебя засталъ... когда ты шла къ Мишкѣ... а? а? а?

„Но я уже не могла остановиться... Что-то безпощадно отчаянное проснулось во мнѣ.

— И вы, вы, братъ... братъ вашего брата, вы дерзнули, вы рѣшились... За кого же вы приняли меня? И неужели же вы такъ слѣпы, что не могли давно замѣтить то отвращеніе, которое вы возбуждаете во мнѣ?.. Вы смѣли употребить слово: предложеніе!.. Выпустите меня сейчасъ, сію минуту!

„Я направилась къ двери.

— А, вотъ что! вотъ какъ! вотъ когда она заговорила!— запищалъ Семенъ Матвѣичъ въ изступленіи злобы, но видимо не рѣшаясь подойти ко мнѣ...—Погоди же! Господинъ Ратчъ, Иванъ Демьянычъ! пожалуйте сюда!

„Дверь бильярдной, противоположная той, къ которой я приближалась, раскрылась настежь и, съ зажженнымъ канделябромъ въ каждой рукѣ, появился мой вотчимъ. Освѣщенное съ двухъ сторонъ свѣчами, его круглое, красное лицо сіяло торжествомъ удовлетворенной мести, лакейской радостью удачной услуги... О, эти гадкіе, бѣлые глаза! когда я перестану ихъ видѣть!

— Извольте тотчасъ взять эту дѣвушку,—воскликнулъ Семенъ Матвѣичъ, обращаясь къ моему вотчиму и пове-

лительно указывая на меня дрожащей рукой. — Извольте отвести ее къ себѣ въ домъ и запереть на ключъ, на замокъ... чтобъ она... пальцемъ пошевельнуть не могла, чтобы муха къ ней не проскочила! Впредь до моего приказанія! Окна забить, если нужно! Ты отвѣчаешь мнѣ за нее головой!

„Г-нъ Ратчъ поставилъ канделябры на бильярдъ, поклонился въ поясъ Семену Матвѣичу и, слегка переваливаясь и злорадно улыбаясь, направился ко мнѣ. Котъ, должно-быть, такъ подходитъ къ мыши, которой некуда спастись. Вся моя отвага тотчасъ меня покинула. Я знала, этотъ человѣкъ былъ въ состояніи... прибить меня. Я задрожала; да; о, позоръ! о, стыдъ! я задрожала.

— Ну-съ, сударыня, — проговорилъ г. Ратчъ:—извольте-съ идти-съ.

„Онъ, не спѣша, взялъ меня за руку выше локтя... Онъ понималъ, что я сопротивляться не буду. Я сама подалась впередъ къ двери; въ эту минуту я думала только объ одномъ: какъ бы поскорѣе избавиться отъ присутствія Семена Матвѣича.

„Но гадкій старикъ подскочилъ къ намъ сзади, и Ратчъ остановилъ меня и повернулъ меня лицомъ къ своему патрону.

— А! — закричалъ тотъ и потрясъ кулакомъ: — а! я братъ... моего брата! Узы крови? а? А за брата, за двоюроднаго, выйти замужъ можно? Можно? а? Веди ее, ты!— обратился онъ къ моему вотчиму. — И помни: держать ухо востро! За малѣйшее сообщеніе съ нею — казни не будетъ достойной... Веди!

„Г-нъ Ратчъ привелъ меня въ мою комнату. Идя по двору, онъ ничего не сказалъ мнѣ, все только смѣялся про себя, безъ звука. Онъ заперъ ставни, двери и тутъ же, уходя окончательно и кланяясь мнѣ въ поясъ, какъ Семену Матвѣичу, прыснулъ, разразился тяжелымъ, восторженнымъ хохотомъ. „Покойной ночи царевнѣ Меликтрисѣ“,—удушливо простоналъ онъ:—„не поймала Митрофана-Царевича! Жаль! Мысль была въ своемъ родѣ не *глупая! Впередъ* наука: не заводить корреспонденцій! Хо-*хо-хо! Какъ, однако*, все славно обдѣлалось!“ Онъ вы-

нелъ, и вдругъ высунулъ голову изъ-за двери. „Что? Вѣдь не *забылъ* я вамъ? Ась? Слово сдержалъ? Хо-хо!“ Ключъ щелкнулъ въ замкѣ. Я вздохнула свободно. Я боялась, какъ бы онъ мнѣ рукъ не связалъ... но онѣ были мои,—онѣ были свободны! Я мгновенно сдернула шелковый шнурокъ со спальнаго капота, сдѣлала петлю, приблизила ее къ шеѣ, но тотчасъ же отбросила шнурокъ въ сторону. „Не потѣшу я васъ!“ сказала я громко. „И въ самомъ дѣлѣ, что̀ за безуміе? Могу ли я располагать моею жизнью безъ вѣдома Мишеля, моею жизнью, которую сама ему отдала? Нѣтъ, мои злодѣи! Нѣтъ! Дѣло еще не выиграно вами! Онъ меня спасетъ, онъ вырветъ меня изъ этого ада, онъ... мой Мишель!“

„Но тутъ я вспомнила, что онъ въ заключеніи, такъ же какъ и я, — и я бросилась лицомъ на постель, зарыдала... зарыдала... И только мысль, что мой мучитель, быть-можетъ, стоитъ за дверью и прислушивается, и торжествуетъ, только эта моя мысль заставила меня проглотить мои слезы...

„Я утомлена. Я пишу съ утра, а теперь вечеръ; оторвавшись разъ отъ этого листа бумаги, я уже не буду въ состояніи приняться снова за перо... Скорѣй, скорѣй къ концу! Да и притомъ, останавливаться на безобразіяхъ, которыя послѣдовали за тѣмъ страшнымъ днемъ, свыше силъ моихъ!

„Меня черезъ сутки перевезли въ закрытомъ возкѣ въ отдѣльную дворовую избу, окружили мужиками-караульщиками, меня держали взаперти цѣлыя шесть недѣль! Я ни минуты не была одна... Уже впослѣдствіи я узнала, что вотчимъ мой, съ самаго пріѣзда Мишеля, приставилъ и къ нему, и ко мнѣ шпіоновъ, что онъ подкупилъ слугу, который доставилъ мнѣ записку отъ Мишеля; узнала я также, что между имъ и отцомъ его произошла на слѣдующее утро ужасная, возмутительная сцена... Отецъ его проклялъ. Мишель съ своей стороны поклялся, что ноги его не будетъ въ родительскомъ домѣ, и уѣхалъ въ Петербургъ. Но ударъ, нанесенный мнѣ моимъ вотчимомъ, отразился *на немъ самомъ*. Семенъ Матвѣичъ объявилъ

ему, что оставаться ему въ деревнѣ, управлять имѣньемъ, болѣе невозможно: видно, неловкое усердіе не прощается, и надо же было взыскать на комъ-нибудь за происшедшій *скандалъ*. Впрочемъ, Семенъ Матвѣичъ щедро наградилъ г-на Ратча; онъ далъ ему средства перебраться въ Москву и поселиться тамъ. Предъ отъѣздомъ въ Москву меня перевели обратно во флигель, но попрежнему держали подъ строжайшимъ надзоромъ. Потеря „тепленькаго" мѣстечка, котораго онъ лишился „по моей милости", еще увеличила злобу моего вотчима противъ меня.

— И кого удивить вздумали? — говаривалъ онъ, чуть не фыркая отъ негодованія:—право! Старичокъ, конечно, погорячился, поспѣшилъ, ну, и попалъ впросакъ; теперь, конечно, самолюбіе его пострадало, бѣду теперь поправить нельзя. Подождать бы денька два, и все бы какъ по маслу пошло; вы бы теперь не сидѣли на сухоѣденіи, и я бы остался, чѣмъ былъ! То-то и есть; длиненъ у бабъ волосъ... а умъ коротокъ! Ну, да ладно; я свое возьму, и тотъ голубчикъ (онъ намекалъ на Мишеля) меня не забудетъ.

„Я, разумѣется, должна была сносить въ молчаніи всѣ эти оскорбленія. И Семена Матвѣича я уже больше ни разу не видала. Разлука съ сыномъ потрясла и его. Почувствовалъ ли онъ раскаяніе или,—что̀ гораздо вѣроятнѣе,—желалъ ли онъ навсегда приковать меня къ моему дому, къ моей семьѣ — къ моей семьѣ! — только онъ назначилъ мнѣ пенсію, которая должна была поступать въ руки моего вотчима и выдаваться мнѣ до тѣхъ поръ, пока я выйду замужъ... Это унизительное подаяніе, эту пенсію я до сихъ поръ получаю... то-есть, г-нъ Ратчъ получаетъ ее за меня...

„Поселились мы въ Москвѣ. Клянусь памятью моей бѣдной матери, двухъ дней, двухъ часовъ я бы не осталась съ моимъ вотчимомъ, *попавши въ городъ*... Я бы ушла, не зная куда... въ полицію, бросилась бы въ ноги къ генералъ-губернатору, сенаторамъ, я не знаю, что̀ бы я сдѣлала, если бы, въ самую минуту отъѣзда изъ деревни, *бывшей моей горничной* не удалось передать мнѣ письмо

отъ Мишеля. О, это письмо! Сколько разъ я перечитывала каждую строку, сколько разъ покрыла его поцѣлуями! Мишель умолялъ меня не падать духомъ, надѣяться, быть увѣренною въ его неизмѣнной любви; онъ клялся, что кромѣ меня никому принадлежать не будетъ, онъ называлъ меня своей женой, онъ обѣщалъ устранить всѣ препятствія, онъ рисовалъ картину нашего будущаго, онъ просилъ меня объ одномъ: потерпѣть, подождать немного... И я рѣшилась ждать и терпѣть. Ахъ, на что бы не согласилась я, чего бы я не вынесла, чтобы только исполнить его волю! Это письмо стало моею святынею, моею путеводною звѣздой, моимъ якоремъ. Бывало, мой вотчимъ начнетъ укорять, оскорблять меня, я тихонько положу руку на грудь (я носила письмо Мишеля зашитымъ въ ладонку) и только улыбнусь. И чѣмъ больше бѣсится и бранится г-нъ Ратчъ, тѣмъ мнѣ легче становится и слаще... Я, наконецъ, видѣла по его глазамъ, что онъ начиналъ думать, не схожу ли я съ ума... Вслѣдъ за тѣмъ первымъ письмомъ пришло второе, еще болѣе исполненное надеждъ... Оно говорило о близкомъ свиданіи.

„Ахъ, вмѣсто этого свиданія настало одно утро... И вижу я, входитъ ко мнѣ г-нъ Ратчъ,—и опять торжество, злорадное торжество на его лицѣ,—и въ рукахъ его листъ *Инвалида*, и тамъ извѣстіе о смерти гвардіи ротмистра Михаила Колтовского... Исключенъ изъ списковъ.

„Что могу я прибавить? Я осталась жива и продолжала жить у г-на Ратча. Онъ ненавидѣлъ меня попрежнему, больше прежняго,—онъ слишкомъ разоблачилъ предо мной свою черную душу, онъ не могъ мнѣ это простить. Но мнѣ было все равно. Я стала какою-то безчувственною; моя собственная судьба меня уже не занимала. Вспоминать о *немъ*, вспоминать о *немъ!* другого занятія, другихъ радостей у меня не было. Мой бѣдный Мишель скончался съ моимъ именемъ на устахъ... Мнѣ это сообщилъ одинъ преданный ему человѣкъ, который вмѣстѣ съ нимъ пріѣзжалъ въ деревню. Вотчимъ мой въ томъ же году женился на Элеонорѣ Карповнѣ. Вскорѣ умеръ и Семенъ *Матвѣичъ, подтвердивъ* и увеличивъ въ завѣща-

ніи своемъ пожалованную мнѣ пенсію... Въ случаѣ моей смерти она должна перейти къ г-ну Ратчу...

„Минуло два, три года... прошло шесть лѣтъ, семь лѣтъ... жизнь уходила, утекала... а я только глядѣла, какъ утекала она. Такъ, бывало, въ дѣтствѣ, устроишь на берегу ручья изъ песку сажалку, и плотину выведешь, и всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась. Но вотъ, она прорвалась, наконецъ, и бросишь ты всѣ свои хлопоты, и весело тебѣ станетъ смотрѣть, какъ все накопленное тобою убѣгаетъ до капли...

„Такъ жила я, такъ существовала, пока, наконецъ, новый, уже неожиданный лучъ тепла и свѣта“. . . .

. . . . . .

На этомъ словѣ останавливалась рукопись; послѣдующіе листы были оторваны, и нѣсколько строкъ, оканчивавшихъ фразу, зачеркнуты и перемараны чернилами.

XVIII.

Чтеніе этой тетради до того меня смутило, впечатлѣніе, произведенное посѣщеніемъ Сусанны, было такъ велико, что я не могъ уснуть всю ночь и рано поутру послалъ съ эстафетой къ Фустову письмо, въ которомъ заклиналъ его вернуться какъ можно скорѣе въ Москву, такъ какъ его отсутствіе могло имѣть самыя тяжелыя послѣдствія. Я намекнулъ ему тоже на свиданіе съ Сусанной, на тетрадку, которую она оставила въ моихъ рукахъ. Отправивъ письмо, я весь тотъ день уже не выходилъ изъ дому и все размышлялъ о томъ, что̀ должно было происходить тамъ, у Ратчей. Пойти самому туда я не рѣшался. Я не могъ, однако, не замѣтить, что тетушка моя находилась въ постоянной тревогѣ; она приказывала курить чуть не каждую минуту и раскладывала пасьянсъ: „Путешественникъ“, извѣстный тѣмъ, что никогда не выходитъ. Визитъ незнакомой дамы, да еще въ такую позднюю пору, не остался для нея тайной: ея воображенью тотчасъ представилась зіяющая бездна, на краю которой я стоялъ, и она то и дѣло вздыхала, охала и произносила вполголоса французскія сентенціи, почерп-

нутыя ею изъ рукописной книжечки подъ заглавіемъ: *Extraits de lecture*, а вечеромъ на моемъ ночномъ столикѣ очутилось сочиненіе Де-Жерандо, развернутое на главѣ: *О вредѣ страстей.* Сочиненіе это было занесено въ мою комнату, разумѣется, по приказанію тетушки, старшею ея компаньонкой, которую въ домѣ прозывали Амишкой, вслѣдствіе ея сходства съ маленькимъ пуделемъ того же имени, дѣвицей очень сентиментальною и даже романтическою, но перезрѣлою. Весь слѣдующій день прошелъ въ томительномъ ожиданіи пріѣзда Фустова, письма отъ него, извѣстій изъ дома Ратчей... хотя съ какой стати было имъ посылать ко мнѣ? Скорѣй Сусанна могла предполагать, что я посѣщу ее... Но у меня рѣшительно духа не хватало увидать ее, не поговоривъ сперва съ Фустовымъ. Я припоминалъ всѣ выраженья моего письма къ нему... Кажется, они были довольно сильны; наконецъ, уже поздно вечеромъ, онъ явился.

XIX.

Онъ вошелъ ко мнѣ въ комнату своею обычною, быстрою, но неторопливою походкой. Лицо его мнѣ показалось блѣднымъ и, являя слѣды дорожной усталости, выражало недоумѣніе, любопытство, недовольство — чувства, въ обычное время ему мало извѣстныя. Я бросился къ нему, обнялъ его, горячо поблагодарилъ его за то, что онъ меня послушался, и, передавъ въ двухъ словахъ мой разговоръ съ Сусанной, — вручилъ ему ея тетрадку. Онъ отошелъ къ окну, къ тому самому окну, на которомъ, два дня тому назадъ, сидѣла Сусанна, и, не сказавъ мнѣ ни слова, принялся читать. Я тотчасъ удалился въ противоположный уголъ комнаты и взялъ для контенанса книгу; но, признаюсь, все время глядѣлъ украдкой черезъ край переплета на Фустова. Сначала онъ читалъ довольно спокойно, и все щипалъ лѣвою рукой концы волосиковъ на губѣ; потомъ онъ опустилъ руку, нагнулся впередъ и уже не шевельнулся болѣе. Глаза его такъ и бѣгали по *строкамъ, и ротъ* слегка раскрылся. Вотъ, онъ

кончилъ тетрадку, перевернулъ ее, посмотрѣлъ кругомъ, задумался, и снова принялся ее читать, и перечелъ ее всю во второй разъ отъ начала до конца. Потомъ онъ всталъ, положилъ тетрадку въ карманъ и направился-было къ двери; однако, вернулся и остановился посреди комнаты.

— Ну, что̀ ты думаешь? — началъ я, не дождавшись, чтобъ онъ заговорилъ.

— Я виноватъ передъ нею,—произнесъ Фустовъ глухо.— Я поступилъ... необдуманно, непростительно, дико. Я повѣрилъ этому... Виктору.

— Какъ! — воскликнулъ я: — тому самому Виктору, котораго ты такъ презираешь? Да что̀ онъ могъ сказать тебѣ?

Фустовъ скрестилъ руки, и сталъ ко мнѣ бокомъ. Ему было совѣстно, я это видѣлъ.

— Ты помнишь,—промолвилъ онъ не безъ нѣкотораго усилія: — этотъ... Викторъ упомянулъ о... о пенсіи. Это несчастное слово засѣло во мнѣ. Оно всему причиной. Я сталъ его разспрашивать... Ну, и онъ...

— Что же онъ?

— Онъ сказалъ мнѣ, что тотъ старикъ.... какъ, бишь, его?.. Колтовской, назначилъ эту пенсію Сусаннѣ, потому что... оттого... ну, словомъ, въ видѣ вознагражденія.

Я всплеснулъ руками.

— И ты повѣрилъ?

Фустовъ наклонилъ голову.

— Да! Я повѣрилъ... Онъ также сказалъ, что и съ молодымъ... Словомъ, мой поступокъ не имѣетъ оправданья.

— И ты удалился, чтобы все перервать?

— Да; это лучшее средство... въ такихъ случаяхъ. Я поступилъ дико, дико!—подхватилъ онъ.

Мы оба помолчали. Каждый изъ насъ чувствовалъ, что другому было стыдно; но мнѣ было легче: я стыдился не за себя.

XX.

— Я бы теперь этому Виктору всѣ кости переломалъ,— продолжалъ Фустовъ, стиснувъ зубы: — если бы самъ не сознавалъ себя виноватымъ. Я теперь понимаю, почему вся эта штука подведена была: съ замужествомъ Сусанны, они лишались ея пенсіи... Подлецы!

Я взялъ его за руку.

— Александръ,—спросилъ я:—ты былъ у ней?

— Нѣтъ; я прямо съ дороги къ тебѣ. Я пойду завтра... завтра рано. Этого нельзя такъ оставить. Ни за что!

— Да ты... любишь ее, Александръ?

Фустовъ какъ будто обидѣлся.

— Конечно, я ее люблю. Я очень къ ней привязанъ.

— Она прекрасная, честная дѣвушка!—воскликнулъ я.

Фустовъ нетерпѣливо топнулъ ногою.

— Да что̀ ты воображаешь? Я готовъ былъ жениться на ней, — она же крещеная, — я и теперь готовъ на ней жениться, я уже думалъ объ этомъ, хотя она старше меня.

Въ это мгновенье мнѣ вдругъ показалось, что на окнѣ сидитъ, склонившись на руки, блѣдная женская фигура. Свѣчи нагорѣли: въ комнатѣ было темно. Я вздрогнулъ, вглядѣлся пристальнѣе, и ничего, конечно, не увидалъ на подоконникѣ; но какое-то странное чувство, смѣшеніе ужаса, тоски, сожалѣнія, охватило меня.

— Александръ! — началъ я съ внезапнымъ увлеченіемъ: — прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчасъ къ Ратчамъ, не откладывай до завтра! Мнѣ внутренній голосъ говоритъ, что тебѣ непремѣнно должно сегодня же увидаться съ Сусанной!

Фустовъ пожалъ плечами.

— Что ты это, помилуй! Теперь одиннадцатый часъ, у нихъ, вѣроятно, всѣ уже спятъ въ домѣ.

— Все равно... Ступай, ради Бога! У меня есть предчувствіе... Пожалуйста, послушайся меня! Ступай сейчасъ, *возьми извозчика...*

— Ну, что за вздоръ! — хладнокровно возразилъ Фустовъ: — съ какой стати я пойду теперь? Завтра утромъ я тамъ буду, и все разъяснится.

— Но, Александръ, вспомни, она говорила о томъ, что она умретъ, что ты ея не застанешь... И если бъ ты видѣлъ ея лицо! Подумай, представь, чтобы рѣшиться итти ко мнѣ... чего ей стоило...

— У ней восторженная голова, — промолвилъ Фустовъ, который, повидимому, снова вполнѣ овладѣлъ собой. — Всѣ молодыя дѣвушки такъ... на первыхъ порахъ. Повторяю, завтра все придетъ въ порядокъ. Пока прощай. Я усталъ, да и тебѣ спать хочется.

Онъ взялъ фуражку и пошелъ вонъ изъ комнаты.

— Но ты обѣщаешь тотчасъ придти сюда и все сказать мнѣ? — крикнулъ я ему вслѣдъ.

— Обѣщаю... Прощай!

Я легъ въ постель, но на сердцѣ у меня было неспокойно, и я досадовалъ на моего друга. Я заснулъ поздно, и видѣлъ во снѣ, будто мы съ Сусанной бродимъ по какимъ-то подземнымъ, сырымъ переходамъ, лазимъ по узкимъ, крутымъ лѣстницамъ, и все глубже и глубже спускаемся внизъ, хотя намъ непремѣнно слѣдуетъ выбраться вверхъ, на воздухъ, и кто-то все время безпрестанно зоветъ насъ, однообразно и жалобно.

XXI.

Чья-то рука легла на мое плечо и нѣсколько разъ меня толкнула... Я открылъ глаза и, при слабомъ свѣтѣ одинокой свѣчи, увидѣлъ предъ собою Фустова. Онъ испугалъ меня. Онъ качался на ногахъ; лицо его было желто, почти одного цвѣта съ волосами; губы отвисли, мутные глаза глядѣли безсмысленно въ сторону. Куда дѣвался ихъ постоянно-ласковый и благосклонный взоръ? У меня былъ двоюродный братъ, который отъ падучей болѣзни впалъ въ идіотизмъ... Фустовъ походилъ на него въ эту минуту.

Я поспѣшно приподнялся.

— Что̀ такое? Что̀ съ тобою? Господи!

Онъ ничего не отвѣчалъ.

— Да что̀ случилось, Фустовъ? Говори же! Сусанна?..

Фустовъ слегка встрепенулся.

— Она...—началъ онъ сиплымъ голосомъ и умолкъ.

— Что̀ съ нею? Ты ее видѣлъ?

Онъ уставился на меня.

— Ея ужъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ?

— Совсѣмъ нѣтъ. Она умерла.

Я вскочилъ съ постели.

— Какъ умерла? Сусанна? Умерла?

Фустовъ опять отвелъ глаза въ сторону.

— Да, умерла; въ полночь.

„Онъ рехнулся!"—мелькнуло у меня въ головѣ.

— Въ полночь! Да теперь который часъ?

— Теперь восемь часовъ утра. Мнѣ прислали сказать. Ее завтра хоронятъ.

Я схватилъ его за руку.

— Александръ, ты не бредишь? Ты въ своемъ умѣ?

— Я въ своемъ умѣ,—отвѣчалъ онъ.—Я, какъ узналъ это, сейчасъ отправился къ тебѣ.

Сердце во мнѣ болѣзненно окаменѣло, какъ это всегда бываетъ при убѣжденіи въ невозвратно совершившейся бѣдѣ.

— Боже мой! Боже мой! Умерла!—твердилъ я.—Какъ это возможно? Такъ внезапно! Или, можетъ-быть, она сама лишила себя жизни?

— Не знаю,—проговорилъ Фустовъ.—Ничего не знаю. Мнѣ сказали: въ полночь скончалась, И завтра хоронить будутъ.

„Въ полночь!" подумалъ я... „Стало-быть, она была еще жива вчера, когда она мнѣ почудилась на окнѣ, когда я умолялъ его бѣжать къ ней"...

— Она была еще жива вчера, когда ты посылалъ меня къ Ивану Демьянычу,—промолвилъ Фустовъ, словно угадавъ мою мысль.

„Какъ *же мало онъ зналъ* ее!" подумалъ я опять. „*Какъ мало мы оба ее знали!* Восторженная голова, го-

мого поступка... Вы это все должны понять сами, ког
опомнитесь. А я, не хвастаясь, скажу: я бы не огран
чился тѣмъ, что̀ уже сдѣлалъ для васъ; я всегда гото
былъ — и готовъ еще теперь — устроить, упрочить ва
благосостояніе, обезпечить васъ вполнѣ, потому что
знаю вамъ цѣну, отдаю справедливость вашимъ тала
тамъ, вашему уму, да и наконецъ... (Тутъ Семенъ Ма
вѣичъ слегка пригнулся ко мнѣ)... У васъ такіе глаз
что, признаться... я вотъ старикъ, а совершенно равн
душно видѣть ихъ... я понимаю... это трудно, это дѣ
ствительно трудно.

„Холодомъ обдало меня отъ этихъ словъ. Я уша
своимъ едва повѣрила. Въ первую минуту мнѣ показ
лось, что Семенъ Матвѣичъ хотѣлъ купить мое отречен
отъ Мишеля, дать мнѣ „отступного"... Но эти слова! М
глаза начали привыкать къ темнотѣ, и я могла разл
чить лицо Семена Матвѣича. Оно улыбалось, это стар
лицо, а самъ онъ все расхаживалъ маленькими шагам
сѣменилъ предо мною...

— Ну, такъ какъ же?—спросилъ онъ наконецъ:—нр
вится вамъ мое предложеніе?

— Предложеніе?.. — повторила я невольно... я рѣш
тельно ничего не понимала.

„Семенъ Матвѣичъ засмѣялся... дѣйствительно засмѣял
своимъ противнымъ, тонкимъ смѣхомъ.

— Конечно! — воскликнулъ онъ: — вы всѣ, молод
дѣвки... — онъ поправился: — дѣвицы... дѣвицы... вы в
объ одномъ только мечтаете: вамъ все молодыхъ подава
Безъ любви вы жить не можете! Конечно. Что̀ говорит
Молодость — дѣло хорошее! Но развѣ одни молодые л
бить умѣютъ?.. У иного старика сердце еще горячѣе,
ужъ коли старикъ кого полюбитъ, такъ ужъ это — к
менная скала! Это навѣкъ! Не то, что эти безброде
лоботрясы, у которыхъ только вѣтеръ въ головахъ х
дитъ! Да, да; старичками брезгать не слѣдуетъ! Они м
гутъ сдѣлать многое! Только взяться за нихъ надо умѣ
ти! Да... да! И ласкать старички умѣютъ тоже, хи-х
хи... — Семенъ Матвѣичъ опять засмѣялся. — Да во

позвольте... Вашу ручку... для пробы.. только такъ... для пробы...

„Я вскочила со стула и изо всей силы толкнула его въ грудь. Онъ отшатнулся, онъ издалъ какой-то дряхлый, испуганный звукъ, онъ чуть не упалъ. На человѣческомъ языкѣ нѣтъ словъ, чтобы выразить, до какой степени онъ мнѣ показался гнусенъ и ничтожно низокъ. Всякое подобіе страха исчезло во мнѣ.

— Подите прочь, презрѣнный старикъ, — вырвалось у меня изъ груди:—подите прочь, г. Колтовской, столбовой дворянинъ! И во мнѣ течетъ ваша кровь, кровь Колтовскихъ, и я проклинаю тотъ день и часъ, когда она потекла по моимъ жиламъ!

— Что?.. Что ты говоришь?.. Что?—лепеталъ задыхаясь Семенъ Матвѣичъ.—Ты смѣешь... въ ту минуту, когда я тебя засталъ... когда ты шла къ Мишкѣ... а? а? а?

„Но я уже не могла остановиться... Что-то безпощадно отчаянное проснулось во мнѣ.

— И вы, вы, братъ... братъ вашего брата, вы дерзнули, вы рѣшились... За кого же вы приняли меня? И неужели же вы такъ слѣпы, что не могли давно замѣтить то отвращеніе, которое вы возбуждаете во мнѣ?.. Вы смѣли употребить слово: предложеніе!.. Выпустите меня сейчасъ, сію минуту!

„Я направилась къ двери.

— А, вотъ что! вотъ какъ! вотъ когда она заговорила!— запищалъ Семенъ Матвѣичъ въ изступленіи злобы, но видимо не рѣшаясь подойти ко мнѣ...—Погоди же! Господинъ Ратчъ, Иванъ Демьянычъ! пожалуйте сюда!

„Дверь бильярдной, противоположная той, къ которой я приближалась, раскрылась настежь и, съ зажженнымъ канделябромъ въ каждой рукѣ, появился мой вотчимъ. Освѣщенное съ двухъ сторонъ свѣчами, его круглое, красное лицо сіяло торжествомъ удовлетворенной мести, лакейской радостью удачной услуги... О, эти гадкіе, бѣлые глаза! когда я перестану ихъ видѣть!

— Извольте *тотчасъ взять* эту дѣвушку,—воскликнулъ *Семенъ Матвѣичъ, обращаясь* къ моему вотчиму и пове-

лительно указывая на меня дрожащей рукой. — Извольте отвести ее къ себѣ въ домъ и запереть на ключъ, на замокъ... чтобъ она... пальцемъ пошевельнуть не могла, чтобы муха къ ней не проскочила! Впредь до моего приказанія! Окна забить, если нужно! Ты отвѣчаешь мнѣ за нее головой!

„Г-нъ Ратчъ поставилъ канделябры на бильярдъ, поклонился въ поясъ Семену Матвѣичу и, слегка переваливаясь и злорадно улыбаясь, направился ко мнѣ. Котъ, должно-быть, такъ подходитъ къ мыши, которой некуда спастись. Вся моя отвага тотчасъ меня покинула. Я знала, этотъ человѣкъ былъ въ состояніи... прибить меня. Я задрожала; да; о, позоръ! о, стыдъ! я задрожала.

— Ну-съ, сударыня, — проговорилъ г. Ратчъ:—извольте-съ идти-съ.

„Онъ, не спѣша, взялъ меня за руку выше локтя... Онъ понималъ, что я сопротивляться не буду. Я сама подалась впередъ къ двери; въ эту минуту я думала только объ одномъ: какъ бы поскорѣе избавиться отъ присутствія Семена Матвѣича.

„Но гадкій старикъ подскочилъ къ намъ сзади, и Ратчъ остановилъ меня и повернулъ меня лицомъ къ своему патрону.

— А! — закричалъ тотъ и потрясъ кулакомъ: — а! я братъ... моего брата! Узы крови? а? А за брата, за двоюроднаго, выйти замужъ можно? Можно? а? Веди ее, ты!— обратился онъ къ моему вотчиму. — И помни: держать ухо востро! За малѣйшее сообщеніе съ нею — казни не будетъ достойной... Веди!

„Г-нъ Ратчъ привелъ меня въ мою комнату. Идя по двору, онъ ничего не сказалъ мнѣ, все только смѣялся про себя, безъ звука. Онъ заперъ ставни, двери и тутъ же, уходя окончательно и кланяясь мнѣ въ поясъ, какъ Семену Матвѣичу, прыснулъ, разразился тяжелымъ, восторженнымъ хохотомъ. „Покойной ночи царевнѣ Меликтрисѣ“,—удушливо простоналъ онъ:—„не поймала Митрофана-Царевича! Жаль! Мысль была въ своемъ родѣ не *глупая! Впередъ* наука: не заводить корреспонденцій! Хо-*хо-хо! Какъ*, однако, все славно обдѣлалось!“ Онъ вы-

шелъ, и вдругъ высунулъ голову изъ-за двери. „Что? Вѣдь не *забылъ* я вамъ? Ась? Слово сдержалъ? Хо-хо!“ Ключъ щелкнулъ въ замкѣ. Я вздохнула свободно. Я боялась, какъ бы онъ мнѣ рукъ не связалъ... но онѣ были мои,—онѣ были свободны! Я мгновенно сдернула шелковый шнурокъ со спальнаго капота, сдѣлала петлю, приблизила ее къ шеѣ, но тотчасъ же отбросила шнурокъ въ сторону. „Не потѣшу я васъ!“ сказала я громко. „И въ самомъ дѣлѣ, что̀ за безуміе? Могу ли я располагать моею жизнью безъ вѣдома Мишеля, моею жизнью, которую сама ему отдала? Нѣтъ, мои злодѣи! Нѣтъ! Дѣло еще не выиграно вами! Онъ меня спасетъ, онъ вырветъ меня изъ этого ада, онъ... мой Мишель!“

„Но тутъ я вспомнила, что онъ въ заключеніи, такъ же какъ и я, — и я бросилась лицомъ на постель, зарыдала... зарыдала... И только мысль, что мой мучитель, быть-можетъ, стоитъ за дверью и прислушивается, и торжествуетъ, только эта моя мысль заставила меня проглотить мои слезы...

„Я утомлена. Я пишу съ утра, а теперь вечеръ; оторвавшись разъ отъ этого листа бумаги, я уже не буду въ состояніи приняться снова за перо... Скорѣй, скорѣй къ концу! Да и притомъ, останавливаться на безобразіяхъ, которыя послѣдовали за тѣмъ страшнымъ днемъ, свыше силъ моихъ!

„Меня черезъ сутки перевезли въ закрытомъ возкѣ въ отдѣльную дворовую избу, окружили мужиками-караульщиками, меня держали взаперти цѣлыя шесть недѣль! Я ни минуты не была одна... Уже впослѣдствіи я узнала, что вотчимъ мой, съ самаго пріѣзда Мишеля, приставилъ и къ нему, и ко мнѣ шпіоновъ, что онъ подкупилъ слугу, который доставилъ мнѣ записку отъ Мишеля; узнала я также, что между имъ и отцомъ его произошла на слѣдующее утро ужасная, возмутительная сцена... Отецъ его проклялъ. Мишель съ своей стороны поклялся, что ноги его не будетъ въ родительскомъ домѣ, и уѣхалъ въ Петербургъ. Но ударъ, нанесенный мнѣ моимъ вотчимомъ, отразился *на немъ самомъ*. Семенъ Матвѣичъ объявилъ

ему, что оставаться ему въ деревнѣ, управлять имѣньемъ, болѣе невозможно: видно, неловкое усердіе не прощается, и надо же было взыскать на комъ-нибудь за происшедшій *скандалъ*. Впрочемъ, Семенъ Матвѣичъ щедро наградилъ г-на Ратча; онъ далъ ему средства перебраться въ Москву и поселиться тамъ. Предъ отъѣздомъ въ Москву меня перевели обратно во флигель, но попрежнему держали подъ строжайшимъ надзоромъ. Потеря „тепленькаго" мѣстечка, котораго онъ лишился „по моей милости", еще увеличила злобу моего вотчима противъ меня.

— И кого удивить вздумали? — говаривалъ онъ, чуть не фыркая отъ негодованія: — право! Старичокъ, конечно, погорячился, поспѣшилъ, ну, и попалъ впросакъ; теперь, конечно, самолюбіе его пострадало, бѣду теперь поправить нельзя. Подождать бы денька два, и все бы какъ по маслу пошло; вы бы теперь не сидѣли на сухоѣденіи, и я бы остался, чѣмъ былъ! То-то и есть; длиненъ у бабъ волосъ... а умъ коротокъ! Ну, да ладно; я свое возьму, и тотъ голубчикъ (онъ намекалъ на Мишеля) меня не забудетъ.

„Я, разумѣется, должна была сносить въ молчаніи всѣ эти оскорбленія. И Семена Матвѣича я уже больше ни разу не видала. Разлука съ сыномъ потрясла и его. Почувствовалъ ли онъ раскаяніе или, — что̀ гораздо вѣроятнѣе, — желалъ ли онъ навсегда приковать меня къ моему дому, къ моей семьѣ — къ моей семьѣ! — только онъ назначилъ мнѣ пенсію, которая должна была поступать въ руки моего вотчима и выдаваться мнѣ до тѣхъ поръ, пока я выйду замужъ... Это унизительное подаяніе, эту пенсію я до сихъ поръ получаю... то-есть, г-нъ Ратчъ получаетъ ее за меня...

„Поселились мы въ Москвѣ. Клянусь памятью моей бѣдной матери, двухъ дней, двухъ часовъ я бы не осталась съ моимъ вотчимомъ, *попавши въ городъ*... Я бы ушла, не зная куда... въ полицію, бросилась бы въ ноги къ генералъ-губернатору, сенаторамъ, я не знаю, что̀ бы я сдѣлала, если бы, въ самую минуту отъѣзда изъ деревни, *бывшей моей горничной* не удалось передать мнѣ письмо

отъ Мишеля. О, это письмо! Сколько разъ я перечитывала каждую строку, сколько разъ покрыла его поцѣлуями! Мишель умолялъ меня не падать духомъ, надѣяться, быть увѣренною въ его неизмѣнной любви; онъ клялся, что кромѣ меня никому принадлежать не будетъ, онъ называлъ меня своей женой, онъ обѣщалъ устранить всѣ препятствія, онъ рисовалъ картину нашего будущаго, онъ просилъ меня объ одномъ: потерпѣть, подождать немного... И я рѣшилась ждать и терпѣть. Ахъ, на что бы не согласилась я, чего бы я не вынесла, чтобы только исполнить его волю! Это письмо стало моею святынею, моею путеводною звѣздой, моимъ якоремъ. Бывало, мой вотчимъ начнетъ укорять, оскорблять меня, я тихонько положу руку на грудь (я носила письмо Мишеля зашитымъ въ ладонку) и только улыбнусь. И чѣмъ больше бѣсится и бранится г-нъ Ратчъ, тѣмъ мнѣ легче становится и слаще... Я, наконецъ, видѣла по его глазамъ, что онъ начиналъ думать, не схожу ли я съ ума... Вслѣдъ за тѣмъ первымъ письмомъ пришло второе, еще болѣе исполненное надеждъ... Оно говорило о близкомъ свиданіи.

„Ахъ, вмѣсто этого свиданія настало одно утро... И вижу я, входитъ ко мнѣ г-нъ Ратчъ,—и опять торжество, злорадное торжество на его лицѣ,—и въ рукахъ его листъ *Инвалида*, и тамъ извѣстіе о смерти гвардіи ротмистра Михаила Колтовского... Исключенъ изъ списковъ.

„Что могу я прибавить? Я осталась жива и продолжала жить у г-на Ратча. Онъ ненавидѣлъ меня попрежнему, больше прежняго,—онъ слишкомъ разоблачилъ предо мной свою черную душу, онъ не могъ мнѣ это простить. Но мнѣ было все равно. Я стала какою-то безчувственною; моя собственная судьба меня уже не занимала. Вспоминать о *немъ*, вспоминать о *немъ!* другого занятія, другихъ радостей у меня не было. Мой бѣдный Мишель скончался съ моимъ именемъ на устахъ... Мнѣ это сообщилъ одинъ преданный ему человѣкъ, который вмѣстѣ съ нимъ пріѣзжалъ въ деревню. Вотчимъ мой въ томъ же году женился на Элеонорѣ Карповнѣ. Вскорѣ умеръ и Семенъ Матвѣичъ, подтвердивъ и увеличивъ въ завѣща-

ніи своемъ пожалованную мнѣ пенсію... Въ случаѣ моей смерти она должна перейти къ г-ну Ратчу...

„Минуло два, три года... прошло шесть лѣтъ, семь лѣтъ... жизнь уходила, утекала... а я только глядѣла, какъ утекала она. Такъ, бывало, въ дѣтствѣ, устроишь на берегу ручья изъ песку сажалку, и плотину выведешь, и всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась. Но вотъ, она прорвалась, наконецъ, и бросишь ты всѣ свои хлопоты, и весело тебѣ станетъ смотрѣть, какъ все накопленное тобою убѣгаетъ до капли...

„Такъ жила я, такъ существовала, пока, наконецъ, новый, уже неожиданный лучъ тепла и свѣта". . . .

. . . . . .

На этомъ словѣ останавливалась рукопись; послѣдующіе листы были оторваны, и нѣсколько строкъ, оканчивавшихъ фразу, зачеркнуты и перемараны чернилами.

XVIII.

Чтеніе этой тетради до того меня смутило, впечатлѣніе, произведенное посѣщеніемъ Сусанны, было такъ велико, что я не могъ уснуть всю ночь и рано поутру послалъ съ эстафетой къ Фустову письмо, въ которомъ заклиналъ его вернуться какъ можно скорѣе въ Москву, такъ какъ его отсутствіе могло имѣть самыя тяжелыя послѣдствія. Я намекнулъ ему тоже на свиданіе съ Сусанной, на тетрадку, которую она оставила въ моихъ рукахъ. Отправивъ письмо, я весь тотъ день уже не выходилъ изъ дому и все размышлялъ о томъ, что̀ должно было происходить тамъ, у Ратчей. Пойти самому туда я не рѣшался. Я не могъ, однако, не замѣтить, что тетушка моя находилась въ постоянной тревогѣ; она приказывала курить чуть не каждую минуту и раскладывала пасьянсъ: „Путешественникъ", извѣстный тѣмъ, что никогда не выходитъ. Визитъ незнакомой дамы, да еще въ такую позднюю пору, не остался для нея тайной: ея воображенью тотчасъ представилась зіяющая бездна, на краю которой я стоялъ, и она то и дѣло вздыхала, охала *и произносила* вполголоса французскія сентенціи, почерп-

нутыя ею изъ рукописной книжечки подъ заглавіемъ: *Extraits de lecture*, а вечеромъ на моемъ ночномъ столикѣ очутилось сочиненіе Де-Жерандо, развернутое на главѣ: *О вредѣ страстей.* Сочиненіе это было занесено въ мою комнату, разумѣется, по приказанію тетушки, старшею ея компаньонкой, которую въ домѣ прозывали Амишкой, вслѣдствіе ея сходства съ маленькимъ пуделемъ того же имени, дѣвицей очень сентиментальною и даже романтическою, но перезрѣлою. Весь слѣдующій день прошелъ въ томительномъ ожиданіи пріѣзда Фустова, письма отъ него, извѣстій изъ дома Ратчей... хотя съ какой стати было имъ посылать ко мнѣ? Скорѣй Сусанна могла предполагать, что я посѣщу ее... Но у меня рѣшительно духа не хватало увидать ее, не поговоривъ сперва съ Фустовымъ. Я припоминалъ всѣ выраженья моего письма къ нему... Кажется, они были довольно сильны; наконецъ, уже поздно вечеромъ, онъ явился.

XIX.

Онъ вошелъ ко мнѣ въ комнату своею обычною, быстрою, но неторопливою походкой. Лицо его мнѣ показалось блѣднымъ и, являя слѣды дорожной усталости, выражало недоумѣніе, любопытство, недовольство — чувства, въ обычное время ему мало извѣстныя. Я бросился къ нему, обнялъ его, горячо поблагодарилъ его за то, что онъ меня послушался, и, передавъ въ двухъ словахъ мой разговоръ съ Сусанной, — вручилъ ему ея тетрадку. Онъ отошелъ къ окну, къ тому самому окну, на которомъ, два дня тому назадъ, сидѣла Сусанна, и, не сказавъ мнѣ ни слова, принялся читать. Я тотчасъ удалился въ противоположный уголъ комнаты и взялъ для контенанса книгу; но, признаюсь, все время глядѣлъ украдкой черезъ край переплета на Фустова. Сначала онъ читалъ довольно спокойно, и все щипалъ лѣвою рукой концы волосиковъ на губѣ; потомъ онъ опустилъ руку, нагнулся впередъ и уже не шевельнулся болѣе. Глаза его такъ и бѣгали *по строкамъ, и ротъ* слегка раскрылся. Вотъ, онъ

кончилъ тетрадку, перевернулъ ее, посмотрѣлъ кругомъ, задумался, и снова принялся ее читать, и перечелъ ее всю во второй разъ отъ начала до конца. Потомъ онъ всталъ, положилъ тетрадку въ карманъ и направился было къ двери; однако, вернулся и остановился посреди комнаты.

— Ну, что̀ ты думаешь? — началъ я, не дождавшись, чтобъ онъ заговорилъ.

— Я виноватъ передъ нею,—произнесъ Фустовъ глухо.— Я поступилъ... необдуманно, непростительно, дико. Я повѣрилъ этому... Виктору.

— Какъ! — воскликнулъ я: — тому самому Виктору, котораго ты такъ презираешь? Да что̀ онъ могъ сказать тебѣ?

Фустовъ скрестилъ руки, и сталъ ко мнѣ бокомъ. Ему было совѣстно, я это видѣлъ.

— Ты помнишь,—промолвилъ онъ не безъ нѣкотораго усилія: — этотъ... Викторъ упомянулъ о... о пенсіи. Это несчастное слово засѣло во мнѣ. Оно всему причиной. Я сталъ его разспрашивать... Ну, и онъ...

— Что же онъ?

— Онъ сказалъ мнѣ, что тотъ старикъ... какъ, бишь, его?.. Колтовской, назначилъ эту пенсію Сусаннѣ, потому что... оттого... ну, словомъ, въ видѣ вознагражденія.

Я всплеснулъ руками.

— И ты повѣрилъ?

Фустовъ наклонилъ голову.

— Да! Я повѣрилъ... Онъ также сказалъ, что и съ молодымъ... Словомъ, мой поступокъ не имѣетъ оправданья.

— И ты удалился, чтобы все перервать?

— Да; это лучшее средство... въ такихъ случаяхъ. Я поступилъ дико, дико!—подхватилъ онъ.

Мы оба помолчали. Каждый изъ насъ чувствовалъ, что другому было стыдно; но мнѣ было легче: я стыдился не за себя.

XX.

— Я бы теперь этому Виктору всѣ кости переломалъ,— продолжалъ Фустовъ, стиснувъ зубы: — если бы самъ не сознавалъ себя виноватымъ. Я теперь понимаю, почему вся эта штука подведена была: съ замужествомъ Сусанны, они лишались ея пенсіи... Подлецы!

Я взялъ его за руку.

— Александръ,—спросилъ я:—ты былъ у ней?

— Нѣтъ; я прямо съ дороги къ тебѣ. Я пойду завтра... завтра рано. Этого нельзя такъ оставить. Ни за что!

— Да ты... любишь ее, Александръ?

Фустовъ какъ будто обидѣлся.

— Конечно, я ее люблю. Я очень къ ней привязанъ.

— Она прекрасная, честная дѣвушка!—воскликнулъ я.

Фустовъ нетерпѣливо топнулъ ногою.

— Да что̀ ты воображаешь? Я готовъ былъ жениться на ней, — она же крещеная, — я и теперь готовъ на ней жениться, я уже думалъ объ этомъ, хотя она старше меня.

Въ это мгновенье мнѣ вдругъ показалось, что на окнѣ сидитъ, склонившись на руки, блѣдная женская фигура. Свѣчи нагорѣли: въ комнатѣ было темно. Я вздрогнулъ, вглядѣлся пристальнѣе, и ничего, конечно, не увидалъ на подоконникѣ; но какое-то странное чувство, смѣшеніе ужаса, тоски, сожалѣнія, охватило меня.

— Александръ! — началъ я съ внезапнымъ увлеченіемъ: — прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчасъ къ Ратчамъ, не откладывай до завтра! Мнѣ внутренній голосъ говоритъ, что тебѣ непремѣнно должно сегодня же увидаться съ Сусанной!

Фустовъ пожалъ плечами.

— Что ты это, помилуй! Теперь одиннадцатый часъ, у нихъ, вѣроятно, всѣ уже спятъ въ домѣ.

— Все равно... Ступай, ради Бога! У меня есть предчувствіе... Пожалуйста, послушайся меня! Ступай сейчасъ, возьми извозчика...

— Ну, что за вздоръ! — хладнокровно возразилъ Фустовъ: — съ какой стати я пойду теперь? Завтра утромъ я тамъ буду, и все разъяснится.

— Но, Александръ, вспомни, она говорила о томъ, что она умретъ, что ты ея не застанешь... И если бъ ты видѣлъ ея лицо! Подумай, представь, чтобы рѣшиться итти ко мнѣ... чего ей стоило...

— У ней восторженная голова, — промолвилъ Фустовъ, который, повидимому, снова вполнѣ овладѣлъ собой. — Всѣ молодыя дѣвушки такъ... на первыхъ порахъ. Повторяю, завтра все придетъ въ порядокъ. Пока прощай. Я усталъ, да и тебѣ спать хочется.

Онъ взялъ фуражку и пошелъ вонъ изъ комнаты.

— Но ты обѣщаешь тотчасъ придти сюда и все сказать мнѣ? — крикнулъ я ему вслѣдъ.

— Обѣщаю... Прощай!

Я легъ въ постель, но на сердцѣ у меня было неспокойно, и я досадовалъ на моего друга. Я заснулъ поздно, и видѣлъ во снѣ, будто мы съ Сусанной бродимъ по какимъ-то подземнымъ, сырымъ переходамъ, лазимъ по узкимъ, крутымъ лѣстницамъ, и все глубже и глубже спускаемся внизъ, хотя намъ непремѣнно слѣдуетъ выбраться вверхъ, на воздухъ, и кто-то все время безпрестанно зоветъ насъ, однообразно и жалобно.

XXI.

Чья-то рука легла на мое плечо и нѣсколько разъ меня толкнула... Я открылъ глаза и, при слабомъ свѣтѣ одинокой свѣчи, увидѣлъ предъ собою Фустова. Онъ испугалъ меня. Онъ качался на ногахъ; лицо его было желто, почти одного цвѣта съ волосами; губы отвисли, мутные глаза глядѣли безсмысленно въ сторону. Куда дѣвался ихъ постоянно-ласковый и благосклонный взоръ? У меня былъ двоюродный братъ, который отъ падучей болѣзни впалъ въ идіотизмъ... Фустовъ походилъ на него въ эту минуту.

Я поспѣшно приподнялся.

— *Что такое?* Что съ тобою? Господи!

Онъ ничего не отвѣчалъ.

— Да что̀ случилось, Фустовъ? Говори же! Сусанна?..

Фустовъ слегка встрепенулся.

— Она...—началъ онъ сиплымъ голосомъ и умолкъ.

— Что̀ съ нею? Ты ее видѣлъ?

Онъ уставился на меня.

— Ея ужъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ?

— Совсѣмъ нѣтъ. Она умерла.

Я вскочилъ съ постели.

— Какъ умерла? Сусанна? Умерла?

Фустовъ опять отвелъ глаза въ сторону.

— Да, умерла; въ полночь.

„Онъ рехнулся!"—мелькнуло у меня въ головѣ.

— Въ полночь! Да теперь который часъ?

— Теперь восемь часовъ утра. Мнѣ прислали сказать. Ее завтра хоронятъ.

Я схватилъ его за руку.

— Александръ, ты не бредишь? Ты въ своемъ умѣ?

— Я въ своемъ умѣ,—отвѣчалъ онъ.—Я, какъ узналъ это, сейчасъ отправился къ тебѣ.

Сердце во мнѣ болѣзненно окаменѣло, какъ это всегда бываетъ при убѣжденіи въ невозвратно совершившейся бѣдѣ.

— Боже мой! Боже мой! Умерла!—твердилъ я.—Какъ это возможно? Такъ внезапно! Или, можетъ-быть, она сама лишила себя жизни?

— Не знаю,—проговорилъ Фустовъ.—Ничего не знаю. Мнѣ сказали: въ полночь скончалась, И завтра хоронить будутъ.

„Въ полночь!" подумалъ я... „Стало-быть, она была еще жива вчера, когда она мнѣ почудилась на окнѣ, когда я умолялъ его бѣжать къ ней"...

— Она была еще жива вчера, когда ты посылалъ меня къ Ивану Демьянычу,—промолвилъ Фустовъ, словно угадавъ мою мысль.

„Какъ *же мало онъ зналъ* ее!" подумалъ я опять. „*Какъ мало мы оба ее знали!* Восторженная голова, го-

ворилъ онъ, всѣ молодыя дѣвушки такъ... А въ ту самую минуту она, быть-можетъ, подносила къ губамъ... Возможно ли любить кого-нибудь и такъ грубо въ немъ ошибаться?"

Фустовъ неподвижно стоялъ предъ моею кроватью, съ повисшими руками, какъ виноватый.

XXII.

Я наскоро одѣлся.

— Что же ты намѣренъ теперь дѣлать, Александръ? — спросилъ я.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ недоумѣньемъ, какъ бы дивясь нелѣпости моего вопроса. И въ самомъ дѣлѣ, что̀ было дѣлать?

— Ты, однако, не можешь не пойти къ нимъ,—началъ я.—Ты долженъ узнать, какъ это случилось; тутъ, можетъ-быть, преступленіе скрывается. Отъ этихъ людей всего ожидать слѣдуетъ... Это все на чистую воду вывести слѣдуетъ. Вспомни, что̀ стоитъ въ *ея* тетрадкѣ: пенсія прекращается въ случаѣ замужества, а въ случаѣ смерти *переходитъ* къ Ратчу. Во всякомъ случаѣ, послѣдній долгъ отдать надо, поклониться праху!

Я говорилъ Фустову какъ наставникъ, какъ старшій братъ. Среди всего этого ужаса, горя, изумленія, какое-то невольное чувство превосходства надъ Фустовымъ внезапно проявилось во мнѣ... Отъ того ли, что я видѣлъ его подавленнымъ сознаньемъ своей вины, потерявшимся, уничтоженнымъ; отъ того ли, что несчастье, поразивъ человѣка, почти всегда его роняетъ, спускаетъ его ниже въ мнѣніи другихъ—„стало, молъ, ты плохъ, коли не умѣлъ увернуться!"—Господь вѣдаетъ! Только Фустовъ мнѣ казался почти ребенкомъ, и жалко было мнѣ его, и понималъ я необходимость строгости. Я протягивалъ ему руку сверху внизъ. Одно лишь женское сожалѣніе не идетъ сверху внизъ.

Но Фустовъ продолжалъ глядѣть на меня тупо и дико,— *мой авторитетъ*, очевидно, не дѣйствовалъ на него,—и

на мой вторичный вопросъ: „Вѣдь ты пойдешь къ нимъ?“ отвѣчалъ: „нѣтъ, не пойду“.

— Какъ же это, помилуй! Неужели ты не захочешь самъ узнать, разспросить: какъ, что? Можетъ-быть, она оставила письмо... документъ какой-нибудь... помилуй!

Фустовъ покачалъ головой.

— Я не могу пойти туда,—промолвилъ онъ.—Я затѣмъ и пришелъ къ тебѣ, чтобы попросить тебя... вмѣсто меня... А я не могу... не могу...

Фустовъ вдругъ присѣлъ къ столу, закрылъ лицо обѣими руками и зарыдалъ горько.

— Ахъ, ахъ,—твердилъ онъ сквозь слезы:—ахъ, бѣдная... бѣдняжка... я лю... я любилъ ее... ахъ, ахъ!

Я стоялъ возлѣ него и, долженъ сознаться, никакого участія не возбуждали во мнѣ эти безспорно искреннія рыданья; я только удивлялся тому, что Фустовъ могъ *такъ* плакать, и мнѣ показалось, что я *теперь* понялъ, какой онъ маленькій человѣкъ, и какъ я, на его мѣстѣ, поступилъ бы совсѣмъ иначе. Вотъ, и подите послѣ этого! Если бы Фустовъ остался совершенно спокоенъ, я, быть-можетъ, возненавидѣлъ бы его, возымѣлъ бы къ нему отвращеніе, но онъ не упалъ бы въ моемъ мнѣніи... *Престижъ* бы его сохранился, Донъ-Жуанъ остался бы Донъ-Жуаномъ! Очень поздно въ жизни—и только послѣ многихъ опытовъ—научается человѣкъ, при видѣ дѣйствительнаго паденія или слабости собрата, сочувствовать ему и помогать ему безъ тайнаго самоуслажденія собственною добродѣтелью и силой, а напротивъ, со всяческимъ смиреніемъ и пониманіемъ естественности, почти неизбѣжности вины!

XXIII.

Я очень храбро и рѣшительно посылалъ Фустова къ Ратчамъ; но когда самъ я къ нимъ отправился часовъ въ двѣнадцать (Фустовъ ни за что не согласился идти со мною и только просилъ меня отдать ему подробный отчетъ во *всемъ*), *когда изъ-за* поворота переулка издали *глянулъ на меня ихъ домъ съ* желтоватымъ пятномъ при-

гробной свѣчи въ одномъ изъ оконъ, несказанный страхъ стѣснилъ мое дыханіе, я бы охотно вернулся назадъ... Однако я преодолѣлъ себя и вошелъ въ переднюю. Въ ней пахло ладаномъ и воскомъ; розовая крыша гроба, обитая серебрянымъ позументомъ, стояла въ углу, прислоненная къ стѣнѣ. Въ одной изъ сосѣднихъ комнатъ, въ столовой, гудѣло, какъ залетѣвшій шмель, однообразное бормотанье дьячка. Изъ гостиной выглянуло заспанное лицо служанки; промолвивъ вполголоса: „поклониться пришли?“ она указала на дверь столовой. Я вошелъ. Гробъ стоялъ къ дверямъ головой; черные волосы Сусанны подъ бѣлымъ вѣнчикомъ, надъ приподнятою бахромой подушки, первые бросились мнѣ въ глаза. Я зашелъ сбоку, перекрестился, поклонился въ землю, взглянулъ... Боже! какой горестный видъ! Несчастная! даже смерть ея не пожалѣла, не придала ей—не говорю уже красоты—но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, которая такъ часто встрѣчается на чертахъ усопшихъ. Маленькое, темное, почти коричневое, лицо Сусанны напоминало лики на старыхъ-старыхъ образахъ, и какое выраженіе было на этомъ лицѣ! Такое выраженіе, какъ будто она собралась крикнуть отчаяннымъ крикомъ, да такъ и замерла, не произнеся звука... даже морщинка между бровями не изгладилась, а пальцы на рукахъ были подвернуты и сжаты. Я невольно отвелъ взоръ; но, погодя немного, я заставилъ себя поглядѣть, внимательно и долго поглядѣть на нее. Жалость наполнила мою душу, и не одна только жалость. „Эта дѣвушка умерла насильственною смертью“, рѣшилъ я про себя: „это несомнѣнно“. Пока я стоялъ и глядѣлъ на покойницу, дьячокъ, который, при входѣ моемъ, возвысилъ-было голосъ и произнесъ нѣсколько членораздѣльныхъ звуковъ, снова загудѣлъ и зѣвнулъ раза два. Я вторично поклонился въ землю и вышелъ въ переднюю. На порогѣ гостиной уже ожидалъ меня г. Ратчъ, одѣтый въ пестрый бухарскій шлафрокъ и, поманивъ меня къ себѣ рукою, повелъ меня въ свой кабинетъ, я чуть-было не сказалъ: въ свою нору. Кабинетъ этотъ, мрачный, тѣсный, весь пропитанный кислымъ запахомъ вакштафа,

возбуждалъ въ умѣ сравненіе съ жилищемъ волка или лисицы.

XXIV.

— Разрывъ! разрывъ тамъ этихъ покрововъ... оболочки... Вы знаете... покрововъ! — заговорилъ г-нъ Ратчъ, какъ только заперъ дверь.—Такое несчастіе! Еще вчера вечеромъ нельзя было ничего замѣтить, и вдругъ: р-р-р-разъ! трахъ! пополамъ! и конецъ! Вотъ уже точно: „heute roth, morgen todt!“ Правда, это должно было ожидать: я это всегда ожидалъ, мнѣ въ Тамбовѣ полковой докторъ Галимбовскій, Викентій Казиміровичъ... Вы навѣрное слыхали о немъ... отличнѣйшій практикъ, спеціалистъ!

— Въ первый разъ слышу это имя,—замѣтилъ я.

— Ну, все равно; такъ вотъ онъ, — продолжалъ господинъ Ратчъ, сперва тихимъ голосомъ, а потомъ все громче и громче и, къ удивленію моему, съ замѣтнымъ нѣмецкимъ акцентомъ:—онъ меня всегда предупреждалъ: „Эй! Иванъ Демьянычъ! эй! другъ мой, берегитесь! У вашей падчерицы органическій недостатокъ въ сердцѣ— hipertrophia cordialis! Чуть что̀, бѣда! Сильныхъ ощущеній пуще всего избѣгать должно... На разсудокъ должно дѣйствовать“... А помилуйте, развѣ можно съ молодою дѣвицей!.. на разсудокъ дѣйствовать? Ха... ха... ха...

Господинъ Ратчъ чуть-было не засмѣялся, по старой привычкѣ, но во̀-время спохватился, и перевелъ начатый звукъ на кашель.

Это господинъ Ратчъ говорилъ! послѣ всего того, что я узналъ о немъ!.. Я почелъ, однако, своею обязанностью спросить его: былъ ли призванъ докторъ?

Господинъ Ратчъ даже подпрыгнулъ.

— Конечно, былъ... Двоихъ призывали, но уже все было совершенно—abgemacht! И вообразите: оба словно столковались (господинъ Ратчъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать: стакнулись): разрывъ! разрывъ сердца! Такъ въ одно слово и закричали. Предлагали апатомію; но я уже... вы понимаете, не согласился.

— *И завтра похороны?*—спросилъ я.

— Да, да, завтра, завтра мы хоронимъ нашу голубицу! Выносъ изъ дома будетъ ровно въ одиннадцать часовъ пополуночи... Отсюда въ церковь Николы на Курьихъ Ножкахъ... Знаете? Странныя какія имена у вашихъ русскихъ церквей! Потомъ на послѣдній покой въ матушкѣ землѣ сырой! Вы пожалуете? Мы недавно знакомы, но, смѣю сказать, любезность вашего нрава и возвышенность чувствъ...

Я поспѣшилъ кивнуть головой.

— Да, да, да,—вздохнулъ господинъ Ратчъ.—Это... это ужъ точно, какъ говорится, молнія на свѣтломъ небеси! Ein Blitz aus heiterem Himmel!

— И ничего Сусанна Ивановна не сказала передъ смертью, ничего не оставила?

— Ничего рѣшительно! Ни синь-пороха! Ни единаго клочка бумаги! Помилуйте, когда меня къ ней позвали, когда разбудили меня — представьте! она уже окоченѣла! Очень чувствительно было для меня; очень она насъ всѣхъ огорчила! Александръ Давыдычъ, чай, тоже пожалѣетъ, какъ узнаетъ... Говорятъ, его въ Москвѣ нѣтъ?

— Онъ, точно, уѣзжалъ на нѣсколько дней...—началъ было я.

— Викторъ Ивановичъ жалуются, что саней имъ долго не закладываютъ, — перебила меня вошедшая служанка, та самая, которую я видѣлъ въ передней. Лицо ея, попрежнему заспанное, поразило меня въ этотъ разъ тѣмъ выраженіемъ дерзкой грубости, какое появляется у слугъ, когда они знаютъ, что господа отъ нихъ зависятъ и не рѣшатся ни бранить ихъ, ни взыскивать съ нихъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, — засѣменилъ Иванъ Демьянычъ.—Элеонора Карповна! Leonore! Lenchen! пожалуйте сюда!

Что-то грузно завозилось за дверью, и въ ту же минуту раздалось повелительное восклицаніе Виктора: „Что жъ это, лошадь не закладываютъ? не пѣшкомъ же мнѣ въ полицію тащиться?“

— Сейчасъ, сейчасъ,—снова залепеталъ Иванъ Демьянычъ.—Элеонора Карповна, пожалуйте же сюда!

— Aber, Иванъ Демьянычъ,—послышался ея голосъ:— ich habe keine Toilette gemacht!

— Macht nichts. Komm herein!

Элеонора Карповна вошла, придерживая двумя пальцами косынку на голой шеѣ. На ней былъ утренній капотъ-распашóнка, и волосъ она не успѣла причесать. Иванъ Демьянычъ тотчасъ подскочилъ къ ней.

— Вы слышите, Викторъ лошадь требуетъ, — промолвилъ онъ, торопливо указывая пальцемъ то на дверь, то на окно. — Пожалуйста, распорядитесь попроворнѣе! Der Kerl schreit so!

— Der Victor schreit immer, Иванъ Демьянычъ, Sie wissen wohl, — отвѣчала Элеонора Карповна: — и я сама сказала кучеру, только онъ вздумалъ овесъ задавать. Вотъ, какое несчастье случилось вдругъ,—прибавила она, обратясь ко мнѣ:—и кто это могъ ожидать отъ Сусанны Ивановны?

— Я всегда это ожидалъ, всегда!—закричалъ Ратчъ и высоко поднялъ руки, при чемъ его бухарскій халатъ разъѣхался спереди, и обнаружились препротивныя нижнія невыразимыя изъ замшевой кожи съ мѣдными пряжками на поясѣ.—Разрывъ сердца! разрывъ оболочекъ! Гипертрофія!

— Ну, да,—повторила за нимъ Элеонора Карповна:— гипо... Ну, вотъ это. Только мнѣ очень, очень жалко, опять-таки скажу...—И ея топорное лицо понемножку перекосилось, брови приподнялись треугольникомъ, и крохотная слезинка скатилась на круглую, точно налакированную, какъ у куклы, щеку... — Мнѣ очень жалко, что такой молодой человѣкъ, которому только бы слѣдовало жить и пользоваться всѣмъ... всѣмъ... И этакое вдругъ отчаяніе!

— Na! gut, gut.. geh, alte!—перебилъ господинъ Ратчъ.

— Geh' schon, geh' schon,—проворчала Элеонора Карповна и вышла вонъ, все еще придерживая пальцами косынку и роняя слезинки.

И я отправился вслѣдъ за нею. Въ передней стоялъ *Викторъ въ студенческой шинели* съ бобровымъ воротни-

комъ и фуражкой набекрень. Онъ едва глянулъ на меня черезъ плечо, встряхнулъ воротникомъ и не поклонился, за что̀ я ему мысленно сказалъ большое спасибо.

Я вернулся къ Фустову.

XXV.

Я засталъ моего пріятеля сидящимъ въ углу своего кабинета, съ понуренною головой и скрещенными на груди руками. На него нашелъ столбнякъ, и глядѣлъ онъ вокругъ себя съ медленнымъ изумленіемъ человѣка, который очень крѣпко спалъ и котораго только-что разбудили. Я ему разсказалъ свое посѣщеніе у Ратча, передалъ ему рѣчи ветерана, рѣчи его жены, впечатлѣніе, которое они оба произвели на меня, сообщилъ ему мое убѣжденіе въ томъ, что несчастная дѣвушка сама себя лишила жизни... Фустовъ слушалъ меня, не мѣняя выраженія лица, и съ тѣмъ же изумленіемъ посматривалъ кругомъ.

— Ты ее видѣлъ?—спросилъ онъ меня наконецъ.

— Видѣлъ.

— Въ гробу?

Фустовъ словно сомнѣвался въ томъ, что Сусанна дѣйствительно умерла.

— Въ гробу.

Фустовъ перекосилъ и опустилъ глаза, и тихонько потеръ себѣ руки.

— Тебѣ холодно?—спросилъ я.

— Да, братъ, холодно,—отвѣчалъ онъ съ разстановкой и безсмысленно покачалъ головою.

Я началъ ему доказывать, что Сусанна непремѣнно отравилась, а, можетъ-быть, и отравлена была, и что этого нельзя такъ оставить.

Фустовъ уставился на меня.

— Что же тутъ дѣлать?—сказалъ онъ, медленно и широко моргая. — Хуже вѣдь... если узнаютъ. Хоронить не станутъ. Оставить надо... такъ.

Мнѣ эта, впрочемъ, очень простая мысль въ голову не *приходила*. Практическій смыслъ моего пріятеля не измѣнялъ ему.

— Когда... ее хоронятъ?—продолжалъ онъ.

— Завтра.

— Ты пойдешь?

— Да.

— Въ домъ, или прямо въ церковь?

— И въ домъ, и въ церковь; а оттуда на кладбище.

— А я не пойду... Я не могу, не могу, — прошепталъ Фустовъ и началъ всхлипывать. Онъ и поутру на тѣхъ же самыхъ словахъ зарыдалъ. Я замѣтилъ, это часто случается съ плачущимъ; точно будто однимъ извѣстнымъ словамъ, большею частью незначительнымъ, — но именно *этимъ* словамъ, а не другимъ,—дано раскрыть источникъ слезъ въ человѣкѣ, потрясти его, возбудить въ немъ чувство жалости къ другому и къ самому себѣ... Помнится, одна крестьянка, разсказывая при мнѣ про внезапную смерть своей дочери во время обѣда, такъ и заливалась и не могла продолжать начатаго разсказа, какъ только произносила слѣдующую фразу: „Я ей говорю: Ѳекла? А она мнѣ: мамка, соль-то ты куда... соль куда... со-оль“... Слово: „соль“ ее убивало. Но меня, такъ же, какъ и поутру, мало трогали слезы Фустова. Я не постигалъ, какимъ образомъ онъ могъ не спросить меня, не оставила ли Сусанна чего-нибудь для него? Вообще, ихъ взаимная любовь была для меня загадкой: она такъ и осталась загадкой для меня.

Поплакавъ минутъ съ десять, Фустовъ всталъ, легъ на диванъ, повернулся лицомъ къ стѣнѣ, и остался неподвиженъ. Я подождалъ немного, но, видя, что онъ не шевелится и не отвѣчаетъ на мои вопросы, рѣшился удалиться. Я, быть-можетъ, взвожу на него напраслину, но едва ли онъ не заснулъ. Впрочемъ, это еще бы не доказывало, чтобъ онъ не чувствовалъ огорченія... а только природа его была такъ устроена, что не могла долго выносить печальныя ощущенія... Ужъ больно нормальная была природа!

XXVI.

На слѣдующій *день, ровно* въ одиннадцать часовъ, я *былъ на мѣстѣ. Тонкая* крупа сѣялась съ низкаго неба,

морозъ стоялъ небольшой, готовилась оттепель, но въ воздухѣ ходили рѣзкія, непріятныя струи... Самая была великопостная, простудная погода. Я засталъ г. Ратча на крыльцѣ его дома. Въ черномъ фракѣ съ плерезами, безъ шляпы на головѣ, онъ суетился, размахивалъ руками, билъ себя по ляжкамъ, кричалъ то въ домъ, то на улицу, въ направленіи тутъ же стоявшихъ погребальныхъ дрогъ съ бѣлымъ катафалкомъ и двухъ ямскихъ каретъ, возлѣ которыхъ четыре гарнизонныхъ солдата въ траурныхъ мантіяхъ на старыхъ шинеляхъ и траурныхъ шляпахъ на сморщенныхъ глазахъ, задумчиво тыкали въ рыхлый снѣгъ ручками незажженныхъ факеловъ. Сѣдая шапка волосъ такъ и вздымалась надъ краснымъ лицомъ г-на Ратча, и голосъ его, этотъ мѣдный голосъ, обрывался отъ натуги.— Что же ельнику? ельнику! сюда! Вѣтвей еловыхъ! — вопилъ онъ:—сейчасъ гробъ выносить будутъ! Ельнику! Валите ельнику! Живо! — воскликнулъ онъ еще разъ, и вскочилъ въ домъ. Оказалось, что, несмотря на мою аккуратность, я опоздалъ: г. Ратчъ счелъ за нужное поспѣшить. Служба уже отошла: священники,—изъ коихъ одинъ имѣлъ камилавку, а другой, помоложе, очень тщательно расчесалъ и примаслилъ волосы, — появились вмѣстѣ съ причтомъ на крыльцѣ. Вскорѣ показался и гробъ, несомый кучеромъ, двумя дворниками и водовозомъ. Г-нъ Ратчъ шелъ сзади, придерживаясь концами пальцевъ за крышку и все твердилъ: „легче, легче!“ За нимъ въ перевалочку плелась Элеонора Карповна, въ черномъ платьѣ, тоже съ плерезами, окруженная всѣмъ своимъ семействомъ; послѣ всѣхъ выступалъ Викторъ; въ новенькомъ мундирѣ, при шпагѣ, съ флеромъ на рукояткѣ. Носильщики, кряхтя и перекоряясь, поставили гробъ на дроги; гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчасъ же затрещали и задымились, раздался плачъ забредшей салопницы, дьячки запѣли, снѣжная крупа внезапно усилилась и завертѣлась „бѣлыми мухами“, г-нъ Ратчъ крикнулъ: — „съ Богомъ! трогай!“ — и процессія тронулась. Кромѣ семейства г-на *Ратча, провожавшихъ* гробъ было всего пять человѣкъ: *отставной, очень* поношенный офицеръ путей сообщенія съ

волинялою лентой Станислава на шеѣ, едва ли не взятый напрокатъ; помощникъ квартальнаго надзирателя, крошечный человѣкъ, съ смиреннымъ лицомъ и жадными глазами; какой-то старичокъ въ камлотовомъ капотѣ; чрезвычайно толстый рыбный торговецъ въ купеческой синей чуйкѣ и съ запахомъ своего товара, — и я. Отсутствіе женскаго пола (ибо не было возможности причислить къ нему двухъ тетокъ Элеоноры Карповны, сестеръ колбасника, да еще какую-то кривобокую дѣвицу въ синихъ очкахъ на синемъ носѣ), отсутствіе пріятельницъ и подругъ меня сперва поразило; но, поразмысливъ, я сообразилъ, что Сусанна, съ ея нравомъ, воспитаніемъ, съ ея воспоминаніями, не могла имѣть подругъ въ той средѣ, гдѣ она жила. Въ церковь набралось довольно много народу, незнакомыхъ еще больше, чѣмъ знакомыхъ, что можно было видѣть по выраженію ихъ лицъ. Отпѣваніе продолжалось не долго. Удивляло меня то, что г-нъ Ратчъ крестился весьма истово, совершенно какъ православный, и едва ли не подтягивалъ дьячкамъ, впрочемъ, однѣми нотами. Когда же, наконецъ, пришлось прощаться съ покойницей, я низко поклонился ей, но не далъ ей послѣдняго лобзанія. Г-нъ Ратчъ, напротивъ, очень развязно исполнилъ этотъ страшный обрядъ, съ почтительнымъ наклоненіемъ корпуса пригласилъ къ гробу офицера со Станиславомъ, точно угощая его, и высоко, съ размаха, поднимая подъ мышки своихъ дѣтей, поочередно подносилъ ихъ къ тѣлу. Элеонора Карповна, простившись съ Сусанной, вдругъ разрюмилась на всю церковь; однако скоро успокоилась и все спрашивала раздраженнымъ шопотомъ: „А и гдѣ же мой ридикюль?“ Викторъ держался въ сторонѣ, и всею своею осанкой, казалось, хотѣлъ дать понять, какъ далекъ онъ отъ всѣхъ подобныхъ обычаевъ, и какъ онъ только долгъ приличія исполняетъ. Больше всѣхъ изъявилъ сочувствія старичокъ въ капотѣ, бывшій лѣтъ пятнадцать тому назадъ землемѣромъ въ Тамбовской губерніи и съ тѣхъ поръ не видавшій Ратча; онъ Сусанны не зналъ вовсе, но успѣлъ уже выпить двѣ рюмки водки въ буфетѣ. Тетушка моя также пріѣхала въ церковь. Она

почему-то узнала, что покойница была именно та дама, которая посѣтила меня, и пришла въ волненіе неописанное! Подозрѣвать меня въ дурномъ поступкѣ она не рѣшалась, но изъяснить такое странное стеченіе обстоятельствъ также не могла... Чуть ли но вообразила она, что Сусанна изъ любви ко мнѣ рѣшилась на самоубійство, и, облекшись въ самыя темныя одежды, съ сокрушеннымъ сердцемъ и слезами, на колѣняхъ молилась объ успокоеніи души новопреставленной, поставила рублевую свѣчу образу Утоленія Печали... „Амишка“ также съ ней пріѣхала и также молилась, но больше все на меня посматривала и ужасалась... Эта старая дѣвица была, увы! ко мнѣ неравнодушна. Выходя изъ церкви, тетушка роздала бѣднымъ всѣ свои деньги, свыше десяти рублей.

Кончилось, наконецъ, прощаніе. Принялись закрывать гробъ. Въ теченіе всей службы у меня духа не хватило прямо посмотрѣть на искаженное лицо бѣдной дѣвушки; но каждый разъ, какъ глаза мои мелькомъ скользили по немъ: „онъ не пришелъ, онъ не пришелъ“, казалось мнѣ, хотѣло сказать оно. Стали взводить крышу надъ гробомъ. Я не удержался, бросилъ быстрый взглядъ на мертвую. „Зачѣмъ ты это сдѣлала?“—спросилъ я невольно...—Онъ не пришелъ!—почудилось мнѣ въ послѣдній разъ...

Молотокъ застучалъ по гвоздямъ, и все было кончено.

XXVII.

Вслѣдъ за гробомъ двинулись мы на кладбище. Насъ было всѣхъ человѣкъ сорокъ, разнокалиберная, въ сущности праздная толпа. Больше часу продолжалось томительное шествіе. Погода дѣлалась все хуже. Викторъ съ полдороги сѣлъ въ карету; но г. Ратчъ выступалъ бодро по талому снѣгу; точно такъ онъ, должно-быть, выступалъ, и тоже по снѣгу, когда, послѣ рокового свиданія съ Семеномъ Матвѣичемъ, онъ съ торжествомъ велъ къ себѣ въ домъ навсегда погубленную имъ дѣвушку. Волосы „ветерана“, его брови, опушились снѣжинками; онъ то пыхтѣлъ и покрикивалъ, то мужественно забирая въ себя *духъ, округлялъ* свои крѣпкія, бурыя щеки... Право,

можно было подумать, что онъ смѣется. „Послѣ моей смерти, пенсія должна перейти къ Ивану Демьянычу“, вспоминались мнѣ опять слова Сусаннинной тетрадки. Пришли мы, наконецъ, на кладбище; добрались до свѣжевырытой могилы. Послѣдній обрядъ совершился скоро: всѣ продрогли, всѣ торопились. Гробъ на веревкахъ скользнулъ въ зіяющую яму; принялись забрасывать ее землей. Господинъ Ратчъ и тутъ показалъ бодрость своего духа: онъ такъ проворно, съ такой силой, съ такимъ размахомъ бросалъ комки земли на крышу гроба, такъ выставлялъ при этомъ ногу впередъ и такъ молодецки закидывалъ свой торсъ... энергичнѣе онъ бы не могъ дѣйствовать, если бъ ему пришлось побивать каменьями лютѣйшаго своего врага. Викторъ, попрежнему, держался въ сторонѣ; онъ все кутался въ шинель и проводилъ подбородкомъ по бобру воротника; остальныя дѣти господина Ратча усердно подражали родителю. Швырять пескомъ и землей доставляло имъ великое удовольствіе, за что̀ ихъ, впрочемъ, и винить нельзя. Холмикъ появился на мѣстѣ ямы; мы уже̂ собирались расходиться, какъ вдругъ господинъ Ратчъ, повернувшись по-военному налѣво кругомъ и хлопнувъ себя по ляжкѣ, объявилъ намъ всѣмъ, „господамъ мужчинамъ“, что онъ приглашаетъ насъ, а также и „почтенное священство“, на „поминательный“ столъ, устроенный въ недальнемъ разстояніи отъ кладбища, въ главной залѣ весьма приличнаго трактира, „стараньями любезнѣйшаго нашего Сигизмунда Сигизмундовича“... При этихъ словахъ онъ указалъ на помощника квартальнаго надзирателя и прибавилъ, что, при всей своей горести и лютеранской религіи, онъ, Иванъ Демьяновъ Ратчъ, какъ истый русскій человѣкъ, дорожитъ пуще всего русскими древними обычаями. „Супруга моя“,—воскликнулъ онъ,— „и какія съ нею пожаловали дамы, пускай домой поѣдутъ, а мы, господа мужчины, помянемъ скромной трапезой тѣнь усопшія рабы Твоея!“ Предложеніе господина Ратча было принято съ искреннимъ сочувствіемъ; „почтенное“ священство какъ-то внушительно переглянулось между собой, а офицеръ путей сообщенія потрепалъ

Ивана Демьяныча по плечу и назвалъ его патріотомъ и душою общества.

Мы отправились гуртомъ въ трактиръ. Въ трактирѣ, посреди длинной и широкой, впрочемъ, совершенно пустой комнаты второго этажа, стояли два стола, покрытые бутылками, яствами, приборами и окруженные стульями; запахъ штукатурки, соединенный съ запахомъ водки и постнаго масла, билъ въ носъ и стѣснялъ дыханіе. Помощникъ квартальнаго надзирателя, въ качествѣ распорядителя, усадилъ священство за почетный конецъ, на которомъ преимущественно столпились кушанья постныя; вслѣдъ за духовенствомъ усѣлись прочіе посѣтители; пиръ начался. Не хотѣлось бы мнѣ употреблять такое праздничное слово: пиръ; но всякое другое слово не соотвѣтствовало бы самой сущности дѣла. Сперва все шло довольно тихо, не безъ оттѣнка унылости: уста жевали, рюмки опорожнялись, но слышались и вздохи, быть-можетъ, пищеварительные, а быть-можетъ и сочувственные; упоминалась смерть, обращалось вниманіе на краткость человѣческой жизни, на бренность земныхъ надеждъ; офицеръ путей сообщенія разсказалъ какой-то, правда, военный, но наставительный анекдотъ; батюшка въ камилавкѣ одобрилъ его и самъ сообщилъ любопытную черту изъ житія преподобнаго Ивана Воина; другой батюшка, съ прекрасно-причесанными волосами, хоть обращалъ больше вниманія на кушанья, однако тоже произнесъ нѣчто наставительное насчетъ дѣвической непорочности; понемногу все измѣнилось. Лица раскраснѣлись, голоса загомонѣли, смѣхъ вступилъ въ свои права; стали раздаваться восклицанія порывистыя, послышались ласковыя наименованья въ родѣ: „братца ты моего миленькаго“, „душки ты моей“, „чурки“ и даже „свинтуса этакого“; словомъ, посыпалось все то, на что такъ щедра русская душа, когда станетъ, какъ говорится, нараспашку. Когда же, наконецъ, захлопали пробки цымлянскаго, тутъ уже совсѣмъ шумно стало: нѣкто даже пѣтухомъ прокричалъ, а другой посѣтитель предложилъ изгрызть зубами и проглотить *рюмку, изъ которой* только-что выпилъ вино. Господинъ

Ратчъ, уже не красный, а сизый, внезапно всталъ съ своего мѣста; онъ и до того времени много шумѣлъ и хохоталъ, но тутъ онъ попросилъ позволенія произнесть спичъ.—Говорите! Произносите!—заголосили всѣ; старикъ въ капотѣ закричалъ даже:—браво!—и въ ладоши захлопалъ... впрочемъ, онъ сидѣлъ уже на полу. Господинъ Ратчъ поднялъ бокалъ высоко надъ головой и объявилъ, что намѣренъ, въ краткихъ, но „впечатлительныхъ" выраженіяхъ, указать на достоинства той прекрасной души, которая, „оставивъ здѣсь свою, такъ-сказать, земную шелуху (die irdische Hülle), воспарила въ небеса и погрузила"... господинъ Ратчъ поправился: „и погрязла"... Онъ опять поправился: „и погрузила..."

— Отецъ дьяконъ! Почтеннѣйшій! Душа!—послышался сдержанный, но убѣдительный шопотъ: — Горло, говорятъ, у тебя адское; уважь; грянь: „Мы живемъ среди полей!"

— Шш! шш!.. Полно вамъ! Что это! — промчалось по устамъ гостей.

— ...Погрузила все свое преданное семейство, — продолжалъ господинъ Ратчъ, бросивъ строгій взоръ въ направленіи любителя музыки:—погрузила все свое семейство въ ничѣмъ незамѣнимую печаль! Да!—воскликнулъ Иванъ Демьянычъ:—справедливо гласитъ русская пословица: судьба гнетъ не тужитъ, переломитъ...

— Стойте! Господа!—закричалъ внезапно чей-то хриплый голосъ на концѣ стола: — у меня сейчасъ кошелекъ украли!..

— Ахъ, мошенникъ! — запищалъ другой голосъ, и — бацъ! раздалась пощечина.

Господи! Что тутъ произошло! Точно дикій звѣрь, который до тѣхъ поръ лишь изрѣдка ворчалъ и шевелился въ насъ, вдругъ сорвался съ цѣпи и всталъ на дыбы, во всей безобразной красѣ своего взъерошеннаго загривка. Казалось, всѣ втайнѣ ожидали „скандала", какъ естественной принадлежности и разрѣшенія пира, и такъ и ринулись всѣ, такъ и подхватили... Тарелки, стаканы зазвенѣли, покатились, стулья опрокинулись, поднялся ирон-

зительный крикъ, руки замахали по воздуху, фалды взвились, и завязалась драка!

— Лупи его! лупи его!—заревѣлъ, какъ изступленный, мой сосѣдъ, рыбный торговецъ, казавшійся до того мгновенья самымъ смирнымъ человѣкомъ въ мірѣ; правда, онъ выпилъ въ молчанку стакановъ десять вина.—Лупи его!..

Кого лупить, за что лупить, онъ не имѣлъ понятія, но ревѣлъ неистово.

Помощникъ квартальнаго надзирателя, офицеръ путей сообщенія, самъ господинъ Ратчъ, который, вѣроятно, никакъ не ожидалъ, что его краснорѣчію будетъ положенъ такой скорый конецъ, попытались-было возстановить тишину... но усилія ихъ оказались тщетными. Мой сосѣдъ, рыбный торговецъ, даже на самого господина Ратча накинулся.

— Уморилъ дѣвку, нѣмчура треклятая,—закричалъ онъ на него, потрясая кулаками:—полицію подкупилъ, а теперь куражишься?!

Тутъ прибѣжали половые...

Что̀ произошло дальше, я не знаю; я поскорѣй схватилъ фуражку, да и давай Богъ ноги! Помню только, что-то страшно затрещало; помню также остовъ селедки въ волосахъ старца въ капотѣ, поповскую шляпу, летѣвшую черезъ всю комнату, блѣдное лицо Виктора, присѣвшаго въ углу, и чью-то рыжую бороду въ чьей-то мускулистой рукѣ... Это были послѣднія впечатлѣнія, вынесенныя мной изъ „поминальнаго пира“, устроеннаго любезнѣйшимъ Сигизмундомъ Сигизмундовичемъ въ честь бѣдной Сусанны.

Отдохнувъ нѣсколько, я отправился къ Фустову и разсказалъ ему все, чему я былъ свидѣтелемъ въ теченіе того дня. Онъ выслушалъ меня сидя, не поднимая головы, и подсунувъ обѣ руки подъ ноги, промолвилъ опять: „Ахъ, моя бѣдная, бѣдная!“ и опять легъ на диванъ и повернулся ко мнѣ спиной.

Недѣлю спустя, онъ уже совершенно оправился и зажилъ попрежнему. Я попросилъ у него тетрадку Сусанны *на память;* онъ отдалъ ее мнѣ безъ всякаго затрудненія.

XXVIII.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Тетушка моя скончалась; я изъ Москвы переселился въ Петербургъ. Въ Петербургъ переѣхалъ и Фустовъ. Онъ поступилъ въ министерство финансовъ, но я видѣлся съ нимъ рѣдко и не находилъ уже въ немъ ничего особеннаго. Чиновникъ, какъ и всѣ, да и баста! Если онъ еще живъ и не женатъ, то, вѣроятно, и доселѣ не измѣнился: точитъ и клеитъ, и гимнастикой занимается, и сердца пожираетъ попрежнему, и Наполеона въ лазоревомъ мундирѣ рисуетъ въ альбомы пріятельницъ. Мнѣ пришлось какъ-то съѣздить въ Москву, по дѣламъ. Въ Москвѣ узналъ я, признаюсь, къ немалому моему удивленію, что обстоятельства моего бывшаго знакомца, господина Ратча, приняли оборотъ неблагопріятный: супруга его, правда, подарила ему еще двойню, двухъ мальчиковъ, которыхъ онъ, „коренной русакъ", окрестилъ Брячеславомъ и Вячеславомъ, но домъ его сгорѣлъ, онъ принужденъ былъ подать въ отставку, и главное—его старшій сынокъ, Викторъ, такъ и не выходилъ изъ долгового отдѣленія. Во время моего пребыванія въ Москвѣ, въ одномъ обществѣ при мнѣ упомянули о Сусаннѣ, и самымъ невыгоднымъ, самымъ оскорбительнымъ образомъ! Я всячески постарался заступиться за память несчастной дѣвушки, которой судьба отказывала даже въ милостынѣ забвенія, но мои доводы не произвели большого впечатлѣнія на моихъ слушателей. Одного изъ нихъ, молодого студента-поэта, я, однако, поколебалъ. Онъ прислалъ мнѣ на другой день стихотвореніе, которое я позабылъ, но которое оканчивалось слѣдующими четырьмя стихами:

Но и надъ брошенной могилой
Не смолкнулъ голосъ клеветы...
Она тревожитъ призракъ милый
И жжетъ надгробные цвѣты!

Я прочелъ эти стихи и невольно погрузился въ думу. Образъ Сусанны возникъ передо мной; я опять увидалъ то замороженное *окно въ моей* комнатѣ; я вспомнилъ *тотъ вечеръ, и порывы снѣжной* вьюги, и тѣ слова, тѣ

рыданья... Я началъ размышлять о томъ, чѣмъ возможно было объяснить любовь Сусанны къ Фустову, и почему она такъ скоро, такъ неудержимо предалась отчаянію, какъ только увидала себя оставленною? Почему не захотѣла подождать, услышать горькую правду изъ собственныхъ устъ любимаго человѣка, написать ему письмо, наконецъ? Какъ возможно такъ сейчасъ броситься въ бездну внизъ головой? — Оттого, что она страстно любила Фустова, — скажутъ мнѣ; — оттого, что она не могла перенести малѣйшаго сомнѣнія въ его преданности, въ его уваженіи къ ней. — Можетъ-быть; а можетъ-быть и то, что она вовсе не такъ страстно любила Фустова; что она не ошиблась въ немъ, а только возложила на него свои послѣднія надежды и не въ состояніи была примириться съ мыслію, что даже *этотъ* человѣкъ тотчасъ, по первому слову сплетника, съ презрѣніемъ отвернулся отъ нея! Кто скажетъ, что̀ ее убило: оскорбленное ли самолюбіе, тоска ли безвыходнаго положенія или, наконецъ, самое воспоминаніе о томъ первомъ, прекрасномъ, правдивомъ существѣ, которому она, на утрѣ дней своихъ, такъ радостно отдалась, который такъ глубоко былъ въ ней увѣренъ и такъ уважалъ ее? Кто знаетъ: быть-можетъ, въ то самое мгновенье, когда мнѣ казалось, что надъ ея мертвыми устами носилось восклицаніе: „онъ не пришелъ!“ быть-можетъ, ея душа уже радовалась тому, что ушла сама къ нему, къ своему Мишелю? Тайны человѣческой жизни велики, а любовь самая недоступная изъ этихъ тайнъ... но, все-таки, до сихъ поръ, всякій разъ, когда образъ Сусанны возникаетъ предо мной, я не въ силахъ подавить въ себѣ ни сожалѣнія къ ней, ни упрека судьбѣ, и уста мои невольно шепчутъ: несчастная! несчастная!

1868 г.

СТРАННАЯ ИСТОРІЯ.

(РАЗСКАЗЪ.)

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ—началъ г-нъ Х...—обязанности службы заставили меня прожить нѣсколько дней въ губернскомъ городѣ Т... Я остановился въ порядочной гостиницѣ, устроенной за полгода до моего пріѣзда разбогатѣвшимъ портнымъ изъ евреевъ. Говорятъ—она процвѣтала недолго, что̀ у насъ весьма обыкновенно; но я засталъ ее еще въ полномъ блескѣ: новыя мебели стрѣляли по ночамъ какъ изъ пистолетовъ, постельное бѣлье, скатерти и салфетки пахли мыломъ, а отъ крашеныхъ половъ несло олифой, что̀, впрочемъ, по мнѣнію полового, человѣка весьма изящнаго, хоть и не совсѣмъ опрятнаго, препятствовало распространенію насѣкомыхъ. Половой этотъ, бывшій камердинеръ князя Г., отличался развязностію обращенія и самоувѣренностію; ходилъ постоянно во фракѣ съ чужого плеча и стоптанныхъ башмакахъ, носилъ подъ мышкой салфетку и множество угрей на щекахъ и, свободно размахивая потными руками, произносилъ короткія, но внушительныя рѣчи. Онъ оказывалъ мнѣ нѣкоторое покровительство, какъ человѣку, способному оцѣнить его образованность и знаніе свѣта; но на

собственную судьбу взиралъ нѣсколько разочарованнымъ окомъ. — Извѣстно, — сказалъ онъ мнѣ однажды: — какое наше теперь положеніе? За хвостъ да и на солнце! — Звали его Ардаліономъ.

Мнѣ предстояло сдѣлать нѣсколько визитовъ чиновнымъ лицамъ города. Тотъ же Ардаліонъ досталъ мнѣ коляску и лакея, одинаково развинченныхъ и потертыхъ; но на лакеѣ была ливрея — а коляску украшали гербы. Окончивъ всѣ офиціальныя посѣщенія, я заѣхалъ къ одному помѣщику, старинному знакомому моего отца, съ давнихъ поръ поселившемуся въ городѣ Т.... Я съ нимъ лѣтъ двадцать не видался; онъ успѣлъ жениться, развести порядочное семейство, овдовѣть и разбогатѣть. Онъ занимался откупами, то-есть, ссужалъ откупщиковъ залогами за крупные проценты... „Рискъ — благородное дѣло!“ впрочемъ, и риску было мало. Въ теченіе нашей бесѣды, въ комнату, нерѣшительными, но легкими шагами, словно на цыпочкахъ, вошла дѣвушка лѣтъ семнадцати, тоненькая и худенькая.—Вотъ,—сказалъ мнѣ мой знакомый:—старшая моя дочь Софи, рекомендую; замѣнила мнѣ покойницу: хозяйничаетъ въ домѣ, за братьями и сестрами наблюдаетъ.—Я вторично поклонился вошедшей дѣвушкѣ (она между тѣмъ молча опустилась на стулъ), и подумалъ про себя, что на хозяйку, на воспитательницу она мало похожа. Лицо у ней было совсѣмъ дѣтское, круглое съ маленькими, пріятными, но неподвижными чертами, голубые глазки, подъ высокими, тоже неподвижными, неровными бровями, глядѣли внимательно — почти изумленно, точно они начали замѣчать что-то для нихъ неожиданное; пухлый ротикъ, съ приподнятой верхней губой, не только не улыбался, но, казалось, не имѣлъ этой привычки вовсе; на щекахъ нѣжными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь, стояла розовая кровь подъ тонкой кожей. Пушистые бѣлокурые волосы висѣли легкими гроздьями съ обѣихъ сторонъ небольшой головы. Грудь дышала тихо, и руки какъ-то неловко и строго прижимались къ узкому стану. Голубое платье падало безъ складокъ — по-дѣтски — на маленькія ножки.

Общее впечатлѣніе, производимое этой дѣвушкой, было не то, чтобы болѣзненное, но загадочное. Я видѣлъ передъ собою не просто робѣвшую провинціальную барышню, но существо съ особеннымъ, для меня неяснымъ отпечаткомъ. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполнѣ понималъ, и только чувствовалъ, что мнѣ еще не удавалось встрѣтить болѣе искреннюю душу. Жалость... да! жалость возбуждала во мнѣ эта молодая, серьезная, настороженная жизнь — Богъ вѣдаетъ почему! „Не отъ земли сея", думалось мнѣ, хотя собственно въ выраженіи лица не было ничего „идеальнаго", и хотя въ гостиную mademoiselle Sophie очевидно появилась для того, чтобы исполнить роль хозяйки, на которую намекалъ ея отецъ.

Онъ началъ говорить о жизни въ городѣ Т.... объ общественныхъ удовольствіяхъ и удобствахъ, доставляемыхъ ею.—У насъ смирно,—замѣтилъ онъ: — губернаторъ—меланхоликъ, губернскій предводитель—холостякъ. А впрочемъ, послѣ-завтра въ дворянскомъ собраніи большой балъ. Совѣтую съѣздить: здѣсь не безъ красавицъ. Ну, и всю нашу *интеллигенцію* вы увидите.

Мой знакомый, какъ человѣкъ нѣкогда обучавшійся въ университетѣ, любилъ употреблять выраженія ученыя. Онъ произносилъ ихъ съ ироніей, но и съ уваженіемъ. Притомъ извѣстно, что занятіе откупами, вмѣстѣ съ солидностію, развивало въ людяхъ нѣкоторое глубокомысліе.

— Позвольте спросить, вы будете на этомъ балѣ? — обратился я къ дочери моего знакомаго. Мнѣ хотѣлось услыхать звукъ ея голоса.

— Папенька намѣренъ поѣхать, — отвѣчала она: — и я съ нимъ.

Голосъ у ней оказался тихій и медленный, и выговаривала она каждое слово, точно недоумѣвала.

— Въ такомъ случаѣ позвольте пригласить васъ на первую кадриль.—Она наклонила голову въ знакъ согласія, но и тутъ не улыбнулась.

Я вскорѣ удалился, и, помнится, взглядъ ея глазъ, пристально на меня устремленныхъ, показался мнѣ до того

страннымъ, что я невольно посмотрѣлъ себѣ черезъ плечо, ужъ не видитъ ли она кого-нибудь, или что-нибудь, у меня за спиною?

Вернувшись въ гостиницу и пообѣдавъ неизмѣннымъ „супъ-жульенъ", котлетами съ горошкомъ и просушеннымъ до черноты рябчикомъ, я присѣлъ на диванъ и предался размышленіямъ. Предметомъ ихъ была эта Софія, эта загадочная дочь моего знакомаго; но убиравшій со стола Ардаліонъ растолковалъ по-своему мою задумчивость: онъ приписалъ ее скукѣ.

— Оченно у насъ въ городѣ мало развлеченія для господъ проѣзжающихъ, — заговорилъ онъ съ обычной развязной снисходительностію, въ то же время продолжая похлопывать грязной салфеткой по спинкамъ стульевъ: это похлопываніе, какъ извѣстно, свойственно однимъ лишь образованнымъ слугамъ. — Очень мало! — Онъ помолчалъ, а громадные стѣнные часы, съ лиловой розой на бѣломъ циферблатѣ, своимъ однообразнымъ и сиплымъ чиканіемъ тоже какъ бы подтверждали его слова. „О...чень! о-чень!" щелкали они.—Ни концертовъ никакихъ, ни театровъ,— продолжалъ Ардаліонъ (онъ ѣздилъ съ своимъ бариномъ за границу и чуть ли не побывалъ въ Парижѣ; онъ хорошо зналъ, что одни мужики говорятъ: кіятръ), — ни танцевъ, напримѣръ, или вечернихъ пріемовъ между господами дворянами, ничего этого не существуетъ. — (Онъ остановился на мгновеніе, вѣроятно, для того, чтобы дать мнѣ замѣтить отборность своего слога.)—Даже другъ друга видятъ рѣдко. Сидитъ каждый у себя на тычкѣ, какъ „кѐтикъ" какой. И выходитъ, что заѣзжимъ посѣтителямъ дѣваться бываетъ—просто некуда.

Ардаліонъ глянулъ на меня искоса.

— Развѣ вотъ что̀,—продолжалъ онъ съ разстановкой.— Въ случаѣ, если имѣется такое ваше расположеніе...

Онъ вторично глянулъ на меня и даже усмѣхнулся, но, должно-быть, надлежащаго расположенія во мнѣ не замѣтилъ.

Изящный слуга подошелъ къ двери, подумалъ, вер-

нулся, и, помявшись немного на мѣстѣ, нагнулся къ моему уху и съ игривой улыбкой промолвилъ:

— Не желаете ли вы мертвыхъ видѣть?

Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Да,—продолжалъ онъ уже шопотомъ:—у насъ есть тутъ такой человѣкъ. Изъ простыхъ мѣщанъ, и даже безграмотный, а дѣла совершаетъ чудныя. Если, напримѣръ, вы къ нему отъявитесь и пожелаете увидать какого ни-на-есть покойника изъ вашихъ знакомыхъ, онъ вамъ его безпремѣнно покажетъ.

— Какимъ же это образомъ?

— Это ужъ его секретъ. Потому, хотя онъ и человѣкъ безграмотный, прямо сказать: безсловесный, но въ божественности очень силенъ! Большое отъ купечества къ нимъ уваженіе!

— И всѣмъ это въ городѣ извѣстно?

— Кому нужно — знаютъ-съ; ну, а конечно, отъ полиціи опасеніе соблюдается. Потому, что̀ ни толкуй, дѣла̀ все-таки запрещенныя, и для простого народа—соблазнъ; простой народъ — чернь, значитъ, извѣстно: сейчасъ въ кулаки!

— Вамъ онъ мертвецовъ показывалъ? — спросилъ я Ардаліона. Такого образованнаго смертнаго я не рѣшался „тыкать“.

Ардаліонъ качнулъ головою.—Показывалъ-съ; родителя какъ живого представилъ.

Я уставился на Ардаліона. Онъ посмѣивался и поигрывалъ салфеткой — и снисходительно, но съ твердостью, поглядывалъ на меня.

— Да это очень любопытно! — воскликнулъ я наконецъ. — Нельзя ли мнѣ съ этимъ мѣщаниномъ познакомиться?

— Съ ними прямо никакъ нельзя-съ; а черезъ ихнюю мамыньку нужно дѣйствовать. Старушка почтенная; на мосту мочеными яблоками торгуетъ. Если прикажете, я ее спрошу-съ.

— *Сдѣлайте одолженіе.*

Ардаліонъ кашлянулъ въ руку.—И благодарность, какую вы положите, небольшую, разумѣется, тоже ей вручить слѣдуетъ, той самой старушкѣ. А я съ своей стороны ей доложу-съ, что опасаться васъ нечего, такъ какъ вы господинъ заѣзжій, баринъ — ну и, конечно, можете понимать, что сіе есть тайна, и до непріятности ни въ какомъ случаѣ ее не доведете.

Ардаліонъ взялъ подносъ въ одну руку и, граціозно виляя и собственнымъ станомъ, и подносомъ, направился къ двери.

— Такъ я могу на васъ надѣяться?—крикнулъ я ему вслѣдъ.

— Будьте благонадежны! — раздался его самоувѣренный голосъ. — Побесѣдуемъ со старушкой и отвѣтъ вамъ передадимъ въ аккуратѣ.

Не стану распространяться о томъ, какія мысли возбудилъ во мнѣ необычайный фактъ, сообщенный Ардаліономъ; но готовъ сознаться, что съ нетерпѣніемъ ожидалъ обѣщаннаго отвѣта. Поздно вечеромъ вошелъ ко мнѣ Ардаліонъ и объявилъ свою досаду: онъ не могъ отыскать старушку. Я все-таки, въ видахъ поощренія, вручилъ ему трехрублевую бумажку. На слѣдующее утро онъ снова, и съ радостнымъ лицомъ, явился въ мою комнату: старушка соглашалась на свиданіе со мною.

— Эй! мальчуга!—крикнулъ Ардаліонъ въ коридоръ:— мастеровой! Поди-ка сюда! — Вошелъ младенецъ, лѣтъ шести, весь перепачканный въ сажѣ какъ котенокъ, съ остриженной, мѣстами даже голой головой, въ изорванномъ полосатомъ халатѣ и огромныхъ калошахъ на босу ногу.—Вотъ ты ихъ проведешь, куда знаешь,—промолвилъ Ардаліонъ, обращаясь къ „мастеровому“ и указывая на меня. — А вы, господинъ, какъ придете, спросите Мастридію Карповну.

Мальчикъ издалъ сиплый звукъ, и мы отправились.

Мы шли довольно долго по немощенымъ улицамъ города *Т....; наконецъ*, въ одной изъ нихъ, едва ли не са-

ной пустынной и унылой, мой вожатый остановился передъ ветхимъ двухъ-этажнымъ деревяннымъ домикомъ и, утеревъ носъ всѣмъ рукавомъ халата, проговорилъ:

— „Здѣся; направо ступайте". Я вошелъ черезъ крылечко въ сѣни, толкнулся направо: низенькая дверь завизжала на ржавыхъ петляхъ, и я увидѣлъ передъ собою толстую старушку въ коричневой, зайцемъ подбитой кацавейкѣ и пестромъ платочкѣ на головѣ.

— Мастридія Карповна?—спросилъ я.

— Она самая и есть,—отвѣчала мнѣ старушка пискливымъ голосомъ. — Милости просимъ. На стульчикъ не угодно ли?

Комната, въ которую ввела меня старушка, была до того завалена всякимъ хламомъ, тряпьемъ, подушками, перинами, мѣшками, что повернуться въ ней почти не было возможности. Солнечный свѣтъ едва пробивался сквозь два запыленныя окошка; въ одномъ углу, за грудой наставленныхъ другъ на дружку коробовъ, слабо охалъ и жаловался... неизвѣстно кто: быть-можетъ, больной ребенокъ, а быть-можетъ — щенокъ. Я усѣлся на стулъ, а старушка стала прямо предо мною. Лицо у ней было желтое, полупрозрачное, какъ восковое; губы до того ввалились, что среди множества морщинъ представляли одну поперечную; клокъ бѣлыхъ волосъ торчалъ изъ-подъ головного платка, но воспаленные, сѣрые глазки умно и бойко выглядывали изъ-подъ нависшей лобной кости; а заостренный носикъ такъ и выдавался шиломъ, такъ и нюхалъ воздухъ: плутъ-молъ я!—„Ну! ты баба не промахъ!" подумалось мнѣ; притомъ же, отъ нея попахивало водочкой.

Я объяснилъ ей причину моего посѣщенія, которая, впрочемъ, какъ я замѣтилъ, должна была ей быть извѣстной. Она выслушала меня, быстро помаргивая глазами, и только еще вострѣе выдвинула свой носъ, словно клюнуть имъ собиралась.

— Такъ-съ, такъ-съ, — заговорила она наконецъ:— Ардаліонъ Матвѣичъ намъ сказывали-съ, точно-съ; вамъ сыночка моего, Васиньки, искусство понадобилось... Только *сумлѣваемся мы, государь мой...*

— Отчего же?—перебилъ я.—На мой счетъ вы можете быть совершенно спокойны... Я не доносчикъ.

— Охъ, батюшка вы мой,—поспѣшно подхватила старушка: — что вы это? Смѣемъ мы про ваше благородіе такое думать! Да и доносить-то на насъ съ какой стати? Развѣ мы что̀ грѣшное затѣваемъ? Не таковскій мой сыночекъ, батюшка, чтобы ему на какое нечистое дѣло согласиться... или какимъ колдовствомъ баловаться... да сохрани Богъ, мать Пресвятая Богородица! (Старушка три раза перекрестилась.) По всей губерніи первый постникъ и молельщикъ; первый, батюшка вы мой, ваше благородіе! А это точно: милость его посѣтила великая. Что жъ! Это дѣло не его рукъ. Это, голубчикъ мой, свыше; да.

— Такъ вы согласны? — спросилъ я: — когда я могу съ вашимъ сыномъ повидаться?

Старушка опять заморгала глазами и раза два перепихнула скатанный носовой платокъ изъ рукава въ рукавъ.

— Охъ, государь мой, государь мой, сумлѣваемся мы...

— Позвольте, Мастридія Карповна, вручить вамъ слѣдующее, — перебилъ я ее, и подалъ ей десятирублевую бумажку.

Старушка тотчасъ схватила ее своими пухлыми, кривыми пальцами, напоминавшими мясистые когти совы, проворно засунула ее въ рукавъ, подумала немного и, какъ бы внезапно рѣшившись, хлопнула себя обѣими ладонями по ляжкамъ.

— Приходи сюда сегодня вечеромъ, въ восьмомъ часу, — заговорила она не своимъ обычнымъ, а другимъ, болѣе важнымъ и тихимъ голосомъ: — только не въ эту комнату, а прямо изволь подняться во второй этажъ; и будетъ тебѣ дверь налѣво, и ты ту дверь отвори; и войдешь ты, ваше благородіе, въ пустую комнату, и въ той комнатѣ увидишь стулъ. Сядь ты на этотъ стулъ и жди; и что бы ты ни видѣлъ, никакихъ словъ не произноси и не дѣлай ничего; и съ сыночкомъ моимъ тоже не изволь разговаривать; потому—онъ еще младъ, да онъ же у меня въ падучкѣ. Испугать его очень легко: затрепещется, *затрепещется, словно* цыпленокъ какой... бѣда!

Я посмотрѣлъ на Мастридію. — Вы говорите онъ молодъ, но коли онъ вашъ сынъ...

— По духу, батюшка, по духу! Много у меня сиротъ-то! — прибавила она, мотнувъ головою въ направленіи угла, откуда раздался жалобный пискъ.—О-охъ, Господи Боже ты мой, Пресвятая Мать Богородица! А вы, батюшка мой, ваше благородіе, прежде, чѣмъ сюда пожалуете, извольте-ка подумать хорошенько, кого вамъ изъ вашихъ покойныхъ сродственниковъ или знакомыхъ,—царство имъ небесное! — увидѣть желательно. Переберите своихъ покойничковъ, и котораго выберете, такъ ужъ его въ умѣ держите, все держите, пока сыночекъ придетъ!

— А развѣ я не долженъ сказать вашему сыну, кого именно...

— Ни, ни, батюшка, ни единаго слова. Онъ самъ въ вашихъ мысляхъ откроетъ, что̀ ему нужно. А вы только знакомца вашего хороше....енько въ умѣ держите; да за обѣденнымъ столомъ винца выпейте—стаканчика два, три; винцо никогда не мѣшаетъ. Старуха разсмѣялась, облизнулась, провела рукою по рту и вздохнула.

— Такъ въ половинѣ восьмого? — спросилъ я, поднимаясь со стула.

— Въ половинѣ восьмого, батюшка, ваше благородіе: въ половинѣ восьмого,—успокоительно отвѣчала Мастридія Карповна.

Я простился со старухой и вернулся въ гостиницу. Я не сомнѣвался въ томъ, что меня собирались одурачить, но какимъ образомъ? вотъ что возбуждало мое любопытство. Съ Ардаліономъ я помѣнялся всего двумя, тремя словами. — Допустила? — спросилъ онъ меня, нахмуривъ брови, и на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: — Баба министръ!—Я принялся, по совѣту „министра“, перебирать своихъ покойничковъ. Послѣ довольно долгихъ колебаній, я остановился, наконецъ, на одномъ давно умершемъ старичкѣ, французѣ, бывшемъ моемъ гувернерѣ. Я выбралъ именно его не потому, чтобы чувствовалъ *особенное къ нему влеченіе*; но вся фигура его была такъ

оригинальна, такъ не походила на современныя фигуры, что поддѣлаться подъ нее было совершенно невозможно. Онъ имѣлъ огромную голову, зачесанные назадъ пушистые бѣлые волосы, густыя черныя брови, крючковатый носъ и двѣ большія бородавки лиловаго цвѣта посрединѣ лба; носилъ зеленый фракъ съ мѣдными, гладкими пуговицами, полосатый жилетъ со стоячимъ воротникомъ, жабо и маншетки. „Коли онъ мнѣ моего старика Дессѐра покажетъ", подумалъ я, „ну, надо будетъ согласиться, что онъ колдунъ!"

За обѣдомъ я, по совѣту старухи, выпилъ бутылку лафиту, первѣйшаго сорта, по увѣренію Ардаліона, но съ сильнѣйшимъ вкусомъ жженой пробки и съ густымъ осадкомъ сандала на днѣ каждой рюмки.

Ровно въ половинѣ восьмого я находился передъ домомъ, въ которомъ бесѣдовалъ съ почтенной Мастридіей Карповной. Всѣ ставни оконъ были заперты, но дверь была раскрыта. Я вошелъ въ домъ, взобрался по шаткой лѣстницѣ во второй этажъ, и, отворивъ дверь налѣво, очутился, какъ мнѣ предсказывала старушка, въ совершенно пустой, довольно просторной комнатѣ; сальная свѣчка, поставленная на подоконникъ, тускло ее освѣщала: у стѣны, напротивъ двери, стоялъ плетеный стулъ. Я снялъ со свѣчки, которая порядкомъ успѣла нагорѣть, усѣлся на стулъ и началъ ждать.

Первыя десять минутъ прошли довольно скоро; въ самой комнатѣ рѣшительно ничего не могло привлечь мое вниманіе; но я прислушивался къ каждому шороху, внимательно глядѣлъ на закрытую дверь... Сердце билось. За первыми десятью минутами прошли другія; потомъ полчаса, три четверти часа—и хоть бы что̀ пошевельнулось кругомъ! Я нѣсколько разъ кашлянулъ, чтобы дать знать о моемъ присутствіи; я начиналъ скучать, сердиться: *этакимъ* образомъ быть одураченнымъ не входило въ мои расчеты. Я уже собирался подняться со стула и, взявъ свѣчку съ окна, пойти внизъ... Я посмотрѣлъ на нее, свѣтильня опять нагорѣла грибомъ; но, отведши взоры

отъ окна къ двери, я невольно вздрогнулъ: прислонясь къ этой самой двери, стоялъ человѣкъ. Онъ такъ проворно и безъ шума вошелъ, что я ничего не слышалъ.

На немъ была простая синяя чуйка; росту онъ былъ средняго и довольно плотенъ. Закинувъ руки за спину и, потупивъ голову, онъ уставился на меня. При тускломъ свѣтѣ свѣчки, я не могъ хорошенько разглядѣть его черты: я видѣлъ только косматую гриву спутанныхъ волосъ, падавшихъ на лобъ, да крупныя, слегка искривленныя губы, да бѣлесоватые глаза. Я хотѣлъ-было заговорить съ нимъ, но вспомнилъ наставленіе Мастридіи и закусилъ губы. Вошедшій человѣкъ продолжалъ глядѣть на меня; я также глядѣлъ на него и, странное дѣло! въ одно и то же время я почувствовалъ нѣчто въ родѣ страха и, словно по приказанію, немедленно принялся думать о моемъ старомъ гувернерѣ. *Тотъ* все стоялъ у двери и дышалъ усиленно, точно на гору взбирался или ношу поднималъ, а глаза его какъ будто расширялись, какъ будто приближались ко мнѣ—и неловко мнѣ становилось подъ ихъ упорнымъ, тяжелымъ, грознымъ взоромъ; по временамъ эти глаза загорались зловѣщимъ внутреннимъ огонькомъ; подобный огонекъ замѣчалъ я у борзой собаки, когда она „воззрится“ въ зайца, и, подобно борзой собакѣ, *тотъ* весь устремлялся *своимъ* взоромъ вслѣдъ за моимъ, когда я „дѣлалъ угонку“, т. е. пробовалъ отвести глаза въ сторону.

Такъ прошло, не знаю, сколько времени: быть-можетъ, минута; быть-можетъ, четверть часа. Онъ все глядѣлъ на меня; я все ощущалъ нѣкоторую неловкость и страхъ, и все думалъ о французѣ. Раза два я попытался сказать самому себѣ: „что̀ за вздоръ! что̀ за комедія!“ попытался улыбнуться, пожать плечомъ... Напрасно! Всякое рѣшеніе во мнѣ тотчасъ „застывало“,—я другого слова подобрать не умѣю. Мною овладѣло какое-то оцѣпенѣніе. Вдругъ я замѣтилъ, что *тотъ* уже отдѣлился отъ двери и стоялъ на *шагъ или на два ближе* ко мнѣ; потомъ онъ чуть-

чуть подпрыгнулъ, обѣими ногами разомъ, и сталъ еще ближе... Потомъ еще... потомъ еще; а грозные глаза такъ и упирались во все мое лицо, и руки оставались за спиною, и широкая грудь дышала усиленно. Мнѣ эти прыжки показались смѣшными, но и жутко мнѣ становилось, и, что́ я уже никакъ понять не могъ, сонливость вдругъ начала находить на меня. Вѣки мои слипались... косматая фигура съ бѣлесоватыми глазами въ синей чуйкѣ задвоилась передо мной — и вдругъ совсѣмъ исчезла!.. Я встрепенулся: онъ опять стоялъ между дверью и мною, но уже гораздо ближе... Потомъ онъ опять исчезъ—словно туманъ набѣжалъ на него; опять появился... исчезъ опять... появился опять... и все ближе, ближе... его трудное, почти храпѣвшее дыханіе уже добѣгало до меня... Опять надвинулся туманъ, и вдругъ изъ этого тумана, начиная съ бѣлыхъ, кверху приподнятыхъ волосъ, явственно стала вырисовываться голова старика Дессѐра! Да: вотъ его бородавки, его черныя брови, его носъ крючкомъ! Вотъ и зеленый фракъ съ мѣдными пуговицами, и полосатый жилетъ, и жабо... Я вскрикнулъ, я приподнялся... Старикъ исчезъ, и на мѣстѣ его я снова увидѣлъ человѣка въ синей чуйкѣ. Онъ подошелъ, шатаясь, къ стѣнѣ, уперся въ нее головой и обѣими руками и, задыхаясь какъ запаленная лошадь, хриплымъ голосомъ проговорилъ: „Чаю!“ Откуда ни возьмись, Мастридія подскочила къ нему и, приговаривая:—Васинька, Васинька,—принялась заботливо утирать потъ, который такъ и струился съ его волосъ и лица. Я-было приблизился къ ней, но она такъ убѣдительно, такимъ раздирающимъ голосомъ воскликнула: — „Ваше благородіе! отецъ милостивый, не губите, уйдите, Христа ради!“ — что я повиновался; а она снова обратилась къ своему сыночку.—Кормилецъ, голубчикъ,—успокаивала она его:—сейчасъ тебѣ будетъ чай, сейчасъ. Да и вы, батюшка, чайку у себя дома выкушайте!—крикнула она мнѣ вслѣдъ.

Вернувшись домой, я послушался Мастридіи и велѣлъ *подать себѣ* чаю; я чувствовалъ усталость — даже сла-

бость.—Ну, что́-съ?—спросилъ меня Ардаліонъ:—были-съ? видѣли-съ?

— Онъ мнѣ, точно, показалъ что-то... чего я, признаюсь, не ожидалъ,—отвѣчалъ я.

— Великой премудрости человѣкъ! — замѣтилъ Ардаліонъ, вынося самоваръ: — отъ купечества къ нимъ — ба-альшое уваженіе!

Ложась спать и размышляя о случившейся со мной исторіи, я, наконецъ, вообразилъ, что добился ея объясненія. Человѣкъ этотъ, несомнѣнно, обладалъ значительной магнетической силой; дѣйствуя, конечно, непонятнымъ для меня способомъ, на мои нервы, онъ такъ ясно, такъ опредѣленно возбудилъ во мнѣ образъ старика, о которомъ я думалъ, что мнѣ, наконецъ, показалось, что я его вижу передъ глазами... Наукѣ извѣстны подобныя „метастазы" — перестановленія ощущеній. Прекрасно; но сила, способная производить такія дѣйствія, все-таки оставалась чѣмъ-то удивительнымъ и таинственнымъ. „Что̀ ни говори", думалъ я: „я видѣлъ, своими глазами видѣлъ покойнаго моего гувернера!"

На слѣдующій день происходилъ балъ въ дворянскомъ собраніи. Отецъ Софи̂ заѣхалъ ко мнѣ и напомнилъ мнѣ приглашеніе, которое я сдѣлалъ его дочери. Въ десятомъ часу вечера я уже стоялъ рядомъ съ нею посреди залы, освѣщенной множествомъ мѣдныхъ лампъ, и готовился выдѣлывать немудреные па̀ французской кадрили подъ громогласныя завыванія военнаго оркестра. Народу съѣхалось пропасть; особенно много было дамъ, и прехорошенькихъ: но пальма первенства между ними непремѣнно осталась бы за моей дамой, если бы не нѣсколько странный, нѣсколько даже дикій ея взоръ. Я замѣтилъ, что она очень рѣдко мигала; несомнѣнное выраженіе искренности въ ея глазахъ не выкупало того, что̀ въ нихъ было необычнаго. Но сложена она была прелестно и двигалась граціозно, хоть и застѣнчиво. Когда она вальсировала и, немного перегнувъ назадъ свой станъ, наклоняла тонкую *шею къ правому плечу*, какъ бы желая отдалиться отъ

своего танцора, ничего болѣе трогательно-молодого и чистаго нельзя было себѣ представить. Она была вся въ бѣломъ съ бирюзовымъ крестикомъ на черной ленточкѣ.

Я пригласилъ ее на мазурку и постарался разговорить ее. Но она отвѣчала мало и неохотно, а слушала внимательно, съ тѣмъ же выраженіемъ задумчиваго изумленія, которое поразило меня въ первое мое свиданіе съ нею. Никакой тѣни кокетства въ ея лѣта, съ ея наружностію, и отсутствіе улыбки, и эти глаза, постоянно и прямо устремленные въ глаза собесѣдника — эти глаза, которые въ то же время какъ будто видятъ что-то другое, чѣмъ-то другимъ озабочены... Что за странное существо! Не зная, наконецъ, чѣмъ расшевелить ее, я вздумалъ разсказать ей мое вчерашнее приключеніе.

Она выслушала меня до конца съ видимымъ любопытствомъ, но, чего я никакъ не ожидалъ, не удивилась моему разсказу и только спросила меня, не Василіемъ ли зовутъ *его?* Я вспомнилъ, что старуха при мнѣ называла его „Васинькой“.— Да; его имя Василій,— отвѣчалъ я:— развѣ вы его знаете?

— Здѣсь живетъ одинъ богоугодный человѣкъ, котораго зовутъ Василіемъ, — промолвила она: — я подумала, не онъ ли?

— Богоугодность тутъ ни къ чему,—замѣтилъ я:—это простое дѣйствіе магнетизма—фактъ, интересный для докторовъ и естествоиспытателей.

Я принялся излагать свои воззрѣнія на ту особенную силу, которую зовутъ магнетизмомъ, на возможность подчиненія воли одного человѣка волѣ другого и т. п.; но мои, правда, нѣсколько сбивчивыя объясненія, казалось, не производили впечатлѣнія на мою собесѣдницу. Софи слушала, уронивъ на колѣни скрещенныя руки съ неподвижно лежавшимъ въ нихъ вѣеромъ; она не играла имъ, она вообще не шевелила пальцами, и я чувствовалъ, что всѣ мои слова отскакивали отъ нея, какъ отъ каменной статуи. Она понимала ихъ, но у ней видимо были *свои незыблемыя* и неискоренимыя убѣжденія.

— Не допускаете же вы чудесъ!—воскликнулъ я.

— Конечно, допускаю, — спокойно промолвила она.— Да и какъ возможно не допускать ихъ? Развѣ не сказано въ Евангеліи, что у кого на одно горчичное сѣмя вѣры, тотъ можетъ горы поднимать съ мѣста? Нужно только вѣру имѣть,—чудеса будутъ.

— Видно, мало вѣры въ наше время стало,—возразилъ я:—что-то не слыхать про чудеса!

— Однако, вотъ, бываютъ же; вы сами видѣли. Нѣтъ; вѣра не перевелась въ наше время; а начало вѣры...

— Начало премудрости страхъ Божій,—перебилъ я.

— Начало вѣры, — продолжала Софи, нисколько не смутившись:—самоотверженіе... уничиженіе!

— Даже уничиженіе?—спросилъ я.

— Да. Гордость человѣческая, гордыня, высокомѣріе, вотъ что надо искоренить до тла. Вы вотъ упомянули о волѣ... ее-то и надо сломить.

Я окинулъ взоромъ всю фигуру молоденькой дѣвушки, произносившей такія рѣчи... „А вѣдь этотъ ребенокъ не шутитъ!“ подумалось мнѣ. Я взглянулъ на нашихъ сосѣдей по мазуркѣ: они также взглянули на меня, и мнѣ показалось, что мое удивленіе ихъ забавляло; одинъ изъ нихъ даже улыбнулся мнѣ сочувственно, какъ бы желая сказать: „А? что? какова у насъ барышня-чудачка? здѣсь всѣ ее за такую знаютъ“.

— Вы попытались сломить свою волю? — обратился я снова къ Софи.

— Всякій обязанъ дѣлать то, что ему кажется правдой,—отвѣчала она какимъ-то догматическимъ тономъ.

— Позвольте васъ спросить,—началъ я послѣ небольшого молчанія:—вѣрите ли вы въ возможность вызывать мертвыхъ?

Софи тихо покачала головою.

— Мертвыхъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?

— Душъ мертвыхъ нѣтъ; онѣ безсмертны и могутъ всегда явиться, когда захотятъ... Онѣ постоянно окружаютъ насъ.

— Какъ? Вы полагаете, что, напримѣръ, подлѣ того гарнизоннаго маіора, съ краснымъ носомъ, можетъ въ эту минуту витать безсмертная душа?

— Почему же нѣтъ? Солнечный свѣтъ освѣщаетъ же его и его носъ—а развѣ солнечный свѣтъ, всякій свѣтъ, не отъ Бога? И что такое наружность? Для чистаго нѣтъ ничего нечистаго! Лишь бы учителя найти! наставника найти!

— Да позвольте, позвольте,—вмѣшался я, признаюсь, не безъ злорадства.—Вы желаете наставника... а духовникъ вашъ на что?

Софи холодно посмотрѣла на меня.

— Вы, кажется, хотите смѣяться надо мною. Батюшка мой духовный говоритъ мнѣ, что я должна дѣлать; но мнѣ нуженъ такой наставникъ, который самъ бы мнѣ на дѣлѣ показалъ, какъ жертвуютъ собою!

Она подняла глаза къ потолку. Своимъ дѣтскимъ лицомъ и этимъ выраженіемъ неподвижной задумчивости, тайнаго, постояннаго изумленія, она напоминала мнѣ до-Рафаэлевскихъ мадоннъ...

— Я читала гдѣ-то,—продолжала она, не оборачиваясь ко мнѣ и едва шевеля губами:—что одинъ вельможа велѣлъ себя похоронить подъ папертью церковною для того, чтобы всѣ приходившіе люди ногами попирали его, топтали... Вотъ это надо еще при жизни сдѣлать...

Бумъ! бумъ! тра-ра-рахъ!—гремѣли съ хоровъ литавры... Признаюсь, подобный разговоръ на балѣ показался мнѣ черезчуръ эксцентричнымъ; онъ невольно возбуждалъ во мнѣ мысли... свойства совершенно противоположнаго религіозному. Я воспользовался приглашеніемъ моей дамы на одну изъ фигуръ мазурки, чтобы уже не возобновлять нашихъ quasi-богословскихъ преній.

Четверть часа спустя, я отвелъ mademoiselle Sophie къ ея родителю, а дня черезъ два я покинулъ городъ Т..., и образъ дѣвушки съ дѣтскимъ лицомъ и непроницаемой, точно каменной душой, скоро изгладился изъ моей памяти.

Минуло два года, и этому образу опять пришлось возникнуть предо мною. А именно: я разговаривалъ съ однимъ сослуживцемъ, только-что вернувшимся изъ поѣздки по южной Россіи. Онъ прожилъ нѣсколько времени въ городѣ Т.... и сообщилъ мнѣ кое-какія свѣдѣнія о тамошнемъ обществѣ. — Кстати! — воскликнулъ онъ: — вѣдь ты, кажется, хорошо знакомъ съ В. Г. Б.?

— Какъ же, знакомъ.

— И дочь его, Софью, ты знаешь?

— Я видѣлъ ее раза два.

— Представь: сбѣжала!

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Вотъ уже три мѣсяца, какъ безъ вѣсти пропала. И удивительно то, что никто не можетъ сказать, съ кѣмъ она сбѣжала. Представь, никакой догадки, ни малѣйшаго подозрѣнія! Она всѣмъ женихамъ отказывала. И поведенія была самаго скромнаго. Ужъ эти мнѣ тихони, да богомолки! Скандалъ по губерніи ужасный! Б. въ отчаяніи... И какая ей была нужда бѣжать? Отецъ во всемъ исполнялъ ея волю. Главное, непостижимо то, что всѣ губернскіе ловеласы налицо, всѣ до единаго.

— И ея до сихъ поръ не отыскали?

— Говорятъ тебѣ, какъ въ воду канула! Одной богатой невѣстой на свѣтѣ меньше, вотъ что скверно.

Извѣстіе это меня очень удивило. Оно никакъ не вязалось съ тѣмъ воспоминаніемъ, которое я сохранилъ о Софіи Б. Но мало ли чего не бываетъ!

Осенью того же года меня, опять-таки по служебнымъ дѣламъ, судьба закинула въ С....кую губернію, находящуюся, какъ извѣстно, рядомъ съ губерніей Т...ской. Погода стояла дождливая и холодная; изнуренныя почтовыя лошадёнки едва тащили мой легонькій тарантасъ по растворившемуся чернозему большой дороги. Помнится, одинъ день выдался особенно неудачный: раза три пришлось „сидѣть“ въ грязи по ступицу; ямщикъ мой то и дѣло бросалъ одну колею и съ гиканьемъ и завываніемъ переползалъ въ другую; но и въ той не было легче. Словомъ,

къ вечеру я такъ измучился, что, добравшись до станціи, рѣшился переночевать на постояломъ дворѣ. Мнѣ отвели комнатку съ деревяннымъ продавленнымъ диваномъ, покривившимся поломъ и оборванными бумажками по стѣнамъ; въ ней пахло квасомъ, рогожей, лукомъ и даже скипидаромъ, и мухи роями сидѣли повсюду; но, по крайней мѣрѣ, отъ непогоды можно было укрыться; а дождь, какъ говорится, зарядилъ на цѣлыя сутки. Я велѣлъ поставить самоваръ и, присѣвъ на диванъ, предался тѣмъ дорожнымъ нерадостнымъ думамъ, которыя такъ знакомы путешественникамъ на Руси.

Онѣ были прерваны тяжелымъ стукомъ, раздавшимся въ общей избѣ, отъ которой моя комната отдѣлялась дощатой перегородкой. Стукъ этотъ сопровождался отрывочнымъ, зычнымъ бряцаніемъ, подобнымъ лязгу цѣпей, и внезапно гаркнулъ грубый мужской голосъ:—Благослови Богъ всѣхъ сущихъ *у дому сему*. Благослови Богъ! Благослови Богъ! Аминь, аминь, разсыпься! — повторилъ голосъ, какъ-то нескладно и дико вытягивая послѣдній слогъ каждаго слова... Послышался шумный вздохъ, и грузное тѣло съ тѣмъ же бряцаньемъ опустилось на лавку.

— Акулина! Раба Божія, подь сюда!—заговорилъ опять голосъ: — зри, яко нагъ, яко благъ... Ха-ха-ха! Тьфу! Господи Боже мой, Господи Боже мой, Господи Боже мой, — загудѣлъ голосъ, какъ дьячокъ на клиросѣ:— Господи Боже мой, Владыка живота моего, воззри на окаянство мое... О-хо-хо! Ха-ха... Тьфу! А дому сему благодать въ часъ седьмый!

— Кто это?—спросилъ я тороватую мѣщанку-хозяйку, вошедшую ко мнѣ съ самоваромъ.

— А это, батюшка вы мой, — отвѣчала она мнѣ торопливымъ шопотомъ:—блаженный, божій человѣкъ. Въ нашихъ краяхъ недавно проявился: вотъ и насъ посѣтить изволилъ. Въ какую непогодь! Такъ съ него, голубчика, ручьями и льетъ! И вериги вы бы посмотрѣли на немъ какія—страсть!

— Благослови Богъ! Благослови Богъ!—раздался снова *голосъ*. — Акулина! А Акулина! Акулинушка — другъ! И

гдѣ нашъ рай? Рай нашъ прекрасный? Въ пустынѣ нашъ рай... рай... А дому сему, на починѣ вѣку сего... радости веліи... о... о... о...—Голосъ забормоталъ что-то невнятное, и вдругъ, вслѣдъ за протяжнымъ зѣвкомъ, опять послышался сиплый хохотъ. Хохотъ этотъ вырывался всякій разъ какъ бы невольно, и всякій разъ послѣ него слышалось негодующее плеваніе.

— Эхъ-ма! Степаныча нѣтъ! вотъ наше горе-то!—словно про себя промолвила хозяйка, со всѣми признаками глубочайшаго вниманія остановившаяся у двери. — Словцо какое спасительное скажетъ, а мнѣ бабѣ и невдомёкъ!— Она проворно вышла.

Въ перегородкѣ была щель; я приложился къ ней глазомъ. Юродивый сидѣлъ на лавкѣ ко мнѣ задомъ: я видѣлъ только его громадную, какъ пивной котелъ, косматую голову, да широкую, сгорбленную спину подъ заплатаннымъ мокрымъ рубищемъ. Передъ нимъ, на земляномъ полу, стояла на колѣняхъ тщедушная женщина въ старомъ, тоже мокромъ, мѣщанскомъ шушунѣ съ темнымъ платкомъ, надвинутымъ на самые глаза. Она силилась стащить сапогъ съ ноги юродиваго, пальцы ея скользили по загрязненной осклизлой кожѣ. Хозяйка стояла возлѣ нея со сложенными на груди руками, и благоговѣйно взирала на „божьяго человѣка". Онъ, попрежнему, бурчалъ какія-то невнятныя рѣчи.

Наконецъ, женщинѣ въ шушунѣ удалось сдернуть сапогъ. Она чуть навзничь не упала, однако справилась и принялась разматывать онучи юродиваго. На подъемѣ ноги оказалась рана... Я отвернулся.

— Чайкомъ не прикажешь ли попотчивать, родимый?— послышался подобострастный голосъ хозяйки.

— Что̀ выдумала!—отозвался юродивый.—Грѣшное тѣло баловать... Охо-хо! Всѣ кости ему сокрушить... а она—чай! Охъ, охъ, старица почтенная, сатана въ насъ силенъ! На него гладъ, на него хладъ, на него хляби небесныя, дожди проливные, пронзительные, а онъ ничего, живучъ! Помни день *Покрова Богородицы!* Будетъ тебѣ, будетъ много!

Хозяйка легонько даже ахнула отъ удивленія.

— Только ты слушай меня! Все отдай, голову отдай, рубаху отдай! И просить не будутъ, а ты отдай! Потому, Богъ видитъ! Али крышу долго разметать? Далъ Онъ тебѣ, Милостивецъ, хлѣба, ну, и сажай его въ печь! А Онъ все видитъ! Ви...и...ди...итъ! Глазъ въ треугольникѣ чей? сказывай... чей?

Хозяйка украдкой перекрестилась подъ косынкой.

— Древлій врагъ, адамантъ! А...да...мантъ! А...да... мантъ, — повторилъ нѣсколько разъ юродивый со скрежетомъ зубовъ. — Древлій змій! Но, да воскреснетъ Богъ! Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его! Я всѣхъ мертвыхъ призову! На врага его пойду... Ха-ха-ха! Тьфу!

— Маслица нѣтъ ли у васъ, — произнесъ другой, едва слышный голосъ: — дайте на ранку приложить... тряпочка у меня чистая есть.

Я снова глянулъ сквозь щель: женщина въ шушунѣ все еще возилась съ больной ногой юродиваго... „Магдалина!“ подумалъ я.

— Сейчасъ, сейчасъ, голубушка, — промолвила хозяйка и, войдя ко мнѣ въ комнату, достала ложечкой масла изъ лампадки передъ образомъ.

— Кто это ему прислуживаетъ? — спросилъ я.

— А не знаемъ, батюшка, кто такая; тоже спасается, чай, грѣхи заслуживаетъ. Ну, да ужъ и святой же человѣкъ!

— Акулинушка, чадушко мое милое, дочка моя любезная, — твердилъ между тѣмъ юродивый, и вдругъ заплакалъ.

Стоявшая передъ нимъ на колѣняхъ женщина возвела на него свои глаза... Боже мой, гдѣ видѣлъ я эти глаза?

Хозяйка подошла къ ней съ ложечкой масла. Та кончила свою операцію и, поднявшись съ полу, спросила, нѣтъ ли чистаго чуланчика, да сѣнца немного... „Василій Никитичъ на сѣнѣ почивать любитъ“, прибавила она.

— Какъ не быть, пожалуйте, — отвѣчала хозяйка: — пожалуй, родименькій, — обратилась она къ юродивому: — обсушись, отдохни. — Тотъ закряхтѣлъ, медлительно поднялся

съ лавки—его вериги опять звякнули—и, обернувшись ко мнѣ лицомъ и поискавъ образовъ глазами, началъ креститься большимъ крестомъ наотмашь.

Я тотчасъ узналъ его: это былъ тотъ самый мѣщанинъ Василій, который нѣкогда показалъ мнѣ моего покойнаго гувернера!

Черты его мало измѣнились; только выраженіе ихъ стало еще необычнѣе, еще страшнѣе... Нижняя часть опухшаго лица обросла взъерошенною бородою. Оборванный, грязный, одичалый, онъ внушалъ мнѣ еще больше отвращенія, чѣмъ ужаса. Онъ пересталъ креститься, но продолжалъ блуждать безсмысленнымъ взоромъ по угламъ, по полу, словно ждалъ чего-то...

— Василій Никитичъ, пожалуйте,—промолвила съ поклономъ женщина въ шушунѣ. Онъ вдругъ взмахнулъ головой и повернулся, да запутался ногами, зашатался... Спутница его тотчасъ къ нему подскочила и поддержала его подъ мышку. Судя по голосу, да по стану, она казалась еще молодой женщиной: лица ея почти невозможно было видѣть.

— Акулинушка, другъ!—проговорилъ еще разъ юродивый какимъ-то потрясающимъ голосомъ и, широко раскрывъ ротъ и ударивъ себя кулакомъ въ грудь, простоналъ глухимъ, со дна души поднявшимся стономъ. Оба вышли изъ комнаты вслѣдъ за хозяйкой.

Я легъ на свой жесткій диванъ и долго размышлялъ о томъ, что видѣлъ. Мой магнетизеръ сталъ окончательно юродивымъ. Вотъ куда повернула его та сила, которую нельзя было не признать въ немъ.

На слѣдующее утро я собрался въ путь. Дождь лилъ по-вчерашнему, но я не могъ долѣе мѣшкать. На лицѣ моего слуги, подававшаго мнѣ умываться, играла особенная, сдержанно-насмѣшливая улыбочка. Я хорошо понималъ эту улыбочку: она обозначала, что слуга мой узналъ что-нибудь невыгодное или даже неприличное насчетъ господъ. Онъ видимо сгоралъ нетерпѣніемъ сообщить мнѣ это.

— Ну, что такое?—спросилъ я наконецъ.

— Вчерашняго юродивца изволили видѣть?—немедленно заговорилъ мой слуга.

— Видѣлъ; что же далѣе?

— А товарку ихнюю тоже видѣли-съ?

— Видѣлъ и ее.

— Она-съ барышня; дворянскаго происхожденія.

— Какъ?

— Истину вамъ докладываю-съ; купцы сегодня изъ Т... проѣзжали; признали ее. Фамилію даже называли, только я запамятовалъ-съ.

Меня какъ молніей освѣтило. — Юродивый еще здѣсь, или уже ушелъ?—спросилъ я.

— Кажись, еще не уходилъ. Давеча сидѣлъ подъ воротами и мудреное такое творилъ, что и постигнуть невозможно. Благуетъ съ жиру: потому, выгоду въ томъ себѣ находитъ.

Слуга мой принадлежалъ къ тому же разряду образованныхъ дворовыхъ, какъ и Ардаліонъ.

— И барышня съ нимъ?

— Съ ними-съ; дежурятъ тоже.

Я вышелъ на крыльцо и увидѣлъ юродиваго. Онъ сидѣлъ на лавочкѣ подъ воротами и, упершись въ нее обѣими ладонями, раскачивалъ направо и налѣво понуренную голову, — ни дать, ни взять, дикій звѣрь въ клѣткѣ. Густыя космы курчавыхъ волосъ закрывали ему глаза и мотались изъ стороны въ сторону такъ же, какъ и отвисшія губы... Странное, почти нечеловѣческое бормотаніе вырывалось изъ нихъ. Спутница его только-что умылась изъ висѣвшаго на жердочкѣ кувшина и, не успѣвъ еще накинуть платокъ себѣ на голову, пробиралась назадъ къ воротамъ по узкой дощечкѣ, положенной черезъ темныя лужицы навознаго двора. Я взглянулъ на эту, теперь со всѣхъ сторонъ открытую голову, и невольно всплеснулъ руками отъ изумленія: предо мной была Софи Б.!

Она быстро обернулась и уставила на меня свои го-

лубые, попрежнему неподвижные глаза. Она очень похудѣла, кожа загрубѣла и приняла изжелта-красный оттѣнокъ загара, носъ заострился, и губы обозначились рѣзче. Но она не подурнѣла; только къ прежнему, задумчиво-изумленному выраженію присоединилось другое, рѣшительное, почти смѣлое, сосредоточенно-восторженное выраженіе. Дѣтскаго въ этомъ лицѣ уже не оставалось ни слѣда.

Я приблизился къ ней.—Софья Владиміровна,—воскликнулъ я: — неужели это вы? Въ этомъ платьѣ... въ этомъ обществѣ...

Она вздрогнула, еще пристальнѣе взглянула на меня, какъ бы желая узнать, кто съ ней заговариваетъ, и, не отвѣтивъ мнѣ ни слова, такъ и бросилась къ своему товарищу.

— Акулинушка,—залепеталъ онъ, тяжело вздохнувъ:— грѣхи наши, грѣхи...

— Василій Никитичъ, идемте сейчасъ! Слышите, сейчасъ, сейчасъ, — промолвила она, одной рукой надергивая платокъ себѣ на лобъ, а другой подхватывая юродиваго подъ локоть: — идемте, Василій Никитичъ. Здѣсь опасно.

— Иду, матушка, иду, — покорно отвѣтилъ юродивый и, перегнувшись всѣмъ тѣломъ впередъ, приподнялся съ лавочки.—Вотъ, только цѣпочечку-то подвязать...

Я еще разъ подошелъ къ Софьѣ и назвалъ себя, и началъ умолять ее выслушать меня, сказать мнѣ одно слово, я указывалъ ей на дождь, который полилъ какъ изъ ведра, я попросилъ ее пощадить собственное здоровье, здоровье ея товарища, я упоминалъ объ ея отцѣ... Но ею овладѣло какое-то злое, какое-то безпощадное одушевленіе. Не обращая на меня никакого вниманія, стиснувъ зубы и прерывисто дыша, она вполголоса, короткими, повелительными словами, понукала растерявшагося юродиваго, подпоясала его, подвязала его вериги, нахлобучила ему на волосы суконный дѣтскій картузъ съ изломаннымъ козырькомъ, всунула ему палку въ руку, накинула самой себѣ на плечи котомку и вышла съ нимъ

за ворота, на улицу... Остановить ее самоё я не имѣлъ права, да оно ни къ чему бы и не послужило; а на послѣдній мой отчаянный возгласъ она даже не обернулась. Поддерживая „божьяго человѣка“ подъ руку, она проворно шагала по черной уличной грязи, и чрезъ нѣсколько мгновеній, сквозь тусклую мглу туманнаго утра, сквозь частую сѣтку падавшаго дождя, въ послѣдній разъ мелькнули предо мною обѣ фигуры, юродиваго и Софьи... Онѣ завернули за уголъ выдавшейся избы и исчезли навсегда.

Я вернулся къ себѣ въ комнату. Раздумье нашло на меня. Я ничего не понималъ; я не понималъ, какъ могла такая хорошо воспитанная, молодая, богатая дѣвушка бросить все и всѣхъ, родной домъ, семью, знакомыхъ, махнуть рукой на всѣ привычки, на всѣ удобства жизни, и для чего? Для того, чтобы пойти вслѣдъ полусумасшедшему бродягѣ, чтобъ сдѣлаться его прислужницей? Ни на одно мгновеніе нельзя было остановиться на мысли, что поводомъ къ подобному рѣшенію была сердечная, хоть и извращенная наклонность, любовь или страсть... Стоило взглянуть на отталкивающую фигуру „божьяго человѣка“, чтобъ тотчасъ выкинуть подобную мысль изъ головы! Нѣтъ, Софи осталась чистой; и, какъ она однажды сказала мнѣ, для нея не было ничего нечистаго. Я не понималъ поступка Софи; но я не осуждалъ ея, какъ не осуждалъ впослѣдствіи другихъ дѣвушекъ, также пожертвовавшихъ всѣмъ тому, что *онѣ* считали правдой, въ чемъ *онѣ* видѣли свое призваніе. Я не могъ не сожалѣть, что Софи пошла именно *этимъ* путемъ; но отказать ей въ удивленіи, скажу болѣе, въ уваженіи, я также не могъ. Не даромъ она говорила мнѣ о самоотверженіи, объ уничиженіи... у *ней* слова не рознились съ дѣломъ. Она искала наставника и вождя, и нашла его... въ комъ, Боже мой!

Да, она заставила топтать, попирать себя ногами... Впослѣдствіи времени, до меня дошли слухи, что семьѣ удалось, наконецъ, отыскать заблудшую овцу и вернуть ее

домой. Но дома она пожила недолго, и умерла „молчальницей“, не говорившей ни съ кѣмъ.

Миръ сердцу твоему, бѣдное, загадочное существо! Василій Никитичъ, вѣроятно, до сихъ поръ юродствуетъ; желѣзное здоровье подобныхъ людей поистинѣ изумительно. Развѣ падучая его сломила.

Баденъ-Баденъ. 1869.

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИРЪ.

(повѣсть.)

Насъ было человѣкъ шесть, собравшихся въ одинъ зимній вечеръ у стариннаго университетскаго товарища. Бесѣда зашла о Шекспирѣ, объ его типахъ, о томъ, какъ они глубоко и вѣрно выхвачены изъ самыхъ нѣдръ человѣческой „сути". Мы особенно удивлялись ихъ жизненной правдѣ, ихъ вседневности; каждый изъ насъ называлъ тѣхъ Гамлетовъ, тѣхъ Отелло, тѣхъ Фальстафовъ, даже тѣхъ Ричардовъ Третьихъ и Макбетовъ—(этихъ послѣднихъ, правда, только въ возможности)—съ которыми ему пришлось сталкиваться.

— А я, господа,—воскликнулъ нашъ хозяинъ, человѣкъ уже пожилой:—знавалъ одного короля Лира!

— Какъ такъ?—спросили мы его.

— Да такъ же. Хотите, я разскажу вамъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

И нашъ пріятель немедленно приступилъ къ повѣствованію.

I.

„Все мое дѣтство,—началъ онъ,—и первую молодость до пятнадцатилѣтняго возраста — я провелъ въ деревнѣ, въ имѣніи моей матушки, богатой помѣщицы ...й губерніи. Едва ли не самымъ рѣзкимъ впечатлѣніемъ того, уже далекаго, времени осталась въ моей памяти фигура нашего ближайшаго сосѣда, нѣкоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлѣнію: ничего подобнаго Харлову я уже въ жизни потомъ не встрѣчалъ. Представьте себѣ человѣка росту исполинскаго! На громадномъ туловищѣ сидѣла, нѣсколько искоса, безъ всякаго признака шеи, чудовищная голова; цѣлая копна спутанныхъ, желто-сѣдыхъ волосъ вздымалась надъ нею, зачинаясь чуть не отъ самыхъ взъерошенныхъ бровей. На обширной площади сизаго, какъ бы облупленнаго лица, торчалъ здоровенный, шишковатый носъ, надменно топорщились крошечные голубые глазки, и раскрывался ротъ, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвѣта съ остальнымъ лицомъ. Голосъ изъ этого рта выходилъ хотя сиплый, но чрезвычайно крѣпкій и зычный... Звукъ его напоминалъ лязгъ желѣзныхъ полосъ, везомыхъ въ телѣгѣ по дурной мостовой—и говорилъ Харловъ, точно кричалъ кому-то въ сильный вѣтеръ черезъ широкій оврагъ. Трудно было сказать, что̀ именно выражало лицо Харлова, такъ оно было пространно... Однимъ взглядомъ его, бывало, и не окинешь! Но непріятно оно не было—нѣкоторая даже величавость замѣчалась въ немъ, только ужъ очень оно было дивно и необычайно. И что у него были за руки—тѣ же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я безъ нѣкотораго почтительнаго ужаса не могъ взирать на двухъ-аршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобныя мельничнымъ жерновамъ; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи—съ завертками и выгибами: щеки такъ и приподнимали ихъ съ обѣихъ сторонъ. Носилъ Мартынъ Петровичъ—и зиму, и лѣто—*казакинъ* изъ зеленаго сукна, подпоясанный *черкесскимъ ремешкомъ*, и смазные сапоги;

галстука я никогда на немъ не видалъ, да и вокругъ чего подвязалъ бы онъ галстукъ? Дышалъ онъ протяжно и тяжко, какъ быкъ, но ходилъ безъ шума. Можно было подумать, что, попавши въ комнату, онъ постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался съ мѣста на мѣсто осторожно, все больше бокомъ, словно крадучись. Силой онъ обладалъ истинно-геркулесовской, и вслѣдствіе этого пользовался большимъ почетомъ въ околоткѣ: народъ нашъ до сихъ поръ благоговѣетъ передъ богатырями. Про него даже сложились легенды: разсказывали, что онъ, однажды, въ лѣсу встрѣтился съ медвѣдемъ и чуть не поборолъ его; что, заставъ у себя на пасѣкѣ чужого мужика-вора, онъ его вмѣстѣ съ телѣгой и лошадью перебросилъ черезъ плетень, и тому подобное. Самъ Харловъ никогда не хвастался своей силой.—„Коли десница у меня благословенная,—говаривалъ онъ,—такъ на то была воля Божія!“ — Онъ былъ гордъ: только не силою своею онъ гордился, а своимъ званіемъ, происхожденіемъ, своимъ умомъ-разумомъ.

— Нашъ родъ отъ вшеда (онъ такъ выговаривалъ слово шведъ), отъ вшеда Харлуса ведется,—увѣрялъ онъ;—въ княженіе Ивана Васильевича Темнаго (вонъ оно когда!) пріѣхалъ въ Россію; и не пожелалъ тотъ вшедъ Харлусъ быть чухонскимъ графомъ—а пожелалъ быть россійскимъ дворяниномъ, и въ золотую книгу записался. Вотъ мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причинѣ мы всѣ, Харловы, урождаемся бѣлокурые, очами свѣтлые и чистые лицомъ! потому снѣговики!

— Да, Мартынъ Петровичъ, — попытался я было возразить ему:—Ивана Васильевича Темнаго не было вовсе, а былъ Иванъ Васильевичъ Грозный. Темнымъ прозывался великій князь Василій Васильевичъ.

— Ври еще!—спокойно отвѣтилъ мнѣ Харловъ:—коли я говорю, стало оно такъ!

Однажды матушка вздумала похвалить его въ глаза, за его дѣйствительно замѣчательное безкорыстіе.

— Эхъ, Наталья Николаевна!—промолвилъ онъ почти *съ досадой:* — нашли за что хвалить! Намъ, господамъ,

нельзя инако; чтобъ никакой смердъ, земецъ, подвластный человѣкъ и думать о насъ худого не дерзнулъ! Я—Харловъ, фамилію свою вонъ откуда веду... (тутъ онъ показалъ пальцемъ куда-то очень высоко надъ собою въ потолокъ) и чести чтобъ во мнѣ не было! Да какъ это возможно?

Въ другой разъ вздумалось гостившему у моей матушки заѣзжему сановнику подтрунить надъ Мартыномъ Петровичемъ. Тотъ опять заговорилъ о вшедѣ Хардусѣ, который въѣхалъ въ Россію...

— При царѣ Горохѣ?—перебилъ сановникъ.

— Нѣтъ, не при царѣ Горохѣ,—а при великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ Темномъ.

— А я такъ полагаю, — продолжалъ сановникъ: — что родъ вашъ гораздо древнѣе, и восходитъ даже до временъ допотопныхъ, когда водились еще мастодонты и мегалотеріи...

Эти ученые термины были совершенно неизвѣстны Мартыну Петровичу; но онъ понялъ, что сановникъ трунитъ надъ нимъ.

— Можетъ-быть,—брякнулъ онъ:—нашъ родъ, точно, оченно древній: въ то время, какъ мой пращуръ въ Москву прибылъ, сказываютъ, жилъ въ ней дуракъ не хуже вашего превосходительства, а такіе дураки нарождаются только разъ въ тысячу лѣтъ.

Сановникъ взбѣленился, а Харловъ качнулъ головой назадъ, выставилъ подбородокъ, фыркнулъ, да и былъ таковъ. Дня два спустя, онъ снова явился. Матушка начала упрекать его. — Урокъ ему, сударыня, — перебилъ Харловъ: — не наскакивай зря, спросись прежде, съ кѣмъ дѣло имѣешь. Младъ еще больно, учить его надо. — Сановникъ былъ почти однихъ лѣтъ съ Харловымъ; но этотъ исполинъ привыкъ всѣхъ людей считать недорослями. Очень ужъ онъ на себя надѣялся, и рѣшительно никого не боялся.—Развѣ мнѣ могутъ что сдѣлать? Гдѣ такой человѣкъ на свѣтѣ есть? — спрашивалъ онъ, и вдругъ принимался хохотать короткимъ, но оглушительнымъ хохотомъ.

II.

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала съ особеннымъ радушіемъ и многое ему спущала: онъ, лѣтъ двадцать-пять тому назадъ, спасъ ей жизнь, удержавъ ея карету на краю глубокаго оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартынъ Петровичъ такъ и не выпустилъ изъ рукъ схваченнаго имъ колеса — хотя кровь брызнула у него изъ-подъ ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилѣтнюю сироту, воспитанную у ней въ домѣ; ему тогда минуло сорокъ лѣтъ. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна,—онъ, говорятъ, на ладони внесъ ее къ себѣ въ домъ,—и пожила она съ нимъ недолго; однако, родила ему двухъ дочерей. Матушка моя и послѣ ея смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она помѣстила старшую дочь его въ губернскій пансіонъ, потомъ сыскала ей мужа— и уже имѣла другого на примѣтѣ, для второй. Харловъ былъ хозяинъ порядочный, землицы за нимъ водилось десятинъ съ триста, и обстроился онъ помаленьку, а ужъ какъ крестьяне ему повиновались,—объ этомъ и толковать нечего! По тучности своей, Харловъ почти никуда не ходилъ пѣшкомъ: земля его не носила. Онъ всюду разъѣзжалъ на низенькихъ бѣговыхъ дрожкахъ и самъ правилъ лошадью, чахлой, тридцатилѣтней кобылой, со шрамомъ отъ раны на плечѣ: эту рану она получила въ бородинскомъ сраженіи, подъ вахмистромъ кавалергардскаго полка. Лошадь эта постоянно хромала, какъ-то на всѣ четыре ноги разомъ; идти шагомъ она не могла, а только перетрусывала рысцей, вприпрыжку; ѣла она чернобыльникъ и полынь по межамъ, чего я ни за какой другой лошадью не замѣчалъ. Помнится, я всегда недоумѣвалъ, какъ могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смѣю повторить, сколько въ нашемъ сосѣдѣ насчитывали пудовъ. За спиной Мартына Петровича помѣщался на бѣговыхъ дрожкахъ его черномазый *казачокъ, Максимка*. Прижавшись всѣмъ тѣломъ к хо-

домъ къ своему барину и упираясь босыми ногами въ заднюю ось дрожекъ, онъ казался листикомъ или червякомъ, случайно приставшимъ къ воздвигавшейся передъ нимъ исполинской тушѣ. Тотъ же казачокъ, разъ въ недѣлю, брилъ Мартына Петровича. Для исполненія этой операціи, онъ, говорятъ, становился на столъ; иные шутники увѣряли, что онъ принужденъ былъ бѣгать вокругъ подбородка своего барина. Харловъ не любилъ подолгу сидѣть дома, и потому его частенько можно было видѣть разъѣзжающимъ въ своемъ неизмѣнномъ экипажѣ, съ вожжами въ одной рукѣ (другою онъ хватски, съ вывертомъ локтя, опирался на колѣно), съ крошечнымъ старымъ карузомъ на самомъ верху головы. Онъ бодро посматривалъ кругомъ своими медвѣжьими глазенками, окликалъ громовымъ голосомъ всѣхъ встрѣчныхъ мужиковъ, мѣщанъ, купцовъ; попамъ, которыхъ онъ очень не любилъ, посылалъ крѣпкія посулы, и однажды, поровнявшись со мною (я вышелъ прогуляться съ ружьемъ), такъ заатукалъ на лежавшаго возлѣ дороги зайца, что стонъ и звонъ стояли у меня въ ушахъ до самаго вечера.

III.

Матушка моя, какъ я уже сказалъ, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уваженіе онъ питалъ къ ея особѣ. — „Барыня! госпожа! нашего поля ягодка!“—такъ отзывался онъ о ней. Онъ величалъ ее благодѣтельницей, а она видѣла въ немъ преданнаго великана, который не усомнился бы пойти за нее одинъ на цѣлую ватагу мужиковъ: — и хотя не предвидѣлось даже возможности подобнаго столкновенія, однако, по понятіямъ матушки, при отсутствіи мужа (она рано овдовѣла), такимъ защитникомъ, какъ Мартынъ Петровичъ, брезгать не слѣдовало. Притомъ же, человѣкъ онъ былъ прямой, ни въ комъ не заискивалъ, денегъ не занималъ, вина не пилъ—и глупъ тоже не былъ, хотя образованія не получилъ никакого. Матушка довѣряла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завѣщаніе, она *потребовала его въ свидѣтели*, и онъ нарочно ѣздилъ

домой за желѣзными круглыми очками, безъ которыхъ писать не могъ: и съ очками-то на носу онъ едва-едва, въ теченіе четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успѣлъ начертать свой чинъ, имя, отчество и фамилію, при чемъ буквы ставилъ огромныя, четырехугольныя, съ титлами и хвостами; а совершивъ свой трудъ, объявилъ, что усталъ, и что ему—что̀ писать, что̀ блохъ ловить—все едино. Да, матушка его уважала... однако, дальше столовой его у насъ не пускали. Ужъ очень сильный шелъ отъ него духъ: землей отдавало отъ него, лѣснымъ дромомъ, тиной болотной. „Какъ есть лѣшій!“ увѣряла моя старая няня. Къ обѣду Мартыну Петровичу ставили въ углу особый столъ — и онъ этимъ не обижался — онъ зналъ, что другимъ неловко было сидѣть съ нимъ рядомъ,—да ему было привольнѣе ѣсть: а ѣлъ онъ такъ, какъ, я полагаю, не ѣдалъ никто со временъ Полифэма. Для него всегда, въ самомъ началѣ обѣда, припасали, въ видахъ предосторожности, горшокъ каши, фунтовъ въ шесть: „а то вѣдь ты меня объѣшь!“ говаривала матушка.—„И то, сударыня, объѣмъ!“ отвѣчалъ, ухмыляясь, Мартынъ Петровичъ.

Матушка любила слушать его разсужденія о какомъ-нибудь хозяйственномъ предметѣ; но долго не могла выдерживать его голоса.

— Что это, мой батюшка! — восклицала она: — ты бы отъ этого хоть полѣчился, что ли! Совсѣмъ оглушилъ меня. Этакая труба!

— Наталья Николаевна! Благодѣтельница! — отвѣчалъ обыкновенно Мартынъ Петровичъ. — Я въ своей гортани не воленъ. Да и какое лѣкарство меня пронять можетъ— извольте посудить? Я вотъ лучше помолчу маленечко.

Дѣйствительно, я полагаю, никакое лѣкарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Онъ же никогда и боленъ не бывалъ.

Разсказывать онъ не умѣлъ и не любилъ. „Отъ долгихъ рѣчей одышка бываетъ“, замѣчалъ онъ съ укоризной. Только когда его наводили на двѣнадцатый годъ (онъ служилъ въ ополченіи и получилъ бронзовую медаль, которую по праздникамъ носилъ на владимірской ленточкѣ),

і его разспрашивали про французовъ, онъ сообщалъ
акіе анекдоты, хотя постоянно увѣрялъ притомъ, что
кихъ французовъ, настоящихъ, въ Россію не прихо-
а такъ, мародеришки съ голодухи набѣжали, и что
ного этой швали по лѣсамъ колачивалъ.

IV.

между тѣмъ, и на этого несокрушимаго, самоувѣрен-
исполина находили минуты меланхоліи и раздумья.
всякой видимой причины онъ вдругъ начиналъ ску-
запирался одинъ къ себѣ въ комнату, и гудѣлъ —
о гудѣлъ, какъ цѣлый пчелиный рой; либо призы-
казачка Максимку и приказывалъ ему или читать
ъ изъ единственной, забредшей къ нему въ домъ,
разрозненнаго тома Новиковскаго „Покоющагося
олюбца",—или пѣть. И Максимка, который, по стран-
грѣ случая, умѣлъ читать по складамъ, принимался,
ычнымъ перерубаніемъ словъ и перестановленіемъ
ній, выкрикивать фразы, въ родѣ слѣдующей:— „но
вѣкъ страстный выводитъ изъ сего пустого мѣста,
рое онъ находитъ въ тваряхъ, совсѣмъ противныя
твія. Каждая тварь особо, сказываетъ онъ, не сильна
ть меня счас-тливымъ!" и т. д. *), или затягивалъ
йшимъ голоскомъ заунывную пѣсенку, въ которой
о можно было разобрать, что: „И... и... э... и... э...
ла... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!" А Мар-
Петровичъ качалъ головою, упоминалъ о бренности,
ъ, что все пойдетъ прахомъ, увянетъ, яко быліе;
етъ—и не будетъ! Попалась ему какъ-то картинка,
ажавшая горящую свѣчу, въ которую со всѣхъ сто-
напрягши щеки, дуютъ вѣтры; внизу стояла под-
„Такова жизнь человѣческая!" Очень понравилась
та картинка; онъ повѣсилъ ее у себя въ кабинетѣ;—
обыкновенное, не меланхолическое время, перевер-
ъ ее лицомъ къ стѣнѣ, чтобы не смущала: Харловъ,
колоссъ, боялся смерти! Къ помощи религіи, къ

*) „Покоющійся Трудолюбецъ", періодическое изданіе и т. д. Мо-
1785 г. *Часть 3-я. Стран. 23, строка* 11 сверху.

молитвѣ, онъ, впрочемъ, и въ припадкѣ меланхоліи прибѣгалъ рѣдко; онъ и тутъ больше надѣялся на свой собственный умъ. Набожности въ немъ особенной не было; его въ церкви не часто видали; правда, онъ говорилъ, что не ходитъ туда по той будто причинѣ, что, по размѣру тѣла своего боится выдавить всѣхъ вонъ. Припадокъ обыкновенно кончался тѣмъ, что Мартынъ Петровичъ начнетъ посвистывать — и вдругъ громогласнымъ голосомъ прикажетъ заложить себѣ дрожки и покатитъ куда-нибудь по сосѣдству, не безъ удали потрясая свободной рукой надъ козырькомъ картуза, какъ бы желая сказать, что намъ-молъ теперь все — трынъ-трава! Русскій былъ человѣкъ.

V.

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бываютъ большею частью нрава флегматическаго; онъ, напротивъ того, довольно легко раздражался. Особенно выводилъ его изъ терпѣнія пріютившійся въ нашемъ домѣ, въ качествѣ не то шута, не то нахлѣбника,—братъ его покойной жены— нѣкто Бычковъ; съ младыхъ ногтей прозванный Сувениромъ, и такъ уже оставшійся Сувениромъ для всѣхъ, даже для слугъ, которые, правда, величали его Сувениромъ Тимоѳеичемъ. Настоящаго своего имени онъ, кажется, и самъ не зналъ. Это былъ человѣкъ мизерный, всѣми презираемый: приживальщикъ, однимъ словомъ. Съ одной стороны рта у него недоставало всѣхъ зубовъ, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленнымъ. Онъ вѣчно суетился, егозилъ: въ дѣвичью заберется, или въ контору, на слободку къ попамъ, а не то къ старостѣ въ избу; отовсюду его гонятъ, а онъ только пожимается, да щуритъ свои косые глазки — да смѣется дрянно, жидко, точно бутылку полощетъ. Мнѣ всегда казалось, что будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человѣкъ изъ него вышелъ, безнравственный, злой, даже жестокій. Бѣдность поневолѣ его „сократила". Пить позволялось ему только въ праздники. Одѣвали его *прилично, по* приказанію матушки, такъ какъ онъ по ве-

черамъ составлялъ ея партію въ пикетъ или бостонъ. Сувениръ то и дѣло твердилъ:—„Я, вотъ, позвольте, я чичасъ, чичасъ“.—„Да что *чичасъ?*“ — съ досадой спроситъ его матушка. Онъ мгновенно откинетъ руки назадъ, струситъ и лепечетъ:—„Какъ прикажете-съ!“—Подъ дверями послушать, посплетничать, а главное: „шпынять“, дразнить—другой у него заботы не было—и „шпынялъ“ онъ такъ, какъ будто имѣлъ на то право, какъ будто мстилъ за что-то. Мартына Петровича онъ звалъ братцемъ и надоѣдалъ ему пуще горькой рѣдьки.—„Вы сестрицу Мариту Тимоѳеевну за что̀ уморили?“ — приставалъ онъ къ нему, вертясь передъ нимъ и хихикая. Однажды Мартынъ Петровичъ сидѣлъ въ бильярдной, прохладной комнатѣ, въ которой никто никогда ни одной мухи не видалъ—и которую сосѣдъ нашъ, врагъ жары и солнца, — этого очень жаловалъ. Сидѣлъ онъ между стѣной и бильярдомъ. Сувениръ шмыгалъ мимо его „чрева“, дразнилъ его, кривлялся... Мартынъ Петровичъ хотѣлъ оттолкнуть его—и двинулъ обѣими руками впередъ. Къ счастью Сувенира, онъ успѣлъ отвернуться—ладони его братца прилились въ упоръ о край бильярда — и со всѣхъ шести винтовъ слетѣлъ тяжелый, деревенскій бильярдъ... Въ какую лепешку превратился бы Сувениръ, если бъ попалъ подъ эти мощныя руки!

VI.

Я давно любопытствовалъ посмотрѣть, какъ устроилъ свое жилище Мартынъ Петровичъ, что̀ у него за домъ? Однажды я вызвался проводить его верхомъ до Еськова (такъ называлось его имѣніе). — „Вишь ты! Хочешь посмотрѣть мою державу“, — промолвилъ Мартынъ Петровичъ.—„Изволь! И садъ покажу, и домъ, и гумно—и все. У меня всякаго добра много!“—Мы отправились. Отъ нашего села до Еськова считалось всего версты три.—„Вотъ она, моя держава!“ — загремѣлъ вдругъ Мартынъ Петровичъ, силясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налѣво.—„Все мое!“—Усадьба Харлова *находилась на вершинѣ* пологаго холма, внизу, къ

небольшому пруду, лѣпилось нѣсколько плохихъ мужичьихъ избенокъ. У пруда, на плоту, старая баба въ клѣтчатой панёвѣ колотила валькомъ скрученное бѣлье.

— Аксинья!—гаркнулъ Мартынъ Петровичъ, да такъ, что грачи стаей взвились изъ сосѣдняго овсянаго поля.— Мужу портки моешь?

Баба разомъ обернулась и поклонилась въ поясъ.

— Портки, батюшка,—послышался ея слабый голосъ.

— То-то! Вотъ, посмотри,—продолжалъ Мартынъ Петровичъ, пробираясь рысцей вдоль полусгнившаго плетня:—это моя конопля; а та вонъ—крестьянская; разницу видишь? А вотъ это мой садъ; яблони я понасажалъ, и ракиты—тоже я. А то тутъ и древа никакого не было. Вотъ такъ-то—учись!

Мы завернули на дворъ, огороженный тыномъ; прямо противъ воротъ возвышался ветхій-ветхій флигелекъ съ соломенной крышей и крылечкомъ на столбикахъ; въ сторонѣ стоялъ другой, поновѣй, и съ крохотнымъ мезониномъ—но тоже на курьихъ ножкахъ.—„Вотъ, ты опять учись",—промолвилъ Харловъ:—„вишь, отцы-то наши въ какой хороминкѣ жили; а теперь я вона какія палаты себѣ соорудилъ".—Палаты эти походили на карточный домикъ. Собакъ пять-шесть, одна другой лохматѣй и безобразнѣй, привѣтствовали насъ лаемъ.—„Овчары!"—замѣтилъ Мартынъ Петровичъ.—„Настоящія крымскія! Цыцъ, оглашенныя! Вотъ возьму—да всѣхъ перевѣшаю!"—На крыльцѣ новаго флигелька показался молодой человѣкъ въ длинномъ нанковомъ балахонѣ, мужъ старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочивъ къ дрожкамъ, онъ почтительно поддержалъ подъ локоть слѣзавшаго тестя—и даже одной рукой сдѣлалъ примѣръ, будто подхватываетъ исполинскую ногу, которую тотъ, наклонясь впередъ туловищемъ, заносилъ съ размаху черезъ сидѣніе;—потомъ онъ помогъ мнѣ сойти съ лошади.

— Анна!—воскликнулъ Харловъ:—Натальи Николавнинъ сынокъ къ намъ пожаловалъ; попоштовать его надо. Да гдѣ Евлампіюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампіей—*меньшую.*)

— Дома нѣтъ; въ поле за васильками пошла,—отозвалась Анна, показавшись на окошкѣ возлѣ двери.

— Творогъ есть?—спросилъ Харловъ.

— Есть.

— И сливки есть?

— Есть.

— Ну, тащи на столъ, а я имъ пока кабинетъ свой покажу.—Пожалуйте сюда, сюда,—прибавилъ онъ, обратясь ко мнѣ и зазывая меня указательнымъ пальцемъ. У себя въ домѣ онъ меня не „тыкалъ“: надо жъ хозяину быть вѣжливымъ. Онъ повелъ меня по коридору.—Вотъ гдѣ я пребываю,—промолвилъ онъ, шагнувъ бокомъ черезъ порогъ широкой двери:—а вотъ и мой кабинетъ. Милости просимъ.

Кабинетъ этотъ оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стѣнамъ, на неровно вбитыхъ гвоздяхъ, висѣли двѣ нагайки, трехугольная порыжѣлая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомутъ съ бляхами, и картинка, изображающая горящую свѣчу подъ вѣтрами; въ одномъ углу стоялъ деревянный диванъ, покрытый пестрымъ ковромъ. Сотни мухъ густо жужжали подъ потолкомъ; впрочемъ, въ комнатѣ было прохладно; только очень сильно разило тѣмъ особеннымъ лѣснымъ запахомъ, который всюду сопровождалъ Мартына Петровича.

— Что жъ, хорошъ кабинетъ?—спросилъ меня Харловъ.

— Очень хорошъ.

— Ты посмотри, вонъ у меня голландскій хомутъ виситъ,—продолжалъ Харловъ, снова впадая въ „тыканіе“.—Чудесный хомутъ! у жида вымѣнялъ. Ты погляди-ка!

— Хомутъ хорошій.

— Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!—Я понюхалъ хомутъ. Отъ него несло прѣлой вôрванью—и больше ничего.

— Ну, присядьте—вонъ тамъ, на стульчикѣ, будьте гости,—проговорилъ Харловъ, а самъ опустился на диванъ и словно задремалъ, закрылъ глаза, засопѣлъ даже.

Я молча глядѣлъ на него и не могъ довольно надивиться: гора—да и полно! Онъ вдругъ встрепенулся.

— Анна!—закричалъ онъ, и при этомъ его громадный животъ приподнялся и опалъ, какъ волна на морѣ:— что̀ жъ ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

— Все готово, батюшка, пожалуйте,—раздался голосъ его дочери.

Я внутренно подивился быстротѣ, съ которой исполнялись повелѣнія Мартына Петровича, и отправился за нимъ въ гостиную, гдѣ на столѣ, покрытомъ красной скатертью съ бѣлыми разводами, уже была приготовлена закуска: творогъ, сливки, пшеничный хлѣбъ, даже толченый сахаръ съ имбиремъ. Пока я управлялся съ творогомъ, Мартынъ Петровичъ, ласково пробурчавъ: — „Кушай, дружокъ, кушай, голубчикъ, не брезгай нашей деревенской снѣдью",—опять присѣлъ въ углу, и опять словно задремалъ! Предо мной, неподвижно, съ опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а въ окно я могъ видѣть, какъ ея мужъ проваживалъ по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цѣпочку трензеля.

VII.

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась къ намъ на поклонъ и, въ присутствіи матушки, держалась чинно и холодно, хотя, по ея милости, и въ пансіонѣ обучалась, и замужъ вышла, и въ день свадьбы получила отъ нея тысячу рублей ассигнаціями, да желтую турецкую шаль, правда, нѣсколько поношенную. Это была женщина росту средняго, сухощавая, очень живая и проворная въ своихъ движеніяхъ, съ русыми, густыми волосами, съ красивымъ, смуглымъ лицомъ, на которомъ нѣсколько странно, но пріятно выдавались блѣдно-голубые, узкіе глаза; носъ она имѣла прямой и тонкій, губы тоже тонкія и подбородокъ „шпилькой". Всякій, взглянувъ на нее, навѣрное подумалъ бы: „Ну, какая же ты умница — и злюка!" И со всѣмъ тѣмъ въ *ней было что-то* привлекательное; даже темныя родинки,

разсыпанныя „гречишкой“ по ея лицу, шли къ ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунувъ подъ косынку руки, она украдкой — сверху внизъ (я сидѣлъ, она стояла)—посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ея губамъ, по щекамъ, въ тѣни длинныхъ рѣсницъ. „Охъ, ты, балованный барченокъ!“ словно говорила эта улыбка. Всякій разъ, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись—это тоже было нѣсколько странно; но, все-таки, мнѣ казалось, что полюби меня Анна Мартыновна, или только захоти поцѣловать меня своими тонкими, жесткими губами — я бы отъ восторга до потолка подпрыгнулъ. Я зналъ, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и дѣвки боялись ея какъ огня—но что за дѣло! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображеніе... Впрочемъ, мнѣ тогда только минуло пятнадцать лѣтъ,—а въ эти годы!..

Мартынъ Петровичъ опять встрепенулся. — Анна! — крикнулъ онъ: — ты бы на фортепьянахъ побренчала... Молодые господа это любятъ.

Я оглянулся: въ комнатѣ стояло какое-то жалкое подобіе фортепьянъ.

— Слушаю, батюшка — отвѣтила Анна Мартыновна.— Только, что же я имъ буду играть? Имъ это не будетъ интересно.

— Такъ чему жъ тебя обучали въ *пин*сіонѣ?

— Я все перезабыла... да и струны полопались.

Голосокъ у Анны Мартыновны былъ очень пріятный, звонкій и словно жалобный... въ родѣ того, какой бываетъ у хищныхъ птицъ.

— Ну,—проговорилъ Мартынъ Петровичъ, и задумался.—Ну,—началъ онъ опять: — такъ не хотите ли гумно посмотрѣть, полюбопытствовать? Васъ Володька проводитъ.—Ей, Володька! — крикнулъ онъ своему зятю, который все еще расхаживалъ по двору съ моею лошадью:— проводи вотъ ихъ на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мнѣ соснуть надо! Такъ-то! Счастливо оставаться!

Онъ *вышелъ вонъ, и я* за нимъ. Анна Мартыновна

тотчасъ стала проворно и какъ бы съ досадой убирать со стола. На порогѣ двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не замѣтила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злѣе прежняго.

Я взялъ у Харловскаго зятя мою лошадь и повелъ ее въ поводу. Мы вмѣстѣ съ нимъ пошли на гумно,—но такъ какъ ничего въ немъ особенно любопытнаго не открыли, притомъ же онъ во мнѣ, какъ въ молодомъ мальчикѣ, не могъ предполагать отмѣнную любовь къ хозяйству, — то мы и вернулись черезъ садъ на дорогу.

VIII.

Я хорошо зналъ Харловскаго зятя: звали его Слетбинымъ, Владиміромъ Васильевичемъ; онъ былъ сирота, сынъ мелкаго чиновника, повѣреннаго по дѣламъ у матушки и ея воспитанникъ. Сперва помѣстили его въ уѣздное училище, потомъ онъ поступилъ въ „вотчинскую контору", потомъ записали его на службу по казеннымъ магазинамъ, и наконецъ, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденкомъ, и онъ, дѣйствительно, своими курчавыми волосиками, своими черными и вѣчно мокрыми, какъ вареный черносливъ, глазами, своимъ ястребинымъ носомъ и широкимъ краснымъ ртомъ, напоминалъ еврейскій типъ; только цвѣтъ кожи онъ имѣлъ бѣлый и былъ вообще весьма недуренъ собою. Нрава онъ былъ услужливаго, лишь бы дѣло не касалось его личной выгоды. Тутъ онъ тотчасъ терялся отъ жадности, до слезъ даже доходилъ; изъ-за тряпки готовъ канючить цѣлый день, сто разъ напомнить о данномъ обѣщаніи, и обижается, и пищитъ, если оно не тотчасъ исполняется. Онъ любилъ таскаться по полямъ съ ружьемъ; и когда случалось ему залучить зайца или утку, съ особеннымъ чувствомъ клалъ свою добычу въ ягдташъ, приговаривая: — „Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь *мнѣ* послужишь!"

— Добрый конекъ у васъ,—заговорилъ онъ своимъ шепелявымъ голосомъ, помогая мнѣ взобраться на сѣдло;— вотъ бы мнѣ такую лошадку! Да гдѣ! Счастье мое не такое. *Хоть бы вы* матушку вашу попросили... напомнили.

— А она вамъ обѣщала?

— Кабы обѣщала! Нѣтъ; но я полагалъ, что по великому ея благодушеству...

— Вы бы къ Мартыну Петровичу обратились.

— Къ Мартыну Петровичу!—повторилъ протяжно Слеткинъ.—Для него—что я, что какой-нибудь ничтожный кавчокъ Максимка—все едино. Какъ есть въ черномъ тѣлѣ васъ содержитъ, и никакой отъ него награды не видать і всѣ труды.

— Неужели?

— Да, ей-Богу же. Какъ скажетъ: „мое слово свято!"— , вотъ точно топоромъ отрубитъ. Проси, не проси — е едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого антажа передъ нимъ не имѣетъ, какъ Евлампія Мартыновна.

— Ахъ, Господи Боже мой, батюшки! — перебилъ онъ ругъ самого себя, и съ отчаяніемъ всплеснулъ руками.— осмотрите: что это? Цѣлый полуосьминникъ овса, нашего оса, какой-то злодѣй выкосилъ. Каковъ? Вотъ тутъ и иви! Разбойники, разбойники! Вотъ ужъ, точно, правду оворятъ, что не вѣрь Еськову, Беськову, Ерину, Бѣлину, акъ назывались четыре окрестныя деревни). Ахъ, ахъ! о это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два — ытку!

Въ голосѣ Слеткина слышались чуть не рыданія. Я лкнулъ лошадь подъ бока и поѣхалъ отъ него прочь.

Восклицанія Слеткина еще долетали до моего слуха, къ вдругъ, на поворотѣ дороги, попалась мнѣ та самая орая дочь Харлова, Евлампія, которая, по словамъ Анны артыновны, ушла въ поле за васильками. Густой вѣнокъ ъ этихъ цвѣтовъ обвивалъ ея голову. Мы обмѣнялись оклонами молча. Евлампія была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только въ другомъ родѣ. Росту на была высокаго, сложенія дороднаго; все въ ней было елико: и голова, и ноги, и руки, и бѣлые, какъ снѣгъ, бы, и особенно глаза, выпуклые, съ поволокой, темноніе, какъ стеклярусъ; все въ ней было даже монументально *(не даромъ она доводилась* Мартыну Петровичу

дочкой), но красиво. Бѣлокурую густую косу она, видимо, не знала куда дѣть и раза три обматывала ее вокругъ темени. Ротъ у ней былъ прелестный, свѣжій какъ розанъ, малиноваго цвѣта, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взглядѣ ея огромныхъ глазъ было что-то дикое и почти суровое.— „Вольница, казачья кровь",—такъ отзывался о ней Мартынъ Петровичъ. Я побаивался ея... Мнѣ эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъѣхалъ еще немного дальше и услышалъ, что она запѣла ровнымъ, сильнымъ, нѣсколько рѣзкимъ, прямо крестьянскимъ голосомъ; потомъ она вдругъ умолкла. Я оглянулся и съ вершины холма увидалъ ее, стоявшую возлѣ Харловскаго зятя передъ скошеннымъ осьминникомъ овса. Тотъ размахивалъ и указывалъ руками, а она не шевелилась. Солнце освѣщало ея высокую фигуру и ярко голубѣлъ васильковый вѣнокъ на ея головѣ.

IX.

Я уже, кажется, сказывалъ вамъ, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То былъ одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ нашихъ сосѣдей, отставной армейскій майоръ, Житковъ, Гаврило Ѳедулычъ, человѣкъ уже немолодой, и, какъ онъ самъ выражался, не безъ самодовольства, впрочемъ, и словно рекомендуя себя: „битый, да ломаный". Онъ едва разумѣлъ грамотѣ и очень былъ глупъ, но втайнѣ надѣялся попасть къ моей матушкѣ въ управляющіе, ибо чувствовалъ себя „исполнителемъ". — „Что другое-съ, а зубье считать у мужичья—это я до тонкости понимаю",— говаривалъ онъ, чуть не скрипя собственными зубами: — „потому—привыкъ",—пояснялъ онъ,—„въ прежней моей значитъ, должности".—Будь Житковъ меньше глупъ, онъ бы понялъ, что именно въ управляющіе къ матушкѣ попасть не предстояло ему никакихъ шансовъ, такъ какъ для этого нужно было смѣстить настоящаго управляющаго, нѣкоего Квицинскаго, весьма характернаго и дѣльного поляка, которому матушка вполнѣ довѣряла. Лицо

у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-бѣлокурыми волосами, даже щеки подъ глазами всѣ заросли; въ самые сильные морозы оно было покрыто обильнымъ потомъ, словно росинками. При видѣ матушки онъ немедленно вытягивался въ струнку, голова его начинала дрожать отъ усердія, огромныя руки слегка похлопывали по ляжкамъ, и вся фигура, казалось, такъ и взывала: „Повели!.. и я устремлюсь!“ Матушка не обманывалась насчетъ его способностей, что не мѣшало ей, однако, заботиться объ его свадьбѣ съ Евлампіей.

— Только сладишь ли ты съ ней, отецъ мой? — спросила она его однажды.

Житковъ самодовольно улыбнулся.

— Помилуйте, Наталья Николаевна! Цѣлую роту въ порядкѣ содержалъ, по стрункѣ ходили; а это что же-съ? Плевое дѣло.

— То рота, отецъ мой, а то дѣвушка благородная, жена,—замѣтила матушка съ неудовольствіемъ.

— Помилуйте-съ, Наталья Николаевна!—снова воскликнулъ Житковъ.—Это мы все очень понять можемъ. Одно слово: барышня, особа нѣжная!

— Ну! — рѣшила, наконецъ, матушка:—Евлампія себя въ обиду не дастъ.

X.

Однажды — дѣло было въ іюнѣ мѣсяцѣ и день склонялся къ вечеру—человѣкъ доложилъ о пріѣздѣ Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его болѣе недѣли не видали, но онъ никогда такъ поздно не посѣщалъ насъ.— Что-нибудь случилось! — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда онъ ввалился въ комнату и тотчасъ же опустился на стулъ возлѣ двери, имѣло такое необычайное выраженіе, оно такъ было задумчиво и даже блѣдно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицаніе. Мартынъ Петровичъ уставилъ на нее свои маленькіе глаза, помолчалъ, вздохнулъ тяжело, помолчалъ опять и объявилъ, наконецъ, что пріѣхалъ *по одному дѣлу... которое...* такого рода, что по причинѣ...

Пробормотавъ эти несвязныя слова, онъ вдругъ поднялся и вышелъ.

Матушка позвонила, велѣла вошедшему лакею тотчасъ догнать и непремѣнно воротить Мартына Петровича, но тотъ уже успѣлъ сѣсть на свои дрожки и убраться.

На слѣдующее утро матушка, которую странный поступокъ Мартына Петровича и необычайное выраженіе его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась-было послать къ нему нарочнаго, какъ онъ самъ опять появился передъ нею. На этотъ разъ онъ казался спокойнѣе.

— Сказывай, батюшка, сказывай, — воскликнула матушка, какъ только увидѣла его: — что это съ тобою подѣлалось? Я, право, вчера подумала: Господи!—подумала я:—ужъ не рехнулся ли старикъ нашъ въ разсудкѣ своемъ?

— Не рехнулся я, сударыня, въ разсудкѣ своемъ, — отвѣчалъ Мартынъ Петровичъ:—не таковскій я человѣкъ. Но мнѣ нужно съ вами посовѣтоваться.

— О чемъ?

— Только сомнѣваюсь я, будетъ ли вамъ сіе пріятно...

— Говори, говори, отецъ, да попроще. Не волнуй ты меня! Къ чему тутъ *сіе?* Говори проще. Али опять меланхолія на тебя нашла?

Харловъ нахмурился. — Нѣтъ, не меланхолія—она у меня къ новолунію бываетъ; а позвольте васъ спросить, сударыня, вы о смерти какъ полагаете?

Матушка всполохнулась.—О чемъ?

— О смерти. Можетъ ли смерть кого ни-на-есть на семъ свѣтѣ пощадить?

— Это ты еще что вздумалъ, отецъ мой? Кто изъ насъ безсмертный? Ужъ на что ты великанъ уродился—а и тебѣ конецъ будетъ.

— Будетъ! охъ, будетъ!—подхватилъ Харловъ и потупился.—Случилось со мною сонное мечтаніе...—протянулъ онъ наконецъ.

— Что ты говоришь?—перебила его матушка.

— Сонное мечтаніе, — повторилъ онъ. — Я вѣдь сновидецъ!

— Ты?

— Я! А вы не знали?—Харловъ вздохнулъ.—Ну, вотъ... Прилегъ я какъ-то, сударыня, недѣлю тому назадъ слишкомъ, подъ самыя заговѣны къ Петрову посту; прилегъ я послѣ обѣда отдохнуть маленько, ну, и заснулъ! и вижу, будто въ комнату ко мнѣ вбѣгъ вороной жеребенокъ. И сталъ тотъ жеребенокъ играть и зубы скалить. Какъ жукъ вороной жеребенокъ.

Харловъ умолкъ.

— Ну?—промолвила матушка.

— И какъ обернется вдругъ этотъ самый жеребенокъ, да какъ лягнетъ меня въ лѣвый локоть, въ самый какъ есть поджилокъ!.. Я проснулся! анъ рука не дѣйствуетъ и нога лѣвая тоже. Ну, думаю, параличъ; однако, поразмялся и снова вошелъ въ дѣйствіе: только мурашки долго по суставцамъ бѣгали, и теперь еще бѣгаютъ. Какъ разожму ладонь, такъ и забѣгаютъ.

— Да ты, Мартынъ Петровичъ, какъ-нибудь руку перележалъ.

— Нѣтъ сударыня; не то вы изволите говорить! Это мнѣ предостереженіе... Къ смерти моей, значитъ.

— Ну, вотъ еще!—начала-было матушка.

— Предостереженіе! Готовься, молъ, человѣче! И потому я, сударыня, вотъ что̀ имѣю доложить вамъ, нимало не медля. Не желая,—закричалъ вдругъ Харловъ:—чтобъ та самая смерть, меня, раба Божія, врасплохъ застала, положилъ я такъ-то въ умѣ своемъ: раздѣлить мнѣ теперь же, при жизни, имѣніе мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампіей, какъ мнѣ Господь Богъ на душу пошлетъ. — Мартынъ Петровичъ остановился, охнулъ и прибавилъ:—Нимало не медля.

— Что жъ? Это дѣло хорошее,—замѣтила матушка:—только, я думаю, ты напрасно спѣшишь.

— И такъ какъ я желаю въ семъ дѣлѣ,—продолжалъ, еще болѣе возвысивъ голосъ, Харловъ: — должный порядокъ и законность соблюсти, то покорнѣйше прошу вашего сыночка, Дмитрія Семеновича,—васъ я, сударыня, обезпокоивать не осмѣливаюсь,—прошу онаго сыночка, Дмитрія

Семеновича, родственнику же моему, Бычкову, въ прямой долгъ вмѣняю—при совершеніи формальнаго акта и ввода во владѣніе моихъ двухъ дочерей, Анны замужней и Евлампіи дѣвицы,—присутствовать; который актъ имѣетъ быть въ дѣйствіе введенъ послѣ-завтра, въ двѣнадцатомъ часу дня, въ собственномъ моемъ имѣніи Еськовѣ, Козюлькинѣ то жъ, при участіи предержащихъ властей и чиновъ, кои ужъ суть приглашены.

Мартынъ Петровичъ едва окончилъ эту явно имъ наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную рѣчь... У него словно воздуха въ груди недоставало: его поблѣднѣвшее лицо снова побагровѣло, и онъ нѣсколько разъ утеръ съ него потъ.

— И ты уже составилъ раздѣльный актъ?—спросила матушка.—Когда ты это успѣлъ?

— Успѣлъ... охъ! Не пимши, не ѣмши...

— Самъ писалъ?

— Володька... охъ! помогалъ.

— И прошеніе подалъ?

— Подалъ, и палата утвердила, и уѣздному суду предписано, и временное отдѣленіе земскаго суда... охъ!... къ прибытію назначено.

Матушка усмѣхнулась.—Ты, я вижу, Мартынъ Петровичъ, уже совсѣмъ, какъ слѣдуетъ, распорядился,—и какъ скоро! Знать, денегъ не жалѣлъ?

— Не жалѣлъ, сударыня!

— То-то! А говоришь, что со мной посовѣтоваться желаешь. Что жъ, пускай Митенька ѣдетъ; я и Сувенира съ нимъ отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Ѳедулыча ты не приглашалъ?

— Гаврила Ѳедулычъ... господинъ Житковъ... отъ меня такожде... извѣщенъ. Ему, какъ жениху, слѣдуетъ!

Мартынъ Петровичъ, видимо, истощилъ весь запасъ своего краснорѣчія. Притомъ, мнѣ всегда казалось, что онъ какъ будто не совсѣмъ благоволилъ къ жениху, пріисканному моей матушкой; быть-можетъ, онъ ожидалъ болѣе *выгодной партіи для* своей Евлампіюшки.

Онъ поднялся со стула и шаркнулъ ногою.—За согласіе благодаренъ!

— Куда же ты?—спросила матушка.—Посиди; я велю закуску подать.

— Много довольны,—отвѣчалъ Харловъ.—Но не могу... Охъ! нужно домой.

— Онъ попятился и полѣзъ-было, по своему обыкновенію, бокомъ въ дверь.

— Постой, постой, — продолжала матушка: — неужто ты все свое имѣнье безъ остатку дочерямъ предоставляешь?

— Вѣстимо, безъ остатку.

— Ну, а ты самъ... гдѣ будешь жить?

Харловъ даже руками замахалъ. — Какъ гдѣ? У себя въ домѣ, какъ жилъ *доселючи*... такъ и впредь. Какая же можетъ быть перемѣна?

— И ты въ дочеряхъ своихъ и въ зятѣ такъ увѣренъ?

— Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда... Какая его власть? А онѣ меня, дочери то-есть, по-гробъ кормить, поить, одѣвать, обувать... Помилуйте! первая ихъ обязанность! Я жъ имъ недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то—за плечами.

— Въ смерти Господь Богъ воленъ, — замѣтила матушка: — а обязанность это ихъ, точно. Только ты меня извини, Мартынъ Петровичъ; старшая у тебя, Анна, гордячка извѣстная, ну, да и вторая волкомъ смотритъ...

— Наталья Николаевна!—перебилъ Харловъ:—что вы это?.. Да чтобъ онѣ... Мои дочери... Да чтобъ я... Изъ повиновенья-то выйти? Да имъ и во снѣ... Противиться? Кому? Родителю?.. Смѣть? А проклясть-то ихъ развѣ долго? Въ трепетѣ, да въ покорности вѣкъ свой прожили— и вдругъ!.. Господи!

Харловъ раскашлялся, захрипѣлъ.

— Ну, хорошо, хорошо, — поспѣшила успокоить его матушка: — только я все-таки не понимаю, зачѣмъ ты *теперь дѣлить ихъ вздумалъ*? Все равно, послѣ тебя имъ

небольшому пруду, лѣпилось нѣсколько плохихъ мужичьихъ избенокъ. У пруда, на плоту, старая баба въ клѣтчатой панёвѣ колотила валькомъ скрученное бѣлье.

— Аксинья!—гаркнулъ Мартынъ Петровичъ, да такъ, что грачи стаей взвились изъ сосѣдняго овсянаго поля.— Мужу портки моешь?

Баба разомъ обернулась и поклонилась въ поясъ.

— Портки, батюшка,—послышался ея слабый голосъ.

— То-то! Вотъ, посмотри,—продолжалъ Мартынъ Петровичъ, пробираясь рысцей вдоль полусгнившаго плетня:—это моя конопля; а та вонъ—крестьянская; разницу видишь? А вотъ это мой садъ; яблони я понасажалъ, и ракиты—тоже я. А то тутъ и древа никакого не было. Вотъ такъ-то—учись!

Мы завернули на дворъ, огороженный тыномъ; прямо противъ воротъ возвышался ветхій-ветхій флигелекъ съ соломенной крышей и крылечкомъ на столбикахъ; въ сторонѣ стоялъ другой, поновѣй, и съ крохотнымъ мезониномъ—но тоже на курьихъ ножкахъ.—„Вотъ, ты опять учись",—промолвилъ Харловъ:—„вишь, отцы-то наши въ какой хороминкѣ жили; а теперь я вона какія палаты себѣ соорудилъ".—Палаты эти походили на карточный домикъ. Собакъ пять-шесть, одна другой лохматѣй и безобразнѣй, привѣтствовали насъ лаемъ.—„Овчары!"—замѣтилъ Мартынъ Петровичъ.—„Настоящія крымскія! Цыцъ, оглашенныя! Вотъ возьму—да всѣхъ перевѣшаю!"—На крыльцѣ новаго флигелька показался молодой человѣкъ въ длинномъ нанковомъ балахонѣ, мужъ старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочивъ къ дрожкамъ, онъ почтительно поддержалъ подъ локоть слѣзавшаго тестя—и даже одной рукой сдѣлалъ примѣръ, будто подхватываетъ исполинскую ногу, которую тотъ, наклонясь впередъ туловищемъ, заносилъ съ размаху черезъ сидѣніе;—потомъ онъ помогъ мнѣ сойти съ лошади.

— Анна!—воскликнулъ Харловъ:—Натальи Николавнинъ сынокъ къ намъ пожаловалъ; попоштовать его надо. Да гдѣ Евлампіюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампіей—*меньшую.*)

— Дома нѣтъ; въ поле за васильками пошла,—отозвалась Анна, показавшись на окошкѣ возлѣ двери.

— Творогъ есть?—спросилъ Харловъ.

— Есть.

— И сливки есть?

— Есть.

— Ну, тащи на столъ, а я имъ пока кабинетъ свой покажу.—Пожалуйте сюда, сюда,—прибавилъ онъ, обратясь ко мнѣ и зазывая меня указательнымъ пальцемъ. У себя въ домѣ онъ меня не „тыкалъ": надо жъ хозяину быть вѣжливымъ. Онъ повелъ меня по коридору.—Вотъ гдѣ я пребываю,—промолвилъ онъ, шагнувъ бокомъ черезъ порогъ широкой двери:—а вотъ и мой кабинетъ. Милости просимъ.

Кабинетъ этотъ оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стѣнамъ, на неровно вбитыхъ гвоздяхъ, висѣли двѣ нагайки, трехугольная порыжѣлая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомутъ съ бляхами, и картинка, изображающая горящую свѣчу подъ вѣтрами; въ одномъ углу стоялъ деревянный диванъ, покрытый пестрымъ ковромъ. Сотни мухъ густо жужжали подъ потолкомъ; впрочемъ, въ комнатѣ было прохладно; только очень сильно разило тѣмъ особеннымъ лѣснымъ запахомъ, который всюду сопровождалъ Мартына Петровича.

— Что жъ, хорошъ кабинетъ?—спросилъ меня Харловъ.

— Очень хорошъ.

— Ты посмотри, вонъ у меня голландскій хомутъ виситъ,—продолжалъ Харловъ, снова впадая въ „тыканіе".—Чудесный хомутъ! у жида вымѣнялъ. Ты погляди-ка!

— Хомутъ хорошій.

— Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!—Я понюхалъ хомутъ. Отъ него несло прѣлой вѝрванью—и больше ничего.

— Ну, присядьте—вонъ тамъ, на стульчикѣ, будьте гости,—проговорилъ Харловъ, а самъ опустился на диванъ и словно задремалъ, закрылъ глаза, засопѣлъ даже.

Я молча глядѣлъ на него и не могъ довольно надивиться: гора—да и полно! Онъ вдругъ встрепенулся.

— Анна!—закричалъ онъ, и при этомъ его громадный животъ приподнялся и опалъ, какъ волна на морѣ:—что̀ жъ ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

— Все готово, батюшка, пожалуйте,—раздался голосъ его дочери.

Я внутренно подивился быстротѣ, съ которой исполнялись повелѣнія Мартына Петровича, и отправился за нимъ въ гостиную, гдѣ на столѣ, покрытомъ красной скатертью съ бѣлыми разводами, уже была приготовлена закуска: творогъ, сливки, пшеничный хлѣбъ, даже толченый сахаръ съ имбиремъ. Пока я управлялся съ творогомъ, Мартынъ Петровичъ, ласково пробурчавъ: — „Кушай, дружокъ, кушай, голубчикъ, не брезгай нашей деревенской снѣдью",—опять присѣлъ въ углу, и опять словно задремалъ! Предо мной, неподвижно, съ опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а въ окно я могъ видѣть, какъ ея мужъ проваживалъ по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цѣпочку трензеля.

VII.

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась къ намъ на поклонъ и, въ присутствіи матушки, держалась чинно и холодно, хотя, по ея милости, и въ пансіонѣ обучалась, и замужъ вышла, и въ день свадьбы получила отъ нея тысячу рублей ассигнаціями, да желтую турецкую шаль, правда, нѣсколько поношенную. Это была женщина росту средняго, сухощавая, очень живая и проворная въ своихъ движеніяхъ, съ русыми, густыми волосами, съ красивымъ, смуглымъ лицомъ, на которомъ нѣсколько странно, но пріятно выдавались блѣдно-голубые, узкіе глаза; носъ она имѣла прямой и тонкій, губы тоже тонкія и подбородокъ „шпилькой". Всякій, взглянувъ на нее, навѣрное подумалъ бы: „Ну, какая же ты умница — и злюка!" И со всѣмъ тѣмъ въ *ней было что-то* привлекательное; даже темныя родинки

разсыпанныя „гречишкой“ по ея лицу, шли къ ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунувъ подъ косынку руки, она украдкой — сверху внизъ (я сидѣлъ, она стояла)—посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ея губамъ, по щекамъ, въ тѣни длинныхъ рѣсницъ. „Охъ, ты, балованный барченокъ!“ словно говорила эта улыбка. Всякій разъ, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись—это тоже было нѣсколько странно; но, все-таки, мнѣ казалось, что полюби меня Анна Мартыновна, или только захоти поцѣловать меня своими тонкими, жесткими губами — я бы отъ восторга до потолка подпрыгнулъ. Я зналъ, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и дѣвки боялись ея какъ огня—но что за дѣло! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображеніе... Впрочемъ, мнѣ тогда только минуло пятнадцать лѣтъ,—а въ эти годы!..

Мартынъ Петровичъ опять встрепенулся. — Анна! — крикнулъ онъ: — ты бы на фортепьянахъ побренчала... Молодые господа это любятъ.

Я оглянулся: въ комнатѣ стояло какое-то жалкое подобіе фортепьянъ.

— Слушаю, батюшка — отвѣтила Анна Мартыновна.— Только, что же я имъ буду играть? Имъ это не будетъ интересно.

— Такъ чему жъ тебя обучали въ *пин*сіонѣ?

— Я все перезабыла... да и струны полопались.

Голосокъ у Анны Мартыновны былъ очень пріятный, звонкій и словно жалобный... въ родѣ того, какой бываетъ у хищныхъ птицъ.

— Ну,—проговорилъ Мартынъ Петровичъ, и задумался.—Ну,—началъ онъ опять: — такъ не хотите ли гумно посмотрѣть, полюбопытствовать? Васъ Володька проводитъ.—Ей, Володька! — крикнулъ онъ своему зятю, который все еще расхаживалъ по двору съ моею лошадью:— проводи вотъ ихъ на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мнѣ соснуть надо! Такъ-то! Счастливо оставаться!

Онъ *вышелъ вонъ, и я за нимъ.* Анна Мартыновна

тотчасъ стала проворно и какъ бы съ досадой убирать со стола. На порогѣ двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не замѣтила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злѣе прежняго.

Я взялъ у Харловскаго зятя мою лошадь и повелъ ее въ поводу. Мы вмѣстѣ съ нимъ пошли на гумно,—но такъ какъ ничего въ немъ особенно любопытнаго не открыли, притомъ же онъ во мнѣ, какъ въ молодомъ мальчикѣ, не могъ предполагать отмѣнную любовь къ хозяйству, — то мы и вернулись черезъ садъ на дорогу.

VIII.

Я хорошо зналъ Харловскаго зятя: звали его Слетки-нымъ, Владиміромъ Васильевичемъ; онъ былъ сирота, сынъ мелкаго чиновника, повѣреннаго по дѣламъ у матушки и ея воспитанникъ. Сперва помѣстили его въ уѣздное училище, потомъ онъ поступилъ въ „вотчинскую контору", потомъ записали его на службу по казеннымъ магазинамъ, и наконецъ, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденкомъ, и онъ, дѣйствительно, своими курчавыми волосиками, своими черными и вѣчно мокрыми, какъ вареный черносливъ, глазами, своимъ ястребинымъ носомъ и широкимъ краснымъ ртомъ, напоминалъ еврейскій типъ; только цвѣтъ кожи онъ имѣлъ бѣлый и былъ вообще весьма недуренъ собою. Нрава онъ былъ услужливаго, лишь бы дѣло не касалось его личной выгоды. Тутъ онъ тотчасъ терялся отъ жадности, до слезъ даже доходилъ; изъ-за тряпки готовъ канючить цѣлый день, сто разъ напомнитъ о данномъ обѣщаніи, и обижается, и пищитъ, если оно не тотчасъ исполняется. Онъ любилъ таскаться по полямъ съ ружьемъ; и когда случалось ему залучить зайца или утку, съ особеннымъ чувствомъ клалъ свою добычу въ ягдташъ, приговаривая: — „Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь *мнѣ* послужишь!"

— Добрый конекъ у васъ,—заговорилъ онъ своимъ шепелявымъ голосомъ, помогая мнѣ взобраться на сѣдло;— вотъ бы мнѣ такую лошадку! Да гдѣ! Счастье мое не такое. *Хоть бы вы* матушку вашу попросили... напомнили.

— А она вамъ обѣщала?

— Кабы обѣщала! Нѣтъ; но я полагалъ, что по великому ея благодушеству...

— Вы бы къ Мартыну Петровичу обратились.

— Къ Мартыну Петровичу!—повторилъ протяжно Слеткинъ.—Для него—что я, что какой-нибудь ничтожный казачокъ Максимка—все едино. Какъ есть въ черномъ тѣлѣ насъ содержитъ, и никакой отъ него награды не видать за всѣ труды.

— Неужели?

— Да, ей-Богу же. Какъ скажетъ: „мое слово свято!“— ну, вотъ точно топоромъ отрубитъ. Проси, не проси — все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа передъ нимъ не имѣетъ, какъ Евлампія Мартыновна.

— Ахъ, Господи Боже мой, батюшки! — перебилъ онъ вдругъ самого себя, и съ отчаяніемъ всплеснулъ руками.— Посмотрите: что это? Цѣлый полуосьминникъ овса, нашего овса, какой-то злодѣй выкосилъ. Каковъ? Вотъ тутъ и живи! Разбойники, разбойники! Вотъ ужъ, точно, правду говорятъ, что не вѣрь Еськову, Беськову, Ерину, Бѣлину, (такъ назывались четыре окрестныя деревни). Ахъ, ахъ! что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два — убытку!

Въ голосѣ Слеткина слышались чуть не рыданія. Я толкнулъ лошадь подъ бока и поѣхалъ отъ него прочь.

Восклицанія Слеткина еще долетали до моего слуха, какъ вдругъ, на поворотѣ дороги, попалась мнѣ та самая вторая дочь Харлова, Евлампія, которая, по словамъ Анны Мартыновны, ушла въ поле за васильками. Густой вѣнокъ изъ этихъ цвѣтовъ обвивалъ ея голову. Мы обмѣнялись поклонами молча. Евлампія была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только въ другомъ родѣ. Росту она была высокаго, сложенія дороднаго; все въ ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и бѣлые, какъ снѣгъ, зубы, и особенно глаза, выпуклые, съ поволокой, темно-синіе, какъ стеклярусъ; все въ ней было даже монументально (*не даромъ она доводилась* Мартыну Петровичу

дочкой), но красиво. Бѣлокурую густую косу она, видимо, не знала куда дѣть и раза три обматывала ее вокругъ темени. Ротъ у ней былъ прелестный, свѣжій какъ розанъ, малиноваго цвѣта, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взглядѣ ея огромныхъ глазъ было что-то дикое и почти суровое.— „Вольница, казачья кровь",—такъ отзывался о ней Мартынъ Петровичъ. Я побаивался ея... Мнѣ эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъѣхалъ еще немного дальше и услышалъ, что она запѣла ровнымъ, сильнымъ, нѣсколько рѣзкимъ, прямо крестьянскимъ голосомъ; потомъ она вдругъ умолкла. Я оглянулся и съ вершины холма увидалъ ее, стоявшую возлѣ Харловскаго зятя передъ скошеннымъ осьминикомъ овса. Тотъ размахивалъ и указывалъ руками, а она не шевелилась. Солнце освѣщало ея высокую фигуру и ярко голубѣлъ васильковый вѣнокъ на ея головѣ.

IX.

Я уже, кажется, сказывалъ вамъ, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То былъ одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ нашихъ сосѣдей, отставной армейскій майоръ, Житковъ, Гаврило Ѳедулычъ, человѣкъ уже немолодой, и, какъ онъ самъ выражался, не безъ самодовольства, впрочемъ, и словно рекомендуя себя: „битый, да ломаный". Онъ едва разумѣлъ грамотѣ и очень былъ глупъ, но втайнѣ надѣялся попасть къ моей матушкѣ въ управляющіе, ибо чувствовалъ себя „исполнителемъ". — „Что другое-съ, а зубьё считать у мужичья—это я до тонкости понимаю",— говаривалъ онъ, чуть не скрипя собственными зубами: — „потому—привыкъ",—пояснялъ онъ,—„въ прежней моей значитъ, должности".—Будь Житковъ меньше глупъ, онъ бы понялъ, что именно въ управляющіе къ матушкѣ попасть не предстояло ему никакихъ шансовъ, такъ какъ для этого нужно было смѣстить настоящаго управляющаго, нѣкоего Квицинскаго, весьма характернаго и дѣльнаго поляка, которому матушка вполнѣ довѣряла. Лицо

у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-бѣлокурыми волосами, даже щеки подъ глазами всѣ заросли; въ самые сильные морозы оно было покрыто обильнымъ потомъ, словно росинками. При видѣ матушки онъ немедленно вытягивался въ струнку, голова его начинала дрожать отъ усердія, огромныя руки слегка похлопывали по ляжкамъ, и вся фигура, казалось, такъ и взывала: „Повели!.. и я устремлюсь!“ Матушка не обманывалась насчетъ его способностей, что не мѣшало ей, однако, заботиться объ его свадьбѣ съ Евлампіей.

— Только сладишь ли ты съ ней, отецъ мой? — спросила она его однажды.

Житковъ самодовольно улыбнулся.

— Помилуйте, Наталья Николаевна! Цѣлую роту въ порядкѣ содержалъ, по стрункѣ ходили; а это что же-съ? Плевое дѣло.

— То рота, отецъ мой, а то дѣвушка благородная, жена,—замѣтила матушка съ неудовольствіемъ.

— Помилуйте-съ, Наталья Николаевна!—снова воскликнулъ Житковъ.—Это мы все очень понять можемъ. Одно слово: барышня, особа нѣжная!

— Ну! — рѣшила, наконецъ, матушка:—Евлампія себя въ обиду не дастъ.

X.

Однажды — дѣло было въ іюнѣ мѣсяцѣ и день склонялся къ вечеру—человѣкъ доложилъ о пріѣздѣ Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его болѣе недѣли не видали, но онъ никогда такъ поздно не посѣщалъ насъ.— Что-нибудь случилось! — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда онъ ввалился въ комнату и тотчасъ же опустился на стулъ возлѣ двери, имѣло такое необычайное выраженіе, оно такъ было задумчиво и даже блѣдно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицаніе. Мартынъ Петровичъ уставилъ на нее свои маленькіе глаза, помолчалъ, вздохнулъ тяжело, помолчалъ опять и объявилъ, наконецъ, что пріѣхалъ *по одному дѣлу... которое...* такого рода, что по причинѣ...

Пробормотавъ эти несвязныя слова, онъ вдругъ поднялся и вышелъ.

Матушка позвонила, велѣла вошедшему лакею тотчасъ догнать и непремѣнно воротить Мартына Петровича, но тотъ уже успѣлъ сѣсть на свои дрожки и убраться.

На слѣдующее утро матушка, которую странный поступокъ Мартына Петровича и необычайное выраженіе его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась-было послать къ нему нарочнаго, какъ онъ самъ опять появился передъ нею. На этотъ разъ онъ казался спокойнѣе.

— Сказывай, батюшка, сказывай, — воскликнула матушка, какъ только увидѣла его: — что это съ тобою подѣлалось? Я, право, вчера подумала: Господи!—подумала я:—ужъ не рехнулся ли старикъ нашъ въ разсудкѣ своемъ?

— Не рехнулся я, сударыня, въ разсудкѣ своемъ, — отвѣчалъ Мартынъ Петровичъ:—не таковскій я человѣкъ. Но мнѣ нужно съ вами посовѣтоваться.

— О чемъ?

— Только сомнѣваюсь я, будетъ ли вамъ сіе пріятно...

— Говори, говори, отецъ, да попроще. Не волнуй ты меня! Къ чему тутъ *сіе?* Говори проще. Али опять меланхолія на тебя нашла?

Харловъ нахмурился. — Нѣтъ, не меланхолія—она у меня къ новолунію бываетъ; а позвольте васъ спросить, сударыня, вы о смерти какъ полагаете?

Матушка всполохнулась.—О чемъ?

— О смерти. Можетъ ли смерть кого ни-на-есть на семъ свѣтѣ пощадить?

— Это ты еще что вздумалъ, отецъ мой? Кто изъ насъ безсмертный? Ужъ на что ты великанъ уродился—а и тебѣ конецъ будетъ.

— Будетъ! охъ, будетъ!—подхватилъ Харловъ и потупился.—Случилось со мною сонное мечтаніе...—протянулъ онъ наконецъ.

— Что ты говоришь?—перебила его матушка.

— Сонное мечтаніе, — повторилъ онъ. — Я вѣдь сновидецъ!

— Ты?

— Я! А вы не знали?—Харловъ вздохнулъ.—Ну, вотъ... Прилегъ я какъ-то, сударыня, недѣлю тому назадъ слишкомъ, подъ самыя заговѣны къ Петрову посту; прилегъ я послѣ обѣда отдохнуть маленько, ну, и заснулъ! и вижу, будто въ комнату ко мнѣ вбѣгъ вороной жеребенокъ. И сталъ тотъ жеребенокъ играть и зубы скалить. Какъ жукъ вороной жеребенокъ.

Харловъ умолкъ.

— Ну?—промолвила матушка.

— И какъ обернется вдругъ этотъ самый жеребенокъ, да какъ лягнетъ меня въ лѣвый локоть, въ самый какъ есть поджилокъ!.. Я проснулся! анъ рука не дѣйствуетъ и нога лѣвая тоже. Ну, думаю, параличъ; однако, поразмялся и снова вошелъ въ дѣйствіе: только мурашки долго по суставцамъ бѣгали, и теперь еще бѣгаютъ. Какъ разожму ладонь, такъ и забѣгаютъ.

— Да ты, Мартынъ Петровичъ, какъ-нибудь руку перележалъ.

— Нѣтъ сударыня; не то вы изволите говорить! Это мнѣ предостереженіе... Къ смерти моей, значитъ.

— Ну, вотъ еще!—начала-было матушка.

— Предостереженіе! Готовься, молъ, человѣче! И потому я, сударыня, вотъ что̀ имѣю доложить вамъ, нимало не медля. Не желая,—закричалъ вдругъ Харловъ:—чтобъ та самая смерть, меня, раба Божія, врасплохъ застала, положилъ я такъ-то въ умѣ своемъ: раздѣлить мнѣ теперь же, при жизни, имѣніе мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампіей, какъ мнѣ Господь Богъ на душу пошлетъ. — Мартынъ Петровичъ остановился, охнулъ и прибавилъ:—Нимало не медля.

— Что жъ? Это дѣло хорошее,—замѣтила матушка:—только, я думаю, ты напрасно спѣшишь.

— И такъ какъ я желаю въ семъ дѣлѣ,—продолжалъ, еще болѣе возвысивъ голосъ, Харловъ: — должный порядокъ и законность соблюсти, то покорнѣйше прошу вашего сыночка, Дмитрія Семеновича,—васъ я, сударыня, обезпокоивать не осмѣливаюсь,—прошу онаго сыночка, Дмитрія

Семеновича, родственнику же моему, Бычкову, въ прямой долгъ вмѣняю—при совершеніи формальнаго акта и ввода во владѣніе моихъ двухъ дочерей, Анны замужней и Евлампіи дѣвицы,—присутствовать; который актъ имѣетъ быть въ дѣйствіе введенъ послѣ-завтра, въ двѣнадцатомъ часу дня, въ собственномъ моемъ имѣніи Еськовѣ, Козюлькинѣ то жъ, при участіи предержащихъ властей и чиновъ, кои ужъ суть приглашены.

Мартынъ Петровичъ едва окончилъ эту явно имъ наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную рѣчь... У него словно воздуха въ груди недоставало: его поблѣднѣвшее лицо снова побагровѣло, и онъ нѣсколько разъ утеръ съ него потъ.

— И ты уже составилъ раздѣльный актъ?—спросила матушка.—Когда ты это успѣлъ?

— Успѣлъ... охъ! Не пимши, не ѣмши...

— Самъ писалъ?

— Володька... охъ! помогалъ.

— И прошеніе подалъ?

— Подалъ, и палата утвердила, и уѣздному суду предписано, и временное отдѣленіе земскаго суда... охъ!... къ прибытію назначено.

Матушка усмѣхнулась.—Ты, я вижу, Мартынъ Петровичъ, уже совсѣмъ, какъ слѣдуетъ, распорядился,—и какъ скоро! Знать, денегъ не жалѣлъ?

— Не жалѣлъ, сударыня!

— То-то! А говоришь, что со мной посовѣтоваться желаешь. Что жъ, пускай Митенька ѣдетъ; я и Сувенира съ нимъ отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Ѳедулыча ты не приглашалъ?

— Гаврила Ѳедулычъ... господинъ Житковъ... отъ меня такожде... извѣщенъ. Ему, какъ жениху, слѣдуетъ!

Мартынъ Петровичъ, видимо, истощилъ весь запасъ своего краснорѣчія. Притомъ, мнѣ всегда казалось, что онъ какъ будто не совсѣмъ благоволилъ къ жениху, пріисканному моей матушкой; быть-можетъ, онъ ожидалъ болѣе *выгодной партіи для* своей Евлампіюшки.

Онъ поднялся со стула и шаркнулъ ногою.—За согласіе благодаренъ!

— Куда же ты?—спросила матушка.—Посиди; я велю закуску подать.

— Много довольны,—отвѣчалъ Харловъ.—Но не могу... Охъ! нужно домой.

— Онъ попятился и полѣзъ-было, по своему обыкновенію, бокомъ въ дверь.

— Постой, постой, — продолжала матушка: — неужто ты все свое имѣнье безъ остатку дочерямъ предоставляешь?

— Вѣстимо, безъ остатку.

— Ну, а ты самъ... гдѣ будешь жить?

Харловъ даже руками замахалъ. — Какъ гдѣ? У себя въ домѣ, какъ жилъ *доселючи*... такъ и впредь. Какая же можетъ быть перемѣна?

— И ты въ дочеряхъ своихъ и въ зятѣ такъ увѣренъ?

— Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда... Какая его власть? А онѣ меня, дочери то-есть, по-гробъ кормить, поить, одѣвать, обувать... Помилуйте! первая ихъ обязанность! Я жъ имъ недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то—за плечами.

— Въ смерти Господь Богъ воленъ, — замѣтила матушка: — а обязанность это ихъ, точно. Только ты меня извини, Мартынъ Петровичъ; старшая у тебя, Анна, гордячка извѣстная, ну, да и вторая волкомъ смотритъ...

— Наталья Николаевна!—перебилъ Харловъ:—что вы это?.. Да чтобъ онѣ... Мои дочери... Да чтобъ я... Изъ повиновенья-то выйти? Да имъ и во снѣ... Противиться? Кому? Родителю?.. Смѣть? А проклясть-то ихъ развѣ долго? Въ трепетѣ, да въ покорности вѣкъ свой прожили— и вдругъ!.. Господи!

Харловъ раскашлялся, захрипѣлъ.

— Ну, хорошо, хорошо, — поспѣшила успокоить его матушка: — только я все-таки не понимаю, зачѣмъ ты *теперь дѣлить ихъ вздумалъ?* Все равно, послѣ тебя имъ

же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолія причиной.

— Э, матушка!—не безъ досады возразилъ Харловъ:— зарядили вы свою меланхолію! Тутъ, быть-можетъ, свыше сила дѣйствуетъ, а вы: меланхолія! Потому, сударыня, вздумалъ я сіе, что я самолично, еще „жимши", при себѣ хочу рѣшить, кому чѣмъ владѣть, и кого я чѣмъ награжу, тотъ тѣмъ и владѣй, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чемъ отецъ и благодѣтель положилъ, то за великую милость...

Голосъ Харлова опять перервался.

— Ну, полно же, полно, отецъ мой,—перебила его матушка:—а то и впрямь вороной жеребенокъ появится.

— Охъ, Наталья Николаевна, не говорите мнѣ о немъ,— простоналъ Харловъ.—Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просимъ. А васъ, сударикъ мой, къ послѣ-завтрашнему дню ожидать буду честь имѣть!

Мартынъ Петровичъ вышелъ; матушка посмотрѣла ему вслѣдъ и значительно покачала головою. — Не къ добру это, — прошептала она: — не къ добру. Ты замѣтилъ, — обратилась она ко мнѣ:—онъ говорилъ, а самъ будто отъ солнца все щурится; знай: это примѣта дурная. У такого человѣка тяжело на сердцѣ бываетъ и несчастье ему грозитъ. Поѣзжай послѣ-завтра съ Викентіемъ Осиповичемъ и съ Сувениромъ.

XI.

Въ назначенный день большая наша фамильная четверомѣстная карета, запряженная шестерикомъ караковыхъ лошадей, съ главнымъ „лейбъ-кучеромъ", сѣдобородымъ и тучнымъ Алексѣичемъ, на козлахъ, плавно подкатилась къ крыльцу нашего дома. Важность акта, къ которому намѣревался приступить Харловъ, торжественность, съ которой онъ пригласилъ насъ, подѣйствовали на мою матушку. Она сама отдала приказъ заложить именно этотъ экстраординарный экипажъ и велѣла Сувениру и мнѣ одѣться по-*праздничному*: она, видимо, желала почтить своего „*протежѐ*". *Квицинскій*—тотъ всегда ходилъ во фракѣ и въ

бѣломъ галстукѣ. Во всю дорогу Сувениръ трещалъ какъ сорока, хихикалъ, разсуждалъ о томъ, предоставитъ ли ему братецъ что-нибудь, и тутъ же обзывалъ его идоломъ и кикиморой. Квицинскій, человѣкъ угрюмый, желчный, не выдержалъ наконецъ. — „И охота вамъ",—заговорилъ онъ со своимъ польскимъ, отчетливымъ акцентомъ:—„такое все несообразное болтать? И неужели невозможно сидѣть смирно безъ этихъ, „никому не нужныхъ" (любимое его слово) пустяковъ?"—„Ну, чичасъ",—пробормоталъ Сувениръ съ неудовольствіемъ и уставилъ свои косые глаза въ окошко. Четверти часа не прошло, ровно бѣжавшія лошадки едва начинали потѣть подъ тонкими ремнями новыхъ сбруй—какъ уже показалась Харловская усадьба. Сквозь настежь растворенныя ворота вкатилась наша карета на дворъ; крошечный форейторъ, едва достававшій ногами до половины лошадинаго корпуса, въ послѣдній разъ съ младенческимъ воплемъ подскочилъ на мягкомъ сѣдлѣ, локти старика Алексѣича одновременно оттопырились и приподнялись—послышалось легкое пруканье, и мы остановились. Собаки не встрѣтили насъ лаемъ, дворовые мальчишки въ длинныхъ, слегка, на большихъ животахъ, раскрытыхъ рубахахъ—и тѣ куда-то исчезли. Зять Харлова ожидалъ насъ на порогѣ двери. Помню — меня особенно поразили березки, натыканныя по обѣимъ сторонамъ крыльца, словно въ Троицынъ день. „Торжество изъ торжествъ!" пропѣлъ въ носъ Сувениръ, вылѣзая первый изъ кареты. И точно, торжественность замѣчалась во всемъ. На Харловскомъ зятѣ былъ плисовый галстукъ съ атласнымъ бантомъ и необыкновенно узкій черный фракъ; а у выпырнувшаго изъ-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасомъ, что даже капало съ нихъ. Мы вошли въ гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшагося—именно возвышавшагося—посрединѣ комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувениръ и Квицинскій при видѣ его колоссальной фигуры, но я ощутилъ нѣчто похожее на благоговѣніе. Мартынъ Петровичъ облекся въ сѣрый, должно-*быть, ополченскій, 12-го года*, казакинъ съ черными

стоячимъ воротникомъ; бронзовая медаль виднѣлась на его груди, сабля висѣла у бока; лѣвую руку онъ положилъ на рукоятку, правой опирался на столъ, покрытый краснымъ сукномъ. Два исписанныхъ листа бумаги лежало на этомъ столѣ. Харловъ не шевелился, даже не пыхтѣлъ; и какая важность сказывалась въ его осанкѣ, какая увѣренность въ себѣ, въ своей неограниченной и несомнѣнной власти! Онъ едва привѣтствовалъ насъ кивкомъ и, хрипло промолвивъ: „прошу!“ — повелъ указательнымъ пальцемъ лѣвой руки въ направленіи поставленныхъ рядышкомъ стульевъ. У правой стѣны гостиной стояли обѣ дочери Харлова, разодѣтыя по-воскресному: Анна въ зелено-лиловомъ, двуличневомъ платьѣ съ желтымъ шелковымъ поясомъ; Евлампія — въ розовомъ, съ пунцовыми лентами. Возлѣ нихъ торчалъ Житковъ, въ новомъ мундирѣ, съ обычнымъ выраженіемъ тупого и жаднаго ожиданія въ глазахъ и съ бо̀льшимъ противъ обычнаго количествомъ испарины на волосатомъ лицѣ. У лѣвой стѣны гостиной сидѣлъ священникъ, въ изношенной рясѣ табачнаго цвѣта, старый человѣкъ съ жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза и большія заскорузлыя руки, которыя словно его самого бременили и лежали, какъ груды, на колѣняхъ, и выглядывавшіе изъ-подъ рясы смазные сапоги, — все свидѣтельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приходъ его былъ очень бѣденъ. Рядомъ съ нимъ помѣщался исправникъ, жирненькій, блѣдненькій, неопрятный господинчикъ, съ пухлыми, короткими ручками и ножками, съ черными глазами, черными, подстриженными усами, съ постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лицѣ: онъ слылъ за великаго взяточника и даже за тирана, какъ выражались въ то время; но не только помѣщики, даже крестьяне привыкли къ нему и любили его. Онъ весьма развязно и нѣсколько насмѣшливо поглядывалъ кругомъ: видно было, что вся эта „процедура“ его забавляла. Въ сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска съ водочкой. Зато сидѣвшій возлѣ него *стряпчій*, сухопарый человѣкъ съ длиннымъ носомъ,

узкими бакенбардами отъ уха къ носу, какъ ихъ нашивали при Александрѣ Первомъ, всей душой принималъ участіе въ распоряженіяхъ Мартына Петровича и не спускалъ съ него своихъ большихъ, серьезныхъ глазъ: отъ очень усиленнаго вниманія и сочувствія онъ все двигалъ и поводилъ губами, не разжимая ихъ однако. Сувениръ къ нему присосѣдился и шопотомъ заговорилъ съ нимъ, объявивъ мнѣ сперва, что это первый по губерніи масонъ. Временное отдѣленіе земскаго суда состоитъ, какъ извѣстно, изъ исправника, стряпчаго и станового; но станового либо вовсе не было, либо онъ до того стушевался, что я его не замѣтилъ; впрочемъ, онъ у насъ въ уѣздѣ носилъ прозвище: „несуществующій", какъ бываютъ „непомнящіе". Я сѣлъ подлѣ Сувенира, Квицинскій подлѣ меня. На лицѣ практическаго поляка была написана явная досада на „никому не нужную" поѣздку, на напрасную трату времени... „Барыня! барскія русскія фантазіи!" казалось, шепталъ онъ про себя... „Ужъ эти мнѣ русскіе!"

XII.

Когда мы всѣ усѣлись, Мартынъ Петровичъ поднялъ плечи, крякнулъ, обвелъ насъ всѣхъ своими медвѣжьими глазками, и, шумно вздохнувъ, началъ такъ:

— Милостивые государи! Я пригласилъ васъ по слѣдующему случаю. Становлюсь я старъ, государи мои, немощи одолѣваютъ... Уже и предостереженіе мнѣ было, смертный же часъ, яко тать въ нощи, приближается... Не такъ ли, батюшка?—обратился онъ къ священнику.

Батюшка встрепенулся. — Тако, тако, — прошамшилъ онъ, потрясая бородкой.

— И потому, — продолжалъ Мартынъ Петровичъ, внезапно возвысивъ голосъ: — не желая, чтобы та самая смерть меня врасплохъ застала, положилъ я въ умѣ своемъ...—Мартынъ Петровичъ повторилъ слово въ слово фразу, которую онъ, два дня тому назадъ, произнесъ у матушки.—Въ силу сего моего рѣшенія,—закричалъ онъ еще громче: — *сей актъ* (*онъ* ударилъ рукою по лежав-

шимъ на столѣ бумагамъ) составленъ мною, и предержащія власти въ свидѣтели приглашены, и въ чемъ состоитъ оная моя воля, о томъ слѣдуютъ пункты. Поцарствовалъ, будетъ съ меня!

Мартынъ Петровичъ надѣлъ на носъ свои желѣзные круглые очки, взялъ со стола одинъ изъ исписанныхъ листовъ и началъ:

— Раздѣльный актъ имѣнію отставного штыкъ-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова, имъ самимъ, въ полномъ и здравомъ умѣ и по собственному благоусмотрѣнію составленный, и въ коемъ съ точностію опредѣляется, какія угодія его двумъ дочерямъ, Аннѣ и Евлампіи (кланяйтесь!—онѣ поклонились), предоставляются, и коимъ образомъ дворовые люди и прочее имущество и живность межъ оными дочерьми подѣляется! Рукою властной!

— Это ихняя бумажка,—шепнулъ, съ неизмѣнной своей улыбочкой, исправникъ Квицинскому:—они ее для красоты слога прочитать желаютъ, а законный актъ составленъ по формѣ, безо всѣхъ этихъ цвѣточковъ.

Сувениръ началъ-было хихикать...

— Согласно съ моею волею! — вмѣшался Харловъ, отъ котораго не ускользнуло замѣчаніе исправника.

— Во всѣхъ пунктахъ согласно, — поспѣшно и весело отвѣчалъ тотъ; — только форму, вы знаете, Мартынъ Петровичъ, никакъ обойти нельзя. И лишнія подробности устранены. Ибо въ пѣгихъ коровъ и турецкихъ селезней палата никакимъ образомъ входить не можетъ.

— Подь сюда ты! — гаркнулъ Харловъ зятю, который вслѣдъ за нами вошелъ въ комнату и съ подобострастнымъ видомъ остановился у двери. Онъ тотчасъ подскочилъ къ своему тестю.

— На, возьми, читай! А то мнѣ трудно. Только смотри, не лотоши! Чтобы всѣ господа присутствующіе вникнуть могли.

Слетбинъ взялъ листъ въ обѣ руки, и сталъ, трепетно, но внятно, со вкусомъ и чувствомъ, читать раздѣльный *актъ. Въ немъ* съ величайшею аккуратностью было обо-

значено, что именно отходило къ Аннѣ, и что къ Евлампіи, и какъ имъ слѣдовало дѣлиться. Харловъ, отъ времени до времени, прерывалъ чтеніе словами: — „Слышь, это тебѣ, Анна, за твое усердіе!“—или:—„это тебѣ, Евлампіюшка, жалую!“—и обѣ сестры кланялись, Анна въ поясъ, Евлампія одной головой. Харловъ съ угрюмой важностью посматривалъ на нихъ. „Усадебный домъ“ (новый флигелекъ былъ отданъ имъ Евлампіи), — „яко младшей дочери, по извѣчному обычаю“. Голосъ чтеца зазвенѣлъ и задрожалъ, произнося эти непріятныя для него слова; а Житковъ облизнулся. Евлампія искоса глянула на него: будь я на мѣстѣ Житкова, не понравился бы мнѣ этотъ взглядъ. Презрительное выраженіе лица, свойственное Евлампіи, какъ всякой истой русской красавицѣ, на этотъ разъ носило особый оттѣнокъ. Самому себѣ Мартынъ Петровичъ предоставлялъ право жить въ занимаемыхъ имъ комнатахъ и выговаривалъ себѣ, подъ именемъ „опричнаго“, полное содержаніе „натуральною провизіею“ — и десять рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ на обувь и одежу. Послѣднюю фразу раздѣльнаго акта Харловъ пожелалъ прочесть самъ. „И сію мою родительскую волю“, гласила она, „дочерямъ моимъ исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповѣдь; ибо я, послѣ Бога, имъ отецъ и глава, и никому отчета давать не обязанъ и не давалъ; и будутъ онѣ волю мою исполнять, то будетъ съ ними мое родительское благословеніе, а не будутъ волю мою исполнять, чего Боже оборони, то постигнетъ ихъ моя родительская неключимая клятва, нынѣ и во вѣки вѣковъ, аминь!“ Харловъ поднялъ листъ высоко надъ головою. Анна тотчасъ проворно опустилась на колѣни и стукнула о-полъ лбомъ; за ней кувыркнулся и мужъ ея. — „Ну, а ты что жъ?“ — обратился Харловъ къ Евлампіи. Та вся вспыхнула и также поклонилась въ землю; Житковъ нагнулся впередъ всѣмъ корпусомъ.

— Подпишитесь! — воскликнулъ Харловъ, указывая пальцемъ на конецъ листа. — Здѣсь: Благодарю и принимаю, Анна! Благодарю и принимаю, Евлампія!

Обѣ *дочери встали и подписались* одна за другой.

Слеткинъ всталъ тоже и полѣзъ-было за перомъ, но Харловъ отстранилъ его, ткнувъ его среднимъ перстомъ въ галстукъ, такъ что онъ іокнулъ. Съ минуту длилось молчаніе. Вдругъ Мартынъ Петровичъ словно всхлипнулъ и, пробормотавъ:—„Ну, теперь все ваше!"—отодвинулся въ сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли къ нему и стали цѣловать его выше локтя. Въ плечо достать они не могли.

XIII.

Исправникъ прочелъ настоящій, формальный актъ, дарственную запись, составленную Мартыномъ Петровичемъ. Потомъ онъ вмѣстѣ съ стряпчимъ вышелъ на крыльцо и объявилъ собравшимся у воротъ сосѣдямъ, понятымъ, Харловскимъ крестьянамъ и нѣсколькимъ дворовымъ людямъ о совершившемся событіи. Начался вводъ во владѣніе новыхъ двухъ помѣщицъ, которыя также появились на крыльцѣ и на которыхъ исправникъ указывалъ рукою, когда, слегка наморщивъ одну бровь и мгновенно придавъ своему беззаботному лицу видъ грозный, онъ внушалъ крестьянамъ о „послушаніи". Онъ бы могъ обойтись и безъ этихъ внушеній: болѣе смирныхъ физіономій, чѣмъ у Харловскихъ крестьянъ, я полагаю, въ природѣ не существуетъ. Облеченные въ худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, какъ это всегда водится въ торжественныхъ случаяхъ, они стояли неподвижно, какъ каменные, и, какъ только исправникъ испускалъ междометіе въ родѣ: „Слышите, черти! понимаете, дьяволы!" кланялись вдругъ всѣ разомъ, словно по командѣ; каждый изъ „чертей и дьяволовъ" крѣпко держалъ свою шапку обѣими руками и не спускалъ взора съ окна, въ которомъ виднѣлась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робѣли и самые понятые.—Вамъ извѣстны какія-либо препятствія, — крикнулъ на нихъ исправникъ, — ко введенію во владѣніе сихъ единственныхъ и законныхъ наслѣдницъ и дочерей Мартына Петровича Харлова?"

Всѣ понятые тотчасъ словно съежились.

— *Извѣстны*, черти?—крикнулъ опять исправникъ.

— Ничего, ваше благородіе, намъ не извѣстно,—мужественно отвѣчалъ одинъ корявый старичокъ, съ остриженной бородой и усами, отставной солдатъ.

— Ну-да, и смѣльчакъ же Еремѣичъ!—говорили, расходясь, про него понятые.

Несмотря на просьбы исправника, Харловъ не пожелалъ выйти вмѣстѣ съ дочерьми на крыльцо.—„Мои подданные и безъ того моей волѣ покорятся!“ — отвѣчалъ онъ. На него, по совершеніи акта, нашло нѣчто въ родѣ грусти. Лицо его снова поблѣднѣло. Это новое, небывалое выраженіе грусти такъ мало шло къ пространнымъ и добрымъ чертамъ Мартына Петровича, что я рѣшительно не зналъ, что̀ подумать. Ужъ не меланхолія ли на него находитъ?—Крестьяне, очевидно, съ своей стороны также ощущали недоумѣніе. И въ самомъ дѣлѣ: „Баринъ живехонекъ — вонъ онъ стоитъ, да еще какой баринъ: Мартынъ Петровичъ! И вдругъ онъ ими владѣть не будетъ... Чудеса!“ Не знаю, догадался ли Харловъ о томъ, какія мысли бродили въ головахъ его „подданныхъ“, захотѣлъ ли онъ въ послѣдній разъ покуражиться, только онъ вдругъ открылъ форточку, приставилъ къ отверстію голову и закричалъ громовымъ голосомъ: „повиноваться!“ Потомъ онъ захлопнулъ форточку. Недоумѣніе крестьянъ, конечно, отъ этого не разсѣялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменѣли, и даже какъ бы перестали глядѣть. Группа дворовыхъ (въ числѣ ихъ находились двѣ здоровенныя дѣвки, въ короткихъ ситцахъ и съ такими икрами, подобныхъ которымъ видѣть можно развѣ на страшномъ Судилищѣ Микель Анджело, да еще одинъ, уже совсѣмъ ветхій, отъ древности даже заиндивѣвшій, полуслѣпой человѣкъ въ шершавой фризовой шинели — онъ, по слухамъ, былъ при Потемкинѣ „валторщикомъ“—казачка Максимку Харловъ себѣ предоставилъ), группа эта выказывала бо̀льшее оживленіе, чѣмъ крестьяне: она, по крайней мѣрѣ, переминалась на мѣстѣ. Сами новыя помѣщицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснувъ свои сухія губы, она упорно глядѣла *внизъ*... не много добраго обѣщала *дворовымъ ея строгая фигура*. Евлампія тоже не подни-

мала глазъ; только разъ она обернулась, и, словно съ удивленіемъ, медленно окинула взоромъ своего жениха, Житкова, который, вслѣдъ за Слеткинымъ, почелъ нужнымъ также явиться на крыльцо. „Ты здѣсь съ какого права?“ казалось, говорили эти красивые, выпуклые глаза. Слеткинъ — тотъ измѣнился больше всѣхъ. Во всемъ существѣ его проявилась торопливая бодрость, словно аппетитъ его пронималъ; движенія головы, ногъ, остались подобострастными попрежнему, но какъ весело расправлялъ онъ руки, какъ хлопотливо передвигалъ лопатками! „Наконецъ, молъ, дорвался!“ Окончивъ „процедуру“ ввода во владѣніе, исправникъ, у котораго отъ приближенія закуски даже вода подтекла подъ щеками, потеръ себѣ руки тѣмъ особеннымъ манеромъ, который обыкновенно предшествуетъ „вонзанію въ себя первой рюмочки“; но оказалось, что Мартынъ Петровичъ желалъ сперва отслужить молебенъ съ водосвятіемъ. Священникъ облачился въ старую, еле-живую ризу; еле-живой дьячокъ вышелъ изъ кухни, съ трудомъ раздувая ладанъ въ старомъ мѣдномъ паникадилѣ. Молебенъ начался. Харловъ то и дѣло вздыхалъ; класть земные поклоны онъ, по тучности, не могъ, но крестясь правой рукою и наклоняя голову, указывалъ перстомъ лѣвой руки на полъ. Слеткинъ такъ и сіялъ, и даже прослезился; Житковъ благородно, по-военному, чуть-чуть помахивалъ пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира; Квицинскій, какъ католикъ, остался въ сосѣдней комнатѣ; зато стряпчій такъ усердно молился, такъ сочувственно вздыхалъ вслѣдъ за Мартыномъ Петровичемъ, и такъ истово шепталъ и жевалъ губами, возводя взоры горѣ, что, глядя на него, я ощутилъ умиленіе и началъ тоже горячо молиться. По окончаніи молебна и водосвятія, причемъ всѣ присутствующіе, даже слѣпой Потемкинскій „валторщикъ“, даже Квицинскій, помочили себѣ глаза святой водой, Анна и Евлампія еще разъ, по приказанію Мартына Петровича, благодарили его земно; и тутъ, наконецъ, наступилъ моментъ завтрака. Кушаній было много, и всѣ превкусныя; мы всѣ наѣлись страшно. Появилась неизбѣжная бутылка донского. Исправникъ

какъ человѣкъ, больше всѣхъ насъ знакомый со свѣтскими обычаями, ну, да и какъ представитель власти, первый провозгласилъ тостъ за здоровье „прекрасныхъ владѣлицъ!“ Потомъ онъ же предложилъ намъ выпить за здравіе наипочтеннѣйшаго и наивеликодушнѣйшаго Мартына Петровича. При словѣ: „великодушнѣйшій“, Слеткинъ взвизгнулъ и бросился цѣловать своего благодѣтеля... — „Ну, хорошо, хорошо, не надо“,—бормоталъ Харловъ какъ бы съ досадой, отстраняя его локтемъ... Но тутъ произошелъ не совсѣмъ пріятный, какъ говорится, пассажъ.

XIV.

А именно: Сувениръ, который съ самаго начала завтрака пилъ безостановочно, внезапно поднялся, весь красный, какъ буракъ, со стула и, указывая пальцемъ на Мартына Петровича, залился своимъ дряблымъ, дряннымъ смѣхомъ.

— Великодушный! Великодушный!—затрещалъ онъ:— а вотъ, мы посмотримъ, по вкусу ли ему самому придется это великодушіе, когда его, раба Божія, голой спиной... да на снѣгъ!

— Что ты врешь? дуракъ! — презрительно промолвилъ Харловъ.

— Дуракъ! дуракъ! — повторилъ Сувениръ. — Единому Всевышнему Богу извѣстно, кто изъ насъ обоихъ заправскій-то дуракъ. А вотъ вы, братецъ! сестрицу мою, супругу вашу, уморили—за то теперь и самихъ себя похѣрили... ха-ха-ха!

— Какъ вы смѣете нашего почтеннаго благодѣтеля обижать? — запищалъ Слеткинъ и, оторвавшись отъ обхваченнаго имъ плеча Мартына Петровича, ринулся на Сувенира. — Да знаете ли, что если нашъ благодѣтель того пожелаетъ, то мы и самый актъ сію минуту уничтожить можемъ?..

— А вы все-таки его голой спиной—на снѣгъ...—вернулъ Сувениръ, стушевавшись за Квицинскаго.

— Молчать! — *загремѣлъ* Харловъ. — Прихлопну тебя, *такъ только мокро будетъ* на томъ мѣстѣ, гдѣ ты нахо-

дился. Да и ты молчи, щенокъ!—обратился онъ къ Слеткину:—не суйся, куда не велятъ! Коли я, Мартынъ Петровъ Харловъ, порѣшилъ оный раздѣльный актъ составить, то кто же можетъ его уничтожить? противъ моей воли пойти? Да въ свѣтѣ власти такой нѣтъ...

— Мартынъ Петровичъ! — заговорилъ вдругъ сочнымъ басомъ стряпчій; онъ тоже выпилъ много, но отъ этого въ немъ только важности прибавилось. — Ну, а какъ господинъ помѣщикъ правду сказать изволилъ? Дѣло вы совершили великое; ну, а какъ, сохрани Богъ, дѣйствительно... вмѣсто должной благодарности, да выйдетъ какой аффронтъ?

Я глянулъ украдкой на обѣихъ дочерей Мартына Петровича. Анна такъ и впилась глазами въ говорившаго и ужъ, конечно, болѣе злого, змѣинаго и въ самой злобѣ болѣе красиваго лица я не видывалъ! Евлампія отворотилась и руки скрестила; презрительная усмѣшка болѣе чѣмъ когда-нибудь скрутила ея полныя, розовыя губы.

Харловъ поднялся со стула, разинулъ ротъ, но видно языкъ измѣнилъ ему... Онъ вдругъ ударилъ кулакомъ по столу, такъ что все въ комнатѣ подпрыгнуло и задребезжало.

— Батюшка,—поспѣшно промолвила Анна:—они насъ не знаютъ и потому такъ о насъ понимаютъ; а вы себѣ не извольте повредить. Напрасно вы гнѣваться изволите; вотъ, у васъ личико словно перекосилось.

Харловъ поглядѣлъ на Евлампію; она не шевелилась, хотя сидѣвшій подлѣ нея Житковъ и толкалъ ее подъ бокъ.

— Спасибо тебѣ, дочь моя Анна, — глухо заговорилъ Харловъ: — ты у меня разумница; я на тебя надѣюсь и на мужа твоего тоже.—Слеткинъ опять взвизгнулъ; Житковъ выставилъ-было грудь и ногой слегка топнулъ; но Харловъ не замѣтилъ его старанія. — Этотъ шалопай, — продолжалъ онъ, указавъ подбородкомъ на Сувенира: — радъ дразнить меня; но вамъ, милостивый государь мой,— обратился онъ къ стряпчему,—вамъ о Мартынѣ Харловѣ *судить не* приходится: понятіемъ еще не вышли. И чиновный вы человѣкъ, а слова ваши самыя вздорныя. А впро-

чемъ, дѣло сдѣлано, рѣшенію моему отмѣны не будетъ... Ну, и счастливо оставаться! Я уйду. Я здѣсь больше не хозяинъ, я гость. Анна, хлопочи ты, какъ знаешь; а я къ себѣ въ кабинетъ уйду. Довольно!

Мартынъ Петровичъ повернулся къ намъ спиною и, не прибавивъ больше ни слова, медленно вышелъ изъ комнаты.

Внезапное удаленіе хозяина не могло не разстроить нашей компаніи, тѣмъ болѣе, что и обѣ хозяйки тоже въ скорости исчезли. Слеткинъ напрасно старался удержать насъ. Исправникъ не преминулъ упрекнуть стряпчаго въ неумѣстной его откровенности.—Нельзя!—отвѣчалъ тотъ.— Совѣсть заговорила!

— Вотъ и видно, что масонъ,—шепнулъ мнѣ Сувениръ.

— Совѣсть!—возразилъ исправникъ.—Знаемъ мы вашу совѣсть! Такъ же, небось, и у васъ въ карманѣ сидитъ, какъ и у насъ грѣшныхъ!

Священникъ, между тѣмъ, уже стоя на ногахъ, но предчувствуя скорый конецъ трапезы, безпрестанно посылалъ въ ротъ кусокъ за кускомъ.

— А у васъ, я вижу, аппетитъ сильный,—рѣзко замѣтилъ ему Слеткинъ.

— Про запасъ, — отвѣчалъ священникъ со смиренной ужимкой; застарѣлый голодъ слышался въ этомъ отвѣтѣ.

Застучали экипажи... и мы разъѣхались.

На возвратномъ пути никто не мѣшалъ Сувениру кривляться и болтать, такъ какъ Квицинскій объявилъ, что ему надоѣли всѣ эти „никому не нужныя“ безобразія, и прежде насъ отправился домой пѣшкомъ. На его мѣсто къ намъ въ карету сѣлъ Житковъ; отставной маіоръ имѣлъ весьма недовольный видъ, и то и дѣло, какъ тараканъ, поводилъ усами.

— Что, ваше высокоблагородіе,—лепеталъ Сувениръ:— субординація, знать, подорвана? Погодите, то ли будетъ! Зададутъ феферу и вамъ. Ахъ вы, женишокъ, женишокъ, горе-женишокъ!

Сувенира такъ *и разбирало*, а бѣдный Житковъ только *шевелилъ усами.*

Вернувшись домой, я разсказалъ все видѣнное мною матушкѣ. Она выслушала меня до конца и нѣсколько разъ покачала головою.—Не къ добру,—промолвила она: — не нравятся мнѣ всѣ эти новизны!

XV.

На слѣдующій день Мартынъ Петровичъ пріѣхалъ къ обѣду. Матушка поздравила его съ благополучнымъ окончаніемъ затѣяннаго имъ дѣла. — Ты теперь свободный человѣкъ, — сказала она: — и долженъ себя легче чувствовать.

— Легче-то легче, сударыня,—отвѣчалъ Мартынъ Петровичъ, нисколько, однако, не показывая выраженьемъ своего лица, что ему дѣйствительно легче стало.—Можно теперь и о душѣ помыслить, и къ смертному часу, какъ слѣдуетъ, приготовиться.

— А что? — спросила матушка: — мурашки у тебя по рукѣ все бѣгаютъ?

Харловъ раза два сжалъ и разжалъ ладонь лѣвой руки.— Бѣгаютъ, сударыня; — и что я вамъ еще доложу: какъ начну я засыпать, кричитъ кто-то у меня въ головѣ: „берегись!“ „берегись!“

— Это... нервы, — замѣтила матушка, и заговорила о вчерашнемъ днѣ, намекнула на нѣкоторыя обстоятельства, сопровождавшія совершеніе раздѣльнаго акта.

— Ну, да, да, — перебилъ ее Харловъ: — было такъ, кое-что... неважное. Только вотъ что̀ доложу вамъ,—прибавилъ онъ съ разстановкой. — Не смутили меня вчерась пустыя Сувеновы слова — даже самъ господинъ стряпчій, хоть и обстоятельный онъ человѣкъ—и тотъ не смутилъ меня; а смутила меня...—Тутъ Харловъ запнулся.

— Кто?—спросила матушка.

Харловъ вскинулъ на нее глазами.—Евлампія!

— Евлампія? Дочь твоя? Это какимъ образомъ?

— Помилуйте, сударыня — точно каменная! истуканъ истуканомъ! Неужто же она не чувствуетъ? Сестра ея, *Анна*—ну, та все какъ слѣдуетъ. Та—тонкая! А Евлампія—вѣдь я ей — что грѣха таить! — много предпочтенія

оказывалъ! Неужто же ей не жаль меня? Стало-быть, мнѣ плохо приходится, стало-быть, чую я, что не жилецъ я на сей землѣ, коли все имъ отказываю; и точно каменная! хоть бы гукнула! Кланяться—кланяется, а благодарности не видать.

— Вотъ, постой,—замѣтила матушка:—выдадимъ мы ее за Гаврилу Ѳедулыча... у него она помягчѣетъ.

Мартынъ Петровичъ опять исподлобья глянулъ на матушку.—Ну, развѣ вотъ Гаврила Ѳедулычъ! Вы, знать, сударыня, на него надѣетесь?

— Надѣюсь.

— Такъ-съ; ну, вамъ лучше знать. А у Евлампіи, доложу вамъ,—что у меня, что у ней: правъ все едино. Казацкая кровь—а сердце, какъ уголь горячій!

— Да развѣ у тебя такое сердце, отецъ мой?

Харловъ не отвѣчалъ. Наступило небольшое молчаніе.

— Что же ты, Мартынъ Петровичъ, — начала матушка:—какимъ образомъ намѣренъ теперь душу свою спасать? къ Митрофанію съѣздишь или въ Кіевъ? или, можетъ-быть, въ Оптину пустынь отправишься, такъ какъ она по сосѣдству? Тамъ, говорятъ, такой святой проявился инокъ... отцомъ Макаріемъ его зовутъ, никто такого и не запомнитъ! Всѣ грѣхи насквозь видитъ.

— Если она точно неблагодарной дочерью окажется,— промолвилъ хриплымъ голосомъ Харловъ:—такъ мнѣ, кажется, легче будетъ ее изъ собственныхъ рукъ убить!

— Что̀ ты! Что̀ ты! Господь съ тобою! Опомнись!— воскликнула матушка. — Какія ты это рѣчи говоришь! Вотъ, то-то вотъ и есть! послушался бы меня намедни, какъ совѣтоваться пріѣзжалъ! А теперь вотъ ты себя мучить будешь—вмѣсто того, чтобы о душѣ помышлять! Мучить ты себя будешь—а локтя все-таки не укусишь! Да! Теперь вотъ ты жалуешься, трусишь...

Этотъ упрекъ, казалось, въ самое сердце кольнулъ Харлова. Вся прежняя его гордыня такъ волной и прилила къ нему. Онъ встряхнулся и подбородкомъ двинулъ впередъ.

— *Не таковскій я человѣкъ*, сударыня, Наталья Нико-

лаевна, чтобы жаловаться или трусить, — угрюмо заговорилъ онъ.—Я вамъ только, какъ благодѣтельницѣ моей и уважаемой особѣ, чувства мои изложить пожелалъ. Но Господь Богъ вѣдаетъ (тутъ онъ поднялъ руку надъ головою), что скорѣе шаръ земной въ раздробленіе придетъ, чѣмъ мнѣ отъ своего слова отступиться, или... (тутъ онъ даже фыркнулъ) или трусить, или раскаиваться въ томъ, что я сдѣлалъ! Значитъ, были причины! А дочери мои изъ повиновенія не выдутъ, во вѣки вѣковъ, аминь!

Матушка зажала уши. — Что это, отецъ, какъ труба трубишь! Коли ты въ самомъ дѣлѣ въ домочадцахъ своихъ такъ увѣренъ, ну и слава тебѣ, Господи! Голову ты мнѣ совсѣмъ размозжилъ.

Мартынъ Петровичъ извинился, вздохнулъ раза два и умолкъ. Матушка опять упомянула о Кіевѣ, объ Оптиной пустынѣ, объ отцѣ Макаріи... Харловъ поддакивалъ, говорилъ, что „нужно, нужно... надо будетъ... о душѣ...“ и только. До самаго отъѣзда онъ не развеселился; отъ времени до времени сжималъ и разжималъ руку, глядѣлъ себѣ на ладонь, говорилъ, что ему страшнѣе всего умереть безъ покаянія, отъ удара, и что онъ зарокъ себѣ далъ: не сердиться, такъ какъ отъ сердца кровь портится и къ головѣ приливаетъ... Притомъ же, онъ теперь отъ всего отстранился; съ какой стати онъ сердиться будетъ? Пусть другіе теперь трудятся и кровь себѣ портятъ!

Прощаясь съ матушкой, онъ страннымъ образомъ поглядывалъ на нее: задумчиво и вопросительно... и вдругъ быстрымъ движеніемъ, выхвативъ изъ кармана томъ „Покоющагося Трудолюбца“, сунулъ его матушкѣ въ руки.

— Что такое?—спросила она.

— Прочтите... вотъ тутъ,—торопливо промолвилъ онъ:— гдѣ уголокъ загнутъ, о смерти. Сдается мнѣ, что больно хорошо сказано, а понять никакъ не могу. Не растолкуете ли вы мнѣ, благодѣтельница? Я вотъ вернусь, а вы мнѣ растолкуете.

Съ этими словами Мартынъ Петровичъ вышелъ.

— Неладно! эхъ, неладно! — замѣтила матушка, какъ только онъ скрылся за дверью—и принялась за „Трудо-

любца". На страницѣ, отмѣченной Харловымъ, стояли слѣдующія слова:

„Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, какъ то, что духъ, понеже есть легче, тоньше и гораздо проницательнѣе тѣхъ стихій, коимъ отданъ былъ подъ власть, но и самой электрической силы, то онъ химическимъ образомъ чистится и стремится до тѣхъ поръ, пока не ощутитъ равно духовнаго себѣ мѣста..." и т. д. *)

Матушка прочла этотъ пассажикъ раза два, воскликнула: тьфу!—и бросила книгу въ сторону.

Дня три спустя, она получила извѣстіе, что мужъ ея сестры скончался, и, взявъ меня съ собою, отправились къ ней въ деревню. Матушка располагала провесть у ней мѣсяцъ, но осталась до поздней осени—и мы только въ концѣ сентября вернулись въ нашу деревню.

XVI.

Первое извѣстіе, которымъ встрѣтилъ меня мой камердинеръ Прокофій (онъ же считался господскимъ егеремъ), было то, что вальдшнеповъ налетѣло видимо-невидимо, и что особенно въ березовой рощѣ возлѣ Еськова (Харловскаго имѣнія) они такъ и кишатъ. До обѣда оставалось еще часа три; я тотчасъ схватилъ ружье, ягдташъ, и вмѣстѣ съ Прокофіемъ и легавой собакой побѣжалъ въ Еськовскую рощу. Вальдшнеповъ въ ней мы нашли дѣйствительно много—и, выпустивши около тридцати зарядовъ, убили штукъ пять. Спѣша съ добычей домой, я увидѣлъ возлѣ дороги пахавшаго мужика. Лошадь его остановилась, и онъ, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергалъ веревочной вожжею ея на бокъ загнутую голову. Я вглядѣлся въ несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу и облитые потомъ бока судорожно и неровно вздымались, какъ кузнечные мѣха,—и тотчасъ призналъ въ ней старую чахлую кобылу со шрамомъ на плечѣ, столько лѣтъ служившую Мартыну Петровичу.

*) См. „*Покоющійся Трудолюбецъ*" 1785, II ч. Москва.

— Г-нъ Харловъ живъ?—спросилъ я Прокофія. Охота насъ обоихъ такъ „всецѣло“ поглотила, что мы до того мгновенья ни о чемъ другомъ не разговаривали.

— Живъ-съ. А что-съ?

— Да вѣдь это его лошадь? Развѣ онъ продалъ ее?

— Лошадь, точно, ихняя-съ; только продавать они ее не продавали; а взяли ее у нихъ — да тому мужичку и отдали.

— Какъ такъ взяли? И онъ согласился?

— Согласія ихняго не спрашивали-съ. Тутъ безъ васъ порядки пошли, — промолвилъ съ легкой усмѣшкой Прокофій въ отвѣтъ на мой удивленный взглядъ: — бѣда! Боже ты мой! Теперь у нихъ Слеткинъ господинъ всѣмъ орудуетъ.

— А Мартынъ Петровичъ?

— А Мартынъ Петровичъ самымъ, какъ есть, послѣднимъ человѣкомъ сталъ. На сухояденьѣ сидитъ — чего больше? Порѣшили его совсѣмъ. Того и смотри, со двора сгонятъ.

Мысль, что можно такого великана *согнать* — никакъ не укладывалась мнѣ въ голову. — А Житковъ-то чего смотритъ?—спросилъ я наконецъ.—Вѣдь онъ женился на второй дочери?

— Женился? — повторилъ Прокофій и на этотъ разъ усмѣхнулся во весь ротъ. — Его и въ домъ-то не пускаютъ. Не надо, молъ; поверни, молъ, оглобли назадъ. Сказанное дѣло: Слеткинъ всѣмъ заправляетъ.

— А невѣста-то что?

— Евлампія-то Мартыновна? Эхъ, баринъ, сказалъ бы я вамъ... да млады вы суть—вотъ что. Дѣла тутъ подошли такія, что и... и... и! Э! да Діанка-то, кажись, стоитъ!

Дѣйствительно, собака моя остановилась, какъ вкопанная, передъ широкимъ дубовымъ кустомъ, которымъ заканчивался узкій оврагъ, выползавшій на дорогу. Мы съ Прокофіемъ подбѣжали къ собакѣ: изъ куста поднялся вальдшнепъ. Мы оба выстрѣлили по немъ и промахнулись; вальдшнепъ перемѣстился; мы отправились за нимъ.

Супъ уже былъ на столѣ, когда я вернулся. Матушка

побранила меня.—„Что это?“—сказала она съ неудовольствіемъ:—„въ первый же день—да къ обѣду ждать себя заставилъ“. Я поднесъ ей убитыхъ вальдшнеповъ: она и не посмотрѣла на нихъ. Кромѣ ея, въ комнатѣ находились Сувениръ, Квицинскій и Житковъ. Отставной маіоръ забился въ уголъ, — ни дать, ни взять, провинившійся школьникъ; выраженіе его лица являло смѣсь смущенія и досады; глаза его покраснѣли... Можно было даже подумать, что онъ незадолго передъ тѣмъ всплакнулъ. Матушка продолжала быть не въ духѣ; мнѣ не стоило большого труда догадаться, что поздній мой приходъ былъ тутъ ни при чемъ. Во время обѣда она почти не разговаривала; маіоръ изрѣдка взводилъ на нее жалостные взгляды, кушалъ, однако, исправно; Сувениръ трепеталъ; Квицинскій сохранялъ обычную увѣренность осанки.

— Викентій Осипычъ,—обратилась къ нему матушка:—прошу васъ послать завтра за Мартыномъ Петровичемъ экипажъ, такъ какъ я извѣстилась, что у него своего не стало; и велите ему сказать, чтобы онъ непремѣнно пріѣхалъ, что я желаю его видѣть.

Квицинскій хотѣлъ-было что-то возразить, но удержался.

— И Слеткину дайте знать, — продолжала матушка:— что я ему приказываю ко мнѣ явиться... Слышите? При...ка...зываю!

— Вотъ, уже, именно... этого негодяя слѣдуетъ...— началъ вполголоса Житковъ; но матушка такъ презрительно на него посмотрѣла, что онъ тотчасъ отворотился и умолкъ.

— Слышите? Я приказываю!—повторила матушка.

— Слушаю-съ,—покорно, но съ достоинствомъ промолвилъ Квицинскій.

— Не пріѣдетъ Мартынъ Петровичъ! — шепнулъ мнѣ Сувениръ, выходя вмѣстѣ со мною послѣ обѣда изъ столовой.—Вы посмотрите, что̀ съ нимъ сталось! Уму непостижимо! Я полагаю—онъ что̀ и говорятъ-то ему—ничего не понимаетъ. Да! Прижали ужа вилами!

И Сувениръ залился своимъ дряблымъ смѣхомъ.

XVII.

Предсказаніе Сувенира оказалось справедливымъ. М тынъ Петровичъ не захотѣлъ поѣхать къ матушкѣ. (этимъ не удовольствовалась и отправила къ нему пись онъ прислалъ ей четвертушку бумаги, на которой кр ными буквами были написаны слѣдующія слова: „Ей ей, не могу. Стыдъ убьетъ. Пущай такъ пропадаю. С сибо. Не мучьте. Харловъ Мартынко". Слеткинъ пріѣха но не въ тотъ день, когда матушка „приказывала" явиться, а цѣлыми сутками позже. Матушка велѣла п вести его къ себѣ въ кабинетъ... Богъ вѣдаетъ, о ч у нихъ велась бесѣда, но продолжалась она недолго: четверть часа не болѣе. Слеткинъ вышелъ отъ матуш весь красный, и съ такимъ ядовито-злымъ и дерзостн выраженіемъ лица, что, встрѣтившись съ нимъ въ гос ной, я просто остолбенѣлъ, а тутъ же вертѣвшійся Су ниръ не окончилъ начатаго смѣха. Матушка вышла кабинета тоже вся красная въ лицѣ и объявила во у услышаніе, чтобъ г-на Слеткина ни подъ какимъ вид къ ней впередъ не допускать; а коли Мартына Петров дочери вздумаютъ явиться — наглости, дескать, на эт нихъ станетъ — имъ также отказывать. За обѣдомъ вдругъ воскликнула:—„Каковъ дрянной жиденокъ! Я его за уши изъ грязи вытащила, я-жъ его въ люди вела, онъ всѣмъ, всѣмъ мнѣ обязанъ—и онъ смѣетъ говорить, что я напрасно въ ихъ дѣла вмѣшиваюсь! Мартынъ Петровичъ блажитъ—и что ему потакать не можно! Потакать! каково? Ахъ, онъ неблагодарный щенокъ! Жиденокъ мерзкій!"—Маіоръ Житковъ, кото также находился въ числѣ обѣдавшихъ, вообразилъ, теперь-то ужъ самъ Богъ ему велѣлъ воспользоват случаемъ и ввернуть свое слово... но матушка тотч его осадила.—„Ну, ужъ и ты хорошъ, мой отецъ!"—п молвила она.—„Съ дѣвкой не умѣлъ сладить, а еще о церъ! Ротой командовалъ! Воображаю, какъ она т слушалась! Въ управляющіе мѣтилъ! хорошъ бы выш *управляющій!*"

ицинскій, сидѣвшій на концѣ стола, улыбнулся про не безъ злорадства, а бѣдный Житковъ только усами ъ, да брови поднялъ и всѣмъ своимъ волосатымъ ли- уткнулся въ салфетку.

слѣ обѣда онъ вышелъ на крыльцо покурить, по обык- ію, трубочку — такимъ онъ мнѣ показался жалкимъ ютливымъ, что я, хотя его и не долюбливалъ, одна- утъ присосѣдился къ нему.

Какъ это у васъ, Гаврила Ѳедулычъ, — началъ я дальнихъ околичностей:—съ Евлампіей Мартыновной разстроилось? Я полагалъ—вы давно женились.

ставной маіоръ уныло взглянулъ на меня.

Змѣй подколодный,—началъ онъ, съ горестной ста- ьностью выговаривая каждую букву каждаго слога:— мъ меня своимъ уязвилъ и всѣ мои надежды въ и — въ прахъ обратилъ! И разсказалъ бы я вамъ, рій Семеновичъ, всѣ его ехидные поступки, но ма- у вашу боюсь прогнѣвить! („Млады вы еще суть",— нуло у меня въ головѣ выраженіе Прокофія.) Ужъ ъ...

тковъ крякнулъ.

Терпѣть... терпѣть... больше ничего не остается! ударилъ себя кулакомъ въ грудь.) Терпи, старый ка, терпи! Царю служилъ вѣрой-правдой... безпо- ... да! Не щадилъ пота-крови, а теперь вотъ до чего тѣлся! Будь то въ полку—и дѣло отъ меня зависи- —продолжалъ онъ послѣ короткаго молчанія, судо- насасывая свой черешневый чубукъ: — я-бъ его... его фухтелями въ три перемѣны... то-есть, до от-

тковъ вынулъ трубку изо рта и устремилъ взоръ въ ранство, какъ бы внутренно любуясь вызванной имъ ной.

еніръ подбѣжалъ и началъ шпынять маіора. Я ото- отъ нихъ въ сторону—и рѣшился, во что бы то ни собственными глазами, увидать Мартына Петро- . Дѣтское мое любопытство было сильно задѣто.

XVIII.

На другой день я опять съ ружьемъ и съ собакой, но безъ Прокофія, отправился въ Еськовскую рощу. День выдался чудесный: я думаю, кромѣ Россіи, въ сентябрѣ мѣсяцѣ нигдѣ подобныхъ дней не бываетъ. Тишь стояла такая, что можно было за сто шаговъ слышать, какъ бѣлка перепрыгивала по сухой листвѣ, какъ оторвавшійся сучокъ сперва слабо цѣплялся за другія вѣтки и падалъ, наконецъ, въ мягкую траву—падалъ навсегда: онъ ужъ не шелохнется, пока не истлѣетъ. Воздухъ ни теплый, ни свѣжій, а только пахучій и словно кисленькій, чуть-чуть, пріятно щипалъ глаза и щеки; тонкая, какъ шелковинка, съ бѣлымъ клубочкомъ по серединѣ, длинная паутина плавно налетала и, прильнувъ къ стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху — знакъ постоянной, теплой погоды. Солнце свѣтило, но такъ кротко, хоть бы лунѣ. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращалъ на нихъ особеннаго вниманія: я зналъ, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самаго плетня его сада — и пробирался въ ту сторону— хоть и не могъ себѣ представить, какъ я въ самую усадьбу проникну, и даже сомнѣвался въ томъ, слѣдовало ли мнѣ стараться проникнуть туда, такъ какъ матушка моя гнѣвалась на новыхъ владѣльцевъ.

Живые человѣческіе звуки почудились мнѣ въ недальнемъ разстояніи. Я сталъ прислушиваться... Кто-то шелъ по лѣсу... прямо на меня.

— Такъ бы ты и сказалъ, — послышался женскій голосъ.

— Толкуй!—перебилъ другой голосъ, голосъ мужчины.— Нешто можно все разомъ?

Голоса были мнѣ знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь порѣдѣвшіе орѣховые кусты; рядомъ съ нимъ показался темный кафтанъ. Еще мгновенье — и на поляну, въ пяти шагахъ отъ меня, вышли Слеткинъ и Евлампія.

Они внезапно смутились. Евлампія тотчасъ отступила

назадъ, въ кусты. Слеткинъ подумалъ—и приблизился ко мнѣ. На лицѣ его уже не замѣчалось и слѣда того подобострастнаго смиренія, съ которымъ онъ, мѣсяца четыре тому назадъ, расхаживая по двору Харловскаго дома, перетиралъ трензель моей лошади; но и того дерзкаго вызова я на немъ прочесть не могъ, того вызова, которымъ это лицо такъ поразило меня наканунѣ, на порогѣ матушкина кабинета. Оно осталось попрежнему бѣлымъ и пригожимъ, но казалось солиднѣй и шире.

— Что̀ много вальдшнеповъ заполевали?—спросилъ онъ меня, приподнявъ шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своимъ чернымъ кудрямъ. — Вы въ нашей рощѣ охотитесь... Милости просимъ! Мы не препятствуемъ... Напротивъ!

— Сегодня я ничего не убилъ,—промолвилъ я, отвѣчая на первый его вопросъ:—а изъ рощи вашей я сейчасъ выйду.

Слеткинъ торопливо надѣлъ шапку. — Помилуйте, зачѣмъ же! Мы васъ не гонимъ—и даже очень рады... Вотъ и Евлампія Мартыновна то же скажетъ. Евлампія Мартыновна, пожалуйте сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампіи показалась изъ-за кустовъ; но она не подошла къ намъ. Она еще похорошѣла за послѣднее время—и словно еще выросла и раздобрѣла.

— Мнѣ, признаться сказать,—продолжалъ Слеткинъ:—даже очень пріятно, что „встрѣтился“ съ вами. Вы хоть еще молоды, но разумъ уже имѣете настоящій. Матушка ваша вчерась на меня прогнѣваться изволила—никакихъ отъ меня резоновъ принять не хотѣла, а я, какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами доложу: ни въ чемъ я не повиненъ. Съ Мартыномъ Петровичемъ иначе поступать невозможно: совсѣмъ онъ въ младенчество впалъ. Нельзя же намъ исполнять всѣ его капризы, помилуйте. А уваженіе мы ему оказываемъ какъ слѣдуетъ! Спросите хоть Евлампію Мартыновну.

Евлампія не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ея губамъ—и неласково глядѣли красивые глаза.

XVIII.

На другой день я опять съ ружьемъ и съ собакой, безъ Прокофія, отправился въ Еськовскую рощу. День выдался чудесный: я думаю, кромѣ Россіи, въ сентябрѣ мѣсяцѣ нигдѣ подобныхъ дней не бываетъ. Тишь стояла такая, что можно было за сто шаговъ слышать, какъ бѣлка перепрыгивала по сухой листвѣ, какъ оторвавшійся сучокъ сперва слабо цѣплялся за другія вѣтки и падалъ, наконецъ, въ мягкую траву—падалъ навсегда: онъ ужъ не шелохнется, пока не истлѣетъ. Воздухъ ни теплый, ни свѣжій, а только пахучій и словно кисленькій, чуть-чуть, пріятно щипалъ глаза и щеки; тонкая, какъ шелковинка, съ бѣлымъ клубочкомъ по серединѣ, длинная паутина плавно налетала и, прильнувъ къ стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху — знакъ постоянной, теплой погоды. Солнце свѣтило, но такъ кротко, хоть бы лунѣ. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращалъ на нихъ особеннаго вниманія: я зналъ, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самаго плетня его сада — и пробирался въ ту сторону— хоть и не могъ себѣ представить, какъ я въ самую усадьбу проникну, и даже сомнѣвался въ томъ, слѣдовало ли мнѣ стараться проникнуть туда, такъ какъ матушка моя гнѣвалась на новыхъ владѣльцевъ.

Живые человѣческіе звуки почудились мнѣ въ недальнемъ разстояніи. Я сталъ прислушиваться... Кто-то шелъ по лѣсу... прямо на меня.

— Такъ бы ты и сказалъ, — послышался женскій голосъ.

— Толкуй!—перебилъ другой голосъ, голосъ мужчины.— Нешто можно все разомъ?

Голоса были мнѣ знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь порѣдѣвшіе орѣховые кусты; рядомъ съ нимъ показался темный кафтанъ. Еще мгновенье — и на поляну, въ пяти шагахъ отъ меня, вышли Слеткинъ и Евлампія.

Они внезапно смутились. Евлампія тотчасъ отстранила

назадъ, въ кусты. Слеткинъ подумалъ—и приблизился ко мнѣ. На лицѣ его уже не замѣчалось и слѣда того подобострастнаго смиренія, съ которымъ онъ, мѣсяца четыре тому назадъ, расхаживая по двору Харловскаго дома, перетиралъ трензель моей лошади; но и того дерзкаго вызова я на немъ прочесть не могъ, того вызова, которымъ это лицо такъ поразило меня наканунѣ, на порогѣ матушкина кабинета. Оно осталось попрежнему бѣлымъ и пригожимъ, но казалось солиднѣй и шире.

— Что̀ много вальдшнеповъ заполевали?—спросилъ онъ меня, приподнявъ шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своимъ чернымъ кудрямъ. — Вы въ нашей рощѣ охотитесь... Милости просимъ! Мы не препятствуемъ... Напротивъ!

— Сегодня я ничего не убилъ,—промолвилъ я, отвѣчая на первый его вопросъ:—а изъ рощи вашей я сейчасъ выйду.

Слеткинъ торопливо надѣлъ шапку. — Помилуйте, затѣмъ же! Мы васъ не гонимъ—и даже очень рады... Вотъ и Евлампія Мартыновна то же скажетъ. Евлампія Мартыновна, пожалуйте сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампіи показалась изъ-за кустовъ; но она не подошла къ намъ. Она еще похорошѣла за послѣднее время—и словно еще выросла и раздобрѣла.

— Мнѣ, признаться сказать,—продолжалъ Слеткинъ:—даже очень пріятно, что „встрѣтился“ съ вами. Вы хоть еще молоды, но разумъ уже имѣете настоящій. Матушка ваша вчерась на меня прогнѣваться изволила—никакихъ отъ меня резоновъ принять не хотѣла, а я, какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами доложу: ни въ чемъ я не повиненъ. Съ Мартыномъ Петровичемъ иначе поступать невозможно: совсѣмъ онъ въ младенчество впалъ. Нельзя же намъ исполнять всѣ его капризы, помилуйте. А уваженіе мы ему оказываемъ какъ слѣдуетъ! Спросите хоть Евлампію Мартыновну.

Евлампія не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ея губамъ—и неласково глядѣли красивые глаза.

— Но зачѣмъ же вы, Владиміръ Васильичъ, Мартынъ-Петровичеву лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владѣніи мужика.)

— Лошадь-то ихнюю зачѣмъ продали-съ? Да помилосердуйте — куда же она годилась? Только сѣно даромъ ѣла. А у мужика она все-таки пахать можетъ. А Мартыну Петровичу—коли вздумается куда выѣхать—стòитъ только у насъ попросить. Мы въ экипажѣ ему не отказываемъ. Въ нерабочіе дни съ нашимъ удовольствіемъ!

— Владиміръ Васильевичъ,—глухо проговорила Евлампія, какъ бы отзывая его, и все не сходя съ своего мѣста. Она вертѣла около пальцевъ нѣсколько стеблей подорожника и отсѣкала имъ головки, ударяя ихъ другъ о дружку.

— Вотъ еще насчетъ казачка Максимки, — продолжалъ Слеткинъ:—Мартынъ Петровичъ жалуется, зачѣмъ, молъ, мы его у него отняли да въ ученье отдали. Но, извольте сами разсудить: ну, чтò бы онъ сталъ у Мартына Петровича дѣлать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то, какъ слѣдуетъ, онъ не можетъ: по причинѣ своей глупости и младыхъ лѣтъ. А теперь мы его къ шорнику въ ученіе отдали. Выйдетъ изъ него мастеръ хорошій— и себѣ пользу принесетъ, и намъ будетъ оброкъ платить. А въ нашемъ маленькомъ хозяйствѣ это вещь важная-съ! Въ нашемъ маленькомъ хозяйствѣ ничего упускать не слѣдуетъ!

„И этого-то человѣка Мартынъ Петровичъ называлъ тряпкой!“ подумалъ я.—Но кто же теперь Мартыну Петровичу читаетъ?—спросилъ я.

— Да чтò читать-то? Была одна книга—да, благо, запропастилась куда-то... И чтò за чтеніе въ его лѣта!

— А брѣетъ его кто?—опять спросилъ я.

Слеткинъ засмѣялся одобрительно, какъ бы въ отвѣтъ на забавную шутку.—Да никто. Сперва онъ себѣ бороду свѣчей подпаливалъ,—а теперь и вовсе запустилъ ее. И чудесно!

— Владиміръ Васильевичъ!—съ настойчивостью повторила *Евлампія:*—а Владиміръ Васильевичъ!

Слеткинъ сдѣлалъ ей знакъ рукою.

— Обутъ, одѣтъ Мартынъ Петровичъ, кушаетъ то же, что и мы; чего жъ ему еще? Самъ же онъ увѣрялъ, что больше ничего въ семъ мірѣ не желаетъ, какъ только о душѣ своей заботиться. Хоть бы онъ то̀ сообразилъ, что теперь все—какъ ни какъ—а наше. Говоритъ тоже, что жалованье мы ему не выдаемъ; да у насъ самихъ деньги не всегда бываютъ; и на что онѣ ему, когда на всемъ на готовомъ живетъ? А мы съ нимъ по-родственному обращаемся: истинно вамъ говорю. Комнаты, напримѣръ, въ которыхъ онъ жительство имѣетъ,—ужъ какъ намъ нужны! безъ нихъ, просто повернуться негдѣ; а мы — ничего! — терпимъ. Даже о томъ помышляемъ, какъ бы ему развлеченіе доставить. Вотъ, я къ Петрову дню а-атличные крючки въ городѣ ему купилъ — настоящіе англійскіе: дорогіе крючки! чтобы рыбу удить. У насъ въ пруду караси водятся. Сидѣлъ бы да удилъ! часикъ-другой посидѣлъ — анъ ушица и готова. Самое для старичковъ степенное занятіе!

— Владиміръ Васильевичъ! — въ третій разъ, рѣшительнымъ тономъ проговорила Евлампія и отбросила далеко отъ себя прочь травяные стебли, которые вертѣла въ пальцахъ.—Я уйду!—Ея глаза встрѣтились съ моими.— Я уйду, Владиміръ Васильевичъ!—повторила она и скрылась за кустъ.

— Я сейчасъ, Евлампія Мартыновна, сейчасъ!—крикнулъ Слеткинъ.—Самъ Мартынъ Петровичъ теперь насъ одобряетъ,—продолжалъ онъ, снова обращаясь ко мнѣ.— Сперва онъ обижался, точно; и даже роптал, пока, знаете, не вникъ: человѣкъ онъ былъ, вы изволите помнить, горячій, крутой — бѣда! ну, а нынѣ совсѣмъ тихъ сталъ. Потому—пользу свою увидѣлъ. Маменька ваша — и Боже ты мой! какъ опрокинулась на меня... Извѣстно: барыня властью своею дорожитъ тоже, не хуже, какъ, бывало, Мартынъ Петровичъ; ну, а вы зайдите сами, посмотрите— да при случаѣ и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благодѣянья *очень* чувствую; однако, надо же *жить и намъ.*

— А Житкову какъ же отказано было? — спросилъ я.

— Ѳедулычу-то? Талагаю-то этому?—Слеткинъ плечами пожалъ. — Да помилуйте, на что же онъ могъ быть нуженъ? Вѣкъ свой въ солдатахъ числился—а тутъ хозяйствомъ заняться вздумалъ. Я, говоритъ, могу съ крестьяниномъ расправу чинить. Потому, я привыкъ по рожѣ бить. Ничего-съ онъ не можетъ. И по рожѣ бить нужно умѣючи. А Евлампія Мартыновна сама ему отказала. Совсѣмъ неподходящій человѣкъ. Все наше хозяйство съ нимъ бы пропало!

— Ау!—раздался звучный голосъ Евлампіи.

— Сейчасъ! сейчасъ!—отозвался Слеткинъ. Онъ протянулъ мнѣ руку; я, хоть и неохотно, а пожалъ ее.

— Прощенія просимъ, Дмитрій Семенычъ, — проговорилъ Слеткинъ, выказывая всѣ свои бѣлые зубы.— Стрѣляйте себѣ вальдшнеповъ на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчикъ вамъ попадется — вы ужъ его пощадите: это добыча—наша. Да, вотъ еще! не будетъ ли у васъ щеночка отъ вашей сучки? Очень бы одолжили!

— Ау!—раздался снова голосъ Евлампіи.

— Ау! ау!—отозвался Слеткинъ и бросился въ кусты.

XIX.

Помнится, когда я остался одинъ, меня занимала мысль: какъ это Харловъ не прихлопнулъ Слеткина такъ, „чтобы только мокро было на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находился“— и какъ это Слеткинъ не страшился подобной участи? Видно, Мартынъ Петровичъ точно „тихъ“ сталъ, подумалось мнѣ — и еще сильнѣе захотѣлось пробраться въ Еськово и хоть однимъ глазкомъ посмотрѣть на того колосса, котораго я никакъ не могъ вообразить себѣ загнаннымъ и смирнымъ. Я достигнулъ уже опушки—какъ вдругъ изъ-подъ самыхъ ногъ моихъ, съ сильнымъ трескомъ крылъ, выскочилъ крупный вальдшнепъ и помчался въ глубь рощи. Я прицѣлился; ружье мое осѣклось. Очень мнѣ стало досадно: птица ужъ больно была хороша, и я *рѣшился попытаться*, не подниму ли я ея снова? Я по-

шелъ въ направленіи ея полета — и отойдя шаговъ двѣсти, увидѣлъ на небольшой лужайкѣ, подъ развѣсистой березой—не вальдшнепа—а того же господина Слеткина. Онъ лежалъ на спинѣ, заложивъ обѣ руки подъ голову, и съ довольной улыбкой поглядывалъ вверхъ, на небо, покачивая лѣвой ногой, закинутой на правое колѣно. Онъ не замѣтилъ моего приближенія. По лужайкѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, медленно, съ опущенными глазами, похаживала Евлампія; казалось, она искала чего-то въ травѣ — грибовъ, что̀ ли — изрѣдка наклонялась, протягивала руку—и напѣвала вполголоса. Я остановился тотчасъ и сталъ прислушиваться. Сперва я не могъ понять, что̀ это она такое поетъ, но потомъ я хорошо призналъ слѣдующіе, извѣстные стихи старинной пѣсни:

„Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.
Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и самъ убью!“

Евлампія пѣла все громче и громче; особенно сильно протянула она послѣднія слова. Слеткинъ все лежалъ на спинѣ да посмѣивался, а она все какъ будто кружила около него.

— Вишь ты!—промолвилъ онъ, наконецъ.—И чего имъ только въ голову не взбредетъ!

— А что̀?—спросила Евлампія.

Слеткинъ слегка приподнялъ голову. — Что? Какія ты это рѣчи произносишь?

— Изъ пѣсни, Володя, ты самъ знаешь, слова не выкинешь,—отвѣчала Евлампія, обернулась и увидѣла меня. Мы оба разомъ вскрикнули, и оба бросились въ разныя стороны.

Я поспѣшно выбрался изъ рощи и, перейдя узенькую полянку, очутился передъ Харловскимъ садомъ.

XX.

Мнѣ некогда — да и не къ чему было размышлять о томъ, что̀ я увидѣлъ. Только вспомнилось мнѣ слово: „*присуха*“, *которое я недавно* предъ тѣмъ узналъ, и значенію

котораго я много дивился. Я пошелъ вдоль садоваго плетня и, чрезъ нѣсколько мгновеній, изъ-за серебристыхъ тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились, и блестѣли) увидалъ дворъ и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мнѣ подчищенной и подтянутой; всюду замѣчались слѣды постояннаго и строгаго надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльцѣ и, прищуривъ свои блѣдно-голубые глаза, долго глядѣла въ направленіи рощи.

— Барина видѣлъ? — спросила она проходившаго по двору мужика.

— Владиміръ Васильича?—отвѣчалъ тотъ, схвативъ съ головы шапку.—Онъ никакъ въ рощу пошелъ.

— Знаю, что въ рощу. Не вернулся онъ? Не видалъ его.

— Не видалъ... нѣтути.

Мужикъ продолжалъ стоять безъ шапки передъ Анной Мартыновной.

— Ну, ступай,—проговорила она.—Или нѣтъ... постой... Мартынъ Петровичъ гдѣ? Знаешь?

— А Мартынъ эвто Петровичъ, — отвѣчалъ мужикъ пѣвучимъ голосомъ, попеременно приподнимая то правую, то лѣвую руку, словно показывая куда-то: — сидитъ тамотка у пруда, съ удою. Въ камышѣ сидитъ и съ удою. Рыбу, что ль, ловитъ, Богъ его знаетъ.

— Хорошо... Ступай,—повторила Анна Мартыновна:— да подбери колесо, вишь, валяется.

Мужикъ побѣжалъ исполнять ея приказаніе, а она постояла еще нѣсколько минутъ на крыльцѣ и все смотрѣла въ направленіи рощи. Потомъ она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась въ домъ.—Аксютка!— раздался ея повелительный голосъ за дверью.

Анна Мартыновна имѣла видъ раздраженный и какъ-то особенно крѣпко сжимала свои и безъ того тонкія губы. Одѣта она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ея одежды, ни на ея раздраженіе, она попрежнему казалась мнѣ привлекательной, и я съ великой охотой поцѣловалъ бы ея узкую, тоже какъ будто злую руку,

которою она раза два съ досадой откинула ту развитую прядь.

XXI.

— Неужели же Мартынъ Петровичъ и впрямь сталъ рыболовомъ?—спрашивалъ я самого себя, направляясь къ пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошелъ на плотину, глянулъ туда, сюда... Нигдѣ Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного изъ береговъ пруда — и, наконецъ, въ самой почти его головѣ, у небольшого залива, посреди плоскихъ и поломанныхъ стеблей порыжѣлаго камыша, увидѣлъ громадную сѣроватую глыбу... Я присмотрѣлся: это былъ Харловъ. Безъ шапки, взъерошенный, въ прорванномъ по швамъ холстинномъ кафтанѣ, поджавъ подъ себя ноги, онъ сидѣлъ неподвижно на голой землѣ; такъ неподвижно сидѣлъ онъ, что куличокъ-песочникъ, при моемъ приближеніи, сорвался съ высохшей тины въ двухъ шагахъ отъ него— и полетѣлъ, дрыгая крылышками и посвистывая, надъ водной гладью. Стало-быть, уже давно никто въ его близости не шевелился и не пугалъ его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, какъ только увидала его, круто уперлась, поджала хвостъ и зарычала. Онъ чуть-чуть повернулъ голову и уставилъ на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его мѣняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, въ бѣлыхъ вихрахъ, на подобіе смушекъ. Въ правой его рукѣ лежалъ конецъ удилища, другой конецъ слабо колыхался на водѣ. Сердце у меня невольно ёкнуло; однако, я собрался съ духомъ, подошелъ къ нему и поздоровался съ нимъ. Онъ медленно заморгалъ, словно съ просонья.

— Что̀ это вы, Мартынъ Петровичъ,—началъ я:—рыбу здѣсь ловите?

— Да... рыбу,—отвѣчалъ онъ сиплымъ голосомъ и дернулъ кверху удилище, на концѣ котораго болтался обрывокъ нитки въ аршинъ и безъ крючка.

— У васъ леса̀ *порвана*, — замѣтилъ я, и тутъ же *увидалъ, что возлѣ Мартына* Петровича ни лейки не

оказывалось, ни червей... И какая могла быть ловля въ сентябрѣ?!

— Порвана? — промолвилъ онъ и провелъ рукой по лицу.—Но это все едино!

Онъ снова закинулъ свою удочку.

— Натальи Николаевны сынокъ?—спросилъ онъ меня, спустя минуты двѣ, въ теченіе которыхъ я не безъ тайнаго изумленія его разсматривалъ. Онъ, хотя и похудѣлъ сильно, однако, все-таки казался исполиномъ; но въ какое онъ былъ одѣтъ рубище и какъ опустился весь!

— Точно-такъ,—отвѣчалъ я:—я сынъ Натальи Николаевны Б.

— Здравствуетъ?

— Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашимъ отказомъ,—прибавилъ я:—она никакъ не ожидала, что вы не захотите къ ней пріѣхать.

Мартынъ Петровичъ понурился.— А былъ ты тамъ?— спросилъ онъ, качнувъ въ сторону головою.

— Гдѣ?

— Тамъ, на усадьбѣ. Не былъ? Сходи. Что́ тебѣ здѣсь дѣлать? Сходи. Разговаривать со мной не́чего. Не люблю.

Онъ помолчалъ.

— Тебѣ бы все съ ружьемъ баловаться! Въ младыхъ лѣтахъ будучи, и я по этой дорожкѣ бѣгалъ. Только отецъ у меня... а я его уважалъ, во-какъ! не то, что нынѣшніе. Отхлесталъ отецъ меня арапникомъ—и шабашъ! Полно баловаться! Потому я его уважалъ... У!.. Да...

Харловъ опять помолчалъ.

— А ты здѣсь не оставайся, — началъ онъ снова. — Ты на усадьбу сходи. Тамъ теперь хозяйство идетъ на славу. Володька...—Тутъ онъ на мигъ запнулся.—Володька у меня на всѣ руки. Молодецъ! ну, да и бестія же!

Я не зналъ, что сказать; Мартынъ Петровичъ говорилъ очень спокойно.

— И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Онѣ тоже хозяйки... ловкія. А я старъ становлюсь, братъ; отстранился. На покой, знаешь...

„*Хорошъ покой!*“ подумалъ я, взглянувъ кругомъ.—

Мартынъ Петровичъ! — промолвилъ я вслухъ. — Вамъ непремѣнно надо къ намъ пріѣхать.

Харловъ глянулъ на меня. — Ступай, братъ, прочь; вотъ что.

— Не огорчайте маменьку, пріѣзжайте.

— Ступай, братъ, ступай, — твердилъ Харловъ. — Что тебѣ со мной разговаривать?

— Если у васъ экипажа нѣтъ, маменька вамъ свой пришлетъ.

— Ступай!

— Да право же, Мартынъ Петровичъ!

Харловъ опять понурился — и мнѣ показалось, что его потемнѣвшія, какъ бы землей перекрытыя щеки слегка покраснѣли.

— Право, пріѣзжайте, — продолжалъ я. — Что вамъ тутъ сидѣть-то? Себя мучить?

— Какъ такъ мучить, — промолвилъ онъ съ разстановкой.

— Да такъ же — мучить! — повторилъ я.

Харловъ замолчалъ и словно въ думу погрузился.

Ободренный этимъ молчаньемъ, я рѣшился быть откровеннымъ, дѣйствовать прямо, на чистоту. (Не забудьте — мнѣ было всего пятнадцать лѣтъ.)

— Мартынъ Петровичъ! — началъ я, усаживаясь возлѣ него. — Я вѣдь все знаю, рѣшительно все! Я знаю, какъ вашъ зять съ вами поступаетъ — конечно, съ согласія вашихъ дочерей. И теперь вы въ такомъ положеніи... Но зачѣмъ же унывать?

Харловъ все молчалъ, и только удочку уронилъ: а я-то — какимъ умницей, какимъ философомъ я себя чувствовалъ!

— Конечно, — заговорилъ я снова: — вы поступили неосторожно, что все отдали вашимъ дочерямъ. Это было очень великодушно съ вашей стороны — и я васъ упрекать не стану. Въ наше время это слишкомъ рѣдкая черта! Но если ваши дочери такъ неблагодарны — то вамъ слѣдуетъ оказать *презрѣніе*... именно *презрѣніе*... и не

тосковать...

— Оставь! — прошепталъ вдругъ Харловъ со скрежетомъ зубовъ, и глаза его, уставленные на прудъ, засверкали злобно...—Уйди!

— Но, Мартынъ Петровичъ...

— Уйди, говорятъ... а то убью!

Я-было совсѣмъ пододвинулся къ нему; но при этомъ послѣднемъ словѣ невольно вскочилъ на ноги. — Что вы такое сказали, Мартынъ Петровичъ?

— Убью, говорятъ тебѣ: уйди! — Дикимъ стономъ, ревомъ вырвался голосъ изъ груди Харлова, но онъ не оборачивалъ головы и продолжалъ съ яростью смотрѣть прямо передъ собой. — Возьму да брошу тебя со всѣми твоими дурацкими совѣтами въ воду—вотъ ты будешь знать, какъ старыхъ людей безпокоить, молокососъ! „Онъ съ ума сошелъ!“ мелькнуло у меня въ головѣ.

Я взглянулъ на него попристальнѣе и остолбенѣлъ окончательно: Мартынъ Петровичъ плакалъ!! Слезинка за слезинкой катилась съ его рѣсницъ по щекамъ... а лицо приняло выраженіе совсѣмъ свирѣпое...

— Уйди!—закричалъ онъ еще разъ:—а то убью тебя, ей-Богу! чтобы другимъ повадно не было!

Онъ дрыгнулъ всѣмъ тѣломъ какъ-то въ бокъ и оскалился, точно кабанъ; я схватилъ ружье и бросился бѣжать. Собака съ лаемъ пустилась вслѣдъ за мною. И она тоже испугалась.

Вернувшись домой, я, разумѣется, матушкѣ ни единымъ словомъ не намекнулъ на то, что видѣлъ, но встрѣтившись съ Сувениромъ, я — чортъ знаетъ почему — разсказалъ ему все. Этотъ противный человѣкъ до того обрадовался моему разсказу, такъ визгливо хохоталъ и даже прыгалъ, что я чуть не побилъ его.

— Эхъ! посмотрѣлъ бы я, — твердилъ онъ, задыхаясь отъ смѣха:—какъ этотъ идолъ, „вшедъ“ Харлусъ, залѣзъ въ тину да и сидитъ въ ней...

— Сходите къ нему на прудъ, коли вамъ такъ любопытно.

— Да; а какъ убьетъ?

Очень мнѣ надоѣлъ Сувениръ, и раскаивался я въ своей

неумѣстной болтливости... Житковъ, которому онъ передалъ мой разсказъ, взглянулъ на дѣло нѣсколько иначе.

— Придется къ полиціи обратиться,—рѣшилъ онъ:—а, пожалуй, и за воинской командой нужно будетъ послать.

Предчувствіе его насчетъ воинской команды не сбылось, — но произошло, дѣйствительно, нѣчто необыкновенное.

XXII.

Въ половинѣ октября, недѣли три спустя послѣ моего свиданія съ Мартыномъ Петровичемъ, я стоялъ у окна моей комнаты, во второмъ этажѣ нашего дома — и, ни о чемъ не помышляя, уныло посматривалъ на дворъ и на пролегавшую за нимъ дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; объ охотѣ невозможно было и помышлять. Все живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Вѣтеръ то глухо завывалъ, то свисталъ порывисто; низкое, безъ всякаго просвѣту небо изъ непріятно-бѣлаго цвѣта переходило въ свинцовый, еще болѣе зловѣщій цвѣтъ, — и дождь, который лилъ, лилъ неумолчно и безпрестанно, внезапно становился еще крупнѣе, еще косѣе—и съ визгомъ расплывался по стекламъ. Деревья совсѣмъ истрепались и какія-то сѣрыя стали: ужъ, кажется, что̀ было съ нихъ взять — а вѣтеръ нѣтъ-нѣтъ — да опять примется тормошить ихъ. Вездѣ стояли засоренныя мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то и дѣло лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по нимъ. Грязь по дорогамъ стояла невылазная; холодъ проникалъ въ комнаты, подъ платье, въ самыя кости; невольная дрожь пробѣгала по тѣлу — и ужъ какъ становилось дурно на душѣ! Именно дурно—не грустно. Казалось, уже никогда не будетъ на свѣтѣ ни солнца, ни блеска, ни красокъ, а вѣчно будетъ стоять эта слякоть и слизь, и сѣрая мокрота, и сырость кислая — и вѣтеръ будетъ вѣчно пищать и ныть! Вотъ, стоялъ я такъ-то въ раздумьѣ у окна— и помню я: темнота набѣжала внезапная, синяя темнота—хотя часы показывали всего двѣнадцать. Вдругъ мнѣ почудилось, что

черезъ нашъ дворъ — отъ воротъ къ крыльцу, промчался медвѣдь! Правда, не на четвереренькахъ, а такой, какимъ его рисуютъ, когда онъ поднимается на заднія лапы. Я глазамъ не вѣрилъ. Если и не медвѣдя я увидалъ, то во всякомъ случаѣ что-то громадное, черное, шершавое... Не успѣлъ я еще сообразить, что бъ это могло быть, какъ вдругъ раздался внизу неистовый стукъ. Казалось, что-то совсѣмъ неожиданное, что-то страшное ввалилось въ нашъ домъ. Поднялась суета, бѣготня...

Я проворно спустился съ лѣстницы, вскочилъ въ столовую...

Въ дверяхъ гостиной, лицомъ ко мнѣ, стояла, какъ вкопанная, моя матушка; за ней виднѣлось нѣсколько испуганныхъ женскихъ лицъ; дворецкій, два лакея, казачокъ съ раскрытыми отъ изумленія ртами — тискались у двери въ переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое—мокрое до того, что паръ поднимался кругомъ и вода струйками бѣжала по полу, стояло на колѣняхъ, грузно колыхаясь и какъ бы замирая, то самое чудовище, которое въ моихъ глазахъ промчалось черезъ дворъ! И кто же былъ это чудовище? Харловъ! Я зашелъ сбоку и увидалъ — не лицо его—а голову, которую онъ обхватилъ ладонями по слѣпленнымъ грязью волосамъ. Онъ дышалъ тяжело, судорожно; что-то даже клокотало въ его груди—и на всей этой забрызганной темной массѣ только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшіе бѣлки глазъ. Онъ былъ ужасенъ! Вспомнился мнѣ сановникъ, котораго онъ нѣкогда оборвалъ за сравненіе съ мастодонтомъ. Дѣйствительно: такой видъ должно было имѣть допотопное животное, только-что спасшееся отъ другого, сильнѣйшаго звѣря, напавшаго на него среди вѣковѣчнаго ила первобытныхъ болотъ.

— Мартынъ Петровичъ! — воскликнула, наконецъ, матушка и руками всплеснула.—Ты ли это! Господи, Боже милостивый!

— Я... я...—послышался прерывистый голосъ, какъ бы *съ усиліемъ и болью* выпирая каждый звукъ:—охъ! Я!

— Но что это съ тобою, Господи?!

— Наталья Николав... на... я къ вамъ.. прямо изъ дому бѣ... жалъ пѣшкомъ...

— По этакой грязи! Да ты на человѣка не похожъ. Встань, сядь по крайней мѣрѣ... А вы,—обратилась она къ горничнымъ:—поскорѣй сбѣгайте за полотенцами. Да нѣтъ ли какого сухого платья? — спросила она дворецкаго.

Дворецкій показалъ руками, что гдѣ же, молъ, на такой ростъ?..—А впрочемъ, одѣяло можно принести,—доложилъ онъ:—не то—попона есть новая.

— Да встань же, встань, Мартынъ Петровичъ, сядь,— повторяла матушка.

— Выгнали меня, сударыня,—простоналъ вдругъ Харловъ, и голову назадъ закинулъ, и руки протянулъ впередъ. — Выгнали, Наталья Николаевна! Родныя дочери, изъ моего же родного пепелища...

Матушка ахнула.

— Что ты говоришь? Выгнали! Экой грѣхъ! экой грѣхъ! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартынъ Петровичъ, сдѣлай милость!

Двѣ горничныя вошли съ полотенцами и остановились передъ Харловымъ. Видно было, что онѣ и придумать не могли, какъ имъ приступиться къ этакой уймѣ грязи. — Выгнали, сударыня, выгнали, твердилъ между тѣмъ Харловъ. — Дворецкій вернулся съ большимъ шерстянымъ одѣяломъ и тоже остановился въ недоумѣніи. Головка Сувенира высунулась изъ-за двери и исчезла.

— Мартынъ Петровичъ! встань! сядь! и разскажи мнѣ все по порядку, — рѣшительнымъ тономъ скомандовала матушка.

Харловъ приподнялся... Дворецкій хотѣлъ-было ему помочь, но только руку замаралъ и, встряхивая пальцами, отступилъ къ двери. Переваливаясь и шатаясь, Харловъ добрался до стула и сѣлъ. Горничныя опять приблизились къ нему съ полотенцами, но онъ отстранилъ ихъ движеніемъ руки и отъ одѣяла отказался. Впрочемъ, матушка сама *не стала настаивать:* обсушить Харлова, очевидно,

не было возможности; только слѣды его на полу наскоро подтерли.

XXIII.

— Какъ же это тебя выгнали?—спросила матушка Харлова, какъ только онъ немного „отдышался“.

— Сударыня! Наталья Николаевна! — началъ онъ напряженнымъ голосомъ—и опять поразила меня безпокойная бѣготня его бѣлковъ:—буду правду говорить: больше всѣхъ виноватъ я самъ.

— То-то вотъ; не хотѣлъ ты меня тогда послушаться,—промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая передъ носомъ надушенымъ платкомъ: очень уже разило отъ Харлова... въ лѣсномъ болотѣ не такъ сильно пахнетъ.

— Охъ, не тѣмъ я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходоносора. Думалъ я: не обидѣлъ меня Господь Богъ умомъ-разумомъ; коли я что рѣшилъ — стало, такъ и слѣдуетъ... а тутъ страхъ смерти подошелъ... Вовсе я сбился! Покажу, молъ, я, на послѣдкахъ, силу да власть свою! Награжу—а они должны по гробъ чувствовать... (Харловъ вдругъ весь всколыхался...) Какъ пса паршиваго выгнали изъ дому вонъ! Вотъ ихъ какова благодарность!

— Но какимъ же образомъ, — опять начала-было матушка...

— Казачка Максимку отъ меня взяли, — перебилъ ее Харловъ (глаза его продолжали бѣгать, обѣ руки онъ держалъ у подбородка — пальцы въ пальцы) — экипажъ отняли, мѣсячину урѣзали, жалованья выговореннаго не платили—кругомъ, какъ есть, окорнали—я все молчалъ, все терпѣлъ! И терпѣлъ я по причинѣ... охъ! опять-таки гордости моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вотъ, молъ, старый дуракъ, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, молъ, своего не укусишь!—вотъ, я и терпѣлъ... Только, сегодня прихожу я къ себѣ въ комнату—а ужъ она занята—и постельку мою въ чуланъ выкинули! Можешь-де и тамъ спать; тебя

и такъ за милость терпятъ; намъ-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мнѣ говоритъ — кто же! Володька Слеткинъ, смердъ, паскуд...

Голосъ Харлова оборвался.

— Но дочери-то твои? Онѣ-то что̀ же? — спросила матушка.

— А я все терпѣлъ,—продолжалъ Харловъ свое повѣствованіе:—горько, горько мнѣ было во̀-какъ, и стыдно... Не глядѣлъ бы на свѣтъ Божій! Оттого я къ вамъ, матушка, поѣхать не захотѣлъ — отъ этого отъ самаго отъ стыда, отъ страму! Вѣдь я, матушка моя, все перепробовалъ: и лаской, и угрозой, и усовѣщивалъ-то ихъ, и что̀ ужъ! кланялся... вотъ такъ-то (Харловъ показалъ, какъ онъ кланялся). И все понапрасну! И все-то я терпѣлъ! Съ началу-то, на первыхъ-то порахъ, не такія у меня мысли были: возьму, молъ, перебью, перешвыряю всѣхъ, чтобы и на сѣмена не осталось... Будутъ знать! Ну, а потомъ—покорился! Крестъ, думаю, мнѣ посланъ; къ смерти, значитъ, приготовиться надо. И вдругъ, сегодня, какъ пса! И кто же? Володька! А что̀ вы о дочеряхъ спрашивать изволили, то развѣ въ нихъ есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!

Матушка удивилась.—Про Анну я еще это понять могу; она—жена... Но съ какой стати вторая-то твоя...

— Евлампія-то? Хуже Анны! Вся, какъ есть, совсѣмъ въ Володькины руки отдалась. По той причинѣ она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Аннѣ—видимое дѣло—слѣдовало бы обидѣться, да она и терпѣть сестры не можетъ—а покоряется! Околдовалъ, проклятый! Да ей же, Аннѣ, вишь, думать пріятно, что вотъ, молъ, ты, Евлампія, какая всегда была гордая, а теперь вонъ что̀ изъ тебя стало!.. О... охъ, охъ! Боже мой, Боже!

Матушка съ безпокойствомъ посмотрѣла на меня. Я отошелъ немножко въ сторону, изъ предосторожности, какъ бы меня не выслали...

— Очень сожалѣю, Мартынъ Петровичъ,—начала она:— что мой бывшій воспитанникъ причинилъ тебѣ столько

горя и такимъ нехорошимъ человѣкомъ оказался; но вѣ
и я въ немъ ошиблась... Кто могъ это ожидать отъ пе
— Сударыня, — простоналъ Харловъ и ударилъ се
въ грудь.—Не могу я снести неблагодарность моихъ д
черей! Не могу, сударыня! Вѣдь я имъ все, все отдал
И къ тому же, совѣсть меня замучила. Много... ох
много передумалъ я, у пруда сидючи, да рыбу удюч
„Хоть бы ты пользу кому въ жизни сдѣлалъ! размышля
я такъ-то:—бѣдныхъ награждалъ, крестьянъ на волю о
пустилъ, что-ли, за то, что вѣкъ ихъ заѣдалъ! Вѣдь
передъ Богомъ за нихъ отвѣтчикъ! Вотъ когда тебѣ отл
ваются ихъ слезки!“ И какая теперь ихъ судьба: бы
яма глубокая и при мнѣ—что грѣха таить—а теперь
дна не видать! Эти всѣ грѣхи я на душу взялъ, совѣст
для дѣтей пожертвовалъ, а мнѣ за это шишъ! Изъ до
меня пинькомъ, какъ пса!

— Полно объ этомъ думать, Мартынъ Петровичъ,-
замѣтила матушка.

— И какъ онъ мнѣ сказалъ, вашъ-то Володька, —
новой силой подхватилъ Харловъ:—какъ сказалъ онъ ми
что мнѣ въ моей горенкѣ больше не жить, а я въ сам
той горенкѣ каждое бревнышко собственными рука
клалъ — какъ сказалъ онъ мнѣ это — и Богъ знаетъ, ч
со мной приключилось! Въ головушкѣ помутилось,
сердцу какъ ножомъ... Ну! либо его зарѣзать, либо и
дому вонъ!... Вотъ, я и побѣжалъ къ вамъ, благодѣтел
ница моя, Наталья Николаевна... и куды жъ мнѣ бы
голову приклонить? А тутъ дождь, слякоть... Я, может
разъ двадцать упалъ! И теперь... въ этакомъ безобразіи

Харловъ окинулъ себя взглядомъ и завозился на стул
словно встать собирался.

— Полно тебѣ, полно, Мартынъ Петровичъ,—поспѣш
проговорила матушка: — какая въ томъ бѣда? Что
полъ-то замаралъ? Эка важность! А я вотъ какое хо
тебѣ предложеніе сдѣлать. Слушай! Отведутъ тебя тепе
въ особую комнату, постель дадутъ чистую—ты раздѣнь
умойся, да прилягъ и усни...

— *Матушка*, Наталья Николаевна! Не уснуть мнѣ!

уныло промолвилъ Харловъ.—Въ мозгахъ-то словно молотами стучатъ! Вѣдь меня, какъ тварь непотребную...

— Лягъ, усни, — настойчиво повторила матушка. — А потомъ мы тебя чаемъ напоимъ — ну, и потолкуемъ съ тобою. Не унывай, пріятель старинный! Если тебя изъ *твоего* дома выгнали, въ *моемъ* домѣ ты всегда найдешь себѣ пріютъ... Я вѣдь не забыла, что ты мнѣ жизнь спасъ.

— Благодѣтельница! — простоналъ Харловъ и закрылъ лицо руками. — Спасите *вы* меня теперь!

Это воззваніе тронуло мою матушку почти до слезъ. — Охотно готова тебѣ помочь, Мартынъ Петровичъ, всѣмъ, чѣмъ только могу; но ты долженъ обѣщать мнѣ, что будешь впередъ меня слушаться и всякія недобрыя мысли прочь отъ себя отгонишь.

Харловъ принялъ руки отъ лица.—Коли нужно,—промолвилъ онъ:—я вѣдь и простить могу!

Матушка одобрительно кивнула головой. — Очень мнѣ пріятно видѣть тебя въ такомъ истинно-христіанскомъ расположеніи духа, Мартынъ Петровичъ; но рѣчь объ этомъ впереди. Пока, приведи ты себя въ порядокъ — а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича въ зеленый кабинетъ покойнаго барина, — обратилась матушка къ дворецкому, — и что онъ только потребуетъ, чтобы сію минуту было! Платье его прикажи высушить и вычистить — а бѣлье, какое понадобится, спроси у кастелянши—слышишь?

— Слушаю,—отвѣчалъ дворецкій.

— А какъ онъ проснется, мѣрку съ него прикажи снять портному; да бороду надо будетъ сбрить. Но сейчасъ, а послѣ.

— Слушаю, — повторилъ дворецкій. — Мартынъ Петровичъ, — пожалуйте. — Харловъ поднялся, посмотрѣлъ на матушку, хотѣлъ-было подойти къ ней, но остановился, отвѣсилъ поясной поклонъ, перекрестился трижды на образъ и пошелъ за дворецкимъ. Вслѣдъ за нимъ и я выскользнулъ изъ комнаты.

XXIV.

Дворецкій привелъ Харлова въ зеленый кабинетъ и тотчасъ побѣжалъ за кастеляншей, такъ какъ бѣлья на постели не оказалось. Сувениръ, встрѣтившій насъ въ передней и вмѣстѣ съ нами вскочившій въ кабинетъ, немедленно принялся, съ кривляньемъ и хохотомъ, вертѣться около Харлова, который, слегка разставивъ руки и ноги въ раздумьѣ остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь съ него.

— Вшедъ! Вшедъ Харлусъ! — пищалъ Сувениръ, перегнувшись на-двое и держа себя за бока. — Великій основатель знаменитаго рода Харловыхъ, воззри на своего потомка. Каковъ онъ есть? Можешь его признать? Ха-ха-ха! Ваше сіятельство, пожалуйте ручку! Отчего это на васъ черныя перчатки?

Я хотѣлъ-было удержать, пристыдить Сувенира... но не тутъ-то было!

— Приживальщикомъ меня величалъ, дармоѣдомъ! „Нѣтъ, молъ, у тебя своего крова!“ А теперь, небось, такимъ же приживальщикомъ сталъ, какъ и азъ грѣшный! Что̀ Мартынъ Харловъ, что̀ Сувениръ проходимецъ — теперь все едино! Подачками тоже кормиться будетъ! Возьмутъ корку хлѣба завалящую, что̀ собака нюхала, да прочь пошла... На, молъ, кушай! Ха-ха-ха!

Харловъ все стоялъ неподвижно, уткнувъ голову, разставивъ ноги и руки.

— Мартынъ Харловъ! столбовой дворянинъ! — продолжалъ пищать Сувениръ. — Важность-то какую на себя напустилъ, фу ты, ну ты! Не подходи, молъ, зашибу! А какъ имѣнье свое отъ большого ума сталъ отдавать да дѣлить—куды раскудахтался! „Благодарность! — кричитъ, — благодарность!“ А меня-то за что обидѣлъ? Не наградилъ? Я, быть-можетъ, лучше бы восчувствовалъ! И значитъ, правду я говорилъ, что посадятъ его голой спиной...

— *Сувениръ*!—закричалъ я; но Сувениръ не унимался.

Харловъ все не трогался; казалось, онъ только теперь начиналъ чувствовать, до какой степени все на немъ было мокро, и ждалъ, когда это съ него все снимутъ. Но дворецкій не возвращался.

— А еще воинъ! — началъ опять Сувениръ. — Въ двѣнадцатомъ году отечество спасалъ! храбрость свою показывалъ! То-то вотъ и есть: съ мерзлыхъ мародеровъ портки стащить, это наше дѣло; а какъ дѣвка на насъ ногой притопнетъ, у насъ у самихъ душа въ портки...

— Сувениръ!—закричалъ я вторично.

Харловъ искоса посмотрѣлъ на Сувенира; онъ, до того мгновенья, словно и присутствія его не замѣчалъ, и только возгласъ мой возбудилъ его вниманіе.

— Смотри, братъ,—проворчалъ онъ глухо:—не допрыгайся до бѣды!

Сувениръ такъ и покатился со смѣху. — Охъ, какъ вы меня испугали, братецъ почтеннѣйшій! ужъ какъ вы страшны, право! Хоть бы волосики себѣ причесали, а то, сохрани Богъ, засохнутъ, не отмоешь ихъ потомъ; придется скосить косою. — Сувениръ вдругъ расходился. — Еще куражитесь! Голышъ, а куражится! Гдѣ вашъ кровъ теперь, вы лучше мнѣ скажите, вы все имъ хвастались? У меня, дескать, кровъ есть, а ты безкровный! Наслѣдственный, дескать, мой кровъ! (Далось же Сувениру это слово!)

— Господинъ Бычковъ, — промолвилъ я. — Что вы дѣлаете! опомнитесь!

Но онъ продолжалъ трещать, и все прыгалъ, да шмыгалъ около самаго Харлова... А дворецкій съ кастеляншей все не шли!

Мнѣ жутко становилось. Я начиналъ замѣчать, что Харловъ, который въ теченіе разговора съ моей матушкой постепенно стихалъ, и даже подъ конецъ, повидимому, помирился съ своей участью, снова сталъ раздражаться: онъ задышалъ скорѣе, подъ ушами у него вдругъ словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забѣгали среди темной маски забрызганнаго лица...

— Сувениръ! Сувениръ!—воскликнулъ я.—Перестаньте, я маменькѣ скажу.

Но Сувенировъ словно бѣсъ овладѣлъ.

— Да, да, почтеннѣйшій!—затрещалъ онъ опять:—вотъ мы съ вами теперь въ какихъ субтильныхъ обстоятельствахъ обрѣтаемся! А дочки ваши, съ зятькомъ вашимъ, Владиміромъ Васильевичемъ, подъ вашимъ *кровомъ* надъ вами потѣшаются вдоволь! И хоть бы вы ихъ, по обѣщанію, прокляли! И на это васъ не хватило! Да и куда вамъ съ Владиміромъ Васильевичемъ тягаться? Еще Володькой его называли! какой онъ для васъ Володька? Онъ Владиміръ Васильевичъ, господинъ Слеткинъ, помѣщикъ, баринъ, а ты—кто такой?

Неистовый ревъ заглушилъ рѣчь Сувенира... Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинѣло, пѣна показалась на истрескавшихъ губахъ, онъ задрожалъ отъ ярости. — Кровъ,—говоришь ты! — загремѣлъ онъ своимъ желѣзнымъ голосомъ: — проклятіе!— говоришь ты... — Нѣтъ! я ихъ не прокляну... Имъ это нипочемъ! А кровъ... кровъ я ихъ разорю, и не будетъ у нихъ крова, такъ же, какъ у меня! Узнаютъ они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнаютъ, какъ надо мной издѣваться!.. Не будетъ у нихъ крова!

Я обомлѣлъ; я отроду не бывалъ свидѣтелемъ такого безмѣрнаго гнѣва. Не человѣкъ, — дикій звѣрь метался предо мною! Я обомлѣлъ... а Сувенировъ,—тотъ отъ страха подъ столъ забился.

— Не будетъ!—закричалъ Харловъ въ послѣдній разъ, и, чуть не сбивъ съ ногъ входившихъ кастелянши и дворецкаго, бросился вонъ изъ дому... Кубаремъ прокатился онъ по двору и исчезъ за воротами.

XXV.

Матушка страшно разсердилась, когда дворецкій пришелъ съ смущеннымъ видомъ доложить о новой и неожиданной отлучкѣ Мартына Петровича. Онъ не осмѣлился утаить причину этой отлучки; я принужденъ былъ подтвердить его слова. — Такъ это все ты! — закричала матушка на Сувенира, который забѣжалъ-было зайцемъ

впередъ и даже къ ручкѣ подошелъ: — твой пакостный языкъ всему виною! — „Помилуйте, я чичасъ, чичасъ...“ залепеталъ, заикаясь и закидывая локти за спину, Сувениръ. — „Чичасъ... чичасъ... Знаю я твое: „чичасъ!“ — повторила матушка съ укоризной и выслала его вонъ. Потомъ она позвонила, велѣла позвать Квицинскаго и отдала ему приказъ: немедленно отправиться съ экипажемъ въ Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привезти его. — Безъ него не являйтесь! — заключила она. Сумрачный полякъ молча наклонилъ голову и вышелъ.

Я вернулся къ себѣ въ комнату, снова подсѣлъ къ окну и, помнится, долго размышлялъ о томъ, что̀ у меня на глазахъ совершилось. Я недоумѣвалъ; я никакъ не могъ понять, почему Харловъ, почти безъ ропота переносившій оскорбленія, нанесенныя ему домашними, не могъ совладать съ собою и не перенесъ насмѣшекъ и шпилекъ такого ничтожнаго существа, каковъ былъ Сувениръ. Я не зналъ еще тогда, какая нестерпимая горечь можетъ иной разъ заключаться въ пустомъ упрекѣ, даже когда онъ исходитъ изъ презрѣнныхъ устъ... Ненавистное имя Слеткина, произнесенное Сувениромъ, упало искрою въ порохъ; наболѣвшее мѣсто не выдержало этого послѣдняго укола.

Прошло около часа. Коляска наша въѣхала на дворъ; но въ ней сидѣлъ нашъ управляющій одинъ. А матушка ему сказала: „безъ *него* не являйтесь!“ Квицинскій торопливо выскочилъ изъ экипажа—и взбѣжалъ на крыльцо. Лицо его являло видъ разстроенный—что съ нимъ почти никогда не бывало. Я тотчасъ спустился внизъ и по его пятамъ пошелъ въ гостиную.

— Ну? привезли его?—спросила матушка.

— Не привезъ, — отвѣчалъ Квицинскій: — и не могъ привезти.

— Это почему? Вы его видѣли?

— Видѣлъ.

— Съ нимъ что̀ случилось? Ударъ?

— Никакъ *нѣтъ; ничего* не случилось.

— Почему же вы не привезли его?

— А онъ домъ свой разоряетъ.

— Какъ?

— Стоитъ на крышѣ новаго флигеля—и разоряетъ е Тесинъ, полагать надо, съ сорокъ или больше уже слетѣ рѣшетинъ тоже штукъ пять. („Крòва у нихъ не будет вспомнились мнѣ слова Харлова).

Матушка уставилась на Квицинскаго. — Одинъ... крышѣ стоитъ и крышу разоряетъ?

— Точно такъ-съ. Ходитъ по пастилкѣ чердака и н право, да налѣво ломаетъ. Сила у него, вы изволите знат сверхчеловѣческая! Ну, и крыша, надо правду сказать, л дащая: выведена вразбѣжку,—шалёвками забрана, гвозди— однотесъ *).

Матушка посмотрѣла на меня, какъ бы желая удостовѣриться, не ослышалась ли она какъ-нибудь.—Шалёвками вразбѣжку,—повторила она, явно не понимая значенія ни одного изъ этихъ словъ...

— Ну, такъ что же вы?—проговорила она наконецъ.

— Пріѣхалъ за инструкціями. Безъ людей ничего не подѣлаешь. Тамошніе крестьяне всѣ со страха попрятались.

— А дочери-то его—что̀ же?

— И дочери—ничего. Бѣгаютъ, зря... голосятъ... Что толку?

— И Слеткинъ тамъ?

— Тамъ тоже. Пуще всѣхъ вопитъ—но подѣлать ничего не можетъ.

— И Мартынъ Петровичъ на крышѣ стоитъ?

— На крышѣ... то-есть на чердакѣ—и крышу разоряетъ.

— Да, да,—проговорила матушка:—шалёвками...

Казусъ, очевидно, предстоялъ необыкновенный.

Что̀ было предпринять? Послать въ городъ за исправникомъ, собрать крестьянъ? Матушка совсѣмъ потерялась.

---

*) Крыша выводится „вразбивку“ или „вразбѣжку“, когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной; такая крыша дешевле, но менѣе прочна. Шалевкой называется самая тонкая доска въ ½ вершка; обыкновенная тесина—въ ¾ вершка.

Пріѣхавшій къ обѣду Житковъ тоже потерялся. Пр
онъ упомянулъ опять о воинской командѣ, а впрос
никакого совѣта не преподалъ и только глядѣлъ по
пенно и преданно. Квицинскій, видя, что никакихъ
струкцій ему не добиться, доложилъ—со свойственной
презрительной почтительностью—моей матушкѣ, что
она разрѣшитъ ему взять нѣсколько конюховъ, садовни
и другихъ дворовыхъ, то онъ попытается...

— Да, да,—перебила его матушка:—попытайтесь,
безный Викентій Осипычъ! Только поскорѣе, пожалуй
а я все беру на свою отвѣтственность!

Квицинскій холодно улыбнулся. — Одно напередъ
вольте объяснить вамъ, сударыня: за результатъ не
можно ручаться, ибо сила у господина Харлова боль
и отчаянность тоже; очень ужъ онъ оскорбленнымъ
почитаетъ!

— Да, да,—подхватила матушка:—и всему виною э
гадкій Сувениръ! Никогда я этого ему не прощу.
пайте, возьмите людей, поѣзжайте, Викентій Осипыч

— Вы, господинъ управляющій, веревокъ побольше
хватите—да пожарныхъ крючьевъ, — промолвилъ ба
Житковъ:—и коли сѣть имѣется—то и ее тоже взять
дурно. У насъ вотъ такъ-то однажды въ полку...

— Не извольте учить меня, милостивый государ
перебилъ съ досадой Квицинскій: — я и безъ васъ з
что нужно.

Житковъ обидѣлся и объявилъ, что такъ какъ
полагалъ, что и его позовутъ...

— Нѣтъ, нѣтъ!—вмѣшалась матушка.—Ты ужъ ле
оставайся... Пускай Викентій Осипычъ одинъ дѣйствуе
Ступайте, Викентій Осипычъ!

Житковъ еще пуще обидѣлся, а Квицинскій поклон
и вышелъ.

Я бросился въ конюшню, самъ наскоро осѣдлалъ
верховую лошадку и пустился вскачь по дорогѣ
Еськову.

XXVI.

Дождикъ пересталъ, но вѣтеръ дулъ съ удвоенной силой — прямо мнѣ навстрѣчу. На полдорогѣ сѣдло подо мною чуть не перевернулось: подпруга ослабла; я слѣзъ и принялся зубами натягивать ремни... Вдругъ слышу: кто-то зоветъ меня по имени... Сувениръ бѣжалъ ко мнѣ по зеленямъ. — Что, батенька, — кричалъ онъ мнѣ еще издали:—любопытство одолѣло? Да и нельзя... Вотъ, и я туда же, прямикомъ, по Харловскому слѣду... Вѣдь этакой штуки умрешь—не увидишь!

— На дѣло рукъ своихъ хотите полюбоваться, — промолвилъ я съ негодованіемъ, вскочилъ на лошадь и снова поднялъ ее въ галопъ; но неугомонный Сувениръ не отставалъ отъ меня, и даже на бѣгу хохоталъ и кривлялся. Вотъ, наконецъ, и Еськово — вотъ и плотина, а тамъ длинный плетень и ракитникъ усадьбы... Я подъѣхалъ къ воротамъ, слѣзъ, привязалъ лошадь и остановился въ изумленіи.

Отъ передней трети крыши на новомъ флигелькѣ, отъ мезонина, оставался одинъ остовъ; дрань и тесины лежали безпорядочными грудами съ обѣихъ сторонъ флигеля на землѣ. Положимъ, крыша была, по выраженію Квицинскаго, ледащая; но, все же, дѣло было невѣроятное! По настилкѣ чердака, вздымая пыль и соръ, неуклюже-проворно двигалась изчерна-сѣрая масса и то раскачивала оставшуюся, изъ кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась), то отдирала тесину и бросала ее къ низу, то хваталась за самыя стропила. То былъ Харловъ. Совершеннымъ медвѣдемъ показался онъ мнѣ и тутъ: и голова, и спина, и плечи — медвѣжьи, и ставилъ онъ ноги широко, не разгибая ступни — тоже по-медвѣжьему. Рѣзкій вѣтеръ обдувалъ его со всѣхъ сторонъ, вздымая его сколоченные волосы; страшно было видѣть, какъ мѣстами краснѣло его голое тѣло сквозь прорѣхи разорваннаго платья; страшно было слышать его дикое, хриплое бормотаніе. На дворѣ было людно; бабы, мальчишки, дворовыя дѣвки жались вдоль забора; нѣ-

сколько крестьянъ сбилось поодаль въ отдѣльную кучу. Знакомый мнѣ старикъ-попъ стоялъ безъ шляпы на крыльцѣ другого флигеля и, схвативъ мѣдный крестъ обѣими руками, время отъ времени, молча и безнадежно поднималъ и какъ бы показывалъ его Харлову. Рядомъ съ попомъ стояла Евлампія и, прислонившись спиною къ стѣнѣ, неподвижно смотрѣла на отца; Анна — то высовывала голову изъ окошка, то исчезала, то выскакивала на дворъ, то возвращалась въ домъ; Слеткинъ — весь блѣдный, желтый, въ старомъ шлафрокѣ, въ ермолкѣ, съ одноствольнымъ ружьемъ въ рукахъ, перебѣгалъ короткими шагами съ мѣста на мѣсто. Онъ совсѣмъ, какъ говорится, ожидовѣлъ: задыхался, грозился, трясся, цѣлился въ Харлова, потомъ закидывалъ ружье за плечо,— цѣлился опять, кричалъ, плакалъ... Увидавъ меня съ Сувениромъ, онъ такъ и рванулся къ намъ.

— Посмотрите, посмотрите, что̀ тутъ происходитъ!— завизжалъ онъ: — посмотрите! Онъ съ ума сошелъ, взбѣленился... и вотъ что дѣлаетъ! Я ужъ за полиціей послалъ—да никто не ѣдетъ! Никто не ѣдетъ! Вотъ если я въ него выстрѣлю, съ меня законъ взыскать не можетъ, потому что всякій человѣкъ въ правѣ защищать свою собственность! А я выстрѣлю!.. Ей-Богу, выстрѣлю!

Онъ подскочилъ къ дому.

— Мартынъ Петровичъ, берегитесь! Если вы не сойдете—я выстрѣлю!

— Стрѣляй! — раздался съ крыши хриплый голосъ.— Стрѣляй! А вотъ тебѣ пока гостинецъ!

Длинная доска полетѣла сверху — и перевернувшись раза два на воздухѣ, брякнулась на̀-земь у самыхъ ногъ Слеткина. Тотъ такъ и взвился, а Харловъ захохоталъ.

— Господи Іисусе! — пролепеталъ кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувениръ. „А!“ подумалъ я; „перестаетъ теперь смѣяться!“

Слеткинъ схватилъ близъ стоявшаго мужика за шиворотъ.

— Да полѣзай, полѣзай же, полѣзайте, черти,— вопилъ онъ, трясь *его изо всей силы*—спасайте мое имущество!

Мужикъ ступилъ раза два, закинулъ голову, помахалъ руками, закричалъ: — Эй! вы! господинъ! — потолокся на мѣстѣ и верть назадъ.

— Лѣстницу! лѣстницу несите! — обратился Слеткинъ къ прочимъ крестьянамъ.

— А гдѣ ее взять?—послышалось ему въ отвѣтъ.

— И хоть бы лѣстница была,—промолвилъ, не спѣша, одинъ голосъ: — кому жъ охота лѣзть? Нашли дураковъ! Онъ те шею свернетъ—мигомъ!

— С'часъ убіеть, — проговорилъ одинъ молодой бѣлокурый парень съ придурковатымъ лицомъ.

— А то нешто нѣтъ? — подхватили остальные. Мнѣ показалось, что не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказаніе своего новаго помѣщика. Чуть ли не одобряли они Харлова — хоть и удивлялъ онъ ихъ.

— Ахъ, вы, разбойники!—застоналъ Слеткинъ:—вотъ я васъ всѣхъ...

Но тутъ съ тяжкимъ грохотомъ бухнула послѣдняя труба и среди мгновенно взвившагося облака желтой пыли, Харловъ, испустивъ пронзительный крикъ и высоко поднявъ окровавленныя руки, повернулся къ намъ лицомъ. Слеткинъ опять въ него прицѣлился.

Евлампія отдернула его за локоть.

— Не мѣшай!—свирѣпо вскинулся онъ на нее.

— А ты—не смѣй!—промолвила она—и синіе ея глаза грозно сверкнули изъ-подъ надвинутыхъ бровей. Отецъ свой домъ разоряетъ. Его добро.

— Врешь: наше!

— Ты говоришь: наше;—а я говорю: его.

Слеткинъ зашипѣлъ отъ злобы; Евлампія такъ и уперлась ему въ лицо глазами.

— А, здорово! здорово, дочка любезная! — загремѣлъ сверху Харловъ. — Здорово, Евлампія Мартыновна! Какъ живешь-можешь со своимъ пріятелемъ? — Хорошо ли цѣлуетесь, милуетесь?

— Отецъ!—послышался звучный голосъ Евлампіи.

— Что, дочка? — отвѣчалъ Харловъ и пододвинулся

къ самому краю стѣны. На лицѣ его, сколько я могъ разобрать, появилась странная усмѣшка, — свѣтлая, веселая, — и именно потому особенно-страшная, недобрая усмѣшка... Много лѣтъ спустя я видѣлъ такую же точно усмѣшку на лицѣ одного къ смерти приговореннаго.

— Перестань, отецъ; сойди (Евлампія не говорила ему: „батюшка"). Мы виноваты; все тебѣ возвратимъ. Сойди.

— А ты что за насъ распоряжаешься? — вмѣшался Слеткинъ. Евлампія только пуще брови нахмурила

— Я свою часть тебѣ возвращу — все отдамъ. Перестань, сойди, отецъ! Прости насъ; прости меня.

Харловъ все продолжалъ усмѣхаться. — Поздно, голубушка, — заговорилъ онъ, и каждое его слово звенѣло, какъ мѣдь. — Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Подъ гору покатилось—теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я—пропащій человѣкъ! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь, какой красавчикъ выискался! Да на свою ехидную сестру посмотри: вонъ, ея лисій носъ изъ окошка выставляется, вонъ она муженькаю подуськиваетъ! Нѣтъ, сударики! Захотѣли вы меня крова лишить—такъ не оставлю же я и вамъ бревна на бревнѣ! Своими руками клалъ, своими же руками разорю — какъ есть однѣми руками! Видите, и топора не взялъ!

Онъ фукнулъ себѣ на обѣ ладони и опять ухватился за стропила.

— Полно, отецъ, — говорила межъ тѣмъ Евлампія, и голосъ ея сталъ какъ-то чудно ласковъ: — не поминай прошлаго. Ну, повѣрь же мнѣ; ты всегда мнѣ вѣрилъ. Ну, сойди; приди ко мнѣ въ свѣтелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя, да согрѣю; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себѣ ободралъ. Будешь ты жить у меня, какъ у Христа за пазухой, кушать сладко—а спать еще слаще того. Ну, были виноваты! ну, зазнались, согрѣшили; ну, прости!

Харловъ покачалъ головою. — Расписывай! Повѣрю я вамъ, какъ бы не такъ! Убили вы во мнѣ вѣру-то! Все убили! Было я орломъ—и червякомъ для васъ сдѣлался... а вы — *и червяка давить?* Полно! Я тебя любилъ, сама

знаешь,—а только теперь ты мнѣ не дочь—и я тебѣ не отецъ... Я—пропащій человѣкъ! Не мѣшай! А ты, стрѣляй же, трусъ, горе-богатырь!—гаркнулъ вдругъ Харлов на Слеткина. — Что все только цѣлишься? Али закон вспомнилъ: коли припявшій даръ учинитъ покушеніе н жизнь дателя,—заговорилъ Харловъ съ разстановкой:—т датель властенъ все назадъ потребовать? Ха-ха, не бойс законникъ! Я не потребую—я самъ все покончу... Валя

— Отецъ!—въ послѣдній разъ взмолилась Евлампія.

— Молчи!

— Мартынъ Петровичъ! братецъ, простите великоду по!—пролепеталъ Сувениръ.

— Отецъ, голубчикъ!

— Молчи, сука!—крикнулъ Харловъ. На Сувенира о и не посмотрѣлъ—и только сплюнулъ въ его сторону.

XXVII.

Въ это мгновенье Квицинскій со всей своей свитой на трехъ телѣгахъ—появился у воротъ. Усталыя лоша фыркали, люди одинъ за однимъ соскакивали въ грязь.

— Эге! — закричалъ во все горло Харловъ. — Армія вотъ она, армія! Цѣлую армію противъ меня выставляют Хорошо же! Только предваряю, кто ко мнѣ сюда крышу пожалуетъ — и того я вверхъ тормашками вни спущу! Я хозяинъ строгій, не въ пору гостей не любл Такъ-то!

Онъ уцѣпился обѣими руками за переднюю пару стр пилъ, за такъ-называемыя „ноги“ фронтона — и нача усиленно ихъ раскачивать. Свѣсившись съ краю настил онъ какъ бы тащилъ ихъ за собою, мѣрно напѣвая п бурлацкому: „Еще разикъ! еще разъ! ухъ!“

Слеткинъ подбѣжалъ къ Квицинскому и началъ-бы жаловаться и хныкать... Тотъ попросилъ его „не мѣшат и приступилъ къ исполненію задуманнаго имъ план Самъ онъ сталъ впереди дома и началъ, въ видѣ д версіи, объяснять Харлову, что не дворянское онъ з тѣялъ дѣло...

— *Еще разикъ!* еще разъ!—напѣвалъ Харловъ.

...Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того отъ него ожидала...

— Еще разикъ! еще разъ! ухъ!—напѣвалъ Харловъ— ...а между тѣмъ Квицинскій отрядилъ четырехъ самыхъ здоровыхъ и смѣлыхъ конюховъ на противоположную сторону дома, съ тѣмъ, чтобы они сзади взобрались на крышу. Отъ Харлова, однако, не ускользнулъ планъ атаки; онъ вдругъ бросилъ стропила и проворно побѣжалъ къ задней части мезонина. Видъ его до того былъ страшенъ, что два конюха, которые успѣли уже взобраться на чердакъ, мигомъ спустились обратно на землю по водосточной трубѣ, къ немалому удовольствію и даже хохоту дворовыхъ мальчишекъ. Харловъ потрясъ имъ вслѣдъ кулакомъ и, вернувшись къ передней части дома, опять ухватился за стропила и сталъ ихъ опять раскачивать, опять напѣвая по-бурлацки.

Онъ вдругъ остановился, вòззрѣлся...

— Максимушка, другъ! пріятель!—воскликнулъ онъ:— тебя ли я вижу?

Я оглянулся... Отъ толпы крестьянъ дѣйствительно отдѣлился казачокъ Максимка, и, ухмыляясь и скаля зубы, вышелъ впередъ. Его хозяинъ, шорникъ, вѣроятно, отпустилъ его домой на побывку.

— Полѣзай ко мнѣ, Максимушка, слуга мой вѣрный,— продолжалъ Харловъ: — станемъ вмѣстѣ отбиваться отъ лихихъ татарскихъ людей, отъ воровъ литовскихъ!

Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полѣзъ на крышу... Но его схватили и оттащили — Богъ знаетъ почему — развѣ для примѣра другимъ; помощи большой онъ Мартыну Петровичу не оказалъ бы.

— Ну, хорошо же! Добро же! — промолвилъ Харловъ угрожающимъ голосомъ и снова взялся за стропила.

— Викентій Осиповичъ! позвольте я выстрѣлю,—обратился Слеткинъ къ Квицинскому: — я, вѣдь, больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинникомъ. — Но не успѣлъ еще отвѣтить ему Квицинскій, какъ передняя пара стропилъ, яростно раскачанная желѣзными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на дворъ—и

вмѣстѣ съ нею, не будучи въ силахъ удержаться, рухнулъ самъ Харловъ и грузно треснулся о̀-земь. Всѣ вздрогнули, ахнули... Харловъ лежалъ неподвижно на груди, а въ спину ему уперся продольный верхній брусъ крыши, конекъ, который послѣдовалъ за упавшимъ фронтономъ.

XXVIII.

Къ Харлову подскочили, свалили долой съ него брусъ, повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь; онъ не дышалъ. „Духъ отшибло“— пробормотали подошедшіе мужики. Побѣжали за водой къ колодцу, принесли цѣлое ведро, окатили Харлову голову; грязь и пыль сошли съ лица, но безжизненный видъ оставался тотъ же. Притащили скамейку, поставили ее у самаго флигеля и, съ трудомъ приподнявши громадное тѣло Мартына Петровича, посадили его, прислонивъ голову къ стѣнѣ. Казачокъ Максимка приблизился, сталъ на одно колѣно и, далеко отставивъ другую ногу, какъ-то театрально поддерживалъ руку бывшаго своего барина. Евлампія, блѣдная, какъ сама смерть, стала прямо передъ отцомъ, неподвижно устремивъ на него свои огромные глаза. Анна съ Слеткинымъ не подходили близко. Всѣ молчали, всѣ ждали чего-то. Наконецъ, послышались прерывистые, хлопающіе звуки въ горлѣ Харлова—точно онъ захлебывался... Потомъ онъ слабо повелъ одной—правой рукой (Максимка поддерживалъ лѣвую), раскрылъ одинъ— правый глазъ и, медленно проведя около себя взоромъ, словно какимъ-то страшнымъ пьянствомъ пьяный, охнулъ— произнесъ, картавя:—рас...шибся...—и, какъ бы подумавъ немного, прибавилъ:—вотъ онъ, воро...ной жере...бенокъ!— Кровь вдругъ густо хлынула у него изо рта — все тѣло затрепетало...

„Конецъ!“ подумалъ я... Но Харловъ открылъ еще— все тотъ же правый глазъ (лѣвое вѣко не шевелилось, какъ у мертвеца) — и, вперивъ его на Евлампію, произнесъ едва слышно: — Ну доч...ка... Тебя я не про... — Квицинскій рѣзкимъ движеніемъ руки подозвалъ попа, *который все еще* стоялъ на крыльцѣ флигеля... Старикъ

приблизился, путаясь слабыми колѣнями въ тѣсной рясѣ. Но вдругъ ноги Харлова какъ-то безобразно повело и животъ тоже; по лицу, снизу вверхъ, прошла неровная судорога — точно такъ же исказилось и задрожало лицо Евлампіи. Максимка началъ креститься... Мнѣ стало жутко, я побѣжалъ къ воротамъ и, не оглядываясь, приникъ къ нимъ грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудѣло по всѣмъ устамъ сзади меня — и я понялъ, что Мартына Петровича не стало.

Ему брусомъ затылокъ проломило, и грудь онъ себѣ раздробилъ, какъ оказалось при вскрытіи.

XXIX.

Что̀ онъ хотѣлъ сказать ей, умирая? спрашивалъ я самого себя, возвращаясь домой на своемъ клепперѣ: „Я тебя не про...клинаю? или не про...щаю?“ Дождикъ опять полилъ, но я ѣхалъ шагомъ. Мнѣ хотѣлось подольше остаться одному, хотѣлось безвозбранно предаться моимъ размышленіямъ. Сувениръ отправился на одной изъ телѣгъ, прибывшихъ съ Квицинскимъ. Какъ я ни былъ молодъ и легкомысленъ въ то время, но внезапная, общая (не въ однѣхъ частностяхъ) перемѣна, постоянно вызываемая во всѣхъ сердцахъ неожиданнымъ или ожиданнымъ (все равно!) появленіемъ смерти, ея торжественность, важность и правдивость — не могли не поразить меня. Я и былъ пораженъ... но со всѣмъ тѣмъ мой смущенный, дѣтскій взоръ замѣтилъ тотчасъ многое: онъ замѣтилъ, какъ Слеткинъ, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнулъ въ сторону ружье, какъ онъ и жена его оба мгновенно стали предметомъ хотя безмолвнаго, но общаго отчужденія, какъ сдѣлалось пусто вокругъ нихъ... На Евлампію, хотя вина ея была, вѣроятно, не меньше сестриной, это отчужденіе не распространялось. Она даже нѣкоторое сожалѣніе къ себѣ возбудила, когда повалилась въ ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата — это все-таки чувствовалось всѣми. — „Обидѣли старика“, — промолвилъ одинъ сѣдоватый, головастый крестьянин, опираясь, какъ пѣкій древній судья, обѣими руками

бородою на длинную палку: — „на вашей душѣ грѣхъ! Обидѣли!“—Это слово: „обидѣли!“ тотчасъ было принято всѣми, какъ безповоротный приговоръ. Правосудіе народное сказалось, я понялъ это немедленно. Я замѣтилъ также, что на первыхъ порахъ Слеткинъ не *смѣлъ* распоряжаться. Безъ него подняли и понесли тѣло въ домъ; не спросясь его, священникъ отправился за нужными вещами въ церковь, а староста побѣжалъ въ деревню справлять подводу въ городъ. Сама Анна Мартыновна не рѣшилась обычнымъ начальническимъ тономъ приказать поставить самоваръ, „чтобъ теплая вода была— обмыть покойника“. Ея приказаніе походило на просьбу— и отвѣчали ей грубо...

Меня же все занималъ вопросъ: что̀ онъ собственно хотѣлъ сказать своей дочери? Простить ли онъ ее хотѣлъ или проклясть? Я рѣшилъ, наконецъ, что—простить.

Дня черезъ три происходили похороны Мартына Петровича, на счетъ матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалѣть издержекъ. Сама она не поѣхала въ церковь—потому что не хотѣла, какъ она выражалась, видѣть тѣхъ двухъ мерзавокъ и гадкаго того жиденка; но послала Квицинскаго, меня и Житкова, котораго, впрочемъ, съ того времени иначе уже не величала, какъ бабой. Сувенира она на глаза къ себѣ не пускала и долго потомъ еще гнѣвалась на него, называя его убійцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна: онъ постоянно расхаживалъ на цыпочкахъ по комнатѣ сосѣдней съ той, гдѣ находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхоліи, вздрагивалъ и шепталъ: чичасъ!

Въ церкви и во время процессіи, Слеткинъ показался мнѣ снова попавшимъ „въ свою тарелку“. Онъ распоряжался и суетился попрежнему и жадно наблюдалъ за тѣмъ, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дѣло не касалось, собственно его кармана. Максимка, въ новомъ, тоже моей матушкой пожалованномъ казакинѣ, выводилъ на клиросѣ такія теноровыя ноты, что въ искренности *его преданности* покойнику, конечно, уже никто сомнѣ

ваться не могъ! Обѣ сестры были, какъ слѣдуетъ, въ траурныхъ платьяхъ — но казались болѣе смущенными, чѣмъ огорченными, особенно Евлампія. Анна приняла на себя смиренный и постный видъ, впрочемъ, не силилась плакать, и все только проводила своей красивой, сухой рукой по волосамъ и щекѣ. Евлампія все задумывалась. То общее, безповоротное отчужденіе, осужденіе, какое я замѣтилъ въ день смерти Харлова, чудилось мнѣ и теперь на всѣхъ лицахъ бывшихъ въ церкви людей, во всѣхъ ихъ движеніяхъ, въ ихъ взглядахъ — но еще степеннѣе и какъ бы безучастнѣе. Казалось, всѣ эти люди знали, что грѣхъ, въ который впало Харловское семейство, тотъ великій грѣхъ — поступилъ теперь въ вѣдѣніе единаго праведнаго Судіи, и что, слѣдовательно, имъ уже не для чего было безпокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, котораго при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.

— И хоть бы испивалъ, братецъ ты мой,—говорилъ на паперти одинъ мужикъ другому.

— И не пимши да захмелѣешь, — отвѣчалъ тотъ. — Каковъ случай выдетъ.

— Обидѣли, — повторилъ первый мужикъ рѣшающее слово.

— Обидѣли,—промолвили за нимъ другіе.

— А вѣдь покойный самъ васъ притѣснялъ?—спросилъ я одного мужика, въ которомъ я призналъ Харловскаго крестьянина.

— Баринъ былъ, извѣстно,—отвѣчалъ мужикъ;—а все-таки... обидѣли его!

— Обидѣли...—опять послышалось въ толпѣ.

У могилы Евлампія стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я замѣтилъ, что съ Слеткинымъ, который нѣсколько разъ съ ней заговаривалъ, она обращалась, какъ бывало съ Житковымъ— и еще хуже.

Нѣсколько дней спустя, въ нашемъ околоткѣ распространился слухъ, что Евлампія Мартыновна Харлова на-

всегда ушла изъ родительскаго дома, предоставивъ сестрѣ и свояку все доставшееся ей имѣніе — и взявши только нѣсколько сотъ рублей...—Откупилась, видно, Анна-то!— замѣтила моя матушка:—только у насъ съ тобою—прибавила она, обратившись къ Житкову, съ которымъ играла въ пикетъ — онъ замѣнилъ ей Сувенира: — руки неумѣлыя!—Житковъ уныло глянулъ на свои мощныя длани— „Онѣ-то, неумѣлыя!“ казалось, думалось ему...

Скоро потомъ мы съ матушкой переѣхали на жительство въ Москву—и много минуло лѣтъ прежде, чѣмъ мнѣ пришлось увидѣть обѣихъ дочерей Мартына Петровича.

XXX.

Но я увидалъ ихъ. Съ Анной Мартыновной я встрѣтился самымъ обыкновеннымъ образомъ. Посѣтивъ, послѣ кончины матушки, нашу деревню, въ которую я не заѣзжалъ больше пятнадцати лѣтъ, я получилъ отъ посредника приглашеніе — (тогда по всей Россіи, съ незабытой доселѣ медленностью, происходило размежеваніе черезполосицы) — приглашеніе прибыть, для совѣщанія съ прочими владѣльцами нашей дачи, въ имѣніе помѣщицы вдовы Анны Слеткиной. Извѣстіе о несуществованіи болѣе на семъ свѣтѣ матушкина „жиденка“ съ черносливообразными глазами, нисколько, признаюсь, меня не опечалило; но мнѣ было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у насъ за отличнѣйшую хозяйку. И точно: ея имѣніе и усадьба, и самый домъ—(я невольно взглянулъ на крышу; она была желѣзная) — все оказалось въ превосходномъ порядкѣ, все было аккуратно, чисто, прибрано, гдѣ нужно — выкрашено, хоть бы у нѣмки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарѣла; но та особенная, сухая и какъ бы злая прелесть, которая нѣкогда такъ меня возбуждала — не совсѣмъ ее покинула. Одѣта она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла насъ не радушно — это слово къ ней не шло — но вѣжливо, и, увидавъ меня, свидѣтеля того страшнаго происшествія, даже бровью не повела. Ни о моей матушкѣ, ни о своемъ отцѣ,

ни о сестрѣ, ни о мужѣ она даже не заикнулась, точно воды въ ротъ набрала.

Были у ней двѣ дочери, обѣ прехорошенькія, стройненькія, въ милыми личиками, съ веселымъ и ласковымъ выраженіемъ въ черныхъ глазахъ; былъ и сынъ, немножко смахивавшій на отца, но тоже мальчикъ хоть куда! Во время преній между владѣльцами, Анна Мартыновна держалась спокойно, съ достоинствомъ, не выказывая ни особеннаго упорства, ни особеннаго корыстолюбія. Но никто вѣрнѣе ея не понималъ своихъ выгодъ и не умѣлъ убѣдительнѣе выставлять и защищать свои права; всѣ „подходящіе" законы, даже министерскіе циркуляры были ей хорошо извѣстны; говорила она немного и тихимъ голосомъ, но каждое слово попадало въ цѣль. Кончилось тѣмъ, что мы на всѣ ея требованія изъявили согласіе и такихъ понадѣлали уступокъ, что оставалось только удивляться. На возвратномъ пути иные господа помѣщики даже самихъ себя выругали; всѣ кряхтѣли и покачивали головами.

— Экая баба умница!—говорилъ одинъ.

— Продувная шельма!—вмѣшался другой, менѣе деликатный владѣлецъ:—мягко стелетъ, да жестко спать!

— Да и скряга же!—прибавилъ третій:—рюмка водки и кусочекъ икры на брата—это что же такое?

— Чего отъ нея ждать?—брякнулъ вдругъ одинъ, до того безмолвный помѣщикъ: — кому же не извѣстно, что она мужа своего отравила?

Къ удивленію моему, никто не почелъ нужнымъ опровергнуть такое ужасное, навѣрное ни на чемъ не основанное обвиненіе! Это тѣмъ болѣе меня удивило, что, несмотря на приведенныя мною бранчивыя выраженія, уваженіе къ Аннѣ Мартыновнѣ чувствовали всѣ, не исключая неделикатнаго владѣльца. Посредникъ, — тотъ даже въ паѳосъ впалъ.

— Возведи ее на тронъ, — воскликнулъ онъ: — та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновеніе крестьянъ—образцовое... Воспитаніе дѣтей—образцовое! Голова *Мозги!*

Семирамиду и Екатерину въ сторону—но не было со
мнѣнія въ томъ, что Анна Мартыновна вела жизнь весьм
счастливую. Довольствомъ внутреннимъ и внѣшнимъ, пріят
ной тишиной душевнаго здоровья такъ и вѣяло отъ не
самой, отъ ея семьи, отъ всего ея быта. Насколько он
заслуживала это счастье... это другой вопросъ. Впрочемъ
подобные вопросы ставятся только въ молодости. Все н
свѣтѣ, и хорошее и дурное — дается человѣку не по ег
заслугамъ, а вслѣдствіе какихъ-то еще неизвѣстныхъ
но логическихъ законовъ, на которые я даже указат
не берусь, хоть иногда мнѣ кажется, что я смутно чув
ствую ихъ.

XXXI.

Я освѣдомился у посредника объ Евлампіи Мартынов
нѣ—и узналъ, что она, какъ ушла изъ дому, такъ и про
пала безъ вѣсти—и, „вѣроятно, теперь уже давно воспа
рила въ горнія".

Такъ выразился нашъ посредникъ... но я убѣжденъ
что я *видѣлъ* Евлампію, что я встрѣтился съ нею. Именн
вотъ какъ.

Года четыре послѣ моего свиданія съ Анной Марты
новной, я поселился на лѣто въ Муринѣ, небольшой де
ревушкѣ около Петербурга, хорошо извѣстной дачникам
средней руки. Охота около Мурина была въ то врем
недурна—и я ходилъ съ ружьемъ чуть не каждый день
Былъ у меня товарищъ, нѣкто Викуловъ, изъ мѣщанъ—
очень неглупый и добрый малый—но, какъ онъ самъ пр
себя выражался, совершенно „потеряннаго" поведенія
Гдѣ только не былъ этотъ человѣкъ, и чѣмъ онъ н
былъ! Ничего-то его удивить не могло, все-то онъ зналъ—
но любилъ онъ только охоту — да вино.—Вотъ, однажд
возвращались мы съ нимъ въ Мурино, и пришлось нам
миновать одинокій домъ, стоящій у перекрестка двух
дорогъ и обнесенный высокимъ и тѣснымъ частоколомъ
Не въ первый разъ видѣлъ я этотъ домъ, и всякій раз
онъ возбуждалъ мое любопытство: въ немъ было что-т
таинственное, замкнутое, угрюмо-нѣмое, что-то наноми

навшее острогъ или больницу. Съ дороги только и можно было видѣть, что его крутую, темной краской выкрашенную крышу. Во всемъ заборѣ находились одни ворота; и тѣ казались наглухо запертыми; никакого звука не слышалось никогда за ними. Со всѣмъ тѣмъ вы чувствовали, что въ этомъ домѣ непремѣнно кто-нибудь обитаетъ: онъ вовсе не являлъ видъ заброшеннаго жилья. Напротивъ, все въ немъ было такъ прочно и плотно и дюже, что хоть осаду выдерживай!

— Что за крѣпость такая? — спросилъ я у своего товарища.—Не знаете?

Викуловъ лукаво прищурился.— Чудное, небось, строеніе? Много съ него здѣшнему исправнику дохода!

— Какъ такъ?

— Да такъ же. О хлыстахъ-раскольникахъ—вотъ, что безъ поповъ живутъ—небось, слыхали?

— Слыхалъ.

— Ну, вотъ тутъ ихъ главная матка обрѣтается.

— Женщина?

— Да—матка; богородица по-ихнему.

— Что вы?!

— Я жъ вамъ говорю. Строгая, говорятъ, такая... Командирша! Тысячами ворочаетъ! Взялъ бы я, да всѣхъ этихъ богородицъ... Да что толковать!

Онъ позвалъ своего Пѣгашку, удивительную собаку, съ превосходнымъ чутьемъ, но безъ всякаго понятія о стойкѣ. Викуловъ принужденъ былъ подвязывать ей заднюю лапу, чтобъ она не такъ неистово бѣгала.

Слова его запали мнѣ въ память. Я, бывало, нарочно сворачивалъ въ сторону, чтобы пройти мимо таинственнаго дома. Вотъ, однажды, поравнялся я съ нимъ, какъ вдругъ — о чудо! засовъ загремѣлъ за воротами, ключъ завизжалъ въ замкѣ — потомъ самыя ворота тихонько растворились — показалась могучая лошадиная голова съ заплетенной чолкой подъ расписной дугой—и, не спѣша, выкатила на дорогу небольшая телѣжка въ родѣ тѣхъ, въ которыхъ ѣздятъ барышники и наѣздники изъ купцовъ. На кожаной подушкѣ телѣжки, ближе ко мнѣ, си-

дѣлъ мужчина лѣтъ тридцати, замѣчательно красивой и благообразной наружности, въ опрятномъ черномъ армяк и низко на лобъ надѣтомъ черномъ картузѣ; онъ степен правилъ откормленнымъ, какъ печь широкимъ конемъ; рядомъ съ мужчиной, по ту сторону телѣжки, сидѣ женщина высокаго роста, прямая какъ стрѣла. Голо ея покрывала дорогая черная шаль; одѣта она была короткій бархатный шушунъ оливковаго цвѣта и темн синюю мериносовую юбку; бѣлыя руки, чинно сложенны у груди, поддерживали другъ дружку. Телѣжка завернул по дорогѣ налѣво—и женщина очутилась въ двухъ шагахъ отъ меня; она слегка повела головою — и я узнал Евлампію Харлову. Я узналъ ее немедленно, я ни единаго мгновенія не колебался, да и нельзя было колебаться: такихъ глазъ, какъ у ней — и особенно такого склада губъ — надменнаго и чувственнаго — я ни у кого не видывалъ. Лицо ея стало длиннѣе и суше, кожа потемнѣла, кой-гдѣ виднѣлись морщины; но особенно измѣнилось выраженіе этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоувѣренно, строго, горделиво! Не простымъ спокойствіемъ власти — пресыщеніемъ власти дышала каждая черта; въ небрежномъ взорѣ, который она на меня уронила—сказывалась давнишняя, застарѣлая привычка встрѣчать одну благоговѣйную, безотвѣтную покорность. Эта женщина — очевидно — жила, окруженная не поклонниками — а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ея повелѣніе или желаніе—не было тотчасъ исполнено! Я громко назвалъ ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрѣла на меня — не съ испугомъ—а съ презрительнымъ гнѣвомъ: кто-молъ смѣетъ меня безпокоить?— и, едва раскрывъ губы, произнесла повелительное слово. Сидѣвшій рядомъ съ ней мужчина встрепенулся, съ размаха ударилъ вожжей по лошади—та двинулась впередъ шибкой и крупной рысью—и телѣга скрылась.

Съ тѣхъ поръ я не встрѣчалъ болѣе Евлампіи. Какимъ образомъ дочь Мартына Петровича попала въ хлыстовскія богородицы — я и представить себѣ не могу, но кто

знаетъ, быть-можетъ, она основала толкъ, который назовется—или уже теперь называется, по ея имени—Евлампіевщиной? Все бываетъ, все случается.

И вотъ, что̀ я имѣлъ сказать вамъ о моемъ степномъ королѣ Лирѣ, о семействѣ его и поступкахъ его".

Разсказчикъ умолкъ—а мы потолковали немного, да и разошлись во-свояси.

Веймаръ, 1870.

СОДЕРЖАНІЕ

СЕДЬМОГО ТОМА:

Первая любовь. Разсказъ . . . . . .
Призраки. Фантазія. . . . . .
Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника . .
Собака. Разсказъ. . . . . .
Исторія лейтенанта Ергунова. Разсказъ. . . . . .
Бригадиръ. Повѣсть. . . . . .
Несчастная. Разсказъ . . . . . .
Странная исторія. Разсказъ. . . . . .
Степной король Лиръ. Повѣсть . . . . . .

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ за 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

СОДЕРЖАНІЕ

СЕДЬМОГО ТОМА:

	стр.
Первая любовь. Разсказъ	[illegible]
Призраки. Фантазія	7
Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника	10
Собака. Разсказъ	11
Исторія лейтенанта Ергунова. Разсказъ	13
Бригадиръ. Повѣсть	17
Несчастная. Разсказъ	19
Странная исторія. Разсказъ	287
Степной король Лиръ. Повѣсть	312

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ за 1898 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1898.

Типографія А. Ф. Маркса, Ср. Подьяч., № 1.

ВЕШНІЯ ВОДЫ.

(повѣсть.)

„Веселые годы,
„Счастливые дни —
„Какъ вешнія воды
„Промчались они!“

Изъ стариннаго романса

...Часу во второмъ ночи онъ вернулся въ свой к
бинетъ. Онъ выслалъ слугу, зажегшаго свѣчки—и, бр
сившись въ кресло около камина, закрылъ лицо обѣим
руками.

Никогда еще онъ не чувствовалъ такой усталости—
тѣлесной и душевной. Цѣлый вечеръ онъ провелъ с
пріятными дамами, съ образованными мужчинами; нѣк
торыя изъ дамъ были красивы, почти всѣ мужчины отл
чались умомъ и талантами—самъ онъ бесѣдовалъ весьм
успѣшно и даже блистательно... и, со всѣмъ тѣмъ, н
когда еще то „taedium vitae“, о которомъ говорили уж
римляне, то „отвращеніе къ жизни“—съ такой неотраз
мой силой не овладѣвало имъ, не душило его. Будь он
нѣсколько помоложе — онъ заплакалъ бы отъ тоски, от
скуки, *отъ раздраженія:* горечь ѣдкая и жгучая, какъ

речь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотв[illegible]
чиво-постылое, противно-тяжкое, со всѣхъ сторонъ обс[illegible]
пило его, какъ осенняя, темная ночь;—и онъ не зна[illegible]
какъ отдѣлаться отъ этой темноты, отъ этой горечи. [illegible]
сонъ нечего было разсчитывать: онъ зналъ, что онъ [illegible]
заснетъ.

Онъ принялся размышлять... медленно, вяло и злобно[illegible]

Онъ размышлялъ о суетѣ, ненужности, о пошло[illegible]
фальши всего человѣческаго. Всѣ возрасты постепенн[illegible]
проходили передъ его мысленнымъ взоромъ—(ему самом[illegible]
недавно минулъ 52-й годъ) — и ни одинъ не находилъ[illegible]
пощады передъ нимъ. Вездѣ все то же вѣчное переливаніе изъ пустого въ порожнее, то же толченіе воды, то же, наполовину добросовѣстное, наполовину сознательное самообольщеніе, — чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало, — а тамъ вдругъ, ужъ точно какъ снѣгъ на голову, нагрянетъ старость — и вмѣстѣ съ нею тотъ постоянно-возрастающій, все разъѣдающій и подтачивающій страхъ смерти... и бухъ въ бездну! Хорошо еще, если такъ разыграется жизнь! — А тò, пожалуй, передъ концомъ, пойдутъ, какъ ржа по желѣзу, немощи, страданія... Не бурными волнами покрытымъ, какъ описываютъ поэты, представлялось ему жизненное море; нѣтъ:— онъ воображалъ себѣ это море невозмутимо-гладкимъ, неподвижнымъ и прозрачнымъ до самаго темнаго дна; самъ онъ сидитъ въ маленькой, валкой лодкѣ — а тамъ, на этомъ темномъ, илистомъ днѣ, на подобіе громадныхъ рыбъ, едва виднѣются безобразныя чудища: всѣ житейскіе недуги, болѣзни, горести, безуміе, бѣдность, слѣпота... Онъ смотритъ: и вотъ, одно изъ чудищъ выдѣляется изъ мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнѣе, все отвратительно-явственнѣе... Еще минута—и перевернется подпертая имъ лодка! Но вотъ, оно опять какъ будто тускнѣетъ, оно удаляется, опускается на дно—и лежитъ оно тамъ, чуть-чуть шевеля плёсомъ... Но день урочный придетъ—и перевернетъ оно лодку.

Онъ тряхнулъ головою, вскочилъ съ кресла, раза два

прошелся по комнатѣ, присѣлъ къ письменному столу и, выдвигая одинъ ящикъ за другимъ, сталъ рыться въ своихъ бумагахъ, въ старыхъ, бо̀льшею частью женскихъ, письмахъ. Онъ самъ не зналъ, для чего онъ это дѣлалъ; онъ ничего не искалъ—онъ просто хотѣлъ какимъ-нибудь внѣшнимъ занятіемъ отдѣлаться отъ мыслей, его томившихъ. Развернувъ наудачу нѣсколько писемъ—(въ одномъ изъ нихъ оказался засохшій цвѣтокъ, перевязанный полинявшей ленточкой)—онъ только плечами пожалъ, и, глянувъ на каминъ, отбросилъ ихъ въ сторону, вѣроятно, сбираясь сжечь весь этотъ ненужный хламъ. Торопливо засовывая руки то въ одинъ, то въ другой ящикъ, онъ вдругъ широко раскрылъ глаза, и медленно вытащивъ наружу небольшую осьмиугольную коробку стариннаго покроя, медленно приподнялъ ея крышку. Въ коробкѣ, подъ двойнымъ слоемъ пожелтѣвшей хлопчатой бумаги, находился маленькій гранатовый крестикъ.

Нѣсколько мгновеній съ недоумѣніемъ разсматривалъ онъ этотъ крестикъ—и вдругъ слабо вскрикнулъ... Не то сожалѣніе, не то радость изобразили его черты. Подобное выраженіе являетъ лицо человѣка, когда ему приходится внезапно встрѣтиться съ другимъ человѣкомъ, котораго онъ давно потерялъ изъ виду, котораго нѣжно любилъ когда-то, и который неожиданно возникаетъ теперь передъ его взоромъ, все тотъ же—и весь измѣненный годами.

Онъ всталъ—и, возвратясь къ камину, сѣлъ опять въ кресло—и опять закрылъ руками лицо... „Почему сегодня? именно сегодня?“ думалось ему—и вспомнилъ онъ многое, давно прошедшее.

Вотъ что̀ вспомнилъ онъ...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилію. Его звали Санинымъ, Дмитріемъ Павловичемъ.

Вотъ что̀ онъ вспомнилъ:

I.

Дѣло было лѣтомъ 1840-го года. Санину минулъ 22-й годъ, и онъ находился во Франкфуртѣ, на возвратномъ

пути изъ Италіи въ Россію. Человѣкъ онъ былъ съ не-большимъ состояніемъ, но независимый, почти безсем-ейный. У него, по смерти отдаленнаго родственника, оз-залось нѣсколько тысячъ рублей—и онъ рѣшился пр-жить ихъ за границею, передъ поступленіемъ на служ-передъ окончательнымъ возложеніемъ на себя того к-зеннаго хомута, безъ котораго обезпеченное существов-ніе стало для него немыслимымъ. Санинъ въ точност-исполнилъ свое намѣреніе, и такъ искусно распорядилс-, что въ день прибытія во Франкфуртъ у него оказалось ровно столько денегъ, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. Въ 1840-мъ году желѣзныхъ дорогъ существовала самая малость; г-да туристы разъѣзжали въ дилижансахъ. Санинъ взялъ мѣсто въ „бейвагенѣ"; но дилижансъ отходилъ только въ 11-мъ часу вечера. Времени оставалось много. Къ счастью, погода стояла прекрасная—и Санинъ, пообѣдавъ въ знаменитой тогдашней гостиницѣ „Бѣлаго-Лебедя", отправился бродить по городу. Зашелъ посмотрѣть Даннекерову Аріадну, которая ему понравилась мало, посѣтилъ домъ Гёте, изъ сочиненій котораго онъ, впрочемъ, прочелъ одного Вертера—и то во французскомъ переводѣ; погулялъ по берегу Майна, поскучалъ, какъ слѣдуетъ добропорядочному путешественнику; наконецъ, въ шестомъ часу вечера, усталый, съ запыленными ногами, очутился въ одной изъ самыхъ незначительныхъ улицъ Франкфурта. Эту улицу онъ долго потомъ забыть не могъ. На одномъ изъ немногочисленныхъ ея домовъ онъ увидѣлъ вывѣску: „Итальянская кондитерская Джіованни Розелли" заявляла о себѣ прохожимъ. Санинъ зашелъ въ нее, чтобы выпить стаканъ лимонаду; но въ первой комнатѣ, гдѣ за скромнымъ прилавкомъ, на полкахъ крашенаго шкапа, напоминая аптеку, стояло нѣсколько бутылокъ съ золотыми ярлыками и столько же стеклянныхъ банокъ съ сухарями, шоколадными лепешками и леденцами—въ этой комнатѣ не было ни души; только сѣрый котъ жмурился и мурлыкалъ, перебирая лапками на высокомъ плетеномъ стулѣ, *возлѣ окна*, — и ярко рдѣя въ косомъ лучѣ вечерняго

солнца, большой клубокъ красной шерсти лежалъ на полу, рядомъ съ опрокинутой корзинкой изъ рѣзного дерева. Смутный шумъ слышался въ сосѣдней комнатѣ. Санинъ постоялъ—и, давъ колокольчику на дверяхъ прозвенѣть до конца, произнесъ, возвысивъ голосъ: „Никого здѣсь нѣтъ?“ Въ то же мгновеніе дверь изъ сосѣдней комнаты растворилась — и Санину поневолѣ пришлось изумиться.

II.

Въ кондитерскую, съ разсыпанными по обнаженнымъ плечамъ темными кудрями, съ протянутыми впередъ обнаженными руками, порывисто вбѣжала дѣвушка лѣтъ девятнадцати, и, увидѣвъ Санина, тотчасъ бросилась къ нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосомъ: „скорѣй, скорѣй, сюда, спасите!“ Не изъ нежеланія повиноваться, а просто отъ избытка изумленія, Санинъ не тотчасъ послѣдовалъ за дѣвушкой — и какъ бы уперся на мѣстѣ: онъ въ жизни не видывалъ подобной красавицы. Она обернулась къ нему—и съ такимъ отчаяніемъ въ голосѣ, во взглядѣ, въ движеніи сжатой руки, судорожно поднесенной къ блѣдной щекѣ, произнесла: „да идите же, идите!“—что онъ тотчасъ ринулся за нею въ раскрытую дверь.

Въ комнатѣ, куда онъ вбѣжалъ вслѣдъ за дѣвушкой, на старомодномъ диванѣ изъ конскаго волоса, лежалъ, весь бѣлый—бѣлый съ желтоватыми отливами, какъ воскъ или какъ древній мраморъ,—мальчикъ лѣтъ четырнадцати, поразительно похожій на дѣвушку, очевидно, ея братъ. Глаза его были закрыты, тѣнь отъ черныхъ, густыхъ волосъ падала пятномъ на словно окаменѣлый лобъ, на недвижныя тонкія брови; изъ-подъ посинѣвшихъ губъ виднѣлись стиснутые зубы. Казалось, онъ не дышалъ;— одна рука опустилась на полъ, другую онъ закинулъ за голову. Мальчикъ былъ одѣтъ и застегнутъ; тѣсный галстукъ сжималъ его шею.

Дѣвушка съ воплемъ бросилась къ нему. „Онъ умеръ! *онъ умеръ!—вскричала* она:—сейчасъ онъ тутъ сидѣ-

говорилъ со мною—и вдругъ упалъ и сдѣлался недвижимъ... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нѣтъ Панталеоне, Панталеоне, что же докторъ?—прибавила она вдругъ по-итальянски:—Ты ходилъ за докторомъ?"

— Синьора, я не ходилъ, я послалъ Луизу,—раздался хриплый голосъ за дверью, и въ комнату, ковыляя на кривыхъ ножкахъ, вошелъ маленькій старичокъ въ лиловомъ фракѣ съ черными пуговицами, высокомъ бѣломъ галстукѣ, панковыхъ короткихъ панталонахъ и синихъ шерстяныхъ чулкахъ. Его крошечное личико совершенно исчезало подъ цѣлой громадой сѣдыхъ, желѣзнаго цвѣта волосъ. Со всѣхъ сторонъ круто подымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигурѣ старичка сходство съ хохлатой курицей—сходство тѣмъ болѣе поразительное, что подъ ихъ темно-сѣрой массой только и можно было разобрать, что̀ заостренный носъ, да круглые желтые глаза.

— Луиза скорѣй сбѣгаетъ, а я не могу бѣгать,—продолжалъ старичокъ по-итальянски, поочередно поднимая плоскія, подагрическія ноги, обутыя въ высокіе башмаки съ бантиками:—а я вотъ воды принесъ.

Своими сухими, корявыми пальцами онъ стискивалъ длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умретъ! — воскликнула дѣвушка и протянула руку къ Санину. — О, мой господинъ, о mein Herr!—Неужели вы не можете помочь?

— Надо ему кровь пустить—это ударъ,—замѣтилъ старичокъ, носившій имя Панталеоне.

Хотя Санинъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о медицинѣ, однако, одно онъ зналъ достовѣрно: съ четырнадцатилѣтними мальчиками ударовъ не случается.

— Это обморокъ, а не ударъ,—проговорилъ онъ, обратясь къ Панталеоне.—Есть у васъ щетки?

Старичокъ приподнялъ свое личико.—Что?

— Щетки, щетки, — повторилъ Санинъ по-нѣмецки и по-французски.—Щетки,—прибавилъ онъ, показывая видъ, что чиститъ себѣ платье.

Старичокъ, наконецъ, его понялъ.

— А, щетки! Spazzette! какъ не быть щетокъ!

— Давайте ихъ сюда; мы снимемъ съ него сюртукъ— и станемъ растирать его.

— Хорошо... Benone! А воду на голову не надо вылить?

— Нѣтъ... послѣ; ступайте теперь поскорѣй за щетками.

Панталеоне поставилъ бутылку на полъ, выбѣжалъ вонъ и тотчасъ вернулся съ двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождалъ его и, усиленно вертя хвостомъ, съ любопытствомъ оглядывалъ старика, дѣвушку и даже Санина—какъ бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санинъ проворно снялъ сюртукъ съ лежавшаго мальчика, разстегнулъ воротъ, засучилъ рукава его рубашки— и, вооружившись щеткой, началъ изо всѣхъ силъ тереть ему грудь и руки. Панталеоне такъ же усердно теръ другой—головной щеткой—по его сапогамъ и панталонамъ. Дѣвушка бросилась на колѣни возлѣ дивана и, схвативъ обѣими руками голову, не мигая ни одной вѣкою, такъ и впилась въ лицо своему брату.

Санинъ самъ теръ, — а самъ искоса посматривалъ на нее. Боже мой! какая же это была красавица!

III.

Носъ у ней былъ нѣсколько великъ, но красиваго, орлинаго ладу; верхнюю губу чуть-чуть оттѣнялъ пушокъ; зато цвѣтъ лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоскъ волосъ, какъ у Аллоріевой Юдиѳи въ Палаццо-Питти—и особенно глаза, темно-сѣрые, съ черной каемкой вокругъ зѣницъ, великолѣпные, торжествующіе глаза, — даже теперь, когда испугъ и горе омрачили ихъ блескъ... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда онъ возвращался... Да онъ и въ Италіи не встрѣчалъ ничего подобнаго! Дѣвушка дышала рѣдко и неровно; казалось, она всякій разъ ждала, не начнетъ ли братъ ея дышать?

Санинъ продолжалъ растирать его; но онъ глядѣлъ не на одну дѣвушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его вниманіе. Старикъ совсѣмъ ослабѣлъ и за-

пыхался; при каждомъ ударѣ щеткой подпрыгивалъ и визгливо кряхтѣлъ, а огромныя космы волосъ, смоченныя потомъ, грузно раскачивались изъ стороны въ сторону, словно корни крупнаго растенія, подмытые водою.

— Снимите, по крайней мѣрѣ, съ него сапоги, — хотѣлъ-было сказать ему Санинъ...

Пудель, вѣроятно возбужденный необычайностью всего происходившаго, вдругъ припалъ на переднія лапы — и принялся лаять.

— Tartaglia—canaglia!—зашипѣлъ на него старикъ...

Но въ это мгновеніе лицо дѣвушки преобразилось. Ея брови приподнялись, глаза стали еще больше и засіяли радостью...

Санинъ оглянулся... По лицу молодого человѣка выступила краска; вѣки шевельнулись... ноздри дрогнули. Онъ потянулъ воздухъ сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнулъ...

— Эмиль!—крикнула дѣвушка.—Эмиліо міо!

Медленно раскрылись большіе черные глаза. Они глядѣли еще тупо, но уже улыбались—слабо; та же слабая улыбка спустилась на блѣдныя губы. Потомъ онъ двинулъ повислой рукою — и съ размаху положилъ ее себѣ на грудь.

— Эмиліо!—повторила дѣвушка, и приподнялась. Выраженіе ея лица было такъ сильно и ярко, что казалось, вотъ, сейчасъ, либо слезы у нея брызнутъ, либо вырвется хохотъ.

— Эмиль! Что такое? Эмиль!—послышалось за дверью— и въ комнату проворными шагами вошла опрятно одѣтая дама съ серебристо-сѣдыми волосами и смуглымъ лицомъ. Мужчина пожилыхъ лѣтъ выступалъ за нею слѣдомъ; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Дѣвушка побѣжала къ нимъ навстрѣчу.

— Онъ спасенъ, мама, онъ живъ! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое?—повторила она.—Я возвращаюсь... и вдругъ встрѣчаю г-на доктора и Луизу...

Дѣвушка принялась разсказывать, что случилось, а док-

торъ подошелъ къ больному, который все болѣе и болѣе приходилъ въ себя — и все продолжалъ улыбаться: онъ словно начиналъ стыдиться надѣланной имъ тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками, — обратился докторъ къ Санину и Панталеоне: — и прекрасно сдѣлали... Очень хорошая мысль... а вотъ, мы теперь посмотримъ, какія еще средства...

Онъ пощупалъ у молодого человѣка пульсъ. — Гм! Покажите-ка языкъ!

Дама заботливо наклонилась къ нему. Онъ еще откровеннѣе улыбнулся, взвелъ на нее глаза—и покраснѣлъ...

Санину пришло на мысль, что онъ становится лишнимъ; онъ вышелъ въ кондитерскую. Но не успѣлъ онъ еще взяться за ручку уличной двери, какъ дѣвушка опять появилась передъ нимъ и остановила его.

— Вы уходите, — начала она, ласково заглядывая ему въ лицо:—я васъ не удерживаю, но вы должны непремѣнно придти къ намъ сегодня вечеромъ: мы вамъ такъ обязаны—вы, можетъ-быть, спасли брата—мы хотимъ благодарить васъ — мама хочетъ. Вы должны сказать намъ, кто вы, вы должны порадоваться вмѣстѣ съ нами...

— Но я уѣзжаю сегодня въ Берлинъ,—заикнулся-было Санинъ.

— Вы еще успѣете,—съ живостью возразила дѣвушка.— Придите къ намъ черезъ часъ, на чашку шоколада. Вы обѣщаетесь? А мнѣ нужно опять къ нему! Вы придете?

Что оставалось дѣлать Санину?

— Приду,—отвѣчалъ онъ.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вонъ— и онъ очутился на улицѣ.

IV.

Когда Санинъ, часа полтора спустя, вернулся въ кондитерскую Розелли, его тамъ приняли, какъ родного. Эмиліо сидѣлъ на томъ же самомъ диванѣ, на которомъ его растирали; докторъ прописалъ ему лѣкарство и рекомендовалъ „большую осторожность въ испытаніи ощущеній",—*такъ какъ субъектъ* темперамента нервическаго и

съ наклонностью къ болѣзнямъ сердца. Онъ и прежде подвергался обморокамъ; но никогда припадокъ не былъ такъ продолжителенъ и силенъ. Впрочемъ, докторъ объявилъ, что всякая опасность миновалась. Эмиль одѣтъ былъ, какъ приличествуетъ выздоравливающему, въ просторный шлафрокъ; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокругъ шеи; по видъ онъ имѣлъ веселый, почти праздничный; да и все кругомъ имѣло праздничный видъ. Передъ диваномъ, на кругломъ столѣ, покрытомъ чистой скатертью, возвышался наполненный душистымъ шоколадомъ, окруженный чашками, графинами съ сиропомъ, бисквитами и булками, даже цвѣтами—огромный фарфоровый кофейникъ; шесть тонкихъ восковыхъ свѣчей горѣло въ двухъ старинныхъ серебряныхъ шандалахъ; съ одной стороны дивана, вольтеровское кресло раскрывало свои мягкія объятія — и Санина посадили именно въ это кресло. Всѣ обитатели кондитерской, съ которыми ему пришлось познакомиться въ тотъ день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; всѣ казались несказанно счастливыми; пудель даже чихалъ отъ удовольствія; одинъ котъ, попрежнему, все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто онъ родомъ, и откуда, и какъ его зовутъ; когда онъ сказалъ, что онъ русскій — обѣ дамы немного удивились и даже ахнули,—и тутъ же, въ одинъ голосъ, объявили, что онъ отлично выговариваетъ по-нѣмецки; но что если ему удобнѣе выражаться по-французски, то онъ можетъ употреблять и этотъ языкъ—такъ какъ онѣ обѣ хорошо его понимаютъ и выражаются на немъ. Санинъ немедленно воспользовался этимъ предложеніемъ. „Санинъ? Санинъ!“ Дамы никакъ не ожидали, что русская фамилія можетъ быть такъ легко произносима. Имя его: „Димитрій“, также весьма понравилось. Старшая дама замѣтила, что она въ молодости слышала прекрасную оперу, „Demetrio e Polibio“—но что „Dimitri“ гораздо лучше, чѣмъ „Demetrio“. Такимъ манеромъ, Санинъ бесѣдовалъ около часу. Съ своей стороны, дамы посвятили его во всѣ подробности *собственной* жизни. Говорила больше мать, дама съ сѣ-

дыми волосами. Санинъ узналъ отъ нея, что имя ея— Леонора Розелли; что она осталась вдовою послѣ мужа своего, Джіованни Баттиста Розелли, который двадцать-пять лѣтъ тому назадъ поселился во Франкфуртѣ, въ качествѣ кондитера; что Джіованни Баттиста былъ родомъ изъ Виченцы, и очень хорошій, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человѣкъ, и къ тому республиканецъ! При этихъ словахъ г-жа Розелли указала на его портретъ, писанный масляными красками и висѣвшій надъ диваномъ. Должно полагать, что живописецъ—„тоже республиканецъ!" какъ со вздохомъ замѣтила г-жа Розелли— не вполнѣ умѣлъ уловлять сходство — ибо на портретѣ покойный Джіованни Баттиста являлся какимъ-то сумрачнымъ и суровымъ бригантомъ — въ родѣ Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка „стариннаго и прекраснаго города Пармы, гдѣ находится такой чудный куполъ, расписанный безсмертнымъ Корреджіо!" Но отъ давняго пребыванія въ Германіи она почти совсѣмъ онѣмечилась. Потомъ она прибавила, грустно покачавъ головою, что у ней только и осталось, что вотъ *эта* дочь, да вотъ *этотъ* сынъ (она указала на нихъ поочередно пальцемъ);—что дочь зовутъ — Джеммой, а сына— Эмиліемъ; что оба они очень хорошія и послушныя дѣти— особенно Эмиліо... („Я не послушна!" ввернула тутъ дочь;—„охъ, ты тоже республиканка!" отвѣтила мать);— что дѣла, конечно, идутъ теперь хуже, чѣмъ при мужѣ, который по кондитерской части былъ великій мастеръ... („Un grand'uomo! съ суровымъ видомъ подхватилъ Панталеоне); но что, все-таки, слава Богу, жить еще можно!

V.

Джемма слушала мать — и то посмѣивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцемъ, то посматривала на Санина; наконецъ, она встала, обняла и поцѣловала мать въ шею—въ „душку", отчего та много смѣялась и даже пищала. Панталеоне былъ также представленъ Санину. Оказалось, что онъ былъ когда-то оперным *пѣвцомъ, для баритонныхъ* партій, но уже давно

прекратилъ свои театральныя занятія и состоялъ въ семействѣ Розелли чѣмъ-то среднимъ между другомъ дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребываніе въ Германіи, онъ нѣмецкому языку выучился плохо, и только умѣлъ браниться на немъ, немилосердно коверкая даже и бранныя слова. „Феррофлукто спиччебуббіо!“ обзывалъ онъ чуть не каждаго нѣмца. Итальянскій же языкъ выговаривалъ въ совершенствѣ—ибо былъ родомъ изъ Синигальи, гдѣ слышится „lingua toscana in bocca romana!“ Эмиліо, видимо, нѣжился и предавался пріятнымъ ощущеніямъ человѣка, который только-что избѣгнулъ опасности или выздоравливаетъ; да и кромѣ того, по всему можно было замѣтить, что домашніе его баловали. Онъ застѣнчиво поблагодарилъ Санина, а впрочемъ, больше налегалъ на сиропъ и на конфеты. Санинъ принужденъ былъ выпить двѣ большія чашки превосходнаго шоколада и съѣсть замѣчательное количество бисквитовъ: онъ только-что проглотитъ одинъ, а Джемма уже подноситъ ему другой — и отказаться нѣтъ возможности! Онъ скоро почувствовалъ себя какъ дома: время летѣло съ невѣроятной быстротой. Ему пришлось много разсказывать — о Россіи вообще, о русскомъ климатѣ, о русскомъ обществѣ, о русскомъ мужикѣ — и особенно о казакахъ; о войнѣ двѣнадцатаго года, о Петрѣ Великомъ, о Кремлѣ и о русскихъ пѣсняхъ и о колоколахъ. Обѣ дамы имѣли весьма слабое понятіе о нашей пространной и отдаленной родинѣ; г-жа Розелли или, какъ ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина въ изумленіе вопросомъ: существуетъ ли еще знаменитый, построенный въ прошломъ столѣтіи, ледяной домъ въ Петербургѣ, о которомъ она недавно прочла такую любопытную статью въ одной изъ книгъ ея покойнаго мужа: Bellezze delle arti?—А въ отвѣтъ на восклицаніе Санина: „неужели же вы полагаете, что въ Россіи никогда не бываетъ лѣта?!“ фрау Леноре возразила, что она до сихъ поръ такъ себѣ представляла Россію: вѣчный снѣгъ, всѣ ходятъ въ шубахъ и всѣ военные — но гостепріимство чрезвычайное, и *всѣ крестьяне* очень послушны! Санинъ постарался сооб-

щить ей и ея дочери свѣдѣнія болѣе точныя. Когда рѣчь коснулась русской музыки, его тотчасъ попросили спѣть какую-нибудь русскую арію и указали на стоявшее въ комнатѣ крошечное фортепіано, съ черными клавишами вмѣсто бѣлыхъ, и бѣлыми вмѣсто черныхъ. Онъ повиновался безъ дальнихъ околичностей и, аккомпанируя себѣ двумя пальцами правой и тремя (большимъ, среднимъ и мизинцемъ) лѣвой—спѣлъ, тоненькимъ носовымъ теноркомъ, сперва: „Сарафанъ",—потомъ: „По улицѣ мостовой". Дамы похвалили его голосъ и музыку, но болѣе восхищались мягкостью и звучностью русскаго языка и потребовали перевода текста. Санинъ исполнилъ ихъ желаніе—но такъ какъ слова „Сарафана" и особенно: „По улицѣ мостовой" (sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau—онъ такъ передалъ смыслъ оригинала)—не могли внушить его слушательницамъ высокое понятіе о русской поэзіи, то онъ сперва продекламировалъ, потомъ перевелъ, потомъ спѣлъ Пушкинское: „Я помню чудное мгновенье", положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты котораго онъ слегка перевралъ. Тутъ дамы пришли въ восторгъ—фрау Леноре даже открыла въ русскомъ языкѣ удивительное сходство съ итальянскимъ. „Мгновенье"—„o, vieni"—„со мной"—„siam noi"—и т. п. Даже имена: Пушкинъ (она выговаривала: Пусскинъ)—и Глинка звучали ей чѣмъ-то роднымъ. Санинъ, въ свою очередь, попросилъ дамъ что-нибудь спѣть: онѣ также не стали чиниться. Фрау Леноре сѣла за фортепіано и вмѣстѣ съ Джеммой спѣла нѣсколько дуэттино и „сторнелло". У матери былъ когда-то хорошій контральтъ; голосъ дочери былъ нѣсколько слабъ, но пріятенъ.

VI.

Но не голосомъ Джеммы—ею самою любовался Санинъ. Онъ сидѣлъ нѣсколько позади и сбоку, и думалъ про себя, что никакая пальма—даже въ стихахъ Бенедиктова, тогдашняго моднаго поэта—не въ состояніи соперничать съ изящною стройностью ея стана. Когда же она, на чувствительныхъ нотка хъ, возводила кверху глаза — ем

казалось, что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ. Даже старикъ Панталеоне, который, прислонясь плечомъ къ притолкѣ двери и уткнувъ подбородокъ и ротъ въ просторный галстукъ, слушалъ важно, съ видомъ знатока—даже тотъ любовался лицомъ прекрасной дѣвушки и дивился ему—а, кажется, долженъ былъ онъ къ нему привыкнуть! Окончивъ свои дуэттино съ дочерью, фрау Леноре замѣтила, что у Эмиліо голосъ отличный, настоящее серебро — но что онъ теперь вступилъ въ тотъ возрастъ, когда голосъ мѣняется (онъ, дѣйствительно, говорилъ какимъ-то безпрестанно ломавшимся басомъ) — и что по этой причинѣ ему запрещено пѣть; а что вотъ Панталеоне могъ бы, въ честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчасъ принялъ недовольный видъ, нахмурился, взъерошилъ волосы и объявилъ, что онъ уже давно все это бросилъ, хотя дѣйствительно могъ, въ молодости, постоять за себя — да и вообще принадлежалъ къ той великой эпохѣ, когда существовали настоящіе, классическіе пѣвцы — не чета теперешнимъ пискунамъ! и настоящая школа пѣнія; что ему, Панталеоне Чиппатола изъ Варѐзе, поднесли однажды въ Моденѣ лавровый вѣнокъ, и даже по этому случаю выпустили въ театрѣ нѣсколько бѣлыхъ голубей; что, между прочимъ, одинъ русскій князь Тарбусскій—„il principe Tarbusski"—съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, постоянно за ужиномъ звалъ его въ Россію, обѣщалъ ему горы золота, горы!.. но что онъ не хотѣлъ разстаться съ Италіей, съ страною Данта — il paese del Dante! — Потомъ, конечно, произошли... несчастныя обстоятельства, онъ самъ былъ неостороженъ... Тутъ старикъ перервалъ самъ себя, вздохнулъ глубоко раза два, потупился—и снова заговорилъ о классической эпохѣ пѣнія, о знаменитомъ тенорѣ Гарсіа, къ которому питалъ благоговѣйное, безграничное уваженіе. „Вотъ былъ человѣкъ!" воскликнулъ онъ. Никогда великій Гарсіа—„il gran Garcia"—не унижался до того, чтобы пѣть, какъ теперешніе теноришки—tenorecci—фальцетомъ: все *грудью, грудью*, voce di petto, si! Старикъ крѣпко посту-

чалъ маленькимъ, засохшимъ кулачкомъ по собственному жабо! И какой актеръ! Вулканъ, signori miei, вулканъ, un Vesuvio! Я имѣлъ честь и счастье пѣть вмѣстѣ съ нимъ въ оперѣ dell'illustrissimo maestro Россини — въ Отелло! Гарсіа былъ Отелло—я былъ Яго—и когда онъ произносилъ эту фразу...

Тутъ Панталеоне сталъ въ позитуру и запѣлъ дрожавшимъ и сиплымъ, но все еще патетическимъ голосомъ:

L'i... ra daver... so daver...
Io più no... no... no... nov temerò!

— „Театръ трепеталъ, signori miei! но и я не отставалъ; и я тоже за нимъ:

L'i... ra daver... so daver... so il fato
Temèr più non dovro!

— „И вдругъ онъ—какъ молнія, какъ тигръ: Morro!.. ma vendicato...

— „Или вотъ еще, когда онъ пѣлъ... когда онъ пѣлъ эту знаменитую арію изъ „Matrimonio segreto": Pria che spunti... Тутъ онъ, il gran Garcia, послѣ словъ: I cavalli di galoppo—дѣлалъ на словахъ: Senza posa cacciera—послушайте, какъ это изумительно, com'è stupendo! Тутъ онъ дѣлалъ..." Старикъ началъ-было какую-то необыкновенную фіоритуру — и на десятой нотѣ запнулся, закашлялся и, махнувъ рукою, отвернулся и пробормоталъ:— „Зачѣмъ вы меня мучите?" Джемма тотчасъ же вскочила со стула и, громко хлопая въ ладоши, съ крикомъ: браво!.. браво! подбѣжала къ бѣдному отставному Яго и обѣими руками ласково потрепала его по плечамъ. Одинъ Эмиль безжалостно смѣялся. Cet âge est sans pitié — этотъ возрастъ не знаетъ жалости,—сказалъ уже Лафонтенъ.

Санинъ попытался утѣшить престарѣлаго пѣвца и заговорилъ съ нимъ на итальянскомъ языкѣ (онъ слегка его нахватался во время своего послѣдняго путешествія)— заговорилъ о „paese del Dante, dove il si suona". Эта фраза, вмѣстѣ съ „Lasciate ogni speranza" — составляла весь поэтическій итальянскій багажъ молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискиванія. Глубже чѣмъ когда-либо уткнувъ подбородокъ въ галстукъ и

казалось, что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ. Даже старикъ Панталеоне, который, прислонясь плечомъ къ притолкѣ двери и уткнувъ подбородокъ и ротъ въ просторный галстукъ, слушалъ важно, съ видомъ знатока—даже тотъ любовался лицомъ прекрасной дѣвушки и дивился ему—а, кажется, долженъ былъ онъ къ нему привыкнуть! Окончивъ свои дуэттино съ дочерью, фрау Леноре замѣтила, что у Эмиліо голосъ отличный, настоящее серебро — но что онъ теперь вступилъ въ тотъ возрастъ, когда голосъ мѣняется (онъ, дѣйствительно, говорилъ какимъ-то безпрестанно ломавшимся басомъ) — и что по этой причинѣ ему запрещено пѣть; а что вотъ Панталеоне могъ бы, въ честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчасъ принялъ недовольный видъ, нахмурился, взъерошилъ волосы и объявилъ, что онъ уже давно все это бросилъ, хотя дѣйствительно могъ, въ молодости, постоять за себя — да и вообще принадлежалъ къ той великой эпохѣ, когда существовали настоящіе, классическіе пѣвцы — не чета теперешнимъ пискунамъ! и настоящая школа пѣнія; что ему, Панталеоне Чиппатола изъ Варѐзе, подносили однажды въ Моденѣ лавровый вѣнокъ, и даже по этому случаю выпустили въ театрѣ нѣсколько бѣлыхъ голубей; что, между прочимъ, одинъ русскій князь Тарбусскій—„il principe Tarbusski"—съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, постоянно за ужиномъ звалъ его въ Россію, обѣщалъ ему горы золота, горы!.. но что онъ не хотѣлъ разстаться съ Италіей, съ страною Данта — il paese del Dante! — Потомъ, конечно, произошли... несчастныя обстоятельства, онъ самъ былъ неостороженъ... Тутъ старикъ перервалъ самъ себя, вздохнулъ глубоко раза два, потупился—и снова заговорилъ о классической эпохѣ пѣнія, о знаменитомъ тенорѣ Гарсіа, къ которому питалъ благоговѣйное, безграничное уваженіе. „Вотъ былъ человѣкъ!" воскликнулъ онъ. Никогда великій Гарсіа—„il gran Garcia"—не унижался до того, чтобы пѣть, какъ теперешніе теноришки—tenorecci—фальцетомъ: все *грудью, грудью*, voce di petto, si! Старикъ крѣпко посту-

чалъ маленькимъ, засохшимъ кулачкомъ по собственному жабо! И какой актеръ! Вулканъ, signori miei, вулканъ, un Vesuvio! Я имѣлъ честь и счастье пѣть вмѣстѣ съ нимъ въ оперѣ dell'illustrissimo maestro Россини — въ Отелло! Гарсіа былъ Отелло—я былъ Яго—и когда онъ произносилъ эту фразу...

Тутъ Панталеоне сталъ въ позитуру и запѣлъ дрожавшимъ и сиплымъ, но все еще патетическимъ голосомъ:

L'i... ra daver... so daver...
Io più no... no... no... nov temerò!

— „Театръ трепеталъ, signori miei! но и я не отставалъ; и я тоже за нимъ:

L'i... ra daver... so daver... so il fato
Temèr più non dovro!

— „И вдругъ онъ—какъ молнія, какъ тигръ: Morro!.. ma vendicato...

— „Или вотъ еще, когда онъ пѣлъ... когда онъ пѣлъ эту знаменитую арію изъ „Matrimonio segreto": Pria che spunti... Тутъ онъ, il gran Garcia, послѣ словъ: I cavalli di galoppo—дѣлалъ на словахъ: Senza posa cacciera—послушайте, какъ это изумительно, com'è stupendo! Тутъ онъ дѣлалъ..." Старикъ началъ-было какую-то необыкновенную фіоритуру — и на десятой нотѣ запнулся, закашлялся и, махнувъ рукою, отвернулся и пробормоталъ:— „Зачѣмъ вы мѣня мучите?" Джемма тотчасъ же вскочила со стула и, громко хлопая въ ладоши, съ крикомъ: браво!.. браво! подбѣжала къ бѣдному отставному Яго и обѣими руками ласково потрепала его по плечамъ. Одинъ Эмиль безжалостно смѣялся. Cet âge est sans pitié — этотъ возрастъ не знаетъ жалости,—сказалъ уже Лафонтенъ.

Санинъ попытался утѣшить престарѣлаго пѣвца и заговорилъ съ нимъ на итальянскомъ языкѣ (онъ слегка его нахватался во время своего послѣдняго путешествія)— заговорилъ о „paese del Dante, dove il si suona". Эта фраза, вмѣстѣ съ „Lasciate ogni speranza" — составляла весь поэтическій итальянскій багажъ молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискиванія. Глубже чѣмъ *когда-либо* уткнувъ подбородокъ въ галстукъ

казалось, что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ. Даже старикъ Панталеоне, который, прислонясь плечомъ къ притолкѣ двери и уткнувъ подбородокъ и ротъ въ просторный галстукъ, слушалъ важно, съ видомъ знатока—даже тотъ любовался лицомъ прекрасной дѣвушки и дивился ему—а, кажется, долженъ былъ онъ къ нему привыкнуть! Окончивъ свои дуэттино съ дочерью, фрау Леноре замѣтила, что у Эмиліо голосъ отличный, настоящее серебро — но что онъ теперь вступилъ въ тотъ возрастъ, когда голосъ мѣняется (онъ, дѣйствительно, говорилъ какимъ-то безпрестанно ломавшимся басомъ) — и что по этой причинѣ ему запрещено пѣть; а что вотъ Панталеоне могъ бы, въ честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчасъ принялъ недовольный видъ, нахмурился, взъерошилъ волосы и объявилъ, что онъ уже давно все это бросилъ, хотя дѣйствительно могъ, въ молодости, постоять за себя — да и вообще принадлежалъ къ той великой эпохѣ, когда существовали настоящіе, классическіе пѣвцы — не чета теперешнимъ пискунамъ! и настоящая школа пѣнія; что ему, Панталеоне Чиппатола изъ Варѐзе, поднесли однажды въ Моденѣ лавровый вѣнокъ, и даже по этому случаю выпустили въ театрѣ нѣсколько бѣлыхъ голубей; что, между прочимъ, одинъ русскій князь Тарбусскій—„il principe Tarbusski"—съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, постоянно за ужиномъ звалъ его въ Россію, обѣщалъ ему горы золота, горы!.. но что онъ не хотѣлъ разстаться съ Италіей, съ страною Данта — il paese del Dante! — Потомъ, конечно, произошли... несчастныя обстоятельства, онъ самъ былъ неостороженъ... Тутъ старикъ перервалъ самъ себя, вздохнулъ глубоко раза два, потупился—и снова заговорилъ о классической эпохѣ пѣнія, о знаменитомъ тенорѣ Гарсіа, къ которому питалъ благоговѣйное, безграничное уваженіе. „Вотъ былъ человѣкъ!" воскликнулъ онъ. Никогда великій Гарсіа—„il gran Garcia"—не унижался до того, чтобы пѣть, какъ теперешніе теноришки—tenorcccі—фальцетомъ: все *грудью, грудью*, voce di petto, si! Старикъ вдѣлно посту-

чалъ маленькимъ, засохшимъ кулачкомъ по собственному лбу! И какой актеръ! Вулканъ, signori miei, вулканъ, ma Vesuvio! Я имѣлъ честь и счастье пѣть вмѣстѣ съ нимъ въ оперѣ dell'illustrissimo maestro Россини — въ Отелло! Гарсіа былъ Отелло—я былъ Яго—и когда онъ произносилъ эту фразу...

Тутъ Панталеоне сталъ въ позитуру и запѣлъ дрожавшимъ и сиплымъ, но все еще патетическимъ голосомъ:

L'i... ra daver... so daver...
Io più no... no... no... nov temerò!

— „Театръ трепеталъ, signori miei! но и я не отставалъ; и я тоже за нимъ:

L'i... ra daver... so daver... so il fato
Temèr più non dovro!

— „И вдругъ онъ—какъ молнія, какъ тигръ: Morro!.. ma vendicato...

— „Или вотъ еще, когда онъ пѣлъ... когда онъ пѣлъ эту знаменитую арію изъ „Matrimonio segreto": Pria che spunti... Тутъ онъ, il gran Garcia, послѣ словъ: I cavalli di galoppo—дѣлалъ на словахъ: Senza posa cacciera—послушайте, какъ это изумительно, com'è stupendo! Тутъ онъ дѣлалъ..." Старикъ началъ-было какую-то необыкновенную фіоритуру — и на десятой нотѣ запнулся, закашлялся и, махнувъ рукою, отвернулся и пробормоталъ:— „Зачѣмъ вы мѣня мучите?" Джемма тотчасъ же вскочила со стула и, громко хлопая въ ладоши, съ крикомъ: браво!.. браво! подбѣжала къ бѣдному отставному Яго и обѣими руками ласково потрепала его по плечамъ. Одинъ Эмиль безжалостно смѣялся. Cet âge est sans pitié — этотъ возрастъ не знаетъ жалости,—сказалъ уже Лафонтенъ.

Санинъ попытался утѣшить престарѣлаго пѣвца и заговорилъ съ нимъ на итальянскомъ языкѣ (онъ слегка его нахватался во время своего послѣдняго путешествія)— заговорилъ о „paese del Dante, dove il si suona". Эта фраза, вмѣстѣ съ „Lasciate ogni speranza" — составляла весь поэтическій итальянскій багажъ молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискиванія. Глубже чѣмъ *когда-либо* уткнувъ подбородокъ въ галстукъ и

казалось, что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось *бы* передъ такимъ взоромъ. Даже старикъ Панталеоне, который, прислонясь плечомъ къ притолкѣ двери и уткнувъ подбородокъ и ротъ въ просторный галстукъ, слушалъ важно, съ видомъ знатока—даже тотъ любовался лицомъ прекрасной дѣвушки и дивился ему—а, кажется, долженъ былъ онъ къ нему привыкнуть! Окончивъ свои дуэттино съ дочерью, фрау Леноре замѣтила, что у Эмиліо голосъ отличный, настоящее серебро — но что онъ теперь вступилъ въ тотъ возрастъ, когда голосъ мѣняется (онъ, дѣйствительно, говорилъ какимъ-то безпрестанно ломавшимся басомъ) — и что по этой причинѣ ему запрещено пѣть; а что вотъ Панталеоне могъ бы, въ честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчасъ принялъ недовольный видъ, нахмурился, взъерошилъ волосы и объявилъ, что онъ уже давно все это бросилъ, хотя дѣйствительно могъ, въ молодости, постоять за себя — да и вообще принадлежалъ къ той великой эпохѣ, когда существовали настоящіе, классическіе пѣвцы — не чета теперешнимъ пискунамъ! и настоящая школа пѣнія; что ему, Панталеоне Чиппатола изъ Варѐзе, поднесли однажды въ Моденѣ лавровый вѣнокъ, и даже по этому случаю выпустили въ театрѣ нѣсколько бѣлыхъ голубей; что, между прочимъ, одинъ русскій князь Тарбусскій—„il principe Tarbusski"—съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, постоянно за ужиномъ звалъ его въ Россію, обѣщалъ ему горы золота, горы!.. но что онъ не хотѣлъ разстаться съ Италіей, съ страною Данта — il paese del Dante! — Потомъ, конечно, произошли... несчастныя обстоятельства, онъ самъ былъ неостороженъ... Тутъ старикъ перервалъ самъ себя, вздохнулъ глубоко раза два, потупился—и снова заговорилъ о классической эпохѣ пѣнія, о знаменитомъ тенорѣ Гарсіа, къ которому питалъ благоговѣйное, безграничное уваженіе. „Вотъ былъ человѣкъ!" воскликнулъ онъ. Никогда великій Гарсіа—„il gran Garcia"—не унижался до того, чтобы пѣть, какъ теперешніе теноришки—tenorecci—фальцетомъ: все *грудью, грудью*, voce di petto, si! Старикъ крѣпко посту-

чалъ маленькимъ, засохшимъ кулачкомъ по собственному лбу! И какой актеръ! Вулканъ, signori miei, вулканъ, ma Vesuvio! Я имѣлъ честь и счастье пѣть вмѣстѣ съ нимъ въ оперѣ dell'illustrissimo maestro Россини — въ Отелло! Гарсіа былъ Отелло—я былъ Яго—и когда онъ произносилъ эту фразу...

Тутъ Панталеоне сталъ въ позитуру и запѣлъ дрожавшимъ и сиплымъ, но все еще патетическимъ голосомъ:

L'i... ra daver... so daver...
Io più no... no... no... nov temerò!

— „Театръ трепеталъ, signori miei! но и я не отставалъ; и я тоже за нимъ:

L'i... ra daver... so daver... so il fato
Temèr più non dovro!

— „И вдругъ онъ—какъ молнія, какъ тигръ: Morro!.. ma vendicato...

— „Или вотъ еще, когда онъ пѣлъ... когда онъ пѣлъ эту знаменитую арію изъ „Matrimonio segreto": Pria che spunti... Тутъ онъ, il gran Garcia, послѣ словъ: I cavalli di galoppo—дѣлалъ на словахъ: Senza posa cacciera—послушайте, какъ это изумительно, com'è stupendo! Тутъ онъ дѣлалъ..." Старикъ началъ-было какую-то необыкновенную фіоритуру — и на десятой нотѣ запнулся, закашлялся и, махнувъ рукою, отвернулся и пробормоталъ:— „Зачѣмъ вы мѣня мучите?" Джемма тотчасъ же вскочила со стула и, громко хлопая въ ладоши, съ крикомъ: браво!.. браво! подбѣжала къ бѣдному отставному Яго и обѣими руками ласково потрепала его по плечамъ. Одинъ Эмиль безжалостно смѣялся. Cet âge est sans pitié — этотъ возрастъ не знаетъ жалости,—сказалъ уже Лафонтенъ.

Санинъ попытался утѣшить престарѣлаго пѣвца и заговорилъ съ нимъ на итальянскомъ языкѣ (онъ слегка его нахватался во время своего послѣдняго путешествія)— заговорилъ о „paese del Dante, dove il si suona". Эта фраза, вмѣстѣ съ „Lasciate ogni speranza" — составляла весь поэтическій итальянскій багажъ молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискиванія. Глубже чѣмъ *когда-либо* уткнувъ подбородокъ въ галстукъ и

казалось, что нѣтъ такого неба, которое не разверзлось бы передъ такимъ взоромъ. Даже старикъ Панталеоне, который, прислонясь плечомъ къ притолкѣ двери и уткнувъ подбородокъ и ротъ въ просторный галстукъ, слушалъ важно, съ видомъ знатока—даже тотъ любовался лицомъ прекрасной дѣвушки и дивился ему—а, кажется, долженъ былъ онъ къ нему привыкнуть! Окончивъ свои дуэттино съ дочерью, фрау Леноре замѣтила, что у Эмиліо голосъ отличный, настоящее серебро — но что онъ теперь вступилъ въ тотъ возрастъ, когда голосъ мѣняется (онъ, дѣйствительно, говорилъ какимъ-то безпрестанно ломавшимся басомъ) — и что по этой причинѣ ему запрещено пѣть; а что вотъ Панталеоне могъ бы, въ честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчасъ принялъ недовольный видъ, нахмурился, взъерошилъ волосы и объявилъ, что онъ уже давно все это бросилъ, хотя дѣйствительно могъ, въ молодости, постоять за себя — да и вообще принадлежалъ къ той великой эпохѣ, когда существовали настоящіе, классическіе пѣвцы — не чета теперешнимъ пискунамъ! и настоящая школа пѣнія; что ему, Панталеоне Чиппатола изъ Варѐзе, поднесли однажды въ Моденѣ лавровый вѣнокъ, и даже по этому случаю выпустили въ театрѣ нѣсколько бѣлыхъ голубей; что, между прочимъ, одинъ русскій князь Тарбусскій—„il principe Tarbusski"—съ которымъ онъ былъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, постоянно за ужиномъ звалъ его въ Россію, обѣщалъ ему горы золота, горы!.. но что онъ не хотѣлъ разстаться съ Италіей, съ страною Данта — il paese del Dante! — Потомъ, конечно, произошли... несчастныя обстоятельства, онъ самъ былъ неостороженъ... Тутъ старикъ перервалъ самъ себя, вздохнулъ глубоко раза два, потупился—и снова заговорилъ о классической эпохѣ пѣнія, о знаменитомъ теперѣ Гарсіа, къ которому питалъ благоговѣйное, безграничное уваженіе. „Вотъ былъ человѣкъ!" воскликнулъ онъ. Никогда великій Гарсіа—„il gran Garcia"—не унижался до того, чтобы пѣть, какъ теперешніе теноришки—tenoreccі—фальцетомъ: все *грудью, грудью*, voce di petto, sil Старикъ крѣпко посту-

чалъ маленькимъ, засохшимъ кулачкомъ по собственному жабо! И какой актеръ! Вулканъ, signori miei, вулканъ, un Vesuvio! Я имѣлъ честь и счастье пѣть вмѣстѣ съ нимъ въ оперѣ dell'illustrissimo maestro Россини — въ Отелло! Гарсіа былъ Отелло—я былъ Яго—и когда онъ произносилъ эту фразу...

Тутъ Панталеоне сталъ въ позитуру и запѣлъ дрожавшимъ и сиплымъ, но все еще патетическимъ голосомъ:

L'i... ra daver... so daver...
Io più no... no... no... nov temerò!

— „Театръ трепеталъ, signori miei! но и я не отставалъ; и я тоже за нимъ:

L'i... ra daver... so daver... so il fato
Temèr più non dovro!

— „И вдругъ онъ—какъ молнія, какъ тигръ: Morro!.. ma vendicato...

— „Или вотъ еще, когда онъ пѣлъ... когда онъ пѣлъ эту знаменитую арію изъ „Matrimonio segreto“: Pria che spunti... Тутъ онъ, il gran Garcia, послѣ словъ: I cavalli di galoppo—дѣлалъ на словахъ: Senza posa cacciera—послушайте, какъ это изумительно, com'è stupendo! Тутъ онъ дѣлалъ...“ Старикъ началъ-было какую-то необыкновенную фіоритуру — и на десятой нотѣ запнулся, закашлялся и, махнувъ рукою, отвернулся и пробормоталъ:— „Зачѣмъ вы меня мучите?“ Джемма тотчасъ же вскочила со стула и, громко хлопая въ ладоши, съ крикомъ: браво!.. браво! подбѣжала къ бѣдному отставному Яго и обѣими руками ласково потрепала его по плечамъ. Одинъ Эмиль безжалостно смѣялся. Cet âge est sans pitié — этотъ возрастъ не знаетъ жалости,—сказалъ уже Лафонтенъ.

Савинъ попытался утѣшить престарѣлаго пѣвца и заговорилъ съ нимъ на итальянскомъ языкѣ (онъ слегка его нахватался во время своего послѣдняго путешествія)— заговорилъ о „paese del Dante, dove il si suona“. Эта фраза, вмѣстѣ съ „Lasciate ogni speranza“ — составляла весь поэтическій итальянскій багажъ молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискиванія. Глубже чѣмъ *когда-либо* уткнувъ подбородокъ въ галстукъ

угрюмо пуча глаза, онъ снова уподобился птицѣ, да еще сердитой, — вòрону что ли или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснѣя, какъ это обыкновенно случается съ балованными дѣтьми, — обратился къ сестрѣ и сказалъ ей, что если она желаетъ занять гостя, то ничего она не можетъ придумать лучшаго, какъ прочесть ему одну изъ комедіекъ Мальца, которыя она такъ хорошо читаетъ. Джемма засмѣялась, ударила брата по рукѣ, воскликнула, что онъ „всегда такое придумаетъ!" Однако, тотчасъ пошла въ свою комнату и, вернувшись оттуда съ небольшой книжкой въ рукѣ, усѣлась за столомъ передъ лампой, оглянулась, подняла палецъ—„молчать-дескать!" — чисто итальянскій жестъ — и принялась читать.

VII.

Мальцъ былъ франкфуртскій литераторъ 30-хъ годовъ, который въ своихъ коротенькихъ и легко набросанныхъ комедійкахъ, писанныхъ на мѣстномъ нарѣчіи, выводилъ, съ забавнымъ и бойкимъ, хотя и не глубокимъ юморомъ, — мѣстные, франкфуртскіе типы. Оказалось, что Джемма читала, точно, превосходно—совсѣмъ по-актерски. Она оттѣняла каждое лицо и отлично выдерживала его характеръ, пуская въ ходъ свою мимику, унаслѣдованную ею вмѣстѣ съ итальянскою кровью; не щадя ни своего нѣжнаго голоса, ни своего прекраснаго лица, она, когда нужно было представить либо выжившую изъ ума старуху, либо глупаго бургомистра—корчила самыя уморительныя гримасы, ёжила глаза, морщила носъ, картавила, пищала... Сама, во время чтенія, она не смѣялась; но когда слушатели (за исключеніемъ, правда, Панталеоне: онъ тотчасъ съ негодованіемъ удалился, какъ только зашла рѣчь о quel ferro-fiucto Tedesco), когда слушатели прерывали ее взрывомъ дружнаго хохота—она, опустивъ книгу на колѣни, звонко хохотала сама, закинувъ голову назадъ — и черныя ея кудри прыгали мягкими кольцами по шеѣ и по сотрясеннымъ плечамъ. Хохотъ прекращался — она тотчасъ *поднимала* книгу и, снова придавъ чертамъ своимъ над-

лежащій складъ, серьезно принималась за чтеніе. Санинъ не могъ довольно надивиться ей; его особенно поражало то: какимъ чудомъ такое идеально-прекрасное лицо принимало вдругъ такое комическое, иногда почти тривіальное выраженіе? Менѣе удовлетворительно читала Джемма роли молодыхъ дѣвицъ—такъ-называемыхъ „jeunes premières"; особенно любовныя сцены не удавались ей; она сама это чувствовала, и потому придавала имъ легкій оттѣнокъ насмѣшливости—словно она не вѣрила всѣмъ этимъ восторженнымъ клятвамъ и возвышеннымъ рѣчамъ, отъ которыхъ, впрочемъ, самъ авторъ воздерживался—по мѣрѣ возможности.

Санинъ не замѣтилъ, какъ пролетѣлъ вечеръ—и только тогда вспомнилъ о предстоявшемъ путешествіи, когда часы пробили десять часовъ. Онъ вскочилъ со стула, какъ ужаленный.

— Что съ вами?—спросила фрау Леноре.

— Да я долженъ былъ сегодня уѣхать въ Берлинъ—и уже мѣсто взялъ въ дилижансѣ!

— А когда отходитъ дилижансъ?

— Въ половинѣ одиннадцатаго!

— Ну, такъ вы уже не успѣете,—замѣтила Джемма:—оставайтесь... я еще почитаю.

— Вы всѣ деньги заплатили или только задатокъ дали?—полюбопытствовала фрау Леноре.

— Всѣ!—съ печальной ужимкой возопилъ Санинъ.

Джемма посмотрѣла на него, прищуривъ глаза—и разсмѣялась, а мать ее побранила. — Молодой человѣкъ попусту деньги затратилъ, а ты смѣешься!

— Ничего,—отвѣчала Джемма:—это его не разоритъ, а мы постараемся его утѣшить. Хотите лимонаду?

Санинъ выпилъ стаканъ лимонада, Джемма снова принялась за Мальца—и все опять пошло какъ по маслу.

Часы пробили двѣнадцать. Санинъ сталъ прощаться.

— Вы теперь нѣсколько дней должны остаться во Франкфуртѣ,—сказала ему Джемма:—куда вамъ спѣшить? Веселѣй въ другомъ городѣ не будетъ.—Она помолчала.—Право, *не будетъ,—прибавила* она и улыбнулась. Санинъ

ничего не отвѣчалъ и подумалъ, что въ силу пустоты своего кошелька, ему поневолѣ придется остаться въ Франкфуртѣ, пока не придетъ отвѣтъ отъ одного берлинскаго пріятеля, къ которому онъ собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь,—промолвила и фрау Леноре.—Мы познакомимъ васъ съ женихомъ Джеммы, г-мъ Карломъ Клюберомъ. Онъ сегодня не могъ придти, потому что онъ очень занятъ у себя въ магазинѣ... вы навѣрное видѣли на Цейлѣ самый большой магазинъ суконъ и шелковыхъ матерій? Ну, такъ онъ тамъ главнымъ. Но онъ очень будетъ радъ вамъ отрекомендоваться.

Санина это извѣстіе — Богъ вѣдаетъ почему — слегка огорошило. „Счастливчикъ этотъ женихъ!“ мелькнуло у него въ умѣ. Онъ посмотрѣлъ на Джемму—и ему показалось, что онъ подмѣтилъ насмѣшливое выраженіе въ ея глазахъ. Онъ началъ раскланиваться.

— До завтра? Неправда ли, до завтра?—спросила фрау Леноре.

— До завтра!—произнесла Джемма не вопросительнымъ, а утвердительнымъ тономъ, какъ будто это иначе и быть не могло.

— До завтра!—отозвался Санинъ.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпѣлъ, чтобы не выразить своего неудовольствія по поводу Джеммина чтенія.

— Какъ ей не стыдно! Кривляется, пищитъ—una caricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру—нѣчто великое, трагическое, а она передразниваетъ какую-то скверную нѣмку! Этакъ и я могу... Мерцъ, керцъ, смерцъ, прибавилъ онъ хриплымъ голосомъ, уткнувъ лицо впередъ и растопыря пальцы. Тарталья залаялъ на него, а Эмиль расхохотался. Старикъ круто повернулъ назадъ.

Санинъ возвратился въ гостиницу „Бѣлаго-Лебедя“—(онъ оставилъ тамъ свои вещи въ общей залѣ) — въ довольно смутномъ настроеніи духа. Всѣ эти нѣмецко-французско-итальянскіе разговоры такъ и звенѣли у него въ ушахъ.

— Невѣста!—шепталъ онъ, уже лежа въ постели, въ отведенномъ ему скромномъ номерѣ.—Да и красавица же! Но къ чему я остался?

Однако на слѣдующій день онъ послалъ письмо къ берлинскому пріятелю.

VIII.

Онъ не успѣлъ еще одѣться, какъ кельнеръ доложилъ ему о приходѣ двухъ господъ. Одинъ изъ нихъ оказался Эмилемъ; другой, видный и рослый молодой мужчина, съ благообразнѣйшимъ лицомъ, былъ герръ Карлъ Клюберъ, женихъ прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что въ то время, въ цѣломъ Франкфуртѣ, ни въ одномъ магазинѣ не существовало такого вѣжливаго, приличнаго, важнаго, любезнаго главнаго комми, каковымъ являлся г-нъ Клюберъ. Безукоризненность его туалета стояла на одной высотѣ съ достоинствомъ его осанки, съ изящностью—немного, правда, чопорной и сдержанной, на англійскій ладъ (онъ провелъ два года въ Англіи)—но все-таки плѣнительной изящностью его манеръ! Съ перваго взгляда становилось явно, что этотъ красивый, нѣсколько строгій, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человѣкъ привыкъ повиноваться высшимъ и повелѣвать низшимъ, и что за прилавкомъ своего магазина онъ неизбѣжно долженъ былъ внушать уваженіе самимъ покупателямъ! Въ сверхъестественной его честности не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голосъ у него оказался такой, какого слѣдовало ожидать: густой и самоувѣренно-сочный, но не слишкомъ громкій, съ нѣкоторой даже ласковостью въ тембрѣ. Такимъ голосомъ особенно удобно отдавать приказанія подчиненнымъ комми: „покажите, молъ, ту штуку пунсоваго ліонскаго бархата!“—или: „подайте стулъ этой дамѣ!“

Г-нъ Клюберъ началъ съ того, что отрекомендовался, при чемъ такъ благородно наклонилъ станъ, такъ пріятно сдвинулъ ноги и такъ учтиво тронулъ каблукъ о каблукъ, что *всякій непремѣнно* долженъ былъ почувствовать: „У

этого человѣка и бѣлье, и душевныя качества — перваго сорта!“ Отдѣлка обнаженной правой руки—(въ лѣвой, облеченной въ шведскую перчатку, онъ держалъ до зеркальности вылощенную шляпу, на днѣ которой лежала другая перчатка)—отдѣлка этой правой руки, которую онъ скромно, но съ твердостью протянулъ Санину — превосходила всякое вѣроятіе: каждый ноготь былъ въ своемъ родѣ совершенство! Потомъ онъ сообщилъ, на отборнѣйшемъ нѣмецкомъ языкѣ, что желалъ заявить свое почтеніе и свою признательность г-ну иностранцу, который оказалъ такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невѣсты; при этомъ онъ повелъ лѣвой рукой, державшей шляпу, въ направленіи Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись къ окну, положилъ палецъ въ ротъ. Г-нъ Клюберъ прибавилъ, что почтетъ себя счастливымъ, если съ своей стороны будетъ въ состояніи сдѣлать что-нибудь пріятное г-ну иностранцу. Санинъ отвѣчалъ, не безъ нѣкотораго труда, тоже по-нѣмецки, что онъ очень радъ... что услуга его была маловажная... и просилъ своихъ гостей присѣсть. Герръ Клюберъ поблагодарилъ—и, мгновенно раскинувъ фалды фрака, опустился на стулъ — но опустился такъ легко и держался на немъ такъ непрочно, что нельзя было не понять: „человѣкъ этотъ сѣлъ изъ вѣжливости — и сейчасъ опять вспорхнетъ!“ И дѣйствительно, онъ немедленно вспорхнулъ, и стыдливо переступивъ два раза ногами, словно танцуя, объявилъ, что, къ сожалѣнію, не можетъ долѣе остаться, ибо спѣшитъ въ свой магазинъ—дѣла́ прежде всего!—но такъ какъ завтра воскресенье—то онъ, съ согласія фрау Леноре и фрейлейнъ Джеммы, устроилъ увеселительную прогулку въ Соденъ, на которую честь имѣетъ пригласить г-на иностранца—и питаетъ надежду, что онъ не откажется украсить ее своимъ присутствіемъ. Санинъ не отказался ее украсить—и герръ Клюберъ отрекомендовался вторично, и ушелъ, пріятно мелькая панталонами нѣжнѣйшаго гороховаго цвѣта и столь же пріятно поскрипывая подошвами наиновѣйшихъ сапоговъ.

IX.

Эмиль, который продолжалъ стоять лицомъ къ окну, даже послѣ приглашенія Санина: „присѣсть“ — сдѣлалъ налѣво кругомъ, какъ только будущій его родственникъ вышелъ—и, ужимаясь по-ребячески и краснѣя, спросилъ Санина, можетъ ли онъ еще немного у него остаться! „Мнѣ сегодня гораздо лучше, прибавилъ онъ,—но докторъ запретилъ мнѣ работать“.

— Оставайтесь! Вы мнѣ нисколько не мѣшаете,—воскликнулъ немедленно Санинъ, который, какъ всякій истый русскій, радъ былъ ухватиться за первый попавшійся предлогъ, лишь бы не быть самому поставлену въ необходимость что-нибудь дѣлать.

Эмиль поблагодарилъ его—и въ самое короткое время совершенно освоился и съ нимъ, и съ его квартирой; разсматривалъ его вещи, разспрашивалъ чуть не о каждой изъ нихъ: гдѣ онъ ее купилъ и какое ея достоинство? Помогъ ему выбриться, при чемъ замѣтилъ, что онъ напрасно не отпускаетъ себѣ усовъ; — сообщилъ ему, наконецъ, множество подробностей о своей матери, о сестрѣ, о Панталеоне, даже о пуделѣ Тартальѣ, обо всемъ ихъ житьѣ-бытьѣ. Всякое подобіе робости исчезло въ Эмилѣ; онъ вдругъ почувствовалъ чрезвычайное влеченіе къ Санину—и вовсе не потому, что тотъ наканунѣ спасъ его жизнь, а потому, что человѣкъ онъ былъ такой симпатическій! Онъ не замедлилъ довѣрить Санину всѣ свои тайны. Съ особеннымъ жаромъ настаивалъ онъ на томъ, что мама его непремѣнно хочетъ сдѣлать изъ него купца—а онъ *знаетъ*, знаетъ навѣрное, что рожденъ художникомъ, музыкантомъ, пѣвцомъ; что театръ—его настоящее призваніе; что даже Панталеоне его поощряетъ, но что г-нъ Клюберъ поддерживаетъ маму, на которую имѣетъ большое вліяніе; что самая мысль сдѣлать изъ него торгаша принадлежитъ собственно г-ну Клюберу, по понятіямъ котораго ничего въ мірѣ не можетъ сравниться съ званіемъ *купца! Продавать сукно* и бархатъ—и надувать публику.

брать съ нея „Narren- oder Russen-Preise“ (дурацкія—или русскія цѣны)—вотъ его идеалъ! *).

— Ну, что жъ! теперь надо идти къ намъ!—воскликнулъ онъ, какъ только Санинъ окончилъ свой туалетъ и написалъ письмо въ Берлинъ.

— Теперь еще рано,—замѣтилъ Санинъ.

— Это ничего не значитъ,—промолвилъ Эмиль, ласкаясь къ нему.—Пойдемте! Мы завернемъ на почту, а оттуда къ намъ. Джемма вамъ такъ рада будетъ! Вы у насъ позавракаете... Вы можете сказать что-нибудь мамѣ обо мнѣ, о моей карьерѣ...

— Ну, пойдемте,—сказалъ Санинъ, и они отправились.

X.

Джемма ему, дѣйствительно, обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно привѣтствовала: видно было, что онъ наканунѣ произвелъ на обѣихъ впечатлѣніе хорошее. Эмиль побѣжалъ распоряжаться насчетъ завтрака, предварительно шепнувъ Санину на ухо: „не забудьте!“

— Не забуду,—отвѣчалъ Санинъ.

Фрау Ленорѣ не совсѣмъ здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа въ креслѣ, старалась не шевелиться. На Джеммѣ была широкая желтая блуза, перехваченная чернымъ кожанымъ поясомъ; она тоже казалась утомленной и слегка поблѣднѣла: темноватые круги оттѣняли ея глаза, но блескъ ихъ не умалился отъ того, а блѣдность придавала что-то таинственное и милое классически строгимъ чертамъ ея лица. Санина въ тотъ день особенно поразила изящная красота ея рукъ: когда она поправляла и поддерживала ими свои темныя, лоснистыя кудри — взоръ его не могъ оторваться отъ ея пальцевъ, гибкихъ и длинныхъ, и отдѣленныхъ другъ отъ дружки, какъ у Рафаэлевой Форнарины.

На дворѣ было очень жарко; послѣ завтрака Санинъ

*) Въ прежнія времена—да, пожалуй, и теперь это не перевелось—когда, начиная съ мая мѣсяца, множество русскихъ появлялось во Франкфуртѣ — во всѣхъ магазинахъ цѣны увеличивались и получали *названіе:* „Russen- или—увы!—Narren-Preise“.

хотѣлъ-было удалиться, но ему замѣтили, что въ такой день лучше всего не двигаться съ мѣста — и онъ согласился; онъ остался. Въ задней комнатѣ, въ которой онъ сидѣлъ съ своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили въ небольшой садикъ, заросшій акаціями. Множество пчелъ, осъ и шмелей дружно и жадно гудѣло въ ихъ густыхъ вѣткахъ, осыпанныхъ золотыми цвѣтами; сквозь полузакрытыя ставни и опущенныя шторы проникалъ въ комнату этотъ немолчный звукъ: онъ говорилъ о зноѣ, разлитомъ во внѣшнемъ воздухѣ — и тѣмъ слаще становилась прохлада закрытаго и уютнаго жилья.

Санинъ разговаривалъ много, по-вчерашнему, но не о Россіи и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, котораго тотчасъ послѣ завтрака услали къ г-ну Клюберу—практиковаться въ бухгалтеріи — онъ навелъ рѣчь на сравнительныя выгоды и невыгоды художества и коммерціи. Онъ не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерціи — онъ это ожидалъ; но и Джемма раздѣляла ея мнѣніе.

— Коли ты художникъ — и особенно пѣвецъ, — утверждала она, энергически двигая рукою сверху внизъ:— будь непремѣнно на первомъ мѣстѣ! Второе уже никуда не годится; а кто знаетъ, можешь ли ты достигнуть перваго мѣста?—Панталеоне, который также участвовалъ въ разговорѣ — (ему, какъ давнишнему слугѣ и старому человѣку, дозволялось даже сидѣть на стулѣ въ присутствіи хозяевъ; итальянцы вообще не строги насчетъ этикета)— Панталеоне, разумѣется, стоялъ горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: онъ больше все толковалъ о томъ, что нужно прежде всего обладать d'un certo estro d'inspirazione — нѣкимъ порывомъ вдохновенья! Фрау Леноре замѣтила ему, что и онъ, конечно, обладалъ этимъ „estro?“ — а между тѣмъ... — Я имѣлъ враговъ,—сумрачно замѣтилъ Панталеоне.—Да почему же ты знаешь — (итальянцы, какъ извѣстно, легко „тыкаются“)—что у Эмиля враговъ не будетъ, если даже и откроется въ немъ это „estro“?—Ну, такъ дѣлайте изъ *него торгаша, — съ досадой* промолвилъ Панталеоне: — а

Джіован'Баттиста такъ бы не поступилъ, хотя самъ былъ кондитеромъ!—„Джіован'Баттиста, мужъ мой, былъ человѣкъ благоразумный—и если онъ въ молодости увлекался...“ Но уже старикъ ничего слышать не хотѣлъ—и удалился, еще разъ проговоривъ съ укоризной: А! Джіован' Баттиста!.. Джемма воскликнула, что еслибъ Эмиль чувствовалъ себя патріотомъ и желалъ посвятить всѣ силы свои освобожденію Италіи—то, конечно, для такого высокаго и священнаго дѣла можно пожертвовать обезпеченной будущностью—но не для театра! Тутъ фрау Леноре пришла въ волненіе и начала умолять свою дочь не сбивать съ толку, по крайней мѣрѣ, брата — и удовольствоваться тѣмъ, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у ней была „готова лопнуть“. (Фрау Леноре, изъ уваженія къ гостю, говорила съ дочерью по-французски.)

Джемма тотчасъ принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лобъ, намочивъ его сперва одеколономъ, тихонько цѣловала ея щеки, укладывала ей голову въ подушки, запрещала ей говорить — и опять ее цѣловала. Потомъ, обратившись къ Санину, она начала разсказывать ему, полу-шутливымъ, полу-тронутымъ тономъ — какая у ней отличная мать, и какая она была красавица! „Что я говорю: была! она и теперь — прелесть. Посмотрите, посмотрите, какіе у ней глаза!“

Джемма мгновенно достала изъ кармана бѣлый платокъ, закрыла имъ лицо матери — и медленно опуская кайму сверху внизъ—обнажила постепенно лобъ, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть ихъ. Та повиновалась, Джемма вскрикнула отъ восхищенія (глаза у фрау Леноры были, дѣйствительно, очень красивы)—и быстро скользнувъ платкомъ по нижней, менѣе правильной части лица своей матери, снова бросилась ее цѣловать. Фрау Леноре смѣялась и слегка отворачивалась, и съ притворнымъ усиліемъ отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется съ матерью, и ласкалась къ *ней—но не* по-кошачьи, не на французскій манеръ, а съ

той итальянской граціей, въ которой всегда чувствуется присутствіе силы.

Наконецъ, фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчасъ присовѣтовала ей заснуть немножко тутъ же, на креслѣ,—а мы съ господиномъ русскимъ — „avec le monsieur russe"—будемъ такъ тихи, такъ тихи... какъ маленькія мыши... „comme des petites souris". Фрау Леноре улыбнулась ей въ отвѣтъ, закрыла глаза и, повздыхавъ немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возлѣ нея, и уже не шевельнулась болѣе. только изрѣдка подносила палецъ одной руки къ губамъ— другою она поддерживала подушку за головою матери— и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тотъ позволялъ себѣ малѣйшее движеніе. Кончилось тѣмъ, что и онъ словно замеръ — и сидѣлъ неподвижно, какъ очарованный, и всѣми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полу-темная комната, гдѣ тамъ и сямъ, яркими точками рдѣли вставленныя въ зеленые, старинные стаканы свѣжія, пышныя розы—и эта заснувшая женщина съ скромно-подобранными руками и добрымъ, усталымъ лицомъ, окаймленнымъ снѣжной бѣлизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно-прекрасное существо съ такими черными глубокими, залитыми тѣнью и все-таки свѣтившимися глазами... Что́ это? Сонъ? Сказка? И какимъ образомъ *онъ* тутъ?

XI.

Колокольчикъ звякнулъ надъ наружной дверью. Молодой крестьянскій парень въ мѣховой шапкѣ и красномъ жилетѣ вошелъ съ улицы въ кондитерскую. Съ самаго утра ни одинъ покупатель не заглядывалъ въ нее...—Вотъ такъ-то мы торгуемъ! — замѣтила со вздохомъ, во время завтрака, фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку отъ подушки и шепнула Санину: „Ступайте, поторгуйте вы за меня!" Санинъ тотчасъ же на цыпочкахъ вышелъ въ кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятныхъ лепешекъ.—Сколь

съ него?—шопотомъ спросилъ Санинъ черезъ дверь у Джеммы.—„Шесть крейцеровъ!"—такимъ же шопотомъ отвѣчала она. Санинъ отвѣсилъ четверть фунта, отыскалъ бумажку, сдѣлалъ изъ нея рожокъ, завернулъ лепешки, просыпалъ ихъ, завернулъ опять, опять просыпалъ, отдалъ ихъ наконецъ, получилъ деньги... Парень глядѣлъ на него съ изумленіемъ, переминая свою шапку на желудкѣ, а въ сосѣдней комнатѣ Джемма, зажавъ ротъ, помирала со смѣху. Не успѣлъ этотъ покупатель удалиться, какъ явился другой, потомъ третій... „А видно рука у меня легкая!" подумалъ Санинъ. Второй потребовалъ стаканъ оршаду, третій—полфунта конфетъ. Санинъ удовлетворилъ ихъ, съ азартомъ стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы въ ящикъ и банки. При расчетѣ оказалось, что оршадъ онъ продешевилъ, а за конфеты взялъ два крейцера лишнихъ. Джемма не переставала смѣяться втихомолку, да и самъ Санинъ ощущалъ веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроеніе духа. Казалось, вѣкъ стоялъ бы онъ такъ за прилавкомъ, да торговалъ бы конфетами и оршадомъ, между тѣмъ какъ то милое существо смотритъ на него изъ-за двери дружелюбно-насмѣшливыми глазами, а лѣтнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущихъ передъ окнами каштановъ, наполняетъ всю комнату зеленоватымъ золотомъ полуденныхъ лучей, полуденныхъ тѣней, и сердце нѣжится сладкой истомой лѣни, безпечности и молодости—молодости первоначальной.

Четвертый посѣтитель потребовалъ чашку кофе; пришлось обратиться къ Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался изъ магазина г-на Клюбера). Санинъ снова подсѣлъ къ Джеммѣ. Фрау Леноре продолжала дремать, къ великому удовольствію ея дочери.—У мамы во время сна мигрень проходитъ—замѣтила она. Санинъ заговорилъ—конечно, попрежнему, шопотомъ,—о своей „торговлѣ"; пресерьезно освѣдомлялся о цѣнѣ разныхъ „кондитерскихъ" товаровъ; Джемма такъ же серьезно называла ему эти цѣны, и, между тѣмъ, оба внутренно и дружно смѣялись, какъ бы сознавая, что разыгрываютъ презабавную

комедію. Вдругъ, на улицѣ, шарманка заиграла арію изъ „Фрейшюца“: „Durch die Felder, durch die Auen“... Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, въ неподвижномъ воздухѣ. Джемма вздрогнула... „Онъ разбудитъ маму!“ Санинъ немедленно выскочилъ на улицу, сунулъ шарманщику нѣсколько крейцеровъ въ руку — и заставилъ его замолчать и удалиться. Когда онъ возвратился, Джемма поблагодарила его легкимъ кивкомъ головы, и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напѣвать красивую веберовскую мелодію, которою Максъ выражаетъ всѣ недоумѣнія первой любви. Потомъ она спросила Санина, знаетъ ли онъ „Фрейшюца“, любитъ ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но *такую* музыку любитъ больше всего. Съ Вебера разговоръ соскользнулъ на поэзію и романтизмъ, на Гофмана, котораго тогда еще всѣ читали...

А фрау Леноре все дремала, и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшіеся сквозь ставни, незамѣтно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебелямъ, по платью Джеммы, по листьямъ и лепесткамъ цвѣтовъ.

XII.

Оказалось, что Джемма не слишкомъ жаловала Гофмана и даже находила его... скучнымъ! Фантастически-туманный, сѣверный элементъ его разсказовъ былъ мало доступенъ ея южной, свѣтлой натурѣ. „Это все сказки, все это для дѣтей писано!“ увѣряла она, не безъ пренебреженія. Отсутствіе поэзіи въ Гофманѣ тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повѣсть, заглавіе которой она, впрочемъ, позабыла, и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повѣсти: конецъ она или не прочла, или тоже позабыла. Дѣло шло объ одномъ молодомъ человѣкѣ, который гдѣ-то, чуть ли не въ кондитерской, встрѣчаетъ дѣвушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождаетъ таинственный и странный, злой старикъ. Молодой человѣкъ съ перваго взгляда *влюбляется въ* дѣвушку; она смотритъ на него

такъ жалобно, словно умоляетъ его освободить ее... Онъ удаляется на мгновенье—и, возвратившись въ кондитерскую, ужъ не находитъ ни дѣвушки, ни старика; бросается ее отыскивать, безпрестанно натыкается на самые свѣжіе ихъ слѣды, гоняется за ними — и никоимъ образомъ, нигдѣ, никогда не можетъ ихъ достигнуть. Красавица на вѣки-вѣковъ исчезаетъ для него—и не въ силахъ онъ забыть ея умоляющій взглядъ, и терзается онъ мыслью, что, быть-можетъ, все счастье его жизни ускользнуло изъ его рукъ.

Гофманъ едва ли такимъ образомъ оканчиваетъ свою повѣсть; но такою она сложилась, такою осталась въ памяти Джеммы.

— Мнѣ кажется,—промолвила она:—подобныя свиданія и подобныя разлуки случаются на свѣтѣ чаще, чѣмъ мы думаемъ.

Санинъ промолчалъ... и, немного спустя, заговорилъ... о г-нѣ Клюберѣ. Онъ въ первый разъ упомянулъ о немъ: онъ ни разу не вспомнилъ о немъ до того мгновенія.

Джемма промолчала въ свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательнаго пальца, и устремивъ глаза въ сторону. Потомъ она похвалила своего жениха, упомянула объ устроенной имъ на завтрашній день прогулкѣ и, быстро глянувъ на Санина, замолчала опять.

Санинъ не зналъ о чемъ завести рѣчь.

Эмиль шумно вбѣжалъ и разбудилъ фрау Леноре... Санинъ обрадовался его появленію.

Фрау Леноре встала съ кресла. Явился Панталеоне и объявилъ, что обѣдъ готовъ. Домашній другъ, экс-пѣвецъ и слуга исправлялъ также должность повара.

XIII.

Санинъ остался и послѣ обѣда. Его не отпускали все подъ тѣмъ же предлогомъ ужаснаго зноя,—а когда зной свалилъ, ему предложили отправиться въ садъ, пить кофе въ тѣни акацій. Санинъ согласился. Ему было очень хорошо. Въ однообразно-тихомъ и плавномъ теченіи жизни *таятся великія* прелести — и онъ предавался имъ съ на-

слажденіемъ, не требуя ничего особеннаго отъ настоящаго дня, но и не думая о завтрашнемъ, не вспоминая о вчерашнемъ. Чего стоила одна близость такой дѣвушки, какова была Джемма? Онъ скоро разстанется съ нею и, вѣроятно, навсегда; но пока одинъ и тотъ же челнокъ, какъ въ Уландовомъ романсѣ, несетъ ихъ по жизненнымъ укрощеннымъ струямъ — радуйся, наслаждайся, путешественникъ! И все казалось пріятнымъ и милымъ счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться съ нею и съ Панталеоне въ „тресетте", выучила его этой несложной итальянской карточной игрѣ—обыграла его на нѣсколько крейцеровъ—и онъ былъ очень доволенъ; Панталеоне, по просьбѣ Эмиля, заставилъ пуделя Тарталью продѣлать всѣ свои штуки—и Тарталья прыгалъ черезъ палку, „говорилъ", т.-е. лаялъ, чихалъ, запиралъ дверь носомъ, притащилъ стоптанную туфлю своего хозяина—и наконецъ, съ старымъ киверомъ на головѣ, представлялъ маршала Бернадотта, подвергающагося жестокимъ упрекамъ императора Наполеона за измѣну. Наполеона представлялъ, разумѣется, Панталеоне — и представлялъ очень вѣрно: скрестилъ руки на груди, нахлобучилъ треуголку на глаза—и говорилъ грубо и рѣзко. на французскомъ, но, Боже! на *какомъ* французскомъ языкѣ! Тарталья сидѣлъ передъ своимъ владыкой, весь скорчившись, поджавши хвостъ и смущенно моргая и щурясь подъ козырькомъ косо-надвинутаго кивера; отъ времени до времени, когда Наполеонъ возвышалъ голосъ, Бернадоттъ поднимался на заднія лапы.—„Fuori, traditore!" — закричалъ наконецъ Наполеонъ, позабывъ, въ избыткѣ раздраженія, что ему слѣдовало до конца выдержать свой французскій характеръ—и Бернадоттъ опрометью бросился подъ диванъ, но тотчасъ же выскочилъ оттуда съ радостнымъ лаемъ, какъ бы давая тѣмъ знать, что представленіе кончено. Всѣ зрители много смѣялись—и Санинъ больше всѣхъ.

У Джеммы былъ особенно милый, непрестанный, тихій смѣхъ съ маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина такъ и разбирало отъ этого смѣха—расцѣловалъ бы онъ ее за эти *взвизгиванья!*

Ночь наступила наконецъ. Надо-жъ было и честь знать! Простившись нѣсколько разъ со всѣми, сказавши всѣмъ по нѣскольку разъ: до завтра! (съ Эмилемъ онъ даже облобызался) Сапинъ отправился домой и понесъ съ собою образъ молодой дѣвушки, то смѣющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной — но постоянно привлекательной! Ея глаза, то широко раскрытые и свѣтлые, и радостные, какъ день, то полузастланные рѣсницами и глубокіе, и темные, какъ ночь, такъ и стояли передъ его глазами, странно и сладко проникая всѣ другіе образы и представленія.

О г-нѣ Клюберѣ, о причинахъ, побудившихъ его остаться во Франкфуртѣ — словомъ, о всемъ томъ, что́ волновало его наканунѣ—онъ не подумалъ ни разу.

XIV.

Надо-жъ, однако, сказать нѣсколько словъ о самомъ Сапинѣ.

Во-первыхъ, онъ былъ очень и очень недуренъ собою. Статный, стройный ростъ, пріятныя, немного расплывчатыя черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, бѣлизна и румянецъ кожи — а главное: то просто душно-веселое, довѣрчивое, откровенное, на первыхъ порахъ нѣсколько глуповатое выраженіе, по которому въ прежнія времена тотчасъ можно было признать дѣтей степенныхъ дворянскихъ семей, „отецкихъ“ сыновей, хорошихъ баричей, родившихся и утучнённыхъ въ нашихъ привольныхъ полустепныхъ краяхъ;—походочка съ запинкой, голосъ съ пришепёткой, улыбка какъ у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконецъ, свѣжесть, здоровье—и мягкость, мягкость, мягкость, — вотъ вамъ весь Сапинъ. А во-вторыхъ, онъ и глупъ не былъ, и понабрался кое-чего. Свѣжимъ онъ остался, несмотря на заграничную поѣздку: тревожныя чувства, обуревавшія лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало извѣстны.

Въ послѣднее время, въ нашей литературѣ, послѣ тщетнаго исканія „новыхъ людей“, начали выводить юношей, *рѣшившихся*, во что бы то ни стало, быть свѣжими...

свѣжими, какъ фленсбургскія устрицы, привозимыя въ С.-Петербургъ... Санинъ не походилъ на нихъ. Ужъ коли пошло дѣло на сравненія, онъ скорѣе напоминалъ молодую кудрявую, недавно привитую яблоню въ нашихъ черноземныхъ садахъ, — или, еще лучше: выхоленнаго, гладкаго, толстоногаго, нѣжнаго трехлѣтка бывшихъ „господскихъ" конскихъ заводовъ, котораго только что начали подгàнивать на кордѣ... Тѣ, которые сталкивались съ Санинымъ впослѣдствіи, когда жизнь порядкомъ его поломала и молодой, наигранный жирокъ давно съ него соскочилъ—видѣли въ немъ уже совсѣмъ иного человѣка.

На слѣдующій день Санинъ лежалъ еще въ постели, какъ уже Эмиль, въ праздничномъ платьѣ, съ тросточкой въ рукѣ и сильно напомаженный, ворвался къ нему въ комнату и объявилъ, что герръ Клюберъ сейчасъ прибудетъ съ каретой, что погода обѣщаетъ быть удивительной, что у нихъ уже все готово, но что мàма не поѣдетъ, потому что у нея опять разболѣлась голова. Онъ сталъ торопить Санина, увѣряя его, что нельзя терять минуты... И дѣйствительно: г. Клюберъ засталъ Санина еще за туалетомъ. Постучался въ дверь, вошелъ, поклонился, изогнулъ станъ, выразилъ готовность ждать, сколько угодно— и сѣлъ, изящно опираясь шляпой о колѣно. Благообразный коммѝ расфрантился и раздушился напропалую: каждое движеніе его сопровождалось усиленнымъ наплывомъ тончайшаго аромата. Онъ прибылъ въ просторной открытой каретѣ, такъ-называемомъ ландò, запряженномъ двумя сильными и рослыми, хоть и не красивыми лошадьми. Четверть часа спустя, Санинъ, Клюберъ и Эмиль въ этой самой каретѣ торжественно подкатили къ крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли рѣшительно отказалась участвовать въ прогулкѣ; Джемма хотѣла остаться съ матерью; но та ее, какъ говорится, прогнала.

— Мнѣ никого не нужно,—увѣряла она:—я буду спать. Я бы и Панталеоне съ вами отправила — да некому будетъ торговать.

— *Можно взять* Тарталью?—спросилъ Эмиль.

-- Конечно, можно.

Тарталья немедленно, съ радостными усиліями, вскарабкался на козлы и сѣлъ, облизываясь: видно, дѣло ему было привычное. Джемма надѣла большую соломенную шляпу съ коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась къ низу, заслоняя почти все лицо отъ солнца. Черта тѣни останавливалась надъ самыми губами: онѣ рдѣли дѣвственно и нѣжно, какъ лепестки столиственной розы, и зубы блистали украдкой — тоже невинно, какъ у дѣтей. Джемма сѣла на заднемъ мѣстѣ, рядомъ съ Санинымъ; Клюберъ и Эмиль сѣли напротивъ. Бѣлая фигура фрау Леноре показалась у окна, Джемма махнула ей платкомъ—и лошади тронулись.

XV.

Соденъ—небольшой городокъ въ полу-часовомъ разстояніи отъ Франкфурта. Онъ лежитъ въ красивой мѣстности, на отрогахъ Таунуса, и извѣстенъ у насъ въ Россіи своими водами, будто бы полезными для людей съ слабой грудью. Франкфуртцы ѣздятъ туда больше для развлеченія, такъ какъ Соденъ обладаетъ прекраснымъ паркомъ и разными „виртшафтами", гдѣ можно пить пиво и кофе въ тѣни высокихъ липъ и кленовъ. Дорога отъ Франкфурта до Содена идетъ по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санинъ украдкой наблюдалъ за тѣмъ, какъ Джемма обращалась со своимъ женихомъ: онъ въ первый разъ видѣлъ ихъ обоихъ вмѣстѣ. *Она* держалась спокойно и просто—но нѣсколько сдержаннѣе и серьезнѣе обыкновеннаго; *онъ* смотрѣлъ снисходительнымъ наставникомъ, разрѣшившимъ и самому себѣ, и своимъ подчиненнымъ скромное и вѣжливое удовольствіе. Особенныхъ ухаживаній за Джеммой, того, что̀ французы называютъ „empressement", Санинъ въ немъ не замѣтилъ. Видно было, что г. Клюберъ считалъ это дѣло поконченнымъ, а потому и не имѣлъ причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на одинъ *мигъ! Даже во* время большой передобѣденной прогулки

по лѣсистымъ горамъ и долинамъ за Соденомъ, даже наслаждаясь красотами природы, онъ относился къ ней, къ этой самой природѣ, все съ тою же снисходительностью, сквозь которую изрѣдка прорывалась обычная начальническая строгость. Такъ, напримѣръ, онъ замѣтилъ про одинъ ручей, что онъ слишкомъ прямо протекаетъ по ложбинѣ, вмѣсто того, чтобы сдѣлать нѣсколько живописныхъ изгибовъ; не одобрялъ также поведенія одной птицы — зяблика, которая не довольно разнообразила свои колѣна. Джемма не скучала и даже, повидимому, ощущала удовольствіе; но прежней Джеммы — Санинъ въ ней не узнавалъ: не то, чтобы тѣнь на нее набѣжала — никогда ея красота не была лучезарнѣй — но душа ея ушла въ себя, внутрь. Распустивъ зонтикъ и не разстегнувъ перчатокъ, она гуляла степенно, не спѣша,— какъ гуляютъ образованныя дѣвицы — и говорила мало. Эмилъ тоже чувствовалъ стѣсненіе, а Санинъ и подавно. Его, между прочимъ, нѣсколько конфузило то обстоятельство, что разговоръ постоянно шелъ на нѣмецкомъ языкѣ. Одинъ Тарталья не унывалъ! Съ бѣшенымъ лаемъ мчался онъ за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивалъ рытвины, пни, корчаги, брасался съ размаху въ воду и торопливо лакалъ ее, отряхался, взвизгивалъ—и снова летѣлъ стрѣлою, закинувъ красный языкъ на самое плечо. Г. Клюберъ, съ своей стороны, сдѣлалъ все, что полагалъ нужнымъ для увеселенія компаніи: попросилъ ее усѣсться въ тѣни развѣсистаго дуба — и, доставъ изъ бокового кармана небольшую книжечку, подъ заглавіемъ: „Knallerbsten—oder du sollst und wirst lachen!“ (Петарды—или ты долженъ и будешь смѣяться!) принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочелъ ихъ штукъ двѣнадцать; однако, веселости возбудилъ мало: одинъ Санинъ, изъ приличія, скалилъ зубы, да самъ онъ, г. Клюберъ, послѣ каждаго анекдота, производилъ короткій, дѣловой — и все-таки снисходительный смѣхъ. Къ двѣнадцати часамъ вся компанія вернулась въ Соденъ, въ лучшій тамошній трактиръ. Предстояло распорядиться объ обѣдѣ.

Г-нъ Клюберъ предложилъ-было совершить этотъ обѣдъ въ закрытой со всѣхъ сторонъ бесѣдкѣ—„im Gartensalon“; но тутъ Джемма вдругъ взбунтовалась и объявила, что не будетъ иначе обѣдать, какъ на воздухѣ, въ саду, за однимъ изъ маленькихъ столовъ, поставленныхъ передъ трактиромъ; что ей наскучило быть все съ одними и тѣми же лицами, и что она хочетъ видѣть другія. За нѣкоторыми изъ столиковъ уже сидѣли группы новоприбывшихъ гостей.

Пока г. Клюберъ, снисходительно покорившись „капризу своей невѣсты“, ходилъ совѣтоваться съ оберъ-кельнеромъ, Джемма стояла неподвижно, опустивъ глаза и стиснувъ губы; она чувствовала, что Санинъ неотступно и какъ бы вопросительно глядѣлъ на нее—это, казалось, ее сердило. Наконецъ, г. Клюберъ вернулся, объявилъ, что черезъ полчаса обѣдъ будетъ готовъ, и предложилъ до тѣхъ поръ поиграть въ кегли; прибавивъ, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! Въ кегли онъ игралъ мастерски; бросая шаръ, принималъ удивительно-молодцоватыя позы, щегольски игралъ мускулами, щегольски взмахивалъ и потрясалъ ногою. Въ своемъ родѣ онъ былъ атлетъ — и сложенъ превосходно! И руки у него были такія бѣлыя и красивыя, и утиралъ онъ ихъ такимъ богатѣйшимъ, золотисто-пестрымъ, индійскомъ фуляромъ!

Наступилъ моментъ обѣда—и все общество усѣлось за столикъ.

XVI.

Кому не извѣстно, что̀ такое нѣмецкій обѣдъ? Водянистый супъ съ шишковатыми клёцками и корицей, разварная говядина, сухая какъ пробка, съ приросшимъ бѣлымъ жиромъ, ослизлымъ картофелемъ, пухлой свеклой и жеваннымъ хрѣномъ, посинѣлый угорь съ капорцами и уксусомъ, жареное съ вареньемъ и неизбѣжная „Mehlspeise“, нѣчто въ родѣ пуддинга, съ кисловатой красной *подливкой*; зато вино и пиво — хоть куда! Точно такимъ *обѣдомъ* попотчивалъ соденскій трактирщикъ своихъ

гостей. Впрочемъ, самый обѣдъ прошелъ благополучно. Особеннаго оживленія, правда, не замѣчалось; оно не появилось даже тогда, когда г. Клюберъ провозгласилъ тостъ за „то, что̀ мы любимъ!“ (Was wir lieben!) Ужъ очень все было пристойно и прилично. Послѣ обѣда подали кофе, жидкій, рыжеватый, прямо нѣмецкій кофе. Г-нъ Клюберъ, какъ истый кавалеръ, попросилъ у Джеммы позволенія закурить сигару... Но тутъ, вдругъ, случилось нѣчто непредвидѣнное, и ужъ точно непріятное—и даже неприличное!

За однимъ изъ сосѣднихъ столиковъ помѣстилось нѣсколько офицеровъ майнцскаго гарнизона. По ихъ взглядамъ и перешептываньямъ можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила ихъ; одинъ изъ нихъ, вѣроятно, уже успѣвшій побывать во Франкфуртѣ, то и дѣло посматривалъ на нее, какъ на фигуру, ему хорошо знакомую: онъ очевидно, зналъ, кто она такая. Онъ вдругъ поднялся и, со стаканомъ въ рукѣ,—гг. офицеры сильно подпили и вся скатерть передъ ними была установлена бутылками, — приблизился къ тому столу, за которымъ сидѣла Джемма. Это былъ очень молодой, бѣлобрысый человѣкъ, съ довольно пріятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое имъ вино исказило ихъ: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выраженіе дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потомъ пустили: была не была— что̀, молъ, изъ этого выйдетъ?

Слегка покачиваясь на ногахъ, офицеръ остановился передъ Джеммой, и насильственно-крикливымъ голосомъ, въ которомъ, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба съ самимъ собою, произнесъ: „Пью за здоровье прекраснѣйшей кофейницы въ цѣломъ Франкфуртѣ, въ цѣломъ мірѣ (онъ разомъ „хлопнулъ“ стаканъ) — и въ возмездіе беру этотъ цвѣтокъ, сорванный ея божественными пальчиками!“ Онъ взялъ со стола розу, лежавшую передъ приборомъ Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и поблѣднѣла страшно... потомъ испугъ въ ней смѣнился негодованіемъ; она *вдругъ* покраснѣла вся, до самыхъ

волосъ,—и ея глаза, прямо устремленные на оскорбителя, въ одно и то же время потемнѣли и вспыхнули, наполнились мракомъ, загорѣлись огнемъ неудержимаго гнѣва. Офицера, должно-быть, смутилъ этотъ взглядъ; онъ пробормоталъ что-то невнятное, поклонился — и пошелъ назадъ, къ своимъ. Они встрѣтили его смѣхомъ и легкимъ рукоплесканьемъ.

Г-нъ Клюберъ внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой ростъ и надѣвъ шляпу, съ достоинствомъ, но не слишкомъ громко, произнесъ: „Это неслыхано! Неслыханная дерзость!“ („Unerhört! Unerhörte Frechheit!“) и тотчасъ же, строгимъ голосомъ подозвавъ къ себѣ кельнера, потребовалъ немедленнаго расчета... мало того: приказалъ заложить карету, при чемъ прибавилъ, что къ нимъ порядочнымъ людямъ ѣздить нельзя, ибо они подвергаются оскорбленіямъ! При этихъ словахъ, Джемма, которая продолжала сидѣть на своемъ мѣстѣ, не шевелясь, — ея грудь рѣзко и высоко поднималась— Джемма перевела глаза свои на г. Клюбера... и такъ же пристально, такимъ же точно взоромъ посмотрѣла на него, какъ и на офицера. Эмиль просто дрожалъ отъ бѣшенства.

— Встаньте, мейнъ фрейлейнъ, — промолвилъ все съ той же строгостью г. Клюберъ:—здѣсь вамъ неприлично оставаться. Мы расположимся тамъ, въ трактирѣ!

Джемма поднялась молча: онъ подставилъ ей руку калачикомъ, она подала ему свою — и онъ направился къ трактиру величественной походкой, которая, такъ же какъ и осанка его, становилась все величественнѣй и надменнѣй, чѣмъ болѣе онъ удалялся отъ мѣста, гдѣ происходилъ обѣдъ. Бѣдный Эмиль поплелся вслѣдъ за ними.

Но пока г. Клюберъ разсчитывался съ кельнеромъ, которому онъ, въ видѣ штрафа, не далъ на водку ни одного крейцера, Санинъ быстрыми шагами подошелъ къ столу, за которымъ сидѣли офицеры—и, обратившись къ оскорбителю Джеммы (онъ въ это мгновенье давалъ своимъ товарищамъ поочередно нюхать ея розу)—произнесъ отчетливо, по-французски: — „То, что вы сейчасъ сдѣлали,

милостивый государь, недостойно честнаго человѣка, недостойно мундира, который вы носите, — и я пришелъ вамъ сказать, что вы дурно-воспитанный нахалъ!"—Молодой человѣкъ вскочилъ на ноги, но другой офицеръ, постарше, остановилъ его движеніемъ руки, заставилъ сѣсть—и, повернувшись къ Санину, спросилъ его, тоже по-французски: „Что̀, онъ родственникъ, братъ или женихъ той дѣвицы?"

— Я ей совсѣмъ чужой человѣкъ, — воскликнулъ Санинъ:—я русскій,—но я не могу равнодушно видѣть такую дерзость; впрочемъ, вотъ моя карточка и мой адресъ: г. офицеръ можетъ отыскать меня.

Сказавъ эти слова, Санинъ бросилъ на столъ свою визитную карточку и въ то же время проворно схватилъ Джеммину розу, которую одинъ изъ сидѣвшихъ за столомъ офицеровъ уронилъ къ себѣ въ тарелку. Молодой человѣкъ снова хотѣлъ-было вскочить со стула, но товарищъ снова остановилъ его, промолвивъ: „Дöнгофъ, тише!" (Dönhof, sei still!). Потомъ самъ приподнялся — и, приложась къ козырьку рукою, не безъ нѣкотораго оттѣнка почтительности въ голосѣ и манерахъ, сказалъ Санину, что завтра утромъ одинъ офицеръ ихъ полка будетъ имѣть честь явиться къ нему на квартиру. Санинъ отвѣчалъ короткимъ поклономъ — и поспѣшно вернулся къ своимъ пріятелямъ.

Г-нъ Клюберъ притворился, что вовсе не замѣтилъ ни отсутствія Санина, ни его объясненія съ гг. офицерами; онъ понукалъ кучера, запрягавшаго лошадей, и сильно гнѣвался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутымъ ея бровямъ, по губамъ, поблѣднѣвшимъ и сжатымъ, по самой ея неподвижности можно было понять, что у ней не хорошо на душѣ. Одинъ Эмиль явно желалъ заговорить съ Санинымъ, желалъ разспросить его: онъ видѣлъ, какъ Санинъ подошелъ къ офицерамъ, видѣлъ, какъ онъ подалъ имъ что-то бѣлое,—клочокъ бумажки, записку, карточку... *Сердце билось* у бѣднаго юноши, щеки пы-

лали, онъ готовъ былъ броситься на шею къ Санину, готовъ былъ заплакать или идти тотчасъ, вмѣстѣ съ нимъ, расколотить въ пухъ и прахъ всѣхъ этихъ противныхъ офицеровъ! Однако, онъ удержался и удовольствовался тѣмъ, что внимательно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ своего благороднаго русскаго друга.

Кучеръ, наконецъ, заложилъ лошадей; все общество сѣло въ карету. Эмиль, вслѣдъ за Тартальей, взобрался на козлы; ему тамъ было привольнѣе, да и Клюберъ, котораго онъ видѣть не могъ равнодушно, не торчалъ передъ нимъ.

Во всю дорогу герръ Клюберъ разглагольствовалъ... и разглагольствовалъ одинъ; никто, никто не возражалъ ему, да никто и не соглашался съ нимъ. Онъ особенно настаивалъ на томъ, какъ напрасно не послушались его, когда онъ предлагалъ обѣдать въ закрытой бесѣдкѣ. Никакихъ непріятностей бы не произошло! Потомъ онъ высказалъ нѣсколько рѣзкихъ и даже либеральныхъ сужденій насчетъ того, какъ правительство непростительно потакаетъ офицерамъ, не наблюдаетъ за ихъ дисциплиной и не довольно уважаетъ гражданскій элементъ общества — (das bürgerliche Element in der Societät!) — и какъ отъ этого, со временемъ, возрождаются неудовольствія, отъ которыхъ уже недалеко до революціи, чему печальнымъ примѣромъ (тутъ онъ вздохнулъ сочувственно, но строго)— печальнымъ примѣромъ служитъ Франція! Однако, тутъ же присовокупилъ, что лично благоговѣетъ передъ властью и никогда... никогда!.. революціонеромъ не будетъ—но не можетъ не выразить своего... неодобренія при видѣ такой распущенности! Потомъ прибавилъ еще нѣсколько общихъ замѣчаній о нравственности и безнравственности, о приличіи и чувствѣ достоинства.

Въ теченіе всѣхъ этихъ „разглагольствованій", Джемма, которая уже во время дообѣденной прогулки не совсѣмъ казалась довольной г-мъ Клюберомъ — оттого она и держалась въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Санина и какъ бы *смущалась* его присутствіемъ — Джемма явно стала сты-

диться своего жениха! Подъ конецъ поѣздки она положительно страдала, и хотя, попрежнему, не заговаривала съ Санинымъ, но вдругъ бросила на него умоляющій взоръ... Съ своей стороны, онъ ощущалъ гораздо болѣе жалости къ ней, чѣмъ негодованія противъ г-на Клюбера; онъ даже втайнѣ, полусознательно радовался всему, что случилось въ продолженіе того дня, хотя и могъ ожидать вызова на слѣдующее утро.

Мучительная эта partie de plaisir прекратилась наконецъ. Высаживая передъ кондитерской Джемму изъ кареты, Санинъ, ни слова не говоря, положилъ ей въ руку возвращенную имъ розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Онъ не хотѣлъ войти въ домъ, хотя вечеръ только-что начинался. Она сама его не пригласила. Притомъ, появившійся на крыльцѣ Панталеоне объявилъ, что фрау Леноре почиваетъ. Эмиліо застѣнчиво простился съ Санинымъ; онъ словно дичился его: ужъ очень онъ ему удивлялся. Клюберъ отвезъ Санина на его квартиру и чопорно раскланялся съ нимъ. Правильно устроенному нѣмцу, при всей его самоувѣренности, было неловко. Да и всѣмъ было неловко.

Впрочемъ, въ Санинѣ это чувство—чувство неловкости—скоро разсѣялось. Оно замѣнилось неопредѣленнымъ, но пріятнымъ, даже восторженнымъ настроеніемъ. Онъ расхаживалъ по комнатѣ, ни о чемъ не хотѣлъ думать, посвистывалъ—и былъ очень доволенъ собою.

XVII.

„Буду ждать г-на офицера для объясненія до 10-ти часовъ утра", размышлялъ онъ на слѣдующее утро, совершая свой туалетъ, „а тамъ пусть онъ меня отыскиваетъ!" Но нѣмецкіе люди встаютъ рано: девяти часовъ еще не пробило, какъ уже кельнеръ доложилъ Санину, что г-нъ подпоручикъ (der Herr Seconde Lieutenant) фонъ-Рихтеръ желаетъ его видѣть. Санинъ проворно накинулъ сюртукъ и приказалъ „просить". Г-нъ Рихтеръ оказался, противъ ожиданія Санина, весьма молодымъ человѣкомъ, почти мальчикомъ. *Онъ старался* придать важности выраженію

своего безбородаго лица,—но это ему не удавалось вовсе: онъ даже не могъ скрыть свое смущеніе — и, садясь на стулъ, чуть не упалъ, зацѣпившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, онъ объявилъ Санину, на дурномъ французскомъ языкѣ, что пріѣхалъ съ порученіемъ отъ своего пріятеля, барона фонъ-Дöнгофа; что порученіе это состояло въ истребованіи отъ г-на фонъ-Занинъ извиненія въ употребленныхъ имъ наканунѣ оскорбительныхъ выраженіяхъ; и что въ случаѣ отказа со стороны г-на фонъ-Занинъ — баронъ фонъ-Дöнгофъ желаетъ сатисфакціи. Санинъ отвѣчалъ, что извиняться онъ не намѣренъ, а сатисфакцію дать готовъ. Тогда г. фонъ-Рихтеръ, все такъ же запинаясь, спросилъ, съ кѣмъ, въ которомъ часу и въ которомъ мѣстѣ придется ему вести нужные переговоры? Санинъ отвѣчалъ, что онъ можетъ придти къ нему часа черезъ два, и что до тѣхъ поръ онъ, Санинъ, постарается сыскать секунданта. („Кого я, къ чорту, возьму въ секунданты?" думалъ онъ между тѣмъ про себя.) Г-нъ фонъ-Рихтеръ всталъ и началъ раскланиваться... но на порогѣ двери остановился, какъ бы почувствовавъ угрызеніе совѣсти,—и, повернувшись къ Санину, промолвилъ, что его пріятель, баронъ фонъ-Дöнгофъ, не скрываетъ отъ самого себя... нѣкоторой степени... собственной вины во вчерашнемъ происшествіи—и потому удовлетворился бы легкими извиненіями — „des exghizes léchères". На это Санинъ отвѣчалъ, что никакихъ извиненій, ни тяжелыхъ, ни легкихъ, онъ давать не намѣренъ, такъ какъ онъ виноватымъ себя не почитаетъ.—„Въ такомъ случаѣ, возразилъ г. фонъ-Рихтеръ, и покраснѣлъ еще болѣе:—надо будетъ помѣняться дружелюбными выстрѣлами — des goups de pisdolet à l'amiaple!"

— Этого я уже совершенно не понимаю, — замѣтилъ Санинъ:—на воздухъ намъ стрѣлять, что́ ли?

— О, не то, не такъ,—залепеталъ окончательно сконфузившійся подпоручикъ:—но я полагалъ, что такъ какъ дѣло происходитъ между порядочными людьми... Я поговорю съ вашимъ секундантомъ, — перебилъ онъ самого себя—и удалился.

Санинъ опустился на стулъ, какъ только тотъ вышелъ, и уставился на полъ. — „Что̀-молъ это такое? Ка̀къ это вдругъ такъ завертѣлась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдругъ стушевалось, пропало — и осталось только то̀, что я во Франкфуртѣ съ кѣмъ-то за что-то дерусь". Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, все подплясывала и напѣвала:

„Подпоручикъ!
Мой огурчикъ!
Мой амурчикъ!
Пропляши со мной, голубчикъ!"

И онъ захохоталъ и пропѣлъ, какъ она: „Подпоручикъ! пропляши со мной, голубчикъ!" — Однако, надо дѣйствовать, не терять времени,—воскликнулъ онъ громко, вскочилъ и увидалъ передъ собой Панталеоне, съ записочкой въ рукѣ.

— Я нѣсколько разъ стучался, но вы не отвѣчали; я подумалъ, что васъ дома нѣтъ, — промолвилъ старикъ и подалъ ему записку.—Отъ синьорины Джеммы.

Санинъ взялъ записку—какъ говорится, машинально—распечаталъ и прочелъ ее. Джемма писала ему, что она весьма безпокоится по поводу извѣстнаго ему дѣла, и желала бы свидѣться съ нимъ тотчасъ.

— Синьорина безпокоится,—началъ Панталеоне, которому, очевидно, было извѣстно содержаніе записки:—она велѣла мнѣ посмотрѣть, что вы дѣлаете, и привести васъ къ ней.

Санинъ взглянулъ на стараго итальянца—и задумался. Внезапная мысль сверкнула въ его головѣ. Въ первый мигъ она показалась ему странной до невозможности...

„Однако... почему же нѣтъ?" спросилъ онъ самого себя.

— Г-нъ Панталеоне!—произнесъ онъ громко.

Старикъ встрепенулся, уткнулъ подбородокъ въ галстукъ и уставился на Санина.

— Вы знаете, — продолжалъ Санинъ: — что̀ произошло вчера?

Панталеоне пожевалъ губами и тряхнулъ своимъ огромнымъ *хохломъ.—Знаю.*

(Эмиль, только-что вернулся, разсказалъ ему все.)

— А! знаете!—Ну, такъ вотъ что.—Сейчасъ отъ меня вышелъ офицеръ. Тотъ нахалъ вызываетъ меня на поединокъ.— Я принялъ его вызовъ.— Но у меня нѣтъ секунданта. Хотите *вы* быть моимъ секундантомъ?

Панталеоне дрогнулъ и такъ высоко поднялъ брови, что онѣ скрылись у него подъ нависшими волосами.

— Вы непремѣнно должны драться?—проговорилъ онъ, наконецъ, по-итальянски; до того мгновенія онъ изъяснялся по-французски.

— Непремѣнно. Иначе поступить — значило бы опозорить себя навсегда.

— Гмъ. — Если я не соглашусь пойти къ вамъ въ секунданты—то вы будете искать другого?

— Буду... непремѣнно.

Панталеоне потупился. — Но позвольте васъ спросить, синьоръ де-Цанини, не броситъ ли вашъ поединокъ нѣкоторую неблаговидную тѣнь на репутацію одной персоны?

— Не полагаю; но, какъ бы то ни было, — дѣлать нечего.

— Гмъ!—Панталеоне совсѣмъ ушелъ въ свой галстукъ.— Ну, а тотъ феррофлукто Клуберіо, — что же онъ? — воскликнулъ онъ вдругъ и вскинулъ лицо кверху.

— Онъ? Ничего.

— Кэ! (Che!) *) — Панталеоне презрительно пожалъ плечами. — Я долженъ, во всякомъ случаѣ, благодарить васъ, — произнесъ онъ, наконецъ, невѣрнымъ голосомъ:— что вы и въ теперешнемъ моемъ уничиженіи умѣли признать во мнѣ порядочнаго человѣка — un galant'uomo! — Поступая такимъ образомъ, вы сами выказали себя настоящимъ galant'uomo. Но я долженъ обдумать ваше предложеніе.

— Время не терпитъ, любезный г. Чи...чиппа...

— Тòла,— подсказалъ старикъ.—Я прошу всего одинъ часъ на размышленіе.—Тутъ замѣшана дочь моихъ благодѣтелей... И потому я долженъ, я обязанъ — подумать!!...

---

*) *Непереводимое* итальянское восклицаніе, въ родѣ нашего: Ну!

Черезъ часъ... черезъ три-четверти часа—вы узнаете мое рѣшеніе.

— Хорошо; я подожду.

— А теперь... какой же я дамъ отвѣтъ синьоринѣ Джеммѣ?

Санинъ взялъ листокъ бумаги, написалъ на немъ: „Будьте покойны, моя дорогая пріятельница, часа черезъ три я приду къ вамъ — и все объяснится. Душевно васъ благодарю за участіе“ — и вручилъ этотъ листикъ Панталеоне.

Тотъ бережно положилъ его въ боковой карманъ — и еще разъ повторивъ: черезъ часъ! — направился-было къ дверямъ; но круто повернулъ назадъ, подбѣжалъ къ Санину, схватилъ его руку — и, притиснувъ ее къ своему жабо, поднявъ глаза къ небу, воскликнулъ: „Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) — позвольте слабому старцу (a un vecchiotto!) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!). Потомъ отскочилъ немного назадъ, взмахнулъ обѣими руками—и удалился.

Санинъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ... взялъ газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бѣгали по строкамъ: онъ не понималъ ничего.

XVIII.

Часъ спустя, кельнеръ снова вошелъ къ Санину и подалъ ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли слѣдующія слова: Панталеоне Чиппатола, изъ Варезе, придворный пѣвецъ (cantante di camera) его королевскаго высочества герцога Моденскаго; — а вслѣдъ за кельнеромъ явился и самъ Панталеоне. Онъ переодѣлся съ ногъ до головы. На немъ былъ порыжѣлый черный фракъ и бѣлый пикеневый жилетъ, по которому затѣйливо извивалась томпаковая цѣпочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкіе черные панталоны съ гульфикомъ. Въ правой рукѣ онъ держалъ черную шляпу изъ заячьяго пуха, въ лѣвой двѣ толстыя, замшевыя перчатки; галстукъ онъ повязалъ еще шире и

выше обыкновеннаго—и въ накрахмаленное жабо воткнулъ булавку съ камнемъ, называемымъ „кошачьимъ глазомъ" (oeil de chat). На указательномъ пальцѣ правой руки красовался перстень, изображавшій двѣ сложенныя длани, а между ними пылающее сердце. Залежалымъ запахомъ, запахомъ камфары и мускуса несло отъ всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самаго равнодушнаго зрителя! Санинъ всталъ ему навстрѣчу.

— Я вашъ секундантъ, — промолвилъ Панталеоне по-французски—и наклонился всѣмъ корпусомъ впередъ, причемъ носки поставилъ врозь, какъ это дѣлаютъ танцоры.— Я пришелъ за инструкціями. Желаете вы драться безъ пощады?

— Зачѣмъ же безъ пощады, дорогой мой г. Чиппатòла? Я ни за что въ мірѣ не возьму моихъ вчерашнихъ словъ назадъ—но я не кровопійца!.. Да вотъ, постойте, сейчасъ придетъ секундантъ моего противника. Я уйду въ сосѣднюю комнату—а вы съ нимъ и условитесь. Повѣрьте, я въ вѣкъ не забуду вашей услуги и благодарю васъ отъ души.

— Честь прежде всего!—отвѣчалъ Панталеоне и опустился въ кресла, не дожидаясь, чтобы Санинъ попросилъ его сѣсть.—Если этотъ феррофлукто спичебуббіо,—заговорилъ онъ, мѣшая французскій языкъ съ итальянскимъ:— если этотъ торгашъ Клуберіо не умѣлъ понять свою прямую обязанность или струсилъ,—тѣмъ хуже для него!.. Грошовая душа—и баста!.. Что же касается до условій поединка—я вашъ секундантъ, и ваши интересы для меня священны!!.. Когда я жилъ въ Падуѣ, тамъ стоялъ полкъ бѣлыхъ драгуновъ—и я со многими офицерами былъ очень близокъ!.. Весь ихъ кодексъ мнѣ очень хорошо извѣстенъ. Ну, и съ вашимъ принчипе Тарбуски я часто бесѣдовалъ объ этихъ вопросахъ... Тотъ секундантъ скоро долженъ придти?

— Я жду его каждую минуту — да вотъ, онъ самъ и *идетъ,—прибавилъ* Санинъ, глянувъ на улицу.

Панталеоне всталъ, посмотрѣлъ на часы, поправилъ свой

кокъ и поспѣшно засунулъ въ башмакъ болтавшуюся изъ-подъ панталонъ тесемку. Молодой подпоручикъ вошелъ, все такой же красный и смущенный.

Санинъ представилъ секундантовъ другъ другу. — M-r Richter, souslieutenant! M-r Zippatola, artiste! — Подпоручикъ слегка изумился при видѣ старика... О, что бы онъ сказалъ, если бъ кто шепнулъ ему въ это мгновеніе, что представленный ему „артистъ“ занимается также и поваренным искусствомъ! Но Панталеоне принялъ такой видъ, какъ будто участвовать въ устройствѣ поединковъ было для него самымъ обычнымъ дѣломъ: вѣроятно, ему въ этомъ случаѣ помогали воспоминанія его театральной карьеры—и онъ разыгрывалъ роль секунданта, именно какъ роль. И онъ, и подпоручикъ, оба помолчали немного.

— Что жъ? Приступимъ!—первый промолвилъ Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

— Приступимъ,—отвѣтилъ подпоручикъ:—но... присутствіе одного изъ противниковъ...

— Я васъ немедленно оставлю, господа,—воскликнулъ Санинъ, поклонился, вышелъ въ спальню—заперъ за собою дверь.

Онъ бросился на кровать—и принялся думать о Джеммѣ... но разговоръ секундантовъ проникалъ къ нему въ закрытую дверь. Онъ происходилъ на французскомъ языкѣ; оба коверкали его нещадно, каждый на свой ладъ. Панталеоне опять упомянулъ о драгунахъ въ Падуѣ, о принципе Тарбуски—подпоручикъ объ „exghizes léchères“ и о „goups à l'amiaple“. Но старикъ и слышать не хотѣлъ ни о какихъ exghizes! Къ ужасу Санина, онъ вдругъ пустился толковать своему собесѣднику о нѣкоторой юной, невинной дѣвицѣ, одинъ мизинецъ которой стòитъ больше, чѣмъ всѣ офицеры міра... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale piu que toutt le zouilissié del mondo!) и нѣсколько разъ съ жаромъ повторилъ: Это стыдъ! это стыдъ! (E ouna onta, ouna onta!) Поручикъ сперва не возражалъ ему, но потомъ въ голосѣ молодого человѣка послышалась гнѣвная дрожь, и онъ замѣтилъ,

что пришелъ не затѣмъ, чтобы выслушивать моральныя сентенціи...

— Въ вашемъ возрастѣ всегда полезно выслушивать справедливыя рѣчи!—воскликнулъ Панталеоне.

Преніе между г-ми секундантами нѣсколько разъ становилось бурнымъ; оно продолжалось болѣе часа и завершилось, наконецъ, слѣдующими условіями: „стрѣляться барону фонъ-Дöнгофу и господину де-Санину на завтрашній день, въ 10 часовъ утра, въ небольшомъ лѣсу около Ганау, на разстояніи двадцати шаговъ; каждый имѣетъ право стрѣлять два раза по знаку, данному секундантами; пистолеты безъ шнеллера и не нарѣзные". Г-нъ фонъ-Рихтеръ удалился, а Панталеоне торжественно открылъ дверь спальни и, сообщивъ результатъ совѣщанія, снова воскликнулъ: „Bravo Russo! Bravo giovanotto! Ты будешь побѣдителемъ!"

Нѣсколько минутъ спустя, они оба отправились въ кондитерскую Розелли. Санинъ предварительно взялъ съ Панталеоне слово держать дѣло о дуэли въ глубочайшей тайнѣ. Въ отвѣтъ старикъ только палецъ кверху поднялъ и, прищуривъ глазъ, прошепталъ два раза сряду: Segredezza! (таинственность!). Онъ видимо помолодѣлъ, и даже выступалъ свободнѣе. Всѣ эти необычайныя, хотя и непріятныя событія живо переносили его въ ту эпоху, когда онъ самъ и принималъ, и дѣлалъ вызовы—правда, на сценѣ. Баритоны, какъ извѣстно, очень пѣтушатся въ своихъ рòляхъ.

XIX.

Эмиль выбѣжалъ навстрѣчу Санину—онъ болѣе часа караулилъ его приходъ—и торопливо шепнулъ ему на ухо, что мать ничего не знаетъ о вчерашней непріятности, и что даже намекать на нее не слѣдуетъ, а что его опять посылаютъ въ магазинъ!!.. но что онъ туда не пойдетъ, а спрячется гдѣ-нибудь!—Сообщивъ все это въ теченіе нѣсколькихъ секундъ, онъ внезапно припалъ къ плечу Санина, *порывисто* поцѣловалъ его и бросился внизъ по улицѣ. Въ *кондитерской* Джемма встрѣтила Санина; хотѣла что-то

сказать—и не могла. Ея губы слегка дрожали, а глаза щурились и бѣгали по сторонамъ. Онъ поспѣшилъ успокоить ее увѣреніемъ, что все дѣло кончилось... сущими пустяками.

— У васъ никого не было сегодня?—спросила она.

— Было у меня одно лицо—мы съ нимъ объяснились—и мы... мы пришли къ самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавокъ.

„Не повѣрила она мнѣ!“ подумалъ онъ... однако, отправился въ сосѣднюю комнату и засталъ тамъ фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась въ настроеніи меланхолическомъ. Она радушно улыбнулась ему, но въ то же время предупредила его, что ему будетъ сегодня съ нею скучно, такъ какъ она не въ состояніи его занять. Онъ подсѣлъ къ ней и замѣтилъ, что ея вѣки покраснѣли и опухли.

— Что съ вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

— Тссесъ... — прошептала она и указала головою на комнату, гдѣ находилась ея дочь. — Не говорите этого... громко.

— Но о чемъ же вы плакали?

— Ахъ, мосье Санинъ, сама не знаю о чемъ!

— Васъ никто не огорчилъ?

— О, нѣтъ!.. Мнѣ очень скучно вдругъ сдѣлалось. Вспомнила и Джіован'Баттиста... свою молодость... Потомъ, какъ это все скоро прошло. Стара я становлюсь, другъ мой, — и не могу я никакъ съ этимъ помириться. Кажется, сама я все та же, что прежде... а старость—вотъ она... вотъ она! — На глазахъ фрау Леноры показались слезинки.—Вы, я вижу, смотрите на меня, да удивляетесь... Но вы тоже постарѣете, другъ мой, и узнаете, какъ это горько!

Санинъ принялся утѣшать ее, упомянулъ объ ея дѣтяхъ, въ которыхъ воскресала ея собственная молодость, попытался даже подтрунить надъ нею, увѣряя, что она напрашивается на комплименты... но она, не шутя, по-

просила его „перестать“, и онъ тутъ въ первый разъ могъ убѣдиться, что подобную унылость, унылость сознанной старости, ничѣмъ утѣшить и разсѣять нельзя; надо подождать пока она пройдетъ сама собою. Онъ предложилъ ей сыграть съ нимъ въ тресетте—и ничего лучшаго онъ не могъ придумать. Она тотчасъ согласилась—и какъ будто повеселѣла.

Санинъ игралъ съ ней до обѣда и послѣ обѣда. Панталеоне также принялъ участіе въ игрѣ. Никогда его хохолъ не падалъ такъ низко на лобъ, никогда подбородокъ не уходилъ такъ глубоко въ галстукъ! Каждое движеніе его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну съ такою твердостью хранитъ этотъ человѣкъ?

Но—segredezza! segredezza!

Онъ, въ теченіе всего того дня, всячески старался оказывать глубочайшее почтеніе Санину; за столомъ, торжественно и рѣшительно, минуя дамъ, подавалъ блюда ему первому; во время карточной игры уступалъ ему прикупку, не дерзалъ его ремизить; объявлялъ, ни къ селу, ни къ городу, что русскіе — самый великодушный, храбрый и рѣшительный народъ въ мірѣ!

„Ахъ ты, старый лицедѣй!“ думалъ про себя Санинъ.

И не столько дивился онъ неожиданному настроенію духа въ г-жѣ Розелли, сколько тому, какъ ея дочь съ нимъ обращалась. Она не то, чтобы избѣгала его... напротивъ, она постоянно садилась въ небольшомъ отъ него разстояніи, прислушивалась къ его рѣчамъ, глядѣла на него; но она рѣшительно не хотѣла вступать съ нимъ въ бесѣду, и какъ только онъ заговаривалъ съ нею—тихонько поднималась съ мѣста и тихонько удалялась на нѣсколько мгновеній. Потомъ она появлялась опять, и опять усаживалась гдѣ-нибудь въ уголкѣ—и сидѣла неподвижно, словно размышляя и недоумѣвая... недоумѣвая пуще всего. Сама фрау Леноре замѣтила, наконецъ, необычайность ея поведенія и раза два спросила, [illegible] *съ ней?*

— Ничего, — отвѣтила Джемма: — ты знаешь, я бываю иногда такая.

— Это точно,—соглашалась съ нею мать.

Такъ прошелъ весь этотъ длинный день, ни оживленно, ни вяло — ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе — Санинъ... какъ знать? не совладалъ бы съ искушеніемъ немного порисоваться—или просто поддался бы чувству грусти передъ возможной, быть-можетъ, вѣчной разлукой... Но такъ какъ ему ни разу не пришлось даже поговорить съ Джеммой, то онъ долженъ былъ удовлетвориться тѣмъ, что въ теченіе четверти часа, передъ вечернимъ кофе, бралъ минорные аккорды на фортепіано.

Эмиль вернулся поздно, и во избѣжаніе разспросовъ о г-нѣ Клюберѣ, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Сапину.

Онъ сталъ прощаться съ Джеммой. Вспомнилось ему почему-то разставаніе Ленскаго съ Ольгой въ „Онѣгинѣ". Онъ крѣпко стиснулъ ей руку — и попытался заглянуть ей въ лицо — но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

XX.

Уже совсѣмъ „вызвѣздило", когда онъ вышелъ на крыльцо. И сколько жъ ихъ высыпало, этихъ звѣздъ большихъ, малыхъ, желтыхъ, красныхъ, синихъ, бѣлыхъ Всѣ онѣ такъ и рдѣли, такъ роились, наперерывъ играя лучами. Луны не было на небѣ, но и безъ нея каждый предметъ четко виднѣлся въ полусвѣтломъ, безтѣнномъ сумракѣ. Санинъ прошелъ улицу до конца... Не хотѣлось ему тотчасъ возвратиться домой; онъ чувствовалъ потребность побродить на чистомъ воздухѣ. Онъ вернулся назадъ—и не успѣлъ еще поровняться съ домомъ, въ которомъ помѣщалась кондитерская Розелли, какъ одно изъ оконъ, выходившихъ на улицу, внезапно стукнуло и отворилось — на черномъ его четырехугольникѣ (въ комнатѣ не было огня) появилась женская фигура — и онъ услышалъ, что его зовутъ:

— „Monsieur Dimitri!"

Онъ тотчасъ бросился къ окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконникъ и наклонилась впередъ.

— Monsieur Dimitri,—начала она осторожнымъ голосомъ:—я въ теченіе цѣлаго нынѣшняго дня хотѣла вамъ дать одну вещь... но не рѣшалась; и вотъ, теперь, неожиданно, увидя васъ снова, подумала, что, видно, такъ суждено...

Джемма невольно остановилась на этомъ словѣ. Она не могла продолжать: нѣчто необыкновенное произошло въ это самое мгновенье.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачномъ небѣ, налетѣлъ такой порывъ вѣтра, что сама земля, казалось, затрепетала подъ ногами, тонкій звѣздный свѣтъ задрожалъ и заструился, самый воздухъ завертѣлся клубомъ. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударилъ по деревьямъ, по крышѣ дома, по его стѣнамъ, по улицѣ; онъ мгновенно сорвалъ шляпу съ головы Санина, взвилъ и разметалъ черныя кудри Джеммы. Голова Санина приходилась въ уровень съ подоконникомъ; онъ невольно прильнулъ къ нему—и Джемма ухватилась обѣими руками за его плечо, припала грудью къ его головѣ. Шумъ, звонъ и грохотъ длились около минуты... Какъ стая громадныхъ птицъ промчался прочь взыгравшій вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санинъ приподнялся и увидалъ надъ собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такіе огромные, страшные, великолѣпные глаза—такую красавицу увидалъ онъ, что сердце въ немъ замерло, онъ приникъ губами къ тонкой пряди волосъ, упавшей ему на грудь — и только могъ проговорить: О, Джемма!

— Что̀ это было такое? Молнія?—спросила она, широко поводя глазами и не принимая съ его плечъ своихъ обнаженныхъ рукъ.

— Джемма!—повторилъ Санинъ.

Она вздохнула, оглянулась назадъ, въ комнату,—и быстрымъ движеніемъ, доставъ изъ-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

— *Я* хотѣла дать вамъ этотъ цвѣтокъ...

Онъ узналъ розу, которую онъ отвоевалъ наканунѣ...

Но уже окошко захлопнулось, и за темнымъ стекломъ ничего не виднѣлось и не бѣлѣло.

Санинъ пришелъ домой безъ шляпы... Онъ и не замѣтилъ, что онъ ее потерялъ.

XXI.

Онъ заснулъ подъ самое утро. И не мудрено! Подъ ударомъ того лѣтняго, мгновеннаго вихря, онъ почти такъ же мгновенно почувствовалъ—не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась — это онъ зналъ и прежде... а то, что онъ едва ли... не полюбилъ ея! Мгновенно, какъ тотъ вихрь, налетѣла на него любовь. А тутъ эта глупая дуэль! Скорбныя предчувствія начали его мучить. Ну, положимъ, не убьютъ его... Что же можетъ выйти изъ его любви къ этой дѣвушкѣ, къ невѣстѣ другого? Положимъ даже, что этотъ „другой" ему не опасенъ, что сама Джемма полюбитъ или уже полюбила его... Что̀ же изъ этого? Какъ что̀? Такая красавица...

Онъ ходилъ по комнатѣ, садился за столъ, бралъ листъ бумаги, чертилъ на немъ нѣсколько строкъ — и тотчасъ ихъ вымарывалъ... Вспоминалъ удивительную фигуру Джеммы, въ темномъ окнѣ, подъ лучами звѣздъ, всю развѣянную теплымъ вихремъ; вспоминалъ ея мраморныя руки, подобныя рукамъ олимпійскихъ богинь, чувствовалъ ихъ живую тяжесть на плечахъ своихъ... Потомъ онъ бралъ брошенную ему розу—казалось ему, что отъ ея полузавядшихъ лепестковъ вѣяло другимъ, еще болѣе тонкимъ запахомъ, чѣмъ обычный запахъ розъ...

— И вдругъ его убьютъ, или изувѣчатъ?

Онъ не ложился въ постель—и заснулъ, одѣтый, на диванѣ.

Кто-то потрепалъ его по плечу...

Онъ открылъ глаза—и увидѣлъ Панталеоне.

— Спитъ, какъ Александръ Македонскій наканунѣ вавилонскаго сраженія!—воскликнулъ старикъ.

— Да который часъ?—спросилъ Санинъ.

— Семь часовъ безъ четверти; до Ганау — два часа ѣзды, а мы должны быть первые на мѣстѣ. Русскіе всегда

предупреждаютъ враговъ! Я взялъ лучшую карету во Франкфуртѣ!

Санинъ началъ умываться.—А пистолеты гдѣ?

— Пистолеты привезетъ тотъ феррофлукто Тедеско. И доктора онъ же привезетъ.

Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда онъ сѣлъ въ карету съ Санинымъ, когда кучеръ защелкалъ бичомъ и лошади съ мѣста пустились вскачь, — съ бывшимъ пѣвцомъ и пріятелемъ падуйскихъ драгуновъ произошла внезапная перемѣна. Онъ смутился, даже струхнулъ. Въ немъ словно что-то обрушилось, какъ плохо выведенная стѣнка.

— Однако, что̀ это мы дѣлаемъ, Боже мой, Santissima Madonna!—воскликнулъ онъ неожиданно писклывымъ голосомъ и схватилъ себя за волосы.—Что̀ я дѣлаю, я старый дуракъ, сумасшедшій, frenetico?

Санинъ удивился и засмѣялся, и слегка обнявъ Панталеоне за талью, напомнилъ ему французскую поговорку „Le vin est tiré—il faut le boire"—(по-русски: „взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ").

— Да, да,—отвѣчалъ старикъ:—эту чашу мы разопьемъ съ вами, — а все же я безумецъ! Я безумецъ! Все было такъ тихо, хорошо... и вдругъ: та-та-та, тра-та-та!

— Словно tutti въ оркестрѣ,—замѣтилъ Санинъ съ натянутой улыбкой.—Но виноваты не вы.

— Я знаю, что не я! Еще бы! Все же, это... необузданный такой поступокъ. Diavolo! Diavolo!—повторилъ Панталеоне, потрясая хохломъ и вздыхая.

А карета все катилась, да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшія оживляться, казались такими чистыми и уютными; окна домовъ блестѣли переливчато, какъ фольга; а лишь только карета выѣхала за заставу — сверху, съ голубого, еще не яркаго неба, такъ и посыпались голосистые раскаты жаворонковъ. Вдругъ, на поворотѣ шоссе, изъ-за высокаго тополя показалась знакомая фигура, ступила нѣсколько шаговъ и остановилась. Санинъ приглядѣлся... *Боже мой!* Эмиль!

— Да развѣ онъ знаетъ что-нибудь?—обратился онъ къ Панталеоне.

— Я же вамъ говорю, что я безумецъ,—отчаянно, чуть не съ крикомъ возопилъ бѣдный итальянецъ:—этотъ злополучный мальчикъ всю ночь мнѣ не далъ покоя — и я ему сегодня утромъ, наконецъ, все открылъ!

„Вотъ тебѣ и segredezza!“ подумалъ Санинъ.

Карета поровнялась съ Эмилемъ; Санинъ велѣлъ кучеру остановить лошадей и подозвалъ къ себѣ „злополучнаго мальчика“. Нерѣшительными шагами приблизился Эмиль, блѣдный, блѣдный, какъ въ день своего припадка. Онъ едва держался на ногахъ.

— Что вы здѣсь дѣлаете?—строго спросилъ его Санинъ:—зачѣмъ вы не дома?

— Позвольте... позвольте мнѣ ѣхать съ вами,—пролепеталъ Эмиль трепетнымъ голосомъ, и сложилъ руки. Зубы у него стучали, какъ въ лихорадкѣ. — Я вамъ не помѣшаю, только возьмите меня!

— Если вы чувствуете хоть на волосъ привязанности или уваженія ко мнѣ,—промолвилъ Санинъ:—вы сейчасъ вернетесь домой или въ магазинъ къ г-ну Клюберу, и никому не скажете ни единаго слова, и будете ждать моего возвращенія!

— Вашего возвращенія,—простоналъ Эмиль, а голосъ его зазвенѣлъ и оборвался:—но если васъ...

— Эмиль! — перебилъ его Санинъ и указалъ глазами на кучера:—опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, другъ мой! Вы увѣряете, что любите меня. Ну, я васъ прошу!

Онъ протянулъ ему руку. Эмиль покачнулся впередъ, всхлипнулъ, прижалъ ее къ своимъ губамъ — и, соскочивъ съ дороги, побѣжалъ назадъ, къ Франкфурту, черезъ поле.

— Тоже благородное сердце, — пробормоталъ Панталеоне, но Санинъ угрюмо взглянулъ на него... Старикъ уткнулся въ уголъ кареты. Онъ сознавалъ свою вину: да сверхъ того онъ съ каждымъ мгновеньемъ все болѣе изумлялся: *неужели это онъ* взаправду сдѣлался секундантомъ,

и лошадей *онъ* досталъ, и всѣмъ распорядился, и мирное свое обиталище покинулъ въ шесть часовъ утра? Къ тому же, ноги его разболѣлись и запыли.

Санинъ почелъ за нужное ободрить его — и попалъ въ жилку, нашелъ настоящее слово.

— Гдѣ же вашъ прежній духъ, почтенный синьоръ Чиппатола? Гдѣ — il antico valor? — Синьоръ Чиппатола выпрямился и нахмурился.

— Il antico valor?—провозгласилъ онъ басомъ.—Non è ancora spento — (онъ еще не весь утраченъ) il antico valor!

Онъ пріосанился, заговорилъ о своей карьерѣ, объ оперѣ, о великомъ тенорѣ Гарсіа—и пріѣхалъ въ Ганау молодцомъ. Какъ подумаешь: нѣтъ ничего на свѣтѣ сильнѣе... и безсильнѣе—слова!

XXII.

Лѣсокъ, въ которомъ долженствовало происходить побоище, находился въ четверти мили отъ Ганау. Санинъ съ Панталеоне пріѣхали первые, какъ онъ предсказывалъ; велѣли каретѣ остаться на опушкѣ лѣса и углубились въ тѣнь довольно густыхъ и частыхъ деревьевъ. Имъ пришлось ждать около часа.

Ожиданіе не показалось особенно тягостнымъ Санину, онъ расхаживалъ взадъ и впередъ по дорожкѣ, прислушивался, какъ пѣли птицы, слѣдилъ за пролетавшими „коромыслами“, и, какъ бо̀льшая часть русскихъ людей въ подобныхъ случаяхъ, старался не думать. Разъ только на него нашло раздумье: онъ наткнулся на молодую липу, сломанную, по всѣмъ вѣроятіямъ, вчерашнимъ шкваломъ. Она положительно умирала... всѣ листья на ней умирали. „Что это? предзнаменованіе?“ мелькнуло у него въ головѣ; но онъ тотчасъ же засвисталъ, перескочилъ черезъ ту самую липу, зашагалъ по дорожкѣ. Панталеоне—тотъ ворчалъ, бранилъ нѣмцевъ, кряхтѣлъ, потирая то спину, то колѣни. Онъ даже зѣвалъ отъ волненія, что̀ придавало презабавное выраженіе его маленькому, съеженному *личику. Санинъ* чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось, наконецъ, рокотаніе колесъ по мягкой дорогѣ.—Они! промолвилъ Панталеоне, и насторожился и выпрямился, не безъ мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспѣшилъ замаскировать восклицаніемъ: бррррь! и замѣчаніемъ, что сегодняшнее утро довольно свѣжее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникалъ уже въ самый лѣсъ.

Оба офицера скоро показались подъ его сводами; ихъ сопровождалъ небольшой плотненькій человѣчекъ съ флегматическимъ, почти заспаннымъ, лицомъ — военный докторъ. Онъ несъ въ одной рукѣ глиняный кувшинъ съ водою — на всякій случай; сумка съ хирургическими инструментами и бинтами болталась на его лѣвомъ плечѣ. Видно было, что онъ къ подобнымъ экскурсіямъ привыкъ до-нельзя; онѣ составляли одинъ изъ источниковъ его доходовъ; каждая дуэль приносила ему восемь червонцевъ— по четыре съ каждой изъ воюющихъ сторонъ. Г-нъ фонъ-Рихтеръ несъ ящикъ съ пистолетами, г. фонъ-Дёнгофъ вертѣлъ въ рукѣ — вѣроятно, для „шику“ — небольшой хлыстикъ.

— Панталеоне!—шепнулъ Санинъ старику:—если... если меня убьютъ—все можетъ случиться—достаньте изъ моего бокового кармана бумажку—въ ней завернутъ цвѣтокъ— и отдайте эту бумажку синьоринѣ Джеммѣ. Слышите? Вы обѣщаетесь?

Старикъ уныло взглянулъ на него — и качнулъ утвердительно головою... Но Богъ вѣдаетъ, понялъ ли онъ, о чемъ просилъ его Санинъ.

Противники и секунданты обмѣнялись, какъ водится, поклонами; одинъ докторъ даже бровью не повелъ — и присѣлъ, зѣвая, на траву: „Мнѣ-молъ не до изъявленій рыцарской вѣжливости“. Г-нъ фонъ-Рихтеръ предложилъ г-ну „Тшибадола“ выбрать мѣсто; г. „Тшибадола“ отвѣчалъ, тупо ворочая языкомъ — („стѣнка“ въ немъ опять обрушилась)—что: „дѣйствуйте-молъ, вы, милостивый государь, я буду наблюдать“...

И г. фонъ-Рихтеръ началъ дѣйствовать. Отыскалъ, *тутъ же, въ лѣсу, прехорошенькую*, всю испещренную цвѣ-

тами, поляну; отмѣрилъ шаги, обозначилъ два крайнихъ пункта оструганными наскоро палочками, досталъ изъ ящика пистолеты, и присѣвъ на корточки, заколотилъ пули; словомъ, трудился и хлопоталъ изо всѣхъ силъ, безпрестанно утирая свое вспотѣвшее лицо бѣлымъ платочкомъ. Сопровождавшій его Панталеоне походилъ болѣе на озябшаго человѣка. Въ теченіе всѣхъ этихъ приготовленій, оба противника стояли поодаль, напоминая собою двухъ наказанныхъ школьниковъ, которые дуются на своихъ гувернеровъ.

Настало рѣшительное мгновенье...

„Каждый взялъ свой пистолетъ"...

Но тутъ г. фонъ-Рихтеръ замѣтилъ Панталеоне, что ему, какъ старшему секунданту, слѣдуетъ, по правиламъ дуэли, прежде чѣмъ провозгласить роковое: „разъ! два! три!" обратиться къ противникамъ съ послѣднимъ совѣтомъ и предложеніемъ помириться; что хотя это предложеніе не имѣетъ никогда никакихъ послѣдствій и, вообще, не что иное, какъ пустая формальность, однако, исполненіемъ этой формальности, г. Чиппатола отклоняетъ отъ себя нѣкоторую долю отвѣтственности; что, правда, подобная аллокуція составляетъ прямую обязанность такъ-называемаго „безпристрастнаго свидѣтеля" — unpartheiischer Zeuge)—но такъ какъ у нихъ такового не имѣется—то онъ, г. фонъ-Рихтеръ, охотно уступаетъ эту привилегію своему почтенному собрату, Панталеоне, который успѣлъ уже затушеваться за кустъ такъ, чтобы не видѣть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понялъ изо всей рѣчи г-на фонъ-Рихтера—тѣмъ болѣе, что она была произнесена въ носъ;—но вдругъ встрепенулся, проворно выступилъ впередъ, и судорожно стуча руками въ грудь, хриплымъ голосомъ возопилъ на своемъ смѣшанномъ нарѣчіи: „A la la la... Che bestialitá! Deux zeun' ommes comme ça qué si battono—perché? Che diavolo? Andate a casa!

— Я не согласенъ на примиреніе,—поспѣшно проговорилъ Санинъ.

— И я тоже несогласенъ,—повторилъ за нимъ его пр тивникъ.

— Ну, такъ кричите: разъ, два, три!—обратился фонъ Рихтеръ къ растерявшемуся Панталеоне.

Тотъ немедленно опять нырнулъ въ кустъ—и уже от туда прокричалъ, весь скорчившись, зажмуривъ глаза отвернувъ голову, но во все горло: Una... due... e tre!

Первый выстрѣлилъ Санинъ—и не попалъ. Пуля ег звякнула о дерево. Баронъ Дöнгофъ выстрѣлилъ тотчас вслѣдъ за нимъ—преднамѣренно въ сторону, на воздух

Наступило напряженное молчаніе... Никто не трогалс съ мѣста. Панталеоне слабо охнулъ.

— Прикажете продолжать?—проговорилъ Дöнгофъ.

— Зачѣмъ вы выстрѣлили на воздухъ?—спросилъ Са нинъ.

— Это не ваше дѣло.

— Вы и во второй разъ будете стрѣлять на воздухъ?— спросилъ опять Санинъ.

— Можетъ-быть; не знаю.

— Позвольте, позвольте, господа...—началъ фонъ-Рих теръ:—дуэлланты не имѣютъ права говорить между со бою. Это совсѣмъ не въ порядкѣ.

— Я отказываюсь отъ своего выстрѣла,—промолвил Санинъ, и бросилъ пистолетъ на землю.

— И я тоже не намѣренъ продолжать дуэль,—воскли нулъ Дöнгофъ, и тоже бросилъ свой пистолетъ.—Да, сверх того, я теперь готовъ сознаться, что я былъ не правъ— третьяго дня.

Онъ помялся на мѣстѣ—и нерѣшительно протянул руку впередъ. Санинъ быстро приблизился къ нему— пожалъ ее. Оба молодые человѣка съ улыбкой поглядѣл другъ на друга—и лица у обоихъ покрылись краской.

— Bravi! bravi!—внезапно, какъ сумасшедшій, загорла нилъ Панталеоне—и, хлопая въ ладоши, турманомъ вы бѣжалъ изъ-за куста; а докторъ, усѣвшійся въ сторон на срубленномъ деревѣ, немедленно всталъ, вылилъ вод изъ кувшина—и пошелъ, лѣниво переваливаясь, къ опуш

— Честь удовлетворена—и дуэль кончена!—провозгласилъ фонъ-Рихтеръ.

— Fuori! (фора!) — по старой памяти, еще разъ гаркнулъ Панталеоне.

Размѣнявшись поклонами съ г-ми офицерами и садясь въ карету, Санинъ, правда, ощущалъ во всемъ существѣ своемъ если не удовольствіе, то нѣкоторую легкость, какъ послѣ выдержанной операціи; но и другое чувство зашевелилось въ немъ, чувство, похожее на стыдъ... Фальшью, заранѣе условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединокъ, въ которомъ онъ только что разыгралъ свою роль. Вспомнилъ онъ флегматическаго доктора, вспомнилъ, какъ онъ улыбнулся—то-есть, сморщилъ носъ, когда увидѣлъ его выходившаго изъ лѣсу чуть не подъ-руку съ барономъ Дôнгофомъ. А потомъ, когда Панталеоне выплачивалъ тому же доктору слѣдуемые ему четыре червонца... Эхъ! нехорошо что-то!

Да, Санину было немножко совѣстно и стыдно... хотя, съ другой стороны, что̀ же ему было сдѣлать? Не оставлять же безъ наказанія дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клюберу? Онъ заступился за Джемму, онъ защитилъ ее... Оно такъ; а все-таки, у него скребло на душѣ, и было ему совѣстно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне—просто торжествовалъ! Имъ внезапно обуяла гордость. Побѣдоносный генералъ, возвращающійся съ поля выигранной имъ битвы, не озирался бы съ бо̀льшимъ самодовольствіемъ. Поведеніе Санина во время поединка наполняло его восторгомъ. Онъ величалъ его героемъ—и слышать не хотѣлъ его увѣщаній и даже просьбъ. Онъ сравнивалъ его съ монументомъ изъ мрамора или бронзы—со статуей командора въ Д.-Жуанѣ! Про самого себя онъ сознавался, что почувствовалъ нѣкоторое смятеніе;— „но вѣдь я артистъ, — замѣтилъ онъ:— у меня натура нервозная, а вы—сынъ снѣговъ и скалъ гранитныхъ“.

Санинъ рѣшительно не зналъ, какъ ему унять расхо*дившагося* артиста.

Почти на томъ же самомъ мѣстѣ дороги, гдѣ часа два тому назадъ они настигли Эмиля — онъ снова выскочилъ изъ-за дерева, и съ радостнымъ крикомъ на губахъ, помахивая картузомъ надъ головою и подпрыгивая, бросился прямо къ каретѣ, чуть-чуть не попалъ подъ колесо, и не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался черезъ закрытыя дверцы—и такъ и впился въ Санина.

— Вы живы, вы не ранены!—твердилъ онъ.—Простите меня, я не послушался васъ, я не вернулся во Франкфуртъ... Я не могъ! Я ждалъ васъ здѣсь... Разскажите мнѣ, какъ это было?—Вы... убили его?

Санинъ съ трудомъ успокоилъ и усадилъ Эмиля.

Многоглаголиво, съ видимымъ удовольствіемъ сообщилъ ему Панталеоне всѣ подробности поединка, и ужъ конечно не преминулъ снова упомянуть о монументѣ изъ бронзы, о статуѣ командора! Онъ даже всталъ съ своего мѣста, и растопыривъ ноги, для удержанія равновѣсія, скрестивъ на груди руки и презрительно скосясь черезъ плечо — воочію представлялъ командора-Санина! Эмиль слушалъ съ благоговѣніемъ, изрѣдка прерывая разсказъ восклицаніемъ или быстро приподнимаясь и столь же быстро цѣлуя своего героическаго друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта — и остановились, наконецъ, передъ гостиницей, въ которой жилъ Санинъ.

Въ сопровожденіи своихъ двухъ спутниковъ, взбирался онъ по лѣстницѣ во второй этажъ — какъ вдругъ, изъ темнаго коридорчика, проворными шагами вышла женщина: лицо ея было покрыто вуалью; она остановилась передъ Санинымъ, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчасъ же побѣжала внизъ, на улицу — и скрылась, къ великому изумленію кельнера, который объявилъ, что „эта дама болѣе часа ожидала возвращенія господина иностранца“. Какъ ни мгновенно было ея появленіе, Санинъ успѣлъ узнать въ ней Джемму. Онъ узналъ ея глаза подъ плотнымъ шелкомъ коричневой вуали.

— Развѣ фрейлейнъ Джеммѣ было извѣстно...—протянулъ онъ *недовольнымъ* голосомъ, по-нѣмецки, обратив-

шись къ Эмилю и Панталеоне, которые шли за нимъ по пятамъ.

Эмиль покраснѣлъ и смѣшался.

— Я принужденъ былъ ей все сказать, — пролепеталъ онъ:—она догадывалась—и я никакъ не могъ... Но вѣдь теперь это ничего не значитъ, — подхватилъ онъ съ живостью: — все такъ прекрасно кончилось, и она васъ видѣла здоровымъ и невредимымъ!

Санинъ отвернулся.

— Какіе вы, однако, болтуны оба! — промолвилъ онъ съ досадой, вошелъ къ себѣ въ комнату и сѣлъ на стулъ.

— Не сердитесь, пожалуйста,—взмолился Эмиль.

— Хорошо, я не буду сердиться. (Санинъ дѣйствительно не сердился — да и, наконецъ, едва ли бы могъ онъ желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала.) Хорошо... полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наединѣ. Я лягу спать. Я усталъ.

— Превосходная мысль! — воскликнулъ Панталеоне.— Вамъ нужно отдохновеніе! Вы его вполнѣ заслужили, благородный синьоре! Пойдемъ, Эмиліо! На цыпочкахъ! На цыпочкахъ! Шшшшъ!

Сказавши, что онъ хочетъ спать, Санинъ желалъ только отдѣлаться отъ своихъ товарищей; но, оставшись одинъ, онъ взаправду почувствовалъ значительную усталость во всѣхъ членахъ: всю предшествовавшую ночь онъ почти не смыкалъ глазъ и, бросившись на постель, немедленно заснулъ глубокимъ сномъ.

XXIII.

Нѣсколько часовъ сряду онъ спалъ безпробудно. Потомъ ему стало грезиться, что онъ опять дерется на дуэли, что въ качествѣ противника стоитъ передъ нимъ г. Клюберъ, а на ёлкѣ сидитъ попугай, и этотъ попугай—Панталеоне, и твердитъ онъ, щелкая носомъ: разъ-разъ-разъ! разъ-разъ-разъ!

„Разъ... разъ... разъ!!“ послышалось ему уже слишкомъ явственно: онъ открылъ глаза, приподнялъ голову... кто-то *стучался* къ нему въ дверь.

— Войдите!—крикнулъ Санинъ.

Появился кельнеръ и доложилъ, что одной дамѣ очень нужно его видѣть.

„Джемма!“ мелькнуло у него въ головѣ... но дама оказалась ея матерью—фрау Леноре.

Она, какъ только вошла, тотчасъ опустилась на стулъ и начала плакать.

— Что̀ съ вами, моя добрая, милая г-жа Розелли?—началъ Санинъ, подсѣвъ къ ней и съ тихой лаской касаясь ея руки.—Что̀ случилось? успокойтесь, прошу васъ.

— Ахъ, Herr Dimitri, я очень... очень несчастна!

— Вы несчастны?

— Ахъ, очень! И могла ли я ожидать? Вдругъ, какъ громъ изъ яснаго неба...

Она съ трудомъ переводила дыханіе.

— Но что такое? Объяснитесь! Хотите стаканъ воды?

— Нѣтъ, благодарствуйте.—Фрау Леноре утерла платкомъ глаза и съ новой силой заплакала. — Вѣдь я все знаю! Все!

— То-есть, какъ же: все?

— Все, что̀ произошло сегодня! И причина... мнѣ тоже извѣстна! Вы поступили, какъ благородный человѣкъ; но какое несчастное стеченіе обстоятельствъ! Не даромъ мнѣ не нравилась эта поѣздка въ Соденъ... не даромъ! (Фрау Леноре ничего подобнаго не говорила въ самый день поѣздки, но теперь ей казалось, что уже тогда она „все“ предчувствовала.)—Я и пришла къ вамъ, какъ къ благородному человѣку, какъ къ другу, хотя я увидала васъ въ первый разъ пять дней тому назадъ... Но вѣдь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голосъ фрау Леноре. Санинъ не зналъ, что̀ подумать.—Ваша дочь?—повторилъ онъ.

— Моя дочь, Джемма, — вырвалось почти со стономъ у фрау Леноре изъ-подъ смоченнаго слезами платка:—объявила мнѣ сегодня, что не хочетъ выйти замужъ за г-на Клюбера, и что я должна отказать ему!

Санинъ даже отодвинулся слегка: онъ этого не ожидалъ.

— Я уже *не говорю* о томъ, — продолжала фрау Ле-

норе: — что это позоръ, что этого никогда на свѣтѣ не бывало, чтобы невѣста отказала жениху; но вѣдь это для насъ разореніе, Herr Dimitri!—Фрау Леноре старательно и туго свернула платокъ въ маленькій-маленькій клубочекъ, точно она хотѣла заключить въ него все свое горе. — Жить доходами съ нашего магазина мы больше не можемъ, Herr Dimitri! а г. Клюберъ очень богатъ и будетъ еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что онъ не вступился за свою невѣсту? Положимъ, это не совсѣмъ хорошо съ его стороны, но вѣдь онъ статскій человѣкъ, въ университетѣ не воспитывался, и, какъ солидный торговецъ, долженъ былъ презрѣть легкомысленную шалость неизвѣстнаго офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

— Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

— Нисколько я васъ не осуждаю, нисколько! Вы совсѣмъ другое дѣло; вы, какъ всѣ русскіе, военный...

— Позвольте, я вовсе не...

— Вы иностранецъ, проѣзжій, я вамъ благодарна,— продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платокъ и сморкалась. По одному тому, какъ выражалось ея горе, можно было видѣть, что она родилась не подъ сѣвернымъ небомъ.

— И какъ же будетъ г. Клюберъ торговать въ магазинѣ, если онъ будетъ драться съ покупателями? Это совсѣмъ несообразно! И теперь я должна ему отказать! Но чѣмъ мы будемъ жить? Прежде, мы одни дѣлали дѣвичью кожу и нугà съ фисташками — и къ намъ ходили покупатели; а теперь всѣ дѣлаютъ дѣвичью кожу!! Вы подумайте: ужъ безъ того въ городѣ будутъ говорить о вашей дуэли... развѣ это можно утаить? И вдругъ, свадьба разстраивается! Вѣдь это шкандалъ, шкандалъ! Джемма— прекрасная дѣвушка; она очень любитъ меня; но она упрямая республиканка, бравируетъ мнѣніемъ другихъ. Вы одни можете ее уговорить!

Санинъ изумился еще пуще прежняго.—Я, фрау Леноре?

— *Да, вы* одни... Вы одни. Я затѣмъ и пришла къ

вамъ; я ничего другого придумать не умѣла! Вы такой ученый, такой хорошій человѣкъ? Вы же за нее заступились. Вамъ она повѣритъ! Она *должна* вамъ повѣрить — вы вѣдь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете — а я уже больше ничего не могу! — вы ей докажете, что она и себя, и всѣхъ насъ погубитъ. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Васъ самъ Богъ послалъ сюда... Я готова на колѣняхъ просить васъ...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, какъ бы собираясь упасть Санину въ ноги... Онъ удержалъ ее.

— Фрау Леноре! Ради Бога! Что̀ вы это?

Она судорожно схватила его за руки.—Вы обѣщаетесь?

— Фрау Леноре, подумайте: съ какой стати я...

— Вы обѣщаетесь? Вы не хотите, чтобы я тутъ же, сейчасъ, умерла передъ вами?

Санинъ потерялся. Ему въ первый разъ въ жизни приходилось имѣть дѣло съ загорѣвшейся итальянскою кровью.

— Я сдѣлаю все, что̀ будетъ вамъ угодно! — воскликнулъ онъ.—Я поговорю съ фрейлейнъ Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула отъ радости.

— Только *я*, право, не знаю, какой можетъ выйти результатъ...

— Ахъ, не отказывайтесь, не отказывайтесь!—промолвила фрау Леноре умоляющимъ голосомъ:—вы уже согласились! Результатъ, навѣрное, выйдетъ отличный. Во всякомъ случаѣ, *я* уже больше ничего не могу. *Меня* она не послушается!

— Она такъ рѣшительно объявила вамъ свое нежеланіе выйти за г-на Клюбера? — спросилъ Санинъ, послѣ небольшого молчанія.

— Какъ ножомъ отрѣзала! Она вся въ отца, въ Джіованн'Баттиста! Бѣдовая!

— Бѣдовая! она?..—протяжно повторилъ Санинъ.

— Да... да... но она тоже ангелъ. Она васъ послушается. Вы придете, придете скоро? О, мой милый русскій *другъ!* — *Фрау Леноре* порывисто встала со стула и

такъ же порывисто обхватила голову сидѣвшаго перед ней Санина. — Примите благословеніе матери — и дайт мнѣ воды!

Санинъ принесъ г-жѣ Розелли стаканъ воды, далъ е честное слово, что придетъ немедленно, проводилъ ее і лѣстницѣ до улицы — и, вернувшись въ свою комнат даже руками всплеснулъ и глаза вытаращилъ.

„Вотъ", подумалъ онъ: „вотъ, *теперь* завертѣлась жизн Да и такъ завертѣлась, что голова кругомъ пошла". Ов и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходитъ: сумятица—и баста! „Выдался денекъ!" не вольно шептали его губы. „Бѣдовая... говоритъ ея мать И я долженъ ей совѣтовать—ей! И что совѣтовать?!"

Голова, дѣйствительно, кружилась у Санина — и над всѣмъ этимъ вихремъ разнообразныхъ ощущеній, впеча лѣній, недосказанныхъ мыслей, постоянно носился обра Джеммы, тотъ образъ, который такъ неизгладимо вр зался въ его память въ ту теплую, электрически-потр сенную ночь, въ томъ темномъ окнѣ, подъ лучами рои шихся звѣздъ!

XXIV.

Нерѣшительными шагами подходилъ Санинъ къ до г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; онъ явствен чувствовалъ и даже слышалъ, какъ оно толкалось в ребра. Что онъ скажетъ Джеммѣ, какъ заговоритъ с нею? Онъ вошелъ въ домъ не черезъ кондитерскую, і по заднему крыльцу. Въ небольшой передней комнат онъ встрѣтилъ фрау Леноре. Она и обрадовалась ему, испугалась.

— Я ждала, ждала васъ,—проговорила она шопотом попеременно обѣими руками стискивая его руку.—Ступай въ садъ; она тамъ. Смотрите же: я на васъ надѣюсь!

Санинъ отправился въ садъ.

Джемма сидѣла на скамейкѣ, близъ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самы спѣлыя на тарелку. Солнце стояло низко—былъ уже сед *мой* часъ вечера — и въ широкихъ косыхъ лучахъ, кот

рыми оно затопляло весь маленькій садикъ г-жи Розелли. было больше багрянца, чѣмъ золота. Изрѣдка, чуть слышно и словно не спѣша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая съ цвѣтка на сосѣдній цвѣтокъ, запоздалыя пчелы, да гдѣ-то ворковала горлинка— однообразно и неутомимо.

На Джеммѣ была та же круглая шляпа, въ которой она ѣздила въ Соденъ. Она глянула на Санина изъ-подъ ея выгнутаго края и снова наклонилась къ корзинкѣ.

Санинъ приблизился къ Джеммѣ, невольно укорачивая каждый шагъ, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, какъ только спросить: зачѣмъ это она отбираетъ вишни?

Джемма, не торопясь, отвѣчала ему:

— Эти—поспѣлѣе,—промолвила она, наконецъ: — пойдутъ на варенье, а тѣ—на начинку пироговъ. Знаете, мы продаемъ такіе круглые пироги съ сахаромъ.

Сказавъ эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ея рука, съ двумя вишнями въ пальцахъ, остановилась на воздухѣ между корзинкой и тарелкой.

— Можно подсѣсть къ вамъ?—спросилъ Санинъ.

— Можно. — Джемма слегка подвинулась на скамейкѣ. Санинъ помѣстился возлѣ нея. „Какъ начать?“ думалось ему. Но Джемма вывела его изъ затрудненія.

— Вы дрались сегодня на дуэли, — заговорила она съ живостью и обернулась къ нему всѣмъ своимъ прекраснымъ, стыдливо вспыхнувшимъ лицомъ, — а какой глубокой благодарностью свѣтились ея глаза! — И вы такъ спокойны! Стало-быть, для васъ не существуетъ опасности?

— Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Все обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцемъ направо и налѣво передъ глазами... Тоже итальянскій жестъ. — Нѣтъ! нѣтъ! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мнѣ Панталеоне все сказалъ!

— Нашли кому вѣрить! Сравнивалъ онъ меня съ статуей командора?

— Выраженія его могутъ быть смѣшны, но ни чувство его не смѣшно, ни то, что̀ вы сдѣлали сегодня! И все это изъ-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

— Увѣряю васъ, фрейлейнъ Джемма...

— Я этого не забуду, — съ разстановкой проговорила она, еще разъ пристально посмотрѣла на него и отвернулась.

Онъ могъ теперь видѣть ея тонкій, чистый профиль, и ему казалось, что онъ никогда не видывалъ ничего подобнаго — и не испытывалъ ничего подобнаго тому, что̀ онъ чувствовалъ въ этотъ мигъ. Душа его разгоралась.

„А мое обѣщаніе!“ мелькнуло у него въ мысляхъ.

— Фрейлейнъ Джемма... — началъ онъ послѣ мгновеннаго колебанія.

— Что?

Она не повернулась къ нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцевъ за ихъ хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой довѣрчивой лаской прозвучало это одно слово: „что“!

— Вамъ ваша матушка ничего не сообщала... насчетъ...

— Насчетъ?

— На мой счетъ?

Джемма вдругъ отбросила назадъ въ корзину взятыя ею вишни.

— Она говорила съ вами? — спросила она въ свою очередь.

— Да.

— Что же она вамъ такое сказала?

— Она сказала мнѣ, что вы... что вы внезапно рѣшились перемѣнить... свои прежнія намѣренія.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла подъ шляпой; виднѣлась только шея, гибкая и нѣжная, какъ стебель крупнаго цвѣтка.

— Какія намѣренія?

— Ваши намѣренія... касательно... будущаго устройства вашей жизни.

— То-есть... Вы это говорите... о г-нѣ Клюберѣ?

— Да.

— Вамъ мама сказала, что я не желаю быть женою г-на Клюбера?

— Да.

Джемма подвинулась на скамейкѣ. Корзина накренилась, упала... нѣсколько вишенъ покатилось на дорожку. Прошла минута... другая...

— Зачѣмъ она вамъ это сказала?—послышался ея голосъ. Санинъ попрежнему видѣлъ одну шею Джеммы. Грудь ея поднималась и опускалась быстрѣе прежняго.

— Зачѣмъ? Ваша матушка подумала, что такъ какъ мы съ вами въ короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымѣли нѣкоторое довѣріе ко мнѣ, то я въ состояніи подать вамъ полезный совѣтъ — и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колѣни... Она принялась перебирать складки своего платья.

— Какой же вы мнѣ совѣтъ дадите, monsieur Dimitri?— спросила она, погодя немного.

Санинъ увидалъ, что пальцы Джеммы дрожали на ея колѣняхъ... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Онъ тихонько положилъ свою руку на эти блѣдные, трепетные пальцы.

— Джемма,—промолвилъ онъ:—отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назадъ черезъ плечо свою шляпу—и устремила на него глаза, довѣрчивые и благодарные попрежнему. Она ждала, что онъ заговоритъ... Но видъ ея лица смутилъ и словно ослѣпилъ его. Теплый блескъ вечерняго солнца озарялъ ея молодую голову—и выраженіе этой головы было свѣтлѣе и ярче самого этого блеска.

— Я васъ послушаюсь, monsieur Dimitri,—начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови:—но какой же совѣтъ дадите вы мнѣ?

— Какой совѣтъ?—повторилъ Санинъ. — Вотъ, видите ли, ваша матушка полагаетъ, что отказать г-ну Клюберу только потому, что онъ третьяго дня не выказалъ особенной храбрости...

— Только потому? — проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возлѣ себя на скамейку.

— Что... вообще... отказать ему, съ вашей стороны— неблагоразумно; что это — такой шагъ, всѣ послѣдствія котораго нужно хорошенько взвѣсить; что, наконецъ, самое положеніе вашихъ дѣлъ налагаетъ извѣстныя обязанности на каждаго члена вашего семейства...

— Это все — мнѣніе мамы,—перебила Джемма:—это— ея слова. Это я знаю; но ваше какое мнѣніе?

— Мое?—Санинъ помолчалъ. Онъ чувствовалъ, что-то подступило къ нему подъ горло и захватывало дыханіе.— Я тоже полагаю,—началъ онъ съ усиліемъ...

Джемма выпрямилась.—Тоже? Вы—тоже?

— Да... то-есть...—Санинъ не могъ, рѣшительно не могъ прибавить ни единаго слова.

— Хорошо,—сказала Джемма. — Если вы, какъ другъ, совѣтуете мнѣ измѣнить мое рѣшеніе... то-есть, не мѣнять моего прежняго рѣшенія, — я подумаю. — Она, сама не замѣчая, что́ дѣлаетъ, начала перекладывать вишни обратно изъ тарелки въ корзину...—Мама надѣется, что я васъ послушаюсь... Что же? Я, быть-можетъ, точно, послушаюсь васъ...

— Но, позвольте, фрейлейнъ Джемма, я сперва желалъ бы узнать, какія причины побудили васъ...

— Я васъ послушаюсь,—повторила Джемма:—а у самой брови все надвигались, щеки блѣднѣли; она покусывала нижнюю губу.—Вы такъ много для меня сдѣлали, что и я обязана сдѣлать, что́ вы хотите; обязана исполнить ваше желаніе. Я скажу мамѣ... я подумаю. Вотъ она, кстати, идетъ сюда.

Дѣйствительно, фрау Леноре показалась на порогѣ двери, ведущей изъ дома въ садъ. Нетерпѣніе ее разбирало: она не могла усидѣть на мѣстѣ. По ея расчету, Санинъ давнымъ-давно долженъ былъ окончить свое объясненіе съ Джеммой, хотя его бесѣда съ нею не продолжалась и четверти часа.

— *Нѣтъ*, нѣтъ, нѣтъ, ради Бога, не говорите ей, пока, *ничего*, — торопливо, почти съ испугомъ произнесъ Са-

нинъ.—Подождите... я вамъ скажу, я вамъ напишу... а вы до тѣхъ поръ не рѣшайтесь ни на что... подождите...

Онъ стиснулъ руку Джеммы, вскочилъ со скамейки,— и, къ великому изумленію фрау Леноры, прошмыгнулъ мимо ея, приподнявъ шляпу, пробурчавъ что-то невнятное—и скрылся.

Она подошла къ дочери.

— Скажи мнѣ, пожалуйста, Джемма...

Та вдругъ поднялась и обняла ее. — Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашняго дня? Можете? И съ тѣмъ, чтобы ужъ до завтра ни слова?.. Ахъ!..

Она залилась внезапными, свѣтлыми, для нея самой неожиданными слезами. Это тѣмъ болѣе удивило фрау Леноре, что выраженіе Джеммина лица было далеко не печальное, скорѣе радостное.

— Что съ тобой?—спросила она.—Ты у меня никогда не плачешь—и вдругъ...

— Ничего, мама, ничего! только вы подождите! Намъ обѣимъ надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра—и давайте разбирать вишни, пока солнце не сѣло.

— Но ты будешь благоразумна?

— О, я очень благоразумна!—Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшіе пучки вишенъ, держа ихъ высоко передъ краснѣющимъ лицомъ. Слезъ своихъ она не утирала: онѣ высохли сами.

XXV.

Чуть не бѣгомъ возвратился Санинъ въ свою квартиру. Онъ чувствовалъ, онъ сознавалъ, что только тамъ, только наединѣ съ самимъ собою, ему выяснится, наконецъ, что съ нимъ, что съ нимъ такое? И дѣйствительно: не успѣлъ онъ войти въ свою комнату, не успѣлъ сѣсть передъ письменнымъ столомъ, какъ, облокотясь объ этотъ самый столъ обѣими руками и прижавъ обѣ ладони къ лицу—онъ горестно и глухо воскликнулъ: „Я ее люблю, люблю безумно!"—и весь внутренно зардѣлся, какъ уголь, съ котораго внезапно *сдули* наросшій слой мертваго пепла. Мгн

веніе... и уже онъ не въ силахъ былъ понять, какъ он
могъ сидѣть рядомъ съ нею... съ нею! — и разговариват
съ нею, и не чувствовать, что онъ обожаетъ самый кра
ея одежды, что онъ готовъ, какъ выражаются молоды
люди,—„умереть у ея ногъ". Послѣднее свиданіе въ сад
все рѣшило. Теперь, когда онъ думалъ о ней,—она уж
не представлялась ему съ развѣянными кудрями, въ сіяні
звѣздъ: — онъ видѣлъ ее сидящей на скамейкѣ, видѣл
какъ она разомъ сбрасываетъ съ себя шляпу—и глядит
на него такъ довѣрчиво... и трепетъ, и жажда любви по
ребѣгали по всѣмъ его жиламъ. Онъ вспомнилъ о роз
которую вотъ уже третій день носилъ у себя въ карман
онъ выхватилъ ее—и съ такою лихорадочной силой при
жалъ ее къ своимъ губамъ, что невольно поморщился от
боли. Теперь уже онъ ни о чемъ не разсуждалъ, ничег
не соображалъ, не разсчитывалъ и не предвидѣлъ; он
отдѣлился отъ всего прошлаго, онъ прыгнулъ впередъ
съ унылаго берега своей одинокой, холостой жизни бу
нулся онъ въ тотъ веселый, кипучій, могучій потокъ —
горя ему мало, и знать онъ не хочетъ, куда онъ его вы
несетъ, и не разобьетъ ли онъ его о скалу! Это уже в
тѣ тихія струи Уландовскаго романса, которыя недавн
его баюкали... Это сильныя, неудержимыя волны! Он
летятъ и скачутъ впередъ—и онъ летитъ съ ними...

Онъ взялъ листъ бумаги—и безъ помарки, почти одним
взмахомъ пера, написалъ слѣдующее:

„Милая Джемма!

„Вы знаете, какой совѣтъ я взялъ на себя преподат
вамъ, вы знаете, чего желаетъ ваша матушка, и о чем
она меня просила, — но чего вы не знаете, и что я обя
занъ вамъ теперь сказать, — это то, что я люблю вас
люблю со всею страстью сердца, полюбившаго въ первы
разъ! Этотъ огонь вспыхнулъ во мнѣ внезапно, но съ та
кой силой, что я не нахожу словъ!! Когда ваша матушк
пришла ко мнѣ и просила меня—онъ еще только тлѣл
во мнѣ — а то я, какъ честный человѣкъ, навѣрное б
отказался исполнить ея порученіе... Самое признаніе, ко
торое я вамъ теперь дѣлаю, есть признаніе честнаго че

ловѣка. Вы должны знать, съ кѣмъ имѣете дѣло,—между нами не должно существовать недоразумѣній. Вы видите, что я не могу давать вамъ никакихъ совѣтовъ... Я васъ люблю, люблю, люблю—и больше нѣтъ у меня ничего — ни въ умѣ, ни въ сердцѣ!!

„Дм. Санинъ".

Сложивъ и запечатавъ эту записку, Санинъ хотѣлъ было позвонить кельнера и послать ее съ нимъ... „Нѣтъ! этакъ неловко... Черезъ Эмиля? Но отправиться въ магазинъ, отыскивать его тамъ между другими коммй—неловко тоже. Притомъ, уже ночь на дворѣ—и онъ, пожалуй, уже ушелъ изъ магазина". Размышляя такимъ образомъ, Санинъ, однако, надѣлъ шляпу и вышелъ на улицу; повернулъ за уголъ, за другой—и, къ неописанной своей радости, увидалъ передъ собою Эмиля. Съ сумкой подъ мышкой, со сверткомъ бумаги въ рукѣ, молодой энтузіастъ спѣшилъ домой.

„Не даромъ говорятъ, что у каждаго влюбленнаго есть звѣзда", подумалъ Санинъ, и позвалъ Эмиля.

Тотъ обернулся и тотчасъ бросился къ нему.

Санинъ не далъ ему восторгаться, вручилъ ему записку, объяснилъ ему, кому и какъ ее передать... Эмиль слушалъ внимательно.

— Чтобы никто не видѣлъ? — спросилъ онъ, придавъ своему лицу выраженіе знаменательное и таинственное: „мы, дескать, понимаемъ, въ чемъ вся суть!"

— Да, мой дружокъ,—проговорилъ Санинъ и немножко сконфузился; однако, потрепалъ Эмиля по щекѣ...—И если отвѣтъ будетъ... Вы мнѣ принесете отвѣтъ, не правда ли? Я буду сидѣть дома.

— Ужъ объ этомъ не безпокойтесь! — весело шепнулъ Эмиль, побѣжалъ прочь—и на бѣгу еще разъ кивнулъ ему.

Санинъ вернулся домой — и, не зажигая свѣчи, бросился на диванъ, занесъ руки за голову и предался тѣмъ ощущеніямъ только-что сознанной любви, которыя и описывать нечего: кто ихъ испыталъ, тотъ знаетъ ихъ томленіе и сладость; кто ихъ не испыталъ — тому ихъ не растолкуешь.

Дверь растворилась—показалась голова Эмиля.

— Принесъ, — сказалъ онъ шопотомъ: — вотъ онъ, отвѣтъ-то!

Онъ показалъ и поднялъ надъ головою свернутую бумажку.

Санинъ вскочилъ съ дивана и выхватилъ ее изъ рукъ Эмиля. Страсть въ немъ слишкомъ сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюденія приличія — даже передъ этимъ мальчикомъ, ея братомъ. Онъ бы посовѣстился его, онъ бы принудилъ себя — если бъ могъ!

Онъ подошелъ къ окну — и, при свѣтѣ уличнаго фонаря, стоявшаго передъ самымъ домомъ, — прочелъ слѣдующія строки:

„Я васъ прошу, я умоляю васъ — *цѣлый завтрашній день не приходить къ намъ, не показываться.* Мнѣ это нужно, непремѣнно нужно, — а тамъ все будетъ рѣшено. Я знаю, вы мнѣ не откажете, потому что...“

„Джемма“.

Санинъ два раза прочелъ эту записку—о, какъ трогательно-милъ и красивъ показался ему ея почеркъ! — подумалъ немного, и, обратившись къ Эмилю, который, желая дать понять, какой онъ скромный молодой человѣкъ, стоялъ лицомъ къ стѣнѣ—и колупалъ въ ней ногтемъ,— громко назвалъ его по имени.

Эмиль тотчасъ подбѣжалъ къ Санину.—Что̀ прикажете?

— Послушайте, дружокъ...

— М-г Димитрій,—перебилъ его Эмиль жалобнымъ голосомъ:—отчего вы не говорите мнѣ: ты?

Санинъ засмѣялся. — Ну, хорошо. Послушай, дружокъ — (Эмиль слегка подпрыгнулъ отъ удовольствія) — послушай: *тамъ*, ты понимаешь, тамъ, ты скажешь, что все будетъ исполнено въ точности—(Эмиль сжалъ губы и важно качнулъ головою)—а самъ... Что̀ ты дѣлаешь завтра?

— Я? Что̀ я дѣлаю? Что̀ вы хотите, чтобы я дѣлалъ?

— Если тебѣ можно, приходи ко мнѣ поутру, пораньше, — и мы, до вечера, будемъ гулять по окрестностямъ *Франкфурта*... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнулъ. — Помилуйте, что̀ можетъ быть на свѣтѣ лучше? Гулять съ вами — да это, просто, чудо! Приду непремѣнно!

— А если тебя не отпустятъ?

— Отпустятъ!

— Слушай... Не сказывай *тамъ*, что я тебя звалъ на цѣлый день.

— Зачѣмъ сказывать? Да я такъ уйду! Что̀ за бѣда!

Эмиль крѣпко поцѣловалъ Санина и убѣжалъ.

А Санинъ долго ходилъ по комнатѣ — и поздно легъ спать. Онъ предался тѣмъ же чуткимъ и сладкимъ ощущеніямъ, тому же радостному замиранію передъ новой жизнью. Санинъ былъ очень доволенъ тѣмъ, что возымѣлъ мысль пригласить на завтрашній день Эмиля: онъ походилъ лицомъ на сестру. „Будетъ напоминать ее", думалось Санину.

Но больше всего удивлялся онъ тому: ка̀къ могъ онъ вчера быть иначе, чѣмъ сегодня? Ему казалось, что онъ „вѣчно" любилъ Джемму — и именно такъ точно ее любилъ, какъ онъ любилъ ее сегодня

XXVI.

На другой день, въ восемь часовъ утра, Эмиль, съ Тартальей на своркѐ, отъявился къ Санину. Происходи онъ отъ германскихъ родителей, онъ бы не могъ выказать бо̀льшую аккуратность. Дома онъ солгалъ: сказалъ, что погуляетъ съ Санинымъ до завтрака, а потомъ отправится въ магазинъ. Пока Санинъ одѣвался, Эмиль заговорилъ-было съ нимъ, правда, довольно нерѣшительно, о Джеммѣ, объ ея размолвкѣ съ г-мъ Клюберомъ; но Санинъ сурово промолчалъ ему въ отвѣтъ, а Эмиль, показавъ видъ, что понимаетъ, почему не слѣдуетъ слегка касаться этого важнаго пункта, уже не возвращался къ нему, — и только изрѣдка принималъ сосредоточенное и даже строгое выраженіе.

Напившись кофе, оба пріятеля отправились—пѣшкомъ, разумѣется, — въ Гаузенъ, небольшую деревеньку, лежащую въ недальнемъ разстояніи отъ Франкфурта и окру-

женную лѣсами. Вся цѣпь горъ Таунуса видна оттуда, какъ на ладони. Погода была прекрасная; солнце сіяло и горѣло, но не пекло; свѣжій вѣтеръ бойко шумѣлъ въ зеленыхъ листьяхъ; по землѣ, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тѣни высокихъ, круглыхъ облачковъ. Молодые люди скоро выбрались изъ города и бодро и весело зашагали по гладко-выметенной дорогѣ. Зашли въ лѣсъ—и долго тамъ проплутали; потомъ очень плотно позавтракали въ деревенскомъ трактирѣ; потомъ лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали въ ладоши, глядя, какъ эти камни забавно и странно сигаютъ, на подобіе кроликовъ, пока проходившій внизу, невидимый для нихъ, человѣкъ не выбранилъ ихъ звонкимъ и сильнымъ голосомъ; потомъ лежали, раскинувшись, на короткомъ, сухомъ мохѣ желто-фіолетоваго цвѣта; потомъ пили пиво въ другомъ трактирѣ, потомъ бѣгали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и бесѣдовали съ нимъ, пѣли, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы вѣтками папоротника—и даже танцовали. Тарталья, насколько могъ и умѣлъ, участвовалъ во всѣхъ этихъ занятіяхъ: камней онъ, правда, не бросалъ, но самъ кубаремъ катился за ними, подвывалъ, когда молодые люди пѣли, — и даже пиво пилъ, хотя съ видимымъ отвращеніемъ: этому искусству его выучилъ студентъ, которому онъ нѣкогда принадлежалъ. Впрочемъ, Эмиля онъ слушался плохо—не то̀, что своего хозяина Панталеоне, — и когда Эмиль приказывалъ ему „говорить“ или „чихать“,—только хвостикомъ повиливалъ и высовывалъ языкъ трубочкой.

Молодые люди также бесѣдовали между собою. Въ началѣ прогулки, Санинъ, какъ старшій и потому болѣе разсудительный, завелъ-было рѣчь о томъ, что̀ такое фатумъ или предопредѣленіе судьбы, и что̀ значитъ и въ чемъ состоитъ призваніе человѣка; но разговоръ въ скорости принялъ направленіе менѣе серьезное. Эмиль сталъ разспрашивать своего друга и патрона о Россіи, о томъ, *какъ тамъ* дерутся на дуэли, и красивы ли тамъ женщины, *и скоро ли* можно выучиться русскому языку, и

что онъ почувствовалъ, когда офицеръ цѣлился въ него? А Санинъ, въ свою очередь, разспрашивалъ Эмиля объ его отцѣ, о матери, вообще объ ихъ семейныхъ дѣлахъ, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы, — и думая только о ней. Собственно говоря, онъ даже о ней не думалъ—а о завтрашнемъ днѣ, о томъ таинственномъ завтрашнемъ днѣ, который принесетъ ему невѣдомое, небывалое счастье! Точно завѣса, тонкая, легкая завѣса висить, слабо колыхаясь, передъ его умственнымъ взоромъ,— изъ той завѣсой онъ чувствуетъ... чувствуетъ присутствіе молодого, неподвижнаго, божественнаго лика съ ласковой улыбкой на устахъ и строго, притворно-строго опущенными рѣсницами. И этотъ ликъ—не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вотъ, насталъ, наконецъ, *его* часъ, завѣса взвилась, открываются уста, рѣсницы поднимаются—увидало его божество—и тутъ уже свѣтъ, какъ отъ солнца, и радость и восторгъ нескончаемый!! Онъ думаетъ объ этомъ завтрашнемъ днѣ—и душа его опять радостно замираетъ въ млѣющей тоскѣ безпрестанно возрождающагося ожиданія!

И ничему не мѣшаетъ это ожиданіе, эта тоска. Она сопровождаетъ каждое его движеніе—и ничему не мѣшаетъ. Не мѣшаетъ она ему отлично пообѣдать въ третьемъ трактирѣ съ Эмилемъ—и только изрѣдка, какъ короткая молнія, вспыхиваетъ въ немъ мысль, что—если бъ кто-нибудь на свѣтѣ зналъ??!! Не мѣшаетъ ему эта тоска играть, послѣ обѣда, съ Эмилемъ въ чехарду. На привольномъ зеленомъ лужку происходитъ эта игра... и каково изумленіе, каковъ конфузъ Санина, когда, подъ ярый лай Тартальи, ловко растопыривъ ноги и перелетая птицей черезъ прикорнувшаго Эмиля — онъ внезапно видитъ передъ собою, на самой каймѣ зеленаго лужка,—двухъ офицеровъ, въ которыхъ онъ немедленно узнаетъ своего вчерашняго противника и его секунданта, гг. фонъ-Дёнгофа и фонъ-Рихтера! Каждый изъ нихъ вставилъ по стеклышку въ глазъ и глядитъ на него, и ухмыляется... Санинъ падаетъ на ноги, отворачивается, поспѣшно надѣваетъ сброшенное пальто, говоритъ отрывистое слово Эмилю, тотъ тоже надѣваетъ куртку—и *оба* немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфуртъ. — Будутъ ме бранить, говорилъ Санину Эмиль, прощаясь съ нимъ: ну, да все равно! За то я такой чудный, чудный де провелъ!

Вернувшись къ себѣ въ гостиницу, Санинъ наше. записку отъ Джеммы. Она назначала ему свиданіе — слѣдующій день, въ семь часовъ утра, въ одномъ и публичныхъ садовъ, со всѣхъ сторонъ окружающи: Франкфуртъ.

Какъ дрогнуло его сердце! Какъ радъ онъ былъ то что такъ безпрекословно ей повиновался! И, Боже мой, ч сулилъ... чего не сулилъ этотъ небывалый, единственны невозможный и несомнѣнный завтрашній день!

Онъ впился глазами въ записку Джеммы. Длинны изящный хвостикъ буквы G, первой буквы ея имен стоявшей на концѣ листа, — напомнилъ ему ея красив пальцы, ея руку... Онъ подумалъ, что ни разу не пр коснулся къ этой рукѣ губами... „Итальянки, — дума. онъ,—вопреки молвѣ о нихъ, стыдливы и строги... А ул Джемма и подавно! Царица... богиня... мраморъ дѣвстве ный и чистый"...

„Но придетъ время—и оно недалеко"...

Былъ въ ту ночь во Франкфуртѣ одинъ счастлив человѣкъ... Онъ спалъ; но онъ могъ сказать про се словами поэта:

„Я сплю... но сердце чуткое не спитъ...

Оно и билось такъ легко, какъ бьетъ крылами мот лекъ, приникшій къ цвѣтку и облитый лѣтнимъ солнцем

XXVII.

Въ пять часовъ Санинъ проснулся, въ шесть уже бы. одѣтъ, въ половинѣ седьмого расхаживалъ по публично: саду, въ виду небольшой бесѣдки, о которой Джемма уп мянула въ своей запискѣ.

Утро было тихое, теплое, сѣрое. Иногда казалось, ч вотъ-вотъ пойдетъ дождь; но протянутая рука ничего : ощущала, и только, глядя на рукавъ платья, можно бы *замѣтить слѣды* крохотныхъ, какъ мельчайшій бисеръ, к

пель; но и тѣ скоро прекратились. Вѣтра—точно на свѣтѣ никогда не бывало. Каждый звукъ не летѣлъ, а разливался кругомъ: въ отдаленіи чуть сгущался бѣловатый паръ, въ воздухѣ пахло резедой и цвѣтами бѣлыхъ акацій.

На улицахъ еще не открывались лавки, но уже показались пѣшеходы; изрѣдка стучала одинокая карета... въ саду гулявшихъ не было. Садовникъ скоблилъ, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка въ черномъ суконномъ плащѣ проковыляла черезъ аллею. Ни на одно мгновеніе не могъ Санинъ принять это убогое существо за Джемму — и, однакоже, сердце въ немъ ёкнуло, и онъ внимательно слѣдилъ глазами за удалявшимся чернымъ пятномъ.

Семь! прогудѣли часы на башнѣ.

Санинъ остановился.—Неужели она не придетъ? Трепетъ холода внезапно пробѣжалъ по его членамъ. Тотъ же трепетъ повторился въ немъ, мгновенье спустя,—но уже отъ другой причины. Санинъ услышалъ за собою легкіе шаги, легкій шумъ женской одежды... Онъ обернулся: она!

Джемма шла сзади его, по дорожкѣ. На ней была сѣренькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову въ сторону—и, поровнявшись съ нимъ, быстро прошла мимо.

— Джемма,—проговорилъ онъ едва слышно.

Она слегка кивнула ему—и продолжала идти впередъ. Онъ послѣдовалъ за нею.

Онъ дышалъ прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала бесѣдку, взяла направо, миновала небольшой, плоскій бассейнъ, въ которомъ хлопотливо плескался воробей—и, зайдя за клумбу высокихъ сиреней, опустилась на скамью. Мѣсто было уютное и закрытое. Санинъ сѣлъ возлѣ нея.

Прошла минута—и ни онъ, ни она—слова не промолвили: она даже не глядѣла на него—и онъ глядѣлъ ей не въ лицо, а на сложенныя руки, въ которыхъ она держала маленькій зонтикъ. Что̀ было говорить? Что̀ было сказать такого, *что̀, по значенію* своему, могло бы равняться одному

ихъ присутствію здѣсь, вмѣстѣ, наединѣ, такъ рано, такъ близко другъ отъ друга?

— Вы... на меня не сердитесь?—произнесъ, наконецъ, Санинъ.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупѣе этихъ словъ... онъ самъ это сознавалъ... Но, по крайней мѣрѣ, молчаніе было нарушено.

— Я?—отвѣчала она.—За что̀? Нѣтъ.

— И вы вѣрите мнѣ?—продолжалъ онъ.

— Тому, что̀ вы написали?

— Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтикъ выскользнулъ изъ ея рукъ. Она поспѣшно поймала его, прежде чѣмъ онъ упалъ на дорожку.

— Ахъ, вѣрьте мнѣ, вѣрьте тому, что̀ я писалъ вамъ,—воскликнулъ Санинъ; вся робость его вдругъ исчезла—онъ заговорилъ съ жаромъ:—если есть на землѣ правда, святая, несомнѣнная правда,—такъ это то̀, что я люблю васъ, люблю васъ страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взглядъ—и опять чуть не уронила зонтикъ.

— Вѣрьте мнѣ, вѣрьте мнѣ,—твердилъ онъ. Онъ умолялъ ее, протягивалъ къ ней руки—и не смѣлъ коснуться ея. — Что̀ вы хотите, чтобъ я сдѣлалъ... чтобъ убѣдить васъ?

Она опять глянула на него.

— Скажите, monsieur Dimitri,—начала она:—третьяго дня, когда вы пришли меня уговаривать,—вы, стало-быть, еще не знали... не чувствовали...

— Я чувствовалъ,—подхватилъ Санинъ:—но не зналъ. Я полюбилъ васъ съ самаго того мгновенья, какъ я васъ увидѣлъ,—но не тотчасъ понялъ, чѣмъ вы стали для меня! Къ тому же, я услыхалъ, что вы обрученная невѣста... Что же касается до порученія вашей матушки — то, во-первыхъ, какъ бы я могъ отказаться? а, во-вторыхъ,—я, кажется, *такъ* передалъ вамъ это порученіе, что вы могли догадаться...

Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный го-

сподинъ, съ саквояжемъ черезъ плечо, очевидно, иностранецъ, выдвинулся изъ-за клумбы—и, съ безцеремонностью заѣзжаго путешественника окинулъ взоромъ сидѣвшую на скамейкѣ парочку, громко кашлянулъ—и прошелъ далѣе.

— Ваша матушка,—заговорилъ Санинъ, какъ только стукъ тяжелыхъ ногъ затихъ: — сказала мнѣ, что вашъ отказъ произведетъ скандалъ (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти самъ подалъ поводъ къ неблаговиднымъ толкамъ, и что... слѣдовательно... на мнѣ—до нѣкоторой степени—лежала обязанность уговорить васъ не отказывать вашему жениху, г-ну Клюберу...

— Monsieur Dimitri,—промолвила Джемма, и провела рукой по волосамъ со стороны, обращенной къ Санину:— не называйте, пожалуйста, г-на Клюбера моимъ женихомъ. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

— Вы ему отказали? Когда?

— Вчера.

— Ему самому?

— Ему самому. У насъ въ домѣ. Онъ приходилъ къ намъ.

— Джемма! Стало-быть, вы любите меня?

Она обернулась къ нему.

— Иначе... развѣ бы я пришла сюда?—шепнула она, и обѣ ея руки упали на скамью.

Санинъ схватилъ эти безсильныя, ладонями кверху лежавшія руки,—прижалъ ихъ къ своимъ глазамъ, къ своимъ губамъ... Вотъ когда взвилась та завѣса, которая мерещилась ему наканунѣ! Вотъ оно, счастье, вотъ, его лучезарный ликъ!

Онъ приподнялъ голову и посмотрѣлъ на Джемму прямо и смѣло. Она тоже смотрѣла на него—нѣсколько сверху внизъ. Взоръ ея полузакрытыхъ глазъ едва мерцалъ, залитый легкими, блаженными слезами. А лицо не улыбалось... нѣтъ! оно смѣялось, тоже блаженнымъ, хотя беззвучнымъ смѣхомъ.

Онъ хотѣлъ привлечь ее къ себѣ на грудь, но она отклонилась и, не переставая смѣяться тѣмъ же беззвучнымъ смѣхомъ, отрицательно покачивала головою. „Подожди“ казалось, говорили ея счастливые глаза.

— О, Джемма!—воскликнулъ Санинъ:—могъ ли я ду мать, что ты—(сердце въ немъ затрепетало, какъ струн когда его губы въ первый разъ произнесли это: „ты")- что ты меня полюбишь?

— Я сама не ожидала этого,—тихо проговорила Джемм

— Могъ ли я думать,—продолжалъ Санинъ:—могъ ли думать, подъѣзжая къ Франкфурту, гдѣ я полагалъ остать всего нѣсколько часовъ, что я здѣсь найду счастье вс моей жизни?

— Всей жизни? Точно?—спросила Джемма.

— Всей жизни, навѣкъ и навсегда!—воскликнулъ С пинъ съ новымъ порывомъ.

Лопата садовника внезапно заскребла въ двухъ шага отъ скамейки, на которой они сидѣли.

— Пойдемъ домой,—шепнула Джемма:—пойдемъ вм стѣ—хочешь?

Если бъ она сказала ему въ это мгновенье: „Брось въ море — *хочешь*?" — она не договорила бы послѣдня слова, какъ ужъ онъ бы летѣлъ стремглавъ въ бездну.

Они вмѣстѣ вышли изъ сада и направились къ дом не городскими улицами, а предмѣстьемъ.

XXVIII.

Санинъ шелъ то рядомъ съ Джеммой, то нѣсколько п зади ея, не спускалъ съ нея глазъ и не переставалъ ул баться. А она какъ-будто спѣшила... какъ будто остан вливалась. Правду сказать, оба они, онъ весь блѣдный, о вся розовая отъ волненія, подвигались впередъ, какъ от маненные. То, что они сдѣлали вдвоемъ, нѣсколько мгн веній тому назадъ,—это отданіе своей души другой душѣ- было такъ сильно, и ново, и жутко; такъ внезапно все ихъ жизни переставилось и перемѣнилось, что они оба могли опомниться, и только сознавали подхватившій и вихорь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чу не бросилъ ихъ въ объятія другъ другу. Санинъ шелъ чувствовалъ, что онъ даже иначе глядитъ на Джемму: о мгновенно замѣтилъ нѣсколько особенностей въ ея походк *въ ея движеніяхъ*,—и, Боже мой! какъ онѣ были ему бе

конечно дороги и милы! И она чувствовала, что онъ *такъ* на нее глядитъ.

Санинъ и она—полюбили въ первый разъ, всѣ чудеса первой любви совершались надъ ними. Первая любовь—та же революція: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбитъ и разрушенъ въ одно мгновенье, молодость стоитъ на баррикадѣ, высоко вьется ея яркое знамя,—и что бъ тамъ впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь—всему она шлетъ свой восторженный привѣтъ.

— Что это? никакъ, нашъ старикъ?—промолвилъ Санинъ, указывая пальцемъ на закутанную фигуру, которая поспѣшно пробиралась сторонкой, какъ бы стараясь остаться незамѣченной. Среди избытка блаженства онъ ощущалъ потребность говорить съ Джеммой не о любви — то было дѣло рѣшенное, святое,—а о чемъ-нибудь другомъ.

— Да, это Панталеоне,—весело и счастливо отвѣчала Джемма.—Онъ навѣрное вышелъ изъ дому по моимъ пятамъ; онъ уже вчера цѣлый день слѣдилъ за каждымъ моимъ шагомъ... Онъ догадывается!

— Онъ догадывается!—съ восхищеніемъ повторилъ Санинъ. Что бы такое могла сказать Джемма, отъ чего онъ не пришелъ бы въ восхищеніе?

Потомъ онъ попросилъ ее разсказать подробно все, что именно произошло наканунѣ.

И она немедленно начала разсказывать, спѣша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и мѣняясь съ Санинымъ короткими, свѣтлыми взглядами. Она разсказала ему, какъ, послѣ третьягодняшняго разговора, мама все хотѣла добиться отъ нея, Джеммы, чего-нибудь положительнаго; какъ она отдѣлалась отъ фрау Леноры обѣщаніемъ сообщить свое рѣшеніе въ теченіе сутокъ; какъ она выпросила себѣ этотъ срокъ—и какъ это было трудно; какъ совершенно неожиданно явился г. Клюберъ, болѣе чопорный и накрахмаленный, чѣмъ когда-либо; какъ онъ изъявилъ свое негодованіе по поводу мальчишески-непростительной и для него, Клюбера, глубоко-оскорбительной (такъ именно онъ выразился) выходки русскаго незнакомца—*онъ разумѣлъ твою* дуэль,—и какъ онъ потребо-

валъ, чтобы *тебѣ* немедленно отказали отъ дому. „Потому“ прибавилъ онъ—и тутъ Джемма слегка передразнила его голосъ и манеру—„это бросаетъ тѣнь на мою честь; как будто я не сумѣлъ бы заступиться за свою невѣсту, если б нашелъ это необходимымъ или полезнымъ! Весь Франк фуртъ завтра узнаетъ, что чужой дрался съ офицером за мою невѣсту — на что̀ это похоже? Это мараетъ мо честь!“ Мама съ нимъ соглашалась—представь!—но тут я ему вдругъ объявила, что онъ напрасно безпокоится своей чести и о своей персонѣ, напрасно оскорбляетс толками о своей *невѣстѣ*—потому что я больше ему н невѣста, и никогда его женой не буду! Признаться, хотѣла-было сперва поговорить съ вами... съ тобою, прежд чѣмъ отказать ему окончательно; но онъ пришелъ... и не могла удержаться. Мама даже закричала отъ испуга а я вышла въ другую комнату и принесла ему его коль цо—ты не замѣтилъ, я уже два дня тому назадъ снял это кольцо—и отдала ему. Онъ ужасно обидѣлся; но так какъ онъ ужасно самолюбивъ и чванливъ, то онъ не стал много разговаривать—и ушелъ. Разумѣется, мнѣ пришлос много вытерпѣть отъ мамы, и очень мнѣ было больн видѣть, какъ она огорчалась — и думала я, что я не множко поторопилась, но вѣдь у меня была твоя записка— и я безъ того уже знала...

— Что я тебя люблю,—подхватилъ Санинъ.

— Да... что ты полюбилъ меня.

Такъ говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и пони жая всякій разъ голосъ, или вовсе умолкая, когда кто нибудь шелъ ей навстрѣчу или проходилъ мимо. Санинъ слушалъ восторженно, наслаждаясь самымъ зву комъ ея голоса, какъ наканунѣ онъ любовался ея по черкомъ.

— Мама чрезвычайно огорчена, — начала снова Джем ма — и слова ея быстро-быстро бѣжали одно за дру гимъ: — она никакъ не хочетъ взять въ соображеніе то что г. Клюберъ могъ мнѣ опротивѣть, что я и выходила то за него не по любви—а вслѣдствіе ея усиленных *просьбъ...* Она подозрѣваетъ... васъ... тебя, то-есть, прям

говоря, она увѣрена, что я тебя полюбила,—и это ей тѣмъ больнѣе, что еще третьяго дня ей ничего подобнаго въ голову не приходило, и она даже поручила тебѣ меня уговаривать... А странное это было порученіе—не правда ли? Теперь она тебя... васъ величаетъ хитрецомъ, лукавымъ человѣкомъ, говоритъ, что вы обманули ея довѣріе, и предсказываетъ мнѣ, что меня вы обманете...

— Но, Джемма,—воскликнулъ Санинъ:—развѣ ты ей не сказала...

— Я ничего не сказала! Какое я имѣла право, не переговоривши съ вами?

Санинъ всплеснулъ руками. — Джемма, я надѣюсь, что теперь, по крайней мѣрѣ, ты во всемъ ей сознаешься, ты приведешь меня къ ней... Я хочу доказать твоей матушкѣ, что я не обманщикъ!

Грудь Санина такъ и вздымалась отъ прилива великодушныхъ и пламенныхъ чувствъ.

Джемма глянула на него во всѣ глаза.—Вы, точно, хотите идти теперь къ мамѣ со мною? къ мамѣ, которая увѣряетъ, что... что все это между нами невозможно—и никогда сбыться не можетъ?—Было одно слово, которое Джемма не рѣшалась выговорить... Оно жгло ей губы; но тѣмъ охотнѣе произнесъ его Санинъ.

— Вступить съ тобою въ бракъ, Джемма, быть твоимъ мужемъ—я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушію, ни рѣшимости своей онъ уже не зналъ никакихъ предѣловъ.

Услышавъ эти слова, Джемма, которая остановилась-было на мгновенье, пошла еще скорѣе... Она какъ-будто хотѣла убѣжать отъ этого, слишкомъ великаго и нежданнаго счастья!

Но, вдругъ, у ней ноги подкосились. Изъ-за угла переулка, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея, въ новой шляпѣ и новой бекешѣ, прямой какъ стрѣла, завитый, какъ пудель, появился г-нъ Клюберъ. Онъ увидалъ Джемму, увидалъ Санина—какъ-то внутренно фыркнувъ и перегнувъ назадъ свой гибкій станъ, щегольски пошелъ имъ на-

встрѣчу. Санина покоробило, но взглянувъ на Клюберовское лицо, которому владѣлецъ его, насколько въ немъ хватало умѣнья, тщился придать выраженіе презрительнаго изумленія и даже соболѣзнованія,—взглянувъ на это румяное, пошлое лицо, онъ внезапно почувствовалъ приливъ гнѣва—и шагнулъ впередъ.

Джемма схватила его руку, и съ спокойной рѣшительностью подавъ ему свою, посмотрѣла прямо въ лицо своему бывшему жениху... Тотъ прищурился, съёжился, вильнулъ въ сторону—и, пробормотавъ сквозь зубы: „обычный конецъ пѣсенки!"—(Das alte Ende vom Liede!)—удалился той же щегольской, слегка подпрыгивавшей походкой.

— Что онъ сказалъ, негодяй?—спросилъ Санинъ, и хотѣлъ-было броситься вслѣдъ за Клюберомъ; но Джемма его удержала и пошла съ нимъ дальше, уже не принимая руки, продѣтой въ его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще разъ остановилась.

— Dimitri, monsieur Dimitri,—сказала она:—мы еще не вошли туда, мы еще не видѣли мамы... Если вы хотите еще подумать, если... вы еще свободны, Димитрій!

Въ отвѣтъ ей Санинъ крѣпко-крѣпко притиснулъ ея руку къ своей груди—и повлекъ ее впередъ.

— Мама,—сказала Джемма, входя съ Санинымъ въ комнату, гдѣ сидѣла фрау Леноре:—я привела настоящаго!

XXIX.

Если бы Джемма объявила, что привела съ собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы съ бо́льшимъ отчаяніемъ принять это извѣстіе. Она немедленно сѣла въ уголъ, лицомъ къ стѣнѣ,—и залилась слезами, почти заголосила, ни дать, ни взять, русская крестьянка надъ гробомъ мужа или сына. На первыхъ порахъ, Джемма до того смутилась, что даже *не подошла* къ матери—и остановилась, какъ статуя, *посреди комнаты*; а Санинъ совсѣмъ потерялся—хоть са-

мому удариться въ слезы! Цѣлый часъ продолжался этот
безутѣшный плачъ: цѣлый часъ! Панталеоне почелъ з
лучшее запереть наружную дверь кондитерской, какъ бі
кто чужой не вошелъ—благо, пора стояла ранняя. Ста
рикъ самъ чувствовалъ недоумѣніе—и, во всякомъ слу
чаѣ, не одобрялъ поспѣшности, съ которой поступил
Джемма и Санинъ, а, впрочемъ, осуждать ихъ не рѣ
шался, и готовъ былъ оказать имъ покровительство—в
случаѣ нужды: ужъ очень не любилъ онъ Клюбера! Эмил
считалъ себя посредникомъ между своимъ другомъ и се
строй—и чуть не гордился тѣмъ, что какъ это все пре
восходно удалось! Онъ никакъ не въ состояніи былъ по
нять, чего фрау Леноре такъ убивается, и въ сердц
своемъ онъ тутъ же рѣшилъ, что женщины, даже самы
лучшія, страдаютъ отсутствіемъ сообразительной способно
сти! Санину приходилось хуже всѣхъ. Фрау Леноре под
нимала вопль и отмахивалась руками, какъ только он
приближался къ ней—и напрасно онъ попытался, стоя в
отдаленіи, нѣсколько разъ громко воскликнуть: „Прош
руки вашей дочери!“ Фрау Леноре особенно досадовал
на себя за то, что: „какъ могла она быть до того слѣ
пою—и ничего не видѣть!“ „Былъ бы мой Джіован'Бат
тиста живъ“, твердила она сквозь слезы: „ничего бы этог
не случилось!“ — „Господи, что же это такое?“ думал
Санинъ: „вѣдь это глупо, наконецъ!“ Ни самъ онъ н
смѣлъ взглянуть на Джемму, ни она не рѣшалась под
нять на него глаза. Она ограничивалась тѣмъ, что тер
пѣливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее от
талкивала...

Наконецъ, мало-по-малу, буря утихла. Фрау Лепор
перестала плакать, дозволила Джеммѣ вывести ее из
угла, куда она забилась, усадить ее въ кресло возл
окна и дать ей напиться воды съ флёръ-д'оранжем
дозволила Санину—не приблизиться... о, нѣтъ!—но, п
крайней мѣрѣ, остаться въ комнатѣ (прежде она вс
требовала, чтобы онъ удалился) и не перебивала ег
когда онъ говорилъ. Санинъ немедленно воспользовал
наступившимъ штилемъ—и выказалъ краснорѣчіе изу

тельное: едва ли бы сумѣлъ онъ съ такимъ жаромъ и съ такой убѣдительностью изложить свои намѣренія и свои чувства передъ самой Джеммой. Эти чувства были самыя искреннія, эти намѣренія—самыя чистыя, какъ у Альмавивы въ „Севильскомъ Цырюльникѣ“.—Онъ не скрывалъ ни отъ фрау Леноры, ни отъ самого себя невыгодной стороны этихъ намѣреній; но эти невыгоды были только кажущіяся! Правда: онъ чужестранецъ, съ нимъ недавно познакомились, не знаютъ ничего положительнаго ни объ его личности, ни объ его средствахъ; но онъ готовъ привести всѣ нужныя доказательства того, что онъ человѣкъ порядочный и не бѣдный; онъ сошлется на самыя несомнѣнныя свидѣтельства своихъ соотчичей!—Онъ надѣется, что Джемма будетъ счастлива съ нимъ, и что онъ сумѣетъ усладить ея разлуку съ родными!.. Упоминовеніе разлуки—одно это слово: „разлука“ — чуть-было не испортило всего дѣла... Фрау Леноре такъ и затрепетала вся и заметалась... Санинъ поспѣшилъ замѣтить, что разлука будетъ только временная—и что, наконецъ, быть-можетъ—ея не будетъ вовсе!

Краснорѣчіе Санина не пропало даромъ. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя все еще съ горестью и упрекомъ, но уже не съ прежнимъ отвращеніемъ и гнѣвомъ; потомъ она позволила ему подойти, и даже сѣсть возлѣ нея (Джемма сидѣла по другую сторону); потомъ она стала упрекать его—не одними взорами, но словами, что̀ уже означало нѣкоторое смягченіе ея сердца; она стала жаловаться, и жалобы ея становились все тише и мягче; онѣ чередовались вопросами, обращенными то къ дочери, то къ Санину; потомъ она позволила ему взять ее за руку и не тотчасъ отняла ее... потомъ она заплакала опять — но уже совсѣмъ другими слезами... Потомъ она грустно улыбнулась и пожалѣла объ отсутствіи Джіованн'Баттиста, но уже въ другомъ смыслѣ, чѣмъ прежде... Прошло еще мгновенье — и оба преступника — Санинъ и Джемма—уже лежали на колѣняхъ у ногъ ея, и она клала имъ поочередно свои руки на головы; прошло дру-

гое мгновенье — и они уже обнимали и цѣловали ее, и Эмиль, съ сіяющимъ отъ восторга лицомъ, вбѣжалъ въ комнату и тоже бросился къ тѣсно-сплоченной группѣ.

Панталеоне глянулъ въ комнату, ухмыльнулся и нахмурился въ одно и то же время—и, отправившись въ кондитерскую, отперъ наружную дверь.

XXX.

Переходъ отъ отчаянія къ грусти, а отъ пея къ „тихой резиньяціи“ совершился довольно скоро въ фрау Леноре;— но и эта тихая резиньяція не замедлила превратиться въ тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличія. Санинъ съ перваго дня знакомства пришелся понутру фрау Леноре; свыкшись съ мыслію, что онъ будетъ ея зятемъ, она уже не находила въ ней ничего особенно непріятнаго, хотя и считала долгомъ сохранять на лицѣ своемъ нѣсколько обиженное... скорѣй озабоченное выраженіе. Къ тому же, все, что произошло въ послѣдніе дни, было такъ необычайно... Одно къ одному! Какъ женщина практическая и какъ мать, фрау Леноре почла также своимъ долгомъ подвергнуть Санина разнообразнымъ вопросамъ: и Санинъ, который, отправляясь утромъ на свиданіе съ Джеммой, и въ помыслахъ не имѣлъ, что онъ женится на ней,— правда, онъ ни о чемъ тогда не думалъ, а только отдавался влеченію своей страсти,—Санинъ съ полной готовностью и, можно сказать, съ азартомъ вошелъ въ свою роль, роль жениха, и на всѣ разспросы отвѣчалъ обстоятельно, подробно, охотно. Удостовѣрившись, что онъ настоящій, природный дворянинъ, и даже нѣсколько удивившись тому, что онъ не князь, фрау Леноре приняла серьезный видъ и — „предупредила его заранѣе“ — что будетъ съ нимъ совершенно безцеремонно откровенна, потому что къ этому принуждаетъ ее священная обязанность матери!—на что Санинъ отвѣчалъ, что онъ отъ нея иного не ожидалъ и самъ ее убѣдительно проситъ—не щадить его!

Тогда фрау Леноре замѣтила ему, что г. Клюберъ

(произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) — г. Клюберъ, бывшій Джемминъ женихъ, уже теперь обладаетъ восемью тысячами гульденовъ дохода — и съ каждымъ годомъ эта сумма будетъ быстро увеличиваться—а его, г-на Санина, каковъ доходъ?

— Восемь тысячъ гульденовъ, — повторилъ протяжно Санинъ...—Это на наши деньги—около пятнадцати тысячъ рублей ассигнаціями... Мой доходъ гораздо меньше. У меня есть небольшое имѣніе въ Тульской губерніи... При хорошо устроенномъ хозяйствѣ, оно можетъ дать—и даже непремѣнно должно дать тысячъ пять или шесть... Да, если я поступлю на службу—я легко могу получить тысячи двѣ жалованья.

— На службу въ Россіи?—воскликнула фрау Леноре.— Я, стало-быть, должна разстаться съ Джеммой!

— Можно будетъ опредѣлиться по дипломатической части,—подхватилъ Санинъ:—у меня есть нѣкоторыя связи... Тогда служба происходитъ за границей. А то, вотъ еще что можно будетъ сдѣлать — и это гораздо лучше всего: продать имѣніе и употребить вырученный капиталъ на какое-нибудь выгодное предпріятіе, напр., на усовершенствованіе вашей кондитерской.—Санинъ и чувствовалъ, что говоритъ нѣчто несообразное, но имъ овладѣла непонятная отвага! Онъ глянетъ на Джемму, которая съ тѣхъ поръ, какъ начался „практическій“ разговоръ, то и дѣло вставала, ходила по комнатѣ, садилась опять — глянетъ онъ на нее — и нѣтъ для него препятствій, и готовъ онъ устроить все, сейчасъ, самымъ лучшимъ образомъ—лишь бы она не тревожилась!

— Г-нъ Клюберъ тоже хотѣлъ дать мнѣ небольшую сумму на поправку кондитерской,—промолвила, послѣ небольшого колебанія, фрау Леноре.

— Матушка! ради Бога! матушка!—воскликнула Джемма по-итальянски.

— Объ этихъ вещахъ надо говорить заблаговременно, дочь моя,—отвѣчала ей фрау Леноре на томъ же языкѣ.

Она снова обратилась къ Санину и стала его разспрашивать о томъ, какіе законы существуютъ въ Россіи на-

счетъ браковъ, и нѣтъ ли препятствій для вступленія въ супружество съ католичками — какъ въ Пруссіи?—(Въ то время, въ сороковомъ году, вся Германія еще помнила ссору прусскаго правительства съ кёльнскимъ архіепископомъ изъ-за смѣшанныхъ браковъ.) Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замужъ за русскаго дворянина, ея дочь сама станетъ дворянкой — она выказала нѣкоторое удовольствіе. — Но вѣдь вы должны сперва отправиться въ Россію?

— Зачѣмъ?

— А какъ же? Получить позволеніе отъ вашего государя?

Санинъ объяснилъ ей, что это вовсе не нужно... но что, быть-можетъ, ему, точно, придется передъ свадьбой съѣздить на самое короткое время въ Россію—(онъ сказалъ эти слова — и сердце въ немъ болѣзненно сжалось, глядѣвшая на него Джемма поняла, что оно сжалось—и покраснѣла и задумалась) — и что онъ постарается воспользоваться своимъ пребываніемъ на родинѣ, чтобы продать имѣніе... во всякомъ случаѣ, онъ вывезетъ оттуда нужныя деньги.

— Я бы также попросила васъ привезти мнѣ оттуда астраханскія хорошія мерлушки на мантилью,— проговорила фрау Леноре.—Онѣ тамъ, по слухамъ, удивительно хороши, и удивительно дешевы!

— Непремѣнно, съ величайшимъ удовольствіемъ привезу и вамъ—и Джеммѣ!—воскликнулъ Санинъ.

— А мнѣ вышитую серебромъ сафьянную шапочку, — вмѣшался Эмиль, выставивъ голову изъ сосѣдней комнаты.

— Хорошо —привезу и тебѣ... и Панталеоне туфли.

— Ну, къ чему это? къ чему? — замѣтила фрау Леноре.—Мы говоримъ теперь о серьезныхъ вещахъ. Но вотъ еще что,—прибавила практическая дама. — Вы говорите: продать имѣніе. Но какъ же вы это сдѣлаете? Вы, сталобыть, и крестьянъ тоже продадите?

Санина точно что въ бокъ кольнуло. Онъ вспомнилъ, что, разговаривая съ г-жей Розелли и ея дочерью—о крѣ-

постномъ правѣ, которое, по его словамъ, возбуждало въ немъ глубокое негодованіе, онъ неоднократно завѣрялъ ихъ, что никогда и ни за что своихъ крестьянъ продавать не станетъ, ибо считаетъ подобную продажу безнравственнымъ дѣломъ.

— Я постараюсь продать мое имѣніе человѣку, котораго я буду знать съ хорошей стороны,—произнесъ онъ не безъ запинки:—или, быть-можетъ, сами крестьяне захотятъ откупиться.

— Это лучше всего,—согласилась и фрау Леноре.—А то, продавать живыхъ людей... — Barbari! — проворчалъ Панталеопе, который, вслѣдъ за Эмилемъ, показался-было у дверей, трихнулъ тупеемъ и скрылся.

„Скверно!“ подумалъ про себя Санинъ — и украдкой поглядѣлъ на Джемму. Она, казалось, не слышала его послѣднихъ словъ. „Ну, ничего!“ подумалъ онъ опять.

Такимъ манеромъ продолжался практическій разговоръ почти вплоть до самаго обѣда. Фрау Леноре совсѣмъ укротилась подъ конецъ—и называла уже Санина Дмитріемъ, ласково грозила ему пальцемъ и обѣщала отомстить за его коварство. Много и подробно разспрашивала она объ его роднѣ, потому что—„это тоже очень важно“; потребовала также, чтобы онъ описалъ ей церемонію брака, какъ онъ совершается по обряду русской церкви,—и заранѣе восхищалась Джеммой въ бѣломъ платьѣ, съ золотой короной на головѣ.

— Вѣдь она у меня красива, какъ королева,—промолвила она съ материнской гордостью:—да и королевъ такихъ на свѣтѣ нѣтъ!

— Другой Джеммы на свѣтѣ нѣтъ! — подхватилъ Санинъ.

— Да; оттого-то она и — Джемма! (Извѣстно, что на итальянскомъ языкѣ Джемма значитъ: драгоцѣнный камень.)

Джемма бросилась цѣловать свою мать... Казалось, только теперь она вздохнула свободно—и удручавшая ее *тяжесть* спала съ ея души.

А Санинъ вдругъ почувствовалъ себя до того счастли-

вымъ, такою дѣтскою веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вотъ, сбылись же, сбылись тѣ грёзы, которымъ онъ недавно предавался въ тѣхъ же самыхъ комнатахъ; все существо его до того взыграло, что онъ немедленно отправился въ кондитерскую; онъ пожелалъ непремѣнно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавкомъ, какъ нѣсколько дней тому назадъ... „Я-молъ имѣю полное теперь на это право! Я вѣдь теперь домашній человѣкъ!“

И онъ дѣйствительно сталъ за прилавокъ, и дѣйствительно поторговалъ, т. е. продалъ двумъ зашедшимъ дѣвочкамъ фунтъ конфетъ, вмѣсто котораго онъ имъ отпустилъ цѣлыхъ два, взявши съ нихъ только полцѣны.

За обѣдомъ онъ офиціально, какъ женихъ, сидѣлъ рядомъ съ Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практическія соображенія. Эмиль то и дѣло смѣялся и приставалъ къ Санину, чтобы тотъ его взялъ съ собою въ Россію. Было рѣшено, что Санинъ уѣдетъ черезъ двѣ недѣли. Одинъ Панталеоне являлъ нѣсколько угрюмый видъ, такъ что даже фрау Леноре ему попеняла. „А еще секундантомъ былъ!“—Панталеоне взглянулъ исподлобья.

Джемма молчала почти все время, но никогда ея лицо не было прекраснѣе и свѣтлѣе. Послѣ обѣда она отозвала Санина на минуту въ садъ, и остановившись около той самой скамейки, гдѣ она третьяго дня отбирала вишни, сказала ему: — Димитрій, не сердись на меня; но я еще разъ хочу напомнить тебѣ, что ты не долженъ почитать себя связаннымъ...

Онъ не далъ ей договорить...

Джемма отклонила свое лицо. — А насчетъ того, что мама упомянула—помнишь?—о различіи нашей вѣры, то вотъ!..

Она схватила гранатовый крестикъ, висѣвшій у ней на шеѣ на тонкомъ шнуркѣ, сильно дернула и оборвала шнурокъ—и подала ему крестикъ.

— Если я твоя, такъ и вѣра твоя—моя вѣра!

Глаза Санина были еще влажны, когда онъ вмѣстѣ съ Джеммой вернулся въ домъ.

Къ вечеру все пришло въ обычную колею. Даже въ тресетте поиграли.

XXXI.

Санинъ проснулся очень рано на слѣдующій день. Онъ находился на высшей степени человѣческаго благополучія; но не это мѣшало ему спать; вопросъ, жизненный, роковой вопросъ: какимъ образомъ онъ продастъ свое имѣніе какъ можно скорѣе и какъ можно выгоднѣе—тревожилъ его покой. Въ головѣ его скрещивались различнѣйшіе планы, но ничего пока еще не выяснилось. Онъ вышелъ изъ дому, чтобы провѣтриться, освѣжиться. Съ готовымъ проектомъ — не иначе — хотѣлъ онъ предстать передъ Джеммой.

Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочемъ прилично одѣтая, идетъ передъ нимъ, слегка переваливаясь и ковыляя? Гдѣ видѣлъ онъ этотъ затылокъ, поросшій бѣлобрысыми вихрами, эту голову, какъ бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлыя, отвислыя руки? Неужели это—Полозовъ, его старинный пансіонскій товарищъ, котораго онъ уже вотъ пять лѣтъ, какъ потерялъ изъ виду? Санинъ обогналъ шедшую передъ нимъ фигуру, обернулся... Широкое, желтоватое лицо, маленькіе, свиные глазки съ бѣлыми рѣсницами и бровями, короткій, плоскій носъ, крупныя, словно склеенныя губы, круглый, безволосый подбородокъ — и это выраженіе всего лица, кислое, лѣнивое и недовѣрчивое — да, точно: это онъ, это Ипполитъ Полозовъ!

„Ужъ не опять ли моя звѣзда дѣйствуетъ?“ мелькнуло въ мысляхъ Санина.

— Полозовъ! Ипполитъ Сидоровичъ! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного — и, расклеивъ наконецъ свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

— Дмитрій Санинъ?

— Онъ самый и есть!—воскликнулъ Санинъ, и пожалъ одну изъ рукъ Полозова; облеченныя въ тѣсныя лайко-

выя перчатки сѣро-пепельнаго цвѣта, онѣ попрежнему безжизненно висѣли вдоль его выпуклыхъ ляжекъ.—Давно ли ты здѣсь? Откуда пріѣхалъ? Гдѣ остановился?

— Я пріѣхалъ вчера изъ Висбадена, — отвѣчалъ не спѣша Полозовъ:—за покупками для жены—и сегодня же возвращаюсь въ Висбаденъ.

— Ахъ, да! Вѣдь ты женатъ — и, говорятъ, на такой красавицѣ!

Полозовъ повелъ въ сторону глазами.—Да, говорятъ.

Санинъ засмѣялся.—Я вижу, ты все такой же... флегматикъ, какимъ ты былъ въ пансіонѣ.

— На что я буду мѣняться?

— И говорятъ, — прибавилъ Санинъ, съ особымъ удареніемъ на слово: „говорятъ": — что твоя жена очень богата.

— Говорятъ и это.

— А тебѣ самому, Ипполитъ Сидорычъ, развѣ это неизвѣстно?

— Я, братъ, Дмитрій... Павловичъ?—да, Павловичъ! въ женины дѣла не мѣшаюсь.

— Не мѣшаешься? Ни въ какія дѣла?

Полозовъ опять повелъ глазами.—Ни въ какія, братъ. Она—сама по себѣ... ну, и я—самъ по себѣ.

— Куда же ты теперь идешь?—спросилъ Санинъ.

— Теперь я никуда не иду; стою на улицѣ—и съ тобою бесѣдую; а вотъ, какъ мы съ тобою покончимъ, отправлюсь къ себѣ въ гостиницу—и буду завтракать.

— Меня въ товарищи—хочешь?

— То-есть—это ты насчетъ завтрака?

— Да.

— Сдѣлай одолженіе, ѣсть вдвоемъ гораздо веселѣе. Ты вѣдь не говорунъ?

— Не думаю.

— Ну, и ладно.

Полозовъ двинулся впередъ. Санинъ отправился съ нимъ рядомъ. И думалось Санину—губы Полозова опять склеились, онъ сопѣлъ и переваливался молча — думалось Санину: *какимъ образомъ* удалось этому чурбану подцѣпить

красивую и богатую жену? Самъ онъ ни богатъ, ни знатенъ, ни уменъ; въ пансіонѣ слылъ за вялаго и тупого мальчика, за соню и обжору — и прозвище носилъ „слюняя“. Чудеса!

„Но если жена его очень богата—сказываютъ, она дочь какого-то откупщика—то не купитъ ли она мое имѣніе? Хотя онъ и говоритъ, что ни въ какія женины дѣла не входитъ, но вѣдь этому вѣры дать нельзя! Притомъ же, и цѣну я назначу сходную, выгодную цѣну! Отчего не попытаться? Быть-можетъ, это все моя звѣзда дѣйствуетъ... Рѣшено! попытаюсь!“

Полозовъ привелъ Санина въ одну изъ лучшихъ гостиницъ Франкфурта, въ которой занималъ уже, конечно, лучшій номеръ. На столахъ и стульяхъ громоздились картоны, ящики, свертки... „Все, братъ, покупки для Марьи Николаевны!“ (такъ звали жену Ипполита Сидорыча). Полозовъ опустился въ кресло, простоналъ: „Эка жара!“ и развязалъ галстукъ. Потомъ позвонилъ оберъ-кельнера и тщательно заказалъ ему обильнѣйшій завтракъ. „А въ часъ чтобы карета была готова! Слышите, ровно въ часъ!“

Оберъ-кельнеръ подобострастно наклонился — и рабски исчезъ.

Полозовъ разстегнулъ жилетъ. По одному тому, какъ онъ приподнималъ брови, отдувался и морщилъ носъ, можно было видѣть, что говорить будетъ для него большою тягостью, и что онъ не безъ нѣкоторой тревоги ожидалъ, заставитъ ли его Санинъ ворочать языкомъ, или самъ возьметъ на себя трудъ вести бесѣду?

Санинъ понялъ настроеніе своего пріятеля, и потому не сталъ обременять его вопросами; ограничился лишь самымъ необходимымъ; узналъ, что онъ два года состоялъ на службѣ — (въ уланахъ! то-то, чай, хорошъ былъ въ короткомъ-то мундирчикѣ), три года тому назадъ женился—и вотъ, уже второй годъ находится за границей съ женой, „которая теперь отъ чего-то лѣчится въ Висбаденѣ“ — а тамъ отправляется въ Парижъ. Съ своей стороны, Санинъ также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своихъ планахъ; онъ прямо приступилъ

въ главному, т.-е. заговорилъ о своемъ намѣреніи продать имѣніе.

Полозовъ слушалъ его молча, лишь изрѣдка взглядывая на дверь, откуда долженъ былъ явиться завтракъ. Завтракъ явился наконецъ. Оберъ-кельнеръ, въ сопровожденіи двухъ другихъ слугъ, принесъ нѣсколько блюдъ подъ серебряными колпаками.

— Это въ Тульской губерніи имѣніе?—промолвилъ Полозовъ, садясь за столъ и затыкая салфетку за воротъ рубашки.

— Въ Тульской.

— Ефремовскаго уѣзда... Знаю.

— Ты мою Алексѣевку знаешь?—спросилъ Санинъ, тоже садясь за столъ.

— Знаю, какъ же.—Полозовъ запихалъ себѣ въ ротъ кусокъ яичницы съ трюфелями.—У Марьи Николаевны—жены моей—по сосѣдству есть имѣніе... Откупорьте эту бутылку, кельнеръ! Земля порядочная—только мужики у тебя лѣсъ вырубили. Ты зачѣмъ же продаешь?

— Деньги нужны, братъ. Я бы дешево продалъ. Вотъ бы тебѣ купить... Кстати.

Полозовъ проглотилъ стаканъ вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать—медленно и шумно.

— Н-да,—проговорилъ онъ, наконецъ...—Я имѣній не покупаю: капиталовъ нѣтъ. Пододвинь-ка масло. Развѣ вотъ жена купитъ. Ты съ ней поговори. Коли дорого не запросишь—она этимъ не брезгаетъ... Экіе, однако, эти нѣмцы—ослы! Не умѣютъ рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуютъ: „фатерландъ-молъ объединить слѣдуетъ". Кельнеръ, примите эту мерзость!

— Неужели же твоя жена сама распоряжается... по хозяйству?—спросилъ Санинъ.

— Сама. Вотъ котлеты—хороши. Рекомендую. Я сказалъ тебѣ, Дмитрій Павловичъ, что ни въ какія женины дѣла я не вхожу—и теперь тебѣ то же повторяю.

Полозовъ продолжалъ чавкать.

— Гм... Но какъ *я* съ ней переговорить могу, Ипполитъ Сидорычъ?

— А очень просто, Дмитрій Павловичъ. Отправляйся въ Висбаденъ. Отсюда недалече. Кельнеръ, нѣтъ ли у васъ англійской горчицы? Нѣтъ? Скоты! Только времени не теряй. Мы послѣ-завтра уѣзжемъ. Позволь, я тебѣ налью рюмку: съ букетомъ вино—не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснѣло; оно и оживлялось только тогда, когда онъ ѣлъ... или пилъ.

— Право же, я не знаю, какъ это сдѣлать? — пробормоталъ Сапинъ.

— Да что тебѣ такъ вдругъ приспичило?

— То-то и есть, что приспичило, братъ.

— И большая сумма нужна?

— Большая. Я... какъ бы это тебѣ сказать! я затѣялъ... жениться.

Полозовъ поставилъ на столъ рюмку, которую поднесъ было къ губамъ.

— Жениться!—промолвилъ онъ хриплымъ, отъ изумленія хриплымъ голосомъ, и сложилъ свои пухлыя руки на желудкѣ.—Такъ скоропостижно?

— Да... скоро.

— Невѣста—въ Россіи, разумѣется?

— Нѣтъ, не въ Россіи.

— Гдѣ же?

— Здѣсь, во Франкфуртѣ.

— И кто она?

— Нѣмка; то-есть, нѣтъ — итальянка. Здѣшняя жительница.

— Съ капиталомъ?

— Безъ капитала.

— Стало-быть, любовь ужъ очень сильная?

— Какой ты смѣшной! Да, сильная.

— И для этого тебѣ деньги нужны?

— Ну, да... да, да.

Полозовъ проглотилъ вино, выполаскалъ себѣ ротъ и руки вымылъ, старательно вытеръ ихъ о салфетку, досталъ и закурилъ сигару. Сапинъ молча глядѣлъ на него.

— Одно средство,—промычалъ, наконецъ, Полозовъ, закидывая назадъ голову и выпуская дымъ тонкой струй-

кой.— Ступай къ женѣ. Она, коли захочетъ, всю бѣду твою руками разведетъ.

— Да какъ я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послѣ-завтра уѣзжаете?

Полозовъ закрылъ глаза.

— Знаешь, что я тебѣ скажу, — проговорилъ онъ, наконецъ, вертя губами сигару и вздыхая. — Ступай-ка домой, снарядись попроворнѣе—да приходи сюда. Въ часъ я выѣзжаю, карета у меня просторная—я тебя съ собой возьму. Этакъ всего лучше. А теперь я посплю. Я, братъ, какъ поѣмъ, непремѣнно поспать долженъ. Натура требуетъ—и я не противлюсь. И ты не мѣшай мнѣ.

Санинъ подумалъ, подумалъ — и внезапно поднялъ голову: онъ рѣшился!

— Ну, хорошо, согласенъ!—и благодарю тебя. Въ половинѣ перваго я здѣсь — и мы отправимся вмѣстѣ въ Висбаденъ. Я надѣюсь, жена твоя не разсердится...

Но Полозовъ уже сопѣлъ. Пролепеталъ: не мѣшай! поболталъ ногами и заснулъ, какъ младенецъ.

Санинъ еще разъ окинулъ взоромъ его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый какъ яблоко подбородокъ—и, выйдя изъ гостиницы, проворными шагами направился къ кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.

XXXII.

Онъ засталъ ее въ кондитерской комнатѣ, вмѣстѣ съ матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измѣряла небольшимъ складнымъ футомъ промежутокъ между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело привѣтствовала его, не безъ маленькаго замѣшательства, однако.

— У меня, съ вашихъ вчерашнихъ словъ, — начала она:—все въ головѣ вертятся мысли, какъ бы намъ улучшить нашъ магазинъ. Вотъ тутъ, я полагаю, два шкапчика съ зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это въ модѣ. И потомъ еще...

— Прекрасно, прекрасно,—перебилъ ее Санинъ.— это все надо будетъ сообразить... Но подите-ка сюда, я вамъ

что̀ сообщу. Онъ взялъ фрау Леноре и Джемму подъ-руки и повелъ ихъ въ другую комнату. Фрау Леноре встревожилась, и мѣрку изъ рукъ выронила. Джемма встревожилась-было тоже, но глянула попристальнѣе на Санина и успокоилась. Лицо его, правда, озабоченное, выражало въ то же время оживленную бодрость и рѣшимость.

Онъ попросилъ обѣихъ женщинъ сѣсть, а самъ сталъ передъ ними — и размахивая руками, да ероша волосы, сообщилъ имъ все: встрѣчу съ Полозовымъ, предполагаемую поѣздку въ Висбаденъ, возможность продажи имѣнія. — Вообразите мое счастье, — воскликнулъ онъ наконецъ:—дѣло приняло такой оборотъ, что мнѣ даже, быть-можетъ, не зачѣмъ будетъ ѣхать въ Россію! И свадьбу мы можемъ сыграть гораздо скорѣе, чѣмъ я предполагалъ!

— Когда вы должны ѣхать?—спросила Джемма.

— Сегодня же—черезъ часъ; мой пріятель нанялъ карету—онъ меня довезетъ.

— Вы намъ напишете?

— Немедленно! какъ только переговорю съ этой дамой—такъ тотчасъ и напишу.

— Эта дама, вы говорите — очень богата? — спросила практическая фрау Леноре.

— Чрезвычайно! ея отецъ былъ милліонеромъ — и все ей оставилъ.

— Все—ей одной? Ну—это ваше счастье. Только, смотрите, не продешевите вашего имѣнія! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желаніе, быть какъ можно скорѣе мужемъ Джеммы... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чѣмъ вы дороже продадите имѣніе, тѣмъ больше останется вамъ обоимъ— и вашимъ дѣтямъ.

Джемма отвернулась, и Санинъ опять замахалъ руками. — Въ моей осторожности вы можете быть увѣрены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цѣну: дастъ—хорошо; не дастъ—Богъ съ ней.

— *Вы* съ ней знакомы... съ этой дамой? — спросила *Джемма*.

— Я ее никогда въ лицо не видалъ.

— И когда же вы вернетесь?

— Если ничѣмъ не кончится наше дѣло—послѣзавтра; если же оно пойдетъ на ладъ — можетъ-быть, придется пробыть лишній день или два. Во всякомъ случаѣ — минуты не промѣшкаю. Вѣдь я душу свою оставлю здѣсь? Однако, я съ вами заговорился, а мнѣ нужно передъ отъѣздомъ еще домой сбѣгать... Дайте мнѣ руку на счастье, фрау Леноре—у насъ въ Россіи всегда такъ дѣлается.

— Правую или лѣвую?

— Лѣвую — ближе къ сердцу. Явлюсь послѣзавтра — со щитомъ или на щитѣ! Мнѣ что-то говоритъ: я вернусь побѣдителемъ! Прощайте, мои добрыя, мои милыя...

Онъ обнялъ и поцѣловалъ фрау Леноре, а Джемму попросилъ пойти за нимъ въ ея комнату — на минутку — такъ какъ ему нужно сообщить ей—что-то очень важное. Ему просто хотѣлось проститься съ ней наединѣ. Фрау Леноре это поняла—и не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь...

Санинъ никогда еще не бывалъ въ комнатѣ Джеммы. Все обаяніе любви, весь ея огонь, и восторгъ, и сладкій ужасъ—такъ и вспыхнули въ немъ, такъ и ворвались въ его душу, какъ только онъ переступилъ завѣтный порогъ... Онъ кинулъ вокругъ умиленный взоръ, палъ къ ногамъ милой дѣвушки и прижалъ лицо свое къ ея стану...

— Ты мой?—шепнула она:—ты вернешься скоро?

— Я твой... я вернусь,—твердилъ онъ, задыхаясь.

— Я буду ждать тебя, мой милый!

Нѣсколько мгновеній спустя, Санинъ уже бѣжалъ по улицѣ къ себѣ на квартиру. Онъ и не замѣтилъ того, что вслѣдъ за нимъ, изъ двери кондитерской, весь растрепанный, выскочилъ Панталеоне — и что-то кричалъ ему и потрясалъ, и какъ будто грозилъ высоко поднятой рукою.

Ровно въ три-четверти перваго Санинъ отъявился къ Полозову. У воротъ его гостиницы уже стояла карета,

запряженная четырьмя лошадьми. Увидавъ Санина, Полозовъ только промолвилъ: „А! рѣшился?“ и, надѣвъ шляпу, шинель и калоши, заткнувъ себѣ хлопчатой бумагой уши, хотя дѣло было лѣтомъ, вышелъ на крыльцо. Кельнеры, по его указанію, расположили во внутренности кареты всѣ многочисленныя его покупки, обложили мѣсто его сидѣнья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили въ ноги коробъ съ провизіей и привязали къ козламъ чемоданъ. Полозовъ расплатился щедрой рукой — и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливымъ привратникомъ, полѣзъ, кряхтя, въ карету, усѣлся, обмялъ хорошенько все вокругъ себя, выбралъ и закурилъ сигару—и тогда только кивнулъ пальцемъ Санину: „полѣзай, молъ, и ты!“ Санинъ помѣстился съ нимъ рядомъ. Полозовъ приказалъ черезъ привратника почталіону ѣхать исправно — если желаетъ получить на водку; подножки загремѣли, дверцы хлопнули, карета покатилась.

XXXIII.

Отъ Франкфурта до Висбадена теперь по желѣзной дорогѣ менѣе часа ѣзды; въ то время экстра-почта поспѣвала часа въ три. Лошадей мѣняли разъ пять. Полозовъ не то дремалъ, не то такъ покачивался, держа сигару въ зубахъ, и говорилъ очень мало; въ окошко не выглянулъ ни разу: живописными видами онъ не интересовался и даже объявилъ, что —„природа — смерть его!“ Санинъ тоже молчалъ и тоже не любовался видами: ему было не до того. Онъ весь отдался размышленіямъ, воспоминаніямъ. На станціяхъ Полозовъ аккуратно расплачивался, замѣчалъ время по часамъ и награждалъ почталіоновъ— мало или много, смотря по ихъ усердію. На полдорогѣ онъ досталъ изъ короба съ съѣстными припасами два апельсина, и, выбравъ лучшій, предложилъ Санину другой. Санинъ пристально поглядѣлъ на своего спутника— и вдругъ разсмѣялся.

— Чему ты?—спросилъ тотъ, старательно отдирая своими короткими бѣлыми ногтями кожу съ апельсина.

— Чему? — повторилъ Санинъ. — Да нашему съ тобой путешествію.

— А что?—переспросилъ Полозовъ, пропуская въ ротъ одинъ изъ тѣхъ продольныхъ ломтиковъ, на которые распадается мясо апельсина.

— Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, такъ же мало думалъ о тебѣ, какъ о китайскомъ императорѣ,— а сегодня я ѣду съ тобой продавать мое имѣніе твоей женѣ, о которой тоже не имѣю малѣйшаго понятія.

— Всяко бываетъ, — отвѣчалъ Полозовъ. — Ты только поживи подольше— всего насмотришься. Напримѣръ, можешь ты себѣ представить меня подъѣзжающимъ на ординарцы? А я подъѣзжалъ; а великій князь Михаилъ Павловичъ скомандовалъ: „рысью, рысью этого толстаго корнета! Прибавь рыси!"

Санинъ почесалъ у себя за ухомъ.

— Скажи мнѣ пожалуйста, Ипполитъ Сидорычъ, какова твоя жена? Нравъ у ней каковъ? Мнѣ вѣдь это нужно знать.

— Ему хорошо командовать: „рысью!" — съ внезапной запальчивостью подхватилъ Полозовъ:—а мнѣ-то... мнѣ-то каково? Я и думалъ: возьмите вы себѣ ваши чины да эполеты — ну ихъ съ Богомъ! Да... ты о женѣ спрашивалъ? Что́ — жена? Человѣкъ, какъ всѣ. Пальца ей въ ротъ не клади — она этого не любитъ. Главное — говори побольше... чтобы посмѣяться было надъ чѣмъ. Про любовь свою разскажи, что ли... да позабавнѣй, знаешь.

— Какъ позабавнѣй?

— Да такъ же. Вѣдь ты мнѣ сказывалъ, что влюбленъ, жениться хочешь. Ну, вотъ, ты это и опиши.

Санинъ обидѣлся. — Что же въ этомъ ты находишь смѣшного?

Полозовъ только глазами повелъ. Сокъ отъ апельсина текъ по его подбородку.

— Это твоя жена тебя во Франкфуртъ за покупками посылала?—спросилъ Санинъ, спустя немного времени.

— Она самая.

— *Какія же это покупки?*

— Извѣстно: игрушки.

— Игрушки? развѣ у тебя есть дѣти?

Полозовъ даже посторонился отъ Санина. — Вона! Съ какой стати у меня будутъ дѣти? Женскіе колифишэ... Уборы. По части туалета.

— Ты развѣ въ этомъ толкъ знаешь?

— Знаю.

— Какъ же ты мнѣ говорилъ, что ни во что женино не входишь?

— Въ другое не вхожу. А это... ничего. Отъ скуки — можно. Да и жена вкусу моему вѣритъ. Я жъ и торговаться лихъ.

Полозовъ начиналъ говорить отрывисто; онъ уже усталъ.

— И очень жена твоя богата?

— Богата-то, богата. Только больше для себя.

— Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

— На то я мужъ. Еще бы мнѣ не пользоваться! И полезный же я ей человѣкъ! Ей со мной — лафа! Я — удобный!

Полозовъ утеръ лицо фуляромъ и тяжело фукнулъ: „пощади дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, какъ оно мнѣ трудно“.

Санинъ оставилъ его въ покоѣ — и снова погрузился въ размышленія.

Гостиница въ Висбаденѣ, передъ которой остановилась карета—уже прямо смахивала на дворецъ. Колокольчики немедленно зазвонили въ ея нѣдрахъ, поднялась суетня и бѣготня; благообразные люди въ черныхъ фракахъ запрыгали у главнаго входа; залитый золотомъ швейцаръ съ размаху отворилъ дверцы кареты.

Какъ нѣкій тріумфаторъ высадился Полозовъ и началъ подниматься по устланной коврами и благовонной лѣстницѣ. Къ нему подлетѣлъ человѣкъ; тоже отлично одѣтый, но съ русскимъ лицомъ—его камердинеръ. Полозовъ замѣтилъ ему, что впредь будетъ всегда брать его съ собою — ибо, наканунѣ, во Франкфуртѣ, его, Полозова, *оставили* на ночь безъ теплой воды! Камердинеръ изобра-

зилъ ужасъ на лицѣ — и, проворно наклонясь, снялъ съ барина калоши.

— Марья Николаевна дома?—спросилъ Полозовъ.

— Дома-съ. Изволятъ одѣваться. У графини Ласунской изволятъ обѣдать.

— А! у этой!.. Стой! Тамъ вещи въ каретѣ, все вынь самъ и внеси. А ты, Дмитрій Павловичъ,—прибавилъ Полозовъ: — возьми себѣ комнату, да черезъ три четверти часа и приходи. Пообѣдаемъ вмѣстѣ.

Полозовъ поплылъ дальше, а Санинъ спросилъ себѣ номеръ попроще —и, приведя туалетъ свой въ порядокъ, да отдохнувъ немножко—отправился въ громадный аппартаментъ, занимаемый его свѣтлостью (Durchlaucht) княземъ фонъ-Полозофъ.

Онъ засталъ этого „князя" возсѣдающимъ на роскошнѣйшемъ бархатномъ креслѣ посреди великолѣпнѣйшаго салона. Флегматическій пріятель Санина успѣлъ уже ванну взять и облачиться въ богатѣйшій атласный шлафрокъ; на голову онъ надѣлъ малиновую феску. Санинъ приблизился къ нему и нѣкоторое время разсматривалъ его. Полозовъ сидѣлъ неподвижно, какъ идолъ; даже лица въ его сторону не повернулъ, даже бровью не повелъ, звука не издалъ. Зрѣлище было, поистинѣ, величественное! Полюбовавшись имъ минуты съ двѣ, Санинъ хотѣлъ-было заговорить, нарушить эту священную тишину — какъ вдругъ дверь изъ сосѣдней комнаты растворилась, и на порогѣ появилась молодая, красивая дама въ бѣломъ шелковомъ платьѣ съ черными кружевами, въ брильянтахъ на рукахъ и на шеѣ—сама Марья Николаевна Полозова. Ея густые, русые волосы падали съ обѣихъ сторонъ головы—заплетенными, но не подобранными косами.

XXXIV.

— Ахъ, извините!—проговорила она съ полусмущенной, полунасмѣшливой улыбкой, мгновенно прихвативъ рукою конецъ одной косы и вперивъ на Санина свои большіе, сѣрые, свѣтлые глаза.—Я не думала, что вы уже пришли.

— *Санинъ, Дмитрій* Павловичъ, пріятель мой съ дѣт-

ства,—промолвилъ Полозовъ, попрежнему не оборачиваясь къ нему и не вставая, но указывая на него пальцемъ.

— Да... знаю... Ты мнѣ уже сказывалъ. Очень рада познакомиться. Но я хотѣла-было попросить тебя, Ипполитъ Сидорычъ... Моя горничная сегодня какая-то безтолковая...

— Волосы тебѣ убрать?

— Да, да, пожалуйста. Извините,—повторила Марья Николаевна съ прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставивъ за собою мимолетное, но стройное впечатлѣніе прелестной шеи, удивительныхъ плечъ, удивительнаго стана.

Полозовъ всталъ—и, тяжело переваливаясь, ушелъ въ ту же дверь.

Санинъ ни одной секунды не сомнѣвался въ томъ, что присутствіе его въ салонѣ „князя Полозова" было какъ нельзя лучше извѣстно самой хозяйкѣ; весь форсъ состоялъ въ томъ, чтобы показать свои волосы, которые были, точно, хороши. Санинъ внутренно даже порадовался этой выходкѣ г-жи Полозовой: коли, молъ, захотѣли меня поразить, блеснуть передо мною—можетъ-быть, какъ знать? и насчетъ цѣны на имѣніе окажутъ податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что всѣ другія женщины уже не имѣли для него никакого значенія: онъ едва замѣчалъ ихъ; и на этотъ разъ онъ ограничился только тѣмъ, что подумалъ: „да, правду говорили мнѣ: эта барыня хоть куда!"

А будь онъ не въ такомъ исключительномъ душевномъ состояніи, онъ бы, вѣроятно, иначе выразился: Марія Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замѣчательная особа. И не то, чтобы она была отъявленная красавица: въ ней даже довольно явственно сказывались слѣды ея плебейскаго происхожденія. Лобъ у ней былъ низкій, носъ нѣсколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществомъ рукъ и ногъ она похвалиться не могла—но что все это значило? Не передъ „святыней красоты", говоря словами Пушкина, остановился бы всякій, кто бы встрѣтился съ нею, но передъ

обаяніемъ мощнаго, не то русскаго, не то цыганскаго, цвѣтущаго женскаго тѣла... и не невольно остановился бы онъ!

Но образъ Джеммы охранялъ Санина, какъ та тройная броня, о которой поютъ стихотворцы.

Минутъ десять спустя, Марья Николаевна появилась опять, въ сопровожденіи своего супруга. Она подошла къ Санину... а походка у ней была такая, что иные чудаки въ тѣ, увы! уже далекія времена — отъ одной этой походки съ ума сходили. „Эта женщина, когда идетъ къ тебѣ, точно все счастье твоей жизни тебѣ навстрѣчу несетъ“, говаривалъ одинъ изъ нихъ. Она подошла къ Санину — и, протянувъ ему руку, промолвила своимъ ласковымъ и какъ бы сдержаннымъ голосомъ по-русски: „Вы меня дождетесь, неправда ли? Я вернусь скоро“.

Санинъ наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери — и, исчезая, опять повернула голову назадъ, черезъ плечо — и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатлѣніе.

Когда она улыбалась — не одна и не двѣ, а цѣлыхъ три ямочки обозначались на каждой щекѣ — и ея глаза улыбались больше чѣмъ губы, чѣмъ ея алыя, длинныя, вкусныя губы, съ двумя крошечными родинками на лѣвой ихъ сторонѣ.

Полозовъ ввалился въ комнату — и опять помѣстился на креслѣ. Безмолвствовалъ онъ попрежному; но странная усмѣшка отъ времени до времени пучила его безцвѣтныя и уже сморщенныя щеки.

Онъ былъ старообразенъ, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обѣдъ, которымъ онъ попотчивалъ своего гостя, конечно, удовлетворилъ бы самаго взыскательнаго гастронома, но Санину онъ показался безконечнымъ, несноснымъ! Полозовъ ѣлъ медленно, „съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой“, внимательно наклоняясь надъ тарелкой, нюхая чуть не каждый кусокъ; сперва пополощетъ себѣ *ротъ виномъ, потомъ* уже проглотитъ и губами пошле-

паетъ... А за жаркимъ онъ вдругъ разговорился — но о чемъ? О мериносахъ, которыхъ намѣревался выписать цѣлое стадо,—да такъ подробно, съ такою нѣжностью, употребляя все уменьшительныя имена. Выпивъ чашку горячаго, какъ кипятокъ, кофе (онъ нѣсколько разъ, слезливо-раздраженнымъ голосомъ, напомнилъ кельнеру, что наканунѣ ему подали кофе — холодный, холодный, какъ ледъ!)—и прикусивъ гаванскую сигару своими желтыми, кривыми зубами — онъ, по обычаю своему, задремалъ, къ великой радости Санина, который началъ ходить взадъ и впередъ, неслышными шагами, по мягкому ковру — и мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ жить съ Джеммой, и съ какимъ извѣстіемъ вернется къ ней. Однако, Полозовъ проснулся, по собственному замѣчанію, раньше обыкновеннаго, — онъ поспалъ всего полтора часика, и, выпивъ стаканъ зельтерской воды со льдомъ, да проглотивъ ложекъ съ восемь варенья, русскаго варенья, которое принесъ ему камердинеръ въ темнозеленой, настоящей „кіевской“ банкѣ, и безъ котораго онъ, по его словамъ, жить не могъ—онъ уставился припухшими глазами на Санина и спросилъ его, не хочетъ ли онъ поиграть съ нимъ въ дурачки? Санинъ охотно согласился; онъ боялся, какъ бы Полозовъ опять не заговорилъ о барашкахъ, да о ярочкахъ, да о курдючкахъ съ жиркомъ. Хозяинъ и гость—оба перешли въ гостиную, кельнеръ принесъ карты — и началась игра, разумѣется, не на деньги.

За этимъ невиннымъ занятіемъ застала ихъ Марья Николаевна, вернувшись отъ графини Ласунской.

Она громко разсмѣялась, какъ только вошла въ комнату и увидала карты и раскрытый ломберный столъ. Санинъ вскочилъ съ мѣста, но она воскликнула: „Сидите, играйте.—Я сейчасъ переодѣнусь и къ вамъ вернусь“,— и опять исчезла, прошумѣвъ платьемъ и сдергивая перчатки на ходу.

Она, точно, вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она замѣнила широкой шелковой блузой лиловаго цвѣта съ открытыми висячими рукавами; толстый кру-

ченый шнурокъ перехватывалъ ея талью. Она подсѣла къ мужу — и дождавшись, что онъ остался въ дуракахъ, сказала ему: „Ну, пышка, довольно! (при словѣ: „пышка", Санинъ съ изумленіемъ глянулъ на нее — а она весело улыбнулась, отвѣчая взглядомъ на его взглядъ—и выказывая всѣ свои ямочки на щекахъ) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; цѣлуй ручку и отправляйся; а мы съ г-мъ Санинымъ побесѣдуемъ вдвоемъ".

— Спать я не хочу, — промолвилъ Полозовъ, грузно поднимаясь съ кресла: — а отправиться — отправлюсь, и ручку поцѣлую. Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядѣть на Санина.

Полозовъ тоже глянулъ на него — и ушелъ, не простившись.

— Ну, разсказывайте, разсказывайте, — съ живостью проговорила Марья Николаевна, разомъ ставя оба обнаженные локтя на столъ и нетерпѣливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой.—Правда, вы, говорятъ, женитесь?

Сказавъ эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко на-бокъ нагнула, чтобы пристальнѣе и пронзительнѣе заглянуть Санину въ глаза.

XXXV.

Развязное обхожденіе г-жи Полозовой вѣроятно на первыхъ порахъ смутило бы Санина — хотя онъ новичкомъ не былъ и уже потерся между людьми—если бы въ самой этой развязности и фамильярности онъ опять-таки не увидѣлъ хорошаго предзнаменованія для своего предпріятія. „Будемъ потакать капризамъ этой богатой барыни", рѣшилъ онъ про себя — и такъ же непринужденно, какъ она его спрашивала, отвѣтилъ ей:—Да, я женюсь.

— На комъ? На иностранкѣ?

— Да.

— Вы недавно съ ней познакомились? Во Франкфуртѣ?

— Точно такъ.

— И кто *она такая*? Можно узнать?

— *Можно. Она дочь* кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да вѣдь это прелесть,—проговорила она медлительнымъ голосомъ: — это чудо! Я уже полагала, что такихъ молодыхъ людей, какъ вы, на свѣтѣ больше не встрѣчается. Дочь кондитера!

— Васъ это, я вижу, удивляетъ, — замѣтилъ, не безъ достоинства Санинъ:—но, во-первыхъ, у меня вовсе нѣтъ тѣхъ предразсудковъ...

— *Во-первыхъ*, это меня нисколько не удивляетъ,— перебила Марья Николаевна: — предразсудковъ и у меня нѣтъ. Я сама дочь мужика. А? что̀ взяли? Меня удивляетъ и радуетъ то, что вотъ, человѣкъ не боится любить. Вѣдь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покоробило отъ этого послѣдняго вопроса... Однако, отступать уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна,—началъ онъ:—всякому человѣку лицо его возлюбленной кажется лучше всѣхъ другихъ; но моя невѣста—дѣйствительно красавица.

— Въ самомъ дѣлѣ? Въ какомъ родѣ? итальянскомъ? античномъ?

— Да; у ней очень правильныя черты.

— Съ вами нѣтъ ея портрета?

— Нѣтъ! (Въ то время о фотографіяхъ еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться.)

— Какъ ее зовутъ?

— Ея имя—Джемма.

— А ваше—какъ?

— Дмитрій.

— По отчеству?

— Павловичъ.

— Знаете что̀, — проговорила Марья Николаевна, все тѣмъ же медлительнымъ голосомъ:—вы мнѣ очень нравитесь, Дмитрій Павловичъ. Вы, должно-быть, хорошій человѣкъ. Дайте-ка мнѣ вашу руку. Будемте пріятелями.

Она крѣпко пожала его руку своими красивыми, бѣ-

лыми, сильными пальцами. Ея рука была немногимъ меньше его руки — но гораздо теплѣй и глаже, и мягче, и жизненнѣй.

— Только, знаете что̀ мнѣ приходитъ въ голову?

— Что̀?

— Вы не разсердитесь? Нѣтъ? Она, вы говорите, ваша невѣста. Но развѣ... развѣ это непремѣнно было нужно?

Санинъ нахмурился.— Я васъ не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмѣялась тихохонько—и, встряхнувъ головою, откинула назадъ падавшіе ей на щеки волосы. — Рѣшительно — онъ прелесть, — промолвила она не то задумчиво, не то разсѣянно. — Рыцарь! Подите, вѣрьте послѣ этого людямъ, которые утверждаютъ, что идеалисты всѣ перевелись!

Марья Николаевна все время говорила по-русски удивительно чистымъ, прямо московскимъ языкомъ — народнаго, не дворянскаго пошиба.

— Вы, навѣрное, дома воспитывались, въ старозавѣтномъ, богобоязненномъ семействѣ? — спросила она. — Вы какой губерніи?

— Тульской.

— Ну! такъ мы однокорытники. Мой отецъ... Вѣдь вамъ извѣстно, кто былъ мой отецъ?

— Да, извѣстно.

— Онъ въ Тулѣ родился. Тулякъ былъ. Ну, хорошо... (Это „хорошо“ Марья Николаевна уже съ намѣреніемъ выговорила совсѣмъ по-мѣщанскому—вотъ такъ: хершо̀о.) Ну, давайте же теперь за дѣло примемся.

— То-есть... какъ же это такъ, за дѣло приняться? Что вамъ угодно этимъ сказать?

Марья Николаевна прищурилась.—Да вы зачѣмъ сюда пріѣхали? (Когда она щурила глаза, выраженіе ихъ становилось очень ласковымъ и немного насмѣшливымъ; когда же она раскрывала ихъ во всю величину — въ ихъ свѣтломъ, почти холодномъ блескѣ проступало что-то недоброе... что-то *угрожающее*. Особенную красоту придавали *ея глазамъ—ея брови*, густыя, немного надвинутыя, по

стоящія соболиныя.)—Вы хотите, чтобы я у васъ купила имѣніе? Вамъ нужны деньги для вашего бракосочетанія? Не такъ ли?

— Да, нужны.

— И много вамъ ихъ требуется?

— На первый случай, я бы удовольствовался нѣсколькими тысячами франковъ. Вашему супругу мое имѣніе извѣстно. Вы можете посовѣтоваться съ нимъ—а я бы взялъ цѣну недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налѣво.—*Во-первыхъ*,—начала она съ разстановкой, ударяя концами пальцевъ по обшлагу Санинскаго сюртука:—я не имѣю привычки совѣтываться съ мужемъ, развѣ вотъ насчетъ туалета—онъ на это у меня молодецъ; а *во-вторыхъ*, зачѣмъ вы говорите, что вы цѣну назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тѣмъ, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякія жертвы... Я никакихъ жертвъ отъ васъ не приму. Какъ? Вмѣсто того, чтобы поощрять въ васъ... ну, какъ бы это сказать получше?.. благородныя чувства, что ли? я васъ стану обдирать какъ липку? Это не въ моихъ привычкахъ. Когда случится, я людей не щажу—только не такимъ манеромъ.

Санинъ никакъ не могъ понять, что она—смѣется ли надъ нимъ, или говоритъ серьезно? а только думалъ про себя: „о, да съ тобой держи ухо востро!“

Слуга вошелъ съ русскимъ самоваромъ, чайнымъ приборомъ, сливками, сухарями и т. п., на большомъ подносѣ, разставилъ всю эту благодать на столѣ между Санинымъ и г-жею Полозовой—и удалился.

Она налила ему чашку чаю.—Вы не брезгаете?—спросила она, накладывая ему сахаръ въ чашку пальцами... а щипчики лежали тутъ же.

— Помилуйте!.. Отъ такой прекрасной руки...

Онъ не закончилъ фразы и чуть не поперхнулся глоткомъ чаю, а она внимательно и ясно глядѣла на него.

— Я потому упомянулъ о недорогой цѣнѣ моего имѣнія,—продолжалъ онъ:—что такъ какъ вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у васъ

много свободныхъ денегъ и, наконецъ, я самъ чувствую, что продажа... или покупка имѣнія, при подобныхъ условіяхъ—есть нѣчто ненормальное, и я долженъ взять это въ соображеніе.

Санинъ путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядѣла на него тѣмъ же внимательнымъ и яснымъ взглядомъ. Онъ наконецъ умолкъ.

— Ничего, говорите, говорите,—промолвила она, какъ бы приходя ему на помощь:—я васъ слушаю—мнѣ пріятно васъ слушайте; говорите.

Санинъ принялся описывать свое имѣніе, сколько въ немъ десятинъ, и гдѣ оно находится, и каковы въ немъ хозяйственныя угодья, и какія можно извлечь изъ него выгоды... упомянулъ даже о живописномъ мѣстоположеніи усадьбы; а Марья Николаевна все глядѣла да глядѣла на него — все свѣтлѣе и пристальнѣе, и губы ея чуть-чуть двигались, безъ улыбки: она покусывала ихъ. Ему стало неловко наконецъ; онъ замолчалъ вторично.

— Дмитрій Павловичъ,—начала Марья Николаевна—и задумалась... — Дмитрій Павловичъ, — повторила она...— Знаете что: я увѣрена, что покупка вашего имѣнія—очень выгодная для меня аффера и что мы сойдемся; но вы должны мнѣ дать... два дня — да, два дня сроку. Вѣдь вы въ состояніи на два дня разстаться съ вашей невѣстой? Дольше я васъ не продержу, противъ вашей воли— даю вамъ честное слово. Но если вамъ нужны теперь же пять, шесть тысячъ франковъ, я съ великимъ удовольствіемъ готова предложить вамъ ихъ взаймы—а тамъ мы сочтемся.

Санинъ поднялся.—Я долженъ благодарить васъ, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человѣку, почти совсѣмъ вамъ незнакомому... Но если уже вамъ непремѣнно такъ угодно, то я предпочту дождаться вашего рѣшенія насчетъ моего имѣнія— останусь здѣсь два дня.

— Да; мнѣ такъ угодно, Дмитрій Павловичъ. А вамъ будетъ очень тяжело? Очень? Скажите.

стоящія соболиныя.)—Вы хотите, чтобы я у васъ купила имѣніе? Вамъ нужны деньги для вашего бракосочетанія? Не такъ ли?

— Да, нужны.

— И много вамъ ихъ требуется?

— На первый случай, я бы удовольствовался нѣсколькими тысячами франковъ. Вашему супругу мое имѣніе извѣстно. Вы можете посовѣтоваться съ нимъ—а я бы взялъ цѣну недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налѣво.—*Во-первыхъ*,—начала она съ разстановкой, ударяя концами пальцевъ по обшлагу Санинскаго сюртука: — я не имѣю привычки совѣтываться съ мужемъ, развѣ вотъ насчетъ туалета—онъ на это у меня молодецъ; а *во-вторыхъ*, зачѣмъ вы говорите, что вы цѣну назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тѣмъ, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякія жертвы... Я никакихъ жертвъ отъ васъ не приму. Какъ? Вмѣсто того, чтобы поощрять въ васъ... ну, какъ бы это сказать получше?.. благородныя чувства, что ли? я васъ стану обдирать какъ липку? Это не въ моихъ привычкахъ. Когда случится, я людей не щажу—только не такимъ манеромъ.

Санинъ никакъ не могъ понять, что она — смѣется ли надъ нимъ, или говоритъ серьезно? а только думалъ про себя: „о, да съ тобой держи ухо востро!“

Слуга вошелъ съ русскимъ самоваромъ, чайнымъ приборомъ, сливками, сухарями и т. п., на большомъ подносѣ, разставилъ всю эту благодать на столѣ между Санинымъ и г-жею Полозовой—и удалился.

Она налила ему чашку чаю.—Вы не брезгаете?—спросила она, накладывая ему сахаръ въ чашку пальцами... а щипчики лежали тутъ же.

— Помилуйте!.. Отъ такой прекрасной руки...

Онъ не закончилъ фразы и чуть не поперхнулся глоткомъ чаю, а она внимательно и ясно глядѣла на него.

— Я потому упомянулъ о недорогой цѣнѣ моего имѣнія,—продолжалъ онъ: — что такъ какъ вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у васъ

много свободныхъ денегъ и, наконецъ, я самъ чувствую, что продажа... или покупка имѣнія, при подобныхъ условіяхъ—есть нѣчто ненормальное, и я долженъ взять это въ соображеніе.

Санинъ путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядѣла на него тѣмъ же внимательнымъ и яснымъ взглядомъ. Онъ наконецъ умолкъ.

— Ничего, говорите, говорите,—промолвила она, какъ бы приходя ему на помощь:—я васъ слушаю—мнѣ пріятно васъ слушайте; говорите.

Санинъ принялся описывать свое имѣніе, сколько въ немъ десятинъ, и гдѣ оно находится, и каковы въ немъ хозяйственныя угодья, и какія можно извлечь изъ него выгоды... упомянулъ даже о живописномъ мѣстоположеніи усадьбы; а Марья Николаевна все глядѣла да глядѣла на него — все свѣтлѣе и пристальнѣе, и губы ея чуть-чуть двигались, безъ улыбки: она покусывала ихъ. Ему стало неловко наконецъ; онъ замолчалъ вторично.

— Дмитрій Павловичъ,—начала Марья Николаевна—и задумалась... — Дмитрій Павловичъ, — повторила она... — Знаете что: я увѣрена, что покупка вашего имѣнія—очень выгодная для меня аффера и что мы сойдемся; но вы должны мнѣ дать... два дня — да, два дня сроку. Вѣдь вы въ состояніи на два дня разстаться съ вашей невѣстой? Дольше я васъ не продержу, противъ вашей воли— даю вамъ честное слово. Но если вамъ нужны теперь же пять, шесть тысячъ франковъ, я съ великимъ удовольствіемъ готова предложить вамъ ихъ взаймы—а тамъ мы сочтемся.

Санинъ поднялся.—Я долженъ благодарить васъ, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человѣку, почти совсѣмъ вамъ незнакомому... Но если уже вамъ непремѣнно такъ угодно, то я предпочту дождаться вашего рѣшенія насчетъ моего имѣнія— останусь здѣсь два дня.

— Да; мнѣ такъ угодно, Дмитрій Павловичъ. А вамъ [illegible] тяжело? Очень? Скажите.

паетъ... А за жаркимъ онъ вдругъ разговорился — но о чемъ? О мериносахъ, которыхъ намѣревался выписать цѣлое стадо,—да такъ подробно, съ такою нѣжностью, употребляя все уменьшительныя имена. Выпивъ чашку горячаго, какъ кипятокъ, кофе (онъ нѣсколько разъ, слезливо-раздраженнымъ голосомъ, напомнилъ кельнеру, что наканунѣ ему подали кофе — холодный, холодный, какъ ледъ!)—и прикусивъ гаванскую сигару своими желтыми, кривыми зубами — онъ, по обычаю своему, задремалъ, къ великой радости Санина, который началъ ходить взадъ и впередъ, неслышными шагами, по мягкому ковру — и мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ жить съ Джеммой, и съ какимъ извѣстіемъ вернется къ ней. Однако, Полозовъ проснулся, по собственному замѣчанію, раньше обыкновеннаго, — онъ поспалъ всего полтора часика, и, выпивъ стаканъ зельтерской воды со льдомъ, да проглотивъ ложекъ съ восемь варенья, русскаго варенья, которое принесъ ему камердинеръ въ темнозеленой, настоящей „кіевской“ банкѣ, и безъ котораго онъ, по его словамъ, жить не могъ—онъ уставился припухшими глазами на Санина и спросилъ его, не хочетъ ли онъ поиграть съ нимъ въ дурачки? Санинъ охотно согласился; онъ боялся, какъ бы Полозовъ опять не заговорилъ о барашкахъ, да о ярочкахъ, да о курдючкахъ съ жиркомъ. Хозяинъ и гость—оба перешли въ гостиную, кельнеръ принесъ карты — и началась игра, разумѣется, не на деньги.

За этимъ невиннымъ занятіемъ застала ихъ Марья Николаевна, вернувшись отъ графини Ласунской.

Она громко разсмѣялась, какъ только вошла въ комнату и увидала карты и раскрытый ломберный столъ. Санинъ вскочилъ съ мѣста, но она воскликнула: „Сидите, играйте.—Я сейчасъ переодѣнусь и къ вамъ вернусь“,— и опять исчезла, прошумѣвъ платьемъ и сдергивая перчатки на ходу.

Она, точно, вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она замѣнила широкой шелковой блузой лиловаго цвѣта съ открытыми висячими рукавами, толстый кру-

ченый шнурокъ перехватывалъ ея талью. Она подсѣла къ мужу — и дождавшись, что онъ остался въ дуракахъ, сказала ему: „Ну, пышка, довольно! (при словѣ: „пышка", Санинъ съ изумленіемъ глянулъ на нее — а она весело улыбнулась, отвѣчая взглядомъ на его взглядъ—и выказывая всѣ свои ямочки на щекахъ) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; цѣлуй ручку и отправляйся; а мы съ г-мъ Санинымъ побесѣдуемъ вдвоемъ".

— Спать я не хочу, — промолвилъ Полозовъ, грузно поднимаясь съ кресла: — а отправиться — отправлюсь, и ручку поцѣлую. Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядѣть на Санина.

Полозовъ тоже глянулъ на него — и ушелъ, не простившись.

— Ну, разсказывайте, разсказывайте, — съ живостью проговорила Марья Николаевна, разомъ ставя оба обнаженные локтя на столъ и нетерпѣливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой.—Правда, вы, говорятъ, женитесь?

Сказавъ эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко на-бокъ нагнула, чтобы пристальнѣе и пронзительнѣе заглянуть Санину въ глаза.

XXXV.

Развязное обхожденіе г-жи Полозовой вѣроятно на первыхъ порахъ смутило бы Санина — хотя онъ новичкомъ не былъ и уже потерся между людьми—если бы въ самой этой развязности и фамильярности онъ опять-таки не увидѣлъ хорошаго предзнаменованія для своего предпріятія. „Будемъ потакать капризамъ этой богатой барыни", рѣшилъ онъ про себя — и такъ же непринужденно, какъ она его спрашивала, отвѣтилъ ей:—Да, я женюсь.

— На комъ? На иностранкѣ?

— Да.

— Вы недавно съ ней познакомились? Во Франкфуртѣ?

— Точно такъ.

— И кто *она такая?* Можно узнать?

— *Можно. Она* дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да вѣдь это прелесть,—проговорила она медлительнымъ голосомъ: — это чудо! Я уже полагала, что такихъ молодыхъ людей, какъ вы, на свѣтѣ больше не встрѣчается. Дочь кондитера!

— Васъ это, я вижу, удивляетъ, — замѣтилъ, не безъ достоинства Санинъ:—но, во-первыхъ, у меня вовсе нѣтъ тѣхъ предразсудковъ...

— *Во-первыхъ*, это меня нисколько не удивляетъ,— перебила Марья Николаевна: — предразсудковъ и у меня нѣтъ. Я сама дочь мужика. А? что̀ взяли? Меня удивляетъ и радуетъ то, что вотъ, человѣкъ не боится любить. Вѣдь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покоробило отъ этого послѣдняго вопроса... Однако, отступать уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна,—началъ онъ:—всякому человѣку лицо его возлюбленной кажется лучше всѣхъ другихъ; но моя невѣста—дѣйствительно красавица.

— Въ самомъ дѣлѣ? Въ какомъ родѣ? итальянскомъ? античномъ?

— Да; у ней очень правильныя черты.

— Съ вами нѣтъ ея портрета?

— Нѣтъ! (Въ то время о фотографіяхъ еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться.)

— Какъ ее зовутъ?

— Ея имя—Джемма.

— А ваше—какъ?

— Дмитрій.

— По отчеству?

— Павловичъ.

— Знаете что̀, — проговорила Марья Николаевна, все тѣмъ же медлительнымъ голосомъ:—вы мнѣ очень нравитесь, Дмитрій Павловичъ. Вы, должно-быть, хорошій человѣкъ. Дайте-ка мнѣ вашу руку. Будемте пріятелями.

Она крѣпко пожала его руку своими красивыми, бѣ-

ными, сильными пальцами. Ея рука была немногимъ меньше его руки — но гораздо теплѣй и глаже, и мягче, и жизненнѣй.

— Только, знаете что̀ мнѣ приходитъ въ голову?

— Что̀?

— Вы не разсердитесь? Нѣтъ? Она, вы говорите, ваша невѣста. Но развѣ... развѣ это непремѣнно было нужно?

Санинъ нахмурился.— Я васъ не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмѣялась тихохонько—и, встряхнувъ головою, откинула назадъ падавшіе ей на щеки волосы. — Рѣшительно — онъ прелесть, — промолвила она не то задумчиво, не то разсѣянно. — Рыцарь! Подите, вѣрьте послѣ этого людямъ, которые утверждаютъ, что идеалисты всѣ перевелись!

Марья Николаевна все время говорила по-русски удивительно чистымъ, прямо московскимъ языкомъ — народнаго, не дворянскаго пошиба.

— Вы, навѣрное, дома воспитывались, въ старозавѣтномъ, богобоязненномъ семействѣ? — спросила она. — Вы какой губерніи?

— Тульской.

— Ну! такъ мы однокорытники. Мой отецъ... Вѣдь вамъ извѣстно, кто былъ мой отецъ?

— Да, извѣстно.

— Онъ въ Тулѣ родился. Тулякъ былъ. Ну, хорошо... (Это „хорошо“ Марья Николаевна уже съ намѣреніемъ выговорила совсѣмъ по-мѣщанскому—вотъ такъ: хершо̀.) Ну, давайте же теперь за дѣло примемся.

— То-есть... какъ же это такъ, за дѣло приняться? Что вамъ угодно этимъ сказать?

Марья Николаевна прищурилась.—Да вы зачѣмъ сюда пріѣхали? (Когда она щурила глаза, выраженіе ихъ становилось очень ласковымъ и немного насмѣшливымъ; когда же она раскрывала ихъ во всю величину — въ ихъ свѣтломъ, почти холодномъ блескѣ проступало что-то недоброе, что-то угрожающее. Особенную красоту придавали [illegible]-ая брови, густыя, немного надвинутыя, по

стоящія соболиныя.)—Вы хотите, чтобы я у васъ купила имѣніе? Вамъ нужны деньги для вашего бракосочетанія? Не такъ ли?

— Да, нужны.

— И много вамъ ихъ требуется?

— На первый случай, я бы удовольствовался нѣсколькими тысячами франковъ. Вашему супругу мое имѣніе извѣстно. Вы можете посовѣтоваться съ нимъ—а я бы взялъ цѣну недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налѣво.—*Во-первыхъ*,—начала она съ разстановкой, ударяя концами пальцевъ по обшлагу Санинскаго сюртука:—я не имѣю привычки совѣтываться съ мужемъ, развѣ вотъ насчетъ туалета—онъ на это у меня молодецъ; а *во-вторыхъ*, зачѣмъ вы говорите, что вы цѣну назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тѣмъ, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякія жертвы... Я никакихъ жертвъ отъ васъ не приму. Какъ? Вмѣсто того, чтобы поощрять въ васъ... ну, какъ бы это сказать получше?.. благородныя чувства, что ли? я васъ стану обдирать какъ липку? Это не въ моихъ привычкахъ. Когда случится, я людей не щажу—только не такимъ манеромъ.

Санинъ никакъ не могъ понять, что она—смѣется ли надъ нимъ, или говоритъ серьезно? а только думалъ про себя: „о, да съ тобой держи ухо востро!“

Слуга вошелъ съ русскимъ самоваромъ, чайнымъ приборомъ, сливками, сухарями и т. п., на большомъ подносѣ, разставилъ всю эту благодать на столѣ между Санинымъ и г-жею Полозовой—и удалился.

Она налила ему чашку чаю.—Вы не брезгаете?—спросила она, накладывая ему сахаръ въ чашку пальцами... а щипчики лежали тутъ же.

— Помилуйте!.. Отъ такой прекрасной руки...

Онъ не закончилъ фразы и чуть не поперхнулся глоткомъ чаю, а она внимательно и ясно глядѣла на него.

— Я потому упомянулъ о недорогой цѣнѣ моего имѣнія,—продолжалъ онъ:—что такъ какъ вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у васъ

много свободныхъ денегъ и, наконецъ, я самъ чувствую, что продажа... или покупка имѣнія, при подобныхъ условіяхъ—есть нѣчто ненормальное, и я долженъ взять это въ соображеніе.

Санинъ путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядѣла на него тѣмъ же внимательнымъ и яснымъ взглядомъ. Онъ наконецъ умолкъ.

— Ничего, говорите, говорите,—промолвила она, какъ бы приходя ему на помощь:—я васъ слушаю—мнѣ пріятно васъ слушайте; говорите.

Санинъ принялся описывать свое имѣніе, сколько въ немъ десятинъ, и гдѣ оно находится, и каковы въ немъ хозяйственныя угодья, и какія можно извлечь изъ него выгоды... упомянулъ даже о живописномъ мѣстоположеніи усадьбы; а Марья Николаевна все глядѣла да глядѣла на него — все свѣтлѣе и пристальнѣе, и губы ея чуть-чуть двигались, безъ улыбки: она покусывала ихъ. Ему стало неловко наконецъ; онъ замолчалъ вторично.

— Дмитрій Павловичъ,—начала Марья Николаевна—и задумалась... — Дмитрій Павловичъ, — повторила она... — Знаете что: я увѣрена, что покупка вашего имѣнія—очень выгодная для меня аффера и что мы сойдемся; но вы должны мнѣ дать... два дня — да, два дня сроку. Вѣдь вы въ состояніи на два дня разстаться съ вашей невѣстой? Дольше я васъ не продержу, противъ вашей воли— даю вамъ честное слово. Но если вамъ нужны теперь же пять, шесть тысячъ франковъ, я съ великимъ удовольствіемъ готова предложить вамъ ихъ взаймы—а тамъ мы сочтемся.

Санинъ поднялся.—Я долженъ благодарить васъ, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человѣку, почти совсѣмъ вамъ незнакомому... Но если уже вамъ непремѣнно такъ угодно, то я предпочту дождаться вашего рѣшенія насчетъ моего имѣнія— останусь здѣсь два дня.

— Да; мнѣ такъ угодно, Дмитрій Павловичъ. А вамъ будетъ очень тяжело? Очень? Скажите.

стоящія соболиныя.)—Вы хотите, чтобы я у васъ купила имѣніе? Вамъ нужны деньги для вашего бракосочетанія? Не такъ ли?

— Да, нужны.

— И много вамъ ихъ требуется?

— На первый случай, я бы удовольствовался нѣсколькими тысячами франковъ. Вашему супругу мое имѣніе извѣстно. Вы можете посовѣтоваться съ нимъ—а я бы взялъ цѣну недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налѣво.—*Во-первыхъ*,—начала она съ разстановкой, ударяя концами пальцевъ по обшлагу Санинскаго сюртука:—я не имѣю привычки совѣтываться съ мужемъ, развѣ вотъ насчетъ туалета—онъ на это у меня молодецъ; а *во-вторыхъ*, зачѣмъ вы говорите, что вы цѣну назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тѣмъ, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякія жертвы... Я никакихъ жертвъ отъ васъ не приму. Какъ? Вмѣсто того, чтобы поощрять въ васъ... ну, какъ бы это сказать получше?.. благородныя чувства, что ли? я васъ стану обдирать какъ липку? Это не въ моихъ привычкахъ. Когда случится, я людей не щажу—только не такимъ манеромъ.

Санинъ никакъ не могъ понять, что она—смѣется ли надъ нимъ, или говоритъ серьезно? а только думалъ про себя: „о, да съ тобой держи ухо востро!“

Слуга вошелъ съ русскимъ самоваромъ, чайнымъ приборомъ, сливками, сухарями и т. п., на большомъ подносѣ, разставилъ всю эту благодать на столѣ между Санинымъ и г-жею Полозовой—и удалился.

Она налила ему чашку чаю.—Вы не брезгаете?—спросила она, накладывая ему сахаръ въ чашку пальцами... а щипчики лежали тутъ же.

— Помилуйте!.. Отъ такой прекрасной руки...

Онъ не закончилъ фразы и чуть не поперхнулся глоткомъ чаю, а она внимательно и ясно глядѣла на него.

— Я потому упомянулъ о недорогой цѣнѣ моего имѣнія,—продолжалъ онъ:—что такъ какъ вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у васъ

много свободныхъ денегъ и, наконецъ, я самъ чувствую, что продажа... или покупка имѣнія, при подобныхъ условіяхъ—есть нѣчто ненормальное, и я долженъ взять это въ соображеніе.

Санинъ путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядѣла на него тѣмъ же внимательнымъ и яснымъ взглядомъ. Онъ наконецъ умолкъ.

— Ничего, говорите, говорите,—промолвила она, какъ бы приходя ему на помощь:—я васъ слушаю—мнѣ пріятно васъ слушайте; говорите.

Санинъ принялся описывать свое имѣніе, сколько въ немъ десятинъ, и гдѣ оно находится, и каковы въ немъ хозяйственныя угодья, и какія можно извлечь изъ него выгоды... упомянулъ даже о живописномъ мѣстоположеніи усадьбы; а Марья Николаевна все глядѣла да глядѣла на него — все свѣтлѣе и пристальнѣе, и губы ея чуть-чуть двигались, безъ улыбки: она покусывала ихъ. Ему стало неловко наконецъ; онъ замолчалъ вторично.

— Дмитрій Павловичъ,—начала Марья Николаевна—и задумалась... — Дмитрій Павловичъ, — повторила она... — Знаете что: я увѣрена, что покупка вашего имѣнія—очень выгодная для меня аффера и что мы сойдемся; но вы должны мнѣ дать... два дня — да, два дня сроку. Вѣдь вы въ состояніи на два дня разстаться съ вашей невѣстой? Дольше я васъ не продержу, противъ вашей воли— даю вамъ честное слово. Но если вамъ нужны теперь же пять, шесть тысячъ франковъ, я съ великимъ удовольствіемъ готова предложить вамъ ихъ взаймы—а тамъ мы сочтемся.

Санинъ поднялся.—Я долженъ благодарить васъ, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человѣку, почти совсѣмъ вамъ незнакомому... Но если уже вамъ непремѣнно такъ угодно, то я предпочту дождаться вашего рѣшенія насчетъ моего имѣнія— останусь здѣсь два дня.

— Да; мнѣ такъ угодно, Дмитрій Павловичъ. А вамъ будетъ очень тяжело? Очень? Скажите.

— Я люблю свою невѣсту, Марья Николаевна—разлука съ ней мнѣ не легка.

— Ахъ, вы золотой человѣкъ! — со вздохомъ промолвила Марья Николаевна.—Обѣщаюсь не слишкомъ томить васъ. Вы уходите?

— Уже поздно,—замѣтилъ Санинъ.

— А вамъ надо отдохнуть отъ дороги — и отъ игры въ дурачки съ моимъ мужемъ. Скажите — вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой пріятель?

— Мы воспитывались въ одномъ пансіонѣ.

— И онъ уже тогда былъ такой?

— Какой „такой"?—спросилъ Санинъ.

Марья Николаевна вдругъ засмѣялась, засмѣялась до красноты всего лица, поднесла платокъ къ губамъ, встала съ кресла — и, покачиваясь, какъ усталая, подошла къ Санину и протянула ему руку.

Онъ раскланялся—и направился къ двери.

— Извольте завтра пораньше явиться — слышите?— крикнула она ему вслѣдъ. Онъ глянулъ назадъ, уходя изъ комнаты — и увидѣлъ, что она опять опустилась въ кресло и закинула обѣ руки за голову... Широкіе рукава блузы скатились почти до самыхъ плечъ—и нельзя было не сознаться, что поза этихъ рукъ, что вся эта фигура была обаятельно-прекрасна.

XXXVI.

Далеко за полночь горѣла лампа въ комнатѣ Санина. Онъ сидѣлъ за столомъ и писалъ „своей Джеммѣ". Разсказалъ ей все; описалъ ей Полозовыхъ—мужа и жену—впрочемъ, больше распространялся насчетъ собственныхъ чувствъ—и кончилъ тѣмъ, что назначилъ ей свиданіе черезъ три дня!!! (съ тремя восклицательными знаками). Утромъ рано онъ отнесъ это письмо на почту и пошелъ прогуляться по саду Кургауза, гдѣ уже играла музыка. Народу было еще мало; онъ постоялъ передъ бесѣдкой, въ которой помѣщался оркестръ, прослушалъ попурри изъ „*Роберта*-Дьявола" — и, напившись кофе, отправился къ

боковую, уединенную аллею, присѣлъ на лавочку — и задумался.

Ручка зонтика проворно — и довольно крѣпко — постучала по его плечу. Онъ встрепенулся... Передъ нимъ, въ легкомъ, сѣро-зеленомъ барежевомъ платьѣ, въ бѣлой тюлевой шляпкѣ, въ шведскихъ перчаткахъ, свѣжая и розовая, какъ лѣтнее утро, но съ неисчезнувшей еще нѣгой безмятежнаго сна въ движеніяхъ и во взорахъ, стояла Марья Николаевна.

— Здравствуйте, — промолвила она. — Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только-что отпила свой второй стаканъ—меня, вы знаете, заставляютъ здѣсь воду пить — Богъ вѣдаетъ, зачѣмъ... ужъ я ли не здорова? И вотъ, я должна гулять цѣлый часъ. Хотите вы быть моимъ спутникомъ? А тамъ мы кофе напьемся.

— Я уже пилъ, — промолвилъ Санинъ, вставая:—но я очень радъ гулять съ вами.

— Ну, такъ дайте же мнѣ вашу руку... Не бойтесь: вашей повѣсты здѣсь нѣтъ—она васъ не увидитъ.

Санинъ принужденно улыбнулся. Онъ испытывалъ ощущеніе непріятное всякій разъ, когда Марья Николаевна упоминала о Джеммѣ. Однако, онъ поспѣшно и послушно наклонился... Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку—и скользнула по ней, и какъ бы прильнула къ ней.

— Пойдемте—вотъ сюда, — сказала она ему, закинувъ раскрытый зонтикъ за плечо.—Я въ здѣшнемъ паркѣ какъ дома: поведу васъ по хорошимъ мѣстамъ. И знаете что: (она часто употребляла эти два слова) — мы съ вами не будемъ говорить теперь объ этой покупкѣ: мы о ней послѣ завтрака хорошенько потолкуемъ; а вы должны мнѣ теперь разсказать о себѣ... чтобы я знала, съ кѣмъ я имѣю дѣло. А послѣ, если хотите, я вамъ о себѣ поразскажу. Согласны?

— Но, Марья Николаевна, что̀ можетъ быть для васъ интереснаго...

— Постойте, постойте. Вы не такъ меня поняли. Я съ вами не кокетничать хочу. — Марья Николаевна пожала

плечами.—У него невѣста, какъ древняя статуя, а я буду съ нимъ кокетничать?! Но у васъ товаръ—а я купецъ. Я и хочу знать, каковъ у васъ товаръ. Ну-ка, показывайте—каковъ онъ? Я хочу знать не только что̀ я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну, начинайте... Ну, хоть не съ дѣтства—ну вотъ—давно ли вы за границей? И гдѣ вы были до сихъ поръ? Только идите тише—намъ некуда спѣшить.

— Я сюда прибылъ изъ Италіи, гдѣ я пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ.

— А у васъ, видно, особое влеченіе ко всему итальянскому? Странно, что вы не *тамъ* нашли свой предметъ. Вы любите художества? картины? или больше—музыку?

— Я люблю искусство... Я все прекрасное люблю.

— И музыку?

— И музыку тоже.

— А я ея совсѣмъ не люблю. Нравятся мнѣ однѣ русскія пѣсни—и то въ деревнѣ, и то весной—съ пляской, знаете... Красные кумачи, поднизи, на выгонѣ молоденькая травка, дымкомъ попахиваетъ... чудесно! Но не обо мнѣ рѣчь. Говорите же, разсказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дѣло взглядывала на Санина. Она была высокаго роста—ея лицо приходилось почти въ уровень съ его лицомъ.

Онъ принялся разсказывать—сначала неохотно, не умѣло—а потомъ разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да къ тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и другихъ вызывала на откровенность. Она обладала тѣмъ великимъ даромъ „обиходности"—le terrible don de la familiarité, о которомъ упоминаетъ кардиналъ Ретцъ. Санинъ говорилъ о своихъ путешествіяхъ, о житьѣ въ Петербургѣ, о своей молодости... Будь Марья Николаевна свѣтской дамой, съ утонченными манерами—онъ никогда бы такъ не распустился; но она сама называла себя добрымъ малымъ, не терпящимъ никакихъ церемоній; она именно такъ отрекомендовала себя Санину. И въ то же время этотъ „добрый малый" шелъ рядомъ съ нимъ кошачьей походкой,

слегка прислоняясь къ нему, и заглядывалъ ему въ лицо;— и шелъ онъ въ образѣ молодого женскаго существа, отъ котораго такъ и вѣяло тѣмъ разбирающимъ и томящимъ, тихимъ и жгучимъ соблазномъ, какимъ способны донимать нашего брата — грѣшнаго, слабаго мужчину однѣ — и то нѣкоторыя, и то не чистыя, а съ надлежащей помѣсью— славянскія натуры!

Прогулка Санина съ Марьей Николаевной, бесѣда Санина съ Марьей Николаевной продолжалась часъ слишкомъ. И ни разу они не останавливались — все шли да шли по безконечнымъ аллеямъ парка, то поднимаясь на гору и на ходу любуясь видомъ, то спускаясь въ долину и укрываясь въ непроницаемую тѣнь—и все рука съ рукой. Временами Санину даже досадно становилось: онъ съ Джеммой, съ своей милой Джеммой никогда такъ долго не гулялъ... а тутъ эта барыня завладѣла имъ — и баста!—Не устали ли вы?—спрашивалъ онъ ее не однажды.— Я никогда не устаю, отвѣчала она. Изрѣдка имъ попадались гуляющіе; почти всѣ ей кланялись—иные почтительно, другіе даже подобострастно. Одному изъ нихъ, весьма красивому, щегольски одѣтому брюнету она крикнула издали, съ самымъ лучшимъ парижскимъ акцентомъ: „Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir — ni aujurd'hui, ni demain". Тотъ снялъ, молча, шляпу и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Кто это?—спросилъ Санинъ, по дурной привычкѣ— „любопытствовать", свойственной всѣмъ русскимъ.

— Это? Одинъ французикъ—ихъ здѣсь много вертится... За мной ухаживаетъ — тоже. Однако, пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успѣли проголодаться. Мой благовѣрный, должно-быть, теперь глаза продралъ.

„Благовѣрный! Глаза продралъ!!" повторилъ про себя Санинъ... „И говоритъ такъ отлично по-французски... Что за чудачка!"

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вмѣстѣ съ Санинымъ вернулась въ гостиницу — „благовѣрный" или

„пышка“ сидѣлъ уже, съ неизмѣнной феской на головѣ, передъ накрытымъ столомъ.

— А я тебя прождался! — воскликнулъ онъ, скорчивъ кислую мину.—Хотѣлъ уже кофе безъ тебя пить.

— Ничего, ничего, — весело возразила Марья Николаевна. — Ты сердился? Это тебѣ здорово: а то ты совсѣмъ застынешь. Я, вотъ, гостя привела. Звони скорѣе! Давайте пить кофе, кофе — самый лучшій кофе—въ саксонскихъ чашкахъ, на бѣлоснѣжной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки—и захлопала въ ладоши.

Полозовъ глянулъ на нее исподлобья.

— Что это вы сегодня такъ разскакались, Марья Николаевна?—проговорилъ онъ вполголоса.

— А не ваше дѣло, Ипполитъ Сидорычъ! Звони! Дмитрій Павловичъ, садитесь—и пейте кофе во второй разъ! Ахъ, какъ весело приказывать! Другого удовольствія на свѣтѣ нѣтъ!

— Когда слушаются,—проворчалъ опять супругъ.

— Именно, когда слушаются! Оттого-то мнѣ и весело. Особенно съ тобою. Не правда ли, пышка? А вотъ и кофе.

На громадномъ подносѣ, съ которымъ появился кельнеръ, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчасъ ухватилась за нее.

— Драма!—произнесла она съ негодованіемъ:—нѣмецкая драма. Все равно: лучше, чѣмъ нѣмецкая комедія. Велите мнѣ взять ложу — бенуаръ — или нѣтъ... лучше Fremden-Loge,—обратилась она къ кельнеру. Слышите ли: непремѣнно Fremden-Loge!

— Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительствомъ, директоромъ города—(seine Excellenz der Herr Stadt-Director)—осмѣлился доложить кельнеръ.

— Дайте его превосходительству десять талеровъ — а чтобъ ложа у меня была! Слышите!

Кельнеръ покорно и печально наклонилъ голову.

— Дмитрій Павловичъ, вы поѣдете со мной въ театръ? нѣмецкіе актеры ужасны — но вы поѣдете... Да? Да! *Какой вы любезный!* Пышка, а ты не пойдешь?

— Какъ прикажешь,—проговорилъ Полозовъ въ чашку, которую поднесъ ко рту.

— Знаешь что: останься. Ты въ театрѣ все спишь, — да и по-нѣмецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вотъ что сдѣлай: напиши отвѣтъ управляющему—помнишь, насчетъ нашей мельницы... насчетъ крестьянскаго помолу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вотъ тебѣ и занятіе на цѣлый вечеръ.

— Слушаю,—замѣтилъ Полозовъ.

— Ну, вотъ и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили объ управляющемъ, будемте толковать о главномъ нашемъ дѣлѣ. Вотъ, какъ только кельнеръ уберетъ со стола, вы намъ все разскажете, Дмитрій Павловичъ, о своемъ имѣніи — какъ, что, за какую цѣну продаете, сколько хотите задатку впередъ, — словомъ, все! (Наконецъ-то, подумалъ Санинъ, — слава Богу!) Вы ужъ мнѣ кое-что сообщили, садъ свой, помнится, чудесно описали — да „пышки" при этомъ не было... Пусть онъ послушаетъ—все что-нибудь пробуркнетъ! Мнѣ очень пріятно думать, что я могу помочь вамъ жениться—да я же обѣщала вамъ, что послѣ завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обѣщанія;—не правда ли, Ипполитъ Сидорычъ?

Полозовъ потеръ себѣ лицо ладонью. — Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

— Никогда! и никогда никого не обману. Ну, Дмитрій Павловичъ, — излагайте дѣло, какъ мы выражаемся въ сенатѣ.

XXXVII.

Санинъ принялся „излагать дѣло"—т.-е. опять, во второй разъ, описывать свое имѣніе, но уже не касаясь красотъ природы — и отъ времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтвержденія приводимыхъ „фактовъ и цифръ". Но Полозовъ только хмыкалъ и головой покачивалъ—одобрительно ли — или неодобрительно—этого, кажется, самъ чортъ бы не разобралъ. Впрочемъ, Марья Николаевна и не *нуждалась* въ его участіи. Она выказы-

вала такія коммерческія и административныя способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично извѣстна; она обо всемъ аккуратно разспрашивала, во все входила; каждое ея слово попадало въ цѣль, ставило точку прямо на і. Санинъ не ожидалъ подобнаго экзамена: онъ не приготовился. И продолжался этотъ экзаменъ цѣлыхъ полтора часа. Санинъ испытывалъ всѣ ощущенія подсудимаго, сидящаго на узенькой скамеечкѣ передъ строгимъ и проницательнымъ судьею. „Да это допросъ!“ тоскливо шепталъ онъ про себя. Марья Николаевна все время посмѣивалась, словно шутила: но отъ этого Санину не было легче; а когда въ теченіе „допроса“ оказалось, что онъ не совсѣмъ ясно понималъ значеніе словъ: „передѣлъ“ и „запашка“—такъ его даже потъ прошибъ.

— Ну, хорошо!—рѣшила наконецъ Марья Николаевна.— Ваше имѣніе я теперь знаю... не хуже васъ. Какую же цѣну вы положите за душу? (Въ то время цѣны имѣніямъ, какъ извѣстно, опредѣлялись по душамъ.)

— Да... я полагаю... меньше пятисотъ рублей взять нельзя—съ трудомъ проговорилъ Санинъ. (О, Панталеоне, Панталеоне, гдѣ ты? Вотъ бы когда тебѣ пришлось снова воскликнуть: Barbari!)

Марья Николаевна взвела глаза къ небу, какъ бы соображая.

— Что жъ?—промолвила она наконецъ.—Эта цѣна мнѣ кажется безобидной. Но я выговорила себѣ два дня сроку — и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся — и тогда вы скажете, сколько вамъ потребуется задатку. А теперь basta cosi! — подхватила она, замѣтивъ, что Санинъ хотѣлъ что-то возразить.—Довольно мы занимались презрѣннымъ металломъ... à demain les affaires! Знаете что: я теперь отпускаю васъ... (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясомъ)... до трехъ часовъ... Надо жъ дать вамъ отдохнуть. Ступайте, поиграйте въ рулетку.

— Я никогда въ азартныя игры не играю,—замѣтилъ *Санинъ.*

— Въ самомъ дѣлѣ? Да вы совершенство. Впрочемъ, и я не играю. Глупо бросать деньги на вѣтеръ—павѣрника. Но подите въ игорную залу, посмотрите на физіономіи. Попадаются презабавныя. Старуха есть тамъ одна, съ фероньеркой и съ усами — чудо! Нашъ князь тамъ одинъ—тоже хорошъ. Фигура величественная, носъ какъ у орла, а поставить талеръ — крестится украдкой подъ жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, словомъ, дѣлайте что хотите... А въ три часа я васъ ожидаю... de pied ferme. Надо будетъ пораньше пообѣдать. Театръ у этихъ смѣшныхъ нѣмцевъ начинается въ половинѣ седьмого. Она протянула руку. Sans rancune, n'est-ce pas?

— Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на васъ досадовать?

— А за то, что я васъ мучила. Погодите, я васъ еще не такъ, — прибавила она, прищуривъ глаза, и всѣ ея ямочки разомъ выступили на заалѣвшихся щекахъ.—До свиданія!

Санинъ поклонился и вышелъ. Веселый смѣхъ раздался вслѣдъ за нимъ — и въ зеркалѣ, мимо котораго онъ проходилъ въ это мгновенье, отразилась слѣдующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а онъ безсильно барахтался обѣими руками.

XXXVIII.

О! какъ глубоко и радостно вздохнулось Санину, какъ только онъ очутился у себя въ комнатѣ! Точно: Марья Николаевна правду сказала — ему слѣдовало отдохнуть, отдохнуть отъ всѣхъ этихъ новыхъ знакомствъ, столкновеній, разговоровъ, отъ этого чада, который забрался ему въ голову, въ душу — отъ этого негаданнаго, непрошеннаго сближенія съ женщиной, столь чуждой ему! И когда же все это совершается? Чуть не на другой день послѣ того, какъ онъ узналъ, что Джемма его любитъ, какъ онъ сталъ ея женихомъ? Да вѣдь это святотатство! Тысячу разъ просилъ онъ мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы — хотя онъ собственно ни въ чемъ обвинить себя не могъ; тысячу разъ цѣловалъ данный ею

крестикъ. Не имѣй онъ надежды скоро и благополучно окончить дѣло, за которымъ пріѣхалъ въ Висбаденъ — опрометью бросился бы онъ оттуда, назадъ — въ милый Франкфуртъ, въ тотъ дорогой, теперь уже родственный ему домъ, къ ней, къ возлюбленнымъ ея ногамъ... Но дѣлать нечего! Надо испить фіалъ до дна, надо одѣться, идти обѣдать—а оттуда въ театръ... Хоть бы завтра она его поскорѣй отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: онъ съ любовью, съ умиленіемъ, съ благодарнымъ восторгомъ думалъ о Джеммѣ, о жизни съ нею вдвоемъ, о счастіи, которое его ожидало въ будущемъ—и, между тѣмъ, эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась... нѣтъ! не носилась—торчала... такъ именно, съ особымъ злорадствомъ выразился Санинъ—*торчала* передъ его глазами— и не могъ онъ отдѣлаться отъ ея образа, не могъ не слышать ея голоса, не вспоминать ея рѣчей—не могъ не ощущать даже того особеннаго запаха, тонкаго, свѣжаго и пронзительнаго, какъ запахъ желтыхъ лилій, которымъ вѣяло отъ ея одеждъ. Эта барыня явно дурачитъ его, и такъ и сякъ къ нему подъѣзжаетъ... Зачѣмъ это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой — и едва ли не безнравственной женщины? И этотъ мужъ?! Что это за существо? Какія его отношенія къ ней? И къ чему лѣзутъ эти вопросы въ голову ему, Санину, которому собственно нѣтъ никакого дѣла ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не можетъ онъ прогнать этотъ неотвязный образъ, даже тогда, когда обращается всей душою къ другому, свѣтлому и ясному, какъ Божій день? Какъ смѣютъ — сквозь тѣ, почти божественныя черты — сквозить *эти*? И онѣ не только сквозятъ— онѣ ухмыляются дерзостно. Эти сѣрые, хищные глаза, эти ямочки на щекахъ, эти змѣевидныя косы — да неужели же это все словно прилипло къ нему, и онъ стряхнуть, отбросить прочь все это не въ силахъ, не можетъ?

Вздоръ! вздоръ! завтра же это все исчезнетъ безъ слѣда... Но отпуститъ ли она его завтра?

Да... Всѣ эти вопросы онъ себѣ ставилъ—а стало время

вододвигаться къ тремъ часамъ — и надѣлъ онъ черный фракъ, да, погулявши немного по парку, отправился къ Полозовымъ.

Онъ засталъ у нихъ въ гостиной секретаря посольства, изъ нѣмцевъ, длиннаго-длиннаго, бѣлокураго, съ лошадинымъ профилемъ и проборомъ сзади—(тогда это было еще вновѣ)—и... о чудо! кого еще? Фонъ-Дöнгофа, того самаго офицера, съ которымъ дрался нѣсколько дней тому назадъ! Онъ никакъ не ожидалъ встрѣтить его именно тутъ—и невольно смутился, однако, раскланялся съ нимъ.

— Вы знакомы?—спросила Марья Николаевна, отъ которой не ускользнуло смущеніе Санина.

— Да... я имѣлъ уже честь,—промолвилъ Дöнгофъ—и, наклонившись слегка въ сторону Марьи Николаевны, прибавилъ вполголоса, съ улыбкой:—Тотъ самый... Вашъ соотечественникъ... русскій...

— Не можетъ быть! — воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцемъ—и тотчасъ же стала прощаться — и съ нимъ, и съ длиннымъ секретаремъ, который, по всѣмъ признакамъ, былъ смертельно въ нее влюбленъ—ибо даже ротъ раскрывалъ всякій разъ, когда на нее взглядывалъ. Дöнгофъ удалился немедленно, съ любезной покорностью, какъ другъ дома, который съ полуслова понимаетъ, чего отъ него требуютъ; секретарь заартачился-было, но Марья Николаевна выпроводила его безо всякихъ церемоній.

— Ступайте къ вашей владѣтельной особѣ, — сказала она ему (тогда въ Висбаденѣ проживала нѣкая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку):—что вамъ сидѣть у такой плебейки, какъ я?

— Помилуйте, сударыня,—увѣрялъ злополучный секретарь:—всѣ принчипессы въ мірѣ...

Но Марья Николаевна была безжалостна—и секретарь ушелъ вмѣстѣ со своимъ проборомъ.

Марья Николаевна въ тотъ день принарядилась очень къ своему „авантажу", какъ говаривали наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье глясэ, съ рукавами

à la Fontanges, и по крупному брильянту въ каждомъ ухѣ. Глаза ея блистали не хуже тѣхъ брильянтовъ: она казалась въ духѣ и въ ударѣ.

Она усадила Санина возлѣ себя и начала говорить ему о Парижѣ, куда собиралась ѣхать черезъ нѣсколько дней, о томъ, что нѣмцы ей надоѣли, что они глупы, когда умничаютъ, и некстати умны, когда глупятъ;—да вдругъ, какъ говорится, въ упоръ—à brule pourpoint—спросила его, правда ли, что онъ вотъ съ этимъ самымъ офицеромъ, который сейчасъ тутъ сидѣлъ, на-дняхъ дрался изъ-за одной дамы?

— Вамъ это почему извѣстно?—пробормоталъ изумленный Санинъ.

— Слухомъ земля полнится, Дмитрій Павловичъ; но, впрочемъ, я знаю, что вы были правы, тысячу разъ правы—и вели себя какъ рыцарь. Скажите—эта дама—была ваша невѣста?

Санинъ слегка наморщилъ брови...

— Ну, не буду, не буду,—поспѣшно проговорила Марья Николаевна. — Вамъ это непріятно, простите меня, не буду! не сердитесь! — Полозовъ появился изъ сосѣдней комнаты съ листомъ газеты въ рукахъ. — Что̀ ты? или обѣдъ готовъ!

— Обѣдъ сейчасъ подаютъ, а ты посмотри-ка, что я въ „Сѣверной Пчелѣ" вычиталъ... Князь Громобой умеръ.

Марья Николаевна подняла голову.

— А! царство ему небесное! Онъ мнѣ каждый годъ,— обратилась она къ Санину: — въ февралѣ, ко дню моего рожденія, всѣ комнаты убиралъ камеліями. Но для этого еще не сто́итъ жить въ Петербургѣ зимой. Что̀ ему, пожалуй, за семьдесятъ лѣтъ было?—спросила она мужа.

— Было. Похороны его въ газетѣ описываютъ. Весь дворъ присутствовалъ. Вотъ и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

— Ну, и чудесно.

— Хочешь, прочту? Князь его называетъ мужемъ совѣта.

— *Нѣтъ*, не хочу. Какой онъ былъ мужъ совѣта! Онъ

просто былъ мужъ Татьяны Юрьевны. Пойдемте обѣдать. Живой живое думаетъ. Дмитрій Павловичъ, вашу руку.

Обѣдъ былъ, по-вчерашнему, удивительный, и прошелъ весьма оживленно. Марья Николаевна умѣла разсказывать... рѣдкій даръ въ женщинѣ, да еще въ русской! Она не стѣснялась въ выраженіяхъ; особенно доставалось отъ нея соотечественницамъ. Санину не разъ пришлось расхохотаться отъ иного бойкаго и мѣткаго словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпѣла ханжества, фразы и лжи... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, въ которой началась ея жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своихъ родныхъ изъ времени своего дѣтства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. Санину стало очевиднымъ, что она испытала на своемъ вѣку гораздо больше, чѣмъ многое множество ея сверстницъ.

А Полозовъ кушалъ обдуманно, пилъ внимательно и только изрѣдка вскидывалъ то на жену, то на Санина, свои бѣлесоватые, съ виду слѣпые, въ сущности очень зрячіе глаза. — Какой ты у меня умница! — воскликнула Марья Николаевна, обратившись къ нему: — какъ ты всѣ мои комиссіи во Франкфуртѣ исполнилъ! Поцѣловала бы я тебя въ лобикъ—да ты у меня за этимъ не гоняешься.

— Не гоняюсь, — отвѣчалъ Полозовъ, и взрѣзалъ ананасъ серебрянымъ ножомъ.

Марья Николаевна посмотрѣла на него и постучала пальцами по столу.

— Такъ идетъ наше пари? — промолвила она значительно.

— Идетъ.

— Ладно. Ты проиграешь.

Полозовъ выставилъ подбородокъ впередъ. — Ну, на этотъ разъ, какъ ты на себя ни надѣйся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

— О чемъ пари? Можно узнать? — спросилъ Санинъ.

— Нѣтъ... нельзя теперь, — отвѣтила Марья Николаевна — и засмѣялась.

Пробило семь часовъ. Кельнеръ доложилъ, что карета готова. Полозовъ проводилъ жену и тотчасъ же поплелся назадъ къ своему креслу.

— Смотри же! Не забудь письма къ управляющему! — крикнула ему Марья Николаевна изъ передней.

— Напишу, не безпокойся. Я человѣкъ аккуратный.

XXXIX.

Въ 1840-мъ году театръ въ Висбаденѣ былъ и по наружности плохъ, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутинѣ, ни на волосъ не возвышалась надъ тѣмъ уровнемъ, который до сихъ поръ можно считать нормальнымъ для всѣхъ германскихъ театровъ, и совершенство котораго въ послѣднее время представляла труппа въ Карлсруэ, подъ „знаменитымъ“ управленіемъ г-на Девріента. Позади ложи, взятой для „ея свѣтлости г-жи фонъ-Полозовъ“ (Богъ вѣдаетъ, какъ умудрился кельнеръ ее достать—не подкупилъ же онъ штадтъ-директора, въ самомъ дѣлѣ!) — позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чѣмъ войти въ нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отдѣлявшія ложу отъ театра.

— Я не хочу, чтобы меня видѣли, — сказала она: — а то вѣдь сейчасъ полѣзутъ. Она и его посадила возлѣ себя, спиною къ залѣ, такъ, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестръ проигралъ увертюру изъ „Свадьбы Фигаро“... Занавѣсъ поднялся: пьеса началась.

То было одно изъ многочисленныхъ доморощенныхъ произведеній, въ которыхъ начитанные, но бездарные авторы отборнымъ, но мертвеннымъ языкомъ, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь „глубокую“ или „животрепещущую“ идею, представляли такъ-называемый трагическій конфликтъ и наводили скуку... азіатскую, какъ бываетъ азіатская холера. Марья Николаевна терпѣливо выслушала половину акта, но когда первый любовникъ, узнавъ объ измѣнѣ своей возлюбленной (одѣтъ онъ былъ въ коричневый сюртукъ съ „буфами“ и плисовымъ во-

ротникомъ, полосатый жилетъ съ перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками изъ лакированной кожи и бѣлыя замшевыя перчатки), когда этотъ любовникъ, уперевъ оба кулака въ грудь и, оттопыривъ локти впередъ, подъ острымъ угломъ, завылъ уже прямо по-собачьи—Марья Николаевна не выдержала.

— Послѣдній французскій актеръ, въ послѣднемъ провинціальномъ городишкѣ, естественнѣе и лучше играетъ, чѣмъ первая нѣмецкая знаменитость, — съ негодованіемъ воскликнула она—и пересѣла въ заднюю комнатку.—Подите сюда,—сказала она Санину, постукивая рукою возлѣ себя по дивану.—Будемте болтать.

Санинъ повиновался.

Марья Николаевна глянула на него. — А вы, я вижу, шелковый! Вашей женѣ будетъ съ вами легко. Этотъ путь,—продолжала она, указывая концомъ вѣера на завывавшаго актера (онъ исполнялъ роль домашняго учителя):—напомнилъ мнѣ мою молодость: я тоже была влюблена въ учителя. Это была моя первая... нѣтъ, моя вторая пассія. Въ первый разъ я влюбилась въ служку Донского монастыря. Мнѣ было двѣнадцать лѣтъ. Я видѣла его только по воскресеньямъ. Онъ носилъ бархатный подрясникъ, душился оделаваномъ, пробираясь въ толпѣ съ кадиломъ, говорилъ дамамъ по-французски: „пардонъ, экскюзé"—и никогда не поднималъ глазъ, а рѣсницы у него были—вотъ какія!—Марья Николаевна отдѣлила ногтемъ большого пальца цѣлую половину своего мизинца и показала Санину.—Учителя моего звали—monsieur Gaston! Надо вамъ сказать, что онъ былъ ужасно ученый и престрогій человѣкъ, изъ швейцарцевъ—и съ такимъ энергическимъ лицомъ! Бакенбарды черныя, какъ смоль, греческій профиль — и губы какъ изъ желѣза вылитыя! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человѣка и боялась! Онъ былъ гувернеромъ моего брата, который потомъ умеръ... утонулъ. Одна цыганка и мнѣ предсказала насильственную смерь — но это вздоръ. Я этому не вѣрю. Представьте вы себѣ Ипполита Сидорыча съ *кинжаломъ?!..*

— Можно умереть и не отъ кинжала,—замѣтилъ Санин

— Все это вздоръ! Вы суевѣрны? Я — нисколько. чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жилъ насъ въ домѣ, надъ моей головой. Бывало, я просну ночью и слышу его шаги—онъ очень поздно ложился- и сердце замираетъ отъ благоговѣнія... или отъ другої чувства. Мой отецъ самъ едва разумѣлъ грамотѣ, в воспитаніе намъ далъ хорошее. Знаете ли, что я по латыни понимаю?

— Вы? по-латыни?

— Да—я. Меня monsieur Gaston выучилъ. Я съ ним Энеиду прочла. Скучная вещь — но есть мѣста хороші Помните, когда Дидона съ Энеемъ въ лѣсу...

— Да, да, помню,—торопливо промолвилъ Санинъ. Сам онъ давнымъ-давно всю свою латынь забылъ, и объ Энеид понятіе имѣлъ слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычк нѣсколько въ бокъ и изъ-пòднизу.—Вы не думайте, однак что я очень учена. Ахъ, Боже мой, нѣтъ—я не учена, никакихъ талантовъ у меня нѣтъ. Писать едва умѣю. право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рис вать, ни шить—ничего! Вотъ я какая—вся тутъ!

Она разставила руки.—Я вамъ все это разсказываю,- продолжала она: — во-первыхъ, для того, чтобы не сл шать этихъ дураковъ (она указала на сцену, гдѣ въ э мгновеніе, вмѣсто актера, подвывала актриса, тоже выст вивъ локти впередъ), а во-вторыхъ, для того, что я перед вами въ долгу: вы вчера мнѣ про себя разсказывали.

— Вамъ угодно было спросить меня,—замѣтилъ Санин

Марья Николаевна внезапно повернулась къ нему.- А вамъ не угодно знать, что̀ собственно я за женщин Впрочемъ, я не удивляюсь,—прибавила она, снова присл нясь къ подушкамъ дивана. — Человѣкъ собирается ж ниться, да еще по любви, да послѣ дуэли... Гдѣ ему п мышлять о чемъ-нибудь другомъ?

Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручк вѣера своими крупными, по ровными и какъ молоко бѣ лыми зубами.

А Санину казалось, что ему въ голову опять сталъ подниматься тотъ чадъ, отъ котораго онъ не могъ отдѣлаться—вотъ уже второй день.

Разговоръ между имъ и Марьей Николаевной происходилъ вполголоса, почти шопотомъ—и это еще болѣе его раздражало и волновало его...

Когда же это все кончится?

Слабые люди никогда сами не кончаютъ — все ждутъ конца.

На сценѣ кто-то чихалъ; — чиханье это было введено авторомъ въ свою пьесу, какъ „комическій моментъ“ или „элементъ“; другого комическаго элемента въ ней уже, конечно, не было: и зрители удовлетворялись этимъ моментомъ, смѣялись.

Этотъ смѣхъ также раздражалъ Санина.

Были минуты, когда онъ рѣшительно не зналъ: что онъ—злится или радуется, скучаетъ или веселится? О, если бъ Джемма его видѣла!

— Право, это странно,—заговорила вдругъ Марья Николаевна.—Человѣкъ объявляетъ вамъ, и такимъ спокойнымъ голосомъ: „Я, молъ, намѣренъ жениться“; а никто вамъ не скажетъ спокойно: „Я намѣренъ въ воду броситься“. И между тѣмъ—какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина. — Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься въ воду вовсе не страшно: онъ плавать умѣетъ; а сверхъ того... что касается до странности браковъ... ужъ коли на то пошло...

Онъ вдругъ умолкъ и прикусилъ языкъ.

Марья Николаевна ударила себя вѣеромъ по ладони.

— Договаривайте, Дмитрій Павловичъ, договаривайте; я знаю, что̀ вы хотѣли сказать. „Ужъ коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова“, хотѣли вы сказать, „страннѣе *вашего* брака ничего нельзя себя представить... вѣдь я вашего супруга знаю хорошо, съ дѣтства!“ Вотъ что̀ вы хотѣли сказать, вы, умѣющій плавать!

— *Позвольте,* — началъ-было Санинъ...

— Развѣ это не правда? Развѣ не правда?—настойчиво произнесла Марья Николаевна.—Ну, посмотрите мнѣ въ лицо и скажите, что я не правду сказала!

Санинъ не зналъ, куда дѣть свои глаза.—Ну, извольте=правда, коли вы ужъ этого непремѣнно требуете,—проговорилъ онъ наконецъ.

Марья Николаевна покачала головою. — Такъ... такъ... Ну—и спрашивали вы себя, вы, умѣющій плавать, какая можетъ быть причина такого страннаго... поступка со стороны женщины, которая не бѣдна... и не глупа... и не дурна? Васъ это не интересуетъ, можетъ быть; но все равно. Я вамъ скажу причину не теперь, а вотъ, какъ только кончится антрактъ. Я все безпокоюсь, какъ бы кто-нибудь не зашелъ...

Не успѣла Марья Николаевна выговорить это послѣднее слово, какъ наружная дверь дѣйствительно растворилась наполовину—и въ ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, съ плоскими, длинными волосами, отвислымъ носомъ, огромными ушами, какъ у летучей мыши, съ золотыми очками на любопытныхъ и тупыхъ глазенкахъ, и съ pince-nez на очкахъ. Голова осмотрѣлась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала... Жилистая шея вытянулась вслѣдъ за нею...

Марья Николаевна замахала на нее платкомъ. — Меня дома нѣтъ! Ich bin nicht zu Hause, Herr P...! Ich bin nicht zu Hause... Кшшшъ, кшшшъ!

Голова изумилась, принужденно засмѣялась, проговорила, словно всхлипывая, въ подражаніе Листу, у ногъ котораго когда-то пресмыкалась: Sehr gut! sehr gut!—и исчезла.

— Это что за субъектъ?—спросилъ Санинъ.

— Это? Критикъ висбаденскій. „Литтератъ“ или лонъ, лакей, какъ угодно. Онъ панятъ здѣшнимъ откупщикомъ, и потому обязанъ все хвалить и всѣмъ восторгаться, а самъ весь налитъ гаденькой желчью, которую даже выпускать не смѣетъ. Я боюсь: онъ сплетникъ ужасный; сейчасъ побѣжитъ разсказывать, что я въ театрѣ. Ну-все равно.

Оркестръ проигралъ вальсъ, занавѣсъ взвился опять... Поднялось опять на сценѣ кривлянье да хныканье.

— Ну-съ,—начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диванъ:—такъ какъ вы попались и должны сидѣть со мною, вмѣсто того, чтобы наслаждаться близостью вашей невѣсты... не вращайте глазами и не гнѣвайтесь—я васъ понимаю и уже обѣщала вамъ, что отпущу васъ на всѣ четыре стороны — а теперь слушайте мою исповѣдь. Хотите знать, что̀ я больше всего люблю?

— Свободу,—подсказалъ Санинъ.

Марья Николаевна положила руку на его руку.

— Да, Дмитрій Павловичъ,—промолвила она, и голосъ ея прозвучалъ чѣмъ-то особеннымъ, какой-то несомнѣнной искренностью и важностью:—свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтобъ я этимъ хвасталась—въ этомъ нѣтъ ничего похвальнаго—только оно *такъ*, и всегда было и будетъ *такъ* для меня, до самой смерти моей. Я въ дѣтствѣ, должно быть, ужъ очень много насмотрѣлась рабства и натерпѣлась отъ него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мнѣ открылъ. Теперь вы, можетъ-быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча: съ нимъ я свободна, совершенно свободна, какъ воздухъ, какъ вѣтеръ... И это я знала передъ свадьбой, я знала, что съ нимъ я буду вольный казакъ!

Марья Николаевна помолчала — и бросила вѣеръ въ сторону.

— Скажу вамъ еще одно: я не прочь размышлять... оно весело, да и на то умъ намъ данъ, но о послѣдствіяхъ того, что̀ я сама дѣлаю — я никогда не размышляю, и когда придется, не жалѣю себя — ни на *эстолько* — не сто́итъ. У меня есть поговорка: „cela ne tire pas à conséquence“ — не знаю, какъ это сказать по-русски. Да и точно: что̀ tire à conséquence?—Вѣдь отъ меня отчета не потребуютъ *здѣсь*—на сей землѣ; а тамъ—(она подняла палецъ къ верху) ну, тамъ—пусть распоряжаются, какъ знаютъ. Когда меня будутъ *тамъ* судить, *то я* не я буду! Вы слушаете меня? Вамъ не скучно?

Санинъ сидѣлъ наклонившись. Онъ поднялъ голову.—

Мнѣ вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я ва
съ любопытствомъ. Только я... признаюсь... я спрашив
себя, зачѣмъ вы это все говорите мнѣ?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диванѣ.
Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или
кой скромный?

Санинъ поднялъ голову еще выше.

— Я вамъ все это говорю,—продолжала Марья Ни
лаевна спокойнымъ тономъ, который, однако, не совсѣ
соотвѣтствовалъ выраженію ея лица:—потому что вы м
очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; пото
что послѣ встрѣчи съ вами мнѣ было бы непріятно
мать, что вы сохраните обо мнѣ воспоминаніе нехороше
или даже не нехорошее, это мнѣ все равно, а невѣрн
Оттого-то я и залучила васъ сюда, и остаюсь съ ва
наединѣ, и говорю съ вами такъ откровенно... Да,
откровенно. Я не лгу. И замѣтьте, Дмитрій Павлови
я знаю, что вы влюблены въ другую, что вы собирает
жениться на ней... Отдайте же справедливость моему б
корыстію! А впрочемъ, вотъ вамъ случай сказать, въ св
очередь: cela ne tire pas à conséquence!

Она засмѣялась, но смѣхъ ея внезапно оборвался—и о
осталась неподвижной, какъ будто ея собственныя сл
ее самоё поразили, а въ глазахъ ея, въ обычное вре
столь веселыхъ и смѣлыхъ, мелькнуло что-то похожее
робость, похожее даже на грусть.

„Змѣя! ахъ, она змѣя!“ думалъ, между тѣмъ, Сани
„но какая красивая змѣя!“

— Дайте мнѣ мою лорнетку, — проговорила вдру
Марья Николаевна. — Мнѣ хочется посмотрѣть: неуже
эта jeune première въ самомъ дѣлѣ такъ дурна собо
Право, можно подумать, что ее опредѣлило правительс
съ нравственной цѣлью, чтобы молодые люди не сли
комъ увлекались.

Санинъ подалъ ей лорнетку, а она, принимая ее с
него, быстро, но чуть слышно, охватила обѣими рука
его руку.

— *Не* извольте серьёзничать,—шепнула она съ ук

— Знаете что: на меня цѣпей наложить нельзя, но вѣдь и я не накладываю цѣпей.—Я люблю свободу и не признаю обязанностей—не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко, и давайте, послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену — и Санинъ принялся глядѣть туда же, сидя съ нею рядомъ, въ полутьмѣ ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоніе ея роскошнаго тѣла и столь же невольно переворачивая въ головѣ своей все, что она ему сказала въ теченіе вечера—особенно въ теченіе послѣднихъ минутъ...

XL.

Пьеса длилась еще часъ слишкомъ, но Марья Николаевна и Санинъ скоро перестали смотрѣть на сцену. У нихъ снова завязался разговоръ, и пробирался онъ, разговоръ этотъ, по той же дорожкѣ, какъ и прежде; только на этотъ разъ Санинъ меньше молчалъ. Внутренно онъ и на себя сердился, и на Марью Николаевну; онъ старался доказать ей всю неосновательность ея „теоріи", какъ будто ее занимали теоріи! Онъ сталъ съ ней спорить, чему она втайнѣ очень порадовалась: коли споритъ, значитъ уступаетъ или уступитъ. На прикормку пошелъ, подается, дичиться пересталъ! Она возражала, смѣялась, соглашалась, задумывалась, нападала... а между тѣмъ, его лицо и ея лицо сближались, его глаза уже не отворачивались отъ ея глазъ... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертамъ, и онъ улыбался ей въ отвѣтъ—учтиво, но улыбался. Ей на-руку было уже и то, что онъ пускался въ отвлеченности, разсуждалъ о честности взаимныхъ отношеній, о долгѣ, о святости любви и брака... Извѣстное дѣло: эти отвлеченности очень и очень годятся какъ начало, какъ исходная точка...

Люди, хорошо знавшіе Марью Николаевну, увѣряли, что когда во всемъ ея сильномъ и крѣпкомъ существѣ внезапно проступало нѣчто нѣжное и скромное, что-то почти дѣвически-стыдливое — хотя, подумаешь, откуда оно бралось?... тогда... да, тогда дѣло принимало оборотъ опасный.

Оно, повидимому, принимало этотъ оборотъ и для Санина... Презрѣніе онъ бы почувствовалъ къ себѣ, если-бъ ему удалось хотя на мигъ сосредоточиться; но онъ не успѣвалъ ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И все это происходило отъ того, что онъ былъ очень недуренъ собою! Поневолѣ придется сказать: „какъ знать, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь?"

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль, и не шевелилась, пока онъ укутывалъ мягкой тканью ея, поистинѣ царственныя, плечи. Потомъ она взяла его подъ руку, вышла въ коридоръ—и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, какъ нѣкое привидѣніе, торчалъ Дöнгофъ; а изъ-за его спины выглядывала поскудная фигура висбаденскаго критика. Маслянистое лицо „литтерата" такъ и сіяло злорадствомъ.

— Не прикажете ли, сударыня, я вамъ отыщу вашу карету?—обратился къ Марьѣ Николаевнѣ молодой офицеръ съ трепетомъ худо-сдержаннаго бѣшенства въ голосѣ.

— Нѣтъ, благодарствуйте,—отвѣтила она: — мой лакей ее найдетъ.— Останьтесь! — прибавила она повелительнымъ шопотомъ — и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

— Ступайте къ чорту? Чтò вы ко мнѣ пристали?—гаркнулъ вдругъ Дöнгофъ на литтерата. Надо было ему на комъ-нибудь сорвать свое сердце!

— Sehr gut! sehr gut! — пробормоталъ литтератъ — и стушевался.

Лакей Марьи Николаевны, ожидавшій ее въ сѣняхъ, въ мгновеніе ока отыскалъ ея карету—она проворно сѣла въ нее, за нею вскочилъ Санинъ. Дверцы захлопнулись — и Марья Николаевна разразилась смѣхомъ.

— Чему вы смѣетесь?—полюбопытствовалъ Санинъ.

— Ахъ, извините меня пожалуйста... но мнѣ пришло въ голову: чтò если Дöнгофъ съ вами опять будетъ стрѣляться... изъ-за меня... Не чудеса ли это?

— А вы съ нимъ очень коротко знакомы? — спросилъ Санинъ.

— Съ нимъ? Съ этимъ мальчикомъ? Онъ у меня на побѣгушкахъ. Вы не безпокойтесь!

— Да я и не безпокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула. — Ахъ, я знаю, что вы не безпокоитесь. Но слушайте—знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мнѣ въ одной послѣдней просьбѣ. Не забудьте: черезъ три дня я уѣзжаю въ Парижъ, а вы возвращаетесь во Франкфуртъ... Когда мы встрѣтимся!

— Какая это просьба?

— Вы верхомъ, конечно, умѣете ѣздить?

— Умѣю.

— Ну, вотъ что. Завтра, поутру, я васъ возьму съ собою — и мы поѣдемъ вмѣстѣ за городъ. У насъ будутъ отличныя лошади. Потомъ мы вернемся, дѣло покончимъ— и аминь! Не удивляйтесь, не говорите мнѣ, что это капризъ, что я сумасшедшая — все это можетъ быть — но скажите только: я согласенъ!

Марья Николаевна обернула къ нему свое лицо. Въ каретѣ было темно, но глаза ея сверкнули въ самой этой темнотѣ.

— Извольте, я согласенъ, — промолвилъ Санинъ со вздохомъ.

— Ахъ! Вы вздохнули!—передразнила его Марья Николаевна.—Вотъ что значитъ: взялся за гужъ—не говори, что не дюжъ. Но, нѣтъ, нѣтъ... Вы — прелесть, вы хорошій — а обѣщаніе я свое сдержу. Вотъ вамъ моя рука, безъ перчатки, правая, дѣловая. Возьмите ее — и вѣрьте ея пожатію. Что я за женщина, я не знаю; но человѣкъ я честный—и дѣла имѣть со мною можно.

Санинъ, самъ хорошенько не отдавая себѣ отчета въ томъ, что дѣлаетъ, поднесъ эту руку къ своимъ губамъ. Марья Николаевна тихонько ее приняла—и вдругъ умолкла—и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину, или онъ точно почувствовалъ на щекѣ своей какое-то быстрое и жгучее прикосновеніе?

„До завтра!“ шепнула Марья Николаевна ему на лѣст-

ницѣ, вся освѣщенная четырьмя свѣчами канделябра, ухваченнаго при ея появленіи золотообрѣзнымъ привратникомъ. Она держала глаза опущенными. — „До завтра!“

Вернувшись къ себѣ въ комнату, Санинъ нашелъ на столѣ письмо отъ Джеммы. Онъ мгновенно... испугался — и тотчасъ же обрадовался, чтобы поскорѣе замаскировать передъ самимъ собою свой испугъ.—Оно состояло изъ нѣсколькихъ строкъ.—Она радовалась благополучному „началу дѣла“, совѣтовала ему быть терпѣливымъ и прибавила, что всѣ въ домѣ здоровы и заранѣе радуются его возвращенію. Санинъ нашелъ это письмо довольно сухимъ— однако, взялъ перо, бумагу... и все бросилъ.—Что писать? Завтра самъ вернусь... пора, пора!“

Онъ немедленно легъ въ постель и постарался какъ можно скорѣе заснуть. Оставшись на ногахъ и бодрствуя, онъ навѣрное сталъ бы думать о Джеммѣ — а ему было почему-то... стыдно думать о ней. Совѣсть шевелилась въ немъ. Но онъ успокоивалъ себя тѣмъ, что завтра все будетъ навсегда кончено, и онъ навсегда разстанется съ этой взбалмошной барыней—и забудетъ всю эту чепуху!..

Слабые люди, говоря съ самими собою, охотно употребляютъ энергическія выраженія.

Et puis... cela ne tire pas à conséquence!

XLI.

Вотъ что̀ думалъ Санинъ, ложась спать; но что̀ онъ подумалъ на слѣдующій день, когда Марья Николаевна нетерпѣливо постучала коралловой ручкой хлыстика въ его дверь, когда онъ увидѣлъ ее на порогѣ своей комнаты— съ шлейфомъ темносиней амазонки на рукѣ, съ маленькой мужской шляпой на крупно заплетенныхъ кудряхъ, съ откинутымъ на плечо вуалемъ, съ вызывающей улыбкое на губахъ, въ глазахъ, на всемъ лицѣ—что̀ онъ подумалъ тогда—объ этомъ молчитъ исторія.

— Ну? готовы?—прозвучалъ веселый голосъ.

Санинъ застегнулъ сюртукъ и молча взялъ шляпу. *Марья Николаевна* бросила на него свѣтлый взглядъ, кив-

нула головою и быстро побѣжала внизъ по лѣстницѣ. И онъ побѣжалъ вслѣдъ за нею.

Лошади стояли уже на улицѣ передъ крыльцомъ. Ихъ было три: золотисто-рыжая, чистокровная кобыла, съ сухой, оскалистой мордой, черными глазами навыкатѣ, съ оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая, какъ огонь—для Марьи Николаевны; могучій, широкій, нѣсколько тяжелый конь, вороной, безъ отмѣтъ—для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу... Та затопала ногами и завертѣлась, отдѣляя хвостъ и поджимая крупъ, но Марья Николаевна (отличная наѣздница!) удержала ее на мѣстѣ: нужно было проститься съ Полозовымъ, который, въ неизмѣнной своей фескѣ и въ шлафрокѣ нараспашку, появился на балконѣ и махалъ оттуда батистовымъ платочкомъ, нисколько, впрочемъ не улыбаясь, а скорѣе хмурясь. Взобрался и Санинъ на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстикомъ, потомъ ударила имъ свою лошадь по выгнутой и плоской шеѣ; та взвилась на дыбы, прыгнула впередъ и пошла щепоткимъ, укрощеннымъ шагомъ, вздрагивая всѣми жилками, собираясь на мундштукѣ, кусая воздухъ и порывисто фыркая. Санинъ ѣхалъ сзади и глядѣлъ на Марью Николаевну; самоувѣренно, ловко и стройно покачивался ея тонкій и гибкій станъ, тѣсно и вольно охваченный корсетомъ. Она обернула голову назадъ и подозвала его одними глазами. Онъ поровнялся съ нею.

— Ну, вотъ видите, какъ хорошо, — сказала она. — Я вамъ говорю напослѣдяхъ, передъ разлукой: вы прелесть— и раскаиваться не будете.

Выговоривъ эти послѣднія слова, она нѣсколько разъ повела головою сверху внизъ, какъ бы желая подтвердить ихъ и дать ему почувствовать ихъ значеніе.

Она казалась до того счастливой, что Санинъ просто удивлялся; у нея на лицѣ появилось даже то степенное выраженіе, какое бываетъ у дѣтей, когда они очень... очень довольны.

Шагомъ *доѣхали они* до недалекой заставы, а тамъ пу-

стились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо лѣтняя; вѣтеръ струился имъ навстрѣчу и пріятно шумѣлъ и свисталъ въ ихъ ушахъ. Имъ было хорошо: сознаніе молодой, здоровой жизни, свободнаго, стремительнаго движенія впередъ охватывало ихъ обоихъ; оно росло съ каждымъ мигомъ.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поѣхала шагомъ; Санинъ послѣдовалъ ея примѣру.

— Вотъ,—начала она съ глубокимъ, блаженнымъ вздохомъ: — вотъ, для этого только и стòитъ жить. Удалось тебѣ сдѣлать, чего тебѣ хотѣлось, чтò казалось невозможнымъ—ну, и пользуйся, душа, по самый край!—Она провела рукой себѣ по горлу поперекъ.—И какимъ добрымъ человѣкъ тогда себя чувствуетъ! Вотъ, теперь я... какая добрая! Кажется, весь свѣтъ бы обняла. То-есть, нѣтъ, не весь свѣтъ!.. Вотъ этого я бы не обняла. — Она указала хлыстикомъ на пробиравшагося сторонкой, нищенски-одѣтаго старика.—Но осчастливить его я готова. На-те, возьмите,—крикнула она громко по-нѣмецки—и бросила къ его ногамъ кошелекъ. Увѣсистый мѣшочекъ (тогда еще портмонэ въ поминѣ не было) стукнулъ о дорогу. Прохожій изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

— Вамъ такъ весело верхомъ ѣздить? — спросилъ Санинъ, догнавъ ее.

Марья Николаевна опять разомъ осадила свою лошадь: она иначе ее не останавливала.—Я хотѣла только уѣхать отъ благодарности. Кто меня благодаритъ — удовольствіе мое портитъ. Вѣдь я не для него это сдѣлала, а для себя. Какъ же онъ смѣетъ меня благодарить? Я не разслышала, о чемъ вы меня спрашивали.

— Я спрашивалъ... я хотѣлъ знать, отчего вы сегодня такъ веселы?

— Знаете чтò, — промолвила Марья Николаевна: она либо опять не разслышала Санина, либо не почла за нужное отвѣчать на его вопросъ.— Мнѣ ужасно надоѣлъ этотъ грумъ, который торчитъ за нами, и который, должно-быть, только и думаетъ о томъ, когда, молъ, госпожа ко-

мой поѣдутъ? Какъ бы отъ него отдѣлаться?—Она проворно достала изъ кармана записную книжечку.—Послать его съ письмомъ въ городъ? Нѣтъ... не годится. А вотъ какъ! Это что̀ такое впереди? Трактиръ?

Санинъ глянулъ, куда она указывала. — Да, кажется, трактиръ.

— Ну, и прекрасно. Я прикажу ему остаться въ этомъ трактирѣ—и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что̀ онъ подумаетъ?

— А намъ что̀ за дѣло! Да онъ и думать не будетъ; будетъ пить пиво—и только. Ну, Санинъ (она въ первый разъ назвала его по одной фамиліи)—впередъ, рысью!

Поровнявшись съ трактиромъ, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что̀ она отъ него требовала. Грумъ, человѣкъ англійскаго происхожденія и англійскаго темперамента, молча поднесъ руку къ козырьку своей фуражки, соскочилъ съ лошади и взялъ ее подъ-уздцы.

— Ну, теперь мы вольныя птицы!—воскликнула Марья Николаевна.—Куда намъ ѣхать—на сѣверъ, на югъ, на востокъ, на западъ? Смотрите—я какъ венгерскій король на коронаціи (она указала концомъ хлыста на всѣ четыре стороны свѣта). Все наше! Нѣтъ, знаете что̀: видите, какія тамъ славныя горы — и какой лѣсъ! Поѣдемте туда, въ горы, въ горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront!

Она свернула съ шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожкѣ, которая, дѣйствительно, какъ будто направлялась къ горамъ. Санинъ поскакалъ за нею.

XLII.

Дорожка эта скоро превратилась въ тропинку, и наконецъ совсѣмъ исчезла, пересѣченная канавой. Санинъ посовѣтовалъ вернуться, но Марья Николаевна сказала: „Нѣтъ! я хочу въ горы! Поѣдемъ прямо, какъ летаютъ птицы“ — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санинъ тоже перескочилъ. За канавой начинался лугъ, сперва сухой, потомъ влажный, потомъ уже совсѣмъ болотистый: вода просачивалась вездѣ, стояла лужицами.

Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этимъ лужицамъ, хохотала и твердила: „Давайте школьничать!“

— Вы знаете, — спросила она Санина: — что̀ значитъ охотиться по брызга̀мъ?

— Знаю,—отвѣчалъ Санинъ.

— У меня дядя былъ псовый охотникъ, — продолжала она. — Я съ нимъ ѣзживала — весною. Чудо! Вотъ и мы теперь съ вами—по брызга̀мъ. А только я вижу: вы русскій человѣкъ, а хотите жениться на итальянкѣ. Ну, да это—ваша печаль. Это что̀? Опять канава? Гопъ!

Лошадь перескочила—но шляпа упала съ головы Марьи Николаевны, и кудри ея разсыпались по плечамъ. Санинъ хотѣлъ-было слѣзть съ коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: „Не трогайте, я сама достану“, нагнулась низко съ сѣдла, зацѣпила ручкой хлыста за вуаль и точно! достала шляпу, надѣла ее на голову, но волосъ не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санинъ мчался съ нею рядомъ, рядомъ съ нею перепрыгивалъ рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся подъ гору, несся въ гору и все глядѣлъ ей въ лицо. Что за лицо! Все оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, свѣтлые, дикіе; губы, ноздри раскрыты тоже и дышатъ жадно; глядитъ она прямо, въ упоръ передъ собою и, кажется, всѣмъ, что̀ она видитъ, землею, небомъ, солнцемъ и самымъ воздухомъ хочетъ завладѣть эта душа, и объ одномъ только она и жалѣетъ: опасностей мало—всѣ бы ихъ одолѣла! „Санинъ!“ кричитъ она, „вѣдь это какъ въ Бюргеровой Ленорѣ! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?.. Я живая!“ Разыгрались удалыя силы. Это ужъ не амазонка пускаетъ коня въ галопъ—это скачетъ молодой женскій кентавръ—полу-звѣрь и полу-богъ — и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ея буйнымъ разгуломъ!

Марья Николаевна остановила, наконецъ, свою вспѣненную, забрызганную лошадь: она шаталась подъ нею, а у могучаго, но тяжкаго санинскаго жеребца прерывалось дыханіе.

— Что? любо?—спросила Марья Николаевна какимъ-то *чуднымъ* шопотомъ.

— Любо! — восторженно отозвался Санинъ. И въ немъ кровь разгорѣлась.

— Постойте, то ли еще будетъ! — Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу васъ къ лѣсу, къ горамъ... Вотъ онѣ, горы! — Точно: покрытыя высокимъ лѣсомъ, зачинались горы шагахъ въ двухстахъ отъ того мѣста, куда вылетѣли лихіе всадники. — Смотрите: вотъ и дорога. Оправимтесь — и впередъ. Только шагомъ. Надо дать лошадямъ вздохнуть.

Они поѣхали. Однимъ сильнымъ взмахомъ руки Марья Николаевна отбросила назадъ свои волосы. Посмотрѣла потомъ на свои перчатки — сняла ихъ. — Руки будутъ кожей пахнуть, — сказала она: — да вѣдь это вамъ ничего? А?.. Марья Николаевна улыбалась, и Санинъ улыбался тоже. Эта бѣшеная скачка ихъ какъ будто окончательно сблизила и подружила.

— Сколько вамъ лѣтъ? — спросила она вдругъ.

— Двадцать-два.

— Не можетъ-быть? Мнѣ двадцать-два тоже. Годы хорошіе. Сложи ихъ вмѣстѣ, и то до старости далеко. Однако, жарко. Что̀, я раскраснѣлась?

— Какъ маковъ цвѣтъ!

Марья Николаевна утерла лицо платкомъ. — Только бы до лѣсу добраться, а тамъ будетъ прохладно. Этакой старый лѣсъ — точно старый другъ. Есть у васъ друзья?

Санинъ подумалъ немного. — Есть... только мало. Настоящихъ нѣтъ.

— А у меня есть, настоящіе — только не старые. Вотъ тоже другъ — лошадь. Какъ она тебя бережно несетъ! Ахъ, да здѣсь отлично! Неужто я послѣзавтра въ Парижъ ѣду?

— Да... неужто? — подхватилъ Санинъ.

— А вы во Франкфуртъ?

— Я непремѣнно во Франкфуртъ.

— Ну, что жъ — съ Богомъ! Зато сегодняшій день нашъ... нашъ... нашъ!

Лошади добрались до опушки и вошли въ нее. Тѣнь лѣса накрыла ихъ широко и мягко, и со всѣхъ сторонъ —

— О, да тутъ рай!—воскликнула Марья Николаевна.— Глубже, дальше въ эту тѣнь, Санинъ!

Лошади тихо двигались „глубже въ тѣнь", слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой онѣ выступали, внезапно повернулась въ сторону и вдалась въ довольно тѣсное ущелье. Запахъ вереска, папоротника — смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы, такъ и сперся въ немъ—густо и дремотно. Изъ разсѣлинъ бурыхъ, крупныхъ камней било крѣпкой свѣжестью. По обѣимъ сторонамъ дорожки высились круглые бугры, поросшіе зеленымъ мохомъ.

— Стойте! — воскликнула Марья Николаевна.—Я хочу присѣсть и отдохнуть на этомъ бархатѣ. Помогите мнѣ сойти.

Санинъ соскочилъ съ коня и подбѣжалъ къ ней. Она оперлась объ его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и сѣла на одномъ изъ моховыхъ бугровъ. Онъ сталъ передъ нею, держа въ рукахъ поводья обѣихъ лошадей.

Она подняла на него глаза... — Санинъ, вы умѣете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее... въ каретѣ:—Что это— вопросъ... или упрекъ?

— Я отроду никого и ни въ чемъ не упрекала. А въ присуху вы вѣрите?

— Какъ?

— Въ присуху — знаете, о чемъ у насъ въ пѣсняхъ поется. Въ простонародныхъ русскихъ пѣсняхъ?

— А! Вы вотъ о чемъ говорите...—протянулъ Санинъ.

— Да, объ этомъ. Я вѣрю... и вы повѣрите.

— Присуха... колдовство... — повторилъ Санинъ. — Все на свѣтѣ возможно. Прежде я не вѣрилъ—теперь вѣрю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала и оглянулась. — А мнѣ сдается, мѣсто это мнѣ какъ будто знакомое. Посмотрите-ка, Санинъ, за тѣмъ широкимъ дубомъ—стоитъ деревянный, красный крестъ? аль нѣтъ?

Санинъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ на сторону.—Стойтъ.

Марья Николаевна ухмыльнулась.—А, хорошо! Я знаю, гдѣ мы. Пока еще не потерялись. Это что̀ стучитъ? Дровосѣкъ?

Санинъ поглядѣлъ въ чащу. — Да... тамъ какой-то человѣкъ сухіе сучья рубитъ.

— Надо волосы въ порядокъ привести, — проговорила Марья Николаевна.—А то̀, увидитъ—осудитъ.—Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинныя косы—молча и важно. Санинъ стоялъ передъ нею... Ея стройные члены явственно рисовались подъ темными складками сукна, съ кое-гдѣ приставшими волокнами моха.

Одна изъ лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина, онъ самъ затрепеталъ невольно, съ ногъ до головы. Все въ немъ было перепутано — нервы натянулись какъ струны. Не даромъ онъ сказалъ, что самъ себя не узнаётъ... Онъ, дѣйствительно, былъ околдованъ. Все существо его было полно однимъ... однимъ помысломъ, однимъ желаньемъ. Марья Николаевна бросила на него проницательный взглядъ.

— Ну, вотъ, теперь все какъ слѣдуетъ,—промолвила она, надѣвая шляпу.—Вы не садитесь? Вотъ тутъ! Нѣтъ, погодите... не садитесь! Что̀ это такое?

По верхушкамъ деревьевъ, по воздуху лѣсному, прокатилось глухое сотрясеніе.

— Неужели это громъ?

— Кажется, точно, громъ,—отвѣтилъ Санинъ.

— Ахъ, да это праздникъ! просто праздникъ! Только этого недоставало!—Глухой гулъ раздался вторично, поднялся и упалъ раскатомъ.—Браво! Bis! Помните, я вамъ говорила вчера объ Энеидѣ? Вѣдь *ихъ* тоже въ лѣсу застала гроза. Однако, надо убраться.—Она быстро поднялась на ноги.—Подведите мнѣ лошадь... Подставьте мнѣ руку. Вотъ такъ. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на сѣдло. Санинъ тоже сѣлъ на коня.

— Вы домой?—спросилъ онъ невѣрнымъ голосомъ.

— Домой!—отвѣчала она съ разстановкой и подобрала *поводья.—Ступайте за* мной,—приказала она почти грубо.

Она выѣхала на дорогу, и, минуя красный крестъ, опустилась въ лощину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять въ гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь—и шелъ этотъ путь все въ глубь, да въ глубь лѣса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась впередъ—и онъ послушно и покорно слѣдовалъ за нею, безъ искры воли въ замиравшемъ сердцѣ. Дождикъ началъ накрапывать. Она ускорила ходъ своей лошади—и онъ не отставалъ отъ нея. Наконецъ, сквозь темную зелень еловыхъ кустовъ, изъ-подъ навѣса сѣрой скалы, глянула на него убогая караулка, съ низкой дверью въ плетеной стѣнѣ... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула съ нея — и, очутившись вдругъ у входа караулки, обернулась къ Санину и шепнула: Эней!

Четыре часа спустя, Марья Николаевна и Санинъ, въ сопровожденіи дремавшаго на сѣдлѣ грума, возвратились въ Висбаденъ, въ гостиницу. Г-нъ Полозовъ встрѣтилъ свою супругу, держа въ рукахъ письмо къ управляющему. Вглядѣвшись въ нее попристальнѣе, онъ, однако, выразилъ на лицѣ своемъ нѣкоторое неудовольствіе и даже пробормоталъ:—Неужто проигралъ пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

А въ тотъ же день, два часа спустя, Санинъ, въ своей комнатѣ, стоялъ передъ нею, какъ потерянный, какъ погибшій...

— Куда же ты ѣдешь?—спрашивала она его.—Въ Парижъ, или во Франкфуртъ?

— Я ѣду туда, гдѣ будешь ты—и буду съ тобой, пока ты меня не прогонишь,—отвѣчалъ онъ съ отчаяніемъ, и припалъ къ рукамъ своей властительницы. Она высвободила ихъ, положила ихъ ему на голову—и всѣми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безотвѣтные волосы, сама вся выпрямилась, *на губахъ* змѣилось торжество—а глаза, широкіе и свѣтлые *до бѣлизны*, выражали одну безжалостную тупость и

сытость побѣды. У ястреба, который когтитъ пойманную птицу, такіе бываютъ глаза.

XLIII.

Вотъ что̀ припомнилъ Дмитрій Санинъ, когда въ тишинѣ кабинета, разбирая свои старыя бумаги, онъ нашелъ между ними гранатовый крестикъ. Разсказанныя нами событія ясно и послѣдовательно возникали передъ его мысленнымъ взоромъ... Но дойдя до той минуты, когда онъ съ такимъ унизительнымъ моленіемъ обратился къ г-жѣ Полозовой, когда онъ отдался ей подъ ноги, когда началось его рабство — онъ отвернулся отъ вызванныхъ имъ образовъ, онъ не захотѣлъ болѣе вспоминать. И не то, чтобы память измѣнила ему — о, нѣтъ! онъ зналъ, онъ слишкомъ хорошо зналъ, что̀ послѣдовало за той минутой, но стыдъ душилъ его—даже и теперь, столько лѣтъ спустя; онъ страшился того чувства неодолимаго презрѣнія къ самому себѣ, которое, онъ въ этомъ не могъ сомнѣваться, непремѣнно нахлынетъ на него и затопитъ, какъ волною, всѣ другія ощущенія, какъ только онъ не велитъ памяти своей замолчать. Но какъ онъ ни отворачивался отъ возникавшихъ воспоминаній, вполнѣ заглушить онъ ихъ не могъ. Онъ вспомнилъ дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное имъ Джеммѣ, письмо, оставшееся безъ отвѣта... Явиться къ ней, вернуться къ ней, — послѣ такого обмана, такой измѣны — нѣтъ! нѣтъ! на столько совѣсти и честности осталось еще въ немъ. Къ тому же, онъ всякое довѣріе потерялъ къ себѣ, всякое уваженіе: онъ уже ни за что̀ не смѣлъ ручаться. Санинъ вспомнилъ также: какъ онъ потомъ— о, позоръ!—отправилъ Полозовскаго лакея за своими вещами во Франкфуртъ, какъ онъ трусилъ, какъ онъ думалъ лишь объ одномъ: поскорѣй уѣхать въ Парижъ, въ Парижъ; какъ онъ, по приказанію Марьи Николаевны, подлаживался и поддѣлывался къ Ипполиту Сидорычу— и любезничалъ съ Дѐнгофомъ, на пальцѣ котораго онъ замѣтилъ точно такое же желѣзное кольцо, какое дала *ему Марья Николаевна!!!* Потомъ пошли воспоминанія еще

хуже, еще позорнѣе... Кельнеръ подаетъ ему визитну карточку—и стоитъ на ней имя Панталеоне Чиппатола придворнаго пѣвца е. к. в. герцога Моденскаго! Онъ прячется отъ старика, но не можетъ избѣгнуть встрѣчи с нимъ въ коридорѣ — и встаетъ передъ нимъ раздражен ное лицо подъ взвившимся кверху сѣдымъ хохломъ; горятъ какъ уголья, старческіе глаза—и слышатся грозныя вос клицанія и проклятія: Maledizione! слышатся даже страш ныя слова: Codardo! Infame traditore!. Санинъ жмурит глаза, встряхиваетъ головою, отворачивается вновь вновь—и все-таки видитъ себя сидящимъ въ дорожном дормезѣ, на узкомъ переднемъ мѣстѣ... На заднихъ, по койныхъ мѣстахъ сидятъ Марья Николаевна и Ипполит Сидорычъ—четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена—въ Парижъ! въ Парижъ! Ипполит Сидорычъ — кушаетъ грушу, которую онъ, Санинъ, ем очистилъ, а Марья Николаевна глядитъ на него—и усмѣ хается тою, ему, закрѣпощенному человѣку, уже знакомо усмѣшкой—усмѣшкой собственника, владыки...

Но, Боже мой! вонъ тамъ, на углу улицы, недалеко отъ выѣзда изъ города—не Панталеоне ли стоитъ опять— и кто съ нимъ? Неужели Эмиліо? Да, это онъ, тотъ вос торженный, преданный мальчикъ! Давно ли его юное сердце благоговѣло передъ своимъ героемъ, идеаломъ— теперь его блѣдное, красивое — до того красивое лицо, что Марья Николаевна его замѣтила и высунулась в окошко кареты—это благородное лицо пышетъ злобой и презрѣніемъ; глаза, — столь похожіе на *тѣ* глаза! — впи ваются въ Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдругъ для обиды...

А Панталеоне протягиваетъ руку и указываетъ на Са нина—кому? стоявшему возлѣ Тартальѣ, и Тарталья лает на Санина—и самый лай честнаго пса звучитъ невыноси мымъ оскорбленіемъ... Безобразно!

А тамъ—житье въ Парижѣ—и всѣ униженія, всѣ гад кія муки раба, которому не позволяется ни ревновать, н жаловаться, и котораго бросаютъ, наконецъ, какъ изно шенную одежду...

Потомъ—возвращеніе на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкія хлопоты, раскаяніе горькое и безплодное—и столь же безплодное и горькое забвеніе—наказаніе не явное, но ежеминутное и постоянное, какъ незначительная, но неизлѣчимая боль, уплата по копейкѣ долга, котораго и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась—довольно!

Какимъ образомъ уцѣлѣлъ крестикъ, данный Санину Джеммой, почему не возвратилъ онъ его, какъ случилось, что до того дня онъ ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидѣлъ онъ въ раздумьѣ — и уже наученный опытомъ, черезъ столько лѣтъ — все не въ силахъ былъ понять, какъ могъ онъ покинуть Джемму, столь нѣжно и страстно имъ любимую—для женщины, которую онъ и не любилъ вовсе?.. На слѣдующій день онъ удивилъ всѣхъ своихъ пріятелей и знакомыхъ: онъ объявилъ имъ, что уѣзжаетъ за границу.

Недоумѣніе распространилось въ обществѣ. Санинъ покидалъ Петербургъ, среди бѣлой зимы, только-что нанявши и обмеблировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представленія итальянской оперы, въ которой участвовала сама г-жа Патти—сама, сама, сама г-жа Патти! Пріятели и знакомые недоумѣвали; но людямъ вообще не свойственно долго заниматься чужими дѣлами, и когда Санинъ отправился за границу—его на станцію желѣзной дороги пріѣхалъ провожать одинъ французъ портной—и то въ надеждѣ получить недоплаченный счетецъ—„pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic“.

XLIV.

Санинъ сказалъ своимъ друзьямъ, что уѣзжаетъ за границу—но не сказалъ куда именно: читатели легко догадаются, что онъ покатилъ прямо во Франкфуртъ. Благодаря повсемѣстно распространеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, онъ на четвертый день послѣ выѣзда изъ Петербурга былъ уже тамъ. Онъ не посѣщалъ его съ самаго *1840 года. Гостиница* „Бѣлаго Лебедя“ стояла на преж-

немъ мѣстѣ и процвѣтала, хотя уже не считалась первоклассной: Цейль, главная улица Франкфурта, мало измѣнилась, но не только отъ дома г-жи Розелли—отъ самой улицы, гдѣ находилась ея кондитерская—не осталось ни слѣда. Санинъ бродилъ, какъ ошалѣлый, по мѣстамъ, когда-то столь знакомымъ—и ничего не узнавалъ: прежнія постройки исчезли; ихъ замѣнили новыя улицы, уставленныя громадными, сплошными домами, изящными виллами; даже публичный садъ, гдѣ происходило его послѣднее объясненіе съ Джеммой—разросся и перемѣнился до того, что Санинъ себя спрашивалъ—полно, тотъ ли этотъ садъ? Что̀ было ему дѣлать? Какъ и гдѣ наводить справки? Тридцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ... Легкое ли дѣло! Къ кому онъ ни обращался—никто даже имени Розелли не слыхивалъ; хозяинъ гостиницы совѣтовалъ ему справиться въ публичной библіотекѣ: тамъ онъ, дескать, найдетъ всѣ старыя газеты, но какую онъ изъ этого извлечетъ пользу—хозяинъ самъ объяснить не умѣлъ. Санинъ, съ отчаянья, освѣдомился о г-нѣ Клюберѣ. Это имя было хорошо извѣстно хозяину — но и тутъ вышла неудача. Изящный коммй, прогремѣвъ и возвысившись до званія капиталиста — проторговался, обанкрутился и умеръ въ тюрьмѣ... Это извѣстіе не причинило, впрочемъ, Санину ни малѣйшаго огорченія. Онъ начиналъ уже находить свое путешествіе нѣсколько необдуманнымъ... Но вотъ, однажды, перелистывая франкфуртскій адресъ-календарь, онъ наткнулся на имя фонъ-Дöнгофа, маіора въ отставкѣ (Major a. D.). Онъ немедленно взялъ карету и поѣхалъ къ нему—хотя почему *этотъ* Дöнгофъ долженъ былъ непремѣнно быть *тѣмъ* Дöнгофомъ, и почему даже *тотъ* Дöнгофъ могъ сообщить ему какія-либо свѣдѣнія о семействѣ Розелли? Все равно: утопающій за соломинку хватается.

Санинъ засталъ отставного маіора фонъ-Дöнгофа дома—и въ принявшемъ его посѣдѣломъ господинѣ—немедленно узналъ своего бывшаго противника. И тотъ его узналъ, и даже обрадовался его появленію: оно напоминало ему *молодость* — и молодыя проказы. Санинъ услыхалъ отъ

него, что семейство Розелли давнымъ-давно переселилось въ Америку, въ Нью-Іоркъ; что Джемма вышла замужъ за негоціанта; что, впрочемъ, у него, Дöнгофа, есть знакомый, тоже негоціантъ, которому, вѣроятно, извѣстенъ адресъ мужа, такъ какъ у него много дѣлъ съ Америкой. Санинъ упросилъ Дöнгофа сходить къ этому знакомому—и—о, радость!—Дöнгофъ принесъ ему адресъ Джеммина мужа, г-на Іереміи Слокома — M-r J. Slocum, New-York, Broadway, № 501.—Только адресъ этотъ относился къ 1863 году.

— Будемъ надѣяться, — воскликнулъ Дöнгофъ: — что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Іорка! Кстати, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:—а что та русская дама, что, помните, гостила тогда въ Висбаденѣ — г-жа фонъ-Бо... фонъ-Болозöвъ—еще жива?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Санинъ:—она давно умерла.

Дöнгофъ поднялъ глаза — но, замѣтивъ, что Санинъ отвернулся и нахмурился, — не прибавилъ ни слова — и удалился.

Въ тотъ же день Санинъ послалъ письмо къ г-жѣ Джеммѣ Слокомъ, въ Нью-Іоркъ. Въ этомъ письмѣ онъ говорилъ ей, что пишетъ къ ней изъ Франкфурта, куда пріѣхалъ единственно для того, чтобы отыскать ея слѣды; что онъ очень хорошо сознаетъ, до какой степени онъ лишенъ малѣйшаго права на тò, чтобы она ему отозвалась; что онъ ничѣмъ не заслужилъ ея прощенія—и надѣется только на тò, что она, среди счастливой обстановки, въ которой находится, давно позабыла о самомъ его существованіи. Онъ прибавлялъ, что рѣшился напомнить ей о себѣ, вслѣдствіе случайнаго обстоятельства, которое слишкомъ живо возбудило въ немъ образы прошедшаго; разсказалъ ей свою жизнь, одинокую, безсемейную, безрадостную; заклиналъ ее понять причины, побудившія его обратиться къ ней, не дать ему унести въ могилу горестное сознаніе своей вины—давно выстра*данной, но не прощенной*—и порадовать его хотя самой

Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этимъ лужицамъ, хохотала и твердила: „Давайте школьничать!“

— Вы знаете, — спросила она Санина: — что̀ значитъ: охотиться по брызга̀мъ?

— Знаю,—отвѣчалъ Санинъ.

— У меня дядя былъ псовый охотникъ, — продолжала она. — Я съ нимъ ѣзживала — весною. Чудо! Вотъ и мы теперь съ вами—по брызга̀мъ. А только я вижу: вы русскій человѣкъ, а хотите жениться на итальянкѣ. Ну, да это—ваша печаль. Это что̀? Опять канава? Гопъ!

Лошадь перескочила—но шляпа упала съ головы Марьи Николаевны, и кудри ея разсыпались по плечамъ. Санинъ хотѣлъ-было слѣзть съ коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: „Не трогайте, я сама достану“, нагнулась низко съ сѣдла, зацѣпила ручкой хлыста за вуаль и точно! достала шляпу, надѣла ее на голову, но волосъ не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санинъ мчался съ нею рядомъ, рядомъ съ нею перепрыгивалъ рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся подъ гору, несся въ гору и все глядѣлъ ей въ лицо. Что за лицо! Все оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, свѣтлые, дикіе; губы, ноздри раскрыты тоже и дышатъ жадно; глядитъ она прямо, въ упоръ передъ собою и, кажется, всѣмъ, что̀ она видитъ, землею, небомъ, солнцемъ и самымъ воздухомъ хочетъ завладѣть эта душа, и объ одномъ только она и жалѣетъ: опасностей мало—всѣ бы ихъ одолѣла! „Санинъ!“ кричитъ она, „вѣдь это какъ въ Бюргеровой Ленорѣ! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?.. Я живая!“ Разыгрались удалыя силы. Это ужъ не амазонка пускаетъ коня въ галопъ—это скачетъ молодой женскій кентавръ—полу-звѣрь и полу-богъ — и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ея буйнымъ разгуломъ!

Марья Николаевна остановила, наконецъ, свою вспѣненную, забрызганную лошадь: она шаталась подъ нею, а у могучаго, но тяжкаго санинскаго жеребца прерывалось дыханіе.

— Что? любо?—спросила Марья Николаевна какимъ-то чуднымъ шопотомъ.

— Любо! — восторженно отозвался Санинъ. И въ немъ кровь разгорѣлась.

— Постойте, то ли еще будетъ! — Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу васъ къ лѣсу, къ горамъ... Вотъ онѣ, горы! — Точно: покрытыя высокимъ лѣсомъ, зачинались горы шагахъ въ двухстахъ отъ того мѣста, куда вылетѣли лихіе всадники. — Смотрите: вотъ и дорога. Оправимтесь — и впередъ. Только шагомъ. Надо дать лошадямъ вздохнуть.

Они поѣхали. Однимъ сильнымъ взмахомъ руки Марья Николаевна отбросила назадъ свои волосы. Посмотрѣла потомъ на свои перчатки — сняла ихъ. — Руки будутъ кожей пахнуть, — сказала она: — да вѣдь это вамъ ничего? А?.. Марья Николаевна улыбалась, и Санинъ улыбался тоже. Эта бѣшеная скачка ихъ какъ будто окончательно сблизила и подружила.

— Сколько вамъ лѣтъ? — спросила она вдругъ.

— Двадцать-два.

— Не можетъ-быть? Мнѣ двадцать-два тоже. Годы хорошіе. Сложи ихъ вмѣстѣ, и то до старости далеко. Однако, жарко. Что̀, я раскраснѣлась?

— Какъ маковъ цвѣтъ!

Марья Николаевна утерла лицо платкомъ. — Только бы до лѣсу добраться, а тамъ будетъ прохладно. Этакой старый лѣсъ — точно старый другъ. Есть у васъ друзья?

Санинъ подумалъ немного. — Есть... только мало. Настоящихъ нѣтъ.

— А у меня есть, настоящіе — только не старые. Вотъ тоже другъ — лошадь. Какъ она тебя бережно несетъ! Ахъ, да здѣсь отлично! Неужто я послѣзавтра въ Парижъ ѣду?

— Да... неужто? — подхватилъ Санинъ.

— А вы во Франкфуртъ?

— Я непремѣнно во Франкфуртъ.

— Ну, что жъ — съ Богомъ! Зато сегодняшій день нашъ... нашъ... нашъ!

стились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо лѣтняя; вѣтеръ струился имъ навстрѣчу и пріятно шумѣлъ и свисталъ въ ихъ ушахъ. Имъ было хорошо: сознаніе молодой, здоровой жизни, свободнаго, стремительнаго движенія впередъ охватывало ихъ обоихъ; оно росло съ каждымъ мигомъ.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поѣхала шагомъ; Санинъ послѣдовалъ ея примѣру.

— Вотъ,—начала она съ глубокимъ, блаженнымъ вздохомъ: — вотъ, для этого только и стòитъ жить. Удалось тебѣ сдѣлать, чего тебѣ хотѣлось, чтò казалось невозможнымъ—ну, и пользуйся, душа, по самый край!—Она провела рукой себѣ по горлу поперекъ.—И какимъ добрымъ человѣкъ тогда себя чувствуетъ! Вотъ, теперь я... какая добрая! Кажется, весь свѣтъ бы обняла. То-есть, нѣтъ, не весь свѣтъ!.. Вотъ этого я бы не обняла. — Она указала хлыстикомъ на пробиравшагося сторонкой, нищенски-одѣтаго старика.—Но осчастливить его я готова. На-те, возьмите,—крикнула она громко по-нѣмецки—и бросила къ его ногамъ кошелекъ. Увѣсистый мѣшочекъ (тогда еще портмонэ въ поминѣ не было) стукнулъ о дорогу. Прохожій изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

— Вамъ такъ весело верхомъ ѣздить? — спросилъ Санинъ, догнавъ ее.

Марья Николаевна опять разомъ осадила свою лошадь: она иначе ее не останавливала.—Я хотѣла только уѣхать отъ благодарности. Кто меня благодаритъ — удовольствіе мое портитъ. Вѣдь я не для него это сдѣлала, а для себя. Какъ же онъ смѣетъ меня благодарить? Я не разслышала, о чемъ вы меня спрашивали.

— Я спрашивалъ... я хотѣлъ знать, отчего вы сегодня такъ веселы?

— Знаете чтò, — промолвила Марья Николаевна: она либо опять не разслышала Санина, либо не почла за нужное отвѣчать на его вопросъ.— Мнѣ ужасно надоѣлъ этотъ грумъ, который торчитъ за нами, и который, должно-быть, только и думаетъ о томъ, когда, мол, госпожа ко-

мой поѣдутъ? Какъ бы отъ него отдѣлаться?—Она проворно достала изъ кармана записную книжечку.—Послать его съ письмомъ въ городъ? Нѣтъ... не годится. А вотъ какъ! Это что̀ такое впереди? Трактиръ?

Санинъ глянулъ, куда она указывала. — Да, кажется, трактиръ.

— Ну, и прекрасно. Я прикажу ему остаться въ этомъ трактирѣ—и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что̀ онъ подумаетъ?

— А намъ что̀ за дѣло! Да онъ и думать не будетъ; будетъ пить пиво—и только. Ну, Санинъ (она въ первый разъ назвала его по одной фамиліи)—впередъ, рысью!

Поровнявшись съ трактиромъ, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что̀ она отъ него требовала. Грумъ, человѣкъ англійскаго происхожденія и англійскаго темперамента, молча поднесъ руку къ козырьку своей фуражки, соскочилъ съ лошади и взялъ ее подъ-уздцы.

— Ну, теперь мы вольныя птицы!—воскликнула Марья Николаевна.—Куда намъ ѣхать—на сѣверъ, на югъ, на востокъ, на западъ? Смотрите—я какъ венгерскій король на коронаціи (она указала концомъ хлыста на всѣ четыре стороны свѣта). Все наше! Нѣтъ, знаете что̀: видите, какія тамъ славныя горы — и какой лѣсъ! Поѣдемте туда, въ горы, въ горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront!

Она свернула съ шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожкѣ, которая, дѣйствительно, какъ будто направлялась къ горамъ. Санинъ поскакалъ за нею.

XLII.

Дорожка эта скоро превратилась въ тропинку, и наконецъ совсѣмъ исчезла, пересѣченная канавой. Санинъ посовѣтовалъ вернуться, но Марья Николаевна сказала: „Нѣтъ! я хочу въ горы! Поѣдемъ прямо, какъ летаютъ птицы“ — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санинъ тоже перескочилъ. За канавой начинался лугъ, сперва сухой, потомъ влажный, потомъ уже совсѣмъ болотистый: вода просачивалась вездѣ, стояла лужицами.

Она выѣхала на дорогу, и, минуя красный крестъ, опустилась въ лощину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять въ гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь—и шелъ этотъ путь все въ глубь, да въ глубь лѣса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась впередъ—и онъ послушно и покорно слѣдовалъ за нею, безъ искры воли въ замиравшемъ сердцѣ. Дождикъ началъ накрапывать. Она ускорила ходъ своей лошади—и онъ не отставалъ отъ нея. Наконецъ, сквозь темную зелень еловыхъ кустовъ, изъ-подъ навѣса сѣрой скалы, глянула на него убогая караулка, съ низкой дверью въ плетеной стѣнѣ... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула съ нея — и, очутившись вдругъ у входа караулки, обернулась къ Санину и шепнула: Эней!

Четыре часа спустя, Марья Николаевна и Санинъ, въ сопровожденіи дремавшаго на сѣдлѣ грума, возвратились въ Висбаденъ, въ гостиницу. Г-нъ Полозовъ встрѣтилъ свою супругу, держа въ рукахъ письмо къ управляющему. Вглядѣвшись въ нее попристальнѣе, онъ, однако, выразилъ на лицѣ своемъ нѣкоторое неудовольствіе и даже пробормоталъ:—Неужто проигралъ пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

А въ тотъ же день, два часа спустя, Санинъ, въ своей комнатѣ, стоялъ передъ нею, какъ потерянный, какъ погибшій...

— Куда же ты ѣдешь?—спрашивала она его.—Въ Парижъ, или во Франкфуртъ?

— Я ѣду туда, гдѣ будешь ты—и буду съ тобой, пока ты меня не прогонишь,—отвѣчалъ онъ съ отчаяніемъ, и припалъ къ рукамъ своей властительницы. Она высвободила ихъ, положила ихъ ему на голову—и всѣми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безотвѣтные волосы, сама вся выпрямилась, на губахъ змѣилось торжество—а глаза, широкіе и свѣтлые до бѣлизны, выражали одну безжалостную тупость и

сытость побѣды. У ястреба, который когтитъ пойманную птицу, такіе бываютъ глаза.

XLIII.

Вотъ что̀ припомнилъ Дмитрій Санинъ, когда въ тишинѣ кабинета, разбирая свои старыя бумаги, онъ нашелъ между ними гранатовый крестикъ. Разсказанныя нами событія ясно и послѣдовательно возникали передъ его мысленнымъ взоромъ... Но дойдя до той минуты, когда онъ съ такимъ унизительнымъ моленіемъ обратился къ г-жѣ Полозовой, когда онъ отдался ей подъ ноги, когда началось его рабство — онъ отвернулся отъ вызванныхъ имъ образовъ, онъ не захотѣлъ болѣе вспоминать. И не то, чтобы память измѣнила ему — о, нѣтъ! онъ зналъ, онъ слишкомъ хорошо зналъ, что̀ послѣдовало за той минутой, но стыдъ душилъ его—даже и теперь, столько лѣтъ спустя; онъ страшился того чувства неодолимаго презрѣнія къ самому себѣ, которое, онъ въ этомъ не могъ сомнѣваться, непремѣнно нахлынетъ на него и затопитъ, какъ волною, всѣ другія ощущенія, какъ только онъ не велитъ памяти своей замолчать. Но какъ онъ ни отворачивался отъ возникавшихъ воспоминаній, вполнѣ заглушить онъ ихъ не могъ. Онъ вспомнилъ дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное имъ Джеммѣ, письмо, оставшееся безъ отвѣта... Явиться къ ней, вернуться къ ней, — послѣ такого обмана, такой измѣны — нѣтъ! нѣтъ! на столько совѣсти и честности осталось еще въ немъ. Къ тому же, онъ всякое довѣріе потерялъ къ себѣ, всякое уваженіе: онъ уже ни за что̀ не смѣлъ ручаться. Санинъ вспомнилъ также: какъ онъ потомъ— о, позоръ!—отправилъ Полозовскаго лакея за своими вещами во Франкфуртъ, какъ онъ трусилъ, какъ онъ думалъ лишь объ одномъ: поскорѣй уѣхать въ Парижъ, въ Парижъ; какъ онъ, по приказанію Марьи Николаевны, подлаживался и поддѣлывался къ Ипполиту Сидорычу— и любезничалъ съ Дöнгофомъ, на пальцѣ котораго онъ замѣтилъ точно такое же желѣзное кольцо, какое дала ему *Марья Николаевна!!!* Потомъ пошли воспоминанія еще

хуже, еще позорнѣе... Кельнеръ подаетъ ему визитную карточку—и стоитъ на ней имя Панталеоне Чиппатола, придворнаго пѣвца е. к. в. герцога Моденскаго! Онъ прячется отъ старика, но не можетъ избѣгнуть встрѣчи съ нимъ въ коридорѣ — и встаетъ передъ нимъ раздраженное лицо подъ взвившимся кверху сѣдымъ хохломъ; горятъ, какъ уголья, старческіе глаза—и слышатся грозныя восклицанія и проклятія: Maledizione! слышатся даже страшныя слова: Codardo! Infame traditore!. Санинъ жмуритъ глаза, встряхиваетъ головою, отворачивается вновь и вновь—и все-таки видитъ себя сидящимъ въ дорожномъ дормезѣ, на узкомъ переднемъ мѣстѣ... На заднихъ, покойныхъ мѣстахъ сидятъ Марья Николаевна и Ипполитъ Сидорычъ—четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена—въ Парижъ! въ Парижъ! Ипполитъ Сидорычъ — кушаетъ грушу, которую онъ, Санинъ, ему очистилъ, а Марья Николаевна глядитъ на него—и усмѣхается тою, ему, закрѣпощенному человѣку, уже знакомой усмѣшкой—усмѣшкой собственника, владыки...

Но, Боже мой! вонъ тамъ, на углу улицы, недалеко отъ выѣзда изъ города—не Панталеоне ли стоитъ опять—и кто съ нимъ? Неужели Эмиліо? Да, это онъ, тотъ восторженный, преданный мальчикъ! Давно ли его юное сердце благоговѣло передъ своимъ героемъ, идеаломъ—а теперь его блѣдное, красивое — до того красивое лицо, что Марья Николаевна его замѣтила и высунулась въ окошко кареты—это благородное лицо пышетъ злобой и презрѣніемъ; глаза, — столь похожіе на *тѣ* глаза! — впиваются въ Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдругъ для обиды...

А Панталеоне протягиваетъ руку и указываетъ на Санина—кому? стоявшему возлѣ Тартальѣ, и Тарталья лаетъ на Санина—и самый лай честнаго пса звучитъ невыносимымъ оскорбленіемъ... Безобразно!

А тамъ—житье въ Парижѣ—и всѣ униженія, всѣ гадкія муки раба, которому не позволяется ни ревновать, ни *жаловаться*, и котораго бросаютъ, наконецъ, какъ изношенную одежду...

Потомъ—возвращеніе на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкія хлопоты, раскаяніе горькое и безплодное—и столь же безплодное и горькое забвеніе—наказаніе не явное, но ежеминутное и постоянное, какъ незначительная, но неизлѣчимая боль, уплата по копейкѣ долга, котораго и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась—довольно!

Какимъ образомъ уцѣлѣлъ крестикъ, данный Санину Джеммой, почему не возвратилъ онъ его, какъ случилось, что до того дня онъ ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидѣлъ онъ въ раздумьѣ — и уже наученный опытомъ, черезъ столько лѣтъ — все не въ силахъ былъ понять, какъ могъ онъ покинуть Джемму, столь нѣжно и страстно имъ любимую—для женщины, которую онъ и не любилъ вовсе?.. На слѣдующій день онъ удивилъ всѣхъ своихъ пріятелей и знакомыхъ: онъ объявилъ имъ, что уѣзжаетъ за границу.

Недоумѣніе распространилось въ обществѣ. Санинъ покидалъ Петербургъ, среди бѣлой зимы, только-что нанявши и обмеблировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представленія итальянской оперы, въ которой участвовала сама г-жа Патти—сама, сама, сама г-жа Патти! Пріятели и знакомые недоумѣвали; но людямъ вообще не свойственно долго заниматься чужими дѣлами, и когда Санинъ отправился за границу—его на станцію желѣзной дороги пріѣхалъ провожать одинъ французъ портной—и то въ надеждѣ получить недоплаченный счетецъ—„pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic“.

XLIV.

Санинъ сказалъ своимъ друзьямъ, что уѣзжаетъ за границу—но не сказалъ куда именно: читатели легко догадаются, что онъ покатилъ прямо во Франкфуртъ. Благодаря повсемѣстно распространеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, онъ на четвертый день послѣ выѣзда изъ Петербурга былъ уже тамъ. Онъ не посѣщалъ его съ самаго *1840 года. Гостиница* „Бѣлаго Лебедя“ стояла на прежн-

немъ мѣстѣ и процвѣтала, хотя уже не считалась первоклассной: Цейль, главная улица Франкфурта, мало измѣнилась, но не только отъ дома г-жи Розелли—отъ самой улицы, гдѣ находилась ея кондитерская—не осталось ни слѣда. Санинъ бродилъ, какъ ошалѣлый, по мѣстамъ, когда-то столь знакомымъ—и ничего не узнавалъ: прежнія постройки исчезли; ихъ замѣнили новыя улицы, уставленныя громадными, сплошными домами, изящными виллами; даже публичный садъ, гдѣ происходило его послѣднее объясненіе съ Джеммой—разросся и перемѣнился до того, что Санинъ себя спрашивалъ—полно, тотъ ли этотъ садъ? Что̀ было ему дѣлать? Какъ и гдѣ наводить справки? Тридцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ... Легкое ли дѣло! Къ кому онъ ни обращался—никто даже имени Розелли не слыхивалъ; хозяинъ гостиницы совѣтовалъ ему справиться въ публичной библіотекѣ: тамъ онъ, дескать, найдетъ всѣ старыя газеты, но какую онъ изъ этого извлечетъ пользу—хозяинъ самъ объяснить не умѣлъ. Санинъ, съ отчаянья, освѣдомился о г-нѣ Клюберѣ. Это имя было хорошо извѣстно хозяину — но и тутъ вышла неудача. Изящный коммй, прогремѣвъ и возвысившись до званія капиталиста — проторговался, обанкрутился и умеръ въ тюрьмѣ... Это извѣстіе не причинило, впрочемъ, Санину ни малѣйшаго огорченія. Онъ начиналъ уже находить свое путешествіе нѣсколько необдуманнымъ... Но вотъ, однажды, перелистывая франкфуртскій адресъ-календарь, онъ наткнулся на имя фонъ-Дöнгофа, маіора въ отставкѣ (Major a. D.). Онъ немедленно взялъ карету и поѣхалъ къ нему—хотя почему *этотъ* Дöнгофъ долженъ былъ непремѣнно быть *тѣмъ* Дöнгофомъ, и почему даже *тотъ* Дöнгофъ могъ сообщить ему какія-либо свѣдѣнія о семействѣ Розелли? Все равно: утопающій за соломинку хватается.

Санинъ засталъ отставного маіора фонъ-Дöнгофа дома—и въ принявшемъ его посѣдѣломъ господинѣ—немедленно узналъ своего бывшаго противника. И тотъ его узналъ, и даже обрадовался его появленію: оно напоминало ему *молодость* — и молодыя проказы. Санинъ услыхалъ отъ

него, что семейство Розелли давнымъ-давно переселилось въ Америку, въ Нью-Іоркъ; что Джемма вышла замужъ за негоціанта; что, впрочемъ, у него, Дöнгофа, есть знакомый, тоже негоціантъ, которому, вѣроятно, извѣстенъ адресъ мужа, такъ какъ у него много дѣлъ съ Америкой. Санинъ упросилъ Дöнгофа сходить къ этому знакомому— и—о, радость!—Дöнгофъ принесъ ему адресъ Джеммина мужа, г-на Іереміи Слокома — M-r J. Slocum, New-York, Broadway, № 501.—Только адресъ этотъ относился къ 1863 году.

— Будемъ надѣяться, — воскликнулъ Дöнгофъ: — что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Іорка! Кстати, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:—а что та русская дама, что, помните, гостила тогда въ Висбаденѣ — г-жа фонъ-Бо... фонъ-Болозöвъ— еще жива?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Санинъ:—она давно умерла.

Дöнгофъ поднялъ глаза — но, замѣтивъ, что Санинъ отвернулся и нахмурился, — не прибавилъ ни слова — и удалился.

Въ тотъ же день Санинъ послалъ письмо къ г-жѣ Джеммѣ Слокомъ, въ Нью-Іоркъ. Въ этомъ письмѣ онъ говорилъ ей, что пишетъ къ ней изъ Франкфурта, куда пріѣхалъ единственно для того, чтобы отыскать ея слѣды; что онъ очень хорошо сознаетъ, до какой степени онъ лишенъ малѣйшаго права на тò, чтобы она ему отозвалась; что онъ ничѣмъ не заслужилъ ея прощенія—и надѣется только на тò, что она, среди счастливой обстановки, въ которой находится, давно позабыла о самомъ его существованіи. Онъ прибавлялъ, что рѣшился напомнить ей о себѣ, вслѣдствіе случайнаго обстоятельства, которое слишкомъ живо возбудило въ немъ образы прошедшаго; разсказалъ ей свою жизнь, одинокую, безсемейную, безрадостную; заклиналъ ее понять причины, побудившія его обратиться къ ней, не дать ему унести въ могилу горестное сознаніе своей вины—давно выстра*данной, но не прощенной*—и порадовать его хотя самой

краткой вѣсточкой о томъ, какъ ей живется въ этомъ новомъ мірѣ, куда она удалилась. „Написавъ мнѣ хоть одно слово,—такъ кончалъ Санинъ свое письмо,—вы сдѣлаете доброе дѣло, достойное вашей прекрасной души,—и я буду благодарить васъ до послѣдняго моего дыханія. Я остановился здѣсь, въ гостиницѣ *Бѣлаго Лебедя* (эти слова онъ подчеркнулъ) и буду ждать, ждать до весны—вашего отвѣта".

Онъ отправилъ это письмо — и принялся ждать. Цѣлыхъ шесть недѣль прожилъ онъ въ гостиницѣ, почти не выходя изъ комнаты — и рѣшительно никого не видя. Никто не могъ написать къ нему ни изъ Россіи, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо—онъ уже знаетъ, что оно *то*, котораго онъ ждетъ. Онъ читалъ съ утра до вечера—и не журналы, а серьезныя книги, историческія сочиненія. Эти продолжительныя чтенія, это безмолвіе, это улиткообразное, скрытое житье—все это пришлось какъ-разъ подъ ладъ его душевнаго строя: ужъ за это за одно спасибо Джеммѣ! Но жива ли она? Отвѣтитъ ли она?

Наконецъ, пришло письмо — съ американской почтовой маркой—изъ Нью-Іорка, на его имя. Почеркъ адреса на оберткѣ былъ англійскій... Онъ не узналъ его, и сердце въ немъ сжалось. Не разомъ рѣшился онъ надломить пакетъ. Онъ глянулъ на подпись: Джемма! Слезы такъ и брызнули изъ его глазъ: одно то, что она подписалась своимъ именемъ, безъ фамиліи — служило ему залогомъ примиренія, прощенія! Онъ развернулъ тонкій листъ синей почтовой бумаги — фотографія выскользнула оттуда. Онъ поспѣшно ее поднялъ — и такъ и обомлѣлъ: Джемма, живая Джемма, молодая, какою онъ ее зналъ, тридцать лѣтъ тому назадъ! Тѣ же глаза, тѣ же губы, тотъ же типъ всего лица! На оборотной сторонѣ фотографіи стояло: „дочь моя, Маріанна". Все письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что онъ не усомнился обратиться къ ней, что онъ имѣлъ къ ней довѣріе; не скрывала отъ него и того, что она, точно, *послѣ его* бѣгства пережила тяжелыя мгновенья, но

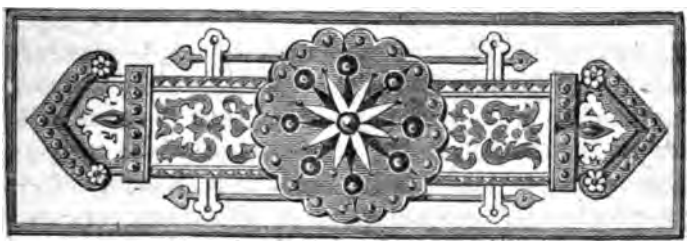
тутъ же прибавляла, что все-таки считаетъ — и всегда считала — свою встрѣчу съ нимъ за счастье — такъ какъ эта встрѣча помѣшала ей сдѣлаться женою г-на Клюбера — и такимъ образомъ, хотя косвенно, но была причиной ея брака съ теперешнимъ ея мужемъ, съ которымъ она живетъ вотъ уже двадцать-восьмой годъ совершенно счастливо, въ довольствѣ и изобиліи: домъ ихъ извѣстенъ всему Нью-Іорку. Джемма извѣщала Санина, что у ней пять человѣкъ дѣтей — четыре сына и одна, восемнадцатилѣтняя дочь, невѣста, фотографію которой она ему посылаетъ — такъ какъ она, по общему сужденію, весьма похожа на свою мать. Печальныя вѣсти Джемма приберегла къ концу письма. Фрау Леноре скончалась въ Нью-Іоркѣ, куда она послѣдовала за дочерью и зятемъ — однако, успѣла порадоваться счастью своихъ дѣтей, поняньчить внучатъ; Панталеоне тоже собирался въ Америку, но умеръ передъ самымъ отъѣздомъ изъ Франкфурта. „А Эмиліо, нашъ милый, несравненный Эмиліо — погибъ славной смертью за свободу родины, въ Сициліи, куда онъ отправился въ числѣ тѣхъ „Тысячи", которыми предводительствовалъ великій Гарибальди; мы всѣ горячо оплакали кончину нашего безцѣннаго брата — но и проливая слезы, мы гордились имъ — и вѣчно будемъ имъ гордиться и свято чтить его память! Его высокая, безкорыстная душа была достойна мученическаго вѣнца!" Потомъ Джемма изъявляла свое сожалѣніе о томъ, что жизнь Санина, повидимому, — такъ дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоенія и душевной тишины; и говорила, что была бы рада свидѣться съ нимъ — хотя и сознаетъ, какъ мало вѣроятно подобное свиданье...

Не беремся описывать чувства, испытанныя Санинымъ при чтеніи этого письма. Подобнымъ чувствамъ нѣтъ удовлетворительнаго выраженія: они глубже и сильнѣе — и неопредѣленнѣе всякаго слова. Музыка одна могла бы ихъ передать.

Санинъ отвѣчалъ тотчасъ — и въ подарокъ невѣстѣ, послалъ „Маріаннѣ Слокомъ отъ неизвѣстнаго друга" — *гранатовый крестикъ*, обдѣланный въ великолѣпное, жем-

ное ожерелье. Подарокъ этотъ, хотя весьма цѣнный — разорилъ его: въ теченіе тридцати лѣтъ, протекшихъ — времени его перваго пребыванія во Франкфуртѣ, онъ — лѣлъ нажить значительное состояніе. Въ первыхъ чис — хъ мая онъ вернулся въ Петербургъ — но едва ли на — лго. Слышно, что онъ продаетъ всѣ свои имѣнія — и — бирается въ Америку.

Баденъ-Баденъ.—1871.



СТУКЪ... СТУКЪ... СТУКЪ!..

СТУДІЯ.

I.

... Мы всѣ усѣлись въ кружокъ—и Александръ Васильевичъ Ридель — нашъ хорошій знакомый (фамилія у него была нѣмецкая — но онъ былъ коренной русакъ) — Александръ Васильевичъ началъ такъ:

— Я разскажу вамъ, господа, исторію, случившуюся со мной въ тридцатыхъ годахъ... лѣтъ сорокъ тому назадъ, какъ видите. Я буду кратокъ—а вы не прерывайте меня.

Я жилъ тогда въ Петербургѣ — и только-что вышелъ изъ университета. Мой братъ служилъ въ конной гвардейской артиллеріи прапорщикомъ. Батарея его стояла въ Красномъ-Селѣ—дѣло было лѣтомъ. Братъ квартировалъ собственно не въ Красномъ-Селѣ — а въ одной изъ окрестныхъ деревушекъ; я не разъ гостилъ у него и перезнакомился со всѣми его товарищами. Онъ помѣщался въ довольно опрятной избѣ вмѣстѣ съ другимъ офицеромъ его батареи. Звали этого офицера Тѣглевымъ, Ильей Степанычемъ. Съ нимъ я особенно сблизился.

Марлинскій теперь устарѣлъ — никто его не читаетъ— *и даже надъ именемъ* его глумятся; но въ тридцатыхъ

годахъ онъ гремѣлъ какъ никто—и Пушкинъ, по понятію тогдашней молодежи, не могъ идти въ сравненіе съ нимъ. Онъ не только пользовался славой перваго русскаго писателя; онъ даже — что гораздо труднѣе и рѣже встрѣчается—до нѣкоторой степени наложилъ свою печать на современное ему поколѣніе. Герои à la Марлинскій—попадались вездѣ, особенно въ провинціи и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языкомъ; въ обществѣ держались сумрачно, сдержанно — съ „бурей въ душѣ и пламенемъ въ крови", какъ лейтенантъ Бѣлозоръ „Фрегата Надежды". Женскія сердца „пожирались" ими. Про нихъ сложилось тогда прозвище „фатальный". Типъ этотъ, какъ извѣстно, сохранялся долго, до временъ Печорина. Чего-чего не было въ этомъ типѣ? И байронизмъ, и романтизмъ; воспоминанія о французской революціи, о декабристахъ—и обожаніе Наполеона; вѣра въ судьбу, въ звѣзду, въ силу характера, поза и фраза — и тоска пустоты; тревожныя волненія мелкаго самолюбія — и дѣйствительная сила и отвага; благородныя стремленья—и плохое воспитаніе, невѣжество; аристократическія замашки—и щеголяніе игрушками... Но, однако, довольно философствовать... Я обѣщался разсказывать.

II.

Подпоручикъ Тѣглевъ принадлежалъ къ числу именно такихъ „фатальныхъ" людей, хотя и не обладалъ наружностью, обыкновенно этимъ личностямъ присвояемой: онъ, напр., нисколько не походилъ на Лермонтовскаго „фаталиста". Это былъ человѣкъ средняго роста, довольно плотный, сутуловатый, бѣлокурый, почти бѣлобрысый; лицо имѣлъ круглое, свѣжее, краснощекое, вздернутый носъ; низкій, на вискахъ заросшій лобъ и крупныя, правильныя, вѣчно неподвижныя губы: онъ никогда не смѣялся, не улыбался даже. Лишь изрѣдка, когда онъ уставалъ и задыхался, выказывались четырехугольные зубы, бѣлые, *какъ сахаръ*. Та же искусственная неподвижность была *распространена* по всѣмъ его чертамъ: не будь ея, онѣ

бы являли видъ добродушный. Во всемъ его лицѣ не совсѣмъ обыкновенны были только глаза, небольшіе, съ зелеными зрачками и желтыми рѣсницами: правый глазъ былъ чуть-чуть выше лѣваго, и на лѣвомъ глазу вѣка поднималась меньше, чѣмъ на правомъ, что̀ придавало его взору какую-то разность и странность и сонливость. Физіономія Тѣглева, не лишенная, впрочемъ, нѣкоторой пріятности, почти постоянно выражала неудовольствіе, съ примѣсью недоумѣнія: точно онъ слѣдилъ внутри себя за невеселой мыслью, которую никакъ уловить не могъ. Со всѣмъ тѣмъ онъ не производилъ впечатлѣнія гордеца: его скорѣй можно было принять за обиженнаго, чѣмъ за гордаго человѣка. Говорилъ онъ очень мало съ запинками, сиплымъ голосомъ, безъ нужды повторяя слова. Въ противность большей части фаталистовъ, онъ особенно вычурныхъ выраженій не употреблялъ — и прибѣгалъ къ нимъ только на письмѣ: почеркъ имѣлъ совершенно дѣтскій. Начальство считало его офицеромъ—„такъ-себѣ",— не слишкомъ способнымъ и не довольно усерднымъ. „Есть пунктуальность — но аккуратности нѣтъ", говорилъ о немъ бригадный генералъ нѣмецкаго происхожденія. И для солдатъ Тѣглевъ былъ — „такъ себѣ" — ни рыба, ни мясо. Жилъ онъ скромно, по состоянію. Девяти лѣтъ отроду онъ остался круглымъ сиротою: отецъ и мать его утонули весною, въ половодье, переправляясь на паромѣ черезъ Оку. Онъ получилъ воспитаніе въ частномъ пансіонѣ, гдѣ считался однимъ изъ самыхъ тупыхъ и самыхъ смирныхъ учениковъ; поступилъ, по собственному настоятельному желанію, и по рекомендаціи двоюроднаго дяди, человѣка вліятельнаго, юнкеромъ въ гвардейскую конную артиллерію — и, хотя съ трудомъ, однако, выдержалъ экзаменъ сперва на прапорщика, потомъ на подпоручика. Съ другими офицерами онъ находился въ отношеніяхъ натянутыхъ. Его не любили, посѣщали его рѣдко — и самъ онъ почти ни къ кому не ходилъ. Присутствіе постороннихъ людей его стѣсняло; онъ тотчасъ становился неестественнымъ, неловкимъ... въ немъ не было ничего *товарищескаго—и ни съ* кѣмъ онъ не „тыкался". Но его

уважали; и уважали его не за его характеръ или умъ и образованность — а потому, что признавали на немъ ту особенную печать, которою отмѣчены „фатальные“ люди. „Тѣглевъ сдѣлаетъ карьеру, Тѣглевъ чѣмъ-нибудь отличится“ — этого никто изъ его сослуживцевъ не ожидалъ; — но „Тѣглевъ выкинетъ какую-нибудь необыкновенную штуку“ — или: „Тѣглевъ возьметъ, да вдругъ выйдетъ въ Наполеоны“ — это не считалось невозможнымъ. Потому, тутъ дѣйствуетъ „звѣзда“ — и человѣкъ онъ „съ предопредѣленіемъ“ — какъ бываютъ люди „со вздохомъ“ и „со слезою“.

III.

Два случая, ознаменовавшіе самое начало его офицерской службы, много способствовали къ упроченію за нимъ его фатальной репутаціи. А именно: въ самый первый день его производства — около половины марта мѣсяца — онъ, вмѣстѣ съ другими, только-что выпущенными офицерами, шелъ, въ полной парадной формѣ, по набережной. Въ тотъ годъ весна наступила рано, Нева вскрылась; большія льдины уже прошли, но всю рѣку запрудилъ мелкій, сплошной, пропитанный водою, ледъ. Молодые люди разговаривали, смѣялись... вдругъ одинъ изъ нихъ остановился: онъ увидалъ на медленно двигавшейся поверхности рѣки, шагахъ въ двадцати отъ берега, небольшую собачку. Взобравшись на выдававшуюся льдину, она дрожала всѣмъ тѣломъ и визжала. „А вѣдь она погибнетъ“ — проговорилъ офицеръ сквозь зубы. Собачку тихонько проносило мимо одного изъ спусковъ, устроенныхъ вдоль набережной. Вдругъ Тѣглевъ, ни слова не говоря, сбѣжалъ по этому самому спуску — и, перепрыгивая по тонкому льду, проваливаясь и вскакивая, добрался до собачки, схватилъ ее за шиворотъ и, благополучно вернувшись на берегъ, бросилъ ее на мостовую. Опасность, которой подвергался Тѣглевъ, была такъ велика, поступокъ его былъ такъ неожиданъ, что товарищи его *словно* окаменѣли — и только тогда заговорили всѣ *разомъ*, когда онъ подозвалъ извозчика, чтобы ѣхать къ

себѣ домой; весь мундиръ на немъ былъ мокръ. Въ отвѣтъ на ихъ восклицанія, Тѣглевъ равнодушно промолвилъ, что кому что̀ на роду написано, тотъ того не минуетъ — и велѣлъ извозчику ѣхать.

— Да ты собаку-то возьми съ собой, на память,—крикнулъ одинъ изъ офицеровъ. Но Тѣглевъ только рукой махнулъ—и товарищи его переглянулись въ молчаливомъ изумленіи.

Другой случай произошелъ нѣсколько дней спустя, на карточномъ вечерѣ у батарейнаго командира. Тѣглевъ сидѣлъ въ углу—и не участвовалъ въ игрѣ. „Эхъ, кабы мнѣ, какъ въ пушкинской „Пиковой дамѣ", бабушка напередъ сказала, какія карты должны выиграть!" — воскликнулъ одинъ прапорщикъ, спускавшій свою третью тысячу. Тѣглевъ молча приблизился къ столу, взялъ колоду, снялъ—и, проговоривъ: шестерка бубенъ!—перевернулъ колоду: внизу была шестерка бубенъ.—Тузъ трефъ!—провозгласилъ онъ и снялъ опять: снизу оказался тузъ трефъ.—Король бубенъ!—промолвилъ онъ въ третій разъ сердитымъ шопотомъ, сквозь стиснутые зубы—отгадалъ въ третій разъ... и вдругъ весь покраснѣлъ. Вѣроятно, онъ самъ этого не ожидалъ. „Отличный фокусъ! Покажите-ка еще", замѣтилъ батарейный командиръ.—„Я фокусами не занимаюсь",—сухо отвѣтилъ Тѣглевъ—и вышелъ въ другую комнату. Какимъ образомъ это такъ случилось, что онъ заранѣе отгадывалъ карту — я растолковать не берусь: но видѣлъ я это собственными глазами. Послѣ него многіе изъ присутствовавшихъ игроковъ пытались сдѣлать то же самое—и никому оно не удалось: *одну* карту еще иной и угадаетъ, но уже двѣ сряду—никакъ. А у Тѣглева вышло цѣлыхъ три! Этотъ случай еще болѣе утвердилъ за нимъ репутацію таинственнаго, фатальнаго человѣка. Мнѣ послѣ часто приходило на умъ, что не удайся ему фокусъ съ картами — кто знаетъ, какой бы она приняла оборотъ, и какъ бы онъ самъ взглянулъ на себя; но эта неожиданная удача окончательно рѣшила дѣло.

IV.

Понятно, что Тѣглевъ тотчасъ ухватился за эту репутацію. Она придавала ему особое значеніе, особый колоритъ... „Cela le posait“, какъ выражаются французы, — и при небольшомъ его умѣ, незначительныхъ познаніяхъ и громадномъ самолюбіи—такая репутація приходилась ему какъ разъ подъ-руку. Заслужить ее было трудно, а поддержать ее—ничего не значило: стоило только молчать и дичиться. Но не въ силу этой репутаціи я сошелся съ Тѣглевымъ — и, можно сказать, полюбилъ его. Полюбилъ я его, во-первыхъ, потому, что самъ былъ порядочный дичокъ—и видѣлъ въ немъ собрата; а во-вторыхъ, и потому, что человѣкъ онъ былъ добрый — и, въ сущности, очень простосердечный. Онъ внушалъ мнѣ нѣчто въ родѣ сожалѣнія; мнѣ казалось, что, помимо его напускной фатальности, надъ нимъ, дѣйствительно, тяготѣетъ трагическая судьба, которой онъ самъ не подозрѣваетъ. Разумѣется, *этого* чувства я ему не высказывалъ: внушать сожалѣніе—можетъ ли быть обида хуже для „фатальнаго“ человѣка? И Тѣглевъ чувствовалъ расположеніе ко мнѣ: со мной было ему легко, со мной онъ разговаривалъ, — въ моемъ присутствіи онъ рѣшался покидать тотъ странный пьедесталъ, на который не то попалъ, не то взобрался. Мучительно, болѣзненно-самолюбивый, онъ, вѣроятно, все-таки сознавалъ въ глубинѣ души своей, что ничѣмъ не оправдываетъ своего самолюбія — и что другіе, пожалуй, могутъ смотрѣть на него свысока... а я, девятнадцатилѣтній мальчикъ, не стѣснялъ его; страхъ сказать что-нибудь неумное, неумѣстное при мнѣ не сжималъ его вѣчно-настороженнаго сердца. Онъ даже иногда впадалъ въ болтливость; и благо ему, что никто, кромѣ меня, не слыхалъ его рѣчей! Его репутація не долго бы удержалась. Онъ не только зналъ очень мало — онъ почти ничего не читалъ, и ограничивался тѣмъ, что набирался подходящихъ анекдотовъ и исторій. Онъ вѣрилъ въ предчувствія, *предсказанія*, примѣты, встрѣчи, въ счастливые и несчастные дни, въ преслѣдованіе или благоволеніе судьбы, въ

значительность жизни, однимъ словомъ. Онъ даже вѣрилъ въ какіе-то „климатерическіе“ годы, о которыхъ кто-то упомянулъ при немъ и значеніе которыхъ онъ самъ не понималъ хорошенько. Фатальнымъ людямъ настоящаго закала не слѣдуетъ выказывать подобныя вѣрованья: они должны внушать ихъ другимъ... Но Тѣглева, съ *этой* стороны, зналъ я одинъ.

V.

Однажды, помнится, въ самый Ильинъ день, 20-го іюля, я поѣхалъ гостить къ брату—и не засталъ его: на цѣлую недѣлю куда-то откомандировали. Вернуться въ Петербургъ я не хотѣлъ; потаскался съ ружьемъ по окрестнымъ болотцамъ, убилъ парочку бекасовъ, а вечеръ провелъ съ Тѣглевымъ, подъ навѣсомъ пустого сарая, въ которомъ онъ устроилъ, какъ онъ выражался, лѣтнюю свою резиденцію. Мы покалякали кой-о-чемъ, а впрочемъ бо̀льшей частью пили чай, курили трубки и разговаривали то съ хозяиномъ, обрусѣвшимъ чухонцемъ, то съ метавшимся около батареи разносчикомъ, продавцомъ „пельциновъ, лимоновъ хоро-о-шихъ“, милымъ человѣкомъ и балагуромъ, который, кромѣ другихъ талантовъ, умѣлъ играть на гитарѣ и разсказывалъ намъ о несчастной любви, которую онъ въ „младости“ питалъ къ дочери хозяина. Войдя въ лѣта, этотъ Донъ-Жуанъ въ александрійской рубахѣ уже не зналъ несчастныхъ привязанностей. Передъ воротами нашего сарая разстилалась, постепенно углубляясь, широкая равнина; маленькая рѣчка блистала мѣстами въ извилинахъ ложбинъ; дальше, на небосклонѣ виднѣлись низкіе лѣса. Ночь приближалась, и мы остались одни. Вмѣстѣ съ ночью спускался на землю тонкій, сырой паръ, который, все болѣе и болѣе разрастаясь, превратился наконецъ въ густой туманъ. На небо взошелъ мѣсяцъ: весь туманъ проникнулся насквозь и какъ бы позлатился его сіяніемъ. Все странно передвинулось, закуталось и смѣшалось; далекое казалось близкимъ, близкое далекимъ, большое малымъ, малое *большимъ... все стало* свѣтло и неясно. Мы словно пере-

неслись въ сказочное царство, въ царство бѣло-золотистой мглы, тишины глубокой, чуткаго сна... И какъ таинственно, какими серебристыми искорками сквозили сверху звѣзды! Мы оба умолкли. Фантастическій обликъ этой ночи подѣйствовалъ на насъ: онъ настроилъ насъ на фантастическое.

VI.

Тѣглевъ первый заговорилъ, съ обычными запинками, недомолвками и повтореніями, о предчувствіяхъ... о привидѣніяхъ. Въ такую точно ночь, по его словамъ, одинъ его знакомый студентъ, только-что поступившій въ гувернеры къ двумъ сиротамъ и помѣщенный съ ними въ павильонѣ, въ саду, — увидалъ женскую фигуру, наклоненную надъ ихъ постелями, и на слѣдующій день узналъ эту фигуру въ незамѣченномъ имъ до тѣхъ поръ портретѣ, изображавшемъ мать этихъ самыхъ сиротъ. Потомъ Тѣглевъ разсказалъ мнѣ, будто родителямъ его, за нѣсколько дней до ихъ гибели, все чудился шумъ воды; будто дѣдушка его въ бородинскомъ сраженіи избавился отъ смерти тѣмъ, что, увидавъ на землѣ простой сѣрый голышъ, внезапно нагнулся и поднялъ его — а въ это самое мгновенье картечь пролетѣла надъ его головою и сломила его длинный черный султанъ. Тѣглевъ даже обѣщался показать мнѣ этотъ самый голышъ, спасшій его дѣда и вдѣланный имъ въ медальонъ. Потомъ онъ упомянулъ о призваніи каждаго человѣка и о своемъ въ особенности, и прибавилъ, что онъ доселѣ въ него вѣритъ, и что, если въ немъ когда-нибудь на этотъ счетъ возникнутъ сомнѣнія, то онъ сумѣетъ раздѣлаться съ ними и съ жизнью, ибо жизнь тогда потеряетъ для него всякое значеніе. „Вы, можетъ-быть, полагаете,—промолвилъ онъ, искоса глянувъ на меня:—что на это у меня не хватитъ духа? Вы меня не знаете... У меня воля желѣзная!“

„Хорошо сказано“, подумалъ я про-себя.

Тѣглевъ задумался, глубоко вздохнулъ и, выпустивъ *изъ руки* чубукъ, объявилъ мнѣ, что нынѣшній день для

него очень важный.—Нынче Ильинъ день—я именинникъ... Это... это для меня всегда тяжелая пора.

Я ничего не отвѣчалъ и только глядѣлъ на него, какъ онъ сидѣлъ передо мною, согнутый, сутулый, неповоротливый, съ уставленнымъ на землю сонливымъ и пасмурнымъ взоромъ.

— Сегодня,—продолжалъ онъ:—одна старушка нищая (Тѣглевъ не пропускалъ ни одного нищаго, не подавъ ему милостыни) сказала мнѣ, что она о моей душенькѣ помолится... Развѣ это не странно?

„Охота же человѣку все съ собою возиться?“ подумалъ я опять. Я долженъ, однако, прибавить, что въ послѣднее время я сталъ замѣчать необычное выраженіе заботы и тревоги на лицѣ Тѣглева, и не „фатальная“ то была меланхолія: его что-то дѣйствительно грызло и мучило. И въ этотъ разъ меня поразила унылость, распространенная по его чертамъ. Ужъ не начинали ли возникать въ немъ тѣ сомнѣнья, о которыхъ онъ мнѣ говорилъ? Мнѣ сказывали товарищи Тѣглева, что онъ, незадолго передъ тѣмъ, подавалъ начальству проектъ о какихъ-то переформированіяхъ „по лафетной части“, и что этотъ проектъ былъ ему возвращенъ съ „надписью“, т.-е. съ выговоромъ. Зная его характеръ, я не сомнѣвался въ томъ, что подобное пренебреженіе начальства глубоко его оскорбило. Но то, что̀ мнѣ чудилось въ Тѣглевѣ, походило болѣе на грусть, имѣло болѣе личный оттѣнокъ.

— Однако, сыро становится,—промолвилъ онъ вдругъ, и повелъ плечами.—Пойдемте въ избу, да и спать пора. У него была привычка поводить плечами и поворачивать голову со стороны на сторону, точно ему галстукъ становился тѣснымъ, при чемъ онъ брался правой рукою за горло. Характеръ Тѣглева выражался—такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ казалось—въ этомъ тоскливомъ и нервическомъ движеніи. Ему тоже было тѣсно на свѣтѣ.

Мы вернулись въ избу и легли, каждый на лавкѣ, онъ въ красномъ углу, я—въ переднемъ, на постланномъ сѣнѣ.

VII.

Тѣглевъ долго ворочался на своей лавкѣ, и я не могъ заснуть. Разсказы ли его взволновали мои нервы, странная ли эта ночь раздражала мою кровь—не знаю; только я заснуть не могъ. Всякое даже желаніе сна исчезло наконецъ, и я лежалъ съ раскрытыми глазами, да думалъ, напряженно думалъ. Богъ знаетъ о чемъ, о самыхъ безсмысленныхъ пустякахъ,—какъ это всегда бываетъ во время безсонницы. Переворачиваясь съ боку на бокъ, я протянулъ руки... Палецъ мой ударился объ одно изъ бревенъ стѣны. Раздался слабый, но гулкій и какъ бы протяжный звукъ... Я, должно-быть, попалъ на пустое мѣсто.

Я вторично ударилъ пальцемъ... уже нарочно. Звукъ повторился. Я еще... Вдругъ Тѣглевъ приподнялъ голову.

— Ридель,—промолвилъ онъ:—слышите, кто-то стучитъ подъ окномъ.

Я притворился спящимъ. Мнѣ вдругъ пришла охота потрунить надъ моимъ фатальнымъ товарищемъ. Все равно—мнѣ не спалось.

Онъ опустилъ голову на подушку. Я подождалъ немного и опять постучалъ три раза сряду.

Тѣглевъ опять приподнялся и сталъ прислушиваться.

Я постучалъ опять. Я лежалъ къ нему лицомъ, но мою руку онъ не могъ видѣть... я ее назадъ закинулъ, подъ одѣяло.

— Ридель!—крикнулъ Тѣглевъ.

Я не отозвался.

— Ридель!—повторилъ онъ громко.—Ридель!

— А? Что такое?—проговорилъ я, словно спросонья.

— Вы не слышите, кто-то все стучитъ подъ окномъ. Въ избу, что ли, просится.

— Прохожій...—пролепеталъ я.

— Такъ надо его впустить, или узнать, что̀ за человѣкъ?

Но я уже не отвѣчалъ и снова притворился спящимъ. Прошло нѣсколько минутъ... Я опять за свое...

„Стукъ... стукъ... стукъ!..“

Тѣглевъ тотчасъ выпрямился и сталъ слушать.

„Стукъ... стукъ... стукъ! Стукъ... стукъ... стукъ!“

Сквозь полузакрытыя вѣки, при бѣлесоватомъ свѣтѣ ночи, я хорошо могъ видѣть всѣ его движенья. Онъ обращалъ лицо то къ окну, то къ двери. Дѣйствительно, трудно было понять, откуда шелъ звукъ: онъ словно облеталъ комнату, словно скользилъ вдоль стѣнъ. Я случайно попалъ на акустическую жилку.

„Стукъ... стукъ... стукъ!..“

— Ридель! — закричалъ, наконецъ, Тѣглевъ. — Ридель! Ридель!

— Да что̀ такое?—промолвилъ я, зѣвая.

— Неужели вы ничего не слышите! Стучитъ кто-то!

— Ну, Богъ съ нимъ!—отвѣтилъ я, и опять показалъ видъ, что заснулъ, захрапѣлъ даже...

Тѣглевъ успокоился.

„Стукъ... стукъ... стукъ!..“

— Кто тамъ?—закричалъ Тѣглевъ.—Войди!

Никто, разумѣется, не отвѣчалъ.

„Стукъ... стукъ... стукъ!“

Тѣглевъ вскочилъ съ постели, открылъ окно, и, высунувъ голову наружу, дикимъ голосомъ спросилъ: „Кто тамъ? Кто стучитъ?“ Потомъ онъ отворилъ дверь и повторилъ свой вопросъ. Въ отдаленьи проржала лошадь— и только.

Онъ вернулся къ своей постели...

„Стукъ... стукъ... стукъ!“

Тѣглевъ мгновенно перевернулся и сѣлъ.

„Стукъ... стукъ... стукъ!“

Тѣглевъ проворно надѣлъ сапоги, накинулъ шинель на плечи, и, отцѣпивъ со стѣны саблю, вышелъ изъ избы. Я слышалъ, какъ онъ два раза обошелъ ее кругомъ, и все спрашивалъ: „Кто тутъ? Кто тутъ ходитъ? Кто стучитъ?“ Потомъ онъ вдругъ умолкъ, постоялъ на одномъ мѣстѣ на улицѣ, недалеко отъ угла, гдѣ я лежалъ, и ужъ ни слова больше не говоря, вернулся въ избу и легъ, не *раздѣваясь.*

„Стукъ... стукъ... стукъ!“ началъ я снова. „Стукъ... стукъ... стукъ!“

Но Тѣглевъ не шевелился, не спрашивалъ: кто стучитъ? а только подперъ голову рукою.

Видя, что *это* больше не дѣйствуетъ, я спустя немного времени, притворился, что просыпаюсь, и вглядѣвшись въ Тѣглева, принялъ удивленный видъ.

— Вы развѣ куда ходили?—спросилъ я.

— Да,—равнодушно отвѣчалъ онъ.

— Вы все продолжали слышать стукъ?

— Да.

— И никого не встрѣтили?

— Нѣтъ.

— И стукъ прекратился?

— Не знаю. Теперь мнѣ все равно.

— Теперь? Почему же именно теперь?

Тѣглевъ не отвѣчалъ.

Мнѣ стало немножко совѣстно и немножко досадно на него. Сознаться въ своей шалости я, однако, не рѣшался.

— Знаете ли что?—началъ я:—я убѣжденъ, что все это—одно ваше воображеніе.

Тѣглевъ нахмурился.—А! вы полагаете!

— Вы говорите: вы слышали стукъ...

— Я не одинъ стукъ слышалъ,—перебилъ онъ меня.

— Что же еще?

Тѣглевъ качнулся впередъ—и закусилъ губы. Онъ видимо колебался...

— Меня звали!—промолвилъ онъ, наконецъ, вполголоса и отвернулъ лицо.

— Васъ звали? Кто же васъ звалъ?

— Одна... Тѣглевъ продолжалъ глядѣть въ сторону.— Одно существо, про которое я до сихъ поръ только полагалъ, что оно умерло... а теперь я это навѣрное знаю.

— Клянусь вамъ, Илья Степанычъ,—воскликнулъ я:— это все одно воображеніе!

— Воображеніе?—повторилъ онъ.—Хотите сами убѣдиться на дѣлѣ?

— Хочу.

— Ну, такъ выйдемте на улицу.

VIII.

Я наскоро одѣлся и вмѣстѣ съ Тѣглевымъ вышелъ изъ избы. Противъ нея, по ту сторону улицы, не было домовъ, а тянулся низкій, мѣстами сломанный, плетень, за которымъ начинался довольно крутой спускъ на равнину. Туманъ попрежнему окутывалъ всѣ предметы—и за двадцать шаговъ почти ничего не было видно. Мы съ Тѣглевымъ дошли до плетня—и остановились.

— Вотъ, здѣсь,—промолвилъ онъ, и понурилъ голову.— Стойте, молчите — и слушайте! — Я, такъ же, какъ онъ, приникъ ухомъ — и кромѣ обычнаго, до крайности слабаго, но повсемѣстнаго ночного гула, этого дыханья ночи—не услышалъ ничего. Изрѣдка переглядываясь другъ съ другомъ, простояли мы неподвижно нѣсколько минутъ— и уже собирались идти дальше...

„Илюша!“ почудился мнѣ шопотъ изъ-за плетня.

Я глянулъ на Тѣглева — но онъ, казалось, ничего не слыхалъ—и попрежнему держалъ голову понуро.

„Илюша... а Илюша...“ раздалось явственнѣе прежняго — настолько явственно, что можно было понять: эти слова произнесла женщина.

Мы оба разомъ вздрогнули — и уставились другъ на друга.

— Что? — спросилъ меня шопотомъ Тѣглевъ. — Теперь не будете сомнѣваться?

— Постойте,—отвѣчалъ я ему такъ же тихо:—это еще ничего не доказываетъ. Надо посмотрѣть—нѣтъ ли кого? Какой-нибудь шутникъ...

Я перескочилъ черезъ плетень — и пошелъ по тому направленію, откуда, сколько я могъ судить, пронесся голосъ.

Подъ ногами я почувствовалъ мягкую, рыхлую землю; длинныя полосы грядъ пропадали въ туманѣ. Я находился въ огородѣ. Но ничего не шевелилось ни вокругъ меня, ни впереди. Все какъ бы замерло въ онѣмѣніи сна. Я сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ.

— Кто тутъ!—закричалъ я не хуже Тѣглева.

„Пррррь!“ вспугнутый перепелъ выскочилъ изъ-подъ самыхъ ногъ моихъ — и полетѣлъ прочь, прямо, какъ пуля. Я невольно пошатнулся... Что за глупость!

Я глянулъ назадъ. Тѣглевъ виднѣлся на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ я его оставилъ. Я приблизился къ нему.

— Напрасно вы будете звать,—промолвилъ онъ.—Этотъ голосъ дошелъ до насъ... до меня... издалека.

Онъ провелъ рукой по лицу—и тихими шагами направился черезъ улицу домой.—Но я не хотѣлъ такъ скоро сдаться—и вернулся въ огородъ. Что дѣйствительно кто-то три раза кликнулъ „Илюшу“—въ этомъ я никакъ сомнѣваться не могъ; что въ этомъ зовѣ было что-то жалобное и таинственное—въ этомъ я тоже долженъ былъ самому себѣ признаться... Но кто знаетъ, быть-можетъ, все это только казалось непонятнымъ — а на дѣлѣ объяснилось такъ же просто, какъ и тотъ стукъ, который взволновалъ Тѣглева?

Я отправился вдоль плетня, отъ времени до времени останавливаясь и посматривая кругомъ. Подлѣ самаго плетня, въ недальнемъ разстояніи отъ нашей избы, росла старая кудрявая ветла: большимъ чернымъ пятномъ выдавалась она среди общей бѣлизны тумана, той тусклой бѣлизны, которая хуже тѣсноты слѣпитъ и притупляетъ взоръ. Вдругъ мнѣ почудилось, будто что-то, довольно крупное, живое, ворохнулось на землѣ возлѣ той ветлы. Съ восклицаніемъ: „Стой! Кто это?“ бросился я впередъ. Послышались легкіе, словно заячьи шаги; мимо меня быстро шмыгнула скорченная фигура, мужская ли, женская ли—я разобрать не могъ... Я хотѣлъ схватить ее—но не успѣлъ, споткнулся, упалъ и обжегъ лицо о крапиву. Приподнимаясь и опираясь на землю, я почувствовалъ что-то жесткое подъ рукою: то былъ рѣзной мѣдный гребешокъ на шнуркѣ, въ родѣ тѣхъ, которые наши крестьяне носятъ на поясѣ.

Дальнѣйшія мои разысканія остались тщетными — и я *съ гребешкомъ* въ рукѣ и съ острёканными щеками вернулся въ избу.

IX.

Я засталъ Тѣглева сидящимъ на лавкѣ. Передъ нимъ на столѣ горѣла свѣчка — и онъ что-то записывалъ въ небольшой альбомчикъ, который постоянно носилъ съ собою. Увидавъ меня, онъ проворно сунулъ альбомчикъ въ карманъ и принялся набивать трубку.

— Вотъ, батюшка, — началъ я: — какой трофей я изъ моего похода принесъ! — Я показалъ ему гребешокъ и разсказалъ, что̀ со мной случилось около ветлы. — Я, должно-быть, вора вспугнулъ, — прибавилъ я. — Вы слышали—вчера у нашего сосѣда украли лошадь?

Тѣглевъ холодно улыбнулся и закурилъ трубку. Я усѣлся возлѣ него.

— И вы все попрежнему увѣрены, Илья Степанычъ,— промолвилъ я:—что голосъ, который мы слышали, прилетѣлъ изъ тѣхъ невѣдомыхъ странъ...

Онъ остановилъ меня повелительнымъ движеніемъ руки.

— Ридель, — началъ онъ: — мнѣ не до шутокъ—и потому прошу васъ также не шутить.

Тѣглеву дѣйствительно было не до шутокъ. Лицо его измѣнилось. Оно казалось блѣднѣе, выразительнѣе — и длиннѣе. Его странные, „разные“ глаза тихо блуждали.

— Не думалъ я,—заговорилъ онъ снова:—что я когда-нибудь сообщу другому... другому человѣку то, что̀ вы сейчасъ услышите, и что̀ должно было умереть... да, умереть въ груди моей; но, видно, такъ нужно—да и выбору мнѣ нѣтъ. Судьба! Слушайте.

И онъ сообщилъ мнѣ цѣлую исторію.

Я уже сказалъ вамъ, господа, что повѣствователь онъ былъ плохой; но не однимъ неумѣніемъ передавать случившіяся съ нимъ самимъ событія поразилъ онъ меня въ ту ночь; самый звукъ его голоса, его взгляды, движенія, которыя онъ производилъ пальцами, руками—все въ немъ, однимъ словомъ, казалось неестественнымъ, ненужнымъ, фальшью наконецъ. Я былъ еще очень молодъ и неопытенъ тогда — и не зналъ, что привычка риторически выражаться, *ложность* интонацій и маперъ до того можетъ

въѣсться въ человѣка, что онъ уже никакъ не въ состояніи отдѣлаться отъ нея: это своего рода проклятіе. Въ послѣдствіи времени мнѣ случилось встрѣтиться съ одной дамой, которая такимъ напыщеннымъ языкомъ, съ такими театральными жестами, съ такимъ мелодраматическимъ трясеніемъ головы и закатываніемъ глазъ разсказывала мнѣ о впечатлѣніи, произведенномъ на нее смертью ея сына — объ ея „неизмѣримомъ" горѣ, объ ея страхѣ за собственный разсудокъ, что я подумалъ про себя: „Какъ эта барыня вретъ и ломается! Она своего сына вовсе не любила!" А недѣлю спустя я узналъ, что бѣдная женщина дѣйствительно съ ума сошла. Съ тѣхъ поръ я сталъ гораздо осторожнѣе въ своихъ сужденіяхъ и гораздо меньше довѣрялъ собственнымъ впечатлѣніямъ.

X.

Исторія, которую разсказалъ мнѣ Тѣглевъ, была вкратцѣ слѣдующая. У него въ Петербургѣ, кромѣ сановнаго дяди, жила тетка, женщина не сановная — но съ состояніемъ. Будучи бездѣтной, она взяла къ себѣ въ пріемыши дѣвочку, сиротку, изъ мѣщанскаго сословія, дала ей приличное воспитаніе — и обращалась съ ней, какъ съ дочерью. Звали ее Машей. Тѣглевъ видѣлся съ нею чуть не каждый день. Кончилось тѣмъ, что они оба другъ въ друга влюбились, и Маша отдалась ему. Это вышло наружу. Тетка Тѣглева страшно разсердилась, съ позоромъ прогнала несчастную дѣвушку изъ своего дома—и переѣхала въ Москву, гдѣ взяла барышню изъ благородныхъ къ себѣ въ воспитанницы и наслѣдницы. Вернувшись къ прежнимъ родственникамъ, людямъ бѣднымъ и пьянымъ,— Маша терпѣла участь горькую. Тѣглевъ обѣщалъ жениться на ней—и не исполнилъ своего обѣщанія. Въ послѣднее свое свиданіе съ нею — онъ принужденъ былъ высказаться: она хотѣла узнать правду — и добилась ея. „Ну,—промолвила она:—коли мнѣ не быть твоей женою, такъ я знаю, что̀ мнѣ остается сдѣлать". Съ этого послѣдняго свиданья прошло недѣли двѣ слишкомъ.

— Я ни на минуту не обманывался насчетъ значенія

ея послѣднихъ словъ,—прибавилъ Тѣглевъ: —я увѣренъ, что она покончила съ жизнью, и... и что это былъ *ея* голосъ, что это *она* звала меня туда... за собою... Я *узналъ* ея голосъ... Что жъ: одинъ конецъ!

— Но отчего же вы не женились на ней, Илья Степанычъ?—спросилъ я.—Вы ее разлюбили?

— Нѣтъ; я до сихъ поръ люблю ее страстно!

Тутъ я, господа, уставился на Тѣглева. Вспомнился мнѣ другой мой знакомый, человѣкъ очень смышленый, который, обладая весьма некрасивой, неумной и небогатой женой—и будучи очень несчастливъ въ супружествѣ—на сдѣланный ему при мнѣ вопросъ: почему же онъ женился? вѣроятно, по любви?—отвѣчалъ: „Вовсе не по любви! А такъ!" А тутъ Тѣглевъ любитъ страстно дѣвушку и не женится. Что жъ? и это тоже—такъ?!

— Отчего же вы не женитесь?—спросилъ я вторично.

Сонливо-странные глаза Тѣглева забѣгали по столу.

— Этого... въ немногихъ словахъ... не скажешь,—началъ онъ, запинаясь.—Были причины... Да притомъ, она... мѣщанка. Ну, и дядя... я долженъ былъ принять и его въ соображеніе.

— Дядю вашего?—вскрикнулъ я.—Но на какой чортъ вамъ вашъ дядя, котораго вы только и видите, что въ новый годъ, когда съ поздравленіемъ ѣздите? На его богатство разсчитываете? Да у него самого чуть не дюжина дѣтей!

Я говорилъ съ жаромъ... Тѣглева покоробило, и онъ покраснѣлъ... покраснѣлъ неровно, пятнами...

— Прошу не читать мнѣ нотацій — промолвилъ онъ глухо. — Впрочемъ, я не оправдываюсь. Загубилъ я ея жизнь—и теперь надо будетъ долгъ выплатить...

Онъ опустилъ голову и умолкъ. Я тоже ничего сказать не нашелся.

XI.

Такъ мы сидѣли съ четверть часа. Онъ глядѣлъ въ сторону, а я глядѣлъ на него—и замѣтилъ, что волосы у него надо лбомъ какъ-то особенно приподнялись и завились

кудрями, что̀ по замѣчанію одного военнаго лѣкаря, на рукахъ котораго перебывало много раненыхъ, всегда служитъ признакомъ сильнаго и сухого жара въ мозгахъ... Опять мнѣ пришло въ голову, что надъ этимъ человѣкомъ дѣйствительно тяготѣетъ рука судьбы, и что товарищи его не даромъ видѣли въ немъ нѣчто фатальное. И въ то же время я внутренно осуждалъ его. „Мѣщанка!—думалось мнѣ:—да какой же ты аристократъ?"

— Можетъ-быть, вы меня осуждаете, Ридель,—началъ вдругъ Тѣглевъ, какъ бы угадавъ, о чемъ я думалъ.— Мнѣ самому... очень тяжело. Но какъ быть? Какъ быть?

Онъ оперся подбородкомъ на ладонь и принялся покусывать широкіе и плоскіе ногти своихъ короткихъ и красныхъ, какъ желѣзо твердыхъ пальцевъ.

— Я того мнѣнія, Илья Степанычъ, что надо вамъ сперва удостовѣриться, точно ли ваши предположенія справедливы... Быть-можетъ, ваша любезная здравствуетъ. („Сказать ему о настоящей причинѣ стука?—мелькнуло у меня въ головѣ.—Нѣтъ, послѣ").

— Она мнѣ ни разу не писала съ тѣхъ поръ, какъ мы въ лагерѣ,—замѣтилъ Тѣглевъ.

— Это еще ничего не доказываетъ, Илья Степанычъ.

Тѣглевъ махнулъ рукою. — Нѣтъ! ея уже навѣрное больше на свѣтѣ нѣтъ. Она меня звала...

Онъ вдругъ повернулся лицомъ къ окну. — Опять кто-то стучитъ!

Я невольно засмѣялся.—Ну, ужъ извините, Илья Степанычъ! На сей разъ это у васъ нервы. Видите: разсвѣтаетъ. Черезъ десять минутъ солнце взойдетъ—теперь уже четвертый часъ—а привидѣнья днемъ не дѣйствуютъ.

Тѣглевъ бросилъ на меня сумрачный взглядъ, и промолвилъ сквозь зубы: „прощайте-съ" — легъ на лавку и повернулся ко мнѣ спиною.

Я тоже легъ—и, помнится, прежде чѣмъ заснулъ, подумалъ, что къ чему это Тѣглевъ все намекаетъ на то, *что намѣренъ*... лишить себя жизни? Что̀ за вздоръ! что *за фраза*! По собственной волѣ не женился... бросилъ... а

тутъ вдругъ убить себя хочетъ! Смысла нѣтъ человѣческаго! Нельзя не порисоваться!

Съ этими мыслями я заснулъ очень крѣпко—и когда я открылъ глаза, солнце стояло уже высоко на небѣ — и Тѣглева не было въ избѣ...

Онъ, по словамъ его слуги, уѣхалъ въ городъ.

XII.

Я провелъ весьма томительный и скучный день. Тѣглевъ не возвратился ни къ обѣду, ни къ ужину; брата я и не ожидалъ. Къ вечеру опять распространился густой туманъ, еще пуще вчерашняго. Я легъ спать довольно рано. Стукъ подъ окномъ разбудилъ меня.

Пришла *моя* очередь вздрогнуть!

Стукъ повторился—да такъ настойчиво-явственно, что сомнѣваться въ его дѣйствительности было невозможно. Я всталъ, отворилъ окно и увидалъ Тѣглева. Закутанный шинелью, въ надвинутой на глаза фуражкѣ, онъ стоялъ неподвижно.

— Илья Степанычъ!—воскликнулъ я:—это вы? Мы прождались васъ. Войдите. Али дверь заперта?

Тѣглевъ отрицательно покачалъ головою. — Я не намѣренъ войти,—произнесъ онъ глухо:—я хотѣлъ только попросить васъ передать завтра это письмо батарейному командиру.

Онъ протянулъ мнѣ большой кувертъ, запечатанный пятью печатями. Я изумился, однако машинально взялъ кувертъ. Тѣглевъ тотчасъ отошелъ на середину улицы.

— Постойте, постойте, — началъ я: — куда же вы? Вы только теперь пріѣхали? И что̀ это за письмо?

— Вы обѣщаетесь доставить его по адресу? — промолвилъ Тѣглевъ и отступилъ еще на нѣсколько шаговъ. Туманъ запушилъ очертанія его фигуры.—Обѣщаетесь?

— Обѣщаюсь... но сперва...

Тѣглевъ отодвинулся еще дальше — и сталъ продолговатымъ, темнымъ пятномъ.—Прощайте!—раздался его голосъ. — Прощайте, Ридель, не поминайте меня лихомъ... И *Семена не забудьте...*

И самое пятно исчезло.

Это было слишкомъ. „О, фразеръ проклятый!“ подумалъ я. „Нужно же тебѣ все на эффектъ бить!“ Однако мнѣ стало жутко; невольный страхъ стѣснилъ мнѣ грудь. Я накинулъ шинель и выбѣжалъ на улицу.

XIII.

Да; но куда было идти? Туманъ охватилъ меня со всѣхъ сторонъ. На пять, на шесть шаговъ вокругъ онъ еще сквозилъ немного, а дальше такъ и громоздился стѣною, рыхлый и бѣлый, какъ вата. Я взялъ направо по улицѣ деревушки, которая тутъ же прекращалась! наша изба была предпослѣдняя съ краю, а тамъ начиналось пустынное поле, кое-гдѣ поросшее кустами; за полемъ, съ четверть версты отъ деревни, находилась березовая рощица, и черезъ нее протекала та самая рѣчка, которая нѣсколько ниже огибала деревню. Все это я зналъ хорошо, потому что много разъ видѣлъ все это днемъ; теперь же я ничего не видѣлъ и только по бо̀льшей густотѣ и бѣлизнѣ тумана могъ догадываться, гдѣ опускалась почва и протекала рѣчка. На небѣ блѣднымъ пятномъ стоялъ мѣсяцъ, но свѣтъ его не въ силахъ былъ, какъ прошлую ночь, одолѣть дымную плотность тумана и висѣлъ наверху широкимъ, матовымъ по̀логомъ. Я выбрался на поле—прислушался... Нигдѣ ни звука; только кулички посвистывали.

— Тѣглевъ!—крикнулъ я.—Илья Степанычъ!! Тѣглевъ!!

Голосъ мой замиралъ вокругъ меня безъ отвѣта; казалось, самый туманъ не пускалъ его дальше. — Тѣглевъ! повторилъ я.

Никто не отозвался.

Я пошелъ впередъ наобумъ. Раза два я наткнулся на плетень, разъ чуть не свалился въ канаву, чуть не споткнулся о лежавшую на землѣ крестьянскую лошаденку...— Тѣглевъ! Тѣглевъ!—кричалъ я.

Вдругъ, позади меня, въ самомъ близкомъ разстояніи, *послышался* негромкій голосъ:—Ну, вотъ я... Что вы хо*тите отъ* меня?

Я быстро обернулся...

Передо мною, съ опущенными руками, безъ фуражки на головѣ стоялъ Тѣглевъ. Лицо его было блѣдно; но глаза казались оживленными и больше обыкновеннаго... Онъ протяжно и сильно дышалъ сквозь раскрытыя губы.

— Слава Богу! — воскликнулъ я въ порывѣ радости и схватилъ его за обѣ руки. — Слава Богу! Я уже отчаивался найти васъ. И не стыдно вамъ такъ пугать меня? Илья Степанычъ, помилуйте!

— Что вы хотите отъ меня?—повторилъ Тѣглевъ.

— Я хочу... я хочу, во-первыхъ, чтобы вы вмѣстѣ со мною вернулись домой. А во-вторыхъ, я хочу, я требую, требую отъ васъ, какъ отъ друга, чтобы вы немедленно мнѣ объяснили, что̀ значатъ ваши поступки и это письмо къ полковнику? Развѣ съ вами въ Петербургѣ случилось что-нибудь неожиданное?

— Я въ Петербургѣ нашелъ именно то̀, что ожидалъ,— отвѣчалъ Тѣглевъ, все не трогаясь съ мѣста.

— То-есть... вы хотите сказать... ваша знакомая... эта Маша...

— Она лишила себя жизни,—торопливо и какъ бы со злостью подхватилъ Тѣглевъ.—Третьяго дня ее похоронили. Она не оставила мнѣ даже записки. Она отравилась.

Тѣглевъ поспѣшно произносилъ эти страшныя слова, а самъ все стоялъ неподвижно, какъ каменный.

Я всплеснулъ руками. — Неужели? Какое несчастье! Ваше предчувствіе сбылось... Это ужасно!

Въ смущеніи, я умолкъ. Тѣглевъ тихо и какъ бы съ торжествомъ скрестилъ руки.

— Однако,—началъ я:—что̀ же мы стоимъ здѣсь? Пойдемте домой.

— Пойдемте,—сказалъ Тѣглевъ.—Но какъ мы найдемъ дорогу въ этомъ туманѣ?

— Въ нашей избѣ огонь въ окнахъ свѣтитъ — мы и будемъ держаться на него. Пойдемте.

— Ступайте впередъ,—отвѣтилъ Тѣглевъ.—Я за вами.

Мы отправились. Минутъ съ пять шли мы—и путеводный нашъ свѣтъ не показывался; наконецъ, онъ блеснулъ

впереди двумя красными точками. Тѣглевъ мѣрно выступалъ за мною. Мнѣ ужасно хотѣлось поскорѣй добраться домой и узнать отъ него всѣ подробности его несчастной поѣздки въ Петербургъ. Пораженный тѣмъ, что онъ сказалъ мнѣ, я, въ припадкѣ раскаянія и нѣкотораго суевѣрнаго страха, не дойдя еще до нашей избы, сознался ему, что вчерашній таинственный стукъ производилъ я... и какой трагическій оборотъ приняла эта шутка!

Тѣглевъ ограничился замѣчаніемъ, что я тутъ ни при чемъ — что рукой моей водило нѣчто другое — и что это только доказываетъ, какъ мало я его знаю. Голосъ его, странно-спокойный и ровный, звучалъ надъ самымъ моимъ ухомъ.—Но вы меня узнаете,—прибавилъ онъ. —Я видѣлъ, какъ вы вчера улыбнулись, когда я упомянулъ о силѣ воли. Вы меня узнаете—и вы вспомните мои слова.

Первая изба деревни, какъ нѣкое темное чудище, выплыла изъ тумана передъ нами... вотъ, вынырнула и вторая, наша изба—и моя легавая собака залаяла, вѣроятно, почуявши меня.

Я постучалъ въ окошко.—Семенъ!—крикнулъ я Тѣглевскому слугѣ:—эй, Семенъ! отвори намъ поскорѣй калитку.

Калитка стукнула и распахнулась; Семенъ шагнулъ черезъ порогъ. — Илья Степанычъ, пожалуйте, — промолвилъ я и оглянулся...

Но никакого Ильи Степаныча уже не было за мною. Тѣглевъ исчезъ, словно въ землю провалился.

Я вошелъ въ избу, какъ ошалѣлый.

XIV.

Досада на Тѣглева, на самого себя, смѣнила изумленіе, которое сначала овладѣло мною. —Сумасшедшій твой баринъ!—накинулся я на Семена:—какъ есть сумасшедшій! Поскакалъ въ Петербургъ, потомъ вернулся—да и бѣгаетъ зря! Я-было залучилъ его, до самыхъ воротъ привелъ — и вдругъ... хвать! опять удралъ! Въ этакую ночь не сидѣть дома! Нашелъ время гулять!

„*И зачѣмъ это я выпустилъ его руку?*“ укорялъ я *самого себя.*

Семенъ молча поглядывалъ на меня, какъ бы собираясь сказать что-то—но, по обычаю тогдашнихъ слугъ, только потоптался немножко на мѣстѣ.

— Въ которомъ часу онъ уѣхалъ въ городъ? — спросилъ я строго.

— Въ шесть часовъ утра.

— И что же, — онъ казался озабоченнымъ, грустнымъ?

Семенъ потупился.—Нашъ баринъ—мудреный,—началъ онъ:—кто его понять можетъ?—Какъ собрался въ городъ, новый мундиръ подать себѣ велѣлъ—ну, и завился.

— Какъ завился?

— Волосы завилъ. Я имъ и щипцы приспособлялъ.

Этого я, признаюсь, не ожидалъ.—Извѣстна тебѣ одна барышня, — спросилъ я Семена: — Ильи Степаныча пріятельница—зовутъ ее Машей?

— Какъ намъ Марьи Анемподистовны не знать! Барышня хорошая.

— Твой баринъ въ нее влюбленъ, въ эту Марью... ну, и такъ далѣе?

Семенъ вздохнулъ. — Отъ этой самой отъ барышни и пропадать Ильѣ Степанычу. Потому: любятъ они ее ужаственно — а въ супружество взять не рѣшаются — и бросить ее тоже жаль. Отъ этого отъ самаго ихняго малодушія. Ужъ очень они ее любятъ.

— Да что, она—хорошенькая?—полюбопытствовалъ я.

Семенъ принялъ серьезный видъ. — Господа такихъ любятъ.

— А на твой вкусъ?

— Для насъ... статья не подходящая—вовсе.

— А что?

— Тѣломъ оченно худы.

— Если бы она умерла, — началъ я снова: — ты полагаешь, Илья Степанычъ ея не пережилъ бы?

Семенъ опять вздохнулъ. — Этого мы сказать не смѣемъ — дѣло господское... а только баринъ нашъ—мудреный!

Я взялъ со стола большое и довольно толстое письмо, *отданное мнѣ Тѣглевымъ*, повертѣлъ его въ рукахъ...

Адресъ на имя „его высокородія, господина батарейнаго командира, полковника и кавалера“, съ обозначеніемъ имени, отчества и фамиліи — былъ очень чётко и тщательно написанъ. Въ верхнемъ углу куверта стояло слово: „нужное“, дважды подчеркнутое.

— Послушай, Семенъ,—началъ я.—Я боюсь за твоего барина. У него, кажется, недобрыя мысли на умѣ. Надо будетъ отыскать его непремѣнно.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ Семенъ.

— Правда, на дворѣ туманъ такой, что на два аршина ничего разсмотрѣть нельзя; но все равно: надо попытаться. Мы возьмемъ по фонарю — а въ каждомъ окнѣ зажжемъ по свѣчкѣ—на всякій случай.

— Слушаю-съ, — повторилъ Семенъ, зажегъ фонари и свѣчки—и мы отправились.

XV.

Какъ мы съ нимъ блуждали, какъ путались — это передать невозможно! Фонари нисколько не помогали намъ; они нисколько не разгоняли той бѣлой, почти свѣтлой мглы, которая насъ окружала. Мы съ Семеномъ нѣсколько разъ теряли другъ друга, несмотря на то, что перекликались, аукались и тò и дѣло взывали — я: „Тѣглевъ! Илья Степанычъ!“—онъ: „Господинъ Тѣглевъ! Ваше благородіе!“ — Туманъ до того сбивалъ насъ съ толку, что мы бродили, какъ во снѣ; — мы оба скоро охрипли: сырость проникала до самаго дна груди. Кое-какъ мы опять, по милости свѣчекъ въ окнахъ, сошлись у избы. Наши совокупные поиски ни къ чему не повели — мы только связывали другъ друга — а потому мы и положили уже не думать о томъ, какъ бы не разбиться — а идти каждому своей дорогой. Онъ взялъ налѣво, я направо, и скоро пересталъ слышать его голосъ. Туманъ, казалось, пробрался въ самую мою голову—и я бродилъ какъ отуманенный, да только покрикивалъ: Тѣглевъ! Тѣглевъ!

— *Я!*—раздалось вдругъ мнѣ въ отвѣтъ.

Батюшки! какъ я обрадовался! какъ бросился туда,

гдѣ послышался мнѣ голосъ... Человѣческая фигура зачернѣла впереди... я къ ней... Наконецъ-то!

Но, вмѣсто Тѣглева, я увидѣлъ передъ собою другого офицера той же батареи, котораго звали Телепневымъ.

— Это *вы* мнѣ отозвались?—спросилъ я его.

— А это *вы* меня звали? — спросилъ онъ въ свою очередь.

— Нѣтъ; я звалъ Тѣглева.

— Тѣглева? Да я сію минуту его встрѣтилъ. Какая дурацкая ночь! Никакъ къ себѣ домой не попадешь.

— Вы видѣли Тѣглева? куда онъ шелъ?

— Кажись — туда! — Офицеръ провелъ рукой по воздуху. — Но теперь ничего понять нельзя. Вотъ, напр., извѣстно ли вамъ, гдѣ деревня? Одно спасеніе — собака залаетъ. Предурацкая ночь? Позвольте закурить сигарку... все-таки, какъ будто путь себѣ освѣщаешь.

Офицеръ былъ, сколько я замѣтилъ, немного навеселѣ.

— Вамъ Тѣглевъ ничего не сказалъ?—спросилъ я.

— Какъ же! Я ему говорю: братъ, здорово! а онъ мнѣ: прощай, братъ! — Какъ прощай? Почему прощай?— Да я, говоритъ, хочу с'часъ застрѣлиться изъ пистолета.— Чудакъ!

У меня духъ захватило. — Вы говорите, онъ вамъ сказалъ...

— Чудакъ!—повторилъ офицеръ и поплелся отъ меня прочь.

Не успѣлъ я еще придти въ себя отъ заявленія офицера—какъ мое собственное имя, нѣсколько разъ съ усиліемъ выкрикнутое, поразило мой слухъ. Я узналъ голосъ Семена.

Я отозвался... Онъ подошелъ ко мнѣ.

XVI.

— Ну, что?—спросилъ я его.—Нашелъ ты Илью Степаныча?

— Нашелъ-съ.

— Гдѣ?

— *А тутъ, недалече.*

— Какъ же ты... нашелъ его? Онъ живъ?

— Помилуйте—я съ ними разговаривалъ. (У меня отъ сердца отлегло.) Сидятъ подъ березкой, въ шинели... и ничего. Я имъ докладываю: пожалуйте-молъ, Илья Степанычъ, на квартиру: Александръ Васильичъ оченно о васъ безпокоятся. А они мнѣ говорятъ: охота ему безпокоиться! Я на чистомъ воздухѣ быть желаю. У меня голова болитъ. Ступай-молъ домой. А я приду послѣ.

— И ты ушелъ!—воскликнулъ я и всплеснулъ руками.

— А то какъ же-съ? Приказали идти... какъ же я останусь?

Всѣ мои страхи ко мнѣ вернулись разомъ.

— Сію минуту веди меня къ нему — слышишь? Сію минуту! Эхъ, Семенъ, Семенъ, не ожидалъ я этого отъ тебя! Ты говоришь, онъ недалеко отсюда?

— Близехонько, вотъ гдѣ роща началась—тутъ и сидятъ. Отъ рѣчки—отъ берегу—сажени съ двѣ, не больше. Я по рѣчкѣ ихъ и нашелъ.

— Ну веди, веди!

Семенъ отправился впередъ. — Вотъ, извольте, пожалуйте... Только къ рѣчкѣ спуститься—а тамъ сейчасъ...

Но вмѣсто того, чтобы спуститься къ рѣчкѣ — мы зашли въ какую-то ложбину и очутились передъ пустымъ сарайчикомъ...

— Э! стой!—воскликнулъ вдругъ Семенъ.—Это я, знать, вправо забралъ... Надо будетъ сюда, полѣвѣе...

Мы пошли полѣвѣе—и попали въ такой густой бурьянъ, что едва могли выбраться... сколько я помнилъ, вблизи нашей деревни и не было нигдѣ такого сплошного бурьяна. А тамъ вдругъ болото захлюпало у насъ подъ ногами, показались круглыя, моховыя кочки, которыхъ я тоже никогда не видалъ... Мы пошли назадъ — передъ нами выросъ крутой холмикъ, а на холмикѣ стоитъ шалашъ и въ немъ хранитъ кто-то. Мы съ Семеномъ нѣсколько разъ крикнули въ шалашъ: что-то заворочалось въ его глубинѣ, затрещала солома — и хриплый голосъ произнесъ: *кар-раул-лю!*

Мы опять назадъ... поле, поле, безконечное поле...

Я готовъ былъ заплакать... Вспомнились мнѣ слова шута въ „Королѣ Лирѣ“:—„эта ночь насъ всѣхъ съ ума сведетъ, наконецъ...“

— Куда жъ идти? — обратился я съ отчаяніемъ къ Семену.

— Насъ, баринъ, знать, лѣшій обошелъ,—отвѣчалъ растерявшійся слуга.—Это не спроста... Дѣло это нечистое!

Я-было хотѣлъ прикрикнуть на него—но въ это мгновенье до слуха моего долетѣлъ отдѣльный, негромкій звукъ, который тотчасъ привлекъ все мое вниманіе. Что-то слабо пукнуло, вотъ, какъ если бъ кто вытащилъ тугую пробку изъ узкаго горлышка бутылки. Раздался этотъ звукъ недалеко отъ того мѣста, гдѣ я стоялъ. Почему этотъ звукъ показался мнѣ особеннымъ и страннымъ—я сказать не умѣю — но я тотчасъ пошелъ по его направленію.

Семенъ послѣдовалъ за мною. Черезъ нѣсколько мгновеній, что-то высокое и широкое зачернѣло сквозь туманъ.

— Роща! вотъ она, роща! — воскликнулъ радостно Семенъ:—да, вонъ... вонъ и баринъ сидитъ подъ березой... Гдѣ я его оставилъ,—тамъ и сидитъ. Онъ самый и есть!

Я вглядѣлся. Дѣйствительно: на землѣ, у корня березы, спиною къ намъ, неуклюже сгорбившись, сидѣлъ человѣкъ. Я быстро приблизился къ нему—и узналъ шинель Тѣглева, узналъ его фигуру, его наклоненную на грудь голову.—Тѣглевъ!—кликнулъ я... но онъ не отозвался.

— Тѣглевъ!—повторилъ я — и положилъ ему руку на плечо.

Тогда онъ вдругъ покачнулся впередъ, послушно и скоро, словно онъ ожидалъ моего толчка, и повалился на траву. Мы съ Семеномъ тотчасъ его подняли и повернули лицомъ кверху. Оно не было блѣдно, но безжизненно-неподвижно; стиснутые зубы бѣлѣли—а глаза, тоже неподвижные и незакрытые, сохраняли обычный, сонливый и „разный“ взглядъ...

— Господи!—промолвилъ вдругъ Семенъ — и показалъ мнѣ свою обагренную кровью руку... Кровь эта выходила

изъ-подъ разстегнутой шинели Тѣглева, съ лѣвой стороны его груди.

Онъ застрѣлился изъ небольшого одноствольнаго пистолета, который лежалъ тутъ же, возлѣ него. Слабый звукъ, слышанный мною—былъ звукъ, произведенный роковымъ выстрѣломъ.

XVII.

Самоубійство Тѣглева не слишкомъ удивило его товарищей. Я уже сказывалъ вамъ, что, по ихъ понятію, онъ, какъ человѣкъ „фатальный", долженъ былъ выкинуть какую-нибудь необыкновенную штуку, хотя именно этой штуки они, быть-можетъ, отъ него и не ожидали. Въ письмѣ къ батарейному командиру онъ просилъ его, вопервыхъ: распорядиться о выключеніи изъ списковъ подпоручика Ильи Тѣглева, яко самовольно умершаго, при чемъ онъ заявлялъ, что у него въ шкатулкѣ найдется больше наличныхъ денегъ, чѣмъ сколько на немъ можетъ оказаться долговъ; а во-вторыхъ: доставить важному лицу, командовавшему тогда всѣмъ гвардейскимъ корпусомъ, другое, незапечатанное письмо, находившееся въ томъ же кувертѣ. Это второе письмо мы, разумѣется, всѣ прочитали; нѣкоторые изъ насъ взяли съ него копіи. Тѣглевъ видимо трудился надъ сочиненіемъ этого письма. „Вотъ, Ваше В—ство (такъ, помнится, начиналось оно), какъ вы бываете строги и взыскиваете за малѣйшую неисправность въ мундирѣ, за ничтожнѣйшее отступленіе отъ формы, когда къ вамъ является блѣдный, трепещущій офицеръ; а вотъ, я теперь являюсь передъ нашего общаго, неподкупнаго, неумытнаго Судію, передъ Верховное Существо, передъ Существо, которое неизмѣримо значительнѣе даже Вашего В—ства, и являюсь запросто, въ шинели, даже безъ галстука на шеѣ"... Ахъ, какое тяжелое и непріятное впечатлѣніе произвела на меня эта фраза, каждое слово, каждая буква которой старательно были выведены дѣтскимъ почеркомъ покойнаго! Неужели, спрашивалъ я самого себя, неужели стоило придумывать та-

кой вздоръ въ такую минуту? А Тѣглеву, очевидно, понравилась эта фраза: онъ для нея пустилъ въ ходъ всѣ бывшія тогда въ модѣ нагроможденія эпитетовъ и амплификацій à la Марлинскій. Дальше онъ упомянулъ о судьбѣ, о гоненіяхъ, о своемъ призваніи, которое такъ и осталось неисполненнымъ, о тайнѣ, которую онъ унесетъ въ могилу, о людяхъ, которые не хотѣли его понять; приводилъ даже стихи какого-то поэта, который говорилъ о толпѣ, что она носитъ жизнь „какъ ошейникъ" — и въ порокъ въѣдается, „какъ репейникъ"—и все это не безъ орѳографическихъ ошибокъ. Правду сказать, это предсмертное письмо бѣднаго Тѣглева было довольно пошло— и я воображаю презрительное недоумѣніе высокой особы, на имя которой оно было адресовано—воображаю, какимъ тономъ она произнесла: „дрянной офицеръ! дурную траву изъ поля вонъ!" Передъ самымъ только концомъ письма вырвался изъ сердца Тѣглева искренній крикъ. „Ахъ, Ваше В—ство!—такъ заключалъ онъ свое посланіе—я сирота, меня некому было любить смолоду — и всѣ меня чуждались... а единственное сердце, которое отдалось мнѣ—я самъ загубилъ!"

Въ карманѣ шинели у Тѣглева Семенъ нашелъ альбомчикъ, съ которымъ его господинъ не разставался. Но почти всѣ листы были вырваны; уцѣлѣлъ только одинъ, на которомъ стояло слѣдующее вычисленіе:

Наполеонъ род. 15-го августа 1769 года.	Илья Тѣглевъ род. 7-го января 1811 года.
1769	1811
15	7
8 (августъ—8-й мѣс. въ году).	1 (январь—1-й мѣс. въ году).
Итого 1792	Итого 1819
1	1
7	8
9	1
2	9
Итого 19!	Итого 19.

Наполеонъ умеръ 5-го мая 1825 года.	Илья Тѣглевъ умеръ 21-го іюля 1834 года.
1825	1834
5	21
5 (май—5-й мѣс. въ году).	7 (іюль—7-й мѣс. въ году).
Итого 1835	Итого 1862
1	1
8	8
3	6
5	2
Итого 17!	Итого 17!

Бѣднякъ! ужъ не оттого ли онъ и пошелъ въ артиллеристы?

Его похоронили, какъ убійцу — внѣ кладбища — и немедленно о немъ позабыли.

XVIII.

На другой день послѣ похоронъ Тѣглева (я находился еще въ деревнѣ, въ ожиданіи брата) Семенъ вошелъ въ избу и доложилъ, что Илья желаетъ меня видѣть.

— Какой Илья?—спросилъ я.

— А нашъ разносчикъ.

Я велѣлъ позвать его.

Онъ явился. Пожалѣлъ слегка о господинѣ поднеручикѣ; удивился, что молъ это съ нимъ такое попритчилось...

— Онъ остался тебѣ долженъ?—спросилъ я.

— Никакъ нѣтъ-съ. Они что забирали — все сейчас выплачивали въ аккуратѣ. А вотъ что-съ... Тутъ разно чикъ осклабился.—Досталась вамъ одна моя вещица...

— Какая такая вещица?

— А самая вотъ эта-съ. — Онъ показалъ пальцемъ рѣзной гребешокъ, лежавшій на туалетномъ столикѣ. Вещица малой важности-съ, — продолжалъ балагуръ:— какъ я ее получилъ въ подарокъ...

Я вдругъ поднялъ голову. Меня какъ свѣтомъ озар

— Твое имя Илья?

— Точно такъ-съ.

— Такъ уже это не тебя ли я... намедни... подъ ветлою?

Разносчикъ подмигнулъ глазомъ и еще пуще осклабился.

— Меня-съ.

— И это *тебя* звали?..

— Меня-съ,—повторилъ разносчикъ съ игривой скромностью.—Тутъ есть одна дѣвица,—продолжалъ онъ фальцетомъ: — которая, по причинѣ очень большой строгости со стороны родителей...

— Хорошо, хорошо, — перебилъ я его, вручилъ ему гребешокъ и выпроводилъ его вонъ.

Такъ вотъ кто былъ „Илюша"—подумалъ я—и погрузился въ философическія разсужденія, которыя я, впрочемъ, вамъ навязывать не стану, ибо никому не намѣренъ мѣшать вѣрить въ судьбу, предопредѣленіе и прочія фатальности.

Вернувшись въ Петербургъ, я собралъ свѣдѣнія о Машѣ. Я даже отыскалъ доктора, который ее лѣчилъ. Къ изумленію моему, я услышалъ отъ него, что она умерла не отъ отравы, а отъ холеры! Я сообщилъ ему то, что слышалъ отъ Тѣглева.

— Э! э! — воскликнулъ вдругъ докторъ. — Этотъ Тѣглевъ—артиллерійскій офицеръ, средняго роста, сутулый, пришепетываетъ?

— Да.

— Ну, такъ и есть. Этотъ господинъ отъявился ко мнѣ — я его тутъ въ первый разъ увидѣлъ — и началъ настаивать на томъ, что та дѣвушка отравилась. „Холера", говорю я; „ядъ", говоритъ онъ. „Да холера же", говорю я; „да ядъ же", говоритъ онъ. Я вижу, человѣкъ какой-то словно помѣшанный, съ широкимъ затылкомъ, значитъ упрямый, пристаетъ ко мнѣ не съ короткимъ... Все равно, думаю, субъектъ вѣдь померъ... Ну, говорю, отравилась она, коли вамъ этакъ пріятнѣе. Онъ поблагодарилъ меня, даже руку пожалъ—и скрылся.

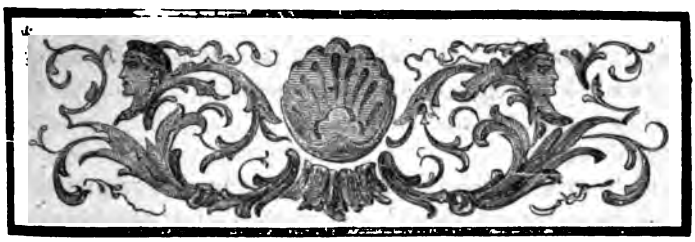
Я разсказалъ доктору, какимъ образомъ этотъ самый *офицеръ въ тотъ же* самый день застрѣлился.

Докторъ даже бровью не повелъ — а только зам: что на свѣтѣ чудаки бываютъ разные.

— Бываютъ,—повторилъ за нимъ и я.

Да, справедливо сказалъ кто-то про самоубійцъ они не исполнятъ своего намѣренія — никто имъ і ритъ; а исполнятъ—никто о нихъ не пожалѣетъ.

Баденъ-Баденъ.—1870.



ПУНИНЪ И БАБУРИНЪ.

(РАЗСКАЗЪ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА Б.)

...Я теперь и старъ, и боленъ—и чаще всего размышляю о смерти, съ каждымъ днемъ болѣе близкой; рѣдко думаю о прошедшемъ, рѣдко устремляю назадъ мой духовный взоръ. Лишь иногда — зимой, сидя неподвижно передъ пылающимъ каминомъ; лѣтомъ, расхаживая тихимъ шагомъ по тѣнистой аллеѣ,—припоминаю я минувшіе годы, событія, лица; но не на зрѣлой порѣ моей жизни и не на молодости останавливаются тогда мои мысли. Онѣ переносятъ меня либо въ раннее дѣтство, либо въ первое отроческое время. Вотъ и теперь: я вижу себя въ деревнѣ у моей строгой и гнѣвной бабушки — мнѣ всего двѣнадцать лѣтъ—и возникаютъ въ моемъ воображеніи два существа...

Но стану разсказывать по порядку и въ связи.

I.

1830 г.

Старый лакей Филиппычъ вошелъ, по обыкновенью, на цыпочкахъ, съ повязаннымъ въ видѣ розетки галстукомъ, *съ крѣпко стиснутыми* — „чтобы не отдавало духомъ" —

губами, съ сѣденькимъ хохолкомъ на самой серединѣ лба; вошелъ, поклонился и подалъ на желѣзномъ подносѣ моей бабушкѣ большое письмо съ гербовой печатью. Бабушка надѣла очки, прочла письмо...

— Самъ онъ тутъ?—спросила она.

— Чего изволите?—робко проговорилъ Филиппычъ.

— Безтолковый! Тотъ, кто привезъ письмо—тутъ?

— Тутот-ка, тутот-ка... Въ конторѣ сидитъ.

Бабушка погремѣла своими янтарными чётками...—Вели ему явиться... А ты, сударь,—обратилась она ко мнѣ:—сиди смирно.

Я и такъ не шевелился въ своемъ уголку, на присвоенномъ мнѣ табуретѣ.

Бабушка держала меня въ ежовыхъ рукавицахъ!

Минутъ пять спустя, вошелъ въ комнату человѣкъ лѣтъ тридцати-пяти, черноволосый, смуглый, съ широкоскулымъ, рябымъ лицомъ, крючковатымъ носомъ и густыми бровями, изъ-подъ которыхъ спокойно и печально выглядывали небольшіе сѣрые глаза. Цвѣтъ этихъ глазъ и выраженіе ихъ не соотвѣтствовали восточному складу остального лица. Одѣтъ былъ вошедшій человѣкъ въ степенный, долгополый сюртукъ. Онъ остановился у самой двери и поклонился—одной головою.

— Твоя фамилія Бабуринъ?—спросила бабушка, и тутъ же прибавила про себя: „Il a l'air d'un arménien".

— Точно такъ-съ,—отвѣчалъ тотъ глухимъ и ровнымъ голосомъ. При первомъ словѣ бабушки: „твоя" — брови его слегка дрогнули. Ужъ не ожидалъ ли онъ, что она будетъ его „выкать", говорить ему: вы?

— Ты русскій? православный?

— Точно такъ-съ.

Бабушка сняла очки, и окинула Бабурина медлительнымъ взоромъ съ головы до ногъ. Онъ не опустилъ глазъ и только руки за спину заложилъ. Собственно меня больше всего интересовала его борода: она была очень гладко *выбрита*, но такихъ синихъ щекъ и подбородка я отроду *не видывалъ*!

— Яковъ Петровичъ, — начала бабушка: — въ письмѣ своемъ очень тебя рекомендуетъ, какъ человѣка „тверёзаго“ и трудолюбиваго; однако, отчего же ты отъ него отошелъ?

— Имъ, сударыня, въ ихъ хозяйствѣ другого качества люди нужны.

— Другого... качества? Этого я что-то не понимаю. — Бабушка снова погремѣла чётками. — Яковъ Петровичъ мнѣ пишетъ, что за тобою двѣ странности водятся. Какія странности?

Бабуринъ легонько пожалъ плечами.

— Не могу знать, что̀ имъ угодно было назвать странностями. Развѣ вотъ, что я... тѣлеснаго наказанія не допускаю.

Бабушка удивилась.—Неужто-жъ Яковъ Петровичъ тебя наказывать хотѣлъ?

Темное лицо Бабурина покраснѣло до самыхъ волосъ.

— Не такъ вы изволили понять меня, сударыня. Я имѣю правиломъ не употреблять тѣлеснаго наказанія... надъ крестьянами.

Бабушка удивилась больше прежняго, даже руки приподняла.

— А! — промолвила она наконецъ, и нагнувши голову нѣсколько на бокъ, еще разъ пристально осмотрѣла Бабурина.—Это твое правило? Ну, это мнѣ совершенно все равно; я тебя не въ приказчики прошу, а въ конторщики, въ писцы. Почеркъ у тебя каковъ?

— Пишу я хорошо-съ, безъ ошибокъ орѳографическихъ.

— И это мнѣ все равно. Мнѣ — главное, чтобы чётко было, да безъ этихъ прописныхъ новыхъ буквъ съ хвостами, которыхъ я не люблю. А какая твоя другая странность?

Бабуринъ помялся на мѣстѣ, кашлянулъ...

— Быть-можетъ... господинъ помѣщикъ изволилъ намекать на то, что я не одинъ.

— Ты женатъ?

— Никакъ нѣтъ-съ... но...

Бабушка нахмурилась.

— Со мной живетъ одно лицо... мужескаго пола... товарищъ, убогій человѣкъ, съ которымъ я не разстаюсь... вотъ уже, почитай, десятый годъ.

— Онъ твой родственникъ?

— Нѣтъ-съ, не родственникъ — товарищъ. Неудобствъ отъ него никакихъ по хозяйству произойти не можетъ,— поспѣшилъ прибавить Бабуринъ, какъ бы предупреждая возраженія. — Живетъ онъ на моихъ харчахъ, помѣщается въ одной со мной комнатѣ; скорѣй пользу онъ должòнъ принесть, такъ какъ грамотѣ онъ обученъ, безъ лести сказать, въ совершенствѣ, и нравственность имѣетъ примѣрную.

Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь.

— Онъ на твоемъ иждивеніи живетъ?

— На моемъ-съ.

— Ты его изъ милости содержишь?

— По справедливости... такъ какъ бѣднаго человѣка обязанность есть—помогать другому бѣдному.

— Вотъ какъ! Впервое слышу. Я до сихъ поръ полагала, что это скорѣй обязанность богатыхъ людей.

— Для богатыхъ, осмѣлюсь доложить, это занятіе... а для нашего брата...

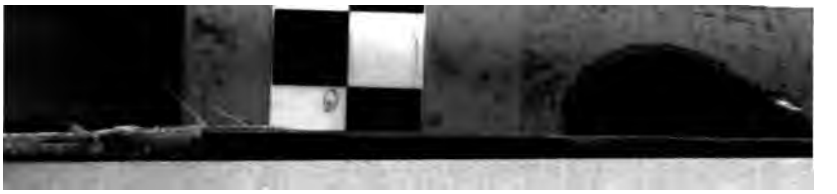
— Ну, довольно, довольно, хорошо, — перебила бабушка и, подумавъ немного, промолвила въ носъ, чтò всегда было дурнымъ знàкомъ:—А какихъ онъ лѣтъ, твой нахлѣбникъ?

— Моихъ лѣтъ-съ.

— Твоихъ?—Я полагала, онъ твой воспитанникъ.

— Никакъ нѣтъ-съ; онъ мой товарищъ—и притомъ...

— Довольно,—вторично перебила бабушка.—Ты, значитъ, филантропъ. Яковъ Петровичъ правъ: въ твоемъ званіи—это странность большая. А теперь поговоримъ-ка о дѣлѣ. Я тебѣ растолкую, какія будутъ твои занятія. Да, вотъ еще насчетъ жалованья... — Que faites vous ici? — прибавила вдругъ бабушка, обративъ ко мнѣ свое *сухое и* желтое лицо. — Allez étudier votre devoir de *mythologie.*



Я вскочилъ, подошелъ къ бабушкиной ручкѣ и отправился,—не изучать миѳологію, а просто въ садъ.

Садъ въ бабушкиномъ имѣніи былъ очень старъ и великъ, и заканчивался съ одной стороны проточнымъ прудомъ, въ которомъ не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче почти вездѣ исчезнувшіе гольцы. Въ головѣ этого пруда засѣлъ густой лознякъ; дальше вверхъ, по обоимъ бокамъ косогора, шли сплошные кусты орѣшника, бузины, жимолости, тёрна, проросшіе снизу верескомъ и зорей. Лишь кое-гдѣ между кустами выдавались крохотныя полянки съ изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрѣя своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистыя сыроѣжки и свѣтлыми пятнами загорались золотые шарики „куриной слѣпоты". Тутъ по веснамъ пѣвали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тутъ и въ лѣтній зной стояла прохлада—и я любилъ забиваться въ эту глушь и чащу, гдѣ у меня были фаворитныя, потаенныя мѣстечки, извѣстныя, — такъ, по крайней мѣрѣ, я воображалъ! — только мнѣ одному. Вышедши изъ бабушкинаго кабинета, я прямо отправился въ одно изъ тѣхъ мѣстечекъ, прозванное мною „Швейцаріей". Но каково было мое изумленіе, когда, еще не добравшись до „Швейцаріи", я сквозь частый переплетъ полузасохшихъ прутьевъ и зеленыхъ вѣтвей увидалъ, что кто-то открылъ ее кромѣ меня! Какая-то длинная-длинная фигура, въ желтомъ фризовомъ балахонѣ и высокомъ картузѣ, стояла на самомъ облюбленномъ мною мѣстечкѣ! Я подкрался поближе и разглядѣлъ лицо, совершенно мнѣ незнакомое, тоже предлинное, мягкое, съ небольшими красноватыми глазками и презабавнымъ носомъ: вытянутый, какъ стручокъ, онъ точно повисъ надъ пухлыми губками; и эти губки, изрѣдка вздрагивая и округляясь, издавали тонкій свистъ, между тѣмъ какъ длинные пальцы костлявыхъ рукъ, поставленные дружка противъ дружки на вышинѣ груди, *проворно двигались* круговращательнымъ движеніемъ.

Время отъ времени движеніе рукъ замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась впередъ, какъ бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вглядѣлся еще внимательнѣе... Незнакомецъ держалъ въ каждой рукѣ по небольшой плоской чашечкѣ, въ родѣ тѣхъ, которыми дразнятъ и заставляютъ пѣть канареекъ. Сукъ хрустнулъ у меня подъ ногою; незнакомецъ дрогнулъ, устремилъ свои слѣпые глазенки въ чащу и попятился-было... да наткнулся на дерево, охнулъ и остановился.

Я вышелъ на полянку. Незнакомецъ улыбнулся.

— Здравствуйте,—промолвилъ я.

— Здравствуйте, барчукъ!

Мнѣ не понравилось, что онъ меня назвалъ барчукомъ. Что за фамильярность!

— Что вы здѣсь дѣлаете?—спросилъ я строго.

— А вотъ, видите,—отвѣчалъ онъ, не переставая улыбаться.—Птичекъ на пѣніе вызываю.—Онъ показалъ мнѣ свои чашечки.—Зяблики отлично отвѣтствуютъ! Васъ, по младости вашихъ лѣтъ, пѣніе пернатыхъ должно услащать безпремѣнно! Извольте прислушать: я стану щебетать—а онѣ за мною сейчасъ—какъ пріятно!

Онъ началъ тереть свои чашечки. Точно, зябликъ отозвался на ближней рябинѣ. Незнакомецъ засмѣялся беззвучно и подмигнулъ мнѣ глазомъ.

Смѣхъ этотъ и это подмигиваніе—каждое движеніе незнакомца, его шепелявый, слабый голосъ, выгнутыя колѣни, худощавыя руки, самый его картузъ, его длинный балахонъ—все въ немъ дышало добродушіемъ, чѣмъ-то невиннымъ и забавнымъ.

— Вы давно сюда пріѣхали?—спросилъ я.

— А сегодня.

— Да вы не тотъ ли, о которомъ...

— Господинъ Бабуринъ съ барыней говорилъ? Тотъ самый, тотъ самый.

— Вашего товарища Бабуринымъ зовутъ, а васъ?

— А меня—Пунинымъ. Пунинъ моя фамилія; Пунинъ. Онъ Бабуринъ, а я Пунинъ.—Онъ опять зажужжалъ ча-

шечками.—Слышите, слышите зяблика... Какъ заливается!

Мнѣ этотъ чудакъ вдругъ „ужасно“ полюбился. Какъ почти всѣ мальчики, я съ чужими либо робѣлъ, либо важничалъ, а съ этимъ я словно вѣкъ былъ знакомъ.

— Пойдемте со мною, — сказалъ я ему: — я знаю мѣстечко еще лучше этого; тамъ есть скамейка: мы сѣсть можемъ, и плотина оттуда видна.

— Извольте, пойдемте, — отвѣчалъ нарасчѣвъ мой новый пріятель. Я пропустилъ его впередъ. На ходу онъ переваливался, шмыгалъ ногами и затылокъ назадъ закидывалъ.

Я замѣтилъ, что у него сзади на балахонѣ, подъ воротникомъ, болталась небольшая кисточка. — Что это у васъ такое виситъ?—спросилъ я.

— Гдѣ? — переспросилъ онъ, и пощупалъ воротникъ рукою.—А! Эта кисточка? Пущай ее! Значитъ, для красы пришита. Не мѣшаетъ.

Я привелъ его къ скамейкѣ, сѣлъ; онъ помѣстился рядомъ.—Здѣсь хорошо!—промолвилъ онъ и вздохнулъ глубоко, глубоко.—Охъ, хорошохонько! Отличнѣйшій у васъ садъ! Охъ, охъ-хо!

Я посмотрѣлъ на него сбоку.—Какой у васъ картузъ,— невольно воскликнулъ я.—Покажите-ка!

— Извольте, барчукъ, извольте. — Онъ снялъ картузъ; я протянулъ-было руку, но поднялъ глаза и — такъ и прыснулъ. Пунинъ былъ совершенно лысъ; ни одного волосика не виднѣлось на заостренномъ его черепѣ, покрытомъ гладкой и бѣлой кожей.

Онъ провелъ по немъ ладонью и засмѣялся тоже. Когда онъ смѣялся, онъ словно захлебывался, раскрывалъ широко ротъ, закрывалъ глаза—а по лбу пробѣгали морщины снизу вверхъ, въ три ряда, какъ волны.—Что?— сказалъ онъ, наконецъ.—Не правда ли, настоящее яйцо?

— Настоящее, настоящее яйцо!—подхватилъ я съ восторгомъ.—И давно вы такіе?

— Давно; а какіе были волосы!—Золотое руно, подобное тому, за которымъ аргонавты переплывали морскія пучины.

Хотя мнѣ всего было двѣнадцать лѣтъ, однако, я, по милости моихъ миѳологическихъ занятій, зналъ, кто были аргонавты; тѣмъ болѣе удивился я, услышавъ это слово въ устахъ человѣка, одѣтаго чуть не въ рубище.

— Вы, стало-быть, учились миѳологіи? — спросилъ я, переворачивая въ рукахъ картузъ, который оказался на ватѣ, съ мѣховымъ облѣзлымъ околышкомъ и картоннымъ надломаннымъ козырькомъ.

— Изучалъ этотъ предметъ, барчучёночекъ мой миленькій; въ жизни моей всего было достаточно! А теперь возвратите-тка мнѣ покрышку, ею же защищается нагота главы моея.

Онъ нахлобучилъ картузъ, и, перекосивъ свои бѣловатыя брови, спросилъ меня: кто я собственно такой и кто мои родители?

— Я внукъ здѣшней помѣщицы, — отвѣчалъ я. — Я у ней одинъ. Папа и мама умерли.

Пунинъ перекрестился. — Царство имъ небесное! Значитъ: сирота; ну, и наслѣдникъ. Дворянская-то кровь сейчасъ видна: такъ въ глазенкахъ и бѣгаетъ, такъ и играетъ... ж...ж...ж...ж...—Онъ представилъ пальцами, какъ играетъ кровь. — Ну — а не знаете ли, ваше благородіе, поладилъ ли мой товарищъ съ бабенькой вашей, получилъ ли мѣсто, которое ему обѣщали?

— Этого я не знаю.

Пунинъ крякнулъ. — Эхъ! кабы здѣсь пристроиться! хотя бы на время! А то странствуешь, странствуешь, пріюта не обрѣтается, тревоги житейскія не прекращаются, душа сомущается...

— Скажите, — перебилъ я его: — вы изъ духовнаго званія?

Пунинъ обернулся ко мнѣ и прищурился. — А какая сему вопросу причина, отроче мой любезный?

— Да вы такъ говорите — вотъ, какъ въ церкви читаютъ.

— Что славянскія-то реченія я употребляю? Но это *не должно* васъ удивлять. Положимъ, въ обыкновенной *бесѣдѣ* подобныя реченья не всегда умѣстны, но какъ

только воспаришь духомъ—такъ сейчасъ и слогъ является возвышенный. Неужто же вашъ учитель — преподаватель словесности россійской — вѣдь вамъ ее преподаютъ?— неужто же онъ вамъ этого не объясняетъ?

— Нѣтъ, не объясняетъ,—отвѣтилъ я. — Когда мы въ деревнѣ живемъ—у меня и учителя нѣтъ. Въ Москвѣ у меня много учителей.

— А долго ли вы въ деревнѣ проживать изволите?

— Мѣсяца два, не больше: бабушка говоритъ, что я въ деревнѣ балуюсь. Гувернантка со мной есть и тутъ.

— Французенка?

— Француженка.

Пунинъ почесалъ у себя за ухомъ.— Сирѣчь, мамзель?

— Да; ее зовутъ мадмуазель Фрикэ.— Мнѣ вдругъ показалось постыднымъ, что у меня, двѣнадцатилѣтняго мальчика, не гувернеръ, а гувернантка, точно у дѣвочки!— Да я ея не слушаюсь,—прибавилъ я съ пренебреженіемъ.— Мнѣ что!

Пунинъ покачалъ головою.—Охъ, дворянчики, дворянчики! полюбились вамъ иностранчики! Отъ россійскаго вы отклонилися, — на чужое преклонилися, къ иноземцамъ обратилися...

— Что это? Вы стихами говорите?—спросилъ я.

— А вы какъ полагаете? Я могу завсегда, сколько угодно; потому, сіе мнѣ природно...

Но въ это самое мгновеніе раздался въ саду, за нами, сильный и рѣзкій свистъ. Собесѣдникъ мой проворно поднялся съ лавки.— Простите, барчукъ, это товарищъ меня зоветъ, ищетъ меня... Что-то онъ мнѣ скажетъ? простите, не взыщите...

Онъ юркнулъ въ кусты и исчезъ, а я посидѣлъ еще на скамейкѣ. Я чувствовалъ недоумѣнье и какое-то другое, довольно пріятное чувство... я никогда еще не встрѣчался и не говорилъ съ такимъ человѣкомъ. Понемногу я размечтался, но вспомнилъ миѳологію—и побрелъ домой.

Дома я узналъ, что бабушка сошлась съ Бабуринымъ: ему *отвели небольшую* комнату въ людской избѣ, на кон-

номъ дворѣ. Онъ тотчасъ поселился въ ней съ своимъ товарищемъ.

На другое утро, я, напившись чаю и не отпросившись у мадмуазель Фрикэ, отправился въ людскую избу. Мнѣ хотѣлось опять поболтать со вчерашнимъ чудакомъ. Не постучавшись въ дверь—этого обычая у насъ и въ заводѣ не было—я прямо вошелъ въ комнату. Я засталъ въ ней не того, кого я искалъ, не Пунина, а покровителя его—филантропа Бабурина. Онъ стоялъ передъ окномъ, безъ верхней одежды, широко растопыривъ ноги, и тщательно вытиралъ себѣ голову и шею длиннымъ полотенцемъ.

— Вамъ что угодно? — промолвилъ онъ, не опуская рукъ и насупивъ брови.

— Пунина нѣтъ дома?—спросилъ я самымъ развязнымъ манеромъ и не снимая шапки.

— Господина Пунина, Никандра Вавилыча, въ сію минуту, точно, нѣтъ дома, — отвѣчалъ, не торопясь, Бабуринъ:—но позвольте вамъ замѣтить, молодой человѣкъ: развѣ прилично — такъ, не спросясь, входить въ чужую комнату?

Я!.. молодой человѣкъ!.. какъ онъ смѣетъ!.. Я вспыхнулъ отъ гнѣва.

— Вы, должно-быть, меня не знаете,—произнесъ я уже не развязно, а надменно:—я здѣшней барыни внукъ.

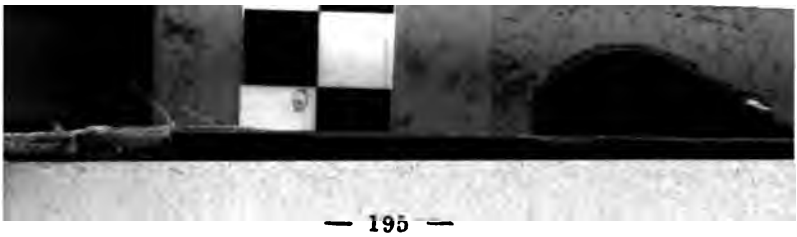
— Это мнѣ все едино, — возразилъ Бабуринъ, снова принимаясь за полотенце.— Вы хоть и барскій внукъ—а не имѣете права входить въ чужую комнату.

— Какая же она чужая? Что вы?! Я здѣсь—вездѣ—дома.

— Нѣтъ, извините, здѣсь дома—я; потому, что комната эта назначена мнѣ, по условію,—за мои труды.

— Не учите меня, пожалуйста, — перебилъ я его:— я лучше васъ знаю, что...

— Васъ надобно учить, — перебилъ онъ меня въ свою очередь: — потому, что вы въ такомъ возрастѣ обрѣтаетесь... Я знаю свои обязанности, но и права свои знаю тоже очень хорошо, и если вы будете продолжать такимъ образомъ со мною бесѣдовать — то мнѣ придется попросить васъ отсюда выйти.



Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилось наше препираніе, если бъ въ эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошелъ Пунинъ. Онъ, вѣроятно, догадался, по выраженію нашихъ лицъ, что между нами произошло что-то неладное, и тотчасъ обратился ко мнѣ съ самыми любезными изъявленіями радости.

— А, барчукъ! барчукъ! — воскликнулъ онъ, безпорядочно взмахивая руками и заливаясь своимъ беззвучнымъ смѣхомъ: — миленькій! меня навѣстить пришелъ! пришелъ, миленькій! (Что это? подумалъ я: неужто же онъ мнѣ — „ты“ говоритъ?) Ну, пойдемъ, пойдемъ со мною въ садъ. Я тамъ нѣчто такое нашелъ... Что въ духотѣ сидѣть-то! пойдемъ.

Я послѣдовалъ за Пунинымъ, однако, на порогѣ двери почелъ за нужное обернуться и бросить вызывающій взоръ на Бабурина. Я, молъ, тебя не боюсь!

Онъ отвѣтилъ мнѣ тѣмъ же и даже фукнулъ въ полотенце — вѣроятно, для того, чтобы хорошенько дать мнѣ почувствовать, до какой степени онъ меня презираетъ!

— Какой нахалъ вашъ пріятель! — сказалъ я Пунину, какъ только дверь затворилась за мною.

Пунинъ чуть не съ испугомъ поворотилъ ко мнѣ свое пухлое лицо.

— Это вы о комъ такъ выражаетесь? — спросилъ онъ, выпуча глаза.

— Да, конечно, о немъ... какъ вы его называете? объ этомъ... Бабуринѣ.

— О Парамонѣ Семеновичѣ?

— Ну, да; вотъ объ этомъ... черномазомъ.

— Э... э... э..! — промолвилъ съ ласковой укоризной Пунинъ. — Какъ это вы можете такъ говорить, барчукъ, барчукъ! — Парамонъ Семенычъ человѣкъ достойнѣйшій, строжайшихъ правилъ, изъ ряду вонъ! Ну, конечно, — себя онъ въ обиду не дастъ, потому — цѣну себѣ знаетъ. Большими познаніями обладаетъ сей человѣкъ — и не такое бы ему занимать мѣсто! Съ нимъ, мой миленькій, надо обходиться вѣжливенько, вѣдь онъ... тутъ Пунинъ *наклонился къ самому моему уху* — республиканецъ!

Я уставился на Пунина. Этого я никакъ не ожидалъ. Изъ учебника Кайданова и другихъ историческихъ сочиненій я вычиталъ, что существовали когда-то, въ древности, республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображалъ ихъ всѣхъ въ шлемахъ, съ круглыми щитами на рукахъ и голыми большими ногами; но чтобы въ дѣйствительности, въ настоящее время, особенно въ Россіи, въ ....ой губерніи, могли находиться республиканцы — это сбивало всѣ мои понятія, совершенно путало ихъ!

— Да, мой миленькій, да; Парамонъ Семенычъ республиканецъ,—повторилъ Пунинъ;—вотъ, вы и знайте впередъ, какъ о такомъ человѣкѣ отзываться! — А теперь пойдемте въ садъ. Представьте, что̀ я тамъ нашелъ! Кукушкино яйцо въ гнѣздѣ у горихвостки! чудеса!

Я отправился въ садъ вмѣстѣ съ Пунинымъ; но мысленно все твердилъ: республиканецъ! рес...пу...бликанецъ! „То-то,—рѣшилъ я, наконецъ, — у него такая синяя борода!"

Мои отношенія къ этимъ двумъ личностямъ — Пунину и Бабурину — опредѣлились окончательно съ самаго того дня. Бабуринъ возбуждалъ во мнѣ чувство враждебное, къ которому, однако, въ скоромъ времени примѣшалось нѣчто похожее на уваженіе. И боялся же я его! Я не пересталъ бояться его даже тогда, когда въ его обращеніи со мною исчезла прежняя рѣзкая строгость. Нечего говорить, что я Пунина не боялся; я даже не уважалъ его, я считалъ его — говоря безъ обиняковъ — за шута; но полюбилъ я его всею душою! Проводить цѣлые часы въ его обществѣ, быть съ нимъ наединѣ, слушать его разсказы—стало для меня истиннымъ наслажденьемъ. Бабушкѣ очень не нравилась эта „intimité" съ человѣкомъ изъ „простецовъ"—„du commun"; но я, какъ только мнѣ удавалось урваться, тотчасъ бѣжалъ къ моему забавному, дорогому, странному другу. Свиданія наши стали особенно часты послѣ удаленія мадмуазель Фрикэ, которую бабушка отправила обратно въ Москву въ нака-

заніе за то, что она вздумала пожаловаться заѣзжему армейскому штабсъ-капитану на скуку, господствовавшую въ нашемъ домѣ. И Пунинъ, съ своей стороны, не тяготился продолжительными бесѣдами съ двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ; онъ словно самъ искалъ ихъ. Сколько переслушалъ я его разсказовъ, сидя съ нимъ въ пахучей тѣни, на сухой и гладкой травѣ, подъ навѣсомъ серебристыхъ тополей, или въ камышахъ надъ прудомъ, на крупномъ и сыроватомъ песку обвалившагося берега, изъ котораго, странно сплетаясь, какъ большія черныя жилы, какъ змѣи, какъ выходцы подземнаго царства, торчали узловатые коренья! Пунинъ въ подробности разсказалъ мнѣ свою жизнь, всѣ свои счастливые и несчастные случаи, которымъ я всегда такъ искренно сочувствовалъ! Его отецъ былъ дьякономъ;—„чудесный былъ человѣкъ—однако, подъ хмелемъ строгъ до безпамятства“.

Самъ Пунинъ учился въ семинаріи; но, не выдержавъ „поронцій“ и не ощущая въ себѣ расположенія къ духовному званію, сдѣлался міряниномъ, вслѣдствіе чего произошелъ всѣ мытарства и сталъ, наконецъ, бродягой.—„И не встрѣться я съ благодѣтелемъ моимъ Парамономъ Семенычемъ“, прибавлялъ обыкновенно Пунинъ (онъ иначе не величалъ Бабурина), „погрязъ бы я въ пучинѣ бѣдствій, безобразія и пороковъ!“ Пунинъ любилъ высокопарныя выраженія — и если не ко лжи, то къ сочинительству и преувеличиванію поползновеніе имѣлъ сильное; всему-то онъ дивился, отъ всего приходилъ въ восторгъ... И я, въ подражаніе ему, тоже пускался преувеличивать и восторгаться.—„Да ты какой-то бѣсноватый сталъ—перекрестись, что ты это“,—говаривала мнѣ старая няня. Разсказы Пунина занимали меня чрезвычайно; но больше даже его разсказовъ любилъ я чтенія, которыя онъ производилъ со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывалъ, когда, улучивъ удобную минуту, онъ внезапно, словно сказочный пустынникъ или добрый духъ, появлялся передо мною съ увѣсистой книгой подъ мышкой, и, украдкой кивая длиннымъ кривымъ пальцемъ и таинственно подмигивая, указывалъ головой, бровями,

плечами, всѣмъ тѣломъ на глубь и глушь сада, куда никто не могъ проникнуть за нами и гдѣ невозможно было насъ отыскать! И вотъ, удалось намъ уйти незамѣченными; вотъ, мы благополучно достигли одного изъ нашихъ тайныхъ мѣстечекъ; вотъ, мы сидимъ уже рядкомъ, вотъ, уже и книга медленно раскрывается, издавая рѣзкій, для меня тогда неизъяснимо-пріятный запахъ плѣсени и старья! Съ какимъ трепетомъ, съ какимъ волненіемъ нѣмотствующаго ожиданія гляжу я въ лицо, въ губы Пунина—въ эти губы, изъ которыхъ вотъ-вотъ польется сладостная рѣчь! Раздаются, наконецъ, первые звуки чтенія! Все вокругъ исчезаетъ... нѣтъ, не исчезаетъ, а становится далекимъ, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатлѣніе чего-то дружелюбнаго и покровительственнаго!—Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокія травы заслоняютъ, укрываютъ насъ отъ всего остального міра; никто не знаетъ, гдѣ мы, что̀ мы — а съ нами поэзія, мы проникаемся, мы упиваемся ею, у насъ происходитъ важное, великое, тайное дѣло... Пунинъ преимущественно придерживался стиховъ—звонкихъ, многошумныхъ стиховъ; душу свою онъ готовъ былъ положить за нихъ! Онъ не читалъ, онъ выкрикивалъ ихъ торжественно, заливчато, закатисто, въ носъ, какъ опьянѣлый, какъ изступленный, какъ Пиѳія! И еще вотъ какая за нимъ водилась привычка: сперва прожужжитъ стихъ тихо, вполголоса, какъ бы бормоча... Это онъ называлъ читать начерно̀; потомъ уже грянетъ тотъ же самый стихъ набѣло, и вдругъ вскочитъ, подниметъ руки — не то молитвенно, не то повелительно... Такимъ образомъ мы прошли съ нимъ не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чѣмъ старѣе были стихи, тѣмъ больше они приходились Пунину по вкусу) — но даже „Россіаду“ Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая „Россіада“, меня въ особенности восхитила. Тамъ, между прочимъ, дѣйствуетъ одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ея позабылъ, а *тогда у меня* и руки и ноги холодѣли, какъ только оно *упоминалось!* — „Да“, говаривалъ бывало Пунинъ, значи-

тельно кивая головою: „Херасковъ—тотъ спуску не даетъ. Иной разъ такой выдвинетъ стишокъ—просто, зашибетъ... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а ужъ онъ—вонъ гдѣ! и трубитъ, трубитъ, аки кимвалонъ! Зато ужъ и имя ему дано! одно слово: Херрасковъ!!“ Ломоносова Пунинъ упрекалъ въ слишкомъ простомъ и вольномъ слогѣ, а къ Державину относился почти враждебно, говоря, что онъ болѣе царедворецъ, нежели піита. Въ нашемъ домѣ не только не обращали никакого вниманія на литературу, на поэзію, но даже считали стихи, особенно русскіе стихи, за нѣчто совсѣмъ непристойное и пошлое; бабушка ихъ даже не называла стихами, а „кантами“; всякій сочинитель кантовъ былъ, по ея мнѣнію, либо пьяница горькій, либо круглый дуракъ. Воспитанный въ подобныхъ понятіяхъ, я неминуемо долженъ былъ либо съ гадливостью отвернуться отъ Пунина — онъ же къ тому былъ неопрятенъ и неряшливъ, что̀ тоже оскорбляло мои барскія привычки, — либо, увлеченный и побѣжденный имъ, послѣдовать его примѣру, заразиться его стихобѣсіемъ... Оно такъ и случилось. Я тоже началъ читать стихи, или, какъ выражалась бабушка, воспѣвать канты... даже попытался самъ нѣчто сочинить, а именно описаніе шарманки, въ которомъ находились слѣдующіе два стишка:

Вотъ вертится толстый валъ
И зубцами защелкалъ...

Пунинъ одобрилъ въ этомъ описаніи нѣкоторую звукоподражательность, но самый сюжетъ осудилъ, какъ низкій и недостойный лирнаго бряцанья.

Увы! всѣ эти попытки и волненія, и восторги, наши уединенныя чтенія, наша жизнь вдвоемъ, наша поэзія— все покончилось разомъ. Какъ громовой ударъ, на насъ внезапно обрушилась бѣда.

Бабушка во всемъ любила чистоту и порядокъ, ни дать ни взять—тогдашніе исполнительные генералы; въ чистотѣ и порядкѣ долженъ былъ содержаться и садъ нашъ. А *потому отъ времени* до времени въ него „нагоняли“ без-

тягольныхъ мужиковъ-бобылей, заштатныхъ или опальныхъ дворовыхъ — и заставляли ихъ чистить дорожки, полоть гряды, просѣвать и разрыхлять землю подъ клумбы и т. п. Вотъ, однажды, въ самый развалъ именно такого пригона, бабушка отправилась въ садъ, и меня съ собой взяла. Всюду, между деревьевъ, по луговинамъ, мелькали бѣлыя, красныя, сизыя рубахи; всюду слышался скрежетъ и лязгъ скребущихъ лопатъ, глухой стукъ земляныхъ комьевъ о косо-поставленныя сита. Проходя мимо рабочихъ, бабушка своимъ орлинымъ окомъ тотчасъ замѣтила, что одинъ изъ нихъ и усердствовалъ меньше прочихъ, и шапку снялъ какъ будто нехотя. Это былъ очень еще молодой парень, съ испитымъ лицомъ и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтанъ, весь порванный и заплатанный, едва держался на узкихъ его плечахъ.

— Кто это? — спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочкахъ выступавшаго за нею слѣдомъ.

— Вы... про кого... изволите... — залепеталъ-было Филиппычъ.

— О, дуракъ! Я про этого говорю, что̀ волкомъ на меня посмотрѣлъ. Вонъ, стоитъ—не работаетъ.

— Этотъ-съ! Да-съ... Э... э... это Ермилъ, Павла Аѳанасьева покойнаго сынокъ.

Этотъ Павелъ Аѳанасьевъ былъ, лѣтъ десять тому назадъ, мажордомомъ у бабушки и пользовался особеннымъ ея расположеніемъ; но, внезапно впавъ въ немилость, такъ же внезапно превратился въ скотника, да и въ скотникахъ не удержался, покатился дальше, кубаремъ, очутился, наконецъ, въ курной избѣ заглазной деревни на пудѣ муки мѣсячины, и умеръ отъ паралича, оставивъ семью въ крайней бѣдности.

— Ага! — промолвила бабушка; — яблоко, видно, недалеко отъ яблони падаетъ. Ну, придется распорядиться и съ этимъ. Мнѣ такихъ, что̀ исподлобья смотрятъ, — не надобно.

Бабушка вернулась домой—и распорядилась. Часа черезъ три, Ермила, совершенно „снаряженнаго", привели подъ окно ея кабинета. Несчастный мальчикъ отправлялся

на поселеніе; за оградой, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, виднѣлась крестьянская телѣжёнка, нагруженная его бѣднымъ скарбомъ. Такія были тогда времена!— Ермилъ стоялъ безъ шапки, попуривъ голову, босой, закинувъ за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное къ барскому дому, не выражало ни отчаянія, ни скорби, ни даже изумленія; тупая усмѣшка застыла на безцвѣтныхъ губахъ; глаза, сухіе и съеженные, глядѣли упорно въ землю. Бабушкѣ доложили о немъ. Она встала съ дивана, подошла, чуть шумя шелковымъ платьемъ, къ окну кабинета, и, приложивъ къ переносицѣ золотой двойной лорнетъ, посмотрѣла на новаго ссыльнаго. Въ кабинетѣ, кромѣ ея, находились въ ту минуту четыре человѣка: дворецкій, Бабуринъ, дневальный казачокъ и я.

Бабушка качнула головою сверху внизъ.

— Сударыня, — раздался вдругъ хриплый, почти сдавленный голосъ. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснѣло... покраснѣло до темноты; подъ насупленными бровями появились маленькія, свѣтлыя, острыя точки... Не было сомнѣнія: это онъ, это Бабуринъ произнесъ слово: „Сударыня!“

Бабушка тоже оглянулась, и перевела свой лорнетъ съ Ермила на Бабурина.

— Кто тутъ... говоритъ?—произнесла она медленно, въ носъ. Бабуринъ слегка выступилъ впередъ.

— Сударыня,—началъ онъ:—это я... рѣшился. Я полагалъ... Я осмѣливаюсь доложить вамъ, что вы напрасно изволите поступать такъ... какъ вы сейчасъ поступить изволили.

— То-есть? — повторила бабушка тѣмъ же голосомъ и не отводя лорнета.

— Я имѣю честь... — продолжалъ Бабуринъ отчетливо, хотя съ видимымъ трудомъ выговаривая каждое слово:— я изъясняюсь на счетъ этого парня, что́ ссылается на поселеніе... безо всякой съ его стороны вины. Такія распоряженія, смѣю доложить, ведутъ лишь къ неудовольствіямъ... и къ другимъ — чего Боже сохрани! — послѣдствіямъ — и суть не что иное, какъ превышеніе данной *господамъ помѣщикамъ* власти.

— Ты... гдѣ учился?—спросила бабушка послѣ нѣкотораго молчанія, и опустила лорнетъ.

Бабуринъ изумился. — Чего изволите-съ? — пробормоталъ онъ.

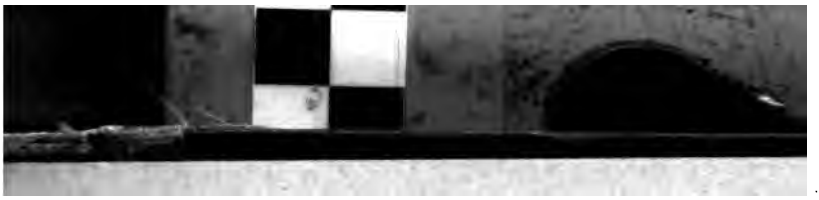
— Я спрашиваю тебя: гдѣ ты учился? — Ты такія мудреныя слова употребляешь.

— Я... воспитаніе мое...—началъ-было Бабуринъ.

Бабушка презрительно пожала плечомъ.—Стало-быть,— перебила она:—тебѣ мои распоряженія не нравятся. Это мнѣ совершенно все равно — въ своихъ подданныхъ я властна, и никому за нихъ не отвѣчаю, — только я не привыкла, чтобы въ моемъ присутствіи разсуждали, и не въ свое дѣло мѣшались. Мнѣ ученые филантропы изъ разночинцевъ не надобны; мнѣ слуги надобны безотвѣтные. Такъ я до тебя жила, и послѣ тебя я такъ жить буду. Ты мнѣ не годишься: ты уволенъ. Николай Антоновъ,— обратилась бабушка къ дворецкому:—разсчитай этого человѣка; чтобы сегодня же къ обѣду его здѣсь не было! Слышишь? Не введи меня въ гнѣвъ. Да и другого, того... дурака-приживальщика съ нимъ отправить. — Чего жъ Ермилка ждетъ?—прибавила она, снова глянувъ въ окно.— Я его осмотрѣла. Ну, чего еще?—Бабушка махнула платкомъ въ направленіи окна, какъ бы прогоняя докучливую муху. Потомъ она сѣла на кресло и, обернувшись къ намъ, промолвила угрюмо:—ступайте всѣ люди вонъ!

Всѣ мы удалились, всѣ, кромѣ казачка-дневальнаго, къ которому слова бабушки не относились, потому, что онъ не былъ „человѣкомъ“.

Приказъ бабушки былъ исполненъ въ точности. Къ обѣду и Бабуринъ, и другъ мой Пунинъ выѣхали изъ усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо дѣтское отчаяніе. Оно было такъ сильно, что заглушало даже то чувство благоговѣйнаго удивленія, которое внушила мнѣ смѣлая выходка республиканца Бабурина. Послѣ разговора съ бабушкой, онъ тотчасъ отправился къ себѣ въ комнату и началъ укладываться. Меня онъ не удостоивалъ ни словомъ, ни взглядомъ, хотя я



все время вертѣлся около него, то-есть, въ сущности — около Пунина. Этотъ совсѣмъ потерялся, и тоже ничего не говорилъ, зато безпрестанно взглядывалъ на меня, и въ глазахъ его стояли слезы... все однѣ и тѣ же слезы: онѣ не проливались и не высыхали. Онъ не смѣлъ осуждать своего „благодѣтеля“: — Парамонъ Семенычъ не могъ ни въ чемъ ошибиться,—но очень ему было томно и грустно. Мы съ Пунинымъ попытались-было прочесть на прощаніе нѣчто изъ „Россіады“; мы даже заперлись для этого въ чуланъ—нечего было думать идти въ садъ— но на первомъ же стихѣ запнулись оба, и я разревѣлся какъ теленокъ, несмотря на мои двѣнадцать лѣтъ и претензіи быть большимъ. Уже сидя въ тарантасѣ, Бабуринъ обратился, наконецъ, ко мнѣ и, нѣсколько смягчивъ обычную строгость своего лица, промолвилъ: „Урокъ вамъ, молодой господинъ: помните нынѣшнее происшествіе и, когда вырастете, постарайтесь прекратить таковыя несправедливости. Сердце у васъ доброе, характеръ пока еще неиспорченный... Смотрите, берегитесь: этакъ вѣдь нельзя!“ Сквозь слезы, обильно струившіяся по моему носу, по губамъ, по подбородку, я пролепеталъ, что буду... буду помнить, что обѣщаюсь... сдѣлаю... непремѣнно... непремѣнно...

Но тутъ на Пунина, съ которымъ мы передъ тѣмъ разъ двадцать обнялись—(мои щеки горѣли отъ прикосновенія его небритой бороды, и весь я былъ пропитанъ его запахомъ) — тутъ на Пунина нашло внезапное изступленіе! Онъ вскочилъ на сидѣнье тарантаса, поднялъ обѣ руки кверху и началъ громовымъ голосомъ (откуда онъ у него взялся!) декламировать извѣстное переложеніе Давидова псалма Державинымъ, пѣтой на этотъ разъ, а не царедворцемъ:

Возсталъ Всесильный Богъ, да судитъ
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ!..
Доколь вамъ, рекъ, доколь вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и злыхъ?
Вашъ долгъ есть сохранять законы...

— *Сядь!—сказалъ* ему Бабуринъ.

Пунинъ сѣлъ, но продолжалъ:

Вашъ долгъ—спасать отъ бѣдъ невинныхъ,
Несчастливымъ подать покровъ,
Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ...

Пунинъ при словѣ „сильныхъ"—указалъ пальцемъ на барскій домъ, а потомъ ткнулъ имъ въ спину сидѣвшаго на козлахъ кучера:

Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ!
Не внемлютъ! Видятъ и не знаютъ...

Прибѣжавшій изъ барскаго дома Николай Антоновъ закричалъ во все горло кучеру: „Пошелъ! ворона! пошелъ, не зѣвай!" и тарантасъ покатился. Только издали еще слышалось:

Воскресни Боже, Боже правый!..
Приди суди, карай лукавыхъ—
И будь одинъ Царемъ земли!

— Экой паяцъ!—замѣтилъ Николай Антоновъ.

— Недостаточно пороли въ юности,—доложилъ появившійся на крылечко дьяконъ. Онъ приходилъ освѣдомиться, въ которомъ часу угодно барынѣ назначить всенощную.

Въ тотъ же день, узнавъ, что Ермилъ находится еще на деревнѣ и только на другое утро рано препровождается въ городъ, для исполненія извѣстныхъ законныхъ формальностей, которыя, имѣя цѣлью ограничить произволъ помѣщиковъ, служили только источникомъ добавочныхъ доходовъ для предержащихъ властей,—въ тотъ же день я отыскалъ его и, за неимѣніемъ собственныхъ денегъ, вручилъ ему узелокъ, въ который увязалъ два носовыхъ платка, пару стоптанныхъ башмаковъ, гребенку, старую ночную рубашку и совсѣмъ новенькій шелковый галстукъ. Ермилъ, котораго мнѣ пришлось разбудить—онъ лежалъ на задворкѣ, возлѣ телѣги, на охапкѣ соломы — Ермилъ довольно равнодушно, не безъ нѣкотораго даже колебанія, принялъ мой подарокъ, не поблагодарилъ меня, тутъ же уткнулъ голову въ солому и снова заснулъ. Я ушелъ отъ *него нѣсколько* разочарованный. Я воображалъ, что онъ *изумится* и возрадуется моему посѣщенію, увидѣвъ

немъ залогъ моихъ будущихъ великодушныхъ намѣреній— и вмѣсто того...

„Эти люди — что ни говори — безчувственны,“ думалось мнѣ на обратномъ пути.

Бабушка, которая почему-то оставляла меня въ покоѣ весь этотъ памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я сталъ, послѣ ужина, съ ней прощаться.

— У васъ глаза красны,—замѣтила она мнѣ по-французски:—и отъ васъ избою пахнетъ. Не буду входить въ разбирательство вашихъ чувствъ и вашихъ занятій—я не желала бы быть вынужденной наказать васъ—но надѣюсь, что вы оставите всѣ ваши глупости и будете снова вести себя, какъ прилично благородному мальчику. Впрочемъ, мы теперь скоро вернемся въ Москву, и я возьму для васъ гувернера, такъ какъ я вижу, чтобы справиться съ вами, нужна мужская рука. Ступайте.

Мы, дѣйствительно, скоро вернулись въ Москву.

II.

1837 г.

Прошло семь лѣтъ. Мы попрежнему жили въ Москвѣ— но я былъ уже второкурснымъ студентомъ—и власть бабушки, замѣтно одряхлѣвшей въ послѣдніе годы, не тяготѣла надо мною. Изо всѣхъ моихъ товарищей я особенно близко сошелся съ нѣкіимъ Тарховымъ, веселымъ и добродушнымъ малымъ. Наши привычки, наши вкусы совпадали. Тарховъ былъ большой охотникъ до поэзіи, и самъ пописывалъ стишки; во мнѣ тоже не пропали сѣмена, посѣянныя Пунинымъ. У насъ, какъ это водится между сблизившимися молодыми людьми, не было тайнъ другъ передъ другомъ. Но вотъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней я сталъ замѣчать въ Тарховѣ какую-то оживленность и тревогу... Онъ пропадалъ по часамъ—и я не зналъ, гдѣ онъ пропадаетъ, чего прежде никогда не случалось. Я уже собирался потребовать отъ него, во имя дружбы, полной исповѣди... Онъ самъ предупредилъ меня.

Однажды я сидѣлъ у него въ комнатѣ.—Петя,—заго-

ворилъ онъ вдругъ, весело краснѣя и глядя мнѣ прямо въ лицо:—я долженъ познакомить тебя съ моею Музой.

— Съ твоей музой! Какъ ты странно выражаешься! Точно классикъ! (Романтизмъ находился тогда, въ 1837 году, въ полномъ разгарѣ). Развѣ я съ нею давно не знакомъ—съ твоей музой! Новое стихотвореніе ты написалъ, что̀ ли?

— Ты меня не понимаешь, — возразилъ Тарховъ, все продолжая смѣяться и краснѣть.—Я познакомлю тебя съ живою Музой.

— А! вотъ какъ! Но почему же она—твоя?

— Да потому же... Вотъ, постой, кажется, это она идетъ сюда.

Послышался легонькій стукъ проворныхъ каблучковъ—дверь распахнулась — и на порогѣ показалась дѣвушка лѣтъ восемнадцати, въ пестренькомъ ситцевомъ платьицѣ, съ черной суконной мантильей на плечахъ, съ черной соломенной шляпой на бѣлокурыхъ, немного взбитыхъ волосахъ. Увидѣвъ меня, она испугалась и застыдилась, и подалась назадъ... но Тарховъ тотчасъ вскочилъ ей навстрѣчу.

— Пожалуйста, пожалуйста, Муза Павловна, войдите: это мой закадычный пріятель, прекраснѣйшій человѣкъ—и смирный-пресмирный... Его вамъ нечего бояться. Петя,—обратился онъ ко мнѣ: — рекомендую тебѣ мою Музу — Музу Павловну Виноградову, хорошую мою знакомую.

Я поклонился.

— Какъ же такъ... Музу?—началъ-было я.

Тарховъ засмѣялся.—А ты не знаешь, что въ святцахъ существуетъ такое имя? И я, братъ, не зналъ, пока вотъ не встрѣтился съ этой милой барышней. Муза! этакое имя прелестное! И такъ къ ней идетъ!

Я вторично поклонился хорошей знакомой моего пріятеля. Она отдѣлилась отъ двери, ступила раза два и остановилась. Очень она была миловидна, но съ мнѣніемъ Тархова я согласиться не могъ, и даже подумалъ про *себя: „Ну,* какая она муза!“

Черты ея кругловатаго, розоваго лица были тонки и

мелки; свѣжей, бойкой молодостью вѣяло отъ всей ея миніатюрной, стройной фигуры; но музу, олицетвореніе музы я въ то время — да и не я одинъ—всѣ мы, юнцы, представляли себѣ совсѣмъ иначе! Прежде всего, муза непремѣнно должна была быть черноволоса и блѣдна. Презрительно-гордое выраженіе, ѣдкая усмѣшка, вдохновенный взглядъ—и то „нѣчто", таинственное, демоническое, фатальное—вотъ безъ чего мы не могли вообразить музу, музу Байрона, тогдашняго властителя людскихъ думъ. Ничего подобнаго не замѣчалось на лицѣ вошедшей дѣвушки. Будь я тогда постарше, да поопытнѣе—я бы, вѣроятно, обратилъ больше вниманія на ея глаза, маленькіе, углубленные, съ припухлыми вѣками, но черные какъ агатъ, живые и свѣтлые — что̀ рѣдко въ бѣлокурыхъ. Не поэтическія наклонности открылъ бы я въ ихъ торопливомъ, какъ бы скользившемъ взглядѣ, а признаки страстной, до самозабвенія страстной души... Но я былъ тогда еще очень юнъ.

Я протянулъ Музѣ Павловнѣ руку—она не подала мнѣ своей,—она не замѣтила моего движенія; сѣла на пододвинутый Тарховымъ стулъ, но шляпы и мантильи не сняла.

Ей, видимо, было неловко: мое присутствіе ее стѣсняло. Она дышала неровно и протяжно, словно воздуху въ себя набирала.

— Я къ вамъ на минуточку, Владиміръ Николаичъ,— начала она,—голосъ у ней былъ очень тихій и грудной; въ ея алыхъ, почти дѣтскихъ устахъ, онъ казался немного страннымъ: — но наша мадамъ никакъ не хотѣла отпустить меня больше, чѣмъ на полчаса. Третьяго дня вамъ нездоровилось... такъ вотъ, я подумала...

Она запнулась, наклонила голову. Осѣненные густыми, низкими бровями, неуловимо бѣгали—туда-сюда—ея темные глазки. Въ жаркое лѣто, между былинками высохшихъ травъ, попадаются такіе же темные, проворные и блестящіе жучки.

— Какая же вы милая, Муза, Музочка! — воскликнулъ Тарховъ. — Но посидите, посидите немножко... Мы, вотъ, самоваръ поставимъ.

— Ахъ, нѣтъ, Владиміръ Николаевичъ! какъ возможно! Я сію секунду должна уйти.

— Отдохните хоть крошечку. Вы запыхались... Вы устали.

— Я не устала. Я... не оттого... Только вотъ... дайте мнѣ другую книжку: эту я прочла.—Она достала изъ кармана истрепанный сѣрый томикъ московскаго изданія.

— Извольте, извольте. А что? понравилась она вамъ?— Рославлевъ,—прибавилъ Тарховъ, обратившись ко мнѣ.

— Да. Только Юрій Милославскій, мнѣ кажется, гораздо лучше. Наша мадамъ очень строга насчетъ книгъ. Говоритъ, онѣ работать мѣшаютъ. Потому, по ея понятіямъ...

— Но вѣдь и Юрій Милославскій не чета Цыганамъ Пушкина? А? Муза Павловна? — перебилъ съ улыбкой Тарховъ.

— Еще бы! Цыганы... — протянула она съ разстановкой.—Ахъ, да, вотъ еще что̀, Владиміръ Николаичъ: завтра не приходите... куда знаете...

— Почему же?

— Нельзя.

— Да почему?

Дѣвушка пожала плечами, и разомъ, словно что̀ ее толкнуло, встала со стула.

— Куда же вы, Муза, Музочка, — жалобно возопилъ Тарховъ.—Посидите еще!

— Нѣтъ, нѣтъ, нельзя. — Она проворно подошла къ двери, взялась за ручку...

— Ну, хоть книжку возьмите?

— Въ другой разъ.

Тарховъ бросился къ дѣвушкѣ, но та мгновенно юркнула вонъ изъ комнаты. Онъ чуть не стукнулся носомъ о дверь.— Экая! настоящая ящерица!—проговорилъ онъ не безъ досады, а потомъ задумался.

Я остался у Тархова. Надо жъ было узнать, что̀ все это значило. Тарховъ не сталъ скрытничать. Онъ разсказалъ мнѣ, что эта дѣвушка — мѣщаночка, швея; что недѣли три тому назадъ онъ въ первый разъ увидалъ ее

въ модной лавкѣ, куда онъ зашелъ заказать шляпку по порученію сестры, живущей въ провинціи; что онъ съ перваго взгляда въ нее влюбился; и что ему на другой же день удалось заговорить съ ней на улицѣ; что она сама къ нему, кажется, неравнодушна.

— Только ты, пожалуйста, не думай,— прибавилъ онъ съ жаромъ: — не воображай чего-нибудь дурного о ней. По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ еще ничего не произошло между нами такого...

— Дурного,—подхватилъ я:—не сомнѣваюсь; не сомнѣваюсь также и въ томъ, что ты объ этомъ искренно сожалѣешь, дружище! Потерпи—все уладится.

— Надѣюсь! — промолвилъ Тарховъ со смѣхомъ, хоть и сквозь зубы.—Но, право, братъ, эта дѣвушка... Я тебѣ скажу — это типъ, знаешь, изъ новыхъ. Ты не успѣлъ разглядѣть ее хорошенько. Она дичокъ; у! какой дичокъ! И съ норовомъ! Да еще съ какимъ! Впрочемъ, самая эта дикость мнѣ въ ней нравится. Признакъ самостоятельности! Я, братъ, просто по уши въ нее врѣзался!

Тарховъ пустился толковать о своемъ „предметѣ", и прочелъ мнѣ даже начало стихотворенія, озаглавленнаго: „Моя Муза". Его сердечныя изліянія мнѣ не пришлись по вкусу. Я втайнѣ завидовалъ ему. Я скоро ушелъ отъ него.

Нѣсколько дней спустя, мнѣ случилось проходить по одному изъ рядовъ Гостинаго двора. День былъ субботній; покупщиковъ набралось пропасть; отовсюду, посреди давки и толкотни, раздавались зазывные крики сидѣльцевъ. Купивъ, что мнѣ было нужно, я думалъ только о томъ, какъ бы поскорѣе отдѣлаться отъ ихъ назойливаго приставанья — какъ вдругъ остановился... поневолѣ: въ одной фруктовой лавкѣ я увидалъ знакомую моего пріятеля—Музу, Музу Павловну! Она стояла ко мнѣ бокомъ,— и, казалось, чего-то дожидалась. Немного поколебавшись, я рѣшился подойти и заговорить съ нею. Но не успѣлъ я переступить порогъ лавки и снять картузъ—какъ она съ ужасомъ отшатнулась и проворно обернулась къ ста-

ричку въ фризовой шинели, которому лавочникъ отвѣшивалъ фунтъ изюму,—схватила его за руку, какъ бы прибѣгая подъ его защиту. Тотъ, въ свою очередь, обернулся къ ней лицомъ — и представьте мое изумленіе! Кого я узнаю въ немъ? Пунина!

Да, это былъ онъ; это были его воспаленные глазки, его пухлыя губы, его повислый, мягкій носъ. Онъ даже мало измѣнился въ эти семь лѣтъ; развѣ обрюзгъ немного.

— Никандръ Вавилычъ!—воскликнулъ я.—Вы меня не узнаете? — Пунинъ встрепенулся, раскрылъ ротъ, уставился на меня...

— Не имѣю чести,—началъ-было онъ, и вдругъ запищалъ: — троицкій барчукъ! (имѣніе моей бабушки прозывалось Троицкимъ). Неужели троицкій барчукъ? — Фунтъ изюму вывалился изъ его рукъ.

— Точно такъ, — отвѣтилъ я, и, поднявъ съ полу покупку Пунина, облобызался съ нимъ.

Онъ задыхался отъ радости, отъ волненія; онъ чуть не прослезился, снялъ шапку, — при чемъ я могъ убѣдиться, что послѣдніе слѣды волосиковъ исчезли съ его „яйца", — досталъ со дна ея платокъ, высморкался, запихнулъ шапку за пазуху вмѣстѣ съ изюмомъ, надѣлъ ее снова, снова уронилъ изюмъ... Не знаю, какъ держала себя Муза во все это время: я старался на нее не глядѣть. Я не полагаю, чтобы волненіе Пунина происходило отъ излишней привязанности къ моей особѣ: просто, его натура не выдерживала никакого неожиданнаго толчка.— Нервозность бѣдняковъ!

— Пойдемте къ намъ, къ намъ, голубчикъ, — залепеталъ онъ наконецъ: — вѣдь вы не побрезгаете посѣтить наше скромное гнѣздышко? Вы, я вижу, студентъ...

— Помилуйте, я, напротивъ, буду очень радъ.

— Вы теперь свободны?

— Совершенно свободенъ.

— И прекрасно! Какъ Парамонъ Семенычъ будетъ доволенъ! Сегодня и онъ раньше обыкновеннаго домой возвращается, и ее, вотъ, мадамъ отпускаетъ по субботамъ.

Да, постойте, извините, я совсѣмъ съ панталыку сбился. Вы вѣдь съ племянницей нашей незнакомы?

Я поспѣшилъ ввернуть, что не имѣлъ еще удовольствія...

— Само собой разумѣется! Гдѣ вы могли съ нею встрѣтиться! Музочка... Замѣтьте, милостивый государь: эту дѣвицу зовутъ Музой — и это не прозвище, а настоящее ея имя... Каково предопредѣленіе? Музочка, представляю тебя господину... господину...

— Б...у,—подсказалъ я.

— Б...у, — повторилъ онъ. — Музочка! Внимай! Преотличнѣйшаго, прелюбезнѣйшаго юношу видишь ты передъ собою. Меня съ ними судьба свела, когда они ещѐ совсѣмъ въ младыхъ лѣтахъ были! Прошу любить, да жаловать!

Я отвѣсилъ низкій поклонъ. Муза, красная, какъ маковъ цвѣтъ, вскинула исподлобья глазами и тотчасъ потупилась.

„А! — подумалъ я: — ты изъ тѣхъ, что̀ въ трудныхъ случаяхъ не блѣднѣютъ, а краснѣютъ: это къ соображенію принять слѣдуетъ.“

— Не взыщите, она у насъ не модница, — замѣтилъ Пунинъ, и вышелъ изъ лавки на улицу; мы съ Музой послѣдовали за нимъ.

Домъ, въ которомъ квартировалъ Пунинъ, находился въ довольно большомъ разстояніи отъ Гостинаго двора, а именно на Садовой улицѣ. Дорогой—мой бывшій наставникъ по части поэзіи успѣлъ сообщить мнѣ не мало подробностей о своемъ житьѣ-бытьѣ. Со времени нашей разлуки, и онъ, и Бабуринъ, порядкомъ поколесили по святой Руси, и только недавно, полтора года тому назадъ, нашли постоянный пріютъ въ Москвѣ. Бабурину удалось поступить главнымъ письмоводителемъ въ контору богатаго купца-фабриканта.—Мѣстечко не доходное, — замѣтилъ со вздохомъ Пунинъ: — работы много, пользы мало... да что̀ будешь дѣлать? И то — слава Богу! Я тоже стараюсь пріобрѣсть кое-что перепиской, да уроками; только старанія мои до сихъ поръ остаются безуспѣшны. Почеркъ у меня,

вы, можетъ, помните, старозавѣтный, для нынѣшняго вкуса непривѣтный, а что насчетъ уроковъ — много мнѣ препятствуетъ недостатокъ приличной одежды; къ тому же, я страшусь, что и въ дѣлѣ преподаванія — преподаванія россійской словесности — я такъ же на нынѣшній вкусъ непригодный; оттого-то я сижу голодный. (Пунинъ засмѣялся своимъ сиплымъ, глухимъ смѣхомъ. Онъ сохранилъ прежній, нѣсколько возвышенный, складъ рѣчи и прежнюю замашку риѳмовать.) Всѣ къ новизнамъ, къ новизнамъ обратились! Чай, и вы старыхъ боговъ уже не почитаете, къ новымъ припадаете?

— А вы, Никандръ Вавилычъ, неужели все еще уважаете Хераскова?

Пунинъ остановился и разомъ взмахнулъ обѣими руками.

— Въ высшей степени, сударь мой! въ выс...шей сте...пе...ни!

— И Пушкина не читаете? Пушкинъ вамъ не нравится?

Пунинъ опять вознесъ руки выше головы.

— Пушкинъ? Пушкинъ есть змѣя, скрытно въ зеленыхъ вѣтвяхъ сидящая, которой данъ гласъ соловьиный!

Пока мы такимъ образомъ бесѣдовали съ Пунинымъ, осторожно выступая по неровно-сложеннымъ кирпичнымъ тротуарамъ „бѣлокаменной“ Москвы, той самой Москвы, въ которой нѣтъ ни одного камня, и которая вовсе не бѣла,—Муза тихонько шла съ нами рядомъ, по ту сторону отъ меня. Говоря о ней, я назвалъ ее: ваша племянница. Пунинъ помолчалъ немного, почесалъ затылокъ и сообщилъ мнѣ вполголоса, что онъ называлъ ее этимъ именемъ... только такъ; что она ему нисколько не доводится съ родни: что она сирота, найденная и призрѣнная Бабуринымъ въ городѣ Воронежѣ; но что онъ, Пунинъ, могъ бы величать ее дочерью, такъ какъ любитъ ее не хуже дочери настоящей. Я не сомнѣвался въ томъ, что, хотя Пунинъ нарочно понижалъ голосъ, Муза очень хорошо слышала все, что онъ говорилъ: и сердилась-то она, и *робѣла*, и стыдилась; тѣни и краски перебѣгали у ней *по лицу*, и все на немъ слегка двигалось: вѣки и брови,

и губы, и узенькія ноздри. Очень все это было мило, забавно и странно.

Но вотъ, мы достигли, наконецъ, „укромнаго гнѣздышка". И точно: очень оно было укромно, это гнѣздышко. Оно состояло изъ небольшого, чуть въ землю не вросшаго, одноэтажнаго домика съ покривившейся тесовой крышей и четырьмя тусклыми окошечками на переднемъ фасѣ. Убранство комнатъ было самое бѣдное, не совсѣмъ даже опрятное. Между окнами и по стѣнамъ висѣло около дюжины крошечныхъ деревянныхъ клѣтокъ съ жаворонками, канарейками, щеглами, чижами. „Мои подданные!" — торжественно проговорилъ Пунинъ, указывая на нихъ пальцемъ. Не успѣли мы войти и осмотрѣться, не успѣлъ Пунинъ откомандировать Музу за самоваромъ, какъ появился и самъ Бабуринъ. Онъ показался мнѣ постарѣвшимъ гораздо больше Пунина, хотя походка его осталась твердою, и вообще выраженіе лица сохранилось; но онъ похудѣлъ, сгорбился, щеки осунулись, и его черную, густую щетину — „сѣдой волосъ развилъ". Меня онъ не узналъ — и никакого особеннаго удовольствія не выказалъ, когда Пунинъ назвалъ меня; онъ даже глазами не улыбнулся; едва головой кивнулъ; спросилъ—весьма небрежно и сухо—жива ли моя *бабка*— да и только. „Меня, молъ, дворянскимъ посѣщеніемъ не удивишь, и нисколько мнѣ оно не лестно". Республиканецъ остался республиканцемъ. Муза вернулась; дряхлая старушонка внесла за нею плохо вычищенный самоваръ. Пунинъ засуетился, сталъ меня потчивать; Бабуринъ сѣлъ за столъ, подперъ голову обѣими руками и провелъ кругомъ усталый взглядъ. За чаемъ онъ, однако, разговорился. Положеніемъ своимъ онъ былъ недоволенъ. „Кулакъ, не человѣкъ", — такъ отзывался онъ о своемъ хозяинѣ:—„подначальные люди для него—соръ, ничего не значащій; а самъ давно ли сермягу таскалъ? Жестокость одна, да алчность. Хуже коронной — служба! Да и вся здѣшняя торговля на одномъ надувательствѣ стоитъ и *имъ только держится!*" Слушая такія невеселыя рѣчи,

Пунинъ вздыхалъ сокрушенно, поддакивалъ, покачивалъ головою то сверху внизъ, то съ-боку-на-бокъ; Муза упорно молчала... Ее, очевидно, мучила мысль: что̀ я такое, скромный ли человѣкъ или болтунъ? И если я скромничаю, то не съ умысломъ ли? Ея черные, быстрые, безпокойные глаза такъ и мелькали подъ опущенными вѣками. Только однажды взглянула она на меня, да такъ пытливо, пронзительно, почти злобно... Я даже вздрогнулъ. Бабуринъ съ нею почти не заговаривалъ; но всякій разъ, когда онъ обращался къ ней, въ его голосѣ слышалась угрюмая, не отеческая ласка.

Пунинъ, напротивъ, то и дѣло заигрывалъ съ Музой; однако, она ему неохотно отвѣчала. Онъ называлъ ее снѣгуркой, снѣжинкой.

— Почему вы Музѣ Павловнѣ такія имена даете?— спросилъ я.

Пунинъ засмѣялся. — А потому, что очень она у насъ холодная.

— Благоразумная,—подхватилъ Бабуринъ:—какъ слѣдуетъ быть молодой дѣвицѣ.

— Мы можемъ ее и хозяюшкой величать, — воскликнулъ Пунинъ.—Ась, Парамонъ Семенычъ?—Бабуринъ нахмурился; Муза отвернулась... Я тогда не понялъ этого намека.

Такъ прошло часа два... не очень оживленно, хотя Пунинъ всячески старался „занять честную компанію". Онъ, между прочимъ, прикорнулъ передъ клѣткой одной изъ своихъ канареекъ, раскрылъ дверцы и скомандовалъ: „На *кумполъ*! Валяй концертъ!" Канарейка тотчасъ выпорхнула, сѣла на *кумполъ*, т.-е. на голое темя Пунина и, поворачиваясь съ-боку-на-бокъ и потрясая крылышками, защебетала изо всѣхъ силъ. Во все продолженіе концерта Пунинъ не шевелился и только пальцемъ слегка дирижировалъ, да глаза ёжилъ. Я не могъ не расхохотаться... но ни Бабуринъ, ни Муза не смѣялись.

Передъ самымъ уходомъ моимъ Бабуринъ удивилъ меня *неожиданнымъ* вопросомъ. Онъ пожелалъ узнать отъ *меня*, какъ отъ человѣка, который занимается въ универ-

ситетѣ, что за личность былъ Зенонъ и какого я о немъ понятія?

— Какой Зенонъ?—спросилъ я не безъ изумленія.

— Зенонъ, древній мудрецъ. Неужели онъ остался вамъ неизвѣстнымъ?

Я смутно помнилъ имя Зенона, какъ основателя стоической школы; а, впрочемъ, рѣшительно ничего больше о немъ не зналъ.

— Да, онъ былъ философъ,—проговорилъ я наконецъ.

— Зенонъ,—продолжалъ съ разстановкой Бабуринъ:— тотъ самый есть мудрецъ, который объяснилъ, что страданіе не есть зло, ибо терпѣніе все превозмогаетъ, а добро есть на семъ свѣтѣ одно: справедливость; да и самая добродѣтель есть не что иное, какъ справедливость.

Пунинъ съ благоговѣніемъ приникъ ухомъ.

— Сообщилъ мнѣ это изреченіе одинъ здѣшній обыватель, у коего много обрѣтается старинныхъ книгъ,— продолжалъ Бабуринъ: — очень оно мнѣ понравилось. Но вы, я вижу, такого рода предметами не занимаетесь.

Бабуринъ сказалъ правду. Такими предметами я не занимался — точно. Со времени моего поступленія въ университетъ, я сталъ республиканцемъ не хуже самого Бабурина. О Мирабо̀ и Робеспьерѣ я поговорилъ бы съ наслажденіемъ. Да что̀ Робеспьеръ!.. У меня надъ письменнымъ столомъ висѣли литографированные портреты Фукіэ-Тенвилля и Шаліэ!—Но Зенонъ!!—Откуда принесло Зенона?

Прощаясь со мною, Пунинъ очень настаивалъ на томъ, чтобы я посѣтилъ ихъ на слѣдующій день, въ воскресенье; Бабуринъ не приглашалъ меня вовсе, и даже замѣтилъ сквозь зубы, что бесѣда съ людьми простыми, разночинцами, не можетъ мнѣ доставить большое удовольствіе, и что, вѣроятно, моей *бабкѣ* будетъ непріятно... На этомъ словѣ я однако перебилъ его рѣчь и далъ ему понять, что бабушка мнѣ больше не указка.

— А во владѣніе имѣніями не вступили? — спросилъ Бабуринъ.

— *Нѣтъ, не вступилъ*,—отвѣчалъ я.

— Ну, и стало-быть...— Бабуринъ не докончилъ начатой фразы; но я ее докончилъ за него: „стало-быть, я мальчикъ“.—Прощайте,—сказалъ я громко, и удалился.

Я уже выходилъ со двора на улицу... Муза вдругъ выбѣжала изъ дому и, сунувъ мнѣ въ руку скомканную бумажку, тотчасъ скрылась. У перваго фонарнаго столба я развернулъ эту бумажку. Она оказалась запиской. Съ трудомъ разобралъ я блѣдныя, карандашомъ начертанныя строки.—„Ради Бога—писала мнѣ Муза—приходите завтра послѣ обѣдни въ Александровскій садъ возлѣ башни Кутафьи я буду ждать васъ не откажите мнѣ не сдѣлайте меня несчастной мнѣ непремѣнно нужно васъ видѣть“. Орѳографическихъ ошибокъ въ этой запискѣ не было, но не было также знаковъ препинанія. Я вернулся домой въ недоумѣніи.

Когда, за четверть часа до назначеннаго времени, сталъ я, на слѣдующій день, подходить къ башнѣ Кутафьѣ (дѣло было въ началѣ апрѣля, почки наливались, травка зеленѣла, и воробьи шумно чирикали и дрались въ обнаженныхъ кустахъ сирени), я, къ немалому моему удивленію, увидѣлъ въ сторонкѣ, недалеко отъ ограды, Музу. Она предупредила меня. Я направился-было къ ней; но она сама пошла мнѣ навстрѣчу.

— Пойдемте къ Кремлевской стѣнѣ,—шепнула она уторопленнымъ голосомъ, бѣгая по землѣ опущенными глазами:—а тó здѣсь люди.

Мы поднялись по дорожкѣ въ гору.

— Муза Павловна, — началъ-было я... Но она тотчасъ меня перебила.

— Пожалуйста,—заговорила она тѣмъ же порывистымъ и тихимъ голосомъ: — не судите меня, не думайте чего нехорошаго. Я вамъ письмо написала, свиданье назначила,—потому... я боялась... Мнѣ вчера показалось, — вы словно все посмѣивались.—Послушайте, — прибавила она съ внезапнымъ усиліемъ, и остановилась, и повернулась ко мнѣ:—послушайте: если вы скажете, съ кѣмъ... если

вы назовете, у кого мы встрѣтились, я брошусь въ воду, я утоплюсь, я руки на себя наложу!

Она тутъ въ первый разъ взглянула на меня тѣмъ, уже знакомымъ мнѣ, пытливымъ и острымъ взглядомъ.

„А вѣдь она, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ... чего добраго?“ подумалось мнѣ.

— Помилуйте, Муза Павловна,—поспѣшно промолвилъ я:— какъ вы можете имѣть о мнѣ такое дурное мнѣніе? Неужели я способенъ выдать пріятеля и повредить вамъ! Да и, наконецъ, въ вашихъ отношеніяхъ, сколько я знаю, нѣтъ ничего предосудительнаго... Ради Бога, успокойтесь.

Муза выслушала меня, не трогаясь съ мѣста и не глядя на меня болѣе.

— Я вамъ вотъ еще что̀ должна сказать,—начала она, снова подвигаясь впередъ по дорожкѣ:—а то вы можете подумать: да она сумасшедшая! Я вамъ должна сказать: на мнѣ этотъ старикъ жениться хочетъ!

— Какой старикъ? Лысый? Пунинъ?

— Нѣтъ—не тотъ! другой... Парамонъ Семенычъ.

— Бабуринъ?

— Онъ самый.

— Неужто? Онъ вамъ предложеніе сдѣлалъ?

— Сдѣлалъ.

— Но вы, конечно, не согласились?

— Нѣтъ, согласилась... потому что я тогда ничего не понимала. Теперь—другое дѣло.

Я руками всплеснулъ.—Бабуринъ—и вы! Да вѣдь ему подъ пятьдесятъ лѣтъ!

— Онъ говоритъ: сорокъ три. Да это все равно. Будь ему двадцать пять лѣтъ—я за него все-таки не выйду. Что за радость! Цѣлая недѣля пройдетъ,—онъ и не улыбнется ни разу. Парамонъ Семенычъ мой благодѣтель, очень я ему обязана, онъ меня призрѣлъ, воспиталъ, я бы пропала безъ него, я должна почитать его, какъ отца... Но женой его быть! Лучше смерть! Лучше прямо въ гробъ!

— Что это вы все о смерти упоминаете, Муза Павловна?..

Муза опять остановилась.

— Да ужъ будто жизнь таковò красна? Я и знакомаго-то вашего, Владиміра-то Николаича, можно сказать, съ тоски, да съ печали полюбила,—а тутъ Парамонъ Семенычъ со своими предложеніями... Пунинъ, тотъ хотя стихами надоѣдаетъ, да не пугаетъ по крайности; не заставляетъ Карамзина читать по вечерамъ, когда у меня отъ усталости голова съ плечъ валится! И на чтò мнѣ эти старики? Еще холодной меня величаютъ. Съ ними—да горячей быть? Станутъ принуждать—уйду. Самъ же Парамонъ Семенычъ все говоритъ: свобода! свобода! Ну, вотъ, и я захотѣла свободы. А то—чтò жъ это такое? Всѣмъ воля, а меня въ тюрьмѣ держать? Я ему сама скажу. А коли вы меня выдадите или хоть намекнете—помните: только меня и видали!

Муза стала поперекъ дороги.

— Только меня и видали!—повторила она рѣзко. Она и на этотъ разъ глазъ не подняла; она словно знала, что непремѣнно выдастъ себя, покажетъ, чтò у ней на душѣ, если кто ей прямо въ глаза посмотритъ... И именно отъ того она, не иначе, какъ въ сердцàхъ или съ досады поднимала взоръ—и тогда уже прямо уставлялась на человѣка, съ которымъ говорила... Но ея небольшое, розовое, миловидное лицо дышало безповоротной рѣшимостью.

„Ну,—мелькнуло у меня въ головѣ: — Тарховъ правъ. Эта дѣвушка—новый типъ“.

— Меня вамъ нечего бояться,—произнесъ я, наконецъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Даже, если... Вотъ, вы что-то такое сказали о нашихъ отношеніяхъ... Такъ даже въ случаѣ...—Она умолкла.

— И въ этомъ случаѣ вамъ бояться нечего, Муза Павловна. Я вамъ не судья. А тайна ваша погребена—вотъ тутъ.—Я указалъ себѣ на грудь.—Повѣрьте, я умѣю цѣнить...

— Письмо мое съ вами?—внезапно спросила Муза.

— Со мной.

— Гдѣ?

— Въ карманѣ.

— Отдайте мнѣ... скорѣй, скорѣй!

Я досталъ вчерашнюю бумажку. Муза схватила ее своей жесткой ручкой, постояла немного передо мною, какъ бы собираясь поблагодарить меня; но вдругъ вздрогнула, оглянулась и, даже не поклонившись, проворно спустилась подъ гору.

Я посмотрѣлъ въ сторону, куда она отправлялась. Невдалекѣ отъ башни, завернутая въ альмавиву—альмавивы были тогда въ великой модѣ,—виднѣлась фигура, въ которой я тотчасъ призналъ Тархова.

„А, братъ,—подумалъ я:—тебя, стало-быть, извѣстили, если ты ее караулишь“...

И посвистывая себѣ подъ носъ, я отправился домой.

На другое утро, я только что успѣлъ напиться чаю, явился ко мнѣ Пунинъ. Вошелъ онъ въ комнату съ довольно смущеннымъ видомъ, началъ поклоны отвѣшивать, оглядываться, извиняться въ своей яко бы нескромности. Я поспѣшилъ его успокоить. Грѣшный человѣкъ, я вообразилъ, что Пунинъ пришелъ съ намѣреніемъ занять деньжонокъ. Но онъ ограничился тѣмъ, что попросилъ стаканчикъ чайку съ ромкомъ, благо, самоваръ былъ не убранъ. — „Не безъ сердечнаго трепетанія и замиранія шелъ я къ вамъ на свиданіе, — заговорилъ онъ, откусывая кусочекъ сахара.— Васъ-то я не боюсь: но страшусь вашей почтенной бабушки! Смиряетъ меня также моя одежда, какъ уже я вамъ докладывалъ“. — Пунинъ провелъ пальцемъ по бортищу своего ветхаго сюртука. — „Дома-то оно ничего, и на улицѣ тоже не бѣда: а какъ попадешь въ золоченыя палаты, — бѣдность твоя тебѣ предстанетъ — и конфузно тебѣ станетъ!“ — Я занималъ двѣ небольшія комнаты въ антресоли, и, конечно, никому не пришло бы въ голову назвать ихъ палатами, да еще золочеными; но Пунинъ, вѣроятно, говорилъ обо всемъ бабушкиномъ домѣ, который, впрочемъ, тоже не отличался роскошью. Онъ попенялъ мнѣ, зачѣмъ я не посѣтилъ ихъ *наканунѣ: Парамонъ-молъ* Семенычъ васъ ожидалъ, хоть

и увѣрялъ, что вы ни за что не придете. И Музочка тоже ждала васъ.

— Какъ? и Муза Павловна?—спросилъ я.

— И она. А вѣдь миленькая у насъ проявилась дѣвица! Скажите?

— Премиленькая,—подтвердилъ я.

Пунинъ съ чрезвычайной быстротой потеръ свою обнаженную голову.—„Красавица, сударь мой, перлъ или даже брильянтъ—истинно вамъ говорю".—Онъ наклонился къ самому моему уху. — „Тоже дворянская кровь", шепнулъ онъ мнѣ: „только—вы понимаете—съ лѣвой стороны: запретнаго плода вкушено было. Ну-съ, родители померли, родственники отступились и бросили на произволъ судьбы! значитъ: отчаяніе, голодная смерть! Но тутъ вступаетъ Парамонъ Семенычъ, извѣстный, стародавній избавитель! Взялъ, одѣлъ, согрѣлъ—вывелъ птенчика; и расцвѣла наша радость! Я вамъ говорю: рѣдчайшихъ достоинствъ человѣкъ!"

Пунинъ откинулся на спинку кресла, вскинулъ руками и, снова наклонившись впередъ, снова началъ шептать, но еще таинственнѣе: „вѣдь и самъ Парамонъ Семенычъ... Вы не знаете? онъ тоже происхожденія высокаго—и тоже съ лѣвой стороны. Говорятъ—его отецъ былъ владѣтельный грузинскій князь, изъ племени Царя Давыда. Какъ вы это понимаете? Въ немногихъ словахъ — а сколько сказано?! Кровь Царя Давыда! Каково? А по другимъ извѣстіямъ, родоначальникомъ Парамона Семеныча былъ нѣкій индійскій шахъ Бабуръ Бѣлая Кость! Хорошо вѣдь и это? А?"

— Что жъ,—спросилъ я:—и его, Бабурина, тоже бросили на произволъ судьбы?

Пунинъ опять потеръ свое темя.—Непремѣнно! И даже съ бо́льшею жестокостью, чѣмъ нашу кралечку! Съ ранняго дѣтства—одна борьба! Я даже, признаться, по этому случаю, вдохновясь Рубаномъ, четверостишіе къ портрету Парамона Семеныча сложилъ. Постойте... какъ бишь? Да?

Съ пеленокъ не щадя гоненій лютыхъ рокъ
Ко краю бездны злъ Бабурина привлекъ!

Но огнь во мглѣ, златъ лучъ на гнощѣ блистаетъ,—
И се! побѣдный лавръ чело его вѣнчаетъ!

Пунинъ произнесъ эти стихи размѣреннымъ пѣвучимъ голосомъ, и на ò, какъ и слѣдуетъ читать стихи.

— Такъ вотъ, отчего онъ республиканецъ! — воскликнулъ я.

— Нѣтъ, не оттого,—простодушно отвѣчалъ Пунинъ.— Онъ отцу давно простилъ; но несправедливость перенести никоимъ образомъ не можетъ; чужая печаль его тревожитъ!

Я собирался навести рѣчь на то, чтò я узналъ наканунѣ отъ Музы, а именно, на сватовство Бабурина, — да не зналъ, какъ приступить. Пунинъ самъ вывелъ меня изъ затрудненья.

— Вы ничего не замѣтили?—спросилъ онъ меня вдругъ, лукаво прищуривъ глазки. — Какъ у насъ были? ничегó особеннаго?

— Да развѣ было, чтò замѣчать?—спросилъ я въ свою очередь.

Пунинъ оглянулся черезъ плечо, какъ бы желая удостовѣриться, что насъ никто не подслушиваетъ. — Наша красоточка, Музочка, скоро станетъ замужней дамой!

— Какъ?

— Госпожей Бабуриной, — напряженно произнесъ Пунинъ, и, нѣсколько разъ ударивъ себя ладонями по колѣнямъ, закивалъ головою, какъ фарфоровый китаецъ.

— Не можетъ быть! — воскликнулъ я съ притворнымъ изумленьемъ.

Голова Пунина немедленно остановилась и руки его замерли. — А почему же: не можетъ быть? позвольте полюбопытствовать?

— Потому, что Парамонъ Семенычъ въ отцы бы годился вашей барышнѣ; потому, что такое различіе въ лѣтахъ исключаетъ всякую вѣроятность любви — со стороны невѣсты.

— Исключаетъ?—съ азартомъ подхватилъ Пунинъ.—А благодарность? А чистота сердечная? А нѣжность чувствъ? *Исключаетъ!! Вы бы* хоть то сообразить изволили: поло-

жимъ, Муза прекраснѣйшая дѣвица; но заслужить расположеніе Парамона Семеныча, быть его утѣхой, подпорой—супругой, наконецъ! развѣ это не есть высочайшее счастіе даже для такой дѣвицы? И она это понимаетъ! Вы посмотрите, бросьте внимательный взглядъ! Музочка передъ Парамономъ Семенычемъ вся благоговѣніе, вся трепетъ и восторгъ!

— Въ томъ-то и бѣда, Никандръ Вавилычъ, что она, какъ вы говорите, вся трепетъ. Кого любишь, передъ тѣмъ не трепещешь.

— И съ этимъ я несогласенъ! Вотъ я, напримѣръ: ужъ больше моего, кажется, невозможно любить Парамона Семеныча, а я... я трепещу передъ нимъ.

— Да вы—другое дѣло.

— Почему другое дѣло? почему? почему? — перебилъ Пунинъ. Я просто не узнавалъ его: онъ горячился, серьезничалъ, чуть не сердился—и не риѳмовалъ.— Нѣтъ,— твердилъ онъ: — я замѣчаю: у васъ око не проницательное! Нѣтъ! Вы не сердцевѣдецъ!—Я пересталъ ему противорѣчить... и, чтобы придать иное направленіе разговору, предложилъ заняться, по старой памяти, чтеніемъ.

Пунинъ помолчалъ.

— Изъ прежнихъ? Изъ настоящихъ? — спросилъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ; изъ новыхъ.

— Изъ новыхъ?—повторилъ недовѣрчиво Пунинъ.

— Изъ Пушкина,—отвѣчалъ я. Мнѣ вдругъ пришли въ голову „Цыгане", о которыхъ упомянулъ недавно Тарховъ. Тамъ же, кстати, пѣсенка поется о старомъ мужѣ. Пунинъ поворчалъ немного, но я усадилъ его на диванъ, чтобы ему было удобнѣе слушать, и принялся читать Пушкинскую поэму. Вотъ дошло дѣло до „стараго мужа, грознаго мужа"; Пунинъ выслушалъ пѣсенку до конца—и вдругъ порывисто поднялся.

— Не могу, — промолвилъ онъ съ глубокимъ, меня самого поразившимъ, волненіемъ:— извините меня; не могу *я слушать* болѣе сего сочинителя. Онъ безнравственный

пашквилянтъ, онъ лжецъ... онъ меня смущаетъ. Не могу! Позвольте прекратить мое сегодняшнее посѣщеніе.

Я началъ уговаривать Пунина остаться; но онъ настаивалъ на своемъ съ какимъ-то тупымъ и испуганнымъ упорствомъ; повторилъ нѣсколько разъ, что онъ чувствуетъ смущеніе и желаетъ освѣжиться на воздухѣ— и при этомъ его губы слегка дрожали, и глаза его избѣгали моихъ глазъ—точно я обидѣлъ его. Такъ онъ и ушелъ.

А спустя немного и я вышелъ изъ дому, и отправился къ Тархову.

Ни у кого не спросясь, по студенческой привычной безцеремонности, я прямо пробрался къ нему на квартиру. Въ первой комнатѣ никого не было. Я кликнулъ Тархова по имени, и, не получивъ отвѣта, хотѣлъ-было удалиться; но дверь сосѣдней комнаты растворилась—и появился мой пріятель. Онъ какъ-то странно взглянулъ на меня и молча пожалъ мнѣ руку. Я пришелъ къ нему съ тѣмъ, чтобы пересказать все, что̀ я узналъ отъ Пунина; и хотя я тотчасъ почувствовалъ, что посѣтилъ Тархова не въ пору, однако, поговоривъ немного о предметахъ постороннихъ, кончилъ-таки тѣмъ, что сообщилъ ему намѣреніе Бабурина насчетъ Музы. Это извѣстіе, повидимому, не очень его удивило; онъ тихонько подсѣлъ къ столу и, внимательно вперивъ въ меня глаза и безмолвствуя попрежнему, придалъ чертамъ своимъ выраженіе... такое выраженіе, точно онъ желалъ сказать: „ну, что̀ ты еще сообщишь? Ну, излагай свои мысли". Я попристальнѣе посмотрѣлъ ему въ лицо... Оно мнѣ показалось оживленнымъ, нѣсколько насмѣшливымъ, нѣсколько даже наглымъ. Но это не помѣшало мнѣ „изложить свои мысли". Напротивъ. „Ты форсъ свой выказываешь", подумалось мнѣ: „такъ и я жъ тебя щадить не стану!" И тутъ же, немедленно, приступилъ къ разсужденію о вредѣ внезапныхъ увлеченій, объ обязанности каждаго человѣка уважать свободу и личность другого человѣка,—*словомъ, приступилъ* къ преподаванью полезныхъ и

дѣльныхъ совѣтовъ. Разглагольствуя такимъ манеромъ, я, для бо̀льшей легкости, расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Тарховъ не перебивалъ меня и не шевелился на своемъ стулѣ: только пальцами игралъ по подбородку.

— Я знаю,—говорилъ я... (Что̀ собственно побуждало меня говорить—мнѣ самому оставалось неяснымъ, вѣроятнѣе всего зависть; — не служеніе же нравственности, въ самомъ дѣлѣ!) Я знаю,—говорилъ я:—что это дѣло не легкое, не шуточное; я увѣренъ, что ты любишь Музу и что Муза тебя любитъ, что это съ твоей стороны не мгновенная прихоть... Ну, вотъ, положимъ! (Тутъ я скрестилъ руки на груди)... Положимъ: ты удовлетворилъ свою страсть, а дальше что̀? Вѣдь ты не женишься на ней? И, между тѣмъ, ты разрушаешь счастье хорошаго, честнаго человѣка, ея благодѣтеля — и — кто знаетъ? (тутъ мое лицо выразило, въ одно и то же время, и проницательность, и грусть)—быть-можетъ, и ея собственное счастье...

И т. д., и т. д., и т. д.!!!

Около четверти часа лилась моя рѣчь. Тарховъ все молчалъ. Меня начинало смущать это молчаніе. Я изрѣдка взглядывалъ на него, не столько для того, чтобы удостовѣриться во впечатлѣніи, которое производили мои слова, сколько для того, чтобы понять, отчего это онъ не возражаетъ и не соглашается, а сидитъ словно глухо-нѣмой? Мнѣ, наконецъ, однако, показалось, что въ лицѣ его происходитъ... да, дѣйствительно, происходитъ перемѣна. Оно стало выражать безпокойство, тревогу, тоскливую тревогу... Но, странное дѣло! то оживленное, свѣтлое, смѣющееся нѣчто, то, что̀ поразило меня съ самаго перваго взгляда на Тархова, все-таки не покидало этого встревоженнаго, этого тоскливаго лица! Я еще не зналъ, поздравлять ли мнѣ самого себя съ успѣхомъ своей проповѣди, какъ вдругъ Тарховъ поднялся и, стиснувъ мнѣ обѣ руки, промолвилъ скороговоркой: „Благодарю, благодарю. Ты, конечно, правъ... хотя, съ другой стороны, можно было бы замѣтить... Вѣдь что̀ такое, собственно,

твой хваленый Бабуринъ? — Честный тупецъ — и больше ничего! ты его республиканцемъ величаешь — а онъ просто — бука! У! Вотъ онъ что! — Весь его республиканизмъ состоитъ въ томъ, что онъ нигдѣ не уживается".

— А! ты такъ полагаешь! Бука! не уживается!! — но знаешь ли ты, — продолжалъ я съ внезапной запальчивостью:—знаешь ли ты, любезный Владиміръ Николаичъ, что въ наше время не уживаться нигдѣ — это признакъ хорошей, благородной натуры? Одни пустые люди—дурные люди—вездѣ уживаются и примиряются со всѣмъ!— Ты говоришь: Бабуринъ—честный тупецъ!!!—Что жъ, по-твоему, лучше быть безчестнымъ острякомъ?

— Ты извращаешь мои слова! — воскликнулъ Тарховъ. — Я хотѣлъ только объяснить тебѣ, какъ я понимаю этого господина. — Ты думаешь—онъ такой рѣдкій экземпляръ? Ничуть! — Подобныхъ ему людей я тоже встрѣчалъ на своемъ вѣку. — Сидитъ человѣкъ съ этакимъ важнымъ видомъ, молчитъ, упорствуетъ, топорщится... Ого-го! Знать, у него внутри, тамъ—много! А внутри-то ничего у него нѣтъ, ни единой мысли нѣтъ въ его головѣ, — одно только чувство собственнаго достоинства.

— Ужъ и это одно—почтенная вещь, — перебилъ я.— Но, позволь спросить, гдѣ ты успѣлъ такъ изучить его?— Вѣдь ты его не знаешь? Или ты его расписываешь... со словъ Музы?

Тарховъ пожалъ плечомъ.—Мы съ Музой... не о немъ разговариваемъ. — Послушай, — прибавилъ онъ съ нетерпѣливымъ движеніемъ всего тѣла: — послушай: коли Бабуринъ такая благородная и честная натура—какъ же это онъ не видитъ, что Муза—ему не пара? — Одно изъ двухъ: либо онъ понимаетъ, что совершаетъ надъ ней нѣчто въ родѣ насилія, во имя благодарности, тамъ, что ли... и тогда, куда дѣвается его честность? — либо онъ этого не понимаетъ... и тогда—какъ же не назвать его тупцомъ?

Я хотѣлъ-было возражать,—но Тарховъ снова схва-

тилъ мои руки и снова заговорилъ торопливымъ голосомъ.— „Впрочемъ... конечно... я сознаюсь, ты правъ, тысячу разъ правъ... Ты мнѣ настоящій другъ... но теперь оставь меня, пожалуйста".

Я изумился.—Тебя оставить?

— Да. Вотъ, видишь ли, я долженъ поразмыслить хорошенько о всемъ, что ты сейчасъ сказалъ... Я не сомнѣваюсь въ томъ, что ты правъ... но теперь оставь меня!

— Ты въ такомъ волненіи...—началъ я.

— Въ волненіи? я? — Тарховъ засмѣялся, но тотчасъ спохватился.—Да, конечно. Какъ же иначе? Ты самъ говоришь: это не шутка. Да; объ этомъ надо подумать... наединѣ.—Онъ продолжалъ стискивать мнѣ руки.—Прощай, братъ, прощай!

— Прощай,—повторилъ я.—Прощай, братъ!—Уходя, я бросилъ послѣдній взглядъ на Тархова. Онъ казался доволенъ. Чѣмъ? Тѣмъ ли, что я, какъ вѣрный другъ и товарищъ, указалъ ему опасность пути, на который онъ занесъ ногу,—или тѣмъ, что я уходилъ? Разнообразнѣйшія мысли вертѣлись у меня въ головѣ цѣлый день, до самаго вечера,—до самой той минуты, когда я вступилъ въ домъ, занимаемый Пунинымъ и Бабуринымъ, ибо я пошелъ къ нимъ въ тотъ же день. Я долженъ сознаться, что нѣкоторыя выраженья Тархова запали мнѣ въ душу... звенѣли у меня въ ушахъ... И въ самомъ дѣлѣ, неужто Бабуринъ... неужто онъ не видитъ, что она ему не пара?

Но какъ же такъ можно! Бабуринъ, самоотверженный Бабуринъ,—честный тупецъ!!

Пунинъ сказывалъ мнѣ, во время своего посѣщенія, что меня у нихъ ожидали наканунѣ. Быть-можетъ; но въ тотъ день рѣшительно никто не ожидалъ меня... Я засталъ всѣхъ дома, и всѣ удивились моему появленію. Бабуринъ и Пунинъ—оба были нездоровы; у Пунина голова болѣла, и онъ лежалъ калачикомъ на лежанкѣ, повязавъ голову пестрымъ платкомъ и приложивъ по разрѣзанному огурцу къ каждому виску. Бабуринъ страдалъ

разлитіемъ желчи: весь желтый, почти бурый, съ темными кругами вокругъ глазъ, съ наморщеннымъ лбомъ и небритой бородой — онъ мало походилъ на жениха! Я хотѣлъ уйти... Однако, меня не отпустили и даже напоили чаемъ. Невеселый провелъ я вечерокъ. У Музы, правда, ничего не болѣло, она даже дичилась меньше обыкновеннаго, но явно досадовала, злилась... Наконецъ, она не вытерпѣла—и, подавая мнѣ чашку чаю, торопливо прошептала: „Вы что̀ тамъ ни говорите, какъ вы ни старайтесь, а ничего вы не подѣлаете... Такъ-то!“ Я съ изумленіемъ посмотрѣлъ на нее и, улучивъ удобную минутку, спросилъ ее, тоже вполголоса: — Какой смыслъ вашихъ словъ? — „А такой смыслъ“, отвѣчала она, и черные ея глаза, злобно блеснувъ изъ-подъ надвинутыхъ бровей, уперлись мнѣ въ лицо, и тотчасъ отклонились въ сторону: „такой смыслъ, что я все слышала, что̀ вы сегодня тамъ говорили, и спасибо вамъ сказать нѐ за что, а будетъ, все-таки, не по-вашему“.—Вы были тамъ?—невольно вырвалось у меня... Но тутъ Бабуринъ насторожился и глянулъ въ нашу сторону.—Муза отошла отъ меня прочь.

Минутъ десять спустя, ей опять удалось приблизиться ко мнѣ. Ей словно было пріятно говорить мнѣ смѣлыя и опасныя вещи, и говорить ихъ въ присутствіи своего покровителя, подъ его наблюденіемъ, ровно настолько скрываясь, насколько оно было нужно для того, чтобы не возбудить его подозрительность. Извѣстное дѣло: ходить въ обрѣзъ, по самому краю пропасти—любимое женское занятіе.—„Да, я была тамъ“, шептала Муза, не мѣняясь въ лицѣ: только ноздри ея слегка трепетали и губы криво подергивало.—„Да, и если Парамонъ Семенычъ меня спроситъ, о чемъ я съ вами теперь перешёптываюсь, я сейчасъ ему скажу. Что̀ мнѣ!“

— Будьте же осторожнѣе, — убѣждалъ я ее: — право, кажется, они замѣчаютъ...

— Я же вамъ говорю, что я готова все сказать. Да и кто замѣчаетъ? Одинъ съ лежанки шею вытягиваетъ, точно *больной утёнокъ*, да и не слышитъ ничего; а другой о

философіи размышляетъ. Вы не бойтесь! — Голосъ Музы слегка возвышался, и щеки ея понемногу краснѣли какой-то злорадной, тусклой краской; и чудесно шло это къ ней, и никогда она не была такъ хороша собою. Убирая со стола, разставляя по мѣстамъ чашки, блюдечки, она быстро двигалась по комнатѣ; было что-то вызывающее въ ея развязной, легкой походкѣ.—„Судите, молъ, меня, какъ знаете, а я сама по себѣ, и васъ не боюсь".

Не могу скрыть, что Муза мнѣ казалась обаятельной, именно въ тотъ вечеръ. Да, думалось мнѣ, эта злюка — это новый типъ... Это — прелесть. Эти руки, пожалуй, ударить могутъ... Что жъ! Не бѣда!

— Парамонъ Семенычъ! — воскликнула она вдругъ: — республика — это такое государство, гдѣ всякій дѣлаетъ, что̀ ему вздумается?

— Республика не есть государство, — отвѣтилъ Бабуринъ, поднявъ голову и насупивъ брови: — она есть такое... устройство, въ которомъ все основано на законѣ и справедливости.

— Стало-быть,—продолжала Муза:—въ республикѣ никто не можетъ принуждать другого?

— Никто не можетъ.

— И собою всякъ располагать воленъ?

— Воленъ.

— А! только это я и хотѣла знать.

— Это тебѣ—на что̀ же?

— А такъ; нужно. — Мнѣ нужно было, чтобы *вы* это сказали.

— Любознательная у насъ барышня,—замѣтилъ съ лежанки Пунинъ.

Когда я вышелъ въ переднюю, Муза проводила меня, конечно, не изъ вѣжливости, а все изъ того же злорадства. Я спросилъ ее на прощанье: — Неужто вы такъ сильно его любите?

— Люблю ли, не люблю ли, про то я знаю,—отвѣчала она:—а только чему быть, того не миновать.

— Смотрите, не играйте съ огнемъ... сгорите.

— Лучше сгорѣть, чѣмъ замерзнуть. А вы... съ ва-

шими совѣтами! И почемъ вы знаете, что онъ не женится на мнѣ? Почемъ вы знаете, что я непремѣнно хочу выйти замужъ? Ну, я пропаду... Вамъ-то что за дѣло?

Она захлопнула за мною дверь.

Помнится, на возвратномъ пути домой, мнѣ было довольно пріятно думать, что моему другу, Владиміру Тархову, можетъ придтись—ой, ой, ой, какъ солоно отъ „новаго типа"... Долженъ же онъ хоть чѣмъ-нибудь поплатиться за свое счастье!

Въ томъ, что онъ будетъ счастливъ, я, къ сожалѣнію, не могъ сомнѣваться.

Прошло дня три. Я сидѣлъ у себя въ комнатѣ, передъ письменнымъ столомъ, и не столько работалъ, сколько собирался завтракать... услышалъ шорохъ, поднялъ голову и остолбенѣлъ. Передо мною — неподвижное, страшное, бѣлое какъ мѣлъ, стояло привидѣніе... стоялъ Пунинъ. Медленно мигая, глядѣли на меня его съеженные глазки безсмысленный, заячій испугъ выражали они, и руки висѣли, какъ плети.

— Никандръ Вавилычъ! Что̀ съ вами? Какъ вы сюда попали? Никто не видалъ васъ? Что̀ случилось? Да говорите же!

— Сбѣжала,—произнесъ Пунинъ едва слышнымъ, сиплымъ шопотомъ.

— Что вы говорите?

— Сбѣжала,—повторилъ онъ.

— Кто?

— Муза. Ушла ночью, и записку оставила.

— Записку?

— Да. Благодарю, молъ, но уже болѣе не вернусь. Не ищите. Мы туда—сюда; спрашиваемъ кухарку: та ничего не знаетъ. Я не могу громко говорить, извините. Голосъ сорвался.

— Муза Павловна васъ оставила! — воскликнулъ я. — Скажите! Г-нъ Бабуринъ долженъ быть въ отчаяніи. Что же онъ намѣренъ теперь сдѣлать?

— *Ничего онъ* не намѣренъ сдѣлать. Я хотѣлъ съ-

жать къ генералъ-губернатору; запретилъ. Я хотѣлъ подать въ полицію объявленіе; запретилъ, и даже прогнѣвался. Говоритъ: ея воля. Говоритъ: притѣснять не желаю. Даже на службу въ свою контору отправился. Только, конечно, облика человѣческаго уже на немъ не имѣется. Больно много любилъ онъ ее... Охъ, охъ, много мы оба ее любили!

Тутъ Пунинъ впервые обнаружилъ, что онъ не истуканъ, а живой человѣкъ: поднялъ оба кулака кверху и опустилъ ихъ себѣ на темя, лоснившееся, какъ слоновая кость.

— Неблагодарная! — простоналъ онъ: — кто тебя кормилъ, поилъ, спасъ, обулъ, воспиталъ; кто заботился о тебѣ, кто всю жизнь, всю душу... А ты все забыла! Меня бросить, конечно, не штука, но Парамона Семеныча, Парамона...

Я попросилъ его присѣсть, отдохнуть...

Пунинъ отрицательно покачалъ головою. — Нѣтъ, не надо. Я и пришелъ-то къ вамъ... не знаю, зачѣмъ. Я, какъ ошалѣлый; остаться дома одному — жутко; куда дѣться? Стану посреди комнаты, закрою глаза и зову: Муза! Музочка! Этакъ съ ума сойдешь. Да нѣтъ, что̀ я вру? Я знаю, зачѣмъ я къ вамъ пришелъ. Вы, вотъ, мнѣ, намеднись ту треклятую пѣсенку прочли... помните, гдѣ говорится о старомъ мужѣ? Зачѣмъ вы это сдѣлали? Али вы ужъ что̀ знали тогда... или догадывались? — Пунинъ глянулъ на меня. — Батюшка, Петръ Петровичъ, — воскликнулъ онъ вдругъ, и затрепеталъ весь: — вамъ, быть-можетъ, извѣстно, гдѣ она находится? Батюшка, къ кому она ушла?

Я смутился и поневолѣ опустилъ глаза...

— Развѣ она въ своемъ письмѣ сказала вамъ, — началъ я...

— Она сказала, что уходитъ отъ насъ, потому что полюбила другого! Батюшка, голубчикъ, вы навѣрное знаете, гдѣ она? Спасите ее, пойдемте къ ней; мы ее уговоримъ. *Помилуйте*, посудите, кого она убила? — Пунинъ вдругъ *покраснѣлъ*, вся кровь прилила ему въ голову, онъ тяжко

грохнулся на колѣни.—Спасите, отецъ, пойдемте къ ней!

Человѣкъ мой появился на порогѣ и остановился въ недоумѣніи.

Не малаго труда стоило мнѣ поднять Пунина снова на ноги, растолковать ему, что если я даже что-нибудь и подозрѣваю, то, все-таки, нельзя дѣйствовать такъ, съ-плеча, особенно вдвоемъ; что этимъ только все дѣло испортишь, что я готовъ попытаться, но ни за что не отвѣчаю. Пунинъ не возражалъ мнѣ, но и не слушалъ меня, и лишь изрѣдка повторялъ своимъ надорваннымъ голосомъ:—Спасите, спасите ее и Парамона Семеныча.—Онъ, наконецъ, заплакалъ.—Скажите, по крайней мѣрѣ, одно,—спросилъ онъ:—что... *онъ* хорошъ собою, молодъ?

— Молодъ,—отвѣчалъ я.

— Молодъ,—повторилъ Пунинъ, размазывая по щекамъ слезы.—И она молода... Вотъ, въ чемъ вся бѣда!

Эта риѳма пришлась случайно: бѣдному Пунину было не до поэзіи. Я бы дорого далъ, чтобы снова услышать отъ него витіеватыя рѣчи, или хотя его почти беззвучный смѣхъ... Увы! тѣ рѣчи исчезли навсегда,—я не слыхалъ болѣе его смѣха.

Я обѣщался навѣстить его, какъ только узнаю что-нибудь положительное... Тархова я, однако, не назвалъ. — Пунинъ вдругъ опустился весь.—„Хорошо-съ, хорошо-съ, спасибо-съ", замѣтилъ онъ съ убогой ужимочкой, и вставляя слово-ерики, чего онъ прежде никогда не дѣлалъ;— „только, знаете-съ, Парамону Семенычу не говорите-съ ничего-съ... а то онъ разсердится! — Одно слово: запретилъ! Прощайте-съ, сударь!"

Уходя и повернувшись ко мнѣ спиною, Пунинъ показался мнѣ такимъ мизернымъ, что я даже удивился: и хромалъ-то онъ на обѣ ноги, и присѣдалъ на каждомъ шагу...

„Плохо дѣло! Finis, что̀ называется",—подумалъ я.

Хотя я обѣщалъ Пунину собрать свѣдѣнія о Музѣ, однако, отправляясь въ тотъ же день къ Тархову, я *нисколько не надѣялся* что-нибудь узнать, ибо навѣрное по-

лагалъ, что либо я не застану его дома, либо онъ меня не приметъ. Предположеніе мое оказалось ошибочнымъ: я засталъ Тархова дома, онъ меня принялъ, и я даже узналъ все, что̀ хотѣлъ узнать; но пользы отъ этого не вышло никакой. Тарховъ, какъ только я перешагнулъ порогъ его двери, подошелъ ко мнѣ рѣшительно, быстро, и съ сіяющими, горячими глазами на похорошѣвшемъ и просвѣтленномъ лицѣ, твердо и бойко промолвилъ:—Слушай, братъ, Петя! Я догадываюсь, зачѣмъ ты пришелъ и о чемъ ты собираешься говорить со мною; но предупреждаю тебя, что если ты хотя единымъ словомъ упомянешь о ней, или объ ея поступкѣ, или о томъ, что̀, по-твоему, мнѣ повелѣваетъ благоразуміе — мы больше не друзья, мы даже не знакомые, и я буду просить тебя быть со мною, какъ чужой.

Я посмотрѣлъ на Тархова: онъ весь внутренно трепеталъ, какъ натянутая струна, онъ весь звенѣлъ, онъ едва сдерживалъ порывы поднимавшейся молодой крови, сильное, радостное счастье ворвалось ему въ душу и завладѣло имъ—и онъ имъ завладѣлъ.

— Это твое неизмѣнное рѣшеніе?—произнесъ я печально.

— Да, братъ, Петя, неизмѣнное.

— Въ такомъ случаѣ, мнѣ остается сказать тебѣ: прощай!

Тарховъ слегка прищурился... Ужъ очень ему было хорошо.

— Прощай, братъ, Петя,—проговорилъ онъ немножко въ носъ, съ откровенной улыбкой, весело сверкнувъ всѣми своими бѣлыми зубами.

Что̀ мнѣ было дѣлать? Я оставилъ его съ его „счастьемъ".

Когда я захлопнулъ за собою дверь, другая дверь въ комнатѣ, я это слышалъ, хлопнула тоже.

Не легко мнѣ было на̀ сердцѣ и на слѣдующій день, когда я поплелся къ своимъ злополучнымъ знакомцамъ. Я втайнѣ надѣялся—такова слабость человѣческая!—что не застану ихъ дома, и опять ошибся. Оба были дома. *Перемѣна*, происшедшая съ ними въ послѣдніе три дня,

поразила бы всякаго. Пунинъ весь побѣлѣлъ и отёкъ. Куда дѣвалась его болтливость? Онъ говорилъ вяло, слабо, все тѣмъ же сиплымъ голосомъ, и видъ имѣлъ изумленный и потерянный. Бабуринъ, напротивъ, скорчился и почернѣлъ; несловоохотливый и въ прежнее время, онъ теперь едва произносилъ отрывистые звуки; выраженіе окаменѣлой строгости такъ и замерло на его чертахъ.

Я чувствовалъ, что молчать было невозможно; но что̀ было сказать? Я ограничился тѣмъ, что шепнулъ Пунину: „Ничего я не узналъ, и мой совѣтъ вамъ: бросьте всякую надежду". Пунинъ взглянулъ на меня своими опухшими, красными глазенками—только и осталось у него краснаго на всемъ лицѣ,—пробормоталъ что-то невнятное и отковылялъ въ сторону. Бабуринъ, вѣроятно, догадался, о чемъ шла рѣчь у насъ съ Пунинымъ, и, раскрывъ свои стиснутыя, словно склеенныя губы, произнесъ неспѣшнымъ голосомъ: — „Милостивый государь! со времени вашего послѣдняго посѣщенія, у насъ случилась непріятность: воспитанница наша, Муза Павловна Виноградова, не находя болѣе удобнымъ жить съ нами, рѣшилась насъ покинуть, о чемъ оставила намъ письменное заявленіе. Не почитая себя въ правѣ ей препятствовать, мы предоставили ей поступать по ея благоусмотрѣнію. Желаемъ, чтобы ей было хорошо, — прибавилъ онъ не безъ усилія: — а васъ покорнѣйше просимъ объ этомъ предметѣ не упоминать, такъ какъ подобныя рѣчи безполезны и даже огорчительны".

„Вотъ, и этотъ, какъ и Тарховъ, запрещаетъ мнѣ говорить о Музѣ", подумалось мнѣ, и не могъ я внутренно не подивиться. Не даромъ же онъ такъ высоко цѣнилъ Зенона. Я хотѣлъ-было сообщить ему нѣчто объ этомъ мудрецѣ, но языкъ у меня не повернулся, и хорошо сдѣлалъ.

Я скоро ушелъ во-свояси. Разставаясь со мною, ни Пунинъ, ни Бабуринъ не сказали мнѣ: до свиданья! — оба въ одинъ голосъ промолвили: „прощайте-съ!" Пунинъ даже возвратилъ мнѣ книжку „Телеграфа", которую я *принесъ ему: теперь-молъ* мнѣ этого больше уже не надо.

Недѣлю спустя, со мной произошла странная встрѣча. Весна наступила ранняя, крутая; въ полдень жара доходила до восемнадцати градусовъ. Все зеленѣло и лѣзло изъ разрыхленной, сырой земли. Я нанялъ въ манежѣ верхового коня и отправился за городъ, на Воробьевы-горы. На дорогѣ мнѣ попалась телѣжка, запряженная парой лихихъ, до самыхъ ушей забрызганныхъ, вятокъ, съ заплетенными хвостами, съ красными лентами въ чолкахъ и гривахъ. Сбруя на лошадяхъ была охотницкая, съ мѣдными бляхами и кистями,—и правилъ ими молодой щеголь-ямщикъ, въ синей поддёвкѣ безъ рукавовъ и желтой канаусовой рубахѣ, въ низкой поярковой шляпѣ, съ павлинымъ перомъ вокругъ тульи. Рядомъ съ нимъ сидѣла дѣвушка мѣщанскаго или купеческаго званія, въ пестрой парчевой кацавейкѣ, съ большимъ голубымъ платкомъ на головѣ—и такъ и заливалась смѣхомъ. Ямщикъ ухмылялся тоже. Я поворотилъ своего коня въ сторону, а впрочемъ, не обратилъ особаго вниманія на быстро-мелькнувшую веселую чету,—какъ вдругъ, парень гикнулъ на лошадей... Да это голосъ Тархова! Я оглянулся... Точно: онъ; несомнѣнно онъ, наряженный ямщикомъ, а возлѣ него—ужъ не Муза ли?

Но въ это мгновенье вятки подхватили, и только я ихъ и видѣлъ. Я-было пустилъ моего коня въ галопъ, вслѣдъ за ними, но это былъ старый манежный драбантъ, съ такъ-называемымъ генеральскимъ аллюромъ въ разскачку: галопомъ онъ шелъ еще тише, чѣмъ рысью.

— Гуляйте, любезные! — проворчалъ я сквозь зубы. Должно замѣтить, что Тархова я не видѣлъ въ теченіе всей недѣли, хотя раза три заходилъ къ нему. Его никогда не было дома. Бабурина и Пунина я тоже не видѣлъ... Я ихъ не посѣщалъ.

Я простудился на моей прогулкѣ: хотя и было очень жарко, но вѣтеръ дулъ пронзительный. Я опасно заболѣлъ—и когда я выздоровѣлъ, мы съ бабушкой отправились въ деревню — „на подножный кормъ“ — по совѣту *доктора*. Въ Москву я уже больше не попалъ: къ осени *я перешелъ* въ петербургскій университетъ.

III.

1849 г.

Прошло уже не семь, а цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ, и мнѣ стукнулъ тридцать-второй годъ. Бабушка давно скончалась; я жилъ въ Петербургѣ, чиновникомъ по министерству внутреннихъ дѣлъ. Тархова я потерялъ изъ виду: поступилъ онъ въ военную службу и находился почти постоянно въ провинціи. Мы съ нимъ встрѣтились раза два по-пріятельски, радушно; но разговоры наши не касались прошедшаго. Въ эпоху второй нашей встрѣчи, онъ, сколько мнѣ помнится, былъ уже женатъ. Однажды, въ знойный лѣтній день, я, проклиная и служебныя обязанности, удерживавшія меня въ Петербургѣ, и городскую духоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой улицѣ. Погребальная процессія перебила мнѣ дорогу. Вся она состояла изъ единственной колесницы, т. е., собственно говоря, изъ дряхлыхъ дрогъ, на которыхъ, грубо подбрасываемый толчками ухабистой мостовой, колыхался убогій деревянный гробъ, до половины прикрытый потертымъ чернымъ сукномъ. Старый человѣкъ, съ бѣлой головою, выступалъ одинъ за дрогами.

Я вглядѣлся въ него... Лицо знакомое... Онъ тоже повелъ на меня глазами... Боже мой! да это Бабуринъ!

Я снялъ шляпу, подошелъ къ нему, назвалъ себя—и отправился съ нимъ рядомъ.

— Кого вы хороните?—спросилъ я.

— Никандра Вавилыча Пупина,—отвѣчалъ онъ.

Я предчувствовалъ, я заранѣе зналъ, что онъ назоветъ это имя, и сердце все-таки дрогнуло во мнѣ. Грустно стало мнѣ, и радъ я былъ, что случай доставилъ мнѣ возможность отдать послѣдній долгъ моему наставнику...

— Могу я идти съ вами, Парамонъ Семенычъ?

— Можете... Я одинъ провожалъ его; теперь насъ будетъ двое.

Больше часа продолжалось наше шествіе. Спутникъ мой подвигался, не поднимая глазъ, не разжимая губъ. Онъ *окончательно состарѣлся* съ тѣхъ поръ, какъ я его видѣлъ

въ послѣдній разъ; изрытое морщинами, мѣднаго цвѣта лицо рѣзко отдѣлялось отъ бѣлыхъ волосъ. Слѣды трудовой, терпкой жизни, постоянной борьбы, сказывались во всемъ существѣ Бабурина: обглодала его нужда да бѣдность. Когда все покончилось, когда тò, чтò было Пунинымъ, навѣки скрылось въ сырой... ужъ, точно, сырой землѣ Смоленскаго кладбища, Бабуринъ, постоявъ минуты двѣ съ потупленной, непокрытой головою передъ нововыросшимъ холмикомъ песчаной глины, обратилъ ко мнѣ свое изможденное, какъ бы ожесточенное лицо, свои сухіе, впалые глаза, угрюмо поблагодарилъ меня и хотѣлъ-было удалиться; но я удержалъ его.

— Гдѣ вы живете, Парамонъ Семенычъ? Позвольте васъ навѣстить. Я не зналъ вовсе, что вы живете въ Петербургѣ. Мы бы старое вспомнили, побесѣдовали бы о покойномъ нашемъ другѣ.

Бабуринъ не тотчасъ отвѣтилъ мнѣ.

— Я третій годъ, какъ въ Петербургѣ обрѣтаюсь, — промолвилъ онъ наконецъ:—квартирую я на самомъ концѣ города. Впрочемъ, если вы, точно, желаете меня посѣтить, приходите.—Онъ далъ мнѣ свой адресъ.—Приходите вечеромъ; вечеромъ мы всегда дома... мы оба.

— Вы... оба?

— Я женатъ. Моя жена сегодня не совсѣмъ здорова; оттого она и не провожала покойника. А впрочемъ, достаточно и одному человѣку исполнить эту пустую формальность, этотъ обрядъ. Кто же во все это вѣритъ!

Я нѣсколько удивился послѣднимъ словамъ Бабурина, однако ничего не сказалъ, взялъ извозчика и предложилъ Бабурину довезти его до дому, но онъ отказался.

Въ тотъ же день, вечеромъ, я отправился къ нему. Дорогой я все думалъ о Пунинѣ. Мнѣ вспомнилось, какъ я въ первый разъ съ нимъ встрѣтился, и какой онъ былъ тогда восторженный и забавный; потомъ, въ Москвѣ, какъ онъ присмирѣлъ—особенно въ послѣднее наше свиданіе; *а вотъ*, и совсѣмъ конченъ расчетъ съ жизнію: не шутитъ, *видно*, она! Квартировалъ Бабуринъ на Выборгской сто-

ронѣ, въ домикѣ, напоминавшемъ мнѣ его московское гнѣздышко: петербургское чуть ли не было еще бѣднѣе. Когда я вошелъ къ нему въ комнату, онъ сидѣлъ въ углу, на стулѣ, уронивъ обѣ руки на колѣни; нагорѣвшая сальная свѣча тускло освѣщала его повислую, бѣлую голову. Онъ услышалъ шумъ моихъ шаговъ, встрепенулся и привѣтствовалъ меня радушнѣе, чѣмъ я ожидалъ. Спустя нѣсколько мгновеній, появилась его жена: я въ ней тотчасъ узналъ Музу — и тутъ только понялъ, зачѣмъ Бабуринъ меня пригласилъ къ себѣ: онъ хотѣлъ показать мнѣ, что онъ все-таки добился своего.

Перемѣнилась Муза много — въ лицѣ, въ голосѣ и въ движеньяхъ; но больше всего перемѣнились ея глаза. Бывало, они бѣгали, какъ живчики, эти злые, эти красивые глаза; они блистали украдкой, но ярко; взоръ ихъ кололъ, какъ булавка... Теперь они глядѣли прямо, спокойно, пристально; черныя зѣницы потускнѣли. „Я надломана, я смирна, я добра",—казалось, говорилъ ея тихій и тупой взоръ. То же самое говорила ея постоянная, покорная улыбка. И платье на ней было смиренное: коричневое, съ маленькими горошинами. Она первая подошла ко мнѣ, спросила, узнаю ли я ее? Она, очевидно, не конфузилась, и не потому, чтобы она потеряла стыдъ или память, а просто потому, что суета отъ нея отошла. Муза много говорила о покойномъ Шунинѣ, говорила ровнымъ, тоже похолодѣвшимъ голосомъ. Я узналъ, что онъ, въ послѣдніе годы, совсѣмъ сталъ хилый, почти въ дѣтство впалъ, такъ что даже скучалъ безъ игрушекъ; правда, его увѣряли, что онъ шьетъ ихъ изъ тряпокъ для продажи... онъ самъ забавлялся ими. Страсть его къ стихамъ, однако, не угасла, и память сохранилась на одни только стихи: за нѣсколько дней до смерти онъ еще декламировалъ изъ „Россіады"; зато Пушкина боялся, какъ дѣти боятся буки. Привязанность его къ Бабурину также не уменьшилась: онъ попрежнему благоговѣлъ передъ нимъ, и уже охваченный мракомъ и холодомъ кончины, еще лепеталъ коснѣющимъ языкомъ: „благодѣтель!" Я узналъ *также отъ Музы,* что вскорѣ послѣ московскаго происше-

ствія, Бабурину опять пришлось поколесить по Россіи, перекочевывая съ одной частной должности на другую; что и въ Петербургъ онъ прибылъ опять-таки на частную службу, которую, впрочемъ, принужденъ былъ оставить на-дняхъ, по непріятности съ хозяиномъ! Бабуринъ вздумалъ заступиться за рабочихъ... Постоянная улыбка Музы, сопровождавшая ея рѣчи, наводила меня на размышленія печальныя; она довершала впечатлѣніе, возбужденное во мнѣ наружностью ея мужа. Трудно доставался имъ обоимъ насущный хлѣбъ—въ этомъ не было сомнѣнія. Самъ онъ мало вмѣшивался въ нашу бесѣду: онъ казался еще болѣе озабоченнымъ, чѣмъ огорченнымъ... Что-то грызло его.

— Парамонъ Семенычъ, пожалуйте, — проговорила кухарка, внезапно появившись на порогѣ двери.

— Что такое? что нужно?—тревожно спросилъ онъ.

— Пожалуйте, — значительно и настойчиво повторила кухарка. Бабуринъ застегнулся и вышелъ.

Когда мы остались одни съ Музой, она посмотрѣла на меня нѣсколько измѣненнымъ взоромъ, и промолвила голосомъ тоже измѣненнымъ, и уже безъ улыбки:—Не знаю, Петръ Петровичъ, что̀ вы теперь обо мнѣ думаете, но полагаю, что вы помните, какая я была... Самоувѣренная была я, веселая... и недобрая; хотѣла въ свое удовольствіе пожить. А я вамъ вотъ что̀ скажу теперь: когда меня бросили, и я была, какъ потерянная, и только ждала, что либо Богъ меня приберетъ, либо у самой хватитъ духа съ собой покончить,—я опять, какъ въ Воронежѣ, встрѣтилась съ Парамономъ Семенычемъ—и онъ опять спасъ меня... Слова обиднаго я отъ него не услышала, ни одного упрека не услышала, ничего онъ отъ меня не потребовалъ — не сто̀ила я того; но онъ меня любилъ... и я стала его женой. Что̀ же мнѣ было дѣлать? умереть — не удалось; — жить тоже не пришлось, какъ хотѣлось... Куда же было дѣться! И то̀—милость. Вотъ и все.

Она умолкла, отвернулась на мгновеніе... прежняя покорная улыбка опять появилась на ея губахъ. „Легко ли

мнѣ жить, не спрашивай", — почудилось мнѣ теперь въ этой улыбкѣ.

Разговоръ перешелъ къ предметамъ обыкновеннымъ. Муза разсказала мнѣ, что послѣ Пунина осталась кошка, которую онъ очень любилъ, но что она съ самой его смерти ушла на чердакъ и тамъ сидитъ, и все мяучитъ, точно зоветъ кого-то... сосѣди очень пугаются и воображаютъ, что это душа Пунина перешла въ кошку.

— Парамонъ Семенычъ чѣмъ-то встревоженъ, — проговорилъ я, наконецъ.

— А вы это замѣтили?—Муза вздохнула.—Ему нельзя не тревожиться. Вамъ нечего сказывать, что Парамонъ Семенычъ остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ... Нынѣшній порядокъ вещей могъ только укрѣпить ихъ. (Муза выражалась совсѣмъ иначе, чѣмъ, бывало, въ Москвѣ: языкъ ея принялъ литературный, начитанный оттѣнокъ.) Впрочемъ, я не знаю, могу ли я вамъ довѣриться и какъ вы примете...

— Почему же вы полагаете, что мнѣ довѣриться нельзя?

— Да вѣдь вы состоите на службѣ, вы чиновникъ.

— Ну, такъ что жъ?

— Вы, слѣдовательно, преданы правительству.

Я внутренно подивился... молодости Музы. — О моихъ отношеніяхъ къ правительству, которое и существованія моего не подозрѣваетъ, я распространяться не буду, — промолвилъ я: — но вы можете быть спокойны. Вашего довѣрія я во зло не употреблю. Убѣжденіямъ вашего супруга я сочувствую... больше, чѣмъ вы полагаете.

Муза покачала головою.

— Да; это все такъ,—начала она не безъ запинки: — но вѣдь вотъ что. Убѣжденіямъ Парамона Семеныча, быть-можетъ, скоро придется выказаться на дѣлѣ. Они не могутъ больше оставаться подъ спудомъ. Есть товарищи, отъ которыхъ теперь невозможно отстать...

Муза внезапно умолкла, словно языкъ себѣ прикусила. Ея послѣднія слова меня изумили и немножко испугали. Вѣроятно, лицо мое выразило то, что я почувствовалъ — *и Муза это замѣтила.*

Я уже сказалъ, что свиданіе наше происходило въ 1849 году. Многимъ еще памятно, какое это было смутное и тяжелое время, и какими событіями ознаменовалось оно въ С.-Петербургѣ. Меня самого поразили нѣкоторыя странности въ обращеніи Бабурина, во всей его повадкѣ. Раза два онъ съ такой рѣзкой горечью и ненавистью, съ такимъ отвращеніемъ отозвался о правительственныхъ распоряженіяхъ, о высокопоставленныхъ лицахъ, что я почувствовалъ недоумѣніе...

— А что̀?—спросилъ онъ меня вдругъ:—освободили вы своихъ крестьянъ?

Я принужденъ былъ сознаться, что нѣтъ.

— А вѣдь, чай, бабка-то умерла?

И въ этомъ я долженъ былъ сознаться.

— То-то, вы, господа дворяне,—проворчалъ сквозь зубы Бабуринъ... — Чужими руками... жаръ загребать... это вы любите.

Въ его комнатѣ, на самомъ видномъ мѣстѣ, висѣла извѣстная литографія, изображавшая Бѣлинскаго; на столѣ лежалъ томикъ старинной, бестужевской „Полярной Звѣзды“.

Бабуринъ долго не возвращался послѣ того, какъ кухарка его вызывала. Муза нѣсколько разъ съ безпокойствомъ глянула на дверь, въ которую она вышелъ. Наконецъ, она не вытерпѣла, встала, извинилась и тоже вышла въ ту же дверь. Черезъ четверть часа она вернулась назадъ съ своимъ мужемъ; лица обоихъ, такъ по крайней мѣрѣ мнѣ показалось, выражали смущеніе.— Но вотъ, внезапно, лицо Бабурина приняло другое, ожесточенное, почти изступленное выраженіе...

— Какой же этому будетъ конецъ? — заговорилъ онъ вдругъ прерывистымъ, захлебывавшимся, ему вовсе не свойственнымъ, голосомъ, и поводя кругомъ, блуждая одичалыми глазами. — Живешь, живешь, надѣешься, авось лучше будетъ, легче будетъ дышать,—а напротивъ того, все идетъ хуже да хуже! — Совсѣмъ ужъ къ стѣнѣ *прижали!* Въ молодости я всего натерпѣлся; меня... быть-*можетъ*... даже били... да!—прибавилъ онъ, круто повер-

нувшись на каблукахъ и словно накинувшись на меня:— я, уже совершеннолѣтнимъ будучи, получалъ истязанія тѣлесныя... да;—о другихъ несправедливостяхъ я уже не говорю... Но неужто жъ намъ къ тѣмъ, прежнимъ временамъ... предстоитъ вернуться? — Что́ теперь дѣлаютъ съ молодыми людьми!—Да, вѣдь, это, наконецъ, всякое терпѣніе лопнетъ... Лопнетъ! Да! Погодите!

Я никогда не видалъ Бабурина въ подобномъ состояніи.—Муза даже поблѣднѣла вся... Бабуринъ вдругъ раскашлялся и опустился на скамейку. Не желая стѣснять ни его, ни Музу своимъ присутствіемъ, я рѣшился уйти, и уже прощался съ ними, какъ вдругъ та же дверь въ сосѣднюю комнату отворилась, и показалась голова... Но не голова кухарки, а всклоченная, перепуганная голова молодого человѣка.

— Бѣда, Бабуринъ, бѣда! пролепеталъ онъ торопливо, но тотчасъ же скрылся при видѣ незнакомой моей фигуры.

Бабуринъ бросился вонъ вслѣдъ за молодымъ человѣкомъ. Я крѣпко пожалъ руку Музѣ—и удалился, съ дурными предчувствіями на сердцѣ.

— Приходите завтра,—шепнула она тревожно.

— Приду непремѣнно,—отвѣтилъ я.

Я на другой день еще лежалъ въ постели, когда мой человѣкъ подалъ мнѣ письмо отъ Музы.

„Милостивый государь, Петръ Петровичъ! писала она: Парамона Семеныча сегодня ночью арестовали жандармы — и увезли въ крѣпость, или не знаю куда: они не сказали. Всѣ наши бумаги перерыли, многое запечатали, съ собою взяли. Также книги и письма. Говорятъ, въ городѣ пропасть народа арестовано. Вы можете себѣ представить, что̀ я чувствую. Хорошо, что Никандръ Вавилычъ до этого не дожилъ! Во́-время онъ убрался. Посовѣтуйте, что̀ мнѣ сдѣлать. За себя я не боюсь — съ голоду я не умру—но мысль о Парамонѣ Семенычѣ не даетъ мнѣ покоя. Приходите, пожалуйста, если только вы не боитесь *посѣщать людей* въ нашемъ положеніи.—

„Готовая къ услугамъ—Муза Бабурина".

Черезъ полчаса я былъ у Музы. Увидавъ меня, она протянула мнѣ руку, и хотя не сказала ни слова, выраженіе благодарности мелькнуло на ея лицѣ. На ней было вчерашнее платье: по всему было замѣтно, что она не ложилась и не спала всю ночь. Глаза у ней были красны — но отъ безсонницы, не отъ слезъ. Она не плакала. Ей было не до того. Она хотѣла дѣйствовать, хотѣла бороться съ поразившимъ ее несчастьемъ: прежняя, энергическая, самовольная Муза воскресла въ ней. Даже негодовать ей было некогда, хотя негодованіе ее душило. Какъ помочь Бабурину, къ кому прибѣгнуть, чтобы облегчить его участь — ни о чемъ другомъ она не думала. Она хотѣла немедленно идти... просить... требовать... Но куда идти? кого просить? чего требовать? вотъ что она желала услышать отъ меня, вотъ о чемъ желала посовѣтоваться со мною.

Я началъ съ того, что посовѣтовалъ ей... терпѣнье. На первыхъ порахъ ничего другого не оставалось дѣлать, какъ только выжидать и, по мѣрѣ возможности, наводить справки. Предпринять что-нибудь рѣшительное теперь, когда дѣло едва началось, едва загорѣлось, — было просто немыслимо, безразсудно. Надѣяться на успѣхъ было безразсудно, даже если бы я обладалъ гораздо бо̀льшей долей значенія и вліянія... но что̀ могъ сдѣлать я, маленькій чиновникъ? У ней самой не было никакой протекціи...

Не легко было растолковать ей все это... однако она, наконецъ, поняла мои доводы; поняла также, что не эгоистическое чувство руководило мною, когда я доказывалъ безполезность всякихъ попытокъ.

— Да скажите, Муза Павловна,—началъ я, когда она наконецъ присѣла на стулъ—(до тѣхъ поръ она все стояла на ногахъ, какъ бы готовясь тотчасъ пойти на помощь Бабурину): — какимъ образомъ Парамонъ Семенычъ — въ его годы — попался въ такой исторіи? Тутъ, я увѣренъ, одни молодые люди замѣшаны, въ родѣ того, который *вчера* вечеромъ приходилъ предупредить васъ...

— *Эти* молодые люди — наши друзья! — воскликнула

Муза, и глаза ея заблистали и забѣгали по-старинному. Что-то сильное, неудержимое, казалось, такъ и поднялось со дна ея души... а мнѣ вдругъ вспомнилось названіе „новаго типа", данное ей нѣкогда Тарховымъ. — Годы ничего не значатъ, когда дѣло идетъ о политическихъ убѣжденьяхъ! — Муза особенно наперла на эти два послѣднія слова. Можно было подумать, что, при всемъ ея горѣ, ей было не непріятно выказать себя передо мною въ этомъ новомъ, неожиданномъ свѣтѣ—въ свѣтѣ женщины образованной и созрѣлой, достойной супруги республиканца! — Иные старики моложе иныхъ молодыхъ, — продолжала она: — способнѣе на жертвы... Но не въ томъ вопросъ.

— Мнѣ кажется, Муза Павловна, — замѣтилъ я: — вы нѣсколько преувеличиваете. Зная характеръ Парамона Семеныча, я былъ заранѣе увѣренъ, что онъ будетъ сочувствовать всякимъ... честнымъ порывамъ; но, съ другой стороны, я всегда считалъ его за человѣка благоразумнаго... Неужели онъ не понимаетъ всю невозможность, всю нелѣпость заговоровъ у насъ, въ Россіи? Въ его положеніи, въ его званіи...

— Конечно,—съ горечью въ голосѣ перебила Муза: — онъ мѣщанинъ; а въ Россіи вступать въ заговоры позволительно только дворянамъ, какъ, напримѣръ, четырнадцатаго декабря... вѣдь вотъ что̀ вы хотѣли сказать.

„Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ вы жалуетесь?" чуть не сорвалось у меня съ языка... однако я удержался. — Полагаете ли вы, что результатъ четырнадцаго декабря такого свойства, что долженъ поощрять другихъ? — произнесъ я громко.

Муза нахмурилась. — „Съ тобою нечего толковать объ этомъ", прочелъ я на ея потупленномъ лицѣ.

— Парамонъ Семенычъ очень скомпрометированъ? — рѣшился спросить я наконецъ. Муза ничего не отвѣчала... Голодное, дикое мяуканье раздалось съ чердака.

Муза вздрогнула. — Ахъ, хорошо, что Никандръ Вавилычъ всего этого не видѣлъ! — почти съ отчаяніемъ простонала она. — *Не видѣлъ* онъ, какъ ночью, насильно

схватили его благодѣтеля, нашего благодѣтеля, быть-можетъ, лучшаго и честнѣйшаго человѣка въ цѣломъ свѣтѣ, — не видѣлъ онъ, какъ обращались съ почтеннымъ старикомъ, какъ говорили ему: „ты"... какъ грозили ему— и чѣмъ ему грозили!.. потому только, что онъ мѣщанинъ! Этотъ офицеръ молодой тоже, должно-быть, изъ числа такихъ безсовѣстныхъ бездушниковъ, какихъ и мнѣ въ моей жизни...

Голосъ Музы порвался. Она вся трепетала, какъ листъ.

Долго сдержанное негодованіе прорвалось, наконецъ; потрясенныя, вызванныя наружу общей душевной тревогой, всколыхнулись старыя воспоминанія... Но собственно я убѣдился въ это мгновенье, что „новый типъ" остался тѣмъ же, той же страстной, увлекающейся натурой... Только увлекалась Муза уже не тѣмъ, чѣмъ, бывало, въ молодые годы. То, что̀ въ первое мое посѣщеніе я принялъ за резиньяцію, за усмиренность, и что̀ дѣйствительно было тѣмъ—этотъ тихій, тупой взоръ, этотъ холодный голосъ, эта ровность и простота—все это имѣло смыслъ лишь въ отношеніи къ прошедшему, невозвратному...

Теперь настоящее заговорило.

Я постарался успокоить Музу, постарался перевести нашу бесѣду на болѣе практическую почву. Надо было принять нѣкоторыя неотложныя мѣры: узнать, гдѣ собственно находился Бабуринъ; а потомъ достать и ему, и Музѣ средства къ существованію. Все это представляло затрудненія не малыя; приходилось отыскивать не прямо деньги, а работу, что̀, какъ извѣстно, гораздо болѣе сложная задача...

Я ушелъ отъ Музы съ цѣлымъ роемъ соображеній въ головѣ.

Я скоро узналъ, что Бабуринъ сидитъ въ крѣпости...

Дѣло началось... затянулось. Я каждую недѣлю по нѣсколько разъ видался съ Музой. Она тоже имѣла нѣсколько свиданій съ мужемъ. Но въ самый моментъ разрѣшенія всей этой печальной исторіи меня въ Петербургѣ *не было*. Непредвидѣнныя дѣла заставили меня съѣздить *на югъ* Россіи. Во время моей отлучки я узналъ, что

Бабурина по суду оправдали: оказалось, что вся вина его состояла только въ томъ, что у него, какъ у человѣка, неспособнаго возбудить подозрѣнія, собирались иногда молодые люди, и онъ присутствовалъ при ихъ бесѣдахъ; однако, административнымъ порядкомъ сослали его на жительство въ одну изъ западныхъ губерній Сибири. Муза уѣхала съ нимъ.

„...Парамонъ Семенычъ этого не желалъ,—писала она мнѣ:—потому, по его понятіямъ, никто не въ правѣ жертвовать собою для другого человѣка—не для дѣла; но я ему отвѣтила, что тутъ никакой жертвы нѣтъ. Когда я сказала ему въ Москвѣ, что буду его женою, то я подумала про себя: навѣки и нерушимо! Такъ нерушимо должно оно стоять до конца дней...“

IV.

1861 г.

Еще двѣнадцать лѣтъ прошло... Всѣ въ Россіи знаютъ и вѣчно помнить будутъ, что́ совершилось между 49-мъ и 61-мъ годомъ. И въ моей личной жизни произошло много перемѣнъ, о которыхъ, впрочемъ, распространяться нечего. Появились въ ней новые интересы, новыя заботы... Чета Бабуриныхъ сперва отступила на второй планъ, потомъ совсѣмъ стушевалась. Я, однако, продолжалъ переписываться съ Музой—очень, правда, изрѣдка; иногда протекало болѣе года безо всякихъ извѣстій о ней и объ ея мужѣ. Я узналъ, что вскорѣ послѣ 55-го года ему было дозволено возвратиться въ Россію; но что онъ самъ пожелалъ остаться въ томъ небольшомъ сибирскомъ городкѣ, куда забросила его судьба, и гдѣ онъ, повидимому, свилъ себѣ гнѣздо, нашелъ пріютъ, кругъ дѣятельности...

И вотъ, въ концѣ марта мѣсяца 1861 года, получаю я слѣдующее письмо отъ Музы:

„Я такъ давно къ вамъ не писала, почтеннѣйшій П. П. что даже не знаю, живы ли вы; а если и живы, то не забыли ли о нашемъ существованіи? Но все равно; не могу я не писать *вамъ сегодня*. У насъ доселѣ все шло по

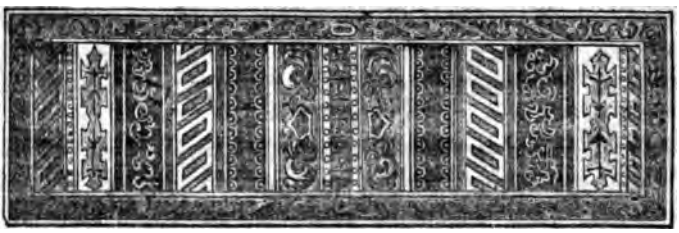
старинному; мы съ Парамономъ Семенычемъ занимались нашими школами, которыя подвигаются помаленьку; сверхъ того, Парамонъ Семенычъ занимался чтеніемъ и перепиской, да обычными своими преніями съ старовѣрцами, духовными лицами и ссыльными поляками; здоровье его было порядочно... Мое тоже. Но вотъ, вчера къ намъ пришелъ манифестъ 19-го февраля! Давно мы его ждали, давно ходили слухи о томъ, что̀ дѣлается у васъ въ Петербургѣ... но все же, не могу я вамъ описать, что̀ это было! Вы знаете хорошо моего мужа; несчастье нисколько его не измѣнило, а напротивъ, онъ сталъ еще крѣпче и энергичнѣе. (Не могу скрыть, что Муза написала енѣргичнѣе.) Сила воли въ немъ желѣзная, но тутъ онъ не выдержалъ! Руки тряслись у него, когда онъ читалъ; потомъ онъ обнялъ меня три раза и три раза со мной облобызался, хотѣлъ что-то сказать, — но нѣтъ! не могъ! и кончилъ тѣмъ, что прослезился, что̀ очень было удивительно видѣть, и вдругъ закричалъ: „Ура! ура! Боже, царя храни!“— Да, Петръ Петровичъ, эти самыя слова! Потомъ онъ прибавилъ: „Нынѣ отпущаеши“... и еще: „это первый шагъ, за нимъ должны послѣдовать другіе“; и, какъ былъ, безъ шапки, побѣжалъ сообщить великую эту новость нашимъ пріятелямъ. Морозъ стоялъ сильный, и даже пурга зачиналась, я его удерживала, но онъ не послушался. А когда пришелъ домой, весь былъ запорошенъ снѣгомъ, волосы, лицо и борода—у него теперь борода по самую грудь— и даже слезы на щекахъ застыли! Но очень онъ былъ живъ и веселъ, и велѣлъ мнѣ бутылку цымлянскаго раскупорить, и вмѣстѣ съ нашими пріятелями, которыхъ онъ съ собой привелъ, пилъ за здоровье царя и Россіи, и всѣхъ русскихъ свободныхъ людей; и, взявъ бокалъ и опустивъ взоръ на землю, сказалъ: „Никандръ, Никандръ, слышишь ли? Нѣтъ на Руси болѣе рабовъ! Радуйся и въ гробу, старый товарищъ!“ И многое еще такое говорилъ, что „сбылись, молъ, мои ожиданія!“ Говорилъ также и о томъ, что теперь уже повернуть назадъ невозможно; что *это—своего* рода залогъ или обѣщаніе... Всего я не *запомню*, но давно я его такимъ счастливымъ не видала

И вотъ, я рѣшилась вамъ написать, чтобы и вы узнали, какъ мы радовались и ликовали въ отдаленныхъ сибирскихъ пустыняхъ, чтобы и вы порадовались вмѣстѣ съ нами...“

Это письмо я получилъ въ концѣ марта; а въ началѣ мая пришло другое, весьма коротенькое письмо отъ той же Музы. Она извѣщала меня, что ея мужъ, Парамонъ Семенычъ Бабуринъ, получивъ простуду въ самый день прибытія манифеста, скончался 12-го апрѣля отъ воспаленія въ легкихъ 67 лѣтъ отъ роду. Она прибавила, что намѣрена остаться тамъ, гдѣ покоится его тѣло, и продолжать завѣщанную имъ работу, потому что такова была послѣдняя воля Парамона Семеныча — а у ней другого закона нѣтъ.

Съ тѣхъ поръ я уже болѣе не слыхалъ о Музѣ.

Парижъ. 1874 г.



ЧАСЫ.

(РАЗСКАЗЪ СТАРИКА.)

1850 г.

I.

Разскажу вамъ мою исторію съ часами...

Курьезная исторія!

Дѣло происходило въ самомъ началѣ нынѣшняго столѣтія, въ 1801 году. Мнѣ только-что пошелъ шестнадцатый годъ. Жилъ я въ Рязани, въ деревянномъ домикѣ, недалеко отъ берега Оки—вмѣстѣ съ отцомъ, теткой и двоюроднымъ братомъ. Мать свою я не помню: она скончалась года три послѣ замужества; кромѣ меня, у отца моего дѣтей не было. Звали его Порфиріемъ Петровичемъ. Человѣкъ онъ былъ смирный, собою неказистый, болѣзненный; занимался хожденіемъ по дѣламъ тяжебнымъ — и инымъ. Въ прежнія времена подобныхъ ему людей обзывали подьячими, крючками, крапивнымъ сѣменемъ; самъ онъ величалъ себя стряпчимъ. Нашимъ домашнимъ хозяйствомъ завѣдывала его сестра, а моя тетка—старая, пятидесятилѣтняя дѣва; моему отцу тоже минулъ четвертый *десятокъ*. Большая она была богомолка — прямо сказать:

ханжа, тараторка, всюду носъ свой совала; да и сердце у ней было не то, что у отца—недоброе. Жили мы—не бѣдно, а въ обрѣзъ. Былъ у моего отца еще братъ, Егоръ по имени; да того, за какіе-то якобы „возутительные поступки и якобинскій образъ мыслей“ (такъ именно стояло въ указѣ) сослали въ Сибирь еще въ 1797 году.

Егоровъ сынъ, Давыдъ, мой двоюродный братъ, остался у моего отца на рукахъ и проживалъ съ нами. Онъ былъ старше меня однимъ только годомъ; но я преклонялся передъ нимъ и повиновался ему, какъ будто онъ былъ совсѣмъ большой. Малый онъ былъ не глупый, съ характеромъ, изъ себя плечистый, плотный, лицо четыреугольное, весь въ веснушкахъ, волосы рыжіе, глаза сѣрые, небольшіе, губы широкія, носъ короткій, пальцы тоже короткіе—крѣпышъ, что называется—и сила не по лѣтамъ! Тетка терпѣть его не могла; а отецъ—такъ даже боялся его... или, можетъ-быть, онъ передъ нимъ себя виноватымъ чувствовалъ. Ходила молва, что не проболтайся мой отецъ, не выдай своего брата,—Давыдова отца не сослали бы въ Сибирь! Учились мы оба въ гимназіи, въ одномъ классѣ, и оба порядочно; я даже нѣсколько получше Давыда... Память у меня была острѣй; но мальчики — дѣло извѣстное! — *этимъ* превосходствомъ не дорожатъ и не гордятся, и Давыдъ все-таки оставался моимъ вожакомъ.

II.

Зовутъ меня — вы знаете — Алексѣемъ. Я родился 7-го, а именинникъ я 17-го марта. Мнѣ, по старозавѣтному обычаю, дали имя одного изъ тѣхъ святыхъ, праздникъ которыхъ приходится на десятый день послѣ рожденія. Крестнымъ отцомъ моимъ былъ нѣкто Анастасій Анастасьевичъ Пучковъ, или собственно: Настасѣй Настасѣичъ; иначе никто его не величалъ. Сутяга былъ онъ страшный, кляузникъ, взяточникъ—дурной человѣкъ совсѣмъ; его изъ губернаторской канцеляріи выгнали, и подъ судомъ онъ находился не разъ; отцу онъ бывалъ нуженъ... Они вмѣстѣ „промышляли“. Изъ себя онъ былъ

пухлый да круглый; а лицо — какъ у лисицы, носъ шиломъ; глаза каріе, свѣтлые, тоже какъ у лисицы. И все онъ ими двигалъ, этими глазами, направо да налѣво, и носомъ тоже водилъ — словно воздухъ нюхалъ. Башмаки носилъ безъ каблуковъ и пудрился ежедневно, что̀ въ провинціи тогда считалось большою рѣдкостью. Онъ увѣрялъ, что безъ пудры ему быть нельзя, такъ какъ ему приходится знаться съ генералами и съ генеральшами.

И вотъ, наступилъ мой именинный день. Приходитъ Настасѣй Настасѣичъ къ намъ въ домъ и говоритъ:

— Ничѣмъ-то я досѐлева, крестничекъ, тебя не дарилъ; зато, посмотри, каку штуку я тебѣ принесъ сегодня!

И достаетъ онъ тутъ изъ кармана серебряные часы луковицей, съ написаннымъ на циферблатѣ розаномъ и съ бронзовой цѣпочкой! Я такъ и сомлѣлъ отъ восторга,— а тетка, Пелагея Петровна, какъ закричитъ во все горло:

— Цѣлуй руку, цѣлуй руки, паршивый!

Я сталъ цѣловать у крестнаго отца руку, а тетка знай причитываетъ:

— Ахъ, батюшка, Настасѣй Настасѣичъ, зачѣмъ вы его такъ балуете! Гдѣ ему съ часами справиться? Уронитъ онъ ихъ, навѣрное, разобьетъ или сломаетъ!

Вошелъ отецъ, посмотрѣлъ на часы, поблагодарилъ Настасѣича—небрежно таково, да и позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ. И слышу я, говоритъ отецъ, словно про себя:

— Коли ты, братъ, *этимъ* думаешь отдѣлаться...

Но я уже не могъ устоять на мѣстѣ, надѣлъ на себя часы и бросился стремглавъ показывать свой подарокъ Давыду.

III.

Давыдъ взялъ часы, раскрылъ и внимательно разсмотрѣлъ ихъ. У него большія были способности къ механикѣ; онъ любилъ возиться съ желѣзомъ, мѣдью, со всякими металлами; онъ обзавелся разными инструментами, и поправить или даже заново сдѣлать винтъ, ключъ и *т. п.*—ему ничего не стоило.

Давыдъ повертѣлъ часы въ рукахъ и, пробурчавъ сквозь зубы (онъ вообще былъ неразговорчивъ):

— Старые... плохіе...—прибавилъ:—откуда?

Я ему сказалъ, что подарилъ мнѣ ихъ мой крестный.

Давыдъ вскинулъ на меня свои сѣрые глазки:

— Настасѣй?

— Да; Настасѣй Настасѣичъ.

Давыдъ положилъ часы на столъ и отошелъ прочь, молча.

— Они тебѣ нравятся?—спросилъ я.

— Нѣтъ, не то... А я, на твоемъ мѣстѣ, отъ Настасѣя никакого подарка бы не принялъ.

— Почему?

— Потому что человѣкъ онъ дрянь; а дряни-человѣку одолжаться не слѣдуетъ. Еще спасибо ему говори. Чай, руку у него поцѣловалъ?

— Да, тетка заставила.

Давыдъ усмѣхнулся,—какъ-то особенно, въ носъ. Такая у него была повадка. Громко онъ никогда не смѣялся: онъ считалъ смѣхъ признакомъ малодушія.

Слова Давыда, его безмолвная улыбка, меня глубоко огорчили. Стало-быть, подумалъ я, онъ меня внутренно порицаетъ! Стало-быть, я тоже дрянь въ его глазахъ! Самъ онъ никогда до этого бы не унизился, не принялъ бы подачки отъ Настасѣя! Но что мнѣ теперь остается сдѣлать?

Отдать часы назадъ невозможно!

Я попытался-было заговорить съ Давыдомъ, спросить его совѣта. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что никому совѣтовъ не даетъ, и чтобъ я поступилъ, какъ знаю. — Какъ знаю?! Помнится, я всю ночь потомъ не спалъ: раздумье меня мучило. Жаль было лишиться часовъ — я ихъ положилъ возлѣ постели, на ночной столикъ; они такъ пріятно и забавно постукивали... Но чувствовать, что Давыдъ меня презираетъ... (Да, нечего обманываться! онъ презираетъ меня!)... это мнѣ казалось невыносимымъ! Къ утру во мнѣ созрѣло рѣшеніе... Я, правда, всплакнулъ—но и заснулъ зато, и какъ только проснулся—наскоро одѣлся и выбѣжалъ на улицу. Я рѣшился отдать мои часы первому бѣдному, котораго встрѣчу.

IV.

Я не успѣлъ отбѣжать далеко отъ дому, какъ уже наткнулся на тò, чтò искалъ. Мнѣ попался мальчикъ лѣтъ десяти, босоногій оборвышъ, который часто шлялся мимо нашихъ оконъ. Я тотчасъ подскочилъ къ нему, и не давъ ни ему, ни себѣ времени опомниться — предложилъ ему мои часы.

Мальчикъ вытаращилъ глаза, одной рукой заслонилъ ротъ, какъ бы боясь обжечься—и протянулъ другую.

— Возьми, возьми,—пробормоталъ я:—они мои, я тебѣ дарю ихъ — можешь продать ихъ и купить себѣ... ну, тамъ, что-нибудь нужное... Прощай!

Я всунулъ часы ему въ руку—и во всю прыть пустился домой. Постоявши немного въ нашей общей спальнѣ за дверью и переведя духъ, я приблизился къ Давыду, который только-что кончилъ свой туалетъ и причесывалъ себѣ волосы.

— Знаешь чтò, Давыдъ?—началъ я, какъ можно болѣе спокойнымъ голосомъ.—Я Настасѣевы часы-то отдалъ.

Давыдъ глянулъ на меня и провелъ щеткой по вискамъ.

— Да,—прибавилъ я все тѣмъ же дѣловымъ тономъ:— я ихъ отдалъ. Тутъ есть такой мальчикъ, очень бѣдный, нищій: такъ вотъ, ему.

Давыдъ положилъ щетку на умывальный столикъ.

— Онъ можетъ за деньги, которыя выручитъ, — продолжалъ я: — пріобрѣсти какую-нибудь полезную вещь. Все-таки, за нихъ онъ что-нибудь получитъ.

Я умолкъ.

— Ну, что жъ! дѣло хорошее!—проговорилъ, наконецъ, Давыдъ, и пошелъ въ классную. Я послѣдовалъ за нимъ.

— А коли тебя спросятъ—куда ты ихъ дѣлъ?—обратился онъ ко мнѣ.

— Я скажу, что я ихъ обронилъ,—отвѣчалъ я небрежно.

Больше о часахъ между нами въ тотъ день уже не было рѣчи; а все-таки мнѣ сдавалось, что Давыдъ не только одобрялъ меня—но... до нѣкоторой степени... даже *удивлялся* мнѣ.—Право!

V.

Прошло еще два дня. Случилось такъ, что никто у насъ въ домѣ часовъ не хватился. У отца вышла какая-то крупная непріятность съ однимъ изъ его довѣрителей: ему было не до меня и не до моихъ часовъ. Зато я безпрестанно думалъ о нихъ! Даже одобреніе... предполагаемое одобреніе Давыда меня не слишкомъ утѣшало. Онъ же ничѣмъ особенно его не выказывалъ: всего только разъ сказалъ — и то вскользь — что не ждалъ отъ меня такой удали. Рѣшительно: пожертвованіе мое приходилось мнѣ въ убытокъ, оно не уравновѣшивалось тѣмъ удовольствіемъ, которое мое самолюбіе мнѣ доставляло.

А тутъ еще, какъ нарочно, подвернись другой знакомый намъ гимназистъ, сынъ городского доктора—и начни хвастаться новыми, и не серебряными, а томпаковыми часами, которые подарила ему его бабушка...

Я не вытерпѣлъ наконецъ — и, тихомолкомъ выскользнувъ изъ дому, принялся отыскивать того самаго нищаго мальчика, которому я отдалъ свои часы.

Я скоро нашелъ его: онъ съ другими мальчиками игралъ у церковной паперти въ бабки. Я отозвалъ его въ сторону — и, задыхаясь и путаясь въ рѣчахъ, сказалъ ему, что мои родные гнѣваются на меня за то, что я отдалъ часы, — и что если онъ согласится мнѣ ихъ возвратить, то я ему съ охотой заплачу за нихъ деньгами... Я, на всякій случай, взялъ съ собою старинный, елизаветинскій рубль, весь мой наличный капиталъ...

— Да у меня ихъ нѣту-ти, часовъ-то вашихъ,—отвѣчалъ мальчикъ сердитымъ и плаксивымъ голосомъ:— батька мой увидалъ ихъ у меня, да отнялъ; еще пороть меня собирался. Ты ихъ,—говоритъ,—должно, укралъ гдѣ-нибудь,—какой дуракъ тебя часами дарить станетъ!

— А кто твой отецъ?

— Мой отецъ? Трофимычъ.

— Да *кто онъ такой*? Какое его занятіе?

— *Онъ — солдатъ* отставной — сражантъ. А занятія у

него никакого нѣту. Старые башмаки чинитъ, подметки строчаетъ. Вотъ и все его занятіе. Тѣмъ и живетъ.

— Гдѣ ваша квартира? Сведи меня къ нему.

— И то сведу. Вы ему скажите, батькѣ-то, что вы мнѣ часы подарили. А то, онъ меня все попрекаетъ. Воръ, да воръ! И мать туда же: въ кого, молъ, ты воромъ уродился?

Мы съ мальчикомъ отправились на его квартиру. Она помѣщалась въ курной избушкѣ, на заднемъ дворѣ давнымъ-давно сгорѣвшей и не отстроенной фабрики. И Трофимыча, и жену его мы застали дома. Отставной „сражантъ" былъ высокаго роста старикъ, жилистый и прямой, съ желто-сѣдыми бакенами, небритымъ подбородкомъ и цѣлой сѣтью морщинъ на щекахъ и на лбу. Жена его казалась старше его: красные ея глазки уныло моргали и ёжились посреди болѣзненно-припухлаго лица. На обоихъ висѣли какія-то темныя лохмотья вмѣсто одежды.

Я объяснилъ Трофимычу, въ чемъ было дѣло и зачѣмъ я пришелъ. Онъ выслушалъ меня молча, ни разу не смигнувъ и не спуская съ меня своего тупого и напряженнаго—прямо солдатскаго взгляда.

— Баловство! — промолвилъ онъ, наконецъ, хриплымъ, беззубымъ басомъ.—Развѣ такъ благородные господа поступаютъ? А коли если Петька точно часы не укралъ— такъ за это ему — рпразъ! Не балуй съ барчуками! А укралъ бы—такъ я бъ его не такъ! Рразъ! рразъ! рразъ! Фуктелями, по-калегвардски! чего смотрѣть-то? Что за притча? Ась?! Шпонтонами ихъ! Вотъ такъ исторія?! Тьфу!

Это послѣднее восклицаніе Трофимычъ произнесъ фальцетомъ. Онъ, очевидно, недоумѣвалъ.

— Если вы хотите возвратить мнѣ часы, — пояснилъ я ему... я не смѣлъ его „тыкать", даромъ, что онъ былъ простой солдатъ...—то я вамъ съ удовольствіемъ заплачу вотъ этотъ рубль. Больше они, я полагаю, не стоятъ.

— Нну! — проворчалъ Трофимычъ, не переставая недоумѣвать и, по старой памяти, поѣдая меня глазами, словно я былъ начальникъ какой.—Эко дѣло—а?—Ну-

ко-ся, раскуси его!.. Ульяна, молчи! — окрысился онъ на жену, которая разинула-было ротъ. — Вотъ часы, — прибавилъ онъ, раскрывая ящикъ стола: — коли они ваши точно—извольте получить; а рубль-то за что? Ась?

— Бери рубль, Трофимычъ, безпутный,—завопила жена. — Изъ ума выжилъ, старый! Алтына за душой нѣтъ, а туда же, важничаетъ! Косу тебѣ напрасно только отрубили, а то—та же баба! Какъ такъ—ничего не знамши... Бери деньги, коли ужъ часы отдавать вздумалъ!

— Ульяна, молчи, паскудница! — повторилъ Трофимычъ.—Гдѣ это видано—разговаривать? А? Мужъ—глава; а она—разговаривать? Петька, не шевелись, убью!.. Вотъ часы!

Трофимычъ протянулъ ко мнѣ часы, но не выпускалъ ихъ изъ пальцевъ.

Онъ задумался, потупился, потомъ уставилъ на меня тотъ же пристально-тупой взоръ—да вдругъ, какъ гаркнетъ во всю глотку:

— А гдѣ жъ онъ? Рубль-то гдѣ?

— Вотъ онъ, вотъ,—поспѣшно промолвилъ я, и выхватилъ монету изъ кармана.

Но онъ ея не бралъ, и все смотрѣлъ на меня. Я положилъ рубль на столъ. Онъ вдругъ смахнулъ его въ ящикъ, швырнулъ мнѣ часы и, повернувшись налѣво кругомъ и сильно топнувъ ногою, прошипѣлъ на жену и на сына:

— Вонъ, сволочь!

Ульяна что-то залепетала — но я уже выскочилъ на дворъ, на улицу. Засунувъ часы въ самую глубь кармана и крѣпко стискивая ихъ рукою, я примчался домой.

VI.

Я снова вступилъ во владѣніе часами, но удовольствія оно мнѣ не доставило никакого. Носить я ихъ не рѣшался: нужно было пуще всего скрыть отъ Давыда то, что̀ я сдѣлалъ. Что̀ бы онъ подумалъ обо мнѣ, о моей безхарактерности? Даже запереть въ ящикъ эти злополучные часы я не могъ: у насъ всѣ ящики были общіе.

Приходилось прятать ихъ то на верху шкапа, то подъ матрацомъ, то за печкой... И, все-таки, мнѣ не удалось обмануть Давыда!

Однажды я, доставъ изъ-подъ половицы нашей комнаты часы, вздумалъ потереть ихъ серебряную спинку старой замшевой перчаткой. Давыдъ ушелъ куда-то въ городъ; я никакъ не ожидалъ, что онъ скоро вернется... вдругъ онъ—шасть въ дверь!

Я до того смутился, что чуть не выронилъ часовъ, и весь потерянный, съ зардѣвшимся до боли лицомъ, принялся ёрзать ими по жилету, никакъ не попадая въ карманъ.

Давыдъ посмотрѣлъ на меня и, по своему обыкновенію, улыбнулся молча.

— Чего ты?—промолвилъ онъ, наконецъ.—Ты думаешь, я не зналъ, что часы опять у тебя? Я въ первый же день, какъ ты ихъ принесъ, увидѣлъ ихъ.

— Увѣряю тебя,—началъ я чуть не со слезами.

Давыдъ пожалъ плечомъ.

— Часы твои; ты воленъ съ ними дѣлать, что̀ хочешь.

Сказавъ эти жестокія слова, онъ вышелъ.

На меня нашло отчаяніе. На этотъ разъ уже не было никакого сомнѣнія: Давыдъ дѣйствительно презиралъ меня!

Этого нельзя было такъ оставить.

„Докажу жъ я ему“, подумалъ я, стиснувъ зубы, и тотчасъ же, твердымъ шагомъ отправившись въ переднюю, отыскалъ нашего казачка Юшку и подарилъ ему часы!

Юшка сталъ-было отказываться, но я ему объявилъ, что если онъ не возьметъ у меня этихъ часовъ, я сію же минуту раздавлю, растопчу ихъ ногами, расшибу ихъ вдребезги, брошу въ помойную яму! Онъ подумалъ, хихикнулъ и взялъ часы. А я возвратился въ нашу комнату, и, увидавъ Давыда, читавшаго книгу, разсказалъ ему свой поступокъ.

Давыдъ не отвелъ глазъ отъ страницы и опять, пожавъ плечомъ и улыбнувшись про себя, промолвилъ, что часы, молъ, твои, и ты въ нихъ воленъ.

Но мнѣ показалось, что онъ уже немножко меньше презиралъ меня.

Я былъ вполнѣ убѣжденъ, что никогда болѣе не подвергнусь новому упреку въ безхарактерности, ибо эти часы, этотъ гадкій подарокъ моего гадкаго крестнаго, мнѣ вдругъ до такой степени опротивѣли, что я даже никакъ не въ состояніи былъ понять, какъ могъ я сожалѣть о нихъ, какъ могъ выканючивать ихъ у какого-то Трофимыча, который, къ тому же, еще въ правѣ думать, что обошелся со мною великодушно.

Прошло нѣсколько дней... Помнится, въ одинъ изъ нихъ достигла и до нашего города великая вѣсть: императоръ Павелъ скончался, и сынъ его, Александръ, про благодушіе и человѣколюбіе котораго носилась такая хорошая молва, вступилъ на престолъ. Вѣсть эта страшно взволновала Давыда: возможность свиданія, близкаго свиданія съ отцомъ тотчасъ представилась ему. Мой батюшка тоже обрадовался.

— Всѣхъ ссыльныхъ теперь возвратятъ изъ Сибири, и брата Егора, чай, не забудутъ,— повторялъ онъ, потирая руки, кашляя и въ то же время словно робѣя.

Мы съ Давыдомъ тотчасъ бросили работать и ходить въ гимназію; мы даже не гуляли, а все сидѣли гдѣ-нибудь въ уголку, да разсчитывали и соображали, черезъ сколько мѣсяцевъ, сколько недѣль, сколько дней долженъ былъ вернуться „братъ Егоръ", и куда было ему писать, и какъ пойти ему навстрѣчу, и какимъ образомъ мы начнемъ жить потомъ? „Братъ Егоръ" былъ архитекторомъ: мы съ Давыдомъ рѣшили, что ему слѣдовало переселиться въ Москву и строить тамъ большія училища для бѣдныхъ людей, а мы бы пошли ему въ помощники. О часахъ мы, разумѣется, забыли совершенно; къ тому жъ у Давыда завелись новыя заботы... о нихъ рѣчь впереди; но часамъ было еще суждено напомнить о себѣ.

VII.

Въ одно утро, мы только что успѣли позавтракать — я сидѣлъ одинъ подъ окномъ и размышлялъ о возвращеніи дяди — апрѣльская оттепель пáрила и сверкала на дворѣ—вдругъ въ комнату вбѣжала Пульхерія Петровна

Она во всякое время была очень проворна и егозлива, говорила пискливымъ голоскомъ и все размахивала руками, а тутъ она просто такъ и накинулась на меня.

— Ступай! ступай сейчасъ къ отцу, судырь!—затрещала она.— Что это за шашни ты тутъ затѣялъ, безстыдникъ этакой! Вотъ будетъ ужо вамъ обоимъ! Настасѣй Настасѣичъ всѣ ваши проказы на чистую воду вывелъ!.. Ступай! Отецъ тебя зоветъ... Сею минутою ступай!

Ничего еще не понимая, послѣдовалъ я за теткой—и перешагнувъ порогъ гостиной, увидалъ отца, ходившаго большими шагами взадъ и впередъ и ерошившаго хохолъ, Юшку въ слезахъ у двери, а въ углу, на стулѣ, моего крестнаго, Настасѣя Настасѣича — съ выраженіемъ какого-то особеннаго злорадства въ раздутыхъ ноздряхъ и загорѣвшихся, перекосившихся глазахъ.

Отецъ, какъ только я вошелъ, налетѣлъ на меня.

— Ты подарилъ часы Юшкѣ? сказывай!

Я взглянулъ на Юшку...

— Сказывай же!—повторилъ отецъ и затопалъ ногами.

— Да,—отвѣчалъ я, и немедленно получилъ размашистую пощечину, доставившую большое удовольствіе моей теткѣ. Я слышалъ, какъ она крякнула, словно глотокъ горячаго чаю отхлебнула.— Отецъ отъ меня перебѣжалъ къ Юшкѣ.

— А ты, подлецъ, не долженъ былъ смѣть принять часы въ подарокъ, — приговаривалъ онъ, таская его за волосы:—а ты ихъ еще продалъ, бездѣльникъ!

Юшка, дѣйствительно, какъ я узналъ впослѣдствіи, въ простотѣ сердца снесъ мои часы къ сосѣднему часовщику.—Часовщикъ вывѣсилъ ихъ передъ окномъ; Настасѣй Настасѣичъ, проходя мимо, увидалъ ихъ, выкупилъ и принесъ къ намъ въ домъ.

Впрочемъ, расправа со мной и съ Юшкой продолжалась недолго: отецъ запыхался, закашлялся, да и не въ правѣ его было сердиться.

— Братецъ, Порфирій Петровичъ,—промолвила тетка, *какъ только замѣтила*, не безъ нѣкотораго, конечно, *сожалѣнія*, что сердце съ отца, какъ говорится, соскочило:—

вы больше не извольте безпокоиться: не стòитъ ручекъ вашихъ марать. А я вотъ чтò предлагаю: съ согласія почтеннаго Настасѣя Настасѣича, и по причинѣ такой большой неблагодарности вашего сынка — я часы эти возьму къ себѣ; а такъ какъ онъ поступкомъ своимъ доказалъ, что недостоинъ носить ихъ и даже цѣны имъ не понимаетъ, то я ихъ отъ вашего имени подарю одному человѣку, который очень будетъ чувствовать вашу ласку.

— Кому это?—спросилъ отецъ.

— А Хрисанѳу Лукичу,—промолвила тетка съ небольшой запинкой.

— Хрисашкѣ?—переспросилъ отецъ и, махнувъ рукой, прибавилъ:—мнѣ все едино. Хоть въ печку ихъ бросайте.

Онъ застегнулъ распахнувшійся камзолъ и вышелъ, корчась отъ кашля.

— А вы, родной, согласны?—обратилась тетка къ Настасѣю Настасѣичу.

— Съ истинной моей готовностью,—отвѣчалъ тотъ.— Въ продолженіе всей „расправы“ онъ не шевелился на своемъ стулѣ, а только тихонько пофыркивая и тихонько потирая кончики пальцевъ, поочередно направлялъ свои лисьи глаза на меня, на отца, на Юшку. Истинное мы ему доставляли удовольствіе!..

Предложеніе моей тетки возмутило меня до глубины души. Мнѣ не часовъ было жаль; но очень уже былъ мнѣ ненавистенъ человѣкъ, которому она собиралась подарить ихъ.—Этотъ Хрисанѳъ Лукичъ, по фамиліи Транквиллитатинъ, здоровенный, дюжій, долговязый семинаристъ, повадился ходить къ намъ въ домъ — чортъ знаетъ, зачѣмъ! „Заниматься съ *дѣтьми*“, увѣряла тетка; но заниматься съ нами онъ уже потому не могъ, что самъ ничему не научился и глупъ былъ, какъ лошадь. Онъ вообще смахивалъ на лошадь: стучалъ ногами, словно копытами, не смѣялся, а ржалъ, при чемъ обнаруживалъ всю свою пасть, до самой гортани — и лицо имѣлъ длинное, носъ съ горбиной и плоскія большія скулы; носилъ мохнатый фризовый кафтанъ, и пахло отъ него сырымъ мясомъ. *Тетка въ немъ* души не чаяла и величала его вид-

нымъ мужчиной, кавалеромъ и даже гренадеромъ.—У него была привычка щелкать дѣтей (онъ и меня щелкалъ, когда я былъ моложе) по лбу — твердыми, какъ камень, ногтями своихъ длинныхъ пальцевъ—и щелкая, гоготать и удивляться: „какъ это у тебя-молъ голова звенитъ! Значитъ: пустая!“ И этотъ-то олухъ будетъ владѣть моими часами!—Ни за что! рѣшилъ я въ умѣ своемъ, выбѣжавъ изъ гостиной и взобравшись съ ногами на кроватку, между тѣмъ какъ щека моя разгоралась и рдѣла отъ полученной пощечины — а на сердцѣ тоже разгоралась горечь обиды и жажда мести... Ни за что! Не допущу, чтобы проклятый семинаръ надругался надо мною... Надѣнетъ часы, цѣпочку выпуститъ по животу, станетъ ржать отъ удовольствія... Ни за что!

Все такъ; но какъ это сдѣлать? какъ помѣшать?..

Я рѣшился украсть часы у тетки!

VIII.

Къ счастью, Транквиллитатинъ на ту пору отлучился куда-то изъ города: онъ не могъ придти къ намъ раньше завтрашняго дня; нужно было воспользоваться ночью! Тетка не запиралась у себя въ комнатѣ, да и у насъ въ цѣломъ домѣ ключи не дѣйствовали въ замкахъ; но куда она положитъ часы, гдѣ спрячетъ? До вечера она ихъ носила въ карманѣ и даже не разъ вынимала и разсматривала ихъ; но ночью — гдѣ они ночью будутъ? — Ну, ужъ это мое дѣло отыскать, — думалъ я, потрясая кулаками.

Я весь пылалъ отвагой и ужасомъ, и радостью близкаго желаннаго преступленья; я постоянно поводилъ головою сверху внизъ; я хмурилъ брови, я шепталъ: погодите! Я грозилъ кому-то, я былъ золъ, я былъ опасенъ... и я избѣгалъ Давыда!—Никто, ни даже онъ, не долженъ былъ имѣть малѣйшее подозрѣніе о томъ, что я собирался совершить...

Буду дѣйствовать одинъ—и одинъ отвѣчать буду!

Медленно проволокся день... потомъ вечеръ... наконецъ, *настала* ночь. Я ничего не дѣлалъ, даже старался не ше-

велится: какъ гвоздь, засѣла мнѣ въ голову одна мысль. За обѣдомъ отецъ, у котораго сердце было, какъ я сказалъ, отходчиво, да и совѣстно ему немножко стало своей горячности — шестнадцатилѣтнихъ мальчиковъ уже не бьютъ по щекамъ—отецъ попытался приласкать меня; но я отклонилъ его ласку не изъ злопамятства, какъ онъ вообразилъ тогда, а просто я боялся расчувствоваться: мнѣ нужно было въ цѣлости сохранить весь пылъ мести, весь закалъ безвозвратнаго рѣшенія! Я легъ очень рано; но, разумѣется, не заснулъ и даже глазъ не закрылъ, а напротивъ, таращилъ ихъ—хоть и натянулъ себѣ на голову одѣяло. Я не обдумывалъ заранѣе—какъ поступить; у меня не было никакого плана; я ждалъ только, когда это, наконецъ, все затихнетъ въ домѣ? Я принялъ одну лишь мѣру; не снялъ чулковъ. Комната моей тетки находилась во второмъ этажѣ. Надо было пройти столовую, переднюю, подняться по лѣстницѣ, пройти небольшой коридорчикъ —а тамъ... направо дверь!.. Не для чего было брать съ собою огарокъ или фонарикъ: въ углу теткиной комнаты, передъ кіотомъ, теплилась неугасимая лампадка: я это зналъ. Стало-быть, видно будетъ! Я продолжалъ лежать съ вытаращенными глазами, съ раскрытымъ и засохшимъ ртомъ; кровь стучала у меня въ вискахъ, въ ушахъ, въ горлѣ, въ спинѣ, во всемъ тѣлѣ! Я ждалъ... но словно бѣсъ какой потѣшался надо мною: время шло... шло, а тишина не водворялась.

IX.

Никогда, казалось мнѣ, Давыдъ такъ поздно не засыпалъ... Давыдъ, молчаливый Давыдъ даже заговаривалъ со мною! Никогда такъ долго въ домѣ не стучали, не ходили, не бесѣдовали! И о чемъ это они толкуютъ, думалось мнѣ:—не наболтались съ утра! Наружные звуки тоже долго не прекращались: то собака лаяла тонкимъ, упорнымъ лаемъ; то пьяный мужикъ гдѣ-то все бурлилъ и не унимался; то какія-то ворота все скрипѣли; то телѣжонка на дряблыхъ колесахъ ѣхала, ѣхала и никакъ *проѣхать не хотѣла!* Впрочемъ, *эти* звуки не раздражали

меня: напротивъ, я былъ имъ почему-то радъ! Они, какъ будто, отвлекали вниманіе.—Но вотъ, кажется, наконецъ, все угомонилось. Одинъ лишь маятникъ нашихъ старыхъ часовъ сипло и важно щелкаетъ въ столовой, да слышится мѣрное и протяжное, словно трудное дыханіе спящихъ людей. Я собираюсь приподняться... но вотъ, опять что-то прошипѣло... потомъ вдругъ охнуло... что-то мягкое упало — и шопотъ разносится, шопотъ скользитъ по стѣнамъ...

Или ничего этого нѣтъ — и только одно воображеніе меня дразнитъ?

Заглохло, наконецъ, все: стала самая сердцевина и темь, и глушь ночи. — Пора! Заранѣе весь похолодѣлый, я сбрасываю одѣяло, опускаю ноги на полъ, встаю... Шагъ; другой... Я крадусь.—Плюсны ногъ, словно чужія, тяжелыя, переступаютъ слабо и невѣрно. Стой! что это за звукъ? Пилитъ кто гдѣ, или скребетъ... или вздыхаетъ? Я прислушиваюсь... по щекамъ перебѣгаютъ мурашки, на глаза выступаютъ водянистыя, холодныя слезы... Ничего!.. Я крадусь опять. Темно; но я знаю дорогу. Вдругъ я натыкаюсь на стулъ... Какой стукъ, и какъ больно! Ударъ пришелся прямо по голени... Замираю на мѣстѣ... Ну, проснутся? А! была не была! Вдругъ является смѣлость и даже злость. Впередъ! впередъ! Вотъ, уже и столовая пройдена; вотъ, уже и дверь ощупана, раскрыта разомъ, съ размаху... Визгнула-таки петля проклятая... ну ее! Вотъ, уже я по лѣстницѣ поднимаюсь... Разъ! два! разъ, два! Хрустнула подъ ногой ступенька; я взглядываю на нее злобно—словно я видѣть ее могу. Вотъ, уже другую дверь я потянулъ за ручку... Эта хоть бы чукнула! Такъ легохонько и распахнулась: милости просимъ-молъ... Вотъ, уже я въ коридорѣ!

Въ коридорѣ наверху, подъ потолкомъ, небольшое окошечко. Слабый ночной свѣтъ чуть сѣется сквозь темныя стекла. И видится мнѣ, при томъ брезжущемъ свѣтѣ, на полу, на войлокѣ, лежитъ, закинувъ обѣ руки за растрепанную голову, наша дѣвочка-побѣгушка; крѣпко спитъ она, дышитъ проворно, а за самой ея головою роковая

дверь. Я шагаю черезъ войлокъ, черезъ дѣвочку... Кто мнѣ отворилъ ту дверь... не знаю; но вотъ, уже я въ теткиной комнатѣ: вотъ лампадка въ одномъ углу и кровать въ другомъ, и тетка въ чепцѣ и кофтѣ на кровати, лицомъ ко мнѣ. Спитъ, не шевелится; даже дыханія не слыхать. Пламя лампадки тихонько колеблется, возмущенное притокомъ свѣжаго воздуха; и по всей комнатѣ, и по неподвижному, какъ воскъ желтому лицу тетки—заколебались тѣни...

А вотъ и часы! За кроватью, на стѣнѣ висятъ они на вышитой подушечкѣ. Экое счастье, подумаешь!.. Нечего мѣшкать! Но чьи это шаги, мягкіе и быстрые, за моей спиною? Ахъ, нѣтъ! это сердце стучитъ!.. Я заношу ногу впередъ... Боже! что-то круглое, довольно большое, толкаетъ меня ниже колѣна... разъ! и еще разъ! Я готовъ вскрикнуть, я готовъ упасть отъ ужаса... Полосатый котъ, нашъ домашній котъ стоитъ передо мною, сгорбивъ спину, задравъ хвостъ. Вотъ, онъ вскакиваетъ на кровать,— тяжело и мягко — оборачивается и сидитъ не мурлыча, словно судья какой; сидитъ и глядитъ на меня своими золотыми зрачками.—Кись! кись!—шепчу я чуть слышно. Я перегибаюсь черезъ тетку, я уже схватилъ часы... Она вдругъ приподнимается, широко раскрываетъ вѣки... Создатель! что̀ будетъ?... Но вѣки ея вздрагиваютъ и закрываются, и съ слабымъ лепетомъ падаетъ голова на подушку.

Минута — и я уже опять въ своей комнатѣ, на своей постели, и часы у меня въ рукахъ...

Легче пуха примчался я назадъ! Я молодецъ, я воръ, я герой, я задыхаюсь отъ радости, мнѣ жарко, мнѣ весело — я хочу тотчасъ разбудить Давыда, все разсказать ему — и, невѣроятное дѣло! засыпаю, какъ убитый! Я открываю, наконецъ, глаза... Въ комнатѣ свѣтло; солнце уже встало. Къ счастью, еще никто не проснулся. Я вскакиваю, какъ ошпаренный, бужу Давыда, сообщаю ему все. Онъ выслушиваетъ, ухмыляется.—„Знаешь ли, что̀?—говоритъ онъ мнѣ, наконецъ. — Зароемъ мы эти дурацкіе часы въ землю, чтобы и духу ихъ больше не было!“ Я

нахожу его мысль безподобной. Въ нѣсколько мгновеній мы оба одѣты, бѣжимъ въ фруктовый садъ, расположенный позади нашего дома, — и подъ старой яблонью, въ глубокой ямѣ, торопливо вырытой въ рыхлой весенней землѣ большимъ Давыдовымъ ножомъ, скрывается навсегда ненавистный подарокъ крестнаго отца, такъ-таки не доставшійся въ руки противному Транквиллитатину! Мы утантываемъ яму, набрасываемъ на нее щебню, и гордые, счастливые, никѣмъ не замѣченные, возвращаемся домой, ложимся въ наши постели и спимъ еще часокъ-другой — и какимъ легкимъ и блаженнымъ сномъ!

X.

Можете себѣ представить, какой гвалтъ поднялся на слѣдующее утро, какъ только тетка проснулась и хватилась часовъ! До сихъ поръ звенитъ у меня въ ушахъ ея пронзительный крикъ. „Караулъ! Ограбили! ограбили!“— пищала она и взбудоражила весь домъ. Она бѣсновалась, а мы съ Давыдомъ только улыбались про себя, и сладка была намъ наша улыбка. „Всѣхъ, всѣхъ пересѣчь надо!— кричала тетка:—изъ-подъ головы, изъ-подъ подушки вытащили часы!“ Мы на все были готовы, мы ждали бѣды... но, противъ ожиданья, бѣды не стряслось надъ нами никакой. На первыхъ порахъ отецъ, точно, разъоевался страшно—онъ даже о полиціи упомянулъ; но, знать, ему уже вчерашняя расправа прискучила, и онъ внезапно, къ неописанному изумленію тетки, накинулся не на насъ, а на нее!—„Надоѣли вы мнѣ пуще горькой рѣдьки, Пульхерія Петровна, — закричалъ онъ: — съ вашими часами. Слышать о нихъ я больше не хочу! Не колдовствомъ же они пропали, говорите вы; а мнѣ что̀ за дѣло? Хоть бы колдовствомъ! Украли ихъ у васъ? ну, туда имъ и дорога! Настасѣй Настасѣичъ что̀ скажетъ? А чортъ съ нимъ совсѣмъ, съ вашимъ Настасѣичемъ! Я отъ него, кромѣ пакости, да неудовольствій, ничего не вижу. Не смѣть меня больше безпокоить! Слышите!“—Отецъ хлопнулъ дверью и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ. Мы сперва съ Давыдомъ не поняли намека, заключавшагося въ его

послѣднихъ словахъ; но потомъ мы узнали, что отецъ въ это самое время сильно негодовалъ на моего крестнаго, перебившаго у него выгодное дѣло. Такъ и осталась тетка съ носомъ. Она чуть не лопнула съ досады, но дѣлать было нечего. Она должна была ограничиться тѣмъ, что, проходя мимо меня и скрививъ ротъ въ мою сторону, рѣзкимъ шопотомъ твердила: „воръ, воръ, каторжникъ, мошенникъ!“ — Укоризны тетки доставляли мнѣ истинное наслажденіе. Очень было также пріятно, проходя палисадникомъ, скользить притворно-равнодушнымъ глазомъ по самому тому мѣсту подъ яблоней, гдѣ покоились часы, и если Давыдъ находился тутъ же, вблизи,— обмѣняться съ нимъ значительной ужимкой...

Тетка вздумала-было натравить на меня Транквиллитатина; но я прибѣгнулъ къ помощи Давыда. Тотъ прямо объявилъ дюжему семинаристу, что распоретъ ему ножомъ брюхо, если онъ не оставитъ меня въ покоѣ... Транквиллитатинъ испугался: онъ, хоть и гренадеръ былъ, и кавалеръ, по выраженію тетки, однако, храбростью не отличался. Такъ прошло недѣль пять... Но не думаете ли вы, что исторія съ часами такъ и кончилась? Нѣтъ, она не кончилась; только для того, чтобы продолжать мой разсказъ, мнѣ нужно ввести новое лицо; а чтобы ввести это новое лицо, я долженъ вернуться нѣсколько назадъ.

XI.

Мой отецъ былъ долгое время очень друженъ, даже коротокъ съ однимъ отставнымъ чиновникомъ, Латкинымъ, хроменькимъ, убогенькимъ человѣкомъ съ робкими и странными ухватками, однимъ изъ тѣхъ существъ, про которыхъ сложилась поговорка, что они самимъ Богомъ убиты. Подобно отцу моему и Настасѣю, онъ занимался хожденіемъ по дѣламъ и былъ тоже частнымъ „стряпчимъ“ и повѣреннымъ; но, не обладая ни представительной наружностью, ни даромъ слова и слишкомъ мало на себя надѣясь, онъ не рѣшался дѣйствовать самостоятельно и примкнулъ къ моему отцу. Почерпъ у него былъ „на-

стоящій бисеръ", законы онъ зналъ твердо и до тонкости постигъ всѣ завитушки просьбеннаго и приказнаго слога. Вмѣстѣ съ отцомъ онъ орудовалъ различныя дѣла, дѣлилъ барыши и убытки и, казалось, ничто не могло поколебать ихъ дружбу: и, со всѣмъ тѣмъ, она рухнула въ одинъ день—и навсегда. Отецъ навсегда разссорился съ своимъ сотрудникомъ. Если бы Латкинъ отбилъ у отца выгодное дѣло, на манеръ замѣнившаго его впослѣдствіи Настасѣя, — отецъ вознегодовалъ бы на него не болѣе, чѣмъ на Настасѣя, вѣроятно даже меньше: но Латкинъ, подъ вліяніемъ необъяснимаго, непонятнаго чувства—зависти, жадности — а быть-можетъ, и подъ мгновеннымъ наитіемъ честности — „подвелъ" моего отца, выдалъ его общему ихъ довѣрителю, богатому молодому купцу, открывъ глаза этому безпечному юношѣ на нѣкоторый... нѣкоторый куштюкъ, долженствовавшій принести значительную пользу моему отцу. Не денежная утрата, какъ она велика ни была — нѣтъ! а измѣна оскорбила и взорвала отца. Онъ не могъ простить коварства!

— Вишь святой выискался!—твердилъ онъ, весь дрожа отъ гнѣва и стуча зубами, какъ въ лихорадкѣ. Я находился тутъ же, въ комнатѣ, и былъ свидѣтелемъ этой безобразной сцены. — Добро! Съ нынѣшняго дня—аминь! Кончено между нами. Вотъ Богъ, а вотъ и порогъ! Ни я у тебя, ни ты у меня! Вы для насъ ужъ больно честны—гдѣ намъ съ вами общество водить! Но не быть же тебѣ ни дна, ни покрышки!—Напрасно Латкинъ умолялъ отца, кланялся ему земно; напрасно пытался объяснить то̀, что̀ наполняло его собственную душу болѣзненнымъ недоумѣніемъ.—„Вѣдь безъ всякой пользы для себя, Порфирій Петровичъ,—лепеталъ онъ:—вѣдь самого себя зарѣзалъ!" — Отецъ остался непреклоненъ... Ноги Латкина уже больше не было въ нашемъ домѣ. Сама судьба, казалось, вознамѣрилась оправдать послѣднее жестокое пожеланіе моего отца. Вскорѣ послѣ разрыва—(произошелъ онъ года за два до начала моего разсказа) жена Латкина, правда, уже давно больная, умерла; вторая его дочка, трехлѣтній ребенокъ, отъ страха онѣмѣла и оглох-

ла въ одинъ день: пчелиный рой облѣпилъ ей голову; самъ Латкинъ подвергся апоплексическому удару—и впалъ въ крайнюю, окончательную бѣдность. Какъ онъ перебивался, чѣмъ существовалъ — трудно было даже представить. Жилъ онъ въ полуразрушенной хибарочкѣ, въ недальнемъ разстояніи отъ нашего дома. Старшая его дочь, Раиса, тоже жила съ нимъ и хозяйничала по возможности. Эта Раиса была именно то новое лицо, которое я долженъ ввести въ разсказъ.

XII.

Пока отецъ ея былъ друженъ съ моимъ, мы безпрестанно ее видали; она иногда по цѣлымъ днямъ сиживала у насъ и либо шила, либо пряла своими тонкими, проворными и ловкими руками. Это была стройная, немного сухощавая дѣвушка, съ умными карими глазами на блѣдномъ, длинноватомъ лицѣ. Она говорила мало, но толково, тихимъ и звонкимъ голосомъ, почти не раскрывая рта и не выказывая зубовъ; когда она смѣялась—что случалось рѣдко и никогда долго не продолжалось—они вдругъ выставлялись всѣ, большіе, бѣлые, какъ миндалины. Помню я также ея походку, легкую, упругую, съ маленькимъ подпрыгомъ на каждомъ шагу; мнѣ всегда казалось, что она сходитъ по ступенямъ лѣстницы, даже когда она шла по ровному мѣсту. Она держалась прямо, съ поджатыми на груди руками. И что бы она ни дѣлала, за что бы она ни принималась—ну, хоть бы нитку въ ушко иголки вдѣвать, или юбку утюгомъ разглаживать—все выходило у нея красиво и какъ-то... вы не повѣрите... какъ-то трогательно. Христіанское ея имя было Раиса, но мы ее звали Черногубкой: у ней на верхней губѣ было родимое, темносинее пятнышко, точно она поѣла черники; но это ея не портило: напротивъ. Она была ровно годомъ старше Давыда. Я питалъ къ ней чувство въ родѣ уваженія, но она знаться со мною мало. Зато между Давыдомъ и ею завелась дружба — не дѣтская, странная, но хорошая дружба. Они какъ-то шли другъ къ другу. Они иногда по цѣлымъ часамъ не мѣнялись словомъ, но каж-

дому чувствовалось, что имъ обоимъ хорошо — и потому именно хорошо, что они вмѣстѣ. Я другой такой дѣвушки не встрѣчалъ, право. Въ ней было что-то внимательное и рѣшительное, что-то честное, и печальное, и милое. Я не слыхивалъ отъ нея умнаго слова, зато я и пошлости отъ нея не слыхалъ, а умнѣе глазъ я не видывалъ. Когда произошелъ разрывъ между ея семействомъ и моимъ, я сталъ рѣдко ее видѣть: отецъ мой строжайше запретилъ мнѣ навѣщать Латкиныхъ—и она уже не показывалась у насъ въ домѣ. Но я встрѣчался съ нею на улицѣ, въ церкви, и Черногубка внушала мнѣ все тѣ же чувства: уваженіе и даже нѣкоторое удивленіе — скорѣй, чѣмъ жалость. Очень уже она хорошо переносила свое несчастье. „Кремень-дѣвка", сказалъ про нее однажды самый топорный Транквиллитатинъ. А по-настоящему, слѣдовало пожалѣть о ней: лицо ея приняло выраженіе озабоченное, утомленное, глаза осунулись и углубились: непосильная тягота легла ей на молоденькія плечи. Давыдъ видѣлъ ее гораздо чаще, чѣмъ я; онъ и въ домъ къ нимъ ходилъ. Отецъ махнулъ на него рукою: онъ зналъ, что Давыдъ все-таки его не послушается. И Раиса отъ времени до времени появлялась у плетня нашего сада, выходившаго на проулокъ, и видалась тамъ съ Давыдомъ: не бесѣду она вела съ нимъ, а сообщала ему какое-нибудь новое затрудненіе или новую бѣду — спрашивала совѣта. Параличъ, поразившій Латкина, былъ свойства довольно страннаго. Руки, ноги его ослабѣли, но онъ не лишился ихъ употребленія, даже мозгъ его дѣйствовалъ правильно; зато языкъ его путался и, вмѣсто однихъ словъ, произносилъ другія: надо было догадываться, что именно онъ хочетъ сказать.

..."Чу-чу-чу", лепеталъ онъ съ усиліемъ — онъ всякую фразу начиналъ съ чу-чу-чу:—„ножницы мнѣ, ножницы"... А ножницы означали хлѣбъ. Отца моего онъ ненавидѣлъ всѣми оставшимися у него силами — онъ его заклятью приписывалъ всѣ свои бѣдствія и звалъ его то мясникомъ, то брильянтщикомъ. „Чу, чу, къ мяснику не смѣй ходить, Васильевна!" Онъ этимъ именемъ окрестилъ свою

дочь, а звали его Мартиньяномъ. Съ каждымъ днемъ становился онъ болѣе требовательнымъ; нужды его росли... А какъ удовлетворять эти нужды? Откуда взять денегъ? Горе скоро старитъ; но жутко было слышать иныя слова въ устахъ семнадцатилѣтней дѣвушки.

XIII.

Помнится, мнѣ пришлось присутствовать при ея бесѣдѣ у забора съ Давыдомъ, въ самый день кончины ея матери.

— Сегодня, на зорькѣ, матушка скончалась,—говорила она, поводивъ сперва кругомъ своими темными, выразительными глазами, а тамъ вперивъ ихъ въ землю: — кухарка взялась гробъ подешевле купить; да она у насъ ненадежная; пожалуй, еще деньги пропьетъ. Ты бы пришелъ, посмотрѣлъ, Давыдушко: тебя она побоится.

— Приду, — отвѣчалъ Давыдъ: — посмотрю... А что отецъ?

— Плачетъ; говоритъ: побалуйте, дескать, и меня. „Побалуйте“—должно, значитъ,—похороните. Теперь заспулъ. — Раиса вдругъ глубоко вздохнула. — Ахъ, Давыдушко, Давыдушко!—Она провела полусжатымъ кулачкомъ себѣ по лбу и по бровямъ, и было это движеніе и горько такъ... и такъ искренно, и такъ красиво, какъ всѣ ея движенія.

— Ты, однако, себя пожалѣй, — замѣтилъ Давыдъ. — Не спала, чай, вовсе... Да и что плакать? Горю не пособить.

— Мнѣ плакать некогда,—отвѣчала Раиса.

— Это богатые баловаться могутъ, плакать-то,—замѣтилъ Давыдъ.

Раиса пошла-было да вернулась.

— Желтую шаль у насъ торгуютъ, знаешь, изъ маменькинаго приданаго. Двѣнадцать рублей даютъ. Я думаю, мало.

— И то, мало.

— Мы-бъ ея не продали, — промолвила Раиса, помолчавъ немного:—да, вѣдь, на похороны нужно.

— И то, нужно. Только зря денегъ давать не слѣдуетъ. Попы эти—бѣда! Да вотъ, постой, я приду. Ты уходишь?— Я скоро буду. Прощай, голубка.

— Прощай, братецъ, голубчикъ!

— Смотри же, не плачь!

— Какое, плакать? Либо обѣдъ варить, либо плакать. Одно изъ двухъ.

— Какъ: обѣдъ варить? — обратился я къ Давыду, какъ только Раиса удалилась: — развѣ она сама кушанье готовитъ?

— Да вѣдь ты слышалъ: кухарка гробъ пошла торговать.

„Готовитъ обѣдъ", подумалъ я, „а руки у ней всегда такія чистыя и одежда опрятная... Я бы посмотрѣлъ, какъ она, тамъ, въ кухнѣ... Необыкновенная дѣвушка!"

Помню я другой разговоръ „у забора". На этотъ разъ Раиса привела съ собою свою глухо-нѣмую сестричку. Это былъ хорошенькій ребенокъ, съ огромными, удивленными глазами и цѣлой громадой черныхъ, тусклыхъ волосъ на маленькой головкѣ (у Раисы волосы были тоже черные и тоже безъ блеска). Латкинъ былъ уже пораженъ параличомъ.

— Ужъ я не знаю, какъ быть,—начала Раиса.—Докторъ рецептъ прописалъ, надо въ аптеку сходить; а тутъ нашъ мужичонъ (у Латкина осталась одна крѣпостная душа) дровецъ изъ деревни привезъ, да гуся. А дворникъ отнимаетъ: вы мнѣ, говоритъ, задолжали.

— Гуся отнимаетъ?—спросилъ Давыдъ.

— Нѣтъ, не гуся. Онъ, говоритъ, старый; ужъ больше не годится. Оттого, говоритъ, и мужичокъ вамъ его привезъ. А дрова отнимаетъ.

— Да онъ права не имѣетъ!—воскликнулъ Давыдъ.

— Права не имѣетъ, а отнимаетъ... Я пошла на чердакъ; тамъ у насъ сундукъ стоитъ, старый, престарый. Стала я въ немъ рыться... И что же я нашла: посмотри!

Она достала изъ-подъ косынки довольно большую зрительную трубку, въ мѣдной оправѣ, оклеенную пожелтѣлымъ сафьяномъ. Давыдъ, какъ любитель и знатокъ всякаго рода инструментовъ, тотчасъ ухватился за нее.

— Англійская,—промолвилъ онъ, приставляя ее то къ одному глазу, то къ другому.—Морская!

— И стекла цѣлы, — продолжала Раиса. — Я показала батюшкѣ; онъ говоритъ: снеси, заложи брильянтщику! Вѣдь, что ты думаешь? За нее дадутъ деньги? А намъ на что зрительная трубка? Развѣ на себя въ зеркало посмотрѣть, каковы мы есть красавцы. Да зеркала, жаль, нѣтъ.

И сказавши эти слова, Раиса вдругъ громко засмѣялась.

Сестричка ея, конечно, не могла ее услышать, но, вѣроятно, почувствовала сотрясеніе ея тѣла: она держала Раису за руку—и, поднявши на нее свои большіе глаза, испуганно перекосила личико и залилась слезами.

— Вотъ такъ-то она всегда,—замѣтила Раиса—не любитъ, когда смѣются.

— Ну, не буду, Любочка, не буду, — прибавила она, проворно присѣвъ на корточки возлѣ ребенка и проводя пальцами по ея волосамъ.—Видишь?

Смѣхъ исчезъ съ лица Раисы, и губы, концы которыхъ какъ-то особенно мило закручивались кверху, стали опять неподвижны. Ребенокъ умолкъ. Раиса приподнялась.

— Такъ ты, Давыдушко, порадѣй... съ трубой-то. А то, дровъ жаль,—да и гуся, какой онъ ни на есть старый!

— Десять рублей непремѣнно дадутъ, — промолвилъ Давыдъ, переворачивая трубку во всѣ стороны. — Я ее у тебя куплю... чего лучше? А вотъ, пока, на аптеку—пятиалтынный... Довольно?

— Это я у тебя занимаю,—шепнула Раиса, принимая отъ него пятиалтынный.

— Еще бы! Съ процентами—хочешь? Да, вотъ, и залогъ у меня есть. Важнѣйшая вещь!.. Первый народъ — англичане.

— А, говорятъ, мы съ ними воевать будемъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Давыдъ: — мы теперь французовъ бьемъ.

— Ну — тебѣ лучше знать. Такъ порадѣй. Прощайте, *господа!*

XIV.

А то, вотъ еще какой разговоръ происходилъ все у того же забора. Раиса казалась озабоченной больше обыкновеннаго.

— Пять копеекъ кочанъ капусты, да и кочанъ-то „махенькій-премахенькій", — говорила она, подперши рукою подбородокъ. — Вонъ, какъ дорого! А за шитье деньги еще не получены.

— Тебѣ кто долженъ?—спросилъ Давыдъ.

— Да все та же купчиха, что̀ за валомъ живетъ.

— Эта, что̀ въ шушунѣ зеленомъ ходитъ, толстая такая?

— Она, она.

— Вишь, толстая! Отъ жира не̇ продышится, въ церкви такъ даже паромъ отъ нея шибаетъ, а долги не платитъ!

— Она заплатитъ... только когда? А то, вотъ еще, Давыдушко, новыя у меня хлопоты. Вздумалъ отецъ мнѣ сны свои разсказывать, — ты вѣдь знаешь, косноязыченъ онъ сталъ: хочетъ одно слово промолвить, анъ выходитъ другое. Насчетъ пищи или чего тамъ житейскаго — мы уже привыкли, понимаемъ; а сонъ и у здоровыхъ-то людей непонятенъ бываетъ, а у него—бѣда! Я, говоритъ, очень радуюсь; сегодня все по бѣлымъ птицамъ прохаживался; а Господь Богъ мнѣ пукѐтъ подарилъ, а въ пукѐтѣ Андрюша съ ножичкомъ.—Онъ нашу Любочку Андрюшей зоветъ.—Теперь мы, говоритъ, будемъ здоровы оба. Только надо ножичкомъ—чиркъ! Эво такъ! и на горло показываетъ.—Я его не понимаю; говорю: хорошо, родной, хорошо; а онъ сердится, хочетъ мнѣ растолковать въ чемъ дѣло. Даже въ слезы ударился.

— Да ты бы ему что-нибудь такое сказала,—вмѣшался я:—солгала бы что-нибудь.

— Не умѣю я лгать-то,—отвѣчала Раиса, и даже руками развела.

И точно: она лгать не умѣла.

— *Лгать* не надо, — замѣтилъ Давыдъ. — да и убы-

вать себя тоже не слѣдъ. Вѣдь спасибо никто тебѣ не скажетъ?

Раиса поглядѣла на него пристально.

— Что̀ я хотѣла спросить у тебя, Давыдушко; какъ надо писать: „штопъ“?

— Что такое „штопъ“?

— Да вотъ, напримѣръ: я хочу, *штопъ* ты живъ былъ.

— Пиши: ша, твердо, онъ, буки, еръ!

— Нѣтъ,—вмѣшался я:—не ша, а червь!

— Ну, все равно, пиши: червь! А главное—сама-то ты живи!

— Мнѣ бы хотѣлось писать правильно,—замѣтила Раиса и слегка покраснѣла.

Она, когда краснѣла, тотчасъ удивительно хорошѣла.

— Пригодиться оно можетъ... Батюшка, въ свое время, какъ писалъ... На удивленіе! Онъ и меня выучилъ. Ну, теперь онъ даже буквы плохо разбираетъ.

— Ты только у меня живи, — повторилъ Давыдъ, понизивъ голосъ и не спуская съ нея глазъ. Раиса быстро глянула на него и пуще покраснѣла.—Живи ты... а писать... пиши, какъ знаешь... О, чортъ, вѣдьма идетъ! (Вѣдьмой Давыдъ звалъ мою тетку.) И что̀ ее сюда носитъ?.. Уходи, душа!

Раиса еще разъ глянула на Давыда и убѣжала.

Давыдъ весьма рѣдко и неохотно говорилъ со мною о Раисѣ, объ ея семьѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ началъ поджидать возвращенія своего отца. Онъ только и думалъ, что о немъ—и ка̀къ мы потомъ жить будемъ. Онъ живо его помнилъ, и съ особеннымъ удовольствіемъ описывалъ мнѣ его.

— Большой, сильный, одной рукой десять пудовъ поднимаетъ... Какъ крикнетъ: гей, малый! такъ по всему дому слышно. Славный такой, добрый... и молодецъ! Ни передъ кѣмъ, бывало, не струситъ. Отличное было наше житье, пока насъ не разорили! Говорятъ, онъ теперь совсѣмъ сѣдой сталъ, а прежде такой же былъ рыжій, какъ я. Си-и-лачъ!

Давыдъ никакъ не хотѣлъ допустить, что мы останемся въ Рязани.

— Вы-то уѣдете,—замѣтилъ я:—да я-то останусь.

— Пустяки! Мы тебя съ собой возьмемъ!

— А съ отцомъ-то какъ быть?

— Отца ты своего бросишь. А не бросишь—пропадешь.

— Что̀ такъ?

Давыдъ не отвѣчалъ мнѣ и только нахмурилъ свои бѣлыя брови.

— Вотъ, какъ мы уѣдемъ съ батькой, — началъ онъ снова:—найдетъ онъ себѣ хорошее мѣсто, я женюсь...

— Ну, это еще не скоро,—замѣтилъ я.

— Нѣтъ, отчего же? Я женюсь скоро.

— Ты?

— Да, я; а что?

— Ужъ нѣтъ ли у тебя невѣсты на примѣтѣ?

— Конечно, есть.

— Кто же она такая?

Давыдъ усмѣхнулся.

— Какой ты, однако, безтолковый! Конечно, Раиса.

— Раиса!—повторилъ я съ изумленіемъ.—Ты шутишь!

— Я, братъ, шутить и не умѣю, и не люблю.

— Да вѣдь она годомъ тебя старше?

— Что жъ такое? А, впрочемъ, бросимъ этотъ разговоръ.

— Позволь мнѣ одно спросить,—промолвилъ я:—знаетъ она, что ты собираешься на ней жениться?

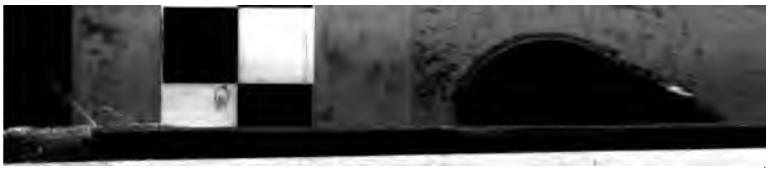
— Вѣроятно.

— Но ты ей ничего не открывалъ?

— Что тутъ открывать? Придетъ время, скажу. Ну, баста!

Давыдъ всталъ и вышелъ изъ комнаты. Оставшись наединѣ, я подумалъ... подумалъ... и рѣшилъ, наконецъ, что Давыдъ поступаетъ, какъ благоразумный и практическій человѣкъ; и мнѣ даже лестно стало, что я другъ такого практическаго человѣка!

А Раиса, въ своемъ вѣковѣчномъ черномъ шерстяномъ платьицѣ, мнѣ вдругъ показалась прелестной и достойной *самой* преданной любви!



XV.

Давыдовъ отецъ все не ѣхалъ и даже писемъ не присылалъ. Лѣто давно стало, іюнь мѣсяцъ шелъ къ концу. Мы истомились въ ожиданіи.

Между тѣмъ, начали ходить слухи, что Латкину вдругъ гораздо похужѣло, и семья его—того и жди—съ голоду помретъ, а не то домъ завалится и крышей всѣхъ задавитъ. Давыдъ даже въ лицѣ измѣнился и такой сталъ злой и угрюмый, что хоть не приступайся къ нему. Отлучаться онъ тоже сталъ чаще. Съ Раисой я не встрѣчался вовсе. Изрѣдка мелькала она вдали, быстро переходя черезъ улицу своей красивой, легкой походкой, прямая, какъ стрѣла, съ поджатыми руками, съ темнымъ и умнымъ взоромъ подъ длинными бровями, съ озабоченнымъ выраженіемъ на блѣдномъ и миломъ лицѣ — вотъ и все. Тетка, съ помощью своего Транквиллитатина, жучила меня попрежнему, и попрежнему укоризненно шептала мнѣ въ самое ухо: „воръ сударь, воръ!“ Но я не обращалъ на нее вниманія; а отецъ захлопотался, корпѣлъ, разъѣзжалъ, писалъ и знать ничего не хотѣлъ.

Однажды, проходя мимо знакомой яблони, я, больше по привычкѣ, бросилъ косвенный взглядъ на извѣстное мѣстечко, и вдругъ мнѣ показалось, какъ-будто на поверхности земли, прикрывавшей нашъ кладъ, произошла нѣкоторая перемѣна... Какъ-будто горбинка появилась тамъ, гдѣ прежде было углубленіе, и куски щебня лежали уже не такъ! „Что это значитъ?“ подумалось мнѣ. „Неужто кто-нибудь проникъ нашу тайну и вырылъ часы?“

Надо было удостовѣриться въ этомъ собственными глазами. Къ часамъ, ржавѣющимъ въ утробѣ земли, я, конечно, чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе; но не позволить же другому воспользоваться ими! А потому на слѣдующій же день, я, снова поднявшись до зари и вооружившись ножомъ, отправился въ садъ, отыскалъ намѣченное мѣсто подъ яблоней, принялся рыть, и, вырывши чуть не аршинную яму, долженъ былъ убѣдиться, что часы пропали, что *кто-то ихъ досталъ*, вытащилъ, укралъ!

Но кто же могъ ихъ... вытащить, кромѣ Давыда?

Кто другой зналъ, гдѣ они находились?

Я засыпалъ яму и вернулся домой. Я чувствовалъ себя глубоко обиженнымъ.

„Положимъ, — думалъ я, — часы понадобились Давыду для того, чтобы спасти отъ голодной смерти свою будущую жену, или ея отца... Что̀ тамъ ни говори, часы эти чего-нибудь да стоятъ... Да какъ было не придти ко мнѣ и не сказать: „братъ — (я на мѣстѣ Давыда непремѣнно сказалъ бы: братъ) — братъ! я нуждаюсь въ деньгахъ; у тебя ихъ нѣтъ, я знаю, но позволь воспользоваться тѣми часами, которые мы вмѣстѣ съ тобою зарыли подъ старой яблонью? Они никому не приносятъ пользы, а я тебѣ такъ буду благодаренъ, братъ!“ Съ какой бы радостью я согласился! Но дѣйствовать тайно, измѣннически, не довѣриться другу... Нѣтъ! Никакая страсть, никакая нужда этого не извиняетъ!“

Я повторяю, я былъ сильно оскорбленъ. Я началъ-было выказывать холодность, дуться...

Но Давыдъ былъ не изъ тѣхъ, которые это замѣчаютъ и тревожатся!

Я началъ дѣлать намеки...

Но Давыдъ, казалось, нисколько не понималъ моихъ намековъ!

Я говорилъ при немъ, какъ низокъ въ моихъ глазахъ тотъ человѣкъ, который, имѣя друга и даже понимая все значеніе этого священнаго чувства дружбы, не обладаетъ, однако, достаточно великодушіемъ, чтобы не прибѣгать къ хитрости; какъ будто можно что-нибудь скрыть!

Произнося эти послѣднія слова, я смѣялся презрительно.

Но Давыдъ и ухомъ не велъ!

Я, наконецъ, прямо спросилъ его: ка́къ онъ полагаетъ, часы наши шли еще нѣкоторое время, будучи похоронены въ землю, или тотчасъ же остановились?

Онъ отвѣчалъ мнѣ:—А чортъ ихъ знаетъ! Вотъ, нашелъ о чемъ размышлять?!

Я не зналъ, что̀ думать. У Давыда, очевидно, было

что-то на́-сердцѣ... но только не похищеніе часовъ. Неожиданный случай доказалъ мнѣ его невинность.

XVI.

Я возвращался однажды домой по одному проулочку, по которому я вообще избѣгалъ ходить, такъ какъ въ немъ находился флигель, гдѣ квартировалъ мой врагъ Транквиллитатинъ; но на этотъ разъ сама судьба привела меня туда. Проходя подъ закрытымъ окномъ одного трактирнаго заведенія, я вдругъ услышалъ голосъ нашего слуги Василья, молодого, развязнаго малаго, великаго „лѣнтяя и шалопая", какъ выражался мой отецъ,— но великаго также покорителя женскихъ душъ, на которыхъ онъ дѣйствовалъ острословіемъ, пляской и игрою на тòрбанѣ.

— И вѣдь, поди-жъ ты, что̀ выдумали! — говорилъ Василій, котораго я видѣть не могъ, но слышалъ весьма явственно; онъ, вѣроятно, сидѣлъ тутъ же, возлѣ окна, съ товарищемъ, за парой чая—и, какъ это часто случается съ людьми въ запертомъ покоѣ, говорилъ громко, не подозрѣвая, что каждый прохожій на улицѣ слышитъ каждое слово: — что̀ выдумали? Зарыли ихъ въ землю!

— Врешь!—проворчалъ другой голосъ.

— Я тебѣ говорю. Такіе у насъ барчуки необнаковенные! Особенно Давыдка этотъ... какъ есть іезопъ. На самой на зорькѣ всталъ я, да и подхожу этакъ къ окну... Гляжу: что́ за притча?.. Идутъ наши два голубчика по саду, несутъ эти самые часы, подъ яблонкой яму вырыли— да туда ихъ, словно младенца какого! И землю потомъ заровняли, ей-Богу, такіе безпутные!

— Ахъ, шутъ ихъ возьми!—промолвилъ Васильевъ собесѣдникъ.—Съ жиру, значитъ. Ну, и что жъ? Ты часы отрылъ?

— Понятное дѣло, отрылъ. Они и теперь у меня. Только показывать ихъ пока не приходится. Больно много изъ-за нихъ шума было. Давыдка-то ихъ у старухи у нашей въ *ту самую ночь изъ-подъ* хребта вытащилъ.

— О—о!

— Я тебѣ говорю. Безпардонный совсѣмъ. Такъ и нельзя ихъ показывать. Да вотъ, офицеры понаѣдутъ: продамъ кому, а не то въ карты разыграю.

Я не сталъ больше слушать, стремглавъ бросился домой и прямо къ Давыду.

— Братъ! — началъ я: — братъ! прости меня! Я былъ виноватъ передъ тобою! Я подозрѣвалъ тебя! Я обвинялъ тебя! Ты видишь, какъ я взволнованъ! Прости меня!

— Что̀ съ тобой?—спросилъ Давыдъ.—Объяснись!

— Я подозрѣвалъ тебя, что ты наши часы изъ-подъ яблони вырылъ!

— Опять эти часы! Да развѣ ихъ тамъ нѣтъ?

— Нѣтъ ихъ тамъ; я думалъ, что ты ихъ взялъ, чтобы помочь твоимъ знакомымъ. И это все Василій!

Я передалъ Давыду все, что̀ услышалъ подъ окномъ заведенія.

Но какъ описать мое изумленіе! Я, конечно, полагалъ, что Давыдъ вознегодуетъ; но я уже никакъ не могъ ожидать того, что̀ произошло съ нимъ! Едва я кончилъ мой разсказъ, онъ пришелъ въ ярость несказанную! Давыдъ, который не иначе какъ съ презрѣніемъ относился ко всей этой, по его словамъ, „пошлой“ продѣлкѣ съ часами, тотъ самый Давыдъ, который не разъ увѣрялъ, что они выѣденнаго яйца не сто̀ятъ—тутъ вдругъ вскочилъ съ мѣста, весь вспыхнулъ, стиснулъ зубы, сжалъ кулаки. „Этого такъ оставить нельзя! — промолвилъ онъ, наконецъ. — Какъ онъ смѣетъ себѣ чужую вещь присвоивать? Я ему покажу, постой! Я ворамъ потачки не даю!“ — Признаюсь, я до сихъ поръ не понимаю, что могло такъ взбѣсить Давыда: былъ ли онъ ужъ безъ того раздраженъ, и поступокъ Василья подлилъ только масла въ огонь; оскорбили ли его мои подозрѣнія, — не могу сказать; но я никогда не видывалъ его въ такомъ волненіи. Разинувъ ротъ, стоялъ я передъ нимъ, и только дивился, какъ это онъ такъ тяжело и сильно дышалъ.

— Что же ты намѣренъ сдѣлать?—спросилъ я, наконецъ.

— А вотъ, увидишь—послѣ обѣда, когда отецъ уляжется. Я этого пересмѣшника найду! Я съ нимъ потолкую!

„Ну, — подумалъ я: — не хотѣлъ бы я быть на мѣстѣ этого „пересмѣшника"! Что́ изъ этого выйдетъ, Господи, Боже мой!"

XVII.

А вышло вотъ что̀.

Какъ только послѣ обѣда водворилась та сонная душная тишина, которая до сихъ поръ, какъ жаркій пуховикъ, ложится на русскій домъ и русскій людъ въ серединѣ дня, послѣ вкушенныхъ яствъ, Давыдъ (я съ замиравшимъ сердцемъ шелъ за его пятами)—Давыдъ отправился въ людскую и вызвалъ оттуда Василья. Тотъ сперва не хотѣлъ идти, однако кончилъ тѣмъ, что повиновался и послѣдовалъ за нами въ садикъ.

Давыдъ сталъ передъ самой его грудью. Василій былъ цѣлой головой выше его.

— Василій Терентьевъ! — началъ твердымъ голосомъ мой товарищъ:—ты изъ-подъ самой этой яблони, недѣль шесть тому назадъ, вытащилъ спрятанные нами часы. Ты не имѣлъ права это сдѣлать, они тебѣ не принадлежали. Отдай ихъ сейчасъ!

Василій смутился-было, но тотчасъ оправился. „Какіе часы? Что вы говорите? Богъ съ вами! Никакихъ нѣтъ у меня часовъ!"

— Я знаю, что я говорю, а ты не лги. Часы у тебя. Отдай ихъ!

— Нѣтъ у меня вашихъ часовъ.

— А какъ же ты въ трактирѣ... — началъ-было я, но Давыдъ меня остановилъ.

— Василій Терентьевъ!—произнесъ онъ глухо и грозно.— Намъ доподлинно извѣстно, что часы у тебя. Говорятъ тебѣ честью: отдай ихъ.—А если ты не отдашь...

Василій нагло ухмылялся.

— И что же вы тогда со мною сдѣлаете? Ну-съ?

— Что?—Мы оба до тѣхъ поръ съ тобой драться будемъ, пока либо ты насъ побѣдишь, либо мы тебя.

Василій засмѣялся.

— Драться? — Это не барское дѣло! Съ холопомъ-то драться?

Давыдъ вдругъ вцѣпился Василію въ жилетъ.

— Да мы не на кулаки съ тобою драться будемъ, — произнесъ онъ со скрежетомъ зубовъ: — пойми ты! А я тебѣ дамъ ножъ и самъ возьму... Ну, и посмотримъ, кто кого? Алексѣй! — скомандовалъ онъ мнѣ: — бѣги за моимъ большимъ ножомъ, знаешь, черенокъ у него костяной—онъ тамъ на столѣ лежитъ, а другой у меня въ карманѣ.

Василій вдругъ такъ и обмеръ. Давыдъ все держалъ его за жилетъ.

— Помилуйте... помилуйте, Давыдъ Егорычъ,—залепеталъ онъ; даже слезы выступили у него на глаза:—что вы это? Что вы? Пустите!

— Не выпущу я тебя.—И пощады тебѣ не будетъ!— Сегодня ты отъ насъ отвертишься, мы завтра опять начнемъ.—Алешка! гдѣ же ножъ?

— Давыдъ Егорычъ!—заревѣлъ Василій:—не дѣлайте убивства... Что же это такое? А часы... Я, точно... Я пошутилъ. Я ихъ вамъ сію минуту представлю. Какъ же это? То Хрисанѳу Лукичу брюхо пороть, то мнѣ! — Пустите меня, Давыдъ Егорычъ... Позвольте получить часы. Папенькѣ только не сказывайте.

Давыдъ выпустилъ изъ рукъ Васильевъ жилетъ. Я посмотрѣлъ ему въ лицо: точно,—и не Василью можно было испугаться. Такое унылое... и холодное... и злое...

Василій вскочилъ въ домъ и немедленно вернулся оттуда съ часами въ рукѣ. — Молча отдалъ онъ ихъ Давыду, и только возвращаясь обратно въ домъ, громко воскликнулъ на порогѣ: „тьфу ты, оказія!“

На немъ все еще лица не было. Давыдъ качнулъ головой и пошелъ въ нашу комнату. Я опять поплелся за нимъ. „Суворовъ! Какъ есть Суворовъ!“ думалъ я про себя. — Тогда, въ 1801 году, Суворовъ былъ нашъ первый, народный герой.

XVIII.

Давыдъ заперъ за собою дверь, положилъ часы на столъ, скрестилъ руки и—о, чудо!—засмѣялся!—Глядя на него, я засмѣялся тоже.

— Этакая штука удивительная!—началъ онъ.—Никакъ мы отъ этихъ часовъ отбояриться не можемъ. Заколдованные они, право. И съ чего я вдругъ этакъ озлился?

— Да, съ чего?—повторилъ я.—Оставилъ бы ты ихъ у Василья...

— Ну, нѣтъ,—перебилъ Давыдъ.—Это шалишь! Но что мы съ ними теперь сдѣлаемъ?

— Да! Что?

Мы оба уставились на часы—и задумались. Украшенные голубымъ бисернымъ шнуркомъ — (злополучный Василій впопыхахъ не успѣлъ снять шнурокъ этотъ, который ему принадлежалъ)—они преспокойно дѣлали свое дѣло: чикали—правда, нѣсколько въ перебивку,—и медленно передвигали свою мѣдную минутную стрѣлку.

— Развѣ опять ихъ зарыть? Или ужъ въ печку ихъ?—предложилъ я, наконецъ.—Или вотъ еще: не поднести ли ихъ Латкину?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Давыдъ.—Это все не то. А вотъ что: при губернаторской канцеляріи завели комиссію, пожертвованія собираютъ въ пользу касимовскихъ погорѣльцевъ. Городъ Касимовъ, говорятъ, до тла сгорѣлъ, со всѣми церквами. И, говорятъ, тамъ все принимаютъ: не одинъ только хлѣбъ или деньги — но всякія вещи натурой. — Отдадимъ-ка мы туда эти часы! А?

— Отдадимъ! отдадимъ!—подхватилъ я. — Прекрасная мысль! Но, я полагалъ, такъ какъ семейство твоихъ друзей нуждается...

— Нѣтъ, нѣтъ; въ комиссію! Латкины и безъ нихъ обойдутся.—Въ комиссію!

— Ну, въ комиссію—такъ въ комиссію. Только, я полагаю, надо при этомъ написать что-нибудь губернатору.

Давыдъ взглянулъ на меня.—Ты полагаешь?

— Да; конечно, много нечего писать. А такъ — нѣсколько словъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ... начать такъ: „будучи"... или вотъ еще: „движимые"...

— „Движимые"... хорошо.

— Потомъ надо будетъ сказать: „сія малая наша лепта"...

— Лепта... хорошо тоже; ну, бери перо, садись, пиши, валяй!

— Сперва черновую,—замѣтилъ я.

— Ну, черновую; только пиши, пиши... А я ихъ пока мѣломъ почищу.

Я взялъ листъ бумаги, очинилъ перо; но не успѣлъ я вывести наверху листа: „его превосходительству, господину сіятельному князю" (у насъ тогда губернаторомъ былъ князь Х.), какъ я остановился, пораженный необычнымъ шумомъ... внезапно поднявшимся у насъ въ домѣ. Давыдъ тоже замѣтилъ этотъ шумъ и тоже остановился, поднявъ часы въ лѣвой, тряпочку съ мѣломъ въ правой рукѣ. Мы переглянулись. Что за рѣзкій крикъ? Это тетка взвизгнула... а это?—Это голосъ отца, хриплый отъ гнѣва. „Часы! часы!" оретъ кто-то, чуть ли не Транквиллитатинъ. — Ноги стучатъ, скрипятъ половицы, цѣлая орава бѣжитъ... несется прямо къ намъ. Я замираю отъ страха; да и Давыдъ бѣлъ, какъ глина, а смотритъ орломъ. „Василій, подлецъ, выдалъ", шепчетъ онъ сквозь зубы... Дверь отворяется настежь... и отецъ, въ халатѣ, безъ галстука, тетка въ пудрамантѣ, Транквиллитатинъ, Василій, Юшка, другой мальчикъ, поваръ Агапитъ — всѣ врываются въ комнату.

— Мерзавцы! — кричитъ отецъ, едва переводя дыханіе...—Наконецъ-то мы васъ накрыли!—И, увидавъ часы въ рукахъ Давыда:—подай!—вопитъ отецъ:—подай часы!

Но Давыдъ, не говоря ни слова, подскакиваетъ къ раскрытому окну—и прыгъ изъ него на дворъ—да на улицу!

Привыкшій подражать во всемъ моему образцу, я прыгаю тоже, я бѣгу вслѣдъ за Давыдомъ...

„Лови! держи!“ гремятъ за нами дикіе, смѣшанные голоса.

Но мы уже мчимся по улицѣ, безъ шапокъ на головахъ, Давыдъ впередъ, я въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него позади, а за нами топотъ и гвалтъ погони!

XIX.

Много лѣтъ протекли со времени всѣхъ этихъ происшествій; я не разъ размышлялъ о нихъ—и до сихъ поръ такъ же не могу понять причины той ярости, которая овладѣла моимъ отцомъ, столь недавно еще запретившимъ самое упоминовеніе при немъ этихъ надоѣвшихъ ему часовъ, какъ я не могъ понять тогда бѣшенства Давыда при извѣстіи о похищеніи ихъ Васильемъ!—Поневолѣ приходитъ въ голову, что въ нихъ заключалась какая-то таинственная сила. Василій не выдалъ насъ, какъ это предполагалъ Давыдъ, — не до того ему было: онъ слишкомъ сильно перетрусился,—а просто, одна изъ нашихъ дѣвушекъ увидала часы въ его рукахъ и немедленно донесла объ этомъ теткѣ. Сыръ-боръ и загорѣлся.

Итакъ, мы мчались по улицѣ, по самой ея серединѣ. Попадавшіеся намъ прохожіе останавливались или сторонились въ недоумѣніи. Помнится, одинъ отставной секундъ-маіоръ, извѣстный борзятникъ, внезапно высунулся изъ окна своей квартиры — и весь багровый, съ туловищемъ на перевѣсѣ, неистово заулюлюкалъ! „Стой! держи!“ продолжало гремѣть за нами. — Давыдъ бѣжалъ, крутя часы надъ головою, изрѣдка вспрыгивая; я вспрыгивалъ тоже, и тамъ же, гдѣ онъ.

— Куда? — кричу я Давыду, видя, что онъ сворачиваетъ съ улицы въ переулокъ — и сворачивая вслѣдъ за нимъ.

— Къ Окѣ!—кричитъ онъ.—Въ воду ихъ, въ рѣку, къ чорту!

— Стой, стой!—ревутъ за нами...

Но мы уже летимъ по переулку. Вотъ, намъ навстрѣчу уже повѣяло холодкомъ—и рѣка передъ нами, и грязный, *крутой спускъ, и* деревянный мостъ съ вытянутымъ по

немъ обозомъ, и гарнизонный солдатъ съ пикой возлѣ шлагбаума; — тогда солдаты ходили съ пиками... Давыдъ уже на мосту, мчится мимо солдата, который старается ударить его по ногамъ пикой—и попадаетъ въ проходившаго теленка.— Давыдъ мгновенно вскакиваетъ на перила — онъ издаетъ радостное восклицаніе... Что-то бѣлое, что-то голубое сверкнуло, мелькнуло въ воздухѣ—это серебряные часы вмѣстѣ съ бисернымъ Васильевымъ шнуркомъ полетѣли въ волны... Но тутъ совершается нѣчто невѣроятное! Вслѣдъ за часами ноги Давыда вскидываются вверхъ—и самъ онъ весь, головою внизъ, руки впередъ, съ разлетѣвшимися фалдами куртки, описываетъ въ воздухѣ крутую дугу—въ жаркій день такъ вспугнутыя лягушки прыгаютъ съ высокаго берега въ воду пруда — и мгновенно исчезаетъ за перилами моста... а тамъ—бухъ! и тяжкій всплескъ внизу...

Что̀ со мною стало—я совершенно не въ силахъ описать. Я находился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Давыда, когда онъ спрыгнулъ съ перилъ... но я даже не помню, закричалъ ли я; не думаю даже, что я испугался: я онѣмѣлъ, я одурѣлъ. Руки, ноги отнялись. Вокругъ меня толкались, бѣгали люди; нѣкоторые изъ нихъ мнѣ показались знакомыми: Трофимычъ вдругъ промелькнулъ, солдатъ съ пикой бросился куда-то въ сторону, лошади обоза поспѣшно проходили мимо, задравши кверху привязанныя морды... Потомъ все позеленѣло, и кто-то меня сильно толкнулъ въ затылокъ и вдоль всей спины... Это я въ обморокъ упалъ.

Помню, что я потомъ приподнялся и, видя, что никто не обращаетъ на меня вниманія, подошелъ къ перилам, но не съ той стороны, съ которой спрыгнулъ Давыдъ: подойти къ ней мнѣ казалось страшнымъ,—а къ другой, и сталъ глядѣть на рѣку, бурливую, синюю, вздутую; помню, что недалеко отъ моста, у берега, я замѣтилъ причаленную лодку, а въ лодкѣ нѣсколько людей, и одинъ изъ нихъ, весь мокрый и блестящій на солнцѣ, перегнувшись съ края лодки, вытаскивалъ что-то изъ воды, что-то не очень большое, какую-то продолговатую, темную вещь,

которую я сначала принялъ за чемоданъ или корзину; но всмотрѣвшись попристальнѣе, я увидалъ, что эта вещь была—Давыдъ! Тогда я весь встрепенулся, закричалъ благимъ матомъ и побѣжалъ къ лодкѣ, проталкиваясь сквозь народъ, а подбѣжавъ къ ней, оробѣлъ и сталъ оглядываться. Въ числѣ людей, обступившихъ ее, я узналъ Транквиллитатина, повара Агапита, съ сапогомъ въ рукѣ, Юшку, Василья... Мокрый, блестящій человѣкъ выволокъ подъ мышки изъ лодки тѣло Давыда, обѣ руки котораго поднимались въ уровень лица, точно онъ закрыться хотѣлъ отъ чужихъ взоровъ, и положилъ его въ прибрежную грязь, на спину. Давыдъ не шевелился, словно вытянулся, свелъ пятки и выставилъ животъ. Лицо его было зеленовато, глаза подкатились, и вода капала съ волосъ. Мокрый человѣкъ, который его вытащилъ, фабричный по одеждѣ, началъ разсказывать, дрожа отъ холода и безпрестанно отводя волосы ото лба, какъ онъ это сдѣлалъ. Очень онъ прилично и старательно разсказывалъ.

— Вижу я, господа, что̀ за причина? Какъ ахнетъ этта малецъ съ мосту... Ну!.. Я сейчасъ бѣгомъ по теченью внизъ, потому знаю — попалъ онъ въ самое стремя, пронесетъ его подъ мостомъ, ну, а тамъ... поминай, какъ звали! Смотрю: шапка така̀ мохнатенькая плыветъ, анъ это—его голова. Ну, я сейчасъ живымъ манеромъ въ воду, сгребъ его... Ну, а тутъ уже не мудрость!

Въ толпѣ послышалось два-три одобрительныхъ слова.

— Согрѣться теперь тебѣ надо, пойдемъ, шкальчикъ выкушаемъ,—замѣтилъ кто-то.

Но тутъ вдругъ кто-то судорожно продирается впередъ... Это Василій.

— Что же это вы, православные, — кричитъ онъ слезливо:—откачивать его надо. Это нашъ барчукъ!

— Откачивать его, откачивать, — раздается въ толпѣ, которая безпрестанно прибываетъ.

— За ноги повѣсить! Лучшее средство!

— На бочку брюхомъ, да и катай его взадъ и впередъ, пока что̀... Бери его, ребята!

— Не смѣй трогать!—вмѣшивается солдатъ съ пикой.— На гуптевахту стащить его надо.

— Сволочь!—доносится откуда-то басъ Трофимыча.

— Да онъ живъ,—кричу я вдругъ во все горло, почти съ ужасомъ.

Я приблизилъ-было свое лицо къ его лицу... „Такъ *вотъ*, каковы утопленники", думалось мнѣ, и душа замирала... И вдругъ я вижу—губы Давыда дрогнули, и его немножко вырвало водою...

Меня тотчасъ оттолкнули, оттащили; всѣ бросились къ нему.

— Качай его, качай!—зашумѣли голоса.

— Нѣтъ, нѣтъ, стой!—закричалъ Василій.—Домой его... домой!

— Домой,—подхватилъ самъ Транквиллитатинъ.

— Духомъ его сомчимъ, тамъ виднѣе будетъ, — продолжалъ Василій... (Я съ того дня полюбилъ Василья.)— Братцы! рогожки нѣтъ ли? А не то — берись за голову, за ноги...

— Постой! Вотъ рогожка! Клади! Подхватывай! Трогай! Важно: словно въ колымагѣ поѣхалъ.

И нѣсколько мгновеній спустя, Давыдъ, несомый на рогожѣ, торжественно вступилъ подъ кровъ нашего дома.

XX.

Его раздѣли, положили на кровать. Уже на улицѣ онъ началъ подавать знаки жизни, мычалъ, махалъ руками... Въ комнатѣ онъ совсѣмъ пришелъ въ себя. Но какъ только опасенія за жизнь его миновались, и возиться съ нимъ было уже не для чего — негодованіе вступило въ свои права: всѣ отступились отъ него, какъ отъ прокаженнаго.

— Покарай его Богъ! покарай его Богъ! — визжала тетка на весь домъ.—Сбудьте его куда-нибудь, Порфирій Петровичъ, а то онъ еще такую бѣду надѣлаетъ, что не расхлебаешь!

— Это, помилуйте, это аспидъ какой-то, да и бѣсноватый,—поддакивалъ Транквиллитатинъ.

— Злость, злость-то какая, — трещала тетка, подходя къ самой двери нашей комнаты, для того, чтобы Давыдъ ее непремѣнно услышалъ: — перво-нà-перво укралъ часы, а потомъ ихъ въ воду... Не доставайся, молъ, никому... На-ка!

Всѣ, всѣ негодовали!

— Давыдъ,—спросилъ я его, какъ только мы остались одни:—для чего ты это сдѣлалъ?

— И ты туда же, — возразилъ онъ все еще слабымъ голосомъ: губы у него были синія, и весь онъ словно припухъ.—Что я такое сдѣлалъ?

— Да въ воду зачѣмъ прыгнулъ?

— Прыгнулъ! Не удержался на перилахъ, вотъ и вся штука. Умѣлъ бы плавать — нарочно бы прыгнулъ. Выучусь непремѣнно. А зато часы теперь—тю-тю!..

Но тутъ отецъ мой торжественнымъ шагомъ вошелъ въ нашу комнату.

— Тебя, любезный мой, — обратился онъ ко мнѣ: — я выпорю непремѣнно, не сомнѣвайся, хоть ты поперекъ лавки уже не ложишься. — Потомъ онъ подступилъ къ постели, на которой лежалъ Давыдъ. — Въ Сибири, — началъ онъ внушительнымъ и важнымъ тономъ:—въ Сибири, сударь ты мой, на каторгѣ, въ подземельяхъ живутъ и умираютъ люди, которые менѣе виноваты, менѣе преступны, чѣмъ ты! Самоубивецъ ты, или, просто, воръ, или уже вовсе дуракъ?—скажи ты мнѣ одно, на милость?!!

— Не самоубивецъ я, и не воръ,—отвѣчалъ Давыдъ:— а что правда, то правда: въ Сибирь попадаютъ хорошіе люди, лучше насъ съ вами... Кому же это знать, коли не вамъ?

Отецъ тихо ахнулъ, отступилъ шагъ назадъ, посмотрѣлъ пристально на Давыда, плюнулъ и, медленно перекрестившись, вышелъ вонъ.

— Не любишь? — проговорилъ ему вслѣдъ Давыдъ, и языкъ высунулъ. Потомъ онъ попытался подняться— однако не могъ.—Знать, какъ-нибудь расшибся,—промолвилъ онъ, кряхтя и морщась.—Помнится, о бревно меня водой *толкнуло*

— Видѣлъ ты Раису?—прибавилъ онъ вдругъ.

— Нѣтъ, не видѣлъ... Стой! стой! стой! Теперь я вспоминаю: ужъ не она ли стояла на берегу, возлѣ моста?— Да... Темное платьице, желтый платокъ на головѣ... Должно, она!

— Ну, а потомъ... видѣлъ ты ее?

— Потомъ... Я не знаю. Мнѣ не до того было. — Ты тутъ прыгнулъ...

Давыдъ всполошился.

— Голубчикъ, другъ, Алеша, сходи къ ней сейчасъ, скажи, что я здоровъ, что ничего со мною. Завтра же я у нихъ буду. Сходи скорѣе, братъ, одолжи!

Давыдъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки... Его высохшіе, рыжіе волосы торчали кверху забавными вихрами... но умиленное выраженіе его лица казалось отъ того еще болѣе искреннимъ. Я взялъ шапку и вышелъ изъ дому, стараясь не попасться на глаза отцу и не напомнить ему его обѣщанія.

XXI.

„И въ самомъ дѣлѣ“, размышлялъ я, идучи къ Латкинымъ: „какъ же это я не замѣтилъ Раисы? Куда она дѣлась? Должна же она была видѣть...“

И вдругъ я вспомнилъ: въ самый моментъ Давыдова паденія, у меня въ ушахъ зазвенѣлъ страшный, раздирающій крикъ...

Ужъ не она ли это? Но какъ же я потомъ ея не видѣлъ?

Передъ домикомъ, въ которомъ квартировалъ Латкинъ, разстилался пустырь, заросшій крапивой и обнесенный завалившимся плетнемъ. Едва перебрался я черезъ этотъ плетень (ни воротъ, ни калитки не было нигдѣ), какъ моимъ глазамъ представилось слѣдующее зрѣлище. На нижней ступенькѣ крылечка, передъ домомъ, сидѣла Раиса, облокотившись на колѣни и подперевъ подбородокъ скрещенными пальцами; она глядѣла прямо въ упоръ *передъ собою*; возлѣ нея стояла ея нѣмая сестричка и *преспокойно* помахивала кнутикомъ, а передъ крыльцомъ,

спиной ко мнѣ, въ изорванномъ и истасканномъ камзолѣ, въ подштанникахъ и съ валенками на ногахъ, болтая локтями и кривляясь, сѣменилъ на мѣстѣ и подпрыгивалъ старикъ Латкинъ. Услышавъ мои шаги, онъ внезапно обернулся, присѣлъ на корточки—и, тотчасъ подскочивъ ко мнѣ, заговорилъ чрезвычайно быстро, трепетнымъ голосомъ, съ безпрестанными: чу, чу, чу! Я остолбенѣлъ. Я давно его не видалъ и, конечно, не узналъ бы его, если бы встрѣтился съ нимъ въ другомъ мѣстѣ. Это сморщенное, беззубое, красное лицо, эти круглые, тусклые глазки, взъерошенныя сѣдины, эти подергиванія, эти прыжки, эта безсмысленная, косноязычная рѣчь... Что̀ это такое? Что за нечеловѣческое отчаяніе терзаетъ это несчастное существо? Что за „пляска смерти“?

— Чу, чу,—лепеталъ онъ, не переставая корчиться:— вотъ она, Васильевна, сейчасъ, чу, чу, вошла... Слышь! кор...рытомъ по крышкѣ (онъ хлопнулъ себя рукою по головѣ) и сидитъ этакъ лопатой; и косая, косая, какъ Андрюшка; косая Васильевна! (Онъ, вѣроятно, хотѣлъ сказать: нѣмая.) Чу! косая моя Васильевна! Вотъ, онѣ обѣ теперь на одну корку... Полюбуйтесь, православные! Только у меня и есть эти двѣ лодочки! А?

Латкинъ, очевидно, сознавалъ, что говорилъ не то̀, неладно, и дѣлалъ страшныя усилія, чтобы растолковать мнѣ, въ чемъ было дѣло. Раиса, казалось, не слышала вовсе, что говорилъ ея отецъ, а сестричка продолжала похлопывать кнутикомъ.

— Прощай, брильянтщикъ, прощай, прощай! — протянулъ Латкинъ нѣсколько разъ сряду, съ низкими поклонами, какъ бы обрадовавшись, что поймалъ, наконецъ, понятное слово.

У меня голова кругомъ пошла.—Что это все значитъ?— спросилъ я какую-то старуху, выглядывавшую изъ окна домика?

— Да что̀, батюшка,—отвѣчала та нараспѣвъ:—говорятъ, человѣкъ какой-то—и кто онъ, Господь его знаетъ— тонуть сталъ, а она это видѣла. Ну, перепугалась, что ли; пришла однако... ничего; да какъ сѣла на рундучокъ—

съ той самой поры, вотъ, и сидитъ, какъ истуканъ какой; хоть ты говори ей, хоть нѣтъ. Знать, ей тоже безъ языка быть. Ахти-хти!

— Прощай, прощай,—повторялъ Латкинъ все съ тѣми же поклонами.

Я подошелъ къ Раисѣ и остановился прямо передъ нею.

— Раисочка,—закричалъ я:—что съ тобою?

Она ничего не отвѣчала; словно и не замѣтила меня. Лицо ея не поблѣднѣло, не измѣнилось—но какое-то каменное стало, и выраженіе на немъ такое... какъ будто вотъ-вотъ, сейчасъ она заснетъ.

— Да косая же она, косая, — лепеталъ мнѣ въ ухо Латкинъ.

Я схватилъ Раису за руку.—Давыдъ живъ,—закричалъ я громче прежняго:—живъ и здоровъ, живъ Давыдъ, ты понимаешь? Его вытащили изъ воды, онъ теперь дома и велѣлъ сказать, что завтра придетъ къ тебѣ... Онъ живъ!

Раиса какъ бы съ трудомъ перевела глаза на меня; мигнула ими нѣсколько разъ, все болѣе и болѣе ихъ расширяя, потомъ нагнула голову на-бокъ, понемногу побагровѣла вся, губы ея раскрылись... Она медленно, полной грудью потянула въ себя воздухъ, сморщилась, какъ бы отъ боли, и, съ страшнымъ усиліемъ проговоривъ: „Да... Дав... жи... живъ“, — порывисто встала съ крыльца и устремилась...

— Куда?—воскликнулъ я.

Но, слегка похохатывая и пошатываясь, она уже бѣжала черезъ пустырь...

Я, разумѣется, пустился за нею, между тѣмъ какъ позади меня поднялся дружный, старческій и дѣтскій вопль Латкина и глухо-нѣмой... Раиса мчалась прямо къ намъ.

„Вотъ, выдался денёкъ!“ думалъ я, стараясь не отставать отъ мелькавшаго передо мною чернаго платьица... „Ну!“

XXII.

Минуя Василья, тетку и даже Транквиллитатина, Раиса вбѣжала въ комнату, гдѣ лежалъ Давыдъ, и прямо бросилась ему на грудь.—Охъ... охъ... Да...выдушко,—зазве-

цѣлъ ея голосъ изъ-подъ разсыпанныхъ ея кудрей:—охъ!

Сильно взмахнувъ руками, обнялъ ее Давыдъ и приникъ къ ней головою.

— Прости меня, сердце мое,—послышался и его голосъ.

И оба словно замерли отъ радости.

— Да отчего же ты ушла домой, Раиса, для чего не осталась? — говорилъ я ей... Она все еще не приподнимала головы.—Ты бы увидала, что его спасли...

— Ахъ, не знаю! Ахъ, не знаю! Не спрашивай! Не знаю, не помню, какъ это я домой попала. Помню только: вижу тебя на воздухѣ... что-то ударило меня... А что̀ послѣ было...

— Ударило, — повторилъ Давыдъ, — и мы всѣ трое вдругъ дружно засмѣялись. Очень намъ было хорошо.

— Да что же это такое будетъ, наконецъ! — раздался за нами грозный голосъ, голосъ моего отца. Онъ стоялъ на порогѣ двери.—Прекратятся ли, наконецъ, эти дурачества, или нѣтъ? Гдѣ это мы живемъ? Въ россійскомъ государствѣ или во французской республикѣ?

Онъ вошелъ въ комнату.

— Во Францію ступай, кто хочетъ бунтовать, да безпутничать! А *ты* какъ смѣла сюда пожаловать? — обратился онъ къ Раисѣ, которая, тихонько приподнявшись и повернувшись къ нему лицомъ, видимо заробѣла, но продолжала улыбаться какой-то ласковой и блаженной улыбкой.—Дочь моего заклятаго врага! Какъ ты дерзнула? Еще обниматься вздумала! Вонъ сейчасъ! а не то...

— Дядюшка, — промолвилъ Давыдъ, и сѣлъ въ постели. — Не оскорбляйте Раисы. Она уйдетъ... только вы не оскорбляйте ее.

— А ты что мнѣ за уставщикъ? Я ее не оскорбляю, не ос...кор...бляю! а просто гоню ее. Я тебя еще самого къ отвѣту потяну. Чужую собственность затратилъ, на жизнь свою посягнулъ, въ убытки ввелъ.

— Въ какіе это убытки?—перебилъ Давыдъ.

— Въ какіе? Платье испортилъ—это ты за ничто считаешь? Да на водку я далъ людямъ, которые тебя принесли! Всю семью перепугалъ, да еще фордыбачится! А коли сія *дѣвица, забывъ* стыдъ и самую честь...

Давыдъ рванулся съ постели.—Не оскорбляйте ее, говорятъ вамъ!

— Молчи!

— Не смѣйте...

— Молчи!

— Не смѣйте позорить мою невѣсту, — закричалъ Давыдъ во всю голову:—мою будущую жену!

— Невѣсту!—повторилъ отецъ и выпучилъ глаза.—Невѣсту!—Жену! Хо, хо, хо!.. (Ха, ха, ха, — отозвалась за дверью тетка).—Да тебѣ сколько лѣтъ-то? Безъ году недѣлю на свѣтѣ живетъ, молоко на губахъ не обсохло, недоросль! И жениться собирается! Да я!.. да ты...

— Пустите, пустите меня, — шепнула Раиса, и направилась къ двери. Она совсѣмъ помертвѣла.

— Я не у васъ позволенія буду просить,—продолжалъ кричать Давыдъ, опираясь кулаками на край постели: — а у моего родного отца, который не сегодня, завтра сюда пріѣхать долженъ! *Онъ* мнѣ указъ, а не вы; а что касается до моихъ лѣтъ, то намъ съ Раисой не къ спѣху... подождемъ, что̀ вы тамъ ни толкуйте...

— Эй, Давыдка, опомнись!—перебилъ отецъ:—посмотри на себя: ты растерзанный весь... Приличіе всякое потерялъ!

Давыдъ захватилъ рукою на груди рубашку.

— Что̀ вы ни толкуйте,—повторилъ онъ.

— Да зажми же ему ротъ, Порфирій Петровичъ, зажми ему ротъ,—запищала тетка изъ-за двери:—а эту потаскушку, эту негодницу... эту...

Но, знать, нѣчто необыкновенное пресѣкло въ этотъ мигъ краснорѣчіе моей тетки: голосъ ея порвался вдругъ и на мѣсто его послышался другой, старчески-сиплый и хилый...

— Братъ,—произнесъ этотъ слабый голосъ.—Христіанская душа!

XXIII.

Мы всѣ обернулись... Передъ нами, въ томъ же костюмѣ, въ какомъ его недавно видѣлъ, какъ привидѣніе, худой, *жалкій*, дикій, стоялъ Латкинъ.

— А Богъ!—произнесъ онъ какѣ-то по-дѣтски, поднимая кверху дрожащій изогнутый палецъ и безсильнымъ взглядомъ осматривая отца:—Богъ покаралъ! а я за Ва... за Ра... да, да, за Раисочкой пришелъ! Мнѣ... чу! мнѣ что̀? Скоро въ землю — и какъ это бишь? Одна палочка, другая... перекладинка — вотъ что̀ мнѣ... нужно... А ты братъ, брильянтщикъ... Смотри... вѣдь и я человѣкъ!

Раиса молча перешла черезъ комнату и, взявъ Латкина подъ руку, застегнула ему камзолъ.

— Пойдемъ, Васильевна, — заговорилъ онъ: — тутотка все святые; къ нимъ не ходи. И тотъ, что̀ вонъ тамъ въ футлярѣ лежитъ,—онъ указалъ на Давыда,—тоже святой. А мы, братъ, съ тобою грѣшные. Ну, чу... простите, господа, старичка съ перчикомъ! Вмѣстѣ крали!—закричалъ онъ вдругъ: — вмѣстѣ крали! вмѣстѣ крали! — повторилъ онъ съ явнымъ наслажденіемъ: языкъ, наконецъ, послушался его.

Мы всѣ въ комнатѣ молчали.

— А гдѣ у васъ... икона тутъ? — спросилъ онъ, закидывая голову и подкатывая глаза:—почиститься надо.

Онъ сталъ молиться на одинъ изъ угловъ, умиленно крестясь, по нѣсколько разъ сряду, стуча пальцами то по одному плечу, то по другому и торопливо повторяя: „Помимуй мя, Го... мя Го... мя Го!..“ Отецъ мой, который все время не сводилъ глазъ съ Латкина и слова не промолвилъ, вдругъ встрепенулся, всталъ съ нимъ рядомъ и тоже началъ креститься. Потомъ онъ обернулся къ нему, поклонился низко-низко, такъ, что одной рукой досталъ до полу и, проговоривъ: „прости меня и ты, Мартемьянъ Гаврилычъ“, поцѣловалъ его въ плечо. Латкинъ ему въ отвѣтъ чмокнулъ губами въ воздухѣ и заморгалъ глазами: едва ли онъ хорошенько понималъ, что̀ онъ такое дѣлаетъ. Потомъ отецъ мой обратился ко всѣмъ находившимся въ комнатѣ, къ Давыду, къ Раисѣ, ко мнѣ:

— Дѣлайте, что̀ хотите, поступайте, какъ знаете, — промолвилъ онъ грустнымъ и тихимъ голосомъ, и удалился.

Тетка подъѣхала-было къ нему, но онъ окрикнулъ ее *рѣзко и сурово. Онъ былъ* потрясенъ.

— Мя Го... мя Го... помилуй!—повторилъ Латкинъ. — Я человѣкъ!

— Прощай, Давыдушко,— сказала Раиса, и вмѣстѣ со старикомъ тоже вышла изъ комнаты.

— Завтра у васъ буду,— крикнулъ ей вслѣдъ Давыдъ и, повернувшись лицомъ къ стѣнѣ, прошепталъ: — усталъ я очень; теперь соснуть бы не худо,—и затихъ.

Я долго не выходилъ изъ нашей комнаты. Я прятался. Я не могъ забыть, чѣмъ отецъ мнѣ погрозилъ. Но мои опасенія оказались напрасны. Онъ встрѣтилъ меня — и хоть бы слово проронилъ. Ему самому, казалось, было неловко. Впрочемъ, ночь скоро наступила—и все успокоилось въ домѣ.

XXIV.

На слѣдующее утро Давыдъ всталъ, какъ ни въ чемъ не бывало, а недолго спустя, въ одинъ и тотъ же день, совершились два важныхъ событія: утромъ старикъ Латкинъ умеръ, а къ вечеру пріѣхалъ въ Рязань дядя Егоръ, Давыдовъ отецъ. Не приславъ предварительнаго письма, никого не предупредивъ, свалился онъ, какъ снѣгъ на голову. Отецъ мой переполошился чрезвычайно и не зналъ, чѣмъ угостить, куда посадить дорогого гостя, метался, какъ угорѣлый, суетился, какъ виноватый; но, дядю, казалось, не слишкомъ трогало хлопотливое усердіе брата, онъ то и дѣло повторялъ: „къ чему это?“ — да „не надо мнѣ ничего“. Съ теткой онъ обошелся еще холоднѣе: впрочемъ, и она не больно его жаловала. Въ глазахъ ея онъ былъ безбожникомъ, еретикомъ, вольтеріанцемъ... (онъ, дѣйствительно, выучился французскому языку, чтобъ читать въ подлинникѣ Вольтера). Я нашелъ дядю Егора такимъ, какимъ описывалъ мнѣ его Давыдъ. Это былъ крупный, тяжелый мужчина, съ широкимъ, рябымъ лицомъ, важный и серьезный. Онъ постоянно носилъ шляпу съ плюмажемъ, манжеты, жабо и табачнаго цвѣта камзолъ, съ стальною шпагою на бедрѣ. Давыдъ обрадовался ему несказанно—даже посвѣтлѣлъ и похорошѣлъ лицомъ, и глаза стали у него другіе—веселые, быстрые и блеста-

щіе; но онъ всячески старался умѣрить свою радость и не высказывать ея словами: онъ боялся смалодушничать. Въ первую же ночь послѣ пріѣзда дяди Егора, они оба— отецъ и сынъ — заперлись въ отведенной ему комнатѣ и долго бесѣдовали вполголоса; на другое утро я замѣтилъ, что дядя какъ-то особенно ласково и довѣрчиво посматривалъ на своего сына: очень онъ имъ казался доволенъ. Давыдъ повелъ его на панихиду къ Латкинымъ; я тоже пошелъ туда: отецъ мнѣ не препятствовалъ, но самъ остался дома. Раиса поразила меня своимъ спокойствіемъ: поблѣднѣла она и похудѣла очень, но слезъ она не проливала, и говорила, и держалась очень просто; и, со всѣмъ тѣмъ, странно сказать, я въ ней находилъ нѣкоторую величавость: невольную величавость горя, которое само себя забываетъ! Дядя Егоръ тутъ же, на паперти, познакомился съ нею; по тому, какъ онъ съ ней обращался, видно было, что Давыдъ ему уже говорилъ о ней. Она ему понравилась не хуже собственнаго сына: я это могъ прочесть въ Давыдовыхъ глазахъ, когда онъ глядѣлъ на нихъ обоихъ. Помню, какъ они заблистали, когда его отецъ сказалъ при немъ, говоря о ней: „умница, хозяйка будетъ“. Въ домѣ у Латкиныхъ мнѣ разсказывали, что старикъ тихо погасъ, какъ догорѣвшая свѣчка, и пока не лишился силъ и сознанія, все гладилъ свою дочь по волосамъ и что-то приговаривалъ невнятное, но не печальное, и все улыбался. На похороны, въ церковь и на кладбище мой отецъ пошелъ, и очень усердно молился; даже Транквиллитатинъ пѣлъ на клиросѣ. Передъ могилой Раиса вдругъ зарыдала и упала лицомъ на землю; однако, скоро оправилась. Сестричка ея, глухо-нѣмая, озирала всѣхъ и все большими, свѣтлыми и немного дикими глазами; отъ времени до времени она жалась къ Раисѣ, но испуга въ ней не замѣчалось. На другой же день послѣ похоронъ, дядя Егоръ, который, по всему было видно, пріѣхалъ изъ Сибири не съ пустыми руками (деньги на похороны далъ *онъ*, и Давыдова спасителя наградилъ щедро), но который о своемъ тамошнемъ житьѣ-*бытьѣ ничего не* разсказывалъ и никакихъ своихъ пла-

новъ на будущее не сообщалъ, — дядя Егоръ внезапно объявилъ моему отцу, что не намѣренъ остаться въ Рязани, а уѣзжаетъ въ Москву, вмѣстѣ съ сыномъ. Мой отецъ, приличія ради, высказалъ сожалѣніе и даже попытался—очень, правда, слабо — измѣнить дядино рѣшеніе; но въ глубинѣ души своей, онъ, я полагаю, очень ему обрадовался.

Присутствіе брата, съ которымъ у него было слишкомъ мало общаго, который не удостоилъ его даже упрека, который даже не пренебрегалъ, а просто брезгалъ имъ, — угнетало его... да и разстаться съ Давыдомъ не составляло для него особеннаго горя. Меня, разумѣется, разлука эта уничтожила; я словно осиротѣлъ на первыхъ порахъ, и потерялъ всякую опору въ жизни и всякую охоту къ ней.

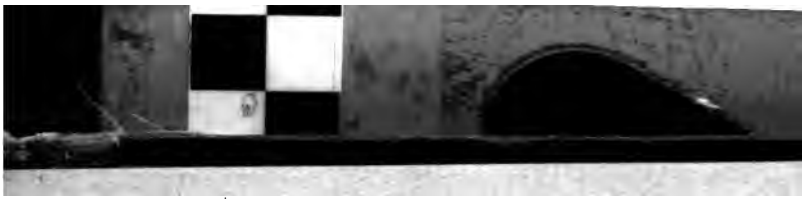
Такъ-таки дядя уѣхалъ и увезъ съ собою не только Давыда, но, къ великому изумленію и даже негодованію всей нашей улицы, и Раису, и ея сестричку... Узнавъ о таковомъ его поступкѣ, тетка немедленно назвала его туркой, и называла его туркой до самаго конца своей жизни.

А я остался одинъ, одинъ... Но дѣло не обо мнѣ...

XXV.

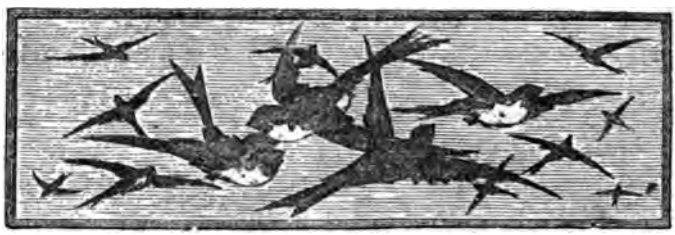
Вотъ и конецъ моей исторіи съ часами. Что еще сказать вамъ? Пять лѣтъ спустя, Давыдъ женился на своей Черногубкѣ, а въ 1812 году, въ чинѣ артиллерійскаго поручика, погибъ славной смертью въ день бородинской битвы, защищая шевардинскій редутъ.

Съ тѣхъ поръ много утекло воды, и много часовъ у меня перебывало; я дошелъ даже до такого великолѣпія, что пріобрѣлъ себѣ настоящій брегетъ, съ секундной стрѣлкой, обозначеніемъ чиселъ и репетиціей... Но въ потаенномъ ящикѣ моего письменнаго стола хранятся старинные серебряные часы съ розаномъ на циферблатѣ; *я ихъ купилъ у жида-разносчика, пораженный ихъ сходствомъ съ часами, нѣкогда подаренными мнѣ моимъ крест-*



нымъ отцомъ.— Отъ времени до времени, когда я одинъ и никого къ себѣ не жду, я вынимаю ихъ изъ ящика и, глядя на нихъ, вспоминаю молодые дни и товарища тѣхъ дней, безвозвратно улетѣвшихъ...

Парижъ.—1875 г.



СОНЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

Я жилъ тогда съ моей матушкой въ небольшомъ приморскомъ городѣ. Мнѣ минуло семнадцать лѣтъ, а матушкѣ не было и тридцати-пяти; она очень молода вышла замужъ. Когда мой отецъ скончался, мнѣ пошелъ всего седьмой годъ, но я хорошо его помнилъ. Матушка моя была небольшого роста, бѣлокурая женщина, съ прелестнымъ, но вѣчно печальнымъ лицомъ, съ тихимъ, усталымъ голосомъ, робкими тѣлодвиженіями. Въ молодости она славилась красотою, и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывалъ болѣе глубокихъ, болѣе нѣжныхъ и грустныхъ глазъ, болѣе тонкихъ и мягкихъ волосъ; не видывалъ рукъ болѣе изящныхъ. Я ее обожалъ, и она любила меня... Но жизнь наша проходила не весело: казалось, тайное, неизлѣчимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ея существованія. Это горе не объяснялось одной печалью объ отцѣ, какъ велика она ни была, какъ страстно моя мать его ни любила, какъ свято ни сохраняла память о немъ... Нѣтъ! тутъ еще что-то таилось, чего я не пони-

малъ, но что я чувствовалъ, чувствовалъ смутно и сильно, какъ только, бывало, взглядывалъ на эти тихіе и неподвижные глаза, на эти прекрасныя, тоже неподвижныя, не горько сжатыя, но словно навѣкъ застывшія губы.

Я сказалъ, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствіе ей было тягостнымъ, невыносимымъ. Она чувствовала тогда какъ бы невольное отвращеніе ко мнѣ — и ужасалась потомъ, винилась со слезами, прижимала меня къ своему сердцу. Я приписывалъ эти мгновенныя вспышки вражды разстройству ея здоровья, ея несчастью... Правда, эти враждебныя ощущенія могли бы, до нѣкоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злыхъ и преступныхъ чувствъ, которыя изрѣдка поднимались во мнѣ... Но эти порывы не совпадали съ тѣми минутами отвращенія. — Матушка ходила постоянно въ черномъ, точно въ траурѣ. Жили мы на довольно большую ногу — хотя почти ни съ кѣмъ не знались.

II.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтьми не всегда полезны для дѣтей... они скорѣе вредны бываютъ. Притомъ, я у матушки былъ одинъ... а единственныя дѣти бо̀льшею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтьми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же, и здоровьемъ я былъ довольно слабъ — въ матушку, на которую я и лицомъ очень походилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ—и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты—сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, *будто я стою передъ* полузакрытой дверью, за которой

СОНЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

Я жилъ тогда съ моей матушкой въ небольшомъ приморскомъ городѣ. Мнѣ минуло семнадцать лѣтъ, а матушкѣ не было и тридцати-пяти; она очень молода вышла замужъ. Когда мой отецъ скончался, мнѣ пошелъ всего седьмой годъ, но я хорошо его помнилъ. Матушка моя была небольшого роста, бѣлокурая женщина, съ прелестнымъ, но вѣчно печальнымъ лицомъ, съ тихимъ, усталымъ голосомъ, робкими тѣлодвиженіями. Въ молодости она славилась красотою, и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывалъ болѣе глубокихъ, болѣе нѣжныхъ и грустныхъ глазъ, болѣе тонкихъ и мягкихъ волосъ; не видывалъ рукъ болѣе изящныхъ. Я ее обожалъ, и она любила меня... Но жизнь наша проходила не весело: казалось, тайное, неизлѣчимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ея существованія. Это горе не объяснялось одной печалью объ отцѣ, какъ велика она ни была, какъ страстно моя мать его ни любила, какъ свято ни сохраняла память о немъ... Нѣтъ! тутъ еще что-то таилось, чего я не пони-

малъ, но что я чувствовалъ, чувствовалъ смутно и сильно, какъ только, бывало, взглядывалъ на эти тихіе и неподвижные глаза, на эти прекрасныя, тоже неподвижныя, не горько сжатыя, но словно навѣкъ застывшія губы.

Я сказалъ, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствіе ей было тягостнымъ, невыносимымъ. Она чувствовала тогда какъ бы невольное отвращеніе ко мнѣ — и ужасалась потомъ, винилась со слезами, прижимала меня къ своему сердцу. Я приписывалъ эти мгновенныя вспышки вражды разстройству ея здоровья, ея несчастью... Правда, эти враждебныя ощущенія могли бы, до нѣкоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злыхъ и преступныхъ чувствъ, которыя изрѣдка поднимались во мнѣ... Но эти порывы не совпадали съ тѣми минутами отвращенія. — Матушка ходила постоянно въ черномъ, точно въ траурѣ. Жили мы на довольно большую ногу — хотя почти ни съ кѣмъ не знались.

II.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтьми не всегда полезны для дѣтей... они скорѣе вредны бываютъ. Притомъ, я у матушки былъ одинъ... а единственныя дѣти бо̀льшею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтьми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же, и здоровьемъ я былъ довольно слабъ — въ матушку, на которую я и лицомъ очень походилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ—и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты—сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, *будто я стою передъ* полузакрытой дверью, за которой

СОНЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

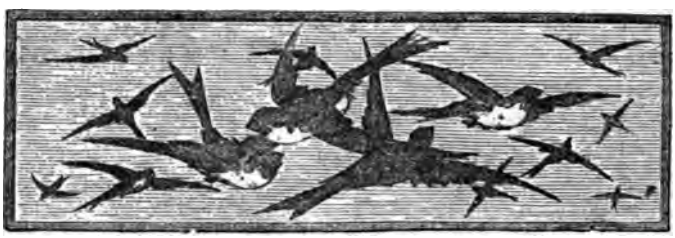
Я жилъ тогда съ моей матушкой въ небольшомъ приморскомъ городѣ. Мнѣ минуло семнадцать лѣтъ, а матушкѣ не было и тридцати-пяти; она очень молода вышла замужъ. Когда мой отецъ скончался, мнѣ пошелъ всего седьмой годъ, но я хорошо его помнилъ. Матушка моя была небольшого роста, бѣлокурая женщина, съ прелестнымъ, но вѣчно печальнымъ лицомъ, съ тихимъ, усталымъ голосомъ, робкими тѣлодвиженіями. Въ молодости она славилась красотою, и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывалъ болѣе глубокихъ, болѣе нѣжныхъ и грустныхъ глазъ, болѣе тонкихъ и мягкихъ волосъ; не видывалъ рукъ болѣе изящныхъ. Я ее обожалъ, и она любила меня... Но жизнь наша проходила не весело: казалось, тайное, неизлѣчимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ея существованія. Это горе не объяснялось одной печалью объ отцѣ, какъ велика она ни была, какъ страстно моя мать его ни любила, какъ свято ни сохраняла память о немъ... Нѣтъ! тутъ еще что-то таилось, чего я не пони-

малъ, но что я чувствовалъ, чувствовалъ смутно и сильно, какъ только, бывало, взглядывалъ на эти тихіе и неподвижные глаза, на эти прекрасныя, тоже неподвижныя, не горько сжатыя, но словно навѣкъ застывшія губы.

Я сказалъ, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствіе ей было тягостнымъ, невыносимымъ. Она чувствовала тогда какъ бы невольное отвращеніе ко мнѣ — и ужасалась потомъ, винилась со слезами, прижимала меня къ своему сердцу. Я приписывалъ эти мгновенныя вспышки вражды разстройству ея здоровья, ея несчастью... Правда, эти враждебныя ощущенія могли бы, до нѣкоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злыхъ и преступныхъ чувствъ, которыя изрѣдка поднимались во мнѣ... Но эти порывы не совпадали съ тѣми минутами отвращенія. — Матушка ходила постоянно въ черномъ, точно въ траурѣ. Жили мы на довольно большую ногу — хотя почти ни съ кѣмъ не знались.

II.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтьми не всегда полезны для дѣтей... они скорѣе вредны бываютъ. Притомъ, я у матушки былъ одинъ... а единственныя дѣти бо́льшею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтьми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же, и здоровьемъ я былъ довольно слабъ — въ матушку, на которую я и лицомъ очень походилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ—и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты—сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, *будто я стою передъ* полузакрытой дверью, за которой



СОНЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

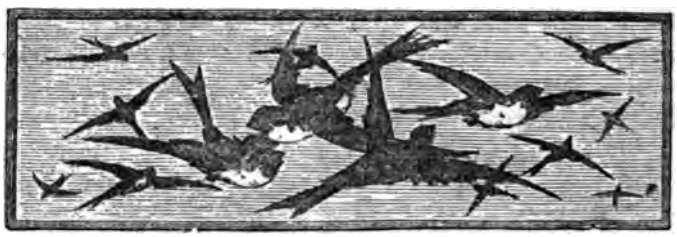
Я жилъ тогда съ моей матушкой въ небольшомъ приморскомъ городѣ. Мнѣ минуло семнадцать лѣтъ, а матушкѣ не было и тридцати-пяти: она очень молода вышла замужъ. Когда мой отецъ скончался, мнѣ пошелъ всего седьмой годъ, но я хорошо его помнилъ. Матушка моя была небольшого роста, бѣлокурая женщина, съ прелестнымъ, но вѣчно печальнымъ лицомъ, съ тихимъ, усталымъ голосомъ, робкими тѣлодвиженіями. Въ молодости она славилась красотою, и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывалъ болѣе глубокихъ, болѣе нѣжныхъ и грустныхъ глазъ, болѣе тонкихъ и мягкихъ волосъ; не видывалъ рукъ болѣе изящныхъ. Я ее обожалъ, и она любила меня... Но жизнь наша проходила не весело: казалось, тайное, неизлѣчимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ея существованія. Это горе не объяснялось одной печалью объ отцѣ, какъ велика она ни была, какъ страстно моя мать его ни любила, какъ свято ни сохраняла память о немъ... Нѣтъ! тутъ еще что-то таилось, чего я не пони-

малъ, но что я чувствовалъ, чувствовалъ смутно и сильно, какъ только, бывало, взглядывалъ на эти тихіе и неподвижные глаза, на эти прекрасныя, тоже неподвижныя, не горько сжатыя, но словно навѣкъ застывшія губы.

Я сказалъ, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствіе ей было тягостнымъ, невыносимымъ. Она чувствовала тогда какъ бы невольное отвращеніе ко мнѣ — и ужасалась потомъ, винилась со слезами, прижимала меня къ своему сердцу. Я приписывалъ эти мгновенныя вспышки вражды разстройству ея здоровья, ея несчастью... Правда, эти враждебныя ощущенія могли бы, до нѣкоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злыхъ и преступныхъ чувствъ, которыя изрѣдка поднимались во мнѣ... Но эти порывы не совпадали съ тѣми минутами отвращенія. — Матушка ходила постоянно въ черномъ, точно въ траурѣ. Жили мы на довольно большую ногу — хотя почти ни съ кѣмъ не знались.

II.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтьми не всегда полезны для дѣтей... они скорѣе вредны бываютъ. Притомъ, я у матушки былъ одинъ... а единственныя дѣти бо̀льшею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтьми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же, и здоровьемъ я былъ довольно слабъ — въ матушку, на которую я и лицомъ очень походилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ—и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты—сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, *будто я стою передъ* полузакрытой дверью, за которой



СОНЪ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

Я жилъ тогда съ моей матушкой въ небольшомъ приморскомъ городѣ. Мнѣ минуло семнадцать лѣтъ, а матушкѣ не было и тридцати-пяти; она очень молода вышла замужъ. Когда мой отецъ скончался, мнѣ пошелъ всего седьмой годъ, но я хорошо его помнилъ. Матушка моя была небольшого роста, бѣлокурая женщина, съ прелестнымъ, но вѣчно печальнымъ лицомъ, съ тихимъ, усталымъ голосомъ, робкими тѣлодвиженіями. Въ молодости она славилась красотою, и до конца оставалась привлекательной и милой. Я не видывалъ болѣе глубокихъ, болѣе нѣжныхъ и грустныхъ глазъ, болѣе тонкихъ и мягкихъ волосъ; не видывалъ рукъ болѣе изящныхъ. Я ее обожалъ, и она любила меня... Но жизнь наша проходила не весело: казалось, тайное, неизлѣчимое и незаслуженное горе постоянно подтачивало самый корень ея существованія. Это горе не объяснялось одной печалью объ отцѣ, какъ велика она ни была, какъ страстно моя мать его ни любила, какъ свято ни сохраняла память о немъ... Нѣтъ! тутъ еще что-то таилось, чего я не пони-

малъ, но что я чувствовалъ, чувствовалъ смутно и сильно, какъ только, бывало, взглядывалъ на эти тихіе и неподвижные глаза, на эти прекрасныя, тоже неподвижныя, не горько сжатыя, но словно навѣкъ застывшія губы.

Я сказалъ, что матушка меня любила; но бывали минуты, когда она меня отталкивала, когда мое присутствіе ей было тягостнымъ, невыносимымъ. Она чувствовала тогда какъ бы невольное отвращеніе ко мнѣ — и ужасалась потомъ, винилась со слезами, прижимала меня къ своему сердцу. Я приписывалъ эти мгновенныя вспышки вражды разстройству ея здоровья, ея несчастью... Правда, эти враждебныя ощущенія могли бы, до нѣкоторой степени, быть вызваны какими-то странными, для меня самого непонятными порывами злыхъ и преступныхъ чувствъ, которыя изрѣдка поднимались во мнѣ... Но эти порывы не совпадали съ тѣми минутами отвращенія. — Матушка ходила постоянно въ черномъ, точно въ траурѣ. Жили мы на довольно большую ногу — хотя почти ни съ кѣмъ не знались.

II.

Матушка сосредоточила на мнѣ всѣ свои помыслы и заботы. Ея жизнь слилась съ моей жизнью. Такого рода отношенія между родителями и дѣтьми не всегда полезны для дѣтей... они скорѣе вредны бываютъ. Притомъ, я у матушки былъ одинъ... а единственныя дѣти бо̀льшею частью развиваются неправильно. Воспитывая ихъ, родители столько же заботятся о самихъ себѣ, сколько о нихъ... Это не дѣло. Я не избаловался и не ожесточился (то и другое случается съ единственными дѣтьми), но нервы мои до времени разстроились; къ тому же, и здоровьемъ я былъ довольно слабъ — въ матушку, на которую я и лицомъ очень походилъ. Я избѣгалъ общества своихъ однолѣтковъ; я вообще чуждался людей; я даже съ матушкой разговаривалъ мало. Я пуще всего любилъ читать, гулять наединѣ—и мечтать, мечтать! О чемъ были мои мечты—сказать трудно: мнѣ, право, иногда чудилось, *будто я стою передъ* полузакрытой дверью, за которой

скрываются невѣдомыя тайны, стою и жду, и млѣю — и не переступаю порога — и все размышляю о томъ, что̀ тамъ такое находится впереди — и все жду и замираю... или засыпаю. Если бы во мнѣ билась поэтическая жилка— я бы, вѣроятно, принялся писать стихи; если бы я чувствовалъ наклонность къ набожности, я бы, можетъ-быть, пошелъ въ монахи; но у меня ничего этого не было — и я продолжалъ мечтать—и ждать.

III.

Я сейчасъ упомянулъ о томъ, какъ я засыпалъ иногда подъ наитіемъ неясныхъ думъ и мечтаній. Я вообще спалъ много—и сны играли въ моей жизни значительную роль; я видѣлъ сны почти каждую ночь. Я не забывалъ ихъ, я придавалъ имъ значеніе, считалъ ихъ предсказаніями, старался разгадать ихъ тайный смыслъ; нѣкоторые изъ нихъ повторялись отъ времени до времени, что̀ всегда казалось мнѣ удивительнымъ и страннымъ. Особенно смущалъ меня одинъ сонъ. Мнѣ казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улицѣ старинпаго города, между многоэтажными каменными домами съ остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умеръ, но почему-то прячется отъ насъ, и живетъ именно въ одномъ изъ этихъ домовъ. И вотъ, я вступаю въ низкія, темныя ворота, перехожу длинный дворъ, заваленный бревнами и досками, и проникаю, наконецъ, въ маленькую комнату съ двумя круглыми окнами. По срединѣ комнаты стоитъ мой отецъ въ шлафрокѣ и куритъ трубку. Онъ нисколько не похожъ на моего настоящаго отца: онъ высокъ ростомъ, худощавъ, черноволосъ, носъ у него крючкомъ, глаза угрюмые и пронзительные; на видъ ему лѣтъ сорокъ. Онъ недоволенъ тѣмъ, что я его отыскалъ; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданію—и стою въ недоумѣніи. Онъ слегка отворачивается, начинаетъ что-то бормотать и расхаживать взадъ и впередъ небольшими шагами... Потомъ онъ понемногу удаляется, не переставая бормотать и, то и дѣло, оглядываться назадъ, черезъ плечо; комната расширяется и про-

падаетъ въ туманѣ... Мнѣ вдругъ становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслѣдъ за нимъ,—но я уже его не вижу—и только слышится мнѣ его сердитое, точно медвѣжье бормотанье... Сердце во мнѣ замираетъ—я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять... Весь слѣдующій день я думаю объ этомъ снѣ и, конечно, ни до чего додуматься не могу.

IV.

Наступилъ іюнь мѣсяцъ. Городъ, въ которомъ мы жили съ матушкой, объ эту пору оживлялся необыкновенно. Множество кораблей прибывало въ пристань, множество новыхъ лицъ появлялось на улицахъ. Я любилъ тогда бродить по набережной, мимо кофейныхъ домовъ и гостиницъ, засматриваться на разнородныя фигуры матросовъ и другихъ людей, сидѣвшихъ подъ полотняными навѣсами, передъ небольшими бѣлыми столиками, за оловянными кружками, налитыми пивомъ.

Вотъ, однажды, проходя передъ одной кофейной, я увидалъ человѣка, который тотчасъ же приковалъ къ себѣ все мое вниманіе. Одѣтый въ длинный черный балахонъ, съ нахлобученной на глаза соломенной шляпой, онъ сидѣлъ неподвижно, скрестивъ руки на груди. Жидкіе завитки черныхъ волосъ спускались почти до самаго носа; тонкія губы стискивали мундштукъ короткой трубки. Человѣкъ этотъ до того показался мнѣ знакомымъ, каждая черта его смуглаго, желтаго лица, вся его фигура—до того несомнѣнно запечатлѣлась въ моей памяти, что я не могъ не остановиться передъ нимъ, не могъ не задать себѣ вопроса: кто этотъ человѣкъ? гдѣ я его видѣлъ? Почувствовавъ, вѣроятно, мой пристальный взглядъ, онъ возвелъ на меня свои черные, колючіе глаза... Я невольно ахнулъ...

Этотъ человѣкъ былъ тотъ отецъ, котораго я отыскивалъ, котораго я видѣлъ во снѣ!

Не было возможности ошибиться, — сходство было слишкомъ поразительно. Самый даже долгополый балахонъ, *облекавшій* его худощавые члены, цвѣтомъ и сила-

скрываются невѣдомыя тайны, стою и жду, и млѣю — и не переступаю порога — и все размышляю о томъ, что̀ тамъ такое находится впереди — и все жду и замираю... или засыпаю. Если бы во мнѣ билась поэтическая жилка— я бы, вѣроятно, принялся писать стихи; если бы я чувствовалъ наклонность къ набожности, я бы, можетъ-быть, пошелъ въ монахи; но у меня ничего этого не было — и я продолжалъ мечтать—и ждать.

III.

Я сейчасъ упомянулъ о томъ, какъ я засыпалъ иногда подъ наитіемъ неясныхъ думъ и мечтаній. Я вообще спалъ много—и сны играли въ моей жизни значительную роль; я видѣлъ сны почти каждую ночь. Я не забывалъ ихъ, я придавалъ имъ значеніе, считалъ ихъ предсказаніями, старался разгадать ихъ тайный смыслъ; нѣкоторые изъ нихъ повторялись отъ времени до времени, что̀ всегда казалось мнѣ удивительнымъ и страннымъ. Особенно смущалъ меня одинъ сонъ. Мнѣ казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улицѣ старинпаго города, между многоэтажными каменными домами съ остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умеръ, но почему-то прячется отъ насъ, и живетъ именно въ одномъ изъ этихъ домовъ. И вотъ, я вступаю въ низкія, темныя ворота, перехожу длинный дворъ, заваленный бревнами и досками, и проникаю, наконецъ, въ маленькую комнату съ двумя круглыми окнами. По срединѣ комнаты стоитъ мой отецъ въ шлафрокѣ и куритъ трубку. Онъ нисколько не похожъ на моего настоящаго отца: онъ высокъ ростомъ, худощавъ, черноволосъ, носъ у него крючкомъ, глаза угрюмые и пронзительные; на видъ ему лѣтъ сорокъ. Онъ недоволенъ тѣмъ, что я его отыскалъ; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданію—и стою въ недоумѣніи. Онъ слегка отворачивается, начинаетъ что-то бормотать и расхаживать взадъ и впередъ небольшими шагами... Потомъ онъ понемногу удаляется, не переставая бормотать и, то и дѣло, оглядываться назадъ, черезъ плечо; комната расширяется и про-

падаетъ въ туманѣ... Мнѣ вдругъ становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслѣдъ за нимъ,—но я уже его не вижу—и только слышится мнѣ его сердитое, точно медвѣжье бормотанье... Сердце во мнѣ замираетъ—я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять... Весь слѣдующій день я думаю объ этомъ снѣ и, конечно, ни до чего додуматься не могу.

IV.

Наступилъ іюнь мѣсяцъ. Городъ, въ которомъ мы жили съ матушкой, объ эту пору оживлялся необыкновенно. Множество кораблей прибывало въ пристань, множество новыхъ лицъ появлялось на улицахъ. Я любилъ тогда бродить по набережной, мимо кофейныхъ домовъ и гостиницъ, засматриваться на разнородныя фигуры матросовъ и другихъ людей, сидѣвшихъ подъ полотняными навѣсами, передъ небольшими бѣлыми столиками, за оловянными кружками, налитыми пивомъ.

Вотъ, однажды, проходя передъ одной кофейной, я увидалъ человѣка, который тотчасъ же приковалъ къ себѣ все мое вниманіе. Одѣтый въ длинный черный балахонъ, съ нахлобученной на глаза соломенной шляпой, онъ сидѣлъ неподвижно, скрестивъ руки на груди. Жидкіе завитки черныхъ волосъ спускались почти до самаго носа; тонкія губы стискивали мундштукъ короткой трубки. Человѣкъ этотъ до того показался мнѣ знакомымъ, каждая черта его смуглаго, желтаго лица, вся его фигура—до того несомнѣнно запечатлѣлась въ моей памяти, что я не могъ не остановиться передъ нимъ, не могъ не задать себѣ вопроса: кто этотъ человѣкъ? гдѣ я его видѣлъ? Почувствовавъ, вѣроятно, мой пристальный взглядъ, онъ возвелъ на меня свои черные, колючіе глаза... Я невольно ахнулъ...

Этотъ человѣкъ былъ тотъ отецъ, котораго я отыскивалъ, котораго я видѣлъ во снѣ!

Не было возможности ошибиться, — сходство было слишкомъ поразительно. Самый даже долгополый балахонъ, облекавшій его худощавые члены, цвѣтомъ и скла-

скрываются невѣдомыя тайны, стою и жду, и млѣю — и не переступаю порога — и все размышляю о томъ, что̀ тамъ такое находится впереди — и все жду и замираю... или засыпаю. Если бы во мнѣ билась поэтическая жилка— я бы, вѣроятно, принялся писать стихи; если бы я чувствовалъ наклонность къ набожности, я бы, можетъ-быть, пошелъ въ монахи; но у меня ничего этого не было — и я продолжалъ мечтать—и ждать.

III.

Я сейчасъ упомянулъ о томъ, какъ я засыпалъ иногда подъ наитіемъ неясныхъ думъ и мечтаній. Я вообще спалъ много—и сны играли въ моей жизни значительную роль; я видѣлъ сны почти каждую ночь. Я не забывалъ ихъ, я придавалъ имъ значеніе, считалъ ихъ предсказаніями, старался разгадать ихъ тайный смыслъ; нѣкоторые изъ нихъ повторялись отъ времени до времени, что̀ всегда казалось мнѣ удивительнымъ и страннымъ. Особенно смущалъ меня одинъ сонъ. Мнѣ казалось, что я иду по узкой, дурно вымощенной улицѣ старинпаго города, между многоэтажными каменными домами съ остроконечными крышами. Я отыскиваю моего отца, который не умеръ, но почему-то прячется отъ насъ, и живетъ именно въ одномъ изъ этихъ домовъ. И вотъ, я вступаю въ низкія, темныя ворота, перехожу длинный дворъ, заваленный бревнами и досками, и проникаю, наконецъ, въ маленькую комнату съ двумя круглыми окнами. По срединѣ комнаты стоитъ мой отецъ въ шлафрокѣ и куритъ трубку. Онъ нисколько не похожъ на моего настоящаго отца: онъ высокъ ростомъ, худощавъ, черноволосъ, носъ у него крючкомъ, глаза угрюмые и пронзительные; на видъ ему лѣтъ сорокъ. Онъ недоволенъ тѣмъ, что я его отыскалъ; я тоже нисколько не радуюсь нашему свиданію—и стою въ недоумѣніи. Онъ слегка отворачивается, начинаетъ что-то бормотать и расхаживать взадъ и впередъ небольшими шагами... Потомъ онъ понемногу удаляется, не переставая бормотать и, то и дѣло, оглядываться назадъ, черезъ плечо; комната расширяется и про-

падаетъ въ туманѣ... Мнѣ вдругъ становится страшно при мысли, что я снова теряю моего отца, я бросаюсь вслѣдъ за нимъ,—но я уже его не вижу—и только слышится мнѣ его сердитое, точно медвѣжье бормотанье... Сердце во мнѣ замираетъ—я просыпаюсь и долго не могу заснуть опять... Весь слѣдующій день я думаю объ этомъ снѣ и, конечно, ни до чего додуматься не могу.

IV.

Наступилъ іюнь мѣсяцъ. Городъ, въ которомъ мы жили съ матушкой, объ эту пору оживлялся необыкновенно. Множество кораблей прибывало въ пристань, множество новыхъ лицъ появлялось на улицахъ. Я любилъ тогда бродить по набережной, мимо кофейныхъ домовъ и гостиницъ, засматриваться на разнородныя фигуры матросовъ и другихъ людей, сидѣвшихъ подъ полотняными навѣсами, передъ небольшими бѣлыми столиками, за оловянными кружками, налитыми пивомъ.

Вотъ, однажды, проходя передъ одной кофейной, я увидалъ человѣка, который тотчасъ же приковалъ къ себѣ все мое вниманіе. Одѣтый въ длинный черный балахонъ, съ нахлобученной на глаза соломенной шляпой, онъ сидѣлъ неподвижно, скрестивъ руки на груди. Жидкіе завитки черныхъ волосъ спускались почти до самаго носа; тонкія губы стискивали мундштукъ короткой трубки. Человѣкъ этотъ до того показался мнѣ знакомымъ, каждая черта его смуглаго, желтаго лица, вся его фигура—до того несомнѣнно запечатлѣлась въ моей памяти, что я не могъ не остановиться передъ нимъ, не могъ не задать себѣ вопроса: кто этотъ человѣкъ? гдѣ я его видѣлъ? Почувствовавъ, вѣроятно, мой пристальный взглядъ, онъ возвелъ на меня свои черные, колючіе глаза... Я невольно ахнулъ...

Этотъ человѣкъ былъ тотъ отецъ, котораго я отыскивалъ, котораго я видѣлъ во снѣ!

Не было возможности ошибиться, — сходство было слишкомъ поразительно. Самый даже долгополый балахонъ, облекавшій его худощавые члены, цвѣтомъ и скла-

домъ напоминалъ тотъ шлафрокъ, въ которомъ являлся мнѣ мой отецъ.

„Ужъ не сплю ли я?“ подумалось мнѣ... Нѣтъ... Теперь день, кругомъ шумитъ толпа, солнце ярко свѣтитъ съ голубого неба, и передо мной не призракъ, а живой человѣкъ.

Я подошелъ къ порожнему столику, спросилъ себѣ кружку пива, газету — и сѣлъ въ недальнемъ разстояніи отъ того загадочнаго существа.

V.

Поставивъ листъ газеты въ уровень лица, я продолжалъ пожирать незнакомца глазами.—Онъ почти не шевелился, и лишь изрѣдка приподнималъ понурую голову. Онъ явно ждалъ кого-то. Я глядѣлъ, глядѣлъ... Иногда мнѣ казалось, что я все это выдумалъ, что сходства собственно никакого нѣтъ, что я поддался полу-невольному обману воображенія... но „тотъ“ вдругъ повернется немного на стулѣ или руки слегка подниметъ — и я опять чуть не ахну, опять вижу передъ собой моего „ночного“ отца! — Онъ, наконецъ, замѣтилъ мое неотвязчивое вниманіе, и сперва съ недоумѣніемъ, потомъ съ досадой, взглянувъ въ мою сторону, собрался-было встать—и уронилъ небольшую тросточку, прислоненную имъ къ столу. Я мгновенно вскочилъ, поднялъ и подалъ ему ее. Сердце во мнѣ сильно билось.

Онъ натянуто улыбнулся, поблагодарилъ меня и, приблизивъ свое лицо къ моему лицу, поднялъ брови и раскрылъ немного губы, словно что̀ его поразило.

— Вы очень вѣжливы, молодой человѣкъ,—заговорилъ онъ вдругъ сухимъ и рѣзкимъ, гнусливымъ голосомъ. — Въ теперешнее время это рѣдкость. Позвольте васъ поздравить: вы получили хорошее воспитаніе.

Не помню, что̀ именно я отвѣтилъ ему; но разговоръ скоро завязался между нами. Я узналъ, что онъ мой соотечественникъ, что онъ недавно вернулся изъ Америки, *гдѣ прожилъ* много лѣтъ, и скоро опять туда отпра*вляется.* Онъ назвалъ себя барономъ... имени я не могъ

рошенько разслышать. Онъ такъ же, какъ мой „ноч-
й“ отецъ, оканчивалъ каждую свою рѣчь какимъ-то
яснымъ внутреннимъ бормотаньемъ. Онъ пожелалъ
нать мою фамилію... Услыхавъ ее, онъ опять какъ будто
смился; потомъ онъ спросилъ меня, давно ли я живу
этомъ городѣ и съ кѣмъ? Я отвѣчалъ ему, что я живу
моей матерью.

— А батюшка вашъ? — Мой отецъ давно умеръ. Онъ
вѣдомился о христіанскомъ имени моей матери, и тотъ
съ же разсмѣялся неловкимъ смѣхомъ — а потомъ из-
нился, говоря, что у него такая американская манера,
что вообще онъ чудакъ порядочный. Потомъ онъ по-
бопытствовалъ узнать, гдѣ находится наша квартира.
сказалъ ему.

VI.

Волненіе, овладѣвшее мною въ началѣ нашего разго-
ра, постепенно утихло; я находилъ наше сближеніе нѣ-
олько страннымъ—и только. Мнѣ не нравилась улыбочка,
которой г-нъ баронъ меня разспрашивалъ; не нравилось
кже выраженіе его глазъ, когда онъ ихъ словно вонзалъ
меня... Въ нихъ было что-то хищное и покровитель-
венное... что-то жуткое. Этихъ глазъ я во снѣ не видѣлъ.
ранное было лицо у барона! Поблеклое, усталое, и въ то
время моложавое, непріятно моложавое! У моего „ноч-
го“ отца не было также того глубокаго шрама, который
свенно пересѣкалъ весь лобъ моего новаго знакомца, и
гораго я не замѣтилъ до тѣхъ поръ, пока не подошелъ
ся къ нему поближе.

Не успѣлъ я сообщить барону названіе улицы и нумеръ
ма, гдѣ мы жили, какъ высокаго роста арапъ, закутан-
й въ плащъ по самыя брови, подошелъ къ нему сзади
тихонько постучалъ ему по плечу. Баронъ обернулся,
омолвилъ: „Ага! наконецъ-то!“ и, слегка кивнувъ мнѣ
ловою, отправился вмѣстѣ съ арапомъ въ кофейную. Я
гался подъ навѣсомъ, я хотѣлъ дождаться выхода ба-
на, не столько для того, чтобы снова заговорить съ
мъ—(я собственно не зналъ, о чемъ бы я могъ повести

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ

матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить утороплеными, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ

матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ

матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

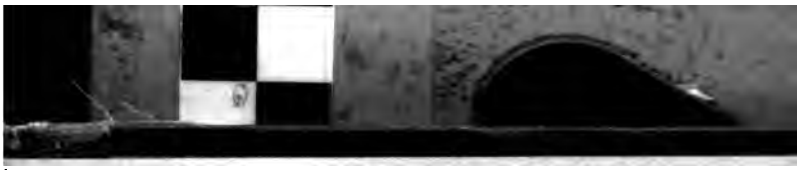
Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ



матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ

матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), *и тѣмъ же поспѣшнымъ* голосомъ, безпрестанно отпивая

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ

матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая

съ нимъ рѣчь)—сколько для того, чтобы снова провѣрить свое первое впечатлѣніе. — Но минуло полчаса; минулъ часъ... Баронъ не появлялся. — Я вошелъ въ кофейную, пробѣжалъ по всѣмъ комнатамъ, но нигдѣ не увидалъ ни барона, ни арапа... Они оба, должно быть, удалились черезъ заднюю дверь.

У меня голова немного разболѣлась, и я, чтобы освѣжиться, отправился вдоль морского берега до пространнаго загороднаго парка, разведеннаго лѣтъ двѣсти тому назадъ. Погулявъ часа два въ тѣни громадныхъ дубовъ и платановъ, я вернулся домой.

VII.

Служанка наша бросилась мнѣ навстрѣчу, вся перетревоженная, какъ только я появился въ передней. Я тотчасъ догадался, по выраженію ея лица, что во время моего отсутствія что-то недоброе произошло въ нашемъ домѣ. И, точно, я узналъ, что, часъ тому назадъ, въ спальнѣ моей матери внезапно раздался страшный крикъ; вбѣжавшая служанка нашла ее на полу, въ обморокѣ, который продолжался нѣсколько минутъ. Матушка, наконецъ, пришла въ чувство, но принуждена была лечь въ постель, и видъ имѣла испуганный и странный; ни слова не говорила, не отвѣчала на разспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за докторомъ. Докторъ пришелъ и прописалъ успокоительное средство, но и ему матушка ничего сказать не хотѣла. Садовникъ увѣрялъ, что нѣсколько мгновеній послѣ того, какъ въ матушкиной комнатѣ раздался крикъ, онъ увидѣлъ незнакомаго человѣка, поспѣшно бѣжавшаго черезъ клумбы сада къ уличнымъ воротамъ. (Мы жили въ одноэтажномъ домѣ, выходившемъ окнами въ довольно большой садъ.) Садовникъ не успѣлъ разсмотрѣть лицо этого человѣка; но изъ себя онъ былъ худощавъ, носилъ низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртукъ... „Одежда барона!“ тотчасъ мелькнуло у меня въ головѣ. Догнать *его* садовникъ не могъ; къ тому же, его немедленно позвали въ домъ и послали за докторомъ. Я вошелъ къ

матушкѣ; она лежала на постели, блѣднѣй подушки, на которой покоилась ея голова. Узнавъ меня, она слабо улыбнулась и протянула мнѣ руку. Я подсѣлъ къ ней, сталъ ее разспрашивать; сперва она все отнѣкивалась; наконецъ, однако, созналась, что увидѣла нѣчто такое, что̀ очень ее испугало. — „Кто-нибудь входилъ сюда?“ спросилъ я.—„Нѣтъ“, торопливо отвѣтила она: „никто не приходилъ, но мнѣ показалось... мнѣ привидѣлось“... Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотѣлъ-было сообщить ей то, что̀ узналъ отъ садовника, да кстати разсказать мою встрѣчу съ барономъ... но, почему-то, слова замерли у меня на губахъ. Я рѣшился, однако, замѣтить матушкѣ, что привидѣнія обыкновенно не показываются днемъ...— „Оставь,—прошептала она:—пожалуйста; не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь“... Она умолкла опять. Руки у нея были холодныя, и пульсъ бился скоро и неровно. Я далъ ей выпить лѣкарство и отошелъ немного въ сторону, чтобы не безпокоить ее. Цѣлый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изрѣдка глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Всѣ въ домѣ недоумѣвали.

VIII.

Къ ночи съ матушкой сдѣлалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушелъ къ себѣ, а легъ въ сосѣдней комнатѣ на диванѣ. Каждыя четверть часа я вставалъ, подходилъ на цыпочкахъ къ двери, слушалъ... Все оставалось безмолвнымъ; но матушка едва ли заснула въ ту ночь. Когда я рано поутру вошелъ къ ней, лицо ея казалось воспаленнымъ, глаза блестѣли неестественнымъ блескомъ. Въ теченіе дня ей нѣсколько полегчало, но къ вечеру жаръ опять усилился. До тѣхъ поръ она упорно молчала, а тутъ вдругъ начала говорить уторопленнымъ, прерывистымъ голосомъ. Она не бредила, въ ея словахъ былъ смыслъ, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи, она внезапно, судорожнымъ движеніемъ, приподнялась въ постели (я сидѣлъ возлѣ нея), и тѣмъ же поспѣшнымъ голосомъ, безпрестанно отпивая

воду глотками изъ стакана, слабо помахивая руками и ни разу не взглянувъ на меня, принялась разсказывать... Она останавливалась, дѣлала надъ собой усиліе и продолжала снова... Такъ это все было странно, точно она все это дѣлала во снѣ, точно она сама отсутствовала, а кто-то другой говорилъ ея устами, или заставлялъ ее говорить.

IX.

— Послушай, что̀ я тебѣ разскажу,—начала она:—ты уже не молодой мальчикъ; надо тебѣ все знать. У меня была хорошая пріятельница... Она вышла за человѣка, котораго любила всѣмъ сердцемъ, и она была очень счастлива съ своимъ мужемъ. Въ первый же годъ брака они поѣхали оба въ столицу, чтобы провести тамъ нѣсколько недѣль и повеселиться. Они остановились въ хорошей гостиницѣ и много выѣзжали по театрамъ и собраніямъ. Моя пріятельница была очень недурна собой, ее всѣ замѣчали, молодые люди за ней ухаживали, но былъ между ними одинъ... офицеръ. Онъ слѣдилъ за нею неотступно, и гдѣ бы она ни была, она всюду видѣла его черные, злые глаза. Онъ съ ней не познакомился и ни разу съ ней не говорилъ,—только все глядѣлъ на нее, такъ дерзко и странно. Всѣ удовольствія столицы были отравлены его присутствіемъ; она начала уговаривать мужа уѣхать поскорѣе, и они уже совсѣмъ собрались въ путь. Однажды мужъ ея отправился въ клубъ: его пригласили офицеры одного полка съ тѣмъ офицеромъ — играть въ карты... Она въ первый разъ осталась одна. Мужъ долго не возвращался, она отпустила служанку, легла въ постель... И вдругъ ей стало очень жутко, такъ что она даже вся похолодѣла и затряслась. Ей почудился легкій стукъ за стѣною—такъ собака царапаетъ—и она начала глядѣть на ту стѣну. Въ углу горѣла лампада; комната была вся обита штофомъ... Вдругъ что-то тамъ шевельнулось, приподнялось, раскрылось... И прямо изъ стѣны, весь черный, длинный, вышелъ тотъ ужасный человѣкъ съ злыми глазами! Она хотѣла закричать, и не могла. Она совсѣмъ

замерла отъ испуга. Онъ подошелъ къ ней быстро, какъ хищный звѣрь, бросилъ ей что-то на голову, что-то душное, тяжелое, бѣлое... Что̀ было потомъ, не помню... не помню! Это походило на смерть, на убійство... Когда, наконецъ, разсѣялся тотъ страшный туманъ, когда я... когда пріятельница моя пришла въ себя, въ комнатѣ не было никого. Она опять—и долго—не въ силахъ была закричать, закричала наконецъ... потомъ опять все смѣшалось...

Потомъ она увидѣла возлѣ себя мужа, котораго до двухъ часовъ ночи задержали въ клубѣ... На немъ лица не было. Онъ сталъ ее разспрашивать, но она ему ничего не сказала... Потомъ она занемогла... Однако, помнится, оставшись одна въ комнатѣ, она осмотрѣла то мѣсто въ стѣнѣ... Подъ штофной обивкой оказалась потаенная дверь. А у самой у ней съ руки пропало обручальное кольцо. Это кольцо было необыкновенной формы: на немъ чередовалось семь золотыхъ звѣздочекъ съ семью серебряными; это была старинная семейная драгоцѣнность. Мужъ спрашивалъ ее, что̀ сталось съ кольцомъ; она ничего не могла отвѣтить. Мужъ подумалъ, что она какъ-нибудь его обронила, искалъ вездѣ, но нигдѣ не нашелъ. Тоска на него нашла, онъ рѣшился какъ можно скорѣй домой уѣхать, и какъ только докторъ позволилъ — они покинули столицу... Но, представь! Въ самый день отъѣзда, они на улицѣ вдругъ наткнулись на носилки... На этихъ носилкахъ лежалъ только-что убитый человѣкъ, съ разрубленной головой—и представь! этотъ человѣкъ былъ тотъ самый страшный ночной гость съ злыми глазами... Его убили за карточной игрой!

Потомъ моя пріятельница уѣхала въ деревню... сдѣлалась матерью въ первый разъ... и прожила съ мужемъ нѣсколько лѣтъ. Онъ никогда ничего не узналъ, да и что̀ могла она сказать? Она сама ничего не знала.

Но прежнее счастье исчезло. Темно стало въ ихъ жизни — и никогда уже не прекращалась эта темнота... Другихъ дѣтей у нихъ не было ни прежде, ни послѣ... *а этотъ сынъ...*

Матушка вся затрепетала и закрыла лицо руками..

— Но скажи теперь, — продолжала она съ удвоенной силой:—развѣ моя знакомая въ чемъ-нибудь виновата? Въ чемъ она могла упрекнуть себя? Она была наказана, но развѣ она не въ правѣ передъ самимъ Богомъ объявить, что наказаніе, которое ее постигло, несправедливо? Такъ почему же ей, какъ преступницѣ, которую терзаютъ угрызенія совѣсти, почему можетъ ей представиться прошедшее въ такомъ ужасномъ видѣ, послѣ столькихъ лѣтъ? Макбетъ убилъ Банко—такъ не удивительно, что ему можетъ мерещиться... а я...

Но тутъ рѣчь матушки до того запуталась и смѣшалась, что я пересталъ ее понимать... Я уже не сомнѣвался въ томъ, что она бредитъ.

X.

Какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ на меня разсказъ матушки—легко пойметъ всякій! Я съ перваго ея слова догадался, что она говоритъ о самой себѣ, а не о какой-то своей знакомой; ея обмолвка только подтвердила мою догадку. Стало-быть, это точно былъ мой отецъ, котораго я отыскивалъ во снѣ, котораго я видѣлъ на яву! Онъ не былъ убитъ, какъ полагала матушка, а только раненъ... И онъ приходилъ къ ней, и бѣжалъ, испуганный ея испугомъ. Все мнѣ стало вдругъ понятно. и чувство невольнаго отвращенія ко мнѣ, которое иногда пробуждалось въ моей матери, и ея постоянная грусть, и наша уединенная жизнь... Помнится, голова у меня ходила кругомъ—и я хватался за нее обѣими руками, какъ бы желая ее удержать на мѣстѣ. Но одна мысль засѣла во мнѣ гвоздемъ: я рѣшился, непремѣнно, во что бы то ни стало, снова найти этого человѣка! Зачѣмъ? съ какою цѣлью? — я не давалъ себѣ отчета, но отыскать... отыскать его—это сдѣлалось для меня вопросомъ жизни или смерти! На слѣдующее утро матушка, наконецъ, успокоилась... лихорадка прошла... она заснула. Препоручивъ ее попеченіямъ нашихъ хозяевъ и слугъ, я отправился на поиски.

XI.

Прежде всего я, разумѣется, отправился въ кофейную, гдѣ я встрѣтилъ барона; но въ кофейной никто не зналъ и даже не замѣтилъ его; онъ былъ случайнымъ ея посѣтителемъ. Арапа хозяева замѣтили—фигура его слишкомъ бросалась въ глаза; но кто онъ былъ, гдѣ пребывалъ,—также никто не вѣдалъ. Оставивъ, на всякій случай, мой адресъ въ кофейной, я принялся ходить по улицамъ и набережнымъ города, около пристани, по бульварамъ, заглядывалъ во всѣ публичныя заведенія, и нигдѣ не нашелъ ничего похожаго ни на барона, ни на его товарища!.. Не разслыхавъ фамиліи барона, я былъ лишенъ возможности обратиться къ полиціи; однако, далъ знать подъ рукою двумъ-тремъ блюстителямъ общественнаго порядка (правда, они съ изумленіемъ смотрѣли на меня и не совсѣмъ мнѣ довѣряли), что вознагражу щедро ихъ усердіе, если имъ удастся напасть на слѣдъ тѣхъ двухъ личностей, наружность которыхъ я постарался описать имъ сколько возможно точнѣе. Прорыскавъ, такимъ образомъ, до самаго обѣда, я вернулся домой изнуренный. Матушка поднялась съ постели, но къ обычной ея грусти примѣшивалось что-то новое, какое-то задумчивое недоумѣніе, которое какъ ножомъ меня рѣзало по сердцу. Вечеръ я просидѣлъ съ нею. Мы почти ничего не говорили: она раскладывала пасьянсъ, я молча смотрѣлъ ей въ карты. Она ни единымъ словомъ не упомянула ни о своемъ разсказѣ, ни о томъ, что случилось наканунѣ. Мы точно оба тайно уговорились не касаться всѣхъ этихъ жуткихъ и странныхъ происшествій... Ей, какъ будто, было досадно на себя и совѣстно того, что у нея вырвалось невольно; а, можетъ-быть, она и не помнила хорошенько, что она такое сказала въ полу-горячечномъ бреду—и надѣялась, что я ее пощажу... Да и точно, я щадилъ ее, и она это чувствовала; она, по-вчерашнему, избѣгала моего взора. Всю ночь я не могъ заснуть.—На дворѣ внезапно поднялась страшная буря. Вѣтеръ выл и рвалъ неистово, стекла оконъ звенѣли и дребезжали,

въ воздухѣ носились отчаянные визги и стоны, точно что-то тамъ, наверху, разрывалось и съ бѣшенымъ плачемъ пролетало надъ потрясенными домами. Передъ зарей я забылся дремотой... вдругъ мнѣ почудилось, что кто-то вошелъ ко мнѣ въ комнату и позвалъ меня, произнесъ мое имя — не громкимъ, но рѣшительнымъ голосомъ. Я приподнялъ голову и не увидѣлъ никого, но, странное дѣло! я не только не испугался — я обрадовался; во мнѣ внезапно явилась увѣренность, что теперь я непремѣнно достигну цѣли. Я наскоро одѣлся и вышелъ изъ дому.

XII.

Буря утихла... но еще чувствовались ея послѣднія трепетанія. Время было раннее—на улицахъ не попадались люди, во многихъ мѣстахъ валялись обломки трубъ, черепицы, доски разметанныхъ заборовъ, сломанные сучья деревьевъ... „Что происходило ночью на морѣ?“—невольно думалось при видѣ слѣдовъ, оставленныхъ бурей. Я хотѣлъ-было пойти на пристань, но мои ноги, какъ бы повинуясь неотразимому влеченію, понесли меня въ другую сторону. Не прошло десяти минутъ, какъ уже я находился въ части города, никогда до тѣхъ поръ мною не посѣщенной. Я шелъ не быстро, но не останавливаясь, шагъ за шагомъ, съ страннымъ ощущеніемъ на сердцѣ; я ожидалъ чего-то необыкновеннаго, невозможнаго, и въ то же время я былъ увѣренъ, что это необыкновенное сбудется.

XIII.

И вотъ оно наступило, это необыкновенное, это неожиданное! Внезапно, шагахъ въ двадцати впереди меня, я увидѣлъ того самаго арапа, который въ кофейной заговорилъ при мнѣ съ барономъ! Закутанный въ тотъ самый плащъ, который я уже тогда замѣтилъ на немъ, онъ словно вынырнулъ изъ земли и, повернувшись ко мнѣ спиною, шелъ проворными шагами по узкому тротуару *кривого* переулка! Я тотчасъ бросился ему вдогонку, *но и онъ* удвоилъ шаги, хоть и не оглянулся назадъ, и

вдругъ круто вильнулъ за уголъ выдвинувшагося дома. Я добѣжалъ до этого угла, обогнулъ его такъ же скоро, какъ арапъ... Что за чудо! Передо мною длинная, узкая и совершенно пустая улица; утренній туманъ залилъ ее всю своимъ тусклымъ свинцомъ,—но взоръ мой проникаетъ до самаго ея конца, я могу перечесть всѣ ея строенія... и ни одно живое существо нигдѣ не шевелится! Высокій арапъ въ плащѣ такъ же внезапно исчезъ, какъ и появился! Я изумился... но на одно только мгновеніе. Другое чувство тотчасъ овладѣло мною; эта улица, которая растянулась передъ моими глазами, вся нѣмая и какъ бы мертвая—я ее узналъ. Это была улица моего сна. Я вздрагиваю, я пожимаюсь—утро такъ свѣжо—и тотчасъ же, ни мало не колеблясь, съ какимъ-то испугомъ увѣренности, отправляюсь впередъ!

Я начинаю искать глазами... Да, вотъ онъ: вотъ, направо, выходя угломъ на тротуаръ, вотъ и домъ моего сна, вотъ и старинныя ворота съ каменными завитушками по обѣимъ сторонамъ... Правда, окна дома не круглыя, а четырехугольныя... но это не важно... Я стучусь въ ворота, стучусь два, три раза, все громче и громче... Ворота отворяются медленно, съ тяжелымъ скрипомъ, какъ бы зѣвая. Передо мной молодая служанка съ растрепанной головой, съ заспанными глазами. Она, видно, только-что проснулась.—Здѣсь живетъ баронъ?—спрашиваю я, а самъ обѣгаю быстрымъ взоромъ глубокій, тѣсный дворъ... Такъ; все такъ... вотъ и доски, и бревна, видѣнныя мною во снѣ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ мнѣ служанка:—баронъ здѣсь не живетъ.

— Какъ нѣтъ? не можетъ быть!

— Теперь его нѣтъ. Онъ вчера уѣхалъ.

— Куда?

— Въ Америку.

— Въ Америку!—повторилъ я невольно.—Да онъ вернется?

Служанка подозрительно взглянула на меня.

— Этого мы не знаемъ. Можетъ-быть, совсѣмъ не вернется.

— Да долго ли онъ здѣсь жилъ?

— Недолго, съ недѣлю. Теперь его совсѣмъ нѣтъ.

— А какъ его звали по фамиліи, этого барона?

Служанка уставилась на меня.

— Вы не знаете его фамиліи? Мы его просто звали барономъ. Эй, Петръ!—крикнула она, видя, что я порываюсь впередъ.—Иди-ка сюда: какой-то чужой здѣсь все разспрашиваетъ.

Изъ дому появилась нескладная фигура дюжаго работника.

— Что такое? Что надо?—спросилъ онъ сиплымъ голосомъ — и, угрюмо выслушавъ меня, повторилъ сказанное служанкой.

— Да кто же здѣсь живетъ?—промолвилъ я.

— Нашъ хозяинъ.

— А кто онъ?

— Столяръ. По этой улицѣ все столяры.

— Можно его видѣть?

— Нельзя теперь, онъ спитъ.

— А въ домъ нельзя войти?

— Нельзя. Ступайте.

— Ну, а послѣ можно будетъ вашего хозяина видѣть?

— Отчего же? Можно. Его всегда можно... На то онъ торговецъ. Только теперь ступайте. Вишь, какая рань.

— Ну, а тотъ арапъ?—спросилъ я вдругъ.

Работникъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ сперва на меня, потомъ на служанку.

— Какой тутъ арапъ?—проговорилъ онъ, наконецъ.—Ступайте, господинъ. Послѣ можете придти. Съ хозяиномъ потолкуете.

Я вышелъ на улицу. Ворота разомъ захлопнулись за мною, тяжко и рѣзко, безъ скрипу на этотъ разъ.

Я хорошенько замѣтилъ улицу, домъ и пошелъ прочь, только не домой.—Я ощущалъ нѣчто въ родѣ разочарованія. Все, что случилось со мной, было такъ странно, такъ необыкновенно—а между тѣмъ, какъ оно глупо кончилось! Я былъ увѣренъ, я былъ убѣжденъ, что я увижу *въ этомъ* домѣ знакомую мнѣ комнату,—и посреди ея

моего отца, барона, въ шлафрокѣ и съ трубкой... А вмѣсто того — хозяиномъ дома столяръ, и его можно посѣщать, сколько угодно — и, пожалуй, мебель ему заказать...

А отецъ уѣхалъ въ Америку! И что̀ мнѣ теперь остается дѣлать?.. Разсказать все матери — или навѣкъ схоронить самое воспоминаніе объ этой встрѣчѣ? Я рѣшительно не былъ въ состояніи помириться съ мыслью, что къ такому сверхъестественному, таинственному началу могъ примкнуть такой безсмысленный, такой ординарный конецъ!..

Я не хотѣлъ вернуться домой, и пошелъ, куда глаза глядятъ, вонъ изъ города.

XIV.

Я шелъ, понуривъ голову, безъ мыслей, почти безъ ощущеній, но весь погруженный въ самого себя.—Равномѣрный, глухой и сердитый шумъ вывелъ меня изъ оцѣпенѣнія. Я поднялъ голову: то шумѣло и гудѣло море, шагахъ въ пятидесяти отъ меня. Я увидалъ, что я иду по песку дюны. Расколебленное ночной бурей, море до самаго горизонта бѣлѣло барашками, и крутые гребни длинныхъ валовъ чередою катились и разбивались о плоскій берегъ. Я приблизился къ нимъ—и пошелъ вдоль самой черты, оставляемой ихъ отливомъ и приливомъ на желтомъ, рубчатомъ пескѣ, усѣянномъ обрывками морскихъ тягучихъ растеній, обломками раковинъ, змѣевидными лентами осоки. Острокрылыя чайки, съ жалкимъ крикомъ налетая по вѣтру изъ далекой воздушной бездны, вздымались, бѣлыя какъ снѣгъ, на сѣромъ облачномъ небѣ, падали круто—и, словно перескакивая съ волны на волну, уходили вновь и пропадали серебряными искрами въ полосахъ клубившейся пѣны. Нѣкоторыя изъ нихъ, я замѣтилъ, упорно вились надъ крупнымъ камнемъ, одиноко торчавшимъ среди однообразной скатерти песчаныхъ береговъ. Грубая, морская осока росла неровными кучками съ одной стороны камня; а тамъ, гдѣ ея спутанные стебли выходили изъ *желтаго солончака*, что̀-то чернѣло, что̀-то длинное-

тое, округленное, не слишкомъ большое... Я сталъ присматриваться... Какой-то темный предметъ лежалъ тамъ, лежалъ неподвижно возлѣ камня... Предметъ этотъ становился все яснѣе, все опредѣленнѣе, чѣмъ ближе я подходилъ...

Мнѣ оставалось до камня всего шаговъ тридцать...

Да это очертаніе человѣческаго тѣла! Это трупъ: это утопленникъ, выброшенный моремъ! Я приблизился къ самому камню.

Это трупъ барона, моего отца! Я остановился, какъ вкопанный. Тутъ только я понялъ, что меня съ самаго утра водили какія-то невѣдомыя силы—что я въ ихъ власти—и въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній ничего въ моей душѣ не было, кромѣ немолчнаго морского плеска—и нѣмого страха передъ овладѣвшей мною судьбой...

XV.

Онъ лежалъ на спинѣ, склонясь немного на бокъ, закинувъ лѣвую руку за голову... правая была подвернута подъ его перегнутое тѣло. Вязкая тина всосала концы ногъ, обутыхъ въ высокіе матросскіе сапоги; короткая синяя куртка, вся пропитанная морскою солью, не разстегнулась; красный шарфъ обхватывалъ тугимъ узломъ его шею. Смуглое лицо, обращенное къ небу, какъ будто посмѣивалось; изъ-подъ вздернутой верхней губы виднѣлись частые, мелкіе зубы; тусклые зрачки полузакрытыхъ глазъ едва отличались отъ потемнѣвшихъ бѣлковъ; покрытые пузырьками пѣны, засоренные волосы разсыпались по землѣ и обнажили гладкій лобъ съ лиловатою чертою шрама; узкій носъ вздымался рѣзкой, бѣловатой чертой между впалыми щеками. Буря прошедшей ночи сдѣлала свое дѣло... Онъ не увидѣлъ Америки! Человѣкъ, оскорбившій мою мать, обезобразившій ея жизнь—мой отецъ—да! мой отецъ—въ этомъ я не могъ сомнѣваться—лежалъ, безсильно распростертый, въ грязи у ногъ моихъ. Я испытывалъ чувство удовлетворенной мести, и *жалости*, и отвращенія, и ужаса, пуще всего... двойного *ужаса:* и передъ тѣмъ, что я видѣлъ—и передъ тѣмъ,

что свершилось. То злое, то преступное, — о которомъ я уже говорилъ, тѣ непонятные порывы поднимались во мнѣ... душили меня. Ага! думалось мнѣ: вотъ, отчего я такой... вотъ когда сказывается кровь! Я стоялъ возлѣ трупа, и глядѣлъ, и ждалъ: не шевельнутся ли эти мертвые зрачки, не дрогнутъ ли эти окоченѣлыя губы?— Нѣтъ! все неподвижно; самая осока, куда забросилъ его прибой, точно замерла; даже чайки отлетѣли—ни одного обломка нигдѣ, ни доски, ни разбитой снасти. Пустота всюду... только онъ — да я — да шумѣвшее вдали море. Я оглянулся назадъ: та же пустота и тамъ: цѣпь безжизненныхъ холмовъ на небосклонѣ... вотъ и все! Жутко мнѣ было оставить этого несчастнаго въ этомъ одиночествѣ, въ прибрежной тинѣ, на съѣденіе рыбамъ и птицамъ; внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что я долженъ былъ отыскать, позвать людей, если не для помощи— гдѣ ужъ тутъ! — такъ хоть для того, чтобы прибрать, отнести его подъ жилой кровъ... но несказанный страхъ вдругъ обнялъ меня. Мнѣ показалось, что этотъ мертвый человѣкъ знаетъ, что я пришелъ сюда, что онъ самъ устроилъ эту послѣднюю встрѣчу—мнѣ даже почудилось то знакомое, глухое бормотанье... Я отбѣжалъ въ сторону... оглянулся еще разъ... Что-то блестящее бросилось мнѣ въ глаза: оно остановило меня. То былъ золотой ободокъ на откинутой рукѣ трупа... Я узналъ обручальное кольцо моей матери. Помню, какъ я заставилъ себя вернуться, подойти, нагнуться... помню клейкое прикосновеніе холодныхъ пальцевъ, помню, какъ я задыхался и жмурился, и скрипѣлъ зубами, срывая упорное кольцо...

Наконецъ, оно сорвано—и я бѣгу, бѣгу прочь, сломя голову,—и что-то несется за мною, и настигаетъ и ловитъ меня.

XVI.

Все, что я испыталъ и перечувствовалъ, было, вѣроятно, написано на моемъ лицѣ, когда я вернулся домой. *Матушка*, какъ только я вошелъ въ ея комнату,

внезапно выпрямилась, и такъ настойчиво-вопросительно поглядѣла на меня, что я, безуспѣшно попытавшись объясниться, кончилъ тѣмъ, что молча протянулъ ей кольцо. Она поблѣднѣла страшно, глаза ея раскрылись необычайно и помертвѣли, какъ у *того*,—она слабо крикнула, схватила кольцо, пошатнулась, упала ко мнѣ на грудь и такъ и замерла на ней, закинувъ голову назадъ и пожирая меня этими широкими, обезумѣвшими глазами. Я обнялъ ея станъ обѣими руками и, стоя на мѣстѣ, не шевелясь, не спѣша, разсказалъ ей тихимъ голосомъ все, безъ малѣйшей утайки: мой сонъ и встрѣчу, и все, все... Она выслушала меня до конца, не промолвивъ ни единаго слова, только грудь все сильнѣй и сильнѣй дышала— и глаза внезапно оживились и опустились. Потомъ она надѣла кольцо на безымянный палецъ и, отойдя немного, начала доставать мантилью и шляпу. Я ее спросилъ, куда она собирается идти. Она подняла на меня удивленный взоръ и хотѣла отвѣтить, но голосъ измѣнилъ ей. Она содрогнулась нѣсколько разъ, потерла себѣ руки, какъ бы стараясь согрѣться, и, наконецъ, проговорила: „пойдемъ сейчасъ туда".

— Куда, матушка?

— Гдѣ онъ лежитъ... я хочу видѣть... я хочу узнать... я узнаю...

Я попытался-было уговорить ее не ходить; но съ ней чуть не сдѣлалось нервическаго припадка. Я понялъ, что противиться ея желанію было невозможно—и мы отправились.

XVII.

И вотъ, я опять иду по песку дюны—но иду уже не одинъ. Я веду подъ руку матушку. Море отодвинулось, ушло еще дальше;—оно утихаетъ—но и ослабѣвшій его шумъ все такъ же грозенъ и зловѣщъ. Вотъ, наконецъ, показался впереди одинокій камень—вотъ и осока.—Я вглядываюсь, я стараюсь различить тотъ округленный, *лежавшій* на землѣ предметъ—но я ничего не вижу. Мы *подходимъ* ближе; я невольно замедляю шаги. Но гдѣ же

то черное, неподвижное? Одни стебли осоки темнѣютъ надъ пескомъ, уже засохшимъ... Мы подходимъ къ самому камню... Трупа нѣтъ нигдѣ—и только на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ лежалъ, еще осталась впадина, и можно понять, гдѣ находились руки, ноги... Кругомъ осока какъ будто помята, — и замѣтны слѣды ступней одного человѣка; они идутъ черезъ дюну — потомъ пропадаютъ, достигнувъ кремнистаго кряжа.

Мы съ матушкой переглядываемся и сами пугаемся того, что прочли на своихъ лицахъ...

Ужъ не всталъ ли онъ самъ и удалился?

— Вѣдь ты его мертвымъ видѣлъ?—спрашиваетъ она шопотомъ.

Я могъ только головой кивнуть. Трехъ часовъ не прошло съ тѣхъ поръ, какъ я наткнулся на трупъ барона... Кто-нибудь открылъ и унесъ его.—Надо было отыскать, кто это сдѣлалъ, и что съ нимъ сталось?

Но прежде надо было озаботиться о матушкѣ.

XVIII.

Пока она шла къ роковому мѣсту, ее била лихорадка, но она владѣла собою. Исчезновеніе трупа поразило ее, какъ окончательное несчастье. На нее нашелъ столбнякъ. Я боялся за ея разсудокъ. Съ большимъ трудомъ доставилъ я ее домой. Я ее опять уложилъ въ постель, опять приставилъ къ ней доктора; но какъ только матушка нѣсколько опомнилась, она тотчасъ потребовала, чтобы я немедленно отправился отыскивать „этого человѣка". Я повиновался. Но, несмотря на всевозможныя мѣры, я ничего не открылъ. Я былъ нѣсколько разъ въ полиціи, посѣтилъ всѣ близъ лежавшія деревни, напечаталъ нѣсколько объявленій въ газетахъ, собиралъ всюду справки— и напрасно! Правда, до меня дошло извѣстіе, что въ одну изъ приморскихъ деревушекъ былъ доставленъ утопленникъ... я тотчасъ поскакалъ туда, но его уже похоронили, да и по примѣтамъ онъ не походилъ на барона. Я узналъ, на *какомъ* кораблѣ онъ уплылъ въ Америку; *сперва всѣ были* увѣрены, что корабль этотъ погибъ во

время бури; но, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, стали ходить слухи, что его видѣли на якорѣ въ Нью-Іоркской гавани. Не зная, что предпринять, я принялся отыскивать видѣннаго мною арапа, предлагалъ ему черезъ газеты довольно значительную сумму денегъ, если онъ отъявится въ нашъ домъ. Какой-то высокій арапъ, въ плащѣ, дѣйствительно, приходилъ къ намъ въ мое отсутствіе... Но, поразспросивъ служанку, онъ внезапно удалился и не возвращался болѣе.

Такъ и простылъ слѣдъ моего... моего отца; такъ и канулъ онъ безвозвратно въ нѣмую тьму.—Съ матушкой мы никогда не говорили о немъ; только однажды, помнится, она подивилась, отчего это я прежде никогда не упоминалъ о моемъ странномъ снѣ; и тутъ же прибавила: „значитъ, онъ, точно...“ и не договорила своей мысли. Матушка долго была больна, да и послѣ выздоровленія прежнія наши отношенія не возобновились. Ей было неловко со мною—до самой ея смерти... Именно неловко. А этому горю нельзя помочь. Все сглаживается, воспоминанія о самыхъ трагическихъ семейныхъ событіяхъ постепенно теряютъ свою силу и жгучесть; но если чувство неловкости водворилось между двумя близкими людьми—этого ничѣмъ истребить нельзя!—Я уже никогда не видывалъ того сна, который, бывало, такъ меня тревожилъ; я уже не „отыскиваю“ своего отца; но иногда мнѣ чудилось—и чудится до сихъ поръ—во снѣ, что я слышу какіе-то далекіе вопли, какія-то несмолкаемыя, заунывныя жалобы; звучатъ онѣ гдѣ-то за высокой стѣною, черезъ которую перелѣзть невозможно, надрываютъ онѣ мнѣ сердце—и плачу я съ закрытыми глазами—и никакъ я не въ состояніи понять, что это: живой ли человѣкъ стонетъ—или это мнѣ слышится протяжный и дикій вой взволнованнаго моря? И вотъ, онъ снова переходитъ въ то звѣриное бормотаніе—и я просыпаюсь съ тоской и ужасомъ на душѣ.

1876 г.

РАЗСКАЗЪ ОТЦА АЛЕКСѢЯ.

...Лѣтъ двадцать тому назадъ, мнѣ пришлось объѣхать,— въ качествѣ частнаго ревизора, — всѣ, довольно многочисленныя, имѣнія моей тетки. Приходскіе священники, съ которыми я считалъ своей обязанностью познакомиться, оказывались личностями довольно однообразными и какъ бы на одну мѣрку сшитыми; наконецъ, чуть ли не въ послѣднемъ изъ обозрѣнныхъ мною имѣній, я наткнулся на священника, не похожаго на своихъ собратьевъ. Это былъ человѣкъ весьма старый, почти дряхлый; и если бы не усиленныя просьбы прихожанъ, которые его любили и уважали, онъ бы давно отпросился на покой. Меня поразили въ отцѣ Алексѣѣ (такъ звали священника) двѣ особенности. Во-первыхъ, онъ не только ничего не выпросилъ для себя, но прямо заявилъ, что ни въ чемъ не нуждается, а во-вторыхъ, я ни на какомъ человѣческомъ лицѣ не видывалъ болѣе грустнаго, вполнѣ безучастнаго,— какъ говорится,—„убитаго“ выраженія. Черты этого лица были обыкновенныя, деревенскаго типа: морщинистый лобъ, маленькіе сѣрые глазки, крупный носъ, бородка клиномъ, кожа смуглая и загорѣлая... Но выраженіе!.. *выраженіе!.. Въ тускломъ* взглядѣ едва — и то скорбно—

теплилась жизнь; и голосъ былъ какой-то тоже неживой, тоже тусклый. Я занемогъ и пролежалъ нѣсколько дней; отецъ Алексѣй заходилъ ко мнѣ по вечерамъ — не бесѣдовать, а играть въ дурачки. Игра въ карты, казалось, развлекала его еще больше, чѣмъ меня. Однажды, оставшись нѣсколько разъ сряду въ дуракахъ (чему отецъ Алексѣй порадовался не мало), я завелъ рѣчь о его прошлой жизни, о тѣхъ горестяхъ, которыя оставили на немъ такой явный слѣдъ. Отецъ Алексѣй сперва долго упирался, но кончилъ тѣмъ, что разсказалъ мнѣ свою исторію. Я ему, должно-быть, чѣмъ-нибудь да полюбился; а то бы онъ не былъ со мною такъ откровененъ.

Я постараюсь передать его разсказъ его же словами. Отецъ Алексѣй говорилъ очень просто и толково, безъ всякихъ семинарскихъ или провинціальныхъ замашекъ и оборотовъ рѣчи. Я не въ первый разъ замѣтилъ, что сильно поломанные и смирившіеся русскіе люди всѣхъ сословій и званій выражаются именно такимъ языкомъ.

—...У меня была жена добрая и степенная,—такъ началъ онъ;—я ее любилъ душевно — и прижилъ съ нею восемь человѣкъ дѣтей; но почти всѣ умерли въ младыхъ лѣтахъ. Одинъ мой сынъ вышелъ въ архіереи — и скончался, не такъ давно, у себя въ епархіи; о другомъ сынѣ—Яковомъ его звали—я вотъ теперь разскажу вамъ. Отдалъ я его въ семинарію, въ городъ Т....ъ,—и скоро сталъ получать самыя утѣшительныя о немъ извѣстія: первымъ былъ ученикомъ по всѣмъ предметамъ! Онъ и дома, въ отрочествѣ, отличался прилежаніемъ и скромностью; бывало — день пройдетъ — и не услышишь его... все съ книжкой сидитъ, да читаетъ. Никогда онъ намъ съ попадьей не причинилъ непріятности самомалѣйшей; смиренникъ былъ. Только иногда задумывался не по лѣтамъ, и здоровьемъ былъ слабенекъ. Разъ съ нимъ чудное нѣчто произошло. Десять лѣтъ ему тогда минуло. Отлучился онъ изъ дому—подъ самый Петровъ день—на *зорькѣ*, да почти цѣлое утро пропадалъ. Наконецъ, воротился. Мы съ женой спрашиваемъ его: гдѣ былъ? Въ лѣсъ,

говоритъ, гулять ходилъ — да встрѣтилъ тамъ нѣкоего зеленаго старичка, который со мною много разговаривалъ—и такіе мнѣ вкусные орѣшки далъ!—„Какой-такой зеленый старичокъ?“ спрашиваемъ мы. — Не знаю, говоритъ, никогда его доселѣ не видывалъ. Маленькій старичокъ, съ горбиною, ножками все сѣменитъ и посмѣивается—и весь, какъ листъ, зеленый.—„Какъ, говоримъ мы, и лицо зеленое?“—И лицо, и волосы, и самые даже глаза. — Никогда нашъ сынъ не лгалъ; но тутъ мы съ женой усомнились.—„Ты, чай, заснулъ въ лѣсу, на припёкѣ, да и видѣлъ старичка того во снѣ“. — Не спалъ я, говоритъ, николи; да что̀, говоритъ, вы не вѣрите?— вотъ, у меня въ карманѣ и орѣшекъ одинъ остался. Вынулъ Яковъ изъ кармана тотъ орѣшекъ, показываетъ намъ... Ядрышко небольшое, въ родѣ каштанчика, словно шероховатое; на наши обыкновенные орѣхи не похоже. Я его спряталъ, хотѣлъ-было доктору показать... да запропастилось оно... не нашелъ потомъ.

— Ну-съ, отдали мы его въ семинарію—и, какъ я вамъ уже докладывалъ, веселилъ онъ насъ своими успѣхами! Такъ мы съ супругой и полагали, что выйдетъ изъ него человѣкъ! На побывку домой придетъ—любо на него глядѣть: такой благообразный, озорства за нимъ никакого;— всѣмъ-то онъ нравится, всѣ насъ поздравляютъ. Только все тѣломъ худенекъ — и въ лицѣ настоящей краски нѣтъ. Вотъ, уже девятнадцатый годъ ему наступилъ— скоро ученью конецъ! И получаемъ мы тутъ вдругъ отъ него письмо. Пишетъ онъ намъ: „Батюшка и матушка, не прогнѣвайтесь на меня, разрѣшите мнѣ идти по свѣтскому; не лежитъ сердце мое къ духовному званію, ужасаюсь я отвѣтственности, боюсь грѣха—сомнѣнія во мнѣ возродились! Безъ вашего родительскаго разрѣшенія и благословенія ни на что не отважусь — но скажу вамъ одно: боюсь я самого себя — ибо много размышлять началъ“. Доложу я вамъ, милостивый государь: опечалился я гораздо отъ этого письма—словно рогатиной мнѣ противъ сердца толкнуло — потому, вижу: не будетъ мнѣ на *моемъ мѣстѣ преемника*! Старшій сынъ—монахъ, а этотъ

вовсе изъ своего званія выступить желаетъ. Горько мнѣ еще потому: въ нашемъ приходѣ близко двухъ-сотъ годовъ все изъ нашей семьи священники живали! Однако, думаю: нечего противъ рожна переть; знать, ужъ такое ему предопредѣленіе вышло. Что̀ ужъ за пастырь, коли сомнѣніе въ себѣ допустилъ! Посовѣтовался я съ женою— и написалъ ему въ такомъ смыслѣ: „Сынъ мой, Яковъ, одумайся хорошенько—десять разъ примѣрь, одинъ разъ отрѣжь—трудности на свѣтской службѣ пребываютъ великія, холодъ да голодъ, да къ нашему сословію пренебреженіе! И знай ты напередъ: никто руку помощи не подастъ; не пеняй потомъ, смотри! Желаніе мое, ты самъ знаешь, всегда было такое, чтобы ты меня замѣнилъ; но ежели ты точно въ своемъ призваніи усомнился и пошатнулся въ вѣрѣ — то и удерживать тебя мнѣ не приходится. Буди воля Господня! Мы съ матерью твоею въ благословеніи тебѣ не отказываемъ“. Отвѣчалъ мнѣ Яковъ благодарственнымъ письмомъ. „Обрадовалъ ты меня, молъ, батюшка; есть мое намѣреніе посвятить себя ученому званію—и протекція у меня есть; поступлю въ университетъ, буду докторомъ; потому,—къ наукѣ большую склонность чувствую“. Прочелъ я Яшино письмо—и пуще опечалился; а подѣлиться горемъ скоро стало не съ кѣмъ: старуха моя о-ту пору простудилась сильно и скончалась— отъ этой ли самой простуды—или Господь ее, любя, прибралъ—неизвѣстно. Заплачу, заплачу, я, бывало, вдовецъ одинокій,—а что̀ подѣлаешь? Такъ тому, знать, и быть. И радъ бы въ землю уйти... да тверда она... не разступается. А самъ сына поджидаю; потому—онъ извѣстилъ меня: „прежде, молъ, чѣмъ въ Москву поѣду, домой навѣдаюсь“. И точно, пріѣхалъ онъ въ родительскій домъ— но только пожилъ въ немъ недолго. Словно что̀ его торопило: такъ бы, кажись, на крылахъ полетѣлъ въ Москву, въ университетъ свой любезный! Сталъ я разспрашивать его о сомнѣніяхъ—какая, дескать, причина?—но и разговоровъ большихъ отъ него не услышалъ: одна мысль затесалась въ голову — и полно! Ближнимъ, говоритъ, хочу помогать. Ну-съ, поѣхалъ онъ отъ меня—почитай,

что ни гроша съ собой не взялъ — только малость изъ платья. Ужъ очень онъ на себя надѣялся! И не попусту. Экзаменъ выдержалъ отлично, въ студенты поступилъ, уроки по частнымъ домамъ пріобрѣлъ... Твердъ онъ былъ въ древнихъ-то языкахъ! И какъ вы полагаете? Мнѣ же деньги высылать вздумалъ. Повеселѣлъ я маленько—конечно, не изъ-за денегъ — я ихъ ему назадъ отослалъ и побранилъ его даже; а повеселѣлъ, потому что вижу: путь въ маломъ будетъ. Только не долго длилось мое веселье...

— Пріѣхалъ онъ на первыя вакаціи... И—что за чудо? Не узнаю я моего Якова! Скучный такой сталъ, угрюмый — слова отъ него не добьешься. И въ лицѣ перемѣнился: почитай, на десять лѣтъ постарѣлъ. — Онъ и прежде застѣнчивъ былъ—что̀ и говорить!—Чуть что̀—сейчасъ заробѣетъ и закраснѣется весь, какъ дѣвица... Но подниметъ онъ глаза—такъ ты и видишь, что свѣтлехонько у него на душѣ! — А теперь не то. Не робѣетъ онъ—а дичится, словно волкъ, и глядитъ все исподлобья.—Ни тебѣ улыбки, ни тебѣ привѣта — какъ есть камень! Примусь я его разспрашивать—либо молчитъ, либо огрызается. Сталъ я думать: ужъ не запилъ ли онъ—сохрани Богъ! либо къ картамъ пристрастья не получилъ ли?—или, вотъ, еще насчетъ женской слабости не приключилось ли что? Въ юныя лѣта присухи дѣйствуютъ сильно—ну, да въ такомъ большомъ городѣ, какъ Москва, не безъ худыхъ примѣровъ и оказій!—Однако, нѣтъ: ничего подобнаго не видать. Питье его—квасъ да вода; на женскій полъ не взираетъ—да и вообще съ людьми не знается. И что̀ мнѣ было горше всего: нѣту въ немъ прежняго довѣрья ко мнѣ,—равнодушіе какое-то проявилось: точно ему все свое опостылѣло. Заведу я бесѣду о наукахъ, объ университетѣ — и тутъ настоящаго отвѣта добиться не могу. Въ церковь онъ, однако, ходилъ, но тоже не безъ странности: вездѣ-то онъ суровъ да хмуръ—а тутъ, въ церкви-то, все словно ухмыляется. Пожилъ онъ у меня такимъ манеромъ недѣль съ шесть — да опять въ *Москву!—Изъ Москвы* написалъ мнѣ раза два—и пока-

залось мнѣ изъ его писемъ, будто онъ опять приходитъ въ чувство. Но, представьте вы себѣ мое удивленіе, милостивый государь! Вдругъ, въ самый развалъ зимы, передъ святками, — является онъ ко мнѣ! — Какимъ манеромъ? Какъ? Что? Знаю я, что объ эту пору вакацій нѣтъ. — Ты изъ Москвы? спрашиваю я. — Изъ Москвы.— А какъ же... университетъ-то? — Университетъ я бросилъ. — Бросилъ? — Точно такъ. — Навсегда? — Навсегда. — Да ты, Яковъ, боленъ, что ли? — Нѣтъ, говоритъ, батюшка, я не боленъ: а только вы, батюшка, меня не тревожьте и не разспрашивайте; а то я отсюда уйду—и только вы меня и видали. Говоритъ мнѣ Яковъ: не боленъ—а у самого лицо такое, что я даже ужаснулся! Страшное, темное, не человѣческое словно!—Щеки этта подтянуло, скулы выпятились, кости да кожа, голосъ какъ изъ бочки... а глаза... Господи, Владыко? Что это за глаза? Грозные, дикіе, все по сторонамъ мечутся— и поймать ихъ нельзя; брови сдвинуты, губы тоже какъ-то на-бокъ скрючены... Что̀ сталось съ моимъ Іосифомъ Прекраснымъ, съ тихоней моимъ?—Ума не приложу. Ужъ не рехнулся ли онъ?—думаю я такъ-то. Скитается, какъ привидѣніе, по ночамъ не спитъ,— а то вдругъ возьметъ да уставится въ уголъ и словно весь окоченѣетъ... Жутко таково!—Хоть онъ и грозилъ мнѣ, что уйдетъ изъ дому, если я его въ покоѣ не оставлю — но вѣдь я отецъ! Послѣдняя моя надежда разрушается — а я молчи!—Вотъ, однажды, улуча время, сталъ я слезно молить Якова, памятью покойницы его матери заклинать его сталъ: скажимолъ мнѣ, какъ отцу по плоти и по духу, Яша, что̀ съ тобою? Не убивай ты меня — объяснись, облегчи свое сердце! Ужъ не загубилъ ли ты какую христіанскую душу? Такъ покайся!—Ну, батюшка, говоритъ онъ мнѣ вдругъ— (а дѣло-то пришлось къ ночи) — разжалобилъ ты меня; скажу я тебѣ всю правду! Души я никакой не загубилъ— а моя собственная душа пропадаетъ. — Какимъ это образомъ? — А вотъ какъ... И тутъ Яковъ впервое на меня глаза подпялъ... Вотъ, уже четвертый мѣсяцъ, началъ онъ... Но вдругъ у него рѣчь оборвалась—и тяжело ды-

шать онъ сталъ. — Что̀ такое четвертый мѣсяцъ? Сказывай, не томи!—Четвертый мѣсяцъ какъ я его вижу.—*Его?* Кого его?—Да того... что̀ къ ночи называть неудобно. — Я такъ и похолодѣлъ весь и затрясся.—Какъ?! говорю— ты *его* видишь?—Да.—И теперь видишь?—Да.—Гдѣ?—А самъ я и обернуться не смѣю—и говоримъ мы оба шопотомъ.—А вонъ гдѣ...—И глазами мнѣ указываетъ... вонъ, въ углу.—Я таки-осмѣлился... глянулъ въ уголъ: ничего тамъ нѣту!—Да тамъ ничего нѣтъ, Яковъ, помилуй!—*Ты* не видишь—а я вижу.—Я опять глянулъ... опять ничего. Вспомнился мнѣ вдругъ старичокъ въ лѣсу, что̀ каштанчикъ ему подарилъ. — Какой онъ изъ себя? говорю... зеленый?—Нѣтъ, не зеленый, а черный.—Съ рогами? Нѣтъ, онъ какъ человѣкъ, — только весь черный. Яковъ самъ говоритъ — а у самого зубы оскалились — и поблѣднѣлъ онъ, какъ мертвецъ, и жмется онъ ко мнѣ со страху; а глаза словно выскочить хотятъ — и глядитъ онъ все въ уголъ.—Да это тѣнь тебѣ мерещится, говорю я; это чернота отъ тѣни—а ты ее за человѣка принимаешь.—Какъ бы не такъ! — Я и глаза его вижу: вонъ, онъ ворочаетъ бѣлками, вонъ, руку поднимаетъ, зоветъ.—Яковъ, Яковъ, ты бы попробовалъ, помолился: навожденіе это бы разсѣялось. Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его!— Пробовалъ, говоритъ, да ничего не дѣйствуетъ.—Постой, постой, Яковъ, не малодушествуй; я ладаномъ покурю, молитву почитаю, святой водой кругомъ тебя окроплю.— Яковъ только рукой махнулъ.—Ни въ ладанъ я твой не вѣрю, ни въ воду святую; не помогаютъ они ни на грошъ. Мнѣ съ *нимъ* теперь ужъ не разстаться. Какъ пришелъ онъ ко мнѣ нынѣшнимъ лѣтомъ, въ одинъ проклятый день, — такъ съ тѣхъ поръ ужъ онъ мой гость неизмѣнный—и выжить его нельзя. Ты это знай, отецъ—и больше моему поведенію не дивись—и меня не мучь.—Въ какой же это день пришелъ онъ къ тебѣ?—спрашиваю я его— а самъ все его крещу. Ужъ не тогда ли, когда ты о сомнѣніи писалъ?—Яковъ отвелъ мою руку. — Оставь ты меня, говоритъ, батюшка, не вводи ты меня въ досаду, *чтобы хуже чего не было.* Мнѣ вѣдь на себя и руку на-

ложить не долго.—Можете себѣ представить, милостивый государь, каково мнѣ было это слушать!.. Помнится, я всю ночь проплакалъ.—Чѣмъ, думаю, заслужилъ я такой гнѣвъ Господень?

Тутъ отецъ Алексѣй досталъ изъ кармана клѣтчатый носовой платокъ и сталъ сморкаться,—да, кстати, утеръ украдкой глаза.

— Худое пошло тогда наше житье!—продолжалъ онъ.— Ужъ я только объ одномъ и думаю: какъ бы онъ не сбѣгъ—или, сохрани Господи, въ самомъ дѣлѣ надъ собою какого зла не учинилъ!—Караулю я его на каждомъ шагу,—а въ разговоръ и вступать-то боюсь.—И проживала въ ту пору вблизи насъ сосѣдка, полковница, вдова,— Мареой Савишной ее звали; большое я къ ней уваженіе питалъ—потому, женщина разсудительная и тихая,—даромъ, что молодая и собой пригожая; хаживалъ я къ ней часто—и она моимъ званіемъ не гнушалась.—Съ горя, да съ тоски, не зная, что̀ ужъ и придумать,—я возьми, да все ей и разскажи.—Сперва она очень ужаснулась и даже всполошилась вся; а потомъ раздумье на нее нашло.—Долго она изволила сидѣть этакъ, молча;—а потомъ пожелала сына моего видѣть и побесѣдовать съ нимъ.—И почувствовалъ я тутъ, что безпремѣнно мнѣ слѣдуетъ исполнить ея волю; ибо не женское любопытство въ этомъ случаѣ дѣйствуетъ,—а нѣчто иное. Вернувшись домой, сталъ я убѣждать Якова: „поди, молъ, со мною къ госпожѣ полковницѣ“. Такъ онъ и руками, и ногами!—„Не пойду“, говоритъ, „ни за что!—О чемъ я съ ней буду бесѣдовать!“—Даже кричать на меня сталъ.—Однако, я, наконецъ, уломалъ его—и запрягши саночки, повезъ его къ Мареѣ Савишнѣ, да, по уговору, оставилъ его съ нею наединѣ. Самому мнѣ удивительно, какъ это онъ скоро согласился? Ну, ничего,—посмотримъ. Часа черезъ три или четыре, возвращается мой Яковъ.— Ну, спрашиваю я,—какъ тебѣ сосѣдка наша понравилась? Ничего онъ мнѣ не отвѣчаетъ. Я опять его пытать.— *Добродѣтельная*, говорю, дама... Обласкала, чай, тебя?— *Да*, говоритъ, она не какъ прочія.—Вижу я, онъ какъ

будто помягче сталъ. И рѣшился я тутъ его спросить...— А навожденіе, говорю, какъ? — Глянулъ Яковъ на меня, какъ кнутомъ стеганулъ,—и опять ничего не промолвилъ. Не сталъ я его больше тревожить, убрался изъ комнаты вонъ; а часъ спустя, подошелъ я къ двери, посмотрѣлъ сквозь замочную скважину... И что́ же вы думаете?— спитъ мой Яковъ! Легъ на постельку—и спитъ. Перекрестился я тутъ нѣсколько разъ къ ряду. Пошли, молъ, Господь всякой благодати Мареѣ Савишнѣ! Видно, сумѣла, голубушка, ожесточенное его сердце тронуть!

— На слѣдующій день, смотрю, беретъ Яковъ шапку... Думаю—спросить его: куда, молъ, идешь?—да нѣтъ, лучше не спрашивать... навѣрное къ ней!..—И точно,— къ ней, къ Мареѣ Савишнѣ отправился Яковъ — и еще дольше прежняго у ней просидѣлъ; а на слѣдующій день—опять! А тамъ черезъ день—опять! Началъ я воскресать духомъ; потому, вижу: происходитъ въ сынѣ перемѣна, — и лицо у него другое стало,—и въ глаза ему глядѣть стало возможно: не отворачивается. Унылость все въ немъ та же,— да отчаянности прежней, ужаса прежняго нѣтъ. Но не успѣлъ я ободриться маленько, — какъ опять все разомъ оборвалось! Опять одичалъ Яковъ, опять приступиться къ нему нельзя. Сидитъ, запершись, въ каморкѣ — и полно ходить къ полковницѣ! — Неужто, думаю, онъ ее чѣмъ-нибудь обидѣлъ—и она ему отъ дому отказала?—Да нѣтъ, думаю... онъ, хоть и несчастный, но на это не отважится; да и она не такая! Не вытерпѣлъ я, наконецъ, — спрашиваю я у него: — А что̀, Яковъ, — сосѣдка наша... Ты, кажется, ее совсѣмъ позабылъ?—А онъ какъ гаркнетъ на меня:—Сосѣдка? Или ты хочешь, чтобы *онъ* смѣялся надо мною?—Какъ? говорю.—Такъ онъ тутъ даже кулаки стиснулъ... освирѣпѣлъ вовсе! — Да! говоритъ, прежде онъ только такъ торчалъ, — а теперь смѣяться началъ, зубы скалитъ!—Прочь! уйди!—Кому онъ эти слова обращалъ— я ужъ и не знаю; едва ноги меня вынесли — до того я перепугался. — Вы только представьте: лицо, какъ мѣдь красная, пѣна у рта, — голосъ хриплый, словно кто его *давитъ!.. И поѣхалъ я*—сирота-сиротою, въ тотъ же день.

къ Марѳѣ Савишнѣ... въ большой ее засталъ печали. Даже въ тѣлѣ она измѣнилась: похудѣлъ ликъ. Но разговаривать со мной о сынѣ она не захотѣла. Только одно сказала: что никакая тутъ людская помощь дѣйствительна быть не можетъ; молитесь, молъ, батюшка!—А тамъ вынесла мнѣ сто рублей:—для бѣдныхъ и больныхъ вашего прихода, говоритъ. И опять повторила: „молитесь!“ — Господи! какъ будто я и безъ того не молился—денно и нощно!

Отецъ Алексѣй тутъ снова досталъ платокъ, и снова утеръ свои слезы,—но ужъ не украдкой на этотъ разъ,— и, отдохнувъ немного, продолжалъ свою невеселую повѣсть.

— Покатились мы тутъ съ Яковомъ, словно снѣжный комъ подъ гору, и видать намъ обоимъ, что подъ горою пропасть,—а какъ удержаться — и что̀ предпринять?— И скрыть это не было никакой возможности: по всему приходу пошло смущеніе великое, что вотъ-де, у священника сынъ оказывается бѣсноватымъ, — и что слѣдуетъ-де начальство обо всемъ этомъ извѣстить. — И извѣстили бы непремѣнно, — да прихожане мои — спасибо имъ!— меня жалѣли. Тѣмъ временемъ зима миновала — и наступила весна.—И такую весну послалъ Богъ—красную, да свѣтлую, какой даже старые люди не запоминали: солнышко цѣлый день, безвѣтріе, теплынь! — И пришла мнѣ тутъ благая мысль: уговорить Якова сходить со мною на поклоненіе къ Митрофанію, въ Воронежъ.—„Коли“, думаю, „и это послѣднее средство не поможетъ,—ну, тогда одна надежда: могила!“ — Вотъ, сижу я однажды, передъ вечеркомъ, на крылечкѣ, — а зорька разгорается на небѣ, жаворонки поютъ, яблони въ цвѣту, муравка зеленѣетъ... сижу и думаю, какъ бы сообщить мое намѣреніе Якову?— Вдругъ, смотрю, выходитъ онъ на крыльцо; постоялъ, поглядѣлъ, вздохнулъ и прикорнулъ на ступенькѣ, со мною рядышкомъ. Я даже испугался на радости, — но только молчокъ.—А онъ сидитъ, смотритъ на зарю — и тоже ни слова! И показалось мнѣ, словно умиленіе на него нашло: *морщины* на лбу разгладились, глаза даже посвѣтлѣли... *еще бы*, кажется, немножко—и слеза бы прошибла! Усмо-

трѣвши таковую въ немъ перемѣну, я—виноватъ!—осмѣлился. — Яковъ, говорю я ему, выслушай ты меня безъ гнѣва...— Да и разсказалъ ему о моемъ намѣреніи: какъ намъ вдвоемъ къ Митрофанію пойти—пѣшечкомъ; а отъ насъ до Воронежа верстъ полтораста будетъ; и какъ оно пріятно будетъ — вдвоемъ, весеннимъ холодочкомъ, до зорьки поднявшись,—идти да идти по зеленой травкѣ, по большой дорогѣ; и какъ, если мы хорошенько припадемъ, да помолимся у раки святого угодника,—быть-можетъ,—кто знаетъ? — Господь Богъ надъ нами и смилуется — и получитъ онъ исцѣленіе, — чему уже многіе бывали примѣры! — И представьте вы, милостивый государь, мое счастье!—Хорошо, говоритъ Яковъ,— а самъ не оборачивается, все въ небо смотритъ:—я согласенъ. Пойдемъ.—Я такъ и обомлѣлъ... — Другъ, говорю, голубчикъ, благодѣтель!.. А онъ у меня спрашиваетъ:—Когда же мы отправимся?—Да хоть завтра, говорю.

— Такъ на другой день мы и отправились. Надѣли котомочки, взяли посохи въ руки — и пошли. Цѣлыхъ семь дней мы шли—и все время намъ погода благопріятствовала — даже удивительно! Ни зноя, ни дождя; муха не кусаетъ, пыль не зудитъ. И съ каждымъ днемъ Яковъ мой все въ лучшій видъ приходитъ. Надо вамъ сказать, что на вольномъ воздухѣ Яковъ прежде—*того-то* не видалъ, но чувствовалъ его за собою, за самой спиною; а не то тѣнь его сбоку какъ будто скользила, что̀ очень моего сына мутило. А въ этотъ разъ ничего такого не происходило; и на постоялыхъ дворахъ, гдѣ намъ ночевать приходилось—тоже ничего не являлось. Мало мы съ нимъ разговаривали... но ужъ какъ намъ хорошо было—особенно мнѣ! Вижу я: воскресаетъ мой бѣднякъ. Не могу я вамъ описать, милостивый государь, что я тогда чувствовалъ. Ну, добрались мы, наконецъ, до Воронежа. Пообчистились, пообмылись—и въ соборъ, къ угоднику! Цѣлыхъ три дня почти что не выходили изъ храма. Сколько молебновъ отслужили, свѣчей сколько понаставили! И все ладно, все прекрасно; дни — благочестивые, ночи — тихія; спитъ *мой Яша, какъ* младенецъ. Самъ со мной заговаривать

сталъ. Бывало, спроситъ: батюшка, ты ничего не видишь? а самъ улыбается.—Не вижу, говорю я, ничего.—Ну, и я, говоритъ, не вижу. Чего еще требовать? Благодарность моя къ угоднику—безъ границъ.

— Прошли три дня; и говорю я Якову: —Ну, теперь, сынокъ, все дѣло поправилось; на нашей улицѣ праздникъ. Остается одно: исповѣдайся ты, причастись; а тамъ съ Богомъ, во-свояси—и отдохнувши, какъ слѣдуетъ, да по хозяйству поработавши, для укрѣпленія силъ, можно будетъ похлопотать, мѣсто поискать — или что Мареа Савишна, говорю, навѣрное въ этомъ намъ поможетъ. Нѣтъ, говоритъ Яковъ, зачѣмъ мы ее будемъ безпокоить; а вотъ, я ей колечко съ Митрофаніевой ручки принесу. Я тутъ совсѣмъ раскуражился: смотри, говорю, бери серебряное, а не золотое—не обручальное! Покраснѣлъ мой Яковъ и только повторилъ, что не слѣдуетъ ее безпокоить, — а впрочемъ, тотчасъ на все согласился.—Пошли мы на слѣдующій день въ соборъ; исповѣдался мой Яковъ, и такъ передъ тѣмъ молился усердно! — а тамъ и къ причастію приступилъ. Я стою такъ-то въ сторонкѣ—и земли подъ собою не чувствую... На небесахъ ангеламъ не слаще бываетъ! Только смотрю я: что это значитъ: — причастился мой Яковъ—а не идетъ испить теплоты! Стоитъ онъ ко мнѣ спиною... Я къ нему. — Яковъ, говорю, что же ты стоишь? Какъ онъ обернется вдругъ! — Вѣрите ли, я назадъ отскочилъ, до того испугался! — Бывало, страшное было у него лицо,—а теперь какое-то звѣрское, ужасное стало! Блѣденъ какъ смерть, волосы дыбомъ, глаза перекосились... у меня отъ испуга даже голосъ пропалъ; хочу говорить, не могу—обмеръ я совсѣмъ... А онъ—какъ бросится вонъ изъ церкви! Я за нимъ... а онъ прямо на постоялый дворъ, гдѣ ночевка наша была, котомку на плечи — да и вонъ! Куда? кричу я ему:—Яковъ, что съ тобой? Постой, погоди! —А Яковъ хоть бы слово мнѣ въ отвѣтъ, побѣжалъ какъ заяцъ — и догнать его нѣтъ никакой возможности! Такъ и скрылся. Я сейчасъ верть назадъ, телѣгу нанялъ, а самъ весь трясусь и только и могу говорить, что: Господи! да: Господи! И ничего не

понимаю: что̀ это такое надъ нами стряслось? Пустился я домой—потому, думаю: навѣрное онъ туда побѣжалъ.— И точно. На шестой верстѣ отъ города — вижу: шагаетъ онъ по большаку. Я его догналъ, соскочилъ съ телѣги— да къ нему. — Яша! Яша! Остановился онъ, повернулся ко мнѣ лицомъ — а глаза въ землю уперъ и губы стиснулъ.—И что я ему ни говорю — стоитъ онъ какъ истуканъ какой,—и только, и видно, что дышитъ. — А наконецъ, опять пошелъ впередъ по дорогѣ. — Что̀ было дѣлать! Поплелся и я за нимъ...

— Ахъ, какое же это было путешествіе, милостивый государь! Сколь намъ было радости идти въ Воронежъ— столь ужасно было возвращеніе! Стану я ему говорить— такъ онъ даже зубами ляскаетъ, этакъ черезъ плечо, ни дать ни взять — тигръ или гіена! Какъ я тутъ ума не лишился — доселѣ не постигаю! И вотъ, наконецъ, однажды ночью—въ крестьянской курной избѣ — сидѣлъ онъ на полатяхъ, свѣсивши ноги, да озираясь по сторонамъ— палъ я тутъ передъ нимъ на колѣнки и заплакалъ, и горькимъ взмолился моленьемъ:—Не убивай-дескать старика отца окончательно, не дай ему въ отчаянность впасть — скажи, что̀ приключилось съ тобою? Вòзрѣлся онъ въ меня—а то онъ словно и не видѣлъ, кто передъ нимъ стоитъ—и вдругъ заговорилъ—да такимъ голосомъ, что онъ у меня до сихъ поръ въ ушахъ отдается.—Слушай, говоритъ, батька. Хочешь ты знать всю правду? Такъ вотъ она тебѣ. Когда, ты помнишь, я причастился— и частицу еще во рту держалъ—вдругъ *онъ*—(въ церкви-то это, бѣлымъ-то днемъ!) всталъ передо мною, словно изъ земли выскочилъ, и шепчетъ онъ мнѣ... (а прежде никогда ничего не говаривалъ) — шепчетъ: выплюнь, да разотри! Я такъ и сдѣлалъ: выплюнулъ—и ногой растеръ. И стало-быть, я теперь навсегда пропащій — потому что всякое преступленіе отпускается — но только не преступленіе противъ Святого Духа...

— И сказавъ эти ужасныя слова, сынъ мой повалился на полати — а я опустился на избяной полъ... Ноги у *меня подкосились...*

Отецъ Алексѣй умолкъ на мгновенье—и закрылъ глаза рукою.

— Однако,— продолжалъ онъ:—что же я буду дольше томить васъ, да самого себя! Дотащились мы съ сыномъ до дому—а тутъ скоро конецъ его насталъ—и лишился я моего Якова! Передъ смертью онъ нѣсколько дней не пилъ, не ѣлъ—все по комнатѣ взадъ и впередъ бѣгалъ, да твердилъ, что грѣху его не можетъ-быть отпущенія... но *его* ужъ онъ больше не видѣлъ. Погубилъ онъ-дескать мою душу; теперь зачѣмъ же ему больше ходить? А какъ слегъ Яковъ, сейчасъ въ безпамятство впалъ, и такъ, безъ покаянія, какъ безсмысленный червь, отошелъ отъ сей жизни въ вѣчную...

— Но не хочу я вѣрить, чтобы Господь сталъ судить его Своимъ строгимъ судомъ...

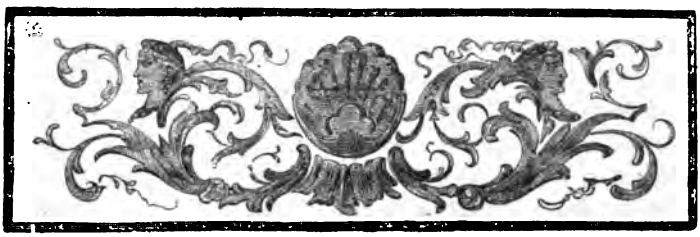
— И между прочимъ, я этому потому не хочу вѣрить, что ужъ очень онъ хорошъ лежалъ въ гробу: совсѣмъ словно помолодѣлъ и сталъ на прежняго похожъ Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завились—а на губахъ улыбка. Мареа Савишна приходила смотрѣть на него—и то же самое говорила. Она же его обставила всего цвѣтами и на сердце ему цвѣты положила—и камень надгробный на свой счетъ поставила.

— А я остался одинокимъ... И вотъ отчего, милостивый государь, вы изволили усмотрѣть на лицѣ моемъ печаль великую... Не пройдетъ она никогда—да и не можетъ пройти.

Хотѣлъ я сказать отцу Алексѣю слово утѣшенія... но никакого слова не нашелъ.

Мы скоро потомъ разстались.

Парижъ.—1877.



ОТРЫВКИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ СВОИХЪ И ЧУЖИХЪ.

I *).

СТАРЫЕ ПОРТРЕТЫ.

...Верстахъ въ сорока отъ нашего села, проживалъ, много лѣтъ тому назадъ, двоюродный дядя моей матери, отставной гвардіи сержантъ и довольно богатый помѣщикъ. Алексѣй Сергѣичъ Телѣгинъ—въ родовомъ своемъ имѣніи Суходолѣ. Онъ самъ никуда не выѣзжалъ, а потому и не посѣщалъ насъ, но меня, раза два въ годъ, посылали къ нему на поклонъ — сперва съ гувернеромъ, а потомъ одного. Алексѣй Сергѣичъ принималъ меня всегда очень радушно—и я гащивалъ у него дня по три, по четыре. Зналъ я его уже старикомъ: въ первый мой пріѣздъ мнѣ, помнится, было лѣтъ двѣнадцать; а ему

*) Считаю нужнымъ предпослать моимъ „Отрывкамъ“ небольшое объясненіе. Я избралъ форму разсказа отъ собственнаго лица для бо́льшаго удобства — и потому прошу читателя не принимать „я“ разсказчика сплошь за личное „я“ самого автора. На это намекаетъ и самое заглавіе отрывковъ: „Изъ воспоминаній своихъ и — чужихъ“.

И. Т.

уже за семьдесятъ лѣтъ перевалило. Родился онъ еще при императрицѣ Елизаветѣ—въ послѣдній годъ ея царствованія. — Онъ жилъ одинъ съ своей женой, Маланьей Павловной; она была лѣтъ на десять моложе его. Двухъ дочерей онъ съ ней прижилъ, но онѣ уже давно вышли замужъ и рѣдко посѣщали Суходолъ; между ними и ихъ родителями черная кошка пробѣжала, и Алексѣй Сергѣичъ почти никогда не упоминалъ о нихъ.

Вижу, какъ теперь, этотъ старинный, ужъ точно дворянскій, степной домъ. Одноэтажный, съ громаднымъ мезониномъ, построенный, въ началѣ нынѣшняго столѣтія—изъ удивительно толстыхъ сосновыхъ бревенъ—такія бревна привозились тогда изъ-за Жиздринскихъ боровъ—ихъ теперь и въ поминѣ нѣтъ! — онъ былъ очень обширенъ и вмѣщалъ множество комнатъ, довольно, правда, низкихъ и темныхъ: окна въ стѣнахъ были прорублены маленькія, теплоты ради. Какъ водится — (по-настоящему слѣдуетъ сказать: какъ водилось) — службы, дворовыя избы окружали господскій домъ со всѣхъ сторонъ—и садъ къ нему примыкалъ небольшой, но съ хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и безсѣмянными грушами; на десять верстъ кругомъ, тянулась плоская, жирно-чернозёмная степь. Никакого высокаго предмета для глаза: ни дерева, ни даже колокольни; гдѣ-гдѣ развѣ торчитъ вѣтряная мельница съ прорѣхами въ крыльяхъ; ужъ точно: Суходолъ!—Внутри дома комнаты были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; нѣсколько необычнымъ являлся стоявшій на окнѣ залы верстовой столбикъ со слѣдующими надписями: „Если ты 68 разъ пройдешь вокругъ сей залы—то сдѣлаешь версту; если ты 87 разъ пройдешь отъ крайняго угла гостиной до праваго угла бильярда — то слѣлаешь версту“—и т. п. Но пуще всего поражало въ первый разъ пріѣхавшаго гостя великое количество картинъ, развѣшанныхъ по стѣнамъ, бо́льшей частью работы такъ, называемыхъ итальянскихъ мастеровъ: все какіе-то старинные пейзажи, да миѳологическіе и религіозные сюжеты. Но такъ какъ всѣ эти картины очень почернѣли и даже покоробились, то въ глаза били одни пятна тѣлеснаго

цвѣта, а не то—волнистое красное драпери на незримомъ туловищѣ, или арка, словно въ воздухѣ висящая, или растрепанное дерево съ голубой листвой, или грудь нимфы съ большимъ сосцомъ, подобная крышѣ съ суповой чаши, взрѣзанный арбузъ съ черными сѣмечками, чалма съ перомъ надъ лошадиной головой, или вдругъ выпячивалась гигантская коричневая нога какого-то апостола, съ мускулистой икрой и задранными къ верху пальцами. Въ гостиной, на почетномъ мѣстѣ, висѣлъ портретъ императрицы Екатерины II во весь ростъ, копія съ извѣстнаго портрета Лампи, предметъ особаго поклоненія, можно сказать, обожанія хозяина. Съ потолковъ спускались стеклянныя люстры, въ бронзовыхъ оправахъ, очень маленькія и очень пыльныя.

Самъ Алексѣй Сергѣичъ былъ приземистый, пузатенькій старичокъ съ одноцвѣтнымъ, пухлымъ, но пріятнымъ лицомъ, съ ввалившимися губками и очень живыми глазками подъ высокими бровями. Онъ зачесывалъ на затылокъ свои рѣдкіе волосики: онъ только съ 1812 года пересталъ пудриться. Ходилъ Алексѣй Сергѣичъ постоянно въ сѣромъ „реденготѣ", съ тремя воротниками, падавшими на плечи, полосатомъ жилетѣ, замшевыхъ штанахъ и темно-красныхъ сафьянныхъ сапожкахъ съ сердцевидными вырѣзами и кисточками на верху голенищъ; носилъ бѣлый кисейный галстукъ, жабо, манжеты и двѣ золотыя англійскія „луковицы", по одной въ каждомъ карманѣ жилета. Въ правой рукѣ онъ обыкновенно держалъ эмальированную табакерку съ „шпанскимъ" табакомъ, а лѣвой опирался на трость съ серебрянымъ, отъ долгаго употребленія гладко вытертымъ набалдашникомъ. Голосокъ имѣлъ Алексѣй Сергѣичъ носовой, писклнвый, и постоянно улыбался, ласково, но какъ бы свысока, не безъ нѣкоторой самодовольной важности. Онъ и смѣялся тоже ласково, тонкимъ, какъ бисеръ мелкимъ смѣхомъ. Вѣжливъ и привѣтливъ онъ былъ до крайности—на старинный Екатерининскій манеръ—и двигалъ руками медленно и округло, тоже по-старинному. По слабости ногъ онъ не могъ ходить, а перебѣгалъ торопливыми шажками съ кресла на

кресло, въ которое садился вдругъ—скорѣе падалъ—мягко, какъ подушка.

Какъ я уже сказалъ, Алексѣй Сергѣичъ никуда не выѣзжалъ и съ сосѣдями знался мало, хотя и любилъ общество, ибо словоохотливъ былъ! Правда, общества у него вдоволь водилось и дома: разные Никаноры Никанорычи, Севастѣи Севастѣичи, Федулычи, Михеичи, все бѣдные дворянчики въ поношенныхъ казакинахъ и камзолахъ, часто съ барскаго плеча, проживали подъ его кровомъ, не говоря уже о бѣдныхъ дворяночкахъ въ ситцевыхъ платьяхъ, черныхъ платкахъ въ накидку и съ гаруспыми ридикюлями въ крѣпко-стиснутыхъ пальцахъ—разныхъ Авдотіяхъ Савишнахъ, Пелагеяхъ Мироновнахъ и просто Ѳеклушкахъ и Аринкахъ, пріютившихся на женской половинѣ. За столъ у Алексѣя Сергѣича никогда меньше пятнадцати человѣкъ не садилось... Такой онъ былъ хлѣбосолъ! Между всѣми этими приживальщиками особенно выдавались двѣ личности: карликъ, по прозвищу Янусъ или Двулицый, датскаго—а иные утверждали—еврейскаго происхожденія, да сумасшедшій князь Л. Въ противность тогдашнимъ обычаямъ, карликъ этотъ вовсе не служилъ потѣхой для господъ и не былъ шутомъ; напротивъ: онъ постоянно молчалъ, видъ имѣлъ озлобленный и суровый, хмурилъ брови и скрипѣлъ зубами, какъ только обращались къ нему съ вопросами. Алексѣй Сергѣичъ звалъ его также философомъ и даже уважалъ его; за столомъ ему всегда первому послѣ гостей и хозяевъ подавали блюда.— „Богъ его обидѣлъ“, говаривалъ Алексѣй Сергѣичъ; „на то Его Господня воля; а ужъ мнѣ-то его не обижать стать“.—Почему же онъ философъ? спросилъ я однажды. (Меня Янусъ не жаловалъ; бывало, лишь только я подойду къ нему, онъ тотчасъ окрысится и проворчитъ хрипло: Чужакъ! не приставай!)—„Какъ же, помилуй Богъ! не философъ?“—отвѣтилъ Алексѣй Сергѣичъ. „Ты, сударикъ, посмотри, какъ онъ таково хорошо молчитъ!“ — А почему же онъ двулицый? — „А потому, сударикъ, что *наружу-то* у него одно лицо—вотъ вы, верхогляды, и судите... А другое, настоящее, онъ скрываетъ. И то лицо

знаю я одинъ—и люблю его за это... Потому: хорошее то лицо. Ты, напримѣръ, и глядишь, да ничего не видишь... а я и безъ словъ вижу: осуждаетъ онъ меня за нѣчто; потому: онъ строгій! И всегда-то за дѣло. Сего ты, сударикъ, не поймешь; но только вѣрь мнѣ, старику!"—Настоящей исторіи двулицаго Януса—откуда онъ прибылъ, какъ попалъ къ Алексѣю Сергѣичу — никто не вѣдалъ; зато исторія князя Л. была хорошо всѣмъ извѣстна. 20-лѣтнимъ юношей, изъ богатой и знатной фамиліи, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ на службу въ гвардейскомъ полку; на первомъ же куртагѣ императрица Екатерина его замѣтила и, остановившись передъ нимъ, да указавъ на него вѣеромъ, громко промолвила, обратясь къ одному изъ своихъ приближенныхъ: „Посмотри, Адамъ Васильевичъ, какой красавчикъ! Настоящая куколка!" Кровь бросилась бѣдному мальчику въ голову: вернувшись домой, онъ велѣлъ заложить коляску и, надѣвъ на себя аннинскую ленту, пустился разъѣзжать по городу, словно онъ и точно въ случай попалъ. —„Дави всѣхъ,—кричалъ онъ кучеру,—кто не посторонится!"—Тотчасъ же все это было доведено до высочайшаго свѣдѣнія; вышелъ приказъ — объявить его сумасшедшимъ и отдать на поруки двумъ его братьямъ; а тѣ, нимало не медля, отвезли его въ деревню и посадили въ каменный мѣшокъ на цѣпь. Желая воспользоваться его имѣніемъ, они не выпустили несчастнаго даже тогда, когда онъ опомнился и пришелъ въ себя, и такъ и продержали его взаперти, пока онъ дѣйствительно не сошелъ съ ума. Но не въ прокъ пошло имъ ихъ злодѣйство: князь Л. пережилъ своихъ братьевъ и, послѣ долгихъ мытарствъ, очутился на попеченіи Алексѣя Сергѣича, которому доводился родственникомъ. Это былъ толстый, совершенно лысый человѣкъ, съ длиннымъ, тонкимъ носомъ и голубыми глазами навыкатѣ. Онъ совсѣмъ разучился говорить, онъ только бурчалъ что-то непонятное; но отлично пѣлъ старинныя русскія пѣсни, сохранивъ до глубокой старости серебристую свѣжесть голоса и, во время пѣнія, ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нѣчто въ родѣ ярости,

и тогда онъ дѣлался страшенъ: становился въ уголъ, къ стѣнѣ лицомъ, и весь потный да красный, черезъ всю лысину до затылка красный, заливаясь злобнымъ хохотомъ и топая ногами, повелѣвалъ наказывать кого-то—вѣроятно, братьевъ. — „Бей!“ — хрипѣлъ онъ, давясь и кашляя отъ смѣха, — „сѣки, не жалѣй, бей, бей, бей изверговъ, злодѣевъ моихъ! Вотъ такъ! Вотъ такъ!“ Наканунѣ своей смерти, онъ очень удивилъ и испугалъ Алексѣя Сергѣича. Вошелъ къ нему въ комнату весь блѣдный да тихій и, поклонившись поясным поклономъ, сперва поблагодарилъ за пріютъ и призрѣніе, а потомъ попросилъ послать за священникомъ; ибо смерть пришла къ нему—онъ ее видѣлъ — и ему надо всѣхъ простить и себя обѣлить. — „Какъ же ты ее видѣлъ?“ — пробормоталъ изумленный Алексѣй Сергѣичъ, въ первый разъ услыхавъ отъ него связную рѣчь.—„Какова она изъ себя? Съ косою, что̀ ли?“— Нѣтъ, — отвѣчалъ князь Л.,—старушка простенькая, въ кофтѣ, только на лбу глазъ одинъ—а глазу тому и вѣку нѣтъ.—И на другой день князь Л. дѣйствительно скончался, совершивъ все должное и простившись со всѣми, вразумительно и умиленно.—„Вотъ такъ и я умру“—замѣчалъ, бывало, Алексѣй Сергѣичъ. И точно: нѣчто подобное съ нимъ случилось—о чемъ послѣ.

А теперь возвратимся къ прежнему. Съ сосѣдями, я уже сказалъ, Алексѣй Сергѣичъ не водился; и они его не долюбливали, называли его чудакомъ, гордецомъ, пересмѣшникомъ и даже не признающимъ властей мартинистомъ, не понимая, конечно, значенія этого послѣдняго слова. До нѣкоторой степени сосѣди были правы: Алексѣй Сергѣичъ чуть не семьдесятъ лѣтъ сряду прожилъ въ своемъ Суходолѣ, не имѣя почти никакихъ сношеній съ предержащими властями, съ начальствомъ и судомъ. „Судъ для разбойника, команда для солдата“, говаривалъ онъ, „а я, слава Богу, не разбойникъ и не солдатъ“. Чудаковатъ былъ, точно, Алексѣй Сергѣичъ, но душа въ немъ была не изъ мелкихъ. Поразскажу кое-что о немъ.

Доподлинно я никогда не зналъ, какія были его политическія мнѣнія, если только можно примѣнить къ нему

такое новѣйшее выраженіе; но, по-своему, онъ былъ аристократъ, скорѣй аристократъ, чѣмъ баринъ. Не разъ онъ сожалѣлъ о томъ, что Богъ не далъ ему сына-наслѣдника, „въ честь роду, въ продолженіе фамиліи". У него въ кабинетѣ висѣло на стѣнѣ родословное дерево Телѣгиныхъ, очень вѣтвистое, со множествомъ кружковъ въ видѣ яблоковъ, въ золотой рамѣ. „Мы, Телѣгины", говорилъ онъ,—„родъ исконный, извѣчный; сколько насъ, Телѣгиныхъ, ни было, — по прихожимъ мы не таскались, хребта не гнули, по рундучкамъ ногъ не отстаивали, по судамъ не кормились, жалованнаго не нашивали, къ Москвѣ не тянули, въ Питерѣ не клянзничали; сидиями сидѣли, каждый на своей *чети*, свой человѣкъ, на своей землѣ... гнѣздари, сударь, домовитые! Я самъ, хоть и въ гвардіи служилъ, да, спасибо, не долго". Алексѣй Сергѣичъ предпочиталъ старое время.—„Вольнѣе было тогда, благообразнѣе; по чести тебѣ доложу! а съ тысяща восемьсотаго года" (почему именно съ этого года?—онъ не объяснялъ) „пошла, братецъ ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надѣли себѣ на голову господа военные какіе-то тамъ салтаны изъ пѣтушиныхъ хвостовъ, и сами пѣтухамъ уподобились; шею затянули туго-на́-туго... хрипятъ, глаза таращатъ, да и какъ не хрипѣть? Надысь, ко мнѣ полицейскій капралъ какой-то наѣхалъ:—Я, молъ, до васъ, ваше благородіе... (вишь, чѣмъ удивить вздумалъ!.. я и самъ знаю, что рожденъ благо...) имѣю до васъ дѣло. А я ему: — Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротникѣ разстегни. А то, помилуй Богъ, чихнешь! Ахъ, что́ съ тобою будетъ! Что̀ съ тобою будетъ! Лопнешь ты, какъ грибъ-дождевикъ... А я отвѣчай! И пьютъ же они, эти военные господа, о-го-го! Я имъ все больше цымлянскаго велю подавать; потому—имъ что̀ цымлянское, что́ поптакъ—все едино; гладко, скоро такъ у нихъ въ горлѣ проходитъ, гдѣ тутъ различить? А то вотъ еще: соску стали эту сосать, табакъ курить. Запихаетъ себѣ военный человѣкъ эту самую соску подъ усища, въ губища,—ноздрями, ртомъ и даже ушами дымъ *пущаетъ, и думаетъ*, что герой! Вотъ, и зятики мои—хоть

одинъ изъ нихъ и сенатòръ, а другой какой-то тамъ куратòръ—тожъ эту соску сосутъ, и за умницъ тожъ себя почитаютъ!..“

Алексѣй Сергѣичъ терпѣть не могъ курительнаго табаку, да вотъ еще собакъ, особенно маленькихъ. — „Ну, коли ты французъ, держи себѣ болонку: ты бѣгаешь, ты прыгаешь туды-сюды, и она за тобой, задравши хвостъ... а нашему-то брату на чтò она?“ Очень онъ былъ опрятенъ и привередливъ. Объ императрицѣ Екатеринѣ говорилъ не иначе, какъ съ восторгомъ, и возвышеннымъ, нѣсколько книжнымъ слогомъ: „Полубогъ былъ, не человѣкъ! Ты, сударикъ, посмотри только на улыбку сію“, прибавлялъ онъ, почтительно указывая на Лампіевскій портретъ,—„и самъ согласишься: полубогъ! Я въ жизни своей столь счастливъ былъ, что удостоился улицезрѣть сію улыбку, и вовѣкъ она не изгладится изъ сердца моего!“— И при этомъ онъ сообщалъ анекдоты изъ жизни Екатерины, какихъ мнѣ нигдѣ не случалось ни читать, ни слышать. Вотъ одинъ изъ нихъ. Алексѣй Сергѣичъ не позволялъ ни малѣйшаго намека на слабости великой царицы.—„Да и, наконецъ“, — восклицалъ онъ: — „развѣ о ней можно такъ судить, какъ о прочихъ людяхъ?—Однажды она, во время утренняго туалета, въ пудрамантѣ сидя, повелѣла расчесать себѣ волосы... И чтò же? Камерфрау проводитъ гребнемъ—а электрическія искры такъ и сыплются! — Тогда она подозвала къ себѣ тутъ же по дежурству находившагося лейбъ-медика Роджерсона и говоритъ ему: „меня, я знаю, за нѣкоторые поступки осуждаютъ: но видишь ты электричество сіе? Слѣдовательно, при таковой моей натурѣ и комплекціи—самъ ты можешь заключить, ибо ты врачъ, — что несправедливо меня осуждать—а постичь меня должно!“ Неизгладимымъ остался въ памяти Алексѣя Сергѣича слѣдующій случай. Стоялъ онъ однажды во внутреннемъ караулѣ, во дворцѣ, — а было ему всего лѣтъ шестнадцать. И вотъ, проходитъ императрица мимо его — онъ отдаетъ честь... „а она“,— съ умиленіемъ тутъ опять восклицалъ Алексѣй Сергѣичъ:— „улыбнувшись на юность мою и на усердіе мое, изволила

дать мнѣ ручку свою поцѣловать, и по щекѣ потрепать, и разспросить: кто я? откуда? какой фамиліи? а потомъ...“ Тутъ голосъ старика обыкновенно прерывался...—„потомъ приказала моей матушкѣ отъ своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что такъ хорошо воспитываетъ дѣтей своихъ. И былъ ли я при семъ на небѣ, или на землѣ—и какъ, и куда она изволила удалиться, въ горнія ли воспарила, въ другіе ли покои прослѣдовала... по сіе время не знаю!“

Я не разъ пытался разспрашивать Алексѣя Сергѣича о тѣхъ давнихъ временахъ, о людяхъ, окружавшихъ императрицу... Но онъ бо́льшей частью уклонялся. „Что о старинѣ толковать-то?“—говаривалъ онъ...—„только себя мучить: что вотъ-молъ, былъ ты тогда молодцомъ—а теперь и послѣднихъ зубовъ у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина... ну, и Богъ съ ней! А что касательно до тѣхъ людей — вѣдь ты, чай, егоза, о случайныхъ людяхъ рѣчь заводишь?—такъ видалъ ты, какъ на водѣ волдырь вскочитъ? Пока онъ цѣлъ, да держится—какіе же на немъ цвѣта играютъ! И красные, и желтые, и синіе—просто сказать надо: радуга, или вотъ алмазъ!—Только въ скорости онъ лопается—и слѣда отъ него нѣтъ. Такъ вотъ, и люди тѣ такіе были“.

— Ну, а Потемкинъ?—спросилъ я однажды.

Алексѣй Сергѣичъ принялъ важный видъ. — „Потемкинъ, Григорій Александровичъ, былъ мужъ государственный, богословъ, екатерининскій воспитанникъ, чадо ея, такъ надо сказать... Но довольно о семъ, сударикъ!“

Алексѣй Сергѣичъ былъ человѣкъ очень набожный—и хотя черезъ силу, но церковь посѣщалъ исправно. Суевѣрія въ немъ не замѣчалось; онъ издѣвался надъ примѣтами, глазомъ и прочей „нескладицей“, однако, не любилъ, когда заяцъ ему перебѣгалъ дорогу—и встрѣча съ попомъ была ему не совсѣмъ пріятна. Со всѣмъ тѣмъ былъ къ духовнымъ лицамъ очень почтителенъ и подъ благословенье подходилъ, и даже руку всякій разъ цѣловалъ, но неохотно съ ними бесѣдовалъ. — „Очень отъ нихъ духъ силёнъ идетъ“, — объяснялъ онъ: — „я же, грѣшный, не

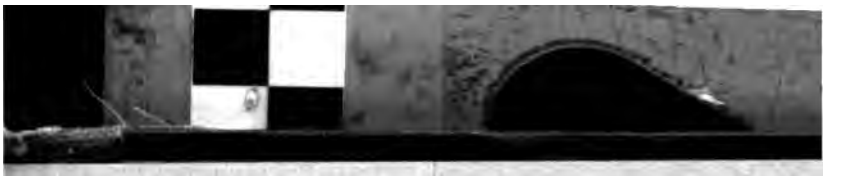
путёмъ изнѣжился;—волосы у нихъ такіе большіе, да масляные, расчешутъ ихъ во всѣ стороны — думаютъ, что тѣмъ мнѣ уваженіе доказываютъ, и громко такъ между разговоромъ крякаютъ — отъ робости, что ли, или тоже желаютъ мнѣ тѣмъ угодить. Ну, да и смертный часъ напоминаютъ. А я, какъ ни какъ, еще жить желаю. Только ты, сударикъ, этихъ рѣчей за мной не повторяй;— уважай духовный чинъ—одни дураки его не уважаютъ;— и я виноватъ, что на старости лѣтъ вздоръ горожу".

Ученъ былъ Алексѣй Сергѣичъ на мѣдныя деньги— какъ всѣ тогдашніе дворяне; но до нѣкоторой степени самъ чтеніемъ восполнилъ этотъ недостатокъ. Книги же читалъ однѣ русскія, конца прошлаго вѣка; новѣйшихъ сочинителей находилъ прѣсными и въ слогѣ слабыми... Во время чтенія становился возлѣ него, на одноногій, круглый столикъ серебряный жбанъ съ какимъ-то особеннымъ мятнымъ нѣнистымъ квасомъ, отъ котораго пріятный запахъ распространялся по всѣмъ комнатамъ. Самъ же онъ надѣвалъ при этомъ на конецъ носа большіе круглые очки; но въ послѣднее время не столько читалъ, сколько задумчиво глядѣлъ выше оправы очковъ, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Разъ я засталъ его плачущимъ, съ книгою на колѣняхъ — что̀ меня очень, признаться, удивило.

Вспомнились ему слѣдующіе стишки:

О, всебѣдный родъ людской!
Незнакомъ тебѣ покой!
Ты лишь оный обрѣтаешь,
Пыль могильну коль глотаешь...
Горекъ, горекъ сей покой!
Спи, мертвецъ... Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены нѣкіимъ Гормичъ-Гормицкимъ, странствующимъ піитой, котораго Алексѣй Сергѣичъ пріютилъ-было у себя въ домѣ — такъ какъ онъ показался ему человѣкомъ деликатнымъ и даже субтильнымъ: носилъ башмачки съ бантиками, говорилъ на о̀, и, *поднимая* глаза къ небу, часто вздыхалъ; кромѣ всѣхъ *этихъ* достоинствъ, Гормичъ-Гормицкій говорилъ по-фран-



цузски, ибо получилъ воспитаніе въ іезуитскомъ коллегіумѣ,—а Алексѣй Сергѣичъ только „понималъ“. Но, напившись разъ мертвецки-пьянымъ въ кабакѣ, этотъ самый субтильный Гормицкій оказалъ буйство непомѣрное: „въ дребезгу“ раскровянилъ Алексѣй-Сергѣичина камердинера, повара, двухъ подвернувшихся прачекъ и даже посторонняго столяра—да нѣсколько стеколъ перебилъ въ окнахъ, при чемъ кричалъ неистово: „а вотъ, я имъ докажу, этимъ русскимъ тунеядцамъ, кацапамъ необтёсанпымъ!“ — И какая въ этомъ тщедушномъ существѣ сила проявилась! Едва съ нимъ сладило восемь человѣкъ!—За самое это буйство, Алексѣй Сергѣичъ велѣлъ стихотворца вытолкать вонъ изъ дому, посадивши его предварительно „афендрономъ“ въ снѣгъ — дѣло было зимою — для протрезвленія.

„Да“,—говаривалъ, бывало, Алексѣй Сергѣичъ:—„прошла моя пора; былъ конь да изъѣздился. Вотъ, я и стихотворцевъ на своемъ иждивеньи содержалъ, и картины, и книги скупалъ у евреевъ — и гуси были не хуже Мухановскихъ — голуби-турманы глинистые настоящіе... До всего-то я былъ охочъ! Развѣ, вотъ, собачникомъ никогда не былъ—потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный былъ я, неукротимый. Чтобы у Телѣгина, да не первый во всемъ сортъ... да помилуй Богъ! И конскій заводъ имѣлъ на славу. И шли тѣ кони... откуда ты думаешь, сударикъ? Отъ самыхъ тѣхъ знаменитѣйшихъ заводовъ царя Ивана Алексѣича, брата Петра Великаго... вѣрно тебѣ говорю! Все жеребцы бурые, въ маслѣ — гривы пóколѣнь, хвосты пóкопыть... Львы!—И все то было — да быльемъ поросло. Суета суетствій — и всяческая суета! А впрочемъ — чего жалѣть! Всякому человѣку свой предѣлъ положòнъ.—Выше неба не взлетишь, въ водѣ не проживешь, отъ земли не уйдешь... Поживемъ еще, какъ ни какъ!“

И старикъ опять улыбался, и понюхивалъ свой шпанскій табачокъ.

Крестьяне любили его: баринъ былъ, по ихъ словамъ, добрый, сердца не срывчиваго. Только и они повторяли, что *изъѣзженъ-молъ* конь. Прежде Алексѣй Сергѣичъ

самъ во все входилъ — и въ поле выѣзжалъ, и на мельницу, и на маслобойню—и въ амбары, и въ крестьянскія избы заглядывалъ; всѣмъ знакомы были его бѣговыя дрожки, обитыя малиновымъ плисомъ и запряженныя рослой лошадью съ широкой проточиной во весь лобъ, по прозвищу „Фонарь“ — изъ самаго того знаменитаго завода; Алексѣй Сергѣичъ самъ ею правилъ, закрутивъ концы вожжей на кулаки. А какъ стукнулъ ему семидесятый годокъ—махнулъ старикъ на все рукою—и поручилъ управленіе имѣньемъ бурмистру Антипу, котораго втайнѣ боялся и звалъ Микромэгасомъ (Волтеровскія воспоминанія!) — а то просто: грабителемъ. — „Ну, грабитель, что скажешь? Много въ пуньку натаскалъ?“ — говоритъ онъ, бывало, съ улыбкой, глядя въ самые глаза грабителю.— Все вашею милостью,—весело отвѣчаетъ Антипъ.—„Милость милостью — а только ты смотри у меня, Микромэгасъ! крестьянъ, заглазныхъ подданныхъ моихъ, трогать не смѣй! Станутъ они жаловаться... трость-то ты у меня, видишь, недалеко!“ — Тросточку-то вашу, батюшка Алексѣй Сергѣичъ, я завсегда хорошо помню, — отвѣчаетъ Антипъ-Микромэгасъ, да поглаживаетъ бороду! — „То-то, помни!“ — И баринъ, и бурмистръ, оба смѣются въ лицо другъ другу. — Съ дворовыми, вообще съ крѣпостными людьми, съ „подданными“ (Алексѣй Сергѣичъ любилъ это слово) — онъ обходился кротко. — „Потому, посуди, племянничекъ: своего-то ничего нѣту, развѣ крестъ на шеѣ— да и тотъ мѣдный—на чужое зàриться не моги... гдѣ-жъ тутъ быть разуму?“ — Нечего и говорить, что о такъ-называемомъ крѣпостномъ вопросѣ въ то время никто и не помышлялъ; не могъ онъ волновать и Алексѣя Сергѣича: онъ преспокойно владѣлъ своими „подданными“, но дурныхъ помѣщиковъ осуждалъ и называлъ врагами своего званія. Онъ вообще дворянъ раздѣлялъ на три разряда: на путныхъ — „коихъ маловато“; на распутныхъ, „коихъ достаточно“, и на безпутныхъ, „коими хоть прудъ пруди“.—А если кто изъ нихъ съ подданными крутъ и притѣснителенъ,—тотъ и передъ Богомъ грѣшенъ, и передъ людьми виноватъ! Да, хорошо жилось дворовымъ у ста-

рика; „заглазнымъ подданнымъ“, конечно, хуже, несмотря на трость, которою онъ грозилъ Микромэгасу. И сколько ихъ водилось, этихъ самыхъ дворовыхъ, въ его домѣ! И все больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, въ плечахъ согбенные, въ нанковые, длиннополые кафтаны облеченные—съ крѣпкимъ, кислымъ запахомъ! А на женской половинѣ только и слышно было, что топотъ босыхъ ногъ, да шлюпанье юбокъ. Главнаго камердинера звали Иринархомъ; и кликалъ его всегда Алексѣй Сергѣичъ протяжнымъ кликомъ: И-ри-на-а-рхъ! Другихъ онъ звалъ: Малый! Малецъ! Кто тамъ есть подданный! Колокольчиковъ онъ не терпѣлъ: что̀ за трактиръ, помилуй Богъ!— И удивляло меня то, что въ какое бы время ни позвалъ Алексѣй Сергѣичъ своего камердинера — тотъ немедленно являлся, словно изъ земли выраслалъ — и, сдвинувъ каблуки и заложивъ за спину руки, стоялъ передъ барономъ, угрюмый и какъ бы злой, но усердный слуга!

Щедръ былъ Алексѣй Сергѣичъ не по состоянію; но не любилъ, когда его величали благодѣтелемъ.—„Какой я вамъ, сударь, благодѣтель!.. Я себѣ благо дѣлаю — а не вамъ, сударь мой“—(когда онъ гнѣвался или негодовалъ, онъ всегда „выкалъ“). — „Нищему“, — говаривалъ онъ:— „подай разъ, подай два, подай три... Ну—а коли онъ въ чертвертый разъ придетъ — подать ему ты все-таки подай—только прибавь при семъ: ты бы, братецъ, чѣмъ бы другимъ поработалъ—не все ртомъ“. — Дяденька,—спросишь его, бывало:—если же нищій и послѣ этого въ пятый разъ придетъ? — „А ты и въ пятый разъ подай“. Больныхъ, которые къ нему прибѣгали за помощью, онъ на свой счетъ лѣчилъ — хотя самъ въ докторовъ не вѣрилъ—и никогда за ними не посылалъ. — „Матушка-покойница“,—увѣрялъ онъ: — „ото всѣхъ болѣзней прованскимъ масломъ съ солью лѣчила—и внутрь давала, и натирала—и все прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петрѣ Первомъ рожденье свое имѣла— ты только это сообрази!“

Русскій человѣкъ былъ Алексѣй Сергѣичъ во всемъ: любилъ одни русскія кушанья, любилъ русскія пѣсни—а

самъ во все входилъ — и въ поле выѣзжалъ, и на мельницу, и на маслобойню—и въ амбары, и въ крестьянскія избы заглядывалъ; всѣмъ знакомы были его бѣговыя дрожки, обитыя малиновымъ плисомъ и запряженныя рослой лошадью съ широкой проточиной во весь лобъ, по прозвищу „Фонарь“ — изъ самаго того знаменитаго завода: Алексѣй Сергѣичъ самъ ею правилъ, закрутивъ концы вожжей на кулаки. А какъ стукнулъ ему семидесятый годокъ—махнулъ старикъ на все рукою—и поручилъ управленіе имѣньемъ бурмистру Антипу, котораго втайнѣ боялся и звалъ Микромэгасомъ (Волтеровскія воспоминанія!) — а то просто: грабителемъ. — „Ну, грабитель, что скажешь? Много въ пуньку натаскалъ?“ — говоритъ онъ, бывало, съ улыбкой, глядя въ самые глаза грабителю.— Все вашею милостью,—весело отвѣчаетъ Антипъ.—„Милость милостью — а только ты смотри у меня, Микромэгасъ! крестьянъ, заглазныхъ подданныхъ моихъ, трогать не смѣй! Станутъ они жаловаться... трость-то ты у меня, видишь, недалеко!“ — Тросточку-то вашу, батюшка Алексѣй Сергѣичъ, я завсегда хорошо помню, — отвѣчаетъ Антипъ-Микромэгасъ, да поглаживаетъ бороду! — „То-то, помни!“ — И баринъ, и бурмистръ, оба смѣются въ лицо другъ другу. — Съ дворовыми, вообще съ крѣпостными людьми, съ „подданными“ (Алексѣй Сергѣичъ любилъ это слово) — онъ обходился кротко. — „Потому, посуди, племянничекъ: своего-то ничего нѣту, развѣ крестъ на шеѣ— да и тотъ мѣдный—на чужое зариться не моги... гдѣ-жъ тутъ быть разуму?“ — Нечего и говорить, что о такъ-называемомъ крѣпостномъ вопросѣ въ то время никто и не помышлялъ; не могъ онъ волновать и Алексѣя Сергѣича: онъ преспокойно владѣлъ своими „подданными“, но дурныхъ помѣщиковъ осуждалъ и называлъ врагами своего званія. Онъ вообще дворянъ раздѣлялъ на три разряда: на путныхъ — „коихъ маловато“; на распутныхъ, „коихъ достаточно“, и на безпутныхъ, „коими хоть прудъ пруди“.—А если кто изъ нихъ съ подданными крутъ и притѣснителенъ,—тотъ и передъ Богомъ грѣшенъ, и передъ людьми виноватъ! Да, хорошо жилось дворовымъ у ста-

рика; „заглазнымъ подданнымъ“, конечно, хуже, несмотря на трость, которою онъ грозилъ Микромэгасу. И сколько ихъ водилось, этихъ самыхъ дворовыхъ, въ его домѣ! И все больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, въ плечахъ согбенные, въ нанковые, длиннополые кафтаны облеченные—съ крѣпкимъ, кислымъ запахомъ! А на женской половинѣ только и слышно было, что топотъ босыхъ ногъ, да шлюпанье юбокъ. Главнаго камердинера звали Иринархомъ; и кликалъ его всегда Алексѣй Сергѣичъ протяжнымъ кликомъ: И-ри-на-а-рхъ! Другихъ онъ звалъ: Малый! Малецъ! Кто тамъ есть подданный! Колокольчиковъ онъ не терпѣлъ: что за трактиръ, помилуй Богъ!— И удивляло меня то, что въ какое бы время ни позвалъ Алексѣй Сергѣичъ своего камердинера — тотъ немедленно являлся, словно изъ земли выраставъ — и, сдвинувъ каблуки и заложивъ за спину руки, стоялъ передъ барономъ, угрюмый и какъ бы злой, но усердный слуга!

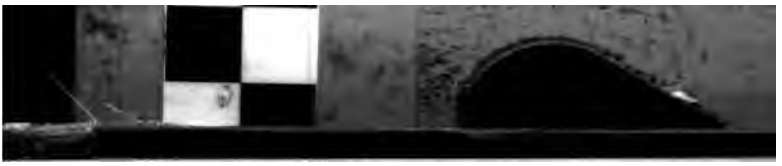
Щедръ былъ Алексѣй Сергѣичъ не по состоянію; но не любилъ, когда его величали благодѣтелемъ.—„Какой я вамъ, сударь, благодѣтель!.. Я себѣ благо дѣлаю — а не вамъ, сударь мой“—(когда онъ гнѣвался или негодовалъ, онъ всегда „выкалъ“). — „Нищему“, — говаривалъ онъ:— „подай разъ, подай два, подай три... Ну—а коли онъ въ чертвертый разъ придетъ — подать ему ты все-таки подай—только прибавь при семъ: ты бы, братецъ, чѣмъ бы другимъ поработалъ—не все ртомъ“. — Дяденька,—спросишь его, бывало:—если же нищій и послѣ этого въ пятый разъ придетъ? — „А ты и въ пятый разъ подай“. Больныхъ, которые къ нему прибѣгали за помощью, онъ на свой счетъ лѣчилъ — хотя самъ въ докторовъ не вѣрилъ—и никогда за ними не посылалъ. — „Матушка-покойница“,—увѣрялъ онъ: — „ото всѣхъ болѣзней прованскимъ масломъ съ солью лѣчила—и внутрь давала, и натирала—и все прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петрѣ Первомъ рожденье свое имѣла— ты только это сообрази!“

Русскій человѣкъ былъ Алексѣй Сергѣичъ во всемъ: *любилъ одни* русскія кушанья, любилъ русскія пѣсни—а

и тогда онъ дѣлался страшенъ: становился въ уголъ, къ стѣнѣ лицомъ, и весь потный да красный, черезъ всю лысину до затылка красный, заливаясь злобнымъ хохотомъ и топая ногами, повелѣвалъ наказывать кого-то—вѣроятно, братьевъ. — „Бей!“ — хрипѣлъ онъ, давясь и кашляя отъ смѣха, — „сѣки, не жалѣй, бей, бей, бей изверговъ, злодѣевъ моихъ! Вотъ такъ! Вотъ такъ!“ Наканунѣ своей смерти, онъ очень удивилъ и испугалъ Алексѣя Сергѣича. Вошелъ къ нему въ комнату весь блѣдный да тихій и, поклонившись поясным поклономъ, сперва поблагодарилъ за пріютъ и призрѣніе, а потомъ попросилъ послать за священникомъ; ибо смерть пришла къ нему—онъ ее видѣлъ — и ему надо всѣхъ простить и себя обѣлить. — „Какъ же ты ее видѣлъ?“ — пробормоталъ изумленный Алексѣй Сергѣичъ, въ первый разъ услыхавъ отъ него связную рѣчь.—„Какова она изъ себя? Съ косою, что̀ ли?“— Нѣтъ, — отвѣчалъ князь Л.,—старушка простенькая, въ кофтѣ, только на лбу глазъ одинъ—а глазу тому и вѣку нѣтъ.—И на другой день князь Л. дѣйствительно скончался, совершивъ все должное и простившись со всѣми, вразумительно и умиленно.—„Вотъ такъ и я умру“—замѣчалъ, бывало, Алексѣй Сергѣичъ. И точно: нѣчто подобное съ нимъ случилось—о чемъ послѣ.

А теперь возвратимся къ прежнему. Съ сосѣдями, я уже сказалъ, Алексѣй Сергѣичъ не водился; и они его не долюбливали, называли его чудакомъ, гордецомъ, пересмѣшникомъ и даже не признающимъ властей мартинистомъ, не понимая, конечно, значенія этого послѣдняго слова. До нѣкоторой степени сосѣди были правы: Алексѣй Сергѣичъ чуть не семьдесятъ лѣтъ сряду прожилъ въ своемъ Суходолѣ, не имѣя почти никакихъ сношеній съ предержащими властями, съ начальствомъ и судомъ. „Судъ для разбойника, команда для солдата“, говаривалъ онъ, „а я, слава Богу, не разбойникъ и не солдатъ“. Чудаковатъ былъ, точно, Алексѣй Сергѣичъ, но душа въ немъ была не изъ мелкихъ. Поразскажу кое-что о немъ.

Доподлинно я никогда не зналъ, какія были его политическія мнѣнія, если только можно примѣнить къ нему



такое новѣйшее выраженіе; но, по-своему, онъ былъ аристократъ, скорѣй аристократъ, чѣмъ баринъ. Не разъ онъ сожалѣлъ о томъ, что Богъ не далъ ему сына-наслѣдника, „въ честь роду, въ продолженіе фамиліи". У него въ кабинетѣ висѣло на стѣнѣ родословное дерево Телѣгиныхъ, очень вѣтвистое, со множествомъ кружковъ въ видѣ яблоковъ, въ золотой рамѣ. „Мы, Телѣгины", говорилъ онъ,—„родъ исконный, извѣчный; сколько насъ, Телѣгиныхъ, ни было, — по прихожимъ мы не таскались, хребта не гнули, по рундучкамъ ногъ не отстаивали, по судамъ не кормились, жалованнаго не нашивали, къ Москвѣ не тянули, въ Питерѣ не кляузничали; сиднями сидѣли, каждый на своей *чети*, свой человѣкъ, на своей землѣ... гнѣздари, сударь, домовитые! Я самъ, хоть и въ гвардіи служилъ, да, спасибо, не долго". Алексѣй Сергѣичъ предпочиталъ старое время.—„Вольнѣе было тогда, благообразнѣе; по чести тебѣ доложу! а съ тысяща восемьсотаго года" (почему именно съ этого года?—онъ не объяснялъ) „пошла, братецъ ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надѣли себѣ на голову господа военные какіе-то тамъ салтапы изъ пѣтушиныхъ хвостовъ, и сами пѣтухамъ уподобились; шею затянули туго-на́-туго... хрипятъ, глаза таращатъ, да и какъ не хрипѣть? Надысь, ко мнѣ полицейскій капралъ какой-то наѣхалъ:—Я, молъ, до васъ, ваше благородіе... (вишь, чѣмъ удивить вздумалъ!.. я и самъ знаю, что рожденъ благо...) имѣю до васъ дѣло. А я ему: — Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротникѣ разстегни. А то, помилуй Богъ, чихнешь! Ахъ, что́ съ тобою будетъ! Что̀ съ тобою будетъ! Лопнешь ты, какъ грибъ-дождевикъ... А я отвѣчай! И пьютъ же они, эти военные господа, о-го-го! Я имъ все больше цымлянскаго велю подавать; потому—имъ что̀ цымлянское, что́ поптакъ—все едино; гладко, скоро такъ у нихъ въ горлѣ проходитъ, гдѣ тутъ различить? А то вотъ еще: соску стали эту сосать, табакъ курить. Запихаетъ себѣ военный человѣкъ эту самую соску подъ усища, въ губища,—ноздрями, ртомъ и даже ушами дымъ пущаетъ, и думаетъ, что герой! Вотъ, и зятики мои—хоть

одинъ изъ нихъ и сенатòръ, а другой какой-то тамъ куратòръ—тожъ эту соску сосутъ, и за умницъ тожъ себя почитаютъ!..“

Алексѣй Сергѣичъ терпѣть не могъ курительнаго табаку, да вотъ еще собакъ, особенно маленькихъ. — „Ну, коли ты французъ, держи себѣ болонку: ты бѣгаешь, ты прыгаешь туды-сюды, и она за тобой, задравши хвостъ... а нашему-то брату на что̀ она?“ Очень онъ былъ опрятенъ и привередливъ. Объ императрицѣ Екатеринѣ говорилъ не иначе, какъ съ восторгомъ, и возвышеннымъ, нѣсколько книжнымъ слогомъ: „Полубогъ былъ, не человѣкъ! Ты, сударикъ, посмотри только на улыбку сію“, прибавлялъ онъ, почтительно указывая на Лампіевскій портретъ,—„и самъ согласишься: полубогъ! Я въ жизни своей столь счастливъ былъ, что удостоился улицезрѣть сію улыбку, и вовѣкъ она не изгладится изъ сердца моего!“— И при этомъ онъ сообщалъ анекдоты изъ жизни Екатерины, какихъ мнѣ нигдѣ не случалось ни читать, ни слышать. Вотъ одинъ изъ нихъ. Алексѣй Сергѣичъ не позволялъ ни малѣйшаго намека на слабости великой царицы.—„Да и, наконецъ“, — восклицалъ онъ: — „развѣ о ней можно такъ судить, какъ о прочихъ людяхъ?—Однажды она, во время утренняго туалета, въ пудрамантѣ сидя, повелѣла расчесать себѣ волосы... И что̀ же? Камерфрау проводитъ гребнемъ—а электрическія искры такъ и сыплются! — Тогда она подозвала къ себѣ тутъ же по дежурству находившагося лейбъ-медика Роджерсона и говоритъ ему: „меня, я знаю, за нѣкоторые поступки осуждаютъ: но видишь ты электричество сіе? Слѣдовательно, при таковой моей натурѣ и комплекціи—самъ ты можешь заключить, ибо ты врачъ, — что несправедливо меня осуждать—а постичь меня должно!“ Неизгладимымъ остался въ памяти Алексѣя Сергѣича слѣдующій случай. Стоялъ онъ однажды во внутреннемъ караулѣ, во дворцѣ, — а было ему всего лѣтъ шестнадцать. И вотъ, проходитъ императрица мимо его — онъ отдаетъ честь... „а она“,— *съ умиленіемъ* тутъ опять восклицалъ Алексѣй Сергѣичъ:— „*улыбнувшись* на юность мою и на усердіе мое, изволила

дать мнѣ ручку свою поцѣловать, и по щекѣ потрепать, и разспросить: кто я? откуда? какой фамиліи? а потомъ...“ Тутъ голосъ старика обыкновенно прерывался...—„потомъ приказала моей матушкѣ отъ своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что такъ хорошо воспитываетъ дѣтей своихъ. И былъ ли я при семъ на небѣ, или на землѣ—и какъ, и куда она изволила удалиться, въ горнія ли воспарила, въ другіе ли покои прослѣдовала... по сіе время не знаю!“

Я не разъ пытался разспрашивать Алексѣя Сергѣича о тѣхъ давнихъ временахъ, о людяхъ, окружавшихъ императрицу... Но онъ бо́льшей частью уклонялся. „Что о старинѣ толковать-то?“—говаривалъ онъ...—„только себя мучить: что вотъ-молъ, былъ ты тогда молодцомъ—а теперь и послѣднихъ зубовъ у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина... ну, и Богъ съ ней! А что касательно до тѣхъ людей — вѣдь ты, чай, егоза, о случайныхъ людяхъ рѣчь заводишь?—такъ видалъ ты, какъ на водѣ волдырь вскочитъ? Пока онъ цѣлъ, да держится—какіе же на немъ цвѣта играютъ! И красные, и желтые, и синіе—просто сказать надо: радуга, или вотъ алмазъ!—Только въ скорости онъ лопается—и слѣда отъ него нѣтъ. Такъ вотъ, и люди тѣ такіе были“.

— Ну, а Потемкинъ?—спросилъ я однажды.

Алексѣй Сергѣичъ принялъ важный видъ. — „Потемкинъ, Григорій Александровичъ, былъ мужъ государственный, богословъ, екатерининскій воспитанникъ, чадо ея, такъ надо сказать... Но довольно о семъ, сударикъ!“

Алексѣй Сергѣичъ былъ человѣкъ очень набожный—и хотя черезъ силу, но церковь посѣщалъ исправно. Суевѣрія въ немъ не замѣчалось; онъ издѣвался надъ примѣтами, глазомъ и прочей „нескладицей“, однако, не любилъ, когда заяцъ ему перебѣгалъ дорогу—и встрѣча съ попомъ была ему не совсѣмъ пріятна. Со всѣмъ тѣмъ былъ къ духовнымъ лицамъ очень почтителенъ и подъ благословенье подходилъ, и даже руку всякій разъ цѣловалъ, но неохотно съ ними бесѣдовалъ. — „Очень отъ нихъ духъ силёнъ идетъ“, — объяснялъ онъ: — „я же, грѣшный, не

путёмъ изнѣжился;—волосы у нихъ такіе большіе, да масляные, расчешутъ ихъ во всѣ стороны — думаютъ, что тѣмъ мнѣ уваженіе доказываютъ, и громко такъ между разговоромъ крякаютъ — отъ робости, что ли, или тоже желаютъ мнѣ тѣмъ угодить. Ну, да и смертный часъ напоминаютъ. А я, какъ ни какъ, еще жить желаю. Только ты, сударикъ, этихъ рѣчей за мной не повторяй;— уважай духовный чинъ—одни дураки его не уважаютъ;— и я виноватъ, что на старости лѣтъ вздоръ горожу".

Ученъ былъ Алексѣй Сергѣичъ на мѣдныя деньги— какъ всѣ тогдашніе дворяне; но до нѣкоторой степени самъ чтеніемъ восполнилъ этотъ недостатокъ. Книги же читалъ однѣ русскія, конца прошлаго вѣка; новѣйшихъ сочинителей находилъ прѣсными и въ слогѣ слабыми... Во время чтенія становился возлѣ него, на одноногій, круглый столикъ серебряный жбанъ съ какимъ-то особеннымъ мятнымъ нѣнистымъ квасомъ, отъ котораго пріятный запахъ распространялся по всѣмъ комнатамъ. Самъ же онъ надѣвалъ при этомъ на конецъ носа большіе круглые очки; но въ послѣднее время не столько читалъ, сколько задумчиво глядѣлъ выше оправы очковъ, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Разъ я засталъ его плачущимъ, съ книгою на колѣняхъ — что̀ меня очень, признаться, удивило.

Вспомнились ему слѣдующіе стишки:

О, всебѣдный родъ людской!
Незнакомъ тебѣ покой!
Ты лишь оный обрѣтаешь,
Пыль могильну коль глотаешь...
Горекъ, горекъ сей покой!
Спи, мертвецъ... Но плачь, живой!

Стишки эти были сочинены нѣкіимъ Гормичъ-Гормицкимъ, странствующимъ піитой, котораго Алексѣй Сергѣичъ пріютилъ-было у себя въ домѣ — такъ какъ онъ показался ему человѣкомъ деликатнымъ и даже субтильнымъ: носилъ башмачки съ бантиками, говорилъ на о̀, и, *поднимая* глаза къ небу, часто вздыхалъ; кромѣ всѣхъ *этихъ* достоинствъ, Гормичъ-Гормицкій говорилъ по-фран-

цузски, ибо получилъ воспитаніе въ іезуитскомъ коллегіумѣ,—а Алексѣй Сергѣичъ только „понималъ“. Но, напившись разъ мертвецки-пьянымъ въ кабакѣ, этотъ самый субтильный Гормицкій оказалъ буйство непомѣрное: „въ дребезгу“ раскровянилъ Алексѣй-Сергѣичина камердинера, повара, двухъ подвернувшихся прачекъ и даже посторонняго столяра—да нѣсколько стеколъ перебилъ въ окнахъ, при чемъ кричалъ неистово: „а вотъ, я имъ докажу, этимъ русскимъ тунеядцамъ, кацапамъ необтёсаннымъ!“ — И какая въ этомъ тщедушномъ существѣ сила проявилась! Едва съ нимъ сладило восемь человѣкъ!—За самое это буйство, Алексѣй Сергѣичъ велѣлъ стихотворца вытолкать вонъ изъ дому, посадивши его предварительно „афендрономъ“ въ снѣгъ — дѣло было зимою — для протрезвленія.

„Да“,—говаривалъ, бывало, Алексѣй Сергѣичъ:—„прошла моя пора; былъ конь да изъѣздился. Вотъ, я и стихотворцевъ на своемъ иждивеньи содержалъ, и картины, и книги скупалъ у евреевъ — и гуси были не хуже Мухановскихъ — голуби-турманы глинистые настоящіе... До всего-то я былъ охочъ! Развѣ, вотъ, собачникомъ никогда не былъ—потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный былъ я, неукротимый. Чтобы у Телѣгина, да не первый во всемъ сортъ... да помилуй Богъ! И конскій заводъ имѣлъ на славу. И шли тѣ кони... откуда ты думаешь, сударикъ? Отъ самыхъ тѣхъ знаменитѣйшихъ заводовъ царя Ивана Алексѣича, брата Петра Великаго... вѣрно тебѣ говорю! Все жеребцы бурые, въ маслѣ — гривы пóколѣнь, хвосты пóкопыть... Львы!—И все то было — да быльемъ поросло. Суета суетствій — и всяческая суета! А впрочемъ — чего жалѣть! Всякому человѣку свой предѣлъ положòнъ.—Выше неба не взлетишь, въ водѣ не проживешь, отъ земли не уйдешь... Поживемъ еще, какъ ни какъ!“

И старикъ опять улыбался, и понюхивалъ свой шпанскій табачокъ.

Крестьяне любили его: баринъ былъ, по ихъ словамъ, добрый, сердца не срывчиваго. Только и они повторяли, что *изъѣзженъ-молъ* конь. Прежде Алексѣй Сергѣичъ

самъ во все входилъ — и въ поле выѣзжалъ, и на мельницу, и на маслобойню—и въ амбары, и въ крестьянскія избы заглядывалъ; всѣмъ знакомы были его бѣговыя дрожки, обитыя малиновымъ плисомъ и запряженныя рослой лошадью съ широкой проточиной во весь лобъ, по прозвищу „Фонарь“ — изъ самаго того знаменитаго завода; Алексѣй Сергѣичъ самъ ею правилъ, закрутивъ концы вожжей на кулаки. А какъ стукнулъ ему семидесятый годокъ—махнулъ старикъ на все рукою—и поручилъ управленіе имѣньемъ бурмистру Антипу, котораго втайнѣ боялся и звалъ Микромэгасомъ (Волтеровскія воспоминанія!) — а то просто: грабителемъ. — „Ну, грабитель, что скажешь? Много въ пуньку натаскалъ?“ — говоритъ онъ, бывало, съ улыбкой, глядя въ самые глаза грабителю.— Все вашею милостью,—весело отвѣчаетъ Антипъ.—„Милость милостью — а только ты смотри у меня, Микромэгасъ! крестьянъ, заглазныхъ подданныхъ моихъ, трогать не смѣй! Станутъ они жаловаться... трость-то ты у меня, видишь, недалеко!“ — Тросточку-то вашу, батюшка Алексѣй Сергѣичъ, я завсегда хорошо помню, — отвѣчаетъ Антипъ-Микромэгасъ, да поглаживаетъ бороду! — „То-то, помни!“ — И баринъ, и бурмистръ, оба смѣются въ лицо другъ другу. — Съ дворовыми, вообще съ крѣпостными людьми, съ „подданными“ (Алексѣй Сергѣичъ любилъ это слово) — онъ обходился кротко. — „Потому, посуди, племянничекъ: своего-то ничего нѣту, развѣ крестъ на шеѣ— да и тотъ мѣдный—на чужое зариться не моги... гдѣ-жъ тутъ быть разуму?“ — Нечего и говорить, что о такъ-называемомъ крѣпостномъ вопросѣ въ то время никто и не помышлялъ; не могъ онъ волновать и Алексѣя Сергѣича: онъ преспокойно владѣлъ своими „подданными“, но дурныхъ помѣщиковъ осуждалъ и называлъ врагами своего званія. Онъ вообще дворянъ раздѣлялъ на три разряда: на путныхъ — „коихъ маловато“; на распутныхъ, „коихъ достаточно“, и на безпутныхъ, „коими хоть прудъ пруди“.—А если кто изъ нихъ съ подданными крутъ и притѣснителенъ,—тотъ и передъ Богомъ грѣшенъ, и передъ людьми виноватъ! Да, хорошо жилось дворовымъ у ста-

рика; „заглазнымъ подданнымъ“, конечно, хуже, несмотря на трость, которою онъ грозилъ Микромэгасу. И сколько ихъ водилось, этихъ самыхъ дворовыхъ, въ его домѣ! И все больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, въ плечахъ согбенные, въ нанковые, длиннополые кафтаны облеченные—съ крѣпкимъ, кислымъ запахомъ! А на женской половинѣ только и слышно было, что топотъ босыхъ ногъ, да шлюпанье юбокъ. Главнаго камердинера звали Иринархомъ; и кликалъ его всегда Алексѣй Сергѣичъ протяжнымъ кликомъ: И-ри-на-а-рхъ! Другихъ онъ звалъ: Малый! Малецъ! Кто тамъ есть подданный! Колокольчиковъ онъ не терпѣлъ: что̀ за трактиръ, помилуй Богъ!— И удивляло меня то, что въ какое бы время ни позвалъ Алексѣй Сергѣичъ своего камердинера — тотъ немедленно являлся, словно изъ земли вырасталъ — и, сдвинувъ каблуки и заложивъ за спину руки, стоялъ передъ бариномъ, угрюмый и какъ бы злой, но усердный слуга!

Щедръ былъ Алексѣй Сергѣичъ не по состоянію; но не любилъ, когда его величали благодѣтелемъ.—„Какой я вамъ, сударь, благодѣтель!.. Я себѣ благо дѣлаю — а не вамъ, сударь мой“—(когда онъ гнѣвался или негодовалъ, онъ всегда „выкалъ“). — „Нищему“, — говаривалъ онъ:— „подай разъ, подай два, подай три... Ну—а коли онъ въ чертвертый разъ придетъ — подать ему ты все-таки подай—только прибавь при семъ: ты бы, братецъ, чѣмъ бы другимъ поработалъ—не все ртомъ“. — Дяденька,—спросишь его, бывало:—если же нищій и послѣ этого въ пятый разъ придетъ? — „А ты и въ пятый разъ подай“. Больныхъ, которые къ нему прибѣгали за помощью, онъ на свой счетъ лѣчилъ — хотя самъ въ докторовъ не вѣрилъ—и никогда за ними не посылалъ. — „Матушка-покойница“,—увѣрялъ онъ: — „ото всѣхъ болѣзней прованскимъ масломъ съ солью лѣчила—и внутрь давала, и натирала—и все прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петрѣ Первомъ рожденье свое имѣла— ты только это сообрази!“

Русскій человѣкъ былъ Алексѣй Сергѣичъ во всемъ: любилъ одни русскія кушанья, любилъ русскія пѣсни—а

гармонику—„фабричную выдумку“, ненавидѣлъ; любилъ глядѣть на хороводы дѣвокъ, на пляску бабъ; въ молодости онъ самъ, говорятъ, пѣлъ заливисто и плясалъ лихо; любилъ париться въ банѣ—да такъ сильно париться, что Иринархъ, который, служа ему банщикомъ, сѣкъ его березовымъ, въ пивѣ вымоченнымъ вѣникомъ, теръ мочалкой, теръ суконкой, каталъ намыленнымъ пузыремъ по барскимъ членамъ, — этотъ вѣрнопреданный Иринархъ, всякій разъ, бывало, говаривалъ, слѣзая съ полка, красный, какъ „новый мѣдный статуй“:—Ну, на сей разъ я, рабъ Божій, Иринархъ Толобѣевъ, еще уцѣлѣлъ... Что-то будетъ въ слѣдующій?

И говорилъ Алексѣй Сергѣичъ славнымъ русскимъ языкомъ, нѣсколько старомоднымъ, но вкуснымъ и чистымъ, какъ ключевая вода, то и дѣло пересыпая рѣчь любимыми словцами: „по чести, помилуй Богъ, какъ ни какъ, сударь, да сударикъ...“

А впрочемъ, будетъ о немъ. Побесѣдуемъ объ Алексѣй-Сергѣичевой супругѣ, Маланьѣ Павловнѣ.

Была Маланья Павловна московская уроженка, первой слыла красавицей по Москвѣ, la Vénus de Moscou. — Я ее зналъ уже старой, худой женщиной, съ тонкими, но незначительными чертами лица, съ заячьими кривыми зубками въ крошечномъ ротикѣ, со множествомъ мелкозавитыхъ желтыхъ кудряшекъ на лбу, съ крашеными бровями. Ходила она постоянно въ пирамидальномъ чепцѣ съ розовыми лентами, высокомъ крагенѣ вокругъ шеи, бѣломъ короткомъ платьѣ и прюнелевыхъ башмакахъ на красныхъ каблучкахъ; а сверху платья носила кофту изъ голубого атласу, со спущеннымъ съ праваго плеча рукавомъ. Точно такой туалетъ былъ на ней въ самый Петровъ день 1789 года! Пошла она, въ тотъ день, еще дѣвицей будучи, съ родными, на Ходынское поле, посмотрѣть знаменитый кулачный бой, устроенный Орловымъ. — „И графъ Алексѣй Григорьевичъ...“ (о, сколько разъ слышалъ я этотъ разсказъ!)... „замѣтивъ меня, подошелъ, поклонился низёхонько, взявъ шляпу въ обѣ руки, и сказалъ такъ: красавица писаная, сказалъ онъ,

что̀ ты это рукавъ съ плечика спустила? Аль тоже на кулачки со мной побиться желаешь?.. Изволь; только напредки говорю тебѣ: побѣдила ты меня—сдаюсь! — И я твой есмь плѣнникъ!.. И всѣ на насъ смотрѣли и удивлялись". — И самый этотъ туалетъ она съ тѣхъ поръ постоянно носила.—„Только не чепецъ тогда былъ на мнѣ—а шляпа а-ля-бержеръ де Тріанонъ; — и хотя я и напудренная была—но волосы мои, какъ золото, такъ и сквозили, такъ и сквозили!"—Маланья Павловна была глупа, что̀ называется, до святости; болтала зря, словно и сама хорошенько не знала, что̀ это у ней изъ устъ выходитъ—и все больше объ Орловѣ. — Орловъ сталъ, можно сказать, главнымъ интересомъ ея жизни.—Она обыкновенно входила... нѣтъ! вплывала, мѣрно двигая головою, какъ пава, въ комнату, становилась посерединѣ, какъ-то странно вывернувъ одну ногу и придерживая двумя пальцами конецъ спущеннаго рукава (должно-быть, эта поза тоже когда-нибудь понравилась Орлову); горделиво-небрежно взглядывала кругомъ, какъ оно и слѣдуетъ красавицѣ—даже пофыркивала и шептала: „вотъ еще!" точно къ ней какой-либо назойливый кавалеръ-супирантъ приставалъ съ комплиментами — и вдругъ уходила, топнувъ каблучкомъ и дернувъ плечикомъ. — Табакъ она тоже нюхала испанскій, изъ крошечной бонбоньерки, доставая его крошечной золотой ложечкой—и отъ времени до времени, особенно когда появлялось новое лицо—подносила снизу—не къ глазамъ, а къ носу—(она видѣла отлично)—двойной лорнетъ, въ видѣ рогульки, щеголяя и вертя бѣленькой ручкой съ отдѣленнымъ пальчикомъ. — Сколько разъ описывала мнѣ Маланья Павловна свою свадьбу въ церкви Вознесенія, что̀ на Арбатѣ,—такая хорошая церковь!—и какъ вся Москва тутъ присутствовала... давка была какая! ужасти! Экипажи цугомъ, золотыя кареты, скороходы... одинъ скороходъ графа Завадовскаго даже подъ колесо попалъ! И вѣнчалъ насъ самъ архіерей — и предику какую сказалъ! всѣ плакали—куда я ни посмотрю — все слезы, слезы... а у генералъ-губернатора лошади были тигровой масти... И сколько цвѣтовъ, цвѣ-

товъ нанесли!.. Завалили цвѣтами! И какъ по этому случаю одинъ иностранецъ, богатый-пребогатый, отъ любви застрѣлился—и какъ Орловъ тоже тутъ присутствовалъ... И приблизившись къ Алексѣю Сергѣичу, поздравилъ его и назвалъ его счастливчикомъ... Счастливчикъ-молъ ты, братъ-губошлёпъ! И какъ, въ отвѣтъ на эти слова, Алексѣй Сергѣичъ такъ чудесно поклонился и махнулъ плюмажемъ шляпы по полу слѣва направо... Дескать, ваше сіятельство, теперь между вами и моей супругой есть черта, которую вы не преступите!—И Орловъ, Алексѣй Григорьевичъ, тотчасъ понялъ и похвалилъ.—О! это былъ такой человѣкъ! такой человѣкъ! А то̀, въ другой разъ, мы съ Алексисомъ были у него на балѣ—я уже замужемъ была—и какія были на немъ чудесныя брильянтовыя пуговицы! И я не выдержала, похвалила. Какія, говорю, у васъ, графъ, чудесные брильянты! — А онъ, взявъ тутъ же со стола ножъ, отрѣзалъ одну пуговицу и презентовалъ мнѣ ее—и сказалъ: у васъ, голубушка, въ глазахъ во сто кратъ лучше брильянты; станьте-ка передъ зеркаломъ, да посравните. И я стала, и онъ сталъ со мной рядомъ.—Ну, что̀? кто правъ? говоритъ—а самъ глазами такъ и водитъ, такъ и водитъ вокругъ меня. И Алексѣй Сергѣичъ тутъ очень сконфузился; но я ему сказала: — Алексисъ, сказала я ему,—ты, пожалуйста, не конфузься; ты долженъ лучше меня знать! И онъ мнѣ отвѣтилъ:—Будь покойна, Мелани!—И самые эти брильянты у меня теперь вокругъ медальона Алексѣя Григорьевича—ты, чай, видѣлъ, голубчикъ, я его по праздникамъ на плечѣ ношу, на георгіевской лентѣ—потому, храбрый былъ онъ очень герой, георгіевскій кавалеръ: турку сжегъ!

Со всѣмъ тѣмъ, была Маланья Павловна женщина очень добрая: угодить ей было легко. — „Ни она тебя грызь, ни она тебя шпынь“, — отзывались о ней горничныя. — До страсти любила Маланья Павловна все сладкое—и особая старушка, которая только и занималась, что вареньемъ, а потому и прозывалась варенухой, разъ по десяти на день подносила ей китайское блюдечко—

тò съ розовыми листочками въ сахарѣ, тò съ барбарисомъ въ меду, или съ ананаснымъ шербетомъ. Маланья Павловна боялась одиночества — страшныя мысли тогда находятъ—и почти постоянно была окружена приживалками, которыхъ убѣдительно просила: „говорите-молъ, говорите, чтó такъ сидите—только мѣста свои грѣете!“ — и онѣ трещали, какъ канарейки. Будучи набожной не меньше Алексѣя Сергѣича, она очень любила молиться; но такъ какъ, по ея словамъ, она хорошо читать молитвы не выучилась—то и держалась на тò бѣдная вдова-дьяконица, которая ужъ такъ-то вкусно молилась! Не запнется ни вовѣкъ! И дѣйствительно: дьяконица эта умѣла какъ-то неудержимо произносить молитвенныя слова, не прерывая ихъ ни при вдыханьи, ни при выдыханьи—а Маланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней другая вдовушка; та должна была разсказывать ей на ночь сказки,—но только старыя, просила Маланья Павловна, тѣ, чтò я ужъ знаю; новыя-то всѣ выдуманы. Очень была Маланья Павловна легкомысленна—а иногда и мнительна: вдругъ ей чтò въ голову взбредетъ! Не жаловала она, напримѣръ, карлика Януса; все думалось ей, что онъ вдругъ возьметъ, да закричитъ: „а знаете вы кто я? Бурятскій князь! Вотъ, вы и покоряйтесь!“—А не то, домъ отъ меланхоліи подожжетъ. Щедра была Маланья Павловна такъ же, какъ и Алексѣй Сергѣичъ; но никогда деньгами не подавала—ручекъ не хотѣла марать,—а платками, сережками, платьями, лентами; или со стола пошлетъ пирогъ, да жаркого кусокъ — а не то, стклянницу вина. Бабъ по праздникамъ тоже угощать любила: станутъ онѣ пляcать, а она каблучками притопываетъ и въ позу становится.

Алексѣй Сергѣичъ очень хорошо зналъ, что жена его глупа; но чуть ли не съ перваго году женитьбы пріучилъ себя притворяться, будто она очень остра на языкъ и любитъ колкости говорить. Бывало, какъ только она слишкомъ разболтается, онъ тотчасъ погрозитъ ей мизинцемъ и приговариваетъ: „Охъ, язычокъ, язычокъ! *ужъ достанется ему* на томъ свѣтѣ! Проткнутъ его горя-

чей шпилькой!“ — Маланья Павловна этимъ, однако, не обижалась; напротивъ—ей какъ будто лестно было слышать такія слова: что жъ-молъ! Не моя вина, что умна родилась!

Маланья Павловна обожала своего мужа—и всю жизнь оставалась примѣрно-вѣрной женой; но былъ и въ ея жизни „предметъ“, молодой племянникъ, гусаръ, убитый, какъ она полагала, на дуэли изъ-за нея — а по болѣе достовѣрнымъ извѣстіямъ, умершій отъ удара кіемъ по головѣ, въ трактирной компаніи. Акварельный портретъ этого „предмета“ хранился у ней въ секретномъ ящикѣ. Маланья Павловна всякій разъ краснѣла до ушей, когда упоминала о Капитонушкѣ—такъ звался „предметъ“; — а Алексѣй Сергѣичъ нарочно хмурился, опять грозилъ женѣ мизинцемъ и говорилъ: „Не вѣрь коню въ полѣ, а женѣ въ домѣ! Охъ, ужъ этотъ мнѣ Капитонушка, Купидонушка!“—Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась, и восклицала: Алексисъ, грѣшно вамъ, Алексисъ!—Сами-то вы въ молодости, небось, „махались“ съ разными сударками—такъ вотъ, вы и полагаете... — „Ну, полно, полно, Маланьюшка“, перебивалъ съ улыбкой Алексѣй Сергѣичъ; — „бѣло твое платье—а душа еще бѣлѣй!“ — Бѣлѣй, Алексисъ, бѣлѣй! — „Охъ, язычокъ, по чести язычокъ“, повторялъ Алексисъ — и трепалъ ее по рукѣ.

Упоминать объ „убѣжденіяхъ“ Маланьи Павловны было бы еще неумѣстнѣе, чѣмъ объ убѣжденьяхъ Алексѣя Сергѣича; однако, мнѣ разъ пришлось быть свидѣтелемъ страннаго проявленія затаенныхъ чувствъ моей тетушки. Я какъ-то разъ, въ разговорѣ, упомянулъ объ извѣстномъ Шешковскомъ: Маланья Павловна внезапно помертвѣла въ лицѣ—такъ-таки помертвѣла, позеленѣла, несмотря на наложенныя бѣлила и румяна — и глухимъ, совершенно искреннимъ голосомъ (что̀ съ ней случалось очень рѣдко— она обыкновенно все какъ будто немножко рисовалась, тонировала, да картавила)—проговорила: „Охъ! кого ты это назвалъ! Да еще къ ночи! — Не произноси ты этого имени!“ Я удивился: какое могло имѣть значеніе это имя

для такого безобиднаго и невиннаго существа, которое не только сдѣлать—но и подумать не сумѣло бы ничего непозволительнаго? — На несовсѣмъ веселыя размышленія навелъ меня этотъ страхъ, проявившійся чуть не черезъ полстолѣтія.

Скончался Алексѣй Сергѣичъ на 88-мъ году отъ рожденія, въ самый 1848 годъ, который, видно, смутилъ даже его. И смерть его была довольно странная. Онъ еще поутру хорошо себя чувствовалъ, хотя уже совсѣмъ не покидалъ кресла. И вдругъ онъ зоветъ жену: „Маланьюшка, подь-ка сюда". — Что тебѣ, Алексисъ? — „Помирать мнѣ пора, голубушка, вотъ что". — Богъ съ вами, Алексѣй Сергѣичъ! Отчего такъ?—„А вотъ отчего: перво-на-перво, надо и честь знать; и еще: смотрю я себѣ давеча на ноги... чужія ноги—да и полно!—На руки... и тѣ чужія! Посмотрѣлъ на брюхо—и брюхо чужое!—Значитъ: чужой вѣкъ заѣдаю. Пошли-ка за попомъ; а пока—уложи меня на постелюшку—съ которой я уже не встану". Маланья Павловна переполошилась — однако, уложила старика, и за попомъ послала. Алексѣй Сергѣичъ исповѣдался, причастился, попрощался съ домочадцами — и сталъ засыпать. Маланья Павловна сидѣла у его кровати. — Алексисъ!—вскрикнула она вдругъ:—не пугай меня, не закрывай глазки! Аль болитъ что? — Старикъ посмотрѣлъ на жену. — „Нѣтъ, не болитъ ничего... а трудновато... дышать трудновато". Потомъ, помолчавъ немного—„Маланьюшка", промолвилъ онъ: „вотъ и жизнь проскочила— а помнишь, какъ мы вѣнчались... какова была парочка?"— Была, красавчикъ ты мой, Алексисъ ненаглядный!—Старикъ опять помолчалъ.—„Маланьюшка, а встрѣтимся мы на томъ свѣтѣ?"—Буду о томъ Бога молить, Алексисъ.— И старушка залилась слезами.—„Ну, не плачь, глупенькая; авось насъ тамъ Господь Богъ помолодитъ — и мы опять станемъ парочкой!" — Помолодитъ, Алексисъ! — „Ему, Господу, все возможно", замѣтилъ Алексѣй Сергѣичъ.— „Онъ чудотворецъ!—пожалуй, и умницей тебя сотворитъ... Ну, душка, пошутилъ; дай, поцѣлую ручку".—А я твою.— *И оба старика* поцѣловали другъ у друга въ подвертку руку.

Алексѣй Сергѣичъ началъ утихать и забываться. Маланья Павловна умиленно глядѣла на него, сбрасывая кончикомъ пальца слезинки съ рѣсницъ. Часа два просидѣла она такъ. „Започивалъ?“ спрашивала шопотомъ старушка, что̀ молиться хорошо умѣла, высовываясь изъ-за Иринарха, который, неподвижно, какъ столбъ, стоялъ у двери и пристально смотрѣлъ на отходившаго барина.— „Почиваетъ“, отвѣчала Маланья Павловна тоже шопотомъ. И вдругъ Алексѣй Сергѣичъ открылъ глаза.— „Подруга моя вѣрная“, пролепеталъ онъ, „супруга моя почтенная, въ ножки тебѣ бы поклонился за всю твою любовь и вѣрность—да гдѣ встать? Дай, хоть, перекрещу тебя“. — Маланья Павловна придвинулась, наклонилась... Но приподнятая рука упала безсильно на одѣяло—и черезъ нѣсколько мгновеній не стало Алексѣя Сергѣича.

Дочери его поспѣли только къ похоронамъ, съ мужьями: дѣтей у нихъ не было—ни у той, ни у другой. Алексѣй Сергѣичъ ихъ не обидѣлъ въ своемъ завѣщаньи, хотя и не вспомнилъ о нихъ на смертномъ одрѣ. — „Замешалось къ нимъ мое сердце“, сказалъ онъ мнѣ однажды. Зная его доброту, я дивился его словамъ. — Трудно разсудить родителей съ дѣтьми. — „Большой оврагъ малой начинается трещиной“, сказалъ Алексѣй Сергѣичъ мнѣ въ другой разъ по тому же поводу: — „въ аршинъ рана заживаетъ, а отруби хоть поготь—не прирастетъ“.

Мнѣ сдается, что дочери стыдились своихъ чудаковатыхъ стариковъ.

Мѣсяцъ спустя не стало и Маланьи Павловны. Съ самаго дня кончины Алексѣя Сергѣича она уже почти не вставала и не наряжалась; но похоронили ее въ голубой кофтѣ и съ медальономъ Орлова на плечѣ, только безъ брильянтовъ. Ихъ подѣлили дочери, подъ тѣмъ предлогомъ, что пойдутъ тѣ брильянты на оклады образовъ; на дѣлѣ же онѣ ихъ употребили на украшеніе собственныхъ особъ.

И вотъ — какъ живые стоятъ передо мною мои старики — и хорошее храню я о нихъ воспоминаніе. А между тѣмъ, въ самый мой послѣдній пріѣздъ къ нимъ

(я уже тогда былъ студентомъ) — совершилось событіе, которое внесло нѣкоторый разладъ въ то гармонически-патріархальное настроеніе, которое Телѣгинскій домъ навѣвалъ на меня.

Въ числѣ дворовой прислуги состоялъ нѣкто Иванъ, по кличкѣ „Сухихъ" — кучеръ или кучербкъ, какъ его прозывали за малый его ростъ — несмотря на его уже немолодыя лѣта. Крошечный это былъ человѣчекъ, вертлявый, курносый, кудрявый, съ вѣчно смѣющимся, младенческимъ лицомъ и мышиными глазками. Большой онъ былъ балагуръ и потѣшникъ; всякую штуку умѣлъ смастерить, фейерверки пускалъ, змѣи, во всѣ игры игралъ, стоя на лошади скакалъ, выше всѣхъ взлеталъ на качеляхъ, даже китайскія тѣни умѣлъ представлять. Никто лучше его не забавлялъ дѣтей — и самъ онъ съ ними хоть цѣлый день радъ былъ возиться. — Примется хохотать — весь домъ расколышетъ: то тутъ, то тамъ ему отвѣчаютъ—разберетъ всѣхъ... И ругаются, да смѣются.— Плясалъ Иванъ удивительно — особенно „рыбку". — Грянетъ хоръ плясовую, парень выйдетъ на середину круга— да и ну вертѣться, прыгать, ногами топать, а потомъ какъ треснется о̀-земь — да и представляетъ движенія рыбки, которую выкинули изъ воды на сушь: и такъ изгибается, и этакъ, даже каблуки къ затылку подводитъ;—а тамъ какъ вскочитъ, загогочетъ—просто земля подъ нимъ дрожитъ! Бывало, Алексѣй Сергѣичъ, большой, какъ я уже сказывалъ, охотникъ до хороводовъ, никакъ не можетъ утерпѣть, чтобъ не закричать: „Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку намъ валяй, живо!" — а черезъ минуту уже восторженно шепчетъ: „ахъ, онъ, такой-сякой!"

И вотъ — въ послѣдній мой пріѣздъ, входитъ этотъ самый Иванъ Сухихъ ко мнѣ въ комнату и, ни слова не говоря, становится на колѣни. — Иванъ, что̀ съ тобой?— „Спасите, баринъ!" — Какъ, что̀ такое? — И разсказалъ мнѣ тутъ Иванъ свою бѣду.

Былъ онъ вымѣненъ — лѣтъ двадцать тому назадъ— отъ господъ Сухихъ на другого крѣпостного Телѣгинскаго *человѣка;* — такъ-таки просто вымѣненъ, безо вся-

кихъ формальностей и бумагъ; отданный за него человѣкъ умеръ — а господа Сухіе забыли объ Иванѣ — и остался онъ въ домѣ Алексѣя Сергѣича, какъ свой; одно лишь прозвище его напоминало объ его происхожденіи.— Но вотъ, умерли и прежніе его господа; имѣніе попало въ другія руки—и новый владѣлецъ, о которомъ ходили слухи, что онъ человѣкъ жестокій, мучитель, провѣдавъ, что одинъ изъ его крѣпостныхъ обрѣтается безо всякаго вида и права у Алексѣя Сергѣича, сталъ его требовать обратно; въ случаѣ же отказа грозилъ судомъ и штрафомъ—и грозилъ не попустому—такъ какъ самъ состоялъ въ чинѣ тайнаго совѣтника и большой имѣлъ по губерніи вѣсъ. Иванъ, съ перепугу, бросился къ Алексѣю Сергѣичу. Жалко стало старику своего плясуна—и предложилъ онъ тайному совѣтнику купить у него Ивана, за хорошія деньги; но тайный совѣтникъ и слышать не хотѣлъ: былъ онъ малороссъ и упрямъ какъ чортъ. Приходилось отдавать бѣдняка. — „Я здѣсь сжился, я здѣсь освоился, я здѣсь служилъ, хлѣбъ ѣлъ и помереть здѣсь желаю“, говорилъ мнѣ Иванъ—и уже не было усмѣшки на его лицѣ; напротивъ—оно точно окаменѣло... „А теперь я долженъ идти къ этому злодѣю... Али я собака, что съ одной псарни на другую, завязавши оселомъ шею... на, молъ, тебѣ! Спасите, баринъ; помолите вы дяденьку—вспомните, какъ я всегда васъ потѣшалъ... А то, худо вѣдь будетъ; безъ грѣха дѣло не обойдется“.

— Какъ какого грѣха, Иванъ?

— А убью я того-то барина.—Такъ и приду—да скажу ему: баринъ, отпустите меня обратно; а не то—смотрите, оберегайтесь... я васъ убью.

Если бы зябликъ или чижъ могъ говорить и сталъ бы увѣрять меня, что онъ заклюетъ другую птицу—не привелъ бы онъ меня въ бо̀льшее изумленіе, чѣмъ Иванъ о ту пору. — Какъ! Ваня Сухихъ, этотъ плясунъ, балагуръ, потѣшникъ, любимецъ дѣтей — и самъ дитя — это добродушнѣйшее существо — убійца! Что̀ за чепуха! Ни на мгновенье не повѣрилъ я ему; меня до крайности поразило уже то, что онъ могъ выговорить такое слово!

Однако, я отправился къ Алексѣю Сергѣичу. — Не передалъ я ему того, что сказалъ мнѣ Иванъ, но всячески сталъ просить его, нельзя ли какъ-нибудь поправить дѣло? — „Сударикъ ты мой“, отвѣчалъ мнѣ старикъ: „и радъ бы радостью—но какъ быть?—Предлагалъ я этому хохлу вознагражденія великія — триста рублей предлагалъ, по чести тебѣ говорю! а онъ—куды тебѣ! что станешь дѣлать? Поступлено было противозаконно, на вѣру, по-старинѣ... а теперь вонъ какое худо вышло! Вѣдь хохолъ тотъ, чего добраго, силкомъ Ивана у меня возьметъ — рука его властная, губернаторъ у него щи хлебаетъ — солдатъ пришлетъ хохолъ! А боюсь я солдатъ этихъ! Прежде, что говорить, я, какъ ни какъ, отстоялъ бы Ивана; — а теперь посмотри ты на меня, какой я дряхлецъ сталъ. Гдѣ мнѣ воевать?“—Дѣйствительно: въ послѣдній мой пріѣздъ я нашелъ Алексѣя Сергѣича чрезвычайно постарѣвшимъ: даже зрачки его глазъ приняли молочный цвѣтъ — какъ у младенцевъ — и на губахъ появилась не прежняя сознательная улыбка, а та напряженно-слащавая, безсознательная усмѣшка, которая и во время сна не сходитъ съ нихъ у очень дряхлыхъ людей.

Сообщилъ я рѣшеніе Алексѣя Сергѣича Ивану. Онъ постоялъ, помолчалъ, помоталъ головою.—„Ну“, сказалъ онъ наконецъ: „чему быть, того не миновать. А только слово мое крѣпко. Значитъ: одно осталось... почудесить на послѣдяхъ. — Баринъ, пожалуйте на водку!“ Я ему далъ; онъ напился пьянъ — и въ тотъ же день такую откололъ „рыбку“, что дѣвки и бабы даже взвизгивали— до того онъ кочевряжился!

На другой день я уѣхалъ домой, а мѣсяца черезъ три — уже въ Петербургѣ — я узналъ, что Иванъ сдержалъ-таки свое слово! — Выслали его къ новому барину; позвалъ его баринъ въ кабинетъ и объявилъ ему, что будетъ онъ у него состоять кучеромъ, что поручается ему тройка вятокъ, и что строго съ него взыщется, если будетъ худо за ними ходить, и вообще не будетъ исправенъ. — „*Я-де шутить не люблю*“. — Иванъ выслушалъ

барина, сперва въ ноги ему поклонился — а потомъ объявилъ, что, какъ его милости угодно, а не можетъ онъ быть ему слугою. — Отпустите, молъ, меня на оброкъ, ваше благородіе, али въ солдаты опредѣлите; а то— долго ли до бѣды?

Баринъ вспылилъ. — Ахъ, ты, такой-сякой! Что ты это мнѣ сказать посмѣлъ? — Во-первыхъ, знай, что я превосходительство, а не высокоблагородіе; во-вторыхъ, ты ужъ изъ лѣтъ вышелъ и ростъ у тебя не такой, чтобы тебя въ солдаты отдать; а наконецъ—какою это ты мнѣ бѣдой грозишь? Поджечь, что ли, меня собираешься?

— Нѣтъ, ваше превосходительство, не поджечь.

— Такъ убить, что ли?

Иванъ промолчалъ. — Не слуга я вамъ, — промолвилъ онъ наконецъ.

— А вотъ, я тебѣ покажу,—взревѣлъ баринъ:—мой ли ты слуга или нѣтъ! — И, жестоко наказавъ Ивана, всетаки повелѣлъ ему выдать на руки тройку вятокъ и опредѣлить его кучеромъ на конный дворъ.

Иванъ, повидимому, покорился; началъ ѣздить кучеромъ. Такъ какъ онъ на это дѣло былъ мастеръ, то вскорѣ полюбился барину — тѣмъ болѣе, что велъ себя Иванъ очень скромно и тихо, и лошади у него раздобрѣли; выхолилъ онъ ихъ—такіе огурчики стали—заглядѣнье! Сталъ баринъ выѣзжать съ нимъ, чаще, чѣмъ съ другими кучерами. Бывало, спроситъ: „А что, помнишь, Иванъ, какъ мы съ тобой неладно встрѣтились? Чай, дурь-то съ тебя соскочила?“ Но Иванъ на эти слова никогда ничего не отвѣчалъ.—Вотъ, однажды, подъ самое Крещеніе, отправился баринъ съ Иваномъ въ городъ на его тройкѣ съ бубенцами, въ ковровыхъ пошевняхъ. Стали лошади шагомъ подниматься въ гору — а Иванъ слѣзъ съ облучка и зашелъ за пошевни, словно что обронилъ. — Морозъ стоялъ сильный: баринъ сидѣлъ закутавшись, и бобровую шапку на уши надвинулъ. Тогда Иванъ досталъ изъ-подъ полы топоръ, подошелъ сзади къ барину, сбилъ съ него шапку— *да, промолвивъ:* „Я тебя, Петръ Петровичъ, остерегалъ— *самъ на* себя теперь пеняй!“ —раскроилъ ему голову однимъ

ударомъ. Потомъ остановилъ лошадей, надѣлъ на мертваго барина сбитую шапку — и, снова взобравшись на облучокъ, привезъ его въ городъ, прямо къ присутственнымъ мѣстамъ.

— Вотъ-молъ вамъ Сухинскій генералъ, убитый; и убилъ я его.— Какъ я ему сказалъ — такъ я ему и сдѣлалъ. Вяжите!

Ивана схватили, судили, присудили къ кнуту, а потомъ на каторгу.—Попалъ въ рудники веселый, птицеобразный плясунъ—да и исчезъ тамъ навѣки...

Да; поневолѣ — хоть и въ иномъ смыслѣ — повторишь съ Алексѣемъ Сергѣичемъ:—Хороша старина... ну, да и Богъ съ ней!

1881 г.

II.
ОТЧАЯННЫЙ.

I.

...Насъ было человѣкъ восемь въ комнатѣ,—и мы разговаривали о современныхъ дѣлахъ и людяхъ.

— Не понимаю я этихъ господъ!—замѣтилъ А.: — они отчаянные какіе-то... Право, отчаянные... Ничего подобнаго еще никогда не бывало.

— Нѣтъ, бывало, — вмѣшался П., уже старый, сѣдоволосый человѣкъ, родившійся около двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія: — отчаянные люди водились и прежде, только не походили они на нынѣшнихъ отчаянныхъ. Про поэта Языкова кто-то сказалъ, что у него былъ восторгъ, ни на что не обращенный, безпредметный восторгъ; такъ и у тѣхъ людей—отчаянность была безпредметная. Да вотъ, если позволите, я вамъ разскажу исторію моего двоюроднаго племянника, Миши Полтева. Она можетъ служить образчикомъ тогдашней отчаянности.

Явился онъ на свѣтъ Божій, помнится, въ 1828 году, въ родовомъ помѣстьѣ своего отца, въ одномъ изъ самыхъ глухихъ уголковъ глухой степной губерніи. Мишина отца, Андрея Николаевича Полтева, я еще хорошо помню. Это

былъ настоящій, старозавѣтный помѣщикъ, богобоязненный, степенный человѣкъ, достаточно—по тому времени—образованный, немного, правду сказать, придурковатый, да и къ тому же страдавшій падучей болѣзнью... Это тоже старозавѣтная, дворянская болѣзнь... Впрочемъ, припадки у Андрея Николаевича бывали тихіе, и разрѣшались они обыкновенно сномъ, да унылостью.—Сердца онъ былъ добраго, обращенія привѣтливаго, не безъ нѣкоторой величавости: я себѣ всегда такимъ воображалъ царя Михаила Ѳедоровича. Вся жизнь Андрея Николаевича протекла въ неукоснительномъ исполненіи всѣхъ съ давнихъ временъ установившихся обрядовъ, въ строгомъ соотвѣтствіи со всѣми обычаями древне-православнаго, свято-русскаго быта. Онъ вставалъ и ложился, кушалъ и въ баню ходилъ, веселился и гнѣвался (то̀ и другое, правда, рѣдко), даже трубку курилъ, даже въ карты игралъ (два большихъ повшества!) не такъ, какъ бы ему вздумалось, не на свой маперъ,—а по завѣту и преданію отцовъ—истово и чинно. Самъ онъ былъ высокаго росту, осанистъ и мясистъ, голосъ имѣлъ тихій и нѣсколько хрипловатый, какъ оно часто бываетъ у русскихъ добродѣтельныхъ людей; соблюдалъ опрятность въ бѣльѣ и одеждѣ, носилъ бѣлые галстуки и табачнаго цвѣта длиннополые сюртуки, а дворянская кровь все-таки сказывалась; за поповича или купца никто бы его не принялъ! Всегда, при всѣхъ возможныхъ случаяхъ и встрѣчахъ, Андрей Николаевичъ несомнѣнно зналъ, какъ надо поступать, что̀ надо говорить, и какія именно выраженія употреблять; зналъ, когда должно лѣчиться и чѣмъ именно, какимъ примѣтамъ должно вѣрить и какія можно оставлять безъ вниманія... словомъ, зналъ все, что̀ слѣдуетъ дѣлать... Ибо все-молъ стариками предусмотрѣно и указано—своего только не придумывай... А главное: безъ Бога ни до порога! — Должно сознаться: скука смертельная царила въ его домѣ, въ этихъ низкихъ, теплыхъ и темныхъ комнатахъ, столь часто оглашаемыхъ пѣніемъ всенощныхъ и молебновъ, съ почти не переводившимся *запахомъ ладана* и постныхъ кушаній!

Женился Андрей Николаевичъ, уже не въ первой молодости, на сосѣдней бѣдной барышнѣ, очень нервической и болѣзненной особѣ, бывшей институткѣ. Она недурно играла на фортепіано, говорила по-французски на институтскій ладъ, охотно восторгалась и еще охотнѣе предавалась меланхоліи и даже слезамъ... Словомъ—характера была безпокойнаго. Считая жизнь свою загубленной, она не могла любить своего мужа, который, „конечно", ея не понималъ; но она уважала... она сносила его; и будучи существомъ вполнѣ честнымъ и вполнѣ холоднымъ, ни разу даже не подумала о другомъ „предметѣ". Къ тому же, ее постоянно поглощали заботы, во-первыхъ, о своемъ собственномъ, дѣйствительно слабомъ здоровьѣ; во-вторыхъ, о здоровьѣ мужа, припадки котораго ей всегда внушали нѣчто въ родѣ суевѣрнаго ужаса, а наконецъ, и о единственномъ своемъ сынѣ, Мишѣ, котораго она воспитывала сама съ большимъ рвеніемъ. Андрей Николаевичъ не мѣшалъ женѣ заниматься Мишей, — но съ условіемъ: ни подъ какимъ видомъ не выступать изъ однажды навсегда назначенныхъ рамокъ, въ которыхъ все должно было вращаться у него въ домѣ! Такъ, напримѣръ: въ святки и подъ Новый годъ, въ Васильевъ вечеръ, Мишѣ позволялось наряжаться вмѣстѣ съ другими „хлопчиками", и не только позволялось, но даже ставилось въ обязанность... За то—сохрани Богъ, въ другое время! и т. д., и т. д.

II.

Помню я этого Мишу лѣтъ тринадцати. — Это былъ очень миловидный мальчикъ съ розовыми щечками и мякенькими губками (да и весь онъ былъ мякенькій да пухленькій), съ нѣсколько выпуклыми, влажными глазами, тщательно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый — настоящая дѣвочка! — Одно только въ немъ мнѣ не нравилось: смѣялся онъ рѣдко; но когда смѣялся—зубы его, крупные, бѣлые и по звѣриному заостренные, непріятно выставлялись, — самый смѣхъ звучалъ чѣмъ-то рѣзкимъ и даже дикимъ — почти звѣрскимъ,—а

въ глазахъ пробѣгали нехорошія искры. Мать все хвалила его за то, что онъ такой послушный и вѣжливый— и съ мальчиками-шалунами не любитъ знаться, а все больше льнетъ къ женскому обществу.—„Матушкинъ сынокъ, нѣженка", — отзывался о немъ отецъ, Андрей Николаевичъ: — „но за то въ храмъ Божій ходитъ охотно... И это меня радуетъ". — Одинъ только старикъ-сосѣдъ, бывшій исправникъ, сказалъ разъ при мнѣ о Мишѣ: — „Помилуйте, бунтовщикъ будетъ". И это слово меня, помнится, тогда очень удивило. Бывшій исправникъ, правда, всюду видѣлъ бунтовщиковъ.

Точно такимъ примѣрнымъ юношей оставался Миша до 18-тилѣтняго возраста, до самой смерти родителей, которыхъ онъ лишился едва ли не въ одинъ и тотъ же день. Живя постоянно въ Москвѣ, я ничего не слышалъ о моемъ молодомъ родственникѣ. Правда, одинъ пріѣзжій изъ его губерніи увѣрялъ меня, будто бы Миша продалъ за безцѣнокъ свое родовое имѣніе; но это извѣстіе казалось мнѣ слишкомъ неправдоподобнымъ!—И вотъ, вдругъ, въ одно осеннее утро, на дворъ моего дома влетаетъ коляска, запряженная парой превосходныхъ рысаковъ, съ чудовищнымъ кучеромъ на козлахъ; а въ коляскѣ—облеченный въ шинель военнаго покроя съ двухъ-аршиннымъ бобровымъ воротникомъ, съ фуражкой на бекрень à la diable m'emporte, сидитъ... Миша! — Увидавъ меня (я стоялъ у окна гостиной и съ изумленіемъ глядѣлъ на влетѣвшій экипажъ), — онъ захохоталъ своимъ рѣзкимъ хохотомъ, и лихо тряхнувъ обшлагомъ шинели, выпрыгнулъ изъ коляски и вбѣжалъ въ домъ.

— Миша! Михаилъ Андреевичъ! — началъ-было я...— Вы ли это?

— Говорите мнѣ: „ты" и „Миша", — перебилъ онъ меня.—Я... это я, собственной персоной... явился въ Москву... на людей посмотрѣть... и себя показать. Вотъ, и къ вамъ заѣхалъ. — Каковы рысачки?.. А? — онъ опять захохоталъ.

Хотя лѣтъ семь прошло съ тѣхъ поръ, какъ я въ послѣдній *разъ* видѣлъ Мишу, но узналъ я его тотчасъ.—

Лицо у него осталось совсѣмъ молодымъ и попрежнему миловиднымъ, — даже усъ не пробился; только подъ глазами па щекахъ появилась одутловатость — и изо рту пахло виномъ.

— Да давно ли ты въ Москвѣ? — спросилъ я.— Я полагалъ, что ты тамъ въ деревнѣ, хозяйничаешь...

— Э! Деревню-то я тотчасъ по боку! — Какъ только родители, царство имъ небесное, скончались—(Миша перекрестился истово, безъ малѣйшаго кощунства)—я сейчасъ, нимало не медля... эйнъ, цвей, дрей! ха-ха! Дешево спустилъ, канальство! Такой подвернулся шельмецъ.—Ну, да все равно! По крайней мѣрѣ, поживу въ свое удовольствіе — и другихъ потѣшу. — Да что вы на меня такъ уставились?—Неужто же, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ было тянуть да тянуть эту канитель?.. Голубчикъ, родной, нельзя ли чарочку?

Миша говорилъ ужасно скоро, торопливо и, въ то же время, какъ бы съ просонья.

— Миша, помилуй!—возопилъ я:—побойся ты Бога! на кого ты похожъ, въ какомъ ты видѣ? А еще чарочку! И продать такое хорошее имѣніе за безцѣнокъ...

— Бога я всегда боюсь и помню,—подхватилъ онъ. — Да, вѣдь, Онъ добрый — Богъ-то... проститъ! И я тоже добрый... никого еще въ жизни не обидѣлъ. И чарочка тоже добрая; и обижать... тоже никого не обижаетъ. А видъ у меня самый настоящій... Дяденька, желаете, стрункой по половицѣ пройду? Или попляшу немного?

— Ахъ, пожалуйста, избавь! — Какой тутъ плясъ? Ты лучше сядь.

— Сѣсть-то я сяду... Да что вы мнѣ ничего не скажете о моихъ сѣрыхъ? Вы посмотрите, вѣдь львы! Пока я ихъ нанимаю, но куплю непремѣнно... вмѣстѣ съ кучеромъ.—Свои лошади не въ примѣръ выгоднѣе. И деньги вѣдь были, да спустилъ ихъ вчера въ банчишко. — Ничего, завтра наверстаемъ. Дяденька... а что же чарочку?

Я все еще не могъ опомниться. — Помилуй, Миша, сколько тебѣ лѣтъ? Не лошадьми, не карточной игрой

тебѣ заниматься слѣдуетъ... а въ университетъ поступить или на службу.

Миша сперва опять захохоталъ, потомъ свистнулъ протяжно.

— Ну, дяденька, я вижу, вы теперь въ меланхолическомъ настроеніи. Заверну въ другой разъ. — А вы вотъ что: заѣзжайте-ка вечеркомъ въ Сокольники. Тамъ у меня палатка разбита. Цыгане поютъ... Фу ты! ну ты! держись только! А на палаткѣ вымпелъ, а на вымпелѣ ба-альшими буквами написано: „Хоръ Полтевскихъ цыганъ". Змѣемъ вымпелъ-то вьется, буквы золотыя, всякому прочесть лестно. Угощеніе—кто только пожелаетъ!.. Отказу нѣтъ. Пыль по всей Москвѣ пошла... мое почтеніе!.. Что жъ? Заѣдете? Ужъ какая тамъ у меня есть одна... аспидъ! Черна, какъ сапогъ, злюща, какъ собака, а глаза... уголья! Никакъ не возможно узнать: что опа—поцѣлуетъ или укуситъ?.. Заѣдете, дяденька?.. Ну, до свиданія!

И внезапно обнявъ и чмокнувъ меня въ плечо, Миша выскочилъ на дворъ, въ коляску, махнулъ надъ головой фуражкой, гикнулъ, — чудовищный кучеръ покосился на него черезъ бороду, рысаки рванулись, и все исчезло!

На другой день, я, грѣшный человѣкъ, поѣхалъ-таки въ Сокольники, и дѣйствительно увидалъ палатку съ вымпеломъ и надписью. Полы палатки были приподняты; шумъ, трескъ, визгъ неслись оттуда. Народъ толпился кругомъ. На землѣ, на разостланномъ коврѣ сидѣли цыгане, цыганки, пѣли, били въ бубны, а посреди ихъ, съ гитарой въ рукахъ, въ шелковой красной рубахѣ и бархатныхъ шароварахъ, юлою вертѣлся Миша.— „Господа! почтенные! милости просимъ! сейчасъ представленіе начнется! Даровое!"—кричалъ онъ надтреснутымъ голосомъ.— „Эй! шампанскаго! хлопъ! въ лобъ! въ потолокъ! ахъ, ты, шельма, Поль-де-Кокъ!" — Къ счастью, онъ не увидалъ меня, и я поспѣшилъ удалиться.

Не буду, господа, я распространяться о моемъ изумленіи при видѣ такой перемѣны. И въ самомъ дѣлѣ, какъ могъ этотъ смирный и скромный мальчикъ превратиться вдругъ въ пьянаго шалопая?! Неужто же это все въ немъ

таилось съ дѣтства, и тотчасъ выступило наружу, какъ только соскочилъ съ него гнетъ родительской власти? — А что пыль пошла отъ него по Москвѣ, какъ онъ выражался,—въ этомъ уже, точно, не было никакого сомнѣнія. Видалъ я кутилъ на своемъ вѣку; но тутъ проявлялось нѣчто неистовое, какое-то бѣшенство самоистребленія, какое-то отчаяніе!

III.

Мѣсяца два продолжалась эта потѣха... И вотъ, стою я опять у окна въ гостиной и посматриваю на дворъ... Вдругъ — что̀ за притча!?. входитъ въ ворота тихой поступью послушникъ... Шапонька гречникомъ надвинута на лобъ, волосики изъ-подъ ней расчесаны направо и налѣво... длинный подрясникъ, кожаный поясъ... Неужели Миша? Онъ и есть!

Вышелъ я къ нему на крыльцо... — Это что за маскарадъ?—спрашиваю я.

— Не маскарадъ, дяденька,—отвѣчаетъ мнѣ Миша съ глубокимъ вздохомъ:—а такъ какъ я все мое имущество до послѣдней копеечки растранжирилъ — да и раскаяніе мною овладѣло сильное, — то я рѣшился отправиться въ Троицкую Сергіеву Лавру, грѣхи свои отмаливать. — Ибо какой мнѣ теперь пріютъ остался?.. И вотъ, пришелъ я къ вамъ проститься, дяденька, какъ блудный сынъ...

Я посмотрѣлъ въ упоръ на Мишу. Лицо все такое же, розовое да свѣжее (впрочемъ, оно такъ и не измѣнилось у него до конца),—и глаза влажные да ласковые съ поволокой—и ручки бѣленькія... А виномъ отдаетъ.

— Что жъ!—промолвилъ я, наконецъ:—дѣло хорошее—коли другого исхода нѣтъ. Но зачѣмъ же отъ тебя виномъ-то пахнетъ?

— Старая закваска, — отвѣтилъ Миша, и вдругъ засмѣялся — да тотчасъ спохватился, и поклонившись прямымъ и низкимъ, монашескимъ поклономъ, прибавилъ:— Не пожалуете ли что̀ на путь-дороженьку? Вѣдь въ монастырь иду я пѣшкомъ...

— Когда?

— Сегодня... сейчасъ.

— Къ чему же такъ спѣшить?

— Дяденька! мой девизъ всегда былъ: скорѣй! скорѣй!

— А теперь какой у тебя девизъ?

— И теперь тотъ же... Только—къ *добру* скорѣй!

Такъ Миша и ушелъ, предоставивъ мнѣ размышлять о превратностяхъ судебъ человѣческихъ.

Но онъ скоро напомнилъ мнѣ о своемъ существованіи. Мѣсяца два спустя послѣ его посѣщенія, я получилъ отъ него письмо, первое изъ тѣхъ писемъ, которыми онъ впослѣдствіи надѣлялъ меня. И замѣтьте странность: я рѣдко видывалъ болѣе опрятный и четкій почеркъ, чѣмъ у этого безалабернаго человѣка. И слогъ его писемъ былъ очень правильный, слегка витіеватый. Неизмѣнныя просьбы о помощи всегда чередовались съ обѣщаніями исправиться, честными словами и клятвами... Все это казалось—а, можетъ, и было — искреннимъ. Росчеркъ Миши подъ письмомъ постоянно сопровождался особенными закрутасами, черточками и точками,—и много употреблялъ онъ восклицательныхъ знаковъ. Въ томъ первомъ письмѣ Миша извѣщалъ меня о новомъ „оборотѣ своей фортуны". (Впослѣдствіи онъ называлъ эти обороты — нырками... и нырялъ онъ часто.) Онъ отправился на Кавказъ, служить „грудью" царю и отечеству, въ качествѣ юнкера! И хотя нѣкая добродѣтельная тетка вошла въ его бѣдственное положеніе и прислала ему незначительную сумму, — онъ, однако, все-таки просилъ и меня помочь ему экипироваться. Я исполнилъ его просьбу, и въ теченіе двухъ лѣтъ опять ничего не слышалъ о немъ.

Признаться, я сильно сомнѣвался въ томъ, поѣхалъ ли онъ на Кавказъ? Но оказалось, что онъ, точно, поѣхалъ туда, по протекціи поступилъ въ Т...ій полкъ юнкеромъ и прослужилъ въ немъ эти два года. Цѣлыя легенды составились тамъ о немъ. Мнѣ ихъ сообщилъ одинъ офицеръ его полка.

IV.

Я узналъ много такого, чего я и отъ него не ожидалъ.—Меня, конечно, не удивило то, что военнымъ человѣкомъ, служакой, онъ оказался плохимъ, даже просто негоднымъ; но чего я не ожидалъ, такъ это того, что и храбрости въ немъ особенной не замѣчалось; что въ сраженіяхъ онъ имѣлъ видъ унылый и вялый, не то скучалъ, не то смущался. Всякая дисциплина его стѣсняла, внушала ему грусть; дерзокъ онъ былъ до сумасбродства, когда дѣло шло только о немъ *лично*; не было такого безумнаго пари, отъ котораго бы онъ отказался; но дѣлать зло другимъ, убивать, драться онъ не могъ, быть-можетъ, оттого, что сердце у него было доброе—а, быть-можетъ, оттого, что „хлопчато-бумажное" (какъ онъ выражался) воспитаніе его изнѣжило. Самого себя истреблять онъ былъ готовъ всячески и во всякое время... Но другихъ—нѣтъ. „Чортъ его разберетъ", толковали о немъ товарищи:—„дряблый онъ, тряпка—и отчаянный какой-то — просто оглашенный!" —Случалось мнѣ впослѣдствіи спрашивать Мишу, какой это злой духъ его толкаетъ, заставляетъ пить запоемъ, рисковать жизнью и т. п.? У него всегда былъ одинъ отвѣтъ: тоска!

— Да отчего—тоска?

— Какъ же, помилуйте! Придешь, этакимъ образомъ, въ себя, очувствуешься, станешь размышлять о бѣдности, о несправедливости, о Россіи... Ну — и кончено! Сейчасъ тоска—хоть пулю въ лобъ! Закутишь поневолѣ.

— Россію-то ты зачѣмъ сюда приплелъ?

— А то какъ же? Нельзя! — Оттого я и боюсь размышлять.

— Все это у тебя—и тоска эта—отъ бездѣйствія.

— Да не умѣю я ничего дѣлать, дяденька! родной!— Вотъ, взять, да жизнь на карту поставить—пароли пэ, да щолкъ за воротникъ! Это я умѣю! — Вы, вотъ, научите, меня, что мнѣ дѣлать, жизнью изъ-за чего рискнуть?— *Я—сію* минуту!..

— Да ты живи просто... Зачѣмъ рисковать?

— Не могу! — Вы скажете: необдуманно я поступаю... Какъ же иначе?.. Станешь думать — и, Господи, что въ голову полѣзетъ! Это нѣмцы одни думаютъ!..

Какъ тутъ было разговаривать съ нимъ? Отчаянный— да и полно!

Изъ числа кавказскихъ легендъ, о которыхъ я упомянулъ, разскажу вамъ двѣ, три. Однажды, въ обществѣ офицеровъ, сталъ Миша хвастаться вымѣненной шашкой.—Настоящій персидскій клинокъ! Офицеры выразили сомнѣніе, точно ли клинокъ настоящій? Миша заспорилъ.— Да вотъ, — воскликнулъ онъ, наконецъ:—говорятъ — насчетъ шашекъ первый знатокъ—Абдулка кривой. Поѣду къ нему и спрошу. — Офицеры изумились. — Это какой Абдулка? Что въ горахъ живетъ? Не мирной? Абдулъ-ханъ? — Онъ самый и есть. — Да онъ тебя за лазутчика приметъ, въ клоповникъ засадитъ, — а не то, этой самой шашкой голову тебѣ срѣжетъ. Да и какъ ты доберешься до него? Тебя сейчасъ сцапаютъ. — А я, все-таки, поѣду къ нему.—Пари, что не поѣдешь!—Пари!—И Миша тотчасъ осѣдлалъ лошадь и поѣхалъ къ Абдулкѣ. Три дня пропадалъ. Всѣ были убѣждены, что пришелъ оглашенному конецъ. Глядь! вернулся — пьянехонекъ и съ шашкой, только не съ той, которую повезъ, а съ другою. Стали его разспрашивать. — Ничего, говоритъ: — добрый Абдулка человѣкъ. Сперва, точно: кандалы велѣлъ мнѣ на ноги набить и даже на колъ посадить собирался. Только я объяснилъ ему, зачѣмъ пріѣхалъ, и шашку показалъ.—И не задерживай ты меня, говорю: выкупа, говорю, за меня не жди; гроша у меня за душою нѣтъ—и родныхъ не имѣется.—Удивился Абдулка; посмотрѣлъ на меня единымъ своимъ глазомъ.—Ну, говоритъ, делибашъ ты, урусъ! долженъ я тебѣ вѣрить?—Вѣрь, говорю; я не лгу никогда (и точно, Миша никогда не лгалъ).— Опять посмотрѣлъ на меня Абдулка.— А пить вино умѣешь? — Умѣю, говорю, сколько дашь, столько и выпью. — Опять удивился Абдулка, Аллаха помянулъ. И велѣлъ онъ тутъ своей—дочкѣ, что ли, хорошенькая такая, только взглядъ, какъ *у чекалки*,—притащить бурдюкъ. И началъ я дѣй-

ствовать. — А шашка твоя, говоритъ, фальшивая; вотъ, возьми настоящую. И теперь мы съ тобой кунаки. — А пари вы, господа, проиграли, платите.

Вторая легенда о Мишѣ вотъ какого свойства: онъ до страсти любилъ карты; но такъ какъ денегъ у него не водилось и карточные долги онъ не платилъ (хотя шулеромъ никогда не былъ), то играть съ нимъ уже никто не садился. Вотъ, однажды, началъ онъ приставать къ одному товарищу-офицеру: сыграй да сыграй съ нимъ!— Да вѣдь ты проиграешь—не отдашь. — Деньгами, точно, не отдамъ—а лѣвую руку себѣ прострѣлю, вотъ этимъ самымъ пистолетомъ! — Да какая мнѣ отъ этого выгода будетъ?—Выгоды никакой—а все-таки любопытно.—Разговоръ этотъ происходилъ послѣ попойки, при свидѣтеляхъ. Точно ли показалось офицеру любопытнымъ Мишино предложеніе—только онъ согласился. Принесли карты, началась игра. Мишѣ повезло: онъ выигралъ сто рублей. И тутъ противникъ его ударилъ себя по лбу.—Какой же я олухъ!—воскликнулъ онъ:—на какую удочку попался! Кабы ты проигралъ, сталъ бы ты себѣ прострѣливать руку—какъ же, держи карманъ!—А вотъ, ты и совралъ,—возразилъ Миша:—я и выигралъ—да руку себѣ прострѣлю.— Онъ схватилъ пистолетъ—и бацъ! прострѣлилъ себѣ руку. Пуля пролетѣла насквозь... а недѣлю спустя рана зажила совершенно.

Въ другой еще разъ, ѣхалъ Миша ночью съ товарищами по дорогѣ... И видятъ они, возлѣ самой дороги зіяетъ узкій оврагъ, въ родѣ разсѣлины, темный-претемный, дна не видать. — Вотъ,—говоритъ одинъ товарищъ:—ужъ на что Мишка отчаянный, а въ этотъ оврагъ не прыгнетъ. — Нѣтъ, прыгну. — Нѣтъ, не прыгнешь, потому что въ немъ, пожалуй, саженъ десять глубины, и шею сломить можно. — Зналъ пріятель, за что его задѣть—за самолюбіе... Очень оно было у Миши велико.— А я все-таки прыгну! Хочешь пари? Десять рублей. — Изволь! — И не успѣлъ товарищъ выговорить это слово, какъ уже Миша съ коня долой — въ оврагъ — и загремѣлъ по каменьямъ. Всѣ такъ и замерли... Прошла

добрая минута, и слышатъ они, словно изъ земной утробы доносится Мишинъ голосъ, глухо таково: — Цѣлъ! въ песокъ попалъ... А летѣлъ долго! Десять рублей за вами. — Вылѣзай!—закричали товарищи. — Да, вылѣзай!—отозвался Миша:—чорта съ два! вылѣзешь тутъ. Вамъ теперь за веревками да за фонарями ѣхать надо. А пока, чтобы не скучно было ждать, бросьте-ка мнѣ фляжку...

Такъ и пришлось Мишѣ просидѣть часовъ пять на днѣ оврага; и когда его вытащили, у него плечо оказалось вывихнутымъ. Но это нисколько его не смутило. На другой же день костоправъ изъ кузнецовъ вправилъ ему плечо, и онъ дѣйствовалъ имъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

Вообще, здоровье у него было удивительное, неслыханное. Я уже сказывалъ вамъ, что онъ до самой смерти сохранилъ почти дѣтскую свѣжесть лица. Болѣзней онъ не вѣдалъ, несмотря на всѣ излишества; крѣпость его организма ни разу не пошатнулась. Гдѣ бы другой непремѣнно занемогъ опасно, или даже умеръ бы, онъ только встряхивался, какъ утка на водѣ, и расцвѣталъ пуще прежняго. Разъ, тоже на Кавказѣ... Правда, *эта* легенда не правдоподобна, но по ней можно судить, на что считали Мишу способнымъ... Итакъ, разъ, на Кавказѣ, онъ въ пьяномъ видѣ свалился въ ручей нижней частью туловища; голова и рука остались на берегу, наружу. Дѣло было зимою, ударилъ сильный морозъ, и когда его нашли на другое утро, ноги его и животъ сквозили изъ-подъ крѣпкой ледяной коры, намерзшей въ теченіе ночи—и хоть бы насморкъ онъ схватилъ! Въ другой разъ (это было уже въ Россіи, подъ Орломъ, и тоже въ жестокій морозъ), попалъ онъ въ загородный трактиръ, въ компанію семи молодыхъ семинаристовъ. Семинаристы эти праздновали свой выпускной экзаменъ, а Мишу пригласили, какъ милаго человѣка, человѣка „со вздохомъ", какъ говорилось тогда. Выпито было чрезвычайно много, и когда, наконецъ, веселая ватага собралась къ отъѣзду, Миша, мертвецки пьяный, на-

ходился уже въ безчувственномъ состояніи. У всѣхъ семи семинаристовъ были однѣ только троечныя сани съ высокимъ задкомъ; куда было дѣть безотвѣтное тѣло? Тогда одинъ изъ молодыхъ людей, вдохновившись классическими воспоминаніями, предложилъ привязать Мишу за ноги къ задку саней, какъ Гектора къ колесницѣ Ахиллеса! Предложеніе было одобрено... и, подпрыгивая на ухабахъ, скользя бокомъ на раскатахъ, съ задранными къ верху ногами, съ вываленной въ снѣгу головой, проѣхалъ нашъ Миша на спинѣ все двухверстное разстояніе отъ трактира до города, и хоть бы кашлянулъ потомъ, хоть бы поморщился! Такимъ дивнымъ здоровьемъ надѣлила его природа!

V.

Съ Кавказа онъ опять явился въ Москву, въ черкескѣ, съ патронами на груди, съ кинжаломъ на поясѣ, съ высокой папахой на головѣ. Съ этимъ костюмомъ онъ уже до конца не разстался, хоть и не находился болѣе на военной службѣ, изъ которой его выключили за неявку къ сроку. Онъ побывалъ у меня, занялъ немного денегъ... и тутъ-то начались его „нырки“, начались его хожденія по мытарствамъ или, какъ онъ выражался, по семи Семіонамъ; начались внезапныя отлучки и возвращенія, посыпались красиво написанныя письма, адресованныя ко всѣмъ возможнымъ лицамъ, начиная съ митрополита и кончая берейторами и повивальными бабками! Пошли визиты къ знакомымъ и незнакомымъ! И вотъ что слѣдуетъ замѣтить: дѣлая свои визиты, онъ не низкопоклонничалъ и не канючилъ, а напротивъ, держался прилично, и даже видъ имѣлъ веселый и пріятный, хотя заматерѣлый запахъ вина сопровождалъ его повсюду—и восточный костюмъ понемногу превращался въ лохмотья. — Дадите, Богъ васъ наградитъ, хоть я этого и не стою,—говорилъ онъ, свѣтло улыбаясь и откровенно краснѣя:—не дадите, будете вполнѣ правы, и сердиться я уже никакъ не стану. Прокормлюсь, Богъ дастъ! Ибо людей бѣднѣе меня и болѣе достойныхъ помощи—много, очень много! — Миша

особенно успѣвалъ у женщинъ: онъ умѣлъ возбуждать ихъ сожалѣніе. И не думайте, чтобы онъ былъ или воображалъ себя Ловласомъ... О, нѣтъ! въ этомъ отношеніи онъ былъ очень скроменъ. Унаслѣдовалъ ли онъ отъ родителей такую холодную кровь, или, наконецъ, и тутъ сказывалось его нежеланіе дѣлать кому-либо зло, такъ какъ, по его понятіямъ, съ женщиной знаться—значитъ, непремѣнно женщину обидѣть, — рѣшить я не берусь; только онъ въ своихъ поступкахъ съ прекраснымъ поломъ былъ весьма деликатенъ. Женщины это чувствовали и тѣмъ охотнѣе жалѣли его и помогали ему, пока онъ, наконецъ, не отталкивалъ ихъ своимъ загуломъ и запоемъ, той отчаянностью, о которой я уже говорилъ... другого слова я придумать не могу.

Зато въ другихъ отношеніяхъ, онъ уже всякую деликатность утратилъ и понемногу спустился до послѣднихъ униженій. Онъ разъ до того дошелъ, что въ Т...мъ дворянскомъ собраніи выставилъ на столѣ кружку съ надписью: „Всякій, кому покажется лестнымъ щелкнуть по носу столбового дворянина Полтева (подлинные документы при семъ прилагаются), можетъ удовлетворить свое желаніе, положивши рубль въ сію кружку“. И, говорятъ, нашлись любители щелкать дворянина по носу! Правда, онъ одного изъ этихъ любителей, за то, что тотъ, положивши *одинъ* рубль въ кружку, далъ ему *два* щелчка, сперва чуть не задушилъ, а потомъ заставилъ попросить извиненія; правда и то, что часть вырученныхъ такимъ образомъ денегъ онъ тутъ же роздалъ другимъ голышамъ... но все же, какое безобразіе!

Въ теченіе своихъ странствованій по семи Семіонамъ, онъ добрался также до своего родового гнѣзда, проданнаго имъ за безцѣнокъ извѣстному въ то время аферисту и ростовщику. Аферистъ былъ дома, и, узнавъ о прибытіи прежняго владѣльца, превратившаго въ бродягу, приказалъ не пускать его въ домъ, а въ случаѣ нужды, даже турнуть его въ шею. Миша объявилъ, что въ домъ, оскверненный присутствіемъ мерзавца, онъ самъ не пойдетъ, *турнуть же себя* никому не позволитъ, а отправится на

церковный погостъ, поклониться праху своихъ родителей. Онъ такъ и сдѣлалъ. На погостѣ присоединился къ нему старикъ дворовый, бывшій когда-то его дядькой. Аферистъ лишилъ старика мѣсячины и прогналъ его вонъ изъ усадьбы; тотъ съ тѣхъ поръ ютился въ закуткѣ у мужика. Миша такое недолгое время завѣдывалъ своимъ имѣньемъ, что особенно хорошей памяти о себѣ оставить не успѣлъ; однако, старый слуга все-таки не вытерпѣлъ и, узнавъ о прибытіи своего барчука, тотчасъ побѣжалъ на погостъ, нашелъ Мишу сидѣвшимъ на землѣ между надгробными плитами, попросилъ у него, по старой памяти, ручку и даже прослезился, глядя на лохмотья, которыми облекались нѣкогда выхоленные члены его воспитанника. Миша долго, молча, смотрѣлъ на старика.—Тимоѳей!—сказалъ онъ, наконецъ. Тимоѳей встрепенулся. — Чего изволите?—Есть у тебя лопата?—Достать можно... А на что вамъ лопата, сударь, Михайло Андреичъ? — Хочу себѣ тутъ могилку вырыть, Тимоѳей;—да и лечь тутъ на вѣки вѣчные, между родителями. Вѣдь только одно мѣстечко и осталось у меня на свѣтѣ. Принеси лопату!—Слушаю, сказалъ Тимоѳей; пошелъ и принесъ. И Миша тотчасъ началъ рыть землю, а Тимоѳей стоялъ возлѣ, подперши рукою подбородокъ и повторяя: — „Только и осталось намъ съ тобою, баринъ!“ А Миша рылъ да рылъ, отъ времени до времени спрашивая: — Вѣдь не стóитъ жить, Тимоѳей?—Не стóитъ, батюшка. — Ямка уже становилась довольно глубокой. Люди увидали Мишину работу и побѣжали доложить о ней новому владѣльцу-аферисту. Аферистъ сперва разгнѣвался, хотѣлъ за полиціей послать:— это-молъ кощунство! Нó потомъ, вѣроятно, сообразивъ, что дѣло имѣть съ этимъ сумасбродомъ все-таки неудобно, можетъ выйти скандалъ, — отправился самолично на погостъ,—и, подойдя къ трудившемуся Мишѣ, вѣжливо ему поклонился. Тотъ продолжалъ рыть, какъ бы не замѣтивъ своего преемника. — Михаилъ Андреичъ,—началъ аферистъ:—позвольте узнать, что это вы тутъ дѣлаете?

— А вотъ, видите—могилу себѣ рою.—Это зачѣмъ же?—

А затѣмъ, что жить больше не желаю. — Аферистъ даже руками развелъ.—Не желаете жить?—Миша грозно взглянулъ на афериста: — Это васъ удивляетъ? Развѣ не вы всему причиной?.. Не вы?.. Не ты?.. Не ты, Іуда, меня ограбилъ, воспользовавшись моимъ младенчествомъ? Не ты съ мужиковъ шкуру дерешь? Не ты вотъ этого дряхлеца хлѣба насущнаго лишилъ? Не ты?.. О, Господи! вездѣ одна несправедливость, да притѣсненіе, да злодѣйство... Пропадай, значитъ, все—и я туда же! Не хочу жить, не хочу въ Россіи болѣе жить!—И лопата еще быстрѣе заходила въ Мишиныхъ рукахъ.

„Чортъ знаетъ, что это такое!—подумалъ аферистъ:— вѣдь взаправду закопается". — Михаилъ Андреевичъ, — началъ онъ снова: — послушайте; я передъ вами, точно, виноватъ; мнѣ объ васъ не такъ доложили. — Миша рылъ. — Но къ чему такое отчаяніе? — Миша все рылъ— и землю бросалъ на ноги аферисту: — „на-молъ тебѣ, землеѣдъ!" — Право, это вы напрасно. Не угодно ли будетъ вамъ зайти ко мнѣ—закусить, да отдохнуть?—Миша приподнялъ голову. — Вотъ ты теперь какъ! А выпивка будетъ? — Аферистъ обрадовался. — Помилуйте... еще бы!— И Тимоѳея пригласишь?—Отчего же... и его.—Миша задумался. — Только смотри... вѣдь ты меня по міру пустилъ... Одной бутылочкой не полагай отдѣлаться! — Не безпокойтесь... будетъ всего вволю.—Миша всталъ и бросилъ лопату...—Ну, Тимоша, — обратился онъ къ старому дядькѣ:—уважимъ хозяина... Идемъ!—Слушаю,—отвѣчалъ старикъ.

И всѣ трое отправились въ домъ.

Аферистъ зналъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло. Съ первоначала Миша, правда, взялъ съ него слово, что онъ крестьянамъ „всякія льготы опредѣлитъ"; но уже часъ спустя,— тотъ же Миша, вмѣстѣ съ Тимоѳеемъ, оба пьяные, плясали галопадъ по самымъ тѣмъ комнатамъ, гдѣ, казалось, еще витала богобоязненная тѣнь Андрея Николаевича; а еще часъ спустя — безпробудно заснувшій Миша (онъ былъ очень слабъ на вино) — уложенный въ телѣгу вмѣстѣ съ папахой и кинжаломъ—отправился въ городъ.

за двадцать пять верстъ, — и оказался тамъ подъ заборомъ... Ну, а Тимоѳея, который все еще стоялъ на ногахъ и только искалъ, конечно, „турнули“: барина не удалось, такъ хоть слугу.

VI.

Опять прошло нѣсколько времени, и я ничего не слышалъ о Мишѣ... Богъ его знаетъ, гдѣ онъ пропадалъ.— Вотъ, однажды, сидя за самоваромъ на станціи Т...го шоссе, въ ожиданіи лошадей, я вдругъ услышалъ подъ раскрытымъ окномъ станціонной комнаты сиплый голосъ, произносившій по-французски: — „Monsieur... monsieur... prenez pitié d'un pauvre gentilhomme ruiné“... Я поднялъ голову, взглянулъ... Облѣзлая папаха, поломанные патроны на разорванной черкескѣ, кинжалъ въ потрескавшихъ ножнахъ, опухшее, но все еще розовое лицо, растрепанные, но все еще густые волосы... Боже мой! Миша!—Онъ уже началъ просить милостыню по большимъ дорогамъ!— Я невольно вскрикнулъ. Онъ узналъ меня, дрогнулъ, отвернулся, и хотѣлъ-было отойти отъ окна.—Я остановилъ его... но что было ему сказать? — Не правоученіе же читать?!.. Молча протянулъ я ему пяти-рублевую ассигнацію,—онъ такъ же молча схватилъ ее своей все еще бѣлой и пухлой, хоть и дрожавшей и неопрятной ручкой— и исчезъ за угломъ дома. — Мнѣ не скоро подали лошадей, — и я успѣлъ предаться невеселымъ размышленіямъ по поводу неожиданной встрѣчи съ Мишей; совѣстно мнѣ стало, что я его такъ безучастно отпустилъ. Наконецъ, я отправился дальше—и, отъѣхавъ съ полверсты отъ станціи, замѣтилъ впереди, на дорогѣ, толпу людей, подвигавшуюся странной, словно размѣренной поступью. Я нагналъ эту толпу—и что же я увидѣлъ? — Человѣкъ двѣнадцать нищихъ, съ сумами черезъ плечо, шли по два въ рядъ, подпѣвая и подскакивая,—а впереди ихъ отплясывалъ Миша, топая въ ладъ ногами и приговаривая: „Нàчики-чикалды, чукъ-чукъ-чукъ! Нàчики-чикалды, чукъ-чукъ-чукъ!“ — Какъ только моя коляска поравнялась съ нимъ и онъ увидалъ меня,—онъ тотчасъ закричалъ: „Ура!

Стой-равняйсь! во фрунтъ, гвардія придорожная!"—Нищіе подхватили его крикъ и остановились,—а онъ, съ обычнымъ своимъ хохотомъ, вскочилъ на подножку коляски и опять гаркнулъ: ура!—Это что же такое?—спросилъ я съ невольнымъ изумленіемъ.—Это?—Это моя команда, армія моя—все нищенки, Божіи люди, друзья-пріятели! Каждый изъ нихъ, по вашей милости, чарочку пропустилъ—и вотъ, теперь мы всѣ радуемся и веселимся!.. Дяденька! Вѣдь только съ нищими, съ Божьими людьми, и можно жить на свѣтѣ... ей Богу!—Я ничего ему не отвѣтилъ... но онъ мнѣ въ этотъ разъ показался такимъ добрякомъ, лицо его выражало такое дѣтское простодушіе... Меня вдругъ что-то какъ будто и озарило, и въ сердце кольнуло... — Садись ко мнѣ въ коляску,—сказалъ я ему. — Онъ изумился...— Какъ? въ коляску? — Садись, садись, — повторялъ я:— я хочу сдѣлать тебѣ предложеніе. Садись!... Поѣдемъ со мной.

— Ну, какъ прикажете.—Онъ сѣлъ.—Ну, а вы, друзья любезные, товарищи почтенные, — прибавилъ онъ, обращаясь къ нищимъ: — прощайте! до свиданья! — Миша снялъ папаху и поклонился низко. — Нищіе всѣ словно опѣшили... я велѣлъ кучеру погнать лошадей, и коляска покатилась.

Вотъ, что я хотѣлъ предложить Мишѣ: мнѣ вдругъ пришла мысль взять его ко мнѣ, въ деревенскій мой домъ, отстоявшій верстъ тридцать отъ той станціи,—спасти его, или, по крайней мѣрѣ, попытаться спасти его.—Слушай, Миша,—сказалъ я:—хочешь ты поселиться у меня?.. Будешь ты жить на всемъ готовомъ, платье тебѣ сошьютъ, бѣлье; экипируютъ тебя, какъ слѣдуетъ, и деньги тебѣ будутъ выдаваться на табакъ и на прочее, подъ однимъ только условіемъ: не пить вина!.. Согласенъ ты? — Миша даже испугался отъ радости: вытаращилъ глаза, побагровѣлъ и вдругъ, припавъ къ моему плечу, началъ цѣловать меня и повторять прерывистымъ голосомъ:—Дяденька... благодѣтель... Дай вамъ Богъ... Онъ расплакался наконецъ и, снявъ папаху, принялся утирать ею глаза, носъ и губы.—Смотри же,—замѣтилъ я ему:—помни усло-

віе—вина не пить!—Да будь оно проклято!—воскликнулъ онъ, взмахнувъ обѣими руками, и, вслѣдствіе этого порывистаго движенія, еще сильнѣе обдалъ меня тѣмъ спиртнымъ запахомъ, которымъ онъ весь былъ пропитанъ...—Вѣдь, дяденька, если бъ вы знали жизнь мою... Вѣдь если бы не горе, не судьба жестокая... Зато теперь, клянусь, кляпусь, я исправлюсь, я докажу... Дяденька, я никогда не лгалъ—спросите хоть кого... Я честный, но я несчастный человѣкъ, дяденька; ласки ни отъ кого не видѣлъ...

Тутъ онъ окончательно разрыдался. Я постарался его успокоить и успѣлъ въ томъ, потому что когда мы подъѣхали къ моему дому, Миша уже давно спалъ мертвымъ сномъ, уронивъ голову ко мнѣ на колѣни.

VII.

Ему тотчасъ опредѣлили особую комнату и тотчасъ же, первымъ дѣломъ, свели въ баню, что̀ было совершенно необходимо. Всю его одежду, и кинжалъ, и папаху, и дырявые сапоги бережно сложили въ чуланъ, надѣли на него чистое бѣлье, туфли и кой-какое мое платье, которое, какъ это всегда бываетъ съ бѣдняками, какъ разъ пришлось по его сложенію и росту. Когда онъ пришелъ къ столу, вымытый, опрятный, свѣжій — онъ казался до того умиленнымъ и счастливымъ, онъ весь сіялъ такою радостной благодарностью, что и я почувствовалъ умиленіе и радость... Его лицо совсѣмъ преобразилось... У двѣнадцатилѣтнихъ мальчиковъ бываютъ такія лица въ Свѣтлое Воскресенье, послѣ причастья, когда они, густо напомаженные, въ новыхъ курточкахъ и накрахмаленныхъ воротничкахъ, идутъ христосоваться съ своими родителями. Миша, то-и-дѣло, осторожно и недовѣрчиво ощупывалъ себя и все повторялъ:—Что̀ это?... Не на небесахъ ли я?—А на другой день объявилъ, что спать всю ночь не могъ отъ восхищенія! У меня въ домѣ жила тогда старушка-тетка съ своей племянницей; обѣ онѣ чрезвычайно смутились, когда узнали о прибытіи Миши; онѣ не *понимали*, какъ я могъ пригласить его къ себѣ въ домъ! *Очень* уже худая шла о немъ слава. Но, во-первыхъ, я

зналъ, что онъ всегда былъ очень вѣжливъ съ дамами; а во-вторыхъ, я надѣялся на его обѣщаніе исправиться. И дѣйствительно: въ первые два дня своего пребыванія подъ моимъ кровомъ Миша не только оправдалъ мои ожиданія, но превзошелъ ихъ; а дамъ моихъ онъ просто очаровалъ. Со старушкой онъ игралъ въ пикетъ, помогалъ ей разматывать гарусъ, показалъ ей два новыхъ пасьянса; племянницѣ, у которой былъ небольшой голосокъ, онъ аккомпанировалъ на фортепіано, читалъ ей русскіе, французскіе стихи; разсказывалъ обѣимъ дамамъ веселые, но приличные анекдоты; словомъ, услуживалъ имъ всячески, такъ что онѣ неоднократно выражали мнѣ свое удивленіе, а старушка даже замѣтила, что вотъ, какъ люди бываютъ иногда несправедливы... Чего, чего о немъ не говорили... а онъ такой смирный, да вѣжливый... бѣдный Миша! Правда, за столомъ „бѣдный Миша“ какъ-то особенно торопливо облизывался всякій разъ, какъ только взглядывалъ на бутылку. Но стóило мнѣ погрозить пальцемъ, и онъ поднималъ глаза къ верху, и прижималъ руку къ сердцу... „Я-молъ, клялся“...—Я теперь переродился!—увѣрялъ онъ меня.—Что-жъ, дай Богъ!—думалось мнѣ... Однако, это перерожденіе продолжалось недолго.

Первые два дня онъ былъ очень разговорчивъ и веселъ. Но уже начиная съ третьяго дня, онъ какъ-то затихъ, хотя, попрежнему, держался возлѣ дамъ и занималъ ихъ. Не то грустное, не то задумчивое выраженіе стало пробѣгать по его лицу, да и самое лицо поблѣднѣло и будто похужѣло.—Тебѣ нездоровится?—спросилъ я его.—Да,—отвѣтилъ онъ:—голова немного болитъ.—На четвертый день онъ уже совсѣмъ умолкъ; все больше сидѣлъ въ уголку, сиротливо склонивъ голову, и своимъ унылымъ видомъ возбуждая чувство жалости въ обѣихъ дамахъ, которыя теперь, въ свою очередь, старались занимать его. За столомъ онъ ничего не ѣлъ, глядѣлъ въ тарелку и каталъ шарики. На пятый день чувство жалости въ дамахъ стало смѣняться другимъ: недовѣрчивостью и даже страхомъ. Миша одичалъ, сторонился отъ людей и все ходилъ вдоль стѣнъ, какъ бы крадучись и внезапно озы-

раясь, точно кто его звалъ. И куда дѣвался розовый цвѣтъ его лица? Оно словно землею перекрылось.—Тебѣ все нездоровится?—спросилъ я его.—Нѣтъ, я здоровъ,—отвѣтилъ онъ отрывисто. — Скучно тебѣ? — Съ чего скучать!—А самъ отворачивается и въ глаза не глядитъ.—Иль опять затосковалъ?—На это онъ ничего не отвѣтилъ. Такъ прошли еще сутки. На слѣдующій день тетка прибѣжала ко мнѣ въ кабинетъ въ большомъ волненіи и объявила, что выѣдетъ съ племянницей изъ моего дома, если Миша долженъ въ немъ остаться. — Отчего такъ?—Да ужъ очень намъ жутко съ нимъ... Не человѣкъ,—волкъ, какъ есть волкъ. Ходитъ, ходитъ, молчитъ, — да смотритъ такъ дико... Только-что зубами не ляскаетъ. Катя, ты знаешь, у меня такая нервическая... Она же въ первый день очень имъ заинтересовалась... Мнѣ за нее страшно, да и за себя... — Я не зналъ, что отвѣчать теткѣ. Не могъ я, однако, выгнать Мишу, котораго я же пригласилъ.

Онъ самъ вывелъ меня изъ затруднительнаго положенія.

Въ тотъ же день,—я еще не выходилъ изъ кабинета,—вдругъ слышу за собою глухой и злобный голосъ: — Николай Николаичъ, а Николай Николаичъ! — Я оглянулся: у двери стоитъ Миша, съ страшнымъ, потемнѣвшимъ, искаженнымъ лицомъ: — Николай Николаичъ! — повторилъ онъ... (уже не „дяденька"). — Чего тебѣ? — Отпустите меня.... сейчасъ! — Что? — Отпустите меня, а то я бѣдъ надѣлаю, домъ подожгу, или кого зарѣжу.— Миша вдругъ затрясся.—Велите мнѣ мою одёжу возвратить, да телѣгу дайте до шоссе довезти, и денегъ какую ни на есть малость дайте. — Да развѣ ты чѣмъ недоволенъ?—началъ-было я.—Не могу я такъ жить!—закричалъ онъ во всю голову. — Не могу я жить въ вашемъ барскомъ, треклятомъ домѣ! Мнѣ гадко, мнѣ совѣстно такъ спокойно жить!.. Какъ это только *вы* выносите!— То-есть,—перебилъ я въ свою очередь:—ты хочешь сказать—безъ вина жить ты не можешь...—Ну, да! ну, да!— закричалъ онъ опять: — только отпустите вы меня къ

моимъ братьямъ, къ моимъ друзьямъ, къ нищимъ!.. Прочь отъ вашей дворянской, приличной, противной породы!— Я хотѣлъ-было напомнить ему объ его клятвенныхъ обѣщаніяхъ, но изступленное выраженіе Мишина лица, его сорвавшійся голосъ, судорожный тренетъ всѣхъ его членовъ,—все это было такъ ужасно, что я поспѣшилъ отдѣлаться отъ него; объявилъ ему, что ему сейчасъ выдадутъ его платье, заложатъ ему телѣгу, и вынувъ изъ ящика двадцатипяти-рублевую бумажку, положилъ ее на столъ. Миша начиналъ уже съ угрозой наступать на меня, но тутъ вдругъ уперся, лицо его мгновенно перекосилось, вспыхнуло, онъ ударилъ себя въ грудь, слезы брызнули изъ глазъ, и пробормотавъ: — дяденька! ангелъ! вѣдь я погибшій человѣкъ!—спасибо! спасибо!—онъ схватилъ ассигнацію и выбѣжалъ вонъ.

Часъ спустя, онъ уже сидѣлъ въ телѣгѣ, снова одѣтый черкесомъ, снова розовый и веселый, и когда лошади тронулись съ мѣста, онъ гикнулъ, сорвалъ папаху съ головы и, размахивая ею надъ головою, отвѣшивалъ поклонъ за поклономъ. Передъ самымъ отъѣздомъ онъ долго и крѣпко обнималъ меня и лепеталъ:—Благодѣтель, благодѣтель... спасти меня нельзя! — Онъ даже къ дамамъ сбѣгалъ и ручки у нихъ перецѣловалъ, на колѣни становился, взывалъ къ Богу и прощенья просилъ! Катю я потомъ засталъ въ слезахъ.

А кучеръ, съ которымъ отправился Миша, вернувшись, доложилъ мнѣ, что довезъ его до перваго кабака на шоссе и что тамъ „они и застряли“, стали угощать всѣхъ безъ разбору, и скоро пришли въ безчувствіе.

Съ тѣхъ поръ я уже не встрѣчался съ Мишей, но окончательную судьбу его я узналъ слѣдующимъ образомъ.

VIII.

Года три спустя, я опять находился у себя въ деревнѣ; вдругъ входитъ человѣкъ и докладываетъ, что меня спрашиваетъ госпожа Полтева. Я никакой госпожи Полтевой не зналъ, да и человѣкъ, докладывавшій мнѣ, почему-то *саркастически* улыбался. На вопросительный мой взглядъ

онъ отвѣчалъ, что барыня меня спрашиваетъ молодая, бѣдно одѣтая, и что пріѣхала она въ крестьянской телѣгѣ въ одну лошадь и сама правила! Я велѣлъ попросить госпожу Полтеву пожаловать ко мнѣ въ кабинетъ.

Я увидалъ женщину лѣтъ двадцати-пяти, въ одеждѣ мѣщанки, съ большимъ платкомъ на головѣ. Лицо простое, кругловатое, не лишенное пріятности; взглядъ понурый и немного печальный, движенія застѣнчивыя.—Вы госпожа Полтева?—спросилъ я и попросилъ ее сѣсть.

— Точно такъ-съ, — отвѣтила она тихимъ голосомъ и не садясь.—Я вдова вашего племянника, Михаила Андреевича Полтева.

— Михаилъ Андреевичъ скончался? Давно ли? Да сядьте, прошу васъ.

Она опустилась на стулъ.

— Второй мѣсяцъ пошелъ.

— И давно вы за него замужъ вышли?

— Я съ нимъ всего годъ пожила.

— Вы теперь откуда?

— Я изъ-подъ Тулы... Село тамъ есть Знаменское-Глушково, можетъ-быть, изволите знать. Я тамошняго дьячка дочь. Мы съ Михаиломъ Андреичемъ тамъ и жили... Онъ у моего батюшки поселился. Всего годъ мы съ нимъ пожили.

У молодой женщины слегка задергались губы, и она поднесла къ нимъ руку. Казалось, она собиралась заплакать, однако, одолѣла себя, откашлянулась.

— Мнѣ Михаилъ Андреичъ покойный, — продолжала она: — передъ смертью наказалъ къ вамъ съѣздить; безпремѣнно, говоритъ, съѣзди! И сказалъ онъ мнѣ, чтобы я поблагодарила васъ за всю вашу доброту, и чтобы передала вамъ... вотъ эту... эту самую вещицу (она достала изъ кармана небольшой свертокъ), которую онъ всегда при себѣ имѣлъ... И Михаилъ Андреичъ сказалъ — если вамъ угодно будетъ принять это на память—такъ чтобы вы не побрезговали... Другимъ, говоритъ, я ничѣмъ отдарить ихъ... то-есть, васъ... не могу...

Въ сверточкѣ находилась небольшая серебряная ча-

шечка съ вензелемъ Мишиной матери. Эту чашечку я часто видалъ въ Мишиныхъ рукахъ, и разъ онъ даже сказалъ мнѣ, говоря про одного бѣдняка, что, стало-быть, онъ голъ, коли у него ни чашечки, ни плошечки,—а у меня, вотъ, хоть эта есть.

Я поблагодарилъ, взялъ чашечку и спросилъ: какой болѣзнью умеръ Миша?—Вѣроятно...

Тутъ я прикусилъ языкъ... но молодая женщина поняла мою недомолвку... Она быстро взглянула на меня, потомъ потупилась, печально улыбнулась и тотчасъ же промолвила: — Ахъ, нѣтъ! это ужъ онъ совсѣмъ бросилъ, съ тѣхъ поръ, какъ со мной спознался... Только здоровье его было какое?!.. Потерянное совсѣмъ. Какъ бросилъ пить, такъ сейчасъ болѣзнь его и обнаружилась. Такой онъ сталъ степенный; все отцу подсоблять хотѣлъ, по хозяйству, аль въ огородѣ... или какая другая случалась работа... даромъ что дворянскаго былъ роду. Только гдѣ силъ взять?.. Тоже по письменной части хотѣлъ-было заняться—часть эту, вамъ извѣстно, онъ зналъ прекрасно; но руки у него тряслись, и перо держать онъ не могъ, какъ слѣдуетъ... Все себя упрекалъ; бѣлоручка, молъ, я, никому добра не дѣлалъ, не помогалъ, не трудился! Убивался онъ очень объ этомъ о самомъ... Говорилъ, что народъ, молъ, нашъ трудится, а мы что?.. Ахъ, Николай Николаичъ, хорошій онъ былъ человѣкъ и меня любилъ... и я... Ахъ, извините...

Тутъ молодая женщина впрямь заплакала. Хотѣлось бы мнѣ ее утѣшить, да не зналъ я, какъ.

— Остался ли у васъ ребеночекъ? — спросилъ я, наконецъ.

Она вздохнула.—Нѣтъ, не остался... Да гдѣ ужъ тутъ!— И слезы полились еще сильнѣе.

Такъ вотъ, чѣмъ разрѣшились Мишины скитанья по мытарствамъ, завершилъ старикъ П. свой разсказъ.—Вы, господа, конечно, согласитесь со мной, что я имѣлъ право *назвать его отчаяннымъ*; но, вѣроятно, согласитесь также

и въ томъ, что онъ не походилъ на нынѣшнихъ отчаянныхъ, хотя, полагать надо, иной философъ и нашелъ бы родственныя черты между имъ и ими.—И тамъ, и тутъ, жажда самоистребленія, тоска, неудовлетворенность... А съ чего это все берется, предоставляю судить — именно, философу.

Буживаль.—Ноябрь 1881 г.

ПѢСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ.

[MDXLII.]

Посвящается памяти Гюстава Флобера.

(РАЗСКАЗЪ.)

„Wage Du zu irren und zu träumen!"
Schiller.

Вотъ, что я вычиталъ въ одной старинной итальянской рукописи:

I.

Около половины XVI-го столѣтія, проживало въ Феррарѣ — (она процвѣтала тогда подъ скипетромъ своихъ великолѣпныхъ герцоговъ, покровителей искусствъ и поэзіи) — проживало два молодыхъ человѣка, по имени: Фабій и Муцій. Ровесники годами, близкіе родственники, они почти никогда не разлучались; сердечная дружба связала ихъ съ ранняго дѣтства... одинаковость судьбы скрѣпила эту связь. Оба принадлежали къ стариннымъ фамиліямъ; оба были богаты, независимы и безсемейны; вкусы, наклонности были схожіе у обоихъ. Муцій занимался музыкой, Фабій — живописью. Вся Феррара гордилась ими, *какъ лучшимъ* украшеніемъ двора, общества и города.

Наружностью они однако не походили другъ на друга, хотя оба отличались стройною юношеской красотою: Фабій былъ выше ростомъ, бѣлъ лицомъ и волосомъ русъ— а глаза имѣлъ голубые; Муцій, напротивъ, имѣлъ лицо смуглое, волосы черные и въ темнокарихъ его глазахъ не было того веселаго блеска, на губахъ той привѣтливой улыбки, какъ у Фабія; его густыя брови надвигались на узкія вѣки—тогда какъ золотистыя брови Фабія уходили тонкими полукругами на чистый и ровный лобъ. Муцій и въ разговорѣ былъ менѣе живъ; со всѣмъ тѣмъ, оба друга одинаково нравились дамамъ — ибо не даромъ были образцами рыцарской угодливости и щедрости.

Въ одно и то же время съ ними проживала въ Феррарѣ дѣвица, по имени Валерія. Ее считали одной изъ первыхъ красавицъ города, хотя видѣть ее можно было очень рѣдко, такъ какъ она вела жизнь уединенную и выходила изъ дому только въ церковь — да въ большіе праздники на гулянье. Она жила съ своей матерью, благородной, но небогатой вдовою, у которой не было другихъ дѣтей. Всякому, кому только ни встрѣчалась Валерія,—она внушала чувство невольнаго удивленія и столь же невольнаго, нѣжнаго уваженія: такъ скромна была ея осанка; такъ мало, казалось, сознавала она сама всю силу своихъ прелестей. Иные, правда, находили ее нѣсколько блѣдной; взглядъ ея глазъ, почти всегда опущенныхъ, выражалъ нѣкоторую застѣнчивость и даже боязливость; ея губы улыбались рѣдко — и то слегка; голосъ ея едва ли кто слышалъ. Но ходила молва, что онъ былъ у нея прекрасенъ, и что, запершись у себя въ комнатѣ, раннимъ утромъ, когда все въ городѣ еще дремало, она любила напѣвать старинныя пѣсни, подъ звуки лютни, на которой сама играла. Несмотря на блѣдность лица, Валерія цвѣла здоровьемъ; и даже старые люди, глядя на нее, не могли не подумать: — О, какъ счастливъ будетъ тотъ юноша, для кого распустится, наконецъ, этотъ еще свернутый въ лепесткахъ своихъ, еще нетронутый и дѣвственный цвѣтокъ!

II.

Фабій и Муцій увидали Валерію въ первый разъ на пышномъ народномъ праздникѣ, устроенномъ по повелѣнію герцога Феррарскаго, Эркола, сына знаменитой Лукреціи Борджіа, въ честь знатныхъ вельможъ, прибывшихъ изъ Парижа по приглашенію герцогини, дочери французскаго короля Людовика XII-го. Рядомъ съ своею матерью, сидѣла Валерія посреди изящной трибуны, возведенной по рисунку Палладія на главной феррарской площади для почетнѣйшихъ дамъ города. Оба — и Фабій, и Муцій—страстно въ нее влюбились въ тотъ же день; и такъ какъ они ничего не скрывали другъ отъ друга—то каждый изъ нихъ скоро узналъ, что̀ происходило въ сердцѣ товарища. Они положили между собою: постараться обоимъ сблизиться съ Валеріей — и если она удостоитъ избрать кого-нибудь изъ нихъ — то другой безропотно покорится ея рѣшенію. Нѣсколько недѣль спустя, благодаря доброй славѣ, которой они пользовались по праву, имъ удалось проникнуть въ трудно-доступный домъ вдовы; она позволила имъ посѣщать ее. Съ тѣхъ поръ они почти каждый день могли видѣть Валерію и бесѣдовать съ нею—и съ каждымъ днемъ огонь, зажженный въ сердцахъ обоихъ юношей, разгорался сильнѣе и сильнѣе; однако Валерія ни одному изъ нихъ не оказывала предпочтенія, хотя присутствіе ихъ ей видимо нравилось. Съ Муціемъ она занималась музыкой; но разговаривала больше съ Фабіемъ: съ нимъ она меньше робѣла. Наконецъ, они рѣшились узнать окончательно свою участь — и послали къ Валеріи письмо, въ которомъ просили ее объясниться и сказать, кому она готова отдать свою руку. Валерія показала это письмо матери — и объявила ей, что готова остаться въ дѣвицахъ; но если мать находитъ, что ей пора вступить въ бракъ, то она выйдетъ за того, на кого укажетъ ея выборъ. Почтенная вдова пролила нѣсколько слезъ при мысли о разлукѣ съ любимымъ дѣтищемъ; однако, отказать женихамъ не было причины: она считала ихъ обоихъ равно достойными руки ея дочери. Но, втайнѣ

предпочитая Фабія и подозрѣвая, что и Валеріи онъ приходится болѣе по нраву, она указала на него. На другой же день Фабій узналъ о своемъ счастьѣ; а Муцію осталось сдержать свое слово—и покориться.

Онъ такъ и сдѣлалъ; но быть свидѣтелемъ торжества своего друга, своего соперника—онъ не могъ. Немедленно продалъ онъ бо́льшую часть своего имущества—и собравъ нѣсколько тысячъ дукатовъ, отправился въ дальнее путешествіе, на Востокъ. Прощаясь съ Фабіемъ, онъ сказалъ ему, что вернется не прежде, чѣмъ почувствуетъ, что послѣдніе слѣды страсти въ немъ исчезли. Тяжело было Фабію разстаться съ другомъ дѣтства и юности... но радостное ожиданіе близкаго блаженства вскорѣ поглотило всякія другія ощущенія—и онъ отдался весь восторгамъ увѣнчанной любви.

Вскорѣ онъ вступилъ въ бракъ съ Валеріей—и только тогда узналъ всю цѣну сокровища, которымъ ему довелось обладать. У него была прекрасная вилла, окруженная тѣнистымъ садомъ, въ недальнемъ разстояніи отъ Феррары; онъ переѣхалъ туда вмѣстѣ съ женою и ея матерью. Свѣтлое время наступило для нихъ тогда. Супружеская жизнь выказала въ новомъ, плѣнительномъ свѣтѣ всѣ совершенства Валеріи; Фабій становился замѣчательнымъ живописцемъ—уже не простымъ любителемъ, а мастеромъ. Мать Валеріи радовалась и благодарила Бога, глядя на счастливую чету. Четыре года промчались незамѣтно, какъ блаженный сонъ. Одного недоставало молодымъ супругамъ, одно завелось у нихъ горе: дѣтей у нихъ не было... но надежда не покидала ихъ. Къ концу четвертаго года ихъ посѣтило великое, на этотъ разъ настоящее горе: мать Валеріи скончалась, поболѣвъ нѣсколько дней.

Много слезъ пролила Валерія; долго не могла привыкнуть къ своей утратѣ. Но прошелъ еще годъ, жизнь опять вступила въ свои права, потекла прежнимъ русломъ. И вотъ, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, никого не предупредивъ, въ Феррару вернулся Муцій.

III.

Во всѣ пять лѣтъ, прошедшихъ съ его отъѣзда, никто о немъ ничего не вѣдалъ; всякіе слухи о немъ замерли, точно онъ исчезъ съ лица земли. Когда Фабій встрѣтилъ своего друга на одной изъ улицъ Феррары, онъ чуть не закричалъ, сперва отъ испуга, потомъ отъ радости — и тотчасъ пригласилъ его въ свою виллу. Тамъ у него въ саду находился отдѣльный, помѣстительный павильонъ; онъ предложилъ своему другу поселиться въ этомъ павильонѣ. Муцій охотно согласился, и въ тотъ же день переѣхалъ туда вмѣстѣ съ своимъ слугою, нѣмымъ малайцемъ—нѣмымъ, но не глухимъ, и даже, судя по живости его взгляда, очень понятливымъ человѣкомъ... Языкъ у него былъ вырѣзанъ. Муцій привезъ съ собою десятки сундуковъ, наполненныхъ разнообразными драгоцѣнностями, собранными имъ во время своихъ продолжительныхъ странствованій. Валерія обрадовалась возвращенію Муція; и онъ ее привѣтствовалъ дружески-весело, но спокойно: по всему видно было, что онъ сдержалъ слово, данное Фабію. Въ теченіе дня онъ успѣлъ устроиться въ своемъ павильонѣ; выложилъ, съ помощью малайца, привезенныя рѣдкости: ковры, шелковыя ткани, бархатныя и парчевыя одежды, оружія, чаши, блюда и кубки, украшенные финифтью, золотыя, серебряныя вещи, обдѣланныя въ жемчугъ и бирюзу, рѣзные ящики изъ янтаря и слоновой кости, граненыя бутылки, пряности, курева, звѣриныя шкуры, перья невѣдомыхъ птицъ и множество другихъ предметовъ, самое употребленіе которыхъ казалось таинственнымъ и непонятнымъ. Въ числѣ всѣхъ этихъ драгоцѣнностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное Муціемъ отъ персидскаго шаха за нѣкоторую великую и тайную услугу; онъ попросилъ позволенія у Валеріи собственноручно возложить ей это ожерелье на шею: оно показалось ей тяжелымъ и одареннымъ какой-то странной теплотой... оно такъ и прильнуло къ кожѣ. Къ вечеру, послѣ обѣда, сидя на террасѣ виллы, въ тѣни олеандровъ и лавровъ, Муцій принялся разсказывать свои похожденія.

Онъ говорилъ о видѣнныхъ имъ далекихъ странахъ, заоблачныхъ горахъ, безводныхъ пустыняхъ, о рѣкахъ, подобныхъ морямъ; говорилъ о громадныхъ зданіяхъ и храмахъ, о тысячелѣтнихъ деревьяхъ, о радужныхъ цвѣтахъ и птицахъ; называлъ посѣщенные имъ города и народы... чѣмъ-то сказочнымъ вѣяло отъ однихъ ихъ именъ. Весь Востокъ былъ знакомъ Муцію: онъ проѣхалъ Персію, Аравію, гдѣ кони благороднѣе и красивѣе всѣхъ другихъ живыхъ существъ, проникъ въ самую глубь Индіи, гдѣ родъ людской подобенъ величественнымъ растеніямъ, достигъ границъ Китая и Тибета, гдѣ живой богъ, по имени Далай-Лама, обитаетъ на землѣ во образѣ безмолвнаго человѣка съ узкими глазами. Чудны были его разсказы! Какъ очарованные, слушали его и Фабій, и Валерія. Собственно, черты Муціева лица мало измѣнились: съ дѣтства смуглое, оно еще потемнѣло, загорѣло подъ лучами болѣе яркаго солнца, глаза казались углубленнѣе прежняго—и только; но выраженіе этого лица стало другое: сосредоточенное, важное, оно не оживлялось даже тогда, когда онъ упоминалъ объ опасностяхъ, которымъ подвергался, ночью, въ лѣсахъ, оглашаемыхъ воемъ тигровъ, или днемъ, на пустыхъ дорогахъ, гдѣ путешественниковъ караулятъ изувѣры, которые удавливаютъ ихъ въ честь желѣзной богини, требующей человѣческихъ жертвъ. И голосъ Муція сталъ глуше и ровнѣе; движенія рукъ, всего тѣла, утратили развязность, свойственную итальянскому племени. Съ помощью слуги своего, раболѣпно-проворнаго малайца, онъ показалъ хозяевамъ своимъ нѣсколько фокусовъ, которымъ научили его индѣйскіе брамины. Такъ, напримѣръ, онъ, предварительно скрывъ себя занавѣсомъ, явился вдругъ сидящимъ на воздухѣ съ поджатыми ногами, слегка опираясь концами пальцевъ на отвѣсно-поставленную бамбуковую трость, что не мало удивило Фабія, а Валерію даже испугало...—„Ужъ не чернокнижникъ ли онъ?“—подумалось ей.—Когда же онъ принялся вызывать, насвистывая на маленькой флейтѣ, изъ закрытой корзины ручныхъ змѣй, когда, шевеля жалами, показались изъ-подъ пестрой ткани ихъ темныя, плоскія

головки, Валерія пришла въ ужасъ и попросила Муція спрятать поскорѣй этихъ ненавистныхъ гадовъ. За ужиномъ Муцій попотчивалъ своихъ друзей ширазскимъ виномъ изъ круглой бутыли съ длиннымъ горлышкомъ; чрезвычайно пахучее и густое, золотистаго цвѣта съ зеленоватымъ отливомъ, оно загадочно блестѣло, налитое въ крошечныя яшмовыя чашечки. Вкусомъ оно не походило на европейскія вина: оно было очень сладко и пряно, и выпитое медленно, небольшими глотками, возбуждало во всѣхъ членахъ ощущеніе пріятной дремоты. Муцій заставилъ и Фабія, и Валерію откушать по чашечкѣ и выпилъ самъ. Надъ ея чашечкой онъ, наклонясь, что-то прошепталъ, потрясъ пальцами. Валерія это замѣтила; но такъ какъ вообще въ пріемахъ Муція, во всей его повадкѣ проявлялось нѣчто чуждое и небывалое, то она только подумала: „Не принялъ ли онъ въ Индіи новой какой вѣры, или у нихъ тамъ обычаи такіе?“—Потомъ, помолчавъ немного, она спросила его: продолжалъ ли онъ, во время своего путешествія, заниматься музыкой?—Въ отвѣтъ ей, Муцій приказалъ малайцу принести свою индійскую скрипку. Она походила на нынѣшнія, только вмѣсто четырехъ струнъ у ней было три, верхъ ея обтягивала голубоватая змѣиная кожа и тонкій тростниковый смычокъ имѣлъ видъ полукруглый, а на самомъ его концѣ блисталъ заостренный алмазъ.

Муцій сыгралъ сперва нѣсколько заунывныхъ, по его словамъ, народныхъ пѣсенъ, странныхъ и даже дикихъ для итальянскаго уха; звукъ металлическихъ струнъ былъ жалобенъ и слабъ. Но когда Муцій началъ послѣднюю пѣснь—этотъ самый звукъ внезапно окрѣпъ, затрепеталъ звонко и сильно; страстная мелодія полилась изъ-подъ широко-проводимаго смычка, полилась, красиво изгибаясь, какъ та змѣя, что покрывала своей кожей скрипичный верхъ; и такимъ огнемъ, такой торжествующей радостью сіяла и горѣла эта мелодія, что и Фабію, и Валеріи стало жутко на сердцѣ, и слезы выступили на глаза... а Муцій, съ наклоненной, прижатой къ скрипкѣ головою, съ поблѣднѣвшими щеками, съ бровями, сдвинутыми въ одну

черту, казался еще сосредоточеннѣй и важнѣй—и алмазъ на концѣ смычка бросалъ на ходу лучистыя искры, какъ бы тоже зажженный огнемъ той дивной пѣсни. Когда же Муцій кончилъ—и, все еще крѣпко стискивая скрипку между подбородкомъ и плечомъ, уронилъ руку, державшую смычокъ,—„Что это такое? Что ты намъ сыгралъ?“ воскликнулъ Фабій. — Валерія не промолвила ни слова—но, казалось, все ея существо повторило вопросъ ея мужа. Муцій положилъ скрипку на столъ—и слегка встряхнувъ волосами, съ вѣжливой улыбкой промолвилъ: „Это? Эту мелодію... эту пѣснь я услышалъ разъ на островѣ Цейлонѣ. Эта пѣснь слыветъ тамъ, между народомъ, пѣснью счастливой, удовлетворенной любви“.—„Повтори“, прошепталъ-было Фабій.—„Нѣтъ; этого повторить нельзя,—отвѣтилъ Муцій:—теперь же поздно. Синьорѣ Валеріи слѣдуетъ отдохнуть; и мнѣ пора... я усталъ“. Въ теченіе цѣлаго дня Муцій обращался съ Валеріей почтительно-просто, какъ давнишній другъ; но уходя, онъ пожалъ ей руку крѣпко-на-крѣпко, надавивъ пальцами на ея ладонь—и такъ настойчиво заглядывая ей въ лицо, что она, хоть и не поднимала вѣкъ, однако почувствовала этотъ взглядъ на внезапно вспыхнувшихъ своихъ щекахъ. Она ничего не сказала Муцію, но отдернула руку, а когда онъ удалился, посмотрѣла на дверь, черезъ которую онъ вышелъ. Она вспомнила, какъ и въ прежніе годы она его побаивалась... и теперь нашло на нее недоумѣніе. Муцій ушелъ въ свой павильонъ; супруги отправились въ спальню.

IV.

Валерія не скоро заснула; кровь ея тихо и томно волновалась, и въ головѣ слегка звенѣло... отъ страннаго ‘того вина, какъ она полагала, а, можетъ-быть, и отъ разсказовъ Муція, отъ игры его на скрипкѣ... Къ утру она, наконецъ, заснула, и ей привидѣлся необычайный сонъ.

Ей почудилось, что вступаетъ она въ просторную комнату съ низкимъ сводомъ... Такой комнаты она въ жизни

не видывала. Всѣ стѣны выложены мелкими голубыми изразцами съ золотыми „травами“; тонкіе рѣзные столбы изъ алебастра подпираютъ мраморный сводъ; самый этотъ сводъ и столбы кажутся полупрозрачными... блѣдно-розовый свѣтъ отовсюду проникаетъ въ комнату, озаряя всѣ предметы таинственно и однообразно; парчевыя подушки лежатъ на узкомъ коврѣ по самой серединѣ гладкаго, какъ зеркало, пола. По угламъ едва замѣтно дымятся высокія курильницы, представляющія чудовищныхъ звѣрей; оконъ нѣтъ нигдѣ; дверь, завѣшенная бархатнымъ пологомъ, безмолвно чернѣетъ во впадинѣ стѣны. И вдругъ этотъ пологъ тихонько скользитъ, отодвигается... и входитъ Муцій. Онъ кланяется, раскрываетъ объятія, смѣется... Его жесткія руки обвиваютъ станъ Валеріи; его сухія губы обожгли ее всю... Она падаетъ навзничь, на подушки...

. . . . . .

Стеня отъ ужаса, послѣ долгихъ усилій, проснулась Валерія. — Еще не понимая, гдѣ она и что съ нею, она приподнимается на кровати, озирается... Дрожь пробѣгаетъ по всему ея тѣлу... Фабій лежитъ съ нею рядомъ. Онъ спитъ; но лицо его, при свѣтѣ круглой и яркой луны, глядящей въ окна, блѣдно, какъ у мертвеца... оно печальнѣе мертваго лица. Валерія разбудила мужа — и какъ только онъ взглянулъ на нее — „Что съ тобою?“ — воскликнулъ онъ. — „Я видѣла... я видѣла страшный сонъ“, прошептала она, все еще содрогаясь...

Но въ это мгновенье, со стороны павильона, пронеслись сильные звуки — и оба, и Фабій, и Валерія — узнали мелодію, которую сыгралъ имъ Муцій, называя ее пѣсней удовлетворенной, торжествующей любви. — Фабій съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на Валерію... она закрыла глаза, отвернулась — и оба, притаивъ дыханіе, прослушали пѣснь до конца. Когда замеръ послѣдній звукъ, луна зашла за облако, въ комнатѣ вдругъ потемнѣло... Оба супруга опустили головы на подушки, не обмѣнявшись словомъ — и ни одинъ изъ нихъ не замѣтилъ, когда заснулъ другой.

V.

На другое утро Муцій пришелъ къ завтраку; онъ казался довольнымъ—и весело привѣтствовалъ Валерію. Съ замѣшательствомъ отвѣтила она ему—взглянула на него мелькомъ—и страшно ей стало отъ этого довольнаго, веселаго лица, отъ этихъ пронзительныхъ и любопытныхъ глазъ. Муцій принялся-было снова разсказывать... но Фабій прервалъ его на первомъ словѣ.

— Ты, видно, не могъ заснуть на новомъ мѣстѣ? Мы съ женою слышали, какъ ты сыгралъ вчерашнюю пѣснь.

— Да? вы слышали?—промолвилъ Муцій.—Я ее сыгралъ, точно; но я спалъ передъ тѣмъ, и даже видѣлъ удивительный сонъ.

Валерія насторожилась.—Какой сонъ?—спросилъ Фабій.

— Я видѣлъ, — отвѣчалъ Муцій, не спуская глазъ съ Валеріи: — будто я вступаю въ просторную комнату со сводомъ, убранную по-восточному. Рѣзные столбы подпирали сводъ, стѣны были покрыты изразцами, и хотя не было ни оконъ, ни свѣчей, всю комнату наполнялъ розовый свѣтъ, точно она вся была сложена изъ прозрачнаго камня. По угламъ дымились китайскія курильницы, на полу лежали парчевыя подушки вдоль узкаго ковра. Я вошелъ черезъ дверь, завѣшенную пологомъ, а изъ другой двери, прямо напротивъ — появилась женщина, которую я любилъ когда-то. И до того она мнѣ показалась прекрасной, что я загорѣлся весь прежнею любовью...

Муцій знаменательно умолкъ. Валерія сидѣла неподвижно и только медленно блѣднѣла... и дыханіе ея стало глубже.

— Тогда,—продолжалъ Муцій:—я проснулся и сыгралъ ту пѣснь.

— Но кто была эта женщина?—проговорилъ Фабій.

— Кто она была? Жена одного индѣйца. Я встрѣтился съ нею въ городѣ Дѐли... Ея уже теперь нѣтъ въ живыхъ. Она умерла.

— А мужъ? — спросилъ Фабій, самъ не зная, зачѣмъ онъ это спрашиваетъ.

— Мужъ тоже, говорятъ, умеръ. Я ихъ обоихъ скоро потерялъ изъ виду.

— Странно!—замѣтилъ Фабій.—Моя жена тоже видѣла нынѣшней ночью необыкновенный сонъ (Муцій пристально взглянулъ на Валерію), который она мнѣ не разсказала,— добавилъ Фабій.

Но тутъ Валерія встала и вышла изъ комнаты.—Тотчасъ послѣ завтрака, Муцій тоже ушелъ, объявивъ, что ему нужно быть въ Феррарѣ, по дѣламъ,—и что онъ раньше вечера не вернется.

VI.

За нѣсколько недѣль до возвращенія Муція, Фабій началъ портретъ своей жены, изобразивъ ее съ атрибутами святой Цециліи. — Онъ значительно подвинулся въ своемъ искусствѣ; знаменитый Луини, ученикъ Леонарда да-Винчи, пріѣзжалъ къ нему въ Феррару — и, помогая ему собственными совѣтами, передавалъ также наставленія своего великаго учителя. Портретъ былъ почти совсѣмъ готовъ; оставалось докончить лицо нѣсколькими штрихами — и Фабій могъ бы по справедливости гордиться своимъ произведеніемъ. — Отпустивши Муція въ Феррару, онъ отправился въ свою студію, гдѣ Валерія обыкновенно его ожидала; но онъ не нашелъ ея тамъ; кликнулъ ее—она не отозвалась. Фабіемъ овладѣло тайное безпокойство; онъ принялся ее отыскивать. Въ домѣ ея не было; Фабій побѣжалъ въ садъ— и тамъ, въ одной изъ отдаленнѣйшихъ аллей, онъ увидалъ Валерію. Съ опущенной на грудь головою, со скрещенными на колѣняхъ руками, она сидѣла на скамьѣ— а за ней, выдѣляясь изъ темной зелени кипариса, мраморный сатиръ, съ искаженнымъ злорадной усмѣшкой лицомъ, прикладывалъ къ свирѣли свои заостренныя губы. Валерія замѣтно обрадовалась появленію мужа—и на его тревожные вопросы отвѣтила, что у ней немного болитъ голова, но что это ничего не значитъ—и что она готова

пойти на сеансъ. Фабій привелъ ее въ студію, усадилъ, взялся за кисть; но къ великой своей досадѣ, никакъ не могъ кончить лица такъ, какъ бы онъ того желалъ. И не потому, что оно было нѣсколько блѣдно и казалось утомленнымъ... нѣтъ; по того чистаго, святого выраженія, которое такъ ему въ немъ нравилось и которое навело его на мысль представить Валерію въ образѣ святой Цециліи—онъ сегодня не находилъ. Онъ, наконецъ, бросилъ кисть, сказалъ женѣ, что онъ не въ ударѣ, что и ей не мѣшало бы прилечь, такъ какъ на видъ она кажется не совсѣмъ здоровой, — и поставилъ мольбертъ съ картиной лицомъ къ стѣнѣ. Валерія согласилась съ нимъ, что ей слѣдуетъ отдохнуть—и, повторивъ свою жалобу на головную боль, удалилась къ себѣ въ спальню.

Фабій остался въ студіи. Онъ чувствовалъ странное, ему самому непонятное смущеніе. Пребываніе Муція подъ его кровомъ, пребываніе, на которое онъ, Фабій, самъ напросился, стѣсняло его. И не то, чтобы онъ ревновалъ... возможно ли было ревновать Валерію!—но въ своемъ другѣ онъ не узнавалъ прежняго товарища. Все то чуждое, неизвѣстное, новое, что̀ Муцій вынесъ съ собою изъ тѣхъ далекихъ странъ — и что̀, казалось, вошло ему въ плоть и кровь, — всѣ эти магическіе пріемы, пѣсни, странные напитки, этотъ нѣмой малаецъ, самый даже пряный запахъ, которымъ отдавало отъ одежды Муція, отъ его волосъ, отъ его дыханія,—все это внушало Фабію чувство, похожее на недовѣрчивость, пожалуй, даже на робость.— И отчего этотъ малаецъ, служа за столомъ, съ такимъ непріятнымъ вниманіемъ глядитъ на него, Фабія? — Право, иной могъ бы подумать, что онъ понимаетъ по-итальянски. Муцій говорилъ о немъ, что, поплатившись языкомъ, этотъ малаецъ принесъ великую жертву — и за то обладаетъ теперь великою силой.—Какою силою? и какъ онъ могъ пріобрѣсти ее цѣною языка? Все это очень странно! очень непонятно!—Фабій пошелъ къ женѣ въ спальню; *она лежала* на постели, одѣтая,—но не спала. Услышавъ *его шаги*, она вздрогнула, потомъ опять обрадовалась ему *такъ же*, какъ и въ саду. Фабій сѣлъ возлѣ кровати,

взялъ Валерію за руку и, помолчавъ немного, спросилъ ее: какой это необыкновенный сонъ напугалъ ее нынѣшней ночью? И былъ ли онъ въ родѣ того сна, о которомъ разсказывалъ Муцій? — Валерія покраснѣла и поспѣшно промолвила: — О, нѣтъ! нѣтъ! я видѣла... какое-то чудовище, которое хотѣло растерзать меня. — Чудовище? Въ образѣ человѣка? — спросилъ Фабій. — Нѣтъ, звѣря... звѣря! — И Валерія отвернулась и скрыла въ подушки свое пылавшее лицо. Фабій еще нѣкоторое время подержалъ руку жены; молча поднесъ ее къ губамъ своимъ — и удалился.

Не весело провели этотъ день оба супруга. Казалось, что-то темное нависло надъ ихъ головами... но что это было — они назвать не могли. Имъ хотѣлось быть вмѣстѣ — словно опасность имъ грозила; — а что сказать другъ другу — они не знали. Фабій попытался-было взяться за портретъ, читать Аріоста, поэма котораго, недавно передъ тѣмъ появившаяся въ Феррарѣ, уже гремѣла по Италіи; но ничего не удавалось... Поздно вечеромъ, къ самому ужину, вернулся Муцій.

VII.

Онъ казался спокойнымъ и довольнымъ — но разсказывалъ мало; все больше разспрашивалъ Фабія о прежнихъ общихъ знакомыхъ, о нѣмецкомъ походѣ, объ императорѣ Карлѣ; говорилъ о своемъ желаніи съѣздить въ Римъ, посмотрѣть на новаго папу. Онъ опять предложилъ Валеріи ширазскаго вина — и, въ отвѣтъ на ея отказъ, промолвилъ, словно про себя: „теперь уже не нужно“. — Вернувшись съ женою въ спальню, Фабій скоро заснулъ... и, проснувшись часъ спустя, могъ убѣдиться, что никто не раздѣлялъ его ложа: Валеріи не было съ нимъ. Онъ быстро приподнялся и въ то же мгновенье увидѣлъ жену, въ ночномъ платьѣ, входившую изъ сада въ комнату. — Луна свѣтила ярко, хотя незадолго передъ тѣмъ пробѣжалъ легкій дождикъ. — Съ закрытыми глазами, съ выраженіемъ тайнаго ужаса на неподвижномъ лицѣ, Валерія приблизилась къ постели и, ощупавъ ее протянутыми

впередъ руками, легла поспѣшно и молча. Фабій обратился къ ней съ вопросомъ — но она ничего не отвѣтила; казалось, она спала. Онъ коснулся ея — и почувствовалъ на ея одеждѣ, на ея волосахъ, дождевыя капли — а на подошвахъ ея обнаженныхъ ногъ — песчинки. Тогда онъ вскочилъ и побѣжалъ въ садъ черезъ полуоткрытую дверь. Лунный, до жестокости яркій свѣтъ обливалъ всѣ предметы. Фабій оглянулся — и увидѣлъ на песку дорожки слѣды двойной пары ногъ—одна пара была босая; и вели эти слѣды къ бесѣдкѣ изъ жасминовъ, находившейся въ сторонѣ, между павильономъ и домомъ. Онъ остановился въ недоумѣніи—и вотъ, внезапно, снова раздаются звуки той пѣсни, которую онъ уже слышалъ въ прошлую ночь! Фабій вздрагиваетъ, вбѣгаетъ въ павильонъ... Муцій стоитъ посреди комнаты и играетъ на скрипкѣ. Фабій бросается къ нему.

— Ты былъ въ саду, ты выходилъ, твое платье мокро отъ дождя.

— Нѣтъ... не знаю... кажется... не выходилъ... — съ разстановкой отвѣчаетъ Муцій, словно удивленный приходомъ Фабія и его волненіемъ.

Фабій схватываетъ его за руку. — И почему ты опять играешь эту мелодію? Развѣ ты опять видѣлъ сонъ?

Муцій взглядываетъ на Фабія съ тѣмъ же удивленіемъ—и молчитъ.

— Отвѣчай же!

—Мѣсяцъ сталъ, какъ круглый щитъ...
Какъ змѣя, рѣка блеститъ...
Другъ проснулся, недругъ спитъ—
Ястребъ курочку когтитъ...
Помогай!

—бормочетъ Муцій нараспѣвъ, какъ бы въ забытьи.

Фабій отступилъ шага на два, уставился на Муція, подумалъ... и вернулся въ домъ, въ спальню.

Склонивъ голову на плечо и безсильно раскинувъ руки, *Валерія* спала тяжелымъ сномъ. Онъ не скоро ея добудился... но какъ только она увидала его, она бросилась къ нему на шею, обняла его судорожно, все тѣло ея тре-

петало.—Что съ тобою, моя дорогая, что съ тобою? — повторялъ Фабій, стараясь ее успокоить. Но она продолжала замирать на его груди. — Ахъ, какіе страшные сны я вижу! — шептала она, прижимаясь къ нему лицомъ. Фабій хотѣлъ-было ее разспросить... но она только содрогалась...

Раннимъ отблескомъ утра заалѣлись стекла оконъ, когда она, наконецъ, задремала въ его объятіяхъ.

VIII.

На другой день Муцій исчезъ съ утра, а Валерія объявила мужу, что намѣрена съѣздить въ сосѣдній монастырь, гдѣ проживалъ ея духовный отецъ, старый и степенный монахъ, къ которому она питала безграничное довѣріе. На разспросы Фабія она отвѣтила, что желаетъ облегчить исповѣдью свою душу, обремененную необычайными впечатлѣніями послѣднихъ дней. Глядя на осунувшееся лицо Валеріи, слушая ея угасшій голосъ, Фабій и самъ одобрилъ ея намѣреніе: почтенный отецъ Лоренцо могъ преподать ей полезный совѣтъ, разсѣять ея сомнѣнія... Подъ охраной четырехъ провожатыхъ, Валерія отправилась въ монастырь, — а Фабій остался дома и, до возвращенія жены, пробродилъ по саду, стараясь понять, что происходило съ нею,—и чувствуя постоянный страхъ и гнѣвъ, и боль неопредѣленныхъ подозрѣній... Онъ не разъ заходилъ въ павильонъ; но Муцій не возвращался— а малаецъ глядѣлъ на Фабія, какъ истуканъ, подобострастно наклонивъ голову, съ далеко—такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Фабію—далеко затаенной усмѣшкой на бронзовомъ лицѣ. Между тѣмъ, Валерія на исповѣди все разсказала своему духовнику, не столько стыдясь, сколько ужасаясь. Духовникъ выслушалъ ее внимательно, благословилъ ее, отпустилъ ей ея невольный грѣхъ—а самъ про себя подумалъ: „колдовство, чары бѣсовскія... это такъ оставить нельзя“... и вмѣстѣ съ Валеріей отправился въ ея виллу, какъ бы для того, чтобы окончательно ее успокоить и утѣшить. — При видѣ духовника, Фабій нѣсколько перетревожился; но многоопытный старецъ зара-

нѣе обдумалъ, какъ поступить ему слѣдовало. Оставшись наединѣ съ Фабіемъ, онъ, конечно, не выдалъ тайны исповѣди, однако, посовѣтовалъ ему удалить, буде возможно, изъ дому приглашеннаго имъ гостя, который своими разсказами, пѣснями, всѣмъ поведеніемъ своимъ разстраивалъ воображеніе Валеріи. Притомъ, по мнѣнію старика, Муцій и прежде, помнится, не совсѣмъ былъ твердъ въ вѣрѣ, а побывавъ такое долгое время въ странахъ, не озаренныхъ свѣтомъ христіанства, могъ вынести оттуда заразу ложныхъ ученій, могъ даже спознаться съ тайнами магіи; а потому хотя старинная дружба и предъявляла свои права, однако, благоразумная осторожность указывала на необходимость разлуки. Фабій вполнѣ согласился съ почтеннымъ монахомъ, Валерія даже просвѣтлѣла вся, когда мужъ сообщилъ ей совѣтъ ея духовника—и, напутствуемый благими пожеланіями обоихъ супруговъ, снабженный богатыми подарками для монастыря и для бѣдныхъ, отецъ Лоренцо отправился домой.

Фабій намѣревался тотчасъ послѣ ужина объясниться съ Муціемъ; но странный его гость не возвратился къ ужину. Тогда Фабій рѣшилъ отсрочить разговоръ съ Муціемъ до слѣдующаго дня — и оба супруга удалились въ свою опочивальню.

IX.

Валерія скоро заснула; но Фабій заснуть не могъ. Въ ночной тишинѣ ему живѣе представлялось все видѣнное, все прочувствованное имъ; онъ еще настойчивѣе задавалъ себѣ вопросы, на которые попрежнему не находилъ отвѣта. Точно ли Муцій сталъ чернокнижникомъ — и ужъ не отравилъ ли онъ Валерію? Она больна... но какою болѣзнью?—Пока онъ, положивъ голову на руку и сдерживая горячее дыханіе, предавался тяжелому раздумью—луна опять взошла на безоблачное небо; и вмѣстѣ съ ея лучами, сквозь полупрозрачныя стекла оконъ, со стороны павильона—или это почудилось Фабію?—стало вливаться *дуновеніе*, подобное легкой, пахучей струѣ... вотъ, слы*шится* назойливое, страстное шептаніе... и въ тотъ же

мигъ онъ замѣтилъ, что Валерія начинаетъ слабо шевелиться. Онъ встрепенулся, смотритъ: она приподнимается, опускаетъ сперва одну ногу, потомъ другую съ постели— и, какъ лунатикъ, безжизненно устремивъ прямо передъ собою потускнѣвшіе глаза, протянувъ впередъ руки, направляется къ двери сада! Фабій мгновенно выскочилъ въ другую дверь спальни—и проворно обѣжавъ уголъ дома, приперъ ту, что̀ вела въ садъ... Едва онъ успѣлъ ухватиться за замо̀къ, какъ уже почувствовалъ, что кто-то силится отворить дверь изнутри, налегаетъ на нее... еще и еще... потомъ раздались трепетныя стенанья...

„Но вѣдь Муцій не вернулся изъ города", мелькнуло въ головѣ у Фабія—и онъ бросился къ павильону...

Что же онъ видитъ?

Навстрѣчу ему, по дорогѣ, ярко залитой блескомъ мѣсячныхъ лучей, идетъ, тоже какъ лунатикъ, тоже протянувъ руки впередъ и безжизненно раскрывъ глаза—идетъ Муцій... Фабій подбѣгаетъ къ нему — но тотъ, не замѣчая его, идетъ, мѣрно выступая шагъ за шагомъ—и недвижное лицо его смѣется при свѣтѣ луны, какъ у малайца. Фабій хочетъ кликнуть его по имени... но въ это мгновеніе онъ слышитъ: сзади его, въ домѣ, стукнуло окно... Онъ оглядывается...

Дѣйствительно: окно спальни распахнулось сверху до̀ низу—и, занеся ногу черезъ порогъ, стоитъ въ окнѣ Валерія... руки ея какъ будто ищутъ Муція... она вся тянется къ нему...

Несказанное бѣшенство залило грудь Фабія внезапно нахлынувшей волной. — „Проклятый колдунъ!" возопилъ онъ неистово—и, схвативъ Муція одной рукой за горло, онъ нащупалъ другою кинжалъ въ его поясѣ—и по самую рукоятку воткнулъ лезвіе ему въ бокъ.

Пронзительно закричалъ Муцій—и притиснувъ ладонью рану, побѣжалъ, спотыкаясь, назадъ, въ павильонъ... Но въ самый тотъ мигъ, когда его ударилъ Фабій, такъ же пронзительно закричала Валерія и, какъ подкошенная, упала на землю.

Фабій бросился къ ней, поднялъ ее, понесъ на кровать, заговорилъ съ нею...

Она долго лежала неподвижно; но открыла, наконецъ, глаза, вздохнула глубоко, прерывисто и радостно, какъ человѣкъ, только-что спасенный отъ неминучей смерти,— увидала мужа—и обвивъ его шею руками, прижалась къ его груди.—„Ты, ты, это ты“, лепетала она. Понемногу руки ея разжались, голова откинулась назадъ — и, прошептавъ съ блаженной улыбкой: „Слава Богу, все кончено... Но какъ я устала!“—она заснула крѣпкимъ, но не тяжелымъ сномъ.

X.

Фабій опустился возлѣ ея ложа — и не спуская глазъ съ ея блѣднаго и похудѣвшаго, но уже успокоеннаго лица, началъ размышлять о томъ, что̀ произошло... а также о томъ, какъ поступить ему теперь? Что предпринять?— Если онъ убилъ Муція—а вспомнивъ о томъ, какъ глубоко вошло лезвіе кинжала, онъ въ этомъ сомнѣваться не могъ, — если онъ убилъ Муція — то нельзя же это скрыть! Слѣдовало довести это до свѣдѣнія герцога, судей... но какъ объяснить, какъ разсказать такое непонятное дѣло? Онъ, Фабій, убилъ, у себя въ домѣ, своего родственника, своего лучшаго друга! Станутъ спрашивать: за что? по какому поводу?.. Но если Муцій не убитъ? — Фабій не въ силахъ былъ оставаться долѣе въ невѣдѣніи — и, удостовѣрившись, что Валерія спитъ, онъ осторожно всталъ съ кресла, вышелъ изъ дому — и направился къ павильону. Все въ немъ было тихо; только въ одномъ окнѣ виднѣлся свѣтъ. Съ замиравшимъ сердцемъ раскрылъ онъ наружную дверь (на ней остался слѣдъ окровавленныхъ пальцевъ и по песку дороги чернѣли капли крови),—перешелъ первую темную комнату... и остановился на порогѣ, пораженный изумленіемъ.

По серединѣ комнаты, на персидскомъ коврѣ, съ парчевой подушкой подъ головою, покрытый широкой, красной шалью съ черными разводами, лежалъ, прямо вытянувъ

всѣ члены, Муцій. Лицо его, желтое, какъ воскъ, съ закрытыми глазами, съ посинѣлыми вѣками, было обращено къ потолку, не было замѣтно дыханія: онъ казался мертвецомъ. У ногъ его, тоже закутанный въ красную шаль, стоялъ на колѣняхъ малаецъ. Онъ держалъ въ лѣвой рукѣ вѣтку невѣдомаго растенія, похожаго на папоротникъ—и, наклонившись слегка напередъ, неотвратно глядѣлъ на своего господина. Небольшой факелъ, воткнутый въ полъ, горѣлъ зеленоватымъ огнемъ, и одинъ освѣщалъ комнату. Пламя не колебалось и не дымилось. Малаецъ не пошевельнулся при входѣ Фабія, только вскинулъ на него глазами — и опять устремилъ ихъ на Муція. Отъ времени до времени онъ приподнималъ и опускалъ вѣтку, потрясалъ ею въ воздухѣ — и нѣмыя его губы медленно раскрывались и двигались, какъ бы произнося беззвучныя слова. Между малайцемъ и Муціемъ лежалъ на полу кинжалъ, которымъ Фабій поразилъ своего друга: малаецъ разъ ударилъ той вѣткой по окровавленному лезвію. Прошла минута... другая. Фабій приблизился къ малайцу и, нагнувшись къ нему, промолвилъ вполголоса: умеръ?— Малаецъ наклонилъ голову сверху внизъ, и, высвободивъ изъ-подъ шали свою правую руку, указалъ повелительно на дверь. Фабій хотѣлъ-было повторить свой вопросъ— но повелѣвающая рука возобновила свое движеніе — и Фабій вышелъ вонъ, негодуя и дивясь, но повинуясь.

Онъ нашелъ Валерію спавшею попрежнему, съ еще болѣе успокоеннымъ лицомъ. Онъ не раздѣлся, присѣлъ подъ окномъ, подперся рукою — и снова погрузился въ думу. Поднявшееся солнце застало его на томъ же самомъ мѣстѣ. Валерія не просыпалась.

XI.

Фабій хотѣлъ дождаться ея пробужденія и уѣхать въ Феррару — какъ вдругъ кто-то легонько постучался въ дверь спальни. Фабій вышелъ и увидѣлъ передъ собою своего стараго дворецкаго, Антоніо.—Синьоръ,—началъ старикъ:—малаецъ намъ сейчасъ объявилъ, что синьоръ *Муцій занемогъ* и желаетъ перебраться со всѣми своими

пожитками въ городъ; а потому проситъ васъ, чтобъ вы дали ему въ помощь людей для укладки вещей — а къ обѣду прислали бы вьючныхъ и верховыхъ лошадей, да нѣсколько провожатыхъ. Вы позволяете? — Малаецъ тебѣ объявилъ это?—спросилъ Фабій.—Какимъ образомъ? Вѣдь онъ нѣмой.—Вотъ, синьоръ, бумага, на которой онъ это все написалъ на нашемъ языкѣ — очень правильно. — И Муцій, ты говоришь, боленъ?—Да, очень боленъ—и видѣть его нельзя.—За врачомъ не посылали?—Нѣтъ. Малаецъ не позволилъ. — И это написалъ тебѣ малаецъ?—Да, онъ.—Фабій помолчалъ.—Ну, что жъ, распорядись,—промолвилъ онъ, наконецъ.—Антоніо удалился.

Фабій съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ вслѣдъ своему слугѣ. — Стало-быть, не убитъ? — подумалось ему... и онъ не зналъ, радоваться ли—или сожалѣть.—Боленъ?—Но нѣсколько часовъ тому назадъ—вѣдь мертвеца же онъ видѣлъ!

Фабій вернулся къ Валеріи. Она проснулась — и приподняла голову. Супруги обмѣнялись долгимъ, значительнымъ взглядомъ. — Его уже нѣтъ? — промолвила вдругъ Валерія. — Фабій вздрогнулъ. — Какъ... нѣтъ? — Ты развѣ... — Онъ уѣхалъ? — продолжала онъ. Фабію отлегло отъ сердца. — Нѣтъ еще; но онъ уѣзжаетъ сегодня. — И я его больше никогда, никогда не увижу? — Никогда.— И тѣ сны не повторятся? — Нѣтъ. — Валерія опять радостно вздохнула; блаженная улыбка появилась опять на ея губахъ. Она протянула обѣ руки мужу. — И мы не будемъ никогда говорить о немъ, никогда, слышишь, мой милый? И я изъ комнаты не выйду—пока онъ не уѣдетъ. А ты теперь пришли мнѣ моихъ служанокъ... да постой: возьми ты эту вещь! — она указала на жемчужное ожерелье, лежавшее на ночномъ столикѣ, ожерелье, данное ей Муціемъ, — и брось ее тотчасъ въ самый нашъ глубокій колодецъ.— Обними меня — я твоя Валерія — и не приходи ко мнѣ, пока... тотъ не уѣдетъ. — Фабій взялъ ожерелье—жемчужины показались ему потускнѣвшими— *и исполнилъ* приказаніе своей жены. Потомъ онъ сталъ *скитаться* по саду, издали поглядывая на павильонъ,

около котораго уже началась возня укладки. Люди выносили сундуки, вьючили лошадей... но малайца не было между ними. Неотразимое чувство влекло Фабія посмотрѣть еще разъ на то, что̀ происходило въ павильонѣ. Онъ вспомнилъ, что на заднемъ его фасѣ находилась потаенная дверь, черезъ которую можно было проникнуть во внутренность комнаты, гдѣ утромъ лежалъ Муцій.— Онъ подкрался къ той двери, нашелъ ее незапертою, и, раздвинувъ полости тяжелаго занавѣса, бросилъ нерѣшительный взглядъ.

XII.

Муцій уже не лежалъ на коврѣ. Одѣтый въ дорожное платье, онъ сидѣлъ въ креслѣ, но казался трупомъ, такъ же какъ въ первое посѣщеніе Фабія. Окаменѣлая голова завалилась на спинку кресла и протянутыя, плашмя положенныя руки недвижно желтѣли на колѣняхъ. Грудь не поднималась. Около кресла, на полу, усѣянномъ засохшими травами, стояло нѣсколько плоскихъ чашекъ съ темной жидкостью, издававшей сильный, почти удушливый запахъ, запахъ мускуса. Вокругъ каждой чашки свернулась, изрѣдка сверкая золотыми глазками, небольшая змѣйка мѣднаго цвѣта; а прямо передъ Муціемъ, въ двухъ шагахъ отъ него, возвышалась длинная фигура малайца, облеченнаго въ парчевую пеструю хламиду, подпоясанную хвостомъ тигра, съ высокой шляпой въ видѣ рогатой тіары на головѣ. Но онъ не былъ неподвиженъ: онъ то благоговѣйно кланялся и словно молился, то опять выпрямлялся во весь ростъ, становился даже на цыпочки; то мѣрно и широко разводилъ руками, то настойчиво двигалъ ими въ направленіи Муція и, казалось, грозилъ или повелѣвалъ, хмурилъ брови и топалъ ногою. Всѣ эти движенія видимо сто̀или ему большого труда, причиняли даже страданія: онъ дышалъ тяжело, потъ лилъ съ его лица. Вдругъ онъ замеръ на мѣстѣ и набравъ въ грудь воздуха, наморщивши лобъ, напрягъ и потянулъ къ себѣ свои сжатыя руки, точно онъ вожжи въ нихъ держалъ..

чувствовала внутри себя трепетъ новой, зарождающейся жизни... Валерія вздрогнула, и остановилась...

Что̀ это значило? Неужели же...

На этомъ словѣ оканчивалась рукопись.

С. Спасское-Лутовиново. Іюнь, 1881 г.

СОДЕРЖАНІЕ

ВОСЬМОГО ТОМА:

стр.

Вешнія воды. Повѣсть 3

Стукъ!.. стукъ!.. стукъ! Студія. 153

Пунинъ и Бабуринъ. Разсказъ 185

Часы. Разсказъ старика. 248

Сонъ. Разсказъ. 298

Разсказъ отца Алексѣя. 319

Отрывки изъ воспоминаній своихъ и чужихъ:

1) Старые портреты. 333

2) Отчаянный. 358

Пѣснь торжествующей любви. Разсказъ 383

RETURN TO → CIRCULATION DEPARTMENT
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 HOME USE	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

1-month loans may be renewed by calling 642-3405
1-year loans may be recharged by bringing the books to the Circulation Desk
Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

DEC 2 1984	FEB 09 1990	
RECEIVED BY	AUTO. DISC.	
NOV 13 1984	DEC 0 3 1990	
CIRCULATION DEPT.		
JUN 11 1985		
REC CIRC MAR 13 1985		
APR 26 1989		
AUTO DISC MAR 30 1989		

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
FORM NO. DD6, 60m, 1/83 BERKELEY, CA 94720

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY

B000712322

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY